Сервантес

Дон Кихот

I

Сервантес

Дон Кихот

I

Издание посвящено четырехсотлетию романа Сервантеса «Дон Кихот»

Con motivo de cuarto centenario de Don Quijote

Портрет Сервантеса
работы Хуана де Хуареги
1600 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Miguel de Cervantes Saavedra

El ingenioso hidalgo Don Quijote De La Mancha

Con el False Quijote de Avellaneda

Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды

Перевод «Дон Кихота»
по изданию «Academia» 1929–1932 годов
под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова,
посвященный памяти профессора
Дмитрия Константиновича Петрова

Издание подготовили
Н. И. Балашов,
В. Е. Багно, А. Ю. Миролюбова, С. И. Пискунова

I

МОСКВА НАУКА 2003

УДК 821.134.2
ББК 84(4 Исп)
С32

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"

В.Е. Багно, Н.И. Балашов (председатель), *М.Л. Гаспаров, А.Н. Горбунов, А.Л. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова, Б.Ф. Егоров* (заместитель председателя), *Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин, А.В. Лавров, А.Д. Михайлов* (заместитель председателя), *Ю.С. Осипов, М.А. Островский, И.Г. Птушкина* (ученый секретарь), *Ю.А. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, С.О. Шмидт*

Ответственный редактор
Н.И. БАЛАШОВ

ТП-98-II-№ 301

ISBN 5-02-011686-6
ISBN 5-02-011687-4 (кн. I)

© В.Е. Багно, Н.И. Балашов, А.Ю. Миролюбова, С.И. Пискунова (составление, подготовка текста, статьи, примечания), 2003
© Российская академия наук и издательство "Наука", серия "Литературные памятники" (разработка, оформление), 1948 (год основания), 2003

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ К ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТИЮ "ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"

Построение данного – насколько это можно сказать о переводе – научного издания "Дон Кихота" Сервантеса было предложено в 1980-е годы покойным академиком АН СССР и Королевской испанской академии Георгием Владимировичем Степановым (1919–1986). Оно существенно отличается от построения русских (и вообще не испанских) изданий, а в некотором отношении подобных прецедентов нет и в самой Испании.

* * *

"Дон Кихот" Сервантеса, тот, каким его читали современники автора, и тот, который читают сейчас, – это изначально не одна, а *две*, задуманные не сразу, а с перерывом в несколько лет книги.

Когда Сервантес писал книгу 1604–1605 гг., то вначале о большом серьезном романе не было и речи (надо сразу оговориться и о том, что свое великое произведение сам автор именовал не романом, а *историей* – historia).

Как это обосновал патриарх испанистики XIX–XX вв. Рамон Менéндес Пидаль (1869–1968), первоначально Сервантес задумал саркастическую новеллу, осмеивавшую чудака Бартоло, персонажа маленькой пьесы 1590-х "Интермедия о романсах", помешавшегося на воинских подвигах. По бесспорному суждению Менéндеса Пидаля, Сервантес вскоре оставил этот план, а работая над главами с VII по XI, перешел к замыслу цельной книги – "истории" – первого великого романа Нового времени. Это можно проследить в главах, в которых рассказывается о том, как Дон Кихот отправляется во второй выезд уже не один, а как подобает странствующему рыцарю с оруженосцем, с Санчо Пансой, и дальше – вплоть до главы XI, в которой на ужине у козопасов рыцарь вопреки всем обычаям усадил мужика-оруженосца рядом с собою, предложил ему есть с ним из одной тарелки и произнес перед озадаченными пастухами речь о Золотом веке в прошлом, содержавшую непозволительные намеки на несовершенство настоящего и надежды на возможность чуть ли не томас-моровской утопии в будущем.

Точно неизвестно, когда (скорее всего, около 1598 г.) Сервантес развернул во всю ширь и глубь замысел своей истории, но, посидев очередной раз в тюрьме по ложному обвинению, он кончил роман в 1603 г. и сдал его в цензуру. Уже в 1604 г. мадридский печатник Хуан де ла Куэста приготовил книгу, она

прошла дополнительный просмотр, а 26 сентября 1604 г. получила под сокращенным (в документах) названием "Хитроумный[1] Ламанчский идальго" разрешение на выход в свет, стандартно для Испании подписанное в таких случаях: "*Я, КОРОЛЬ*" (имелся в виду Филипп III).

Так появилась книга "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (с указанием на титуле: "год 1605, в Мадриде"), положившая начало роману Нового времени и изменившая все течение европейской (и мировой) литературы.

По причинам, которые читателю самому станут понятны из книги (и о которых он дополнительно сможет прочесть в приложениях к "истории"), он сразу почувствует, что выпуская в годы реакционных притеснений такую книгу, Сервантес скорее мог предвидеть ее запрещение, чем всенародный успех.

А успех этот сопровождался неслыханным ранее обилием новых законных и выходивших исподтишка изданий на родине и за границей. Выходил "Дон Кихот" за границей не только в переводах, но и на испанском языке.

В первой книге, разумеется, не могло быть указано, что это Первая часть (parte). *Частями* (partes) автор именовал четыре внутренних раздела книги. О возможности продолжения всего произведения Сервантес тогда не помышлял, и об этом сколько-нибудь внятно у него вообще не говорится.

В конце издания 1605 г. есть упоминание об истлевших листках, сохранивших отрывочные сведения о смерти Дон Кихота, и помещены стихотворения, посвященные погребению ламанчского рыцаря. Сервантес не обещает продолжений, приводя стих Ариосто: "Пусть другой скажет об этом лучше..."

Иное дело, что Сервантес, как дон Фернандо, Стойкий принц XV в., воспетый в Португалии и Испании[2] как человек непреклонный, твердо шедший на мучительную смерть в плену, сам стойкий воин допускает намек, едва позволяющий надеяться, что в преданиях Ламанчи могла сохраниться память о третьем выезде Дон Кихота на турнир в Сарагосу...

Пророческая или роковая двусмысленность такого завершения Первой части реализовалась двояко: во благо и во зло.

Окрыленный ранее неведомым (неслыханным!) успехом и удачей опыта углубления трагично-гуманистической идеи "истории", Сервантес в начале 1610-х годов взялся за еще более мудрое, за величайшее свое произведение, теперь им озаглавленное "Вторая часть" (parte) "Дон Кихота", которая была якобы "обнаружена" им среди арабских рукописей Сида Амета Бененхели, придуманного на случай чересчур опасного расследования: пусть ищут Сида Амета, которого не было!

---

[1] Нужно сказать, что блестящая в стилистическом отношении находка "Хитроумный идальго", закрепленная по-русски в переводе 1929–1932 гг. (изд. "Academia"), не буквально передает испанское слово "ingenioso" (без такого блеска, но точнее оно передано переводчицей М.В. Ватсон в издании 1907 г. – "остроумно-изобретательный").

[2] "Стойкий принц" Кальдерона. Лучшие мирового значения переводы на славянские языки: польский – Юлиуша Словацкого, русские – К.Д. Бальмонта и Б.Л. Пастернака.

В те годы некий Авельянеда[3], злобный плагиатор-памфлетист Алонсо Фернандес де Сапата, на самом деле священник-доминиканец в селении Авельянеда, явно поддерживаемый властями (Сервантес, а, пожалуй, и мы теперь твердо знаем – кем), начал, ссылаясь на другой "арабский источник", поспешно писать свой ложный "Дон Кихот" (по-испански так и принято его именовать" "Эль Фальсе Кихоте").

Фальсификатор, пользуясь поддержкой цензурных инстанций, опередил Сервантеса на полгода по времени издания. Он нагло назвал свою подделку (осень 1614 г.) "Второй Том (Segundo Tomo) хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского... содержащий пятую часть (quinta parte) его приключений"; на самом деле этот "Том" состоял из трех "частей" (partes) – т.е. из раздела пятого, шестого и седьмого.

Сервантесу, настоящая Вторая часть романа которого появилась только полгода спустя, после "Лжекихота", пришлось обороняться от памфлетиста не только по существу, но и по форме. И он дал своей книге 1615 г. остроумно-несуразное, но побившее Авельянеду заглавие. Хотя "Дон Кихот" 1605 г. делился на четыре части, Сервантес назвал новую книгу "Второй частью" ("Segunda parte"), будто "забыв" про первые четыре части, а хитроумного "идальго" возвысил в формально более высокое дворянское достоинство, заменив на титульном листе слово "идальго" словом "cavallero" ("кабальеро", т.е. собственно "рыцарь") – и подчеркнув, что она "написана Мигелем де Сервантесом Сааведра, *автором его* (т.е. "Дон Кихота") "*Первой части*" (de su Primera parte).

Никакая цензура в такой путанице не разобралась бы. "Шутка" Сервантеса впоследствии поставила всех будущих серьезных издателей и исследователей в некоторое затруднение, поощряя называть одним и тем же словом "часть" и четыре раздела – "части", и обе книги в целом.

Чтобы не сбивать с толку русских читателей "Дон Кихота" в настоящем издании, после высказанного здесь предуведомления книги I и II мы будем именовать по-сервантесовски "Частями", а внутренние четыре части "Первой части" Сервантеса и 5–7-ю части ложного продолжения Авельянеды по возможности "подчастями" или "разделами"; главы же, как они и называются по-испански – "главами". Две книги данного русского издания обозначаются цифрами I и II; при этом подготовители по возможности избегали слова "том", отсутствующего у самого Сервантеса.

* * *

Поскольку в контрреформационной Испании XVII в., как и в других странах, скованных жесткой цензурой, с изданиями частично конкурировали рукописные списки, то некоторые фрагменты подлинной Второй части "Дон Кихота"

---

[3] Имя его, по всей видимости известное Сервантесу, более трехсот с половиной лет считали псевдонимом и тщетно разгадывали в XIX–XX вв. десятки исследователей.

(например, прием у герцога) стали очевидно известны Авельянеде до издания 1615 г., а "художества" последнего тоже дошли до Сервантеса еще перед выходом "Лжекихота".

Публикация в нашем издании рядом со Второй частью Сервантеса не переводившегося ранее в России "Лжекихота" дает возможность прямо сопоставить вообще-то несопоставимое – творение гения и усилия задумавшей потягаться с ним завистливой заурядности.

На стороне гения, полунищего и дряхлеющего (жить ведь ему оставалось год) были не "только" художественно-интеллектуальные преимущества, но также стратегическая выучка героя сражения при Лепанто в 1571 г. и пятилетняя мученическая выучка алжирского пленника.

Однако на его стороне, как писал в год 350-летия "Дон Кихота" Д.Е. Михальчи, была «та кровная зависимость замечательного романа от всей испанской действительности XVI – начала XVII в., которая характеризует эту эпопею от первой до последней страницы»[4].

Эти слова имеют и "зеркальную" сторону: достойно восхищения то, как столетиями Дон Кихот и Санчо Панса все глубже внедряются в испанское национальное самознание и отторгают то, что осуждено в этом бесконечно тяжелом, но и славном Золотом веке Испании. Вникнув в это, можно понять, как побеждали те герои, которых быстрый и смелый Лопе де Вега стремительно "метал" одного за другим на сцену XVI–XVII вв., герои, которые, как и у Сервантеса, и сейчас, несмотря на "устаревшие костюмы", остаются людьми будущего...

Слава испанскому народу: он стал горой и за театр Лопе, и за труднее усваиваемый роман Сервантеса, хотя тогда не мог измерить всего бездонного величия писателя, который, как Пушкин у нас, станет "*его всем*".

Авельянеду, нахлебника инквизиции, читатель сразу "кинул" в реку забвения, хотя за посредственностью стояла поддержка все еще мощного государства Габсбургов и той части казенной церкви, которая отдалилась от христианства, как религии любви, и ушла в карательную политику. Не помогло Авельянеде и то, что он украл готовую внешнюю структуру Первой части романа Сервантеса и имел фрагментарные сведения о подлинной Второй части. Когда через века "останки" Авельянеды выловили из Леты, то "сравнение" служило только вещей славе Сервантеса.

Поражение Авельянеды только подчеркивает торжество Сервантеса.

В Испании и в остальном мире число изданий и тиражи "Дон Кихота" ширятся из века в век, и, похоже, эта тенденция перейдет и в наступающий пятый век подвигов хитроумного идальго...

---

[4] "Известия АН СССР. Отделение литературы и языка". 1955. Т. XIV. Вып. 4. С. 321.

* * *

Идя навстречу давним пожеланиям председателей Редколлегии серии "Литературные памятники" академиков Н.Н. Конрада и Д.С. Лихачева, Г.В. Степанов незадолго до своей кончины предложил "Литературным памятникам" издать текст "Дон Кихота" Сервантеса с добавлением "Лжекихота" Авельянеды и научными статьями и комментариями. Из двух высококачественных переводов Г.В. Степанов, воспитанник петербургской школы испанистов, выбрал не постоянно тогда переиздававшийся "московский" перевод Н.М. Любимова, а перевод петербургского "анонима" ("Academia", 1929–1962, т. I–II) под редакцией опытных ленинградских испанистов профессоров Бориса Аполлоновича Кржевского (1887–1954) и Александра Александровича Смирнова (1883–1962) – ученого, известного глубиной и широтой научной, издательской, переводческой работы в области французской, английской, кельтской и других литератур. Предложение Г.В. Степанова ни в коем случае и ни в какой мере не означало преуменьшения значения перевода "Дон Кихота", осуществленного Н.М. Любимовым (первое издание 1951 г.).

После двух веков недостаточно совершенных русских переводов (и в большинстве случаев выполненных по французскому или немецкому изданиям) в XX в. одним за другим появились три выдающихся опыта. Первым был прямой, довольно точный, но не передававший языкового совершенства оригинала перевод "Дон Кихота" М.В. Ватсон, изданный в 1907 г. в Петербурге. Двадцать лет спустя был подготовлен безупречный перевод питерского "анонима", а еще двадцать лет после него был напечатан тоже совершенный перевод М.Н. Любимова, вольно или невольно полемичный по отношению к предыдущему, но основанный на самостоятельной переводческой концепции. Перевод "анонима" издавался очень часто в 1930–1940-е годы, а с 1950-х годов до недавнего времени преобладали издания перевода Н.М. Любимова. Цитировались же в научной литературе оба, как классика переводческого искусства. Каждый из переводов имел свою специфику. Перевод Н.М. Любимова был отмечен фразеологической виртуозностью русских эквивалентов, а перевод "Academia" – специфическим для петербургской переводческой школы стремлением к максимальной точности передачи смысловых нюансов испанского. Так что оба замечательных перевода восполняют друг друга, а в статьях, помещенных в данном издании, в цитатах может встретиться и перевод Н.М. Любимова.

Итак, в основу настоящего издания положен текст перевода под редакцией Б.А. Кржевского и А.А. Смирнова, в который внесены только самые необходимые уточнения, сделанные В.Е. Багно и А.Ю. Миролюбовой при сверке издания "Academia" с испанским текстом[5].

Теперь об "анонимности" перевода 1929–1932 гг. издания. В силу политических условий тех времен никакого документального подтверждения авторства

---

[5] В осуществлении этого издания на разных этапах систематическую помощь оказывала И.Г. Птушкина.

не сохранилось, но существовало устное предание, что переводчиком "Дон Кихота" в издании "Academia" был покинувший страну Георгий Леонидович Лозинский, младший брат знаменитого переводчика Михаила Леонидовича Лозинского (1886–1955), Михаил Лозинский остался в Ленинграде и впоследствии прославился переводом "Гамлета", некоторых других шекспировских драм, а особенно – "Божественной Комедии" Данте, за что ему была присуждена в 1946 г. Сталинская премия.

Георгий Леонидович Лозинский – известен как специалист по романским литературам, в частности, по испанской и португальской. В 1920-е годы, а потом в самый застой его переводы с португальского открыто печатались под его настоящим именем. Например, в 1970-х годах появился перевод Г.Л. Лозинского романа португальского классика Эсы де Кейруша в 127-м томе "Библиотеки всемирной литературы".

Краткие данные о Г.Л. Лозинском за границей (вне связи с его возможным авторством перевода "Дон Кихота") были обнаружены известным специалистом по русской литературе Серебряного века В.М. Пискуновым в книге Глеба Струве "Русская литература в изгнании" (Париж, 1984). Из этой книги стали известны точные даты жизни Г.Л. Лозинского (1889–1942) и то, что в эмиграции он жил во Франции, преподавал там русский язык (и пропагандировал его в журнале "Встречи" в 1934 г.); совместно с К.В. Мочульским и М.Л. Гофманом он издал курс русской литературы на французском языке.

Наконец в начале 2000-х годов петербургской испанистке Марии Алексеевна Толстой удалось собрать более точные данные о жизни Г.Л. Лозинского за границей, с помощью Н.М. Лозинской связаться с дочерью покойного литературоведа – Мариной Григорьевной Гросс-Лозинской – и получить от нее копии писем 1920-х годов, адресованных ее отцу профессором А.А. Смирновым.

Из этих писем, начиная с письма 1923 г., видно, что А.А. Смирнов и Б.А. Кржевский, готовившие новый перевод "Дон Кихота", предназначенный для издательства "Всемирная литература", а затем – "Academia" привлекали к этой работе (в которой они оба участвовали как переводчики и как редакторы) живших за границей К.В. Мочульского и Г.Л. Лозинского, а также созданную фантазией Максимилиана Волошина поэтессу Черубину де Габриак (наст. фамилия Васильева; урож. Дмитриева; 1887–1928); видимо, она не приняла участия в переводе.

Судя по письмам А.А. Смирнова к Г.Л. Лозинскому, последний в 1923 г. отказался участвовать в переводе "Дон Кихота". Однако в 1927 г. при подготовке издания "Academia" Г.Л. Лозинский все же согласился принять участие в коллективном переводе. А.А. Смирнов сделал ему конкретные предложения: взять главы 28–32 I части и главы 35–38, а затем самому выбрать, что найдет нужным, из II части. Из писем следует, что А.А. Смирнов хотел бы получить от него "хоть махонький кусочек" перевода. Но из письма от 19 октября 1928 г. становится понятно, что с участием Г.Л. Лозинского в переводе возникли затруднения со стороны "ответственных партийных людей", которым "виднее".

В переводе "Дон Кихота", помимо Б.А. Кржевского и А.А. Смирнова, участвовал также К.В. Мочульский. Однако в 1929 г. А.А. Смирнов с печалью сообщил Г.Л. Лозинскому, что в СССР запрещено не только платить гонорар переводчикам-эмигрантам, но и вообще упоминать их имена среди переводчиков. На этом участие Г.Л. Лозинского в переводе "Дон Кихота", разумеется, прекратилось[6], а издание "Academia" вышло без имен переводчиков.

Кстати, Г.Л. Лозинский, находясь в эмиграции, с 1934 г. являлся секретарем Пушкинского комитета в Париже, который возглавил памятные Пушкинские торжества 1937 г. за границей и организовал торжественное чествование Пушкина в неслыханных масштабах: в 237 городах 42 государств на всех континентах[7].

К К.В. Мочульскому, тоже эмигранту, цензура в 1967 г. оказалась милостивей, чем к Г.Л. Лозинскому: статья о нем была помещена в томе IV "Краткой литературной энциклопедии" (стлб. 997). А статьи о Г.Л. Лозинском в том же томе нет.

Само издательство "Academia" "горело": его директором был назначен снятый со всех высоких партийных постов Л.Б. Каменев, который вскоре был объявлен "врагом народа" и расстрелян.

А между тем профессора Б.А. Кржевский и А.А. Смирнов понимали, что коллективный перевод несравненно превосходит великое множество русских переводов "Дон Кихота", сделанных к тому времени.

В одной из приложенных к изданию "Academia" статей А.А. Смирнова «О переводах "Дон Кихота"» (I, с. LXXXI–XCI) показано, что даже вышедший в Петербурге в 1907 г. (переизданный в 1917 г.) тщательный перевод М.В. Ватсон ("Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский. Полный перевод с испанского... с биографическим очерком и примечаниями"), несмотря на редкостную добросовестность и старание переводчицы, имел серьезные недостатки (см. статью А.А. Смирнова, с. LXXXVI–LXXXVII).

Критика и похвалы А.А. Смирнова, у этого еще недостаточно оцененного ученого, как всегда справедливы и точны. Но в нашем издании нужно сказать несколько слов и о Марии Валентиновне Ватсон, супруге историка и публициста Э.К. Ватсона (1839–1892), замещавшего в "Современнике" Чернышевского после ареста последнего и вплоть до закрытия журнала. Историк Э.К. Ватсон – автор выдающихся работ (например, "Что такое великие люди в истории", он первым в России подробно написал о событиях времени Парижской коммуны).

Мария Ватсон родилась в 1853 г., по происхождению была итальянкой. Ей принадлежат научные и научно-популярные книги и статьи по итальянской,

---

[6] Все цитаты из писем профессора А.А. Смирнова по этому поводу заимствованы с разрешения М.А. Толстой из ее статьи «О переводе романа "Дон Кихота" в издательстве "Academia"». Редколлегия серии "Литературные памятники" выражает глубокую благодарность автору и надеется увидеть статью напечатанной полностью в "Известиях Академии наук. Серия литературы и языка".

[7] См.: Пушкин в эмиграции: 1937. М., 1999. С. 10–11. (Вводная статья В. Перельмутера).

испанской, португальской литературе. Известно ее участие в судьбе поэта Семена Надсона (1862–1887), в издании его стихотворений; М.В. Ватсон написала о поэте обширную монографию.

Встречающиеся в ее переводе "Дон Кихота" недочеты объясняются, по-видимому, тем, что, наряду с русским, и итальянский язык был ей родным. Отсюда в некоторых случаях в переводе "Дон Кихота" сохраняются элементы романского синтаксического строя.

Решившись на участие в переводе "Дон Кихота", Б.А. Кржевский и А.А. Смирнов посвятили и перевод, и редактуру профессору Д.К. Петрову от имени "переводчиков (множ. число! – *Н.Б.*) и редакторов". Кржевский и Смирнов, не имея возможности указать имена переводчиков, среди которых были два эмигранта, прибегли к вошедшей в таких случаях мрачно сакраментальной формуле: "перевод под редакцией Б.А. Кржевского и А.А. Смирнова".

Однако в связи с тем, что могут выяснять "с пристрастием", кто неуказанный переводчик и где он, Кржевский и Смирнов между страницей XCI и шмуцтитулом I тома поместили посвящение, давшее простодушный ответ на каверзные вопросы.

Этот ответ, пусть мелким курсивом, увековечивал имя первого крупного русского профессионального филолога-испаниста Д.К. Петрова, известного и признанного за границей.

В посвящении сказано: "Свой труд переводчики и редакторы посвящают памяти своего общего учителя, основателя испанистики в Ленинграде профессора Дмитрия Константиновича Петрова (род. 13 августа 1872 г., ум. 2 мая 1925 г.)".

Следует обратить внимание, что Кржевский и Смирнов назвали и себя в числе переводчиков, а это точно соответствовало действительности.

* * *

Коснемся одного важного для романа вопроса – обозначения прозвища Амади́са, легендарного героя Валлийского полуострова (на западе Великобритании, именуемого по-английски Уэльс). Полуостров был завоеван королем Англии Эдуардом I (1272–1307). Король присвоил наследнику титул принца Уэльского, сохраняющийся по настоящее время. Валлийцы негативно относятся к этому и к английскому наименованию валлийского (кимрского) языка – "уэлш", а в самой Англии в именах продолжает сохраняться двойное написание (одно или два "эль"); например: писатель Herbert Wells.

Поскольку легенды об Амадисе как безупречном рыцаре относятся к кельтским (галльским) преданиям, валлийцы, родственники континентальных галлов, именуют Амадиса Валлийским или Галльским. Это наименование с правильным валлийским написанием двух "ль", как правило, применялось по-русски до перевода Н.М. Любимова в 1951 г. Сохраненное в издании "Academia", оно, естественно, сохранено и в нашем.

Чередование звуков "g" и "w" характерно для многих индоевропейских языков (кельтских, романских, германских и др.) и наименование Амади́с Галльский соответствовало традициям, даже импонировало близостью с богатейшей французской, галло-нормандской традицией куртуазного романа, освященного такими именами, как поэт Кретьен де Труа (примерно, 1130–1191), основателя артуровского цикла и других романных циклов общеевропейского значения.

Первый из двух "ль" кельтских языков часто, как полугласный, входил в соединение с дифтонгом "au": галлы, но галльский – "голуа" (gaulois); в именах яркий пример таких процессов фамильное имя генерала – de Gaulle.

Прозвание рыцаря Амадис de Gaula связано не только с орфоэпическими особенностями испанского алфавита, в котором две буквы "l" (эль) образуют отдельную букву "элья" – "ll", эквивалентную русскому произношению "ль" перед йотированной гласной, и с португальским произношением Галлии, или Гаула (роман "Амадис Галльский", сложившийся к XIV–XV вв. в Португалии, впервые был издан в Сарагосе по-испански в 1508 г. Гарси Родригесом де Монтальво).

Старая русская традиция "галлы" – "уаллы" была тверда: Пушкин, задумав в 1830 г. перевести поэму Саути 1805 г. "Ме́док" о валлийском мореплавателе, открывшем Северную Америку в XII в., называет его родину Уаллы ("Попутный веет ветр..."). Высокообразованные переводчики "Дон Кихота" 1929–1932 гг., передавая стихи в эпилоге Первой части, писали: "И если в Галлах Амадис прославлен..." (Y si de su Amadís se presia Gaula...")[8].

* * *

Должно отметить, что настоящее издание не следует распространившейся традиции (специально осужденной при издании академической "Истории всемирной литературы" в 8 томах) неправильно и совершенно не по-испански сопрягать через дефисы испанские фамилии, пишущиеся с союзом "и" (по-испански союз "и" обозначается как игрек) "y" (и произносится и понимается как русское "и").

Эти фамилии не имеют значения сдвоенных (таких, как по-русски Мусины-Пушкины, Зиновьевы-Аннибал), передающихся по наследству фамилий. Из испанских фамилий, если они пишутся через "и", по наследству передается и не всегда (в зависимости от обстоятельств) отцовская и материнская часть. Как раз по наследству переходят не соединенные союзом "и" фамилии: например, Сервантес Сааведра, Менéндес Пидаль. Соображение, что иначе трудно понять, что Ортега и Гассет одно лицо, комично.

---

[8] Несомненность написания "галльский" через два "ль" подтверждается монографией А.И. Фалилеева "Древне-валлийский язык" (СПб., "Наука", 2002).

* * *

Хочется напомнить, что с конца 1930-х годов русская испанистика переживала временами подъем. Одних обширных библиографий выходило немало. В 1940 г. к весьма содержательной книге "Культура Испании" был приложен аннотированный указатель русских книг и статей 1900–1936 гг. – З.С. Пресс и А.Г. Фомина (М.: Изд-во АН СССР, 1940). В 1959 г. в Москве Библиотека иностранной литературы издала обширную русскую сервантесовскую библиографию 1763–1957 гг., объемом в 525 номеров (составитель А.Д. Умикян, отв. редактор Д.Е. Михальчи). Эта библиография применительно к периоду 1958–1967 гг. была дополнена В.П. Пироговской в книге "Сервантес и всемирная литература" (под редакцией Н.И. Балашова, А.Д. Михайлова, И.А. Тертерян. М., Изд-во "Наука", 1969). Сервантесовская библиография дополнялась во многих выпусках "Сервантесовских чтений".

Среди выдающихся русских работ последних десятилетий о Сервантесе надо выделить работы А.А. Смирнова, Б.А. Кржевского, К.Н. Державина, Г.В. Степанова, Л.Е. Пинского[9], В.Р. Гриба, А.Л. Штейна, Б.И. Пуришева, Д.Е. Михальчи, Н.М. Любимова, С.Г. Бочарова, книги З.И. Плавскина, В.Е. Багно, О.А. Светлаковой, С.И. Пискуновой, В.Ю. Силюнаса, статьи в сборниках "Сервантесовских чтений", "Ибе́рики". На испанском языке было издано подготовленное трудами С.Ф. Гончаренко издание "Actas' de la I Comferencia de Hispanistas de Rusia (1994) editadas per la Embajada de España en Moscú" (Madrid, 1995). О своих работах мы упомянем в конце статьи "Двунеуязвимость Дон Кихота".

* * *

Передавая в руки читателя сопровожденное дополнениями, статьями и комментариями издание "Дон Кихота", редколлегия серии "Литературные памятники" хочет вспомнить тех, кого уже нет среди нас, но кто был вдохновителями издания, не дожил до его выхода, наших выдающихся председателей Редколлегии академиков Н.И. Конрада, Д.С. Лихачева, зачинателя издания Г.В. Степанова, переводчиков А.С. Бобовича и М.А. Бобовича и вспомнить применительно к нашему изданию завет Ариосто ("Неистовый Роланд", XXX, 16), которым Сервантес кончил Первую часть "Дон Кихота": "Forse altri canterà con miglior plettro".

Н.И. Балашов

---

[9] Книга статей и записей лекций Л.Е. Пинского, в центре которой испанская литература и особенно Сервантес, была напечатана в издательстве РГГУ под заглавием "Ренессанс. Барокко. Просвещение" в 2002 г.

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

ОЦЕНОЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Я, Хуан Гальо де Андрада, писец Королевской Канцелярии, из тех, которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю и свидетельствую, что сеньоры члены Совета, рассмотрев книгу, озаглавленную "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", сочинение Мигеля де Сервантеса Сааведры, оценили каждый лист упомянутой книги в три с половиной мараведи[1]; а в книге восемьдесят четыре листа, так что по указанной цене стоимость упомянутой книги доходит до двухсот девяноста с половиной мараведи в бумажной обложке. Члены Совета дали разрешение, чтобы по этой цене могла продаваться книжка, и приказали, чтобы оценочное это свидетельство было выставлено в начале книги и без него она не продавалась бы. Для узаконения этого постановления мною выдано настоящее свидетельство, в Вальядолиде, двадцатого дня декабря месяца тысяча шестьсот четвертого года.

Хуан Гальо де Андрада

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОПЕЧАТКАХ

Эта книга не заключает в себе ничего, что не соответствовало бы подлиннику. В удостоверение того, что я держал корректуру, даю это свидетельство. В коллегии Божьей Матери богословов университета в Алькалá, первого декабря тысяча шестьсот четвертого года.

Лиценциат Франсиско Мурсия де ла Льяна

КОРОЛЬ

Во внимание того, что от вас, Мигель де Сервантес, поступил к нам доклад о том, что вы сочинили книгу, озаглавленную "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламачский", которая потребовала от вас много труда и является весьма полезной и прибыльной, – вы просили и умоляли Нас дать вам разрешение и право напечатать ее, а также дать вам привилегию на срок, какой Нам угодно будет и какой Мы соблаговолим. Рассмотрев книгу, члены Нашего Совета, – во внимание к тому, что относительно нее были выполнены все мероприятия, предписываемые последним Нашим постановлением о книгопечатании, – пришли к ре-

шению, что Мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, объяснив и основания такого решения, и Мы одобрили его. Этой Нашей грамотой, чтобы оказать вам добро и милость, даруем разрешение и право, вам или лицу, которое вы уполномочите, и никому другому, напечатать упомянутую книгу, озаглавленную: "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", о которой сказано выше, – в пределах всего Нашего королевства на время и срок десяти лет, считая со дня, которым помечена эта Наша грамота, под страхом лицу или лицам, которые, не имея полномочия от вас, напечатают книгу или будут продавать ее, или поручать кому-либо издать и продавать ее, лишиться всего сделанного ими издания, шрифта и приспособлений к печатанию и, сверх того, подвергнуться штрафу в пятьдесят тысяч мараведи каждый раз, как они нарушат закон. Из упомянутого штрафа одна треть идет предъявителю обвинения, другая треть в пользу Нашего фиска, а последняя треть судье, который постановит приговор. С тем, чтобы всякий раз, когда вы приступите к печатанию упомянутой книги в течение десятилетнего срока, вы представляли ее Нашему Совету вместе с подлинником, который был на рассмотрении членов Совета, и каждая страница была бы скреплена подписью и росчерком Хуана Гальо де Андрады, Нашего актуариуса из тех, которые присутствуют в Совете, чтобы знать, соответствует ли упомянутое издание подлиннику; или же вы удостоверите официальным путем, что корректором, назначенным по Нашему повелению, было проверено и исправлено упомянутое новое издание по подлиннику, и оно напечатано согласно с ним, а в каждом экземпляре издания исправлены указанные им опечатки, чтобы определить стоимость каждой отдельной книги. И Мы повелеваем типографу, чтобы, печатая упомянутую книгу, он не печатал ни заголовка, ни первого листа, и не вручал более одной книги вместе с подлинником автору, или лицу, на средства которого печатается книга, ни кому-либо другому для производства упомянутых исправлений и оценки книги, прежде и перед тем, как упомянутая книга будет исправлена и оценена членами Нашего Совета. Когда все это будет сделано и не иначе, может быть напечатан упомянутый заголовок и первый лист, включив одно вослед за другим эту Нашу грамоту, одобрение, оценочное свидетельство и свидетельство об опечатках, под страхом быть уличенным и подвергнуться наказаниям, заключающимся в законах и постановлениях, действующих в этом Нашем королевстве. Повелеваем членам Нашего Совета и всяким иным судебным учреждениям принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту и ее содержание. Дана в Вальядолиде двадцать шестого дня сентября месяца тысяча шестьсот четвертого года. Я, КОРОЛЬ. – По приказу короля, нашего повелителя.

Хуан де Амескета

ГЕРЦОГУ ДЕ БÉХАР

Маркизу де Хибралеон, графу де Бенальказар и Баньярес, виконту де ла Пуэбла де Алькосер, владетелю городов Капилья, Куриэль и Бургильос.

Полагаясь на добрый прием и уважение, которые Вы, Ваша Светлость, оказываете всякого рода книгам, как принц, столь склонный покровительствовать свободным искусствам, в особенности тем, которые, по своему благородству, не унижаются к служению и выгоде черни, я решил издать "Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского" под кровом славнейшего имени Вашего Сиятельства и с почтением, которым я обязан высокому Вашему положению, умоляю благосклонно принять его под свое покровительство, чтобы под Вашей сенью, хотя и лишенный того драгоценного украшения изящества и эрудиции, которыми бывают обыкновенно облечены произведения, сочиняемые в домах ученых людей, он мог отважиться предстать безопасно на суд некоторых, которые, не сдерживаясь в пределах своего невежества, имеют обыкновение осуждать чужие труды с большою строгостью и малою справедливостью. Надеюсь, что Вы, Ваша Светлость, в мудрости своей, обратив внимание на мое доброе намерение, не отвергнете скудость столь скромного приношения.

Мигель де Сервантес Сааведра

ПРОЛОГ

Досужий читатель, ты и без клятв сможешь мне поверить, как мне хочется, чтобы эта книга, дитя моего разума, была самой прекрасной, изящной и умной из всех, какие можно себе представить. Но я не мог нарушить закона природы, по которому каждое существо порождает себе подобное[1]. А потому что же другое мог породить мой бесплодный и невозделанный ум, как не повесть о герое худом, иссохшем, причудливом и полном разнообразных мыслей, никогда и никому еще не приходивших в голову? Ибо может ли быть другим существо, родившееся в тюрьме[2], где всяческое угнетение находит себе приют и где всяческие звуки скорби избрали себе пристанище? Тишина, мирная местность, ясные небеса, журчанье ручьев, душевное спокойствие – вот что помогает самым бесплодным музам стать плодовитыми и произвести на свет потомство, которое наполняет свет восторгом и удивлением. Бывает, что у отца рождается безобразный и неуклюжий сын, но отеческая любовь накладывает на глаза его повязку, и он не только не замечает недостатков сына, но, более того, считает их признаками ума и изящества и рассказывает о них своим друзьям, как о проявлениях остроумия и тонкости. Я же только кажусь отцом *Дон Кихота*, а на самом деле я его отчим, и мне не хочется плыть по течению вслед за другими и подобно им умолять тебя, дражайший читатель, почти со слезами на глазах, чтобы ты простил недостатки моего сына или сделал вид, что их не замечаешь; ты ведь ему не родственник и не друг, у тебя в теле своя душа и своя свободная воля не хуже, чем у любого из нас; ты сидишь у себя дома, а дома ты такой же хозяин, как король в своей казне, и ты знаешь, что говорит пословица: "мне, укрывшись своим плащом, с королем совладать нипочем". Все это тебя избавляет и освобождает от всякого лицеприятия и обязательств, и ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты о ней отзовешься дурно, или наградят, если ты ее похвалишь.

Мне хотелось бы только предложить ее твоему вниманию в чистом и голом виде, не украшенную ни прологом, ни бесконечной цепью привычных сонетов, эпиграмм и похвальных слов, которые принято помещать в начале книги. Ибо должен тебе сказать, что много я положил труда, сочиняя эту книгу, но всего труднее было мне написать предисловие, которое ты сейчас читаешь. Много раз брался я за перо, чтобы написать его, и бросал, так как не знал, что писать. И вот однажды, когда я сидел в нерешительности перед листом бумаги, с пером за ухом, положив локоть на стол и подперши рукой щеку, пришел ко мне невзначай один мой приятель, человек остроумный и рассудительный, и, увидев, что

я пребываю в задумчивости, спросил меня, в чем дело. Я объяснил ему и сказал, что обдумываю пролог к истории Дон Кихота, и это так меня затрудняет, что мне не хочется его писать и еще менее издавать в свет повесть о подвигах столь благородного рыцаря.

– Да как же вы хотите, чтобы меня не смущал приговор древнего законодателя, зовущегося публикой, когда он увидит, что после стольких лет, которые я проспал в тиши забвения[3], я вдруг снова появляюсь, обремененный годами[4], и приношу ему произведение, сухое, как ковыль, бедное воображением, лишенное стиля, скудное по мысли, далекое от всякой учености и эрудиции, без выносок на полях и примечаний в конце, когда я знаю, что теперь все книги, даже вымышленные и светские, переполнены изречениями[5] Аристотеля, Платона и всей своры философов, в силу чего восхищенные читатели считают авторов этих сочинений людьми начитанными, образованными и красноречивыми? А что бывает, когда они цитируют Священное писание! Право, их можно тогда принять за самого́ святого Фому или других учителей церкви, и при этом они так тонко соблюдают приличия, что, изобразив на одной странице какого-нибудь распутного любовника, на другой они тотчас же преподносят вам христианское наставленьице, слушать и читать которое одна утеха и удовольствие. Всего этого нет в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля, нечего помещать в конце в примечаниях, и я даже не знаю, каким авторам я следовал в своей повести, так что в начале книги я не в состоянии по принятому обычаю привести список имен в алфавитном порядке[6], начиная с Аристотеля и кончая Ксенофонтом, Зоилом и Зевксисом[7], без всякого внимания к тому, что один из них был просто злым болтуном, а другой – художником. А кроме того, в начале моей книги не будет сонетов, по крайней мере, сонетов, сочиненных герцогами, маркизами, графами, епископами, дамами или знаменитейшими поэтами. Правда, если бы я попросил двух-трех из моих друзей мастеров, они, конечно, написали бы для меня сонеты, и притом такие, что с ними не сравнились бы стихи именитейших поэтов Испании. Одним словом, сеньор и друг мой, – продолжал я, – я решил, что сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанчских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему того автора, который придаст ему все недостающие ему украшения; я же по недостатку таланта и малообразованности[8] считаю себя не способным сделать это; к тому же, я по природе бездельник и лентяй и не расположен разыскивать авторов и просить их сказать то, что я сам отлично могу сказать и без их помощи. Вот почему вы застали меня в смущении и глубокой задумчивости: все, что я вам только что рассказал, является достаточной к тому причиной.

Выслушав меня, мой приятель хлопнул себя по лбу и, разразившись громким смехом, сказал:

– Ей-Богу, братец, только теперь рассеялось заблуждение, в котором я пребывал в течение всего нашего долгого знакомства: я всегда считал вас человеком и умным и рассудительным во всех ваших поступках. Но теперь я вижу, что вы от этого далеки, как небо от земли. Возможно ли, чтобы обстоятельства, столь не-

значительные и легко исправимые, были в силах смутить и поставить в тупик ваш зрелый разум, привыкший побеждать и преодолевать куда большие затруднения? Честное слово, причиной этому не недостаток уменья, а излишек лености и вялости мысли. Хотите, я вам докажу, что говорю правду? В таком случае слушайте меня внимательно, и вы увидите, что в одно мгновение ока я уничтожу все ваши затруднения и устраню все препятствия, которые, как вы утверждаете, смущают вас и лишают смелости издать в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, этого светоча и зерцала всего странствующего рыцарства.

– Ну, расскажите, – ответил я, выслушав его слова, – каким образом собираетесь вы заполнить пучину моего страха и прояснить хаос моего смущения?

В ответ на это он произнес:

– Прежде всего, вас останавливает то, что для начала книги у вас не хватает сонетов, эпиграмм и хвалебных слов, сочиненных особами важными и титулованными? Этой беде вы легко можете помочь, взяв на себя труд сочинить их лично[9], а потом вы их окрестите и наградите какими угодно именами, приписав их хотя бы пресвитеру Иоанну Индийскому[10] или императору Трапезундскому[11], о которых, я знаю, сохранились сведения, что они были знаменитыми поэтами; а если они поэтами не были и найдутся какие-нибудь педанты и бакалавры, которые станут язвить вас исподтишка и шипеть, что это неправда, то вы все это и в грош не ставьте: ведь если даже они уличат вас во лжи, все равно вам не отрубят руки, которая это написала.

Что же касается цитирования на полях тех книг и авторов, из которых вы позаимствовали для вашей повести сентенции и изречения, то сделайте вот что: вставьте кстати какие-нибудь сентенции или поговорки, которые вы знаете наизусть или, по крайней мере, можете отыскать без особых хлопот; так, например, заговорив о свободе и рабстве, процитируйте:

Non bene pro toto libertas venditur auro[12],

и тут же на полях отметьте, что это слова Горация или кого-то там другого. Заговорив о могуществе смерти, немедленно же строчите:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumque turres[13].

Зайдет ли речь о том, что Господь велел нам питать к врагам любовь и дружбу, сейчас же хватайтесь за священное писание, и тут вы можете не без блеска процитировать слова не более и не менее как самого Господа Бога: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros[14]. Если заговорите о дурных помышлениях, вспомните Евангелие: De corde exeunt cogitationes malae[15], если о непостоянстве друзей – у вас под рукой Катон со своим двустишием:

Dones eris felix[16], multos nemerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris.

Благодаря таким и тому подобным цитатам, вы прослывете великим латинистом, а в наше время это звание и почетно и весьма прибыльно.

Что же касается примечаний в конце книги, то вы преспокойно можете сделать так: если в вашей повести говорится о каком-нибудь великане, то назовите его Голиафом – вам это ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово увесистое примечание в следующем роде: "*Великан Голиас, или Голиаф, был филистимлянином, коего пастух Давид поразил камнем из пращи в Теребинтской долине, как об этом рассказывается в Книге Царств*" (и укажите главу, разыскав ее)[17].

Далее, чтобы показать себя человеком сведущим в светских науках и великим космографом, постарайтесь, чтобы в вашей повести упоминалась река Тахо, – и вот вам еще одно великолепное примечание: "*Река Тахо получила свое прозвище*[18] *от имени одного из королей Испании: она берет свое начало в таком-то месте и умирает в море-океане, лобзая стены славного города Лиссабона; полагают, что в ней имеется золотой песок*", и т.д. Если вам придется описывать воров, я сообщу вам историю Кака, которую я знаю наизусть[19], если блудниц – епископ Мондоньедский предоставит вам своих Ламий, Лаис и Флор[20], и ссылка на него заслужит вам всеобщее уважение. Если вам случится заговорить о жестоких женщинах – Овидий предложит вам свою Медею[21], если о волшебницах и колдуньях – Гомер укажет вам на Калипсо, а Вергилий на Цирцею[22], если о храбрых полководцах – Юлий Цезарь предложит вам самого себя в своих *Записках*[23], а Плутарх даст вам тысячу Александров[24]. Заговорите вы о любви – с помощью крупицы знания тосканского языка вы отыщите Леона Еврея[25], который отсыплет вам полную меру. А если не угодно вам разгуливать по чужим странам, так у вас найдется и дома сочинение Фонсеки "О божественной любви"[26], в котором заключено все, что на эту тему может быть написано: ни вы, ни самый тонкий знаток не пожелают большего. Итак, постарайтесь только в вашей повести упомянуть эти имена и коснуться перечисленных мною произведений, а составление заметок и примечаний я возьму на себя и – клянусь вам – заполню все поля вашей книги и испишу, по крайней мере, четыре листа в конце ее.

Перейдем теперь к списку различных авторов, приводимому в других книгах и недостающему вашей. Тут средство очень простое, вам следует только найти книгу, в которой перечислены все авторы от A до Z, как вы выражаетесь, и этот алфавитный список вы поместите в вашей книге; и хотя бы яснее ясного был обман, беды никакой не будет, ибо у вас нет никакой необходимости заимствовать у этих авторов; а может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что в вашей простодушной и бесхитростной повести вы все эти сочинения использовали. И если даже длинный список авторов ни на что другое вам не пригодится, он все же сразу придаст вашей книге значительность, – тем более, что никто не станет проверять следовали ли вы этим авторам или не следовали, ибо никому до этого нет никакого дела. Но скажу больше: если я правильно понимаю, ваша повесть нисколько не нуждается в прикрасах, которых, по вашим словам, ей недостает, ибо она – обличение рыцарских романов[27], о которых никогда не упоминал Аристотель, ничего не говорил св. Василий[28] и не имел ни-

какого представления Цицерон. Ее вымышленные нелепости не имеют ничего общего с точными требованиями истины и наблюдениями астрологии: геометрические измерения столь же мало для нее существенны, как и опровержение аргументов, коими пользуется риторика, ей незачем проповедовать, смешивая дела человеческие с делами божественными, – а подобного смешения должен остерегаться всякий разумный христианин. Единственное, чем вы должны воспользоваться в вашем произведении, – это подражанием[29], ибо, чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется ваша повесть. И раз ваше сочинение направлено лишь к тому, чтобы уничтожить влияние и значение, которыми обладают в мире среди непросвещенной публики рыцарские романы, то не к чему вам выпрашивать у философов – изречений, у Священного писания – назиданий, у поэтов – сказок, у риторов – речей и у святых – чудес; постарайтесь только, чтобы слова ваши были понятными, выразительными, пристойными, хорошо расположенными и чтобы ваша речь лилась звучными и стройными периодами; пусть везде, где это доступно и возможно, проявляется ваш замысел; излагайте понятно ваши мысли, не запутывая и не затемняя их. Постарайтесь также и о том, чтобы при чтении вашей повести меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился, умник восхитился вашей изобретательностью, чтобы человек серьезный не презрел ее, а благоразумный не отказал ей в своей похвале. Одним словом, не теряйте из виду вашей цели: разрушить шаткую громаду этих рыцарских романов, которые многие ненавидят, но еще больше людей восхваляет; и если вы этого достигнете, вы достигнете уже немалого.

В глубоком молчании выслушал я речь моего приятеля, и так запечатлелись в моей памяти его слова, что я без возражений признал их справедливыми и решил составить из них мой пролог. Прочитав его, любезный читатель, ты увидишь, как умен мой приятель и как повезло мне, что в трудную минуту я нашел такого советчика; а кроме того, ты почувствуешь облегчение, увидя, что я предлагаю тебе историю[30] знаменитого Дон Кихота Ламанчского без всяких прикрас и околичностей; а все жители Монтьельской округи[31] и по́ныне говорят, что такого целомудренного любовника и храброго рыцаря с давних пор не бывало в их краях. Я не хочу преувеличивать своих заслуг, знакомя тебя с таким выдающимся и почтенным рыцарем; но мне хотелось бы, чтобы ты поблагодарил меня за знакомство с знаменитым его оруженосцем Санчо Пансой, ибо думается мне, что в нем одном сосредоточены все достоинства оруженосцев[32], описания которых разбросаны в беспорядочной груде вздорных рыцарских романов. И на этом пусть пошлет тебе Бог здоровье и меня пусть не забудет. Vale[33].

НА КНИГУ О ДОН КИХОТЕ ЛАМАНЧСКОМ

УРГАНДА НЕУЛОВИМАЯ[1]

Если ты решила, кни- (га),
Путь направить к тем, кто зна- (ет),
Там тебе дурак не ска- (жет),
Что ты пальцы ставишь кри- (во)[2].
Если же тебе приспи- (чит)
Даться в руки остоло- (пам),
Так они тебе в два сче- (та)
Разлетятся пальцем в не- (бо),
А меж тем все ногти б съе- (ли),
Чтоб явить свою учe- (ность).

Нам показывает о- (пыт):
Кто под добрым станет дре- (вом),
Доброй осенится те- (нью);
Ты же в Бехаре откро- (ешь)
Древо царственного ко- (рня)[3],
На котором принцы зре- (ют),
И процвел меж ними ге- (рцог),
Досторавный Алекса- (ндру);
Стань же в тень его: уда- (ча)
Покровительствует сме- (лым).

Доблестного дворяни- (на)
Ты расскажешь приключе- (нья)
И как суетное чте- (нье)
Голову ему вскружи- (ло).
Дамы, рыцари, турни- (ры)
Завладели им насто- (лько),
Что, воспламенясь любо- (вью),
Как Неистовый Орла- (ндо)[4],
Он стяжал могучей дла- (нью)
Дульсинею из Тобо- (со).

Показных иероглиф- (фов)
Не печатай слишком гу- (сто)[5]:
У кого одни фигу- (ры)[6],

Остается с чистым жи- (ром).
Кто в введенье тих и сми- (рен),
Про того не скажут лю- (ди):
"Экий Альваро де Лу- (на),
Экий Ганнибал наше- (лся)
Иль король Франциск в нево- (ле),
Сетующий на Форту- (ну)!"[7]

Раз уж небу не уго- (дно),
Чтоб была ты столь же хи- (трой),
Как арап Хуан Лати- (но)[8],
То латынь оставь в поко- (е).
Знай, где тонко, там и рве- (тся);
Брось античные цита- (ты);
А иначе, зубы ска- (ля),
Тот, кто видит, в чем тут шту- (ка),
Скажет, наклоняясь к у- (ху):
"Что ты мне очки втира- (ешь)?"

Не пускайся в описа- (нья),
Не влезай в чужие жи- (зни),
Ибо то, что шевели- (тся),
Надо обходить пода- (льше);
Также принято по ша- (пке)
Бить того, кто остросло- (вит);
Лучше уж спали ты бро- (ви),
Чтоб добиться доброй сла- (вы),
Ибо тот, кто пишет вра- (ки),
Вечной податью обло- (жен).

Помни, что весьма неле- (по)
Обладать стеклянной кры- (шей)
И хватать с земли булы- (ги)
Чтобы их кидать в сосе- (да).
Человек, умом степе- (нный),
В сочиненьях, им сложе- (нных),
Ноги ставит осторо- (жно);
Тот же, кто плодит бума- (гу),
Чтобы веселить куха- (рок),
Пишет через пень-коло- (ду).

АМАДИС ГАЛЛЬСКИЙ[9] ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

СОНЕТ

Ты, чья судьба мою изобразила,
Когда, вдали от цели заповедной,
Я жил, отвержен, над Стремниной Бедной[10],
Где всех восторгов скорбная могила;

О ты, кого несякнущая жила
Соленых слез поила влагой бледной
И, жестяной, серебряной и медной
Лишив красы, земля с земли кормила, –

Живи, уверен в том, что век за веком
Или дотоль, пока в четвертом небе
Торопит коней Феб золоторунный,

Ты будешь слыть бесстрашным человеком,
Твоей отчизны будет первый жребий,
Твой мудрый автор – выше всех в подлунной!

ДОН БЕЛЬЯНИС ГРЕЧЕСКИЙ[11] ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

СОНЕТ

Я бил, пронзал, крушил, вещал и деял,
Как ни один воитель во вселенной;
Я был искусный, смелый и надменный,
Тьму отомстил неправд, тьму тем развеял.

Я подвигами гром в веках посеял;
Я был поклонник верный и смиренный;
Мне в великане мнился карл презренный,
И честь в боях я, как никто, лелеял.

От счастья к счастью шла моя дорога,
И, взят за чуб, за мной тащился, плача,
Сопротивляющийся лысый Случай[12].

Но хоть и выше месячного рога
Вознесена была моя удача,
Тебе завидую, Кихот могучий.

СЕНЬОРА ОРИАНА ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ

СОНЕТ

Когда б могла, для вашего покоя,
Свой Мирафлорес[13] пышный не жалея,
Сменить твоим Тобосо, Дульсинея,
А Лондон – деревенской простотою,

Когда б могла я, телом и душою
В тебя преобразившись, чудодея
Идальго увидать, что, честь лелея,
Весь увлечен чудовищной борьбою,

Когда б от Амадиса честь спасла я,
Как ты обереглась от Дон Кихота,
В ком дерзости нельзя сыскать и тени,

В меня бы зависть не вселилась злая,
К веселью вместо слез была б охота,
И я за радость не платила б пени[14].

ГАНДАЛИН, ОРУЖЕНОСЕЦ АМАДИСА ГАЛЛЬСКОГО, САНЧО ПАНСЕ, ОРУЖЕНОСЦУ ДОН КИХОТА

СОНЕТ

Привет тебе, муж славный, кем вожатый –
Судьба и счастье – так руководили,
Что званием почетным наградили,
И ты пошел путем как завсегдатай.

Теперь выходит, что и серп с лопатой
Искусству бранному не повредили;
На простоты основываясь силе,
Мной будет обличен гордец богатый.

Завидно имя, ослик благонравный,
Завидны сумки, что, нужду предвидя,
Ты набивал с прилежностью законной.

Привет еще раз, Санчо, муж столь славный,
Что лишь тебе испанский наш Овидий[15]
Почтенье выражает *бускороной*[16].

ДОНОСО[17], ПОЭТ ПЕРЕМЕШАННОГО СТИЛЯ, САНЧО ПАНСЕ И РОСИНАНТУ

САНЧО ПАНСЕ

Санчо я – оружено- (сец)
Дон Кихота господи- (на).
Ноги по пыли пусти- (лись),
Чтоб пожить разумно до- (ма).
Вильядьего[18] сделал то (же),
Видя мудрости зако- (ны)
В благовременном ухо- (де),
Как нас учит "Селести- (на"),
Прямо божеская кни- (га),
Не такой она будь го- (лой).

РОСИНАНТУ

Росинант я преслову- (тый),
Правнук славного Бабье- (ки)[19],
И за тощее за те- (ло)
Дон Кихоту отдан в слу- (ги).
Как скакун, меня нет ху- (же),
Но зато и крупной ры- (сью)
От меня овсу не скры- (ться).
Ласарильо[20] сам почу- (ял),
Как солому я подсу- (нул),
Чтоб вино слепого вы- (пить).

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

СОНЕТ

Хоть ты не пэр, тебе не будет пары,
Из сотни пэров ты бы мог быть пэром;
Где ты – нет места равным кавалерам,
Непобедим ты, как твои удары.

Роланд я, о Кихот, что в виде кары
За страсть к Анджелике на море сером
Свою отвагу нес любви примером,
Ее ж забвенья не коснулись чары.

Я у тебя не отнимаю лавра.
Из подвигов та честь проистекает,
Хоть ты, как я, и потерял свой разум,

Но ты мне равен, победивши мавра
И скифа дикого, – для них равняет
Любовь нас горькая обоих разом.

РЫЦАРЬ ФЕБА[21]
ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

СОНЕТ

Моей наложит ваша шпага пятна,
Испанский Феб, утонченный вельможа,
И с вашею моя рука не схожа:
Ты – луч в стране, где солнце беззакатно.

Империи я презрел; хоть приятно
Востока подношенье, но негоже
Не бросить все и не воспрянуть с ложа,
Коль Кларидьяны лик зовет обратно[22].

Я предан ей, как редкостному чуду,
И, разлученный, так воспламенился,
Что потряслися адовы державы!

И Дон Кихот прославился повсюду:
В веках чрез Дульсинею утвердился,
Она же чрез него достигла славы.

СОЛИСДАН[23]
ДОН КИХОТУ ЛАМАНЧСКОМУ

СОНЕТ

Хотя безлепиц рой, а их немало,
Во тьме ваш разум, Дон Кихот, оставил,
Но человеком низким, грубых правил
Вас никогда молва не признавала.

Дела вам будут вместо трибунала:
Тот в памяти себя навек прославил,
Кто исправленье зла за цель поставил,
Хотя бы плоть от подлых и страдала.

И если Дульсинея, ваша дама,
Пред вами оказалася неправой
И чувств ее не стали вы виновник,

Утешьтесь мыслью средь такого срама,
Что Санчо Панса дрянью был лукавой:
Туп он, крута она, вы – не любовник.

ДИАЛОГ МЕЖДУ БАБЬЕКОЙ И РОСИНАНТОМ

СОНЕТ

Б. Как, Росинант почтенный, вам живется?
Р. Да так, что не видна работе смена!
Б. А как насчет соломы там и сена?
Р. Охапки получить не удается.

Б. Ну, полноте, сеньор, так не ведется:
Вы, как осел, браните сюзерена.
Р. Он сам – осел, ослиное колено.
Вот полюбуйтесь-ка: в любви клянется!

Б. А что? Любовь глупа? *Р.* Ума немного.
Б. Философ стали вы! *Р.* Так, с голодовки.
Б. На Пансу жалуйтесь. *Р.* А выйдет что же?

Кого тревожить жалобами, – Бога,
Когда хозяин и дворецкий ловкий
На Росинанта, как одры, похожи?

⟨ПЕРВАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

ГЛАВА I

в которой повествуется о нраве и обычае знаменитого идальго Дон Кихота Ламанчского

В некоем селе Ламанчи[1], имени которого мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идальго[2] из числа тех, что имеют родовое копье, древний щит, тощую клячу и борзую собаку. Олья, в которой было куда больше говядины, чем баранины[3]; на ужин почти всегда винегрет[4]; по субботам яичница с салом[5], по пятницам чечевица[6], по воскресеньям в виде добавочного блюда голубь[7] – на все это уходило три четверти его доходов. Остальное тратилось на плащ из доброго сукна, на бархатные штаны и туфли для праздничных дней, – в другие же дни недели он рядился в костюм из домашнего сукна, что ни на есть тонкого. В доме у него жила экономка, которой перевалило за сорок лет, племянница, которой было около двадцати, и слуга для домашних и полевых работ: в его должность входило седлать дряхлую лошадь и орудовать садовым ножом. Было нашему идальго лет под пятьдесят[8], крепкого сложения, тощий телом и худощавый лицом, он был страстным охотником и любил рано вставать. Утверждают, что прозывался он[9] Кихада или Кесада (в этом вопросе авторы, писавшие о нем, несколько расходятся); на основании самых правдоподобных соображений можно, однако, предположить, что звали его Кехана. Впрочем, для нашей повести это не имеет большого значения; достаточно того, что в нашем изложении мы ни на волос не уклонимся от правды.

Следует еще сказать, что вышеупомянутый идальго все свои досуги (а досуги его продолжались почти круглый год) посвящал чтению рыцарских романов и предавался этому занятию с такой страстностью и наслаждением, что почти совсем забросил и охоту и управление хозяйством. Любознательность и сумасбродство его дошли до того, что он продал несколько десятин пахотной земли, чтобы накупить себе для чтения рыцарских книг, так что у него в доме были все романы, какие только он мог отыскать. Самыми замечательными из них казались ему произведения знаменитого Фелисиано де Сильва[10], ибо блеск его прозы и хитросплетенность его речей представлялись нашему идальго со-

вершенством. Особенно же нравилось ему читать любовные письма и вызовы на поединки, в которых нередко значилось следующее: "Правота, с которой вы так неправы к моим правам, делает мою правоту столь бесправной, что я не без права жалуюсь на вашу правоту". И еще ему случалось читать: "... высокие небеса, которые своими звездами божественно укрепляют вашу божественность и удостаивают вас достоинства, достойного вашего величия...". Читая такие фразы и силясь их распутать и разгадать их смысл, наш бедный кабальеро совсем терял разум и проводил бессонные ночи, а между тем, если бы сам Аристотель нарочно для этого воскрес, то и он бы ничего не разгадал и ничего не понял. Не легко ему было допустить, что дон Бельянис наносил и получал столь великое множество ран, ибо ему казалось, что, как бы ни были искусны лечившие его врачи, все же и лицо и все тело этого рыцаря должны были быть покрыты рубцами и шрамами. Но тем не менее он очень хвалил автора за то, что тот заканчивает книгу обещанием продолжить эту нескончаемую историю[11], и много раз у него возникало желание взяться за перо и дописать ее до последнего слова, как там было обещано, и он бы, наверное, так и сделал, и сделал успешно, если бы ему не помешали другие, более важные и упорные замыслы. Неоднократно наш кабальеро вел споры с местным священником (человеком ученым, удостоенным степени в Сигуэнсе)[12] о том, кто был более замечательным рыцарем: Пальмерин Английский[13] или Амадис Галльский; но деревенский цирюльник, маэсе Николас, утверждал, что ни одному из них не сравниться с Рыцарем Феба[14], а что если кого и ставить рядом с ним, то уж, конечно, Дона Галаора, брата Амадиса Галльского, потому что в отношении нрава он всем взял: не так был жеманен и плаксив, как его брат[15], а в храбрости нисколько ему не уступал.

Одним словом, наш кабальеро до того пристрастился к чтению, что читал днем от рассвета до сумерек и ночью от сумерек до зари. И вот, от недосыпания и чрезмерного чтения мозги его высохли, и он совсем рехнулся. Воображение его наполнилось историями, которых он начитался в книгах: колдовством, распрями, битвами, вызовами на поединки, ранами, нежными речами, любовными свиданиями, сердечными муками и прочим невозможным вздором. Он до того вбил себе в голову, что вся эта груда трескучих и нелепых книжных выдумок – чистейшая правда, что ничто на свете не казалось ему достовернее этих историй. Он соглашался с тем, что Сид Руй Диас[16] был отличным рыцарем, но прибавлял, что далеко ему до Рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих, чудовищных великанов[17]. Снисходительнее он относился к Бернардо дель Карпио, ибо тот в Ронсевальском ущелье убил очарованного Роланда, применив хитрость Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли, Антея[18]. Очень лестно отзывался он о великане Морганте[19], который, хотя и был из рода гигантов – существ надменных и наглых, – все же вел себя любезно и воспитанно. Но никого он так не одобрял, как Рейнальдо Монтальбанского[20]: ему особенно нравилось, как тот, выезжая из своего замка, грабил всех, кто ему попадался под

руку, или похищал в заморских странах идол Магомета, сделанный, по словам автора, из чистого золота. А за право задать хорошую трепку предателю Ганелону[21] наш идальго охотно бы отдал свою экономку да еще и племянницу впридачу.

Наконец, совершенно свихнувшись, он возымел такую странную мысль, какая никогда еще не приходила в голову ни одному безумцу на свете, а именно, что ему следует и даже необходимо для собственной славы и для пользы родной страны сделаться странствующим рыцарем, вооружиться, сесть на коня и отправиться искать по свету приключений, – одним словом, проделать все то, что в романах обычно проделывают странствующие рыцари: восстанавливать попранную справедливость, подвергаться разным случайностям и опасностям и таким образом обессмертить и прославить свое имя. Бедняга воображал себя, в награду за свои отважные деяния, уже увенчанным короной по меньшей мере Трапезундского царства. Погрузившись в эти отрадные мечты и поддавшись необычайному наслаждению, которое они ему доставляли, он поторопился привести свое намерение в действие. Первым делом он вычистил доспехи, которые принадлежали его прадедам и валялись где-то в углу, заброшенные и покрытые вековой ржавчиной и плесенью. Он вычистил и починил их как мог лучше; но вдруг заметил, что недоставало одной очень важной вещи: вместо шлема с забралом был просто открытый шишак. Однако тут ему помогла его изобретательность: из картона он смастерил полушлем, прикрепил его к шишаку, и получилось нечто похожее на закрытый шлем. Не скроем, что нашему идальго захотелось испробовать его крепость и выяснить, может ли он устоять в битве; с этой целью он выхватил шпагу, нанес ею два удара – и в одну минуту первым же ударом уничтожил работу целой недели. Легкость, с которой забрало разлетелось в куски, ему не очень понравилась, и, чтобы предохранить себя от такой опасности, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что, в конце концов, остался удовлетворенным прочностью и, считая дальнейшие испытания излишними, одобрил свое изделие и убедил себя в том, что это – настоящий шлем с забралом тончайшей работы.

Затем он подверг осмотру свою клячу, и, хотя у нее было больше болезней, чем куарто в реале[22], и больше недостатков, чем у лошади Гонеллы[23], которая tantum pellis et ossa fuit[24], тем не менее он был уверен, что с ней не сравняется ни Буцефал Александра, ни Бабьека Сида. Четыре дня он придумывал, какое бы ей дать имя; ибо, рассуждал он сам с собой, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря, притом и сам по себе столь замечательный, не имел какого-нибудь славного имени. Поэтому ему захотелось назвать его так, чтобы по имени его было сразу понятно, чем он был до того, как сделался конем странствующего рыцаря, и чем стал теперь: он был твердо убежден, что раз хозяин меняет профессию, то и лошадь его должна переменить кличку и получить новое, славное и громкое название, соответствующее новому сану и положению ее господина. Долго он придумывал разные имена, браковал, отбрасы-

вал, опять сочинял, отвергал и снова напрягал свою память и воображение, пока, наконец, не остановился на имени *Росинант*, которое казалось ему возвышенным, звучным и выразительным: оно показывало, что раньше лошадь его была просто клячей, а теперь стала первой клячей на свете и впереди всех остальных[25].

Дав столь удачное имя своей лошади, он решил, что теперь ему нужно придумать имя для самого себя. В этих раздумьях прошла еще неделя, но, наконец, он нашел: *Дон Кихот*[26]. Вот почему авторы этой правдивой истории, как было уже указано, считают, что нашего идальго, без всякого сомнения, звали Кихадо, а не Кесада, как утверждают некоторые другие. Но, вспомнив, что отважный Амади́с не счел для себя достаточным зваться просто-напросто Амадисом, а присоединил к этому имени название своей родины и царства, чтобы прославить его, и потому стал именоваться Амадисом Галльским, наш кабальеро тоже решил прибавить к своему имени название своей родины и именовать себя *Дон Кихотом Ламанчским*: таким образом всем становилось ясно, из какого он рода и страны, и при этом он еще оказывал честь своей родине, присоединяя к своему имени ее название.

И вот, когда оружие было вычищено, шлем с забралом готов, кляча получила новую кличку, и он сам переменил имя, как при конфирмации, ему оставалось только отыскать даму, в которую мог бы влюбиться; ибо известно, что странствующий рыцарь без любви подобен дереву без листьев и плодов или телу без души. Он говорил себе: "Если в наказание за грехи мои или, вернее, по воле счастливой судьбы случится мне как-нибудь сойтись с великаном (как это постоянно бывает со странствующими рыцарями) и я опрокину его в первой же схватке или разрублю его пополам, или, наконец, одолею и заставлю просить пощады, не прекрасно ли иметь на этот случай даму, к которой можно будет отослать его в дар? Он войдет к моей нежной повелительнице, упадет на колени и покорно и смиренно скажет: "Я – великан Каракулиямбро[27], царь острова Малиндрании; меня победил в единоборстве рыцарь Дон Кихот Ламанчский, подвиги которого превосходят всякие похвалы. Он велел мне предстать перед вашей милостью, дабы ваше высочество распорядилось мной по своему усмотрению". Ах, как возвеселился наш добрый рыцарь, произнеся эту речь, а еще больше, – когда он, наконец, нашел, кого сделать дамой своего сердца! Рассказывают, что в соседнем селе жила очень миловидная молодая крестьянка, в которую он некоторое время был влюблен, хотя она, по слухам, об этом и не догадывалась и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонса Лоренсо[28]: ее-то и решил наш рыцарь наградить титулом дамы своего сердца. Подыскивая для нее имя, которое бы не слишком отличалось от ее собственного[29], но вместе с тем напоминало бы имя какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, он решил окрестить ее *Дульсинеей Тобосской*, так как она была родом из Тобосо[30]: именем, на его взгляд, мелодичным, изысканным и не менее выразительным, чем другие, уже выдуманные им имена.

ГЛАВА II

в которой рассказывается о первом выезде хитроумного Дон Кихота из своих владений

Когда все эти приготовления были закончены, Дон Кихот порешил не мешкая приступить к выполнению своего замысла, почитая, что всякое его промедление наносит ущерб человечеству: сколько оскорбленных ждут отмщения, сколько несправедливостей нужно исправить, сколько прав – восстановить, злоупотреблений – уничтожить, долгов – уплатить! И вот, не сообщив никому о своих намерениях, в один прекрасный день, еще до рассвета (это был один из самых знойных июльских дней)[1], он тайно от всех вооружился во все свои доспехи, вскочил на Росинанта, надел на голову свой убогий шлем, схватил щит, взял в руки копье и через задние ворота скотного двора выехал в поле[2], радуясь и веселясь, что ему так легко удалось приступить к столь славному делу. Но не успел он очутиться в открытом поле, как пришла ему в голову мысль такая ужасная, что он чуть было не оставил начатого предприятия: ему припомнилось, что он еще не посвящен в рыцари и что по рыцарским законам он не мог и не смел вступить в бой ни с одним рыцарем; а если бы он даже и был посвящен, то ему следовало бы носить белые доспехи, как новичку, и не изображать на своем щите девиза до тех пор, пока он не заслужит его своей доблестью. От этих размышлений решимость его заколебалась; но безумие одержало верх над всеми доводами, и наш идальго решил, что первый же, кто встретится ему на дороге, посвятит его в рыцари: многие рыцари поступали не иначе, если верить романам, которые довели его до столь плачевного состояния. А что касается белых доспехов[3], то он дал себе слово при первом же удобном случае так начистить свои латы, чтобы были они белее горностая. На этом он успокоился и продолжал свой путь, вполне предавшись воле своей лошади: в этом-то, по его мнению, и состояла сущность приключений.

Плелся шажком наш свежеиспеченный искатель приключений и разговаривал сам с собой:

– Когда в далеком будущем правдивая повесть о моих знаменитых деяниях увидит свет, мудрый мой историк, дойдя до рассказа о моем первом, столь раннем выезде, наверно, начнет так: “Едва светлокудрый Феб распустил по лицу широкой и просторной земли золотые нити своих прекрасных волос, едва маленькие пестрые птички сладкой и нежной гармонией своих мелодичных голосов приветствовали появление румяной Авроры, покинувшей мягкое ложе ревнивого супруга и взлянувшей на смертных с высоты ворот и балконов Ламанчского горизонта, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, встав с изнеживающей перины, вскочил на своего славного коня Росинанта и пустился в путь по древней и знаменитой Монтьельской равнине” (по которой действительно в эту минуту он проезжал).

И затем он прибавил:

– Счастливо будет то время и счастлив тот век, когда, наконец, увидят свет мои славные деяния, достойные быть запечатленными на бронзе, высеченными из мрамора и изображенными на полотне на память грядущим поколениям. Кто бы ты ни был, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем моих чудесных дел[4], прошу тебя, не забудь о добром Росинанте, моем вечном спутнике по всем путям и дорогам!

А потом он заговорил так, как будто и вправду был влюблен:

– О принцесса Дульсинея, владычица моего плененного сердца! Горькую обиду вы мне причинили, изгнав меня и с суровой непреклонностью повелев не показываться на глаза вашей красоте. Да будет вам угодно, сеньора, вспомнить о покорном вам сердце, которое из-за любви к вам переносит такие муки.

И он продолжал нанизывать одну нелепицу на другую, совсем так, как его научили рыцарские романы, и старался по возможности подражать их языку. Ехал он при этом столь медленно, что солнце успело уже высоко подняться и палило с такой силой, что, если бы в его голове оставалось хоть сколько-нибудь мозга, и тот бы расплавился. Так проездил он почти целый день, не повстречав ничего такого, о чем бы стоило рассказывать; это приводило его в отчаяние, потому что ему хотелось как можно скорей с кем-нибудь встретиться и испытать силу своей могучей руки. Одни авторы говорят, что случай в ущелье Ла́писе был его первым приключением, другие же утверждают, что первым было приключение с ветряными мельницами. Мне, однако, по этому поводу удалось достоверно узнать и отыскать в Ламанчских летописях следующее. Наш рыцарь проездил весь этот день, и к вечеру он и его кляча выбились из сил и умирали с голоду. Стал он тогда поглядывать во все стороны в надежде отыскать какой-нибудь замок или пастушью хижину, где бы отдохнуть и подкрепить иссякшие силы, – и вдруг увидел неподалеку от дороги, по которой ехал, постоялый двор. Обрадовался он ему, как путеводной звезде, которая указывала ему путь[5], но не к вратам искупления, а в самую обитель. Стал он погонять лошадь и подъехал к постоялому двору в ту минуту, как начало смеркаться[6].

Случайно в это самое время у ворот стояли две молодые женщины из тех, что называются дамами легкого поведения: они направлялись в Севилью в обществе нескольких погонщиков мулов, решивших заночевать в этой гостинице. А так как нашему искателю приключений все, что он думал, видел и воображал, представлялось созданным в духе и манере читанных им романов, то, увидев постоялый двор, он тотчас же решил, что это – замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с подъемным мостом и глубоким рвом, одним словом, со всеми принадлежностями, которые обычно перечисляются при описании замков. Он приблизился к гостинице (казавшейся ему замком) и в нескольких шагах от ворот, дернув за узду, остановил Росинанта, так как ожидал, что между зубцами башни появится какой-нибудь карлик и затрубит в трубу, извещая о прибытии в замок рыцаря. Но так как карлик медлил, а

Росинант торопился добраться до конюшни, то Дон Кихот подъехал к самым воротам и увидел стоящих там девиц легкого поведения; они показались ему прекрасными девушками или прелестными дамами, вышедшими прогуляться перед воротами замка. И случилось, что в ту самую минуту какой-то свинопас, сгоняя с жнива стадо свиней (которые, без вашего на то соизволения, именно так и прозываются), затрубил в рожок, чтобы собрать их в одно место и Дон Кихот немедленно вообразил то, чего ему так хотелось, а именно, что это карлик оповещает о его приезде. Поэтому он с большим удовлетворением подъехал к дамам, а те, увидев, что к ним приближается какой-то всадник в странном вооружении, с копьем и щитом, испугались и хотели было бежать в гостиницу. Но Дон Кихот, догадавшись, что они удирают от страха, поднял картонное забрало и, показав свое худое запыленное лицо, с отменной учтивостью и непринужденным видом произнес:

– Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь, что я вас чем-нибудь обижу, ибо не в нравах и не в обычае рыцарского ордена, к которому я принадлежу, чинить обиды кому бы то ни было, а тем более столь знатным – как можно заключить по вашему виду – девицам.

Женщины уставились на него, стараясь разглядеть его лицо, полузакрытое дрянным забралом. Когда же они услышали, что незнакомец величает их девицами – званием, столь мало подходящим к их ремеслу, они не могли удержаться от смеха. Их веселость рассердила Дон Кихота, и он сказал:

– Красавицам подобает быть рассудительными, ибо только великие глупцы смеются по пустякам. Говорю вам это не в укор и не в обиду, ибо единственное мое желание – служить вам.

Эти речи, каких обе дамы еще никогда не слышали, и вдобавок жалкая внешность нашего рыцаря заставили их еще громче расхохотаться, отчего Дон Кихот еще сильнее разгневался, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время не появился хозяин гостиницы, человек весьма тучный, а посему и очень миролюбивый. Увидев перед собой эту нелепую фигуру, вооруженную столь разнокалиберными предметами, как копье, легкий щит, панцирь и грузная сбруя, он хотел было присоединиться к обеим девицам в выражениях восторга. Однако, испугавшись этой груды воинских доспехов, он решил заговорить вежливо и начал так:

– Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете все, что полагается, в большом изобилии, за исключением только кровати: ни одной кровати нет в нашей гостинице.

Дон Кихот, услышав, как почтительно говорит с ним комендант крепости (ибо хозяина, конечно, он принял за коменданта, а гостиницу – за крепость), ответил:

– Что бы вы мне ни предложили, сеньор кастелян, я всем буду доволен, ибо, как говорится:

Мой наряд – мои доспехи[7],
А мой отдых – жаркий бой.

Хозяин подумал, что Дон Кихот назвал его кастеляном, приняв его за честного кастильца[8] (тогда как на самом деле был он андулазец с побережья Сан Лукара[9] и вороватостью мог потягаться с самим Каком[10], а мошенничествами – с любым школяром или слугой), и потому ответил так:

– Значит, для вашей милости ложем служит твердый камень, и сном – постоянное бденье? Если так, вы можете спешиться в полной уверенности, что в этой хижине найдете все для этого необходимое и проведете без сна не только одну ночь, а хоть целый год.

С этими словами он придержал стремя, и Дон Кихот спешился с большим трудом и усилиями, ибо целый день ничего не ел.

Затем он попросил хозяина с особенной заботливостью отнестись к его коню, говоря, что это – лучшее из всех животных, питающихся ячменем. Взглянув на Росинанта, хозяин отнюдь не нашел его таким замечательным, как говорил Дон Кихот, а скорей даже совсем наоборот. Отведя лошадь в конюшню, он вернулся спросить, не угодно ли чего гостю. В это время девицы, уже успевшие помириться с нашим рыцарем, снимали с его доспехи. Нагрудник и наспинник снять им удалось, но расстегнуть ожерельник[11] и стащить уродливый шлем – никак было невозможно. Последний был завязан на шее зелеными лентами, и, так как узлы нельзя было распутать, то оставалось только разрезать ленты, а на это Дон Кихот никоим образом не желал согласиться; так он и просидел всю эту ночь в шлеме. Трудно было себе представить более странную и забавную картину. Пока потаскушки его разоружали (а он-то воображал, что это – знатные сеньоры, обитающие в этом замке!), он с большим изяществом декламировал[12]:

Никогда так нежно дамы
Не пеклись о паладине,
Как пеклись о Дон Кихоте,
Из своих земель прибывшем;
Служат фрейлины ему,
Скакуну его – графини,

то есть Росинанту, ибо так зовут моего коня, сеньоры, а мое имя – Дон Кихот Ламанчский. Правда, мне не хотелось открывать вам мое имя до тех пор, пока подвиги, совершенные ради службы вам и во славу мне, не сделают его известным; но удобный случай применить к теперешним обстоятельствам этот старый романс о Ланселоте побудил меня сообщить вам его раньше срока. Впрочем, наступит время – вы будете мне приказывать, а я вам повиноваться, и доблесть моей руки покажет вам, как горячо я желаю вам служить.

Красотки, не привыкшие к подобным риторическим красотам, не отвечали ни слова; они только осведомились, не желает ли он подкрепиться.

– Да, я бы поел чего-нибудь, – ответил Дон Кихот, – и, думается мне, это было бы очень кстати.

Как нарочно, была пятница, и во всей гостинице не нашлось ничего другого, кроме небольшого запаса рыбы, которую в Кастилии называют *абадехо*, в

Андалузии *бакальяо*, а в других местах *курадильо*[13], или еще форельками. Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать *форелек*, так как никакой другой рыбы они не могут предложить. Он ответил:

– Лишь бы было побольше этих форелек, – тогда они заменят одну форель: не все ли равно, получить восемь реалов в мелкой монете или одну монету в восемь реалов? Притом вполне возможно, что *форельки* нежнее, чем большие форели, точно так же, как телятина нежнее говядины и мясо козленка вкуснее, чем мясо козла. Но, как бы там ни было, давайте их скорей, ибо никто не в силах нести воинские труды и таскать тяжелое вооружение, не заботясь о требованиях желудка.

Поставили стол перед воротами гостиницы, чтобы было прохладнее, и хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и отвратительно сваренной трески и кусок хлеба, такого же черного и заплесневевшего, как его доспехи. Трудно было не расхохотаться, видя, как он ел, так как на голове у него был шлем с поднятым забралом, и собственными руками он не мог поднести ко рту ни одного куска; нужно было, чтобы кто-нибудь другой подавал их ему и клал прямо в рот. Одна из дам взяла это на себя. Но напоить его было бы совсем невозможно, если бы хозяин не придумал продолбить тростинку, один конец которой он вставил ему в рот, а через другой лил вино. Все это Дон Кихот переносил с большим терпением, лишь бы только не резать завязок своего шлема. В это время случайно зашел на постоялый двор крестьянин, занимавшийся холощением боровов, и, войдя, раза четыре или пять свистнул в свою камышовую свистульку. Тут Дон Кихот окончательно убедился, что попал в какой-то знаменитый замок, что на пиру играет музыка, что треска – форель, серый хлеб – белая булка, потаскушки – знатные дамы, а хозяин – владелец замка. Поэтому он был в восторге и от своего замысла и от первого выезда. Удручало его только то, что он не посвящен в рыцари: он считал, что у него нет законного права искать приключений, раз он не принадлежит к рыцарскому ордену.

ГЛАВА III

в которой рассказывается о том, каким презабавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

Удрученный этими мыслями, Дон Кихот поспешил закончить свой скудный трактирный ужин. Встав из-за стола, он подозвал хозяина, заперся с ним в конюшне и, бросившись перед ним на колени, начал так:

– О доблестный рыцарь, я не встану с этого места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу: то, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду.

Увидев, что гость стоит на коленях, и услышав подобные речи, хозяин смутился и смотрел на него, не зная, что говорить и что делать; затем стал упраши-

вать его подняться, но Дон Кихот довольно долгое время не хотел встать, пока, наконец, хозяин не пообещал оказать ему просимую милость.

– Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашему вы мне не откажете, – сказал Дон Кихот. – Итак, милость, о которой я вас просил и которую по щедрости вашей вы мне обещали, состоит в том, чтобы завтра на рассвете вы посвятили меня в рыцари. Всю эту ночь я проведу в бдении над оружием в часовне вашего замка, а завтра, как я уже сказал, исполнится, наконец, мое горячее желание, и я смогу законным образом пуститься в странствия по всем четырем странам света и искать приключений, чтобы помогать обездоленным: ибо таково назначение странствующего рыцарства и всех подобных мне странствующих рыцарей, стремящихся к совершению названных мною подвигов.

Мы уже говорили, что хозяин был малый не промах и немного догадывался, что гость его – сумасшедший; услышав столь странные речи, он окончательно в этом убедился и, чтобы позабавиться этой ночью, решил потакать его сумасбродству[1]. Поэтому он ответил Дон Кихоту, что желание и просьба его вполне разумны, что, судя по его гордой внешности и манерам, он, должно быть, благородный рыцарь и что подобное намерение вполне естественно и достойно его звания; что он и сам в молодости занимался этим почетным делом и странствовал по разным частям света в поисках приключений, не преминув посетить[2] Перчелес под Малагой, острова Риарана, севильский Компáс, Асогехо в Сеговин, Оливеру в Валенсии, Рондилью в Гранаде, побережье Сан Лукара, Потро в Кордове, игорные притоны Толедо и многие другие места, где он упражнялся в проворстве ног и ловкости рук и проделывал много всяких проказ: оскорблял вдов, обижал девиц, обманывал малолетних, одним словом, прогремел по всем судам и тюрьмам, какие только есть в Испании; но на склоне дней своих поселился он в этом замке и живет здесь на свой счет, а также и на чужой, принимая у себя всех странствующих рыцарей, какого бы звания они ни были, единственно по своей великой любви к ним, с условием, конечно, чтобы в награду за его доброе отношение они делились с ним своим достоянием[3]. Затем он прибавил, что в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь в бдении над оружием, так как старую он велел снести, желая отстроить ее заново; но ему известно, что в случае необходимости разрешается ночь перед посвящением проводить где угодно; что Дон Кихот может провести ее во дворе замка, а завтра, если Богу будет угодно, он со всеми должными церемониями будет посвящен в рыцари, да еще в такие рыцари, что лучше и не бывает.

Наконец он спросил, есть ли у Дон Кихота при себе деньги. Тот ответил, что у него нет ни гроша, так как ни в одном романе ему не приходилось читать, чтобы странствующие рыцари возили с собой деньги; на что хозяин ответил, что он ошибается, что в романах об этом, правда, не пишется, так как авторы не полагают нужным упоминать о столь очевидно необходимых вещах, как, например, деньги или чистые рубашки, но из этого вовсе не следует, что у рыцарей не бы-

ло при себе ни того, ни другого; напротив, он достоверно и твердо знает, что странствующие рыцари, подвигами которых переполнено столько романов, всегда имели при себе на всякий случай туго набитые кошельки, равно как рубашки и баночку с мазью, которой они лечили свои раны: ведь не каждый же раз в полях и пустынях, где они сражались и падали ранеными, можно было разыскать лекаря! Конечно, некоторые из них бывали в дружбе с каким-нибудь мудрым волшебником, и тогда тот прямо по воздуху посылал им на облаке какую-нибудь девицу или карлика с пузырьком чудодейственной воды: стоило только рыцарям выпить несколько капель, как тотчас же раны и язвы их исчезали, как будто их никогда и не было; но когда у них не находилось такого покровителя, рыцари былых времен считали вполне уместным, чтобы их оруженосцы были снабжены деньгами и другими необходимыми вещами, как, например, мазями и корпией на случай ранения; а если случалось, что у них не было оруженосцев (что, впрочем, бывало очень редко), то они сами возили все эти запасы в маленьких сумочках, тщательно спрятанных на крупе у лошади, как предмет первостепенной важности, ибо, за исключением подобных случаев, у странствующих рыцарей не было в обычае возить с собой сумку. Итак, хозяин посоветовал Дон Кихоту (хотя он мог бы ему и приказывать, как младшему собрату, каковым в недалеком будущем ему надлежало стать) не пускаться отныне в путь без денег и необходимых запасов: он сам увидит, что они пригодятся ему, когда он менее всего будет на них рассчитывать.

Дон Кихот обещал в точности последовать его совету и тотчас же стал готовиться провести ночь перед посвящением на большом дворе, примыкавшем к гостинице. Он собрал все свои доспехи, положил их на колоду, стоявшую около колодца, и, схватив копье и щит, принялся с большим достоинством прохаживаться перед колодой. Уже наступала ночь, когда он начал эту прогулку.

Хозяин рассказал всем своим постояльцам о безумии Дон Кихота, о том, что он бдит над оружием и завтра ожидает посвящения в рыцари. Удивленные таким необыкновенным видом помешательства, все они пошли посмотреть на него и издали увидали, что наш рыцарь то мирно и важно прогуливается, то, опершись на копье, устремляет взоры на свои доспехи и смотрит на них, не отрываясь долгое время. Между тем совсем наступила ночь, но луна сияла так ярко, что было светло как днем, и зрителям было видно все, что делал наш поступающий в орден рыцарь. В это время одному из погонщиков, ночевавших в гостинице, вздумалось сходить за водой, чтобы напоить своих мулов, а для этого ему нужно было сбросить с колоды доспехи Дон Кихота. Последний, заслышав его шаги, заговорил громким голосом:

– Кто бы ни был ты, дерзостный рыцарь, простирающий руку к доспехам самого доблестного из всех странствующих рыцарей, когда-либо опоясывавших себя шпагой, подумай сначала, что ты делаешь! Не прикасайся к ним, не то ты заплатишь жизнью за свою дерзость.

Погонщик и головы не повернул на эти слова (и напрасно, потому что тогда бы его голова осталась цела); напротив, он подхватил доспехи за ремни и

швырнул их далеко в сторону. Увидев это, Дон Кихот устремил глаза к небу и, видимо обращаясь мысленно к своей сеньоре Дульсинее, сказал:

– Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, нанесенной порабощенному вами доблестному сердцу: не лишите меня в этом первом испытании вашей милости и опоры.

И, продолжая свою речь в том же роде, он отложил в сторону щит, поднял обеими руками копье и с такой силой хватил погонщика по голове, что тот растянулся на земле в самом плачевном виде: если бы Дон Кихот нанес еще один удар, его противнику было бы уж незачем обращаться к врачу. Сделав дело, Дон Кихот уложил обратно свои доспехи и принялся расхаживать так же спокойно, как и прежде. Спустя некоторое время, не подозревая о случившемся (ибо первый погонщик все еще лежал, оглушенный ударом), вышел второй погонщик, который тоже хотел напоить своих мулов, и когда, чтобы очистить колоду, он стал снимать с нее доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и ни у кого не прося заступничества, вторично отложил в сторону щит, вторично поднял копье и хватил им второго погонщика по голове так удачно, что копье не сломалось, а череп раскололся на три-то точно, а может, и на все четыре части. На шум прибежали все постояльцы, в том числе и хозяин. Увидев их, Дон Кихот схватил щит и, взявшись за шпагу, воскликнул:

– О царственная красота, крепость и сила моего изнемогшего сердца! Наступил час, когда ты должна обратить взоры твоего величия на плененного тобой рыцаря, вступающего в столь великую битву.

И казалось ему, что эти слова пробудили в нем такую отвагу, что, нападай на него все погонщики на свете, он и тогда не отступил бы ни на один шаг. Товарищи раненых погонщиков, увидя их простертыми на земле, стали издали осыпать градом камней Дон Кихота, который, как мог, защищался от них щитом, но не отходил от колоды, не желая покинуть свои доспехи. А хозяин кричал, чтобы они перестали: он-де уже объяснил им, что этот человек – сумасшедший, всех их перебьет, а с него, как с сумасшедшего, ничего не взыщешь. Но Дон Кихот кричал еще громче, называя их всех негодяями и предателями, а владельца замка – лихим вероломцем, допускающим, чтобы странствующие рыцари терпели в его замке такие обиды; и прибавлял, что, будь он уже посвящен в рыцари, он бы его тотчас проучил за такое предательство.

– А вы, подлые и низкие холопы, я вас просто презираю: швыряйте камни, подходите, подступайте, нападайте, сколько вам вздумается, – вы получите сейчас награду за вашу наглость и безумие!

Говорил он это с таким задором и отвагой, что нападающих охватил великий страх. Под влиянием этого страха, а также уговоров хозяина, они в конце концов перестали бросать камни, после чего Дон Кихот позволил убрать раненых и снова принялся охранять доспехи с прежней важностью и спокойствием.

Эти шутки пришлись хозяину не по вкусу, и, чтобы положить делу конец, он решил немедля посвятить гостя в этот чёртов рыцарский орден, пока не приключилось еще новой беды. Посему он приблизился к Дон Кихоту и, извинив-

шись за наглость, с которой без всякого его ведома обошлась с ним эта подлая челядь, обещал примерно наказать ее за дерзость. Затем еще раз повторил, что в замке не имеется часовни, да, впрочем, она и не нужна, так как уже почти все сделано: поскольку он сведущ в рыцарском церемониале, вся хитрость посвящения в рыцари состоит в ударе рукой по затылку и шпагой по плечу, а ведь это можно проделать и посреди поля; что же касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, ибо обычно продолжается оно всего два часа, а Дон Кихот простоял уже более четырех. Наш рыцарь всему этому поверил и ответил, что он готов повиноваться и просит исполнить обряд возможно скорее: ибо, когда он будет посвящен и кому-нибудь снова вздумается на него напасть, он не оставит в замке ни одной живой души, пощадив, из уважения к владельцу замка, лишь тех, за кого тот заступится.

Напуганный этими словами, хозяин, человек сметливый, тотчас же притащил книгу, в которой он записывал, сколько ячменя и соломы было выдано погонщикам; затем, в сопровождении мальчика, несшего огарок свечи, и двух уже упомянутых девиц, приблизился к Дон Кихоту, велел ему опуститься на колени, сделав вид, что читает по книге какую-то благочестивую молитву, посреди чтения поднял руку и со всего размаху хлопнул его по шее, потом его же собственной шпагой здорово хватил по плечу, продолжая бормотать себе под нос что-то вроде молитвы. Сделав это, он велел одной из этих дам опоясать посвященного мечом, что та и исполнила с большой ловкостью и сдержанностью; да и понятно, что ей приходилось сдерживаться: каждую минуту во время этой церемонии она готова была лопнуть со смеху; однако подвиги, которые рыцарь, готовясь к своему посвящению, проделал на ее глазах во дворе, заставили ее подавить смех. Опоясывая его мечом, добрая сеньора сказала:

– Пошли Бог вашей милости счастья в рыцарских делах и удачи в сражениях.

Дон Кихот спросил, как ее зовут, ибо он желал знать на будущее время, какой даме он обязан столь великой милостью, чтобы со временем разделить с ней почести, которых он надеялся достичь силою своей руки. Она с большим смирением отвечала, что зовут ее Ла Толоса, что она дочь сапожни́ка из Толедо, живущего в рядах на площади Санчо Бьенайи, и что, где бы она ни находилась, она всюду готова ему служить и почитать своим господином. Дон Кихот попросил ее из любви к нему сделать ему милость – отныне прибавлять к своему имени *дон* и именоваться доньей Толосой[4]. Она пообещала. Затем другая дама надела ему шпоры, и с нею у него произошел такой же разговор, как и с той, что опоясала его мечом. Он спросил, как ее имя, и она ответила, что зовут ее Ла Молинера[5] и что она дочь честного мельника из Антекеры. Ее Дон Кихот тоже попросил прибавить к своему имени *дон* и называться доньей Молинерой; при этом он рассыпался перед ней в благодарностях и предложениях услуг. Когда все эти еще доселе невиданные церемонии были проделаны с такой быстротой и таким галопом, Дон Кихот поторопился сесть на коня: очень уж не терпелось ему отправиться на поиски приключений. Он оседлал Росинанта, вскочил на него и, обняв хозяина, стал благодарить его за посвящение в таких

необыкновенных выражениях, что нет никакой возможности передать их. А хозяин, обрадованный его отъездом, отвечал на его речи более краткими, но не менее риторическими фразами и, не взяв ничего за ночлег, отпустил его подобру-поздорову.

ГЛАВА IV

о том, что случилось с нашим рыцарем после того, как он выехал с постоялого двора

Уже рассветало[1], когда Дон Кихот выехал с постоялого двора, и был он так доволен, так горд, так взволнован своим посвящением в рыцари, что от радости у него подпруги ходуном ходили. Но, вспомнив о советах хозяина относительно необходимых запасов, которые следует брать с собой, – особенно денег и рубашек, – он решил вернуться домой, чтобы запастись всем нужным и подыскать себе оруженосца; он рассчитывал при этом на одного крестьянина, своего соседа, человека бедного и многосемейного, но весьма пригодного для должности рыцарского оруженосца. С этими мыслями он повернул Росинанта по направлению к деревне, и тот, как будто поняв желание своего господина, с такой готовностью побежал рысцой, что, казалось, копыта его не касались земли.

Не успел наш рыцарь проехать нескольких шагов, как показалось ему, что из чащи леса, находившегося по правую его руку, послышались слабые и жалобные стоны; и, едва услышав их, он сказал:

– Благодарю небо за милость, мне ниспосланную! Вот уже и представляется мне случай исполнить долг рыцаря и пожать плоды моего благородного решения: несомненно, это стонет какой-нибудь нуждающийся или нуждающаяся, имеющие нужду в моем заступничестве и помощи.

И, дернув Росинанта за узду, он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны. Как только он въехал в лес, глазам его предстала кобыла, привязанная к дубу, а рядом с ней к другому дереву был привязан мальчик лет пятнадцати, обнаженный до пояса; это он и стонал, да и не без причины, так как какой-то дюжий крестьянин нещадно стегал его ременным поясом, сопровождая каждый удар назиданиями и советами.

– Вперед не зевай, – приговаривал он, – а сейчас помалкивай.

Мальчик отвечал:

– Больше никогда не буду, сеньор; клянусь страстями Господними, никогда больше не буду; даю вам слово, что вперед буду лучше смотреть за стадом.

Увидев эту картину, Дон Кихот воскликнул гневным голосом:

– Недостойный рыцарь, стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться: садитесь на коня, берите копье (копье крестьянина стояло, прислоненное к тому же дубу, к которому была привязана кобыла), и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Увидев над своей головой какую-то фигуру, увешанную оружием и размахивающую копьем перед самым его носом, крестьянин решил, что пришел ему конец, и потому кротким голосом ответил:

– Сеньор рыцарь, мальчишка, которого я наказываю, – мой слуга, пасущий неподалеку отсюда стадо моих овец; он такой разиня, что у меня каждый день пропадает по овце. Я его наказываю за небрежность и злонравие, а он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалованье. Он лжет, клянусь вам Богом и спасением души!

– "Лжет"! Ты это говоришь в моем присутствии, низкий грубиян?[2] – воскликнул Дон Кихот. – Клянусь солнцем, которое нам светит, я сейчас насквозь проткну тебя копьем. Немедленно же уплати ему и не разговаривай; не то – клянусь Царем Небесным! – я одним ударом вышибу из тебя дух и прикончу на месте. Сейчас же отвяжи его!

Крестьянин понурил голову и, не говоря ни слова, отвязал мальчика, а Дон Кихот спросил у того, сколько хозяин ему должен. Мальчик отвечал, что за девять месяцев, считая по семи реалов в месяц. Дон Кихот подсчитал – вышло шестьдесят три реала[3] – и потребовал у крестьянина немедленно же раскошелиться или готовиться к смерти. Испуганный крестьянин поклялся грозящей ему гибелью и сослался на свою предыдущую клятву (хотя он вовсе и не клялся), что долг его не так велик; что следует записать в счет и вычесть из этой суммы стоимость трех пар башмаков, которые слуга сносил, и двух кровопусканий, сделанных ему во время болезни и стоивших один реал.

– Допустим, что так, – ответил Дон Кихот. – Но, отстегав его без всякой вины, вы получили сполна и за сапоги и за кровопускания; ибо, если он порвал кожу башмаков, которые вы ему купили, то и вы порвали ему его собственную кожу; и если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете кровь у здорового. Значит, в этом отношении вы с ним квиты.

– Да все-то горе в том, сеньор рыцарь, что у меня при себе нет денег. Пускай Андрес отправится со мной домой, и я заплачу ему все до последнего реала!

– Чтобы я с ним пошел? – воскликнул мальчик. – Да ни за что́, сеньор, сохрани меня Бог! И не подумаю. Ведь как только мы с ним останемся вдвоем, он сдерет с меня кожу, как со святого Варфоломея.

– Он этого не сделает, – возразил Дон Кихот. – Достаточно мне ему приказать, и он окажет мне почтение. Путь он только поклянется рыцарским орденом, к которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.

– Да помилуйте, ваша милость, сеньор, что вы говорите! – сказал мальчик. – Мой хозяин вовсе не рыцарь и ни в какой рыцарский орден не записан: ведь это – Хуан Альдудо, богатей из деревни Кинтанар.

– Это неважно, – отвечал Дон Кихот. – И Альдудо может быть рыцарем, тем более что каждый из нас – сын своих дел[4].

– Это-то правда, – сказал Андрес. – Но только мой хозяин – каких же таких дел он сын, раз он отказывается мне заплатить за труды и службу?

– Я не отказываюсь, сыночек Андрес, – прервал его крестьянин. – Сделайте только милость последовать за мной, и я клянусь вам всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу вам, как уже сказал, все до последнего реала, да еще в новенькой монете.

– Разрешаю вам и не в новенькой, – сказал Дон Кихот. – Я буду вполне удовлетворен, если вы заплатите обыкновенными реалами. Смотрите же, сдержите вашу клятву – не то я, в свою очередь, клянусь вам, что вернусь, отыщу вас и накажу: вы можете спрятаться, как ящерица, – все равно я вас найду. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, так знайте же (теперь вы с бóльшим рвением исполните обещание): я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, мститель за обиды и несправедливости. Оставайтесь с Богом и не забудьте об обещании и клятве, не то вас постигнет кара, мною вам обещанная.

С этими словами он дал шпоры Росинанту и быстро удалился от них. Крестьянин проводил его глазами и, убедившись, что рыцарь скрылся в лесной чаще и исчез из виду, обратился к своему слуге Андресу и сказал:

– Послушай, сыночек, я хочу заплатить тебе свой долг, как мне приказано этим мстителем за обиды.

– Даю вам слово, – отвечал Андрес, – что ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря – дай Бог ему тысячу лет жизни за его доблесть и правый суд! И клянусь вам святым Роке, что, если вы мне не заплатите, он тотчас же вернется и расправится с вами, как обещал.

– И я тоже клянусь, – ответил крестьянин, – а так как я очень тебя люблю, то сейчас и увеличу долг, чтобы увеличить платеж.

И, схватив его за руку, он снова привязал его к дубу и отстегал до полусмерти.

– Ну, а теперь, сеньор Андрес, – молвил крестьянин, – вы можете звать вашего мстителя за обиды: увидете, как он за вас отомстит. Впрочем, мне кажется, что я вам нанес эту обиду еще не сполна: уже больно мне хочется содрать с вас живого кожу, как вы сами этого опасались.

Все же, в конце концов, он его отвязал и дал ему разрешение отправиться на поиски своего судьи, дабы тот исполнил произнесенный им приговор. Андрес с унылым видом ушел, клянясь, что он разыщет доблестного Дон Кихота Ламанчского и расскажет ему во всех подробностях о случившемся, и тогда хозяину придется заплатить сторицей. Но, как бы там ни было, он ушел в слезах, а хозяин его стоял и смеялся: вот каким способом доблестный Дон Кихот отомстил за обиду.

Между тем, нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное и счастливое начало своим рыцарским подвигам. Вполне удовлетворенный происшедшим и крайне довольный самим собой, он продолжал ехать в сторону своего села, говоря вполголоса:

– О прекрасная Дульсинея Тобосская, поистине можешь ты почитать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле, о красавица из красавиц! ибо тебе даровано судьбою повелевать, как рабом, покорным твоей воле и

желаниям, столь отважным и славным рыцарем, каким явил себя и впредь явит Дон Кихот Ламанчский. Весь мир знает, что вчера он был посвящен в рыцари, а сегодня уж отомстил за обиду и несправедливость, каких никогда еще не измышляло злонравие и не совершала жестокость: ибо сегодня он вырвал бич из рук бесчестного злодея, который без всякой причины истязал слабого отрока.

Тут он подъехал к месту, где скрещивались четыре дороги, и тотчас же ему пришло на память, что странствующие рыцари обычно останавливались на перепутьях и размышляли, по какой дороге поехать. Чтобы последовать их примеру, он тоже постоял некоторое время и, хорошенько обдумав положение, отпустил Росинанту узду и подчинил свою волю воле клячи, которая осталась при своем первом намерении, то есть избрала путь, ведущий в конюшню. Проехав с две мили, Дон Кихот заметил большую компанию людей: это были, как впоследствии выяснилось, купцы из Толедо, направлявшиеся в Мурсию закупать шелк. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении четырех верховых слуг и трех погонщиков мулов, шедших пешком. Не успел Дон Кихот их разглядеть, как ему уже представилось, что его ждет новое приключение; и, желая во всем, поскольку это казалось ему возможным, подражать обычаям, о которых он читал в романах, он решил, что тут будет кстати исполнить один задуманный им план. Поэтому с гордым и отважным видом укрепился он в стременах, сжал в руке копье, прикрыл грудь щитом и, остановившись посредине дороги, стал поджидать приближения странствующих рыцарей (ибо таковыми он считал купцов); а когда они подъехали на такое расстояние, что могли его видеть и слышать, он возвысил голос и горделиво сказал:

– Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что во всем свете нет девицы более прекрасной, чем императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея Тобосская!

Услышав такие слова и увидев странную фигуру говорившего, купцы остановились: и по словам и по фигуре незнакомца они сразу догадались, что он сумасшедший. Но им хотелось узнать, почему он требует от них такого признания, и один из них, немножко шутник и пребольшой остроумец, ответил:

– Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора, о которой вы говорите. Покажите ее нам, и, если окажется, что она и вправду так красива, как вы утверждаете, мы с полной охотой и без всякого принуждения признаем это и исполним ваше требование.

– Если я ее вам покажу, – сказал Дон Кихот, – и вы признаете столь очевидную истину, – в чем же будет заслуга? Я именно требую от вас, чтобы вы, не видев ее, поверили, признали, подтвердили, поклялись и отстаивали эту истину. В противном случае я вызываю вас на бой, безобразные и наглые людишки. Выходите либо по очереди, как этого требует рыцарский закон, либо все вместе, по дурному обыкновению людей вашего звания: я жду вас и готов достойно встретить, уверенный в своей крепкой правоте.

– Сеньор рыцарь, – ответил купец, – умоляю вашу милость от имени всех этих принцев, моих спутников, – чтобы не пришлось нам брать на душу греха,

признавая нечто, чего мы никогда не видели и о чем никогда не слышали, тем более, что этим признанием мы наносим большой ущерб императрицам и королевам Алькаррии и Эстремадуры[5], – показать нам какой-нибудь портрет этой сеньоры, будь он не больше пшеничного зерна: говорится ведь, что по шерстинке узнают овечку! Это нас вполне успокоит и убедит, и ваша милость тогда удовлетворится, получив желаемое. Мы уж и сейчас настолько склонны согласиться с вами, что если на портрете, который вы нам покажете, обнаружится, что дама ваша на один глаз крива, а из другого у нее сочится киноварь и сера, мы все равно, в угоду вашей милости, признаем за ней какие вам будет угодно достоинства.

– Ничего подобного у нее не сочится, подлый негодяй, – вскричал, распалившись гневом, Дон Кихот, – слышите, ничего подобного! Она источает драгоценную амбру и мускус, и вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как гвадаррамское веретено[6]. Вы мне заплатите за величайшее кощунство, которым вы оскорбили несравненную красоту моей дамы!

И, сказав эти слова, он взял копье наперевес и в бешенстве и гневе устремился на своего собеседника, так что, если бы на счастье его посредине дороги Росинант не споткнулся и не упал, то дерзкому купцу пришлось бы плохо. Росинант упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону. Несмотря на все свои усилия, он долгое время не мог встать на ноги: очень уж ему мешали копье, щит, шпоры, шлем и тяжелые старые доспехи. Тщетно стараясь подняться, он между тем продолжал говорить:

– Не бегите, трусы, негодяи, погодите! Не моя вина, что я упал, это мой конь виноват!

Один из погонщиков мулов, видимо не отличавшийся кротостью, услышав, что выбитый из седла бедный рыцарь продолжает осыпать их оскорблениями, не мог этого стерпеть и решил в ответ пересчитать ему ребра. Он подошел к Дон Кихоту, выхватил у него копье, сломал его в куски и одним из них принялся так колотить нашего рыцаря, что, несмотря на его доспехи, измолол его, как зерно на мельнице. Купцы кричали, чтобы он перестал и прекратил его бить, но погонщик увлекся и не хотел бросать игры, пока не истощил весь запас своего гнева. Он брал в руки один кусок копья за другим и ломал их на спине несчастного, простертого на земле рыцаря, который, несмотря на сыпавшийся на него град ударов, не умолкал и продолжал угрожать небу, земле и тем, кого он принимал за разбойников.

Наконец погонщик устал, и купцы поехали дальше; разговоров о бедном избитом рыцаре хватило у них на все путешествие. Дон Кихот, увидев, что враги удалились, снова попробовал подняться. Но если раньше, целый и невредимый, он не мог встать, то как теперь, избитый до полусмерти, мог бы он это сделать? И все-таки он почитал себя счастливым, воображая, что именно такие невзгоды случаются со странствующими рыцарями и что во всем виноват его конь; только встать он никак не мог, так болели у него все кости.

ГЛАВА V

в которой продолжается рассказ о злополучии нашего рыцаря

Итак, убедившись, что он действительно не в силах шевельнуться, наш рыцарь решил прибегнуть к своему обычному лекарству, а именно: вспомнить о каком-нибудь случае, известном ему из книг[1]; и его безумному воображению представилась сцена между Балдуином и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил Балдуина раненым в горах, – история, хорошо знакомая детям, небезызвестная юношам, пользующаяся любовью и доверием старцев и, несмотря на все это, не более достоверная, чем чудеса Магомета. Дон Кихоту показалось, что она вполне подходит к его печальному положению: и вот, стал он кататься по земле и с глубоким чувством повторять слабым голосом слова, вложенные автором романса в уста раненого Рыцаря Леса[2]:

О, приди, моя сеньора,
Разделить мою печаль!
Или ты о ней не знаешь,
Иль тебе меня не жаль?

Продолжая этот романс, он дошел до следующих стихов:

О властитель Мантуанский,
Дядя мой и государь!

Судьба устроила так, что в то самое время, когда он дошел до этих строк, по дороге случайно проходил крестьянин, житель того же самого села, что и наш рыцарь; он возвращался с мельницы, куда отвозил зерно, и, увидя человека, лежащего на земле, подошел к нему и спросил, кто он такой, что у него болит и почему он так жалобно стонет. Дон Кихот, должно быть, подумал, что перед ним его дядя, маркиз Мантуанский, и поэтому, не отвечая ни слова, продолжал свой романс, в котором говорилось о его несчастиях и о любви сына императора к его супруге, одним словом все, что в этом романсе поется.

Все эти нелепости привели крестьянина в изумление. Сняв с Дон Кихота забрало, разломавшееся от палочных ударов, он обтер его покрытое пылью лицо и, обтерев, тотчас его узнал и сказал:

– Сеньор Кехана (ибо так его звали, когда он еще был в своем разуме и не превращался из мирного идальго в странствующего рыцаря), кто это вас так отделал?

Но Дон Кихот, не отвечая, продолжал свой романс. Тогда добряк, старательно, как только мог, снял с него нагрудник и наспинник, чтобы посмотреть, не ранен ли он; но ни ран, ни крови не оказалось. Затем поднял его с земли и с большим трудом усадил на своего осла, так как ему казалось, что ехать на осле больному будет спокойнее. Наконец он подобрал оружие, даже обломки копья, привязал все это к седлу Росинанта, взял за уздечку и лошадь и осла и направился к деревне, размышляя о безумных речах, которые произносил Дон Кихот. Но и тот

ехал в не меньшей задумчивости, будучи так избит и помят, что едва мог держаться в седле. От времени до времени он испускал вздохи, долетавшие, казалось, до самого неба; это побудило крестьянина снова спросить его, что у него болит. Надо думать, что Дон Кихоту сам дьявол приводил на память разные истории, напоминавшие его собственные приключения, ибо в этот момент он забыл о Балдуине и вспомнил о том, как правитель Антекеры, Родриго де Нарва́эс[3], захватил мавра Абиндарра́эса и заключил его в своем замке. Поэтому, когда крестьянин во второй раз спросил его, как он себя чувствует и что у него болит, он ему ответил в тех же словах и выражениях, в каких пленный Абенсеррах отвечает Родриго де Нарва́эсу в "Диане" Хорхе де Монтемайора, которую читал наш рыцарь. И он так удачно применил к себе это место, что крестьянин, услышав всю эту кучу нелепостей, готов был душу свою продать чёрту; тут-то он понял, что сосед его рехнулся, и стал торопиться доехать до дому, ибо пространные речи Дон Кихота до смерти ему наскучили. А тот в заключение заявил:

– Знайте же, ваша милость, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам только что говорил, ныне – прелестная Дульсинея Тобосская, в честь которой я совершал, совершаю и совершу такие славные подвиги, каких никто на свете не видал, не видит и не увидит никогда.

Крестьянин на это ответил:

– Да поймите, ваша милость, сеньор, – ох, горе мне грешному! – что я вовсе не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а ваш односельчанин Педро Алонсо, а ваша милость не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, сеньор Кехана.

– Я сам знаю, кто я такой[4], – возразил Дон Кихот, – и знаю, что могу быть не только этими рыцарями, а всеми двенадцатью пэрами Франции и девятью мужами Славы[5], ибо подвиги, которые они совершили все вместе и каждый в отдельности, не сравнятся с моими.

Продолжая в таком роде беседовать, они прибыли под вечер в деревню. Но крестьянин выждал, пока не стемнело совсем, так как ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел нашего идальго избитым и едва держащимся на осле. Когда же, по его мнению, наступило подходящее время, он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. А там все были в смятении; пришли два его закадычных друга, местный цирюльник и священник, и разговаривали с экономкой, которая громко восклицала:

– Ну, что вы скажете, ваша милость, сеньор лиценциат[6] Перо Перес (так звали священника), о несчастии моего господина? Вот уже три дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи! Ах, несчастная я женщина! Я так думаю, и это такая же правда, как то, что все мы родились, чтобы умереть: его свели с ума эти проклятые рыцарские романы, которые он постоянно читал; я теперь припоминаю, что он не раз, беседуя сам с собой, говаривал, что ему хочется сделаться странствующим рыцарем и отправиться по всяким странам на поиски приключений. Чтоб Сатана и Варавва забрали все эти книги, погубившие самую разумную голову во всей Ламанче!

То же самое говорила и племянница, которая прибавила еще:

– Знаете ли, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), сеньору моему дяде нередко случалось зачитываться этими проклятыми романами злоключений по двое суток без перерыва. Под конец он бросал книгу, хватался за шпагу и принимался тыкать ею в стены; а когда совсем изнемогал, то заявлял, что убил четырех великанов, ростом с четыре башни, и от усталости с него лил пот, а он утверждал, что это течет кровь из ран, которые он получил во время боя; затем он выпивал большой ковш холодной воды, освежался, успокаивался и заявлял, что это не вода, а драгоценнейший напиток, который принес ему его друг и великий волшебник, мудрый Эскифе[7]. Но во всем этом я виню себя, ибо я не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродствах сеньора моего дяди: вы бы положили им конец, прежде чем они довели его до такого состояния, если б сожгли все эти окаянные книги (а их у него очень много), которые не менее еретических писаний достойны костра.

– Я думаю то же самое, – подхватил священник, – и даю вам слово, что завтра же мы подвергнем их аутодафе и предадим огню, дабы впредь они не толкали людей, начитавшихся их, на дела, которые, должно быть, творит сейчас мой бедный друг.

Дон Кихот со своим спутником слышали весь этот разговор, и крестьянину стал окончательно ясен недуг его соседа; поэтому он громко закричал:

– Откройте, сеньора: прибыл тяжко раненный синьор Балдуин и сеньор маркиз Мантуанский, он же сеньор мавр Абиндарраэс, которого ведет пленным отважный Родриго де Нарваэс, правитель Антекеры.

Все выбежали на его голос; мужчины узнали своего друга, женщины своего хозяина и дядю, и все бросились его обнимать, меж тем как Дон Кихот продолжал сидеть на осле, ибо никак не мог спешиться. Он сказал:

– Погодите вы все: я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если возможно, призовите мудрую Урганду[8], чтобы она перевязала и исцелила мне раны.

– Видите, какое несчастье! – воскликнула тут экономка. – Сердце мое верно чуяло, на какую ногу наш сеньор захромал. Пожалуйте, в добрый час, ваша милость, мы сумеем вас вылечить и без этой *ургады*[9]. Еще раз и еще тысячу раз будь они прокляты, эти самые рыцарские книжки: вот до чего довели они вашу милость.

Затем Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать ему раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим конем Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с десятью великанами: более дерзостных и свирепых созданий, по его словам, земля не производила.

– Та-та-та, – перебил священник, – у нас завелись великаны? Клянусь головой, завтра же, не успеет еще солнце зайти, все они будут сожжены.

Стали они тут расспрашивать Дон Кихота, но тот не пожелал ни о чем рассказывать, а только попросил дать ему поесть и оставить его в покое, ибо больше

всего он нуждается в еде и сне. Желание его было исполнено, а затем священник подробно расспросил крестьянина, каким образом он нашел Дон Кихота. Тот рассказал и повторил все нелепости, которые наш рыцарь говорил, и лежа на земле и едучи на осле; после этого сообщения у лиценциата еще более окрепло желание исполнить свой план. Так он и сделал: на следующий день он зашел за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, и оба они направились в дом Дон Кихота.

ГЛАВА VI

о великом и потешном обследовании, которому священник и цирюльник подвергли библиотеку нашего хитроумного идальго

А тот все еще спал[1]. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, в которой стояли книги – виновники столь великого зла, и она с большой готовностью ему их вручила. Все вошли в сопровождении экономки и увидели более ста больших томов в отличных переплетах и много других поменьше. И, как только экономка увидела их, она с большой поспешностью выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чашкой святой воды и кропилом.

– Возьмите-ка это, сеньор лиценциат, – сказала она, – и окропите комнату, а то еще явится один из волшебников, которыми переполнены эти книги, и очарует нас в отместку за то, что мы собираемся посрамить всю его братию и сжить их всех со света.

Простота экономки заставила лиценциата рассмеяться, и он попросил цирюльника передавать ему книги одну за другой, чтобы выяснить, о чем в них говорится: ведь могло случиться, что некоторые из них и не заслуживали казни огнем.

– Нет, нет, – воскликнула племянница, – ни одна из них не стоит помилования: все они повинны в нашей беде. Лучше всего выбросим их через окно во двор, сложим в кучу и подожжем или же отнесем на скотный двор и там устроим из них костер; этак дым нас не будет беспокоить.

То же говорила и экономка: вот до чего жаждали они гибели этих неповинных младенцев. Но священник не согласился с ними и пожелал сначала прочесть хотя бы заглавия книг. Первою, которую маэсе Николас ему вручил, оказалась история *Амадиса Галльского* в четырех частях[2]. Священник сказал:

– Я вижу в этом перст судьбы, ибо я слышал, что это – первый рыцарский роман, отпечатанный в Испании[3], и что от него ведут свое начало и происхождение все остальные[4]. Посему я полагаю, что мы должны его без всякой жалости осудить на сожжение, как главу всей этой зловредной секты.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – а я слышал, что этот роман – лучшее произведение из всех, которые когда-либо были написаны в этом роде, и потому он, как исключение, заслуживает пощады.

– Да, вы правы, – ответил священник, – примем это во внимание и временно даруем ему жизнь. Ну, а теперь посмотрим, что́ стоит с ним рядом.

– "Подвиги Эспландиана"[5], законного сына Амадиса Галльского, – сказал цирюльник.

– Ну, по правде говоря, – промолвил священник, – заслуги отца не спасают сына. Возьмите-ка его, сеньора экономка, откройте окошко и выбросьте его во двор: он послужит основанием готовящемуся костру.

Экономка повиновалась с величайшим удовольствием, и добрый "Эспландиан" полетел во двор, чтобы там с большим терпением дожидаться грозившего ему сожжения.

– Ну, дальше, – сказал священник.

– Следующий за ним, – продолжал цирюльник, – "Амадис Греческий"[6], и мне кажется, что все книги на этой полке из племени Амадиса.

– Ну, так пусть себе отправляются во двор, – ответил священник. – Мне до того хочется сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами и всю чертовски напыщенную галиматью этого автора[7], что, если бы мой отец, произведший меня на свет, принял образ странствующего рыцаря, я бы и его сжег вместе с ними.

– И я того же мнения, – ответил цирюльник.

– И я, – подхватила племянница.

– Ну, раз так, – сказала экономка, – так во двор их всех.

Ее нагрузили этими многочисленными томами, и она, не спускаясь даже по лестнице, выбросила их прямо из окна.

– А это что за бочка? – спросил священник.

– Это, – ответил цирюльник, – "Дон Оливанте де Лаура"[8].

– Этот роман принадлежит перу автора "Цветочного сада", – сказал священник, – и поистине я затрудняюсь сказать, которое из этих двух произведений более правдиво или, вернее сказать, менее лживо. Одно могу заявить: эта книга тоже отправится во двор, как сочинение сумасбродное и наглое.

– Далее идет "Флорисмарте Гирканский"[9], – продолжал цирюльник.

– А, вот вы где, сеньор Флорисмарте! – воскликнул священник. – Честное слово, он тоже полетит во двор, несмотря на свое странное рождение и удивительные приключения: его сухой и тяжелый стиль ничего другого не заслуживает. Во двор его, сеньора экономка, да и этого заодно.

– С удовольствием, сеньор, – отвечала экономка, с великой радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

– А вот "Рыцарь Платир"[10], – сказал цирюльник. – Это – старая книга, и ничего в ней нет такого, что заслуживало бы помилования. Пусть себе отправляется вместе с прочими, без возражений.

И это было исполнено. Затем они раскрыли следующую книгу и прочли заглавие: "Рыцарь Креста"[11].

– Ради святого заглавия этой книги можно было бы простить невежество ее автора. Однако недаром говорится: "за крестом-то чертяки и водятся". В огонь его.

Цирюльник взял другую книгу и сказал:

– Это "Зерцало Рыцарства"[12].

– Знаю я его милость, – ответил священник. – Там разгуливают сеньор Рейнальдо Монтальбанский со своими друзьями и приятелями, вороватыми побольше самого Кака, и двенадцать пэров Франции с их правдивым историком Турпином[13]. Поистине я бы осудил их всего лишь на бессрочную ссылку, ибо ими воспользовался в своем произведении знаменитый Маттео Боярдо, от которого христианский поэт Людовико Ариосто заимствовал ткань своей поэмы. Если этот последний отыщется среди наших книг и мы увидим, что говорит он не на своем родном языке, а на чужом, я не почувствую к нему никакого уважения; но если он будет говорить на своем, – я возложу его себе на голову[14].

– У меня он есть по-итальянски, – сказал цирюльник, – но только я ничего в нем не понимаю.

– Да вам и не следует его понимать, – заметил священник; – к тому же мы ничего бы не имели против сеньора капитана[15], если бы он не распространял его в Испании в кастильском обличье, ибо это лишило его многих природных достоинств. Впрочем, то же самое делают все, кто пытается переводить на другой язык стихотворные произведения: ибо, как бы старательны и искусны ни были переводчики, им никогда не достичь той совершенной формы, в которой эти поэмы появились на свет. Поэтому с этой книгой, как и со всеми другими побасенками о Франции, которые еще найдутся в этой библиотеке, я предлагаю поступить так: сложить их на дне высохшего колодца и хранить там, пока по здравом размышлении мы не надумаем, что нам с ними делать, – за исключением, однако, *Бернардо дель Карпио*[16], который наверное, здесь тоже приютился, и еще *Ронсеваля*[17]: если только они попадутся мне в руки, я немедленно же передам их в руки экономки, а она без всякого сострадания предаст их в объятия огня.

Цирюльник с этим согласился и заявил, что все это верно и правильно, ибо он знал, что священник добрый христианин и такой друг истины, что ни за что на свете ей не изменит. Затем он открыл следующую книгу: это был "Пальмерин из Оливы"[18], а рядом с ним стояла другая, озаглавленная "Пальмерин Английский"[19]. Увидев их, лиценциат сказал:

– *Оливку* эту нужно сейчас же изничтожить и сжечь, так, чтобы и пепла от нее не осталось; а английскую *пальму* сохранить как драгоценность и сделать для нее ларец, подобный тому, какой был найден Александром[20] среди сокровищ Дария и назначен им для хранения поэм Гомера. Эта книга, любезный друг, заслуживает почтения по двум причинам: во-первых, она очень хороша сама по себе, а во-вторых, голос молвы приписывает ее одному мудрому португальскому королю[21]. Все приключения в замке Мирагварды[22] превосходны и искусно придуманы, стиль – изящный и ясный, а речи умело и со вкусом приспособлены к характеру и положению говорящих. Посему я полагаю, если только на то будет ваше доброе согласие, сеньор маэсе Николас, этот роман и "Амадис Галльский" могут избежать костра, а остальные не стоит и просматривать: пускай все погибнут.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – а этот знаменитый "Дон Бельянис"[23], что у меня в руках?

– Ну, этому, – ответил священник, – с его второй, третьей и четвертой частями, очень бы следовало дать порцию ревеня, чтобы очистить от избытка желчи, а кроме того, выбросить все, что касается Замка Славы, и много других нелепостей еще похуже. Так и быть, дадим ему судебную отсрочку и, если он исправится, тогда решим, поступить ли с ним сурово или милостиво. А пока, любезный друг, заберите-ка его к себе домой, только никому читать не давайте.

– С большим удовольствием, – ответил цирюльник, и, не желая больше обременять себя просмотром рыцарских романов, он велел экономке забрать все большие томы и выкинуть во двор.

Та была не глуха и не глупа: сжечь их хотелось ей больше, чем выткать большой кусок тончайшего полотна; схватила она в охапку штук восемь томов зараз и выбросила в окно. Но так как она ухватила слишком много, то одна из книг упала к ногам цирюльника; ему захотелось посмотреть, как она называется, и он прочел: "История знаменитого рыцаря Тиранта Белого"[24].

– Господи помилуй, – вскричал громким голосом священник, – как, неужели здесь "Тирант Белый"? Дайте мне его скорей, любезный друг: будьте уверены, что перед вами сокровищница удовольствий и целые залежи развлечений. Там изображаются дон Кириэлейсон Монтальбанский, доблестный рыцарь, его брат Томас Монтальбанский и рыцарь Фонсека; там рассказывается о бое отважного Тиранта с догом, о хитростях девицы Пласердемивиды, о шашнях и интригах вдовы Репосады[25], о сеньоре императрице, влюбленной в своего конюшего Ипполита. Я вам правду говорю, сеньор: по стилю – это лучшая книга на свете; рыцари здесь едят, спят, умирают в своих постелях, перед смертью пишут завещания и все прочее, чего в других романах этого рода вы не найдете. И тем не менее, говорю вам, автор заслуживал бы того, чтобы закончить дни свои на галерах[26], если бы всю эту ахинею он написал не по глупости. Возьмите себе эту книгу, прочтите, и вы увидите, что все, что я о ней сказал, – чистая правда.

– Я так и сделаю, – ответил цирюльник. – А как же мы поступим с оставшимися маленькими книжками?

– Это не рыцарские романы, – сказал священник, – а, вероятно, книги со стихами.

И, открыв одну из них, он прочел заглавие: "Диана" Хорхе де Монтемайора[27] – и, предположив, что и все остальные в таком же роде, сказал:

– Они не заслуживают сожжения, подобно романам, ибо не причиняют и не причинят никогда такого вреда, как рыцарские романы: это просто занимательное и нисколько не вредное чтение.

– Ах, сеньор, – воскликнула племянница, – а по-моему, вашей милости следовало бы бросить их в огонь вместе с остальными; ведь может случиться, что сеньор мой дядя, вылечившись от своей рыцарской болезни, начнет читать стихи, и ему вздумается сделаться пастушком[28] и отправиться бродить по рощам и

полям, наигрывая на свирели и распевая, а не то и сам станет поэтом, что еще хуже, ибо, по слухам, болезнь эта неизлечима и прилипчива.

– Девица говорит дело, – сказал священник. – Разумнее будет убрать с дороги нашего друга эту новую опасность и соблазн. И раз мы начали с "Дианы" Монтемайора, то я полагаю следующее: сжигать ее не надо, но следует выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисии и волшебной воде[29], а также почти все стихи с длинными строчками[30]: и тогда, в добрый час, останется при ней ее проза и заслуга быть первой из всех подобных ей книг.

– Дальше идет так называемая "Вторая Диана", сочиненная Саламантинцем[31], – продолжал цирюльник, – а вот еще одна, произведение Хиля Поло[32].

– Что ж, – ответил священник, – пускай "Диана" Саламантинца последует за другими и увеличит собой число обреченных на сожжение. А "Диану" Хиля Поло мы сохраним, как если бы она была сочинена самим Аполлоном. Ну, давайте дальше, сеньор кум, нам нужно торопиться, а то уж время позднее.

– Вот "Любовная Фортуна в десяти книгах", написанная сардинским поэтом Антонио де Лофрасо[33].

– Поверьте моему духовному сану, – сказал священник, – с тех пор как Аполлон зовется Аполлоном, музы музами, а поэты поэтами, более забавной и нелепой книги еще не было написано, и это в своем роде лучшее и ценнейшее произведение из всех когда-либо появлявшихся на свет: тот, кто его не читал, может быть уверен, что он никогда не читал ничего по-настоящему занятного. Дайте-ка его сюда, любезный друг; если бы мне подарили сутану из флорентийского шелка, я бы обрадовался ей меньше, чем этой находке.

И он с величайшим удовольствием отложил книгу в сторону; а цирюльник продолжал:

– Далее следуют: "Иберийский пастух", "Энаресские нимфы" и "Средство против ревности"[34].

– Нечего с ними возиться, – сказал священник, – отдадим их в руки светской власти, экономке; и не спрашивайте меня – почему, не то мы никогда не кончим.

– Вот "Пастух Филиды"[35].

– Он вовсе не пастух, – заметил священник, – а тонкий столичный житель. Сохраним его как драгоценность.

– Этот толстый том, – продолжал цирюльник, – озаглавлен: "Сокровищница разных стихотворений"[36].

– Было бы их поменьше, – ответил священник, – так мы бы их больше ценили. Из этой книжки следовало бы выполоть сорную траву и очистить ее от произведений низменных, попавших туда вместе с возвышенными. Помилуем ее, ибо автор – мой друг, и другие его произведения более возвышенны[37] и героичны.

– Вот "Сборник стихов" Лопеса Мальдонадо[38].

– Этот автор – тоже мой друг, – сказал священник, – и когда он сам читает свои стихи, все от них в восхищении. Он поет их таким сладостным голосом, что

слушать его упоительно. Правда, его эклоги немного растянуты, но ведь хорошего всегда хочется побольше. Итак, присоединим его к избранникам. А это что за книжка стоит рядом с ним?

– Это "Галатея" Мигеля де Сервантеса[39], – ответил цирюльник.

– Много лет уже я дружен с этим Сервантесом и знаю, что у него больше опыта в несчастиях, чем в стихах. В его книге есть выдумка, в ней кое-что начато, но ничего не закончено. Подождем обещанной второй части[40]. Быть может, исправившись, он заслужит наконец того снисхождения, в котором пока ему отказывают; а до тех пор подержите его у себя в заточении, сеньор.

– С удовольствием, – ответил цирюльник. – А вот еще три книжки: "Араукана" дона Алонсо де Эрсильи, "Аустриада" Хуана Руфо, судьи из Кордовы, и "Монсеррат"[41] Кристобаля де Вируэса, валенсианского поэта.

– Эти три книги – лучшее из всего, что было написано героическим стихом[42] на испанском языке: они не уступят самым знаменитым итальянским поэмам. Сохраните их как драгоценнейшие сокровища испанской поэзии.

Наконец просмотр утомил священника, и он предложил все оставшиеся книги сжечь без всякого разбора. Но в эту минуту цирюльник раскрыл еще один томик, озаглавленный "Слезы Анджелики[43].

– Да я бы прослезился вместе с ней, если бы такую книжку велел бросить в огонь. Автор ее – один из самых знаменитых поэтов не только Испании, но всего мира: он с большим искусством перевел несколько сказаний Овидия[44].

ГЛАВА VII

о втором выезде доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского

В эту самую минуту они услышали голос Дон Кихота:

– Сюда, сюда, отважные рыцари! – кричал он. – Пришло время показать силу ваших могучих рук: эти придворные рыцари хотят присвоить себе победу на турнире.

Пришлось нашим друзьям бежать на крик и шум, бросив оставшиеся книги без просмотра. Некоторые полагают, что "Карлиада"[1] и "Лев Испании"[2] вместе с "Деяниями императора" дона Луиса де Авилы[3], наверное, тоже подлежавшие пощаде, без суда и следствия попали в огонь, хотя возможно, что, если бы священник их увидел, он не изрек бы им столь сурового приговора.

Войдя в спальню, они увидели, что Дон Кихот уже поднялся с постели, кричит, бушует и наотмашь рубит и колет во все стороны, такой бодрый, что как будто бы вовсе и не спал перед тем. Его обхватили и насильно уложили в постель, после чего он, несколько успокоившись, обратился к священнику с такой речью:

– Поистине, сеньор архиепископ Турпин, великий позор для тех, кого мы именуем двенадцатью пэрами, что они, так-таки ни слова не говоря, позволяют

придворным рыцарям присвоить себе победу на этом турнире; между тем как в течение трех дней все победы были одержаны нами, странствующими рыцарями!

– Успокойтесь, ваша милость, сеньор, – отвечал священник, – Бог даст, завтра все переменится, и то, что сегодня мы потеряли, завтра вернем с избытком. А пока пусть ваша милость подумает о своем здоровье, так как мне кажется, что вы, если и не ранены, то, уж наверное, крайне утомлены.

– Нет, я не ранен, – ответил Дон Кихот, – но действительно порядком избит и помят: этот незаконнорожденный, дон Рольдан[4], избил меня стволом дуба; а все из зависти: ведь он видит, что я единственный его соперник в рыцарских делах. Но не зовите меня больше Рейнальдо Монтальбанским[5], если, поднявшись с этого ложа, я не отплачу ему, как бы он там ни был очарован. А пока принесите мне позавтракать, потому что я сейчас больше всего нуждаюсь в подкреплении, а отомстить ему – это уж мое дело.

Так они и сделали: принесли ему поесть, после чего он снова заснул, а они еще раз подивились его безумию.

В ту же ночь экономка сожгла все книги, бывшие во дворе и в доме, и, наверное, в числе их сгорели и такие, которые заслуживали вечного хранения в архивах. Но такова была воля судьбы, – просмотр был проделан небрежно, и, таким образом, на участи книг оправдалась пословица: из-за грешников нередко терпят и праведники.

В качестве первого лекарства от недуга своего приятеля священник и цирюльник придумали заложить и замуровать вход в библиотеку, так, чтобы, встав, он не мог их отыскать (они надеялись, что, устранив причину, они уничтожат и следствия). Решено было сказать Дон Кихоту, что какой-то волшебник похитил комнату вместе с книгами и всем прочим. Все это было исполнено с большой поспешностью. Два дня спустя Дон Кихот встал и первым делом отправился посмотреть на свои книги. Не находя помещения, где они раньше стояли, он бродил по дому и шарил по всем комнатам: подходил к тому месту, где прежде была дверь, ощупывал его руками, смотрел направо, налево, и все это – не говоря ни слова; наконец, после долгих поисков спросил экономку, с какой стороны находится его библиотека. А та, заранее подученная, как отвечать, сказала:

– Библиотека? Что это вы такое ищете, ваша милость? Никакой библиотеки, никаких книг нет: сам дьявол все это унес.

– И не дьявол вовсе, – возразила племянница, – а волшебник: прилетел он однажды ночью на облаке, после того как ваша милость отсюда уехали и, спрыгнув с дракона, на котором сидел верхом, вошел в библиотеку, и уж не знаю, что он там делал, но только спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу, а дом весь наполнился дымом. А когда мы решились посмотреть, что он натворил, то уж не было ни книг, ни комнаты. Одно только мы обе отлично помним: когда этот злой старик улетел, он крикнул громким голосом, что из тайной вражды к хозяину книг и комнаты он причинил ему большой урон и что

мы впоследствии увидим – какой. Он еще прибавил, что зовут его мудрый Муньятон.

– Не Муньятон, а Фрестон[6], – перебил Дон Кихот.

– Уж я не знаю, – отвечала экономка, – как его зовут: Фрестон или Фритон, помню только, что его имя кончалось на *тон*.

– Так оно и есть, – сказал Дон Кихот, – это один мудрый волшебник, заклятый мой враг; он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства он узнал, что наступит время и я сражусь на поединке с рыцарем, которому он благоволит, и что мне суждено его победить, несмотря на все его усилия: вот почему он и старается всячески чинить мне помехи. Но я заявляю, что не избежать ему того, что определено самим небом.

– Да кто ж в этом сомневается? – сказала племянница. – Но, ваша милость, сеньор дядя, кто велит вам лезть во все эти драки? Не лучше ль сидеть спокойно дома, чем бродить по свету в поисках птичьего молока? Ведь вы знаете: бывает, собираешься обстричь овцу, смотришь – тебя самого обстригли.

– Ах, племянница, – воскликнул Дон Кихот, – плохо же ты это дело понимаешь! Да прежде чем меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороды у всех, кто только посмеет тронуть кончик одного моего волоса.

Женщины решили, что лучше ему не возражать, чтобы не разжигать его гнева[7].

После этого разговора Дон Кихот целых две недели сидел спокойно дома, ничем не обнаруживая желания продолжать свои прежние сумасбродства. В течение этого времени он не раз вел забавные беседы с двумя своими приятелями – священником и цирюльником – насчет того, что мир ни в чем так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что в его лице странствующее рыцарство должно воскреснуть. Иногда священник возражал ему, а иногда соглашался, ибо без этой уловки нечего было и думать о том, чтобы указать ему его заблуждение.

В то же самое время Дон Кихот начал подговаривать одного крестьянина, своего соседа, человека доброго (если только можно дать такое название тому, у кого своего добра не очень-то много), но без царя в голове. В конце концов он до того его убедил, столько наговорил и наобещал, что бедный крестьянин согласился отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, наш рыцарь советовал ему долго не раздумывать и немедленно пуститься в странствия, потому что с ним легко может случиться такое приключение, что он и ахнуть не успеет, как завоюет какой-нибудь остров, который он потом отдаст ему в пожизненное управление. Под влиянием таких обещаний Санчо Панса (так звали крестьянина) бросил жену и детей и поступил к своему соседу в оруженосцы.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: одно он продал, другое заложил с большим для себя убытком и таким способом собрал порядочную сумму. Кроме того, он взял напрокат у одного из своих приятелей круглый щит[8], починил, как только мог, разбитый шлем и предупредил своего оруженосца

Санчо, что в такой-то день и час он намерен выступить в путь, а уж тот сам должен был позаботиться о своем снаряжении. Особенно Дон Кихот настаивал на том, чтобы Санчо не забыл захватить дорожную сумку. Тот обещал не забыть и сказал, что заодно захватит своего превосходного осла, так как сам он к пешему хождению не очень-то приспособлен. Это обстоятельство немного смутило Дон Кихота, и он старался припомнить, бывали ли когда-нибудь у странствующих рыцарей оруженосцы, разъезжавшие верхом на ослах, но так ни одного и не припомнил. Однако он на это согласился в уверенности, что при первом же удобном случае, при первой же встрече с каким-нибудь неучтивым рыцарем, он отнимет у него коня и отдаст это более почтенное животное своему оруженосцу. Наконец, он запасся рубашками и всем, чем только мог, согласно советам, полученным от хозяина гостиницы. Когда все было готово и налажено, однажды ночью оба они, никем не замеченные, выехали из деревни, причем Санчо не попрощался даже с женой и детьми, а Дон Кихот – со своей экономкой и племянницей. Ехали они всю ночь, так что, когда рассвело, им больше нечего было бояться, что их отыщут, хотя бы и вздумали искать.

Санчо Панса, нагруженный сумкой и бурдюком, восседал на своем осле, подобно некоему патриарху; очень ему хотелось поскорее стать губернатором обещанного острова. Дон Кихот случайно повернул на ту самую дорогу, по которой он ехал в первый раз, именно на Монтьельскую равнину, только теперь ехать ему было приятнее, так как час был еще ранний и косые лучи солнца его не беспокоили. Тут Санчо Панса сказал своему господину:

– Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте вашего обещания насчет острова: какой бы громадный он ни был, я уж с ним управлюсь.

На что Дон Кихот отвечал:

– Следует тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в старину среди странствующих рыцарей был весьма распространен обычай назначать своих оруженосцев губернаторами островов или королевств, ими завоеванных, и я твердо решил восстановить это превосходное обыкновение. Более того, я собираюсь пойти еще дальше: мои предшественники иногда, или вернее почти всегда, ждали, пока оруженосцы их состарятся и изнемогут от службы, и тогда, после многих тяжких дней и еще более тяжких ночей, жаловали им титул графа или, в лучшем случае, маркиза какой-нибудь долины или провинции, в сущности довольно ничтожной; я же – если только мы оба останемся в живых – возможно, что дней через шесть завоюю такое королевство, которому подчинены будут несколько других, и то из них, которое больше подойдет, я отдам тебе, сделав тебя королем. И не думай, что я преувеличиваю: со странствующими рыцарями случаются такие истории и события, каких никто и не видел и не воображал, так что я без всяких затруднений смогу подарить тебе еще и больше того, что обещаю.

– Таким манером, – ответил Санчо, – ежели, как ваша милость говорит, я чудесным образом сделаюсь королем, так моя супружница Хуана Гутьеррес[9] будет, следовательно, королевой, а детки мои инфантами?

– Да кто же в этом сомневается? – ответил Дон Кихот.

– Я в этом сомневаюсь, – ответил Санчо Панса, – потому что, если бы даже по воле Божьей короны сыпались на землю дождем, то и тогда бы, думается мне, ни одна из них не пришлась по мерке Мари-Гутьеррес. Да она, сеньор, как королева, двух грошей не стоит; графство – это бы, пожалуй, ей еще подошло, да и то лишь с Божьей помощью.

– Ну, положись в этом на Господа Бога, Санчо, – ответил Дон Кихот: – он даст ей то, что ей больше подходит; а сам не унижай своего духа и не вздумай удовлетвориться меньше чем губернаторством.

– И не подумаю, сеньор мой, – ответил Санчо, – особенно, когда у меня такой могущественный господин, как ваша милость: уж вы, наверное, подарите мне то, что мне придется и по плечу и по вкусу.

ГЛАВА VIII

о славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в ужасном и доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами, так же как и о других событиях, достойных приятного упоминания

Тут они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля; заметив их, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Добрая судьба руководит нашими делами лучше, чем мы могли бы этого желать. Посмотри вон в ту сторону, друг Санчо Панса, видишь там тридцать, а то и больше свирепейших великанов? Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого: эта добыча послужит началом нашего богатства; ибо такой бой праведен, и самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.

– Какие такие великаны? – спросил Санчо Панса.

– Да вот те, что перед тобой, – ответил Дон Кихот. – Видишь, какие у них огромные руки? У некоторых они длиной почти в две мили.

– Поверьте, ваша милость, то, что там виднеется, – вовсе не великаны, а ветряные мельницы, а то, что вы принимаете за руки, – это крылья, которые кружатся от ветра и вращают жернова.

– Сразу видно, – ответил Дон Кихот, – что в деле приключений ты еще новичок: это – великаны; и если тебе страшно, так отойди в сторону и читай молитвы, а я тем временем вступлю с ними в жестокий, неравный бой.

С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта, не обращая внимания на крики Санчо, который уверял его, что, вне всякого сомнения, он нападает не на великанов, а на ветряные мельницы. Дон Кихот, будучи твердо убежден в том, что перед ним великаны, не слышал криков своего оруженосца Санчо и не узнавал мельниц, хоть и были они совсем поблизости. Он мчался вперед, громко восклицая:

– Не бегите, малодушные и подлые созданья, ибо лишь один рыцарь нападает на вас всех!

В эту минуту поднялся легкий ветер, и огромные крылья начали вращаться. Заметив это, Дон Кихот продолжал:

– Если бы у вас было больше рук, чем у самого гиганта Бриарея[1], и вы бы замахали ими, от расплаты вам все равно не уйти.

Сказав это и поручив свою душу своей даме Дульсинее с просьбою помочь ему в опасную минуту, он, прикрывшись щитом, с копьем наперевес, пустил Росинанта в галоп, ринулся на ближайшую к нему мельницу и вонзил копье в ее крыло. В эту минуту сильный порыв ветра повернул крыло, и оно, разломав в щепки копье, потащило за собой и коня и всадника, которые прежалким образом отлетели на большое расстояние. Санчо во всю прыть своего осла поскакал на помощь своему господину и, подъехав, убедился, что тот не в силах шевельнуться: с такой силой они вместе с Росинантом грохнулись оземь.

– Господи помилуй! – воскликнул Санчо. – Не говорил ли я вам, ваша милость, чтобы вы были осторожнее и что это – ветряные мельницы? Ведь только тому это не ясно, у кого самого мельница в голове.

– Замолчи, друг Санчо, – ответил Дон Кихот. – Дела военные больше всех иных подвержены превратностям судьбы; тем более, что, мне думается, – да, наверное, так оно и есть на деле! – этот мудрец Фрестон, который похитил у меня книги и комнату, превратил и великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы: так сильна его вражда ко мне. Но рано или поздно его злые чары рассеются мощью моего меча.

– Все в воле Божьей, – отвечал Санчо.

Затем он помог ему подняться и снова сесть на Росинанта, у которого почти были вывихнуты обе передние ноги.

Беседуя об этом приключении, они поехали по дороге к Пуэрто Ла́писе[2], ибо, по предположениям Дон Кихота, там ждало их множество различных приключений, так как место это очень проезжее. Одно только его печалило – это потеря копья; поделившись своим горем с Санчо, он сказал:

– Я читал, мне помнится, об одном испанском рыцаре по имени Диего Перес де Варгас[3], у которого во время сражения сломался меч. Тогда он отломал от дуба тяжелый сук, а не то и прямо кусок ствола, и этой дубиной совершил столько подвигов в этот день и перебил столько мавров, что прозвали его *Дубинка*, и с того времени и он и все его потомки именуются *Варгас* – Дубинка. Говорю я тебе это к тому, что я тоже с первого же дуба, который нам попадется по дороге, отломаю себе сук – точь-в-точь такой, какой был у Варгаса, – и с этим суком в руках надеюсь и собираюсь совершить такие великие подвиги, что ты будешь благодарить судьбу за то, что она удостоила тебя чести быть участником и свидетелем этих дел, которые впоследствии будут казаться невероятными.

– Все в руце Божией, – отвечал Санчо, – я всему верю, что ваша милость рассказывает. Только сядьте попрямее, а то вы как будто совсем съехали набок: должно быть, при падении вы здорово ушиблись.

– Да, это правда, – сказал Дон Кихот, – и если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующим рыцарям не надлежит жаловаться на раны, хотя бы у них вываливались кишки.

– Ну, раз так, мне нечего возразить, – ответил Санчо. – Но одному Богу известно, как бы я обрадовался, если бы ваша милость стала жаловаться, когда у нее что болит. Что касается меня, то я заору от самой пустячной боли, если только правило не жаловаться не относится также и к оруженосцам странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца и ответил, что Санчо разрешается стонать, как и когда ему вздумается, с причиной или без причины, ибо до сих пор он никогда не встречал в рыцарских книгах указаний на противное. Санчо заметил, что пора бы и закусить. Дон Кихот ответил, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. С разрешения своего господина Санчо устроился на своем осле поудобнее и, вытащив из сумки заготовленные им припасы, стал закусывать, продолжая медленно ехать позади Дон Кихота; от времени до времени он прикладывался к своему бурдюку с таким удовольствием, что ему позавидовал бы любой разудалый трактирщик в Мáлаге. Так, трясясь шажком и попивая маленькими глотками вино, он и думать забыл обо всех обещаниях, которые надавал ему Дон Кихот, и казалось ему, что странствовать в поисках приключений, хотя бы и опасных, вовсе не труд, а одно удовольствие.

Наконец, когда наступила ночь, наши путники улеглись под деревьями, и Дон Кихот, отломав сухую ветку, которая могла кое-как заменить ему копье, прикрепил к ней железный наконечник, снятый со сломанного копья. Всю эту ночь он не сомкнул глаз, думая о своей даме Дульсинее, чтобы ничем не отличаться от рыцарей, о которых он читал в романах: сколько ночей проводили они без сна в лесах и пустынях, погруженные в воспоминания о своих дамах! Совсем иначе провел ночь Санчо: желудок его был полон, и совсем не цикорной водой, поэтому он как мертвый проспал до утра[4]; и если бы Дóн Кихот не разбудил его, то он бы не проснулся ни от лучей солнца, ударявших ему прямо в лицо, ни от пения множества птиц, радостно приветствовавших наступление нового дня. А поднявшись, он первым делом приложился к бурдюку и, заметив, что уж нет в нем той округлости, какая была вчера вечером, опечалился сердцем, так как ему казалось, что эту убыль не скоро удастся восполнить. Дон Кихот не пожелал завтракать, ибо, как мы уже сказали, он питался одними сладостными воспоминаниями. Поехали они дальше по дороге к Пуэрто Лáписе и часам к трем дня были уже в виду этого ущелья. Завидев его, Дон Кихот сказал:

– Здесь, братец Санчо Панса, мы сможем по самые локти запустить руки в то, что зовется приключениями. Но имей в виду: в какие бы величайшие опасности на свете я ни попал, ты не должен хвататься за меч, чтобы защищать меня, разве только ты увидишь, что враги, напавшие на меня, – чернь, жалкий сброд: лишь в таком случае ты можешь оказать мне помощь. Если же это будут

рыцари, то по законам рыцарства никоим образом не подобает и не разрешается тебе помогать мне, пока ты сам еще не посвящен в рыцари.

– Можете быть вполне спокойны сеньор, – ответил Санчо, – в этом деле я не стану с вами спорить, тем более, что по натуре своей я человек мирный и не люблю лезть в драки и потасовки. Но скажу по совести: если придется мне защищать собственную шкуру, то уж тогда я не посмотрю ни на какие рыцарские законы, ибо и божеские и человеческие законы разрешают обороняться от обидчиков.

– Это самое и я говорю, – ответил Дон Кихот. – Помни только, что, если тебе захочется защитить меня от рыцарей, ты должен обуздать свой естественный порыв.

– Обещаю вам это, – сказал Санчо. – Буду соблюдать эту заповедь так же свято, как воскресный день.

Разговаривая таким образом, повстречали они по дороге двух монахов ордена св. Бенедикта, ехавших на таких громадных мулах, что их можно было бы принять за верблюдов. Монахи были в дорожных очках[5] и под зонтиками, а за ними следовала карета, окруженная четырьмя или пятью верховыми и двумя погонщиками, шедшими пешком. Как выяснилось впоследствии, в карете ехала одна дама из Бискайи, направлявшаяся в Севилью, где находился ее муж, который с весьма почетным назначением должен был отплыть в Америку. Монахи, хоть и ехали по той же дороге, что и дама, но путешествовали сами по себе. Не успел Дон Кихот их увидеть, как сказал своему оруженосцу:

– Или я заблуждаюсь, или нам предстоит такое замечательное приключение, какого еще никто не видал, ибо черные фигуры, что там виднеются, несомненно – волшебники, которые похитили какую-то принцессу и увозят ее в карете. Я должен напрячь все свои силы, чтобы расстроить это злое дело.

– Да это будет еще похуже ветряных мельниц, – ответил Санчо. – Разве вы не видите, сеньор, что перед вами монахи-бенедиктинцы, а в карете едут, должно быть, какие-нибудь путешественники? Послушайте меня и подумайте хорошенько, что вы делаете, не то вас опять нечистый попутает.

– Я уже говорил тебе, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что ты мало смыслишь в деле приключений: я ясно вижу истину, и ты сейчас в этом убедишься.

С этими словами он выехал вперед, остановился посреди дороги, по которой должны были проехать монахи, и, когда те приблизились на такое расстояние, что, по его расчету, могли услышать его слова, закричал громким голосом:

– О вы, злобные исчадия ада, освободите немедленно благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете, не то – приготовьтесь принять скорую смерть, как достойную кару за ваши злодейства.

Монахи придержали за уздечку мулов и остановились, пораженные как видом Дон Кихота, так и речами его, на которые они так ответили:

– Сеньор рыцарь, мы вовсе не злобные исчадия ада, а монахи ордена св. Бенедикта; мы путешествуем по своим делам и ничего не знаем о том, едут или нет похищенные принцессы в этой карете.

– Сладкими речами вы меня не проведете: знаю я вас, подлых лжецов, – ответил Дон Кихот.

И, не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и, опустив копье, с такой яростной отвагой напал на первого монаха, что, если бы тот сам не бросился на землю, он бы его, наверное, вышиб из седла и опасно ранил, а не то, пожалуй, и вовсе убил. Второй монах, видя, как обращаются с его спутником, всадил пятки в бока своего доброго мула и быстрее ветра помчался по полю.

Санчо, заметив, что монах лежит на земле, легко соскочил с осла и, подбежав к нему, стал снимать с него платье. Тут подошли двое слуг, сопровождавших монахов, и спросили Санчо, почему он его раздевает. Тот им ответил, что трофеи по закону принадлежат ему, ибо его господин Дон Кихот завоевал их в бою. Слуги, не понимавшие шуток и ничего не смыслившие ни в трофеях, ни в битвах, заметив, что Дон Кихот отъехал в сторону и вступил в разговор с путешественницей в карете, набросились на Санчо, повалили его на землю, повыщипали ему бороду и исколотили так, что у того сперло дух и отнялись все чувства. Тем временем перепуганный и перетрусивший монах, не теряя ни минуты сел на мула и, бледный как смерть, погнал своего скакуна в поле, где на приличном расстоянии поджидал его спутник, недоумевавший, чем кончится вся эта тревога; затем, не дождавшись конца этой истории, они оба поехали дальше, крестясь с таким трепетом, как будто по пятам за ними гнался сам дьявол.

А Дон Кихот, как мы уже сказали, принялся беседовать с дамой в карете:

– Ваша красота, моя сеньора, – говорил он, – вольна теперь располагать собой, как ей заблагорассудится, ибо наглость ваших похитителей уже повержена в прах мощью моей руки; и, чтобы вас не печалило незнание имени вашего спасителя, я скажу вам, что зовут меня Дон Кихот Ламанчский: я странствующий рыцарь, плененный несравненной и прекрасной доньей Дульсинеей Тобосской. И в награду за услугу, которую я только что вам оказал, я прошу у вас только одного: поезжайте в Тобосо, предстаньте от моего имени перед лицом моей дамы и скажите ей, что я даровал вам свободу.

Один из конюхов, сопровождавших карету, родом бискаец, услышал речь Дон Кихота и, видя, что тот не желает пропустить карету и требует, чтобы все они немедленно повернули назад и отправились в Тобосо, подошел к нему и, схватив его за копье, на плохом испанском и еще худшем бискайском языке заговорил следующим образом:

– Ходи себе, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Господом Создателем, пусти карету, не то твоя голова долой, не будь я бискаец![6]

Дон Кихот отлично его понял и с большим достоинством ответил:

– Жалкое созданье! Если бы ты был не холопом, а рыцарем, я бы тебя проучил за дерзость и нахальство.

Бискаец ответил:

– Как не рыцарь? Клянусь Бога, ты врешь, как христианин! Бросай копье, бери в руки шпага; увидишь, как твоя вода в кошке поплавает[7]! Я бискайская земля, идальго, на море, идальго, ко всем чертям! Коли нет говоришь, врешь совсем!

– Сейчас вы это увидите, как сказал Аграхес[8], – ответил Дон Кихот.

И, швырнув копье на землю, он выхватил шпагу, прикрылся щитом и напал на бискайца с твердым намерением его убить. Увидав это, бискаец хотел было спешиться, – так как мул его был наемный и он не очень-то ему доверял, – однако ему это не удалось, и он только успел обнажить свою шпагу. К счастью для него, карета стояла совсем рядом, и ему не трудно было вытащить из нее подушку, которая заменила ему щит. И вот, наши противники стали друг против друга, как два смертельных врага. Присутствующие пытались их помирить, но не тут-то было: бискаец кричал на своем ломаном языке, что, если ему помешают драться, он прикончит и свою госпожу и всех, кто вздумает вмешаться. Дама, сидевшая в карете, пораженная и испуганная этой сценой, велела кучеру отъехать немного в сторону и стала издали наблюдать за яростным боем. В эту минуту бискаец поверх щита Дон Кихота нанес ему такой удар по плечу, что, не помешай щит, он бы, наверное, рассек нашего рыцаря по самый пояс. Дон Кихот, оглушенный свирепым ударом, громко вскричал:

– О Дульсинея, госпожа моего сердца и цвет красоты, помогите вашему рыцарю, который вступает в отчаянный бой, чтобы воздать должное вашим добродетелям!

Сказать это, схватить меч, прикрыться щитом и наброситься на бискайца было для Дон Кихота делом одного мгновения: он решил рискнуть всем и закончить поединок одним ударом. По решительному виду своего противника бискаец догадался о его отважном намерении и поклялся не менее храбро выдержать нападение; плотно прикрывшись подушкой, он поджидал врага, стоя на месте, тем более, что ему никак нельзя было повернуть своего мула ни вправо, ни влево: животное не могло сделать шага – до того оно было изнурено и непривычно к подобного рода потехам. Итак, повторяем, Дон Кихот наступал на хитрого бискайца, подняв меч и приготовившись разрубить его пополам, а бискаец поджидал его, выставив подушку и тоже высоко подняв шпагу, меж тем как зрители, в страхе затаив дыхание, ждали, когда, наконец, опустятся эти грозно повисшие в воздухе мечи. Дама в карете и ее служанка творили молитвы и приносили разные обеты всем угодникам и святым обителям Испании, лишь бы только Господь Бог избавил их и конюха от этой страшной опасности. Но все горе в том, что на этом самом месте автор нашей истории прерывает описание битвы, оправдываясь тем обстоятельством, что ему не удалось раздобыть никаких других сведений о деяниях Дон Кихота, кроме вышеизложенных. Однако второй автор этого труда[9] отказался поверить, чтобы такую любопытную историю могла поглотить бездна забвения и чтобы ламанчские умы были столь мало любознательны и не хранили в своих архивах и библиотеках каких-либо рукописей, относящихся к этому знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не терял надежды отыскать окончание нашей занимательной повести; и действительно, с помощью милостивого Неба, он его нашел, а каким образом – об этом будет рассказано во Второй части[10].

⟨ВТОРАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

ГЛАВА IX

в которой рассказывается о конце и исходе удивительного боя между храбрым бискайцем и доблестным ламанчцем

В Первой части этой истории мы оставили отважного бискайца и славного Дон Кихота в ту минуту, как они замахнулись обнаженными шпагами[1] и приготовились нанести друг другу такой яростный удар, что, не будь у них щитов, они, наверное, разрубили бы друг друга сверху донизу, вроде того как гранат разрезают на две половинки, и в этот решительный момент наша интересная история была прервана, причем автор не сообщил даже, где можно отыскать недостающее продолжение.

Это обстоятельство крайне меня огорчило, и удовольствие, испытанное при непродолжительном чтении, сменилось досадой, когда я подумал, какой трудный путь предстоит мне пройти, чтобы отыскать недостающую, весьма объемистую, как мне думалось, часть этой занимательной повести. Мне казалось немыслимым и противным всем добрым правилам, чтобы у столь доблестного рыцаря не нашлось какого-нибудь ученого мужа, который бы взял на себя описание таких невиданных подвигов. Ибо ни один из странствующих рыцарей,

Столь прославленных в народе[2]
Тем, что приключений ищут,

не остался без своего историка[3]; у каждого из них, как по заказу, нашелся один или два мудрых старца, которые не только описали их подвиги, но и сообщили нам самые незначительные их мысли и ребячества, как бы глубоко сокрыты они ни были. И не мог же наш доблестный рыцарь оказаться таким неудачником, чтобы у него не нашлось того, что у Платира и ему подобных было в избытке[4]. Итак, я не мог заставить себя поверить, чтобы такая превосходная история осталась обрубленной и искалеченной, и всю вину приписывал я коварному времени, пожирающему и уничтожающему все на свете: наверное, думал я, оно или уничтожило эту историю, или скрыло ее от нас.

С другой стороны, припоминая, что среди книг Дон Кихота находились столь современные произведения[5], как "Средство против ревности" или "Энаресские нимфы и пастухи", я полагал, что и его история должна быть совсем не-

давней и что, если даже она никем не была записана, все же жители его родного села и окрестных деревень не могли о ней не помнить. Эти мысли смущали меня и усиливали мое желание узнать всю истинную правду о жизни и чудесах нашего достославного испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зерцала ламанчского рыцарства, первого, кто в нашу эпоху и в наши бедственные времена посвятил себя трудному делу бродячего рыцарства, мстя за обиды, помогая вдовам и защищая девиц, – под последними я подразумеваю тех, что верхом на иноходце, с кнутом в руке, разъезжали[6], с бременем своей девственности на плечах, с горы на гору и из долины в долину; и если только какой-нибудь бродяга или мужчина с секирой и в грубом рядне или чудовищный великан не лишал их чести, то, проблуждав восемьдесят лет, не проспавши за все это время ни единой ночи под крышей, сходили в могилу столь же непорочными, как мать, что их родила[7]. По этим-то и многим другим соображениям я утверждаю, что наш бесстрашный Дон Кихот заслуживает вечных достопамятных похвал, да и меня не худо бы похвалить за труды и старания, потраченные на поиски окончания этой приятной истории; хоть я и уверен, что, не помоги мне небо, случай и судьба, мир был бы лишен развлечения и удовольствия, которые теперь в продолжение почти двух часов[8] может испытать всякий, кто внимательно станет читать эту историю. А нашел я конец вот каким образом.

Забрел я однажды на улицу Алькана́ в Толедо и случайно увидел мальчика, который предлагал одному торговцу шелком купить у него старые тетради и бумаги; а так как я большой охотник до чтения и читаю даже обрывки бумаги, валяющиеся на улице, то, влекомый своей естественной склонностью, я взял одну из тетрадей, которые мальчик продавал, и увидел, что она исписана арабскими буквами. Хоть я и знаю, что это писано по-арабски, однако прочесть не умел; и вот, стал я искать какого-нибудь мориска, чтобы попросить его прочитать. Найти такого переводчика было делом не очень трудным: в Толедо нашлись бы переводчики и с других языков, получше этого и подревнее[9]. Вскоре судьба столкнула меня с одним таким мориском; узнав, что мне нужно, и взяв из моих рук тетрадь, он раскрыл ее на середине, почитал немного и принялся смеяться. Я спросил его, чему он смеется, и он ответил, что его рассмешила одна фраза, написанная на полях, в виде примечания. Я попросил его перевести, и он, продолжая смеяться, сказал:

– Тут на полях, как я только что сказал, написано следующее: "*Эта Дульсинея Тобосская, о которой столь часто упоминается в настоящей истории, по слухам, была такой мастерицей солить свинину, как ни одна женщина во всей Ламанче*".

Услышав имя Дульсинеи Тобосской, я был изумлен и поражен, ибо сразу же догадался, что тетрадь эта содержит историю Дон Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я стал просить мориска поскорей прочитать заглавие, и он, исполняя мое желание, прямо с листа перевел мне его с арабского языка на испанский; оно гласило так: "*История Дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом Аметом Бененхели, арабским историком*"[10]. Мне понадобилась вся моя сдержан-

ность, чтобы скрыть радость, охватившую меня в ту минуту, когда я услышал заглавие этой книги; и, побежав к торговцу шелком, я за полреала купил у мальчика все его бумаги и тетради. Если бы он был догадливей и смекнул, как страстно мне хочется их иметь, он бы мог запросить и взять с меня за покупку больше шести реалов. Затем вместе с мориском я удалился во дворик соборной церкви и попросил его перевести мне на испанский язык все тетради, в которых рассказывалось о Дон Кихоте, ничего не пропуская и не прибавляя; я предложил ему заплатить за это, сколько он пожелает. Он удовольствовался двумя арробами изюма и двумя фанегами пшеницы[11], обещав перевести хорошо, точно и в самое короткое время. Но, чтобы ускорить это дело, а также не выпускать из рук счастливую находку, я поселил мориска у себя в доме, и там в полтора месяца с небольшим он перевел всю эту историю слово в слово так, как я здесь ее передаю.

В первой тетради была картинка, на которой весьма натурально изображался бой Дон Кихота с бискайцем: противники были нарисованы в тех же позах, как рассказывается в истории, оба с высоко поднятыми шпагами, один – прикрытый своим щитом, другой – подушкой; мул бискайца был изображен, как живой, так что на расстоянии выстрела из арбалета было видно, что он прокатный; под фигурой бискайца стояла подпись: *Дон Санчо де Аспейтия* – таково, без всяких сомнений, было его имя, – а у ног Росинанта другая, гласившая: *Дон Кихот*. Росинант был нарисован замечательно: длинный, вытянутый, худой, тощий, с выдающимся хребтом, словом – кожа да кости, так что сразу же становилось понятным, что имя "Росинант" было дано ему кстати и по заслугам. Рядом с ним стоял *Санчо Панса*, держа его за уздечку, и под ним полоска с надписью: *Санчо Санкас*; судя по картинке, у него был большой живот, короткий торс и длинные ноги, и потому, вероятно, его и прозвали Панса и Санкас[12] – прозвища, которые неоднократно встречаются в этой истории. Можно было бы отметить еще и другие подробности, но все они маловажны и в изложении правдивых событий повести занимают незначительное место; а никакая повесть не плоха, если она правдива.

Единственное возражение, которое можно сделать против ее достоверности, заключается в том, что написана она арабом, а племя это от природы весьма склонно ко лжи; однако арабы – наши заклятые враги, и скорее можно предположить, что автор что-либо пропустил, чем прибавил. Таково, по крайней мере, мое мнение; ибо там, где автор мог бы и должен был бы дать своему перу свободу восхвалять нашего доблестного рыцаря, он как будто нарочно хранит молчание. Разве это не дурной поступок и не злостное намерение, если принять во внимание, что историки обязаны и должны быть точными, правдивыми и беспристрастными, и ни расчет, ни страх, ни вражда, ни дружба не должны сводить их с прямого пути истины, чьей матерью является история – эта соперница времени, сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предупреждение для будущего? И я знаю, что в этой истории вы найдете все, что обычно ищут в самых занимательных повестях; а

ежели окажутся в ней какие-нибудь недочеты, то виной этому, я уверен, не самый сюжет, а неумелость собаки-автора. Итак, вторая часть истории в переводе начинается следующим образом.

Когда наши отважные и разгневанные противники замахнулись в воздухе своими острыми мечами, можно было подумать, что они грозят небу, земле и самому аду: столько отваги и решимости было в их позе. Первым обрушил свой удар вспыльчивый бискаец, и сделал он это с такой силой и бешенством, что, не повернись у него шпага в руке, этот один удар положил бы конец не только их жестокому поединку, но и всем вообще приключениям нашего рыцаря. Однако благостная судьба, хранившая Дон Кихота для дальнейших великих дел, повернула шпагу в руке его противника, так что удар пришелся ему по левому плечу и не причинил большого урона: только со всего этого бока были сорваны доспехи, попутно отрублена часть шлема и срезана половина уха; все это с ужасающим грохотом свалилось на землю, и наш рыцарь остался в весьма печальном состоянии.

Господи Боже мой, найдется ли такой человек, который мог бы достойным образом изобразить ярость, исполнившую сердце нашего ламанчца, когда он увидел, как его отделали! Я же скажу только, что Дон Кихот снова привстал на стременах, еще сильнее сжал обеими руками меч и с таким бешенством ударил бискайца по подушке и по голове, что противнику, несмотря на его сильное прикрытие, показалось, что на него рухнула целая гора; из носа, рта и ушей полилась у него кровь, он зашатался и наверное бы свалился наземь, если бы не обхватил своего мула за шею. Несмотря все же на это, ноги его выскользнули из стремян, руки повисли, а мул, перепуганный ужасным ударом, помчался по полю и, брыкаясь, сбросил наконец своего хозяина на землю.

Дон Кихот глядел на это с большим спокойствием, а когда бискаец свалился, он спрыгнул с лошади, легко подбежал к нему и, поднеся острие своей шпаги к самым его глазам, повелел ему сдаться, грозя в противном случае отрубить ему голову. Бискаец был так оглушен, что не мог вымолвить слова, и, наверное, пришлось бы ему худо (так Дон Кихот был ослеплен гневом!), если бы дамы из кареты, следившие с трепетом за поединком, не подошли к нашему рыцарю и не стали с большой настойчивостью просить оказать им милость, даровав жизнь их слуге. На что Дон Кихот с большой важностью и достоинством ответил:

– Конечно, прекрасные дамы, я с большим удовольствием исполню вашу просьбу; но я ставлю одно условие: этот рыцарь должен обещать мне, что он отправится в село, называемое Тобосо, предстанет от моего имени пред несравненной доньей Дульсинеей, а уж она распорядится им, как на то будет ее добрая воля.

Перепуганные и огорченные дамы, не разобрав толком, о чем он их просит, и даже не расспросив, кто такая эта Дульсинея, обещали, что их оруженосец в точности исполнит его приказание.

– Веря вашему слову, – сказал Дон Кихот, – я больше не причиню ему зла, хоть он и весьма этого заслуживает.

ГЛАВА X

о том, что еще произошло у Дон Кихота с бискайцем и об опасности, которой он подвергся из-за табуна янгуэсцев[1]

Тем временем Санчо Панса, порядком помятый слугами монахов, уже успел подняться и с большим вниманием следил за поединком своего господина Дон Кихота, моля в сердце своем, чтобы Богу было угодно даровать нашему рыцарю победу и чтобы, одержав ее, он завоевал какой-нибудь остров, где бы Санчо, согласно обещанию, мог сделаться губернатором. Увидев, наконец, что бой кончен и что господин его собирается сесть на Росинанта, он подбежал поддержать ему стремя и, прежде чем тот успел сесть, бросился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

– Да будет угодно вашей милости, господин мой Дон Кихот, пожаловать мне губернаторство на острове, который вы завоевали в этом жестоком бою. Как бы ни был он велик, я чувствую, что в силах управиться с ним ничуть не хуже всяких других островных губернаторов на свете.

На это Дон Кихот ответил:

– Заметь себе, братец Санчо, что это приключение, как и иные, подобные ему, относится к роду приключений не на островах, а на перекрестках дорог: тебе могут проломить голову или отрубить ухо, но ничего другого в них ты не заработаешь. Потерпи немного – будут у нас и такие приключения, которые мне позволят не только произвести тебя в губернаторы, но и сделать кое-чем повыше.

Санчо горячо его поблагодарил, еще раз поцеловал руку и край кольчуги и подсобил сесть на Росинанта, сам же вскочил на своего осла и поехал следом за ним. Ни слова больше не сказав дамам, сидевшим в карете, и даже не попрощавшись с ними, Дон Кихот быстрым шагом въехал в лес, который находился поблизости. Санчо трусил за ним во всю прыть своего ослика; но Росинант бежал так резво, что Санчо скоро отстал и должен был крикнуть своему господину, чтобы тот его подождал. Услышав его, Дон Кихот придержал Росинанта за узду, пока его не нагнал истомленный оруженосец, который сказал:

– Сдается мне, сеньор, что мы поступили бы благоразумно, если бы укрылись в какой-нибудь церкви: ведь человек, с которым вы сейчас сразились, остался в таком плачевном состоянии, что будет не удивительно, если об этом происшествии донесут Санта Эрмандад[2], и тогда нас посадят в тюрьму; а ведь, ей-Богу, немало нам придется попотеть, пока мы оттуда выберемся.

– Замолчи, – сказал Дон Кихот. – Где это ты слыхал или читал, чтобы странствующих рыцарей привлекали к суду за какие бы то ни было совершенные ими смертоубийства?

– Про сверхубийства я ничего не знаю, – ответил Санчо, – и сам я отроду этим делом не занимался, а вот насчет драк в открытом поле так я знаю, что Санта Эрмандад очень ими интересуется, остального же я не касаюсь.

– Не печалься, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я тебя освобожу не только из рук Эрмандад, но и из рук самих халдеев[3]. Но скажи мне по совести: видел ли ты когда-нибудь на свете рыцаря отважнее меня? Читал ли ты в романах, чтобы какой-нибудь рыцарь проявил больше смелости при нападении, упорства в защите, стремительности при нанесении удара и ловкости при вышибании из седла?

– По правде сказать, – отвечал Санчо, – я никогда в жизни не читал никаких романов, потому что я не умею ни читать, ни писать; но решусь побиться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я никогда не служил за всю мою жизнь, и дай Бог, чтобы за всю эту отвагу нам не пришлось расплачиваться в том укромном местечке, о котором я только что упоминал. Но прошу вас, ваша милость, позаботьтесь о себе, – ведь у вас из уха сильно идет кровь, а у меня в сумке есть корпия и немножко белой мази.

– Все это было бы лишним, – ответил Дон Кихот, – если бы я не забыл приготовить склянку бальзама Фьерабраса[4]: одной капли его было бы достаточно, и мы сберегли бы и время и лекарства.

– А что это за склянка и бальзам? – спросил Санчо Панса.

– Состав этого бальзама, – ответил Дон Кихот, – я помню наизусть; имея его, можно не бояться смерти, не опасаться умереть от ран. Я приготовлю его и дам тебе, а ты, когда увидишь, что во время сражения меня разрубили пополам (что нередко в нашем деле случается), ты осторожно поднимешь ту половинку, которая упала на землю, и, прежде чем кровь запеклась, приложишь ее к той, что осталась в седле, постаравшись при этом, чтобы обе половины пришлись аккуратно точка в точку. Затем ты дашь мне испить два глотка этого самого бальзама, – и ты увидишь, что я буду жив и здоров, как румяное яблочко.

– Раз это так, – сказал Санчо, – так я немедленно же отказываюсь от губернаторства на обещанном мне острове и в награду за мою великую и верную службу вас прошу только одного: дайте мне, ваша милость, рецепт этой удивительной жидкости. Я твердо уверен, что в любом месте на свете можно продать унцию его за два реала, если не дороже, – а мне большего и не нужно, чтобы дожить свой век честно и спокойно. Однако прежде нужно выяснить, дорого ли стоит его изготовление.

– На три реала его можно наготовить три асумбры[5], – ответил Дон Кихот.

– Горе мне, грешнику! – воскликнул Санчо. – Так чего же вы ждете, ваша милость, отчего вы сами его не делаете и меня не научите?

– Молчи, друг мой, – ответил Дон Кихот, – еще и не такие тайны я тебе открою и не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом: оно у меня болит больше, чем мне бы хотелось.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но, когда Дон Кихот увидел, в какое состояние пришел его шлем, он едва не лишился чувств. Положив руку на меч и подняв глаза к небу, он сказал[6]:

– Клянусь творцом мира и четырьмя святыми Евангелиями, так, как если бы они передо мной лежали[7], что отныне я буду вести такую же жизнь, какую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего пле-

мянника Балдуина[8], а именно: не вкушать хлеба за скатертью, не тешиться со своей женой и прочее (что именно, я позабыл, но только все это тоже включаю в свою клятву), пока не отомщу тому, кто нанес мне подобное оскорбление.

Услышав эти слова, Санчо сказал:

– Да, подумайте, ваша милость, сеньор Дон Кихот, ведь если тот рыцарь исполнил ваше приказание и пошел представиться госпоже моей Дульсинее Тобосской, так значит он вам свой долг заплатил и не заслуживает нового наказания, пока не совершит другого преступления.

– Ты это правильно заметил и сказал, – отвечал Дон Кихот. – Поэтому я отменяю свой обет в той части, которая касается мести этому рыцарю; но я снова клянусь и подкрепляю свой обет вести такую жизнь, о которой я говорил, пока силой не отниму у какого-нибудь рыцаря шлема, по достоинствам равного этому. И не думай, Санчо, что мои слова, как дым от соломы, уносит ветер, ибо передо мной стоят великие образцы: ведь то же самое, слово в слово, случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту[9].

– Да пошлите вы к черту, ваша милость, мой сеньор, все эти обеты! – воскликнул Санчо. – Они только здоровью во вред и совести в ущерб. А нет, так скажите мне: что, если случайно в продолжение многих дней нам не повстречается ни один человек в шлеме, – что нам тогда делать? Неужели вы будете исполнять ваш обет, несмотря на все неудобства и неприятности, как-то: спать одетым, не ночевать в селеньях и подвергать себя тысячам других испытаний, перечисленных этим выжившим из ума стариком, маркизом Мантуанским, обет которого ваша милость собирается воскресить? Подумайте, ваша милость, ведь по всем этим дорогам разъезжают не вооруженные рыцари, а погонщики и возчики: у них не только никаких шлемов нет, но они, пожалуй, за всю свою жизнь о них и не слыхивали.

– Ошибаешься, – ответил Дон Кихот. – Не пройдет и двух часов, как мы повстречаем на этих перепутьях больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку из-за прекрасной Анджелики[10].

– Ну, ладно, пускай будет по-вашему, – ответил Санчо. – Дай-то Бог, чтоб нам повезло и чтобы поскорей пришел нам срок завоевать остров, который мне так дорого стоит, а уж там я умру спокойно.

– Я уже говорил тебе, Санчо, что тебе нечего об этом беспокоиться: не будет острова, так найдется какое-нибудь королевство, вроде Дании или Сольядисы[11], и оно придется тебе прямо по мерке, как перстень на палец; да тебе же еще лучше будет: ведь королевства эти на твердой земле. Впрочем, мы поговорим об этом в свое время, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумке съестных припасов; подкрепившись, мы тотчас же отправимся на поиски какого-нибудь замка, там переночуем, и я приготовлю бальзам, о котором я тебе рассказывал, ибо, клянусь тебе Богом, у меня сильно болит ухо.

– У меня есть всего-навсего одна луковица, кусочек сыра и несколько корок хлеба, – сказал Санчо. – Все это кушанья, недостойные столь доблестного рыцаря, как ваша милость.

– Как мало ты в этом смыслишь! – воскликнул Дон Кихот. – Так знай же, Санчо, доблесть странствующих рыцарей состоит в том, чтобы не есть по целым месяцам, а если они и едят, то только то, что им попадется под руку. Ты бы знал это твердо, если бы прочел столько романов, сколько я, и хоть много их прочел я, но не запомню, чтобы рыцари когда-либо ели иначе, как по чистой случайности и только на пышных пирах, устраиваемых в их честь; остальные же дни они питались ароматом цветов. Конечно, следует предположить, что они все же ели и удовлетворяли прочие естественные потребности, ибо были, в конце концов, такими же людьми, как и мы; а так как большую часть своей жизни проводили они в лесах и в пустынях и не имели поваров, то следует допустить, что обычной их едой была простая деревенская пища, вроде той, какую ты мне сейчас предлагаешь. Поэтому, друг мой Санчо, пусть не огорчает тебя то, что меня радует, и не старайся повернуть мир и вывести странствующее рыцарство из его привычной колеи.

– Простите мне, ваша милость, – сказал Санчо, – но так как я не умею ни читать, ни писать, о чем я уж вам докладывал, то и правил рыцарской должности я тоже отроду не читал. Впредь я буду возить для вас мешок со всякими сушеными плодами, ибо ваша милость – рыцарь, а для себя, так как я не рыцарь – птицу и вообще вещи посущественнее.

– Я вовсе не говорю, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что странствующие рыцари обязаны есть одни только сушеные плоды: я только заметил, что обыкновенно они питались ими да еще некоторыми полевыми травами, которые они умели отыскивать, как и я тоже умею.

– Полезная штука – разбираться в травах, – сказал Санчо, – потому что, как мне это дело представляется, когда-нибудь эта наука нам пригодится.

Тут он вынул из сумки свои припасы, и они оба дружно и мирно принялись за еду[12]. Но, торопясь отправиться на поиски ночлега, они постарались сократить свой убогий и сухой обед. Потом снова сели верхом и погнали своих скакунов, надеясь засветло добраться до жилья. Но солнце зашло, и вместе с ним покинула их надежда достичь желаемого, а так как они находились возле шалашей козопасов, то они и решили там переночевать. Насколько Санчо огорчался, что они так и не доехали до села, настолько же Дон Кихот, напротив, радовался мысли провести ночь под открытым небом, ибо каждый раз, когда это с ним случалось, он считал это новым успехом, подтверждавшим его право на рыцарское звание.

ГЛАВА XI

о том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами

Козопасы приняли их радушно, и Санчо, позаботившись как можно лучше о Росинанте и о своем осле, направился в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котелке на огне; и хоть тянуло его, не медля ни минуты, попробовать, не пригодно ли это мясо к тому, чтобы быть переправленным из ко-

телка прямо в желудок, все же он воздержался, ибо в это самое время пастухи сняли котелок с огня и, разостлав на земле овчины, быстро приготовили свою сельскую трапезу, а затем с большой приветливостью предложили нашим путникам разделить с ними то, что у них нашлось. Все шесть пастухов, жившие в шалаше, расселись в кружок на овчинах, предварительно с неуклюжей учтивостью попросив Дон Кихота занять место на корыте, перевернутом вверх дном. Дон Кихот сел, а Санчо остался на ногах, чтобы служить ему и подносить кубок, сделанный из рога. Но наш рыцарь, увидев, что он не садится, сказал ему:

– Чтобы ты видел, Санчо, какое благо заключается в странствующем рыцарстве и с какой быстротой люди, так или иначе служащие ему, достигают уважения и почестей в мире, я хочу, чтобы ты сел рядом со мною в кругу этих добрых людей и был равен мне, твоему господину и природному сеньору, чтобы ты ел с моей тарелки и пил из той же чашки, из которой пью я, – ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обычно говорится о любви: оно всех равняет.

– Благодарю покорно, – ответил Санчо, – но вот что я скажу вашей милости: было бы у меня что поесть, а кушать стоя и в одиночестве мне, пожалуй, еще сподручнее, чем сидя рядом с самим императором; и, уж если разрешите сказать откровенно, так мне куда приятнее есть хлеб с луком у себя в углу без всяких церемоний и жеманства, чем за чужим столом кушать индейку и быть вынужденным жевать медленно, пить мало, каждую минуту вытирать рот, не кашлять и не чихать, когда захочется, и не делать многого другого, что позволяется на свободе и в уединении. Поэтому, мой сеньор, вместо почестей, которые ваша милость желает мне оказать, как слуге и сотруднику странствующего рыцарства, – ибо я оруженосец вашей милости, – пожалуйте мне что-нибудь другое поприбыльнее и пополезнее; а эту честь я принимаю с благодарностью, но отказываюсь от нее и ныне и навеки.

– Несмотря на это, все же садись, ибо того, кто смиряется, Бог возвышает[1].

И, потянув его за рукав, Дон Кихот заставил усесться с ним рядом.

Пастухи, ничего не понявшие в этой тарабарщине об оруженосцах и странствующих рыцарях, только и делали, что ели, молчали и поглядывали на гостей, которые с большим аппетитом и проворством уплетали куски величиной с кулак. Когда мясное блюдо было кончено, пастухи высыпали на шкуры огромное количество желудей и вместе с ними поставили полкруга сыра, такого твердого, как будто он был сделан из извести. За этим десертом роговой кубок тоже не бездействовал: то полный, то пустой, как ведра водочерпалки, он с такой быстротой ходил по кругу, что из имевшихся налицо двух бурдюков вскоре и без особого труда один оказался опорожненным. Когда Дон Кихот хорошо насытил свой желудок, он взял пригоршню желудей и, сосредоточенно глядя на них, начал следующую речь:

– Счастливо было то время и счастлив тот век, который древние прозвали золотым[2], и не потому, чтобы золото, столь ценимое в наш железный век, доставалось в те блаженные времена без всякого труда, а потому, что люди, жив-

шие тогда, не знали двух слов: твое и мое. В те святые времена все было общее. Чтобы получить свое дневное пропитание, человеку нужно было только поднять руку к ветвям могучих дубов, в изобилии предоставлявших сладкие и вкусные плоды. Светлые источники и быстрые реки с роскошной щедростью предлагали ему свои отрадные и прозрачные воды. В расселинах скал и дуплах деревьев скромные и трудолюбивые пчелы основывали свои царства, и любая рука могла безвозмездно завладеть обильной жатвой их сладчайших трудов. Мощные пробковые дубы без всякого принуждения, из щедрой любезности обнажались от своей просторной и легкой коры, и люди покрывали ею свои хижины, построенные на неотесанных столбах единственно для защиты от переменчивой погоды. Тогда всюду был мир, дружба и согласие. Тяжелый сошник кривого плуга еще не дерзал взрезать и вскрывать милостивую утробу нашей праматери, ибо без принуждения дарила она на всем протяжении своего плодородного и просторного лона все, что могло насытить, напитать и порадовать детей, владевших ею в ту пору. Тогда простосердечные и прекрасные пасту́шки прогуливались с холма на холм и из долины в долину, с непокрытыми головами, и был на них всего лишь один покров, целомудренно прикрывавший места, которые благопристойность всегда требовала и требует прикрывать; и не было у них уборов, какие приняты в наше время, – украшенных тирским пурпуром или шелком, истерзанным на множество ладов, а всего лишь венки из листьев плюща и зеленого лопуха: и в этом наряде были они, пожалуй, не менее пышны и разукрашены, чем наши куртизанки с теми диковинными ухищрениями, которым научила их затейливая праздность. Тогда любовные порывы души выражались так же просто и искренне, как и зарождались в ней, и не нуждались для своего украшения в хитрых сплетениях слов. Обман, коварство и лукавство не примешивались тогда к правде и откровенности. Тогда правосудие царило полновластно, и не корысть, ни пристрастие, которые ныне так унижают, гнетут и преследуют его, не смели еще ни оскорбить его, ни смутить. Закон личного произвола не приходил судьям в голову, ибо тогда еще не за что и некого было судить. Как уже сказал я, целомудренные девушки разгуливали, где им вздумается, одни-одинешеньки, не боясь, что их оскорбит чужая дерзость или вожделение, а если они и теряли честь, так случалось это по их собственной склонности и доброй воле. А теперь, в наше ненавистное время, ни одна из них не находится в безопасности, даже если она спрятана и заперта в каком-нибудь невиданном лабиринте, вроде Критского, ибо теперь, вместе с этой проклятой галантностью, из всех скважин несется на них по воздуху любовная зараза, а с нею прощай всякая сдержанность! Чем дальше шло время, тем больше росло это зло, пока, наконец, для безопасности девиц не был основан орден странствующих рыцарей, поставивший себе целью защищать девственниц, опекать вдов, помогать сиротам и бедным. К этому ордену и я принадлежу, братья пастухи, и я благодарю вас за угощение и радушный прием, который вы оказали мне и моему оруженосцу. Хотя по естественному закону все живущие на свете обязаны содействовать странствующим рыцарям, однако я знаю, что вы в неведении этой обязанности

приняли нас и угостили, и потому надлежит мне самым сердечным образом поблагодарить вас за вашу сердечность.

Всю эту длинную речь (от которой он отлично мог бы воздержаться) наш рыцарь произнес только потому, что предложенные ему желуди навели его на мысль о золотом веке, и вот, вздумалось ему без нужды разглагольствовать перед пастухами, которые, не произнося ни слова, слушали его в недоумении и растерянности. Санчо тоже молчал, грызя желуди и частенько навещая второй бурдюк, который, чтобы вино было холоднее, подвешен был к дубу.

Ужин уже кончился, а Дон Кихот все еще говорил, пока наконец, один из пастухов не обратился к нему со следующими словами:

– Чтобы у вашей милости, сеньор странствующий рыцарь, было еще более оснований поверить в искреннее радушие нашего приема, мы хотим вас потешить и повеселить пением одного нашего товарища, который сейчас должен сюда прийти; он тоже пастух, парень с головой, служит любви, а главное – умеет читать и писать, и на рабеле[3] играет так, что лучше и желать невозможно.

Не успел пастух сказать эти слова, как до слуха их донесся звук рабеля, а вскоре появился и сам музыкант, юноша лет двадцати двух, весьма привлекательной наружности. Его спросили, ужинал ли он, и когда он ответил утвердительно, тот самый пастух, что расхваливал его, сказал:

– В таком случае, Антонио, сделай нам удовольствие и спой что-нибудь: пусть сеньор, который у нас сегодня в гостях, увидит, что и в горах и в лесах встречаются люди, знающие толк в музыке. Мы ему уже сообщили о твоих способностях, – так прояви их и убеди его в том, что мы не солгали. Итак, горячо прошу тебя сесть и спеть нам романс в честь твоей возлюбленной, что сочинил твой дядюшка священник и что так понравился всем в нашей деревне.

– С большим удовольствием, – ответил юноша, и, не заставляя себя больше упрашивать, он уселся на пень срубленного дуба, настроил свой рабель и вскоре запел приятным голосом следующий романс:

Ты меня, я знаю, любишь.
Хоть ни разу не сказала
Даже взорами, Олалья,
Языком любви безгласным.

Зная, что ты это знаешь,
Я уже не сомневаюсь;
Не бывает несчастливой
Страсть, которая узналась.

Иногда, Олалья, правда,
Ты старалась мне представить,
Что душа твоя из бронзы,
Перси белые – из камня.

Но среди твоих презрений
И надменных невниманий
Иногда надежда кромку
Своего покажет платья.

Я кидаюсь на приманку,
Хоть не мог еще ни разу
Ни зачахнуть, как незваный,
Ни, как избранный, вспорхнуть.

Если страсть всегда учтива,
То твоя учтивость значит,
Что концом моей надежды
Будет то, о чем мечтаю.

Если верное служенье
Может ждать себе награды,
Кое-что в моих поступках
Мне дает на это право.

Ведь не раз могла ты видеть, –
Если только замечала, –
Что ношу я и по будням
То, что надеваю в праздник.

Так как путь один и тот же
У любви и у нарядов,
Мне хотелось пред тобою
Быть всегда щеголеватым.

Уж не говорю о танцах
Или там о серенадах,
Исполнявшихся под вечер
И с ночными петухами.

Исчислять похвал не стану,
Красоте твоей возданных;
Их правдивостью у многих
Я себе немилость нажил.

Беррокальская Тереса
На мои хвалы сказала:
“Про иных послушать – ангел,
“А посмотришь – обезьяна.

“Мудрено ли всяким хламом,
“Накладными волосами
“И красотами из лавки
“Хоть Амура одурачить!”

Я ответил. Оскорбилась.
Брат двоюродный вмешался.
Вышла ссора, а потом уж
Что мы сделали, ты знаешь.

Я люблю не как попало,
И служу, и домогаюсь
Не сожительства с тобою,
Ибо цель моя похвальна.

Церковь нам готовит узы,
Петли шелковые вяжет;
Положи свою в них шею,
И свою вложу я рядом.

Если ж нет, клянусь на месте
Всем, что есть святого в святцах,
Что уйду из здешних дебрей
Разве только что в монахи.

Такими словами пастух закончил свою песню, и Дон Кихот попросил его спеть еще что-нибудь, но тут вмешался Санчо Панса, которому больше хотелось спать, чем слушать пение. Поэтому он сказал своему господину:

– Пора бы уж вашей милости выбрать местечко, где она уляжется: ведь эти добрые люди целый день работают и не могут проводить ночи напролет в пении.

– Я тебя понимаю, Санчо, – ответил Дон Кихот. – Сдается мне, что усердные беседы с бурдюком больше вознаграждаются сном, чем музыкой.

– Да кто ж из нас вина не любит, слава тебе Господи! – воскликнул Санчо.

– Я этого не отрицаю, – сказал Дон Кихот. – Ну, располагайся, где тебе угодно, а людям моего положения больше пристало бодрствовать, чем спать. А все же было бы не плохо, Санчо, если бы ты еще разок перевязал мне ухо, потому что болит оно сильнее, чем надо бы.

Санчо исполнил приказание; а один козопас, увидев рану, сказал, что беспокоиться нечего, что у него есть лекарство, от которого она сейчас же заживет. И, сорвав несколько листиков розмарина, росшего вокруг в большом изобилии, он разжевал их, смешал с солью и приложил к ране; затем старательно ее перевязал и заявил, что никакого другого лекарства не понадобится. Так оно и оказалось на деле.

ГЛАВА XII

о том, что рассказал один козопас[1] компании, бывшей с Дон Кихотом

В это время вернулся молодой парень, ходивший в деревню за припасами, и сказал:

– Товарищи, знаете, что случилось в деревне?

– Откуда нам знать? – ответил один из пастухов.

– Так знайте, – продолжал пришедший, – что сегодня утром скончался знаменитый пастух-студент по имени Хризостом[2], и ходит слух, что умер он от любви к этой чертовке Марселе, дочери богача Гильермо, той самой, что бродит по нашим дебрям в одежде пастушки.

– Ты говоришь, к Марселе? – спросил один из компании.

– Да, к Марселе, – ответил козопас. – А самое замечательное то, что в своем завещании он велит похоронить себя, как мавра, средь чистого поля[3], у подножья скалы, где над источником растет дуб, ибо люди уверяют (будто бы с его собственных слов), что в этом месте он увидел ее в первый раз. И еще есть другие у него разные желания, только здешние священники утверждают, что они не будут исполнены и что исполнять их не следует, потому что они вроде языческих. А священникам возражает большой друг покойного, студент Амбросио, тоже переодевшийся пастухом, как и покойник: он говорит, что завещание Хризостома должно быть выполнено целиком и до конца, как он просит, и по этому случаю все село сейчас в волнении. Судя по разговорам, в конце концов все устроится, как желают Амбросио и его друзья пастухи, и завтра с большим торжеством понесут хоронить Хризостома в то самое место, о котором я говорил. По-моему, на это очень стоит поглядеть; во всяком случае, я пойду туда непременно, если только завтра мне не придется опять идти за припасами.

– Да мы все пойдем туда, – ответили пастухи, – и бросим жребий, кому остаться стеречь наших коз.

– Правильно, Педро, – подхватил другой пастух, – только незачем прибегать к такому способу: я останусь за вас всех. И не думай, что я это предлагаю по доброте или из отсутствия любопытства, а просто я давеча занозил себе ногу и мне трудно ходить.

– Как бы там ни было, мы все очень благодарим тебя, – ответил Педро.

Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто это такой умер и кто такая эта пастушка. На что Педро ответил, что, насколько ему известно, покойный был богатый идальго, родом из села, лежащего в горах неподалеку отсюда, что много лет учился он в Саламанке, а потом вернулся к себе на родину и слыл там весьма ученым и начитанным человеком. Говорили, что особенно сведущ он был в науке о звездах и знал, что там на небе делают солнце и луна:

– Он нам в точности предсказывал все солнечные и лунные *сомнения*.

– Это называется *затмением*, друг мой, а не *сомнением*, когда эти два великие светила помрачаются, – заметил Дон Кихот.

Но Педро, не обратив внимания на такую мелочь, продолжал свой рассказ:

– А также он угадывал, какой будет год: урожайный или *нерожайный*.

– Вы хотите сказать – *неурожайный*, друг мой? – заметил Дон Кихот.

– Нерожайный или неурожайный, велика разница! Одним словом, благодаря его предсказаниям отец и друзья его очень разбогатели, ибо они доверяли ему и во всем следовали его советам, когда он говорил: "Сейте в этом году ячмень, а не пшеницу; а в этом сажайте горох, но не сейте ячменя; в будущем году оливковое масло будет в изобилии, а потом три года сряду не будет его ни одной капли".

– Эта наука называется астрологией, – сказал Дон Кихот.

– Уж не знаю, как она там называется, – ответил Педро, – а только знаю, что смыслил он не только в этом, но и во многом другом. И вот, не прошло и нескольких месяцев после его возвращения из Саламанки, как вдруг в один прекрасный день сбросил он свое долгополое студенческое одеяние и появился перед нами в одежде пастуха, в овчине и с посохом в руках, а вместе с ним переоделся пастухом и верный друг его Амбросио, его товарищ по школьной скамье. Я позабыл вам сказать, что покойный Хризостом был хорошим стихотворцем: он сочинял вильянсики, что поются в рождественскую ночь, и священные действа к празднику тела Христова[4], которые разыгрывала наша деревенская молодежь, и все говорят, что были они превосходны. Когда эти два студента так неожиданно переоделись пастухами, все на селе были изумлены и никак не могли догадаться о причине столь необычного превращения. А в это время умер отец нашего Хризостома, и он остался наследником его немалого имущества, как движимого, так и недвижимого, а также большого количества крупного и мелкого скота и значительной суммы денег. Все это перешло в полное его распоряжение, и, по правде сказать, он вполне этого заслуживал, ибо был добрым и щедрым товарищем, любил хороших людей, а лицом был писаный красавец. Потом узнали, что переоделся он только потому, что решил удалиться в эти пустынные места вслед за пастушкой Марселой, о которой недавно упоминал наш товарищ, так как бедный, ныне покойный, Хризостом влюбился в нее. Теперь я вам расскажу, чтобы вы знали, кто такая эта малютка: весьма возможно, а пожалуй даже наверное, вы не услышите ничего подобного во всю свою жизнь, даже если проживете дольше, чем сарна.

– Не сарна, а Сарра[5], – прервал его Дон Кихот, который не мог стерпеть, что пастух так калечил слова.

– Да ведь сарна еще живучей, – возразил пастух. – Но только ежели вы, сеньор, будете придираться к каждому моему слову, так я и через год не кончу.

– Простите, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я перебил вас, потому что между *сарной и Саррой* большая разница. Но вы превосходно мне ответили, что сарна еще долговечнее Сарры; продолжайте же вас рассказ, я больше ни разу вас не прерву.

– Итак, добрый сеньор мой, – сказал пастух, – я продолжаю. В нашей деревне жил один крестьянин, еще побогаче, чем отец Хризостома, и звали его Гильермо. Помимо многих великих богатств, дал ему Бог еще и дочку, мать которой, почтеннейшая женщина во всем нашем околотке, умерла при ее рождении. Как сейчас вижу я ее лицо, светившееся с одной стороны как солнце, а с другой – как луна; а главное, была она доброй хозяйкой и любила бедных, так что мне думается, что ныне душа ее блаженствует на том свете у Господа Бога. После смерти столь доброй жены муж ее Гильермо умер с горя, и осталась его дочка, юная и богатая Марсела, на попечении у дяди, священника, имеющего бенефиций в нашем селе. Девочка росла такой хорошенькой, что все мы невольно вспоминали ее красавицу-мать, а некоторые полагали даже, что со временем она станет еще прекраснее ее. Таким-то образом, когда ей исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет, нельзя было смотреть на нее, не благословляя Бога за то, что он создал ее такой прекрасной, и большинство наших юношей были до смерти в нее влюблены. А дядя держал ее под запорами, в большой строгости; но все же молва о ее великой красоте и большом богатстве разнеслась не только по нашему селу, но и на много миль вокруг, и лучшие женихи съезжались отовсюду просить, упрашивать и приставать к дяде, чтобы он выдал ее замуж. А тот, как настоящий добрый христианин, хоть и не прочь был ее пристроить, когда она вошла в возраст, все же не хотел этого делать без ее согласия, – хотя, конечно, не потому откладывал он ее замужество, что думал о доходах и прибылях, которые приносила ему опека над ее имуществом. Верьте мне, об этом часто говорили у нас на посиделках и похваливали доброго священника. А ведь должен я вам сказать, странствующий сеньор, что у нас в деревушках обо всех болтают и кого угодно оговорят; и уж будьте уверены, как уверен и я, что ежели прихожане, особенно деревенские, хорошо отзываются о какой-нибудь духовной особе, то это значит, что она вполне того заслуживает.

– Совершенно правильно, – заметил Дон Кихот. – Продолжайте же: рассказ ваш очень хорош, и вы, добрый Педро, рассказываете его прекрасно.

– Была бы только милость Божия, это самое главное. Ну, а дальше было так: хотя дядя предлагал племяннице множество женихов, подробно перечисляя достоинства каждого из тех, кто хотел на ней жениться, и прося ее решиться и выбрать себе по вкусу одного из них, – она на все его предложения отвечала, что пока еще не желает выходить замуж, что она еще слишком молода и не считает себя способной нести бремя супружеской жизни. Отговорки ее казались справедливыми, и дядя оставил ее в покое, поджидая, чтобы она подросла и выбрала, наконец, себе супруга по собственному желанию. Ибо он заявлял, – и в этом был вполне прав – что родители не должны устраивать судьбу своих детей против их воли. И вдруг, ни с того ни с сего, нежданно-негаданно, привередливая Марсела в один прекрасный день сделалась пастушкой. Хотя ее дядя и все односельчане отговаривали ее, она не послушалась и с другими пастушками из нашей деревни отправилась в поле пасти свое собственное стадо. А когда она появилась перед всеми и все смогли, наконец, увидеть ее красоту, множество

богатых юношей, идальго и поселян – ей-Богу, мне их всех и не пересчитать! – оделись так же, как Хризостом, и пошли вместе с нею скитаться, домогаясь ее милостей. Я уж вам сказал, что один из них был и покойный Хризостом, про которого рассказывали, что он не то что любил ее, а прямо боготворил. И не думайте, что если Марсела избрала свободу и привольную жизнь, не знающую никаких стеснений, так это означало или намекало на то, что честь и добродетель ее могли от этого пострадать; напротив, она так бдительно охраняет свою честь, что ни один из служащих ей и домогающихся ее любви не похвалился еще, да, говоря правду, вероятно никогда и не похвалится, что она дала ему хоть малейшую надежду на удовлетворение его желаний. Она не избегает и не уклоняется от общества и бесед пастухов, обращается с ними любезно и дружески, но как только кто-нибудь из них открывает ей свое желание – будь это даже законным и святым желанием жениться на ней, – она тотчас же отбрасывает его на расстояние выстрела из мортиры. И таким своим поведением она производит в нашей стране больше бедствий, чем чума, ибо приветливость ее и красота заставляют всех юношей, которые с ней встречаются, любить ее и служить ей; а ее презрение и бесчувственность доводят их до отчаянья, и они иначе не называют ее, как жестокой, неблагодарной и тому подобными именами, по которым можно судить о свойствах ее характера. И если бы вы здесь остались, сеньор, вы бы в один прекрасный день услышали, как наши горы и долины оглашаются жалобами отвергнутых влюбленных, которые за ней следуют. Неподалеку отсюда есть место, где растут дюжины две высоких буков, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы вырезано и написано имя Марселы, а на некоторых деревьях над именем вырезана еще и корона, как будто влюбленный этими знаками хотел сказать, что венец всей человеческой красоты по праву принадлежит Марселе. Тут вздыхает один пастух, там жалуется другой, здесь слышатся любовные песни, а там – горестные. Один влюбленный проводит ночи напролет под дубом или у подножия скалы и, опьяненный и увлеченный мечтами, не смыкает до зари плачущих очей; другой вздыхает без перерыва и передышки и в самый нестерпимый зной летнего полдня лежит на раскаленном песке и шлет свои жалобы милосердному небу. А прекрасная Марсела, свободная и беспечная, торжествует над тем и над этим, над этими и другими. Мы все, знающие ее, ожидаем, когда придет конец ее надменности и кто будет тот счастливец, что укротит, наконец, ее ужасный нрав и насладится ее необычайной красотой. А так как все, что я вам рассказал, – сущая правда, то, думается мне, правда и то, что наш пастух сообщил о причине смерти Хризостома. Поэтому советую вам, сеньор, непременно приходите завтра на похороны: право, стоит посмотреть, ибо у Хризостома было множество друзей, а до места, где он завещал себя похоронить, отсюда меньше чем полмили.

– Конечно, пойду – ответил Дон Кихот, – и благодарю вас за удовольствие, которое вы мне доставили столь интересным рассказом.

– О, я не знаю и половины того, что случилось с возлюбленным Марселы, – ответил козопас. – Но, может быть, завтра мы встретим по дороге какого-

нибудь другого пастуха, и он нам расскажет остальное. А теперь вам не мешало бы прилечь поспать в шалаше, так как ночная свежесть может повредить вашей ране, – хотя, впрочем, с тем пластырем, что я вам положил, вы можете не бояться неприятных осложнений.

Санчо Панса, который давно уже посылал к черту разглагольствования пастуха, тоже принялся упрашивать Дон Кихота лечь в шалаше Педро. Тот согласился и остаток ночи провел в мыслях о своей сеньоре Дульсинее, подражая в этом любовникам Марселы. А Санчо Панса, примостившись между Росинантом и ослом, заснул не как безнадежно влюбленный, а как человек, изрядно помятый кулаками.

ГЛАВА XIII

содержащая конец повести о пастушке Марселе и разные другие события

Едва только с балконов востока выглянул день[1], как пятеро из шести пастухов вскочили на ноги и принялись будить Дон Кихота, спрашивая его, не изменил ли он своего намерения отправиться на необычайные похороны Хризостома и не хочет ли он присоединиться к их компании. Дон Кихот, только о том и помышлявший, встал и велел Санчо немедленно седлать лошадь и осла, что тот исполнил весьма проворно, и столь же проворно все они пустились в путь. Не успели они проехать и четверти мили, как на перекрестке двух тропинок завидели человек шесть пастухов, шедших к ним навстречу: на них были черные овчины, а на головах – венки из веток кипариса и олеандра. Каждый держал в руках толстую дубовую палку. Рядом с ними ехали верхом два дворянина в богатом дорожном платье, сопровождаемые тремя слугами, которые шли пешком. Встретившись, пастухи учтиво друг друга приветствовали и спросили, кто куда направляется; выяснилось, что все они держат путь к месту погребения, и потому они пошли дальше все вместе. Один из всадников, обратившись к другому, сказал:

– Мне кажется, сеньор Вивальдо, что время, которое у нас возьмет поездка на эти диковинные похороны, не будет потеряно, ибо, наверное, они будут достопримечательны, если верить тем удивительным вещам, которые – как о покойном пастухе, так и о сразившей его пастушке – рассказали нам наши спутники.

– Я того же мнения, – ответил Вивальдо, – и готов потратить не один день, а целых четыре, чтобы только на это посмотреть.

Дон Кихот спросил их, что они слышали о Марселе и Хризостоме. Всадник ответил, что нынче на рассвете встретили они этих пастухов и, увидя их траурный наряд, спросили, почему они так одеты; тогда один из них объяснил им, в чем дело, рассказал о странном нраве прекрасной пастушки по имени Марсела, о любви многочисленных ее поклонников и о смерти Хризостома, на погребе-

ние которого они отправляются. Одним словом, он рассказал Дон Кихоту все, что тот уже узнал со слов Педро.

Этот разговор между ними кончился, и начался другой, ибо всадник, которого звали Вивальдо, спросил Дон Кихота, по какому случаю тот разъезжает в полном вооружении по столь мирной стране. На это Дон Кихот ответил:

– Свойства моей профессии не позволяют и не разрешают мне разъезжать в ином виде. Удобства, роскошь и покой изобретены для изнеженных столичных жителей, но труды, тревоги и ратное дело изобретены и созданы для тех, кого мир именует странствующими рыцарями и из коих я, недостойный, считаю себя самым последним.

Услышав эти слова, все решили, что он сумасшедший; но, чтобы проверить это и выяснить, какого рода его безумие, Вивальдо еще раз взял слово и спросил, что такое "*странствующие рыцари*".

– Разве ваши милости, – отвечал Дон Кихот, – не читали летописей и истории Англии, где рассказывается о славных подвигах короля Артура[2], который на нашем кастильском наречии обычно именуется *Артусом*? Во всем королевстве Великой Британии существует древнее, весьма распространенное предание о том, что король этот не умер, но чарами был обращен в ворона, и что наступит время, когда он снова станет королем и возвратит себе королевство и скипетр: не по этой ли причине вы не найдете ни одного англичанина, который с того самого дня и поныне убил бы хоть одного ворона? Итак, во времена этого доброго короля был учрежден славный рыцарский орден рыцарей Круглого Стола, и именно тогда-то дон Ланселот, рыцарь Озера, влюбился в королеву Джиневру[3], причем наперсницей и посредницей между ними была почтеннейшая донья Кинтаньона[4] – точь-в-точь так, как об этом рассказывается; вот откуда и пошел известный романс, который так часто поют у нас в Испании:

Никогда так нежно дамы
Не пеклись о паладине,
Как пеклись о Ланселоте,
Из Британии прибывшем...

и все прочее, что в нем дальше нежно и сладостно поется о любовных и ратных делах Ланселота. С той поры этот рыцарский орден постепенно вырос и распространился по многим и различным частям света; в нем стали славны и известны своими подвигами отважный Амадис Галльский со всеми своими сыновьями и внуками до пятого колена, доблестный Фелисмарте Гирканский и стоящий выше всех похвал Тирант Белый; а непобедимого и доблестного рыцаря дона Бельяниса Греческого мы чуть ли не в наши дни видели, общались с ним и слышали его[5]. Так вот, сеньоры, что значит быть странствующим рыцарем, и вот каков этот рыцарский орден; к нему, как я уже сказал, принадлежу и я, грешный, и все, что исповедывали перечисленные мною рыцари, исповедую и я. Посему странствую я по этим уединенным и пустынным местам в поисках приключений, с твердой решимостью встречать мечом и грудью все опасности, которые пошлет мне судьба, и защищать слабых и обездоленных.

После этой речи спутники Дон Кихота окончательно поняли и то, что он безумен, и то, какого рода безумие им владеет; они были поражены этим, как, впрочем, и все, кто впервые встречался с нашим рыцарем. А Вивальдо, человек остроумный и веселого нрава, чтобы провести без скуки остающееся время пути (по словам пастухов, до места в горах, где должно было происходить погребение, было уже совсем близко), решил дать Дон Кихоту повод продолжать свои бредни и потому сказал:

– Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что ваша милость избрала одну из самых суровых профессий на земле, и я уверен, что даже жизнь картезианских монахов не столь сурова.

– Может быть, она не менее сурова, – ответил Дон Кихот, – но что она не столь необходима для человечества – в этом я готов дать руку на отсечение. Ибо, если говорить правду, то солдат, исполняющий приказание своего капитана, делает де́ло не менее важное, чем сам капитан, отдающий приказания. Я хочу сказать, что монахи в мире и покое молятся небу о благоденствии земли, мы же, солдаты и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они молятся: мы защищаем землю мощью нашей руки и лезвием нашего меча, и не под прикрытием кровли, а под открытым небом, служа мишенью летом – нестерпимым лучам солнца, зимой – колючим морозам. Поэтому на земле мы – слуги Бога, мы – руки, с помощью которых осуществляется на ней его справедливость. И так как ратным делом и всем, что к нему примыкает и относится, нельзя заниматься без великого напряжения, пота и труда, то из этого следует, что посвятившие себя этому делу, без сомнения, трудятся больше, чем те, кто в невозмутимом мире и спокойствии просят Бога сжалиться над обездоленными. Я не хочу сказать, – такая мысль мне и в голову не может придти, – что дело странствующих рыцарей столь же свято, как жизнь монахов-затворников; я только заключаю из всех лишений, которые мне приходится переносить, что наше существование еще более тягостно, убого, изнурительно, жалостно, еще более подвержено голоду, жажде и вшивости, ибо несомненно, что всем странствующим рыцарям былых времен приходилось в течение их жизни претерпевать множество невзгод. А если кому из них и удавалось силою собственного меча сделаться императором, то уж поверьте, что стоило это им немало пота и крови; да еще, если бы при достижении этих высоких степеней не помогали им мудрецы и волшебники, то так бы они и остались обманутыми в своих желаниях и разочарованными в своих надеждах.

– Я вполне с вами согласен, – ответил путешественник. – Но из всего, что я знаю о странствующих рыцарях, мне не нравится одно: когда они бросаются в какое-нибудь великое и опасное приключение, в котором жизнь их подвергается явной опасности, – в эту решительную минуту им никогда не приходит в голову поручить себя милости Божьей, как в подобных опасностях обязан делать каждый христианин; напротив, они поручают себя своим дамам, да еще с таким жаром и благоговением, как будто эти дамы – божество. Признаюсь, это немного попахивает язычеством.

– Сеньор, – ответил Дон Кихот, – иначе и быть не может, и, если бы странствующий рыцарь этого не делал, он бы опозорил себя; ибо в странствующем рыцарстве есть правило и обычай, чтобы странствующий рыцарь, готовясь вступить в великий бой, любовно и нежно обращал взоры на свою даму, если она при этом присутствует, как бы прося ее помочь и защитить его в предстоящем тяжелом испытании; и даже если никто не слышит, он обязан сквозь зубы пробормотать несколько слов, от всего сердца призывая ее милость. В романах вы найдете этому бесчисленные примеры. Но из этого не следует заключать, что рыцари не поручают себя Богу: для этого у них всегда найдется и время и случай в течение самого боя.

– А все же, – ответил путешественник, – у меня остается сомнение. Много раз читал я о том, что два странствующих рыцаря начинают спорить, потом мало-помалу распаляются гневом, поворачивают коней и отъезжают в сторону для разгона, затем сразу устремляются друг на друга и на полном скаку поручают себя своим дамам; а схватка обыкновенно кончается тем, что один из них падает со своей лошади навзничь, насквозь пронзенный копьем противника, а другой вцепляется в гриву своего скакуна и только потому не свергается наземь. И я, право, не понимаю, как убитый рыцарь мог бы успеть поручить себя Богу в течение такой стремительной схватки. Лучше бы ему было, пока он скачет, тратить время не на призывание дамы, а на исполнение своего долга и обязанности христианина, тем более, – я в этом уверен, – что не все странствующие рыцари имеют возможность поручать себя дамам, ибо не все же они влюблены.

– Это вещь невозможная, – ответил Дон Кихот. – Я хочу сказать, что не может быть странствующего рыцаря без дамы, ибо каждому из них столь же свойственно и присуще быть влюбленным, как небу иметь звезды, и можно с уверенностью сказать, что не существует на свете такого романа, в котором был бы странствующий рыцарь без любви: ведь если б был такой рыцарь без любви, он тем самым доказал бы, что он не законный рыцарь, а побочный сын рыцарства, не проникший в его твердыню через ворота, а перескочивший через ее ограду, как вор и разбойник.

– Однако, – возразил путешественник, – мне кажется, если только память мне не изменяет, что дон Галаор, брат доблестного Амадиса Галльского, никогда не имел знатной дамы, которой он мог бы поручить себя, и никто не ставил ему этого в упрек, так как он был весьма отважным и славным рыцарем.

На это наш Дон Кихот ответил:

– Сеньор, одна ласточка не делает весны, а кроме того, мне известно, что этот рыцарь втайне был страстно влюблен. И если он ухаживал за всеми дамами, которые ему нравились, так делал он это по естественной склонности, с которой не мог совладать. Но для меня совершенно несомненно, что у него была дама, которую он сделал госпожой своего сердца и которой он постоянно и тайно поручал себя, ибо стремился быть весьма скрытным рыцарем.

– Раз вы утверждаете, – сказал путешественник, – что по самой своей сущности каждый странствующий рыцарь должен быть влюблен, то из этого мож-

но заключить, что и ваша милость тоже влюблена, так как вы принадлежите к этому ордену. И если ваша милость не стремится быть столь же скрытным, как дон Галаор, то я весьма убедительно прошу вас от своего имени и от имени всего этого общества сообщить нам имя, родину и титул вашей прекрасной дамы; ибо она должна быть счастлива, если весь мир узнает, что ее любит и ей служит столь видный рыцарь, каким представляется мне ваша милость.

Тут Дон Кихот испустил глубокий вздох и сказал:

– Не берусь утверждать, что нежному моему недругу угодно, чтобы весь мир знал, как я ей служу. В ответ на вашу столь учтивую просьбу одно лишь могу сказать: зовут ее Дульсинея, родом она из Тобосо, местечка в Ламанче, и она по меньшей мере – принцесса, ибо она моя госпожа и королева. Красота ее – сверхчеловеческая, ибо все невозможные и химерические атрибуты красоты, которыми поэты наделяют своих дам, в ней стали действительностью: ее волосы – золото, чело – Елисейские поля, брови – небесные радуги, очи – солнце, ланиты – розы, уста – кораллы, зубы – жемчуг, шея – алебастр, перси – мрамор, руки – слоновая кость, белизна кожи – снег, а те части тела, которые целомудрие скрывает от людских взоров, таковы, что, по моему мнению и понятию, ими можно лишь скромно восхищаться, ибо они выше всяких сравнений.

– Нам хотелось бы узнать ее происхождение, историю рода и генеалогию, – сказал Вивальдо.

На это Дон Кихот отвечал:

– Она происходит не от древнеримских Курциев, Каев или Сципионов и не от нынешних римлян – Колонна и Орсини, не от каталонских Монкада и Рекесен, также не от валенсианских Ребелья и Вильянова, арагонских Палафокс, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагон, Урреа, Фос и Гурреа, кастильских Серда, Манрике, Мендоса и Гусман, португальских Аленкастро, Палья и Менесес. Она – из рода Тобосо Ламанчских, рода не древнего, но могущего положить благородное начало самым знатным поколениям в грядущие времена. И если кто-нибудь вздумает мне возражать, то я поставлю ему те же условия, которые написал Дзербино у подножья трофеев Роланда[6]:

...Коснуться их достоин
Лишь доблестью Роланду равный воин.

– Хоть и происхожу я из рода Качопинов Ларедских[7], – ответил путешественник, – но я не посмею сравнить его с родом Тобосо Ламанчских, хотя, по правде сказать, никогда доселе о таком имени я не слыхал.

– Так я вам и поверю, что не слыхали! – воскликнул Дон Кихот.

Спутники наших собеседников с большим вниманием слушали их разговор, и теперь даже пастухи смекнули, что наш Дон Кихот окончательно свихнулся. Один Санчо Панса был уверен, что все слова его господина – сущая правда, ибо он хорошо его знал и был с ним знаком с самого дня его рождения. Единственно, в чем он немного сомневался, – это в существовании прекрасной Дульсинеи Тобосской, ибо хоть и жил он поблизости от Тобосо, никогда еще не слыхал он

о таком имени и такой принцессе. Беседуя подобным образом, продолжали они путь, пока, наконец, в ущелье, между двумя высокими горами, не увидели десятка два пастухов, одетых в черные овчины и с венками на головах, сплетенными, как вскоре выяснилось, частью из кипарисовых, а частью из тисовых ветвей. Шестеро из них несли носилки, покрытые различными цветами и венками. Увидев это, один из наших пастухов сказал:

– Вот несут тело Хризостома: у подножия этой горы он велел похоронить себя.

Путники наши ускорили шаг и подошли как раз в ту минуту, когда носилки были опущены на землю и четверо из носильщиков принялись острыми кирками рыть могилу неподалеку от твердой скалы.

Обе группы вежливо обменялись приветствиями, и Дон Кихот со своими спутниками тотчас же приблизились к носилкам и увидели, что на них, весь в цветах, лежал покойник, на вид лет тридцати, одетый в пастушеское платье. Глядя на мертвого, нельзя было не заключить, что при жизни у него было прекрасное лицо и изящное сложение. Вокруг него на носилках лежало несколько книг и рукописей, из которых некоторые были раскрыты. Присутствовавшие – и те, что на него смотрели, и те, что копали могилу, и все остальные – хранили глубочайшее молчание, пока, наконец, один из принесших носилки не сказал другому.

– Посмотри хорошенько, Амбросио, то ли это место, о котором говорил Хризостом, раз вы желаете с полной точностью исполнить его завещание.

– Да, это самое, – ответил Амбросио. – Сколько раз, сидя здесь, мой несчастный друг рассказывал мне свою горестную повесть. Здесь, по его словам, он впервые увидел этого смертного врага рода человеческого, Марселу, здесь впервые он открыл ей свое благородное и влюбленное сердце, и здесь в последний раз она довела его до отчаяния своим презрением, после чего он решил окончить трагедию своей злосчастной жизни. И вот, в память стольких бедствий, он пожелал, чтобы именно здесь погрузили его в лоно вечного забвения.

И, обратившись к Дон Кихоту и его спутникам, он продолжал.

– Это тело, сеньоры, на которое вы взираете с состраданием, хранило в себе душу, которую небо одарило бесчисленными своими сокровищами. Это – прах Хризостома, первого по уму, единственного по учтивости, несравненного по благородству, феникса дружбы, великодушного без меры, достойного без самомнения, веселого без распущенности, – одним словом, первого во всех добродетелях и не имевшего себе равного в несчастиях. Он любил – его ненавидели, он обожал – его отвергали; он молил звериное сердце, домогался любви мраморного истукана, гнался за ветром, взывал в пустыне, служил воплощению бессердечия – и вот, в награду за все это он стал добычей смерти в расцвете своей жизни: его убила пастушка, которую он старался обессмертить, дабы жила она в памяти людей, чему свидетелями могли бы служить рукописи, которые у вас перед глазами, если бы он не велел мне предать их огню, после того как тело его предано будет земле.

– Если вы это сделаете, – возразил Вивальдо, – вы поступите с ними еще с большей суровостью и жестокостью, чем сам их хозяин, ибо не следует и не надлежит исполнять приказания, идущие наперекор всякому здравому смыслу. И не прав был бы Цезарь Август, если бы он позволил исполнить то, что наказал в своем завещании божественный мантуанец[8]. Итак, сеньор Амбросио, предайте земле прах вашего друга, но не предавайте забвению его писаний; ибо, если он велел это сделать под влиянием обиды, вам не следует исполнять этого безрассудно; напротив, пусть живут его писания, и пусть вместе с ними вечно живет жестокость Марселы, и да послужит она на будущее время назиданием для всех живущих, – да бегут они и остерегаются падения в подобные бездны. И я и все мои спутники знаем уже историю вашего влюбленного и отчаявшегося друга, знаем, как глубоко вы его любили, и как он умер, и что, умирая, вам завещал. Из этой плачевной повести можно заключить, как велики были жестокость Марселы, любовь Хризостома и ваша верная дружба: вот к какой цели мчатся очертя голову те, кому безрассудная любовь указует путь! Вчера вечером мы узнали о кончине Хризостома и о том, что погребение его состоится в этом месте. Жалость и любопытство побудили нас свернуть с прямого пути, и мы решили воочию увидеть то, рассказ о чем так нас разжалобил. И вот, в награду за наше сострадание и за желание по мере сил помочь вашему горю, мы просим тебя, Амбросио, как человека разумного, – по крайней мере, я лично прошу тебя об этом, – не сжигать этих бумаг и отдать мне хотя бы некоторые из них.

И, не дожидаясь ответа пастуха, он протянул руку и схватил рукописи, которые лежали поближе к нему. Увидев это, Амбросио сказал:

– Чтобы оказать вам любезность, сеньор, я согласен отдать вам те бумаги, которые вы уже взяли, но вы напрасно стали бы надеяться, что остальные не будут сожжены.

Вивальдо, желавший ознакомиться с содержанием рукописей, тотчас же развернул одну из них и прочел заглавие: “Песнь отчаяния”. Амбросио услышал и сказал:

– Это – последние стихи, написанные моим несчастным другом, и, если вам хочется увидеть, до какого состояния его довели несчастия, прочтите их громко, так, чтобы все вас слышали: вы успеете это сделать, пока пастухи закончат рыть могилу.

– Я прочту с большой охотой, – ответил Вивальдо.

И так как всем присутствовавшим хотелось послушать, они расположились вокруг него, и он ясным голосом начал так.

ГЛАВА XIV

где приводятся стихи
впавшего в отчаяние покойного пастуха
и другие неожиданные происшествия

ПЕСНЬ ХРИЗОСТОМА[1]

Жестокая, раз хочешь оглашенья
Из уст в уста по племенам и странам
Упорства строгости твоей суровой,
Так сделаю, что ад сам вдохновенье
И горечь сообщит печальным ранам,
Обычный голос мой сменив на новый.
И сколько дух мой жаждет, уж готовый
Сказать печаль свою, твои поступки,
Насколько страшный голос укрепится,
И в нем для вящей муки будут биться
Нутра живого жалкие обрубки.
Так слушай же! Пронзит твой слух прилежный
Не звук гармонии, а шум мятежный,
Что, затаившись в сердце, как в засаде,
Вздымается по горькому веленью
Мне к утешенью, а тебе к досаде!
Рычанье льва, свирепейшей волчицы
Протяжный вой, грозящее шипенье
Змеи чешуйчатой, вытье на горе
Каких-то чудищ, зловещуньи птицы
Вороны карканье, ветров кипенье,
Что рвут преграды в неспокойном море,
Быка, уж с гибелью в померкшем взоре,
Предсмертный рев, голубки одинокой
Чувствительное воркованье, крики
Совы, всем ненавистной, полчищ клики
Из преисподней черной и глубокой, –
Да выльются со скорбною душою
В единый звук, смешавшись меж собою
Так, чтобы все пришли в смятенье чувства, –
Ведь выразить те муки, что скрываю,
Не обретаю прежнего искусства.
Но слышать не пескам родного Таго,
Не Бетиса оливковым утехам
Унылый отзвук моего смятенья, –
Там, на вершинах скал, на дне оврага
Широко разнесется тяжким эхом
На мертвом языке живое пенье,
Иль в долах темных, на брегах, общенья

С породой человеческой не знавших,
Иль в местностях, где солнце свет не лило,
Иль среди гадов илистого Нила,
Дары Ливийца в пищу принимавших.
И пусть в глухой безлюднейшей пустыне
Страданья отзвук говорит отныне
О строгости, которой равной нету,
Но по правам моей судьбины черной
Летит, проворный, он по белу свету.
Мертвит презренье, терпеливость гонят,
Верны они, иль ложны, подозренья,
Мертвит ревнивость и того жесточе,
В любви больней разлуки ничего нет,
Тому, кого охватит страх забвенья,
Надежда понапрасну смотрит в очи, –
Все это – признаки смертельной ночи.
А я живу, невиданное чудо,
В разлуке, ревности, презреньи, зная,
Что подозренья – истина святая.
И пламень раздувая из-под спуда,
Среди страданий не смыкая вежды,
Не вижу я спасительной надежды,
И даже зреть ее не добиваюсь,
Но чтобы бездну углубить страданий,
От упований ныне отрекаюсь!
Возможно ли и гоже ль в то же время
Питать надежду и боязнь совместно,
Когда для страха больше оснований?
Жестокой ревности почуя бремя,
Закрыть глаза мне было б неуместно
Пред очевидностью моих страданий.
И кто дверей не распахнет заране
Для недоверия, когда уж ясно,
Что презрен ты и точно подтвердились
Намеки грозные и обратились
В неправду истины черты прекрасной?
Владычица в стране любовной муки,
Мне, ревность, цепи наложи на руки,
Готовь меня, презренье, к бичеваньям!
Но память о тебе зрит, торжествуя,
Что не могу я страсть унять страданьем.
И так умру и чтоб не знать отравы
Надежды в жизни или в смерти черной,
Упорен буду я в своем сужденьи.
Скажу, что только любящие правы,
И та душа свободна, что покорной
Амуру отдается в подчиненье,

Что в той, с кем схватываюсь, что ни день я,
Душа прекрасна и прекрасно тело,
Что в гордости ее я сам виною,
И что Амур своею мукой злою
Содержит мир и благо, и умело.
И с этой мыслью и петлей жестокой,
К концу толкая рок мой одинокий,
К чему меня ее презренье нудит,
Отдам свой дух и плоть ветрам на волю,
Так что на долю славы мне не будет.
Ты, что несправедливостью являешь,
Как прав я, относясь несправедливо
К постылой жизни, что томясь влачу я,
Из ран моих когда теперь узнаешь, –
О чем они твердят красноречиво, –
Что подчиняюсь я тебе, ликуя, –
Коль нужным ты найдешь, чтобы горюя
Лазурь очей твоих вдруг омрачилась
От смерти этой – воздержись от плача!
Я не хочу, чтоб слез твоих отдача
За бренные останки расплатилась!
Напротив, смехом встреть печальный случай
И плачем в празднике себя не мучай!
Но просьба эта, может быть, наивна,
Раз знаю я, что тем тебе славнее,
Чем мне скорее станет жизнь противна.
Пускай же явятся – пристало время! –
Из бездны Тантал, муж неутолимый,
Сизиф пусть явится ужасной, острой,
Скалы таща невыносимой бремя,
Иксион[2] с колесом неутомимый,
И Титий[3] с коршуном, и с бочкой – сестры!
Пусть явятся сюда толпою пестрой
И муки всяк на грудь мне возлагает!
И запоют (коль грешнику пристало)
Отходной заунывное начало
Над телом, что и савана не знает!
А вратарь адов, стражник трехголовый
С толпой чудовищ и химер суровой
Да вторят им из пропасти глубокой.
Не может ведь пышнее быть прославлен,
Кто предоставлен участи жестокой!
О, вопль отчаянья, не будь унылым,
Прощаясь с обществом моим постылым.
Раз та, что жалобе была причиной,
Себе в той смерти видит прославленье,
При погребеньи скрой печаль личиной.

Всем слушателям очень понравилась песнь Хризостома, но Вивальдо, прочитав ее, заметил, что она не согласуется с общей молвой о скромности и добродетели Марселы, ибо в своих стихах Хризостом жалуется на ревность, подозрения и разлуку, и все это порочит добрую славу и доброе имя Марселы. На это Амбросио, хорошо знавший самые тайные мысли своего друга, ответил так:

– Чтобы рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что мой несчастный друг сочинил эту песню, находясь вдали от Марселы, с которой он расстался по собственной воле, чтобы посмотреть, не окажет ли на него разлука своего обычного действия, а так как любовнику в разлуке все кажется несносным и все вызывает опасения, то и Хризостома терзали вымышленная ревность и боязливые подозрения, так, как если бы они были основательными. А между тем, то, что молва гласит о добродетели Марселы, остается истиной; правда, она жестока, немного надменна и весьма презрительна, но в остальном сама зависть не должна и не может отыскать в ней ни одного недостатка.

– Да, это правда, – ответил Вивальдо.

И он собрался прочесть еще одну рукопись из тех, что он спас от огня, но тут ему помешало чудесное видение (ибо таким оно казалось), внезапно представшее перед их глазами: на вершине скалы, у подножия которой рыли могилу, появилась пастушка Марсела, – и была она так прекрасна, что красота ее превосходила все, что о ней говорили. Те, кто раньше ее не видели, смотрели на нее в безмолвном восхищении, однако и те, что привыкли встречаться с нею, были поражены не менее других, никогда ее не видавших. Но Амбросио, едва увидев ее, сказал негодующим тоном:

– Не для того ли ты пришла, о лютый василиск этих гор[4], чтобы посмотреть, не потечет ли от твоего приближения кровь из ран несчастного, которого твоя жестокость лишила жизни?[5] Или, быть может, ты хочешь покичиться тем, что сделал твой жестокий нрав, или же, подобно бессердечному Нерону, ты собираешься полюбоваться с высоты на пожар горящего Рима[6] и дерзостно попрать ногой этот несчастный труп, как жестокая дочь Тарквиния попрала останки своего отца?[7] Говори же скорей, зачем ты пришла и что тебе больше по сердцу, – ибо, зная, что, пока Хризостом был жив, все помышления его всегда были тебе послушны, я постараюсь, чтобы и после его смерти тебе повиновались все те, кто называл себя его друзьями.

– Ни одна из тех причин, которые ты перечислил, о Амбросио, не побудила меня прийти сюда, – ответила Марсела. – Нет, я пришла защититься и доказать, как неправы те, кто винит меня в страданиях и в смерти Хризостома. А потому прошу я всех присутствующих выслушать меня внимательно, ибо, чтобы убедить в истине людей разумных, не требуется тратить много времени и терять много слов.

«Небо создало меня, как вы говорите, прекрасной, и красота моя такова, что вы не в состоянии противостоять ей, но вместе с тем вы желаете и требуете, чтобы в отплату за вашу любовь я бы тоже была обязана вас любить. По естественному разумению, которым наградил меня Господь, я знаю, что все пре-

красное внушает любовь, но я не понимаю, по какой причине красота, которую любят, обязана любить того, кто ее любит, только потому, что она любима. Ведь может статься, что любящий красоту сам безобразен, и раз все безобразное достойно отвращения, то было бы нелепо говорить: "я люблю тебя, так как ты прекрасна; полюби же меня, хоть я и безобразен". Но допустим даже, что любящий столь же прекрасен: из этого не следует, что желания обоих должны быть одинаковы; ибо не всякий род красоты внушает любовь: иногда она радует взор, но не покоряет сердце. Ведь если бы всякая красота внушала любовь и покоряла сердца, то наши желания блуждали бы беспорядочно и смутно, не зная, на чем им остановиться, – ибо как прекрасных существ бесконечное множество, так и наши желания были бы тоже бесчисленны. А я слышала, что истинная любовь неделима, что она должна быть свободной, а не принужденной. Но раз это так, – в чем я твердо уверена, – то как же вы требуете, чтобы я насильно отдала свое сердце только потому, что вы заявляете, что меня любите? В самом деле, скажите мне: если бы небо, создавшее меня прекрасной, создало меня безобразной, была ли бы я права, жалуясь на то, что вы меня не любите? Подумайте еще и о том, что красоту свою я не избрала. Какова бы она ни была, небо дало мне ее в дар, которого я сама не просила и не выбирала. И как змею нельзя винить за то, что она ядовита, ибо яд, которым она убивает, дала ей сама природа, так и я не заслуживаю упреков за то, что я красива. Ведь красота честной женщины подобна далекому пламени или острому мечу: она не жжет и не ранит, пока к ней не приближаются. Честь и добродетели – это украшения души, без которых и тело, даже красивое, не должно почитаться прекрасным. А если чистота – одна из добродетелей, наиболее украшающих и облагораживающих душу и тело, то почему же женщина, любимая за ее красоту, обязана потерять свою чистоту, чтобы удовлетворить желания того, кто единственно ради собственного удовольствия всеми силами и способами добивается, чтобы она ее потеряла?

Я родилась свободной и, чтобы жить свободно, избрала уединение этих полей: деревья этих гор – мои собеседники, ясные воды этих ручьев – мои зеркала; с деревьями и водами делюсь я своими мыслями и своей красотой. Я – далекий огонь, я – меч, лежащий в отдалении. Кого я воспламенила своим видом, тех охладила словами. Желания питаются надеждами, а так как я не подавала никаких надежд ни Хризостому, ни кому-либо другому, то справедливо будет сказать, что его убило собственное упорство, а вовсе не моя жестокость. Если же вы ставите мне в упрек то, что намеренья Хризостома были самые честные и что поэтому я была обязана отвечать ему взаимностью, то я скажу вам на это: когда на том самом месте, где ныне роют могилу, он открыл мне свои честные намеренья, я ответила ему, что собираюсь жить в постоянном уединении и что одна лишь земля насладится плодом моего целомудрия и трофеями моей красоты. Если же он, несмотря на все мои разуверения, пожелал упорствовать вопреки надежде и плыть против ветра, то можно ли удивляться, что он потонул в пучине своего безумия? Если бы я поддержала его надежды, я была бы лживой; если бы удовлетворила

их, я поступила бы против моих лучших намерений и решений. Но, несмотря на мои разуверения, он упорствовал и, не будучи ненавидим мной, впал в отчаяние: подумайте же теперь, разумно ли обвинять меня в его горестях? Пусть жалуется обманутый, пусть отчаивается тот, кому изменили обещания и надежды, пусть уповает тот, кого я призываю, пусть гордится тот, кого я к себе приближаю, – но пусть не зовут меня жестокой убийцей те, кому я ничего не обещала, кого я не обманывала, не призывала и не приближала.

Небу доселе не было угодно, чтобы судьба заставила меня полюбить; и нечего думать о том, что я полюблю когда-нибудь по собственному выбору. Пусть послужит это предупреждение уроком всем, кто домогается моих милостей каждый для себя, и да будет впредь всем известно, что если кто-нибудь умрет из-за меня, то умрет он не от горя и ревности: ибо тот, кто никого не любит, ни в ком не может возбудить ревность, а отнять надежду не значит пренебречь. Кто называет меня зверем и василиском, пусть покинет меня, как существо вредное и злое, кто считает бесчувственной – пусть мне не служит, кто считает неблагодарной – пусть со мной не знается, кто считает жестокой – пусть не следует за мной; ибо зверь, василиск, бесчувственная, неблагодарная и жестокая никогда не станет сама искать их, служить им, знаться с ними, преследовать их. Хризостома убили нетерпение и пылкая страсть, – так зачем же винить в том мою сдержанность и скромность? Если я сохраняю свою чистоту в обществе деревьев, то почему же вы желаете, чтобы я ее утратила в обществе людей? Вы знаете, что у меня есть собственное богатство, и чужого мне не надо; я свободна, и у меня нет желания порабощаться; я никого не люблю и не ненавижу, не обманываю одного, не увлекаю другого, не издеваюсь над тем, не любезничаю с этим. Я довольствуюсь скромной беседой с пастушками здешних сел и заботами о моих козочках. Мои желания не переступают за пределы этих гор, а если и переступают их, то лишь для того, чтобы созерцать прекрасное небо – путь, по которому душа стремится в свою первоначальную обитель».

И после этих слов, не дожидаясь ответа, она повернулась и скрылась в чаще леса, покрывавшего ближайшую гору, а все присутствовавшие остались пораженные как умом ее, так и красотою. Некоторые (из числа тех, кого ранила могучая стрела лучей ее прекрасных глаз) уже готовы были последовать за нею, не внимая ясному предупреждению, которое они только что выслушали. Заметив это, Дон Кихот решил, что ему представляется прекрасный случай выполнить свой рыцарский долг, повелевающий помогать преследуемым девицам, и потому, положив руку на рукоять своего меча, он громким и отчетливым голосом заявил:

– Да не дерзнет никто, какого бы звания и положения он ни был, преследовать прекрасную Марселу, если не хочет навлечь на себя мой яростный гнев. Она ясными и убедительными словами доказала, что почти или, вернее, совсем не повинна в смерти Хризостома и что отнюдь не расположена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников. По сей причине всем добрым людям надлежит не стремиться за ней и не преследовать ее, а почитать и

уважать ее, ибо нам ясно, что нет на свете другого существа со столь чистыми намерениями.

Под влиянием ли угрозы Дон Кихота, или потому, что Амбросио попросил пастухов исполнить до конца их долг перед добрым другом, но только ни один из них не двинулся с места и не удалился, пока не вырыли могилу, не сожгли бумаги Хризостома и не опустили с горькими слезами его тело в землю. На могилу временно положили большой камень, пока не будет готова надгробная плита (которую Амбросио, как он сообщил, собирался заказать) со следующей эпитафией:

Здесь любовник бедный спит,
Охладел, покинут кровью,
Пас стада свои с любовью,
Но безлюбой был убит.

На смерть он сражен лежит,
Ах, бесчувственной красою,
Через кого над всей землею
Злой Амур сильней царит.

Затем, осыпав могилу множеством цветов и веток и выразив другу покойного, Амбросио, свои соболезнования, пастухи разошлись. Вивальдо со своим спутником собрался в путь, и Дон Кихот стал прощаться с приютившими его пастухами и с путешественниками. Последние предложили ему отправиться с ними в Севилью, говоря, что это место чрезвычайно подходящее для искателя приключений[8]: они-де там встречаются на каждом углу и в каждом переулке, гораздо чаще, чем где бы то ни было. Дон Кихот поблагодарил их за совет и за готовность оказать ему услугу, но заявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит эти горы от воров и разбойников[9], которыми, по слухам, они кишат. Убедившись, что доброе намерение его непреклонно, путешественники не сочли возможным настаивать и, еще раз попрощавшись с ним, поехали своей дорогой, в продолжение которой они могли вдосталь поговорить как об истории Марселы и Хризостома, так и о безумии Дон Кихота. А наш рыцарь решил отправиться на поиски пастушки Марселы, чтобы предложить ей свои услуги. Но его намерениям не суждено было осуществиться, как об этом будет рассказано в дальнейшем продолжении этой правдивой истории, вторая часть которой оканчивается здесь[10].

⟨ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

ГЛАВА XV

в которой рассказывается о злосчастном приключении, постигшем Дон Кихота благодаря встрече с жестокосердыми янгуэсцами

Мудрый Сид Амет Бененхели рассказывает, что, простившись со своими хозяевами и всеми присутствовавшими на похоронах пастуха Хризостома, Дон Кихот и его оруженосец направились в тот лес, куда, на их глазах, устремилась пастушка Марсела. Проведя там более двух часов в поисках ее по всем направлениям и нигде не найдя ее, они очутились на зеленом лужке, возле которого протекал мирный и прохладный ручеек, весьма привлекший их и побудивший расположиться там на полуденный отдых, время которого как раз подошло. Дон Кихот и Санчо спешились и, предоставив ослу и Росинанту всласть пастись на густой траве, покрывавшей лужок, взялись за свою дорожную сумку, – и, не считаясь чинами, в добром мире и согласии, господин и слуга принялись уплетать то, что в ней нашлось.

Санчо не позаботился спутать ноги Росинанту, считая его таким смирным и добронравным, что все кобылицы кордовского загона[1] не могли бы, кажется, смутить его покой. Однако судьба да, видно, и дьявол (который не всегда дремлет) устроили так, что в долинке этой пасся табун галисийских кобыл под надзором нескольких янгуэсских погонщиков[2], имеющих обыкновение делать привал со своими лошадьми в местах и уголках, изобилующих травой и водою, почему и местечко, где расположился Дон Кихот, показалось им подходящим. Случилось так, что Росинанту взбрела на ум охота приволокнуться за сеньорами кобылицами; едва он их почуял, как, позабыв свой нрав и обычай и не спрашивая позволения у своего хозяина, он направился к ним щегольской рысцой заявить о своей потребности. Но кобылы, видимо, больше нуждавшиеся в пастбище, чем в ином, встретили его ударами копыт и укусами; в один миг разорвали они ему подпругу, и Росинант остался без седла, совсем нагишом. Но еще горше пришлось ему от погонщиков, которые, увидев его покушение на кобыл, устремились на него с дубинками и так его отделали, что он свалился на землю полумертвый. Тем временем Дон Кихот и Санчо, увидев избиение Росинанта, подбежали запыхавшись.

– Сразу видно, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – что это не рыцари, а низкие людишки, жалкий сброд. Говорю я это к тому, что ты вполне можешь помочь мне отомстить по заслугам за оскорбление, нанесенное ими на наших глазах Росинанту.

– Какая тут к черту месть, – ответил Санчо, – когда их больше двадцати, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора?

– Я один стою сотни, – сказал Дон Кихот.

И, не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и набросился на янгуэсцев. Подстрекаемый и воспламеняемый примером своего господина, то же сделал и Санчо Панса. Дон Кихот сразу обрушился на одного из погонщиков и разрубил на нем кожаное полукафтанье вместе с изрядной долей плеча.

Янгуэсцы, видя, что их избивают два человека, между тем как их самих так много, взялись за дубинки и, окружив двух своих противников, принялись осыпать их ударами с замечательной ловкостью и усердием. Надо вам сказать, что со второго же удара Санчо свалился на землю, равно как и Дон Кихот, которому мало помогли все его искусство и мужество; и судьбе было угодно, чтобы он упал к ногам Росинанта, который так и не подымался: хороший пример того, с каким бешенством работают дубины в руках разъяренных крестьян. Увидев затем, что они наделали, янгуэсцы с величайшей поспешностью навьючили своих кобыл и двинулись в дальнейший путь, оставив двух искателей приключений в весьма плачевном положении и в еще худшем состоянии духа.

Первый очнулся Санчо Панса. Увидев себя лежащим рядом со своим господином, он произнес слабым голосом:

– Сеньор Дон Кихот! А, сеньор Дон Кихот?

– Что ты хочешь, братец Санчо? – сказал Дон Кихот таким же расслабленным и скорбным голосом.

– Я хотел бы, если это возможно, – ответил Санчо Панса, – чтобы ваша милость дала мне два глотка бальзама *Ферта Бласа*[3], если только он у вас под рукой; может быть, он так же помогает при переломах костей, как и от ран.

– Увы! – воскликнул Дон Кихот. – Если б он был у нас, чего бы осталось нам желать! Но клянусь тебе, Санчо Панса, честью странствующего рыцаря, что не пройдет и двух дней, – если только судьба не воспротивится, – как я добуду его, или у меня отнимутся руки.

– А как полагает ваша милость, когда у нас починятся ноги? – спросил Санчо Панса.

– О себе я скажу, – отвечал избитый рыцарь, – что не могу определить срока. Но во всем случившемся виноват только я один: не следовало мне обнажать меч против людей, которые не такие же посвященные рыцари, как я сам. И потому, думается мне, в наказанье за это нарушение рыцарских законов и допустил Бог сражений, что на меня обрушилась эта кара. Да, Санчо Панса, запомни хорошенько, что я тебе скажу, потому что это послужит нам обоим на пользу: как только завидишь, что подобная сволочь чинит нам обиду, не жди, чтобы я обнажил против них мой меч, а хватайся скорее за свой и карай их, как тебе

вздумается; ибо, если на выручку и подмогу им явятся рыцари, тогда уж я сумею тебя защитить и разделаться с ними как следует: ведь ты из тысячи примеров и случаев мог убедиться, как велика мощь моей доблестной руки.

Вот как возгордился бедный наш сеньор после победы своей над храбрым бискайцем! Но Санчо Панса был другого мнения, чем его господин, и потому, вместо того чтобы промолчать, он ответил:

– Сеньор, я человек смирный, кроткий, миролюбивый и готов стерпеть любую обиду, потому что у меня есть жена и дети, которых надо прокормить и поставить на ноги. Потому, с разрешения вашей милости, – так как самому мне не дано на это власти, – я ни в коем случае не подниму меча[4] ни на простолюдина, ни на рыцаря и начиная с этой минуты наперед прощаю пред лицом Бога все обиды, которые мне учинили или впредь учинят, кто бы ни был мой обидчик, знатный человек или простой, богач или бедняк, идальго или из податного сословия, словом, какого бы ни был он звания и положения.

Услышав это, его господин сказал:

– Хотел бы я, чтобы у меня хватило сил долго говорить и чтобы боль в этом ребре несколько утихла и не мешала мне объяснить тебе, Панса, в какое заблуждение ты впал. Слушай, грешник: если б ветер судьбы, доселе нам столь противный, вдруг сменился попутным и, надув паруса наших желаний, без помех и невзгод пригнал нас в гавань одного из тех островов, который я обещал тебе, – что бы было с тобой, если бы, завоевав его, я тебе его отдал? Ведь, пожалуй, ты все дело погубишь, раз, не будучи рыцарем, не хочешь им стать, не хочешь проявить доблесть, стараясь мстить за обиды и защищать свои владения. Ибо ты должен знать, что во вновь завоеванных королевствах и областях умы жителей никогда не бывают столь спокойны и преданы новому повелителю, чтобы можно было не опасаться волнений с целью еще раз переменить власть и попытать, как говорится, счастья. И потому новому повелителю необходимы уменье владеть собой и мужество, чтобы нападать или защищаться, смотря по обстоятельствам.

– В нынешних обстоятельствах, – ответил Санчо, – очень бы хотел я обладать тем уменьем и мужеством, о которых говорит ваша милость; но, клянусь честью бедняка, я больше сейчас нуждаюсь в припарках, чем в поучениях. Попытайтесь, сеньор, не удастся ли нам встать на ноги, и давайте поможем подняться Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, так как именно он – причина нашего избиения. Никогда не ждал я этого от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, как я сам. Правду говорят, что не так-то просто раскусить своего ближнего и что нет на свете ничего верного. Кто бы ожидал, что за блистательными ударами меча, которыми вы наградили того несчастного странствующего рыцаря, так быстро последует град палочных ударов, обрушившийся на наши плечи!

– Твои-то, Санчо, – сказал Дон Кихот, – привыкли к таким невзгодам, а моим, приученным к *синабафе*[5] и тонкому голландскому полотну, конечно, пришлось хуже от такой напасти. И если бы я не думал, – да что я говорю! – если

бы не знал наверняка, что все эти невзгоды сопряжены с воинским делом, я бы на месте умер от досады.

На это оруженосец ответил:

– Раз уж, сеньор, урожай таких бед неизбежен в рыцарском деле, то скажите мне на милость, сыплются ли они все время понемножку или для них есть какие-то положенные сроки? Потому что, думается мне, после еще двух таких жатв мы окажемся непригодными для третьей, если только Господь Бог, по бесконечной милости своей, не придет нам на помощь.

– Знай, друг мой Санчо, – ответил Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей подвержена тысяче опасностей и злоключений, но зато каждый из них может надеяться в любую минуту сделаться королем или императором, как это показывает судьба многих рыцарей, история которых мне доподлинно известна. И я бы тебе рассказал, если бы только боль мне не мешала, как некоторые из них одной лишь доблестью своей руки достигли этого высокого положения, хотя и до этого и впоследствии претерпевали великие страдания и злоключения. Так, например, доблестный Амадис Галльский очутился однажды[6] во власти своего смертельного врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно известно, захватив его и привязав к столбу посреди двора, дал ему более двухсот ударов уздой своего коня. А другой, безымянный и заслуживающий большого доверия, сочинитель рассказывает, как Рыцарь Феба[7] провалился в западню, разверзшуюся у него под ногами в одном замке, и оказался в глубоком подземелье, где его, связанного по рукам и по ногам, угостили промывательным из ледяной воды с песком, отчего он едва не протянул ноги; и если бы на помощь бедному рыцарю не явился один мудрец[8], большой его приятель, то, наверное, пришел бы ему конец. Так что и я готов потерпеть вместе с этими благородными людьми, ибо несчастья, которые они испытали, много превосходят изведанные нами. Знай, Санчо, что раны, нанесенные случайно подвернувшимися под руку орудиями, не считаются позорными. На этот счет имеется ясное указание в правилах о поединках, где говорится: “если сапожник ударит дру́гого колодкой, которую держит в руке, то, хотя колодка эта сделана из дерева, нельзя считать, что тот, кого ударили ею, избит палкой”. Говорю я это к тому, чтобы ты не вообразил, что если нас побили в этой схватке, то пострадала наша честь, – ибо оружие, которое было в руках у этих людей и которым они нас побили, – всего лишь простые дубины, и ни у одного из них, насколько мне помнится, не было при себе ни меча, ни шпаги, ни кинжала.

– У меня не было времени рассмотреть, – ответил Санчо, – потому что, едва я взялся за свою тисону[9], как они уже благословили меня своими палицами так, что у меня свет померк в глазах и ноги подкосились, и сразу свалили меня на том месте, где я сейчас лежу; так что у меня никакой охоты нет думать о том, пострадала ли моя честь или нет от палочных ударов, с такой же силой врезавшихся мне в память, как и в кости.

– Знай все же, братец Санчо, – сказал Дон Кихот, – что нет горя, которое бы не забывалось, и боли, которую бы не исцеляла смерть.

– Да разве бывает невзгода, – ответил Санчо, – хуже той, которую может облегчить только время, а исцелить смерть? Если бы наша беда была из тех, что излечиваются доброй мазью, это было бы еще полгоря; но мне кажется, что все больничные пластыри нам сейчас мало помогут.

– Брось жаловаться, Санчо, и воспрянь духом: возьми пример с меня, – сказал Дон Кихот. – Посмотрим, как обстоит дело с Росинантом, потому что, мне думается, бедняге досталось не меньше нашего.

– Не удивительно, если и так, – ответил Санчо, – раз он тоже сделался странствующим конем. Удивляюсь я только тому, что осел мой дешево отделался, не потеряв ни волоска, в то время как мы едва не лишились кожи.

– Судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку, чтобы можно было выбраться из них, – сказал Дон Кихот. – Говорю я это к тому, что твоя скотина может на этот раз заменить Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где позаботятся о моих ранах. И еще прибавлю, что вовсе не считаю такого способа унижением для рыцаря, потому что, помнится, я читал, что добрый старый Силен, приемный отец и воспитатель веселого бога смеха, въехал в Стоврат-ный город, с большим удобством сидя верхом на прекрасном осле[10].

– Правда только то, что, как выразилась ваша милость, он сидел верхом, – молвил Санчо. – Большая разница – ехать верхом или лежа поперек седла вроде мешка с мусором.

На это Дон Кихот ответил:

– Раны, полученные в бою, скорее приносят честь, нежели отнимают ее. Поэтому, друг Панса, не спорь больше, а лучше постарайся, как я уже сказал, осторожно приподнять меня и уложить поудобнее на твоего осла, после чего давай двинемся отсюда, пока еще не спустилась ночь и не застала нас в этом глухом месте.

– Но я слыхал от вашей милости, – сказал Панса, – что в обычае странствующих рыцарей ночевать по большей части в глухих местах под открытым небом и что они почитают это за великую удачу.

– Это случается, – ответил Дон Кихот, – когда им не удается устроиться иначе или когда они влюблены. И правда, был один рыцарь, который простоял на скале целых два года, терпя зной, стужу и всякую непогоду, между тем как его дама и не знала об этом. Подобный случай был и с Амадисом[11], который, приняв имя Бельтенеброс, удалился на Пенья Побре на восемь лет или восемь месяцев, сейчас не припомню в точности; довольно тебе сказать, что он провел там какой-то долгий срок, после того как чем-то навлек на себя немилость сеньоры Орианы. Но будет об этом, Санчо. Поторопись, пока еще и с ослом не случилось какой-нибудь беды, вроде той, что постигла Росинанта.

– Авось на этот раз дьявол не попутает, – сказал Санчо.

И, испустив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин десять проклятий по адресу того, кто его впутал в такое дело, он приподнялся, но согнулся на полупути на манер турецкого лука, не в силах будучи выпрямиться до конца. С превеликими усилиями взнуздал и оседлал он осла, который тоже бро-

дил поодаль какой-то растерянный ввиду приключившегося в этот день беспорядка. Затем Санчо поднял Росинанта, который, будь ему дан язык для жалоб, не отстал бы в этом деле от Санчо и его хозяина. В заключение Санчо уложил Дон Кихота на осла, привязал сзади Росинанта и, взяв осла за узду, поплелся кое-как в ту сторону, где, казалось ему, должна была пролегать большая дорога. Не прошел он и мили, как судьба, которая от добра к добру вела его, направила его на дорогу, где вскоре завидели они постоялый двор, который Дон Кихоту (но отнюдь не Санчо) показался замком. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин – что это замок. И так затянулся их спор, что они, не закончив его, прибыли на место, и Санчо, не спрашивая, куда попал, проследовал во двор со всем своим обозом.

ГЛАВА XVI

о том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за замок

Хозяин постоялого двора, увидев Дон Кихота, лежащего поперек осла, спросил Санчо, что за беда случилась с этим человеком. Санчо ответил, что никакой особенной беды с ним не случилось, а просто он свалился со скалы и слегка расшиб бока. У хозяина была жена, нравом не похожая на женщин своего ремесла, потому что была она от природы сердобольна и сострадательна к горестям ближнего. Поэтому она поспешила на помощь к Дон Кихоту и велела дочери своей, девушке молоденькой и миловидной, ухаживать за постояльцем. Служила еще на том дворе девка астурианка, широколицая, курносая, с плоским затылком, с одним глазом кривым, да и другим не совсем благополучным. Правда, что статное сложение возмещало эти изъяны: росту от головы до пят было в ней меньше семи четвертей, а плечи дыбились горбом, заставляя ее смотреть в землю больше, чем бы ей хотелось. Эта пригожая девица стала тоже помогать хозяйской дочери, и обе они изготовили для Дон Кихота прескверную постель на чердаке, который раньше, по всем признакам, долгое время служил местом для склада соломы. Там же еще ночевал погонщик мулов, постель которого находилась немного подальше ложа Дон Кихота. И хотя она была сделана из одних только седел и попон его мулов, все же она была много лучше постели Дон Кихота, состоявшей из четырех плохо обтесанных досок, положенных на две не вполне равные по высоте скамьи, и тюфяка, толщиною с вязаное покрывало, полного комьев, которые по твердости можно было бы наощупь принять за булыжники, если бы сквозь дыры не вылезала наружу шерсть; в дополнение к этому – две простыни, должно быть буйволовой кожи, и одеяло, все нитки которого можно было пересчитать без риска ошибиться.

На это-то дьявольское ложе и возлег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка и ее дочка принялись сверху донизу облеплять его пластырями, между тем как

Мариторнес (так звали астурианку) им светила. Приметив во время этой операции множество синяков на теле Дон Кихота, хозяйка заявила, что это больше похоже на удары, чем на падение.

– Вовсе это не удары, – ответил Санчо, – а просто скала была вся усеяна остриями и выступами, каждый из которых оставил по синяку.

И при этом добавил:

– Сделайте милость, хозяюшка, приберегите немного этой пакли. Она еще кой-кому пригодится, так как у меня самого ломит поясницу.

– Выходит, стало быть, что вы тоже свалились? – спросила хозяйка.

– Я-то не падал, – ответил Санчо Панса, – а только от одного вида, как падает мой господин, меня так перетряхнуло, что все тело заболело, словно мне всыпали тысячу палок.

– Это бывает, – сказала девушка. – Мне самой часто случается видеть во сне, будто падаю я с башни и все не могу упасть, и когда потом просыпаюсь, то бываю так разбита и изломана, как будто и в самом деле упала.

– То-то и есть, сеньора, – сказал Санчо, – что без всякого сна, а просто наяву, вроде как сейчас, я весь покрылся синяками не хуже Дон Кихота, моего господина.

– Как зовут этого кабальеро? – спросила астурианка Мариторнес.

– Дон Кихот Ламанчский, – ответил Санчо Панса. – Он странствующий рыцарь, один из самых славных и могучих, каких только свет видывал.

– А что такое странствующий рыцарь? – опять спросила служанка.

– Вот простота! – воскликнул Санчо Панса. – Ужель никогда не слыхали? Так знайте же, сестрица, что странствующий рыцарь – это такая штука, что не успеешь глазом моргнуть, как он может и быть избит и стать императором. Нынче он самое несчастное и жалкое существо на свете, а завтра у него три, четыре королевских короны на выбор для своего оруженосца.

– Как же это так, – спросила хозяйка, – ваш господин такая важная особа, а вы, как я вижу, еще не обзавелись хоть каким-нибудь графством?

– Не так-то скоро это делается, – ответил Санчо. – Ведь мы всего лишь месяц как выехали[1] на приключения и до сих пор еще ни одного путевого не встретили. Бывает иной раз, что пошел за одним, а нашел совсем другое. Но верно говорю, если только господин мой Дон Кихот оправится от своих ран, то бишь, падения, да и я цел останусь, то я не променяю своих надежд на первейшее княжество Испании.

Ко всему этому разговору очень внимательно прислушивался Дон Кихот. Приподнявшись с трудом на своей постели, он взял хозяйку за руку и сказал:

– Поверьте, прекрасная сеньора, вы можете считать за счастье, что приютили в своем замке такую особу, как я, ибо, если я не хвалю себя, то только потому, что, как говорится, похвала себе унижает. Но мой оруженосец расскажет вам, кто я. Сам же скажу только, что навеки запечатлеется в моей памяти услуга, вами мне оказанная, и что всю жизнь буду я вам за нее благодарен. И если бы любовь не сковала уже меня, подчинив своему закону силою глаз жестокой

красавицы, имя которой я сейчас произношу шопотом, то глаза этой прекрасной девицы стали бы владыками моей свободы.

В смущенье слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были столь же им понятны, как если бы он говорил по-гречески, хоть и видно было по всему, что речь шла о каких-то благодарностях и любезностях. Не привыкнув к такой манере выражаться, они только смотрели на него и дивились: поистине, он им казался человеком другой породы. Поблагодарив его по-деревенски за его любезности, они его покинули, и астурианка Мариторнес занялась Санчо, который нуждался в помощи не меньше своего господина.

Еще раньше того погонщик и Мариторнес сговорились скоротать вместе ночку, и она дала ему слово, как только улягутся постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему, чтобы удовлетворить его желания. Говорили про эту славную девку, что всякий раз, когда она давала такое обещание, то держала его, даже если давала его в глухом месте и без свидетелей, так как она весьма кичилась своим дворянством[2] и не считала для себя позором службу на постоялом дворе, говоря, что только злая судьба и плохие обстоятельства довели ее до такого положения.

Жесткое, тесное, убогое и шаткое ложе Дон Кихота было первым от входа среди этого стойла, озаренного сквозь дырявую крышу звездами, а по другую сторону рядом расположил Санчо свою постель, состоявшую всего лишь из рогожной цыновки да одеяла, с виду скорей холщевого, чем шерстяного. Подальше стояла постель погонщика, устроенная, как мы уже сказали, из седел и других принадлежностей двух лучших его мулов; а всего было их у него двадцать, гладких, крупных и откормленных, потому что был он одним из самых богатых аревальских погонщиков[3], как сообщает автор этой истории, который подробно говорит об этом погонщике, так как он хорошо знал его лично, а как некоторые уверяют, был с ним даже в родстве[4]. Надо вам сказать, что Сид Амет Бененхели был историк пытливый и обстоятельный, как это видно из того, что ни одно из приведенных нами происшествий, столь мелких и ничтожных, не обошел он молчанием: пусть бы брали пример с него серьезные историки, которые повествуют нам о событиях так кратко и бегло, что, можно сказать, только мажут нас по губам, оставляя самую суть дела – из небрежности, коварства или невежества – на дне чернильницы. Слава автору "Табланте де Рикамонте", равно как и автору книги, где описываются подвиги графа Томильяса: с какой подробностью они повествуют![5]

Итак, возвращаясь к нашей повести, скажу вам, что погонщик, проведав своих мулов и вторично задав им корму, растянулся на вьючных седлах и принялся ждать неизменно точную Мариторнес. Санчо, весь облепленный пластырями, улегся тоже, стараясь заснуть, хотя этому сильно мешала боль в боках; и Дон Кихот, мучимый такой же болью, лежал с открытыми, как у зайца, глазами[6]. Весь дом погрузился в тишину, и все огни были погашены, кроме лампы, горевшей у входа.

Эта глубокая тишина, а также непрестанные размышления нашего рыцаря о приключениях, которыми были полны повинные в его беде книги, внушили ему одну из самых странных и нелепых выдумок, какие только можно вообразить: именно, ему представилось, что он прибыл в какой-то знаменитый замок (ибо всякая харчевня, куда он попадал, казалась ему замком) и что дочь хозяина постоялого двора – иначе говоря, дочь владельца замка, – покоренная его благородным видом, влюбилась в него и обещала этой ночью, тайком от родителей, прийти разделить его ложе. Приняв весь этот бред, им сочиненный, за чистую правду, он начал тревожно раздумывать над опасным положением, в каком могла очутиться его добродетель, и решил в сердце своем не изменять своей даме Дульсинее Тобосской, хотя бы даже сама королева Джиневра с дуэньей Кинтаньоной пришли предложить ему себя[7].

В то время как он обдумывал эти нелепости, настал срок и пробил час (для него злополучный) прихода астурианки, которая, босая и в одной рубашке, стянув волосы ситцевой повязкой, осторожными, бесшумными шагами вошла, пробираясь к погонщику, в помещение, где лежали все трое. Но едва она переступила порог, как Дон Кихот, заслышав ее, присел на кровати, невзирая на свои пластыри и боль в боках, и раскрыл объятия, чтобы заключить в них свою юную красавицу. Астурианка, ступавшая тихо и безмолвно, с протянутыми вперед руками в поисках своего милого, наткнулась на руки Дон Кихота, который крепко схватил ее за кисть и усадил девку, не смевшую со страха вымолвить слова, к себе на постель. Он прикоснулся к ее рубашке, и, хотя она была сделана из дерюги, эта дерюга показалась ему тончайшим и нежнейшим шелком. На руках девки были стеклянные четки, – ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Ее волосы, смахивавшие на конскую гриву, представились ему нитями чистейшего арабского золота, способного затмить своим блеском сиянье солнца. Что же касается ее дыхания, явно отдававшего прокисшим мясным салатом, то ему показалось, что уста ее источают сладкий аромат. Словом, он разрисовал ее в своем воображении совсем так, как в читанных им книгах изображалась некая принцесса, побежденная любовью тяжко раненного рыцаря и явившаяся к нему на свиданье в вышеописанном уборе. И таково было ослепление бедного идальго, что ни его собственное осязание, ни дыхание и иные свойства милой девицы, способные нагнать тошноту на всякого другого, кроме погонщика, не могли рассеять его заблуждения. Напротив, ему казалось, что он держит в своих объятиях богиню красоты. Крепко сжимая ее, он говорил тихим и нежным голосом:

– Как хотел бы я, прекрасная и знатная сеньора, быть в состоянии отплатить вам достойно за высокую милость, дарованную мне одним видом вашей великой красоты! Но судьбе, неустанно преследующей людей благородных, угодно было повергнуть меня на это ложе, где я лежу столь разбитый и изломанный, что если бы я даже хотел удовлетворить ваше желание, это было бы невозможно. Но к этой невозможности присоединяется другая, еще большая – верность, которой я обязан несравненной Дульсинее Тобосской, единственной

владычице моих сокровенных помыслов. Не будь всех этих препятствий, я бы, конечно, не оказался таким простаком рыцарем, чтобы пропустить счастливый случай, предложенный мне вашей великой добротой.

Мариторнес до смерти перепугалась, и ее в пот ударило, когда ее так цепко схватил Дон Кихот; не понимая и не слушая того, что он ей говорил, она молча старалась вырваться. Наш добряк погонщик, которому дурные мысли мешали заснуть, сразу, как только его любезная переступила порог, учуял ее и стал внимательно прислушиваться к тому, что говорил ей Дон Кихот. Мучаясь ревнивой мыслью, что астурианка обманула его ради другого, он подошел поближе к постели Дон Кихота и притаился, выжидая, каков будет исход этих речей, для него непонятных. Но когда он увидел, что девка старается вырваться, а Дон Кихот силой ее удерживает, эта шутка пришлась ему не по вкусу, и, размахнувшись, он так хватил кулаком по узким скулам разнежившегося рыцаря, что у того весь рот залился кровью. Найдя, что этого еще мало, погонщик вскочил ногами к нему на грудь и резвой рысцой пробежался по всем его ребрам. Кровать, и без того непрочная из-за шаткости своих подпорок, не выдержала новой тяжести и рухнула наземь с превеликим шумом, от которого проснулся хозяин, решивший сразу, что это – проделки Мариторнес, потому что на его громкие крики она не откликалась. В этой уверенности он встал, зажег светильник и пошел в ту сторону, откуда доносился шум. Завидев своего хозяина, сильно взбешенного, девка растерялась, с перепугу кинулась к постели Санчо Пансы, мирно спавшего, и, залезши в нее, свернулась клубком. Хозяин вошел и крикнул:

– Где ты там, потаскуха? Это, наверное, твои проделки!

Тут проснулся Санчо. Почувствовав навалившийся на него живой груз, он решил, что его душит домовой, и начал посылать во все стороны кулачные удары, изрядное количество которых пришлось на долю Мариторнес. Та, позабыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи так, что с него волей-неволей слетел сон. Чувствуя, как его обрабатывают, и не видя противника, Санчо вскочил впопыхах, схватился с Мариторнес, и между ними завязалась самая жаркая и веселая потасовка. Увидев при свете хозяйского светильника, каково приходится его милой, погонщик, бросив Дон Кихота, поспешил к ней на выручку. К ней же устремился и хозяин, но с иными намерениями, так как он хотел хорошенько проучить ее, твердо считая ее единственной виновницей всей этой музыки. И, как говорит поговорка, "кошка на крысу, крыса на веревку, веревка на палку"[8] – так погонщик бросился на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, – и все четверо замолотили кулаками без передышки. А так как в довершение удовольствия светильник у хозяина погас, то удары в темноте посыпались наугад, и такие нещадные, что, куда они попадали, там уж не оставалось живого места.

Случилось так, что на том же дворе ночевал стрелок старой толедской Санта Эрмандад[9]. Заслышав, как и все другие, диковинный шум сражения, он схватил свой короткий жезл и свою должностную жестяную коробку[10] и, пробравшись в темноте на чердак, закричал:

– Остановитесь, во имя правосудия! Остановитесь, во имя Санта Эрмандад!

Первый, на кого он наткнулся, был Дон Кихот, лежавший без чувств, носом кверху, на своей рухнувшей постели. Схватив его за бороду, стрелок несколько раз закричал: "На помощь правосудию!", затем, видя, что пойманный им человек не двигается и не шевелится, вообразил, что это – убитый, а другие находящиеся в комнате, – его убийцы, и потому громко крикнул:

– Заприте ворота! Не выпускайте никого, потому что здесь убили человека!

Крик этот перепугал всех, и каждый в тот же миг, как заслышал его, прекратил бой. Хозяин торопливо вернулся в свою комнату, погонщик к своим попонам, служанка в свою каморку; и только несчастные Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Тогда стрелок, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. Но он не мог найти огня, потому что хозяин нарочно погасил лампу у входа, и, таким образом, стрелку пришлось отправиться к очагу, где после больших трудов и усилий ему удалось, наконец, зажечь свой светильник.

ГЛАВА XVII

в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым Дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь, на свою беду, принял за замок

Тем временем Дон Кихот успел прийти в себя и таким же голосом, каким накануне обратился к своему оруженосцу, лежа на земле в *Долине дубинок*[1], принялся звать его:

– Санчо, друг мой, ты спишь? Спишь, друг мой Санчо?

– Какой тут к черту сон, – откликнулся Санчо голосом, полным тоски и злости, – когда все дьяволы, кажется, натешились надо мной в эту ночь!

– Вполне готов этому поверить, – ответил Дон Кихот, – потому что либо я ничего не понимаю, либо замок этот очарован. Ибо знай... впрочем, сперва ты должен мне поклясться, что все то, что я тебе расскажу, ты сохранишь втайне и при жизни моей и после смерти.

– Клянусь, – сказал Санчо.

– Говорю я это к тому, – сказал Дон Кихот, – что мне претит марать чью-либо честь.

– Говорю вам, – ответил Санчо, – что клянусь молчать об этом до того самого дня, когда ваша милость отдаст Богу душу, и дай Господи, чтобы мне удалось разболтать завтра же.

– Разве я так плохо обращаюсь с тобой, Санчо, – спросил Дон Кихот, – что ты желаешь мне скорой смерти?

– Дело вовсе не в том, – ответил Санчо, – а просто мне противно что-нибудь долго держать в себе, из страха, как бы оно не прокисло во мне от долгого лежанья.

– Ну, хорошо, – сказал Дон Кихот, – как бы там ни было, я полагаюсь на твою любовь ко мне и твое благородство. Знай же, что этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений, какими я могу похвалиться; короче говоря, ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, прекраснейшая и привлекательнейшая девица, какую только можно сыскать в целом свете. Как описать тебе ее наряд или остроту ее ума, или другие тайные ее прелести, о которых скромно умолчать мне повелевает верность госпоже моей Дульсинее Тобосской? Скажу тебе лишь одно: либо небо позавидовало моему столь великому счастью, либо (что, пожалуй, будет вернее) этот замок, как я уже сказал тебе, очарован, но только в то время, как я вел с ней нежнейшую любовную беседу, вдруг невидимая и неизвестно откуда появившаяся рука, подвешенная к плечу какого-то чудовищного великана, размахнулась и нанесла мне такой удар по скулам, что у меня до сих пор еще рот залит кровью; а после так измолотила меня, что мне теперь еще хуже, чем вчера, когда погонщики оскорбили нас, как ты помнишь, из-за невоздержанности Росинанта. Это заставляет меня думать, что бесценную красоту этой девушки охраняет какой-нибудь очарованный мавр и что она создана не для меня.

– Да уж и не для меня, наверное, – ответил Санчо, – потому что более четырехсот мавров прогулялось по моей спине таким манером, что в сравнении с этим вчерашние дубины – пирожки да печатные пряники. Но скажите, сеньор, как вы можете называть редкостным приключение, которое привело нас в такое состояние, в каком мы сейчас? Еще ваша милость, как-никак, хоть держала в руках эту несравненную красоту, о которой вы говорили, а я – что досталось на мою долю, кроме колотушек, которые, видно, уж всю жизнь будут меня преследовать? Несчастный я человек, и на горе родила меня мáть, потому что не странствующий я рыцарь, да и никогда не собирался им быть, а между тем бóльшая доля шишек на мою голову валится!

– Как, неужели и тебя поколотили? – спросил Дон Кихот.

– Да разве не сказал я вам этого, будь прокляты мои родители? – ответил Санчо.

– Не печалься, друг мой, – сказал Дон Кихот. – Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, который, не успеешь ты и глазом моргнуть, как нас исцелит.

В этот самый момент стрелок, которому удалось, наконец, зажечь светильник, вошел, чтобы взглянуть на мнимого мертвеца. Увидев, как он приближается к ним в одной рубашке, с головой, повязанной платком, со светильником в руках и с лицом, не предвещающим ничего доброго, Санчо спросил своего господина:

– Сеньор, уж не это ли, ненароком, очарованный мавр, не доделавший своего дела и вернувшийся, чтобы прикончить нас?

– Это не может быть мавр, – ответил Дон Кихот, – потому что очарованных нельзя видеть.

– Если видеть их нельзя, то уже чувствовать, наверное, приходится, – ответил Санчо. – Об этом могут порассказать мои бока.

– Да и мои тоже, – сказал Дон Кихот. – Но все же это не причина полагать, что человек, которого мы видим, зачарованный мавр.

Стрелок подошел и, застав их мирно беседующими, весьма удивился. Надо вам сказать, что Дон Кихот продолжал лежать носом кверху, не в силах будучи пошевелиться из-за побоев и облепивших его пластырей. Стрелок подошел к нему и спросил:

– Ну, как дела, милейший?

– На вашем месте, – ответил Дон Кихот, – я был бы повежливее. Или в ваших краях принято так разговаривать со странствующими рыцарями, мужлан вы этакий?

Видя, как с ним разговаривает этот человек, с виду столь убогий, стрелок не стерпел, размахнулся светильником, полным масла, и запустил его в голову Дон Кихота, да так, что чуть не раскроил ему череп. Комната погрузилась во мрак, и стрелок тотчас же вышел.

– Нет сомненья, сеньор, – сказал Санчо Панса, – это и есть очарованный мавр. Он, наверное, бережет для других свое сокровище, а для нас приберегает только удары кулаками да светильниками.

– Должно быть, что так, – ответил Дон Кихот, – и нечего пробовать бороться с таким волшебством. Бесполезно также сердиться или жаловаться, ибо, раз это – силы невидимые и призрачные, нам, при всем старании, некому здесь отомстить. Попробуй-ка, Санчо, встать: поищи коменданта этой крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить из этого целебный бальзам. По правде сказать, я порядком сейчас в нем нуждаюсь, так как у меня сильно идет кровь из раны, которую нанес мне этот призрак.

С превеликой болью в костях Санчо поднялся и побрел в потемках к хозяину. Наткнувшись по дороге на стрелка, который выслеживал, что замышляет его враг, он сказал ему:

– Кем бы вы ни были, сеньор, окажите такую милость и благодеяние, дайте нам немного розмарина, масла, соли и вина, чтобы изготовить лекарство для одного из лучших странствующих рыцарей, который лежит на своем ложе, тяжело раненный рукой очарованного мавра, поселившегося на этом дворе.

Услышав это, стрелок решил, что перед ним сумасшедший. Так как уже начало светать, он открыл входную дверь и, крикнув хозяина, передал ему, о чем просил бедняга. Хозяин вручил Санчо все нужное, и тот отнес это Дон Кихоту, который стоял, обхватив голову руками и жалуясь на боль от удара светильником, хотя от удара этого у него всего лишь вскочили на лбу две изрядные шишки, а то, что он принял за кровь, был попросту пот, обильно выступивший у него от испытанного волнения.

Он тотчас взял эти снадобья и изготовил из них целебный состав, смешав их и продержав на огне, пока ему не показалось достаточно. Затем он попросил дать ему какую-нибудь склянку, чтобы перелить в нее смесь, но так как склянки во всем доме не оказалось, то он удовольствовался жестянкой из-под оливкового масла, которую хозяин безвозмездно ему предоставил. После этого он прочитал над жестянкой не менее восьмидесяти раз "Pater Noster" и приблизительно столько же раз "Ave Maria", "Salve" и "Credo", сопровождая каждое слово крестным знамением в виде благословления. Санчо Панса, хозяин и стрелок присутствовали при этой операции; что же касается погонщика, то он преспокойно занялся своими мулами. Вслед за тем Дон Кихот захотел немедленно испробовать на себе силу столь целительного, по его мнению, бальзама и сразу проглотил изрядную долю того, что не вместилось в жестянку и оставалось в горшке, в котором варилось примерно с пол-асумбры. Но едва он допил, как его так начало рвать, что он извергнул все содержимое своего желудка. От корчей и напряжения, вызванного рвотой, у него выступил обильный пот, после чего он попросил, чтобы его потеплее укрыли и оставили одного, что и было исполнено. Проспав добрых три часа, он проснулся с чувством свежести во всем теле, и ломота от побоев настолько у него уменьшилась, что он счел себя совсем здоровым и поверил, в самом деле, что изготовил настоящий бальзам Фьерабраса и что благодаря этому снадобью ему не страшны отныне никакие стычки, побоища и потасовки, как бы опасны они ни казались.

Санчо Панса, который счел за чудо исцеление своего господина, попросил Дон Кихота дать ему то, что осталось в горшке, – а была там еще немалая толика. Дон Кихот разрешил, и Санчо, ухватившись за котелок обеими руками, с превеликой верой и усердием перелил себе в глотку немногим меньше, чем его господин. Но тут обнаружилось, что желудок у Санчо был не столь чувствителен, как у его господина, потому что, прежде чем его вырвало, он почувствовал такие колики и приступы тошноты, его так ударило в пот и он так ослабел, что твердо и искренне решил, что пришел его последний час; и в этом тяжком и мучительном состоянии принялся он проклинать и бальзам и злодея, угостившего его им. Видя его в таком положении, Дон Кихот сказал:

– Я полагаю, Санчо, что вся беда эта постигла тебя оттого, что ты не настоящий рыцарь; потому что, думается мне, напиток этот не приносит пользы тому, кто не рыцарь.

– Если ваша милость это знала, – воскликнул Санчо, – так зачем же – пропади я со всей моей родней! – позволили вы мне его выпить?

В эту минуту напиток оказал, наконец, свое действие, и несчастный оруженосец начал с такой быстротой опорожняться через оба шлюза, что вскоре и камышевая цыновка, на которую он свалился, и холщевое одеяло, его прикрывавшее, оказались ни на что более не пригодными. Обливаясь холодным по́том, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что пришел ему конец. Эта буря и терзания длились около двух часов, после чего Санчо отнюдь не пришел в такое состояние, как

его господин, а, напротив, оказался таким разбитым и измученным, что не мог стоять на ногах. Между тем Дон Кихот, почувствовав себя, как мы уже сказали, свежим и бодрым, пожелал немедленно отправиться на поиски приключений, ибо каждый лишний час, проведенный им в этом месте, казался ему потерей для мира и для всех обездоленных, нуждающихся в его защите и покровительстве, – причем его особенно побуждало к этому глубокое доверие, каким он проникся к свойствам своего бальзама. Томимый этим желанием, он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог последнему одеться и взобраться на него. После этого он сел на коня и, проехав в конец двора, схватил стоявшее там деревенское копьецо, долженствовавшее заменить ему боевое копье.

Все обитатели постоялого двора, человек двадцать числом, если не больше, вышли поглядеть на него. Смотрела на него и дочка хозяина, с которой он тоже не спускал глаз, и от времени до времени у него вырывались вздохи, исходившие словно из глубины его существа. Присутствующим казалось, что причина этих вздохов – боль в боках; так, по крайней мере, думали те, кто накануне вечером видели, как его облепили пластырями.

Когда оба они уселись верхом, Дон Кихот подъехал к крыльцу постоялого двора и, обратившись к хозяину, размеренным и торжественным голосом сказал:

– Велики и многочисленны милости, владетельный сеньор, испытанные мной в вашем замке, и я считаю себя обязанным до конца дней моих хранить к вам за них благодарность. О, если бы я мог уплатить вам, наказав какого-нибудь наглеца, причинившего вам обиду! Ибо знайте, что мое назначение – помогать слабым, мстить за угнетенных и карать низость. Припомните хорошенько, не случилось ли с вами какой-нибудь беды в этом роде, и если найдется для меня поручение, говорите прямо. Ибо обещаю вам честью рыцарского звания, которое на меня возложили, что всякое ваше желание будет справедливо и полностью удовлетворено.

На это с таким же достоинством хозяин ему ответил:

– Сеньор кабальеро, мне нет никакой надобности, чтобы ваша милость мстила за нанесенные мне обиды, потому что я умею, при случае, и сам расправиться со своими обидчиками. Мне желательно только одно – чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем дворе, именно за ужин и две постели, равно как за солому и корм для ваших двух животных.

– Значит, это постоялый двор? – спросил Дон Кихот.

– Да, и пользующийся самой лучшей славой, – ответил хозяин.

– До этой минуты я пребывал в заблуждении, – сказал Дон Кихот, – ибо, по правде сказать, воображал, что это замок, и не из плохих. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить вас избавить меня от платы. Ибо я не могу нарушить устав странствующих рыцарей, согласно которому – как это мне хорошо известно, так как я ни разу не встречал в книгах указания на противное, – они никогда не расплачивались ни за ночлег, ни за что-либо

другое на постоялых дворах, где останавливались. Им по праву и по закону всюду полагается наилучший прием, оказываемый им в возмещение великих тягот, которые они несут, проводя дни и ночи в поисках приключений, зимой и летом, пешком или на коне, терпя голод и жажду, зной и стужу, подвергая себя всем превратностям непогоды небесной и бедствий земных.

– В этих вещах я мало смыслю, – заявил хозяин. – Заплатите мне что следует, а до разных басен и рыцарств мне дела мало.

– Вы неотесанный и дрянной трактирщик! – воскликнул Дон Кихот.

Пришпорив Росинанта и выровняв в руках копьецо, он без помехи выехал со двора и проехал порядочный кусок дороги, не оглядываясь, чтобы посмотреть, едет ли за ним оруженосец. Видя, что гость уехал не расплатившись, хозяин обратился со своим счетом к Санчо Пансе; но тот заявил, что раз господин его не пожелал заплатить, то тем менее склонен расплачиваться он, так как, будучи оруженосцем странствующего рыцаря, он подчинен тому же уставу, что и господин его, не позволяющему за что-либо расплачиваться на постоялых дворах и в харчевнях. Хозяин не на шутку рассердился и пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он с ним по-своему разделается. Но Санчо на это ответил, что, повинуясь рыцарскому уставу, коему подвластен его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни, так как он не желает, чтобы по его вине был посрамлен прекрасный древний обычай странствующих рыцарей и чтобы оруженосцы, которые явятся после него на свет, могли посетовать и укорить его за нарушение столь справедливого закона.

На беду несчастного Санчо, в числе постояльцев двора оказалось четверо сеговийских сукновалов, трое продувных малых с Потро, что́ в Кордове, да еще двое прощелыг из Ярмарочного околотка в Севилье – все ребята веселые, разудалые, выдумщики и большие шутники. У всех их явилась одна и та же мысль, и, не сговариваясь, они обступили Санчо и стащили его с осла. Один из них сбегал за хозяйским одеялом, на которое они и опрокинули Санчо. Но, подняв глаза и заметив, что навес низковат для задуманного ими дела, они ре́шили перебраться на задний двор, покровом которому служил свод небесный. Там, уложив Санчо на середину одеяла, они принялись подбрасывать его, играя им, как собакой во время карнавала[2].

Крики подбрасываемого страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина, который сначала было решил, что ему подвернулось какое-то новое приключение, но вскоре узнал голос своего оруженосца. Повернув коня, он грузным галопом поскакал обратно к постоялому двору и, найдя ворота запертыми, стал объезжать его со всех сторон, ища входа. Но едва подъехал он ближе к ограде заднего двора, не особенно высокой, как увидел веселую игру, затеянную с его оруженосцем. На его глазах тот взлетал в воздухе и затем опускался с такой уморительной быстротой, что если бы Дон Кихотом не овладел гнев, можно быть уверенным, что он бы расхохотался. Он попробовал было перебраться с седла на забор, но был так слаб и разбит, что не мог даже слезть с коня; и потому, продолжая сидеть верхом, он принялся осыпать проказ-

ников градом таких проклятий и ругательств, что перо мое отказывается их воспроизвести. А шутники, невзирая на это, не переставали весело трудиться, равно как и порхавший в воздухе Санчо не прекращал своих воплей, в которых соединялись мольбы с угрозами. Все это, однако, мало ему помогало, пока, наконец, устав, они не бросили своей игры. Тогда, приведя осла, они усадили Санчо в седло и набросили ему на плечи плащ; а сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, решила, что будет кстати поддержать силы его кружкой воды, которую она принесла ему, чтобы посвежее была, из колодца. Санчо взял кружку и уже поднес ее к губам, как вдруг остановился, услышав громкий крик своего господина:

– Санчо, сынок, не пей воды! Не пей ее, сынок, если не хочешь умереть! Смотри, вот чудодейственный бальзам (при этих словах он показал ему жестянку), две капли которого тебя сразу исцелят!

Но в ответ на это Санчо только искоса взглянул на него и крикнул не менее громко:

– Иль ваша милость уже забыла, что я не рыцарь, и вам хочется, чтобы у меня вырвало последние внутренности, какие еще остались после нынешней ночки? Приберегите ваш напиток для себя – тысяча дьяволов! – а меня оставьте в покое.

Последние слова он произнес, уже уткнувшись носом в кружку. Но, заметив после первого глотка, что это всего-навсего вода, он не захотел продолжать и попросил Мариторнес принести ему вина, что она исполнила с большой охотой, заплатив за вино из собственного кармана. Правду говорят про нее, что, хоть и неважное было ее занятие, все же она хранила в сердце крупицу христианских чувств. Выпив вино, Санчо ударил своего осла пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, весьма довольный тем, что ничего не заплатил и настоял-таки на своем, хоть и не без ущерба для своих обычных поручителей – лопаток. Правда, что хозяин оставил себе его дорожную сумку в расплату по счету, но Санчо, когда выезжал, был так взволнован, что даже этого не заметил. Когда он удалился, хозяин хотел было крепко запереть ворота на запор, но наши весельчаки этому воспротивились: и в самом деле, это были такие молодцы, что будь Дон Кихот настоящим странствующим рыцарем Круглого Стола, они и то не дали бы за него ни полушки.

ГЛАВА XVIII

содержащая беседу Санчо Пансы с его господином, а также разные другие приключения, достойные упоминания

Санчо подъехал к своему господину такой помятый и ослабевший, что у него не было даже сил подогнать своего ослика. Видя его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:

– Теперь я начинаю верить, мой добрый Санчо, что этот замок, или постоялый двор, действительно очарован. Конечно же, это так. Ибо кем другим могли быть существа, так жестоко потешавшиеся над тобой, как не призраками и выходцами с того света? Подтверждение этому я вижу в том, что, когда я следил через забор за перипетиями твоей печальной трагедии, я не в состоянии был не только перелезть через забор, но даже сойти с Росинанта на землю: без сомнения, меня очаровали. Ибо, клянусь тебе моей честью, если бы я только мог перелезть во двор или сойти с коня, я бы отомстил за тебя так, что они бы ввек этого не забыли, хотя бы и пришлось мне для этого нарушить рыцарский закон, запрещающий рыцарю, как я уже не раз тебе это объяснял, подымать руку на того, кто не рыцарь, кроме только самых крайних и тяжелых случаев, когда приходится защищать свою жизнь и личность.

– Я и сам бы отомстил за себя, кабы возможность была, рыцарь я там или нет, да только никак нельзя было. А все-таки я полагаю, что игравшие мною были вовсе не призраки или люди очарованные, как утверждает ваша милость, а самые обыкновенные люди из мяса и костей, вроде нас с вами. И у каждого из них было свое имя, – я слышал это, когда, подбрасывая меня, они перекликались: одного звали Педро Мартинес, другого Тенорио Эрнандес, а хозяина двора зовут Хуан Паломеке Левша. Так что, сеньор, если вы не могли перелезть через забор и сойти с лошади, то причина тут совсем другая, а вовсе не колдовство. Для меня же из всего этого ясно только одно: все эти поиски приключений приведут нас к таким злоключениям, что под конец мы не сможем отличить свою правую ногу от левой. Самое лучшее и спокойное, что могли бы мы сейчас сделать, – уж простите меня, дурака, – это вернуться к себе восвояси. Как раз подходит время жатвы, и самая пора теперь заняться хозяйством, вместо того чтобы валандаться по свету, кидаясь из огня да в полымя.

– Мало же ты смыслишь, Санчо, – ответил Дон Кихот, – в рыцарских делах! Молчи и вооружись терпением, потому что настанет день – и ты собственными глазами убедишься, какое благородное дело заниматься такими подвигами. Ну, скажи мне, есть ли на свете бóльшая радость и удовлетворение, чем одержать победу и поразить врага? Признайся, что нет ничего лучше этого.

– Должно быть, что так, – ответил Санчо, – хоть лично я ничего в этих делах не смыслю. Знаю только одно: что с того дня, как мы сделались странствующими рыцарями, – вернее сказать, только ваша милость, потому что я не могу причислить себя к этому высокому званию, – мы не одержали ни единой победы, не считая победы над бискайцем, да и то в этом сражении ваша милость потеряла полуха и половину шлема, и с тех пор мы ничего не видели, кроме колотушек да зуботычин. На мою же долю выпало еще подбрасыванье на одеяле, да и подбрасывали-то меня люди очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы испытать, так ли велико удовольствие от мести, как утверждает ваша милость.

– В этом и состоит, Санчо, ниспосланное мне наказание, от которого и тебе приходится терпеть, – ответил Дон Кихот. – Но на будущее время я постараюсь

раздобыть какой-нибудь меч, обладающий таким свойством, что тот, кто им владеет, не подвластен никакому колдовству. И возможно, что счастливая судьба даст мне в руки меч Амадиса – той поры, когда он называл себя Рыцарем Пламенного Меча[1], – а это – один из лучших мечей в мире, какими когда-либо владел рыцарь, потому что, кроме упомянутого свойства, он резал, как бритва, и не было таких прочных или очарованных доспехов, которые бы против него устояли.

– Таково уж мое счастье, – сказал Санчо, – что если б вашей милости и удалось добыть такой меч, то оказалось бы, что он пригоден только для рыцарей, как это случилось с бальзамом, а оруженосцы пускай расплачиваются своими боками.

Отбрось свой страх, Санчо, – сказал Дон Кихот, – скоро небо будет благосклоннее и к тебе.

В то время как они ехали, занятые этой беседой, Дон Кихот вдруг заметил на дороге, по которой они следовали, несущееся им навстречу огромное и густое облако пыли. Увидев его, он обернулся к Санчо и сказал:

– Настал день, о Санчо, когда ты увидишь, какую удачу приготовила мне судьба. Вот день, говорю тебе, когда проявится вся мощь моей руки и когда я совершу деяния, которые впишутся в книгу Славы для грядущих поколений. Видишь, Санчо, облако пыли, которое там стелется? Оно скрывает огромнейшее войско из различных, бесчисленных племен, направляющееся в нашу сторону.

– Уж если на то пошло, – заявил Санчо, – то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такое же облако.

Обернувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду. И, крайне обрадованный, он без колебаний решил, что две армии движутся, чтобы сойтись и сразиться между собой посреди обширной расстилавшейся перед ними равнины. Ибо каждый час и каждую минуту его воображению рисовались битвы, чары, приключения, подвиги, любовные безумства, поединки, о которых рассказывается в рыцарских романах, и все его слова, действия и мысли были направлены в эту сторону. На самом же деле облака пыли, замеченные им, производили два больших стада овец и баранов, которые шли по одной дороге противоположных концов, поднимая пыль, мешавшую их видеть, пока они не приблизились совсем. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это – два войска, что Санчо, в конце концов, поверил и сказал:

– Что же нам теперь делать, сеньор?

– Что делать?! – воскликнул Дон Кихот. – Подкрепить и поддержать более слабую сторону, нуждающуюся в помощи. Знай, Санчо, что армией, идущей нам навстречу, предводительствует великий император Алифанфарон[2], повелитель огромного острова Трапобаны[3], а тот, кто ведет войска позади нас, – его враг, король гарамантов Пентаполин с Засученным Рукавом, прозванным так потому, что, идя в бой, он всегда обнажает свою правую руку[4].

– Да почему же так ненавидят друг друга эти два сеньора? – спросил Санчо.

– Потому что, – ответил Дон Кихот, – Алифанфарон, заядлый язычник, влюбился в красавицу, дочь Пентаполина, очаровательную девушку, притом христианку, а отец не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не отречется от закона лжепророка Магомета и не примет нашей веры.

– Отвались моя борода, – воскликнул Санчо, – если Пентаполин не вполне прав! Я готов помочь ему изо всех моих сил.

– И ты поступишь вполне правильно, – сказал Дон Кихот, – потому что для участия в таких сражениях совсем не требуется быть рыцарем.

– Это я понимаю, – ответил Санчо. – Но вот что: куда мы припрячем моего осла, чтобы потом найти его после этой свалки? Потому что ехать в бой верхом на осле – это вряд ли когда делалось.

– Правда, – сказал Дон Кихот. – Все, что тебе остается, – это бросить его на произвол судьбы, не заботясь, пропадет он или нет, – ибо, выйдя из боя победителями, мы получим в свое распоряжение столько лошадей, что даже Росинанту грозит опасность, как бы я не променял его на другого коня. А теперь слушай меня и смотри внимательно: я тебе перечислю главных рыцарей обеих этих армий[5]. И, чтобы тебе легче было рассмотреть каждого в отдельности, въедем на соседний пригорок, откуда хорошо будут видны оба войска.

Так они и сделали: взобралась на холмик, откуда без труда можно было бы различить оба стада, принятые Дон Кихотом за армии, если бы их не окутывали облака пыли, совершенно затмевавшие зрение. И вот, видя в своем воображении то, чего глаза его не видели и чего на деле не было, Дон Кихот начал громким голосом:

– Видишь ты этого рыцаря в ярко-желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, лежащий у ног девушки? Это – доблестный Лауркалько, повелитель Пуэнте де Плата[6]. А тот, в доспехах, украшенных золотыми цветами, имеющий на щите три серебряные короны на лазоревом поле, это – грозный Микоколембо, великий герцог Киросии. Дальше, справа от него, – истинный великан, неустрашимый Брандабарбаран[7] де Боличе, повелитель трех Аравий; он одет в змеиную кожу, и в руках у него вместо щита дверь, принадлежавшая, по преданию, храму, который разрушил Самсон[8], когда он умирая, отомстил своим врагам. Теперь, если ты обратишь взор свой в другую сторону, ты увидишь во главе второго войска, впереди него, вечно побеждающего и ни разу еще не побежденного Тимонеля Каркахонского, властителя Новой Бискайи; на нем четырехпольные доспехи лазоревого, зеленого, белого и желтого цвета, а на щите – кошка на рыжем поле, с надписью "Мяу": сокращенное имя его дамы, как утверждают – несравненной Мяулины, дочери герцога Альфеньикена[9] Альгарбского. Тот другой, подальше, под тяжестью которого сгибается хребет его могучего коня, рыцарь в белоснежных доспехах и с белым щитом без всякого девиза, это – рыцарь-новичок, француз родом, по имени Пьер Папен[10], сеньор Утрехтских бароний. А тот, еще дальше, в небесно-лазоревых доспехах, вонзающий железные шпоры в бока своей быстроногой полосатой зебры, – могучий герцог Нербии, Эспартафилардо дель Боске, с

пучком спаржи на щите[11] и девизом, написанным по-кастильски: "Проследи мою судьбу".

И, продолжая дальше в таком же роде, Дон Кихот перечислил еще множество рыцарей обеих воображаемых армий, наделяя каждого особым гербом, цветом, приметами и девизом, которые ему подсказывало его невиданное безумие, а затем, без передышки, продолжал:

– Войско, что впереди нас, состоит из самых разнообразных племен. Здесь есть народы, пьющие сладкие воды прославленного Ксанфа[12]; люди, попирающие ногами массилийские горные долины[13]; племена, просеивающие чистейший золотой порошок счастливой Аравии; те, что блаженно живут на дивных, прохладных берегах светлого Термодонта[14]; те, что многоразличными способами истощают золотоносный Пактол[15]; нумидийцы, неверные своему слову; персы, славящиеся своим луком и стрелами; мидяне и парфяне, сражающиеся на бегу; арабы с их кочевыми шатрами; скифы, столь же известные своей жестокостью, как и белизной кожи; эфиопы с проколотыми губами и несметное множество других еще племен, черты которых я вижу и узнаю, хотя имена их не в силах припомнить. В другой армии ты видишь племена, пьющие хрустальные струи Бетиса[16], орошающего оливковые рощи; те, что освежают и умывают лица свои влагою вечно обильного, золотоносного Тахо; те, что наслаждаются плодоносными водами дивного Хениля; те, что бродят на тартесийских равнинах[17] с тучными пастбищами; те, что беззаботно живут на елисейских лугах Хере́са[18]; богатых ламанчцев в венках из золотых колосьев; мужей, закованных в железо, последних потомков древних готов[19]; людей, погружающих тела свои в Писуэргу, что славится плавным течением; тех, что пасут стада свои на просторных лугах извилистой Гвадианы, прославленной своими скрывающимися от глаз водами[20]; тех, что дрожат от холода в лесистых Пиренеях и на снежных высотах Аппенин; словом, все племена, какие только вмещает в себе и питает Европа.

Бог мой, сколько стран назвал он, сколько народов перечислил, мгновенно наделяя каждый особыми свойствами: и все это почерпнул он из чтения лживых романов, которыми была набита его голова! Внимательно слушал его Санчо, не решаясь проронить ни слова, и только время от времени поворачивал голову в надежде увидеть рыцарей и великанов, которых перечислял его господин; но так как ни одного из них ему не удалось обнаружить, то в конце концов он сказал:

– Куда к черту запропастились, сеньор, все эти рыцари и великаны, о которых говорит ваша милость? Я, по крайней мере, ни одного из них не вижу. Или все они так же очарованы, как призраки, являвшиеся к нам прошлой ночью?

– Что говоришь ты? – воскликнул Дон Кихот. – Иль ты не слышишь ржания коне, барабанного боя и звуков рожков?

– Ничего я не слышу, – ответил Санчо, – кроме блеянья овец и баранов.

И это была сущая истина, так как оба стада подошли уже в это время совсем близко.

– Страх, обуявший тебя, – сказал Дон Кихот, – мешает тебе, Санчо, правильно видеть и слышать. Одно из проявлений страха – это то, что наши чувства теряют свою ясность, и все представляется нам в искаженном виде. Если уж ты так испугался, отойди в сторонку и предоставь мне действовать одному, ибо меня одного достаточно, чтобы обеспечить победу тем, кому я окажу помощь.

С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта и, взяв копье наперевес, с быстротой молнии помчался с пригорка.

– Господин мой, сеньор Дон Кихот, – принялся кричать Санчо, – вернитесь! Клянусь моей душой, вы нападаете на овец и баранов! Вернитесь, заклинаю вас именем моего отца! Ну, что это за безумие! Верьте мне, здесь нет ни великанов, ни рыцарей, ни кошек, ни доспехов, ни щитов цельных или четырехпольных, ни небесной лазури, ни всей этой вашей чертовщины. Да что же это он делает, грехи мои тяжкие!

Но ничто не могло остановить Дон Кихота, восклицавшего громким голосом:

– Смелее, рыцари, верные знаменам благородного императора Пентаполина с Засученным Рукавом! Вперед, за мной! Вы увидите, как быстро я отомщу его врагу, Алифанфарону Трапобанскому!

С этим возгласом он врезался в самую гущу стада овец и принялся разить их своим копьем с такой яростной отвагой, словно это и вправду были его смертельные враги. Пастухи, сопровождавшие стадо, пробовали криками остановить его, но, видя, что слова не помогают, взялись за свои пращи и стали приветствовать уши Дон Кихота камнями величиной с кулак. Но тот, не обращая внимания на камни, метался по полю, восклицая:

– Где ты, надменный Алифанфарон? Выходи на меня. Я рыцарь, готовый один на один сразиться с тобой и поразить насмерть в наказание за твое дерзкое нападение на Пентаполина Гарамантского!

В эту минуту в самый бок ему угодил изрядный булыжник, пущенный из пращи, и вдавил ему внутрь два ребра. Почувствовав удар, Дон Кихот решил, что он уже убит или смертельно ранен; но, вспомнив про свой бальзам, он схватил жестянку и, поднеся ее ко рту, стал вливать себе жидкость в желудок. Но не успел он проглотить достаточную, по его мнению, порцию, как его настиг второй кругляк, пущенный так ловко, что, угодив ему в руку, он не только пробил насквозь жестянку, но и вышиб Дон Кихоту три или четыре зуба впридачу да еще размозжил два пальца. Если первый удар был не плох, то второй свалил бедного рыцаря наземь. Подбежавшие к нему пастухи вообразили, что прикончили его; собрав свое стадо, они взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось штук семь, и, недолго думая, поспешно удалились.

Санчо, все время не покидавший пригорка и взиравший на безумства своего господина, рвал на себе волосы, проклиная день и час, когда судьба свела их вместе. Видя, что Дон Кихот лежит на земле и что пастухи уже удалились, он спустился с пригорка и подошел к Дон Кихоту, который был в весьма плачевном состоянии, хотя и не лишился чувств.

– Не старался ли я, сеньор Дон Кихот, – сказал Санчо, – удержать вас? Не говорил ли, что это – не армия, а стадо баранов?

– Вот какие подмены и превращения устраивает подлый враг мой волшебник! Знай, Санчо, что для волшебников нет ничего легче, как заставить нас видеть все, что им хочется. Так и этот негодяй, меня преследующий, ревнуя к славе, которою я должен был покрыть себя в этой битве, превратил вражескую армию в стадо баранов. Если не веришь, Санчо, сделай, прошу тебя, одну вещь, чтобы рассеять свои сомнения и убедиться, что я говорю правду: садись на своего осла и поезжай за ними потихоньку, – и ты увидишь, что, немного удалившись, они примут свое прежнее обличье и из баранов превратятся опять в самых настоящих людей, таких, какими я тебе описал их. Но только не уезжай сразу, потому что мне нужна сейчас твоя поддержка и помощь. Подойти поближе и посмотри, сколько я потерял зубов: мне кажется, что у меня ни одного не осталось.

Санчо нагнулся к нему так, словно собирался влезть с головой к нему в рот. Но как раз в это время бальзам начал действовать в желудке Дон Кихота, и в ту самую минуту, как Санчо принялся исследовать его рот, господин его с силой мушкетного выстрела извергнул из себя все, что у него было внутри, окатив бороду сострадательного оруженосца.

– Пресвятая Дева! – воскликнул Санчо. – Что же это такое делается? – Должно быть, несчастный ранен насмерть, если его рвет кровью.

Вглядевшись, однако, он сразу же по цвету, вкусу и запаху убедился, что это не кровь, а бальзам, который Дон Кихот на его глазах пил из жестянки. И от этого Санчо так затошнило, что весь его желудок вывернулся наизнанку, и его вырвало прямо в лицо Дон Кихоту; оба они оказались разукрашенными на славу. Санчо кинулся к своему ослу, чтобы достать из сумки, чем бы утереться и перевязать своего господина, и, обнаружив ее исчезновение, чуть было не рехнулся. Снова разразившись проклятиями, он твердо решил в душе бросить своего господина и вернуться к себе домой, махнув рукой на заработанное жалованье и надежду стать губернатором обещанного острова.

Тем временем Дон Кихот поднялся и, обхватив левою рукою рот, для того чтобы оттуда не вывалились зубы, правой рукой схватил узду Росинанта, который все время так и не отходил ни на шаг от своего хозяина (до того это было смирное и верное животное!), и поплелся к тому месту, где стоял Санчо, припав грудью к своему ослу и подперев рукой щеку, в глубоком раздумье. Увидев его в этой позе, выражавшей глубокую скорбь, Дон Кихот сказал:

– Знай, Санчо, кто хочет возвыситься над другими, тот и делать должен больше других. Все эти бури, обрушившиеся на нас, свидетельствуют о том, что скоро небо прояснится и дела наши пойдут хорошо. Ибо ни горе, ни радость не бывают слишком продолжительны, а из этого следует, что если горе тянулось очень долго, то, значит, радость близка. Поэтому брось печалиться о постигших меня невзгодах, которые тебя совсем не коснулись.

– Как это так не коснулись! – вскричал Санчо. – А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле, не был сыном моего отца? А сумка, которая пропала вместе со всем моим скарбом, чужая разве, а не моя?

– У тебя пропала сумка? – спросил Дон Кихот.

– То-то и есть, что пропала, – ответил Санчо.

– Значит, не придется нам сегодня обедать, – сказал Дон Кихот.

– Да уж, конечно, не пришлось бы, – молвил Санчо, – если б на этих лугах не росло хорошо вам известных, по словам вашей милости, трав, которые могут с успехом заменить обыкновенную пищу незадачливым странствующим рыцарям вроде вашей милости.

– А все же я предпочел бы, – сказал Дон Кихот, – всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны[21], хороший хлебец или даже просто краюху хлеба и пару копченых сардинок впридачу. Но что об этом толковать? Садись, добрый Санчо, на своего осла и поезжай за мной. Бог, который обо всех печется, не забудет и нас с тобой, тем паче, что мы так усердно служим ему: посылает же он пищу и комарам в воздухе, и червям в земле, и головастикам в воде, столь милосердный, что солнце его светит и добрым и злым, а дождь поливает праведных и неправедных[22].

– Вашей милости, – сказал Санчо, – больше бы пристало быть проповедником, чем странствующим рыцарем.

– Странствующие рыцари всё всегда умели и всё обязаны были знать, – ответил Дон Кихот. – И в прежние времена встречались среди них такие, что могли произнести речь или проповедь в военном лагере не хуже любого доктора Парижского университета, – из чего явствует, что никогда еще копье не притупляло пера, как и перо – копья.

– Ладно, пусть будет по-вашему, – сказал Санчо. – А теперь давайте-ка двинемся в путь и поищем где-нибудь ночлега. Кабы Бог нам помог сыскать местечко, где не водится ни одеял, ни этих мастеров одеяльных, ни призраков, ни очарованных мавров! Провались я, коли мне охота еще раз с ними встретиться.

– Попроси, сынок, Божьей помощи, – сказал Дон Кихот, – и веди меня, куда хочешь, потому что на этот раз я готов предоставить тебе выбор ночлега. А теперь протяни-ка руку и пощупай, сколько у меня не хватает зубов в верхней челюсти, потому что здесь у меня сильнее всего болит.

Санчо засунул ему в рот руку и, пощупав хорошенько, спросил:

– Сколько зубов у вашей милости было здесь раньше?

– Четыре, – ответил Дон Кихот, – и все, кроме зуба мудрости, целые и здоровые.

– Не ошибается ли ваша милость? – спросил Санчо.

– Говорю тебе, что четыре, если не пять, – ответил Дон Кихот, – потому что за всю мою жизнь мне не рвали зубов, и ни один не сгнил и не выпал от простуды.

– А теперь у вашей милости, – сказал Санчо, – с этой стороны внизу осталось два с половиной, а наверху ровно ничего, ни одной даже половинки: совсем гладко стало, как ладошка.

– Вот несчастье! – сказал Дон Кихот, услышав от оруженосца эту печальную новость. – Лучше бы мне отрубили руку, – только, конечно, не правую, чтоб было чем держать меч. Ибо знай, Санчо, что рот без коренных зубов – то же, что мельница без жернова, и что каждый зуб для человека дороже алмаза. Но что поделаешь, еще не таким напастям подвержены мы, принявшие на себя суровый обет рыцарства! Садись, мой друг, на осла и трогайся в путь, а я последую за тобой всюду, куда пожелаешь.

Так Санчо и сделал: он направился по большой дороге, тянувшейся перед ним прямо в ту сторону, где, по его соображениям, можно было сыскать ночлег.

Потихоньку плетясь кое-как, – ибо неутихавшая боль в челюстях Дон Кихота не позволяла им прибавить ходу, – Санчо, чтобы хоть чем-нибудь развлечь своего господина, решил завести с ним беседу, и в числе многого другого им было высказано нечто, о чем мы узнаем из следующей главы[23].

ГЛАВА XIX

о разумной беседе между Санчо Пансой и его господином и последовавшем засим приключении с мертвым телом, равно как и о других замечательных происшествиях

– Сдается мне, сеньор, что все эти напасти, обрушившиеся на нас за последнее время, – наказание за то, что ваша милость нарушила рыцарский закон и не сдержала своей клятвы[1]: не вкушать хлеба за скатертью, не тешиться с королевой и многое другое, чего вы давали слово не делать, пока не добудете шлема Маландрина[2], или как там звали этого мавра, уж не помню.

– Ты не ошибся, Санчо, – сказал Дон Кихот. – По правде сказать, клятва эта у меня совсем из головы вылетела. Мало того, можешь быть уверен: именно за то, что ты мне вовремя об этом не напомнил, с тобой произошло это подбрасыванье на одеяле. Но я заглажу свою провинность, – ибо в рыцарских правилах предусмотрены способы искупить любую погрешность.

– Да я-то разве в чем-нибудь клялся? – воскликнул Санчо.

– Не важно, клялся ты или нет, – ответил Дон Кихот. – Довольно того, что, на мой взгляд, тебя можно обвинить в соучастии. Но, как бы там ни было, надо попробовать исправить нашу ошибку.

– Раз это так, – сказал Санчо, – то постарайтесь, ваша милость, хоть этого не забыть, как забыли вы свою клятву; а то, чего доброго, у привидений явится охота еще раз потешиться надо мной, да, пожалуй, и над вашей милостью, если они увидят ваше упорство.

В этих и тому подобных разговорах, прежде чем они успели найти ночлег и добраться до него, их застигла среди дороги ночь. А хуже всего было то, что их начал мучить голод, потому что вместе с сумкой исчезли все их съестные припасы. И тут, в довершение беды, с ними случилось самое настоящее, отнюдь не

вымышленное приключение. Хотя ночь была-таки довольно темная, они продвигались вперед, так как Санчо решил, что, раз это проезжая дорога, им должен встретиться, наконец, через милю или две какой-нибудь постоялый двор. И вот, в то время как они оба – голодный оруженосец и его господин, который тоже не прочь был бы закусить, – странствовали таким образом вдвоем впотьмах, они вдруг увидели на дороге множество движущихся им навстречу огней, похожих на блуждающие звезды. При виде их Санчо обмер от страха, да и Дон Кихоту стало слегка не по себе. Один натянул недоуздок осла, другой – узду коня, и оба остановились, старательно всматриваясь, что бы такое это могло быть. Они заметили, что огни направляются в их сторону и, по мере своего приближения, все более увеличиваются. При виде этого Санчо задрожал, как человек, отравленный ртутью, да и у Дон Кихота волосы встали дыбом. Слегка взволнованный, наш рыцарь сказал:

– Без сомнения, Санчо, это одно из величайших и опаснейших приключений, в котором мне придется проявить всю мою силу и мужество.

– Пропал я! – воскликнул Санчо. – Если это опять призраки, – а похоже, что это так, – где мне набраться ребер, чтобы выдержать новую трепку?

– Будь это самые настоящие привидения, – заявил Дон Кихот, – я не позволю им тронуть хотя бы нитку на твоем платье. Если прошлый раз они натешились над тобой, то только потому, что я не мог перелезть через изгородь во двор. Но сейчас мы в открытом поле, и здесь есть где разгуляться моему мечу.

– А если они опять вас очаруют и пригвоздят к месту, как в тот раз, – сказал Санчо, – что пользы в том, что мы в открытом поле?

– Во всяком случае, Санчо, – сказал Дон Кихот, – прошу тебя, не падай духом. Ты сейчас на деле увидишь, каково мое мужество.

– Постараюсь, с Божьей помощью, набраться храбрости, – ответил Санчо.

Свернув немного с дороги, они снова начали пытливо вглядываться, пытаясь разобраться, что это за огни движутся на них, и вскоре различили множество фигур в балахонах; это жуткое зрелище совсем доконало Санчо, который начал стучать зубами, как в лихорадке. Но еще больше затрясло его, и еще сильнее застучали его зубы, когда они разглядели все до конца. Их взорам предстало человек двадцать всадников в белых балахонах, ехавших, с зажженными факелами в руках, впереди похоронных дрог, за которыми следовало еще шесть таких же всадников, закутанных в траур до копыт своих мулов: что это были мулы, а не лошади, сразу было видно по их спокойной поступи. Всадники в балахонах медленно подвигались вперед, что-то бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Такое необычайное зрелище, в столь поздний час и в такой пустынной местности, могло бы смутить кого угодно, не только Санчо. Увы, зачем не случилось того же и с Дон Кихотом! В то время как Санчо окончательно упал духом, совсем противоположное произошло с его господином, воображению которого живо представилось одно из приключений, описанных в его романах[3].

Ему почудилось, что похоронные дроги – траурная колесница, на которой везут какого-то убитого или тяжело раненного рыцаря, и что именно ему, Дон

Кихоту, надлежит за него отомстить. Поэтому, недолго думая, он взял наперевес свое копьецо, укрепился в седле и, приосанившись, с молодецким видом выехал на середину дороги, по которой должны были проехать всадники в балахонах; и когда они совсем приблизились, крикнул громким голосом:

– Остановитесь, рыцари, или кто бы вы ни были, и немедленно скажите мне, кто вы такие, куда и откуда едете и кого везете на этой колеснице. Ибо по всему видно, что вы либо виновники, либо жертвы некоего злодеяния. И потому я должен узнать, в чем дело, для того, чтобы либо покарать вас за содеянное вами, либо отомстить за обиду, вам учиненную.

– Мы торопимся, – сказал один из людей в балахонах, – а до постоялого двора еще далеко; поэтому нам некогда вступать с вами в пространные объяснения.

И, пришпорив мула, он хотел проехать мимо. Сильно оскорбленный таким ответом, Дон Кихот схватил мула за узду и сказал:

– Остановитесь, невежи, и отвечайте на мои вопросы! В противном случае я вызываю вас всех на бой.

Мул был пугливый, и, когда его схватили за узду, он так испугался, что встал на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга, шедший рядом, увидев падение своего господина, принялся ругать Дон Кихота. Тогда тот, уже и без того взбешенный, немедленно нацелился своим копьецом и обрушился на одного из людей в черном, который, сильно ушибленный, покатился на землю. Затем Дон Кихот устремился на остальных, и надо было видеть, с какой быстротой он с ними стал расправляться! Казалось, у Росинанта выросли крылья – так легко и горделиво носился он взад и вперед. Всадники в балахонах были все люди робкие и безоружные, и потому в одно мгновенье, без борьбы, они очистили дорогу и разбежались врассыпную по полю, с горящими факелами в руках, похожие на ряженых, веселящихся ночью в дни карнавала. А те, что были в черном, запутавшись в фалдах и полах своих балахонов, не могли быстро двигаться, что позволило Дон Кихоту без особого труда славно отколошматить их всех и заставить, волей-неволей, уступить ему поле брани. И впрямь им казалось, что это не человек, а дьявол, явившийся из преисподней, чтобы похитить тело, лежащее на дрогах.

Взирая на все это, Санчо только дивился смелости своего господина и думал: "Видно, и в самом деле сеньор мой так отважен и силен, как говорит". Возле всадника, сброшенного мулом, валялся на земле горящий факел, при свете которого Дон Кихот заметил лежащего. Подъехав к нему, он приставил к его лицу конец своего копьеца и повелел, под угрозой смерти, сдаться, на что тот ответил:

– Я уже больше чем сдался, потому что сломал ногу и не могу двинуться с места. Умоляю вашу милость, если вы добрый христианин, не убивайте меня, потому что я лиценциат и уже принял духовное звание.

– Так какой же дьявол, – воскликнул Дон Кихот, – заставил вас, духовное лицо, впутаться в эту историю?

– Кто меня впутал в нее? – отвечал поверженный. – Моя злая судьба.

– Еще худшая постигнет вас, – сказал Дон Кихот, – если вы не ответите мне толком на вопрос, который я вам с самого начала задал.

– Охотно удовлетворю вашу милость, – ответил лиценциат. – Итак, позвольте доложить вашей милости, что, хотя я сейчас назвал себя лиценциатом, я на самом деле всего лишь бакалавр[4], по имени Алонсо Лопес, родом из Алькобендас. Я ехал из города Баэсы вместе с теми одиннадцатью священнослужителями, что разбежались с факелами, и мы направлялись в Сеговию, провожая лежащее на этих дрогах тело бедного дворянина, умершего в Баэсе: он сперва там был похоронен, а теперь мы перевозим его останки в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом[5].

– Кто же убил его? – спросил Дон Кихот.

– Бог, с помощью гнилой горячки, унесшей его в могилу.

– Если так, – сказал Дон Кихот, – то Господь избавил меня от труда мстить за этого человека, в смерти которого никто не повинен. Раз он умер по воле пославшего ему смерть, мне остается только развести руками, как если бы это самое постигло меня самого. Должен вам сказать, ваше преподобие, что я рыцарь из Ламанчи, по имени Дон Кихот, и занятие мое и назначение – странствовать по свету в поисках приключений, всюду чиня правый суд и карая злодеяния.

– Уж не знаю, – промолвил бакалавр, – как это вы чините правый суд, а только ногу мою вы так починили, что она до конца жизни моей не выправится, и благодеяния вашего я ввек не забуду. Поистине, приключение это оказалось для меня великим злоключением.

– Не всегда так делается, как мы хотим, – ответил Дон Кихот. – Вся беда в том, сеньор бакалавр, что вас угораздило выехать на большую дорогу ночью, в каких-то рясах, с зажженными факелами, обрядившись в траур, с невнятным бормотаньем, вроде каких-то выходцев с того света. Естественно, что я не мог не напасть на вас, исполняя свою обязанность. Я бы сделал это, если бы даже вы и впрямь оказались полчищем демонов, каким вы мне до последней минуты представлялись.

– Видно, мне это было на роду написано, – сказал бакалавр. – Но, по крайней мере, сеньор странствующий рыцарь, раз уж вы причинили мне такую беду, то теперь, прошу вас, помогите мне выбраться из-под мула, потому что ногу мою, запутавшуюся в стремени, прищемило седлом.

– Вот чудак! – вскричал Дон Кихот. – Так чего же вы мне раньше этого не сказали?

Он тотчас кликнул Санчо. Тот, однако, заставил себя подождать, занятый разгрузкой вьючного мула, который, изрядно нагруженный всякою снедью, шел в обозе этих добрых людей. Устроив из своего плаща мешок и наложив в него столько добра, сколько ему удалось захватить и вместить туда, Санчо навьючил всем этим осла и только после этого явился на зов своего господина. Он помог ему вытащить сеньора бакалавра из-под мула, а затем, усадив беднягу в седло, вложил ему в руки факел, после чего Дон Кихот предложил ему отпра-

виться вдогонку за своими спутниками и передать им его извинения за невольную обиду, которую он вынужден был им нанести. А Санчо при этом прибавил:

– Если бы эти сеньоры пожелали узнать, кто тот храбрец, который так ловко с ними расправился, скажите им, ваша милость, что это знаменитый Дон Кихот Ламанчский, по прозванию Рыцарь Печального Образа[6].

Когда бакалавр отъехал[7], Дон Кихот спросил Санчо, почему это ему вздумалось вдруг назвать его Рыцарем Печального Образа.

– Сейчас я вам объясню, – ответил Санчо. – Как посмотрел я на вас с минутку при свете факела, который увозит теперь этот несчастный, так и показалось мне, что вид у вас, правду сказать, такой жалостный, какого я раньше еще никогда не видел. Должно быть это оттого, что вас очень утомило сражение, а может быть, это от потери зубов.

– Вовсе не это тому причиной, – сказал Дон Кихот, – а скорее всего то, что мудрец, которому предназначено написать историю моих подвигов, нашел, должно быть, уместным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище, как все рыцари былых времен: один звался[8] Рыцарем Пламенного Меча, другой – Единорога, этот – Рыцарем Дев, тот – Феникса или Грифа или еще Рыцарем Смерти, и под этими прозвищами и именами стали они известны на всем земном шаре. Так вот я и думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня Рыцарем Печального Образа. Отныне я принимаю это имя и, чтобы закрепить его за собой, при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите весьма печальное лицо.

– Незачем тратить на это время и деньги, – сказал Санчо. – Довольно вам открыть свое лицо да показать его всем желающим, и каждый, без всяких изображений на щите, сразу же назовет вас Рыцарем Печального Образа, – уж можете на меня положиться. Уверяю вас, сеньор, – не обессудьте за шутку, – голод и выбитые зубы так украсили ваше лицо, что, повторяю, вы вполне можете обойтись без печального рисунка.

Дон Кихот улыбнулся на эту любезность Санчо, но все же решил принять новое прозвище и украсить свой щит придуманным им изображением.

– Сдается мне, Санчо, – заметил Дон Кихот, – что я, чего доброго, подлежу отлучению от церкви за то, что поднял руку на священнослужителя: juxta illud: si quis suadente diabolo etc[9], хотя, по правде сказать, я поднял на него не руку, а вот это копьецо. А кроме того, я думал, что нападаю вовсе не на священников и духовных лиц, которых я весьма чту и уважаю, как добрый католик, а на каких-то чудищ, выходцев с того света. Но если бы и действительно было так, то мне весьма понятен случай с Сидом Руй Диасом[10], когда он сломал стул одного королевского посла в присутствии его святейшества папы, за что тот и отлучил его от церкви. И все же славный Родриго де Вивар поступил в тот день как достойный и благородный рыцарь.

Услышав это, бакалавр удалился, как мы уже сказали, не промолвив ни слова, а Дон Кихот захотел проверить, действительно ли на дрогах лежит человеческое тело. Санчо, однако, отговорил его от этого.

– Сеньор, – сказал он, – это опасное приключение окончилось для вашей милости более счастливо, чем все прежние. Но люди, побежденные вами и обращенные в бегство, могут, пожалуй, спохватиться, что их победил всего лишь один человек. И теперь, устыдившись и рассердившись, они еще способны, пожалуй, вернуться и задать нам трепку. Осел мой в полном порядке, горы близко, голод дает себя чувствовать, – так не лучше ли нам резвой рысцой удалиться отсюда? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой к караваю![11]

И, схватив осла за узду, он предложил своему господину последовать за ним, и тот, сознавая, что Санчо прав, двинулся в путь без всяких возражений. Миновав два холма, между которыми пробегала дорога, они вскоре выехали на просторную, со всех сторон закрытую лужайку, на которой оба они спешились. Санчо разгрузил своего осла, после чего, растянувшись на зеленой травке, рыцарь и оруженосец, в подтверждение правила, что лучший повар – голод, сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки множеством холодных закусок, которые господа церковники (редко о себе забывающие) везли на муле в своем обозе. Но тут явилась новая беда, для Санчо худшая из всех, именно: у них не оказалось не только вина, но даже воды, чтобы промочить себе горло. Тогда терзаемый жаждой Санчо, заметив, что лужайка, на которой они находились, покрыта мелкой свежей травой, сказал, – а что именно, мы узнаем из следующей главы.

ГЛАВА XX

о невиданном и неслыханном подвиге,
какого ни один знаменитый рыцарь на свете
не совершал с меньшей для себя опасностью,
чем совершил его доблестный Дон Кихот Ламанчский

– Ясное дело, сеньор: эта трава свидетельствует о том, что неподалеку должен находиться какой-нибудь источник или ручей, питающий ее своей влагой; а потому пройдемте-ка немного дальше, и нам, наверное, посчастливится утолить эту ужасную жажду, которая, по правде сказать, мучит хуже всего.

Совет понравился Дон Кихоту; он взял Росинанта за узду, Санчо схватил за недоуздок осла, предварительно нагрузив на него все остатки от ужина, и они пошли по лугу наугад, так как тьма ночи мешала им что-либо видеть. Но не успели они сделать и двухсот шагов, как до слуха их долетел сильный шум потока, падавшего, казалось, с огромных и высоких утесов. Шум этот чрезвычайно их обрадовал. Они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он доносится, но тут они вдруг различили новый грохот, и он помешал их удовольствию, особенно же Санчо, который от природы был труслив и малодушен. В самом деле, они услышали какие-то равномерные удары и словно лязг железа и цепей. Звуки эти, сливаясь с яростным гулом потока, способны были вселить

ужас в сердце всякого[1], но только не Дон Кихота. Как мы уже сказали, ночь была темная, а они случайно проходили под деревьями, листья которых, колеблемые нежным ветерком, шелестели тихо и жутко. Все это, вместе взятое, – уединенная местность, темнота, шум воды, шелест листьев – невольно нагоняло страх. Но ужас их еще более возрос, когда они убедились, что удары не прекращаются, ветер не ослабевает и утро все не приходит; а вдобавок еще им было неизвестно, где они находились. Но Дон Кихот, влекомый своей бесстрашной отвагой, вскочил на Росинанта, схватил щит, взял копьецо наперевес и сказал Санчо:

– Друг Санчо, ты должен знать, что небу угодно было произвести меня на свет в наш железный век, чтобы я воскресил век золотой, или, как иные выражаются, позолоченный. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Я тот, повторяю, кому надлежит воскресить рыцарей Круглого Стола, двенадцать пэров Франции, девять мужей Славы[2], затмив собой всех Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов и Бельянисов и все полчища знаменитых странствующих рыцарей минувших времен, ибо на веку своем я совершу столько великих и удивительных боевых подвигов, что перед ними померкнут самые славные их деяния. Заметь, мой верный и преданный оруженосец, как беспросветна ночь, как необычно безмолвие, как глухо и невнятно лепечут листья, как жутко шумит поток, на поиски которого мы отправились и который словно падает и низвергается с высоких Лунных гор[3], как беспрестанные удары поражают и терзают наш слух. Все эти явления, вместе взятые и каждое в отдельности, способны заронить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем более тех, кто не привык к подобным встречам и приключениям! Однако все эти описанные мною ужасы только пробуждают и воспламеняют мою отвагу, и мое сердце готово выпрыгнуть из груди – до того жажду я броситься в это приключение, каким бы трудным оно ни представлялось. Поэтому подтяни немного подпруги у Росинанта, и да хранит тебя Бог! Жди меня здесь три дня, не больше, и если в этот срок я не вернусь, ты можешь возвратиться в деревню, а оттуда, сделай милость, окажи мне услугу – сходи в Тобосо и передай несравненной госпоже моей Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, желая совершить подвиг, который сделал бы его достойным называться ее слугой.

Выслушав слова своего господина, Санчо так растрогался, что начал плакать и сказал:

– Не понимаю, сеньор, почему вам вздумалось пускаться в это ужасное приключение: теперь ночь на дворе, никто нас здесь не видит, и мы отлично могли бы свернуть в сторону и уклониться от опасности, хотя бы нам пришлось не пить целых трое суток. И раз никто этого не видит, так никто нас и не сочтет трусами, тем более, что наш деревенский священник, которого ваша милость отлично знает, не раз, мне помнится, говорил на проповеди: кто лезет в опасность, тот в ней и погибает[4]. Поэтому не следует испытывать Господа, пускаясь в безрассудные предприятия, в которых можно уцелеть только чудом: довольно с вас и того, что Небо спасло вашу милость от подбрасыванья на одеяле, ко-

торому мне пришлось подвергнуться, и позволило вам выйти победителем, свободным и невредимым, из толпы неприятелей, сопровождавших покойника. Если же все это не трогает и не смягчает вашего сурового сердца, так пусть его тронет вот что: знайте и будьте уверены, что не успеете вы меня здесь оставить, как я от страха тут же отдам свою душу первому, кто только попросит. Я покинул родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости, надеясь на этом деле не потерять, а выиграть; но, как говорится, жадность рвет мешок: она сгубила все мои надежды, ибо в ту самую минуту, когда я особенно горячо надеялся получить проклятый, злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала, вы вместо этого желаете бросить меня в этом месте, столь удаленном от всякого человеческого жилья. Во имя самого Бога, сеньор мой, не причиняйте мне такого огорчения; и раз ваша милость не согласна совсем отказаться от этого предприятия, то отложите его хоть до утра. Ведь если только наука, которую я изучил, будучи пастухом, меня не обманывает, до рассвета остается не более трех часов, ибо пасть Малой Медведицы приходится[5] как раз над нашими головами, и по линии ее левой лапы видно, что теперь полночь.

– Как ты можешь видеть, Санчо, – спросил Дон Кихот, – где проходит эта линия и где находится пасть или затылок, о которых ты толкуешь? Ведь ночь так темна, что на небе нельзя разглядеть ни одной звезды.

– Это-то верно, – ответил Санчо, – но у страха много глаз, и он видит то, что под землей, а тем более то, что на небе; а впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко.

– Пускай себе он наступает, когда ему вздумается, – ответил Дон Кихот, – а только про меня ни сейчас, ни в будущем никто не скажет, что чьи-либо слезы и мольбы удержали меня от исполнения рыцарского долга. И потому прошу тебя, Санчо, замолчи: Господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это невиданное и страшное приключение, позаботится о моем здравии и утешит твою печаль. От тебя же требуется только, чтобы ты подтянул подпруги Росинанта и дожидался меня здесь: а я скоро вернусь, живой или мертвый.

Увидев, что решение его господина бесповоротно и что все его слезы, советы и мольбы бессильны, Санчо решил пуститься на хитрость и постараться задержать Дон Кихота до утра. Поэтому, подтягивая подпруги Росинанта, он ловко и незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла таким образом, что, когда Дон Кихот вскочил на коня, он не мог сдвинуться с места, ибо Росинант передвигался только скачками. Убедившись, что выдумка его удалась, Санчо Панса сказал:

– Вот видите, сеньор, небо, сжалившись над моими слезами и просьбами, устроило так, что Росинант не может двигаться; если же вы станете упорствовать, пришпоривать и бить его, то вы этим бросите вызов судьбе и будете, как говорится, лягать гвозди копытом.

Дон Кихот приходил в отчаянье: чем больше он шпорил коня, тем меньше ему удавалось сдвинуть его с места. Не догадываясь, что у Росинанта спутаны

ноги, он решил покориться и дождаться либо рассвета, либо той минуты, когда конь его тронется в путь. Твердо уверенный, что беда эта вызвана какой-то другой причиной, а отнюдь не хитростью Санчо, он сказал:

– Что же делать, Санчо! Раз Росинант не может двигаться, придется подождать, пока не засмеется на небе заря, хоть я и оплакиваю медленность ее прихода.

– Плакать тут нечего, – ответил Санчо, – я развлеку вашу милость и до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам не угодно спешиться и немножко вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей, чтобы, когда наступит день и час предстоящего вам несравненного приключения, вы почувствовали себя бодрее.

– Кому предлагаешь ты спешиться и вздремнуть? – возразил Дон Кихот. – Неужели ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые отдыхают во время опасности? Спи сам, – ты для того родился, чтобы спать, – или делай, что тебе вздумается, а я буду делать то, что, на мой взгляд, более сообразуется с моим призванием.

– Не гневайтесь, ваша милость, сеньор мой, – ответил Санчо, – я это только так, к слову сказал.

И, подойдя к своему господину, он положил одну руку на переднюю луку седла, другую на заднюю и прижался к левому бедру Дон Кихота, боясь отдалиться от него хотя бы на один палец: так устрашали его мерные удары, беспрерывно до них доносившиеся. Дон Кихот попросил его исполнить обещание и рассказать ему для развлечения какую-нибудь историю; на что Санчо Панса ответил, что он бы охотно это сделал, если бы его не пугал этот грохот.

– Но все же я постараюсь рассказать вам одну историю, и, если только мне удастся ее кончить и никто мне не помешает, вы увидите, что лучшей истории нет на свете. Слушайте же внимательно, ваша милость, я начинаю. Итак, что было, то было; коль что доброе случится[6], пускай оно будет для всех, а коль злое что – для того, кто сам его ищет. И заметьте, ваша милость, сеньор мой, что древние начинали свои сказки не как попало, а непременно с изречения Катона Цонзорина римского[7], которое гласит: "А злое – для того, кто сам его ищет". Эти самые слова к нам подходят, как кольцо к пальцу: сидели бы вы, ваша милость, смирно и не бродили бы в поисках за злом! Не лучше ль нам вернуться по другой дороге, раз никто нас не заставляет идти именно по этой, где со всех сторон на нас лезут всякие ужасы?

– Продолжай свой рассказ, Санчо, – сказал Дон Кихот, – а по какой дороге нам ехать – это уж предоставь мне.

– Продолжаю, – отвечал Санчо. – Итак, в одном местечке Эстремадуры жил козий пастух, иначе говоря, козопас, и этого козьего пастуха, или козопаса, как рассказывается в моей истории, звали Лопе Руис, и этот самый Лопе Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральба, и эта пастушка, по имени Торральба, была дочерью одного богатого скотовода, а этот богатый скотовод...

– Если ты таким способом будешь рассказывать свою историю, Санчо, – перебил Дон Кихот, – и повторять по два раза каждое слово, так ты ее в два дня не кончишь: рассказывай связно и толково, как разумный человек, а нет – так замолчи.

– Да я рассказываю точь-в-точь так, – ответил Санчо, – как рассказывают эти сказки у нас в деревне; иначе рассказывать я не умею, да вашей милости и не следует требовать, чтобы я вводил новые обычаи.

– Ну, рассказывай, как умеешь, – сказал Дон Кихот, – и продолжай, раз уж мне суждено тебя слушать.

– Так вот, дорогой сеньор мой, – продолжал Санчо, – этот пастух, как я уже вам докладывал, был влюблен в пастушку Торральбу, а была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину, так как у нее росли усики, – как сейчас ее перед собой вижу.

– Да разве ты ее знал? – спросил Дон Кихот.

– Я-то ее не знал, – ответил Санчо, – но человек, который мне эту историю рассказывал, уверял, что все это быль и чистая правда и что, когда я стану рассказывать ее кому-нибудь другому, то могу свободно утверждать и клясться, что сам все видел собственными глазами. Так вот, время себе шло да шло, а дьявол, который, как известно, не дремлет и всюду пакостит, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Говорили злые языки, что случилось это потому, что она давала ему множество всяких поводов к ревности, не зная иной раз меры и преступая пределы дозволенного. И с этой поры пастух до того ее невзлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы и духу ее не было. А Торральба, как только приметила, что он ею брезгует, влюбилась в него так, как никогда раньше его не любила.

– Таково природное свойство женщин, – сказал Дон Кихот, – отвергать тех, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай, Санчо.

– Случилось так, что пастух привел свое решение в действие и, забрав своих коз, отправился по полям Эстремадуры в сторону Португальского королевства. Узнав об этом, Торральба устремилась за ним следом и долго шла так пешком, босая, с посохом в руках и с котомкой за плечами, а в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими-то притираниями: ну, да это не важно, что там было, я вовсе не собираюсь сейчас все это проверять, а скажу только, что, как рассказывают, наш пастух вместе со своим стадом подошел к реке Гвадиане, – а в ту пору было половодье, и река почти выступила из берегов, и в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота, и некому было переправить ни его, ни стадо. Сильно это его расстроило, так как он видел, что Торральба уже приближается и примется сейчас ему надоедать своими мольбами и слезами. Стал он поглядывать по сторонам и, наконец, завидел рыбака в такой маленькой лодочке, что поместиться в ней мог только один человек и одна коза. Делать, однако, было нечего: он поговорил с рыбаком и условился, что тот переправит и его и всех его триста коз. Рыбак сел в

лодку и перевез одну козу, потом вернулся и перевез вторую, потом опять вернулся и перевез третью… Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что, если вы хоть на одну ошибетесь, история моя тут же и кончится, и я уж больше не смогу прибавить ни слова. Итак, я продолжаю: противоположный берег был топкий и скользкий, так что на каждый переезд рыбаку приходилось тратить много времени. Он все-таки перевез еще одну козу, потом еще одну, и еще одну…

– Скажи сразу, что он перевез их всех, – сказал Дон Кихот, – и довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, а то ты этак и в год их не переправишь.

– А сколько их было до сих пор переправлено? – спросил Санчо.

– А черт их знает, – ответил Дон Кихот.

– Что я говорил то и вышло: вот вы и сбились в счете. Видит Бог, тут история моя кончена, и продолжения больше не будет.

– Да как же это возможно? – возразил Дон Кихот. – Неужели это так важно для твоей истории – знать в точности, сколько коз было перевезено, и неужели, если при счете пропустишь хоть одну из них, то ты уж не можешь продолжать рассказ?

– Нет, сеньор, никоим образом, – ответил Санчо, – потому что в ту минуту, как я попросил вашу милость сказать мне, сколько коз было переправлено, а вы мне ответили, что не знаете, у меня сразу же вылетело из памяти все, что еще оставалось вам рассказать, – а, ей-Богу, продолжение было весьма интересное и занимательное.

– Значит, – спросил Дон Кихот, – история твоя кончилась?

– Да, скончалась, как моя покойная матушка, – ответил Санчо.

– Скажу тебе по правде, – продолжал Дон Кихот, – ты рассказал мне одну из самых необыкновенных сказок, повестей или историй, которые когда-либо были придуманы на свете, и никто за всю свою жизнь не услышит и не сможет услышать повести, начатой и прерванной таким образом. Впрочем, я ничего другого и не ждал от твоего тонкого ума и нисколько не удивляюсь: должно быть, эти непрерывные удары помутили твой рассудок.

– Все может быть, – ответил Санчо. – Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто-нибудь собьется в счете перевезенных коз.

– Ну и пускай кончается, в добрый час, – сказал Дон Кихот, – а теперь посмотрим, не согласится ли Росинант двинуться с места.

Он снова начал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места: так крепко были у него спутаны ноги.

И тут произошло следующее: оттого ли, что на Санчо подействовал предрассветный холодок, или оттого, что он съел накануне что-нибудь послабляющее, или же, наконец, он просто почувствовал естественную потребность (что, пожалуй, вернее всего), но только вдруг его охватило сильное желание сделать то, чего не мог сделать за него никто другой. Однако столь великий страх вла-

дел его сердцем, что он не отваживался на ноготок отойти от своего господина. А с другой стороны, невозможно было и думать о том, чтобы не удовлетворить свое желание. И вот как он вышел из этого затруднения: он отнял правую руку, которой держался за заднюю луку седла, развязал ею потихоньку, без всякого шума, шнурок, на котором только и держались его штаны, после чего они сразу же упали ему на пятки и обхватили их, как колодки; затем со всей возможной осторожностью поднял рубашку и выставил на воздух оба свои полушария, которые были не малого объема. Когда все это было проделано и Санчо казалось, что главная трудность им преодолена и что он уже почти выпутался из своего тяжкого и мучительного положения, явилось новое затруднение еще похуже: он стал опасаться, что ему не удастся проделать свое дело без шума и треска, и потому стиснул зубы, втянул голову в плечи и изо всех сил старался удержать дыхание. Но, несмотря на все эти старания, ему все-таки не повезло, и под конец он издал негромкий звук, нисколько не походивший на те звуки, которые приводили его в такой ужас. Услышав его, Дон Кихот сказал:

– Что это за звук, Санчо?

– Не знаю, сеньор, – отвечал тот. – Должно быть, еще что-нибудь новенькое: ведь приключения и злоключения приходят все разом.

Затем он снова решил попытать счастье, и все обошлось так благополучно, что он без шума и новых тревог освободился наконец от тяжести, которая столь его угнетала. Но у Дон Кихота обоняние было развито не менее, чем слух, а Санчо стоял совсем рядом, словно пришитый к его боку, так что испарения снизу поднимались к нашему рыцарю почти по прямой линии; поэтому не могло не случиться, что кое-что донеслось до носа Дон Кихота, который, почувствовав запах, поспешил себя защитить, зажав нос пальцами, и, немного гнусавя, сказал Санчо:

– Сдается мне, Санчо, что ты сильно струсил.

– Что струсил – это верно, – ответил Санчо, – а только почему ваша милость заметила это сейчас, а не раньше?

– А потому, что никогда еще от тебя не пахло так сильно, как сейчас, и притом совсем не амброй, – ответил Дон Кихот.

– Это вполне возможно, – сказал Санчо, – только виноват в этом не я, а ваша милость: зачем вы таскаете меня в неурочное время по непроезжим дорогам?

– Отойди-ка в сторону, дружок, шага на три или на четыре, – сказал Дон Кихот, все еще продолжая зажимать нос пальцами, – и впредь не распускайся и не забывай, что ты должен относиться ко мне с уважением; я слишком свободно с тобой разговариваю, и это толкает тебя на непочтительность.

– Бьюсь об заклад, – воскликнул Санчо, – ваша милость думает, что я сделал кое-что такое, чего делать не полагается!

– Лучше не трогать того, что ты наделал, друг Санчо, – ответил Дон Кихот.

В этих и подобных беседах господин и слуга скоротали ночь; и когда Санчо увидел, что вот-вот наступит день, он украдкой распутал Росинанту ноги и завя-

зал себе штаны. Хоть Росинант по природе своей никогда не был прытким конем, но тут, почуяв себя свободным, он как будто обрадовался и задергал головой: курбетов он не делал, ибо, не в обиду ему будь сказано, делать их не умел. А Дон Кихот, увидя, что Росинант зашевелился, счел это добрым предзнаменованием и решил, что оно призывает его на свершение грозного подвига. Тем временем совсем рассвело и, когда все вокруг стало ясно видно, Дон Кихот убедился, что находится под высокими каштанами, которые отбрасывают очень густую тень. Он слышал, что удары все еще не прекращаются, но откуда они исходят, ему не было видно, – и поэтому, не медля долее, он вонзил шпоры в бока Росинанта и, вторично попрощавшись с Санчо, как и в первый раз, велел ему ждать его самое большее три дня; если же через три дня он не вернется, то это должно означать, что Богу было угодно пресечь его дни в этом опасном приключении. Затем он повторил Санчо то, что тот должен доложить и сообщить от его имени сеньоре Дульсинее, и просил его не беспокоиться относительно вознаграждения за труды, ибо перед отъездом из дома он составил свое завещание, согласно которому Санчо будет сполна уплачено жалованье за все прослуженное им время; если же Господь сохранит его среди опасностей здравым, целым и невредимым, Санчо может считать получение обещанного ему острова вполне обеспеченным. Услышав снова жалостные речи своего доброго господина, Санчо снова заплакал и решил не покидать его до самого конца и завершения его предприятия. (Из этих слез и столь великодушного решения Санчо Пансы автор этой истории заключает, что был он не низкого происхождения и уж во всяком случае принадлежал к старинному христианскому роду).

Сочувствие Санчо весьма растрогало его господина, но все же не настолько, чтобы заставить его проявить какую-нибудь слабость духа; напротив, он сделал усилие, чтобы скрыть свое душевное состояние, и направился в ту сторону, откуда, как ему казалось, доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению таща на уздечке за собой осла – вечного своего спутника в счастье и в горе. Пройдя порядочное расстояние под тенью каштанов и других развесистых деревьев, они вышли на лужок, расположенный у подножья высоких скал, с вершины которых низвергался громадный водопад. Под этими скалами находилось несколько убогих хижин, которые походили не столько на дома, сколько на развалины каких-то построек, – и теперь стало ясно, что шум и гул все еще не прекращавшихся ударов исходили именно оттуда. Росинант испугался грохота водопада и ударов, но Дон Кихот, успокоив его, стал понемногу приближаться к хижинам, от всего сердца поручив себя своей госпоже, с мольбой поддержать его в этом грозном предприятии, а попутно попросив также Господа Бога не забыть его. Санчо не отставал от него, изо всех сил вытягивая шею и вглядываясь через ноги Росинанта, в надежде увидеть наконец то, что внушало ему такой страх и трепет. Они прошли шагов сто, обогнули выступ скалы, и тут внезапно открылась им воочию причина того жуткого и устрашающего шума, который всю ночь держал их в страхе и тревоге: это было не что иное (не сердись и не обижайся, чита-

тель!), как шесть молотов сукновальни, которые своими попеременными ударами производили этот грохот.

Увидев это, Дон Кихот онемел и окаменел с головы до пят. Санчо взглянул на него и увидел, что господин его понурил голову с видом крайне смущенным, а Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надуты, что его душит смех и что по всем признакам он готов лопнуть от хохота. Как ни сильна была его меланхолия, посмотрев на Санчо, он рассмеялся; а Санчо, как только увидел, что господин его смеется, разразился таким хохотом, что ему пришлось подпереть бока кулаками, чтобы от смеха не треснуть пополам. Раза четыре он успокаивался и снова принимался хохотать с неменьшим увлечением, так что Дон Кихот готов был послать себя ко всем чертям; но еще пуще рассердился он, когда Санчо в насмешку заговорил:

– "Ты должен знать, друг Санчо, что Небу было угодно произвести меня на свет в наш железный век, чтобы я воскресил в нем век позолоченный или золотой. Я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги..."

И, продолжая в таком роде, Санчо повторил почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда впервые услышали они эти страшные удары. Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот обиделся и так рассердился, что поднял свое копьецо и раза два со всего размаху ударил беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись Санчо не по спине, а по голове, Дон Кихот мог бы более не беспокоиться об уплате ему жалованья, разве только он захотел бы выплатить его наследникам. Но тут Санчо, увидев, что шутки его ни к чему хорошему не ведут, и испугавшись, как бы его господин не продолжил начатого, сказал с великим смирением:

– Успокойтесь, ваша милость: клянусь Богом, я только пошутил.

– Потому-то я и не шучу, что вы шутите[8], – ответил Дон Кихот. – Подойдите-ка сюда, господин шутник. Если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-либо другое опасное приключение, – неужели вам кажется, что я не проявил бы достаточно мужества, чтобы начать и закончить это дело? Неужели я, рыцарь, обязан разбираться в звуках и определять, валяльные это молоты или что другое? Тем более, что, говоря по правде, я в жизни своей никогда их не видывал, тогда как вы, презренный мужичина, родились и выросли среди подобных предметов. Нет, вы лучше сделайте так, чтобы эти шесть молотов превратились в шесть великанов и чтобы они по очереди или вместе полезли прямо на меня: если они не полетят вверх тормашками на воздух, – вот тогда издевайтесь надо мной, сколько вам захочется.

– Полноте, сеньор мой, – сказал Санчо, – каюсь, что, желая пошутить, я хватил через край. Ну, а теперь, когда мы помирились (и дай Бог, чтобы из всех будущих приключений вы вышли столь же здравым и невредимым, как вышли из этого), скажите мне, ваша милость: разве это не смешно и разве не стоит потом рассказывать, как здорово мы с вами перетрусили? По крайней мере, как перетрусил я, – что же касается вашей милости, то ведь мне известно, что вы не знаете и не понимаете, что это за штука – страх и боязнь.

– Я вовсе не отрицаю, – ответил Дон Кихот, – что случившееся с нами достойно смеха; но рассказывать об этом отнюдь не следует, ибо не все люди достаточно умны, чтобы понять вещи правильно.

– Во всяком случае, – ответил Санчо, – копьецом ваша милость действует правильно: вы целили мне в голову и попали в спину только благодаря Господу Богу и ловкости, с которой мне удалось отскочить в сторону. Ну да ладно, стерпится-слюбится, – недаром говорит пословица: кто крепко любит, тот крепко бьет. А знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же жалуют ему новые штаны; вот только не знаю, что жалуют своим слугам странствующие рыцари, после того как их отлупят: уж не следуют ли у них за ударами острова или какие-нибудь королевства на суше?

– Что же, судьба может повернуть дело так, что все твои слова окажутся чистой правдой, – сказал Дон Кихот. – Прости мне то, что случилось, ибо ты человек рассудительный и знаешь, что мы не властны в наших первых движениях. А на будущее время это тебе будет предупреждением: остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной, – ибо, хоть я прочел несметное количество рыцарских романов, ни в одном из них я не встречал, чтобы оруженосец так много разговаривал со своим господином, как ты со мной. И право, я считаю, что в этом мы оба сильно виноваты: ты виноват в том, что недостаточно меня уважаешь, а я в том, что не требую от тебя большего почтения. Например, Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского, хоть и был он графом Сухопутного острова[9], а, если верить истории, разговаривал со своим господином не иначе, как склонив голову, держа шапку в руках и согнувшись вдвое more turquesco. А о Гасабале, оруженосце дона Галаора, и говорить не приходится: он был так молчалив, что автор этой великой и истинной истории только один раз называет его по имени[10], и то только с целью отметить его удивительную добродетель – молчаливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен сделать вывод: надо помнить разницу между господином и слугой, сеньором и холопом, рыцарем и оруженосцем. А потому, начиная с нынешнего дня, мы будем относиться друг к другу с большим уважением и оставим всякие дурачества, ибо, если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете, как глиняный горшок в басне. А обещанные милости и награды придут в свое время, а не придут, так все равно, жалованья вы во всяком случае не потеряете, я уже не раз вам это говорил.

– Все это прекрасно, ваша милость, – сказал Санчо. – Но мне хотелось бы знать (ежели почему-либо время для наград так-таки и не наступит и придется мне удовольствоваться одним жалованьем), какое жалованье в старые времена получали оруженосцы странствующих рыцарей и как они нанимались – помесячно или поденно, вроде подмастерьев-каменщиков?

– Мне кажется, – ответил Дон Кихот, – что в те времена оруженосцы никогда не состояли на жалованье, а только получали подарки. И если я упомянул тебя в завещании, которое оставил дома под печатью, так это только потому, что все может случиться: я ведь еще не знаю, какая судьба ждет рыцаря в наши

бедственные времена, и мне бы не хотелось, чтобы из-за какой-нибудь мелочи душа моя мучилась на том свете. Ибо тебе следует знать, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, чем поиски приключений.

– Это истинная правда, – ответил Санчо, – раз достаточно было одного стука валяльных молотов, чтобы смутить и встревожить сердце столь доблестного странствующего рыцаря, как ваша милость. Но вы можете быть вполне уверены, что уж впредь я рта не раскрою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас, как своего природного господина и сеньора.

– И благо тебе будет, – ответил Дон Кихот, – жить на земле, ибо после отца и матери надо почитать своих господ, как если бы они были родителями.

ГЛАВА XXI

в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного шлема Мамбрина, равно как и о других происшествиях, случившихся с нашим непобедимым рыцарем

Тут начал накрапывать дождь, и Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни; но после насмешек своего оруженосца Дон Кихот до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому он свернул направо и выехал на дорогу, похожую на ту, по которой они странствовали накануне. Вскоре Дон Кихот увидел вдали всадника, на голове которого был какой-то предмет, сверкавший как золото; едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал:

– Мне кажется, Санчо, что в каждой пословице есть правда, ибо все эти изречения извлечены из самого опыта – отца всех наук; особенно же справедлива пословица, гласящая: когда одна дверь захлопывается, другая открывается. Говорю я это вот к чему: вчера судьба закрыла перед нами дверь к приключению, которого мы искали, и обманула нас сукновальней, а сегодня она настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому и более верному приключению. Если мне не удастся войти в эту дверь, я сам буду виноват, и уж тогда мне нельзя будет оправдываться незнанием звуков молотов и темнотой ночи. Говорю я это к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам едет человек, у которого на голове шлем Мамбрина, тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть.

– Подумайте, ваша милость, что вы говорите, – ответил Санчо, – а еще больше, что вы делаете! Как бы не оказалось это второй сукновальней, не отваляло бы нас вконец и не отшибло бы нам памороки.

– Черт тебя побери, – вскричал Дон Кихот, – что общего между шлемом и сукновальней?

– Да уж не знаю, – ответил Санчо, – но право, если бы я мог говорить так же свободно, как говорил раньше, я бы, наверное, привел вашей милости такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь.

– Да как же я могу ошибаться, трус и предатель? – возразил Дон Кихот. – Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади и что на голове у него золотой шлем?

– Я вижу и примечаю, – ответил Санчо, – что едет какой-то человек на осле; осел его такой же серой масти, как и мой, а на голове у всадника что-то блестящее.

– Но ведь это и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон Кихот. – Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз: ты увидишь, как, без лишних слов и не теряя времени, я совершу этот подвиг, и шлем, который я так желал иметь, окажется в моих руках.

– Отъехать-то мне не трудно, – ответил Санчо, – а только повторяю: дай Бог, чтоб это оказалось цветочками душицы, а не валяльными молотами.

– Говорил я тебе, братец[1], чтоб ты не смел ни одним словом напоминать мне об этих молотах, – перебил его Дон Кихот, – не то, разрази меня… не хочу только договаривать, – я из тебя всю душу вымолочу.

Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин не привел в исполнение клятву, которая слетела с его уст, как легкое перышко.

А теперь следует рассказать, что это были за шлем, лошадь и всадник, замеченные Дон Кихотом. В этом округе было два села, и одно из них такое маленькое, что в нем не существовало ни аптеки, ни цирюльника, а в другом, расположенном по соседству, имелось и то и другое: и вот, цирюльник из села побольше обслуживал и село поменьше, в котором как раз в это время одному жителю понадобилось побриться, а другому, больному, пустить себе кровь. За этим-то и ехал цирюльник, и вез с собой медный таз, а так как судьбе было угодно, чтобы в пути застиг его дождь, то, не желая, чтобы промокла его шляпа (должно быть, она у него была новенькая), он надел себе на голову таз, который был так старательно вычищен, что блеск его виден был за полмили. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, – а Дон Кихоту сразу почудились и серый в яблоках конь, и рыцарь, и золотой шлем, ибо все, что ему попадалось на глаза, он немедленно приноравливал к своим рыцарским бредням и нелепым фантазиям. Увидев, что бедный всадник уже совсем близко, Дон Кихот, не считая нужным вступать с ним в разговор, со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьецом наперевес, намереваясь проткнуть его насквозь. Подскакав к нему, наш рыцарь, не умеряя галопа своего коня, закричал:

– Защищайся, жалкое созданье, или добровольно отдай мне то, что по праву должно мне принадлежать!

Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник, чтобы уберечься от удара, не нашел ничего лучшего, как шлепнуться с осла наземь; и, едва коснувшись земли, он тотчас же с резвостью оленя вско-

чил на ноги и с таким проворством стал улепетывать по равнине, что и ветер бы его не догнал. Так как таз валялся на земле, Дон Кихот этим удовольствовался и сказал, что язычник поступил благоразумно, последовав примеру бобра, который, настигнутый охотниками[2], отрывает от себя и отгрызает зубами то самое, из-за чего, как подсказывает ему чутье, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо подобрать шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

– А тазик, ей-Богу, недурен: реалов восемь нужно за него заплатить – все до последнего гроша.

Затем он передал его своему господину, который немедленно надел его на голову и стал поворачивать во все стороны, ища забрала. Так и не найдя его, он, наконец, сказал:

– Должно быть, у язычника, по мерке которого был впервые выкован этот знаменитый шишак, была громаднейшая голова, а хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины.

Когда Санчо услышал, что бритвенный таз именуется шишаком, он не мог удержаться от смеха, но тут он вспомнил, как недавно господин его разгневался, и сразу же сдержал свое веселье.

– Ты чему смеешься, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Я смеюсь, – ответил Санчо, – думая о том, какая громадная должна была быть голова у язычника, которому принадлежал этот шлем: ведь он как две капли воды похож на бритвенный таз.

– Знаешь ли, что мне пришло на мысль, Санчо? Этот знаменитый волшебный шлем, должно быть, по необычайной случайности, побывал в руках человека, который его не знал и не мог оценить по достоинству, – и вот он, видя, что шлем этот из чистейшего золота, и не ведая, что творит, расплавил половину его, чтобы на этом поживиться, а из другой половины смастерил то, что, по твоим словам, тебе представляется бритвенным тазом. Ну, да все равно: как бы там ни было, я-то знаю, что это такое, и для меня его превращение не имеет важности. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем, и тогда шлем, сделанный и выкованный богом кузнецов для бога битв[3], не только не будет иметь перед ним преимущества, но даже не сравнится с ним. А до тех пор я буду носить его и в таком виде, ибо все же лучше что-нибудь, чем ничего, тем более, что он вполне может меня защитить от града каменьев.

– Да, конечно, – ответил Санчо, – если только враги не будут метать камни из пращей, как было это в тот раз, при столкновении двух войск, когда они вышибли у вашей милости зубы и разбили жестянку с благословеннейшим питьем, от которого у меня чуть не вырвало все внутренности.

– Я не особенно огорчен его потерей, – ответил Дон Кихот, – ты ведь знаешь, Санчо, что рецепт его я помню наизусть.

– Да и я помню, – ответил Санчо. – Но провались я на этом самом месте, если хоть раз в своей жизни стану его приготовлять или пробовать. Да к тому же я не думаю, чтобы у меня когда-нибудь явилась в нем надобность, так как я постараюсь напрячь все свои пять чувств, чтобы никогда никого не ранить и не

быть раненым. А насчет того, что меня могут еще раз покачать на одеяле, зарекаться не стану: подобные несчастья едва ли можно предупредить, и, когда они случаются, ничего не остается, как втянуть голову в плечи, задержать дыхание, зажмурить глаза и предаться на волю судьбы и одеяла.

– Ты плохой христианин, Санчо, – ответил на это Дон Кихот, – ибо никогда не забываешь обид, которые тебе раз нанесли. Знай, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на пустяки. Разве ты охромел после этого? Или тебе сломали ребро, или проломили голову? Так почему же ты не можешь забыть этой шутки? Ведь, в конце концов, это была шутка и забава, и если бы я смотрел на это дело иначе, я бы уж наверное туда вернулся и, мстя за тебя, наделал бы таких разрушений, каких не учинили греки из-за похищения Елены. Впрочем, если бы Елена жила в наше время или моя Дульсинея во времена Трои, то этой гречанке, наверное, не так легко было бы прославиться своей красотой,

Тут он поднял голову к небу и испустил глубокий вздох. А Санчо сказал:

– Ладно, пусть это будет шуткой, раз мы не можем отомстить по-настоящему, – хоть я и хорошо знаю, какова была эта шутка на деле, как и то знаю, что никогда она у меня не выйдет из памяти, да и спина моя ее не забудет. Ну, да оставим это, а лучше вот что вы мне скажите, ваша милость: что нам делать с этой серой в яблоках лошадью, смахивающей на серого осла и покинутой здесь без призора этим Мартином[4], сброшенным наземь вашей милостью? Судя по тому, что он задал тягу не хуже самого Вильядиего, навряд ли он вернется сюда за своей скотиной. А, клянусь бородой, серый не плох!

– Не в моих правилах, – ответил Дон Кихот, – грабить побежденных мною врагов, да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. И только в том случае, если победитель во время боя потеряет своего коня, ему дозволяется воспользоваться конем побежденного, как законной военной добычей. Поэтому, Санчо, оставь этого коня или осла (как тебе будет угодно), ибо, когда хозяин его увидит, что мы удалились, он вернется и заберет его.

– Богу известно, – сказал Санчо, – как бы мне хотелось взять его себе или, по крайней мере, обменять его на моего: мой-то ведь будет похуже. Очень уж стеснительны рыцарские законы, раз они даже не позволяют одного осла обменять на другого. Ну, а позвольте узнать, упряжь обменять можно?

– Насчет этого я не вполне уверен, – ответил Дон Кихот. – Тут случай сомнительный, а пока я наведу справки, я позволяю тебе обменять, раз у тебя в том крайняя необходимость.

– Уж такая крайняя, – ответил Санчо, – что, будь эта упряжь для меня самого, то и тогда бы я в ней так не нуждался.

И, получив от своего господина разрешение, он тотчас же произвел mutatio caparum[5], разукрасив своего осла так, что тот оказался писаным красавцем. Покончив с этим, они позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе ночной процессии, и напились воды из ручья, протекавшего мимо сукно-

вальни, в сторону которой они не поворачивали и головы: так возненавидели они эту сукновальню за то, что она их ночью напугала.

Когда же наконец рассеялась их меланхолия и прошел гнев, сели они верхом и без определенной дороги (ибо ехать, куда глаза глядят, – вполне в обычае странствующих рыцарей) двинулись в том направлении, какое избрал Росинант, воле которого подчинилась не только воля его хозяина, но и осла, по-братски и по-приятельски всюду шедшего за ним следом. Наконец им удалось выбраться на проезжую дорогу, по которой они и продолжали путь наугад, без определенной цели. И вот, путешествуя таким образом, Санчо сказал своему господину:

– Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного с вами поговорить? С тех пор как вы наложили на меня этот суровый искус молчания, у меня уже прокисло в желудке, по крайней мере, четыре вопроса, а теперь пятый вертится на кончике языка, и мне бы не хотелось, чтобы и он тоже пропал.

– Ну, говори, – ответил Дон Кихот, – только в речах своих будь краток, ибо многословие всегда неприятно.

– Я хотел сказать, сеньор, – начал Санчо, – что вот уже несколько дней я думаю о том, как мало проку и прибыли принесли нам эти странствия. Ваша милость ищет приключений на перекрестках дорог и в местах пустынных, где всех ваших побед и опасных подвигов все равно никто не увидит и не отметит: так они и останутся похороненными в вечном забвении, в великий ущерб и их высокому достоинству, и благим намерениям вашей милости. А потому, сдается мне, было бы лучше, – разве что только ваша милость рассудит иначе, – если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору или другому великому государю, который ведет с кем-нибудь войну; тут-то ваша милость и могла бы обнаружить все свои достоинства – великую силу и еще более великий разум. А когда государь, которому мы будем служить, увидит это, он, конечно, обоих нас вознаградит, каждого по его заслугам, и уж, конечно, найдется там и историк, который запишет на бумаге все деянья вашей милости, чтобы память о них сохранилась вечно. О своих деяниях я не говорю, ибо они никогда не выйдут за пределы должности оруженосца; хотя, должен вам сказать, что, ежели бы существовал такой рыцарский обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои заняли бы не последнее место.

– Ты рассуждаешь неплохо, Санчо, – ответил Дон Кихот. – Но, прежде чем попасть на такую службу, рыцарь должен, в виде испытания, постранствовать по свету в поисках приключений, для того чтобы, отличившись в этом деле, снискать себе известность и славу, так, чтобы этого рыцаря все знали по его делам. И вот, как только прибудет он ко двору какого-нибудь великого монарха и мальчишки увидят, что он въезжает в ворота, – тотчас же все соберутся, окружат его и начнут кричать: "Вот – Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змеи"[6], – называя его тем отличительным именем, которое он уже прославил своими великими деяниями. "Вот тот, – скажут они, – кто победил в поедин-

ке могучего и страшного великана Брокабруна, вот тот, кто рассеял ужасные чары, под властью которых Великий Мамелюк Персии томился целых девятьсот лет". Так, из уст в уста, разнесется молва о его славных подвигах. И вот, на крик мальчишек и всего своего народа, король этого королевства выглянет из окна своего королевского дворца и, увидев нашего рыцаря, тотчас же узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: "Эй вы, мои придворные рыцари, выходите все встречать цвет рыцарства, явившийся к нам". Тут по его приказу все они выйдут, а сам он спустится до середины лестницы, крепко обнимет гостя и, приветствуя, поцелует его в лицо, а потом за руку отведет в покои сеньоры королевы, и наш рыцарь увидит ее сидящей рядом с дочерью – инфантой, а эта последняя окажется одной из самых прекрасных и благонравных девиц, какую только можно найти во всех открытых доселе странах мира. И тут же немедленно случится, что она посмотрит на рыцаря, рыцарь – на нее, и обоим им покажется, что перед ними существо не земное, а небесное, и неизвестно как и почему, оба они попадут в безвыходные любовные сети и запутаются, почувствуют в сердцах своих великую тревогу и не будут знать, что сказать, чтобы открыть друг другу свои чувства и муки. А затем, конечно, рыцаря проведут в какой-нибудь роскошно убранный покой во дворце и там, сняв с него доспехи, набросят ему на плечи богатую пурпурную мантию; и если в полном вооружении он был хорош собой, то в этом наряде он покажется еще лучше. Когда наступит вечер, он сядет ужинать с королем, королевой и инфантой и за столом будет глядеть на нее не отрываясь, тайком от всех присутствующих, и она будет делать то же самое, с такой же осмотрительностью, ибо, как я уже сказал, девица она весьма разумная. А когда все встанут от стола, вдруг неожиданно в двери залы войдет безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дама в сопровождении двух великанов, и она предложит испытание, выдуманное каким-нибудь древним мудрецом: тот, кто на него отважится, будет почитаться лучшим рыцарем на свете.

Тотчас же король предложит всем своим придворным попытать счастье, но они все потерпят полное поражение, и один наш рыцарь выйдет из него с великой честью и славой, что весьма обрадует инфанту, и она будет вполне удовлетворена и рада, что отдала и подарила свои чувства такому достойному лицу. А самое замечательное в этой истории то, что этот король или принц, или кто бы он там ни был, ведет жесточайшую войну с другим, не менее могущественным монархом, и гостящий у него рыцарь, проведя при его дворе несколько дней, попросит разрешения послужить ему на этой войне. Король разрешит ему очень охотно, и рыцарь учтиво поцелует ему руку за оказанную милость. В ту же ночь он будет прощаться со своей дамой инфантой через решетку сада, в который выходят окна ее опочивальни; через эту решетку они уже и раньше много раз беседовали, с ведома и при содействии служанки, которой инфанта вполне доверяет. Он станет вздыхать, она упадет в обморок, служанка принесет воды и будет тревожиться, ибо уже близко утро и честь ее госпожи пострадает, если

они будут застигнуты. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет свои белые руки рыцарю, а он станет целовать их тысячи раз и орошать слезами. Они условятся между собой, как им сообщать друг другу о том, что случится хорошего или плохого, и принцесса станет просить его возвратиться как можно скорее; он клятвенно ей это пообещает и снова примется целовать ей руки и расстанется с ней так трогательно, что будет казаться, что он расстается с жизнью. Потом он пойдет к себе в комнату, бросится на постель и не сможет заснуть от горя разлуки: встанет чуть свет, отправится попрощаться с королем, королевой и инфантой, а когда он попрощается с первыми двумя, ему сообщат, что сеньора принцесса плохо себя чувствует и не может принять его. Рыцарь догадается, что причиной тому – скорбь разлуки; сердце его будет разрываться, и он сделает большое усилие, чтобы не выразить явно свою муку... А служанка-наперсница видит все это и бежит рассказать своей госпоже; та встречает ее вся в слезах и говорит, как мучительно ей не знать, кто такой рыцарь и королевского ли он рода или нет. Служанка уверяет ее, что только человек знатного, королевского рода может обладать такой учтивостью, благородством и доблестью, какими обладает этот рыцарь. Опечаленная принцесса успокаивается и решает утешиться, чтобы не вызвать подозрений у родителей, – и потому через два дня снова появляется на людях. А тем временем рыцарь уже уехал; он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выходит с триумфом из множества битв, возвращается ко двору, встречается в условленном месте со своей повелительницей и сговаривается с ней о том, что он попросит ее руки в награду за свою службу. Король не соглашается на его просьбу, так как не знает, кто он такой; но, несмотря на это, с помощью похищения или другим каким способом рыцарь женится на инфанте, и король впоследствии почитает это великим для себя счастьем, так как узнает, что рыцарь этот – сын могущественного короля, а какого королевства – я не знаю, ибо полагаю, что его нет на карте. Король умирает, инфанта ему наследует, – и вот, коротко говоря, рыцарь становится королем. Тут-то и наступает вре́мя осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших ему достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорей всего на той самой, которая была посредницей в их любовных делах, – и она оказывается дочерью могущественного герцога.

– Этого-то мне и надо, скажу прямо, начистоту! – воскликнул Санчо. – И я уверен, что все так и произойдет, слово в слово, раз ваша милость зовется Рыцарем Печального Образа...

– Можешь в этом не сомневаться, Санчо, – ответил Дон Кихот, – ибо странствующие рыцари восходят и восходили на королевский или императорский престол именно тем способом и по тем ступеням, как я тебе рассказал. Теперь нам остается только разузнать, какой христианский или языческий король ведет войну и имеет красавицу дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться в других местах. Однако мне еще кое-чего не достает; ибо, допустив даже, что най-

дется король, ведущий войну и имеющий красивую дочь, и допустив, что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, – как устроить, чтобы я оказался происходящим из королевского рода или был, по крайней мере, троюродным братом императора? Ведь король не пожелает выдать за меня свою дочь, прежде чем в этом не удостоверится, хотя бы мои славные подвиги заслуживали и большего; и вот, я боюсь, как бы из-за этого недостатка мне не потерять награды, заслуженной доблестью моей руки. Правда, я – из старинного и известного дворянского рода, имею землю и владения и могу за обиды требовать пятьсот суэльдо[7], и возможно даже, что мудрец, который напишет мою историю, так подробно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Ибо должен тебе сказать, Санчо, что знатность на свете приобретается двояким путем: одни ведут и числят свое происхождение от князей и монархов, фамилии которых с течением времени пришли в упадок и сузились, наподобие опрокинутой пирамиды; другие же происходят из низкого рода, потомки которого, поднимаясь со ступени на ступень, сделались наконец, знатными сеньорами. Таким образом, разница между ними та, что одни уже перестали быть тем, кем были, а другие стали тем, кем никогда не были; и очень возможно, что по проверке окажется, что начало моего рода было великое и славное, и тогда, кто бы ни был король, мой будущий тесть, он вполне этим удовлетворится. А если не удовлетворится, то все равно инфанта полюбит меня так сильно, что наперекор воле отца и хотя бы ей было доподлинно известно, что я сын водовоза, она признает меня своим супругом и господином; а если нет, тогда у меня остается еще одно средство: похитить ее и увезти куда мне вздумается, – а уж там время или смерть положат конец гневу ее родителей.

– Тут будет кстати вспомнить, – сказал Санчо, – поговорку людей бессовестных: "не проси добром того, что можешь взять силой", хотя еще больше подойдет здесь другая: "лучше перепрыгнуть через забор, чем кланяться попусту". Говорю я это к тому, что ежели сеньор король, тесть вашей милости, не согласится выдать за вас сеньору инфанту, то нам, как говорит ваша милость, ничего другого не останется, как похитить ее и увезти. Одно только горе: ведь пока вы не помиритесь с королем и не вступите в мирное владение своим королевством, бедному оруженосцу придется только зубы точить на награды, разве только, что служанка-посредница, на которой он женится, последует за инфантой, и в ее обществе он скоротает это печальное время, пока Господь не пошлет ему чего-нибудь лучшего; потому что, думается мне, рыцарь может отдать ему эту девицу в законные супруги нимало не медля.

– А кто ж ему помешает? – сказал Дон Кихот.

– Раз так, – ответил Санчо, – то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.

– Господь да исполнит мое желание и да удовлетворит твои нужды, Санчо, – сказал Дон Кихот. – А кто хочет быть ничтожным, пусть им и остается.

– Дай-то Бог, – сказал Санчо. – Я старый христианин, и, чтобы сделаться графом, мне этого достаточно.

– Этого даже слишком много, – сказал Дон Кихот. – Если бы ты и не был старым христианином, то и это неважно: ведь как только я сделаюсь королем, я возведу тебя в дворянство, – и тебе за это не придется ни платить, ни служить мне. А стал ты графом – вот ты уже и рыцарь, и пускай себе люди говорят, что им угодно, а всяк должен, хочет или не хочет, величать тебя сеньором.

– А что же вы думаете, я не сумею носить *капитул*? – спросил Санчо.

– Ты хочешь сказать *титул*, а не *капитул*? – заметил Дон Кихот.

– Пускай так, – сказал Санчо Панса. – Думаю, что я с ним справлюсь: я уже раз в своей жизни состоял некоторое время сторожем в одном братстве, и платье сторожа было мне так к лицу, что все говорили, что с моей представительностью мне нетрудно сделаться и синдиком братства. А то ли будет, как накину себе на плечи герцогскую мантию и украшусь золотом и жемчугом, на манер иностранного графа? Да я уверен, что со ста миль в округе будут съезжаться, чтобы посмотреть на меня.

– Да, вид у тебя будет отличный, – сказал Дон Кихот, – но только придется тебе частенько брить бороду: очень уж она у тебя густая, клокастая и нечесаная, и, если ты не будешь скоблить ее бритвой, по крайней мере, через день, всякий увидит твое происхождение с расстояния мушкетного выстрела.

– За этим дело не станет, – ответил Санчо, – стоит только нанять цирюльника и держать его при себе на жалованье; а понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.

– А ты откуда знаешь, что за грандами ходят конюшие?

– Я сейчас вам скажу, – ответил Санчо. – Несколько лет тому назад я пробыл с месяц в столице, и там видел я одного сеньора очень маленького роста, хоть и говорили про него, что он очень большой барин[8]. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал на лошади какой-то человек – ну точь-в-точь, как его собственный хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поровняется с тем, а постоянно держится позади него. Мне ответили, что человек верхом – конюший того, что гуляет, и что у грандов такое обыкновение, чтобы их всюду сопровождали конюшие; с той поры я так это крепко запомнил, что уж никогда больше не забывал.

– Да, ты прав, – сказал Дон Кихот, – и ты вполне можешь водить с собой цирюльника. Обычаи не сложились все сразу и не были придуманы одновременно, а потому вполне допустимо, что ты будешь первым графом, разгуливающим в сопровождении своего цирюльника; к тому же, брадобрей – лицо более доверенное, чем человек, седлающий лошадь.

– О цирюльнике я сам позабочусь, – сказал Санчо, – а уж вы, ваша милость, позаботьтесь, чтобы стать королем и произвести меня в графы.

– Я это сделаю, – ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем будет рассказано в следующей главе.

ГЛАВА XXII

о том, как Дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти

Арабский и ламанчский писатель Сид Амет Бененхели рассказывает в своей серьезной, велеречивой, подробной, сладостной и придуманной истории, что, после того как между знаменитым Дон Кихотом Ламанчским и Санчо Пансой произошла беседа, изложенная в конце двадцать первой главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что навстречу им, по той же дороге, по которой они ехали, двигалось пешком человек двенадцать, нанизанных, как четки, на большую железную цепь: она сковывала им шеи, и на руках у них всех были кандалы. Их сопровождало два человека верхом и других два пешком; верховые были вооружены заводными мушкетами, а пешие – пиками и шпагами. Едва увидев их, Санчо сказал:

– Вот цепь каторжников, королевских невольников, которых ведут на галеры.

– Как так невольников? – спросил Дон Кихот. – Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?

– Я этого не говорю, – ответил Санчо, – а хочу сказать, что эти люди за свои преступления приговорены к насильственной службе королю на галерах.

– Одним словом, как бы там ни было, – возразил Дон Кихот, – этих людей тащат, и они идут, подчиняясь насилию, а не по своей доброй воле.

– Именно так, – ответил Санчо.

– А раз так, – продолжал его господин, – тут-то мне и следует исполнить свой долг: уничтожить насилие и пособить и помочь несчастным.

– Заметьте себе, ваша милость, – сказал Санчо, – что правосудие – иначе говоря, сам король – не насилует и не угнетает этих людей, а только наказывает их за преступления.

В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот в самых любезных выражениях попросил конвойных сделать ему милость – сообщить и объяснить причину или причины, по которым они таким образом ведут этих людей. Один из конвойных, сидевший на лошади, ответил, что это – каторжники, люди, принадлежащие его величеству, и что отправляются они на галеры; вот и все, и больше ничего ему знать не полагается.

– А все же мне хотелось бы, – ответил Дон Кихот, – расспросить каждого из них поодиночке о причине его злополучия.

К этим словам он присовокупил столько любезностей, чтобы побудить исполнить его просьбу, что, наконец, второй верховой конвойный сказал:

– Хотя мы и везем при себе отчеты и полную запись приговоров этих несчастных, но теперь не время останавливаться, доставать бумаги и читать; лучше вы сами, ваша милость, подойдите к ним и расспросите: если им захочется, они сами вам расскажут, а захочется им наверно, потому что для этих господчиков нет большего удовольствия, как делать мерзости или рассказывать о них[1].

Получив это разрешение (без которого он свободно бы обошелся), Дон Кихот подъехал к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он попал в такую беду. Тот ответил, что попал в нее потому, что был влюблен.

– Как, всего-навсего за это? – воскликнул Дон Кихот. – Да если всех влюбленных отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы на них грести.

– Ваша милость не про ту любовь говорит, – ответил каторжник. – Моя любовь была такого рода, что влюбился я в корзину, полную белья, и так страстно прижал ее к своей груди, что, если бы правосудие не вырвало ее силой, я бы по сей день не расстался с ней добровольно. Я был пойман с поличным, а потому пытки не понадобилось, и по моему делу вышло решение: влепили мне в спину сто ударов кнутом да впридачу дали три годика *гурап*[2].

– Что значит *гурапы*? – спросил Дон Кихот.

– *Гурапы* – это галеры, – ответил каторжник.

Это был парень лет двадцати четырех, по словам его, родом из Пьедраиты. С тем же вопросом обратился Дон Кихот ко второму, но тот продолжал идти печально и уныло и не ответил ни слова; за него ответил первый:

– Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой, другими словами – певцом и музыкантом.

– Как так? – опять спросил Дон Кихот. – Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?

– Да, сеньор, – ответил каторжник, – ничего не может быть хуже, чем *петь поневоле*[3].

– А я слышал, напротив, – возразил Дон Кихот, – что "кто поет, того беда не берет".

– А вот тут выходит иначе, – сказал каторжник: – кто раз запоет, тот потом всю жизнь не наплачется.

– Ничего не понимаю, – заявил Дон Кихот.

Но тут один из конвойных сказал ему:

– Сеньор кабальеро, на языке этих нечестивцев *петь поневоле* означает признаться на пытке. Этого грешника подвергли пытке, и он признался в своем преступлении, а был он угонщиком, то есть крал всякую скотину; и когда он признался, его приговорили на шесть лет на галеры да вдобавок всыпали ему двести ударов кнутом – они у него уже на спине. Бредет он так задумчиво и печально оттого, что остальные мошенники, идущие вместе с ним, презирают его, поносят, изводят и притесняют за то, что он признался и что у него не хватило духу отпереться. Ибо, говорят они, в *да* столько же букв, столько и в *не*, и что большая выгода для всякого преступника – то, что его жизнь или смерть зависят не от свидетелей или улик, а от собственного языка; и я полагаю, что рассуждают они довольно правильно.

– И я того же мнения, – ответил Дон Кихот.

Затем он подошел к третьему и спросил его о том же, о чем спрашивал первых двух; и тот с живостью и без стеснения ответил:

– Я отправился на пять лет к сеньорам *гурапам* из-за того, что у меня не было десяти дукатов.

– Да я вам с величайшей охотой дам двадцать, чтобы только вызволить вас из беды, – вскричал Дон Кихот.

– Это похоже на человека, – ответил каторжник, – который сидит на корабле посреди моря, и денег у него много, а он помирает с голоду, так как ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что, будь у меня тогда эти двадцать дукатов, что предлагает мне ваша милость, я бы смазал ими перо моего стряпчего и освежил мозги защитника и теперь разгуливал бы себе по площади Сокодовер в Толедо, а не плелся по этой дороге, привязанный к своре, как борзая. Но Господь велик: терпение – и довольно об этом.

Дон Кихот перешел к четвертому: это был человек почтенной наружности, с седой бородой по пояс. Услышав, что его спрашивают, как он сюда попал, он заплакал, не ответив ни слова. Но его толмачом явился пятый каторжник, который сказал:

– Это почтенный человек приговорен на четыре года грести на галерах, а перед тем его прокатили по улицам в парадном виде, верхом на коне.

– Сдается мне, – сказал Санчо Панса, – что, говоря другими словами, возили его на позорище.

– Совершенно верно, – продолжал каторжник, – а вина, за которую так его наказали, состояла в том, что был он ходоком по делам не столько биржевым, сколько любовным. Проще говоря, он был сводником и к тому же еще слегка колдуном.

– Если бы он не был слегка колдуном, – сказал Дон Кихот, – а всего только сводником, ему бы надлежало не грести на галерах, а управлять и командовать ими, ибо ремесло сводника – не пустяк: дело это требует немалого ума и крайне необходимо в благоустроенном государстве. Им следовало бы заниматься только людям самого хорошего происхождения, и над ними вовсе не мешало бы назначить старост и надсмотрщиков, как это водится в других должностях, и чтобы было их строго определенное число, как, например, биржевых ходоков; таким способом было бы возможно устранить множество злоупотреблений, которые происходят оттого, что должность эта и ремесло попадают в руки людей глупых и необразованных, вроде всяких ничего не стоящих бабенок, мальчишек и шалопаев, слишком юных и неопытных, которые в трудный момент, когда необходимо проявить смекалку, проносят ложку мимо рта и не знают, где у них правая рука. Я бы многое еще сказал по этому поводу и изложил бы вам, почему на эту столь необходимую для государства должность следует принимать людей с большим разбором, но для всего этого здесь место неподходящее; я когда-нибудь доложу об этом лицам, от которых зависит все это наладить и исправить. А теперь скажу только, что мне было очень горестно узнать, что человек, убеленный сединами и столь почтенный на вид, подвергается наказанию за сводничество, но огорчение мое исчезло, как только вы прибавили, что он был также и колдуном, – хотя я прекрасно знаю, что никаких колдунов на свете нет

и что никто не может толкать или насиловать нашу волю, как полагают многие простаки; ибо наша воля свободна, и никакие травы или волшебства не могут ее насиловать[4]. Конечно, разные суеверные бабы и продувные обманщики могут варить месива и травы, которыми сводят людей с ума, вбивая им в голову, что снадобья эти заставляют полюбить, – но, как я уже сказал, человеческую волю насиловать невозможно.

– Вы вполне правы, – сказал почтенный старец, – и уверяю вас, сеньор, что ни в каком колдовстве я не повинен, а что я был сводником – не стану отрицать. Но только я никогда не думал, что это плохо, ибо я одного хотел: чтобы все люди на свете наслаждались, жили в мире и спокойствии, не враждуя и не мучаясь; и все эти добрые намерения принесли вот какие плоды: тащат меня в такие места, откуда я уже не надеюсь вернуться, ибо я обременен годами, да к тому же страдаю болезнью мочевого пузыря, от которой не имею ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, и Санчо так разжалобился, что вынул из-за пазухи малый реал[5] и отдал его каторжнику в виде милостыни.

А Дон Кихот перешел к следующему и спросил, в чем состоит его преступление. Этот отвечал гораздо бойчее, чем предыдущий:

– Я попал сюда за то, что слишком усердно забавлялся с моими двумя двоюродными сестрами и другими двумя сестрами, но уже не моими. Забавлялись мы, забавлялись, а кончилось тем, что родственные связи мои так разрослись и запутались, что сам черт в них теперь не разберется. Дело открылось, никто за меня не вступился, денег у меня не было, и я уже решил, что попаду на виселицу. Приговорили меня на шесть лет на галеры, – я спорить не стал: виноват так виноват. Но я молод, жизнь еще впереди, и все как-нибудь еще наладится. Если ваша милость может чем-нибудь помочь нам, несчастным, Господь заплатит вам за это на небе, а мы здесь, на земле, неустанно будем молиться Богу о жизни и здоровье вашей милости, – да пошлет он вам долгую жизнь и доброе здоровье, как вы этого заслуживаете.

Говоривший был одет студентом, и один из конвойных сообщил про него, что он большой краснобай и отличный латинист.

Самый последний был человек лет тридцати, очень привлекательной наружности, хоть и косоглазый. Скован он был не так, как остальные: на ноге у него была длинная цепь, которая обвивала все его тело, а на шее висело два железных ошейника: один был прикреплен к цепи, а другой, называемый "стереги друга" или "подпорка друга", двумя железными палками соединялся у пояса с кандалами[6], которые обхватывали его руки и запястья, запертые на огромный замок, так что он не мог ни поднести рук ко рту, ни, наклонив голову, коснуться их губами. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, чем на других. Конвойный ему ответил:

– А потому, что он один совершил преступлений больше, чем все остальные, вместе взятые; к тому же это такой наглец и пройдоха, что, даже заковав его во все эти цепи, мы все-таки не чувствуем себя уверенными и боимся, как бы он от нас не сбежал.

– Да какие же за ним преступления, – спросил Дон Кихот, – раз его осудили всего-навсего на галеры?

– Осужден он на десять лет, – ответил конвойный, – а это все равно, что гражданская смерть. Достаточно вам сказать, что этот молодчик – знаменитый Хинес де Пасамонте, а иначе еще называют его Хинесильо де Парапилья[7].

– Осторожнее, сеньор комиссар, – заговорил тут каторжник, – бросьте перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а вовсе не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Парапилья, как утверждает ваше благородие. Вы бы лучше о своем роде подумали, – много бы интересного открыли.

– Потише ты, сеньор первосортный разбойник, – ответил комиссар, – не то я заставлю тебя замолчать, хочешь ты там или не хочешь.

– Правду говорят, – ответил тот, – что все в воле Божьей; но придет время, и кое-кто узнает, зовут ли меня Хинесильо де Парапилья или нет.

– Да ведь люди-то зовут тебя так, мошенник? – спросил надсмотрщик.

– Зовут-то зовут, – ответил Хинес, – но я заставлю их так меня не звать, а не то я повыщиплю у них все волосы в тех местах, о которых вслух сказать неудобно. Сеньор кабальеро, если вы собираетесь что-нибудь нам дать, так давайте скорей и отправляйтесь своей дорогой. Надоели нам ваши расспросы о чужих делах; а ежели вам угодно узнать обо мне, так вот: я Хинес де Пасамонте, и жизнеописание свое я написал вот этими самыми пальцами.

– Это он правду говорит, – заметил комиссар. – Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно, – только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил двести реалов.

– Но я ее выкуплю, – сказал Хинес, – хотя бы пришлось заплатить двести дукатов.

– Что ж, она так хороша? – спросил Дон Кихот.

– Так хороша, – ответил Хинес, – что не угнаться за ней "Ласарильо с Тормеса"[8] и всем книжкам в этом роде, которые когда-либо были или будут написаны! Скажу только вашему благородию, что все в ней – правда, и такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.

– А как ее заглавие? – спросил Дон Кихот.

– "Жизнь Хинеса де Пасамонте", – ответил тот.

– И она закончена? – спросил опять Дон Кихот.

– Как же она может быть закончена, – ответил Хинес, – если жизнь моя еще не кончилась? В книге описана вся моя жизнь со дня рождения до того момента, как последний раз попал я на галеры.

– Так, значит, вы уже побывали на галерах? – спросил Дон Кихот.

– Служа богу и королю, я провел на них прошлый раз четыре года и знаю вкус сухарей и плети, – ответил Хинес. – Однако я не очень огорчен, что снова туда отправляюсь: у меня будет досуг закончить книжку; много еще осталось написать, а у работающих на испанских галерах столько свободного времени, что прямо девать некуда[9]. Впрочем, для моих писаний мне не понадобится много времени, ибо я все уже знаю наизусть.

– Ловкий ты парень, – прибавил Дон Кихот.

– И несчастный, – прибавил Хинес, – ибо несчастья всегда преследуют людей с мозгами.

– Несчастья преследуют негодяев, – перебил комиссар.

– Я уже просил вас, сеньор комиссар, – сказал Хинес, – быть поосторожнее. Вам вручили этот жезл не для того, чтобы вы притесняли нас, бедняков, а для того, чтобы привели и доставили нас на место, назначенное королем, а не то, провались я на этом месте... не стану договаривать; и пятнышки, что вы наделали в харчевне, не беспокойтесь, еще отмоются. А посему пусть каждый помалкивает, живет по-хорошему, слова свои выбирает получше, и давайте пойдем дальше: повеселились и довольно.

Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить Пасамонте за его угрозы; но Дон Кихот стал между ними и попросил не бить преступника: что за важность, если у человека с крепко связанными руками чуть-чуть развязался язык? Затем он повернулся к цепи каторжников и сказал:

– Из всего того, что вы мне рассказали, дорогие братья, я ясно понял следующее: хотя вы и наказаны по заслугам, но предстоящее наказание, как видно, не очень вам нравится, и вы идете на галеры весьма неохотно и против собственной воли; и очень возможно, что причиной вашей гибели было у одного – малодушие во время пытки, у другого – недостаток денег, у третьего – отсутствие покровителей, у четвертого – неправедное решение судьи: вот почему не восторжествовала правда, бывшая на вашей стороне. Все эти обстоятельства приходят мне теперь на ум и говорят, убеждают и даже заставляют меня показать вам, с какой целью Господь произвел меня на свет, велел примкнуть к рыцарскому ордену, в котором я ныне состою, и принести обет в том, что я буду защищать обездоленных и угнетенных сильными мира сего. Но я знаю – и это одно из правил благоразумия, – что не следует прибегать к силе там, где все может быть улажено по-хорошему, и потому я сперва спрошу сеньоров конвойных и комиссара, не будет ли им угодно снять с вас цепи и отпустить с миром; ибо всегда найдутся люди, готовые послужить королю и при более благоприятных обстоятельствах, мне же представляется большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными. Тем более, сеньоры конвойные, – прибавил Дон Кихот, – что эти несчастные перед вами ни в чем не провинились. Пусть каждый несет свой грех: есть Бог на небе, и он неусыпно карает за зло и награждает за добро, а честным людям не следует становиться палачами других людей, особенно, если им нет до них никакого дела. Я прошу вас об этом с мягкостью и кротостью, для того чтобы мне было за что вас поблагодарить, если вы исполните мою просьбу: если же вы не исполните ее по доброй воле, – это копье и меч и сила моей руки заставят вас сделать это против вашего желания.

– Что за дурацкая шутка! – воскликнул комиссар. – Посмотрите, до какого вздора он вдруг договорился! Ему желательно, чтобы мы отпустили государственных преступников, как будто в нашей власти их расковать, а он вправе да-

вать нам такие приказания! Ступайте себе подобру-поздорову, ваша милость, да поправьте как следует тазик, что у вас на голове, и не ищите, сеньор, у кота пятой ноги.

– Сами вы кот, скот и мерзавец! – вскричал Дон Кихот и с этими словами набросился на него так стремительно, что тот не успел приготовиться к нападению и повалился наземь, сильно ушибленный ударом копья.

Дон Кихоту повезло, так как именно этот конвойный был вооружен мушкетом. Остальные смутились и растерялись при виде столь неожиданного происшествия; но, придя в себя, верховые схватились за шпаги, а пешие за пики, и все вместе напали на Дон Кихота, поджидавшего их с большим хладнокровием; и, наверное, пришлось бы ему плохо, если бы каторжники, увидев, что им представляется случай выбраться на свободу, не напрягли все свои силы и не стали рвать сковывавшую их цепь. Началось смятение; конвойные не знали, что им делать, кидаться ли на каторжников, которые уже понемногу освобождались, или обороняться от напиравшего на них Дон Кихота, – и в общем никакого толка из этого не выходило. А Санчо тем временем помог Хинесу де Пасамонте сбросить оковы, и тот, оказавшись без цепей и на свободе, подбежал к упавшему комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал по очереди направлять на конвойных то острие шпаги, то дуло мушкета. Но выстрелить ему не пришлось, так как вскоре на поле битвы не осталось ни одного врага: все они бежали от мушкета Пасамонте и от камней, которыми засыпали их другие каторжники. Это обстоятельство весьма опечалило Санчо, так как он решил, что беглецы донесут обо всем Санта Эрмандад, а та забьет в набат и бросится догонять преступников. Он сообщил об этом своему господину и стал убеждать его как можно скорей уйти и углубиться в горные ущелья, находившиеся неподалеку оттуда.

– Хорошо, – ответил Дон Кихот, – я знаю, что нам сейчас нужно делать.

Затем он созвал каторжников, которые беспорядочно разбрелись по сторонам, предварительно ограбив комиссара и оставив его, в чем мать родила; все обступили его кружком, в ожидании приказаний, и Дон Кихот начал так:

– Люди благородные всегда бывают признательны своим благодетелям; ибо ни один грех не гневит Господа больше, чем неблагодарность. Говорю я это к тому, сеньоры, что вы только что на собственном опыте убедились, что я – ваш благодетель; взамен я хочу – и такова моя воля, – чтобы вы возложили себе на плечи цепь, от которой я вас освободил, и немедленно отправились в путь и явились в город Тобосо. Там вы предстанете перед сеньорой Дульсинеей Тобосской и скажете ей, что ее Рыцарь Печального Образа шлет ей привет, и затем во всех подробностях расскажете ей о том славном приключении, которому вы обязаны желанным освобождением. Сделав это, вы можете в добрый час отправляться, куда вам будет угодно.

За всех каторжников ответил Хинес де Пасамонте, сказав так:

– Сеньор спаситель наш, никак невозможно нам исполнить то, что ваша милость нам приказывает, ибо нельзя нам всем вместе ходить по дорогам: мы раз-

делимся, и каждый поодиночке пойдет в свою сторону и постарается запрятаться в самые недра земли, чтобы не попасться в руки Санта Эрмандад, которая, без сомнения, бросится за нами вдогонку. Но ваша милость могла бы сделать вот что – и это было бы справедливо: вместо посещения и приветствия сеньоры Дульсинеи, прикажите нам прочитать известное число Ave Maria и Credo, и мы прочитаем их и помолимся за вашу милость, ибо такое дело выполнимо и днем и ночью, и во время бегства и во время отдыха, и в мире и на войне. Но воображать, будто мы вернемся теперь к нашим котлам египетским[10] то есть к нашей цепи, и пойдем по дороге в Тобосо, – все равно, что думать, будто сейчас ночь, когда на самом деле еще нет десяти часов утра, и просить нас об этом – все равно, что на вязе искать груш.

– Так я клянусь, – вскричал Дон Кихот запальчиво, – дон мерзавец, дон Хинесильо де Парапилья, или как вас там зовут, вы отправитесь туда один с поджатым хвостом и потащите на себе всю цепь.

Пасамонте не особенно был терпелив (к тому же он заметил, что Дон Кихот не в своем уме: ведь выдумал же он такую нелепость, как каторжников отпустить на волю!), а потому, услышав оскорбительные слова нашего рыцаря, он подмигнул своим товарищам, и все они отошли в сторону; и тут на Дон Кихота посыпался такой град камней, что он не успевал прикрываться от них щитом, а бедный Росинант оставался нечувствительным к шпорам, как будто он был сделан из бронзы. Санчо спрятался за спину своего осла и таким способом защитил себя от тучи камней, летевших на них обоих. Как Дон Кихот ни уклонялся от ударов, все же несколько камней попало в него с такой силой, что он свалился на землю; а как только он упал, студент бросился на него, сорвал с его головы таз, раза три или четыре ударил им нашего рыцаря по спине, потом столько же раз трахнул им об землю, так что разбил его почти вдребезги; затем каторжники сняли с него полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хотели стащить чулки, но тут им помешали его поножи. У Санчо отняли они плащ и оставили ему только платье; наконец, поделив между собой остальную военную добычу, они разошлись каждый в свою сторону, заботясь только о том, как бы удрать от грозной Санта Эрмандад, и вовсе не подумав взвалить себе на плечи цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял, задумчиво понуря голову и от времени до времени потряхивая ушами, воображая, вероятно, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело; Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, ибо удары камнями свалили и его; Санчо, лишившийся плаща, трясся от страха перед Санта Эрмандад; а Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно с ним обошлись.

ГЛАВА XXIII

о том, что произошло с знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, иначе говоря – об одном из самых редкостных приключений, о которых рассказывается в этой правдивой истории

Увидев себя в столь плачевном состоянии, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Много раз я слышал, Санчо, что делать добро мужланам – все равно, что лить воду в море. Если бы я поверил твоим словам, я бы избежал этой неприятности; но раз дело сделано, потерпим и постараемся впредь научиться уму-разуму.

– Ваша милость научится уму-разуму, – отвечал Санчо, – когда я сделаюсь турком. Но раз вы говорите, что, если бы вы мне поверили, вы бы избежали этого бедствия, так поверьте мне теперь – и вы избежите еще худшего; ибо, доложу я вам, против Санта Эрмандад не поможет вам все ваше рыцарство; да она всех, что ни на есть, странствующих рыцарей в грош не ставит. Знаете ли, мне уже сдается, что стрелы ее жужжат мимо самых моих ушей[1].

– Ты трус по природе, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Но, чтобы ты не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, на этот раз я последую твоему совету и удалюсь от гнева, которого ты так боишься; но только с условием: ты никогда ни при жизни, ни после смерти никому не скажешь, что я из страха уклонился и удалился от этой опасности, ибо я делаю это только потому, что снисхожу к твоим мольбам. Если же ты скажешь что-либо другое, ты солжешь, – и я отныне и дотоле, и оттоле доныне[2] уличаю тебя во лжи и заявляю, что ты лжешь и солжешь всякий раз, как это подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, ибо при одной мысли, что я удаляюсь и уклоняюсь от опасности, а особенно от этой опасности, которая, пожалуй, может внушить тень страха, я уже готов остаться и один ждать здесь не только святое братство, о котором ты говоришь с ужасом, но и братьев двенадцати колен израилевых, семерых братьев Маккавеев, а также Кастора и Поллукса[3] и всех братьев и братства, какие существуют на свете.

– Сеньор, – отвечал Санчо, – удалиться не значит бежать, а дожидаться врага, когда опасность превосходит все предположения, – это просто безумие; благоразумие велит беречь себя сегодня для завтра и не ставить все на карту в один день. И знайте, что хоть я невежда и деревенщина, а все же я кой-что смыслю в том, что такое разумное поведение, а потому не жалейте, что послушались моего совета: садитесь на Росинанта, если только можете, а не можете, так я вам подсоблю, и поезжайте за мной, ибо смекалка моя мне говорит, что теперь ноги нам нужнее рук.

Дон Кихот, не возразив ни слова, сел на лошадь и последовал за Санчо, восседавшим на осле. Вскоре достигли они Сьерра-Морены, находившейся неподалеку от места их отправления. У Санчо был план перевалить через горы, доб-

раться до Висо или до Альмодóвара дель Кампо и там на несколько дней укрыться в скалах, чтобы в случае погони Санта Эрмандад не могла их отыскать. В этом намерении поддерживало его еще то обстоятельство, что после потасовки с каторжниками у него уцелели все съестные припасы, которые он вез на своем осле, что казалось ему чудом, ибо каторжники перешарили и отобрали все, что могли.

⟨К вечеру добрались они[4] до самой середины Сьерра-Морены, и Санчо предполагал провести там и эту ночь и еще несколько суток, – во всяком случае, просидеть там, пока не иссякнут припасы. Они расположились на ночлег под дубами между двумя скалами. Но роковая судьба, которая, по мнению людей, не знающих света истинной веры, все ведет, образует и направляет, устроила так, что знаменитый плут и вор Хинес де Пасамонте, освободившись от цепей благодаря доблести и безумию Дон Кихота, решил от страха перед Санта Эрмандад (а у него были достаточные основания ее бояться) скрыться в этих горах, и случайно страх привел его еще засветло в то самое место, где спрятались Дон Кихот и Санчо Панса. Тотчас их узнав, он подождал, пока они заснули. И так как злодеи всегда неблагодáрны, необходимость толкает на дела недозволенные, а выгода в настоящем соблазнительнее выгоды в будущем, – по всем этим причинам Хинес, не отличавшийся ни благодарностью, ни благонамеренностью, порешил стащить у Санчо Пансы осла (Росинанта он оставил в покое, так как добыча эта казалась ему не пригодной ни для продажи, ни для заклада). Санчо Панса спал, Хинес украл осла, и еще не рассвело, как он уже удрал так далеко, что и отыскать его было нельзя.

Взошла заря, всей земле принесла радость, а Санчо Пансе – печаль, ибо не было с ним его Серого; и вот заметив пропажу, стал он испускать самые жалобные и скорбные стоны, так что от звуков его голоса проснулся Дон Кихот и услышал такие слова:

– О возлюбленное чадо мое, рожденное в собственном моем доме, забава детей моих, утеха жены моей, зависть соседей моих, о отрада моих трудов, кормилец целой половины моей особы, ибо те двадцать шесть мараведи, что ты в день зарабатывал, составляли половину моего пропитания!

Дон Кихот, услышав этот плач и узнав причину его, по мере сил старался утешить Санчо, прося его запастись терпением и обещая выдать расписку, по которой он сможет получить трех ослов из числа пяти, оставшихся у него дома. Это утешило Санчо; он вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил Дон Кихота за оказанную ему милость.⟩

А тот между тем, как только попал в горы, сразу возликовал, так как места эти показались ему весьма пригодными для поисков приключений. Приходили ему на память чудесные происшествия, случавшиеся со странствующими рыцарями в подобных же пустынных и суровых краях; и так был он опьянен и увлечен этими мыслями, что ехал, позабыв обо всем на свете. А Санчо, почувствовав себя, наконец, в безопасности, думал только о том, как бы насытить свой желудок припасами, оставшимися у них от монашеской поклажи. Так-то плелся он

за своим господином, нагруженный всем тем, что должен был везти его Серый, и только и делал, что вытаскивал куски из мешка и пихал в рот; и, странствуя таким образом, он не дал бы и гроша ни за какое другое приключение.

Внезапно поднял он глаза и увидел, что его господин остановился и старается концом копьеца поднять какой-то сверток, лежащий на земле; он поспешно подошел на тот случай, если понадобится его помощь, и, подойдя, заметил, что Дон Кихот уже держит на кончике копья сумку и привязанный к ней чемодан. Они прогнили наполовину, или, лучше сказать, совсем сгнили и развалились, но были так тяжелы, что Санчо пришлось помочь господину поднять их. Дон Кихот велел ему посмотреть, что находится в чемодане. Санчо проделал это с большим проворством; и хотя чемодан был перевязан цепочкой и заперт на замок, все же Санчо удалось увидеть его содержимое – настолько тот был гнил и поломан: в нем лежало четыре рубашки тонкого голландского полотна и другое щегольское, совсем чистое белье, а в платке было завернуто порядочное количество золотых монет. Увидев их, Санчо воскликнул:

– Благодарение небу, пославшему нам столь выгодное приключение!

Стал он шарить дальше и нашел записную книжку в богатом переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги оставить себе. Санчо поцеловал ему руки, благодаря за подарок, и, вытащив белье из чемодана, переложил его в свой мешок с припасами. Дон Кихот, увидев это, сказал:

– Мне кажется, Санчо, – да иначе и быть не может, – что в горах проходил какой-то заблудившийся путник, и, должно быть, разбойники напали на него и убили, а тело отнесли сюда, чтобы зарыть в укромном месте.

– Не может этого быть, – возразил Санчо, – так как, если бы это были разбойники, они бы не оставили денег.

– Правда твоя, – сказал Дон Кихот, – но тогда я не могу понять и отгадать, что это такое. Подожди, может быть, в этой записной книжке что-нибудь написано, что выведет нас на верный путь и объяснит нам то, что нам хочется знать.

Он раскрыл ее, и первое, что представилось его глазам, был сонет, написанный начерно[5], но очень четким почерком; и, чтобы Санчо тоже мог послушать, он громко прочел следующее:

Иль у Амура мало разуменья,
Иль слишком он жесток, иль боль, чье жало
Меня лютейшей пыткой истерзало, –
Непостижимого происхожденья.

Но раз Амур есть бог, то, без сомненья,
Разумен он, и богу не пристало
Жестоким быть; так в чем тогда начало
Ужасного и милого мученья?

Сказав, что в вас, я бы ошибся, Фили,
Затем, что зло и благо несовместны
И не от неба это мне мытарство,

Одно я знаю, что иду к могиле,
И раз причины мук нам неизвестны,
То было б чудом отыскать лекарство.

– Из этих виршей ничего не узнаешь, – сказал Санчо, – как бы искусно их ни свили, до кончика нитки мы все равно не доищемся[6].

– Как это "свили"? – спросил Дон Кихот.

– А разве ваша милость не сказала "свили"?

– Не "свили", а Фили, – ответил Дон Кихот; – так, вероятно, зовут даму, на которую жалуется автор этого сонета; и, честное слово, он искусный поэт, если я что-нибудь смыслю в поэзии…

– Как, ваша милость и в поэзии толк знает? – спросил Санчо.

– Больше, чем ты предполагаешь, – ответил Дон Кихот. – Ты убедишься в этом, когда я дам тебе отнести моей госпоже Дульсинее Тобосской письмо, все сверху до низу написанное стихами. Ибо следует тебе знать, Санчо, что почти все странствующие рыцари минувших времен были великими трубадурами и великими музыкантами, так как эти две способности или, лучше сказать, эти два дара всегда были свойственны странствующим влюбленным. Правда только, что в стихах древних рыцарей было больше пыла, чем уменья.

– Читайте дальше, ваша милость, – сказал Санчо, – может быть, там отыщется что-нибудь такое, что удовлетворит наше любопытство.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:

– Это проза – и, кажется, письмо.

– Казенное? – спросил Санчо.

– Судя по началу, любовное, – ответил Дон Кихот.

– Ваша милость, прочтите его вслух, – попросил Санчо, – я страх люблю любовные делишки.

– Охотно, – ответил Дон Кихот и по просьбе Санчо прочел вслух следующее[7]:

"Твои ложные обещания и мое неложное горе заставляют меня удалиться в те места, откуда до слуха твоего скорее донесется весть о моей кончине, чем звук моих жалоб. Ты покинула меня, бесчувственная, ради того, кто богаче меня, но вовсе не достойнее. Если бы добродетель ценилась как великое сокровище, мне не пришлось бы завидовать чужому счастью и оплакивать свое злополучие. То, что воздвигла твоя красота, разрушили твои поступки: она уверила меня, что ты ангел, они же показали, что ты женщина. Оставайся с миром, виновница моей тревоги, и да будет угодно небу, чтобы вероломство твоего супруга никогда не раскрылось и чтобы тебе не пришлось раскаяться в твоем поступке, а мне – получить отмщение, которого я не ищу".

Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:

– Из этого письма можно вывести еще меньше заключений, чем из стихов; одно ясно, – что писал его какой-то отвергнутый любовник.

Перелистав всю записную книжку, он нашел еще другие стихи и письма, из которых некоторые ему удалось разобрать, а другие нет; но во всех были жалобы, стенания, сетования, радости и огорчения: милости, которые восхвалялись,

и суровость, которая оплакивалась. А пока Дон Кихот просматривал книжку, Санчо осматривал чемодан и сумку, – и не было такого уголка, который бы он не обшарил, не перерыл, не исследовал; он распарывал каждый шов, вытряхивал каждый клочок шерсти, боясь по небрежности или нерадению что-нибудь упустить: вот какое рвение возбудила в нем находка этой сотни червонцев. И хотя он ни одного больше, сверх уже найденных, не отыскал, все же он решил, что не даром перетерпел и полеты на одеяле, и принятие рвотного лекарства, и благословение дубинками, и кулачную расправу погонщика, и потерю сумки, и пропажу плаща, и голод, и жажду, и усталость, которые он испытал, служа своему доброму господину: за все это он был более чем достаточно вознагражден милостью Дон Кихота, подарившего ему эту находку.

Рыцарь Печального Образа страстно желал узнать, кому принадлежал чемодан, предполагая на основании сонета, письма, червонцев и превосходных рубашек, что хозяин всего этого был человек знатный, влюбленный в какую-то даму и что презрительное и жестокое обращение возлюбленной довело его до какого-то отчаянного шага. Но в этих пустынных горных ущельях ему не к кому было обратиться за разъяснениями, и поэтому он, долго не думая, поехал дальше по дороге, выбранной Росинантом, который брел там, где ему было удобнее. Твердая уверенность владела Дон Кихотом, что в этих дебрях с ним непременно случится какое-нибудь удивительное приключение.

Погруженный в эти мысли, увидел он вдруг на вершине небольшой горки, находившейся прямо перед ним, какого-то человека, который с необыкновенной быстротой перепрыгивал со скалы на скалу и от куста к кусту. Ему показалось, что он обнажен, что у него черная густая борода, грива всклокоченных волос, босые ноги и голые колени; бедра его были прикрыты штанами, по-видимому из рыжего бархата, давным-давно превратившегося в лохмотья, сквозь которые во многих местах выглядывало голое тело, голова же была непокрыта. И хотя, как мы уже сказали, промчался он с большой быстротой, тем не менее все эти подробности Рыцарь Печального Образа уловил и заметил. Он хотел погнаться за незнакомцем, но не мог, ибо слабосильный Росинант не был в состоянии бегать по крутизнам, не говоря уже о том, что по природе своей он был медлителен и флегматичен. Дон Кихоту тотчас же пришло на ум, что этот человек и есть владелец сумки и чемодана, и он решил отыскать его, хотя бы для этого пришлось ему блуждать в горах целый год, а потому велел Санчо спешиться и обогнуть одну сторону горы, меж тем как он сам станет объезжать ее с другой: быть может, таким способом они и натолкнутся где-нибудь на незнакомца, так внезапно пропавшего у них на глазах.

– Не могу я этого сделать, – ответил Санчо, – потому что, как только я удаляюсь от вашей милости, нападает на меня страх и напускает на меня тысячу разных ужасов и привидений. Так наперед и знайте, что никогда я не отойду ни на шаг от вашей особы.

– Ну, как хочешь, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Мне весьма приятно, что ты ищешь опоры в моей храбрости, которая тебя не покинет, хотя бы

твоя душа покинула тело. Так следуй же за мной по пятам или как сумеешь, и пусть глаза твои будут фонарями. Мы объедем вокруг эту горку и, может быть, встретим незнакомца, который, без всякого сомнения, не кто иной, как хозяин всего того, что мы нашли.

На это Санчо отвечал:

– Гораздо лучше нам вовсе его не разыскивать, ибо, если мы его найдем и окажется, что он действительно собственник этих денег, то ясно, что мне придется отдать их, а лучше, без лишних хлопот, сохраню я себе попросту эти денежки. Если же, без всяких наших стараний и поисков, владелец их все-таки объявится, так, может быть, к тому времени деньги я уже истрачу, и тогда – на нет и суда нет.

– Ты заблуждаешься, Санчо, – ответил Дон Кихот. – Раз у нас явилась догадка о владельце этих вещей, который промелькнул, быть может, сейчас перед нашими глазами, мы обязаны отыскать его и возвратить ему его имущество; и, если бы мы не стали его искать, то наше основательное предположение, что он и есть их владелец, делает нас виновными не менее, чем если бы у нас была в этом уверенность. Итак, друг мой Санчо, пусть не печалят тебя эти поиски, ибо, если я его найду, у меня большое бремя с души свалится.

Сказав это, он пришпорил Росинанта, а Санчо поплелся за ним пешком и навьюченный, по милости Хинесильо де Пасамонте. И вот, обогнув значительную часть горы, они на берегу ручья увидели павшего и издохшего мула под седлом и в уздечке, наполовину съеденного собаками и исклеванного воронами; это еще больше утвердило их в предположении, что человек, бежавший от них, был хозяином и мула и сумки.

В ту минуту, как смотрели они на падаль, вдруг неожиданно послышался свист, похожий на свист пастуха, стерегущего стадо, и с левой стороны увидели они большое количество коз, а за ними на вершине горы появился и старик-козопас. Дон Кихот закричал ему, прося спуститься к ним. Тот, тоже крича, спросил, как попали они в такое место, где почти никогда не ступала нога человека и где водятся только козы, волки и другие дикие звери. Санчо ответил ему, что они ему это объяснят, когда он спустится. Тогда пастух спустился и, подойдя к Дон Кихоту, сказал:

– Бьюсь об заклад, что вы смотрите на наемного мула, издохшего в этом овраге. Сказать вам правду, вот уже шесть месяцев, как он здесь валяется. А кстати, не повстречался ли вам по дороге его хозяин?

– Нет, не повстречался, – ответил Дон Кихот, – но неподалеку отсюда мы нашли сумку и чемодан.

– Я их тоже видел, – ответил пастух, – но не подобрал и даже близко не подошел к ним; ибо долго ли до беды – того и гляди еще обвинят в краже: хитер дьявол и такое подсунет под ноги, что споткнешься и упадешь, а как да почему – и сам не знаешь.

– Это самое говорю и я, – сказал Санчо. – Я на них тоже натолкнулся, но только и на выстрел к ним не подошел: очень мне нужен пес с бубенчиками!

– Скажите, добрый человек, – спросил Дон Кихот, – не знаете ли вы, кто владелец этого добра?

– Знаю я только, – ответил пастух, – что месяцев шесть, а то и больше тому назад в одну пастушескую хижину, отстоящую отсюда милях в трех, явился юноша приятного облика и сложения; ехал он верхом на этом самом муле, что валяется здесь дохлый, и были при нем сумка и чемодан, которые вы нашли и не тронули. Он спросил нас, где в этих горах можно найти самое дикое и неприступное место. Мы ему указали на ущелье, где мы сейчас находимся; и это правда: стоит вам проехать еще с полмили вглубь, и уж навряд ли вы оттуда выберетесь. Да я и то удивляюсь, как вам удалось сюда попасть: ведь сюда не ведет ни дорога, ни тропинка. Итак, я продолжаю: услышав наш ответ, юноша повернул мула и поехал в том направлении, которое мы ему сказали, а мы все продолжали восхищаться его изящной наружностью и удивляться поспешности, с которой он помчался в горы. С тех пор мы никогда больше его не видели; только раз, спустя несколько дней после первой встречи, он выбежал на дорогу в ту минуту, когда по ней проходил один из наших пастухов, и, не говоря ни слова, набросился на него и здорово исколотил кулаками, потом подскочил к ослице, нагруженной припасами, забрал весь бывший на ней хлеб и сыр и, проделав это, с изумительной быстротою скрылся в горах. Некоторые из наших, узнав об этом, отправились за ним в погоню и искали его почти два дня в самых глухих местах, пока наконец не нашли его спрятанным в дупле большого и могучего дуба. Он скромно вышел к нам навстречу; одежда его была изорвана, а лицо обезображено и обожжено солнцем, так что мы с трудом его узнали; однако мы хорошо запомнили его платье, и, хоть и было оно в лохмотьях, все же мы догадались, что он – тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво нас приветствовал и в кратких и весьма разумных словах просил нас не удивляться тому, что он ведет такую странную жизнь: он, мол, должен так жить, ибо наложил на себя покаяние за великие свои грехи. Мы просили его открыть нам, кто он такой, но добиться этого нам так и не удалось. Затем мы попросили его, когда ему понадобится продовольствие, дать нам знать, где он находится: ведь не может же он жить без пищи, а мы с большой охотой и рвением доставим ему все необходимое; если же и на это он не согласен, то пусть, по крайней мере, просит у нас припасы, а не отнимает их силой. Он поблагодарил нас за предложение, извинился за совершенное им нападение и обещал впредь просить во имя Господа Бога и никому не причинять никакого ущерба. Затем он прибавил, что постоянного пристанища он не имеет и что обычно располагается на ночлег в том месте, где его застигает ночь; речь свою закончил он таким горестным плачем, что мы были бы каменными статуями, если бы, услышав его, не заплакали вместе с ним: мы припомнили, в каком виде он предстал перед нами в первый раз и каким мы видели его сейчас. Ибо я уже сказал, что был он весьма привлекательным и изящным юношей, и по его вежливой и изысканной манере говорить было видно, что он человек знатный и тонко воспитанный; и хотя все мы, слушавшие его, были мужиками, все же благородство его было столь велико, что и мужики не

могли этого не заметить. И вот, в самой середине своей речи он вдруг остановился и как будто онемел; долгое время сидел он, устремив глаза в землю, а мы все молчали и с волнением ждали, чем кончится его зачарованность, – нельзя было без жалости глядеть на него; а он таращил глаза, долго и пристально смотрел в землю, не моргая ресницами, а потом закрывал глаза, сжимал губы и хмурил брови: из всего этого не трудно было заключить, что с ним случился припадок безумия. И вскоре мы окончательно убедились в правильности наших предположений: он сидел на земле и вдруг в великом бешенстве вскочил, набросился на пастуха, стоявшего ближе всего к нему, да с таким гневом и яростью, что, не защити мы товарища, он бы прикончил его кулаками и растерзал зубами. И при этом он кричал: "Ах, вероломный Фернандо, теперь ты мне заплатишь за нанесенное оскорбление! Я собственными руками вырву у тебя сердце, где кроются и гнездятся все, какие только есть на свете, пороки, особенно же обман и коварство!" И много других слов наговорил он, проклиная этого Фернандо и клеймя его именем предателя и клятвопреступника. С большим трудом высвободили мы товарища, а юноша удалился от нас, не сказав больше ни слова, и вскоре исчез среди зарослей и кустарника, убежав так быстро, что мы не могли за ним поспеть. Из этого мы заключили, что у него только от времени до времени бывают припадки безумия и что, вероятно, некий Фернандо причинил ему какую-то великую обиду, доведшую его до такого состояния. Все это подтвердилось впоследствии, и неоднократно, так как нередко потом выходил он на дорогу, то прося пастухов отдать ему припасы, которые они везли, то отнимая их насильно; ибо, когда на него находит приступ безумия, он не принимает пищи, которую наши пастухи предлагают ему добровольно, а отбирает ее с дракой; когда же он в своем уме, он вежливо и учтиво просит во имя Господа Бога и горячо благодарит, проливая немало слез. И вот, скажу вам по правде, сеньоры, – продолжал пастух, – вчера порешили мы, я и еще четыре пастуха (из которых двое – мои приятели, а двое – помощники), пуститься на поиски этого юноши и искать, пока мы его не найдем; когда же мы его найдем – отвезти насильно или с его согласия в город Альмодовар, в восьми милях отсюда, и там вылечить его, если только болезнь эта излечима, или же, по крайней мере, узнать, кем он был до своей болезни и есть ли у него родственники, которых можно известить о постигшей его беде. Вот и все, сеньоры, что я могу вам сообщить в ответ на ваш вопрос; и будьте уверены, что человек, который с такой быстротой промелькнул перед вами полуголый, и есть хозяин всего виденного вами добра (ибо Дон Кихот уже рассказал ему о том, как этот человек пробежал перед ним в горах).

Наш рыцарь был очень поражен рассказом пастуха, и у него еще усилилось желание узнать, кто этот несчастный безумец; поэтому он еще более утвердился в своем прежнем намерении разыскивать его по горам, не пропуская ни одного закоулка и ни одной пещеры, пока его не найдет. Но судьба устроила лучше, чем он думал и ожидал, ибо в этот самый момент в расселине утеса, поднимавшегося прямо перед ними, появился юноша, которого они искали; он бормо-

тал какие-то слова, которые невозможно было разобрать не только издали, но и вблизи. Одет он был совсем так, как мы это описали, но, когда Дон Кихот подошел к нему поближе, он заметил, что его разорванный в клочья колет сделан из надушенной амброй кожи, из чего наш рыцарь заключил, что человек, носящий такое платье, не мог происходить из низкого сословия.

Подойдя к ним, юноша приветствовал их глухим и хриплым голосом, – однако с большой учтивостью. Дон Кихот ответил на его приветствие не менее любезно и, соскочив с Росинанта, подошел к нему и обнял его с большой сердечностью и лаской: он так долго сжимал его в своих объятиях, что, казалось, был дружен с ним с давних пор. Незнакомец, которого мы могли бы назвать *Оборванцем Плачевного Образа* (подобно тому, как Дон Кихот именовал себя *Рыцарем Печального Образа*)[8], позволил себя обнять, а потом, немного отстранив от себя Дон Кихота, положил ему руки на плечи и стал в него вглядываться, как будто хотел припомнить, знаком он с ним или нет. Казалось, облик, фигура и вооружение Дон Кихота вызывали в нем такое же удивление, какое вызывал у нашего рыцаря он сам. Наконец Оборванец, высвободившись из объятий, заговорил первый, – а что он сказал, это будет сообщено ниже.

ГЛАВА XXIV

продолжение приключения в Сьерра-Морене

История наша рассказывает, что Дон Кихот с величайшим вниманием слушал обтрепанного Рыцаря Сьерры, который начал свою речь так:

– Кто бы вы ни были, сеньор, – ибо я вас не знаю, – благодарю вас за знаки учтивости, которые вы мне оказали: я бы хотел быть в состоянии отплатить вам не только одним добрым желанием за то расположение, которое вы ко мне проявили, но судьба запрещает мне платить за оказываемые мне благодеяния чем-либо другим, кроме искренней готовности вознаградить за них.

– А у меня, – ответил Дон Кихот, – нет другого желания, как только служить вам, и я решил не покидать этих гор, пока не отыщу вас и не узнаю, нельзя ли чем-нибудь исцелить ту скорбь, которая заставила вас избрать столь странный образ жизни; и если можно, то я буду искать вашего исцеления со всей возможной ревнивостью. Если же ваше горе принадлежит к числу тех, кои закрывают двери каким бы то ни было утешениям, то я надеюсь помочь вам, от всей души плача и скорбя вместе с вами, ибо все же это – утешение в горе, когда кто-нибудь разделяет нашу печаль; и если мои добрые намерения заслуживают благодарности, то я умоляю вас, сеньор, во имя той великой учтивости, которой, как я вижу, вы отличаетесь, а также во имя всего того, что вы особенно в жизни любили или любите, скажите мне, кто вы и какая причина побудила вас решиться жить и умереть в этих пустынных местах подобно

неразумному животному; а что такая жизнь не создана для вас, об этом свидетельствуют и ваша наружность и ваше платье. Клянусь, – прибавил Дон Кихот, – орденом рыцарства, к которому принадлежу я, недостойный грешник, а также званием странствующего рыцаря, – если вы, сеньор, снизойдете к моей просьбе, я буду служить вам со всем усердием, к которому обязывает меня мое положение; я излечу ваше горе, если оно излечимо, или же помогу вам оплакивать его, как только что вам обещал.

Рыцарь Леса, слушая слова *Рыцаря Печального Образа*, смотрел, рассматривал и разглядывал его с ног до головы и наконец, насмотревшись вдоволь, сказал:

– Если у вас есть что-нибудь поесть, ради Бога, дайте мне поскорей, а поевши, я исполню все, что вы мне велите, дабы отблагодарить вас за благожелательность, которую вы ко мне проявляете.

Тотчас же Санчо полез в свой мешок, а пастух в свою торбу, и Оборванец стал удовлетворять свой голод, накинувшись, как полоумный, на пищу с такой жадностью, что один кусок догонял другой, еще не проглоченный. Пока это длилось, ни он, ни окружающие не произносили ни слова. Кончив есть, он знаками предложил им следовать за собой, что они и сделали, и повел их на зеленый лужок, который находился за скалой неподалеку оттуда. Придя туда, он улегся на траве, и остальные последовали его примеру; все это происходило в полном молчании. Наконец Оборванец устроился поудобнее и начал так:

– Если вам угодно, сеньоры, чтобы я в немногих словах рассказал вам о множестве моих злоключений, вы должны мне обещать, что ни одним вопросом или замечанием не прервете нить моего печального повествования, ибо, как только вы это сделаете, я тотчас же прекращу свой рассказ.

Это вступление привело Дон Кихоту на память рассказ его оруженосца, когда нашему рыцарю не удалось правильно сосчитать коз, переправленных через реку, и как из-за этого история так и осталась незаконченной. А между тем Оборванец продолжал:

– Я предупреждаю вас об этом потому, что мне хотелось бы как можно скорей покончить с изложением моих бедствий, ибо, припоминая их, я к старым печалям прибавляю новые, и, поэтому, чем меньше вы будете меня спрашивать, тем скорее я вам о них расскажу; при этом я не пропущу ни одной важной подробности и постараюсь вполне удовлетворить ваше желание.

Дон Кихот от имени всех присутствующих обещал ему не перебивать, и после этих уверений Оборванец начал следующим образом:

Меня зовут Кардению и родился я в одном из лучших городов верхней Андалусии[1]. Я из знатного рода и сын богатых родителей, но несчастие мое столь велико, что, как бы ни оплакивали его мои родители и ни печалился о нем мой род, все их богатства ничем не могут мне помочь, ибо, как известно, земные блага бессильны против бедствий, посылаемых небом. В этом же городе жило небесное созданье, которое Амур украсил всеми совершенствами, о кото-

рых я только мог мечтать. Велика была красота Люсинды, девушки знатной и богатой не менее, чем я, но более счастливой и менее постоянной, чем того заслуживала честность моих чувств. С самых ранних, юношеских лет моих я любил, обожал и боготворил Люсинду, и она любила меня просто и бесхитростно, как это бывает в ребяческие годы. Родители знали о нашей взаимной склонности, и это их не беспокоило: они понимали, что чувство это, окрепнув, приведет нас в конце концов к браку, а равенство происхождения и богатства делало наш союз вполне естественным. Шли годы, а с ними росла наша взаимная любовь, – и вот отец Люсинды из благоразумия счел нужным запретить мне навещать ее (в этом он как будто подражал родителям столь часто воспеваемой поэтами Фисбы)[2]. Этот запрет только разжег наше пламя и увеличил желания. Родители могли наложить молчание на наши языки, но не могли обречь наши перья на бездействие; а ведь, когда мы любим, перо еще с большей свободой, чем язык, излагает то, что таится у нас в душе: ибо очень часто присутствие любимого существа приводит в смущение и безмолвие самые решительные намерения и самые смелые языки. О небо, сколько писем я ей написал! Сколько получил милых и невинных ответов! Сколько сочинил песен, сколько влюбленных стихов, в коих душа моя изъясняла и выражала свои чувства, высказывала свои пламенные желания, оживляла воспоминания и питала свою страсть! Наконец, измученный, я понял, что душа моя изнемогает от желания ее видеть, и решил немедленно же сделать все необходимое, чтобы получить желанную и заслуженную награду, то есть попросить отца Люсинды отдать ее мне в законные супруги. Так я и поступил; на это он мне ответил, что благодарит за честь, которую я ему оказываю, и что он, в свою очередь, готов оказать мне честь, выдав за меня свою дорогую дочь. "Но, – прибавил он, – отец ваш еще жив, и ему принадлежит законное право просить об этом; если же на то не будет его искренней воли и согласия, то Люсинда не из тех, кого берут или выдают замуж тайно". Я поблагодарил его за благосклонность, ибо мне казалось, что возражение его справедливо и что мой отец согласится со мной, как только я изложу ему, в чем дело. С таким намерением я тотчас же отправился к отцу, чтобы сообщить ему о моем желании; но, войдя в комнату, где он находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, и не успел я сказать и слова, как он протянул мне письмо и заговорил: "Из этого письма, Карденио, ты увидишь, что герцог Рикардо хочет оказать тебе милость". Этот герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, – испанский гранд, поместья которого расположены в лучшей части нашей Андалусии. Я взял письмо и прочел его; оно было столь милостиво, что я сам упрекнул бы моего отца, если бы он не исполнил заключавшейся в нем просьбы: герцог просил моего отца немедленно прислать меня к нему, так как ему было угодно, чтобы я находился при его старшем сыне в качества приятеля, а не слуги, причем он брал на себя заботы о дальнейшем моем устройстве и обещал, что оно вполне будет соответствовать его высокому мнению обо мне. Я прочел письмо и, прочитав, онемел; смущение мое еще увеличилось, когда я

услышал слова моего отца: "Ты отправишься туда через два дня, Кардению, и исполнишь волю герцога. Поблагодари Бога, открывающего тебе путь, который приведет тебя к тому, чего ты заслуживаешь". И к этим словам он прибавил несколько отеческих советов.

Наступил срок моего отъезда. Перед этим я вечером беседовал с Люсиндой и рассказал ей обо всем, что случилось, затем я сообщил обо всем ее отцу и просил его подождать несколько дней и никому не обещать ее руки, пока я не узнаю, чего хочет от меня Рикардо. Отец пообещал мне, а Люсинда подтвердила его обещание клятвами и слезами. Наконец я явился ко двору герцога Рикардо, и он встретил и принял меня так ласково, что зависть немедленно же начала свое злое дело: старые слуги герцога возненавидели меня, ибо они полагали, что знаки его благоволения ко мне пойдут им в ущерб. Но особенно обрадовался моему приезду второй сын герцога, по имени Фернандо, юноша статный, изящный, щедрый и влюбчивый; вскоре он пожелал, чтобы мы стали близкими друзьями, и все только об этом и говорил. Хотя старший брат тоже любил и отличал меня, все же его отношение нельзя было сравнить с горячей привязанностью дона Фернандо. И так как между друзьями нет тайны, которую бы они не открыли один другому, а меня с доном Фернандо связывали не просто приятельские отношения, но и дружба, то стал он поверять мне все свои мысли и рассказал об одном своем любовном увлечении, которое очень его волновало. Он любил поселянку, родители которой были богатыми вассалами его отца, и была она так прекрасна, скромна, разумна и добродетельна, что знавшие ее не могли решить, которому из этих достоинств принадлежит преимущество и первенство. Эти качества прекрасной поселянки пробудили в доне Фернандо такую страсть, что для достижения своих желаний и победы над ее добродетелью он решил дать ей слово жениться на ней, ибо видел, что иначе обречен был стремиться к невозможному. По долгу дружбы, которая связывала меня с доном Фернандо, я постарался привести самые основательные доводы и самые яркие примеры, чтобы удалить и отвлечь его от подобного намерения; видя, однако, что ничто не помогает, я решил было обо всем этом сообщить его отцу, герцогу Рикардо. Но дон Фернандо, человек хитрый и умный, догадался и испугался моего решения, сообразив, что по долгу доброго слуги я не скрою от герцога, моего господина, всего того, что может причинить столь великий ущерб его чести. Поэтому, чтобы отвлечь меня от этого намерения и обмануть, дон Фернандо заявил, что он хотел бы уехать на несколько месяцев и что для него это – лучший способ перестать думать о красавице, покорившей его сердце; он прибавил, что ему хотелось бы вместе со мной поехать к моему отцу, а герцогу мы скажем, что едем посмотреть и купить хороших коней, ибо мой родной город славится лучшими лошадьми на всем свете. Как только я услышал эти слова, я заявил, что лучшего решения нельзя себе представить, мной руководила моя любовь к Люсинде, и мне так хотелось воспользоваться случаем и возможностью повидаться с нею, что, кажется, я одобрил бы и не столь благо-

разумное решение. Под влиянием этих мыслей и желаний я одобрил его намерение, поддержал его решение и попросил как можно скорей привести его в исполнение, ибо, действительно, разлука с любимой может рассеять самые упорные мысли о ней. Впоследствии я узнал, что когда он мне предлагал это, он уже под видом супруга, насладился любовью своей поселянки[3] и теперь ждал только случая, чтобы с наибольшей безопасностью открыть свою тайну; ибо он очень боялся и не знал, как поступит его отец герцог, узнав о его провинности. Но так как любовь юношей по большей части есть одна чувственность и последняя цель ее – наслаждение, а потому, достигнув предела, она кончается и идет вспять (ибо чувство, казавшееся любовью, не может преступить границу, положенную ему природой и не существующую для истинной любви), – по этой самой причине, как только Фернандо насладился любовью своей поселянки, желания его успокоились и жар его остыл, и если раньше он притворялся, что желает уехать, чтобы излечиться от любви, то теперь он искренне хотел удалиться, чтобы избавиться от возлюбленной. Герцог дал нам разрешение и велел мне сопровождать сына.

Мы приехали в мой родной город: отец мой принял дона Фернандо сообразно его высокому званию, я тотчас же свиделся с Люсиндой, и мои желания ожили (впрочем, они никогда не только не умирали, но и не ослабевали). На горе я доверил свою тайну дону Фернандо, ибо мне казалось, что его горячее дружеское чувство ко мне налагает на меня обязательство ничего от него не утаивать. Я так расхвалил ее красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание посмотреть на девушку, украшенную столькими достоинствами. Злосчастный рок побудил меня удовлетворить его желание, и однажды вечером я показал ему Люсинду при свете свечи в окне, у которого мы обычно с ней беседовали. Он увидел ее в корсаже, и она показалась ему столь прекрасной, что он сразу забыл всех красавиц, виденных им дотоле. Он онемел, потерял голову, был очарован, – словом, пламенно в нее влюбился (о силе его страсти, которую он скрывал от меня и только наедине доверял небу, вы сможете заключить из дальнейшего рассказа о моих несчастиях). И вот, чтобы воспламенить его еще больше, судьбе было угодно, чтобы однажды попалось ему на глаза одно письмо Люсинды ко мне, в котором она убеждала меня просить у отца ее руки; она писала об этом так умно, скромно и нежно, что дон Фернандо, прочитав письмо, объявил мне, что она одна владеет всеми сокровищами красоты и ума, которые обычно на свете распределяются между всеми женщинами. И тут я откровенно должен признаться, что, хотя я и понимал, что у Фернандо были справедливые основания восхвалять Люсинду, все же мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст, и я начал бояться и остерегаться его, ибо не проходило и минуты без того, чтобы он не просил меня поговорить о ней, – и о чем бы мы не начинали с ним беседу, он непременно сводил ее на Люсинду; а это вызывало во мне нечто похожее на ревность, – не потому, чтобы я опасался какого-нибудь удара со стороны добродетельной и верной Люсинды, а потому, что судьба, сулившая мне сча-

стье, заставляла меня бояться за него. Дон Фернандо всегда старался просматривать все письма, которые я посылал Люсинде и которые она писала мне в ответ, под предлогом, будто ему очень нравилось наше уменье тонко выражать чувства. И вот, раз случилось, что Люсинда попросила меня прислать ей один рыцарский роман, который ей особенно нравился: это был *Амадис Галльский*...

Как только Дон Кихот услышал название рыцарского романа, он тотчас же сказал:

– Если бы ваша милость в самом начале своего рассказа заявила, что ее милость сеньора Люсинда любила рыцарские романы, вам бы не пришлось тратить много слов, чтобы убедить меня в возвышенности ее ума, да и не могла бы она быть столь разумной, как вы это, сеньор, описали, если бы у нее не было вкуса к такому увлекательному чтению. Поэтому со мной вам незачем тратить слова, изображая ее красоту, добродетель и ум: с меня достаточно ее любви к этим книгам – и я готов признать ее самой прекрасной и мудрой женщиной на свете. И мне бы хотелось, сеньор, чтобы вместе с *Амадисом Галльским* ваша милость послала ей также и славного *дон Рухеля Греческого*[4], ибо я уверен, что сеньоре Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарайя, а также остроумие пастушка Даринеля и прелестные буколические стихи, которые он пел[5] и исполнял с таким вкусом, уменьем и естественностью. Впрочем, наступит время, и вы исправите свою оплошность, что очень легко сделать, если ваша милость соблаговолит отправиться со мной в мою деревню: там я предоставлю вам более трехсот книг, которые служат мне усладой души и утехой жизни; впрочем, я вспоминаю, что этих книг у меня уже более нет, и виной тому – коварство злых и завистливых волшебников. Простите мне, ваша милость, за то, что я нарушил обещание не прерывать вашего рассказа, но, когда я слышу о рыцарских делах и странствующих рыцарях, мне столь же невозможно воздержаться от разговора о них, как лучам солнца – не греть, а лучам луны – не увлажнять землю[6]. Итак, простите и продолжайте; ибо уже пора нам вернуться к делу.

Пока Дон Кихот произносил эту речь, Карденио сидел, опустив голову на грудь, и по всему было видно, что он пребывает в глубокой задумчивости. Дон Кихот уже два раза просил его продолжать свой рассказ, но он не подымал головы и не отвечал ни слова; наконец, по прошествии долгого времени, он выпрямился и сказал:

– Я твердо уверен – и никто на свете меня не разубедит и не заставит переменить мнение, ибо кто думает или полагает иначе, тот просто болван; да, я твердо уверен, что этот величайший плут, мастер Элисабат, был в любовной связи с королевой Мада́симой[7].

– Ничего подобного, клянусь вам, чем угодно! – воскликнул в великом гневе Дон Кихот (на самом деле выражавшийся, по своему обыкновению, несколько сильнее), – это страшная клевета или, лучше сказать, подлость: королева Мадасима была благороднейшей сеньорой, и нельзя себя представить, чтобы

она находилась в связи с каким-то коновалом. А кто утверждает противное, лжет, как самый последний негодяй, и я ему это докажу и на коне и пеший, и вооруженный и безоружный, и днем и ночью – одним словом, как ему больше по вкусу.

Кардению весьма внимательно смотрел на него: его уже охватил приступ безумия, и теперь ему было не до продолжения своей истории, да и Дон Кихот не был расположен ее слушать – так возмутило его сказанное о королеве Мадасиме. Удивительное дело! Он с таким жаром заступился за нее, как если бы она действительно была его истинной и природной повелительницей: вот до чего довели его окаянные книги! Итак, ввиду того что Кардению был охвачен безумием, – а тут еще он услышал, что его называют лжецом, негодяем и тому подобными бранными словами, – эта шутка ему не понравилась; он поднял валявшийся у его ног камень и с такой силой запустил его прямо в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь. Санчо Панса, увидев, как расправляются с его господином, со сжатыми кулаками набросился на сумасшедшего, но Оборванец встретил его таким манером, что одним ударом сбил с ног, вскочил на него и пересчитал ему ребра в свое полное удовольствие. Пастух хотел его защитить, но и его постигла та же участь, – после чего, хорошенько исколотив и поняв всех троих, Оборванец с невозмутимым спокойствием удалился в горы. Санчо приподнялся в ярости, что его отдубасили ни с того ни с сего, и налетел на пастуха, желая отомстить ему: он кричал, что во всем виноват пастух, не предупредивший их, что человек этот подвержен припадкам безумия; что, ежели бы он это сделал, они бы остереглись и приготовились к защите. А пастух отвечал, что он предупреждал, а если Санчо просто недослышал, то сам в этом виноват. Санчо что-то возразил пастуху, пастух возразил Санчо, от слов они перешли к делу, вцепились друг другу в бороды и стали так колотить один другого, что если бы Дон Кихот не водворил мира, то они, кажется, растерзали бы друг друга в куски. Схватившись с козопасом, Санчо кричал:

– Оставьте меня, ваша милость, сеньор Рыцарь Печального Образа! Этот молодчик – такой же мужик, как и я, никто его в рыцари не производил, а потому я имею право отплатить ему за нанесенные мне оскорбления и сразиться с ним равным оружием, как честный человек.

– Это-то верно, – сказал Дон Кихот, – но я знаю, что он нисколько не виноват в случившемся.

На том он их и помирил, а затем спросил пастуха, нет ли какого-нибудь способа отыскать Кардению, ибо ему чрезвычайно было любопытно узнать конец истории. Пастух повторил то, что уже говорил раньше: он, мол, точно не знает, где обитает Кардению, и прибавил, что, если Дон Кихот пространствует еще в этих местах, он, наверное, его встретит либо в здравом уме, либо в припадке сумасшествия.

ГЛАВА XXV

в которой рассказывается[1] о необычайных происшествиях, случившихся с доблестным ламанчским рыцарем в Сьерра-Морене, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Красавцу

Попрощавшись с пастухом, Дон Кихот снова сел на Росинанта и велел Санчо ехать за ним на осле; тот повиновался с большой неохотой. И вот, понемногу стали они приближаться к самым диким ущельям. Санчо умирал от желания поговорить со своим господином, однако ждал, чтобы тот начал первый, ибо не хотел нарушить его приказ; под конец, не выдержав столь долгого молчания, он все же заговорил:

– Сеньор Дон Кихот, благословите меня, ваша милость, и дайте мне разрешение, – я хочу как можно скорее вернуться домой к жене и детям: с ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается; а ваша милость велит мне странствовать ночью и днем по этой пустыне, да еще и не разговаривать, когда мне хочется, – так уж тогда лучше закопайте меня живым. Если бы судьбе было угодно, чтобы животные умели говорить, как говорили они когда-то во времена Гисопета[2], так было бы еще полбеды; я бы тогда рассказывал ослику все, что взбредет мне на ум, и так коротал бы свой печальный век. Легкая ли это штука, и может ли на это хватить человеческого терпения: ты всю жизнь ищешь приключений, а вместо того тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями и тузят кулаками, а при всем том еще не смей и рта раскрыть, не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, – будто ты немой!

– Я понимаю тебя, Санчо, – ответил Дон Кихот, – ты умираешь от желания, чтобы я снял запрет, наложенный на твой язык. Ну, так и быть – снимаю его, говори, что хочешь, но при условии, что эта отмена будет в силе, только пока мы находимся в этих горах.

– Пускай так, – ответил Санчо; – вот теперь-то я наговорюсь, а там один Бог знает, что будет. Итак, пользуясь вашим разрешением, я скажу вот что: чего ради понадобилось вашей милости заступаться за эту самую королеву Махинасу, или как ее там зовут? И какое вам дело до того, что этот Аббат[3] был ее дружком или не был? Ведь вы им не судья, – а если бы вы не перебили сумасшедшего, он бы кончил свою историю, и дело бы обошлось без удара камнем, без пинков и полудюжины оплеух.

– Уверяю тебя, Санчо, – ответил Дон Кихот, – если бы ты знал, подобно мне, как добродетельна и достойна была королева Мадасима, ты бы сказал, что я, наоборот, проявил слишком много терпения, не проломив головы человеку, изрыгавшему такую хулу. Разве не величайшее кощунство думать и заявлять, что королева может быть наложницей какого-то костоправа? А на самом деле история рассказывает, что мастер Элисабат, о котором упоминал этот полоум-

ный, был человек почтенный и мудрый советник, служивший королеве как лекарь и управитель. Думать же, что она была его любовницей, – это вздор, заслуживающий сурового наказания. Впрочем, ты согласишься, что Кардению сам не знал, что говорил, если припомнишь, что, когда он это говорил, он уже находился не в своем уме.

– Вот именно, – ответил Санчо; – так потому-то и не стоило обращать внимания на слова полоумного. Ведь если бы судьба не спасла вашу милость и если бы камень попал вам не в грудь, а в голову, хороши бы мы были, защитники королевы, – да посрамит ее Господь Бог! А с Кардению и взять нечего: он сумасшедший!

– Каждый странствующий рыцарь обязан защищать честь женщины и против здравых в уме и против сумасшедших, а тем более, когда дело идет о чести столь высокой и почитаемой королевы, как королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели. Ибо она была не только прекрасна, но и на редкость умна и с большим мужеством переносила все выпавшие на ее долю бедствия. А общество и советы мастера Элисабата были ей в помощь и утешение и помогали ей пройти через все испытания с благоразумием и терпением. Вот почему невежественная и злонравная чернь сочинила и стала утверждать, что они были любовниками; но я еще раз скажу и двести раз повторю: все, думающие и говорящие так, – лжецы!

– Да я вовсе этого не думаю и не говорю, – ответил Санчо. – Пускай их себе кушают это с хлебом! Были они любовниками или не были – в том они Богу дадут ответ. Мое дело сторона, я ничего не знаю и знать чужих дел не желаю. Кто покупает да плутует, тот на собственном кошеле это чует. Голяком я родился, голяком и сейчас остаюсь; ничего я не выиграл и не проиграл. Были ли они любовниками – мне-то какое дело? Часто думаешь, что у людей есть сало, а смотришь – у них и крючка-то для него нет. На замок поле не замкнешь, а что до пересудов, так и на самого Бога наговаривали!

– Господи помилуй, – воскликнул Дон Кихот, – что это ты за вздор несешь, Санчо? Что общего между нашей беседой и поговорками, которые ты нанизываешь одну на другую? Помолчи, ради всего святого, Санчо, и впредь заботься о своем осле[4] и не вмешивайся в то, что тебя не касается. Напряги все свои пять чувств и пойми, наконец, что все, что я делал, делаю и буду делать, – вполне разумно и согласовано с законами рыцарства, которые я знаю лучше всех рыцарей, какие когда-либо были на свете.

– Скажите, сеньор, – ответил Санчо, – а это тоже полагается по законам рыцарства, чтобы мы без пути и дороги блуждали в горах и отыскивали сумасшедшего? А когда мы его найдем, так ему, пожалуй, еще вздумается довершить то, что он начал, – я говорю, конечно, не о рассказе, которого он не кончил, а о голове вашей милости и о моих боках, которые он еще не до конца сокрушил.

– Замолчи, еще раз тебе говорю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – и заметь себе, что в эти места влечет меня не одно только желание разыскать сумасшедшего: я собираюсь совершить здесь такой подвиг, который навеки прославит

мое имя по всему лицу земли и ляжет печатью на все деяния, благодаря которым странствующий рыцарь может достичь славы и совершенства.

– А подвиг этот очень опасен? – спросил Санчо Панса.

– Нет, – ответил рыцарь Печального Образа, – хотя, впрочем, дело может обернуться и так, что вместо удачи нам придется и пострадать; однако все будет зависеть от твоего усердия.

– От моего усердия? – воскликнул Санчо.

– Да, – продолжал Дон Кихот. – Я намерен послать тебя в одно место, и если ты возвратишься скоро, то и испытания мои скоро кончатся и скоро начнется моя слава. А так как не следует мне держать тебя в неизвестности и в недоумении по поводу смысла моих речей, то я скажу тебе, Санчо, что знаменитый Амадис Галльский был одним из самых совершенных странствующих рыцарей. Нет, я не хорошо выразился: он был не *одним* из совершенных рыцарей, а *единственным*, первым и несравненным из всех рыцарей, существовавших на свете в его время. Стыд и позор дону Бельянису и каждому, кто утверждал, что хоть в чем-нибудь сравнился с ним; клянусь тебе, они заблуждались. Скажу далее, что всякий художник, стремящийся прославиться в своем искусстве, старается подражать творениям тех мастеров, которых он признает величайшими, и то же правило распространяется на все видные ремесла и занятия, кои служат к украшению государства; и тот, кто желал бы прослыть человеком благоразумным и терпеливым, должен подражать и подражает Улиссу и его трудам, – ибо в его лице Гомер дал нам живое изображение благоразумия и терпения, точно так же как Вергилий в лице Энея изобразил нам добродетели почтительного сына и мудрость отважного и расчетливого вождя: и тот и другой изобразили и описали своих героев не такими, какими они были, а какими они должны были быть, желая поставить их достоинства в пример будущим поколениям. Точно так же и Амадис был компасом, светочем и солнцем всех отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под знаменами любви и рыцарства, обязаны ему подражать. Приняв все это во внимание, я считаю, друг мой Санчо, что тот из странствующих рыцарей наиболее приблизится к совершенству в рыцарском деле, который будет подражать Амадису более, чем всем другим, – а рыцарь этот в наивысшей мере проявил свое благоразумие, доблесть, мужество, выносливость, твердость и любовь в ту минуту, когда отвергнутый сеньорой Орианой, удалился он на Пенья Побре и возложил на себя покаяние, переменив свое имя на имя Бельтенеброс, поистине весьма выразительное и соответствующее жизни, которую он сам добровольно избрал. Притом же мне, конечно, легче подражать ему в этом, чем, по его примеру, рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков[5], обращать в бегство армии, рассеивать флотилии и разрушать чары волшебников; да и местность эта очень пригодна для задуманного мною дела; а потому не следует пропускать удобный случай, столь услужливо подставляющий мне свои локоны[6].

– Но что же, в конце концов, – спросил Санчо, – ваша милость собирается предпринять в этом уединенном месте?

– Да ведь я же тебе сказал, – ответил Дон Кихот: – я намерен подражать Амадису и вести себя так, как будто я лишился разума, впал в отчаянье и неистовство, – а заодно я буду подражать и доблестному дону Роланду, когда он по следам у источника догадался, что прекрасная Анджелика обесчестила себя с Медором[7]: тогда он с горя лишился ума, стал вырывать деревья, мутить воды прозрачных ручьев, убивать пастухов, истреблять стада, поджигать хижины, рушить дома, уводить кобылиц и проделывать тысячи других безумств, достойных вечного прославления историков. Впрочем, я не собираюсь во всем следовать примеру Роланда, Орландо или Ротоландо (его можно назвать любым из этих имен) и точь-в-точь проделывать все безумства, которые он совершил, задумал или высказал: нет, я по мере сил воспроизведу лишь те из них, которые представляются мне наиболее существенными. А то, пожалуй, удовлетворюсь подражанием одному Амадису, который никаких разрушительных безумств не проделывал, а все же одними своими слезами и чувствами добыл себе непревзойденную славу.

– Сдается мне, – сказал Санчо, – что рыцари, проделывавшие все эти штуки, были к тому вынуждены и не без причин каялись и выкидывали все эти глупости. Но у вашей-то милости какая причина с ума сходить? Какая такая дама вас отвергла? Разве вы нашли какие-нибудь следы и догадались, что сеньора Дульсинея Тобосская побаловалась с мавром или христианином?

– В том-то вся суть, – ответил Дон Кихот, – в том-то вся тонкость этого дела! Если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то полное основание, – так в этом нет ни заслуги, ни подвига. Другое дело – обезуметь так, без всякой причины; тогда моя дама поймет, на что я способен, если меня зарядить, раз я и вхолостую могу так действовать. Да еще долгая разлука с госпожой моей Дульсинеей Тобосской, навеки покорившей мое сердце, является для меня вполне достаточным основанием; ведь ты уже слыхал слова нашего приятеля прежнего времени, того пастуха Амбросио[8] что в разлуке с любимым мы страдаем и всего боимся. Итак, друг Санчо, не теряй времени, стараясь отговорить меня от столь редкостного, счастливого и доселе невиданного подражания. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и, пока ты не вернешься с ответом, я безумствую и буду безумствовать; и если в ответе своем она воздаст должное моей верности, тогда кончится мое безумие и покаяние, а если нет, то я и вправду сойду с ума – и уж тогда ничего не буду чувствовать. Итак, что бы она ни ответила, страдания и испытания мои кончатся: если ты принесешь мне радость, я наслажусь ею в здравом уме, если же горе, то я не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Однако скажи мне, Санчо, не правда ли – ты уберег шлем Мамбрина? Ибо я заметил, что ты поднял его с земли, после того как тот неблагодарный малый хотел разбить его на куски. Но это ему не удалось; теперь ты видишь, что шлем этот крепкого закала.

На это Санчо ответил:

– Ей-богу, сеньор Рыцарь Печального Образа, вы иногда такое говорите, что у меня просто сил и терпенья не хватает. Слушаю я вас иногда, и приходит

мне в голову, что все ваши разговоры о рыцарстве, о завоевании царств и государств, о пожаловании мне острова и оказании милостей и почестей, как это в обычае у странствующих рыцарей, – что все это вы болтаете на ветер и все это одна побывальщина или небывальщина, – как, бишь, там это называется. Услышь кто-нибудь, что ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина и вот уже который день все никак не может в этом разувериться, – что он о вас подумает, раз вы говорите и утверждаете такие вещи? Не иначе, что вы с ума спятили. Этот таз у меня в сумке, и хоть весь он исковеркан, все же я его подобрал; если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду им пользоваться для бритья.

– Случай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – как ты только что поклялся Божьим именем, так и я клянусь тебе: не было еще на свете оруженосца с такой тупой головой, как у тебя. Неужели за то время, что ты меня сопровождаешь, ты не успел еще убедиться, что все вещи, к которым прикасаются странствующие рыцари, кажутся химерами, безумием и сумасбродством, словно все вокруг них делается навыворот? И это не потому, что и на самом деле они таковы, а потому, что нас постоянно окружают целые толпы волшебников, которые колдуют и подменивают все предметы, в зависимости от того, хотят ли они нас облагодетельствовать или погубить; и вот, то, что тебе представляется бритвенным тазом, мне представляется шлемом Мамбрина, а другому представится еще чем-нибудь. Мудрец, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы истинный и подлинный шлем Мамбрина казался тазом: иначе все стали бы преследовать меня и старались бы отнять его, ибо шлем этот – великая драгоценность. Но люди думают, что это всего-навсего бритвенный таз и потому не добиваются его; вспомни только, что наш противник сначала попытался его сломать, а потом швырнул на землю и даже не потрудился поднять; уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы так его не оставил. Береги же его, друг мой, ибо пока что он мне не нужен; сейчас, напротив, я сниму с себя все доспехи и останусь нагим, как мать родила, если только в пока́янии своем решу подражать более Роланду, чем Амадису.

В таких беседах доехали они до подножья высокой горы, которая высилась одинокой скалой среди множества других гор. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Там росло множество диких деревьев, а растения и цветы делали это место еще более приятным. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа избрал местом своего покаяния и, завидев ее, заговорил громким голосом, как умалишенный:

– О небо, вот место, которое я назначаю себе и избираю, чтобы оплакивать ниспосланные мне тобой несчастья! Вот место, где влага моих глаз сольется со струями ручейка, где от беспрестанных глубоких вздохов моих будут непрерывно шелестеть листья горных деревьев, свидетельствуя и повествуя о печали истерзанного сердца. О, кто бы вы ни были, сельские божества, живущие в этом необитаемом месте, услышьте жалобы злосчастного любовника! Долгая разлу-

ка и ревнивые подозрения побуждают его томиться в горных ущельях и жаловаться на непреклонность бесчувственной красавицы – венца и завершения всего, что есть прекрасного на свете! О вы, напеи и дриады, живущие обычно в лесах по склонам гор[9], пусть быстроногие и похотливые сатиры, что безответно в вас влюбляются, не смущают никогда вашего отрадного покоя и не мешают вам оплакивать вместе со мной мои невзгоды или, по крайней мере, без устали внимать моим стонам! О Дульсинея Тобосская, день в ночи моей, слава моей муки, компас путей моих, звезда моего счастья, – пусть небо благосклонно исполнит все твои желания, – посмотри только, до какого состояния довела меня разлука с тобой, и, милостивая, награди по заслугам мою верность! О уединенные деревья, отныне товарищи моего одиночества, подайте мне знак нежным колебаньем ветвей, что мое присутствие вам не в тягость! О ты, мой оруженосец, приятный спутник в моих удачах и невзгодах, запечатлей в своей памяти все, что я сейчас стану делать, и сообщи и расскажи это единственной виновнице всех моих поступков!

Сказав это, он соскочил с Росинанта и в одно мгновение снял с него седло и уздечку, потом хлопнул его рукой по крупу и сказал:

– О конь, столь же прославленный своими подвигами, сколь обездоленный судьбою, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоем написано, что ни Гиппогриф Астольфа, ни знаменитый Фронтино, столь дорого обошедшийся Брадаманте[10], не сравнятся с тобой в быстроте.

А Санчо, увидев это, сказал:

– Черт бы побрал того, кто избавил нас от труда расседлывать Серого![11] Уж я бы тоже сумел похлопать его по спине и наговорить ему всяких похвал. Впрочем, если бы он был тут, я бы ни за что не согласился его расседлать: зачем бы это нужно? Какое ему дело до безумств влюбленных, впавших в отчаяние, раз Богу было угодно, чтобы его хозяином был я, который ничуть не влюблен? Но, по правде говоря, сеньор Рыцарь Печального Образа, если ваша милость всерьез собирается отослать меня, а потом спятить с ума, так следовало бы опять оседлать Росинанта: он заменит мне пропавшего Серого, и таким образом я скорее доеду и возвращусь; если же мне придется идти пешком, так уж я и не знаю, когда я туда доберусь и когда вернусь обратно, ибо, в сущности говоря, ходок я плохой.

– Ну что ж, – ответил Дон Кихот, – пусть будет по-твоему, – мысль твоя не плоха; и ты отправишься отсюда через три дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал ей обо всем этом.

– Да чего же мне еще смотреть? – сказал Санчо. – Мало я что ли насмотрелся?

– Ничего ты не понимаешь! – ответил Дон Кихот. – Вот теперь я стану рвать на себе одежды, расшвыряю доспехи, буду биться головой о скалы и прочее в таком же роде, что должно привести тебя в изумление.

– Ради самого Господа, – сказал Санчо, – бейтесь о скалы поосторожнее: ведь вы можете наткнуться на такую скалу и так о нее удариться, что вся эта ваша затея с покаянием разом кончится. И вот что я советую вашей милости: раз вы считаете, что в этом деле необходимо биться лбом и что без этого никак нельзя обойтись, и раз вся эта история сплошная выдумка, подделка и комедия, то не довольно ли будет с вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче, вроде ваты, а остальное предоставьте мне: уж я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом об острие скалы, твердое, как алмаз.

– Благодарю тебя за доброе намерение, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – но я должен тебе сказать, что все это я проделываю не в шутку, а всерьез, ибо иначе я нарушил бы законы рыцарства, запрещающие нам ложь, как нарушение устава, – а разве делать одну вещь вместо другой не то же самое, что лгать? Вот почему удары головой о камни должны быть подлинными, крепкими и полновесными, без всякой примеси фальши и притворства. Необходимо также, чтобы ты оставил мне немножко корпии для лечения ран, раз уж волею судьбы мы потеряли бальзам.

– Хуже то, что мы потеряли осла, – ответил Санчо; – ведь на нем была и корпия и все остальное. А об этом проклятом питье, умоляю вас, ваша милость, лучше не напоминайте: стоит мне только услышать о нем – и у меня переворачивается не только душа, но и желудок. И еще прошу вас: вообразите, что назначенный вами трехдневный срок уже кончился, что все ваши безумства я уже видел и считаю это дело решенным и конченным, а я нашей сеньоре наскажу про вас разных чудес. Итак, пишите письмо и отправляйте меня поскорее, так как мне очень хочется пораньше вернуться и вызволить вашу милость из этого чистилища.

– Ты называешь это чистилищем, Санчо? – сказал Дон Кихот. – Вернее было бы назвать это адом или еще похуже, если только есть на свете худшие места.

– Люди говорят, – ответил Санчо, – что для того, кто угодил в ад, – nula es retencio[12].

– Не понимаю, что значит retencio, – сказал Дон Кихот.

– Retencio, – отвечал Санчо, – означает, что кто попал в ад, не может уже оттуда выбраться. А с вашей милостью будет совсем наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, чтобы пришпоривать Росинанта. Как только я доберусь до Тобосо и предстану перед лицом нашей сеньоры Дульсинеи, так я ей такого наговорю о глупостях и безумствах (что одно и то же), которые ваша милость проделывала и продолжает проделывать, что станет она мягче перчатки, хотя бы до этого была тверже дуба; а затем, прихватив с собой ее сладкий как мед ответ, я, наподобие колдуна, прилечу обратно по воздуху и извлеку вашу милость из этого чистилища, которое только с виду похоже на ад, ибо вас не покидает надежда выйти из него, – а я уж вам докладывал, что у грешников в аду этой надежды нет, и я не думаю, чтобы ваша милость могла что-либо мне возразить.

– Совершенно верно, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Но каким же образом мы напишем письмо?

– И расписку на получение ослят?[13] – прибавил Санчо.

– Все, все будет, – ответил Дон Кихот; – но только у нас нет бумаги, и потому следовало бы нам по примеру древних писать на листьях деревьев или вощаных табличках, хотя, впрочем, найти здесь такие таблички столь же затруднительно, как и отыскать бумагу. Впрочем, вот счастливая мысль: ведь я могу отлично воспользоваться для этого записной книжкой, принадлежавшей Карденио! А ты в первом же местечке, куда приедешь, постарайся разыскать какого-нибудь школьного учителя или хотя бы ризничего и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге и красивым почерком; только смотри, не давай его писарям, которые обычно пишут, не отрывая пера от бумаги, так что их почерк сам сатана не разберет.

– Ну, а как же быть с подписью? – спросил Санчо.

– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон Кихот.

– Так-то оно так, – сказал Санчо, – а только расписка непременно должна быть за подписью, а если дать ее перебелить, так наверное скажут, что подпись поддельная, – и я так и останусь без ослят.

– Расписку свою я подпишу в книжке, и, когда племянница увидит мою руку, она без всяких затруднений исполнит мое поручение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: "Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа". И неважно, что это будет написано другим, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка, ибо наша взаимная любовь всегда была платонической и дальше почтительных взглядов никогда не шла. Да и то смотрели мы друг на друга весьма редко, и я могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, которые рано или поздно покроются сырой землей, я не видел ее и четырех раз, и очень возможно, что она-то сама ни разу и не заметила, что я на нее смотрел: вот в какой строгости и замкнутости воспитали Дульсинею Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.

– Те-те-те! – воскликнул Санчо. – Так значит сеньора Дульсинея Тобосская не кто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло, иначе называемая Альдонса Лоренсо?

– Да, – ответил Дон Кихот, – и она достойна быть царицей всего мира.

– Да я ее отлично знаю, – ответил Санчо; – барру она мечет так[14], что самый сильный парень в деревне за ней не угонится. Накажи меня Бог, она девка хоть куда, ладная да складная, – ражая баба: она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за бороду из грязи вытащит, если только станет его любезной! Лопни я на этом месте, и силища же у нее, а какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать батраков своего отца, работавших в поле, и хоть были они больше чем в полумиле от деревни, а услышали ее так же ясно, как

будто стояли у самой колокольни. А что в ней самое хорошее, так это то, что она ничуть не жеманится, как есть штучка городская[15], со всеми дурачится, и все ее смешит и потешает. Теперь я могу сказать, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть полное основание впасть в отчаяние и даже повеситься, – а если кто про это узнает, так, наверное, скажет, что поступили вы в высшей степени правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уж не терпится тронуться в путь, чтобы поглядеть на нее: сколько дней уж я ее не видел, и, должно быть, она изменилась: она ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, – а от этого у женщин лица портятся. Ну, а теперь, сеньор Дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом невежестве, ибо твердо и крепко полагал, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюблена, – какая-то принцесса или вообще важная персона, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала: ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, много и другого чего, – ведь, наверное, ваша милость одержала немало побед еще в ту пору, как я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть, я хочу сказать, сеньре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает к ней и будет посылать побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь может случиться, что в момент их прибытия она как раз будет расчесывать лен или молотить на гумне: тогда они, застав ее за такой работой, рассердятся, а ее ваш подарок рассмешит и обидит.

– Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты великий болтун, и, хоть голова у тебя тупая, вечно ты остроумничаешь. Но, чтобы тебе было ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, я расскажу тебе одну повестушку. Жила-была молодая и красивая вдова; была она свободна, богата и весьма нестрогих нравов и влюбилась она в молодого послушника, парня дюжего и рослого. Дошло это до сведения аббата, и однажды под видом отеческого наставления сказал он доброй вдове: "Удивляюсь я, сеньора, и не без причины: ваша милость – особа знатная, красивая и богатая, а влюбились вы в такого грязного, грубого и безмозглого мужика; а между тем в нашей обители есть столько магистров, лекторов и теологов, и ваша милость могла бы себе выбрать любую грушу по вкусу и сказать: "Этого не желаю, хочу того". На что дама ответила ему весьма весело и непринужденно: "Ваша милость, сеньор мой, весьма заблуждается и очень отстал от века, если полагает, что я плохо выбрала дружка, хоть и кажется он простофилей: ибо в том, что я от него требую, – он такой же философ, как Аристотель, а то и почище". Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульсинеи Тобосской, она не уступит самой высокородной принцессе на свете. Да и не все дамы, которых прославляют поэты и которым они выбирают имена по своему усмотрению, существуют в действительности! Неужели ты думаешь, что все эти Амарилисы, Фидылй, Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и прочие дамы[16], которыми полны книги, романсы,

лавки цирюльников и театры, были действительно женщинами из плоти и крови и возлюбленными тех, кто их воспевал или воспевает? Конечно же нет; большей частью поэты их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви. Так и с меня совершенно достаточно воображать и верить, что эта славная Альдонса Лоренсо – девушка красивая и честная. Что же касается чистоты ее рода, то это не существенно: ведь никто не станет наводить о нем справок, как это делается при поступлении в какой-нибудь орден[17], и потому для меня она – самая высокородная принцесса на свете. Ибо тебе следует знать, Санчо, если ты только этого не знаешь, – что две вещи особенно возбуждают любовь, а именно – великая красота и добрая слава, и обе они в полной мере присущи Дульсинее: в красоте никто не сравнится с ней, а в доброй славе мало кто с ней поспорит. Одним словом, я считаю, что все мои слова – не более и не менее как чистейшая правда, и в воображении своем я рисую себе ее такой прекрасной и благородной, какой мне хочется ее видеть; с ней не сравнится Елена, с ней не в силах соперничать ни Лукреция[18], ни другие греческие, варварские и латинские знаменитые жены прошедших времен. И путь люди говорят, что им угодно; ибо, если невежды будут меня порицать, то строгие судьи не смогут осудить меня.

– Признаюсь, ваша милость вполне права, – ответил Санчо, – а я – осел. К чему только из уст моих вырвалось слово "осел"? Ведь в доме повешенного не говорят о веревке. Ну, пожалуйте письмо и прощайте – я отчаливаю.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо, а потом, окончив его, подозвал Санчо и сказал, что желает прочесть ему свое послание для того, чтобы тот запомнил его наизусть на случай, если по дороге оно затеряется, ибо судьба столь к нему жестока, что всего можно опасаться. На это Санчо ответил:

– Да вы, ваша милость, напишите его в книжке раза два или три и передайте мне, а уж я доставлю в целости; если же вы полагаете, что я выучу его наизусть, так уж это извините: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Ну, а все-таки почитайте, мне будет очень приятно послушать; должно быть, оно написано в самый раз.

– Итак, слушай, что я написал, – сказал Дон Кихот.

ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ

Высокая и властительная сеньора!

Раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки рыцарь, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, желает тебе здоровья, хотя сам и лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение несет мне гибель, – хотя и привычен я к страданью, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, о жестокая красавица, о возлюбленный враг мой, в том, в какое состояние ты меня привела. Если удостоишь меня помощи, я твой; если же нет, поступай,

как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.

Твой до гроба
Рыцарь Печального Образа.

– Клянусь жизнью моего батюшки, – воскликнул Санчо, выслушав это послание, – никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного! Диву даешься, как это ваша милость так складно передает свои мысли и как это все ловко подогнано к подписи "Рыцарь Печального Образа!" Да ваша милость, право слово, сущий дьявол: чего вы только не знаете!

– В моем деле, – ответил Дон Кихот, – все нужно знать.

– Ну, а теперь, – продолжал Санчо, – напишите-ка вы, ваша милость, на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь как только можете разборчивей, чтобы каждый, взглянув, сразу же узнал ваш почерк.

– Охотно, – ответил Дон Кихот и, написав, прочел следующее:

Велите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю настоящей квитанции по ослиной части номер первый, моему оруженосцу Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю вам выдать ему в возмещение за полученных мною здесь от него наличностью трех других. По совершении этого и получении от него расписки наши счеты с ним надлежит считать покончеными. Писано в дебрях Сьерра-Морены, двадцать второго августа сего текущего года.

– Превосходно, – сказал Санчо, – а теперь, ваша милость, подпишитесь.

– Незачем подписываться, – ответил Дон Кихот, – мне достаточно сделать росчерк, – это все равно, что подпись: его хватит не только для трех ослят, а и для целых трех сотен.

– Верю вашей милости, – ответил Санчо. – Отпустите-ка меня, – я пойду седлать Росинанта, – а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение: я сейчас и отправлюсь, а на безумства, которые ваша милость́ собирается проделывать, смотреть не стану, – все равно я скажу, что видел их такую уйму, что больше не потребуется.

– Но, по крайней мере, я желаю, Санчо, – ибо это крайне необходимо, – я желаю, повторяю тебе, чтобы ты увидел, как я сейчас проделаю нагишом дюжину-другую безумств, что займет каких-нибудь полчаса. Если ты увидишь их собственными глазами, ты со спокойной совестью сможешь поклясться, что видел и те, которые тебе придет в голову прибавить к ним. И можешь быть уверен, что, сколько бы ты их ни перечислил, на самом деле их будет гораздо больше.

– Ради самого Бога, сеньор мой, не заставляйте меня смотреть на вашу милость в голом виде: мне так станет вас жалко, что я непременно разревусь, а я вчера вечером столько уж плакал из-за Серого, что у меня голова распухла, и я не в силах начинать сызнова. А если вашей милости так уж хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их одетый и поскорей, выбрав пер-

вые попавшиеся. Тем более, что для меня этого вовсе не требуется, как я уже вам докладывал, это только задержит мое возвращение с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Пускай сеньора Дульсинея твердо знает: ежели она не ответит как полагается, так я приношу торжественный обет – надаю ей таких пинков и оплеух, что выколочу у нее из живота благоприятный ответ. Да помилуйте, как же это можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, так, ни с того ни с сего, спятил с ума из-за такой... Нет уж, пусть она меня не заставляет договаривать, а то я такое загну, что ни ей, ни мне не поздоровится! Уж на это я мастер. Плохо она меня знает: а коли знала б, то постилась бы в день моего святого!

– По правде говоря, Санчо, – сказал Дон Кихот, – кажется мне, что голова твоя не более в порядке, чем моя.

– Я не такой сумасшедший, – ответил Санчо, – но зато я вспыльчивее. Но оставим это; а вот, скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Не собираетесь ли вы выбегать на дорогу, как Кардению, и грабить пастухов?

– Об этом ты не беспокойся, – ответил Дон Кихот; – если бы даже у меня и были припасы, я и то бы не стал есть ничего, кроме трав и плодов с этого луга и этих деревьев. Ведь вся тонкость моего предприятия и состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя всяким лишениям.

На это Санчо ответил:

– А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги сюда.

– А ты хорошенько запомни приметы, – сказал Дон Кихот, – я же постараюсь не уходить отсюда далеко и от времени до времени буду подниматься на самые высокие утесы, посматривая, не возвращаешься ли ты. Впрочем, для большей верности, чтобы не заблудиться и не потерять следы, нарежь побольше дроку, – видишь, сколько его растет кругом, – и разбросай его на небольших расстояниях, пока не выедешь на ровное место: по этим вехам и приметам ты, как по нити Тесея в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.

– Ладно, так я и сделаю, – ответил Санчо Панса.

Он сорвал несколько веток дрока, попросил у своего господина благословения, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины, от времени до времени бросая ветки дрока, как велел его господин. Так он и уехал, хотя Дон Кихот не переставал упрашивать его посмотреть хотя бы на парочку его безумств. Но, не отъехав и ста шагов, Санчо вернулся и сказал:

– Ваша милость, вы весьма правильно давеча сказали, что мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму грех на свою душу, коли поклянусь, что их видел, – хотя, впрочем, одно ваше великое безумство я уже видел: это то, что ваша милость здесь остаетесь.

– Не говорил ли я тебе это самое? – сказал Дон Кихот. – Погоди немного, Санчо, ты не успеешь прочитать "Credo", как я уж их проделаю.

Поспешно скинув штаны, он стался в одной рубашке на голом теле и без долгих предисловий проделал два прыжка в воздухе, а потом перекувырнулся два раза, головой вниз и ногами вверх; тут перед глазами Санчо открылись такие подробности, что он, не желая увидеть их вторично, повернул Росинанта и двинулся в путь, вполне довольный и удовлетворенный, ибо теперь он мог поклясться, что господин его рехнулся. И здесь мы с ним расстанемся в ожидании его скорого возвращения.

ГЛАВА XXVI

повествующая о дальнейших любовных подвигах Дон Кихота в Сьерра-Морене

Возвращаясь к повествованию о том, что делал Рыцарь Печального Образа, оставшись один, наша история сообщает, что, когда Дон Кихот, одетый от головы до пояса и голый от пояса до пят, кончил свои кувыркания и прыжки и заметил, что Санчо, не пожелав присутствовать при дальнейших безумствах, уже уехал, он взобрался на вершину высокой скалы и принялся думать о том, о чем уже он думал множество раз, хоть и не мог он до сих пор придти к какому-нибудь решению, а именно, что лучше и полезнее: подражать ли Роланду в его бешеном неистовстве или Амадису в меланхолическом безумии? Рассуждая с самим собой, он сказал:

– Все говорят, что Роланд был добрым и отважным рыцарем, но в этом нет ничего удивительного, ибо, в конце концов, он был очарован, и убить его можно было не иначе, как вонзив ему простую булавку в пятку, а он всегда носил сапоги с семью железными подметками[1]. И, тем не менее, никакие хитрости ему не помогли[2], так как Бернардо дель Карпио их разгадал и в Ронсевале задушил его в своих объятиях. Но оставим в стороне его храбрость, а рассмотрим теперь, как он потерял рассудок; несомненно, он сошел с ума, когда увидел у источника следы и пастух сообщил ему, что Анджелика более двух раз в послеполуденное время спала с Медором, курчавым мавром, пажом Аграманта[3]. Если он решил, что это правда и что его дама нанесла ему такое оскорбление, так что ж тут особенного, что он сошел с ума? Но как же мне подражать его безумству, если у меня нет к тому подобных оснований? Ведь я могу поклясться, что моя Дульсинея Тобосская во все дни своей жизни и в глаза не видывала живого мавра в его настоящем наряде[4] и что она так же невинна, как мать, которая ее родила. Я бы причинил ей явную обиду, если бы усомнился в этом и стал бы безумствовать в том же роде, как и неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Галльский, не теряя рассудка и не совершая никаких безумств, прославился своей влюбленностью, как никто на свете; ибо в истории его говорится,

что, когда его отвергла сеньора Ориана, повелев ему не появляться ей на глаза, пока не будет на то ее воли, он, в сопровождении одного отшельника, удалился на Пенья Побре и, поручив свою душу Богу, исходил там слезами, пока небо не сжалилось над его великой скорбью и печалью. Если все это правда (что несомненно), то для чего же мне брать на себя труд раздеваться донага и терзать эти деревья, не сделавшие мне никакого зла? Для чего мне мутить ясную воду этих ручьев, которые напоят меня, когда мне захочется? Да здравствует память Амадиса и да последует по мере возможности его примеру Дон Кихот Ламанчский, о котором скажут то же, что говорят о другом герое: "великих дел он не свершил, но умер, к ним стремясь душою"[5]. Правда, моя Дульсинея не отвергла и не презрела меня, но разве, как я уже сказал, мне не достаточно того, что я с нею разлучен? Итак, вперед и за работу; а вы, деянья Амадиса, придите мне на память и научите меня, с чего мне начать, подражая вам. Да, я припоминаю: он больше всего молился, поручая себя Богу. Только как быть с четками, которых мне недостает?

Однако он быстро придумал, как изготовить четки: оторвав широкую полосу от подола своей рубашки, болтавшейся у него по ногам, он сделал на ней одиннадцать узелков, один из которых был покрупнее остальных, и получились четки, которых ему хватило на миллионы Ave Maria, прочитанных им за все время, пока он там находился. Одно только его смущало – что негде было найти отшельника, который бы исповедал и утешил его. Так проводил он время, разгуливая по лужку и сочиняя стихи либо по поводу своей печали, либо во славу Дульсинеи; он вырезывал их на коре деревьев и чертил на мелком песке. Но когда нашего рыцаря разыскали, из всех этих стихов уцелели и могли быть разобраны только следующие:

Дерева, растенья, травы,
Что вокруг меня стоите
Зелены, широкоглавы,
Коль не трудно, о, внемлите
Песням жалобной отравы!

Пусть не даст забот к заботам
Вам печаль моя: ну где ей!
Чтоб сравниться с вами счетом
Слезы льются Дон Кихотом,
Разлученным с Дульсинеей
Из Тобосо.

Местность дикая, пустая,
Цвет любовников куда
Загнала жестокость злая,
Чтобы бремя нес труда,
Почему, и сам не зная!
Треплется во всю Эротом,

Терпит и спиной, и шеей,
Так что впрямь водоворотом
Слезы льются Дон Кихотом,
Разлученным с Дульсинеей
Из Тобосо.

Он, искавши приключенья
В тесной диких скал утробе
Клял суровое презренье,
Очутился же в трущобе,
Встретив только злоключенья.
Ведь Амур, глухой ко льготам,
Нас бичом, не портупеей,
Так хватил, что уж чего там!
Слезы льются Дон Кихотом,
Разлученным с Дульсинеей
Из Тобосо.

Эта прибавка слов *из Тобосо* к имени Дульсинеи немало насмешила прочитавших эти стихи, ибо они представляли себе, что Дон Кихот, должно быть, воображал, что его куплеты будут непонятны, если он назовет свою даму просто Дульсинеей без прибавления *из Тобосо*. Это предположение оказалось правильным, так как впоследствии он сам в этом признался. Он написал еще много других стихов, но, как мы уже сказали, только эти три куплета удалось разобрать и прочесть целиком. Так он и проводил время: сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам и сильванам этих лесов, к нимфам ручьев, к жалобному и влажному Эхо, умоляя их услышать его, ответить и утешить; а также искал он разных трав, чтобы поддержать свои силы до возвращения Санчо, – и если бы тот вернулся не через три дня, а через три недели, он нашел бы Рыцаря Печального Образа столь изменившимся, что и сама мать, произведшая его на свет, не узнала бы его.

А теперь оставим его, поглощенного стихами и воздыханиями, и расскажем о том, что случилось с Санчо Пансой во время его посольства. Выехав на проезжую дорогу, Санчо стал разыскивать путь в Тобосо и на другой день подъехал к постоялому двору, где некогда постигла его неприятность с подкидыванием на одеяле. Едва он завидел его, как почувствовал себя опять порхающим в воздухе, и потому ему не захотелось заезжать туда, хотя и следовало как будто это сделать: время было обеденное, а ему страх хотелось съесть чего-нибудь горячего, так как уже долгое время он ел одно холодное.

Эта необходимость заставила его подъехать к воротам, но он все колебался, входить ему ли не входить; а пока он об этом раздумывал, из постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же его узнали, и один из них сказал другому:

– Скажите-ка, сеньор, лиценциат, этот верховой – не Санчо Панса ли, про которого экономка нашего искателя приключений говорила, что он отправился со своим господином в качестве оруженосца?

– Да, он самый, – ответил лиценциат, – и сидит он на лошади нашего Дон Кихота.

Им нетрудно было узнать Санчо Пансу, ибо это были священник и цирюльник из одной с ним деревни – те самые, которые произвели обследование библиотеки Дон Кихота и суд над книгами. А узнав Санчо Пансу и Росинанта, они приблизились, желая получить сведения о Дон Кихоте, и священник, окликнув Санчо Пансу по имени, сказал:

– Друг Санчо Панса, где ваш господин?

Санчо Панса тоже немедленно их узнал, но решил скрыть, в каком месте и в каком положении остался его господин; поэтому он ответил, что господин его занят кое-где одним делом величайшей важности, а каким, он сказать не может, хоть вырви они ему глаза.

– Нет, нет, Санчо Панса, – сказал цирюльник, – если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем – да, впрочем, уже и сейчас подумали, – что вы его убили и ограбили, раз вы едете верхом на его лошади. Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.

– Нечего вам мне угрожать; не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить; пускай себе каждый помирает, когда ему на роду написано или когда это угодно Господу Богу. Мой господин остался в горах и там в полное свое удовольствие предается покаянию.

И тут же без передышки и без остановки он рассказал им, в каком виде остался Дон Кихот и какие с ним случились приключения; затем прибавил, что он везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобосской, дочери Лоренсо Корчуэло, в которую его господин влюблен по самые уши. Священник и цирюльник были удивлены рассказом Санчо Пансы; хотя они и знали о безумии Дон Кихота, как знали и то, какого рода это безумие, а все-таки каждый раз, как они о нем слышали, удивлялись заново. Они попросили Санчо Пансу показать им письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Тот ответил, что оно находится в записной книжке и что ему велено перебелить его на лист бумаги в первом же местечке, куда он приедет; на это священник отвечал, что, если только Санчо покажет ему письмо, он перепишет его очень красивым почерком. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку, но не нашел ее, да и не нашел бы, если бы даже искал ее до сегодняшнего дня, так как книжка осталась у Дон Кихота: тот позабыл ее передать, а Санчо и в голову не пришло самому ее спросить.

Не находя записной книжки, Санчо смертельно побледнел и поспешно стал шарить по всем карманам. Убедившись, что книжки нет, он, не долго думая, вцепился себе обеими руками в бороду, вырвал половину ее, а затем быстро и без передышки надавал себе с полдюжины ударов кулаками по лицу и по носу, пока, наконец, из носу у него не потекла кровь. Увидев это, священник и цирюльник спросили, что с ним такое приключилось и за что он себя так казнит.

– Что со мной приключилось? – ответил Санчо. – А то приключилось, что я в одну минуту из-под самого носа упустил трех ослят, из которых каждый стоит целого замка.

– Что это значит? – спросил цирюльник.

– Я потерял записную книжку, – сказал Санчо, – где было письмо к Дульсинее и расписка за подписью моего господина, в которой он велит своей племяннице из четырех или пяти ослят, ему принадлежащих, выдать мне трех.

И тут он рассказал им о потере Серого. Священник его утешил и сказал, что, когда разыщется его господин, он уговорит его подтвердить свое обещание и еще раз написать расписку, но только на отдельном листе, как это водится и полагается, ибо документы, внесенные в записные книжки, никогда не принимаются и не оплачиваются.

После этого Санчо успокоился и заявил, что раз дело обстоит так, то потеря письма к Дульсинее не очень его огорчает, так как он знает его почти наизусть и может продиктовать, где и когда понадобится.

– Ну, так скажите его нам, Санчо, – попросил цирюльник, – а мы его запишем.

Санчо Панса принялся почесывать голову, чтобы извлечь из своей памяти содержание письма, и долго переминался с ноги на ногу; он поглядывал то на землю, то на небо, изгрыз полногтя на одном пальце и, наконец, порядком помучив слушателей, ожидавших, что такое он скажет, после длиннейшей паузы сказал:

– Черт меня побери совсем, сеньор лиценциат, никак не могу припомнить этого дьявольского письма; знаю только, что начиналось оно так: "Высокая и вместительная сеньора".

– Не может быть, чтобы "вместительная", – возразил цирюльник. – Должно быть, он написал "владетельная" или "властительная".

– Так оно и есть, – согласился Санчо. – А дальше, помнится мне, говорилось: "драный и бессонный, изъязвленный целует руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица", и еще что-то дальше по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает, – очень хорошо все было расписано, а в конце стояло: "Ваш по гроб Рыцарь Печального Образа".

Священника и цирюльника немало позабавила хорошая память Санчо Пансы; они расхвалили его и попросили повторить письмо еще два раза для того, чтобы запомнить его наизусть и в свое время записать. Санчо повторил его еще три раза и снова наговорил три короба разной чуши. Затем он рассказал о делах своего господина; но о подбрасыванье на одеяле, случившемся с его собственной персоной на этом постоялом дворе, куда ему неохота было теперь заходить, он не сказал ни слова. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи Тобосской его господин решил приложить все усилия, чтобы сделаться императором или по меньшей мере монархом, – так уж они между собой порешили, – и что дело это совсем не трудное, если принять во внимание доблесть Дон Кихота и мощь его руки. А как только это случится, он женит его (к тому времени Санчо овдовеет, ведь иначе и быть не может) и в жены ему даст какую-нибудь фрейлину императрицы, наследницу богатых и обширных поместий на твердой земле, без всяких островов или островков, которые ему уж очень не по вкусу. Все это Санчо рассказывал с величайшей невоз-

мутимостью, от времени до времени прочищая себе нос, и с таким дурацким видом, что священник и цирюльник снова изумились и подумали: каково же должно было быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился им и спятил с ума! Они решили не утруждать себя, объясняя Санчо его заблуждение, ибо рассудили, что не стоит его разубеждать, раз совесть его чиста: им же будет забавнее слушать его вздорные разглагольствования. Поэтому они посоветовали ему молить Бога о здоровье Дон Кихота и прибавили, что намерение его господина сделаться в будущем императором – дело исполнимое и возможное, не говоря уже о том, что его могут возвести в сан архиепископа или в другой равный этому чин. На это Санчо ответил:

– Сеньор, а ежели Фортуна повернет дело так, что моему господину вздумается стать не императором, а архиепископом, то хотелось бы мне знать: что странствующие архиепископы обычно жалуют своим оруженосцам?

– Обычно они жалуют им, – ответил священник, – какой-нибудь бенефиций, должность священника или ризничего: это приносит хороший годовой доход, не считая вознаграждения за требы, которые дают не меньше того.

– Но для этого необходимо, – возразил Санчо, – чтобы оруженосец не был женат и чтобы он по меньшей мере умел прислуживать во время мессы; а ежели так, то горе мне несчастному: я женат и не знаю даже первой буквы в азбуке! Что со мной будет, если господину моему взбредет в голову сделаться архиепископом, а не императором, по примеру и обычаю странствующих рыцарей?

– Не тревожьтесь, друг мой Санчо, – сказал цирюльник, – мы упросим вашего господина, дадим ему добрый совет и поставим на вид, что ежели он сделается не императором, а архиепископом, то этим он возьмет грех на свою совесть; да первое ему ведь и легче, ибо у него больше военной доблести, чем учености.

– Да и мне так казалось, – ответил Санчо, – хотя должен я вам сказать, что у него ко всему есть способности. А я вот что надумал: буду молить Господа Бога, чтобы он вывел его на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться и меня осыпать великими милостями.

– Вы говорите разумно, – сказал священник, – и поступаете как добрый христианин. Ну, а теперь нам нужно действовать – принять меры, чтобы поскорей освободить вашего господина от бесполезного покаяния, которому, по вашим словам, он предается. И, чтобы обдумать наш образ действий и закусить, – ибо час уже поздний, – давайте зайдем на постоялый двор.

Санчо ответил, что они могут войти, а он подождет их снаружи и потом объяснит, почему он не пожелал войти и почему это ему не подходит; но он их попросил вынести ему поесть чего-нибудь горячего и кстати прихватить овса для Росинанта. Они расстались с ним и вошли в гостиницу, и через несколько минут цирюльник вынес ему еду. Друзья наши долго между собой обсуждали, что бы им такое предпринять, чтобы достичь желанной цели, и, наконец, священнику пришла в голову мысль вполне во вкусе Дон Кихота и весьма подходящая к их затее: он объявил цирюльнику, что надумал переодеться странствующей девицей, цирюльник же должен был постараться изображать собой оруже-

носца; и в таком виде они отправятся в горы к Дон Кихоту. Священник притворится оскорбленной и обездоленной девицей и попросит Дон Кихота оказать ей милость, в которой тот, как доблестный странствующий рыцарь, не сможет ей отказать; а милость эта будет заключаться в том, чтобы Дон Кихот последовал за ней повсюду, куда ей будет угодно его повести, и отомстил за обиду, нанесенную ей одним злым рыцарем. При этом она попросит позволения не снимать маски и не отвечать на расспросы, пока обида злого рыцаря не будет отомщена. Священник был уверен, что Дон Кихот при этих условиях пойдет на все, и таким способом они уведут его оттуда, доставят на родину и там подумают, нет ли какого-нибудь лекарства против его необычайного помешательства.

ГЛАВА XXVII

о том, как священник и цирюльник привели в исполнение свой план, и о других событиях, достойных упоминания в этой великой истории

Цирюльнику понравился план священника, и они тотчас же стали приводить его в исполнение. У хозяйки постоялого двора выпросили они юбку и головную повязку, а в залог оставили новую сутану священника. Цирюльник смастерил себе длинную бороду из бурого или рыжего бычьего хвоста, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать свой гребень. Хозяйка спросила, для чего им нужны эти наряды. Священник в кратких словах рассказал ей о сумасшествии Дон Кихота и прибавил, что им необходимо переодеться, дабы выманить его из горного ущелья, где он сейчас находится. И хозяин и хозяйка тотчас же догадались, что это – тот самый сумасшедший, который у них приготовлял свой бальзам, и что это его оруженосца подкидывали на одеяле; тут они рассказали священнику обо всем, что произошло в их дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Санчо. Наконец хозяйка нарядила священника так, что лучше и невозможно: надела на него суконную юбку с нашитыми на ней полосами из черного бархата шириною в ладонь, с набивными прорезями, и корсаж из зеленого бархата, украшенный кантиками из белого атласа (такие юбки и корсажи носили, вероятно, во времена короля Вамбы)[1]. Священник не пожелал женского головного убора: он надел свой полотняный стеганый колпак, в котором обычно спал ночью, и повязал себе лоб полосой черной тафты, а из другой полосы сделал нечто вроде маски, которая отлично прикрывала его лицо и бороду. Поверх всего он нахлобучил шляпу таких размеров, что она могла служить ему зонтом, и, запахнувшись в плащ, по-дамски уселся на мула, а на другого мула сел цирюльник с бородой, которая доходила ему до пояса и была цвета не то бурого, не то рыжего, ибо, как мы уже сказали, она была сделана из грязного бычьего хвоста.

Попрощались они со всеми, в том числе и с доброй Мариторнес, пообещавшей им на каждое зернышко четок прочитать по молитве: быть может, Господь

услышит ее, грешницу, и пошлет удачу в задуманном ими трудном и воистину христианском деле. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как священнику пришло на мысль, что он поступает дурно, разъезжая в таком наряде, ибо не подобает духовной особе наряжаться женщиной, хотя бы и с самыми благими намерениями. Он сказал об этом цирюльнику и попросил его обменяться с ним платьем, – ибо гораздо приличнее, чтобы обездоленной девицей был цирюльник, а оруженосцем – священник: так, по крайней мере, он меньше унизит свой сан; и он прибавил, что, в случае его отказа, он решил бросить всю эту затею, и пускай Дон Кихот отправляется к самому дьяволу. В эту минуту подъехал Санчо и, увидя их обоих в таком положении, не мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить желание священника, и тот, излагая новый план, стал его поучать, как ему надлежит себя вести и какие слова говорить, чтобы побудить и заставить Дон Кихота последовать за ним и покинуть берлогу, облюбованную им для своего бесплодного покаяния. Цирюльник ответил, что и без его уроков сделает все как полагается; он заявил, однако, что переоденется не раньше, чем подъедет к тому месту, где находится Дон Кихот. Поэтому он уложил свои наряды, а священник нацепил себе бороду, и они поехали дальше, предводительствуемые Санчо Пансой; по дороге тот рассказал им, что у них произошло с безумцем, встреченным в горах, однако умолчал о находке чемодана с его богатым содержимым, ибо хоть и был наш парень простаком, а денежки он больно любил.

На следующий день прибыли они в местность, где Санчо разбросал ветки, чтобы по этому признаку легче отыскать место, где он оставил своего господина; узнав окрестности, он заявил, что это и есть вход в ущелье и что теперь пора им переодеться, если только это может им помочь освободить его господина. Дело в том, что священник и цирюльник еще раньше объяснили Санчо, что для спасения Дон Кихота от бедствий, которые он сам себе придумал, им крайне важно приехать именно в таком виде и наряде, и убедительно просили его не открывать, кто они такие, и не говорить, что он их знает; если же Дон Кихот спросит, а он не может не спросить, передал ли Санчо письмо Дульсинее, то он должен ответить, что передал и что она, за неграмотностью, велела ему сообщить на словах, что приказывает своему рыцарю, под страхом ее немилости, немедленно, сию же минуту отправиться к ней: это, мол, крайне необходимо. Они прибавили, что намерены еще и сами с ним поговорить и с помощью всего этого надеются вернуть его к лучшей жизни и устроить так, чтобы он стал на верный путь и вскоре сделался императором или монархом. Что же касается архиепископства, то этого можно не опасаться. Санчо все это выслушал и твердо запомнил, потом поблагодарил их за намерение посоветовать его господину сделаться не архиепископом, а императором, ибо лично он был твердо убежден, что у императоров больше возможностей жаловать своих оруженосцев, чем у странствующих архиепископов. Затем он прибавил, что ему бы следовало отправиться вперед и передать Дон Кихоту ответ его сеньоры: может быть, одного этого будет достаточно, чтобы извлечь его оттуда, и тогда священнику и ци-

рюльнику не придется так беспокоиться. Друзьям мысль Санчо Пансы понравилась, и они решили остановиться, подождать его возвращения и узнать, нашел ли он своего господина.

Санчо скрылся в горном ущелье, а они расположились на полянке, по которой протекал мирный ручеек, в отрадной и свежей тени высившихся над ними скал и деревьев. Был один из самых знойных дней августа, когда жара в этих местах бывает особенно томительна, и прибыли они туда в три часа пополудни. Все это делало это место еще приятнее и располагало наших путешественников подождать здесь возвращения Санчо; так они и сделали. И вот, когда они расположились на отдых в тени деревьев, до слуха их долетел голос, который сладко и искусно пел, без сопровождения какого-либо музыкального инструмента; они немало этому удивились, так как не ожидали, чтобы в таком месте мог жить столь умелый певец, ибо, хотя обычно и говорится, что в лесах и полях можно встретить пастухов с изумительными голосами, но это скорее поэтическое преувеличение, нежели правда. Но еще больше удивились они, убедившись, что слышат стихи, достойные не деревенских пастухов, а тонко воспитанных людей. И они были правы, ибо вот какие стихи пел неизвестный[2]:

Что мне счастья рушит твердость?
Гордость.
Что дает печали древность?
Ревность.
Что в терпенье мне наука?
Разлука.
Значит, горестная мука
Никаких лекарств не знает,
Раз надежду убивает
Гордость, ревность и разлука.

Отчего болезнь в крови?
От любви.
Отчего преград столбы?
От судьбы.
Отчего мне казнь Эреба?
От неба.
Значит, смерти ждать мне, где бы
Ни был я, от странной хвори,
Раз угрозы, мне на горе,
От любви, судьбы и неба.

Что на помощь шлет мне твердь?
Смерть.
Что в любви не знает тлена?
Измена.
Что исход от мук раздумья?
Безумье.

Значит, глас благоразумья
Не велит искать спасенья,
Раз одно тут исцеленье –
Смерть, измена и безумье.

Время дня, погода, уединенность места, голос и искусство певца – все это радовало и восхищало наших друзей. Они сидели не шевелясь, в надежде, что певец будет продолжать. Однако, видя, что молчание длится, они решили встать и отправиться на поиски сладкогласного певца; но едва они поднялись с места, как тот же голос раздался снова и запел следующий сонет:

Святая дружба, что, на крыльях вея
И бросив на земле свою личину,
Ввысь унеслась к блаженнейшему чину,
Чтоб опочить в палатах Эмпирея,

Оттуда кажешь людям, сожалея,
Высоких благ прикрытую картину,
Откуда бьет порой, как чрез плотину,
К добру порыв, что зла выходит злее.

Покинь, о дружба, небо и обману
Не дай рядиться в платье высшей страсти,
Чтоб вред чинить тем чистоте достойной,

Не потакай притворному дурману,
Не то весь мир увидим мы во власти
Вражды первоначальной и нестройной.

Пение завершилось глубоким вздохом, и наши друзья стали напряженно ждать, не запоет ли этот голос опять. Но, убедившись, что песня сменилась рыданием и жалобными стонами, они захотели узнать, кто этот несчастный, что поет так прекрасно и стонет так горестно. Не прошли они и нескольких шагов, как, обогнув одну скалу, увидели человека, вид и наружность которого вполне соответствовали описанию Санчо Пансы, когда он рассказывал им о Кардении. Незнакомец, заметив их, не испугался, а продолжал сидеть неподвижно, опустив голову на грудь с видом глубокой задумчивости; он взглянул на них только раз, когда они внезапно перед ним появились, и больше не поднимал глаз. Священник, обладавший даром слова (ему уже было известно несчастье Кардении, которого он успел узнать по внешним признакам), подошел к нему и в кратких, но разумных словах стал его просить и уговаривать покинуть эту горестную пустыню, чтобы не загубить здесь совсем свою жизнь, что было бы худшим из всех бедствий. Как раз в это время Кардении находился в здравом уме и не был подвержен яростному безумию, припадки которого так часто лишали его самообладания; а потому, увидя наших друзей, столь не похожих по платью на жителей этих дебрей, он был несколько озадачен. Его удивление увеличилось, когда он услышал, что они говорят о его делах, как о чем-то хорошо им известном (это было вполне ясно из речей священника), и он ответил следующим образом:

– Кто бы ни были вы, сеньоры, я вижу, что небо, всегда готовое помогать добрым, а нередко и злым, не по заслугам послало мне в эти места, удаленные от человеческого общежития, людей, которые ясными и разнообразными доводами пытаются доказать мне, что я поступаю безумно, избрав подобную жизнь. Вы желаете увлечь меня отсюда и вывести на верную дорогу; но вы не знаете, – а я-то хорошо знаю, – что, уйдя от этого бедствия, я подвергнусь еще худшему страданию, и потому, должно быть, считаете меня человеком слабоумным или – что еще того хуже – совсем лишенным рассудка. Да и ничего бы не было удивительного, если бы вы так думали: я и сам вижу, что воображение, рисующее мне мое несчастье, с такой силой толкает меня на гибель, что я никак не могу с ним бороться; я превращаюсь в камень, лишаюсь чувств и разума, и что это именно так, я узнаю от пастухов, которые рассказывают мне, что́ я проделывал во время ужасных моих припадков, и обращают мое внимание на следы моего бешенства. И тогда мне остается только тщетно жаловаться, бесплодно проклинать судьбу и в оправдание своих неистовств рассказывать всем, желающим слушать, о причине, их вызвавшей; ибо люди здравомыслящие, поняв причину, перестанут удивляться следствиям и если не исцелят меня, то, по крайней мере, не обвинят и вместо того, чтобы сердиться на мое беспутство, посочувствуют моим несчастьям. Если вы, сеньоры, явились сюда с тем же намерением, с которым приходили и другие до вас, то прошу вас: погодите уговаривать меня с таким благоразумием, а выслушайте сперва перечень моих неисчислимых горестей; быть может, дослушав его до конца, вы потеряете охоту утруждать себя, утешая меня в горе, не подлежащем никакому утешению.

Священник и цирюльник, жаждавшие услышать из собственных уст Карденио о причине его несчастья, стали просить его рассказать, обещая, что в помощь ему и в утешение они не предпримут ничего такого, чего бы он сам не пожелал. Тогда печальный кабальеро начал свою жалостную историю почти в тех же словах и выражениях, в каких он рассказывал ее Дон Кихоту и козопасу несколько дней тому назад, когда из-за мастера Элисабата и стремле́ния Дон Кихота в точности соблюсти честь рыцарства рассказ так и остался незаконченным, – как об этом уже было нами сказано. Но теперь доброй судьбе было угодно уберечь Карденио от припадков безумия и позволить ему рассказать свою историю до конца; и вот, дойдя до того момента, когда дон Фернандо нашел в книге об Амадисе Галльском письмо Люсинды, Карденио заявил, что он помнит это письмо наизусть и что гласило оно так:

ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО

Каждый день открываю я в вас новые достоинства, которые побуждают и заставляют меня ценить вас все больше; и если вам угодно, чтобы я заплатила вам свой долг, не принося в жертву своей чести, вы можете этого добиться: мой отец знает вас и сердечно любит меня; не насилуя моего сердца, он удовлетворит желание, которое вы вправе питать, если только вы уважаете меня, как вы мне говорите и как я думаю.

EL INGENIOSO HIDALGO DON QVIXOTE DE LA MANCHA,

Compueſto por Miguel de Ceruantes Saauedra.

DIRIGIDO AL DVQVE DE BEIAR, Marques de Gibraleon, Conde de Benalcaçar, y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de las villas de Capilla, Curiel, y Burguillos.

Año, 1605.

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID, Por Iuan de la Cueſta.

Vendeſe en caſa de Franciſco de Robles, librero del Rey nro ſeñor.

Титульный лист первого испанского издания "Дон Кихота"
Мадрид, 1605 г.

LIBRO PRIMERO
DEL VALEROSO E IN-
uencible Principe don Belianis de Grecia, hijo del
Emperador don Belanio de Grecia. En el qual se cuentan las estrañas y peligrosas
auenturas que le sucedieron con los amores que tuuo con la Princesa Floriabella,
hija del Soldan de Babylonia. Y como fue hallada la princesa Policena, hija del
Rey Priamo de Troya. Sacado de lengua Griega, en la qual le escriuio
el sabio Friston, por vn hijo del virtuoso varon
Toribio Fernandez.

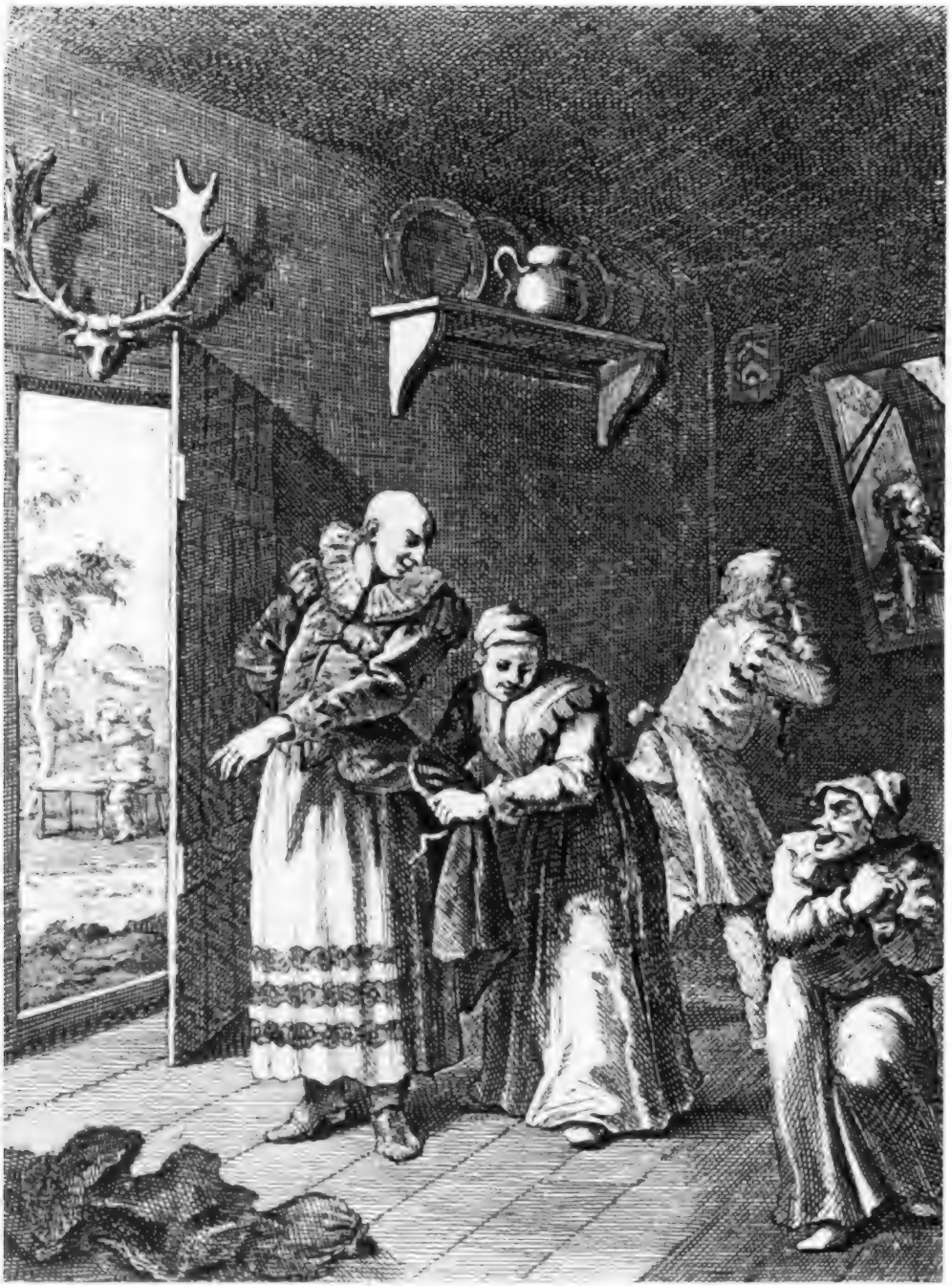
Libro primero del esforçado
Cauallero don Clarian de landanis hijo del
noble Rey Lauandon de Suecia.

DON FLORISEL DE NIQVEA

LA PRIMERA PARTE
DE LA QVARTA DE LA CHORONICA DE EL
excellentissimo Principe Don Florisel de Niquea, que fue escri-
pta en Griego por Galersis, fue sacada en Latin por Phi-
lastes Campaneo, y traduzida en Romance Cas-
tellano por Feliciano de Silua.

Libro del muy esforçado
Cauallero Palmerin de inglaterra hijo del rey de
Onardos y de sus grandes proezas y de Floriano del
desiertos su hermano con algunas del principe Florendos
hijo de Primaleon. Impresso Año M D xlvij

Титульные листы изданий рыцарских романов,
находившихся в библиотеке Дон Кихота



Гравюра У. Хогарта. 1726 г. (I, XXVII)

Рисунок Ф. Гойи. 1808–1819 гг.

Фронтиспис Т. Жоанно к французскому изданию "Дон Кихота"
в переводе Л. Виардо. 1836 г.

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию
"Дон Кихота" 1863 г. (I, VIII)

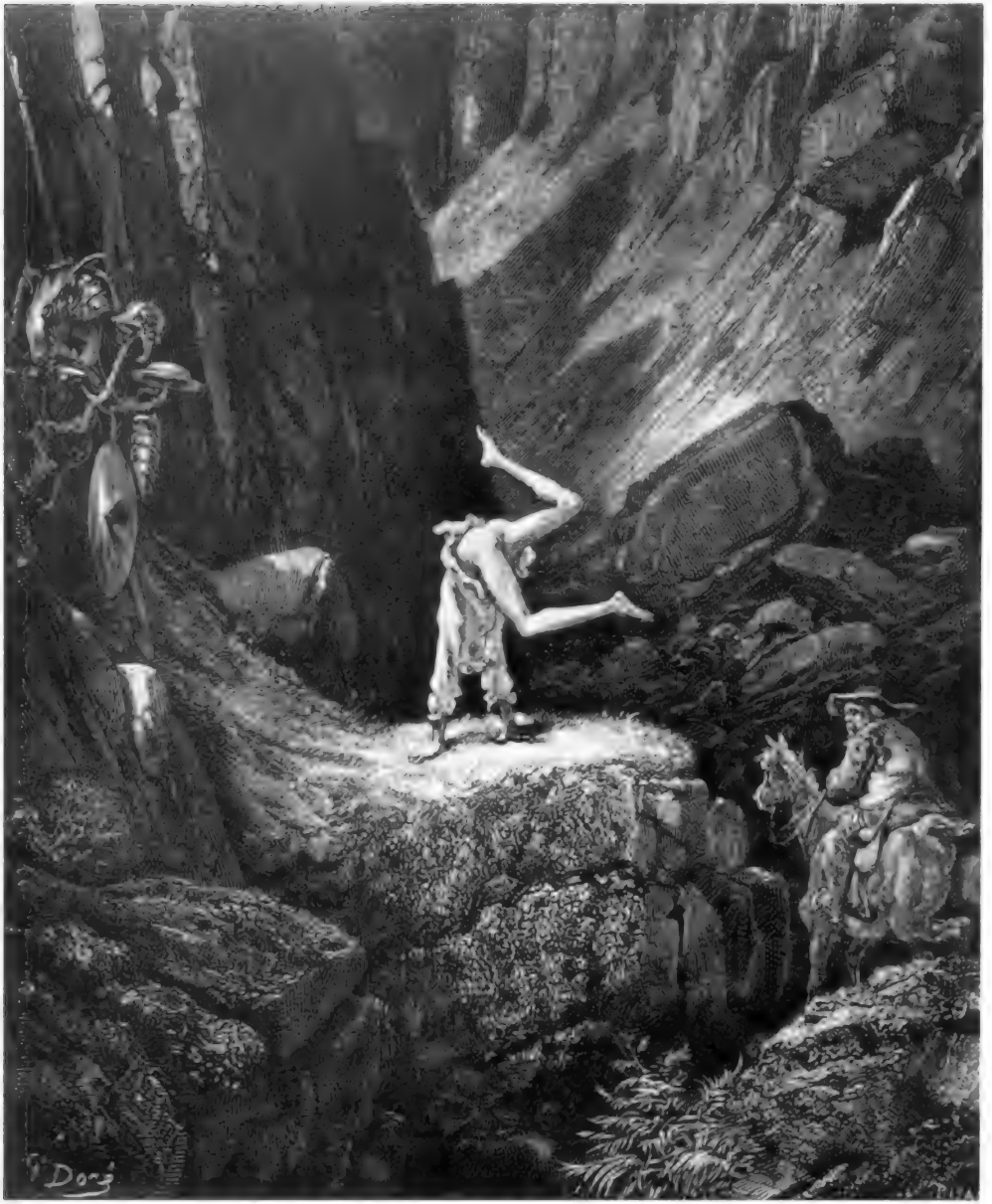


Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота" 1863 г. (I, XLVII)

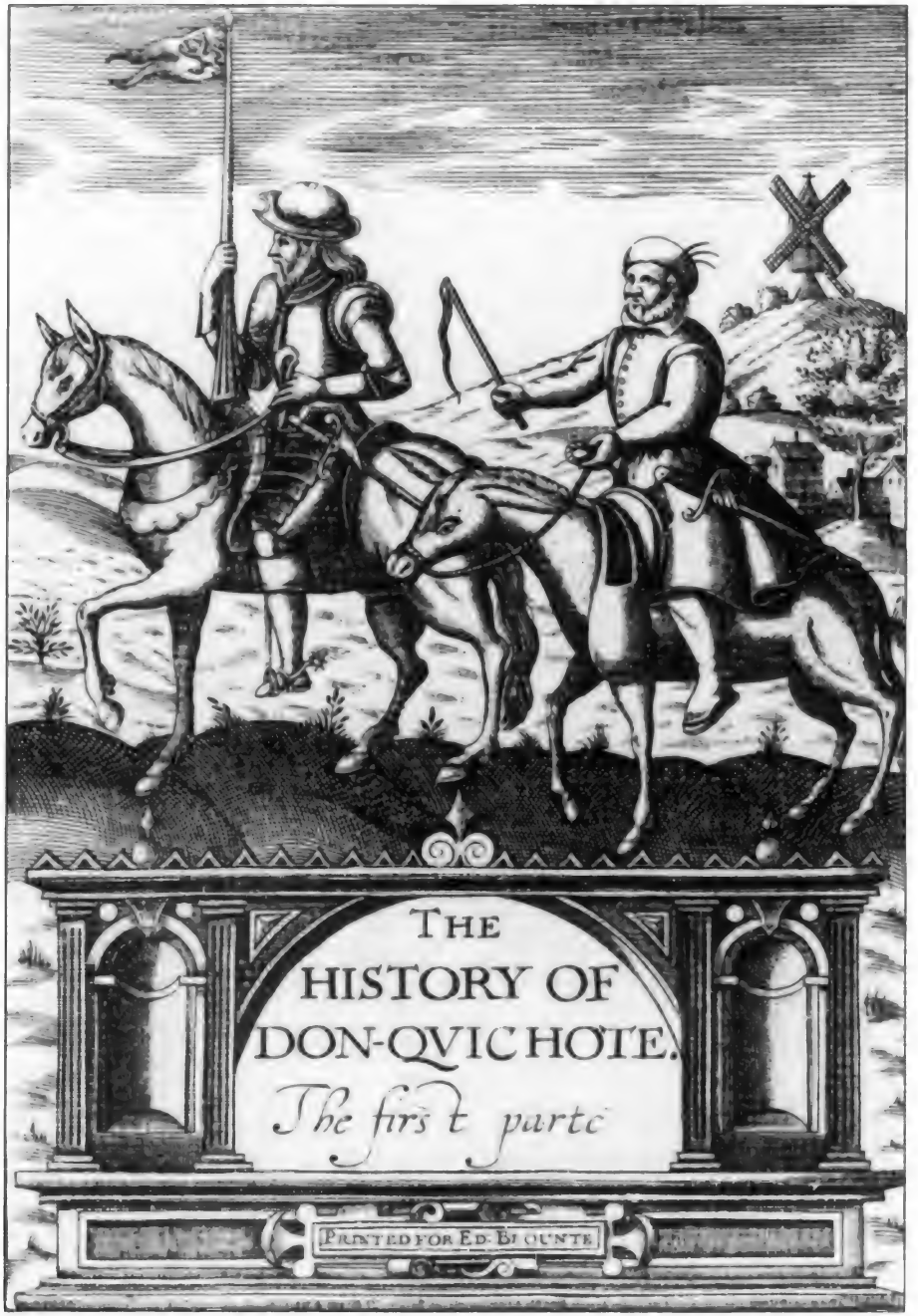
Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию
"Дон Кихота" 1863 г. (I, L)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (I, VIII)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (I, XXXIX)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (I, XLIII)

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота" 1976 г. (I, III)



Титульный лист издания "Дон Кихота" в английском переводе
Лондон, 1620 г.

Иллюстрация Н.И. Пискарева к пьесе А.В. Луначарского "Освобожденный Дон Кихот". 1922 г.

Ф.И. Шаляпин
в роли Дон Кихота
в опере Ж. Массне
Рисунок Ф.И. Шаляпина
1910 г.

Рисунок И. Сулоаги

– Это письмо побудило меня просить руки Люсинды, как я уже вам рассказывал, и оно же породило в доне Фернандо убеждение, что Люсинда – одна из самых умных и рассудительных женщин нашего времени. И как раз это самое письмо внушило ему желание разрушить мои планы, прежде чем мне удастся привести их в исполнение. Я сообщил дону Фернандо, что отец Люсинды настаивает на том, чтобы руки его дочери попросил для меня мой отец, и что я не смею заговорить об этом, опасаясь, как бы он мне не отказал: не потому, конечно, чтоб он сомневался относительно происхождения, достоинств, добродетели и красоты Люсинды, – всего этого у моей возлюбленной было достаточно, и союз с ней мог принести честь любому испанскому роду: нет, но я знал, что отец не желает моей столь ранней женитьбы, пока еще не выяснились планы герцога Рикардо насчет меня. Итак, я сказал дону Фернандо, что не дерзаю открыть свою тайну отцу, отчасти по вышеприведенной причине, отчасти же по другим, которые смущают меня, хотя, впрочем, я и сам не мог бы их объяснить; одним словом, мне казалось, что желание мое никогда не осуществится. На все это дон Фернандо ответил, что переговоры с моим отцом он берет на себя и устроит так, чтобы тот переговорил с отцом Люсинды. О тщеславный Марий! О жестокий Катилина! О злокозненный Сулла! О вероломный Ганелон! О предатель Вельидо! О мстительный Юлиан! О корыстный Иуда![3] О предатель, жестокий, мстительный и вероломный, какое зло причинил тебе несчастный, который с таким чистосердечием открыл тебе тайны и радости своей души? Какую обиду я тебе нанес? Разве когда-нибудь сказал я тебе слово или дал совет, которые не были направлены к приумножению твоей чести и пользы? Но на что жалуюсь я, несчастный? Ведь всем известно, что падение звезд навлекает на нас бедствия[4], которые небеса с яростью и бешенством низвергают на нас, и тогда никакая земная сила не может их остановить и никакие человеческие ухищрения – отбросить! Кто бы мог подумать, что дон Фернандо, доблестный и умный дворянин, связанный со мной дружбой и обладающий возможностью удовлетворить все любовные причуды, какие только могли прийти ему в голову, распалится желанием похитить у меня, можно сказать, единственную мою овечку[5], которая, притом, не была еще моей!

Но оставим эти ненужные и бесполезные размышления и свяжем порвавшуюся нить моей истории. Итак, я продолжаю: задумав привести в исполнение свой коварный и злой замысел, дон Фернандо стал тяготиться моим присутствием и потому решил послать меня к своему старшему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых он купил нарочно в тот самый день, когда он вызвался переговорить с моим отцом, и единственно для того, чтобы отослать меня за деньгами и в мое отсутствие удобнее выполнить свой преступный план. Мог ли я предупредить эту измену? Мог ли я случайно о ней догадаться? Конечно, нет; напротив, я с большой охотой согласился на поездку, радуясь его столь выгодной покупке. В тот же вечер я поговорил с Люсиндой и, сообщив ей о моем уговоре с доном Фернандо, просил ее твердо надеяться на счастливое увенчание нашей чистой и законной любви. Она не более

меня подозревала о предательстве дона Фернандо и умоляла вернуться поскорей, ибо была уверена, что наши желания осуществятся, как только моему отцу удастся переговорить с ее отцом. Не знаю, что тут с нею сделалось, но только при этих словах глаза ее наполнились слезами, дыханье пресеклось, и, несмотря на все усилия, она не могла вымолвить ни слова, – а хотелось ей сказать многое, как мне казалось. Все это меня очень поразило, так как никогда раньше этого с ней не случалось: мгновения, которые благодаря счастливой судьбе и моим стараниям нам удавалось проводить вместе, всегда проходили для нас в радости и веселье, и никогда ни слезы, ни вздохи, ни ревность, ни подозрения, ни страхи не омрачали наших бесед. Я всегда восхвалял судьбу, давшую мне такую возлюбленную: славил ее красоту, восхищался ее умом и достоинствами, и она платила мне за это с избытком, хваля во мне те качества, которые ее любящим глазам казались достойными похвалы. А потом мы болтали о ста тысячах разных безделиц, о происшествиях среди наших соседей и знакомых, и наибольшей дерзостью, которую я себе позволял, было то, что я почти насильно брал ее прекрасную белую руку и подносил к своим губам, поскольку мне это позволяли частые железные прутья разделявшей нас низкой решетки. Но вечером накануне печального дня моего отъезда она плакала, стонала и вздыхала и, уйдя, оставила меня в смятении и тревоге; я был испуган этими новыми и печальными для меня знаками ее скорби и огорчения, но, не желая разрушать своих надежд, я приписал все это силе ее любви ко мне и печали, которая при разлуке обычно охватывает влюбленных. Наконец, в печальной задумчивости, я уехал; душа моя была полна догадок и подозрений, хоть я и сам не знал, что я предполагаю и кого подозреваю, – это было ясным предвестием ожидавшей меня скорби и несчастия.

Приехав в то место, куда я был послан, я передал письмо брату дона Фернандо. Меня приняли ласково, но задержали: мне было велено, к великому моему огорчению, подождать неделю и не показываться на глаза старому герцогу, по той причине, что дон Фернандо просил будто бы брата послать ему денег без ведома отца. Все это оказалось уловкой лживого дона Фернандо, ибо́ у брата его было достаточно денег, и он мог немедленно же отправить меня назад. Я хотел было ослушаться этого приказа и повеления, так как мне казалось невозможным прожить столько дней в разлуке с Люсиндой, особенно после того, как я покинул ее в такой грусти; и все же, как верный слуга, я повиновался, хоть и видел, что этим разрушаю свое собственное благополучие. Через четыре дня после моего приезда явился ко мне посланец с письмом; я сразу же, не раскрывая его, догадался, что оно от Люсинды: это был ее почерк. Я распечатал его с волнением и страхом, в уверенности, что только крайне важная причина могла побудить ее написать мне в другой город, ибо, даже когда я жил в одном городе с нею, она писала мне редко. Но, прежде чем прочесть письмо, я спросил посланного, кто вручил его ему и сколько времени он был в дороге. Он ответил, что однажды в полуденное время он случайно проходил по улице нашего города и какая-то очень красивая сеньора окликнула его из окна; со слезами на глазах, она торопливо сказала ему: “Братец, если вы христианин, каким вы кажетесь, заклинаю вас Богом как

можно скорей доставить это письмо человеку, чье имя и адрес здесь написаны; разыскать его будет нетрудно. Вы совершите дело, угодное Господу, а чтобы у вас хватило средств на это путешествие – вот вам деньги". "С этими словами она бросила мне платочек, в котором было завязано сто реалов, вот это золотое кольцо и письмо, которое я вам уже вручил. И, не ожидая моего ответа, она отошла от окна; все же она успела увидеть, что я подобрал письмо и платочек и знаками показал ей, что исполню ее поручение. Убедившись, что мне хорошо заплатили за труды по доставке письма, и увидев по адресу, что меня посылают к вам, – а вас, сеньор, я отлично знаю, – я тронулся слезами этой прекрасной сеньоры и решил, никому не доверяясь, исполнить это дело лично. Письмо мне было вручено шестнадцать часов тому назад, и за это время я проделал весь известный вам путь, то есть восемнадцать миль". Я с жадностью слушал рассказ этого необычного и услужливого посланца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог стоять. Наконец я вскрыл письмо и прочел следующее:

Слово, которое дон Фернандо дал вам – переговорить с вашим отцом, для того чтобы тот поговорил с моим, – он сдержал, но не на пользу вам, а в своих собственных интересах. Знайте, сеньор, что он сам попросил моей руки, и мой отец, ослепленный теми преимуществами, которые дон Фернандо, по его мнению, имеет перед вами, с такой готовностью согласился на его предложение, что через два дня должно состояться наше обручение; оно произойдет втайне и без приглашенных: свидетелями будут только небо и кое-кто из домашней челяди. Можете себе представить, в каком я состоянии; решайте, следует ли вам приехать; развязка этого события покажет вам, люблю ли я вас или нет. Да будет угодно Богу, чтобы письмо мое попало в ваши руки прежде, чем я буду принуждена отдать свою руку тому, кто не умеет хранить обещанной верности.

Таково в общем было содержание этого письма, побудившего меня тотчас же пуститься в путь, не дожидаясь ни ответа, ни денег; ибо в эту минуту мне стало совершенно ясно, что дон Фернандо, посылая меня к своему брату, хлопотал не о покупке лошадей, а об удовлетворении своей прихоти. Гнев против дона Фернандо и опасение потерять то сокровище, которое я приобрел долгими годами служения и любви, окрылили меня, и на следующий день я прилетел в наш город в тот самый час и минуту, когда обычно я отправлялся на свидание с Люсиндой. Я въехал никем не замеченный и отвел мула к тому самому доброму малому, который привез мое письмо; счастливая судьба мне благоприятствовала, и я увидел Люсинду за решетчатым окном – свидетелем нашей любви. Она тотчас меня узнала, и я узнал ее, но, увы, не так предполагали мы встретиться! Ибо найдется ли на свете человек, который мог бы похвалиться, что проник до дна и понял путаный и изменчивый характер женщины? Конечно, не найдется. Итак, я продолжаю: как только Люсинда завидела меня, она сказала: "Карденио, на мне подвенечный наряд; в зале ждут меня предатель дон Фернандо и корыстолюбивый мой отец с приглашенными, но они будут свидетелями не свадьбы моей, а смерти. Не волнуйся, друг мой, и постарайся присутствовать при обручальном обряде: если слова мои будут бессильны его расстроить, кинжал, спрятанный у меня на груди, расстроит козни и пострашнее этих; и когда кон-

чится моя жизнь, ты начнешь понимать, как я тебя любила и люблю". Я отвечал ей взволнованно и торопливо, боясь, что у меня не хватит времени договорить до конца: "О, пусть твои поступки, сеньора, подтвердят правдивость твоих слов. Ты запаслась кинжалом, чтобы доказать мне свою любовь, – вот моя шпага: я защищу тебя ею или убью себя, если судьба будет к нам враждебна". Не думаю, чтобы она могла расслышать мои слова, ибо в эту минуту кто-то ее позвал, говоря, что жених ее ожидает.

И вот, наступила ночь моей печали, закатилось солнце моей радости, в глазах моих померк свет, и я остался без слов и без мыслей. Я не в силах был войти в ее дом, я не мог сдвинуться с места; но потом, подумав, что, как бы дело ни обернулось, присутствие мое там необходимо, я собрался с духом и проник в дом Люсинды, все входы и выходы которого были мне хорошо известны, и за суетой тайных приготовлений никто меня не заметил. Так, незамеченный, проскользнул я в углубление окна, прикрытое краями двух ковров; там меня никто не видел, а я в щелку мог видеть все, что происходило в зале. Как рассказать вам о муках, которые испытало мое сердце, пока я там находился! Какие мысли обуревали меня! О чем я только не передумал! Но все это передать невозможно, да и не следует. Скажу вам только, что, наконец, в залу вошел жених; он был не в парадном наряде, а в обычном своем платье. Шафером при нем состоял двоюродный брат Люсинды, и во всей зале, кроме домашней челяди, не было ни одного постороннего лица. Через некоторое время из другой комнаты вышла Люсинда в сопровождении матери и служанок, в уборе и наряде, подобавших знатности и красоте той, которая могла служить примером изящества и благородной изысканности. Я был в такой тревоге и исступлении, что не мог подробно рассмотреть и заметить ее платье; мне запомнилось только, что было оно двух цветов – пурпурного и белого, что и прическа ее и платье сверкали драгоценными каменьями и что изумительная красота ее прекрасных русых волос затмевала все: сияние их ослепляло глаза, соперничая с блеском самоцветных камней и светом горевших в зале четырех факелов. О память, смертельный враг моего покоя, зачем теперь рисуешь ты перед моими глазами несравненную красоту моего обожаемого врага? Ты бы лучше, жестокая память, напомнила и представила мне то, что она в ту минуту сделала, чтоб побудить меня, в справедливом негодовании, если не отомстить, то, по крайней мере, лишить себя жизни! Не досадуйте, сеньоры, на вечные мои отступления, – о моем горе нельзя и не должно рассказывать кратко и быстро: ведь каждое обстоятельство этой истории – представляется мне заслуживающим пространной речи.

На это священник ответил, что они не только не досадуют, но, напротив, выслушивают все эти подробности с большим удовольствием, так как ни одну из них нельзя обойти молчанием и все они достойны такого же внимания, как и самая суть истории.

– Итак, – продолжал Карденио, – когда все собрались в зале, вышел приходский священник и, как полагается по обряду, взял их обоих за руки и спросил: "Согласны ли вы, сеньора Люсинда, признать здесь присутствующего сеньора

дона Фернандо вашим законным супругом, как того требует наша святая мать церковь?" Тут я высунул из-за ковра голову и шею и в смятении, затаив дыхание, приготовился выслушать ответ Люсинды, ожидая от него или спасения моего или смертного приговора. О, если б я осмелился в эту минуту броситься к ней и закричать: «О Люсинда, Люсинда, подумай, что ты делаешь, вспомни, как ты со мной связана! Подумай – ведь ты моя и не можешь принадлежать другому! Знай же, что если ты скажешь "да", жизнь моя прервется в то же мгновение! О предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, губитель моей жизни! Чего хочешь ты, к чему стремишься? Пойми же, что, как христианин, ты не можешь удовлетворить своих желаний, ибо Люсинда – моя жена, и я – ее муж!» О я, безумец, – теперь, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от опасности, я говорю то, что я должен был сделать и чего не сделал! Теперь, позволив отнять у себя драгоценное сокровище, я проклинаю похитителя, а между тем я мог бы отомстить ему, если бы у меня было в то время столько мужества, сколько ныне остается для жалоб. Что ж, раз тогда я выказал себя глупым и малодушным, то теперь должно, мне умереть в стыде, раскаянье и безумии!

Священник ждал ответа Люсинды, а она все медлила, и когда я уже начал думать, что она ищет кинжал, чтобы доказать мне свою любовь, или готовится сказать правду, чтобы рассеять эти гибельные для меня заблуждения, – в эту минуту она слабым и дрожащим голосом произнесла: "да, согласна". То же сказал и дон Фернандо, который надел ей на палец кольцо: отныне они были связаны нерасторжимыми узами брака. Затем молодой муж подошел, чтобы обнять свою супругу, но Люсинда схватилась за сердце и упала без чувств на руки своей матери. Мне остается только рассказать вам, что сталось со мной, когда Люсинда своим "да" посмеялась над моими надеждами, показала, что ее слова и обещания были лживы, и дала мне понять, что уж никогда в жизни мне не вернуть того счастья, которое потерял я в одно мгновение. Я не знал, на что мне решиться; мне казалось, что небо меня покинуло, что земля, на которой я стою, сделалась моим врагом, что воздух не дает мне своего дыхания для вздохов, а вода – своей влаги для слез; только огонь во мне разгорался все больше и больше, и я весь пылал яростью и ревностью. Обморок Люсинды смутил всех: мать расстегнула ее платье, чтобы было легче дышать, и у нее на груди нашли запечатанное письмо, которое дон Фернандо тотчас же схватил и стал читать при свете одного из факелов; окончив чтение, он опустился в кресло и с видом глубокой задумчивости подпер щеку рукой, не обращая внимания на присутствующих, которые суетились вокруг Люсинды, стараясь привести ее в чувство.

Увидев, что все домашние в смятении, я решился выйти, и мне было безразлично, заметят меня или нет, ибо я был готов на самые отчаянные поступки, и если бы меня заметили, то весь мир узнал бы, какое негодование кипело в моей груди; я наказал бы коварного дона Фернандо и легковерную изменницу, лежавшую передо мной без чувств. Но, видно, судьба хранила меня для горших бедствий, если только таковые бывают, и ей было угодно, чтобы в эту минуту ко мне вернулся рассудок, – который впоследствии меня здесь совсем покинул. Я отбро-

сил мысль о мщении величайшим моим врагам (а сделать это было бы не трудно, так как они и не подозревали о моем присутствии) и решил обратить против себя заслуженное ими наказание; и, пожалуй, если бы я их убил, страдания их были бы менее жестоки, чем те муки, что я сейчас переношу: ведь внезапная смерть быстро оканчивает нашу скорбь, между тем как смерть, отдаляемая пытками, непрестанно убивает нас, не лишая жизни. Словом, я вышел из дома Люсинды и отправился к человеку, у которого оставил своего мула; велел седлать, сел верхом и, не попрощавшись с хозяином, уехал из города, подобно Лоту не осмеливаясь обернуться, чтоб посмотреть назад[6]. Когда же я очутился один в поле и тьма ночи покрыла меня, а тишина расположила к жалобам, я возвысил голос, не заботясь и не опасаясь, что кто-нибудь услышит и узнает меня, и разразился неисчислимыми проклятиями Люсинде и дону Фернандо, словно вознаграждая себя ими за перенесенную обиду. Я называл ее жестокой, бессердечной, лживой, неблагодарной; особенно же я клеймил ее за корыстолюбие, ибо богатство моего врага ослепило ее сердце, и она покинула меня, отдавшись тому, кого Фортуна одарила более щедро и великодушно. То вдруг, прервав поток этих проклятий и укоров, я принимался ее оправдывать, говоря, что родители воспитали ее в строгости, что она привыкла и приучилась во всем их слушаться и что потому не удивительно, что она пожелала исполнить их волю, тем более, что они выбрали ей в мужья дворянина столь достойного, богатого и знатного: если бы она его отвергла, то все бы подумали, что она сумасбродна или любит кого-нибудь другого, – а это подозрение весьма повредило бы ее славе и доброму имени. Но потом я возражал себе, что Люсинда должна была объявить, что я ее супруг, – и тогда все бы ее оправдали, так как она сделала не плохой выбор: ведь до предложения дона Фернандо сами ее родители не могли бы пожелать своей дочери лучшего супруга, если только их желаниями управлял разум; что Люсинда вместо того, чтобы подчиниться крайнему насилию и отдать свою руку дону Фернандо, обязана была сказать, что она связана со мной, – я бы помог ей и поддержал бы во всем, что она придумала бы по этому поводу. В конце концов я пришел к заключению, что она сумасбродна, бесчувственна и тщеславна, и потому жажда пышности заставила ее забыть те слова, которыми она обманывала, питала и поддерживала мои твердые надежды и благородные чувства.

Весь остаток ночи я скитался, в тревоге беседуя с самим собой, и на рассвете очутился у этих гор. Три дня я пространствовал в горах без дороги и тропинки, пока не попал, наконец, на поляну, находящуюся где-то неподалеку отсюда; там я спросил пастухов, где в этих горах самые дикие ущелья, и они направили меня в эту сторону. Я тотчас же пустился в путь с твердым решением покончить там свою жизнь; при въезде в эти дебри мой мул пал от изнурения и голода: я даже думаю, что случилось это оттого, что он не желал больше влачить на себе ненужное бремя моего тела. Я побрел пешком, лишенный сил, изнемогая от голода, беспомощный, да и не ища чьей-либо помощи. Не помню, сколько времени пролежал я распростертый на земле; потом поднялся, не чувствуя голода, и увидел неподалеку от себя козопасов: они-то и помогли мне в беде. По их сло-

вам, когда они меня встретили, я говорил такие нелепые и безумные речи, что было ясно, что я лишился ума. Впоследствии я и сам убедился, что по временам я теряю рассудок, сознание мое затемняется и слабеет, и я проделываю тысячи безумств, рву на себе платье, оглашаю эту пустыню воплями, проклинаю судьбу и тщетно повторяю возлюбленное имя моего врага; в эти минуты у меня только одно желание и одна мысль: покончить жизнь в этих воплях. Когда же я прихожу в себя, я чувствую себя таким разбитым и измученным, что с трудом могу пошевельнуться.

Ночую я обыкновенно в дупле дуба, достаточно просторном, чтобы укрыть мое жалкое тело. Крестьяне, пасущие здесь в горах коров и коз, из жалости питают меня, оставляя мне еду на краю дороги или на скалах, и я скитаясь, случайно нахожу ее. И вот, даже когда разум покидает меня, голос природы заставляет меня узнавать пищу, пробуждает во мне желание схватить ее и поглотить. Случается – рассказывают мне пастухи в минуты моего просветления, – что я выбегаю на дорогу, когда они везут припасы из деревни в свои шалаши, и отнимаю насильно то, что они отдали бы мне добровольно. Так влачу я горькие и бедственные дни своей жизни, ожидая, когда небу угодно будет положить ей конец или же изгладить из моей памяти воспоминание о красоте и измене Люсинды и об оскорблении, нанесенном мне доном Фернандо. Если небо пошлет мне это раньше, чем я умру, разум мой успокоится, если же нет – мне остается только молить небо о безграничном милосердии к моей душе, ибо у меня нет ни сил, ни мужества исторгнуть мое тело из того бедственного положения, на которое я добровольно его обрек.

Такова, сеньоры, горестная повесть моих несчастий. Скажите, разве можно пережить ее, не испытав тех волнений, которые испытываю я? Не утруждайте себя, уговаривая и советуя мне сделать то, что с точки зрения разума могло бы пойти мне на пользу; ибо ваши советы помогут мне столь же мало, как лекарство, прописанное знаменитым доктором больному, который не желает его глотать. Без Люсинды мне не надо исцеления; и раз ей было угодно отдаться другому, хотя она принадлежала и должна была принадлежать мне, – то мне угодно оставаться в горе, хоть я и мог бы быть счастливым. Постоянство моих мучений вызвано ее переменчивостью, и я сделаю все возможное, чтобы погубить себя и тем удовлетворить ее желание. Да послужит моя жизнь примером для будущих поколений, ибо у меня было отнято даже то, чем владеют все обездоленные; самая невозможность утешения утешает их, мои же муки и страдания от этого только увеличиваются, – и, кажется мне, они не окончатся даже со смертью...

Такими словами заключил Карденио длинную повесть о своей несчастной любви. Священник собирался сказать ему несколько слов в утешение, но в эту минуту его остановил долетевший до его слуха голос: он говорил жалобным тоном, а о чем он говорил, вы узнаете в четвертой части этой истории; ибо в этом месте мудрый и проницательный историк Сид Амет Бененхели заканчивает третью часть своего повествования.

⟨ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

ГЛАВА XXVIII

в которой рассказывается о новом и приятном происшествии, случившемся в тех же горах со священником и цирюльником

Счастливое и благодатное было время, когда пустился по свету отважный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, ибо благодаря его великодушному решению воскресить и возвратить миру уже почти погибший и исчезнувший орден странствующего рыцарства мы в наш век, лишенный веселых развлечений, наслаждаемся не только сладостью его правдивой истории, но и повестями и эпизодами, в нее вставленными, – а они большей частью не менее приятны, искусны и правдивы, чем самая история. Последняя же, следуя своей расчесанной, крученой и гладкой нити, рассказывает, что в ту минуту, как священник собрался утешать Карденио, до их слуха долетел печальный голос, говоривший следующее:

– О Боже! Неужели, наконец, в этих горах я нашла тайную гробницу для моего тела, бремя которого я влачу против воли? Да, нашла, если уединенность этих ущелий меня не обманывает. О я, несчастная! Среди этих чащ и скал я могу жаловаться небу на мои невзгоды, и пустыня милей мне общества людей, ибо нет на свете человека, от которого можно было бы ждать совета в сомнениях, утешения в жалобах и лекарства в скорбях!

Священник и его спутники уловили и расслышали эти речи, и показалось им, что раздаются они совсем поблизости (что и было в действительности). Поэтому отправились они на поиски говорившего, и не прошли и двадцати шагов, как вдруг за скалой, у подножия ясеня, увидели юношу в крестьянском платье; он сидел, опустив ноги в протекавший там ручей и низко склонив головку, так что сначала они не могли разглядеть его лица. Приблизились они так тихо, что юноша их не слыхал: он тщательно мыл себе ноги, которые казались кусочками белого хрусталя, родившимися в ручье меж других камней. Красота и белизна их поразили наших друзей; не верилось им, что такие ножки созданы топтать вспаханное поле или ходить за плугом и за волами, хотя по одежде юноша был крестьянин. Убедившись, что он их не заметил, священник, шедший впереди, дал знак своим спутникам скрыться и спрятаться за грудами скал, что они и сделали, продолжая внимательно следить за юношей. На нем был серый полукаф-

тан с разрезами на боках, тесно стянутый белым поясом, затем – панталоны и гамаши из серого сукна, а на голове – серый берет; гамаши были засучены до колен, а колени – как белый алебастр. Помыв свои прекрасные ноги, он достал из-под берета платок, которым стягивают голову, и стал их вытирать; но, снимая берет, он поднял голову и смотревшие увидели лицо такой несравненной красоты, что Кардению шепотом сказал священнику:

– Ну, если это не Люсинда, то, значит, это не человек, а ангел.

Между тем юноша снял берет и тряхнул головой, и тотчас же рассыпались и распустились по плечам его волосы, которым могли бы позавидовать солнечные лучи. Тут друзья наши поняли, что мнимый крестьянин – женщина, и притом прелестная, красивее которой оба они доселе не видывали; но даже Кардению, видевший и знавший Люсинду, потом уверял, что только его возлюбленная могла бы красотой поспорить с незнакомкой. Ее длинные белокурые волосы вились в таком изобилии, что не только покрывали ей плечи, но скрывали ее всю, так что из всего ее тела видны были только ноги. Она расчесывала свои волосы руками; и если ноги в ручье казались кусками хрусталя, то руки в волне волос напоминали куски твердого снега. При виде всего этого у смотревших вместе с восхищением росло желание узнать, кто она. Поэтому они решили показаться; заслышав шум, раздавшийся при этом движении, прекрасная девушка подняла голову и, отбросив обеими руками волосы, закрывавшие ей глаза, посмотрела в ту сторону, откуда донеслись до нее звуки. Но не успела она увидеть пришельцев, как вскочила на ноги, схватила узелок с вещами и, как была, босая и с распущенными волосами, бросилась бежать в страхе и смятении. Однако ее нежные ноги не могли выдержать жесткого прикосновения камней, и, сделав шагов шесть, она упала. Увидев это, все трое подошли к ней, и священник заговорил первый:

– Кто бы вы ни были, сеньора, поверьте, что перед вами люди, единственное желание которых – вам служить. У вас нет причин обращаться в столь поспешное бегство: и ваши ножки этого не потерпят, и мы вам этого не позволим.

Удивленная и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они приблизились, и священник, взяв ее за руку, продолжал так:

– То, что скрывало от нас ваше одеяние, выдали ваши волосы. Должно быть, важные причины заставили вас переодеться в платье, столь недостойное вашей красоты, и удалиться в эти глухие места, где счастливый случай помог нам вас найти; если мы не в силах исцелить ваше горе, то, по крайней мере, мы поможем вам советом. Как бы ни угнетало нас несчастье, до каких бы пределов оно ни доходило, – пока мы живы, мы не должны избегать советов тех, кто хочет облегчить наши страдания. Поэтому, моя сеньора, или мой сеньор, или как вам будет угодно, – откиньте страх, который причинило вам наше появление, и расскажите нам о ваших радостях и печалях, а мы все вместе, или каждый в отдельности, поможем вам перенести ваше горе.

Во все время речи священника переодетая девушка стояла как зачарованная и смотрела на них, не шевеля губами и не произнося ни звука, совсем, как

деревенский парень, которому вдруг показали редкие, никогда не виданные вещи. Священник приводил все новые доводы, направленные к той же цели; наконец, с глубоким вздохом, она прервала молчание и сказала:

– Раз даже пустынность этих гор не могла меня укрыть, а мои неубранные и распущенные волосы не позволили языку солгать, то напрасно я стала бы притворяться: вы сделаете вид, что мне поверите, но это будет из вежливости, не более. Поэтому, сеньоры, я благодарю вас за ваши предложения и считаю себя обязанной исполнить вашу просьбу; боюсь только, что повесть о моих бедствиях вызовет в вас не одно сострадание, но и уныние, ибо вы не найдете ни лекарства для их исцеления, ни совета для облегчения их. Все же, чтобы вы про себя не усомнились в моей чести, узнав, что я женщина, и увидев меня, столь юную, без спутников и в таком наряде, – а все эти обстоятельства, взятые вместе и каждое в отдельности, могут погубить любое доброе имя, – я расскажу вам то, о чем, если бы я могла, я предпочла бы молчать.

Все это она проговорила не останавливаясь. Прекрасная девушка обладала столь складной речью и нежным голосом, что ум ее восхищал не менее, чем ее красота. Они снова принялись предлагать ей услуги и просить исполнить обещание; не заставляя себя уговаривать, она с величайшей скромностью обулась и прибрала волосы, потом уселась среди них в углублении скалы и, с трудом сдерживая выступившие на глаза слезы, спокойным и ясным голосом так начала историю своей жизни:

– В нашей Андалусии есть город, названием которого именует себя ее герцог, один из грандов Испании[1], у него два сына: старший – наследник его титула и, как кажется, его благородных нравов, младший – не знаю, чей он наследник, разве что Вельидо в предательстве или Ганелона в злокозненности. Мои родители – вассалы этого сеньора; они из скромного рода, но так богаты, что, если бы их знатность равнялась их богатству, им нечего было бы и желать, а я могла бы не бояться несчастий, которые теперь на меня обрушились, – ибо, быть может, все мои бедствия происходят оттого, что отец и мать родились незнатными. Правда, их происхождение не столь низменно, чтобы приходилось его стыдиться, но и не достаточно высоко; потому-то я и думаю, что оно – причина моих невзгод. Словом, они поселяне, люди простые, без примеси какой-нибудь постыдной крови[2] и, как говорится, добрые старые христиане, и притом столь зажиточные, что богатство и пышный образ жизни сравняли их мало-помалу с идальго и даже кабальеро. Но больше, чем богатством и знатностью, гордились они мною, своей дочерью. И оттого ли, что у них не было других наследников, или оттого, что они меня страстно любили, но никогда еще, кажется, родители не баловали своих детей так, как они меня. Я была зеркалом, в которое они гляделись, посохом их старости, предметом их забот и покорных небу желаний, столь прекрасных, что и у меня иных быть не могло. Я была владычицей их душ и хозяйкой в их доме: я нанимала и отпускала слуг; расчет и запись всего, что сеялось и жалось, проходили через мои руки; я распоряжалась давилами для оливкового масла и для винограда, вела счет скота, крупного и мелко-

го, ульев – одним словом, всего, что может иметь и имел такой богатый поселянин, как мой отец. Я вела себя как управительница и госпожа, и мое усердие и их радость были столь велики, что я просто не нахожу слов описать их. Отпустив надсмотрщиков, старших пастухов и батраков, я проводила досуги за работами, столь же необходимыми, сколь и приличными для девиц: например, за иглой и шитьем, а иногда за прялкой. Когда же, чтобы развлечься, я оставляла эти занятия, меня привлекали или чтение благочестивой книжки, или игра на арфе, – ибо я по опыту знала, что музыка врачует расстроенный дух и успокаивает волнения, порождаемые умом. Так проходила моя жизнь в родительском доме, и если я так подробно ее описываю, то поверьте, что делаю я это не из тщеславия или желания похвастать своим богатством: я хочу, чтобы вы поняли, каким образом, без всякой моей вины, я перешла из того счастливого состояния в это – горестное.

Проводя дни в постоянной работе и уединении, которое можно было сравнить с монастырским затворничеством, я была уверена, что никто, кроме домашних слуг, не может меня увидеть, ибо даже в церковь я ходила ранним утром, в сопровождении матери и служанок и под таким густым покрывалом, что глаза мои едва видели тот кусочек земли, на который я ступала. А между тем случилось, что глаза любви – или, лучше сказать, праздности, – с которыми не сравнятся и глаза рыси, заметили меня. Дон Фернандо – так звали младшего сына герцога, о котором я уже упоминала, – обратил на меня свое внимание.

Едва незнакомка произнесла имя дона Фернандо, как Кардениo побледнел, весь покрылся потом и проявил такое сильное волнение, что смотревшие на него священник и цирюльник испугались, думая, что у него начинается припадок безумия, ибо они знали, что от времени до времени с ним такие припадки случаются. Но Кардениo оставался неподвижным: весь в поту, не шевелясь, смотрел он на рассказчицу, стараясь разгадать, кто она такая. Она же, не замечая его движений, продолжала свою историю:

– И не успел он меня увидеть, как тотчас же его охватила страстная любовь ко мне (как он сам потом мне в этом признался), силу которой подтвердили его поступки. Но, чтобы поскорее кончить перечень моих несчастий, – которых все равно не перечесть! – я обойду молчанием все попытки дона Фернандо открыть мне свои чувства. Все слуги в доме были им подкуплены; родители осыпаны дарами и милостями; каждый день на нашей улице был праздник и веселье, а ночью серенады никому не давали спать; письма, неизвестно каким путем попадавшие мне в руки, были бесчисленны, полны любовных слов и предложений; клятв и обещаний в них было больше, чем букв. Все это не только не смягчило моего сердца, но напротив, ожесточило его, будто он был моим смертельным врагом и будто все, что он делал, чтобы покорить мое сердце, было направлено к обратной цели. Однако ухаживанья дона Фернандо не возмущали меня и его искания не казались мне дерзостью, ибо я испытывала какое-то удовлетворение при мысли, что меня любит и почитает столь знатный кабальеро; и не противно мне было в его письмах читать себе комплименты: в этом отношении,

мне кажется, женщины, даже самые безобразные, всегда довольны, когда их называют красавицами. Но против дона Фернандо восставали моя честь и настойчивые советы моих родителей, которым прекрасно была известна его страсть ко мне, так как дон Фернандо не давал себе никакого труда скрывать ее перед кем бы то ни было. Итак, родители объявили мне, что, поскольку дело идет о чести и доброй славе нашего имени, они всецело полагаются на мою добродетель и разум; что я не могу не видеть, какое между нами неравенство; что стремления дона Фернандо направлены больше к его удовольствию, чем к моему благу; что я должна как-нибудь пресечь его неуместные притязания, и тогда они выдадут меня замуж за того, кто больше всех придется мне по душе, будь он самым знатным юношей в наших краях или во всей округе: ведь при нашем богатстве и моей доброй славе это было нетрудно сделать. Их справедливые и серьезные уверения поддерживали во мне твердость, и я ни разу не пожелала сказать дону Фернандо хотя бы одно слово, которое могло бы дать ему отдаленную надежду на успех.

Однако моя сдержанность, которая казалась ему презрением, только еще более разжигала его сладострастное вожделение: да, страсть его ко мне заслуживает этого имени, ибо, если бы она была такой, какой должна быть любовь, вы бы о ней ничего не узнали, так как у меня не было бы причины вам о ней рассказывать. Наконец дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж для того, чтобы отнять у него надежду на обладание мной или, по крайней мере, чтобы лучше охранить меня, и это известие или догадка побудили его сделать то, что вы сейчас услышите. Однажды ночью, когда я находилась в своей комнате одна со служанкой и все двери были накрепко заперты из боязни, чтобы по оплошности моя честь не подверглась опасности, среди всех этих оград и предосторожностей, взаперти, в тишине уединения, вдруг – я не могу ни понять, ни вообразить, как это случилось, – увидела я его перед собой. Его появление так меня поразило, что в глазах у меня помутилось и язык онемел; я даже не могла крикнуть, да он бы и не дал мне это сделать, ибо сразу же бросился ко мне и, сжав меня в своих объятиях (я была так смущена, что у меня не хватило сил защищаться), стал говорить мне такие речи, что, право, я не знаю, как ложь могла быть столь искусной, а ее доводы так походить на правду! К тому же, слезы этого предателя подтверждали его слова, а вздохи – намерения. А я, бедняжка, одна-одинешенька, не получившая среди своих никакого опыта в подобного рода делах, уж не знаю почему, поверила его лживым уверениям; однако не настолько, чтобы его слезы и вздохи вызвали во мне больше чем сострадание; и, оправившись от первого страха, я немного собралась с духом и с твердостью, на которую даже не считала себя способной, сказала ему: “Если бы я находилась не в твоих объятиях, а в лапах свирепого льва, и если бы для моего спасения мне предложили сказать или сделать что-нибудь противное моей чести, я бы ответила, что это столь же невозможно, как сделать бывшее небывшим. И как ты сжимаешь мое тело своими объятиями, так я связала свою душу добрыми намерениями, и насколько они не по-

хожи на твои, ты это увидишь, если, применив насилие, захочешь пойти дальше. Я – твоя вассалка, но не раба; знатность твоей крови не имеет и не может иметь власти унижать и позорить незнатность моей; и я, простолюдинка и поселянка, уважаю себя не менее, чем ты, сеньор кабальеро, уважаешь себя. Со мной не поможет тебе твоя сила, не подействует твое богатство; твои слова не смогут меня обмануть, а твои вздохи и слезы – растрогать. Но, если какое-либо из перечисленных мною качеств я открою в том, кого мои родители выберут мне в супруги, моя воля подчинится их воле и ни в чем ее не преступит; и если моя честь останется незапятнанной, я без радости, но по доброй воле отдам ему то, чего ты, сеньор, добиваешься с таким упорством. Пойми же, наконец, мои слова: никто в мире, кроме законного мужа, не добьется от меня милости". – "Если все дело за этим, прекрасная Доротея (так зовут меня, несчастную), – ответил бесчестный кабальеро, – вот тебе моя рука в знак нашего обручения; и да будет мне свидетелем небо, от которого ничто не укрывается, и этот образ Мадонны, стоящий перед тобой.

Когда Карденио услышал, что незнакомку зовут Доротеей, он снова пришел в волнение, так как его предположение окончательно подтвердилось; однако он не захотел прервать рассказ, чтобы узнать, чем он кончится, хотя он почти уже знал конец. Он только спросил:

– Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я уже слышал о девушке, называвшей себя этим именем; ее бедствия равны твоим. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе кое-что такое, что поразит тебя столь же, сколь и опечалит.

Эти слова Карденио, так же как его странный и убогий наряд, обратили на себя внимание Доротеи, и она попросила его сказать сейчас же все, что он знает об ее делах; ибо одно благо подарила ей судьба – мужество в перенесении несчастий, и она уверена, что, какое бы бедствие еще на нее ни обрушилось, оно не увеличит ее страданий.

– Я не премину, сеньора, сказать тебе то, что я думаю, если только мои предположения подтвердятся; но время еще не пришло, и тебе это пока не к чему знать.

– Как вам будет угодно, – ответила Доротея. – Итак, я продолжаю мою историю. Дон Фернандо взял образ, находившийся в комнате, и поставил его перед нами, как свидетеля нашего обручения. С торжественными уверениями и необыкновенными клятвами дал он мне слово стать моим супругом. Я не позволила ему кончить и принялась умолять его подумать о том, что он делает: разве не будет возмущен его отец, узнав, что сын женится на своей вассалке, поселянке? Пусть не ослепляет его моя красота, ибо, какова бы она ни была, она не послужит оправданием его поступку; если же он действительно меня любит и хочет добра, то пусть он не мешает мне связать свою судьбу с человеком, равным мне по положению, ибо столь неравные браки, как наш с ним, никогда не приносят счастья, и радость, с которой они начинаются, длится недолго. Все эти доводы я ему привела, и еще много других, которых теперь не помню, но они не заставили его отказаться от своего намерения: ведь тот, кто заключает сделку,

не собираясь платить, не заботится об условиях. Я же в эту минуту про себя подумала: "Не я первая через замужество из низкого звания попаду в высокое, и до дона Фернандо бывали знатные сеньоры, которых красота их возлюбленных или, вернее, их собственная слепая страсть заставляла вступать в неравные браки. И раз не я меняю свет и его обычаи, так почему же мне отказываться от такой чести? Если даже, удовлетворив свои желания, он перестанет меня любить, разве перед Богом я не останусь его супругой? А отвергну я его с презрением, – он, пожалуй, забыв свой долг, прибегнет к насилию, и тогда я останусь обесчещенной и не смогу оправдаться, так как никто мне не поверит, что я не по своей вине попала в такое положение. Как я докажу родителям и всем остальным, что он проник ко мне в спальню без моего согласия?" Все эти вопросы и ответы в одно мгновение промелькнули у меня в уме; но больше всего склоняли и влекли меня к моей погибели (тогда я еще этого не понимала!) клятвы, уверения и обильные слезы дона Фернандо: такие проявления искренней любви со стороны изящного и любезного кавалера покорили бы чье угодно еще не занятое и стыдливое сердце. Я позвала служанку, желая к небесным свидетелям нашего союза прибавить свидетеля земного. А дон Фернандо снова стал повторять и подкреплять свои клятвы, призывать все новых и новых святых, орошать лицо слезами и умножать вздохи. Если он когда-нибудь мне изменит, – говорил он, – да поразят его тысячи самых страшных проклятий. Еще теснее сжал он меня в своих объятиях, которых не размыкал с самого начала нашей встречи; и вот, когда служанка вышла из комнаты, я потеряла честь, и он завершил свое вероломство и предательство.

День, сменивший ночь моего несчастья, наступил не так быстро, как, думается мне, желал того дон Фернандо: ведь мужчина, удовлетворив свою плотскую страсть, думает только о том, как бы поскорей удалиться от места, где он ее насытил. Говорю я это потому, что дон Фернандо с большой поспешностью расстался со мной и с помощью той самой служанки, которая провела его в мою комнату, выбрался на улицу еще до рассвета. Прощаясь, он сказал мне́, – но уже не с тем жаром и пылом, как раньше, – чтобы я не сомневалась в его верности и что клятвы его крепки и правдивы; и в подтверждение своих слов он снял с руки драгоценный перстень и надел его мне на палец. И вот, он ушел, а я осталась ни печальна, ни весела; скорей я была смущена и задумчива, совсем растерянная от того, что со мной случилось. У меня не хватило духу, или, может быть, я просто забыла побранить служанку за ее предательство: ведь я и сама еще не знала, хорошо или худо она поступила, введя тайком в мою комнату дона Фернандо. Когда он уходил, я сказала ему, что он может тем же путем приходить ко мне каждую ночь, ибо теперь я принадлежу ему; и что так будет продолжаться, пока он не пожелает объявить всем о нашем союзе. Он явился на следующую ночь, но после того больше не показывался. Прошел целый месяц, а я не видела его ни на улице, ни в церкви и тщетно пыталась добиться с ним свидания; а между тем я знала, что он живет в том же городе[3] и целые дни проводит на охоте, – это было его любимое занятие.

Горьки и печальны были мне, помню, эти дни и часы. Закралось мне в душу сомнение, и поколебалась моя вера в дона Фернандо. Тогда, – помню и это, – служанка услышала от меня упреки за свою дерзость, которых раньше не слыхала; и пришлось мне тогда вести счет слезам и делать веселое лицо, чтобы родители не спросили меня, чем я огорчена, и не заставили прибегнуть к выдумкам. Но наступил день, когда все это сразу кончилось, когда растоптано было мое уважение и забыты честные раздумья, когда исчезло терпение и открылись перед всеми мои тайные помыслы. А произошло это потому, что вскоре в нашем селении распространился слух, что дон Фернандо женился в соседнем городе[4] на девушке красоты самой необыкновенной и из весьма знатного рода, хотя, правда, и не столь богатой, чтобы по приданому своему она могла рассчитывать на такой высокий союз. Говорили, что зовут ее Люсиндой и что обручение ее с доном Фернандо не обошлось без удивительных происшествий.

Услышав имя Люсинды, Кардению вздрогнул, закусил губы, нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. А Доротея продолжала тем не менее свой рассказ:

– Дошло до моих ушей это печальное известие, и сердце мое не оледенело: напротив, разгорелась в нем такая ярость и бешенство, что я чуть не выбежала на улицу, крича об измене и предательстве, жертвою которых я стала. Но я сдержала на время свое негодование и решила в ту же ночь сделать то, что и сделала: переоделась в это платье, которое мне уступил подпасок, работающий в имении моего отца; я рассказала ему о моем несчастии и просила проводить до города, где, по слухам, жил мой злодей. Он упрекнул меня за опрометчивость и не одобрил моего решения, но, видя, что я в нем упорствую, предложил сопровождать меня, как он выразился, хотя на край света. Тотчас я завернула в полотняную наволочку одно из моих платьев, взяла на всякий случай немного денег и драгоценностей и той же ночью, тайком, не предупредив предательницу-служанку, покинула дом и в сопровождении подпаска и тревожных мыслей отправилась пешком в город; я не собиралась помешать тому, что уже свершилось, нет, меня влекло желание спросить у дона Фернандо, как хватило у него духа сделать то, что он сделал.

Через два с половиной дня я прибыла в город и у заставы спросила, где находится дом родителей Люсинды. Первый же человек, к которому я обратилась, сообщил мне больше, чем я желала услышать. Он указал мне дом Люсинды и рассказал, что произошло при обручении (ибо событие это получило такую огласку, что во всем городе шли о нем толки и пересуды). А случилось вот что: в тот вечер, когда дон Фернандо обручился с Люсиндой и на его вопрос, хочет ли она быть его женой, она ответила "да", она вдруг упала в глубокий обморок, и, когда жених ее, чтобы ей легче было дышать, расстегнул ее корсаж, он на груди ее нашел записку, написанную ее собственной рукой: в ней говорилось, что Люсинда не может быть женой дона Фернандо, так как она уже обручена с Кардению (по словам рассказчика, Кардению был весьма знатным кабальеро из того города), и что она ответила ему "да" только потому, что не по-

смела ослушаться родителей. В конце концов, по его словам, из записки ясно было, что Люсинда собиралась после обручения убить себя, и она объясняла, почему она решила расстаться с жизнью. Кинжал, найденный, как говорят, в ее платье, подтверждал ее намерение. Увидев все это, дон Фернандо решил, что Люсинда насмеялась над ним, опозорила его и унизила, и, прежде чем она пришла в себя, бросился на нее с ее же кинжалом в руке, собираясь ее заколоть, – что он наверное бы и сделал, если бы родители и люди, бывшие при этом, его не удержали. Далее мне рассказали, что дон Фернандо немедленно же удалился из города, а Люсинда только на другой день пришла в себя и призналась родным, что она действительно жена этого Карденио. Я узнала также, что Карденио присутствовал при обряде и, увидев, что Люсинда обручена с другим, – а это казалось ему чудовищным, – в отчаянии убежал из города, написав ей письмо, в котором он упрекал ее за нанесенную ему обиду и заявлял, что навсегда уходит прочь от глаз людских. Все это было известно и ведомо всему городу; все только об этом и говорили, но заговорили еще больше, когда открылось, что Люсинда исчезла из родного дома и что нигде не могут ее найти. Родители ее совсем потеряли голову и не знают, как ее отыскать.

Все эти вести подали мне некоторую надежду. Правда, я не нашла дона Фернандо, но это все же лучше, чем если бы я нашла его женатым; раз он не женат, думалось мне, двери к моему спасению еще не заперты. Я говорила себе: само небо помешало его второму браку для того, чтобы он почувствовал свои обязательства по отношению к первому и вспомнил, наконец, что он христианин и что спасение души важнее всех человеческих расчетов. Все это я думала и передумывала и, безутешная, утешалась, сочиняя себе отдаленные, но слабые надежды, лишь бы поддержать в себе ненавистную жизнь. Дона Фернандо я все не находила и жила в городе, не зная, что предпринять, как вдруг раз услышала я площадного глашатая, который объявлял о большой награде тому, кто меня найдет, и сообщал мои отличительные признаки – возраст и платье. Шел слух, что меня похитил слуга, ушедший из дому вместе со мной; последнее известие особенно поразило мою душу, так как я увидела, что погибло мое доброе имя и что позор моего бегства связывается еще с именем человека низкого и не достойного моей любви. Как только я услышала глашатая, я ушла из города со слугой, и тут я стала замечать, что верность и преданность, в которых он мне клялся, стали в нем колебаться. К ночи мы забрались в глубину этих гор, опасаясь погони. Но, как говорится, одна напасть зовет другую и конец одной беды – начало другой, еще горшей; так было и со мной: мой доселе верный и надежный слуга, побуждаемый не столько моей красотою, сколько собственной низостью, захотел воспользоваться случаем, который ему предоставляла уединенность этих мест; как только мы остались вдвоем в этих горах, забыв о стыде, о страхе Божием и об уважении ко мне, он стал домогаться моей любви. И когда я резкими и справедливыми словами ответила на бессовестные его предложения, он оставил мольбы, которыми вначале пытался тронуть мое сердце, и перешел к насилию. Но праведное Небо, которое почти всегда благосклонно взирает на

добрые намерения, помогло мне: своими слабыми руками я без труда столкнула его с обрыва, и не знаю, остался ли он жив или убился. Затем я бодро, несмотря на испуг и усталость, ушла в горы с одной только мыслью и одним желанием: скрыться от отца и от посланной за мною погони.

Не знаю, сколько месяцев провела я в горах. Там встретила я пастуха, живущего в самой глубине этих ущелий; он взял меня к себе на работу, и все это время я прослужила у него подпаском, стараясь целые дни проводить под открытым небом, чтобы скрыть свои волосы, которые теперь так нечаянно меня выдали. Но все мои старания и усилия оказались бесплодными, так как хозяин наконец узнал, что я не мужчина, и в сердце его зародились те же дурные мысли, что и у моего слуги; а между тем судьба не всегда вместе с болезнью посылает и лекарство от нее, и на этот раз не могла я, как сделала с моим слугой, сбросить его ни в овраг, ни в пропасть, измерив которую, он бы умерил свой пыл. Поэтому я предпочла бежать и снова скрыться среди этих утесов, не пытаясь защищаться словами или силой. И вот, с тех пор брожу я по горам и ищу места, где бы я могла без помех жаловаться небу на свою горькую участь и просить у него способа и средств или облегчить ее, или вовсе расстаться с жизнью в этой пустыне, так, чтобы не осталось даже памяти о несчастной, которая безвинно заслужила, чтобы говорили и шептались о ней и в родной ее земле и в чужих краях.

ГЛАВА XXIX

в которой рассказывается[1] об остроумной хитрости и способе, с помощью которых наш влюбленный кабальеро был избавлен от наложенного им на себя сурового покаяния

– Таков, сеньоры, правдивый рассказ о моей трагедии: решайте и судите сами, достаточно ли у меня причин для того, чтобы вздохи, которые вы слышали, слова, которым внимали, и слезы, которые лились из моих глаз, были еще обильнее; и, подумав о природе моей печали, вы увидите, что здесь бесплодны советы, ибо исцеление невозможно. Об одном вас прошу (и вы легко сможете и должны это сделать), – посоветуйте, куда мне удалиться, где бы меня не преследовал страх и ужас быть настигнутой теми, кто меня разыскивает; ибо, хотя и знаю, что родители так меня любят, что я могу не сомневаться в их радостном приеме, стыд охватывает меня при мысли, что я появлюсь перед ними не такой, как этого бы им хотелось, и я предпочитаю навсегда скрыться от них; я не в силах буду прочесть в их глазах, что они считают меня потерявшей честь, которую я обещала блюсти.

Сказав это, она замолчала, и щеки ее покрыл румянец, ясно свидетельствовавший о чувствительности и стыдливости ее души. А слушатели в своих душах

почувствовали и печаль и удивление перед ее несчастной судьбой. Священник хотел ее утешить и успокоить, но Кардениo заговорил первый и сказал:

– Так значит, сеньора, вы – прекрасная Доротея, единственная дочь богатого Кленардо?

Доротея удивилась, услышав имя своего отца, и, увидев жалкое одеяние того, кто его назвал (мы уже говорили, что Кардениo был в весьма убогом наряде), спросила:

– А кто же вы, братец, и откуда вы знаете имя моего отца? Ведь, если я не ошибаюсь, в продолжении всего моего рассказа я ни разу его не назвала.

– Я тот несчастный, – ответил Кардениo, – которого, как вы сказали, Люсинда назвала своим супругом; я – злополучный Кардениo. Злодейство вашего обидчика сделало и меня таким, каким вы меня видите: оборванным, нагим, лишенным человеческого участия и, что хуже всего, лишенным разума, – увы! кроме тех редких минут, когда небо мне его возвращает. Да, Доротея, я присутствовал при клятвопреступлении дона Фернандо, я слышал, как Люсинда, ответив "да", обещала стать его женой; но у меня не хватило сил дождаться, чем кончится ее обморок, и узнать, что содержится в записке, найденной на ее груди. Душа не вынесла стольких ударов судьбы, терпение покинуло меня, и я покинул ее дом и, поручив моему хозяину передать Люсинде мое письмо, удалился в эту глушь, где намеревался покончить жизнь, которую с той самой минуты возненавидел, как лютого врага. Но судьбе не было угодно отнять ее, и она отняла у меня только разум, – быть может, для того, чтобы сберечь меня до этой счастливой встречи с вами; если ваши слова – правда, – а я в это твердо верю, – то, может быть, судьба готовит нашим испытаниям конец лучший, чем мы предполагаем. Ведь если Люсинда, как она это объявила при всех, не может выйти замуж за дона Фернандо, так как она принадлежит мне, а дон Фернандо не может жениться на Люсинде, так как он связан с вами, то нельзя ли нам надеяться, что небо возвратит нам то, что наше – ибо наше достояние – еще наше, и никто у нас его не отнял и не отобрал? И раз у нас есть такое утешение, порожденное не отдаленными надеждами, и основанное не на бессмысленных мечтаниях, прошу вас, сеньора, примите в ваших благородных мыслях другое решение и надейтесь на лучшую судьбу, и я сделаю то же. Я даю вам слово дворянина и христианина, что не покину вас, пока вы не будете в объятиях дона Фернандо; если же уговорами мне не удастся склонить его к исполнению долга, я воспользуюсь своим званием дворянина и с полным правом вызову вашего оскорбителя на бой, чтобы, забыв временно о своих обидах (за которые да покарает его небо!), здесь, на земле, отомстить за ваши.

Чем дольше говорил Кардениo, тем более удивлялась Доротея; не зная, как отблагодарить его за столь великодушные предложения, она бросилась к его ногам, желая обнять их. Но Кардениo этого не допустил, а лиценциат ответил за обоих; одобрив прекрасную речь Кардениo, он стал просить, уговаривать и убеждать их отправиться вместе с ним в его деревню: там они запасутся всем необходимым, а потом решат, как им отыскать дона Фернандо, как возвратить

Доротею к ее родным, и вообще примут все нужные меры. Кардению и Доротея поблагодарили и приняли предложенную им услугу. Цирюльник, сосредоточенно молчавший в течение всей этой сцены, наконец тоже заговорил и с такой же готовностью, как и священник, предложил свою всяческую помощь. Тут же он вкратце рассказал о том, что привело его в эти места, сообщив о необычайном безумии Дон Кихота и о том, что они поджидают его оруженосца, отправившегося на его поиски. Тут Кардению, как сквозь сон, вспомнил о своей ссоре с Дон Кихотом и рассказал о ней присутствующим; только не мог объяснить причины этой ссоры. В эту минуту услышали они крик и узнали голос Санчо Пансы, который, не найдя их там, где оставил, взывал громким голосом. Они пошли к нему навстречу, и на вопрос их о Дон Кихоте Санчо Панса ответил, что нашел его раздетым, в одной рубашке, слабым, желтым, умирающим от голода и вздыхающим о своей госпоже Дульсинее, и что, когда Санчо ему объявил, что его послала Дульсинея с приказом покинуть эти места и отправиться в Тобосо, где она его ждет, он на это ответил, что решил не показываться пред ее прекрасные очи, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости. "Если так будет продолжаться, – прибавил Санчо Панса, – то Дон Кихоту грозит опасность не сделаться не только, как он намеревался, императором, но даже, на худой конец, архиепископом, и поэтому крайне необходимо найти какой-нибудь способ оттуда его извлечь".

Лиценциат ему на это ответил[2], что он может не беспокоиться, и что они извлекут его оттуда, хотя бы против его воли. И тотчас же рассказал он Кардению и Доротее о том, что они придумали, с целью излечить Дон Кихота или, по крайней мере, вернуть его домой. Тогда Доротея заявила, что она лучше цирюльника сможет изобразить обиженную девицу, и выйдет это правдоподобнее, так как у нее есть женское платье; пусть ей только поручат эту роль, а уж она сумеет ее разыграть, потому что она читала много рыцарских романов и знает, каким языком говорят обездоленные девицы, прося заступничества у странствующих рыцарей.

– Если так, – сказал священник, – то ничего больше не остается, как приняться за дело. Судьба явно нам благоприятствует, потому что, приоткрыв для вас обоих двери спасения, она в то же время помогла и нам в нашей нужде.

Доротея тотчас же достала из своего узла платье из тонкой и дорогой материи с мантилью из прекрасной зеленой ткани, а из ларца – ожерелье и другие драгоценности и в одну минуту нарядилась, как богатая и знатная сеньора. Эти вещи и еще кое-какие другие, по ее словам, она захватила с собой из дому на всякий случай, но до сих пор этого случая не предоставлялось. Всем чрезвычайно понравилась ее грация, изящество и прелесть, и все заявили, что дон Фернандо – человек с плохим вкусом, раз он мог покинуть такую красоту. Особенно же был восхищен ею Санчо Панса, ибо никогда еще в своей жизни не видел он такого прелестного создания; и потому он с большим жаром и интересом стал расспрашивать священника, кто эта прекрасная сеньора и что ищет она в этой глуши.

– Эта прекрасная сеньора, братец Санчо, – отвечал священник, – наследует по прямой мужской линии трон великого королевства Микомикон[3], а идет она к вашему господину на поклон, чтобы попросить у него милости: защитить ее от злого великана, который нанес ей ущерб и обиду; дошла до нее молва о добром рыцаре, вашем господине, и приехала она за ним из Гвинеи[4].

– Счастливые поиски и счастливая находка, – сказал тогда Санчо Панса, – а еще выйдет лучше, если моему господину удастся отомстить за обиду и искоренить зло, убив мерзавца-великана, о котором говорит ваша милость; да уж он его наверное убьет, как только с ним встретится, если, впрочем, это не призрак, потому что над призраками мой господин не имеет никакой власти. Но об одном хочу я попросить вашу милость, сеньор лиценциат: очень уж я опасаюсь, как бы моему господину не пришло в голову сделаться архиепископом, а потому посоветуйте ему, ваша милость, сразу жениться на этой принцессе; тогда уж никто не сможет возвести его в архиепископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, а тогда и все мои желания исполнятся. Я уже все хорошенько обдумал и решил, что для меня очень неудобно, чтобы мой господин сделался архиепископом, потому что для церкви я бесполезный человек: я ведь женат, у меня жена и дети, и, если хлопотать мне теперь о расторжении брака для получения какой-нибудь церковной синекуры, – волокита будет без конца! Так значит, сеньор, вся суть в том, чтобы мой господин поскорее женился на этой сеньоре, – имени ее милости я еще не знаю, а потому и не величаю по имени.

– Ее зовут, – ответил священник, – принцесса Микомикона, ибо, раз ее королевство называется Микомикон, то ясно, что и она должна так же называться.

– Несомненно так, – сказал Санчо. – Мне нередко приходилось встречать людей, которые брали себе имя и фамилию от места их рождения: например, Педро де Алькала́, Хуан де У́беда, Диего де Вальядолид, и там, в Гвинее, должно быть, такой же обычай: королевы называются по имени своего королевства.

– Наверное так, – сказал священник. – А что касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах.

Санчо был настолько удовлетворен этим, насколько священник был восхищен его простодушием, видя, что воображение его полно такого же сумасбродства, как и у его господина, который, без сомнения, твердо верил, что сделается императором.

Тем временем Доротея села на мула священника, цирюльник прикрепил себе к подбородку бороду из бычьего хвоста, и они попросили Санчо проводить их туда, где находился Дон Кихот, наказав ему, чтобы он ему не говорил, что знает лиценциата и цирюльника: только-де при этом условии его господин сможет стать императором. Священник и Карденио решили не присоединяться к ним: Карденио из опасения, что Дон Кихот вспомнит о случившейся между ними ссоре, а священник потому, что считал свое присутствие пока что излишним. Они отправили их вперед, а сами последовали за ними пешком на некотором

расстоянии. Священник продолжал учить Доротею тому, что она должна делать, но Доротея просила его не беспокоиться, обещав в точности вести себя так, как требуют и описывают рыцарские романы. Не проехали они и трех четвертей мили, как среди лабиринта скал увидели нашего рыцаря, уже одетого, но еще не вооруженного. Как только Доротея его заметила и узнала от Санчо Пансы, что это и есть Дон Кихот, она подхлестнула своего скакуна; бородатый цирюльник от нее не отставал. Когда они подъехали к Дон Кихоту, оруженосец соскочил с мула и подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, но она сама ловко спрыгнула на землю и сразу же бросилась на колени перед Дон Кихотом. И хотя тот пытался ее поднять, она, не вставая, заговорила так:

– Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь, пока ваша доброта и любезность не осчастливят меня даром, который вашей особе принесет честь и славу, а мне, самой безутешной и обиженной девице на свете, великую пользу. И если доблесть вашей мощной руки соответствует голосу вашей бессмертной славы, то вы обязаны помочь обездоленной, которая прибыла из далеких стран, привлеченная блеском вашего знаменитого имени, просить у вас исцеления своих горестей.

– Ни слова я вам не отвечу, прекрасная сеньора, – сказал Дон Кихот, – и слушать не буду о ваших несчастиях, пока вы не встанете.

– Я не встану, сеньор, – ответила опечаленная девица, – если сначала ваше великодушие не посулит мне дара, о котором я прошу.

– Даю его вам и обещаю, – сказал Дон Кихот, – если только он не во вред и не в ущерб ни моему королю, ни моей родине, ни той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы.

– Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, – отвечала несчастная девица.

В это время подошел Санчо Панса и на ухо шепотом сказал Дон Кихоту:

– Ваша милость вполне может обещать ей этот дар, потому что дело это совсем пустячное: нужно убить там какого-то великана; а девица, что об этом просит, – благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – сказал Дон Кихот, – я сделаю то, что велит мне мой долг и диктует моя совесть, согласно закону моего рыцарского ордена.

И, обратившись к девушке, прибавил:

Встаньте, прекрасная дама, я обещаю вам дар, о котором вам угодно просить меня.

– Я прошу вас, великодушный рыцарь, – сказала девица, – чтобы ваша милость немедленно же отправилась со мной туда, куда я вас поведу, и чтобы вы обещали мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство вопреки всем законам Божеским и человеческим.

– Повторяю, что обещаю вам это, ответил Дон Кихот. – Поэтому отныне, сеньора, вы можете откинуть гнетущую вас печаль и возвратить силу и крепость вашим ослабевшим надеждам; ибо с помощью Божьей и моего меча вы

вскоре увидите себя в вашем королевстве, на престоле вашего древнего и великого государства, на зло и на горе изменникам, дерзнувшим его оспаривать. Итак, скорее за дело, ибо, как говорят, в промедлении – опасность!

Обиженная девица с большой настойчивостью пыталась поцеловать Дон Кихоту руку, но тот, будучи во всех отношениях учтивым и вежливым кавалером, этого не допустил; напротив, он ее поднял и обнял с большой учтивостью и вежливостью, затем велел Санчо подтянуть подпруги у Росинанта и немедленно принести ему полное вооружение. Санчо снял доспехи, висевшие на дереве, словно трофеи, и, подтянув подпруги, в одно мгновение вооружил своего господина. Тот, после того как вооружился, сказал:

– Едем же, во имя Божие, на защиту этой высокой сеньоры!

Цирюльник все еще продолжал стоять на коленях, изо всех сил стараясь подавить свой смех и придержать рукою бороду, – ибо, если бы она свалилась, возможно, что разлетелись бы прахом все их планы. Когда же он увидел, что просимый дар обещан и Дон Кихот с жаром спешит приняться за дело, он встал и взяв свою госпожу за другую руку, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула. Затем наш рыцарь вскочил на Росинанта, а цирюльник взмостился на своего скакуна; один только Санчо остался пеший, и тут он снова вспомнил о потере своего ослика, которого сейчас ему так не доставало. Однако он с этим легко примирился, ибо ему казалось, что господин его теперь на хорошей дороге и вот-вот станет императором, – ибо он нисколько не сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и сделается по меньшей мере королем Микомикона. Огорчало его только то, что царство это расположено в стране негров и что все его будущие вассалы будут чернокожими; впрочем, и тут его воображение подсказало ему выход. "Что за беда, – рассуждал он сам с собой, – что мои вассалы будут неграми? Уж будто так трудно погрузить их на корабли и отвезти в Испанию? Там я смогу их продать, мне заплатят наличными, а на вырученные денежки я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай: ведь продать каких-нибудь тридцать или десять тысяч вассалов – это плевое дело; ей-Богу, я их мигом сбуду с рук, больших с маленькими, и пускай себе они негры – а я их сделаю беленькими и желтенькими[5]. Не на такого дурака напали!" И так он был взволнован и обрадован этими мыслями, что забывал о неприятностях пешего хождения.

Священник и Кардению наблюдали все происходящее сквозь кустарник, ломая голову, что бы им такое выдумать, чтобы к ним присоединиться. Наконец священник, бывший большим хитрецом, придумал способ: вытащил из находившегося при нем футляра ножницы и с большим проворством остриг Кардению бороду, затем надел на него свой серый плащ и пристежной черный воротник, а сам остался в одном камзоле и штанах. Кардению так преобразился, что, если бы он поглядел в зеркало, он бы сам себя не узнал. Пока они переодевались, всадники их уже опередили, но им легко удалось выбраться раньше на проезжую дорогу, так как скалы и заросли этой местности не позволяли конным про-

двигаться так же быстро, как пешим. И так, они вышли из ущелий и пошли по равнине, а когда вдали появились Дон Кихот и его спутники, священник принялся в них всматриваться, показывая знаками, что он их узнает, и, проделав это некоторое время, с распростертыми объятьями кинулся к ним навстречу.

– В счастливый час я вас встретил, – вскричал он, – о зерцало рыцарства, добрый мой земляк, Дон Кихот Ламанчский, цвет и сливки благородства, оплот и убежище обездоленных, квинтэссенция странствующих рыцарей!

Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, изумленный его словами и поведением, стал пристально его разглядывать и наконец узнал, после чего, крайне пораженный этой встречей, сделал усилие, чтобы слезть с лошади, но священник его удержал. Тогда Дон Кихот сказал:

– Дайте мне сойти, ваша милость, сеньор лиценциат: не подобает мне ехать верхом, в то время как столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком.

– Ни за что этого не допущу, – отвечал священник, – пусть ваше величие остается на лошади, ибо, сидя на ней, вы совершаете деяния и подвиги, славнее которых наш век не видел, я же, недостойный священнослужитель, удовольствуюсь, если кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула, и будет мне казаться, что, как рыцарь, еду я на коне Пегасе или на зебре, принадлежавшей знаменитому мавру Мусараке, что поныне спит зачарованный в великом холме Сулéма близ великого Комплута[6].

– Я об этом не подумал, сеньор лиценциат, – ответил Дон Кихот, – но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне прикажет своему оруженосцу уступить вашей милости седло, а самому устроиться на крупе, если только животное это выдержит.

Мне кажется, что выдержит, – отвечала принцесса, – и я полагаю, что мне незачем приказывать, так как мой оруженосец столь учтив и любезен, что и сам не позволит духовной особе идти пешком, когда она может ехать верхом.

– Совершенно верно, – ответил цирюльник.

И, быстро спешившись, он предложил священнику сесть в седло, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. Но, к несчастью, мул был наемный, а следовательно, никуда не годный, и потому, когда цирюльник собрался сесть к нему на круп, тот вдруг приподнял задние ноги и два раза брыкнул ими в воздухе. Хорошо еще, что он не угодил маэсе Николасу в грудь или в голову, не то цирюльник, наверное, послал бы ко всем чертям свою поездку за Дон Кихотом. Все же это брыканье так на него подействовало, что он бросился на землю, забыв о своей бороде, которая тотчас же у него отвалилась: заметив это, он не придумал ничего лучшего, как закрыть лицо обеими руками и закричать, что у него выбиты все зубы. Дон Кихот, увидев, что пучок бороды без челюстей и без крови валяется поодаль от упавшего оруженосца, сказал:

– Клянусь Богом, вот великое чудо! Мул у него сорвал и отделил бороду, словно ножом срезал.

Видя, что положение опасно и что выдумка его может открыться, священник быстро подбежал к бороде и, подняв ее, бросился к маэсе Николасу, кото-

рый продолжал лежать и стонать; он положил голову цирюльника себе на грудь и, бормоча какие-то слова, приставил ему бороду, а присутствующим заявил, что это – некое заклинание для приращения бород и что они сейчас в этом убедятся. Прикрепив маэсе Николасу бороду, священник отошел, и оруженосец встал здравый, невредимый и бородатый, как прежде. Дон Кихот был чрезвычайно удивлен и попросил священника при случае сообщить ему это заклинание, в уверенности, что действие его простирается не только на приращение бороды, – ибо если кому-нибудь оторвут бороду, на щеках его должны остаться болячки и раны: а раз это заклинание исцеляет решительно все, то, значит, польза от него не только для бород.

– Совершенно верно, – ответил священник и при первом же удобном случае пообещал сообщить заклинание.

Затем они порешили, что священник сядет на мула, и все трое будут по очереди сменяться: так и доедут они до постоялого двора, находившегося в двух милях оттуда. После того как трое уселись верхом, а именно – Дон Кихот, принцесса и священник, а трое – Кардению, цирюльник и Санчо Панса – двинулись в путь пешком, Дон Кихот сказал Доротее:

– Ваше высочество сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат:

– Куда ваша светлость соблаговолит нас повести? Вероятно, в королевство Микомикон? Должно быть, так, или я ничего не мыслю в королевствах.

Доротея, понимавшая, в чем дело, мигом сообразила, что ей нужно ответить утвердительно, и потому сказала:

– Да, мой сеньор, путь мой лежит в это королевство.

– Если так, – продолжал священник, – то нам придется проехать через мою деревню, а оттуда ваша милость отправится в Картахену, где в добрый час и при попутном ветре вы сможете сесть на корабль. И если на море не будет бури, вы в каких-нибудь девять лет доедете до великого Меонийского, то бишь, Меотийского озера[7], а уж оттуда немногим больше ста дней пути до королевства вашего высочества.

– Ваша милость ошибается, – отвечала Доротея: – не прошло и двух лет, как я выехала из дому, и на всем пути погода мне не благоприятствовала; а все же я доехала и увидела того, кого так желала увидеть, – сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором, едва я ступила на берег Испании, достигла моего слуха и побудила меня разыскать его, чтобы прибегнуть к его великодушию и поручить мое правое дело силе его непобедимой руки.

– Довольно меня хвалить, – прервал ее Дон Кихот, – ибо я враг всякого рода лести, и допустив даже, что слова ваши не лесть, они все же оскорбляют мой стыдливый слух. Скажу лишь вам, сеньора, что, какова бы ни была моя доблесть, поскольку я вообще обладаю ею, она всецело к вашим услугам, и для вас я даже готов пожертвовать жизнью. Но для этого еще придет время, а сейчас расскажите мне, сеньор лиценциат, какими путями попали вы в эти места – один, налегке и без слуг; все это очень меня удивляет.

– Отвечу вам кратко, – начал священник. – Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим другом цирюльником маэсе Николасом, направлялись в Севилью за получением некоторой суммы денег, которую прислал мне один мой родственник, уже много лет тому назад переселившийся в Индию; и сумма не малая: шестьдесят тысяч добротных песо[8] – это не пустяки. И вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, напали на нас четыре разбойника и забрали у нас все дочиста, даже бороды, так что цирюльнику пришлось приделать себе фальшивую; этого же юношу, нашего спутника (прибавил он, указывая на Карденио), оставили в чем мать родила. Но самое удивительное это то, что, по словам окрестных жителей, грабители наши не кто иные, как каторжники, выпущенные на свободу неподалеку отсюда; и говорят, что сделал это, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то храбрец. Несомненно, это или сумасшедший, или такой же негодяй, как и они, или же человек без души и совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур или муху на мед. Видно, замыслил он оскорбить правосудие и восстать против своего законного господина, короля, раз он нарушил мудрые его приказания; замыслил он, повторяю, галеры лишить их опоры, всполошить Санта Эрмандад, которая уже много лет отдыхает; словом, замыслил совершить дело, от коего душа его погибнет, да и тело не спасется.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, из которого его господин вышел покрытый славой, и поэтому священник нарочно так красочно расписывал, чтобы посмотреть, как к этому отнесется Дон Кихот. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что освободил эту славную компанию не кто иной, как он.

– Так вот кто наши грабители, – закончил священник, – и да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары.

ГЛАВА XXX

в которой рассказывается[1] об уме прекрасной Доротеи и многих других вещах, простых и занимательных

Не успел священник кончить, как Санчо воскликнул:

– Честное слово, сеньор лиценциат, да ведь этот подвиг совершил мой господин! Я и тогда ему говорил и указывал, чтобы он подумал о том, что делает, и что грех отпускать их на свободу: ведь на галеры-то отправляют их за величайшие злодеяния!

– Глупец, – сказал тут Дон Кихот, – не надлежит и не подобает странствующим рыцарям проверять, виновны или невиновны те удрученные, оскорбленные и закованные в цепи, которых они встречают на больших дорогах; им подобает только помогать нуждающимся, обращая внимание на их страдания, а не

на их преступления. Я столкнулся с измученными и несчастными людьми, нанизанными на цепь, как четки или бусины на ожерелье, и поступил согласно данному мной обету, а остальное – пусть на небе рассудят. А кому это кажется дурным, тот ни аза не смыслит в рыцарстве и лжет, как мужлан и мошенник (выключая, конечно, святой сан сеньора лиценциата и почтенную его особу), и я докажу ему это мечом, как если бы меч мой лежал тут предо мной.

Сказав это, он укрепился в стременах и надвинул на лоб свой шишак, – ибо цирюльничий таз, который он принимал за шлем Мамбрина, висел у него на передней луке седла, приведенный каторжниками в такое состояние, что он весьма нуждался в починке.

Доротея, девица находчивая и остроумная, знавшая, что Дон Кихот поврежден в уме и что все, кроме Санчо Пансы, над ним потешаются, не пожелала отстать от других и так сказала обиженному Дон Кихоту:

– Сеньор рыцарь, вспомните о даре, который вы мне обещали, и о том, что вы не можете пускаться ни в какие другие приключения, как бы неотложны они ни были. Умерьте же ваш гнев; если бы сеньор лиценциат знал, что эти каторжники были освобождены вашей непобедимой рукой, он бы трижды зашил себе рот и трижды прикусил себе язык, прежде чем сказать что-либо не угодное вашей милости.

– Клянусь, что это правда, – подхватил священник; – да я бы себе прежде оторвал ус[2].

– Я замолчу, моя сеньора, – ответил Дон Кихот, – и сдержу справедливый гнев, закипевший в моей груди; отныне я буду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но в награду за мои добрые намерения, прошу вас, скажите мне, если это не тяжело вам, в чем ваша печаль и сколько этих лиц, кто они и какого звания – на кого обрушится моя праведная, полная и достойная месть.

– Охотно вам отвечу, – сказала Доротея, – если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях.

– Не наскучит, моя сеньора, – отвечал Дон Кихот.

На это Доротея сказала:

– Если так, то слушайте меня, сеньоры.

Как только она произнесла эти слова, Кардениo и цирюльник подошли к ней поближе, желая узнать, какую историю сочинит умница Доротея; то же сделал и Санчо, находившийся в таком же заблуждении, как и его господин. А она, усевшись поудобнее в седле, откашлявшись и приготовившись, как это делается в таких случаях, с большой приятностью начала так:

– Прежде всего да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня...

И тут она запнулась, потому что забыла, какое имя дал ей священник. Но последний сейчас же пришел ей на помощь, так как сразу понял, в чем затруднение, и сказал:

– Не удивительно, сеньора, что ваше величество смущается и затрудняется, желая пересказать нам свои невзгоды. Таково уж их свойство, что они лишают памяти тех, на кого сваливаются: люди в несчастье нередко забывают свои соб-

ственные имена, как это и теперь случилось с вами, забывшей, что зовут вас принцессою Микомиконой и что вы законная наследница великого королевства Микомикона. После этого напоминания ваше величество без труда сможет восстановить в своей удрученной памяти все, что вам будет угодно рассказать нам.

– Совершенно верно, – ответила девица, – и я надеюсь, что в дальнейшем я обойдусь без напоминаний и доведу до благополучной гавани мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый[3], ибо он был весьма сведущ в науке, называемой магией; и чрез нее открылось ему, что мать моя, королева Харамилья, должна умереть раньше него и что вскоре после того суждено и ему покинуть этот мир, а мне на роду написано остаться сиротой, без отца и матери. И хоть был он этим огорчен, но еще сильнее, как говорил он, удручало его другое: он доподлинно знал, что на большом острове, почти рядом с нашим государством, царствовал чудовищный великан по имени Пандафиландо Свирепоглазый[4] (всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на своем месте, а смотрит он всегда вбок, как будто он косой, и делает он это из ехидства, чтобы пугать и устрашать всех, на кого он смотрит). И вот, мой отец узнал, что, когда до великана дойдет слух о моем сиротстве, нападет он с большим войском на наше королевство и все у меня отнимет, не оставив мне даже маленькой деревушки, где бы я могла найти себе пристанище. Однако я могла бы избежать этого бедствия и разорения, если бы пожелала выйти за него замуж; но по всем данным отец мой полагал, что я никогда не соглашусь на такой неравный брак, и в этом он нисколько не ошибался, ибо никогда мне и в мысль не приходило обвенчаться ни с этим великаном, ни с другим каким, как бы велик и могуч он ни был. И еще сказал мне отец, что, когда он умрет и Пандафиландо двинется на мое королевство, я не должна и думать о сопротивлении, ибо это будет равносильно гибели; а надлежит мне, если я хочу спасти от смерти и полного истребления моих добрых и верных вассалов, добровольно очистить королевство, так как нет возможности защищаться против дьявольской силы этого великана. И завещал он мне немедленно с несколькими верными людьми отправиться в путь в Испанию и отыскать там спасителя от всех моих бедствий – странствующего рыцаря, чья слава в то время распространится по всему государству, а звать его будут, если только я хорошо помню, дон Асот или дон Хигот[5].

– Должно быть, он сказал: Дон Кихот, – прервал ее Санчо Панса, – или, по-другому, Рыцарь Печального Образа.

– Именно так, – ответила Доротея. – И еще он прибавил, что рыцарь этот – высокого роста, худощав лицом и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосиками наподобие щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться; ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.

– К чему же вашей милости раздеваться? – спросила Доротея.

– Чтобы посмотреть, есть ли у меня та родинка, о которой говорил ваш отец, – ответил Дон Кихот.

– Для этого незачем раздеваться, – сказал Санчо, – я и так знаю, что у вашей милости посредине спины как раз такая самая родинка, и это – знак мужественности.

– Этого совершенно достаточно, – сказала Доротея, – потому что между друзьями на такие мелочи не смотрят, и неважно, на плече она или на спине; главное, что родинка есть, а где бы она ни была, тело всюду одинаковое. Нет сомнения, что мой добрый отец предсказал правильно, и я тоже не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту, так как его-то, несомненно, мой отец и имел в виду. Ведь с телесными признаками согласуется и добрая молва, которая идет о нем не только в Испании, но и во всей Ламанче[6], – ибо не успела я высадиться в Осуне[7], как уже услышала о его деяниях, и сразу же подсказало мне сердце, что его-то я и ищу.

– Но как же, моя сеньора, ваша милость могла высадиться в Осуне, – спросил Дон Кихот, – когда это не морская гавань?

Прежде чем Доротея успела ответить, вмешался священник и сказал:

– Сеньора принцесса, должно быть, хотела сказать, что, с тех пор как она высадилась в Мáлаге, первое место, где она услышала о вашей милости, была Осуна.

– Да, именно это я и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Тогда все понятно, – сказал священник. – Итак, продолжайте, ваше величество.

– Мне нечего добавить, – сказала Доротея, – разве только то, что, наконец, судьба надо мной сжалилась, и я нашла сеньора Дон Кихота. Теперь я уже считаю себя королевой и владычицей всего моего королевства, ибо по своей любезности и великодушию он соблаговолил согласиться отправиться со мной, куда я его поведу; а поведу я его к великану Пандафиландо Свирепоглазому для того, чтобы он его убил и возвратил мне то, что у меня незаконно им отнято. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал мой добрый отец Тинакрио Мудрый. И еще оставил он грамоты, написанные по-гречески и по-халдейски, прочесть их я не умею, но значится в них следующее: если рыцарь, о котором мне предсказано, отрубив великану голову, пожелает на мне жениться, то должна я немедленно, без всяких отговорок, стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над всем королевством.

– Что ты на это скажешь, друг мой Санчо? – сказал тут Дон Кихот. – Ты слышишь, о чем идет речь? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.

– Ей-Богу, верно! – сказал Санчо. – Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандаиладу[8] и не жениться на принцессе! Что же, вы скажете, королева плоха? Хотел бы я, чтоб такие блошки прыгали в моей постели!

И, сказав это, он в знак особого удовольствия брыкнул обеими ногами в воздухе; потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени, умоляя позволить ему поцеловать ей ру-

ки, как своей королеве и сеньоре. Кто бы не рассмеялся, видя такое безумие господина и простодушие слуги! Доротея протянула ему руки и обещала сделать его важным вельможей, когда небо позволит ей снова вступить во владение своим королевством. Санчо стал ее благодарить в таких выражениях, что присутствующие снова рассмеялись.

– Такова, сеньоры, моя история, – продолжала Доротея. – Мне остается сказать вам, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, остался у меня один этот бородатый оруженосец, а все остальные потонули во время ужасной бури, настигшей нас в виду гавани; мы же с ним на двух досках чудом добрались до берега. Да и вся моя жизнь, как вы уже заметили, есть чудо и тайна. Если же я позволила себе что-либо лишнее и некстати, то виной этому обстоятельство, на которое в самом начале моего рассказа указал сеньор лиценциат: необыкновенные и беспрерывные испытания лишают памяти тех, на кого они обрушиваются.

– Сколько бы мне ни пришлось их пережить, как бы велики и удивительны они ни были, о высокородная и отважная сеньора, – заявил Дон Кихот, – служа вам, я не потеряю памяти! И я снова подтверждаю вам свое обещание и клянусь, что последую за вами на край света, пока не встречу свирепого вашего врага, у которого с помощью Бога и моей руки я надеюсь отрубить дерзкую голову лезвием этого доброго меча, – хотел было сказать, да не могу, потому что мой добрый меч похитил у меня Хинес де Пасамонте[9].

Последние слова он проговорил сквозь зубы, затем продолжал:

– А когда я его обезглавлю и введу вас в мирное владение вашим государством, вы сможете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо память моя занята, воля пленена и разум похищен той... больше ничего не прибавлю; а только невозможно мне не только жениться, но даже и помыслить о женитьбе, хотя бы на самой птице Фениксе.

Эти слова Дон Кихота насчет невозможности жениться так не понравились Санчо, что с большой досадой он возвысил голос и сказал:

– Клянусь вам и присягаю, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме: как же это возможно колебаться, когда дело идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Что ж, вы думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи, как эта? Или, может быть, по-вашему, сеньора Дульсинея красивее? Конечно, нет – и наполовину так не красива; готов поклясться, что она принцессе и в подметки не годится! Значит, насчет моего графства пиши пропало, если ваша милость будет ждать, чтобы на дне моря выросли груши? Женитесь, непременно женитесь, забери вас сатана, не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки ни за что, ни про что; а когда станете королем, сделайте меня маркизом или наместником, а там, по мне, пускай все идет к дьяволу!

Дон Кихот, услышав эти кощунства по отношению к своей госпоже Дульсинее, не стерпел и, подняв копьецо, без всяких слов и предупреждений закатил Санчо таких два удара, что тот растянулся во весь рост, и, если бы Доротея своим криком не удержала Дон Кихота, он, наверное, прикончил бы его на месте.

– Неужели вы думаете, подлый мужлан, – начал он через некоторое время, – что вы вечно будете со мной запанибрата, а я – вечно прощать вам ваши наглости? Не воображайте этого, окаянный негодяй, ибо вы негодяй, раз ваш язык посмел коснуться несравненной Дульсинеи! Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что она одна дает силу моей руке и что без нее я не мог бы убить блохи? А ну-ка, скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, завоевал это королевство, отрубил голову великану и сделал вас маркизом (ибо все это я считаю уже совершившимся: то, что задумано, сделано), – не доблесть ли Дульсинеи, избравшей мою руку орудием своих подвигов? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и от нее моя жизнь и бытие. О гнусный негодяй, как вы неблагодарны, вы, поднятый из праха земли и возведенный в знатные сеньоры! Благодетельнице своей вы платите за это злословием!

Как ни был Санчо избит, все же он услышал слова своего господина и, не без проворства поднявшись, укрылся за иноходцем Доротеи и оттуда ответил:

– Скажите мне, сеньор, если ваша милость решила не жениться на этой знатной принцессе, то, значит, королевство не будет вашим? А если так, то каких милостей мне от вас ждать? Вот на это-то я и жалуюсь. Обязательно женитесь на этой королеве, которая к нам прямо с неба свалилась, а потом вы сможете завести шашни с сеньорой Дульсинеей: ведь бывали же на свете короли, которые жили с любовницами. А что касается красоты, то уж я в это дело не вмешиваюсь, ибо действительно, раз на то пошло, обе мне кажутся красотками, хотя, впрочем, сеньоры Дульсинеи я никогда в глаза не видывал[10].

– Как не видывал? – перебил его Дон Кихот. – Да ведь ты только что, богомерзкий предатель, принес мне от нее привет!

– Я хотел сказать, что видел ее недостаточно долго, чтобы подробно, со всех сторон рассмотреть ее красоту и все ее прелести; но так, в общем, она кажется мне хорошенькой.

– Вот теперь я тебя прощаю, – сказал Дон Кихот, – и ты прости́ мне причиненную тебе обиду, ибо первые движения не зависят от воли человека.

– Уж это я знаю, – ответил Санчо; – а у меня первое движение – охота поговорить. Никак не могу удержаться, чтобы хоть разок не сказать того, что у меня на языке вертится.

– И все же, Санчо, – сказал Дон Кихот, – думай о том, что ты говоришь; ты ведь знаешь: повадился кувшин по воду ходить... продолжать не стану.

– Да уж хорошо, – ответил Санчо, – Бог в небе видит все проступки, и он рассудит, что хуже: плохо ли говорить, как я, или делать плохое, как ваша милость.

– Ну, довольно, – прервала Доротея. – Бегите, Санчо, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения, а впредь будьте осторожнее в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о сеньоре из Тобосо, которой я готова служить, хоть я ее и не знаю; а в остальном доверьтесь Богу, и будут у вас владения, и заживете вы в них по-княжески.

Санчо, опустив голову, подошел к Дон Кихоту и попросил его пожаловать ему руку, которую тот протянул ему с достоинством; и, когда Санчо ее поцеловал, Дон Кихот дал ему свое благословение и предложил пройти с ним вперед: ему-де нужно расспросить его и побеседовать об очень важных вещах. Санчо повиновался, и, когда они немного опередили остальных, Дон Кихот сказал:

– С тех пор как ты вернулся, у меня не было случая узнать от тебя в подробностях, как ты исполнил поручение и какой принес ответ. Но сейчас, когда судьба дарует нам и место и время для этого, не лишай меня счастья услышать добрую весть от Дульсинеи.

– Спрашивайте, ваша милость, обо всем, что вам будет угодно, – ответил Санчо; – каков был привет, таков будет и ответ. Об одном только прошу вашу милость, сеньор мой, не будьте вы впредь столь мстительны.

– К чему ты это говоришь, Санчо, – спросил Дон Кихот.

– А к тому, – ответил Санчо, – что избили вы меня сейчас скорее за то, что прошлой ночью черт нас попутал поссориться, а не за мои слова о сеньоре Дульсинее, которую я люблю и уважаю, как святыню (хоть какая там у нее святыня!), – единственно за то, что она дорога вашей милости.

– Брось болтать об этом, – Санчо, прошу тебя, – сказал Дон Кихот, – твои слова мне неприятны. Я только что тебя простил, а ты сам знаешь, что говорится: "За новый грех – новое покаяние"[11].

⟨В эту самую минуту увидели они перед собой на дороге какого-то человека верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, они приняли его за цыгана. Но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза из орбит готовы были выпрыгнуть, всмотрелся в незнакомца, как тотчас же он узнал в нем Хинеса де Пасамонте, – и, схватившись за нитку, то есть за цыгана, распутал клубок, а именно, догадался, что серый осел, на котором ехал Пасамонте, был его собственный. Так оно и оказалось. Пасамонте, чтобы его не узнали и не помешали продать осла, переоделся цыганом; на цыганском же языке и на многих других он говорил, как на своем родном. Увидел его Санчо и узнал, а увидев и узнав, громко закричал:

– Вор Хинесильо, отдай мне мое добро, верни мне жизнь, не смущай моего покоя, оставь моего осла, возврати мне мою усладу! Улепетывай, мошенник, убирайся прочь, воришка, и брось то, что не твое!

Столько бранных слов и не понадобилось; при первом же из них Хинес соскочил с осла и пустился рысцой, похожей на галоп, так что в одну минуту и след его простыл. Санчо подошел к своему Серому и, обняв его, сказал:

– Как тебе жилось, сокровище мое, ослик души моей, друг мой сердечный?

И, говоря это, он его ласкал и целовал, точно человека; а осел молчал, позволяя себя ласкать и целовать, и не отвечал ни слова. Подошли остальные и стали поздравлять Санчо с находкой, особенно же Дон Кихот, заявивший, что, несмотря на это, он не отменит своего уговора относительно трех ослят. Санчо поблагодарил его.⟩

В то время как Дон Кихот и Санчо были заняты своей беседой, священник сказал Доротее, что она в рассказе своем обнаружила большую ловкость, сделав его коротким и похожим на подобные же рассказы в рыцарских романах. Она ответила, что часто для развлечения читала эти романы; одного только она не знала, это – где находятся приморские страны и города, и поэтому наугад сказала, что высадилась в Осуне.

– Я так и понял, – ответил священник, – и поторопился вмешаться и все уладить. – Но разве не странно видеть, с какой легкостью этот злополучный идальго верит во все фантазии и выдумки только потому, что по слогу и складу они похожи на его сумасбродные книги?

– Вещь действительно странная, – сказал Карденио, – необыкновенная и доселе невиданная. Если бы кому захотелось нечто подобное выдумать и сочинить, не думаю, чтобы это ему удалось, какого бы острого ума он ни был.

– И это еще не все, – сказал священник. – Этот добрый идальго несет вздор, когда речь заходит о предмете его помешательства, обо всем же остальном он рассуждает вполне разумно и проявляет ясный и светлый ум: так что, если не заговорить с ним об его рыцарских материях, никак нельзя догадаться, что он не в своем уме.

А пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо:

– Друг мой Панса, бросим наши споры, и да разлетятся они, как пух над водой[12]. Не помни зла, забудь обиды и скажи мне теперь: где, как и когда видел ты Дульсинею? Что она делала? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? С каким выражением на лице читала мое послание? Кто тебе его переписал? Одним словом, расскажи мне все, что в подобном случае заслуживает рассказа, вопросов и ответов, – не прибавляя и не присочиняя ничего, чтобы доставить мне удовольствие, а главное – ничего не опуская, дабы не лишить меня оного.

– Сеньор, – ответил Санчо, – если уж говорить правду, то письма вашего никто мне не переписывал, потому что я его не взял с собой.

– Ты говоришь правду, – сказал Дон Кихот, – потому что записную книжку, в которой я его набросал, я нашел у себя через два дня после твоего́ ухода, и это меня крайне огорчило, так как я не знал, что ты будешь делать, когда обнаружишь отсутствие письма; я все думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что его нет.

– Так бы я и поступил, – ответил Санчо, – если бы не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я продиктовал его ризничему, который ловко, слово в слово, его записал и при этом прибавил, что хоть много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.

– И ты до сих пор помнишь его наизусть? – спросил Дон Кихот.

– Нет, сеньор, – ответил Санчо, – как только я его продиктовал, так сейчас же, за ненадобностью, поспешил забыть. Впрочем нет, начало я помню: "*Превозмутительная...*", виноват: "*Превосходительная сеньора*", и конец тоже: "*Ваш по гроб Рыцарь Печального Образа*"; а в середку я поставил сотни три "*душа моя*", "*жизнь моя*" да "*очи мои*".

ГЛАВА XXXI

о замечательной беседе Дон Кихота с его оруженосцем Санчо Пансой и о других происшествиях

– Все это недурно, продолжай дальше, – сказал Дон Кихот. – Когда ты пришел, что делала эта королева красоты? Должно быть, она низала жемчуг или золотыми нитками вышивала эмблему для ею плененного рыцаря?

– Нет, – ответил Санчо, – она на заднем дворе провеивала две фанеги зерна[1].

– Да, но имей в виду, – сказал Дон Кихот, – что зерна, к которым прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты посмотрел, мой друг, какое это было зерно – просто белое или белоярое?

– Желтое, – ответил Санчо.

– Уверяю тебя, – сказал Дон Кихот, – это провеянное ее руками зерно дает, несомненно, белый хлеб. Но продолжай: когда ты вручил ей мое письмо, она его поцеловала? Или возложила себе на голову[2]? Или проделала другие церемонии, достойные моего письма? Что она сделала?

– Когда я ей подавал письмо, она усердно трясла сито, в котором было порядком зерна, и сказала мне: "Положите его, друг мой, там на мешок: мне его читать недосуг, пока вот это все не провею".

– О мудрая сеньора! – сказал Дон Кихот. – Она хотела прочитать его не спеша, чтоб полностью им насладиться. Ну, дальше, Санчо; а во время своих трудов какие беседы вела она с тобой? Что спрашивала обо мне? И что ты отвечал? Ну, кончай же, рассказывай все, ничего не оставляя на дне своей чернильницы.

– Ничего она не спрашивала, – сказал Санчо, – но я ей рассказал, что ваша милость, служа ей, наложила на себя покаяние: бродит в горах, по пояс голый, как дикарь, спит на твердой земле, хлеб ест без скатерти, бороды не чешет[3] и с плачем проклинает судьбу.

– Это ты плохо выразился, что я проклинаю судьбу, – возразил Дон Кихот; – напротив, я ее благословляю и буду благословлять все дни моей жизни за то, что удостоила она меня счастья любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.

– Высока-то она высока – вершка на три повыше меня будет, – ответил Санчо.

– А разве вы мерялись с ней, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– А вот как мы мерялись, – ответил Санчо: – я ей подсобил взвалить мешок пшеницы на осла и стал с ней рядом; тут-то я и заметил, что она повыше меня на добрую пядь.

– Поистине, – сказал Дон Кихот, – этому высокому росту сопутствует, украшая его, мильон прелестей души. Но одного ты не станешь отрицать, Санчо: когда ты стоял рядом с ней, ты почувствовал сладкое благоухание, нежный аро-

мат, нечто столь приятное, что нельзя выразить словами, какое-то благовоние или испарение, ну, как если бы ты был в лавке модного перчаточника?

– Скажу только, – отвечал Санчо, – что почувствовал я дух, как от мужчины, должно быть, потому, что от сильных движений она изрядно вспотела и разопрела.

– Не может этого быть! – вскричал Дон Кихот. – Просто у тебя был насморк, или ты почуял свой собственный запах. Но я-то знаю, как благоухает эта роза меж шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.

– Все возможно, – ответил Санчо; – от меня часто идет такой дух, какой, мне показалось, шел тогда от ее милости, сеньоры Дульсинеи. И дивиться тут нечему: черта с чертом легко смешать.

– Итак, – продолжал Дон Кихот, – когда она кончила провеивать пшеницу и отправила ее на мельницу, что она сказала, прочитав письмо?

– Да она его и не читала, – ответил Санчо; – она заявила, что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо да и порвала на мелкие кусочки, не желая, чтобы кто-нибудь его прочел и узнали в деревне про ее секреты; с нее мол, довольно и того, что я ей на словах передал насчет любви вашей милости и удивительного покаяния, которое вы ради нее на себя наложили. А под конец она мне сказала, чтоб передал я вашей милости, что она целует вам руки и что ей более желательно повидаться с вами, чем писать вам письма, и еще – что она вас умоляет и приказывает, чтобы вы по получении ее ответа выбрались бы из этих дебрей, перестали делать глупости и скоренько отправились в Тобосо, если только ничто более важное вас не задержит, так как ей весьма хочется повидать вашу милость. Очень она смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя Рыцарем Печального Образа. Я ее спросил, был ли у нее наш приятель бискаец; она сказала, что был и что он хороший человек. Еще я ее спросил насчет каторжников, но она ответила, что до сих пор никого из них не видела.

– Пока все идет хорошо, – сказал Дон Кихот. – Но скажи мне, какую драгоценность подарила она тебе на прощанье за вести, тобою принесенные? Ибо между дамами и странствующими рыцарями существует издревле укоренившийся обычай: оруженосцам, наперсницам или карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам, дарятся обыкновенно богатые драгоценности в награду за посольства.

– Возможно, что так; и, по-моему, это обычай хороший. Но, должно быть, так делалось в старину, а теперь принято дарить ломоть хлеба с сыром, вроде того ломтя, который протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался; и могу еще прибавить, что сыр был овечий.

– Она обыкновенно бывает щедра, – сказал Дон Кихот. – Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой драгоценности, оттого она тебе и не дала. Впрочем, подарки и после Пасхи не лишни; я с ней поговорю и все улажу. Но знаешь, что меня изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: ведь ты в три дня с небольшим побывал в Тобосо и вернулся, а пути туда больше тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник,

который обо мне заботится и мне покровительствует (а такой у меня есть и должен быть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем), так вот, этот волшебник, вероятно, помогал тебе в пути, а ты не замечал. Это часто случается, что какой-нибудь мудрый волшебник уносит странствующего рыцаря, спящего на своей постели, а утром тот просыпается и сам не знает, как и каким образом очутился он за тысячу миль от того места, где заснул. Да, без этого странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга в опасностях, как это они делают на каждом шагу; ибо иногда бывает, что, в то время как один из них сражается в горах Армении с каким-нибудь андриаком[4], со свирепым чудовищем или с другим рыцарем, – вдруг, в самый разгар боя, в минуту смертельной опасности, откуда ни возьмись появляется на облаке или на огненной колеснице рыцарь, его приятель, который только что перед тем находился в Англии, и выручает его, спасая от смерти; а к вечеру тот уже у себя дома и преспокойно ужинает, – а между тем от одного до другого места не меньше двух или трех тысяч миль. И все это благодаря искусству и мудрости этих мудрых чародеев, которые заботятся об отважных рыцарях. Поэтому, друг мой Санчо, я без труда верю, что ты мог в такое короткое время побывать в Тобосо и вернуться, ибо, как я уже сказал, кто-нибудь из моих мудрых покровителей перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил.

– Так оно, верно, и было, – сказал Санчо. – Потому что Росинант скакал ни дать ни взять, как цыганский осел, у которого в ушах ртуть[5].

– Какая там ртуть! – перебил его Дон Кихот. – Да у него там был целый легион бесов, – ибо эта нечисть без устали сама носится и других, кого только ей вздумается, заставляет носиться. Но оставим это. Как мне, по-твоему, следует поступить, раз моя сеньора велит мне к ней явиться? С одной стороны, я обязан исполнить ее приказание, а с другой – это невозможно, так как я дал клятву принцессе, которая за нами следует, а закон рыцарства велит сперва сдержать данное слово, а потом уже думать о собственном удовольствии. Меня преследует и томит желание увидеть мою сеньору, и одновременно влечет и призывает долг чести и жажда закончить со славою начатое дело. Но вот что я решил: я поспешу добраться до этого великана, быстро срублю ему голову, благополучно водворю принцессу в ее владениях и сразу затем устремлюсь к той, чей свет озаряет мои чувства. Я, конечно, сумею оправдаться перед нею, и она даже одобрит мое промедление, так как оно послужит лишь к увеличению ее чести и славы: ибо все, чего я достиг, достигаю и достигну моим мечом в этой жизни, – все это проистекает от ее благосклонности и моей преданности ей.

– Ах, ваша милость, – воскликнул Санчо, – как плохо у вас голова устроена! Ну, скажите мне, сеньор, неужели ваша милость собирается так задаром проделать все это путешествие и упустить и прозевать такую богатую и знатную невесту, приносящую в приданое целое королевство, которое, как мне, честное слово, говорили, имеет больше двадцати миль в окружности и весьма изобилует всем необходимым для поддержания человеческого существования? Право, ведь оно больше, чем Португалия и Кастилия, вместе взятые! Не спорь-

те, ради Бога, лучше постыдитесь ваших слов и последуйте моему совету и – простите мне – женитесь немедленно в первом же местечке, где встретится священник; а не то и наш лиценциат обвенчает вас на славу. Заметьте, что я уже в таком возрасте, что могу давать советы, а этот вам точь-в-точь по мерке. Лучше воробей в руках, чем коршун в небе, и кто много имеет, да плохо выбирает, коли не худо ему, пусть на других пеняет[6].

– Слушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если ты советуешь мне жениться только для того, чтобы я, убив великана, поскорей сделался королем и мог исполнить свое обещанье, осыпав тебя милостями, то знай же, что я и без женитьбы весьма легко могу удовлетворить твое желание. Ибо еще до вступления в бой я заключу условие, чтобы в случае моей победы мне отдали часть королевства, даже если я не захочу жениться на принцессе; и тогда я смогу подарить эту часть, кому мне захочется. А когда я ее получу, кому же мне ее подарить, как не тебе?

– Ясное дело, – ответил Санчо. – Но уж вы позаботьтесь, ваша милость, чтобы эта часть прилегала к морю, потому что, если тамошние края мне не понравятся, я погружу моих вассалов-негров на корабли и сделаю с ними то, что я уже раньше говорил. А только, ваша милость, вы теперь к сеньоре Дульсинее не заезжайте, а отправляйтесь себе убивать великана, и обделаем мы это дельце. Ей-Богу, мне сдается, что будет от него нам и большая честь и немалая польза.

– Повторяю тебе, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты можешь на меня положиться: я последую твоему совету и сначала поеду с принцессой, а уж потом повидаюсь с Дульсинеей. Но имей в виду: о том, что мы с тобой тут обсуждали и решили, никому ни слова, даже нашим спутникам! Ибо если Дульсинея столь осмотрительна, что не желает открывать своих мыслей, то ни мне, ни другому кому не следует их разглашать.

– Но в таком случае, – сказал Санчо, – почему же вы отсылаете к сеньоре Дульсинее всех, кого побеждает ваш меч? Не значит ли это расписываться своим именем в том, что вы ее любите и что она ваша возлюбленная? А если уж необходимо, чтобы все побежденные падали на колени перед ее особой и объявляли, что они посланы вашей милостью и присягают ей в верности, так как же могут остаться втайне ваши общие мысли?

– О, как ты прост и глуп! – воскликнул Дон Кихот. – Разве ты не понимаешь, Санчо, что все это служит к вящему ее возвеличению? Должен тебе сказать, что по нашим рыцарским обычаям для дамы великая честь, когда ей служит много странствующих рыцарей, не помышляя ни о чем другом, как только служить ей ради нее самой, и не ожидая за все свои стремления иной награды, кроме чести быть принятыми в число ее рыцарей.

– Нам священник говорил в проповеди, – ответил Санчо, – что такой любовью следует любить Господа Бога: ради него самого, без надежды на награду и без страха наказания, – хотя я бы предпочел любить его и служить ему за что-нибудь.

– Черт побери этого деревенщину! – воскликнул Дон Кихот. – Иной раз он неплохо рассуждает, – право же, не хуже школяра!

– А я, ей-Богу, грамоты не знаю, – ответил Санчо.

В эту минуту маэсе Николас крикнул им, чтоб они немного подождали, так как компания решила остановиться и напиться у источника, протекавшего у дороги. Дон Кихот остановился к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и боялся, как бы господин не поймал его на слове; ибо, хоть он и знал, что существует в Тобосо крестьянка по имени Дульсинея, однако он ее никогда в жизни не видел.

За это время Кардению успел переодеться в то платье, в котором наши друзья нашли Доротею, и хоть оно было и неважное, но все же не в пример лучше его прежнего. Все спешились у источника, и припасами, которые священник раздобыл в харчевне, слегка утолили мучивший их голод.

Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Он стал с большим вниманием всматриваться в путников, расположившихся у источника, затем вдруг бросился к Дон Кихоту и, обняв ему колени, притворно заплакал и сказал:

– Ах, мой сеньор! Неужели ваша милость меня не узнает? Да ведь я тот самый Андрес, который был привязан к дубу и которого ваша милость освободила!

Дон Кихот его узнал и, взяв за руку, обратился к присутствующим со словами:

– Теперь вы можете убедиться, сеньоры, как необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые восстанавливают справедливость и мстят за обиды, творимые на свете злыми и порочными людьми. Знайте же, сеньоры, что несколько дней тому назад, проходя по лесу, услышал я крики и жалобные стоны, как будто кого-то обижали и истязали; побуждаемый чувством долга, поспешил я на звук этого плачевного голоса и увидел мальчика, привязанного к дубу, – я весьма рад, что он сейчас перед вами, ибо он может служить свидетелем и подтвердить, что я не лгу. Итак, он был привязан к дубу, обнаженный до пояса, а рядом с ним стоял крестьянин (я впоследствии узнал, что это был его хозяин) и до крови стегал его конскими вожжами. Как только я это увидел, я спросил, за что он так жестоко бьет; грубиян ответил, что бьет он его потому, что он его слуга, и не за то, что он простофиля, а за то, что повадки у него воровские. А тогда мальчик сказал: "Сеньор, он меня бьет за то, что я у него прошу свое жалованье". Хозяин рассыпался в объяснениях и оправданиях, которые я выслушал, но не признал правильными. В конце концов я велел отвязать мальчика, и крестьянин мне поклялся, что он отведет его к себе и заплатит ему все до последнего реала, даже с процентами. Правда это или нет, сынок Андрес? Заметил ли ты, как строго я ему это объявил и как униженно обещал он исполнить все, что я ему предписал, велел и приказал? Отвечай, не смущайся и не бойся; расскажи этим сеньорам все, что было, дабы они увидели и поняли, сколь полезны бывают на больших дорогах странствующие рыцари.

– Все, что ваша милость рассказала, – истинная правда, – ответил мальчик, – только конец дела был не такой, как ваша милость полагает, а совсем наоборот.

– Как наоборот? – спросил Дон Кихот. – Значит, хозяин тебе не заплатил?

– Не только не заплатил, а едва ваша милость выехала из лесу и остались мы вдвоем, как он опять привязал меня к дубу и снова так меня отстегал, что остался я, как святой Варфоломей, с ободранной кожей. И при каждом ударе отпускал он какую-нибудь шутку или прибаутку, издеваясь над вашей милостью, так что, не будь мне больно, я наверное бы хохотал. И оставил он меня в таком виде, что до сегодняшнего дня я провалялся в больнице, лечась от ран, причиненных этим дрянным крестьянином. А во всем этом виновата ваша милость, ибо, если бы вы ехали своей дорогой и не лезли бы туда, куда вас не звали, и не путались бы в чужие дела, мой хозяин удовольствовался бы дюжиной-другой ударов, а потом бы отвязал меня и заплатил свой долг. Но так как ваша милость оскорбила его без всякого повода и наговорила множество бранных слов, он разозлился, но не посмел выместить свою злобу на вашей милости; и вот, когда вы уехали, вся эта туча разразилась над моей головой, да так, что я, должно быть, уж никогда в жизни не поправлюсь по-настоящему.

– Ошибка моя состояла в том, – сказал Дон Кихот, – что я уехал оттуда прежде, чем он тебе заплатил; ибо по долгому опыту мне следовало знать, что мужик никогда не держит слова, когда это ему невыгодно. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я поклялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, где бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита[7].

– Это правда, – ответил Андрес, – да проку-то из этого не вышло никакого.

– Ты сейчас увидишь, будет прок или нет! – воскликнул Дон Кихот.

С этими словами он поспешно встал и велел Санчо оседлать Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен делать. Он ответил, что поедет разыскивать крестьянина, чтобы наказать его за ослушание и заставить уплатить Андресу все до последнего мараведи, назло всему мужичью на свете. Тогда она попросила его припомнить, что, согласно данному ей обещанию, он не может пускаться ни в какие предприятия, пока не устроит ее дел; что все это ему известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому он должен сдержать свой пыл до возвращения из ее королевства.

– Да, это правда, – сказал Дон Кихот. – Придется Андресу потерпеть до моего возвращения, но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за него и не заставлю заплатить ему.

– Не верю я в ваши клятвы, – сказал Андрес, – и всякой мести в мире я бы предпочел, чтоб было у меня с чем добраться сейчас до Севильи. Дайте мне съестного на дорогу, если у вас найдется, и оставайтесь с Богом, и вы и все странствующие рыцари, и путь они настранствуют себе столько добра, сколько они мне его настранствовали.

Тут Санчо вытащил из своего запаса ломоть хлеба и кусок сыра, отдал их мальчику и сказал:

– Возьмите-ка это, сынок Андрес; мы все разделяем ваше горе.

– Так какая же доля его приходится на вас? – спросил Андрес.

– Вот эта самая доля хлеба и сыра, что я даю вам, – ответил Санчо, – так как одному Богу известно, буду ли я их иметь или нет; ибо должен я вам сказать, что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится переносить и голод, и злоключения, и другие невзгоды, которые легче перенести, чем о них рассказывать.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше ничего не дает, опустил голову и, как говорится, закинул ноги за плечи. Только на прощанье он сказал Дон Кихоту:

– Ради Бога, сеньор странствующий рыцарь, если вам еще когда-нибудь доведется со мной встретиться, пожалуйста, не защищайте и не заступайтесь за меня, хотя бы меня резали на куски; ибо, как бы ни велика была моя беда, от помощи вашей милости она станет еще горше, и да будьте вы прокляты вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими на свете.

Дон Кихот хотел подняться, чтобы наказать его; но Андрес бросился улепетывать так проворно, что никто не решился его догонять. Очень смущен был Дон Кихот рассказом Андреса, и присутствующие должны были делать величайшие усилия, чтобы удержаться от смеха и не смутить его окончательно.

ГЛАВА XXXII

в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со всей компанией Дон Кихота

Окончив свой изысканный обед, они оседлали мулов и без приключений, заслуживающих упоминания, на следующий день приехали на постоялый двор, которого так боялся и страшился Санчо Панса; как ему ни хотелось удрать, а все-таки он должен был войти туда. Хозяин, хозяйка, дочка и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, бросились к ним навстречу с выражениями шумной радости. Наш рыцарь важно и с достоинством поздоровался с ними и попросил приготовить ему постель получше, чем в прошлый раз. Хозяйка ответила, что, если он заплатит получше, чем в прошлый раз, постель будет у него княжеская. Дон Кихот согласился, и ему приготовили приличную постель в том же чулане, что и в тот раз, после чего он тотчас же улегся, так как был очень изнурен и расстроен в мыслях.

Не успел он еще запереть свою дверь, как хозяйка бросилась к цирюльнику и, схватив его за бороду, закричала:

– Клянусь всеми святыми, не позволю я вам больше из моего хвоста делать себе бороду! Отдайте его сейчас же! А то ведь штучка моего мужа валяется на полу, просто стыд и срам. Я говорю, гребешок моего мужа валяется. Ведь я его всегда втыкала в мой прекрасный хвост!

Цирюльник не хотел его отдавать, а она все тянула к себе хвост, пока наконец лиценциат не велел ему отдать, заявив, что в этом приспособлении больше нет надобности и что он может открыться и появиться в обычном своем виде, а Дон Кихоту сказать, что, после того, как их ограбили каторжники, он, спасаясь бегством, укрылся на этом постоялом дворе; если же Дон Кихот спросит, где оруженосец принцессы, ему ответят, что она его отправила вперед, чтобы оповестить своих о скором своем возвращении вместе с их общим избавителем. После этого цирюльник охотно отдал хозяйке бычий хвост и все остальные предметы, которые она им одолжила, чтобы выручить Дон Кихота.

Все на постоялом дворе были поражены красотой Доротеи и привлекательной наружностью пастуха Карденио. Священник велел дать им поесть, и хозяин в надежде на лучшее вознаграждение приготовил им недурной обед. А Дон Кихот все продолжал спать[1], и его решили не будить, так как в эту минуту сон ему был полезнее еды. Во время обеда, в присутствии хозяина, хозяйки, их дочки, Мариторнес и всех постояльцев, зашел разговор о необычайном помешательстве Дон Кихота и о том, как его отыскали. Хозяйка, убедившись сперва, что Санчо нет в комнате, рассказала о том, что произошло между Дон Кихотом и погонщиком мулов и как Санчо подбрасывали на одеяле; все это очень позабавило слушателей. Когда священник заявил, что у Дон Кихота ум зашел за разум от чтения рыцарских романов, хозяин на это заметил:

– Не понимаю, как это могло случиться, ибо, на мой взгляд, честное слово, нет в мире лучшего чтения. У меня тут есть среди разных бумаг два-три таких романа, и, право, мне они, можно сказать, дороже жизни, и не мне одному[2], но и многим другим; потому что, когда во время жатвы собираются тут по праздникам жнецы, среди них всегда находится хоть один грамотный, и вот, берет он книгу, а мы садимся вокруг, человек тридцать, и слушаем с таким удовольствием, что тут и о седых волосах забудешь. О себе, по крайней мере, могу сказать, что, когда я слышу о яростных и ужасных ударах, наносимых этими рыцарями, меня самого разбирает охота сделать то же самое, и я готов слушать об этом день и ночь.

– Да и я тоже, – прибавила хозяйка. – Когда вы слушаете чтение, у меня в доме покой, потому что вы так этим увлекаетесь, что даже забываете со мной ругаться.

– Истинная правда, – сказала Мариторнес. – Я тоже, ей-Богу, люблю послушать эти прекрасные истории, особенно когда рассказывается о какой-нибудь сеньоре, как она под апельсинным деревом обнимается со своим кавалером, а в это время дуэнья стоит на страже, помирая от зависти и страха. Для меня это – прямо мед.

– Ну, а вы, сеньорита, что скажете? – спросил священник, обращаясь к хозяйской дочке.

– По правде сказать, сеньор, сама не знаю, – ответила она. – Я тоже слушаю их чтение, и хоть я мало что понимаю, но слушать мне бывает приятно. Только мне нравятся не удары, которые так по вкусу моему отцу, а скорее жалобные

речи, произносимые рыцарями в разлуке с дамами; право, я даже иногда плачу от жалости.

– Если бы эти рыцари плакали из-за вас, – сказала Доротея, – вы бы их сейчас же утешили, не правда ли, сеньорита?

– Уж не знаю, что бы я сделала, – отвечала девушка, – знаю только одно, что некоторые из этих дам так жестоки, что рыцари называют их львицами, тигрицами и другими отвратительными именами. Господи Иисусе! И что же это за женщины, такие бессердечные и бессовестные, что им трудно посмотреть на честного человека, а он из-за этого умирает или делается сумасшедшим! Не понимаю, к чему все это жеманство. Если они не хотят уронить своей чести, так пускай выходят замуж: кавалеры только об этом и думают.

– Молчи, девочка, – прервала ее хозяйка. – Что-то ты больно много понимаешь в этих делах, а девице не гоже ни знать, ни болтать об этом.

– Сеньор меня спросил, – ответила она, – не могла же я не ответить.

– Ну, довольно, – сказал священник, – принесите-ка мне, сеньор хозяин, все эти ваши книжки – я на них взгляну.

– С удовольствием, – отвечал хозяин и, сходив в свою комнату, притащил оттуда старый сундучок, замкнутый на цепочку, открыл его и вынул три огромные книги и несколько рукописей, очень четко написанных. Первая книга была "Дон Сиронхилио Фракийский"[3], вторая – "Фелисмарте Гирканский"[4], а третья – "История великого капитана Гонсало Фернандеса Кордовского, вместе с жизнеописанием Диего Гарси́а де Паредеса"[5]. Прочитав два первых заглавия, священник повернулся к цирюльнику и сказал:

– Нам недостает только экономки нашего друга и его племянницы.

– Обойдемся и без них, – отвечал цирюльник, – я тоже сумею снести их на скотный двор или бросить в печку, которая, кстати, отлично растоплена.

– Что? – сказал хозяин. – Ваша милость собирается сжечь мои книги?

– Только эти две: "Дон Сиронхилио" и "Фелисмарте".

– А что, может быть, они еретические или *флегматические*? – спросил хозяин.

– Вы хотели сказать, дружок, схизматические[6], а не флегматические? – поправил его цирюльник.

– Да, да, – сказал хозяин, – только если вы уж непременно хотите что-нибудь сжечь, то возьмите лучше "Великого капитана" и "Диего Гарси́а"; что же касается остальных, то я скорей позволю сжечь собственного сына, чем одну из них.

– Брат мой, – начал священник, – обе эти книги лживы, полны нелепостей и бредней; а история "Великого капитана" – чистая правда; в ней рассказывается о деяниях Гонсало Фернандеса Кордовского, который за свои великие и многочисленные подвиги заслужил во всем мире прозвание Великого капитана: это славное и знаменитое прозвище приличествует ему одному. А Диего Гарсиа де Паредес, родом из города Трухильо в Эстремадуре, был замечательным воином: он от природы обладал такой силой, что одним пальцем останавливал

мельничное колесо на полном ходу, а однажды он один с огромным мечом в руке стал у входа на мост и не дал перейти неисчислимой армии; и еще много совершил он таких дел, что если бы не сам он рассказал и описал их со скромностью дворянина и собственного историка[7], а предоставил сделать это кому-нибудь другому – свободному и беспристрастному свидетелю, то они затмили бы деяния Гекторов, Ахиллов и Роландов.

– Рассказывайте моей бабушке! – сказал хозяин. – Подумаешь, что его удивляет: остановил мельничное колесо! Ей-Богу, ваша милость, вам бы не худо было почитать Фелисмарте Гирканского, который одним взмахом меча рассек пополам пять великанов, словно они были сделаны из бобов, вроде тех монашков, что делают наши ребятишки. А другой раз он столкнулся с громаднейшим и сильнейшим войском, в котором было больше миллиона шестисот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил его в бегство, как стадо овец. А что вы скажете о славном доне Сиронхилио Фракийском, который был смелым и отважным рыцарем, как об этом написано в книжке? Однажды плыл он по реке, и вдруг из воды вынырнул огненный змей; тогда он, завидев чудовище, бросился на него, сел верхом на его чешуйчатую спину и стиснул ему руками горло с такой силой, что змей, задыхаясь, ничего другого не мог придумать, как опуститься на дно реки, увлекая за собой рыцаря, который ни за что не хотел его отпустить. А очутившись на дне, попал он в такие прекрасные дворцы и сады, что просто чудо; и тут змей превратился в древнего старца и рассказал и ему о таких вещах, что, право, стоит послушать. Нет, и не говорите, сеньор, если бы вы все это услышали, вы бы рехнулись от восторга. А за вашего Великого капитана и Диего Гарси́а я не дам и двух фиг.

Услышав это, Доротея тихо сказала Кардению:

– Нашему хозяину немного недостает, чтобы стать вторым Дон Кихотом.

– Мне тоже так думается, – ответил Кардению. – По-видимому, он твердо верит, что все описанное в этих книгах точь-в-точь соответствует действительности, и разубедить его в этом не могли бы даже босоногие кармелиты[8].

– Но послушайте, братец мой, – продолжал священник, – ведь не было на свете никакого Фелисмарте Гирканского, никакого дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных рыцарей, о которых рассказывается в романах, ибо все это – вымысел и выдумка праздных писак, сочинивших все это, как вы сами сказали, для пустого времяпрепровождения, то есть для того же, для чего ваши жнецы проводят время за этим чтением. Но, клянусь истиной, никогда не было на свете таких рыцарей, и никогда не случалось таких подвигов и нелепостей.

– Подманивайте другую собаку этой костью, – ответил хозяин, – я до пяти считать умею, и где мне сапог жмет, тоже знаю! И незачем вашей милости меня кашкой кормить – я ведь не олух! Нечего сказать, ваша милость хочет меня убедить, что в этих прекрасных книжках все – ложь и нелепость! Да ведь напечатаны-то они с разрешения членов Королевского Совета, а это не такие господа, чтобы позволить печатать сказки о волшебствах и сражениях, от которых голову можно потерять!

– Я уж вам сказал, друг мой, – возразил священник, – что это делается с целью развлечь нашу праздность, и, подобно тому, как в благоустроенных государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч или на шарокате для развлечения тех, кто не хочет, не должен или не может работать, точно так же разрешается издавать романы, ибо предполагается, – да оно так и есть на самом деле, – что не найдется такого невежды, который принял бы эти истории за правду. И, если бы мне было позволено и мои слушатели этого бы пожелали, я бы рассказал, как следует писать хорошие рыцарские романы[9], быть может, мои слова многим были бы и полезны и приятны. Но я надеюсь, что со временем мне удастся поговорить об этом с людьми, которые могут помочь беде, а пока, сеньор хозяин, верьте моим словам; вот вам ваши книги, решайте сами, что в них правда и что ложь, и да будет вам от них прок. Дай только Бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, что и ваш постоялец Дон Кихот.

– Ну, нет, – ответил хозяин, – я еще с ума не спятил, чтобы сделаться странствующим рыцарем. Я прекрасно понимаю, что теперь порядки не те, что были в то время, когда странствовали по свету эти славные рыцари.

Среди этого разговора вошел Санчо и, услышав, что в наше время странствующих рыцарей не водится и что все рыцарские романы – вздор и выдумки, смутился и призадумался; тут же он про себя решил подождать, чем кончится путешествие его господина, и если оно, против ожиданий, кончится неудачей, то бросить Дон Кихота и вернуться к жене, детям и привычным занятиям.

Хозяин уже собрался было унести сундучок с книгами, когда священник его остановил:

– Погодите, – сказал он, – мне хочется посмотреть, что это за бумаги, исписанные таким прекрасным почерком.

Хозяин их вынул, и священник увидел рукопись листов в восемь, в начале которой крупными буквами было написано заглавие: "Повесть о Безрассудно-любопытном". Пробежав три-четыре строки, священник сказал:

– Право, заглавие этой повести мне нравится, и мне хотелось бы прочесть ее целиком.

На это хозяин ответил:

– Ваша милость может ее прочесть. Должен вам сказать, что ее читали многие из моих постояльцев, и всем она очень нравилась. А как ее у меня выпрашивали! Но я не отдал, так как хочу возвратить ее владельцу, который забыл у меня этот сундучок с книгами и бумагами; ведь может же быть, что он когда-нибудь вернется, и тогда я ему отдам. А жалко мне будет расставаться с романами! Что ж, хоть я и хозяин гостиницы, а все-таки христианин.

– Вы вполне правы, мой друг, – сказал священник. – Но все же, если эта повесть мне понравится, вы мне позволите ее переписать?

– С большим удовольствием, – ответил хозяин.

Пока они разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать. Он тоже весьма ее одобрил и попросил священника прочитать ее вслух, чтобы все могли послушать.

– Я бы охотно прочел, – ответил тот, – но не лучше ли будет употребить это время на сон вместо чтения?

– Для меня будет достаточным отдыхом послушать эту повесть, – ответила Доротея, – потому что я еще очень взволнована и не могу заснуть, хоть и нуждаюсь в покое.

– Ну, если так, – сказал священник, – то я прочту повесть, хотя бы из одного любопытства, а может быть, она и доставит нам удовольствие.

Маэсе Николас, а за ним и Санчо тоже принялись его упрашивать. Тогда священник, видя, что чтение доставит удовольствие всем присутствующим, да и ему самому, сказал:

– Так слушайте же внимательно: повесть начинается так.

ГЛАВА XXXIII

в которой рассказывается "Повесть о Безрассудно-любопытном" [1]

В Италии, в провинции, называемой Тоскана, в славном и богатом городе Флоренции жили два богатых и знатных дворянина, Ансельмо и Лотарио; были они так дружны между собой, что все знавшие их называли их обычно и по преимуществу "два друга". Оба были молоды, холосты, одних лет и схожи характерами: этого было достаточно, чтобы связать их взаимной дружбой. Правда, Ансельмо был более склонен к любовным утехам, а Лотарио больше увлекался охотой. Но, когда представлялся случай, Ансельмо оставлял свои удовольствия и следовал за Лотарио, а Лотарио забывал свои забавы и сопровождал Ансельмо. И так во всем согласовались их желания, как стрелки хорошо проверенных часов.

Ансельмо страстно влюбился в благородную и красивую девушку из того же города. Она происходила из хорошей семьи и сама была столь хороша, что Ансельмо, посоветовавшись с другом, без которого он ничего не предпринимал, решил попросить у родителей ее руки и возложил это поручение на Лотарио, который, отправившись послом, выполнил его к полному удовлетворению своего друга. Вскоре Ансельмо уже обладал той, кого любил, а Камила была так счастлива с Ансельмо, что не переставала благодарить небо и Лотарио, который явился орудием ее блаженства. Первые дни, как обычно, прошли в свадебных празднествах, и все это время Лотарио по-прежнему продолжал бывать в доме своего друга, доставляя ему всевозможные почести, удовольствия и увеселения. Но, когда кончилось торжество и поток гостей и поздравителей уменьшился, Лотарио начал сокращать свои посещения, решив (как и всякий бы рассудительный человек на его месте сделал), что женатого приятеля неприлично навещать столь же часто, как и холостого, ибо, хотя добрая и истинная дружба не должна быть подозрительной, все же честь мужа так щепетильна, что оскорбить ее может не только друг, но и родной брат.

Ансельмо заметил сдержанность Лотарио и стал горько жаловаться, говоря, что он никогда бы не женился, если бы думал, что это может помешать их дружескому общению; до его женитьбы их доброе согласие заслужило им сладостное прозвище "двух друзей"; так неужели же теперь, из-за излишней осторожности одного из них, это общеизвестное и приятное название будет потеряно? Он умолял Лотарио – если только между ними допустимо такое выражение – быть по-прежнему полным господином у него в доме, приходить и уходить, как и раньше, и уверял, что супруга его Камила вполне разделяет его вкусы и желания: она, мол, знает, как искренне они друг друга любили, и очень удивлена его нелюбезностью.

На все эти и многие другие доводы, которыми Ансельмо старался убедить Лотарио бывать у него по-прежнему, последний отвечал с таким благоразумием, деликатностью и рассудительностью, что Ансельмо поверил в его добрые намерения, и они условились, что Лотарио будет приходить к нему обедать два раза в неделю и по праздникам. Но, несмотря на этот уговор, Лотарио решил, что его поведение ни в чем не должно затрагивать чести его друга, доброе имя которого он берег больше своего собственного. Он говорил, – и говорил правильно, – что муж, которому небо послало красивую жену, должен вводить к себе в дом друзей с большой разборчивостью и столь же внимательно следить за приятельницами своей жены; ибо интриги не всегда завязываются на площади, в церкви или во время народных праздников и паломничества к святыням (все места, посещение которых муж не всегда может запретить своей жене), но часто с большой легкостью они завязываются в доме какой-нибудь приятельницы или родственницы, пользующейся наибольшим доверием. И еще говорил Лотарио, что каждому женатому человеку необходимо иметь друга, который бы ему указывал на все оплошности его поведения, ибо нередко случается, что муж, влюбленный в свою жену, не замечает или, из боязни огорчить, делает вид, что не замечает ее поступков, не совместимых с его честью. А между тем, предупрежденный другом, он без труда мог бы все исправить. Но где же найти такого умного, преданного и верного друга? Я, право, не знаю; один Лотарио мог им быть. С какой ревностью и благоразумием охранял он честь своего друга, решив урезывать, сокращать и ограничивать число условленных посещений, чтобы праздным зевакам и недоброжелателям не показались предосудительными визиты молодого, богатого, знатного и одаренного многими качествами (как ему самому казалось) дворянина к столь красивой даме, как Камила. Конечно, ее добродетель и скромность могли обуздать самые злоречивые языки, но все же Лотарио не желал подвергать опасности ее честь и доброе имя своего друга. Поэтому те дни, когда он должен был обедать у Ансельмо, он большей частью заполнял другими делами и уверял, что эти дела неотложны. Когда же друзья встречались, все почти время уходило на жалобы одного и оправдания другого. Однажды гуляли они в поле за городом, и Ансельмо сказал Лотарио:

– Ты, вероятно, полагаешь, друг Лотарио, что мне следует благодарить провидение: родился я от благородных родителей; судьба щедрой рукой наградила

меня природными дарами и житейскими благами; она осчастливила меня таким другом, как ты, и такой женой, как Камила, – двумя сокровищами, которые я ценю по мере сил, и все же меньше, чем они этого заслуживают. И вот, несмотря на все эти дары, которых более чем достаточно, чтобы сделать человека счастливым, я чувствую себя самым разочарованным и несчастным существом на свете. Уже много дней гнетет меня и мучит желание, столь странное и не похожее на обычные наши желания, что я сам себе дивлюсь и обвиняю себя, борюсь с собой, стараюсь скрыть и утаить его от собственных мыслей; и мне так же трудно совладать с этой тайной, как было бы трудно сознательно поведать ее всему свету. Но раз все равно она должна обнаружиться, то я предпочитаю вручить ее твоей скромности в надежде, что ты, как истинный друг, приложишь все старания, чтобы помочь мне. Тогда кончится моя тревога, и великие мучения, причиняемые мне таким безумием, сменятся такой же великой радостью благодаря твоей поддержке.

Лотарио был озадачен речами Ансельмо и не мог понять, к чему ведет такое длинное вступление или предисловие; он старался догадаться, какое желание мучит его друга, но все его предположения были очень далеки от истины. Чтобы выйти поскорей из этой мучительной неизвестности, он заявил Ансельмо, что прибегать к таким недомолвкам и околичностям вместо того, чтобы прямо высказать свои сокровенные мысли, значит оскорблять их великую дружбу, ибо он, Ансельмо, всегда может рассчитывать получить от него если не содействие в выполнении своих желаний, то хотя бы совет, способный помочь им.

– Да, это правда, – ответил Ансельмо, – я тебе верю; так знай же, что меня мучит желание узнать, действительно ли моя жена Камила столь добродетельна и совершенна, какой я ее считаю. Чтобы убедиться в этом, у меня нет иного средства, как подвергнуть испытанию ее добродетель, – так, как золото испытывают огнем. Ибо я думаю, друг мой, что нельзя назвать добродетельной ту женщину, любви которой никто не добивался, и что только та сильна, которую не тронут ни уверения, ни подарки, ни слезы, ни долгие ухаживания настойчивых воздыхателей. В самом деле, – продолжал он, – в чем заслуга верной жены, если никто никогда не склонял ее к измене? И что из того, что женщина сдержанна и боязлива, когда у нее нет повода быть иной или когда она знает, что при первом же ее проступке муж ее убьет? Женщина, сберегшая свою честь оттого, что она боится, или оттого, что не представилось случая, достойна меньшего уважения по сравнению с той, которая из всех соблазнов и испытаний вышла с победным венком. По всем этим причинам и по многим другим, которые я мог бы привести в оправдание и подтверждение моей мысли, я хочу, чтобы жена моя Камила прошла через этот искус, чтобы она очистилась и закалилась в огне преследований и домогательств человека, достойного ее любви; и если из боя она выйдет победительницей, – а я верю, что так и будет, – я скажу, что счастью моему нет равного в мире, что сосуд моих желаний полон до краев и что судьба дала мне добродетельную жену, о которой Мудрец сказал: “кто найдет

ее?"[2]. Если же случится противное моим ожиданиям, – у меня останется удовлетворение в том, что я был прав, и оно усладит горечь дорого мне стоившего опыта. Поверь, что все твои возражения будут напрасны и не заставят меня отказаться от моего плана; а потому, друг мой Лотарио, согласись быть орудием задуманного мной испытания! Я помогу тебе и предоставлю все необходимые средства, чтобы завоевать любовь этой честной, уважаемой, скромной и бескорыстной женщины. Я поручаю именно тебе это трудное дело еще и потому, что, в случае твоей безгрешной победы, ты не перейдешь последней грани, и свершившимся будет лишь то, чему предстояло свершиться; честь моя будет оскорблена одним злым умыслом, а мой позор ты похоронишь в своем молчании, которое будет, – я в этом уверен, ибо тут дело касается меня, – вечно, как молчание смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы жизнь моя была похожа на жизнь, ты немедленно вступишь в любовный бой и будешь сражаться не холодно и вяло, а с жаром и упорством, как этого требует мой план и заслуживает мое дружеское доверие.

Так говорил Ансельмо, а Лотарио слушал его столь внимательно, что, кроме нескольких слов, приведенных нами, не разомкнул губ, пока тот не кончил. Когда же Ансельмо замолчал, Лотарио долго смотрел на него, как будто видел в первый раз и будто лицо друга внушало ему страх и изумление. Наконец он ответил:

– Я не могу поверить, друг мой Ансельмо, что твои слова не шутка; если бы я думал, что ты говоришь серьезно, я бы не дал тебе продолжать и, просто перестав слушать, прервал бы этим твою длинную речь. Нет, должно быть, или ты меня не знаешь, или я не знаю тебя. Впрочем, нет, я знаю, что ты – Ансельмо, а ты знаешь, что я – Лотарио; горе в том, что ты не тот Ансельмо, каким ты был раньше, и, вероятно, ты думаешь, что и я – не прежний Лотарио, ибо то, что ты мне только что сказал, не могло исходить от моего друга Ансельмо, и у того Лотарио, которого ты знаешь, ты не мог просить подобной услуги. Ведь, по словам поэта, добрые друзья испытывают своих друзей и прибегают к их помощи usque ad aras[3], что означает, что нельзя пользоваться дружбой в делах, противных Богу. Если так думал о дружбе язычник, то сколь понятнее это должно быть для христианина, знающего, что любовь к Богу выше всякой человеческой любви! Но допустим, что кто-нибудь, решившись откинуть заботы о небе, всей душой предается заботам о своем друге: у него должны быть на это не мелкие и ничтожные причины, а какие-нибудь серьезные основания, вроде спасения чести или жизни друга. Но скажи мне, Ансельмо, какой опасности подвергается твоя жизнь или твоя честь, и почему в угоду тебе я должен отважиться на столь постыдное дело? Опасности я не вижу: напротив, мне кажется, что ты меня просишь лишить тебя и чести и жизни, кроме того, и самому потерять их. Ибо, лишив тебя чести, я, естественно, лишу тебя жизни: ведь человек без чести хуже, чем мертвый. И раз ты выбираешь меня орудием своего несчастия, значит я и себя обесчещу, а следовательно, умерщвлю! Выслушай меня, друг Ансельмо, будь терпелив и не перебивай, пока я не выскажу тебе

всего, что думаю о твоем намерении: ты еще успеешь мне возразить, а я – тебя выслушать.

– Я согласен, – сказал Ансельмо, – говори все, что тебе хочется.

Лотарио продолжал:

– Мне кажется, Ансельмо, состояние твоего ума сейчас похоже на состояние ума мавров, которых ведь нельзя убедить в ложности их веры ни цитатами из святого Евангелия, ни доводами, основанными на суждениях разума или на догматах веры: им нужны примеры осязательные, легкие, понятные, наглядные и неопровержимые, с математическими доказательствами, с которыми нельзя не согласиться, вроде, например, следующего: *если от двух равных величин отнять равные части, то и остатки их будут равны.* И когда они даже этого не понимают на словах (как часто случается), приходится показывать им руками, подносить доказательства к самым глазам, хотя и этого бывает недостаточно, чтобы убедить их в истинах святой нашей религии. Так и с тобой нужны мне те же способы и средства, – ибо в желании, возникшем у тебя, так мало смысла, и заблуждение твое столь велико, что я не стану терять время, объясняя тебе твою душевную простоту, – чтобы не назвать ее иначе. Я предоставил бы тебя твоему безумию и заслуженному наказанию, если бы наша дружба позволяла отнестись к тебе так сурово; но я не в силах покинуть тебя в столь явной и гибельной опасности. Будь же разумен, Ансельмо, и скажи: ты просишь меня, как сам говоришь, ухаживать за женщиной скромной, обольщать честную, предлагать подарки бескорыстной, волочиться за добродетельной? Да, ты так сказал. Но раз ты знаешь, что жена твоя скромна, честна, бескорыстна и добродетельна, так чего же ты домогаешься? Если она выдержит мои нападения и выйдет победительницей, – а это несомненно, – какие еще более почетные имена прибавишь ты к тем, которыми она уже обладает? Какой же она может стать? Или ты не считаешь ее такой, как ты говоришь, или же ты не знаешь, чего просишь. Если ты не считаешь ее такой, как говоришь, к чему же ты хочешь ее испытывать? Не лучше ли немедленно поступить с ней так, как тебе вздумается. Если же она добродетельна, как ты думаешь, разве не дерзость испытывать самое истину, которая и после испытания ни в чем не изменит твоего первоначального мнения? Справедливо говорится, что только безрассудные и отчаянные люди предпринимают дела, от которых можно ждать скорей вреда, чем пользы, особенно если никто не побуждает и не заставляет их и если заранее ясно, что дела эти – чистое безумие. Трудные дела совершаются или для Бога, или для мира, или для того и другого вместе. Для Бога творят дела люди святые, которые в человеческих телах живут ангельской жизнью; для мира творят дела люди, переплывающие необъятные моря, странствующие по различным странам, посещающие чужие народы, чтобы приобрести то, что мы называем житейскими благами; наконец, для того и другого вместе творят дела отважные воины: завидев в неприятельской стене брешь, проломленную пушечным ядром, они, забыв о страхе, не думая и не рассуждая об угрожающей им явной опасности, бестрепетно бросаются вперед навстречу тысяче смертей, окрыленные желанием

постоять за веру, за родину и короля. Вот какие дела совершаются на свете, и хоть полны они трудностей и опасностей, но приносят честь, славу и пользу. Но то, что ты предпринимаешь и замышляешь, не послужит во славу Божию и не принесет тебе ни чести, ни житейских благ; ибо если даже кончится оно так успешно, как ты этого желаешь, то не станешь ты от этого ни знаменитее, ни богаче, ни славнее; если же кончится оно плохо, то навлечешь ты на себя такие бедствия, что и вообразить невозможно. Тогда не утешит тебя мысль, что никто не знает о твоем несчастии: ты сам будешь знать о нем, и это сознание измучит тебя и погубит. А в подтверждение этой истины я приведу тебе строфу, которою оканчивается первая часть поэмы знаменитого поэта Луиса Тансилло[4] – "Слезы святого Петра":

Растет печаль, растет и укоризна,
Как Петр почуял света приближенье;
Хоть никого не видит, укоризна –
Перед самим собой за прегрешенье.
Ведь в сердце благородном укоризна
Не от других родится осужденья –
А укоризна со грехами внидет,
Пусть только небо да земля нас видят.

Так и ты не убежишь от скорби, пряча ее, и, если слезы не прольются из твоих глаз, кровавые слезы беспрерывно будут течь из твоего сердца, как у того простодушного доктора, что, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком, от которого уклонился благоразумный Ринальдо[5]. Конечно, это – поэтический вымысел, но в нем заключено скрытое нравоучение, которое следует заметить, понять и усвоить. Но вот тебе пример, который должен окончательно показать тебе, как велико твое заблуждение. Представь себе, Ансельмо, что небо и счастливая судьба сделали тебя владельцем и законным обладателем прекраснейшего алмаза, чистота и достоинства которого восхищают всех ювелиров: все они согласно и единодушно утверждают, что чистота, блеск и другие качества его достигают пределов возможного совершенства, и ты сам того же мнения и не можешь привести ни одного довода против. Неужели же, несмотря на все это, тебе могло бы прийти в голову взять этот алмаз, положить его на наковальню и изо всех сил бить по нему молотом, чтобы убедиться в его предполагаемой крепости и доброкачественности? И если бы ты это сделал и камень выдержал столь жестокое испытание, что прибавилось бы к его ценности и славе? А если бы не выдержал (что вполне возможно), разве не погиб бы он безвозвратно? Конечно, владелец его прослыл бы в мнении света человеком безрассудным. Знай же, друг Ансельмо, этот прекрасный алмаз – Камила; так думаешь и ты сам и все окружающие; и бессмысленно подвергать этот алмаз опасности быть разбитым, ибо если он уцелеет – ценность его не увеличится, а если не выдержит и разобьется – подумай, что станется с тобой без него, и сколь основательно тебе придется обвинять себя в гибели и его и твоей собственной! Пойми, что нет на свете большей драгоценности, чем цело-

мудренная и верная жена, и что вся честь женщины – в доброй славе, которой она пользуется среди людей. И раз ты знаешь, что поведение твоей жены выше всяких похвал, то почему же ты сомневаешься в этой истине? Друг мой, женщина – существо несовершенное, и не следует расставлять ей западни, потому что она может споткнуться и упасть; напротив, нужно удалять с ее пути все препятствия, чтобы она легко и без затруднений дошла до недостающего ей совершенства – до полной добродетели. Естествоиспытатели рассказывают, что, когда охотники хотят поймать горностая, зверька с белоснежной шерстью, они прибегают к следующей хитрости: заметив, по каким тропинкам он обыкновенно бегает, они покрывают их грязью и затем, завидев горностая, гонят его к этому месту; добежав до грязи, зверек останавливается, так как предпочитает сдаться и попасть в руки охотников, чем, пройдя по грязному месту, запачкаться и потерять свою белизну, которой дорожит он больше, чем свободой и жизнью. Честная и целомудренная жена подобна горностаю: добродетель ее чище и белее снега. Если ты хочешь, чтобы она не потеряла, а, наоборот, сохранила и соблюла ее, ты не должен подражать хитрости охотников; нельзя окружать ее грязью услуг и подарков назойливых воздыхателей, потому что, вероятно, и даже можно сказать, наверное, природа не наделила ее такой силой и стойкостью, чтобы могла она без чужой помощи перешагнуть и пройти через все засады. Необходимо их устранить, а ее направить к чистоте добродетели и красоте доброй славы. И еще можно сравнить добрую жену с зеркалом из прозрачного и блестящего хрусталя: дохни на него, и оно тотчас же потускнеет и затуманится. С честной женой нужно обращаться, как с реликвией: почитать, но не трогать. Ее следует ценить и охранять, как прекрасный сад, полный роз и других цветов; его хозяин не позволит входить в него и срывать цветы: достаточно издали, через прутья решетки наслаждаться его благоуханием. В заключение я хочу тебе прочесть несколько стихов из одной современной комедии[6], которые припомнились мне и, кажется, вполне подходят к предмету нашего разговора. Один благоразумный старик советует другому, у которого – молодая дочь, хранить ее, беречь и держать взаперти; между прочим, он говорит следующее:

Женщина – как есть стекло,
Потому не след судить,
Можно ли ее разбить,
Раз на свете все легко.
А похоже – может биться.
Лишь глупец не бережется:
Ведь рискует расколоться
Что не сможет починиться.
Все согласны с мыслью той,
Да и я согласен, зная,
Что, коль есть меж нас Даная,
Дождь найдется золотой[7].

Все, что я до сих пор говорил, Ансельмо, касалось тебя; разреши мне теперь сказать несколько слов и о себе. Прости мне мою пространную речь: этого требует твое положение, – ведь ты попал в лабиринт и хочешь, чтоб я тебя из него вывел. Ты называешь меня другом и хочешь лишить чести – это противоречит понятию дружбы. Более того: ты просишь, чтобы я сам тебя обесчестил. Что ты желаешь лишить меня чести – это ясно; ибо, как Камила увидит, что я добиваюсь ее любви, она, конечно, сочтет меня человеком бесчестным и низким, раз я замыслил и начал дело, столь несовместное с моим достоинством и нашей дружбой. Что ты просишь обесчестить тебя – это тоже несомненно, так как, заметив мои домогательства, Камила решит, что я считаю ее женщиной легкомысленной и только потому осмеливаюсь открыть ей мои порочные желания; она почувствует себя обесчещенной, а раз она принадлежит тебе, то позор ее падает и на тебя. Вот отчего мужа неверной жены обыкновенно называют постыдными и низкими именами, хотя бы он и не знал об измене жены, никогда не подавал ей для этого повода и не мог избежать этого несчастия, так как произошло оно не по его небрежности и беспечности; и все-таки, кто знает о поведении жены, относится к мужу не с сочувствием, а с некоторым презрением, хотя и понимает, что виноват в этом не он, а единственно ее порочный нрав. Я сейчас тебе объясню, почему муж неверной жены по справедливости считается обесчещенным, хотя бы он был непричастен, невиновен, ничего не знал и никогда не подавал повода. Надеюсь, что эти рассуждения тебе не наскучат, так как направлены они к твоему же благу. Когда Господь создал в земном раю нашего прародителя, он, по словам Святого Писания, навел на него сон и, пока Адам спал, вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу прародительницу Еву. Проснулся Адам и, увидев Еву, сказал: "Ты – плоть от плоти моей и кость от костей моих". А Господь сказал: "Ради жены оставит человек отца своего и матерь свою и будут две плоти воедино". И тогда основано было святое таинство брака, узы которого одна смерть может расторгнуть. Такая сила и крепость в этом чудесном таинстве, что в нем два отдельных существа образуют единую плоть; и более того: у добрых супругов – две души, но единая воля. Вот почему, если муж и жена – единая плоть, все недостатки и несовершенства, оскверняющие тело жены, оскверняют и тело мужа, хотя бы, как я уже сказал, и не было в том его вины. Когда у тебя болит нога или другой член, – боль эту чувствует все тело, ибо все оно – единая плоть: голова чувствует боль лодыжки, хоть и не виновата она в этой боли; так и муж разделяет позор жены, потому что она и он – одно. Но так как наша мирская честь и бесчестие всегда связаны с плотью и кровью, то, следовательно, и доля бесчестия дурной жены должна пасть на мужа; хотя бы он и оставался в неведении, все же он опозорен. Подумай, Ансельмо, какой опасности ты подвергаешь себя, смущая душевный покой твоей доброй жены! Из праздного и безрассудного любопытства ты тревожишь тишину ее чистой души. Заметь, что выиграть ты можешь мало, а проиграть столько, что и сказать невозможно, – для этого у меня не хватит слов. Ежели же всех моих слов недостаточно, чтобы отвлечь тебя от

этого дурного намерения, ищи себе другого сообщника: орудием твоего позора и несчастья я не стану, даже если из-за этого потеряю твою дружбу, – а большей потери я и представить себе не могу.

Сказав это, добродетельный и благоразумный Лотарио замолчал, а Ансельмо в раздумье и смущенье долго не мог вымолвить слова. Наконец он ответил:

– Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием я тебя слушал. Из твоих речей, примеров и сравнений я убедился, как велика твоя рассудительность и как сильна твоя истинная дружба. Я понимаю и соглашаюсь с тобой, что, настаивая на своем решении и отвергая твои советы, я бегу от добра и стремлюсь ко злу. Но на все это я тебе скажу: у женщин бывает болезнь, во время которой им хочется есть землю, штукатурку, уголь и еще худшие вещи, на которые и смотреть отвратительно; представь себе, что я сейчас болен такой же болезнью и, чтобы меня вылечить, нужно употребить хитрость, – и это будет не трудно, если ты, хотя бы притворно и небрежно, попытаешься ухаживать за Камилой. Она не настолько беззащитна, чтобы пасть в первом же бою. Я удовлетворюсь этим опытом, а ты исполнишь долг дружбы: не только возвратишь мне жизнь, но и докажешь мне, как крепка моя честь. Ты обязан это сделать еще вот почему: я твердо решил произвести испытание, а ты не допустишь, чтобы о своем безумии я сообщил кому-нибудь другому и рисковал честью, которую ты так бережно охраняешь. Ты говоришь, что Камила, заметив твои ухаживания, сочтет тебя бесчестным? Это имеет мало или, вернее, не имеет никакого значения; ибо, как только ты убедишься в ее верности, ты тотчас же расскажешь ей всю правду о нашей хитрости, и она станет уважать тебя по-прежнему. Ты рискуешь малым, а можешь дать мне великое удовлетворение; итак, прошу тебя, решись на это, как бы тебе ни было трудно. Повторяю, тебе стоит только начать, и я буду считать испытание законченным.

Лотарио понял, что воля Ансельмо непреклонна. Не находя больше ни примеров, ни доводов, чтобы его разубедить, и видя, что он грозит разгласить о своем преступном замысле, он решил, во избежание худшего зла, согласиться на просьбу; но задумал он повести дело так, чтобы и удовлетворить Ансельмо, и не смутить души Камилы. Он ответил, что не следует никому об этом рассказывать, так как он берет эту задачу на себя и приступит к ней, когда Ансельмо будет угодно. Тот нежно и любовно его обнял и поблагодарил за согласие, как за великую милость; они условились, что испытание начнется на следующий день, что Ансельмо снабдит Лотарио деньгами и драгоценностями для подарков и устроит так, чтобы тот мог встречаться с Камилой наедине. Он посоветовал Лотарио давать в честь Камилы серенады и писать ей стихи; если же это ему кажется слишком хлопотливым, Ансельмо сам будет это делать за него. Лотарио на все соглашался, но в мыслях у него было не то, что думал его друг. Сговорившись, они отправились к Ансельмо в дом, где Камила ждала мужа с беспокойством и тревогой, так как он вернулся позже, чем обыкновенно.

Лотарио оставил своего друга вполне удовлетворенным и пошел домой в задумчивости, не зная, как выйти с честью из столь безрассудного предприятия;

но в ту же ночь он придумал способ, как обмануть Ансельмо и не оскорбить Камилы. На следующий день он пришел обедать к Ансельмо и был любезно встречен Камилой, которая очень радушно принимала и угощала его, как лучшего друга своего мужа. Когда кончился обед и убрали со стола, Ансельмо попросил Лотарио побыть с Камилой, пока он сходит по одному безотлагательному делу, и обещал вернуться через полтора часа. Камила стала уговаривать его остаться, а Лотарио предложил проводить, но Ансельмо не согласился и настоял на том, чтобы Лотарио не уходил до его возвращения, так как ему нужно будет переговорить с ним по одному очень важному делу. На прощанье он попросил Камилу занимать Лотарио, пока он не вернется. Он так искусно представил безусловную (вернее сказать, безумную!) необходимость для себя отлучиться, что никто бы не заподозрил его в притворстве.

Ансельмо ушел, а Камила и Лотарио остались вдвоем за столом, так как все слуги ушли обедать. Лотарио почувствовал, что желание его друга исполнилось, что вот он стоит на ристалище, а против него враг, который одной своей красотой может победить целый отряд вооруженных рыцарей: согласитесь, что Лотарио было чего бояться. И вот как он поступил: положил локоть на ручку кресла, подпер ладонью щеку и, извинившись перед Камилой за свою неучтивость, сказал, что до возвращения Ансельмо он хотел бы немного вздремнуть. Камила ответила, что на настиле ему будет удобнее, чем на кресле[8], и предложила лечь. Но Лотарио поблагодарил и остался спать в кресле. Вернувшись, Ансельмо застал жену в ее комнате, а Лотарио – спящим и подумал, что, так как он опоздал, они, должно быть, успели и поговорить и отдохнуть. С нетерпением стал он ждать пробуждения Лотарио, чтобы выйти с ним и расспросить о том, что было. Наконец его желание исполнилось, Лотарио проснулся, они вышли вместе, он спросил его, и тот ответил, что в первый раз он не мог открыть Камиле своих чувств, а пока только восхвалял ее красоту и уверял, что весь город говорит о ее красоте и уме; ему, мол, кажется, что для начала это хорошо; он войдет к ней в милость и расположит ее к тому, чтобы в следующий раз она слушала его с удовольствием: ведь сам дьявол прибегает к такой хитрости, когда хочет соблазнить человека, зорко следящего за его кознями; дух тьмы принимает образ духа света, обманывает прекрасной видимостью, а потом открывает свое настоящее лицо и торжествует, если только обман его не разоблачили в самом начале.

Все это очень понравилось Ансельмо, и он сказал, что каждый день, даже не уходя из дома, он будет удаляться в свою комнату под видом занятий делами, устраивая так, чтобы Камила оставалась наедине с Лотарио, не подозревая его хитрости. Так прошло много дней, в продолжение которых Лотарио не сказал Камиле ни одного слова, а Ансельмо он сообщал, что разговаривает с ней постоянно, но что до сих пор не заметил в ее поведении ничего предосудительного, и она не подала ему ни малейшего признака или тени надежды. Более того, она будто бы грозила все рассказать мужу, если только он не оставит своих преступных мыслей.

– Отлично! – сказал Ансельмо. – Камила устояла против слов, – теперь посмотрим, устоит ли она против дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи золотых эскудо, которые ты ей предложишь и подаришь, и другие две тысячи на покупку драгоценностей, которые могли бы ее прельстить. Как бы ни были женщины добродетельны, все они – щеголихи и любят наряжаться, особенно, если они красивы. Пусть она устоит и против этого искушения, – тогда я буду вполне удовлетворен и не стану больше тебя утруждать.

Лотарио ответил, что, раз он начал дело, он доведет его до конца, хотя и не сомневается в своем полном поражении. На следующий день он получил четыре тысячи золотых, а с ними четыре тысячи затруднений, ибо он не мог придумать, как бы ему еще солгать. Наконец он решил сказать Ансельмо, что Камила столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, как и к словам, и что незачем продолжать эту затею и напрасно терять время. Но судьба устроила иначе: однажды Ансельмо, оставив по обыкновению Камилу наедине с Лотарио, заперся у себя в комнате и через замочную скважину стал подсматривать и подслушивать, что они делают; тут он обнаружил, что больше чем за полчаса Лотарио не сказал Камиле ни слова, и ему стало ясно, что он не заговорит, пробудь он с ней хоть целый век. Тогда Ансельмо понял, что все ответы Камилы, о которых передавал ему его друг, были сплошной выдумкой и ложью. А чтобы проверить это, он вошел к ним в комнату и, отозвав Лотарио в сторону, спросил его, что нового и как настроение у Камилы. Лотарио сказал, что он не желает продолжать борьбу, ибо Камила отвечает ему так резко и сурово, что у него больше не хватает духа с ней разговаривать.

– Ах, Лотарио, Лотарио, – воскликнул Ансельмо, – как плохо ты исполняешь свой долг и как мало ты достоин моего великого доверия! Я только что следил за тобой через отверстие, в котором помещается вот этот ключ, и убедился, что ты не сказал Камиле ни одного слова, – из чего я заключаю, что и во все предыдущие свидания ты молчал. Если это так, – а, конечно, иначе быть не может, – то зачем ты меня обманываешь и своей уловкой лишаешь возможности без твоей помощи удовлетворить мое желание?

Ансельмо не продолжал; но и этих слов было достаточно, чтобы смутить и пристыдить Лотарио. Чувствуя себя уличенным во лжи, – что, по его мнению, затрагивало его честь, – он поклялся Ансельмо, что отныне будет стараться удовлетворить его, не обманывая: пусть Ансельмо подсматривает за ним, если хочет в этом убедиться, а впрочем, к подобным мерам не придется прибегать, так как он уверен, что его усердие рассеет вскоре все подозрения друга. Ансельмо поверил и, для того чтобы Лотарио мог действовать с полным удобством и без помех, решил на неделю уехать к одному приятелю, жившему в деревне неподалеку от города. Приятель этот по его просьбе стал усиленно приглашать его к себе, чтобы у Ансельмо, таким образом, был перед Камилой предлог для отъезда. Злополучный и безумный Ансельмо, что ты делаешь, что замышляешь, к чему стремишься! Посмотри, ты сам делаешь зло себе, замышляешь свой позор, стремишься к своей гибели! Добродетельна твоя жена Камила, в

мире и покое обладаешь ты ею, ничто не нарушает твоего блаженства; желания ее не переступают за стены ее дома, ты – ее небо и земля, предмет ее мечтаний, цель ее стремлений, мера, которой меряется ее воля, согласуясь во всем с твоей волей и волей небесной. Все сокровища ее чести, красоты, добродетели и скромности – как драгоценные копи раскрыты перед тобой; ты можешь брать все, что в них есть, и все, что ты пожелаешь. Зачем же хочешь ты рыть землю и искать следов нового, невиданного клада? Ведь все может рухнуть, ибо сокровища эти держатся на слабых подпорках ее хрупкой природы. Знай же, что от человека, гоняющегося за невозможным, отнимется и возможное, как это выразил лучше меня поэт[9]:

В буре я ищу погоду,
Здравия ищу в чуме,
Воли я ищу в тюрьме,
В незадаче – верность мне.

Перестал добра я ждать
От судьбы; она ж, подстать
Небу, ставит непреложно:
Раз прошу что невозможно,
И в возможном отказать.

На другой день Ансельмо уехал в деревню и, прощаясь, сказал Камиле, что во время его отсутствия Лотарио будет приходить обедать и следить за домом и что он просит ее относиться к его другу так, как она относится к нему самому. Скромная и верная Камила была огорчена таким приказанием и ответила, что неприлично в отсутствие мужа другому занимать его место за столом; если же Ансельмо дает этот приказ, не веря в ее уменье управлять домом, то пусть он на этот раз ее испытает и на опыте убедится, что она способна и на большее. Ансельмо ответил, что такова его воля и что она должна склонить голову и повиноваться. Камила сказала, что исполнит его желание, хоть и против своей воли. Ансельмо уехал, а на следующий день пришел Лотарио и был ею встречен любезно и с достоинством. Но она устраивала так, что никогда не оставалась с ним наедине: постоянно ее окружали слуги и служанки, а чаще всего сопровождала ее служанка по имели Леонела; они с ранних лет росли вместе в доме ее родителей, и поэтому Камила ее особенно любила и взяла с собой, выйдя замуж за Ансельмо. В течение первых трех дней Лотарио совсем не говорил с Камилой, хотя и мог бы, так как после обеда, убрав со стола, все слуги уходили наскоро поесть, – ибо Камила велела им возвращаться как можно скорее; а кроме того, она приказала Леонеле обедать раньше и никогда не оставлять ее одну. Но у служанки были другие мысли в голове: она пользовалась часами обеда, чтобы повеселиться, а поэтому нередко забывала о приказании своей госпожи и оставляла ее наедине с Лотарио, как если бы ее нарочно подговорили. Но скромный вид, строгое лицо и сдержанное обращение Камилы обуздывали язык Лотарио.

Однако, если добродетели ее заставляли его молчать, из этого проистекала другая, еще худшая для них обоих беда: уста его безмолвствовали, но мысль не бездействовала и могла подробно на досуге созерцать редкие достоинства и красоту Камилы, а были они таковы, что мраморная статуя – и та бы в нее влюбилась, не только живое сердце. Лотарио не говорил, но смотрел и думал: как достойна она любви! Эта мысль постепенно стала вытеснять его преданность Ансельмо. Тысячу раз хотел он бежать из города и скрыться так, чтобы Ансельмо не видел его, а он не видел Камилы, но наслаждение смотреть на нее удерживало его. Он делал усилия, боролся с собой, чтобы преодолеть и не испытывать этого наслаждения, и наедине с собой осуждал свое безумие, называя себя дурным другом и даже дурным христианином. Он рассуждал и сравнивал себя с Ансельмо, и эти сравнения сводились к тому, что ослепление и самоуверенность мужа преступнее, чем неверность друга; и если, думал он, ему так же легко оправдаться в своем грехе перед Богом, как он оправдается перед людьми, то ему нечего бояться наказания.

Наконец достоинства и красота Камилы, с помощью благоприятных обстоятельств, созданных неразумным мужем, восторжествовали над верностью Лотарио; и через три дня после отъезда Ансельмо, в продолжение которых Лотарио беспрестанно боролся со своим желанием, он, забыв обо всем и повинуясь лишь внушениям чувства, объяснился Камиле с таким волнением и страстью, что она, пораженная, не ответила ему ни слова, встала и ушла к себе в комнату. Но холодность ее не убила в нем надежды, которая рождается всегда вместе с любовью, – напротив, он полюбил ее еще больше. Для Камилы все это было столь неожиданно, что она не знала, как поступить; и, решив, что опасно и неприлично давать Лотарио повод к новым объяснениям, она в ту же ночь послала к Ансельмо слугу с письмом следующего содержания.

ГЛАВА XXXIV

в которой продолжается "Повесть о Безрассудно-любопытном"

"Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя и крепость без коменданта, а я скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если того не требуют крайне важные обстоятельства. Мне так худо без вас и так тяжело в разлуке, что, если вы скоро не вернетесь, я буду принуждена отправиться к моим родителям и покинуть ваш дом без сторожа, ибо тот сторож, которого вы оставили (если только вы действительно возложили на него эту обязанность), кажется, думает больше о своем удовольствии, чем о вашем благе. Так как вы рассудительны, этих слов для вас достаточно, да и не подобает мне говорить больше".

Получив это письмо, Ансельмо заключил из него, что Лотарио уже начал действовать и что Камила ведет себя так, как ему этого хотелось, и, крайне

обрадованный этим известием, велел на словах передать Камиле, чтобы она ни в коем случае не покидала своего дома, так как он скоро возвратится. Камила была удивлена этим ответом, который привел ее еще в большее замешательство, так как теперь она не решалась ни оставаться дома, ни уехать к родителям: остаться значило подвергнуть опасности свою честь, а уехать – ослушаться мужа. В конце концов она склонилась к худшему решению, а именно, осталась, с твердым намерением не избегать более общества Лотарио, чтобы не дать слугам повода к болтовне. Она даже раскаивалась, что написала письмо, опасаясь, как бы Ансельмо не вообразил, что Лотарио заметил в ее поведении какую-нибудь развязность и только потому нарушил должное ей почтение. Однако, уповая на свою добродетель, она положилась на Бога и на свою твердость, решив на все речи Лотарио отвечать молчанием, а Ансельмо ничего не сообщать, чтобы не волновать и не тревожить его. Более того, Камила уже обдумывала, как бы ей оправдать Лотарио перед Ансельмо, если тот спросит, что заставило ее написать это письмо. Проникшись такими намерениями, более великодушными, нежели полезными и разумными, Камила на другой день внимала Лотарио, который заговорил снова с таким жаром, что твердость Камилы заколебалась, и она должна была призвать себе на помощь всю свою добродетель, чтобы Латарио не прочитал в ее глазах нежного состраданья, вызванного в ее сердце его словами и слезами. Но тот все заметил, и страсть его запылала еще сильней. Пользуясь отсутствием Ансельмо, благоприятным для его целей, он решил сжать кольцо осады и принялся действовать на ее тщеславие, восхвалением ее красоты, зная, что укрепленные башни тщеславной красоты легче всего подкопать и одолеть тем же тщеславием, вложенным в льстивые речи. И Лотарио так искусно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что если бы Камила была сделана из бронзы, и то бы она не устояла. Он рыдал, умолял, обещал, льстил, уговаривал и притворялся с таким чувством и видимым жаром, что наконец честность Камилы не устояла, и он одержал победу, которой так желал и на которую так мало надеялся.

Камила уступила, Камила сдалась. Чему же тут удивляться: ведь и дружба Лотарио тоже не выдержала! Вот ясный пример, показывающий нам, что любовную страсть нельзя побороть, не бежав от нее, и что никому не следует отваживаться на такую борьбу: ее человеческой силе может сопротивляться только сила нечеловеческая. Одна Леонела знала о поражении своей госпожи: друзья-предатели и недавние любовники не могли от нее укрыться. Лотарио решил не рассказывать Камиле, что сам Ансельмо все это затеял и помог ему добиться ее любви: он боялся уронить себя в ее глазах, так как она могла подумать, что он покорил ее сердце случайно, а не по собственному побуждению.

Через несколько дней возвратился Ансельмо и не заметил, что он утратил то, что больше всего ценил и меньше всего берег. Он немедленно поспешил к Лотарио и застал его дома; друзья обнялись, и Ансельмо спросил: жить ли ему или умереть?

– Я могу тебе сообщить, друг Ансельмо, – сказал Лотарио, – что твоя жена достойна быть примером и венцом всех верных жен. Все мои речи были напрасны; она презрела предложения, отвергла подарки, посмеялась над моими притворными слезами. Одним словом, Камила не только образец красоты: она – обитель, где живет честность, пребывают благопристойность, целомудрие и все добродетели, приносящие честь и славу верной жене. Возьми же обратно твои деньги, друг мой, – вот они; мне не пришлось ими воспользоваться, ибо обещания и подарки – вещи слишком низменные, чтобы соблазнить ее чистоту. Будь доволен, Ансельмо, и не ищи других испытаний. Не замочив ног, переплыл ты море сомнений и подозрений, которые бывают и могут быть у мужа по отношению к жене, – не пускайся же опять в плаванье по океану новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, данного тебе небом для жизненного странствия, но считай, что ты достиг уже безопасной гавани. Укрепись в ней на якоре доверия и пребывай в благополучии, пока судьба не явится к тебе за долгом, который все мы, смертные, ей платим.

Речь Лотарио вполне удовлетворила Ансельмо, и он поверил ей, как прорицанию оракула, но все же он попросил друга не бросать их затеи, хотя бы ради забавы и из любопытства. Конечно, теперь он может ухаживать не с таким рвением и настойчивостью, но было бы очень хорошо, если бы он, например, написал в честь Камилы стихи и воспел ее в них под именем Хлориды; а Ансельмо сказал бы жене, что Лотарио влюблен в одну даму, которую прославляет под именем Хлориды из уважения к ее скромности; и он прибавил, что, если Лотарио это трудно, он сам готов сочинить эти стихи.

– Нет, в этом нет нужды, – сказал Лотарио, – музы не вовсе ко мне враждебны и от времени до времени меня посещают. Предупреди же Камилу о моем любовном притворстве, и хоть стихи мои не будут достойны их предмета, я постараюсь написать как можно лучше.

Так сговаривались друг безрассудный с другом неверным. Вернувшись домой, Ансельмо спросил Камилу, что побудило ее написать ему письмо. Камила, которая уже давно удивлялась, почему он до сих пор ее об этом не спрашивает, ответила, что во время его отсутствия поведение Лотарио показалось ей несколько непочтительным, но теперь она в этом разубедилась и думает, что ей просто почудилось, так как давно уже Лотарио ее избегает и никогда не остается с ней наедине. Ансельмо посоветовал ей откинуть эти подозрения: ему-де хорошо известно, что Лотарио влюблен в одну девицу благородного происхождения и воспевает ее под именем Хлориды; а если бы это и не было так, она должна верить честности Лотарио и их великой близости. И, если бы Лотарио не предупредил Камилу о том, что он рассказал Ансельмо о своей мнимой любви к Хлориде, чтобы иметь возможность иногда воспевать в своих стихах Камилу, ее сердце, без сомнения, попало бы в мучительные сети ревности; но, предупрежденная, она приняла это известие без огорчения.

Как-то раз, когда они втроем сидели после обеда, Ансельмо попросил Лотарио прочесть им, что он написал в честь своей возлюбленной Хлориды; он-де может не стесняться, так как Камила все равно ее не знает.

– Если бы даже она ее знала, – ответил Лотарио, – я и тогда не стал бы скрывать своих стихов; ибо, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и называет ее жестокой, он не бесчестит этим ее доброго имени. Как бы то ни было, вот сонет, который я вчера написал[1] в честь жестокой Хлориды:

СОНЕТ

В безмолвии полуночи, при виде
Людей, покоем взятых благодатным,
Отчет убогий о мученье знатном
Передаю я небу и Хлориде.

И той минутой, как в цветной хламиде
По розовым восходит солнце пятнам,
Со стонами и лепетом невнятным
Все возвращаюсь к прежней я обиде.

И то же солнце на златом престоле,
Лучом горя земному мирозданью,
Мой плач растит и вздох усугубляет.

К земле вернется ночь, я ж к горькой доле.
И снова смертному в любви страданью
Свод неба глух, Хлорида ж не внимает.

Сонет понравился Камиле, но еще больше понравился он Ансельмо, который похвалил его и сказал, что дама эта, должно быть, безмерно жестока, раз она не отвечает на такое искреннее чувство. Услышав это, Камила спросила:

– Разве все, что говорят влюбленные поэты, правда?

– Как поэты они могут лгать, – ответил Лотарио, – но как влюбленные они всегда столь же скромны, как и искренни.

– Несомненно, – подтвердил Ансельмо, желая поддержать мнение Лотарио перед Камилой, которая была так увлечена своей новой любовью, что и не заметила уловки мужа.

И так как все, что исходило от Лотарио, доставляло ей наслаждение, а еще приятнее ей было знать, что и желания его и стихи обращены к ней и что она и есть настоящая Хлорида, она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или других стихов.

– Есть еще один, – ответил Лотарио, – только мне кажется, что он не так хорош, как первый, или лучше сказать – еще хуже. Впрочем, судите сами:

СОНЕТ

Я умираю; и на зло сомненью,
Вернее смерть моя и то вернее,
Что я к ногам твоим паду, хладея,
Чем то, что я раскаюсь в поклоненье.

Уж вижу я себя в стране забвенья,
Ни жизни, ни отрады не имея,
Но сердце кажет, кровью пламенея,
Твое, прекрасная, изображенье.

Ведь дорожку я этим знаком томным
Для мига крайнего в борьбе той страстной,
Которой ты потворствуешь жестоко.

Увы – плывущему под небом темным
По морю дикому стезей опасной,
Когда и гавань, и звезда – далеко.

Ансельмо второй сонет похвалил не меньше первого. Так прибавлял он звено за звеном к цепи, привязывавшей и приковывавшей его к позору. Чем больше Лотарио его бесчестил, тем больше он гордился своей честью; Камила ступень за ступенью спускалась до глубины своего унижения, а ему казалось, что она восходит на вершину добродетели и доброй славы. Как-то раз случилось Камиле быть наедине со своей служанкой, и она сказала ей:

– Мне стыдно, друг мой Леонела, что я так низко себя оценила и позволила Лотарио слишком быстро завладеть моей волей, не заставив его добиваться этого ценою долгих усилий. Боюсь, что он станет презирать меня за слабость и податливость, забыв силу своего порыва, сломившего мое сопротивление.

– Не печалься об этом, сеньора, – ответила Леонела, – это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что нам не приходится долго его ожидать, если подарок сам по себе хорош и достоин уважения; есть на это пословица: "Кто дает сразу, дает вдвое".

– Но есть и другая пословица, – сказала Камила: – "Что дешево обходится, мало ценится".

– Это поговорка к тебе не относится, – возразила Леонела, – потому что любовь, как я слышала, то шагом идет, то на крыльях летит; с одним бежит, с другим еле плетется; одних она судит, других сжигает, одних ранит, других убивает; в одну минуту начинается бег ее желаний и в ту же минуту кончается; утром начинает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, – ибо ничто не может ей сопротивляться. Почему же ты удивляешься и чего боишься, раз то же самое случилось и с Лотарио, ибо любовь воспользовалась отлучкой Ансельмо как орудием вашего поражения? И было неизбежно, чтобы ее решение исполнилось немедленно, в отсутствие Ансельмо, потому что он мог возвратиться и тогда затея любви осталась бы незаконченной; ибо нет у нее лучшего помощ-

ника, чем случай, и она пользуется им во всех своих делах, особенно поначалу. Это я знаю хорошо, больше по опыту, чем с чужих слов, и когда-нибудь все это тебе расскажу: ведь и я, сеньора, тоже сделана из плоти и крови. Впрочем, я не нахожу, сеньора Камила, что ты подчинилась и сдалась ему слишком скоро; ведь сначала в его взглядах, вздохах, словах, обещаниях и подарках ты увидела всю его душу и убедилась, что достоинства его заслуживают любви. А если так, то отбрось свою мнительность и щепетильность и поверь, что Лотарио уважает тебя не меньше, чем ты его: он счастлив и доволен, что вы связаны любовными узами, и за это он еще больше ценит тебя и почитает. У него не только четыре S, которые полагается иметь каждому истинному влюбленному[2], но и вся азбука целиком. Да вот, послушай, я тебе сейчас наизусть ее скажу. Он, как я вижу и насколько судить могу, – Agradecido, Bueno, Caballero, Dadivoso, Enamorado, Firme, Gallardo, Honrado, Ilustre, Leal, Mozo, Noble, Onesto, Principal, Quantioso, Rico (признателен, добр, рыцарственен, щедр, влюблен, постоянен, красив, почтенен, славен, верен, молод, благороден, честен, знатен, пышен, богат); потом четыре S, о которых говорилось; затем: Tácito (молчалив), Verdadero (правдив); X – буква грубая, сюда не подходит, так же как и Y, остается Z – Zelador (ревнитель) твоей чести.

Камилу позабавила азбука служанки, и она нашла, что Леонела в любовных делах опытнее, чем сама признается. Тогда служанка созналась, что у нее любовные шашни с одним юношей из хорошей семьи, живущим в этом же городе. Камила испугалась, как бы эта история не повредила ее доброму имени, и стала допрашивать, как далеко зашла ее любовь. Леонела с развязностью и бесстыдством отвечала, что любовь зашла далеко. Ведь известно, что когда господа грешат, слуги теряют стыд; видя, что госпожа сделала ложный шаг, служанка и сама не боится оступиться и захромать на глазах у всех. Камиле не оставалось ничего другого, как просить Леонелу не рассказывать о ее делах своему любовнику и строго хранить собственную тайну, чтобы как-нибудь о ней не узнал Ансельмо или Лотарио. Леонела обещала, но исполнила свое обещанье так небрежно, что вполне оправдала опасения Камилы.

Бесстыдная и дерзкая служанка, видя, что госпожа ее ведет себя уже не по-прежнему, осмелилась привести в дом любовника, в уверенности, что ее госпожа промолчит, даже если его увидит. Вот одно из пагубных последствий греха: госпожа становится рабой своей собственной служанки и бывает принуждена прикрывать ее низкое, бесчестное поведение. Так случилось и с Камилой; не раз заставала она Леонелу с возлюбленным в одной из комнат своего дома и не только не решалась выбранить ее, но еще сама помогала спрятать ее поклонника и заботилась, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все ее старания, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете выходил из дому. Не зная, кто это, он сперва подумал, что перед ним призрак, но, заметив, что тот крадется тайком, тщательно завернувшись и закутавшись в свой плащ, Лотарио отбросил это наивное предположение и заподозрил иное. Подозрения эти погубили бы их всех, если бы не находчивость Камилы. Лотарио совершенно забыл о

существовании Леонелы, поэтому ему и в голову не пришло, что незнакомец, выходивший из дома Камилы в такое неурочное время, был там у Леонелы: и он решил, что Камила так же легко сошлась с другим, как некогда уступила ему. Вот к каким последствиям ведет прегрешение неверной жены: тот самый, что мольбами и уверениями добился ее любви, не доверяет больше ее чести, считая, что еще с большей легкостью она может отдаться другому; любое подозрение кажется ему основательным. В эту минуту вся рассудительность покинула Лотарио; он забыл о своем обычном благоразумии и не придумал ничего более разумного и правильного, как сделать следующее: горя нетерпением, ослепленный терзавшей его бешеной ревностью, снедаемый желанием отомстить Камиле, ни в чем перед ним не повинной, он бросился к Ансельмо, который еще не вставал, и, войдя, сказал:

– Узнай, Ансельмо, что уже много дней я борюсь с собой и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я не могу и не должен долее от себя скрывать. Знай же: осада моя увенчалась успехом, и Камила готова удовлетворить все мои желания. Если до сих пор я скрывал от тебя правду, то лишь потому, что хотел убедиться, не простой ли это с ее стороны каприз и не хочет ли она испытать и проверить, насколько серьезны мои домогательства, предпринятые с твоего разрешения. Я полагал также, что, будь Камила такой, какой ей быть надлежит и какой мы оба ее считали, она бы, наверное, рассказала тебе о моих преследованиях, но я вижу, что она молчит, и из этого заключаю, что обещания ее – не шутка; как только ты снова уедешь, она будет меня ждать в твоей уборной комнате (и действительно, в этой комнате происходили все их свидания). Однако я хотел бы удержать тебя от необдуманного мщения, ибо пока грех содеян ею только мысленно, и возможно, что до момента его совершения она еще одумается и раскается в своих помыслах. Ты всегда или почти всегда следовал моим советам, – последуй же им еще раз, чтобы, осторожно расследовав дело, без риска ошибиться, принять затем наиболее подходящее решение. Сделай вид, что тебе, как и раньше, необходимо отлучиться дня на два, на три, а сам́ спрячься в уборной комнате: там много мебели и ковров, так что сделать это тебе будет не трудно; и тогда мы оба собственными глазами увидим, что замышляет Камила. Если она окажется неверной женой, – а этого, к сожалению, следует опасаться, – ты втайне, рассудительно и спокойно отомстишь за свою честь.

Слова Лотарио поразили, смутили и изумили Ансельмо, который их менее всего ожидал, так как был уверен, что Камила вышла победительницей из притворной осады Лотарио, и начинал уже наслаждаться радостью победы. Долго, молча и не мигая, смотрел он себе под ноги и наконец сказал:

– Лотарио, ты поступил как истинный друг. Я во всем последую твоему совету: делай, что хочешь, только храни тайну, как этого требует столь неожиданное событие.

Лотарио обещал, но, едва выйдя, раскаялся в своем нелепом поступке: ведь он мог сам отомстить Камиле и не таким жестоким и постыдным способом. Он стал проклинать свое безумие, упрекать себя за легкомыслие и не знал, как ему

поступить, чтобы исправить ошибку и найти какой-нибудь разумный выход. В конце концов он решил признаться во всем Камиле и в тот же день без труда нашел случай повидаться с ней наедине. Едва увидев его, она, убедившись, что никто их не подслушивает, сказала:

– У меня большая тяжесть на сердце, друг мой Лотарио, которая так меня давит, что грудь моя готова разорваться, и будет чудо, если этого не случится. Бесстыдство Леонелы дошло до того, что каждую ночь она прячет у меня в доме своего возлюбленного и остается с ним до утра. Ведь если кто-нибудь увидит, что из моего дома в такое необычное время выходит мужчина, он будет вправе заподозрить мою честь! И особенно меня огорчает, что я не могу ни выбранить ее, ни наказать, так как она знает нашу тайну, и я вынуждена молчать и закрывать глаза на ее поведение. Но я боюсь, как бы из этого не вышло какого-нибудь несчастья.

Сначала, слушая Камилу, Лотарио подумал, что она хитрит и хочет уверить его, что неизвестный приходил не к ней, а к Леонеле; но, когда он увидел, что она сильно расстроена, плачет и просит у него помощи, он поверил, что все это правда; а поверив, еще больше устыдился и раскаялся в содеянном. Все же он попросил Камилу не огорчаться и обещал найти способ, как обуздать наглость Леонелы. Затем он ей признался, что, ослепленный бешеной ревностью, он все рассказал Ансельмо и что тот по условию должен спрятаться в уборной комнате, чтобы воочию убедиться в ее неверности. Он умолял ее простить его безумство и помочь ему все уладить, чтобы как-нибудь выбраться из запутанного лабиринта, куда их завела его опрометчивость.

Камила была поражена признанием Лотарио и гневно и рассудительно упрекнула и выбранила его за низкое мнение о ней и за отчаянное и вздорное решение. И так как женский ум по природе своей быстрее мужского решается на доброе и на злое (взамен чего он не способен на правильное и спокойное обсуждение), то Камила тотчас же нашла выход из этого, казалось бы, безвыходного положения. Она попросила Лотарио устроить так, чтобы Ансельмо действительно на следующий день спрятался в уборной комнате, – ибо она надеялась, что благодаря этой хитрости Ансельмо они смогут впредь наслаждаться любовью без всяких помех. Не открывая Лотарио всего своего плана, она прибавила, что, когда Ансельмо спрячется, он должен будет явиться по зову Леонелы и отвечать так, как если бы он не подозревал о его присутствии. Лотарио принялся настаивать, чтобы она сообщила ему до конца свои намерения, – тогда, мол, он сможет действовать увереннее и искуснее.

– Говорю вам, – отвечала Камила, – что вы должны только отвечать мне на то, о чем я стану вас спрашивать.

Ибо она не желала наперед объяснять свой замысел, боясь, что Лотарио не одобрит ее плана, казавшегося ей весьма хорошим, а вместо этого станет искать другого, менее удачного. С этим Лотарио и ушел, а на другой день Ансельмо уехал под предлогом, что он отправляется в деревню к приятелю, но потом вернулся и спрятался. Устроить это ему было очень нетрудно, так как Камила

и Леонела сами ему в этом помогли. Легко себе представить, с каким волнением он прятался: ведь он ожидал, что сейчас на его глазах будут рвать на кусочки его честь, похищать то, что он считал величайшим своим сокровищем, – его возлюбленную Камилу. Удостоверившись, что Ансельмо спрятался, Камила в сопровождении Леонелы вошла в комнату и, едва переступив ее порог, с глубоким вздохом заговорила:

– Нет, я не открою тебе моего замысла, так как я боюсь, что ты станешь меня удерживать; но лучше – ах, друг мой Леонела! – прежде, чем я исполню его, возьми кинжал Ансельмо, который я велела тебе принести, и пронзи мою бесчестную грудь. Впрочем, погоди, не должно мне подвергаться каре за чужую вину. Я хочу узнать сначала, что такое заметили во мне дерзновенные и преступные взоры Лотарио, давшее ему смелость открыть мне свою постыдную страсть, бесчестя меня и позоря своего друга. Подойди к окну, Леонела, и позови его: он, верно, стоит на улице и ждет минуты, чтобы свершить свой недобрый умысел. Но раньше свершится мой – жестокий, но благородный.

– Ах, сеньора моя, – ответила сметливая и подученная Леонела, – зачем тебе этот кинжал? Неужели хочешь ты убить себя или заколоть Лотарио? И то и другое погубит твою славу и доброе имя. Лучше затаи свою обиду и не позволяй этому злому человеку войти в дом, когда мы здесь одни. Подумай, сеньора: ведь мы – слабые женщины, а он – мужчина, исполненный решимости. Что если, ослепленный своей дурной страстью, он раньше, чем ты выполнишь свое намерение, отнимет у тебя то, что для тебя дороже жизни? Да накажет Бог сеньора Ансельмо, которому угодно было дать такую власть в доме этому наглому распутнику! Но, даже если ты его убьешь (а мне кажется, что ты это замыслила), что мы станем делать с его трупом?

– Что ж, – отвечала Камила, – пускай его хоронит Ансельмо: этот труд не покажется ему тяжелым – ведь он будет хоронить свой собственный позор. Скорей же зови его, ибо промедление с местью за нанесенную мне обиду кажется мне нарушением обета верности супругу.

Ансельмо все слышал, и при каждом слове Камилы мысли его менялись. Когда же он услышал, что она намерена убить Лотарио, он решил выйти и открыться, чтобы помешать, но его удержало желание посмотреть, к чему приведет это отважное и благородное решение; в самую последнюю минуту он собирался выйти и удержать ее.

А между тем Камила сделала вид, что лишается чувств, и упала на кровать, стоявшую поблизости, Леонела же принялась горько плакать, приговаривая:

– О горе мне! На руках у меня, несчастной, погибает цвет чести, венец добрых жен и пример целомудрия!

И такие еще слова она говорила, что всякий, кто бы ее услышал, счел бы ее самой верной и опечаленной служанкой на свете, а госпожу ее – второй преследуемой Пенелопой. Недолго Камила пролежала в обмороке и, очнувшись, сказала:

– Что же, Леонела, ты не идешь звать друга, вернее которого не освещало солнце и не скрывала ночь? Скорей иди, беги, зови, – чтобы не погас от промедления пыл моего гнева и не расточилась в угрозах и проклятиях моя жажда справедливого мщения.

– Иду, иду, моя сеньора, – ответила Леонела, – но сперва отдай мне кинжал: я боюсь, как бы в мое отсутствие ты не совершила дела, которое потом всю жизнь будут оплакивать твои близкие.

– Не бойся, друг мой Леонела, я этого не сделаю, – ответила Камила. – Хоть я и кажусь тебе безумной и глупой, защищая свою честь, все же я не так безрассудна, как Лукреция: та, как говорят, умертвила себя ни в чем не повинную, не убив наперед виновника своего несчастия. Да, я умру, но не прежде, чем отомщу тому, кто принудил меня, невиновную, оплакивать здесь его дерзость.

Леонела заставила себя долго просить, но наконец пошла за Лотарио; а пока она за ним ходила, Камила говорила вслух сама с собой:

– Господи Боже мой! Может быть, было бы вернее и на этот раз прогнать Лотарио, как я уже часто делала, чем давать ему повод считать меня бесчестной и дурной женщиной, как бы мимолетно ни было его заблуждение? Да, конечно, так было бы лучше. Но, если после всех своих преступных замыслов он уйдет цел и невредим, не будет отомщена ни моя честь, ни честь моего супруга. Нет, пусть предатель заплатит своей жизнью за то, что задумал в своем развратном сердце, и пусть знает свет, – если только молва об этом дойдет до него, – что Камила не только соблюла верность мужу, но своей рукой отомстила тому, кто осмелился ее оскорбить. Все же, я думаю, что лучше было бы все сообщить Ансельмо. Однако я намекала об этом в письме, которое послала ему в деревню, но он не поторопился вернуться, чтобы помочь мне в грозящей мне беде: чрезмерно добрый и доверчивый, он, вероятно, не хотел, да и не мог поверить, чтобы в груди его столь испытанного друга зародился какой-либо умысел против его чести. Я и сама потом долгое время так думала и продолжала бы думать, если бы дерзость Лотарио не дошла до крайних пределов, проявляясь в пышных подарках, пространных уверениях и постоянных слезах. Но к чему сейчас все эти речи? Разве отважное решение нуждается в советах? Нет, конечно. Берегись, изменник, тебя ждет месть! Пусть явится предатель, пусть войдет, приблизится, умрет и исчезнет, а там будь что будет! Чистой вступила я в дом того, кто небом был мне послан в супруги, и чистой выйду я из него, хотя бы пришлось мне смешать мою непорочную кровь с нечистой кровью самого коварного друга на свете.

Говоря это, она расхаживала по комнате с обнаженным кинжалом в руке, делая жесты и движения столь порывистые и беспорядочные, что, казалось, она потеряла рассудок и из нежной женщины превратилась в отчаянного злодея.

Ансельмо наблюдал все это из-за занавески, за которой спрятался, восхищался и думал, что после всего им виденного и слышанного всякие подозрения должны исчезнуть. Ему даже хотелось, чтобы Лотарио не приходил, ибо он боялся, как бы дело не кончилось внезапно бедой. Он готов был уже выйти, объ-

явиться Камиле и, обняв ее, открыть ей правду, как вдруг увидел, что Леонела ведет за руку Лотарио. Завидев его, Камила провела перед собой кинжалом черту на полу и сказал:

– Лотарио, слушай, что я тебе скажу: если ты осмелишься переступить эту черту или хотя бы приблизиться к ней, в ту же самую минуту я погружу себе в грудь этот кинжал, который у меня в руках. Но раньше, чем отвечать на это, выслушай, что я еще тебе скажу, а потом ты мне ответишь все, что тебе будет угодно. Прежде всего, Лотарио, скажи мне, знаешь ли ты моего супруга Ансельмо и какого ты о нем мнения, а затем я спрашиваю тебя, знаешь ли ты меня? Ответь мне на это, не смущаясь и долго не раздумывая, ибо вопросы мои не трудные.

Лотарио был достаточно проницателен, чтобы догадаться о плане Камилы еще тогда, когда она уговаривала его спрятать Ансельмо; поэтому он отвечал ей так ловко и находчиво, что всякий бы принял их общую ложь за чистую правду.

– Я не думал, прекрасная Камила, – сказал он, – что ты позвала меня сюда, чтобы расспрашивать о вещах, нисколько не относящихся к цели моего прихода. Если это уловка, чтобы отсрочить обещанную мне награду, то зачем же раньше ты меня обнадежила? Ведь чем ближе цель наших желаний, тем томительнее промедление. Но не думай, что я отказываюсь отвечать тебе, – изволь: я знаю твоего супруга Ансельмо, мы знакомы с ним с ранних лет. Я не стану говорить о нашей дружбе, которая тебе достаточно известна, ибо мне пришлось бы сознаться, что я ее оскорбил: виной тому – всемогущая любовь, которая оправдывает величайшие преступления. Тебя я тоже знаю, и ты дорога мне не меньше, чем ему. Если бы не твои достоинства, не пошел бы я против своей чести и святых законов истинной дружбы; но любовь – могучий враг: она заставляет преступить их и нарушить.

– Коль скоро ты в этом сознаешься, – сказала Камила, – то ответь мне, смертельный враг всего заслуживающего любви, как осмеливаешься ты предстать передо мной, зная, что я – зеркало, в которое глядится тот, о ком ты должен был бы помнить, чтобы понять, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но горе мне, я, кажется, начинаю понимать, что заставило тебя забыть о долге чести: должно быть, ты подметил во мне некоторую снисходительность, – я не назову ее распущенностью, ибо не было в ней определенного намерения. Ведь когда нам, женщинам, кажется, что некого опасаться, мы нередко по неосторожности позволяем себе некоторую свободу в обращении. Если это не так, то скажи мне, изменник: на все твои мольбы ответила ли я тебе хоть одним словом, хоть одним знаком, которые могли вызвать у тебя тень надежды на исполнение твоих постыдных желаний? Разве я не встречала всегда твои любовные речи с суровостью и негодованием? Разве я верила твоим богатым посулам, разве я принимала твои еще более богатые подарки? Но я полагаю, что любовный жар не может пылать так долго, если его не питает надежда, и в твоем безрассудстве я обвиняю самое себя. Несомненно, моя беспечность поддерживала

твою страсть, и вот – я хочу себя наказать и понести кару, заслуженную тобой. Теперь ты увидишь, что я бесчеловечна к себе не менее, чем к тебе: я позвала тебя, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я собираюсь принести поруганной чести своего почитаемого супруга. Ты всеми силами старался оскорбить его, и я тоже оскорбила его, не оберегаясь от твоих преследований и укрепив и поощрив этим твои нечистые намерения. Еще раз скажу: мысль, что моя неосторожность разбудила в тебе столь безумные желания, терзает меня больше всего, и вот за это я хочу казнить себя собственной рукой, – ибо если это сделает другой мститель, то, быть может, преступление мое разгласится. Но, умирая, я убью и увлеку за собой того, чья смерть утолит мою жажду мести: пусть праведный и нелицеприятный суд покарает того, кто довел меня до такого отчаяния.

Сказав это, она с обнаженным кинжалом в руке бросилась на Лотарио; было это сделано с такой силой и быстротой, что он подумал: а вдруг это не притворство и она в самом деле собирается его заколоть? Ему понадобилась вся его сила и ловкость, чтобы удержать ее руку, – с таким удивительным правдоподобием лгала и притворялась Камила. Чтобы сделать эту картину еще убедительнее, она решила запечатлеть ее собственной кровью и потому, убедившись (или притворившись), что не может поразить Лотарио, воскликнула:

– Раз судьба отказывает мне в полном свершении справедливого желания, – как она ни всемогуща, она не помешает мне свершить его хоть отчасти.

Тут Камила с усилием высвободила руку, которую ей сжимал Лотарио, и, обратив острие кинжала против самой себя, однако с тем расчетом, чтобы ранить не глубоко, пронзила себя в левый бок пониже плеча и упала на пол, как бы лишившись чувств.

И Лотарио и Леонела, изумленные и потрясенные этим происшествием, не знали, правда ли это или игра: Камила лежала перед ними на полу, залитая кровью. Задыхаясь от ужаса, Лотарио стремительно бросился к ней и вырвал из раны кинжал, но, увидев, что рана незначительная, успокоился и снова стал дивиться хитрости, ловкости и уму прекрасной Камилы; чтобы не выйти из своей роли, он начал горестно и протяжно оплакивать Камилу, как покойницу, осыпая проклятиями не только себя, но и главного виновника несчастья. Зная, что друг его Ансельмо все слышит, он говорил такие слова, что всякий, кто бы его ни услышал, пожалел бы его еще больше, чем погибшую Камилу. Леонела подняла за плечи свою госпожу и положила на постель, умоляя Лотарио бежать за лекарем, чтобы втайне вылечить ее рану; она просила также посоветовать ей, что сказать Ансельмо, если случайно он вернется раньше, чем Камила оправится. Лотарио отвечал, что она может сказать все, что ей придет в голову, и что он сейчас не в состоянии дать ей хороший совет; он просил только поскорее остановить кровь, лившуюся из раны, прибавив, что сам он теперь скроется от глаз людских. Так он ушел, притворившись, что убит горем; и, дойдя до места, где оказался один и никто не мог его увидеть, долго крестился и удивлялся искусству Камилы и ловкости Леонелы. Он представлял себе, как непоколебима

теперь уверенность Ансельмо в том, что жена его – вторая Порция[3], и ему хотелось поскорее с ним встретиться и отпраздновать вместе успех этой затеи: ведь никогда еще на свете ложь не торжествовала так над правдой. Леонела, как сказано, остановила кровь у своей госпожи (а крови вытекло ровно столько, сколько нужно было для правдоподобия выдумки), потом обмыла рану вином и перевязала, как умела, приговаривая при этом так жалобно, что одни ее слова без всего предшествовавшего могли бы убедить Ансельмо, что жена его воплощение самой добродетели. Наконец и Камила заговорила: называла себя трусливой и малодушной, жаловалась, что мужество покинуло ее в решительную минуту и что ей так и не удалось расстаться с ненавистной жизнью. Она советовалась с Леонелой, следует ли рассказывать о случившемся любимому супругу Ансельмо, на что та отвечала, что лучше не рассказывать, не то Ансельмо сочтет необходимым мстить Лотарио и, значит, рисковать своей жизнью, – а добрая жена не должна толкать мужа на ссоры, а, напротив, должна удерживать его. Камила ответила, что совет ей по душе и она ему последует; но что тем не менее нужно подумать, как объяснить Ансельмо происхождение раны, которой он не сможет не заметить. На это Леонела отвечала, что она даже в шутку не умеет лгать.

– И я тоже, сестрица, – сказала Камила. – Я ни за что не решусь выдумать что-нибудь или сочинить, хотя бы от этого зависела моя жизнь. А раз у нас ничего из этого не выйдет, так не лучше ли, не пытаясь хитрить, сказать Ансельмо всю чистую правду?

– Не беспокойся, сеньора, – ответила Леонела, – я до завтра придумаю, как сказать. Впрочем, и рана у тебя в таком месте, что, кто знает, может быть, и удастся ее скрыть от твоего мужа; Бог милостив, он поможет нашему честному и праведному намерению. А теперь отдохни, сеньора, и постарайся успокоиться, чтобы Ансельмо не застал тебя в таком треволнении. В остальном же положись на меня и на Господа, который всегда помогает благим намерениям.

С большим вниманием слушал и смотрел Ансельмо трагедию гибели своей чести, действующие лица которой[4] играли с таким увлечением и так естественно, что, казалось, превратились в тех, кого они изображали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти из дома, встретиться с добрым своим другом Лотарио и вместе с ним отпраздновать это радостное событие: ведь он сомневался в верности своей жены, а оказалось, что она – перл добродетели. Камила и Леонела предоставили ему удобный случай выбраться из уборной комнаты, и он не преминул им воспользоваться и тотчас же поспешил к Лотарио. Трудно передать, как он его обнимал, как выражал свой восторг и восхвалял Камилу. Лотарио слушал и не мог себя заставить сделать веселое лицо, ибо он думал о том, как жестоко обманут Ансельмо и как несправедливо он его оскорбил. А тот, видя, что Лотарио не весел, полагал, что его друга мучит мысль о ране Камилы и о том, что он этому виной. Поэтому он, между прочим, сказал Лотарио, что состояние Камилы не должно его беспокоить, что рана, несомненно, не опасна, раз ее собираются от него скрыть, и что никакого основания для тревоги нет, –

а следовательно, Лотарио может отныне радоваться и ликовать вместе с ним: ведь только благодаря его помощи и хитрости его друг находится теперь на вершине блаженства, какого мог только себе желать. Единственное, что ему остается делать, это писать стихи в честь Камилы, чтобы обессмертить ее имя в памяти грядущих поколений. Лотарио похвалил его мудрое решение и сказал, что и он по мере сил будет содействовать возведению этого великолепного памятника.

Никто еще на свете не был так презабавно обманут, как Ансельмо: он сам ввел за руку в свой дом того, в ком видел орудие своей славы и кто был губителем его доброго имени. Камила встречала его с хмурым лицом, но с радостным сердцем. Этот обман длился еще некоторое время, пока, через несколько месяцев, Фортуна не повернула своего колеса[5]; тогда злодеяние, доселе столь искусно скрываемое, вышло на свет, и Ансельмо поплатился жизнью за свое безрассудное любопытство.

ГЛАВА XXXV

в которой рассказывается о жестокой и необыкновенной битве Дон Кихота с мехами красного вина и дается окончание "Повести о Безрассудно-любопытном"

До конца повести оставалось немного страниц, как вдруг из каморки, где спал Дон Кихот, в ужасе выбежал Санчо Панса, крича:

– Сюда, сеньоры, скорей на помощь! Мой господин вступил в жесточайший бой, страшнее которого мои глаза еще не видывали! Клянусь Богом, он нанес такой удар великану, врагу сеньоры принцессы Микомиконы, что отсек ему голову начисто, словно репку!

– Что вы такое говорите, братец? – сказал священник, прерывая чтение. – В своем ли вы уме, Санчо? Как это могло случиться, черт возьми, когда великан находится за две тысячи миль отсюда?

В эту минуту донесся до них из каморки сильный шум и крики Дон Кихота:

– Берегись, вор, разбойник, трус, ты в моих руках, и твой ятаган не поможет тебе!

И казалось, что в то же время он наносил яростные удары в стены. А Санчо сказал:

– Нечего вам стоять и слушать, идите разнимите их или помогите моему господину, хотя, кажется, нужды в этом уже нет, потому что, вне всякого сомнения, великан убит и теперь дает Богу отчет о своей прошлой нечестивой жизни. Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его срубленная голова, величиной в мех с вином.

– Убейте меня! – вскричал тут хозяин постоялого двора, – но я уверен, что этот Дон Кихот или дон Дьявол вспорол один из мехов с красным вином, висевших у его изголовья; вино вытекло, а этот молодчик вообразил, что это кровь.

С этими словами он вошел в комнату в сопровождении всех остальных, и они увидели Дон Кихота в самом удивительном наряде. Он был в одной рубашке, и притом такой короткой, что спереди она едва прикрывала его ляжки, а сзади была еще на шесть пальцев короче; его длинные и тощие ноги, покрытые волосами, были порядком грязны; голову его украшал красный и засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину; на левой руке было намотано одеяло, ненавистное Санчо (по хорошо известной ему причине), а в правой он держал обнаженную шпагу, которой наносил удары во все стороны и при этом кричал так, как будто он и вправду сражался с великаном. Но всего забавнее было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами: он спал, и ему приснилось, что он бьется с великаном. Воображение его было так занято мыслями о предстоявшем бое, что во сне ему пригрезилось, что он уже приехал в королевство Микомикон и сражается со своим врагом; и он так изрубил меха, принимая их за великана, что вся комната была залита вином. Увидев это, хозяин пришел в ярость и, стиснув кулаки, набросился на Дон Кихота и стал так его колотить, что, если бы не Кардению и священник, война с великаном была бы окончена. Но и потасовка не разбудила бедного рыцаря; пришлось цирюльнику принести из колодца большой котел холодной воды и окатить его с головы до ног; тут только он проснулся, и то не настолько, чтобы заметить, в каком он костюме. Доротея, бросив взгляд на его легкое и короткое одеяние, не решилась присутствовать при битве между ее защитником и врагом. А Санчо шарил всюду, ища голову великана, и, не найдя ее, сказал:

– Я уж знаю, что в этом доме все заколдованное. В прошлый раз, вот на этом самом месте, где я стою, я получил кучу пинков и тумаков, а от кого – не знаю: так я его и не видел. Вот и теперь пропала эта голова, а между тем я собственными глазами видел, как ее отрубили, – даже кровь хлынула фонтаном.

– Какая там кровь, какой фонтан?! Накажи тебя Бог и все его святые, – закричал хозяин, – разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови – из проткнутых мехов и что здесь можно плавать в красном вине?[1] Чтоб ему на том свете у чертей так плавалось, – ишь, как он их истыкал!

– Ничего не понимаю, – отвечал Санчо, – знаю только, что, коль не отыщу я этой головы, растает мое злополучное графство, как соль в воде.

Санчо наяву был еще хуже, чем его господин во сне: так ему вскружили голову обещания Дон Кихота. Хозяин, взбешенный невозмутимостью слуги и бесчинством его господина, божился, что на этот раз им не удастся, как прежде, уехать, не заплативши: теперь уж им не помогут привилегии рыцарства, – он заставит их рассчитаться даже за заплаты, которые придется наложить на продырявленные меха. Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, считая, что подвиг его совершен и что перед ним принцесса Микомикона, опустился перед священником на колени и сказал:

– Отныне, ваше величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козней этого подлого существа; а я отныне свободен

от взятого на себя обязательства, ибо с помощью великого Бога и милостью той, ради которой я живу и дышу, я исполнил свое обещание.

– Ну, разве я вам не говорил? – вскричал при этом Санчо. – Не пьян же я был, в самом деле! Полюбуйтесь, как мой господин засолил великана![2] Одним словом, быки в порядке[3], и графство у меня в кармане.

Как было не смеяться этим бредням обоих, господина и слуги? Все и расхохотались, за исключением хозяина, который всячески препоручал себя сатане. Наконец цирюльнику, Кардению и священнику удалось не без труда уложить Дон Кихота в постель; он заснул, и видно было, что изнурен до крайности. Они оставили его спать, а сами вышли в сени утешать Санчо Пансу, который все еще не мог найти голову великана. Но труднее всего было им успокоить хозяина, оплакивавшего внезапную кончину своих мехов. А хозяйка между тем кричала и причитала:

– В проклятую минуту и недобрый час вошел к нам в дом этот странствующий рыцарь, чтоб мои глаза его не видели, – дорого же он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес для себя, своего оруженосца, лошади и осла: заявил, что он рыцарь, ищущий приключений, – пошли, Господи, и ему и всем другим рыцарям такое приключение, чтоб они век помнили! – и что он не обязан платить: будто, мол, в тарифе бродячего рыцарства оно так и значится. А потом из-за него явился ко мне этот другой сеньор, унес мой хвост и возвратил мне его с изъяном больше чем на два куартильо[4], так он его общипал, что мой муж больше не может им для своего дела пользоваться. А в заключение и довершение всего этот рыцарь изрешетил меха и выцедил все вино, – чтоб ему кровь так выцедили! И пусть он себе не воображает: если он не заплатит мне всего до последней полушки, клянусь костями моего отца и жизнью моей матери, – или я не я, или я не дочь своих родителей!

И много других слов в великом гневе наговорила хозяйка постоялого двора, а ей вторила ее добрая служанка Мариторнес. Дочка же молчала и только от времени до времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за меха и за вино, а особенно за повреждение хвоста, которым они так дорожили. Доротея утешала Санчо Пансу, сказав ему, что как только подтвердится, что господин его обезглавил великана и она вступит в мирное владение своим королевством, Санчо получит там самое лучшее графство. Санчо успокоился и стал уверять принцессу, что он несомненно видел голову великана и что у этой головы борода была по пояс, а исчезла она потому, что в этом доме все заколдованное, как он уже успел убедиться в прошлый раз. Доротея ответила, что она тоже так думает, а поэтому и не стоит огорчаться, ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу. Когда все затихли, священник предложил дочитать повесть, так как оставалось уже немного. Кардению, Доротея и все остальные попросили его об этом. Видя, что им так же приятно слушать, как ему читать, он снова взялся за рукопись и прочел следующее:

«Счастливо и беспечно жил Ансельмо с Камилой, вполне удовлетворенный ее добродетелью, а Камила, чтобы лучше скрыть свою любовь к Лотарио, притворялась, что его вид ей ненавистен. Чтобы Ансельмо окончательно в этом уверился, Лотарио просил уволить его от посещений их дома, раз Камила так ясно показывает, что он ей неприятен. Но обманутый Ансельмо никоим образом с этим не соглашался. Таким-то образом и тысячей других способов Ансельмо сам способствовал своему бесчестью, воображая, что устроил свое счастье. Между тем Леонела, возгордившись, что госпожа признала ее любовную связь, дошла до полной распущенности и ни на что больше не обращала внимания, в уверенности, что госпожа не только покроет, но и поддержит ее, и следовательно, она может предаваться любовным удовольствиям без всяких опасений. И вот однажды ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы; он захотел войти и посмотреть, что там происходит, но почувствовал, что кто-то изнутри придерживает дверь. Тогда ему еще больше захотелось ее открыть; он напряг силы, дверь подалась, и он успел заметить, что кто-то из окна выпрыгнул на улицу. Он стремительно бросился, чтобы схватить неизвестного или, по крайней мере, увидеть его в лицо, но не смог сделать ни того, ни другого, так как Леонела обхватила его руками и заговорила:

– Успокойтесь, мой сеньор, не волнуйтесь и не бегите за ним; я одна в этом замешана: этот незнакомец – мой муж.

Ансельмо ей не поверил; ослепленный гневом, он выхватил кинжал и, подняв его над Леонелой, пригрозил ей смертью, если она не расскажет ему всю правду. Та, от страха потеряв голову, сказала:

– Не убивайте меня, сеньор, я расскажу вам кое о чем более важном, чем вы можете себе представить.

– Так говори же, – вскричал Ансельмо, – или ты немедленно умрешь!

– Сейчас я рассказать не могу, – ответила Леонела, – потому что слишком взволнована. Подождите до завтрашнего утра, и вы узнаете нечто удивительное; только поверьте, что выскочивший из окна – юноша из нашего города, и он обещал на мне жениться.

На этом Ансельмо успокоился и согласился дать просимую отсрочку, ибо ему и в мысли не приходило, что служанка расскажет ему что-нибудь о Камиле, – настолько он был уверен в своей жене. Поэтому он вышел из комнаты, заперев Леонелу на ключ и заявив ей, что не выпустит, пока она всего ему не расскажет.

Затем он отправился к Камиле и сообщил ей все, что произошло между ним и Леонелой, упомянув также, что служанка дала ему слово рассказать что-то очень важное и значительное. Излишне описывать смятение Камилы, которая поняла (и в этом не ошиблась), что Леонела собирается рассказать Ансельмо о ее измене. Ее охватил такой ужас, что она решила не ждать, оправдается ли ее подозрение или нет: в ту же ночь, как только она заметила, что Ансельмо заснул, она тайком покинула дом, захватила с собой немного денег и лучшие свои драгоценности и, придя к Лотарио, рассказала ему о случившемся, умоляя или

спрятать ее или бежать вместе с ней подальше от Ансельмо. Слова Камилы так смутили Лотарио, что он не в силах был ни отвечать, ни решиться на что бы то ни было. Наконец он придумал отвести ее в монастырь, где настоятельницей была его сестра. Камила согласилась, и поспешно, как того требовали обстоятельства, Лотарио отвез ее и оставил в монастыре, а сам, никого не предупредив, покинул город.

На следующее утро Ансельмо встал и, занятый мыслями о том, что ему расскажет Леонела, даже не заметив отсутствия Камилы, тотчас же направился в комнату, где вчера запер Леонелу. Он открыл дверь и вошел, но служанки там не было; только из окна свешивались простыни – явное свидетельство, что она по ним спустилась и убежала. Огорченный, он отправился рассказать об этом Камиле, но не нашел ее ни в постели, ни во всем доме, что еще больше его омрачило. Он стал допрашивать слуг, но ни один ничего не мог ему ответить. В поисках Камилы случайно наткнулся он на ее сундуки: они были открыты, и многих драгоценностей в них недоставало. Тут он понял, какое бедствие его постигло, и догадался, что не Леонела была причиной его. Тогда он, как был, не окончив одеваться, в печали и задумчивости отправился поделиться своим горем с другом Лотарио. Но когда он и его не застал и слуги сообщили ему, что Лотарио ночью уехал из дома, забрав с собой все свои деньги, Ансельмо показалось, что он теряет рассудок. А в довершение всех бед, когда он вернулся домой, оказалось, что все слуги и служанки разбежались и что дом его покинут и пуст.

Не зная, что ему подумать, что сказать, что сделать, он чувствовал, что понемногу сходит с ума. Он смотрел на себя и не верил: его оставили жена, друг, слуги, его покинуло само небо, расстилавшееся над ним, а главное – у него отняли честь, ибо в бегстве Камилы он видел свою гибель. Наконец, после долгого раздумья, он решил отправиться к одному своему другу в деревню, куда он уезжал раньше, содействуя этим своей собственной погибели. Он запер дом на ключ, сел на лошадь и, убитый горем, пустился в путь. Но не проехал он и половины дороги, как пришлось сойти с лошади, – так невыносимы были его душевные муки; он привязал лошадь к дереву, бросился около него на землю и стал горестно и жалобно стонать. Так пролежал он до самого вечера, когда увидел человека, ехавшего из города верхом. Поздоровавшись с ним, Ансельмо спросил, что нового во Флоренции. Горожанин ответил:

– Новости самые удивительные, каких давно уже не бывало: ходит слух, что Лотарио, верный друг богача Ансельмо, что живет близ святого Иоанна, похитил этой ночью его жену Камилу; и сам Ансельмо тоже исчез. Рассказала все это служанка Камилы, которую стража застигла в ту минуту, когда она по простыне спускалась из окна дома Ансельмо. Впрочем, в точности я не знаю, как было дело; знаю только, что весь город поражен этим происшествием, потому что ничего подобного нельзя было ожидать: ведь говорят, что между Ансельмо и Лотарио была такая горячая и тесная дружба, что их называли не иначе, как "два друга".

– Не знаете ли вы случайно, – спросил Ансельмо, – по какой дороге поехали Лотарио и Камила?

– Ничего не знаю, – ответил горожанин, а только стража усиленно их разыскивает.

– Счастливого вам пути, сеньор, – сказал Ансельмо.

– Счастливо вам оставаться, – ответил горожанин и поехал дальше.

При этом прискорбном известии Ансельмо почувствовал, что готов лишиться не только разума, но и жизни. Поднявшись с трудом, он отправился к своему другу, которому еще ничего не было известно о его несчастии. Но, увидев бледное, исхудалое и расстроенное лицо Ансельмо, тот сразу понял, что с ним стряслась большая беда. Ансельмо просил только позволить ему лечь и дать ему перо и бумагу. Просьба его была исполнена: его уложили в постель, оставили одного и даже по его желанию заперли дверь. В одиночестве мысль о постигшем его горе стала угнетать его еще сильней, и в своих терзаниях он почувствовал, что наступает конец его жизни. Тогда он решил объяснить в письме причину своей необычайной смерти; он начал писать, но не успел он сообщить всего, что хотел, как дыхание его прервалось, и он испустил дух в страданиях, которыми он заплатил за свое безрассудное любопытство. Хозяин дома, видя, что уже поздно, а Ансельмо все его не зовет, решил войти и спросить, не хуже ли ему. Ансельмо полусидел на кровати, навалившись грудью на стол и склонив лицо на раскрытое недописанное письмо; в руке еще он держал перо. Хозяин подошел и сначала окликнул его, затем, не получив ответа, схватил его за руку; рука была холодна: Ансельмо скончался. Хозяин дома, крайне пораженный и опечаленный, созвал слуг, чтобы они были свидетелями смерти Ансельмо. Затем он взял письмо и, убедившись, что оно написано собственной рукой умершего, прочел следующее:

"Глупое и безрассудное желание лишило меня жизни. Если весть о моей смерти дойдет до Камилы, то пусть она знает, что я ее прощаю, ибо не в ее силах было творить чудеса, и не следовало мне требовать их от нее. Я сам виновник позора, и потому..."

На этом письмо оборвалось: было ясно, что в эту минуту, не окончив фразы, Ансельмо окончил жизнь. На другой день друг Ансельмо оповестил его о смерти родителей, которые уже знали о несчастии, постигшем сына, и об удалении Камилы в монастырь. Неверная жена едва не последовала за супругом в его последнее странствие, – не из-за известия о его смерти, а из-за другой вести – о бегстве своего возлюбленного. И говорят, что, овдовев, она не желала ни уйти из монастыря, ни постричься в нем, пока вскоре не дошла до нее молва о гибели Лотарио: он был убит в Неаполитанском королевстве, в битве между Лотреком и Великим капитаном Гонсало Фернандесом Кордовским[5]. Так скончал свои дни этот слишком поздно раскаявшийся друг. Узнав об этом, Камила постриглась в монахини и прожила недолго, в тоске и печали. Вот к какому концу привело их всех опрометчивое желание одного из них".

– Повесть мне нравится, – сказал священник, – только я никак не могу поверить, что это правда. А если все это придумано, то придумано неудачно, ибо нельзя себе представить, чтобы существовал на свете муж столь неразумный, чтобы решиться на такое опасное испытание. Еще между любовниками подобное могло бы случиться, но между мужем и женой – это прямо невозможно. А самая манера изложения мне скорей нравится.

ГЛАВА XXXVI

в которой рассказывается[1] *о других редкостных событиях, случившихся на постоялом дворе*

В это время хозяин, стоявший у ворот постоялого двора, сказал:

– Вон едет целая компания гостей; если бы они остановились у нас, была бы нам пожива.

– Что это за люди? – спросил Кардении.

– Четверо мужчин верхом на лошадях в легкой сбруе, с копьями и маленькими щитами, и все в черных дорожных масках[2], а с ними женщина, в дамском седле, одетая в белое, и тоже в маске, а позади двое слуг.

– Они уже близко? – спросил священник.

– Так близко, – ответил хозяин, – что сейчас подъедут.

Услышав это, Доротея закрыла себе лицо, а Кардении ушел в комнату Дон Кихота; и едва успели они это сделать, как путешественники, о которых говорил хозяин, остановились у постоялого двора. Четыре стройных и изящных всадника, спешившись, помогли своей спутнице сойти с лошади, и один из них, подхватив ее на руки, усадил в кресло, стоявшее у двери той комнаты, куда скрылся Кардении. За все это время ни кавалеры, ни дама не произнесли ни слова, и не сняли масок; только, садясь в кресло, незнакомка глубоко вздохнула и опустила руки, как будто была больна и обессилена. Слуги, прибывшие пешком, отвели лошадей в конюшню.

Увидев это, священник полюбопытствовал узнать, кто эти замаскированные и безмолвные люди; он пошел вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать. Тот ответил:

– По чести, сеньор, не могу вам сказать, что это за господа; одно только знаю, что господа, видно, очень важные, особенно тот, что подхватил даму, которую вы видели. Сужу об этом по тому, что все остальные оказывают ему почет, и все, что ни делается, – все по его распоряжению и приказу.

– А кто же эта дама? – спросил священник.

– И этого не сумею сказать, – отвечал слуга, – потому что за всю дорогу я и лица ее не видел; только слышал много раз, как она вздыхала и стонала так, что, казалось, вот-вот отдаст Богу душу. Да и не удивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что мы с товарищем сопровождаем их всего только

два дня; повстречали они нас по дороге и стали упрашивать и уговаривать проводить их до Андалусии, да и заплатить обещали хорошо.

– И вы не слышали, как зовут кого-нибудь из них? – спросил священник.

– Ей-Богу, не слыхали, – ответил слуга; едут они в таком молчании, что просто удивительно; только и слышно, как вздыхает и рыдает бедная сеньора, так что жалость берет. Сдается нам, что, видно, увозят ее насильно; и если можно судить по ее платью, то она или монахиня, или собирается в монастырь. Последнее более вероятно: и, должно быть, не по своей воле постригается, – оттого и кажется такой печальной.

— Все может быть, – сказал священник и, оставив их, вернулся к Доротее.

Та же слышала вздохи дамы в маске и, побуждаемая естественным состраданием, подошла к незнакомке и сказала:

– Какое у вас горе, сеньора? Подумайте, не могла ли бы его исцелить другая женщина, опытная и много испытавшая? Я от всего сердца предлагаю свои услуги.

Опечаленная дама не отвечала на эти слова: и хотя Доротея предложила ей свою помощь еще настоятельнее, та продолжала хранить молчание, пока не вернулся кавалер в маске, тот самый, которому, по словам слуги, все подчинялись, и не сказал Доротее:

– Не утруждайте себя, сеньора, и не предлагайте ничего этой женщине, ибо такой уж у нее обычай: что бы для нее ни сделали, она вас не поблагодарит; не добивайтесь же ее ответа, если не желаете услышать ложь.

– Я никогда не лгала, – сказала тут дама, доселе хранившая молчание, – напротив, именно потому, что я была правдива и не знала лживых ухищрений, попала я теперь в такую беду. Я требую, чтоб вы сами были тому свидетелем, ибо моя чистая правда сделала вас обманщиком и лжецом.

Кардению ясно и отчетливо услышал эти слова, так как находился рядом, в комнате Дон Кихота, и одна только дверь отделяла его от говорившей; услышав их, он громким голосом закричал:

– Господи помилуй! Что я слышу? Чей голос долетел до моих ушей?

Пораженная этими словами, незнакомка повернула голову и, не видя, кто говорит, встала и хотела было открыть дверь, но кавалер, заметив это, удержал ее за руку и не позволил сделать ни шага. В смятении и поспешности она уронила шелковую ткань, прикрывавшую ее лицо, и все увидели ее несравненную красоту, ее дивное лицо, испуганное и бледное; глаза ее перебегали с предмета на предмет с такой быстротой, что, казалось, она потеряла рассудок. Не понимая причины такого странного поведения, Доротея и все присутствующие почувствовали к ней глубокую жалость. Кавалер крепко держал ее за плечи и был так озабочен тем, чтобы она не вырвалась, что не успел придержать спадавшую с его лица маску, которая, наконец, совсем упала. Тут Доротея, обнимавшая незнакомку, подняла глаза и увидела, что тот, кто держал даму, был ее собственный супруг, дон Фернандо, и не успела она его увидеть, как, исторгнув из глубины души протяжное и горестное “ах!”, она упала навзничь без чувств; не под-

хвати ее на руки стоявший рядом цирюльник, она бы грохнулась на землю. Тотчас же подбежал священник, поднял ее покрывало и брызнул в лицо водой, а когда ей открыли лицо, дон Фернандо (ибо это он держал в своих объятиях незнакомку!) узнал Доротею и замер на месте от изумления. Но все же он продолжал обнимать Люсинду, которая пыталась от него освободиться, так как по голосу она узнала Кардению, как и он узнал ее. Последний услышал также восклицание, которое испустила, падая в обморок, Доротея, и, думая, что это вскрикнула его Люсинда, испуганный выбежал из комнаты, и первый, кого он увидел, был дон Фернандо, обнимавший Люсинду. Дон Фернандо также узнал Кардению, и все трое – Люсинда, Кардению и Доротея – застыли на месте и онемели, как будто не понимая, что с ними происходит.

Все молчали и смотрели друг на друга: Доротея на дона Фернандо, дон Фернандо на Кардению, Кардению на Люсинду, Люсинда на Кардению. Наконец Люсинда первая прервала молчание, обратившись к дону Фернандо с такими словами:

– Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, из уважения к вашему собственному достоинству, раз все другие доводы для вас недействительны. Не мешайте плющу обвиться вокруг его стены; ни ваши домогательства, ни угрозы, ни обещания, ни подарки не смогли оторвать меня от моей опоры. Посмотрите, какими необычайными и для нас скрытыми путями небо привело меня к моему истинному супругу. После тысячи дорого вам стоивших попыток вы хорошо знаете, что одна смерть может исторгнуть его из моей памяти. Пусть же это явное разочарование, превратив вашу любовь в ярость и желание в ненависть (поскольку другие чувства для вас недоступны), явится для вас поводом убить меня; расставаясь с жизнью перед лицом моего супруга, я сочту это добрым концом: быть может, смерть моя убедит его в верности, которую я хранила ему до последнего вздоха.

Между тем Доротея очнулась от обморока. Слыша речи Люсинды, она по ним догадалась, кто была говорившая, и, видя, что дон Фернандо не отпускает Люсинду и ничего не отвечает на ее слова, Доротея, собрав все свои силы, встала, бросилась к его ногам, и, проливая ручьи нежных и умилительных слез, заговорила так:

– Если бы, о мой сеньор, то солнце, которое лежит омраченным в твоих объятиях, не ослепляло тебя своими лучами и не лишало тебя зрения, ты бы уже давно заметил у ног своих несчастную Доротею, горе которой не кончится, пока ты этого не захочешь. Я – та скромная поселянка, которую по доброте своей или для собственного удовольствия ты удостоил высокой чести назвать своею; я – та, которая жила счастливо, замкнувшись в пределах пристойности, пока на зов твоих искательств, твоих, казалось, искренних любовных чувств не открыла я дверей своей скромности и не вручила тебе ключи своей свободы, – ты же так отблагодарил меня за этот дар, что пришлось мне скитаться по этим местам и встретиться с тобой при нынешних обстоятельствах. Но все же не думай, прошу тебя, что пришла я сюда с мыслями о своем бесчестии: нет, приве-

ла меня горькая дума о том, что ты меня забыл. Ты пожелал, чтобы я была твоей, и пожелал этого так сильно, что теперь, как бы ты ни желал иного, ты никогда не перестанешь быть моим. Подумай, мой сеньор, разве моя несравненная преданность не вознаградит тебя за красоту и знатность той, ради которой ты меня покинул? Ты не можешь принадлежать прекрасной Люсинде, ибо ты – мой, и она не может быть твоей, ибо принадлежит Кардению. Рассуди, не легче ли тебе будет постараться полюбить меня, которая тебя обожает, чем принудить к любви ту, что тебя ненавидит? Я была простодушна – и ты домогался меня, я была чиста – и ты молил меня; тебе известно было мое происхождение, ты знаешь, как покорилась я твоей воле, и у тебя нет ни причины, ни основания жаловаться на то, что тебя обманули. И если все, что я говорю, – правда и если ты кабальеро и христианин, – зачем же прибегаешь ты ко всяким уловкам и медлишь подарить мне в конце то счастье, что ты подарил мне в начале? Если же ты не хочешь, чтобы я была той, что я есть, – твоей истинной и законной супругой, – то позволь мне быть хотя бы твоей рабой: повинуясь тебе, я буду считать себя довольной и счастливой. Не допусти же, чтобы брошенная и покинутая тобой, я стала предметом постыдных толков; мои родители всегда честно служили твоим, как добрые вассалы, и не заслужили горькой старости, какую ты им готовишь. Если ты думаешь, что унизишь свою кровь, смешав ее с моей, то вспомни, что все или почти все знатные роды шли по той же дороге и что не по крови матери определяется благородство происхождения. Более того, подлинное благородство заключается в добродетели, и если ты изменишь ей, отказав мне в моей столь справедливой просьбе, я останусь с бóльшими правами на благородство, чем те, которыми ты обладаешь. Итак, сеньор, вот что я тебе скажу в заключение: хочешь ты или не хочешь, я – твоя супруга. Мой свидетель – твое слово, которое не будет и не должно быть лживым, если только ты гордишься тем, из-за чего ты меня презираешь[3]; свидетель – твоя подпись[4], свидетель – небо, которое ты призывал в свидетели правдивости твоих обещаний. Но если всего этого недостаточно, то знай, – к этим свидетелям присоединится безмолвный голос твоей совести, который заглушит шум веселья и, напомнив о правде, которую я тебе высказала, смутит все твои радости и наслаждения.

И еще другие речи говорила опечаленная Доротея с таким чувством и слезами, что даже спутники дона Фернандо и все присутствующие заплакали вместе с ней. Дон Фернандо слушал, не прерывая, пока она не кончила; а потом начала она так вздыхать и рыдать, что нужно было иметь бронзовое сердце, чтобы не растрогаться при виде ее горя. Люсинда смотрела на Доротею, и сострадание к ее печали было в ней столь же велико, как восхищение перед ее умом и красотой. Ей хотелось подойти к Доротее и сказать ей несколько слов в утешение, но дон Фернандо не отпускал ее, продолжая сжимать в своих объятиях. Он долгое время пристально смотрел на Доротею и, наконец, в смущении и замешательстве разомкнул руки и, отпустив Люсинду, сказал:

– Ты победила, прекрасная Доротея, ты победила, ибо ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все, что ты говорила, – правда.

Люсинда была почти в обмороке, и когда дон Фернандо выпустил ее из рук, она наверное бы упала, если бы Кардению не подбежал ее поддержать. Не желая, чтобы дон Фернандо его узнал, он стоял за его спиной, неподалеку от Люсинды, но тут, забыв всякий страх и решившись рискнуть всем, он подхватил ее в свои объятия и сказал:

– Если милосердное небо позволяет и разрешает тебе немного передохнуть, о верная, непоколебимая и прекрасная моя госпожа, то где же отдохнешь ты более безмятежно, чем в моих объятиях, в которые я заключал тебя в те времена, когда судьба позволяла мне называть тебя своей.

Услышав эти слова, Люсинда посмотрела на Кардению, которого уже раньше узнала по голосу, и, убедившись глазами, что это действительно он, не считаясь с приличиями, вне себя, обвила его шею руками, прижалась лицом к его лицу и воскликнула:

– О сеньор мой, вы – мой истинный господин, а я – ваша пленница, как бы ни противилась этому враждебная судьба и как бы ни грозили люди моей жизни, которая вся – в вас!

Это было неожиданное зрелище для дона Фернандо и для остальных, и все дивились столь невиданному происшествию. Доротее показалось, что дон Фернандо побледнел в лице и положил руку на рукоять шпаги, словно намереваясь посчитаться с Кардению; не успела она это заметить, как тотчас же с необыкновенной быстротой бросилась к его ногам, обняла и так крепко прижала их к себе, что тот не мог двинуться, и, не переставая проливать слезы, заговорила:

– О мое единственное прибежище, что ты хочешь сделать в эту необыкновенную минуту? У ног твоих лежит твоя супруга, а та, которой ты домогаешься, – в объятиях своего мужа. Подумай, подобает ли тебе, да и возможно ли расстраивать то, что устроило само небо? Не лучше ли будет, если ты поднимешь и возвысишь до себя ту, которая, презрев все препятствия и доказав тебе свою правдивость и верность, смотрит тебе в глаза и обливает любовными слезами лицо и грудь своего истинного супруга? Заклинаю тебя Богом и твоей честью, пусть это гласное разоблачение не усиливает твоего гнева, а, напротив, успокоит его. Хладнокровно и без гнева дозволь этим влюбленным беспрепятственно наслаждаться миром во все дни, что пошлет им милостивое небо; прояви в этом великодушие твоего высокого и благородного сердца, и да увидит свет, что разум имеет над твоей душой власть бóльшую, чем страсти.

Во время этой речи Доротеи Кардению, прижимая к груди Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его угрожающем движении быть готовым не только защищаться, но и напасть на всякого, кто выступит против него, хоть бы эта борьба стоила ему жизни. Но в эту минуту подбежали друзья дона Фернандо, а с ними священник и цирюльник, которые тоже присутствовали при этой сцене, и все они, не исключая добрейшего Санчо Пансы, обступили дона Фернандо и стали умолять его сжалиться над слезами Доротеи: если правда то, что она говорит, – а они были твердо в этом уверены, – дон Фернандо не может позволить, чтобы справедливые ее надежды были обмануты:

они просили его поверить, что не случай, как это могло показаться, а особая воля неба свела их всех в таком месте, где они меньше всего рассчитывали встретиться.

– Поверьте, – прибавил священник, – что одна смерть может разлучить Кардению с Люсиндой, и если один меч поразит их обоих, они умрут счастливые. В непреодолимых обстоятельствах проявляет величайшую мудрость тот, кто, поборов и победив себя, показывает великодушие своего сердца; да будет же ваша воля на то, чтобы эти влюбленные наслаждались счастьем, ниспосланным им свыше. Обратите ваши взоры на Доротею и убедитесь, что трудно или вовсе невозможно найти женщину, которая бы не то что превзошла, но хотя бы сравнилась с ней красотой. Прибавьте к этой красоте ее смирение и безграничную любовь к вам; и прежде всего помните, что, почитая себя кабальеро и христианом, вы не можете не сдержать данного вами слова, а сдержав его, вы исполните свой долг перед Богом и удовлетворите всех рассудительных людей; ибо все знают и понимают, что красота, украшенная добродетелью, какого бы скромного происхождения она ни была, может подняться до любой знатности и сравняться с нею, нисколько не унижая того, кто возвышает и равняет ее с собой. И тот, кто следует властным законам своего влечения, если только в этом не замешан грех, не может быть осужден за то, что им повинуется.

К этим доводам остальные присутствующие прибавили разные другие, и, наконец, великодушное сердце дона Фернандо (недаром в нем текла благородная кровь) смягчилось и склонилось перед правдой, которой он не мог отрицать, если бы и хотел. И, чтобы показать, что он сдался и покорился справедливым увещаниям, дон Фернандо наклонился к Доротее и, обняв ее, сказал:

– Встаньте, моя сеньора, ибо не подобает стоять на коленях у моих ног той, которая владеет моей душой; и если до сих пор я ничем не доказал вам правдивости этих слов, то, быть может, потому, что такова воля неба: чтобы научиться уважать вас по заслугам, я должен был сперва увидеть, с какой верностью вы меня любите. Об одном вас прошу: не упрекайте меня за недоброе и пренебрежительное, отношение к вам, ибо та же сила, что побудила меня назвать вас моей, заставила меня попытаться перестать быть вашим. Вы поверите мне, если обернетесь и посмотрите в глаза ныне счастливой Люсинды; в них найдете вы оправдание всех моих заблуждений. Но раз она достигла того, чего хотела, а я нашел в вас исполнение моих желаний, то дай ей Бог прожить в мире и довольстве долгие и счастливые годы со своим Кардению, а я на коленях испрошу у Господа счастья для себя и для моей Доротеи.

И, сказав это, начал он ее обнимать и целовать с таким нежным чувством, что пришлось ему сделать большое усилие, чтобы, как несомненное доказательство любви и раскаянья, не полились у него из глаз слезы. Но Люсинда, Кардению и все, кто присутствовал при этом, не могли удержаться и стали проливать столько слез (одни радуясь за себя, иные за других), что могло показаться, что их постигло большое горе; даже Санчо Панса – и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что делал это только потому, что Доротея оказалась со-

всем не королевой Микомиконой, от которой он ждал стольких милостей. Слезы и удивление продолжались еще некоторое время, а затем Кардению и Люсинда опустились на колени перед доном Фернандо и в таких изысканных выражениях благодарили за оказанное им благодеяние, что дон Фернандо не знал, что отвечать; он заставил их встать и обнял с большой вежливостью и любовью.

Потом он попросил Доротею рассказать ему, как очутилась она так далеко от дома. Она вкратце и искусно рассказала то, что уже раньше рассказывала Кардению. Рассказ ее очень понравился дону Фернандо и его спутникам, и они пожалели о его краткости: с такой приятностью рассказала Доротея о своих злоключениях. А когда она кончила, дон Фернандо сообщил, что случилось с ним в городе после того, как он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что обвенчана с Кардению и потому не может стать женой другого. Он хотел ее убить и наверное бы это сделал, если бы его не удержали родители Люсинды. Тогда в досаде и гневе он уехал из города, с намерением отомстить, как только представится случай; но на другой день узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что никто не знает, куда она ушла. Наконец, через несколько месяцев, до него дошла весть, что Люсинда удалилась в монастырь, где предполагала дожить свой век, если ей не будет позволено соединиться с Кардению. Как только дон Фернандо об этом узнал, он взял себе в помощники трех кабальеро и отправился с ними к монастырю. С Люсиндой он не виделся, ибо опасался, как бы, узнав о его прибытии, в монастыре не усилили охраны. И вот, выждав день, когда ворота были открыты, он двоих своих спутников оставил на страже у входа, а сам в сопровождении третьего отправился искать Люсинду. Та стояла в монастырском дворе, разговаривая с монахиней; они схватили ее и, не дав времени опомниться, отвезли в такое место, где можно было запастись всем необходимым для поездки. Все это удалось сделать без всяких помех, так как монастырь находился в поле, далеко от города. Когда Люсинда убедилась, что она во власти дона Фернандо, она тотчас же лишилась чувств, а придя в себя, все время молчала и только вздыхала и плакала. Так в молчании и слезах прибыли они на этот постоялый двор, и кажется ему теперь, что попал он на небо, где преодолеваются и кончаются все земные бедствия[5].

ГЛАВА XXXVII

в которой продолжается история инфанты Микомиконы вместе с другими забавными приключениями

Санчо слушал все эти речи и сокрушался душой, видя, как исчезают и разлетаются прахом его надежды на получение титула: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан в дона Фернандо, а тем временем господин его спит крепким сном и не подозревает даже о случившемся. Доротея никак не могла поверить, что это счастье ей не приснилось; так же думал и Кар-

денио, да и Люсинде представлялось это не иначе. Дон Фернандо благодарил небо за посланную ему милость и за то, что он наконец выбрался из запутанного лабиринта, где рисковал погубить и свою душу и свое доброе имя. Одним словом, все находившиеся на постоялом дворе радовались и веселились, что эти сложные и безнадежные обстоятельства так счастливо разрешились. Священник, как человек разумный, старался все уладить и поздравлял каждого с достигнутой удачей. Но больше всех ликовала и радовалась хозяйка постоялого двора, потому что Карденио и священник пообещали ей возместить с процентами все убытки, которые она потерпела из-за Дон Кихота. Один Санчо, как уж было сказано выше, скорбел, печалился и грустил. С унылым видом вошел он в комнату своего господина, который тем временем проснулся, и сказал:

– Ну, теперь, ваша милость, сеньор Печальный Образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится, и нечего уж вам заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство: это дело слажено и кончено.

– И я так думаю, – ответил Дон Кихот, – ибо у меня был с великаном такой жестокий и страшный бой, какого, должно быть, не будет у меня ни с кем в жизни. Я нанес ему удар, – раз! – голова с плеч долой, и кровь полилась рекой, как вода.

– Скажите лучше, как красное вино, – ответил Санчо, – ибо осмеливаюсь доложить вашей милости, коли ей это неизвестно, что убитый великан был всего-навсего проткнутым мехом, кровь – шестью арробами[1] красного вина, помещавшимися в его брюхе, а отрубленная голова... чёртова матушка, и забери мою душу сатана!

– Что говоришь ты, безумец? – вскричал Дон Кихот. – В своем ли ты уме?

– Лучше поднимитесь, ваша милость, да посмотрите, каких вы дел наделали и сколько вам придется заплатить. Тогда вы увидите, что королева превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея и что случилось много такого, что вас, наверное, удивит.

– Ничто не способно меня удивить, – ответил Дон Кихот, – ибо еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, я тебе сказал – ты, наверное, помнишь, – что все в этом доме подвержено волшебству. Не удивительно, что и теперь дело обстоит не иначе.

– Всему бы этому я поверил, – возразил Санчо, – если бы и одеяло, на котором меня подкидывали, было заколдованным. Да нет, оно-то было настоящим, самым взаправдашним. И я понимаю, что тот самый хозяин, что и теперь тут, держал его с одного краю и подбрасывал меня изо всех сил в воздух, да еще с шуточками и прибауточками. Хоть человек я неученый и грешный, но полагаю, что раз я их всех в лицо признал, то значит никакого тут волшебства не было, а была просто здоровая трепка и великая неприятность.

– Ну, даст Бог, все устроится, – сказал Дон Кихот, – а теперь подай мне одеться: я хочу пойти посмотреть на все эти происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему платье, а пока Дон Кихот одевался, священник рассказал дону Фернандо и остальным присутствующим о безумии рыцаря и о той хитрости, к которой пришлось им прибегнуть, чтобы выманить его с "Пенья Побре", куда он удалился из-за воображаемой суровости своей дамы. Также он рассказал им почти обо всех приключениях, о которых ему сообщил Санчо, и все немало удивлялись и смеялись, так как нашли (как и всякий бы нашел на их месте), что это – самый странный вид помешательства, какой когда-либо постигал расстроенный ум. Затем священник заявил, что раз счастливый исход дела не позволяет сеньоре Доротее продолжать играть свою роль, то необходимо изобрести и выдумать другой способ доставить Дон Кихота домой. Кардению предложил продолжать игру, говоря, что Люсинда отлично заменит Доротею и доиграет ее роль.

– Нет, – сказал дон Фернандо, – в этом нет надобности. Я хотел бы, чтобы Доротея продолжала изображать королеву, и если только родина этого доброго кабальеро не очень далеко отсюда, я буду рад содействовать его исцелению.

– До нее не более двух дней пути, – сказал священник.

– Если б даже было и больше, – ответил дон Фернандо, – я с удовольствием проделаю эту дорогу ради такого доброго дела.

В эту минуту появился Дон Кихот в своем полном убранстве, с прогнутым шлемом Мамбрина на голове и щитом в руке, опираясь на свою жердь, или копьецо. Дон Фернандо и все остальные были поражены его странной наружностью: сухим и желтым лицом длиной с пол-аршина, сборным вооружением и видом, полным достоинства; все смолкли и ждали, что он скажет, а он, торжественно и спокойно обратив свои взоры на прекрасную Доротею, сказал:

– Мой оруженосец, прекрасная сеньора, доложил мне, что ваше величие погибло и ваша личность исчезла, ибо из королевы и знатной сеньоры, которой вы были раньше, ныне вы стали простой девицей. Если произошло это по воле короля-чернокнижника, вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам достаточной и нужной помощи, то знайте, что он в своей науке и до середины не дошел и мало смыслит в рыцарских историях. Если бы он читал и изучал их так внимательно и долго, как изучал и читал их я, он бы нашел в них на каждом шагу примеры того, как другие рыцари, менее меня знаменитые, совершали подвиги гораздо более трудные. Не великое дело – убить какого-то великанишку, как бы дерзок он ни был. Всего несколько часов тому назад я встретился с ним, и... но я предпочитаю умолкнуть, чтобы не сказали, что я лгу. Но время, от которого ни одно наше дело не остается скрытым, откроет вам все, когда вы меньше всего будете этого ждать.

– Встретились вы с двумя мехами, а не с великаном, – вмешался тут хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и никоим образом не прерывать речей Дон Кихота; а тот продолжал:

– В конце концов, вот что я скажу, о высокородная и развенчанная сеньора: если по причине, о которой я упомянул, ваш отец произвел с вами эту метамор-

фозу, то не верьте ей; ибо нет на свете таких опасностей, через которые мой меч не проложил бы дороги; и, низложив голову вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону вашей земли.

Дон Кихот замолчал, ожидая ответа принцессы; а та, зная, что дон Фернандо решил продолжать обман, чтобы водворить Дон Кихота восвояси, с большой серьезностью и остротой ответила:

– Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, что я изменила и потеряла свой прежний сан, он сказал вам ложь, ибо и сегодня я та же, что была вчера. Правда, некоторые благоприятные события изменили немного мое положение и сделали его лучшим, чем я могла надеяться, однако из-за этого я не перестала быть той, кем была раньше, и не оставила неразлучной со мною мысли воспользоваться мощью вашей могучей и непобедимой руки. Итак, мой сеньор, благоволите возвратить честь тому, кто дал мне жизнь, и поверьте, что он человек мудрый и разумный, так как с помощью своей науки нашел он столь легкий и правильный путь к прекращению моих бедствий. Ибо я уверена, что без вас, сеньор, я никогда бы не достигла того счастья, которым ныне обладаю. И правдивость моих слов может засвидетельствовать большинство добрых сеньоров, здесь стоящих. Нам остается только двинуться завтра в путь, ибо сегодня мы уж не успеем сделать большого переезда. Что же касается счастливого завершения дела, на которое я надеюсь, я в этом полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.

Так сказала разумная Доротея; выслушав ее, Дон Кихот в большой досаде обратился к Санчо и сказал:

– Знай, голубчик Санчо, что такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли мне только что говорил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, что отрубленная мною голова великана – чертова матушка, и нес прочую чепуху, от которой я пришел в смущение, какого никогда еще не испытывал во все дни моей жизни? Клянусь господом Бо... (тут он поднял глаза к небу и стиснул зубы), что я тебя сейчас искрошу в куски, для острастки всех лживых оруженосцев, какие только будут у странствующих рыцарей.

– Успокойтесь, ваша милость, сеньор мой, – отвечал Санчо, – очень может быть, что я что-нибудь спутал насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы. А что касается головы великана, вернее продырявленных мехов, и того, что кровь была красным вином, то клянусь Богом, что я не ошибаюсь, ибо проткнутые меха еще до сих пор валяются у изголовья постели вашей милости, а красного вина натекло на пол целое озеро. А не верите, так погодите до тех пор, пока это не хлопнет вас по карману: увидите, какой счет вам представит за убытки его милость, сеньор хозяин. А в остальном, ежели сеньора королева осталась той же, что и была, так я этому сердечно рад: значит, и мне, как и любому человеку на свете, моя доля достанется.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – ответил Дон Кихот, – прости меня, но ты болван, и довольно.

– Довольно, – повторил дон Фернандо – и не будем больше об этом говорить. И раз сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, так как сегодня уже поздно, то пусть так оно и будет. Всю ночь до рассвета мы проведем в приятной беседе, а завтра все проводим сеньора Дон Кихота, ибо нам хочется быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые собирается он совершить, затеяв это великое предприятие.

– Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, – ответил Дон Кихот. – Я глубоко вам признателен за милость, вами мне оказанную, и за ваше высокое обо мне мнение, которое я постараюсь оправдать, хотя бы мне это стоило жизни или даже большего, если только это возможно.

Еще множеством любезностей и предложений услуг обменялись Дон Кихот и дон Фернандо; но конец всему этому положило появление на постоялом дворе одного путешественника, по одежде которого было видно, что он христианин, недавно прибывший из страны мавров. На нем было полукафтанье из голубого сукна, без воротника, с рукавами до локтей и короткими фалдами, берет и полотняные штаны того же цвета; на ногах – желтоватые башмаки, через плечо перевязь, а на ней кривая мавританская сабля. За ним на осле ехала женщина, одетая по-мавритански; лицо ее было закрыто чадрой, голову, повязанную покрывалом, украшала парчевая шапочка; длинная альмалафа[2] ее спускалась до самых пят. Мужина был рослый и приятный на вид, лет около сорока, смуглый лицом, с длинными усами и изящной бородкой: одним словом, было ясно, что, будь он хорошо одет, все бы сочли его благородным и знатным сеньором. Войдя, он потребовал отвести ему комнату, и, когда ему заявили, что свободной комнаты нет, он, казалось, очень огорчился; и затем, подойдя к своей спутнице, которая по виду была мавританкой, подхватил ее на руки и снял с осла. Люсинда, Доротея, хозяйка, ее дочка и Мариторнес, заинтересованные особенным и еще никогда ими не виданным нарядом, окружили незнакомку; а Доротея, как всегда приветливая, любезная и обходительная, видя, что дама и ее спутник опечалены тем, что им негде остановиться, сказала:

– Не обращайте внимания, сеньора, на недостаток удобств: на постоялых дворах их обычно мало; однако если вы соблаговолите поместиться с нами, – прибавила она, указывая на Люсинду, – то поверьте, что за все ваше путешествие вы вряд ли где-нибудь встретите более радушный прием.

Женщина с чадрой ничего на это не ответила, а только встала и, скрестив руки на груди, нагнула голову и поклонилась в пояс, желая этим показать, что она благодарит за предложение. Из этого молчания они заключили, что она, несомненно, мавританка и не умеет говорить по-христиански. В эту минуту подошел пленник, который до тех пор был занят другими делами, и увидя, что все окружили его спутницу, а она на все слова отвечает молчанием, сказал:

– Прекрасные дамы, эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей родины; вот почему она, должно быть, не отвечала и не отвечает на то, о чем вы ее спрашивали.

– Мы ее ни о чем не спрашивали, – сказала Люсинда, – а просто предлагали ей провести ночь в нашем обществе, в комнате, где мы устроились; мы предоставим ей все удобства, которыми располагаем, ибо доброе желание побуждает нас услужить иностранцам, терпящим нужду, и особенно женщине.

– За себя и за нее, моя сеньора, я целую вам руки и ценю высоко, как она этого заслуживает, оказываемую нам милость; исходя от такой особы, какой вы мне представляетесь, и в таких крайних обстоятельствах милость ваша особенно велика.

– Скажите мне, сеньор, – спросила Доротея, – эта сеньора христианка или мусульманка? Ибо ее молчание и наряд заставляют нас думать о ней то, что нам не по сердцу.

– Одеждой и телом она мусульманка, но душой, – пламенная христианка, ибо она охвачена желанием стать таковой.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Люсинда.

– У нас не было на это времени, – ответил пленник. – С тех пор как она покинула свою родную землю, Алжир, она ни разу не подвергалась такой смертельной опасности, которая побудила бы нас совершить крещение до того, как она достаточно ознакомится со всеми обрядами, которым учит нас наша святая мать церковь. Но Господь поможет ей в скором времени принять крещение с пышностью, подобающей ее положению; ибо она знатнее, чем можно заключить по ее и моему платью.

Эти слова возбудили во всех присутствующих сильное желание узнать, кто такие пленник и мавританка; но в эту минуту никто не решился его расспрашивать, ибо видели, что он больше нуждается в отдыхе, чем в рассказах о своей жизни. Доротея взяла незнакомку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Та взглянула на пленника, как бы спрашивая его, что они говорят и что ей следует делать. Он сказал ей на арабском языке, что они просят ее снять покрывало и что она должна это исполнить. Тогда она его откинула, и все увидели такое прекрасное лицо, что Доротее она показалась красивее Люсинды, Люсинде – более красивой, чем Доротея, а все окружающие заявили, что если кто может сравниться с обеими красотой, то только мавританка; некоторые даже нашли, что в известных отношениях она их превосходит. И так как красота обладает силой и даром вносить мир в сердца и влиять на волю[3], то все сразу загорелись усердием услужить и угодить прекрасной мавританке. Дон Фернандо спросил у пленника, как ее зовут; тот ответил: Лела Зораида. Мавританка, услыхав свое имя и поняв, о чем они спрашивали христианина, поспешно, с беспокойством и живостью воскликнула:

– Нет, не Зораида, Мария, Мария! – желая этим объяснить, что зовут ее не Зораида, а Мария.

Эти слова, произнесенные с большой страстностью, растрогали до слез многих из присутствующих; особенно растроганы были женщины, которые по природе своей нежны и сострадательны. Люсинда с большой любовью обняла ее и сказала:

– Да, да, Мария, Мария.

А мавританка ответила:

– Да, да, Мария, Зораида – *маканши* (что значит – нет).

Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию спутников дона Фернандо позаботился и постарался приготовить ужин как можно лучше. И, когда подошло время, все уселись за длинный, вроде трапезного, стол, так как ни круглого стола, ни квадратного в гостинице не оказалось, – и на главное, почетное место усадили Дон Кихота, хотя тот и отказывался. Дон Кихот выразил желание, чтобы сеньора Микомикона села рядом с ним, как со своим покровителем. Далее поместились Люсинда и Зораида, против них дон Фернандо и Карденио, затем пленник и остальные кавалеры, а рядом с дамами – священник и цирюльник. Так они ужинали с большой приятностью, которая еще увеличилась, когда общество увидело, что Дон Кихот перестал есть и, осененный таким же обильным вдохновением, как за ужином у козопасов, заговорил[4]:

– Поистине, – начал он, – если хорошенько рассудить, мои сеньоры, великие и неслыханные вещи приходится видеть тем, кто посвящен в орден странствующего рыцарства. Представьте себе, что кто-нибудь из живущих на свете въедет в ворота этого замка и увидит нас сидящими, как сейчас, – неужели он догадается и поверит, что мы те самые, кто мы есть на самом деле? Кто скажет, что эта сеньора, сидящая со мной рядом, – всем нам известная великая королева, и что я – тот Рыцарь Печального Образа, имя которого восхваляется славой? Да, теперь уже невозможно сомневаться, что искусство и ремесло рыцаря превосходят все искусства и все ремесла, придуманные людьми, и заслуживают особенного уважения, как сопряженные с наибольшими опасностями. Да скроются с глаз моих люди, утверждающие, что науки выше военного дела, ибо я отвечу им, кто бы они ни были, что они не знают, что говорят. Ибо довод, который они обычно приводят и на котором особенно настаивают, состоит в том, что духовный труд возвышеннее телесного, а в военном деле участвует одно только тело, как будто дело это, подобно работе поденщиков, ничего другого, кроме силы, не требует; как будто в то, что мы, воины, называем военным искусством, не входят также отважные деяния, для исполнения которых необходимы большие способности; и как будто ум воина, на чьей ответственности находится армия или защита осажденного города, работает меньше, чем его тело. Если это не так, то скажите мне, помогут ли вам телесные силы, чтобы понять и предугадать намерения неприятеля, его планы, военные хитрости и подвохи и предотвратить грозящие вам опасности? А ведь все это – дело ума, и тело не принимает в нем никакого участия. Но раз доказано, что военное дело нуждается в духе столько же, как и науки, то посмотрим теперь, чей ум – грамотея или военного – трудится больше. Об этом мы можем судить по тому, к какой цели и задаче каждый из них стремится, – ибо то стремление должно почитаться более важным, которое направлено к более благородной цели. Цель и задача наук (я, конечно, не говорю о науках богословских, назначение которых – возносить наши души к небу, ибо с этой беспредельной конеч-

ной целью ничто не идет в сравнение; нет, я говорю о науках мирских), итак, цель их – утвердить справедливость в распределении благ, отдать каждому то, что ему принадлежит, и стараться и заботиться, чтобы исполнялись добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал; но все же цель, к которой стремится военное дело, заслуживает похвал еще больших, ибо цель эта – мир, а в нем – высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Вот почему первой благой вестью, дошедшей до света и до людей, было благовестие ангелов в ту ночь, которая для нас всех стала днем[5]; они пели над землей: "слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение". И приветствие, которое лучший Учитель земной и небесный учил своих возлюбленных учеников говорить, входя в какой-нибудь дом, это – "мир дому сему". И еще не раз говорил Он им: "мир Мой даю вам, мир оставляю вам, мир будет у вас". Воистину драгоценность это и дар, данный и оставленный его рукой, драгоценность, без которой не может быть блага ни на земле, ни на небе. Этот мир и есть истинная цель войны, а если войны, то, значит, и воинов. Итак, допустив ту истину, что мир есть цель войны и что, следовательно, она возвышается над целью науки, перейдем теперь к телесным тяготам ученого и воина и посмотрим, чьи будут тяжелее.

В таком роде и в таких прекрасных выражениях продолжал свою речь Дон Кихот, и никто из слушавших его не сказал бы в ту минуту, что он сумасшедший; напротив, большинство его слушателей, кабальеро, которым военное дело было близко, внимали ему с большим удовольствием. А он продолжал:

– Итак, я говорю, что тяготы студента суть следующие: прежде всего бедность (я не хочу сказать, что все они бедны, но я нарочно беру самый крайний случай); а сказав, что они терпят бедность, я, кажется, могу больше не распространяться о их бедствиях, ибо кто беден, тот ничем хорошим не владеет. Терпят они бедность во всех ее видах: то голод, то холод, то наготу, то все это вместе; и все же, несмотря на бедность, они питаются, хоть и немного позже обыкновенного, хоть и крохами со стола богачей; и среди студентов считается это величайшей нуждой и называется "ходить по суп"[6]. И все же находится для них у добрых людей какая-нибудь жаровня или печь, которая хоть и не совсем согревает их, но все же умеряет стужу: к тому же, по ночам они спят под кровом. Я не стану говорить о других мелочах: всем известно, что рубашек у них мало, обуви тоже не Бог весть сколько, что одежда у них бывает не всегда, а если и есть, то сношенная до последней нитки, и что когда счастливая судьба посылает им угощение, они набрасываются на него с великой жадностью. По этой, только что мной описанной, дороге, крутой и трудной, в одном месте спотыкаясь, в другом падая, в третьем поднимаясь, чтобы затем снова упасть, – доходят они до желанной ученой степени. А перейдя через все эти зыбучие пески, через все эти Сциллы и Харибды, многие из них на крыльях благосклонной Фортуны достигают высоких постов, откуда они руководят и управляют миром; и тогда недоедание их сменяется сытостью, холод – приятной прохладой, нагота – пышным платьем, и возлежат они

уже не на рогоже, а на голландском полотне и дамасском шелке: такая награда по справедливости дается их добродетели. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами воинскими, и окажутся они значительно меньшими, как это я вам сейчас покажу.

ГЛАВА XXXVIII

в которой передается любопытная речь Дон Кихота о военном деле и науках

Дон Кихот продолжал:

– Покончив со всякими видами бедности студентов, посмотрим теперь, намного ли богаче их солдаты. Не трудно убедиться, что среди всех бедняков нет никого беднее солдата, ибо он существует либо на ничтожное жалованье, которое или вовсе не выплачивается, или выплачивается с опозданием, либо на то, что награбит собственными руками с явной опасностью для своей жизни и совести. Вот почему нищета его нередко бывает столь велика, что один изодранный колет служит ему одновременно и парадным платьем и рубашкой; очень часто, в зимнюю стужу, в открытом поле, в непогоду, согревается он одним своим дыханием, и я считаю доказанным, что дыхание это, исходя из пустого желудка, вопреки законам природы, должно быть не теплым, а холодным. Но не думайте, что с наступлением ночи ему удастся отдохнуть от этих невзгод в приготовленной для него постели. Его вина, если эта постель покажется ему узкой, ибо от него зависит отмерить себе на голой земле сколько угодно места и разлечься на своем ложе, не боясь измять простынь. А когда наступит после всего этого день и час получения высокой степени в своем ремесле, и придет день битвы, – тут наденут ему на голову докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелила ему висок; а не то останется он увечным, безруким или безногим. Если же этого не случится и милосердное небо убережет и сохранит его живым и здоровым, останется он, наверное, таким же бедняком, как и раньше, а чтобы возвыситься, ему придется ожидать новых стычек, новых сражений и победоносного их окончания; однако такие чудеса случаются редко. Скажите мне, сеньоры, думали ли вы когда-нибудь о том, что на войне награждаются весьма немногие, а погибает множество? Несомненно, вы мне ответите, что тут не может быть и сравнения, что количество погибших неисчислимо, а чтобы пересчитать тех, кто остался в живых и был награжден, достаточно трехзначной цифры. У судейских все это наоборот: гонорарами ли они пробавляются, или приношениями, жить им все же есть на что. Итак, труды солдат тяжелее, а награда меньше. На это, однако, можно возразить, что легче наградить две тысячи судейских, чем тридцать тысяч солдат, ибо первые награждаются должностями, которые естественно могут быть поручены только людям этого звания, а вторые могут быть

вознаграждены только из средств того сеньора, которому они служат; но это возражение лишний раз подкрепляет мою мысль. Однако оставим это, ибо из подобного лабиринта нам будет очень трудно выбраться, и вернемся опять к превосходству военного дела над наукой – вопросу и поныне еще не решенному, так как каждая из сторон приводит свои доводы. Сторонники наук приводят, между прочим, тот довод, что без них военное дело не могло бы существовать, ибо и война имеет свои законы и зависит от них, а эти законы относятся к области науки и грамотеев. А сторонники военного дела на это возражают, что самые законы не могли бы существовать, если бы не было искусства войны, ибо только оно защищает государства, оберегает королевства, охраняет города, следит за безопасностью дорог и очищает моря от корсаров, – одним словом, если бы его не было, государства, королевства, монархии, города, пути морские и сухопутные были бы подвержены всем неурядицам и бедствиям, которые влечет за собой война, пока действует ее право и сила. А ведь давно доказано, что то, что дорого стоит, должно цениться и ценится дороже. Достижение выдающегося места в ряду ученых покупается ценою времени, бдений, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка и многого другого, сюда относящегося и мною отчасти уже перечисленного. Но для того чтобы в конце концов сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает студент, да еще в такой степени, что и сравнения здесь быть не может, ибо воин на каждом шагу рискует потерять жизнь. Если студента гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что́ это по сравнению со страхом, который охватывает солдата, сидящего в осажденной крепости? Он стоит на часах, охраняя какой-нибудь бастион или равелин, и слышит, что враг ведет подкоп под то самое место, где он находится, – но он ни под каким видом не может уйти и бежать от опасности, угрожающей ему так близко. Единственное, что он может сделать, это доложить о происходящем капитану, с тем, чтобы предотвратить неприятельскую мину контрминой, а потом – продолжать стоять, боясь и ожидая, что вот-вот он взлетит без крыльев под самые облака и низвергнется в пропасть помимо собственной воли. А если и эта опасность не кажется вам значительной, так есть и другие, не только равные ей, но и похуже: среди открытого моря две галеры сцепляются на абордаж, напирают и теснят одна другую так, что солдатам приходится стоять на доске сходней шириной в два фута; прямо на них наведены неприятельские пушки, слуги смерти, грозящие гибелью; жерла их – на расстоянии копья; каждый неосторожный шаг может отправить сражающихся в глубокое лоно Нептуна и, несмотря на все это, побуждаемые чувством чести, они выставляют свою грудь против огнестрельных орудий и устремляются по узкой доске на вражеский корабль. Но вот что особенно достойно удивления, лишь только один упадет туда, откуда не встать ему до скончания века, как другой уже занимает его место; один упадет в волны, подстерегающие его, как врага, – новые и новые заменяют его, и не хватает времени заметить их гибель. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди всех ужасов войны! Счастливы

были те благословенные времена, когда не было еще этой устрашающей ярости дьявольских огнестрельных орудий[1], и я твердо верю, что тот, кто их выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, ибо благодаря ему рука подлого труса ныне может лишить жизни доблестного кабальеро. Смелость и отвага воспламеняют и вдохновляют храброе сердце бойца – и вдруг, неведомо как и неведомо откуда, шальная пуля пресекает и мысли и жизнь того, кто достоин был бы наслаждаться ею долгие века; а стрелявший, может быть, удрал, сам испугавшись сильной вспышки выстрела этой проклятой машины. Поэтому, приняв все это в соображение, я почти раскаиваюсь в душе, что избрал ремесло странствующего рыцаря в тот отвратительный век, в который мы сейчас живем, ибо, хотя никакая опасность меня не устрашает, все же меня несколько смущает мысль, что порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всему лицу земли мощью моей руки и клинком моего меча. Но да исполнится воля неба, а я, если суждено мне привести в исполнение свои замыслы, стану еще более знаменитым, ибо преодолею опасности бóльшие, чем какие преодолевали странствующие рыцари минувших времен.

Эту длинную речь произнес Дон Кихот в то время, как остальные ужинали: он забыл о еде и не проглотил ни куска, хотя Санчо неоднократно уговаривал его поесть, уверяя, что он и потом успеет сказать все, что ему захочется. А слушавшим его опять стало жалко, что человек, который на вид так разумен и красноречив в своих словах, безнадежно сходит с ума, как только дело коснется его кромешного, беспросветного рыцарства. Священник сказал Дон Кихоту, что во всех своих доводах в пользу военного дела он совершенно прав и что сам он – человек ученый и со степенью – придерживается того же мнения. Кончился ужин, убрали со стола, и, пока хозяйка с дочкой и Маритornес приводили в порядок каморку Дон Кихота Ламанчского, так как было решено, что на ночь в ней поместятся одни дамы, дон Фернандо попросил пленника рассказать им историю своей жизни, ибо уже одно его появление в обществе Зораиды позволяло надеяться, что история его окажется необыкновенной и занимательной. На это пленник ответил, что он очень охотно исполнит их просьбу, но только боится, что рассказ его доставит слушателям меньше удовольствия, чем бы ему хотелось; но все же, подчиняясь их желанию, он согласен рассказать. Священник и все остальные поблагодарили пленника и еще раз попросили его об этом, а он, видя, что столько людей его упрашивает, сказал:

– Излишни просьбы, когда приказания достаточно. Так слушайте же, господа: вы услышите правдивую историю, и, сдается мне, ни одна сочиненная повесть, как бы искусно и старательно она ни была придумана, не сравнится с ней.

После этих слов его все уселись, и воцарилась глубокая тишина; а он, видя, что все безмолвствуют и приготовились его слушать, спокойным и приятным голосом так начал свой рассказ.

ГЛАВА XXXIX

в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни[1]

Я родом из одной деревни в горах Леона; природа была ко мне благосклоннее и щедрее, чем Фортуна, хотя среди общей бедности тамошних селений мой отец считался богатым человеком, да он бы и действительно был таковым, если бы у него не было больше охоты тратить, чем копить имущество. Эта привычка к щедрости и расточительности сохранилась у него со времен его молодости, когда он был солдатом; ибо военная служба есть школа, в которой бережливый становится щедрым, а щедрый – расточительным; а если и бывают среди солдат скупые, то таких чудищ редко можно встретить. Мой отец переходил границы щедрости и скорей приближался к расточительности, – а качество это отнюдь не на пользу человеку женатому, которому придется передать сыновьям свое имя и свое имущество. Нас было три брата, и все трое в возрасте, когда пора подумать о выборе профессии. Отец, видя, что со своим характером он ничего поделать не может, решил лишить себя орудий и средств, позволявших ему быть расточительным и тороватым, а именно – отказаться от имущества, без которого сам Александр Великий показался бы скрягой; и вот, однажды позвал он нас всех троих к себе в комнату и без посторонних свидетелей сказал нам следующее: «Дети мои, мне не к чему говорить, что я вас люблю: достаточно знать и сказать, что вы – мои дети; но люблю я вас плохо, ибо я никак не могу себя заставить беречь ваше состояние. Так вот, чтобы впредь вы были уверены, что я люблю вас, как отец, и не желаю погубить вас, как отчим, хочу я вам предложить один план, который я давно уже обдумал и подготовил со зрелым размышлением. Вы уже в возрасте, когда следует подумать о деле или, по крайней мере, о выборе рода занятий, которые впоследствии могли бы принести вам честь и пользу. Я надумал разделить наше мнение на четыре части; три из них я отдам вам, каждому поровну, как подобает, а четвертую оставлю себе, чтобы прожить и поддержать свое существование все дни, которые небу будет угодно мне послать. Но мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, получив причитающуюся ему часть, избрал один из трех путей, на которые я вам укажу. Есть у нас в Испании пословица, на мой взгляд весьма правильная, как, впрочем, и все пословицы, ибо каждая из них есть краткое изречение, основанное на долгом и мудром опыте; она гласит так: “Или церковь, или море, или королевская служба”, иначе говоря: кто хочет стать дельным человеком и разбогатеть, должен или принять духовное звание, или плавать по морям, занимаясь купеческим делом, или поступить на службу к королю и быть при его дворе; недаром говорится, что “лучше крохи с королевского стола, чем милости сеньора”. Говорю я это к тому, что хотел бы я – и такова моя воля, – чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой – торговле, а третий послужил королю на военной службе, ибо попасть к его двору очень трудно, а военное дело, хоть и не приносит большого богатства, зато дает человеку почет и славу. Через неделю каждый из вас

получит свою часть денег – и вы на деле убедитесь, что я не обманул вас ни на один грош. Ответьте же мне теперь: готовы ли вы последовать мнению и совету, которые я вам изложил?» Мне, как старшему, пришлось отвечать первому, и я сначала попросил отца не раздавать имущества, а тратить его, сколько ему будет угодно, так как мы молоды и можем зарабатывать сами, а в заключение сказал, что исполню его волю и что мне хочется посвятить себя военному делу и послужить этим Богу и моему королю. Второй брат, обратившись сначала к отцу с такой же просьбой, как и я, сказал, что он намерен отправиться в Америку, вложив свою долю наследства в какое-нибудь дело. Меньшой, по моему мнению самый разумный, сказал, что избирает духовное звание и собирается поехать в Саламанку, чтобы закончить там уже начатое учение.

После того как мы в полном согласии избрали себе занятия, отец обнял каждого из нас и в короткий срок, им назначенный, исполнил то, что обещал. И, получив каждый, как мне помнится, по три тысячи дукатов (ибо отец все имение продал нашему дяде, который, не желая, чтобы оно перешло в чужие руки, немедленно заплатил наличными), мы в тот же день все трое простились с отцом. Но мне показалось бесчеловечным оставлять старика с такими ничтожными средствами, и перед отъездом я настоял, чтобы из моих трех тысяч он две тысячи взял себе, так как оставшихся денег мне вполне должно было хватить на солдатское снаряжение. Побуждаемые моим примером, братья тоже дали отцу каждый по тысяче дукатов, так что у него осталось четыре тысячи деньгами и имущество, стоимостью в три тысячи: он не пожелал его продавать и сохранил за собой эту недвижимость. Итак, мы простились с отцом и с дядей, о котором я уже упоминал; все были растроганы и проливали слезы, а отец заклинал нас всякий раз, как представится случай, присылать ему вести о наших успехах и неудачах. Мы ему пообещали, он нас обнял и дал свое благословение, затем один брат отправился по дороге в Саламанку, другой поехал в Севилью, а я – в Аликанте; там я узнал, что один генуэзский корабль вскоре отправляется в Геную с грузом шерсти.

Вот уже двадцать два года, как я покинул родительский кров, и за все это время, хоть и посылал много писем, ни разу не имел вестей ни об отце, ни о братьях. Расскажу вам вкратце, что за эти годы со мной случилось. Я сел на корабль в Аликанте[2], благополучно прибыл в Геную, оттуда проехал в Милан, где приобрел себе оружие[3] и военное платье, и собирался поступить в пьемонтскую армию, но по дороге в Александрию де Ла Палья[4] услышал, что знаменитый герцог Альба едет во Фландрию[5]. Я изменил свое решение, присоединился к нему[6], проделал с ним весь поход, присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна[7] и выслужил чин знаменосца под командой храброго капитана из Гвадалахары, по имени Диего де Урбина[8]. Через некоторое время после прибытия моего во Фландрию прошел слух о союзе, заключенном его святейшеством, блаженной памяти папой Пием V с Венецией и Испанией против общего врага[9] – турок, которые в это самое время с помощью флота завладели славным островом Кипром, находившимся под властью Венеции, – потеря плачевная и прискорбная.

Было достоверно известно, что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный брат нашего доброго короля дона Филиппа[10]; говорили о великих военных приготовлениях. Все это воспламенило мой дух и внушило мне мысль и желание принять участие в предстоящем походе. Хотя у меня была надежда и даже прямое обещание, что при первом благоприятном случае я буду произведен в капитаны, я, однако, решил все бросить и ехать в Италию; так я и сделал. Моей счастливой судьбе было угодно устроить так, что в это самое время сеньор дон Хуан Австрийский, прибыв в Геную[11], отправился на корабле в Неаполь, чтобы соединиться с венецианским флотом, что он затем и сделал в Мессине[12]. Итак, скажу вам, что я участвовал в знаменитой великой битве[13] уже произведенный в чин капитана от инфантерии[14], которым обязан я был более благосклонной судьбе, чем моим заслугам. И в этот день, столь счастливый для всего христианского мира, когда разрушено было ложное убеждение всего мира и всех народов в непобедимости турок на море, в этот день, повторяю я, когда посрамлена была оттоманская спесь и гордыня, среди всего этого множества счастливцев (ибо христиане, погибшие в этом бою, должны почитаться еще счастливее живых, что вышли из него победителями), я один был обездолен: ибо вместо того, чтобы получить морской победный венок[15] (как случилось бы, будь это во времена древних римлян), я вместо этого в ночь, последовавшую за великим днем, – увидел на руках своих цепи и на ногах канадалы. Случилось этот вот каким образом: алжирский король Учали, дерзкий и удачливый корсар, напал на капитанскую галеру Мальтийского ордена[16] и захватил ее; на ней осталось в живых всего три воина, и то тяжело раненных. Тогда на помощь ей устремилась капитанская галера Джованни Андреа[17], на которой был я со своим отрядом. Как полагается в подобных случаях, я прыгнул на неприятельскую галеру, но в эту минуту она отделилась от судна, которое ее атаковало, что помешало моим солдатам последовать за мной. Так очутился я один посреди врагов и, изнемогая от ран, должен был уступить их численности: они захватили меня в плен. И так как Учали, как вы, должно быть, слышали, удалось спастись со всей его эскадрой, то он увез меня с собой как пленника, одного печального среди стольких веселых, одного пленного среди стольких свободных: ведь в этот день пятнадцать тысяч христиан, прикованных к веслам на турецких галерах, получили, наконец, желанную свободу.

Меня отвезли в Константинополь, где султан Селим назначил моего хозяина морским генералом[18] за то, что в сражении он исполнил свой долг и в доказательство своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. Через год, то есть в семьдесят втором году, гребя на капитанском судне с тремя фонарями, я присутствовал при Наваринской битве[19]. Я видел своими глазами, как был здесь упущен случай захватить в гавани весь турецкий флот, ибо все левантинцы и янычары[20], сидевшие на кораблях, были твердо уверены, что атака произойдет в самом порту, и уже держали наготове свои узелки с вещами и *пасамаки*, – так они называют свои туфли, – чтобы бежать сухим путем, не дожи-

даясь боя: таков был их страх перед нашим флотом. Но небо судило иначе, не по вине или оплошности командира нашей эскадры, но за грехи христиан, ибо Господь желает и позволяет, чтобы не переводились палачи для нашего наказания. И действительно, Учали удалось отплыть к Модону, острову, находящемуся неподалеку от Наварина, где, высадив войска, он укрепил вход в гавань и благополучно отсиделся там, пока сеньор дон Хуан не возвратился на родину. Во время этой кампании была захвачена галера по имени "Ла Преса"[21], капитаном которой был сын знаменитого корсара Барбарохи[22]. Захватило ее капитанское судно из Неаполя "Лоба"[23], которым командовал отец солдат, гроза войны, счастливый и непобедимый капитан дон Альваро де Басан, маркиз де Санта Крус. Не могу не рассказать о том, что случилось при взятии "Ла Пресы". Сын Барбарохи был жесток и плохо обращался с невольниками, и вот, когда его гребцы увидели, что "Лоба" идет прямо на них и скоро их настигнет, они все сразу бросили весла, схватили капитана, который, стоя на шканцах, кричал, чтобы они сильнее гребли, и, перебрасывая его из рук в руки, от одной скамьи к другой, начиная с кормы и до самого носа, изгрызли его зубами, так что вскоре после того, как его убрали с вышки, душа его оказалась уже в преисподней: такова была, повторяю, жестокость его обращения и ненависть, которую он во всех возбудил.

Мы вернулись в Константинополь, и в следующем, семьдесят третьем году там стало известно, что сеньор дон Хуан захватил Тунис, отняв его у турок и отдав во власть Мулея Хамета[24]; этим была уничтожена надежда на возвращение на тунисский престол у Мулея Хамида[25], самого жестокого и отважного мавра, жившего когда-либо на свете. Султан был очень опечален этой потерей, и с лукавством, свойственным всему его роду, он заключил мир с венецианцами, которые жаждали конца войны еще больше, чем он сам, и в следующем, семьдесят четвертом году осадил Голету[26] и форт неподалеку от Туниса, наполовину построенный сеньором доном Хуаном. Во время всех этих военных действий я греб на галере, потеряв всякую надежду на освобождение; во всяком случае, на выкуп я не надеялся, так как решил о моем несчастии не писать отцу.

Наконец Голета и форт были взяты; в осаде их участвовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск, мавров и арабов со всей Африки более четырехсот тысяч, а в тылу этой многочисленной армии было столько обозов, военного снаряжения и саперов, что, если бы каждый из солдат бросил одну пригоршню земли, они могли бы голыми руками засыпать землей и Голету и форт. Сначала сдалась Голета, дотоле слывшая неприступной, и сдалась не по вине защитников, ибо последние для обороны ее сделали все, что могли и должны были сделать, а потому, что опыт показал, что в песке этой пустыни было весьма легко рыть траншеи: обычно на глубине двух футов уже попадается вода, а турки копали на две вары[27] вглубь и воды не встречали. Поэтому они из множества мешков с песком соорудили такой высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости, и осажденные не могли ни защищаться, ни мешать врагам стрелять в них с высоты.

По общему мнению, нашим не следовало запираться в крепости, а, напротив, ждать в открытом поле высадки неприятеля; но говорившие так судили издали и не обладали достаточным опытом в подобных делах, ибо в Голете и в форте едва насчитывалось семь тысяч солдат, – как же мог такой немногочисленный отряд, как бы отважен он ни был, выйти в поле и защищать крепость против столь превосходящих сил неприятеля? Да и может ли удержаться крепость без помощи извне, когда осаждает ее многочисленное и ожесточенное войско, действующее на собственной земле? А мне, как и многим другим, казалось, что уничтожение таких очагов и скопищ всякого зла, высасывавших, как губка, и съедавших, как моль, бесконечные средства, бесцельно на них расходуемые, было особым благоволением и милостью неба к Испании; ибо ровно никакой пользы нам от них не было, не считая поддержания памяти о завоевании их непобедимейшим королем Карлом V. Но разве и без этих камней память о нем не есть и не будет вечной? Затем сдался и форт; но туркам пришлось завоевывать его пядь за пядью, ибо защитники его бились так мужественно и жестоко, что в течение двадцати двух штурмов неприятель потерял более двадцати пяти тысяч человек убитыми. Из трехсот человек, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен нераненым, – достоверное и явное доказательство их мужества и отваги: все они храбро защищались и оставались до конца на своих местах. Наконец пал и маленький форт, или вернее башня, которая стояла посреди озера и находилась под командой дона Хуана Саногеры, валенсианского кабальеро и славного воина. Дон Педро Пуэртокарреро, комендант Голеты, был взят в плен; он сделал все, что было в его силах, для защиты крепости и был так опечален ее сдачей, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда везли его пленником. Также попал в плен и комендант форта, по имени Габриэль Червеллон[28], миланский дворянин, искусный инженер и доблестный воин. В этих двух крепостях погибло много выдающихся людей, между прочим некий Пагано Дориа, кавалер ордена Иоанна Крестителя, человек благородной души, доказавший это своим великодушным отношением к брату, знаменитому Джованни Андреа Дориа[29]. Смерть его была тем более прискорбной, что пал он от руки арабов, которым доверился, убедившись, что всякая надежда на спасение форта потеряна: они предложили отвезти его переодетым в мавританском платье в Табарку, маленькую гавань, или вернее поселение на морском берегу, которое принадлежит генуэзцам, промышляющим там ловлей кораллов, и затем отрубили ему голову и отнесли ее командиру турецкой эскадры; а он поступил с ними по нашей кастильской пословице: "Предательство нам на руку, но предатель – ненавистен". Говорят, что командир в награду за поднесенный ему подарок велел их повесить за то, что они не доставили врага живым.

Среди христиан, взятых в плен в форту, был некто по имени дон Педро де Агилар, родом не помню из какой местности в Андалусии, который в форту был знаменосцем, считался превосходным солдатом и человеком редкого ума; он имел особое дарование в искусстве, именуемом поэзией. Я рассказываю об этом потому, что судьба соединила нас на одной галере и на

одной скамье, ибо он также стал невольником моего хозяина. Прежде чем мы покинули этот порт, он сочинил два сонета вроде эпитафий, один, посвященный Голете, другой – форту. Право, мне хочется прочесть их вам, так как я помню их наизусть и думаю, что они доставят вам скорей удовольствие, чем неприятность.

Когда пленник назвал имя дона Педро де Агилара, дон Фернандо посмотрел на своих спутников, они все трое обменялись между собой улыбками, и в тот момент, когда рассказчик собирался прочесть сонеты, один из кабальеро сказал ему:

– Прежде чем ваша милость будет продолжать, умоляю вас сказать мне, что случилось с этим доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули.

– Вот что я о нем знаю, – ответил пленник: – пробыв два года в Константинополе, он бежал, переодетый арнаутом[30], с одним шпионом греком, но мне неизвестно, попал он на свободу или нет, хотя думается мне, что да. Год спустя я встретил этого грека в Константинополе, но мне не удалось расспросить его, чем кончился их побег.

– Он на свободе, – ответил кабальеро. – Ибо этот дон Педро – мой родной брат, и сейчас он живет у себя на родине, в богатстве и добром здоровье; он женат, и у него трое детей.

– Да будет благословен Господь за ниспосылаемые им великие милости, – воскликнул пленник, – ибо, думается мне, нет на свете большего счастья, чем, потеряв свободу, обрести ее вновь!

– Более того, – продолжал кабальеро, – я тоже знаю сонеты, сочиненные моим братом.

– Так скажите их, ваша милость, – попросил пленник, – вы, наверное, прочтете их лучше меня.

– С удовольствием, – ответил кабальеро. – Вот сонет, посвященный Голете.

ГЛАВА XL

в которой продолжается история пленника

СОНЕТ

Святые души, что, от плоти бренной
Отрешены за праведное дело,
Возвысились от дальнего предела
К высокой тверди, чистой и блаженной;

Вы, что, пылая ревностью священной,
Так гневно состязались мощью тела,
Что ваша кровь и кровь врагов одела
Песчаный брег и округ моря пенный;

Жизнь, а не доблесть первой изменила
Руке бойцов, которая стяжала
И в поражении победный жребий,

И эта ваша скорбная могила
Меж башен и железа вас венчала
Земною славой и бессмертьем в небе.

– Да, это так, слово в слово, – сказал пленник.

– А сонет, посвященный форту, помнится, гласит так:

СОНЕТ

От этого разгромленного края,
От башен, рухнувших в огне и в дыме,
Три тысячи отважных душ, живыми,
Взнеслись в блаженную обитель рая

Вослед за тем, как, тщетно напрягая
Мощь смелых рук, последние меж ними,
Изнурены трудами боевыми,
Угасли, жизнь железу отдавая.

Сия земля изведала немало,
И в наше время и во время оно,
Воспоминаний, скорбью окруженных;

Но праведней ее скупое лоно
Вовеки к небу душ не воссылало
И не носило тел, столь непреклонных.

Оба сонета всем понравились, а пленник, порадовавшись вести о своем товарище, продолжал свой рассказ:

– Завладев Голетой и фортом, турки отдали приказ Голету снести; форт же находился в таком состоянии, что и разрушать было нечего. И вот, чтобы облегчить и ускорить эту работу, они с трех сторон подвели под Голету мины, но им не удалось разрушить того, что казалось наименее крепким, – старых стен; а все, что уцелело от новых укреплений, построенных Фратино[1], разлетелось немедленно. Наконец эскадра возвратилась в Константинополь с триумфом и победой, а через несколько месяцев после этого умер мой хозяин Учали[2], по прозвищу Учали Фартакс, что по-турецки означает *Шелудивый ренегат*, каким он был в действительно, ибо у турок есть обычай называть человека или по какому-нибудь его недостатку, или по особому качеству; это потому, что у них существуют только четыре фамилии, происходящие от Оттоманского дома[3], а все остальные, как я уже сказал, именуются или по телесным недостаткам, или по душевным качествам. Этот *Шелудивый,* будучи рабом великого султана, греб на галере целых четырнадцать лет и, когда ему было уже года тридцать четы-

ре, отрекся от своей веры из ненависти к одному турку, который на галере дал ему пощечину, и желания отомстить ему. И так велики были его достоинства, что ему не пришлось даже проходить позорными путями и дорожками, по которым обычно поднимаются фавориты султана, и он вскоре был назначен королем Алжира, а затем морским генералом, – третья должность по важности в турецком государстве. Родом он был из Калабрии, имел добрую душу и с большой человечностью относился к своим рабам; а было их у него три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, они были распределены между великим султаном (который считается наследником каждого своего подданного и получает свою долю наравне с сыновьями покойного) и его ренегатами. Я достался одному ренегату-венецианцу, который раньше служил юнгой на корабле; захваченный в плен Учали, он так расположил его к себе, что вскоре сделался одним из его любимцев, а потом превратился в ренегата такого свирепого, какого еще свет не видывал. Звали его Асан Ага[4]: он очень разбогател и был назначен королем Алжира. С ним я и отправился туда из Константинополя, радуясь, что буду жить ближе к Испании, – не потому, чтобы я собирался написать кому-нибудь о своем бедствии, нет, но я надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее. В Константинополе я испробовал тысячи способов, пытаясь бежать, но ни разу мне не посчастливилось найти удобный случай; в Алжире же я рассчитывал найти другие способы и добиться того, о чем я так мечтал, ибо надежда на свободу никогда меня не покидала, и когда в том, что я замышлял, подготовлял и приводил в исполнение, успех не соответствовал намерению, я не падал духом и тотчас же придумывал и находил новую надежду, хотя бы слабую и жалкую, которая меня поддерживала. Вот какими мыслями питал я душу, сидя в тюрьме, или, как ее называют турки, *баньо*[5], где помещались пленники-христиане, как рабы короля и некоторых частных лиц, так и рабы *альмасена*[6], другими словами, рабы городского совета, посылаемые на постройки и другие городские работы. Этим последним особенно трудно выйти на свободу, так как они принадлежат не отдельному лицу, а общине и поэтому, если бы они даже достали выкуп, им некому его предложить. В этих тюрьмах, как я уже сказал, некоторые частные лица города тоже держат своих рабов, в особенности, если ждут за них выкуп, так как невольники живут там в хороших условиях и под надежным присмотром, пока не придет за них выкуп. Также и невольники короля, за которых ожидается выкуп, посылаются на работу с остальной партией только в том случае, если выкуп запаздывает, ибо тогда, чтобы заставить их хлопотать о нем более настойчиво, их гоняют на работу и на рубку леса, – а это труд нелегкий.

Я тоже попал в число ожидающих выкупа, так как, хотя я и заявил, что средства мои ничтожны и на родине у меня нет никакого имущества, мавры, узнав, что я капитан, мне не поверили и включили в партию дворян и выкупных невольников. Цепи, в которые меня заковали, были знаком не столько рабства, сколько ожидаемого выкупа; и так проводили мы дни в этом баньо, в обществе дворян и многих знатных людей, отмеченных и предназначенных для выкупа.

Часто, или лучше сказать постоянно, страдали мы от голода и лишений, но ничто так не мучило нас, как невиданные и неслыханные жестокости нашего господина по отношению к христианам: их мы видели и о них мы слышали на каждом шагу. Каждый день одного он вешал, другого сажал на кол, третьему рубил уши, и все – по ничтожному поводу или совсем без повода, так что сами турки понимали, что поступает он так для собственного удовольствия, ибо природа сотворила его извергом рода человеческого. Только с одним испанским солдатом, по имени Сааведра[7], обращался он хорошо; хотя последний, чтобы вырваться на свободу, пускался на такие предприятия, о каких турки не скоро забудут, – тем не менее Асан Ага ни разу его не ударил, ни разу не приказал его избить и никогда не сказал ему дурного слова, меж тем как мы все со страхом думали, что за самую малую из своих проделок он будет посажен на кол, да и сам он не раз этого опасался. Если бы время мне позволило, я рассказал бы вам о кое-каких подвигах этого воина, и я уверен, что они заинтересовали и удивили бы вас куда больше, чем моя история.

Но возвращаюсь к моему рассказу. На двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого и знатного мавра: по тамошнему обычаю, они напоминали скорее щели, чем окна, и к тому же они были еще закрыты частыми и плотными камышовыми занавесками. Случилось раз, что стоял я с тремя товарищами на крыше нашей тюрьмы, и от нечего делать мы пробовали прыгать с цепями на ногах; кроме нас, там никого не было, так как все остальные ушли на работу. Внезапно поднял я глаза и увидел, что из одного из закрытых окошек свешивается тростинка, а на конце ее привязан платок; тростинка двигалась и раскачивалась, как будто подавая знак, чтобы ее схватили. Поглядели мы на нее, и наконец один из нас отправился под окно посмотреть, бросят ли ему эту тростинку, или что вообще с ней сделают. Но не успел он подойти, как рука, державшая тростинку, подняла ее вверх и помахала ею вправо и влево, как будто качнула головой, желая сказать: *нет*. Он отошел, и тростинка снова опустилась и стала раскачиваться, как и прежде. Отправился второй из моих товарищей, но и с ним случилось то же, что с первым. Наконец пошел третий – и с ним повторилось то же, что с первыми двумя. Увидев это, я тоже решил попытаться счастья, и как только я стал под окном, тростинка упала на двор тюрьмы прямо к моим ногам. Я поспешил отвязать платок: на нем был узелок, а в узелке я нашел десять *сияни* – золотых монет низкой пробы, имеющих хождение у мавров: каждая из них на наши деньги стоит десять реалов. Излишне рассказывать, как я обрадовался находке; я с радостью и удивлением размышлял, откуда мог свалиться на нас такой подарок, к тому же предназначенный мне, так как то, что тростинка была брошена не другим, а только мне, ясно доказывало, что имели в виду не кого иного, как меня. Я спрятал свои денежки, сломал тростинку, вернулся на вышку, посмотрел на окошко и увидел, что в нем появилась белоснежная ручка, которая отворила окно и тотчас же его захлопнула. Тогда мы поняли, что это благодеяние оказала нам женщина, живущая в этом доме, и, чтобы выразить нашу благодарность, мы сделали ей *салем* по мавританскому обычаю,

то есть наклонили голову, согнулись пополам и приложили руки к груди. Через некоторое время из окна спустили маленький крестик из тростника и тотчас же подняли обратно. Этот знак внушил нам мысль, что в этом доме живет пленница-христианка и что это она нам помогает, но вскоре мы отбросили это предположение, заметив, что рука слишком бела и на ней много браслетов. Поэтому мы решили, что эта женщина хоть и христианка, но из ренегаток, которых мавры, их хозяева, часто берут в законные жены, да еще почитают это за счастье, так как они ценят их гораздо больше, чем жен из своего народа.

Во всех наших рассуждениях мы были очень далеки от истины. С этого дня мы только и делали, что смотрели на окошко, как кормчий смотрит на север, и все ждали, не появится ли наша путеводная звезда – тростинка; но прошло две недели, в течение которых мы не видели ни тростинки, ни руки, ни какого-либо другого знака. И, хотя мы с большим усердием старались разузнать, кто живет в этом доме и нет ли там христианки-ренегатки, никто ничего не мог нам сообщить. Известно было только, что живет там один мавр, очень богатый и важный, по имени Аджи Морато[8], бывший раньше губернатором Ла Паты[9], – должность, которая считается у них одной из самых почетных. И вот, когда мы меньше всего надеялись, что на нас прольется новый дождь *сияни*, вдруг снова появилась тростинка с платком, на котором был завязан узел потолще, чем в первый раз; и случилось это опять в такой час, когда в тюрьме никого, кроме нас, не было. Мы проделали тот же опыт, что и раньше: сначала подошли по очереди три моих товарища, но тростинка снова ускользнула от них и упала только тогда, когда подошел я. Я развязал узелок и нашел в нем сорок испанских золотых и письмо, написанное по-арабски; в конце его был начертан большой крест. Я поцеловал крест, спрятал золотые, вернулся на крышу, мы проделали наши *салемы*, снова мелькнула ручка, я показал знаками, что письмо у меня, и окошко закрылось. Мы были поражены и обрадованы этим происшествием. Никто из нас не понимал по-арабски, и нам всем страстно хотелось узнать, что заключается в письме, но найти кого-нибудь, кто бы нам его прочел, было очень трудно. Наконец я решил довериться одному ренегату родом из Мурсии, который заверял меня в своей дружбе и был связан со мною такими обязательствами, что не мог, как мне казалось, не соблюсти порученной ему тайны: дело в том, что многие ренегаты, собираясь вернуться в христианские страны, запасаются записками от наиболее видных пленников, в которых те, поскольку могут, удостоверяют, что такой-то ренегат – человек честный, что он всегда хорошо относился к христианам и что при первом же удобном случае намеревается бежать. Некоторые достают эти свидетельства с добрыми намерениями, другие же запасаются ими из хитрости и на всякий случай: бывает, что, грабя христианские страны, они сбиваются с дороги и попадают в плен, – и вот, тогда, предъявив эти бумаги, они и говорят, что по этим документам видно, с какой целью они прибыли, – что они намерены остаться у христиан и только потому приняли участие в турецком набеге. Таким способом они предохраняют себя от опасностей первой встречи, благополучно примиряются с церко-

вью, а затем, при благоприятном случае, возвращаются обратно в Берберию[10] и продолжают заниматься тем же, чем занимались раньше. Есть и такие, которые достают эти бумаги и пользуются ими с похвальной целью и остаются в христианских странах. Одним из последних и был мой друг, и у него имелись записки от всех наших товарищей, с самыми лучшими рекомендациями; если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я знал, что он отлично владеет арабским языком и не только говорит, но и пишет на нем. Но все же, прежде чем открыться ему во всем, я просто попросил его прочесть мне письмо, которое я будто бы нашел в углу своей каморки. Он развернул его и довольно долго разглядывал и разбирал, бормоча сквозь зубы. Я спросил, понимает ли он, что написано: он ответил, что прекрасно понимает и что, если мне угодно, переведет мне его слово в слово: я должен только принести ему перо и чернила, – тогда-де он переведет лучше. Мы немедленно дали ему то и другое, он стал переводить и, кончив, сказал:

– Вот по-испански буквальный перевод того, что в письме написано по-арабски; при этом имейте в виду, что "*Лела Мариéн*" означает всюду: "*Госпожа наша Дева Мария*".

Мы прочли письмо, в котором заключалось следующее:

Когда я была ребенком, у моего отца была невольница, которая на нашем языке научила меня христианской залé[11] и много рассказывала мне о Леле Мариéн. Христианка эта умерла, и я знаю, что пошла она не в огонь, а к Аллаху, ибо после видела я ее два раза, и она велела мне отправиться в землю христиан, чтобы повидать Лелу Мариéн, которая очень меня любит. Не знаю, как туда попасть. Многих христиан видела я из моего окна, но ты один показался мне достойным дворянином. Я – девушка, очень красива и могу захватить с собою много денег; подумай, не можешь ли ты устроить так, чтобы отправиться со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если не захочешь, то и это не беда: Лела Мариéн найдет мне другого жениха. Я это написала, а ты дай прочесть только надежному человеку и не доверяй маврам, так как все они лукáвы. Это меня очень тревожит, и я бы хотела, чтобы ты никому не открывался, потому что, если мой отец об этом узнает, он бросит меня в колодец и закидает камнями. Я прикреплю к тростинке нитку; привяжи к ней ответ, а если у тебя нет никого, кто бы мог написать по-арабски, то объясни мне знаками, – Лела Мариéн поможет мне тебя понять. Да хранит тебя она и Аллах и этот крест, который я целую много раз, как мне велела делать невольница.

Судите сами, сеньоры, как должно было нас удивить и обрадовать содержание этого письма. Нам трудно было скрыть нашу радость, и ренегат догадался, что письмо было не случайно найдено, а действительно написано одному из нас. Поэтому он нас попросил, если только догадка его справедлива, довериться ему вполне и рассказать все, так как он для нашего освобождения готов рискнуть своей жизнью. Говоря это, он достал с груди металлический крест и со слезами поклялся тем, кто был на нем изображен и в кого он, хоть и злодей и грешник, крепко и искренне верил, – что он не предаст нас и сохранит тайну, которую нам будет угодно ему открыть, ибо он предполагал и почти был уверен, что с помощью той, которая написала письмо, мы все получим свободу, а он достигнет

наконец своей заветной цели – вернуться в лоно матери Святой Церкви, от которой по неведению и греховности он оторвал себя и отсек, как отсекают гниющий член. Говорил он это, обливаясь слезами и с видом такого искреннего раскаяния, что мы все единодушно согласились открыть ему всю правду и сообщить все без малейшей утайки. Мы указали ему на окошечко, откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и обещал приложить старания, чтобы узнать, кто в нем живет. Затем мы порешили, что следует ответить на письмо мавританки, и так как теперь среди нас был человек, знающий по-арабски, то ответ был составлен немедленно; содержание того, что я продиктовал ренегату, помню я слово в слово, ибо ни одна из существенных подробностей этого происшествия не изгладилась у меня в памяти, да, вероятно, и не изгладится до самой моей смерти. Итак, вот что я ответил мавританке:

Истинный Аллах да хранит тебя, моя сеньора, а с ним благословенная Мариéн, истинная Мать Господня, которая, любя тебя, вложила тебе в сердце желание поехать в землю христианскую. Моли ее, да вразумит она тебя и откроет путь к исполнению этого намерения: ибо велика ее благость, и она услышит тебя. От своего имени и от имени всех находящихся вместе со мной христиан обещаю тебе сделать для тебя все, что будет в наших силах, хоть бы пришлось умереть за тебя. Напиши мне и сообщи, что ты намерена предпринять, и я тотчас же тебе отвечу: ибо великий Аллах послал нам пленника-христианина, который умеет говорить и писать на твоем языке, как ты можешь убедиться по этому письму. Итак, без всяких опасений ты можешь сообщать нам все, что тебе будет угодно. Что же до твоих слов, что, прибыв в христианскую землю, ты хотела бы стать моей женой, то я обещаю тебе это как добрый христианин, и знай, что христиане держат свои обещания лучше, чем мавры. Да хранит тебя Аллах и Мариéн, Мать Его.

После того как это письмо было написано и запечатано, я подождал два дня, пока баньо опять опустеет, и, когда это случилось, стал на обычном месте на крыше, выжидая появления тростинки, которая не замедлила показаться. Хоть я и не мог различить, кто стоял за занавеской, но, увидив тростинку, я показал письмо, давая этим понять, что прошу спустить нитку. Нитка уже была прикреплена к тростинке, и я привязал к ней письмо; через некоторое время звезда наша – тростинка – показалась снова, и на конце ее был платок, как белое знамя мира. Она упала, я ее поднял и нашел в платке более пятидесяти эскудо, в разной серебряной и золотой монете; они в пятьдесят раз усилили нашу радость и укрепили надежду на освобождение. Той же ночью вернулся наш ренегат и сказал нам, что, по его сведениям, в доме этом действительно живет тот самый мавр, о котором нам говорили, по имени Аджи Морато, что он необыкновенно богат и что у него единственная дочь, наследница всего его имущества; все в городе в один голос уверяют, что она самая красивая девушка во всей Берберии; многие вице-короли приезжали просить ее руки, но она упорно не соглашалась выходить замуж. Ренегат узнал также, что была у нее невольница-христианка, которая умерла несколько лет тому назад. Все эти сведения вполне соответствовали тому, что нам было известно из письма.

Мы стали совещаться с ренегатом, каким бы способом нам похитить мавританку и бежать с ней в христианские земли, и наконец порешили мы подождать второй весточки от Зораиды: так звали ту, которая ныне желает называться Марией. Ибо нам было ясно, что только она одна, а не кто-либо другой, может помочь нам найти выход из наших затруднений. На этом мы и остановились, и ренегат стал убеждать нас не беспокоиться, говоря, что он готов погибнуть, лишь бы добыть нам свободу. В течение четырех дней баньо был полон народу, и по этой причине четыре дня тростинка не появлялась. Наконец, когда баньо опять опустел, она снова показалась; но на этот раз узел на ней был таким пузатым, что казалось, предвещал весьма приятное разрешение от бремени. Тростинка с узелком опустилась передо мной; я нашел, кроме письма, сто эскудо только в золотой монете. Ренегат был тут же; мы отвели его в наше помещение и дали прочесть письмо, которое он перевел так:

Я не знаю, сеньор мой, как нам сделать, чтобы уехать в Испанию, и Лела Мариéн тоже ничего мне не сказала, хотя я ее и спрашивала. Но вот что можно устроить[12]: я передам вам через окно очень много золотых монет, а вы выкупите себя и ваших друзей, и пусть один из вас отправится в хри́стианскую землю, купит там фелюгу и вернется в ней за остальными. А меня вы найдете в загородном доме отца, что у Бабазонских ворот[13], неподалеку от морского берега: там я буду проводить лето с отцом и слугами. Оттуда ночью вы легко сможете меня похитить и отвезти к лодке. И не забудь, что ты должен на мне жениться, а если ты этого не сделаешь, я попрошу Мариéн тебя наказать. Если ты никому не можешь доверить покупку фелюги, так выкупи себя и отправляйся сам: я знаю, что ты вернешься вернее, чем кто-либо другой, ибо ты дворянин и христианин. Постарайся узнать, где находится наш сад. Когда ты станешь прогуливаться по двору, я пойму, что, значит, в баньо никого нет, и передам тебе много денег. Да хранит тебя Аллах, о господин мой.

Вот что содержало и гласило это второе письмо. Как только мои товарищи ознакомились с ним, каждый наперебой стал просить, чтобы его выкупили, обещая уехать и точно вернуться к сроку; то же предложил и я. Но ренегат воспротивился этому, говоря, что он ни в коем случае не позволит, чтобы один попал на свободу раньше, чем все другие: он-де по опыту знает, что освободившиеся плохо исполняют обещания, данные ими в плену; уже не раз многие знатные пленники прибегали к этому способу, выкупая одного из своих и отправляя его с деньгами в Валенсию или на Майорку, чтобы он снарядил там фелюгу и вернулся на ней за оставшимися, и уехавшие никогда не возвращались, ибо радость обретения свободы и боязнь снова утратить ее заставляли забывать обо всех обязательствах на свете. И в подтверждение своих слов он вкратце рассказал нам случай, совсем недавно происшедший с некими кабальеро христианами; и хотя в этой стране на каждом шагу случаются происшествия ужасные и удивительные, но даже и здесь это событие показалось необыкновенным[14]. В заключение он заявил, что можно и должно сделать следующее: деньги, предназначенные для выкупа одного из нас, отдать ему на приобретение тут же, в Алжире, фелюги, как будто для торговли с Тетуаном и всем побережьем; будучи хо-

зяином этого судна, он без труда может вывести нас из тюрьмы и посадить на фелюгу. А тем более, если мавританка, согласно своему обещанию, даст денег, чтобы выкупить всех; выйдя на свободу, мы можем сесть на судно хотя бы средь бела дня. Гораздо большее затруднение состоит в том, что мавры не разрешают ренегатам ни покупать, ни иметь никаких судов, кроме больших кораблей, ибо они опасаются, что тот, кто приобретает фелюгу, особенно, если он испанец, замышляет бежать на ней в христианские страны. Но ренегат надеялся устранить и это препятствие, купив фелюгу пополам с одним мавром-тагарином[15] и предоставив ему долю в торговых барышах: под этим прикрытием он станет ее хозяином, а уж тогда все остальное устроится само собой.

Мне и моим товарищам казалось более благоразумным отправить за фелюгой кого-нибудь на Майорку, как нам это советовала мавританка, но мы не посмели перечить ренегату, боясь, что, если мы не исполним его желания, он донесет на нас и откроет наше соглашение с Зораидой; тогда и мы погибнем, и погубим ту, за которую готовы умереть. Итак, мы решили предаться в руки Господа Бога и ренегата. Тотчас же мы сообщили Зораиде, что исполним все ее советы, ибо они так разумны, что, кажется, сама Лела Мариéн внушила их, и что от нее самой зависит отложить это дело или приступить к нему немедля; в заключение я снова предложил ей стать моей женой. И вот, на следующий день, когда случайно баньо опять был пуст, она в несколько приемов с помощью тростинки и платка передала нам две тысячи золотых эскудо, а с ними письмо, в котором говорилось, что в ближайшую *джуму*, то есть пятницу, она переезжает в загородный дом своего отца и что до отъезда передаст нам еще денег, а что если этой суммы не хватит, нам стоит только дать ей знать, и она достанет нам, сколько мы попросим, так как у отца ее так много денег, что он и не заметит пропажи, тем более, что все ключи в ее руках.

Мы сейчас же дали пятьсот эскудо ренегату на покупку фелюги; восемьсот я вручил одному валенсианскому купцу, который в ту пору находился в Алжире, и на честное слово он выкупил меня у короля, пообещав внести деньги, как только прибудет корабль из Валенсии; сразу заплатить он не решился, так как король мог заподозрить, что выкуп за меня хранится у него давно и что он молчал об этом, желая на нем нажиться. Одним словом, мой господин был так подозрителен, что я никоим образом не мог пойти на то, чтобы заплатить ему немедленно. В пятницу Зораида должна была отправиться в загородный дом, а в четверг она передала нам еще тысячу эскудо и известила нас о своем отъезде, прося меня ознакомиться с местоположением этого дома, как только я внесу за себя выкуп, и изыскать способ повидаться с нею там. Я ответил ей в немногих словах, что исполню ее желание и прошу ее обратиться к Леле Мариéн со всеми теми молитвами, каким научила ее невольница. После этого я устроил выкуп всех трех наших товарищей, сделав это для того, чтобы облегчить наш выход из баньо, а также, чтобы они не волновались понапрасну: ибо, увидев, что я себя выкупил, а их нет, хотя денег для этого было достаточно, – они могли подпасть соблазну дьявола и чем-нибудь повредить Зораиде. Правда, я знал их

слишком хорошо, чтобы этого бояться, но все же мне не хотелось рисковать нашим делом. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя: вручил деньги купцу, который с полной уверенностью и безопасностью за них поручился. Однако нашего тайного плана мы ему не открыли, ибо считали это опасным.

ГЛАВА XLI

в которой пленник продолжает свой рассказ

Не прошло и двух недель, как у нашего ренегата уже была превосходная фелюга, в которой помещалось более тридцати человек. Чтобы придать всему этому вполне естественный вид, он решил предпринять путешествие в Сарджел – порт в шестидесяти милях от Алжира в сторону Орана, где происходит крупная торговля сушеными фигами. Он совершил эту поездку два или три раза в сопровождении мавра-тагарина, о котором я уже упоминал. *Тагаринами* в Берберии называют мавров арагонских, а гранадских называют *мудéхарами*; в Фесском же королевстве *мудéхаров* зовут *эльчами*, и король этой страны из них набирает свои войска. Всякий раз по дороге в Сарджел ренегат бросал якорь в небольшой бухте, отстоявшей на расстоянии двух выстрелов из арбалета от дома, в котором ждала нас Зораида. И там со своими гребцами маврами он, как будто невзначай, творил свою *залу* или же в шутку проделывал то, что впоследствии намеревался сделать в действительности: а именно, отправлялся в сад Зораиды и просил фрукты, и отец ее, хоть его и не знал, все же ему не отказывал. Впоследствии он мне сообщил, что пытался повидать Зораиду и сказать ей, что я поручил ему отвезти ее в христианские земли и что ей нечего беспокоиться; но ему ни разу не удалось с нею встретиться, потому что мавританки не показываются ни туркам, ни маврам, разве только по приказанию отца или мужа (с христианскими же пленниками они встречаются и беседуют даже больше, чем следовало бы). А мне было бы неприятно, если бы ему удалось с ней поговорить, так как она могла бы встревожиться, видя, что ее дело доверено ренегату. Но Господь, решивший иначе, не допустил, чтобы доброе желание ренегата было удовлетворено. Последний, убедившись, что он в полной безопасности может ездить в Сарджел и обратно, бросая якорь, где и как ему заблагорассудится, что его товарищ, мавр-тагарин, всецело подчиняется его желаниям, что я уже выкуплен и что остается только отыскать нескольких христиан-гребцов, – попросил меня выбрать из числа пленных тех, кого я хотел бы взять с собой, кроме трех уже выкупленных товарищей, и уговориться с ними, чтобы они были готовы к ближайшей пятнице, – ибо на этот день был назначен наш отъезд. Тогда я столковался с двенадцатью испанцами, отличнейшими гребцами, которые все могли свободно покинуть город. Найти такое количество людей было большой удачей, потому что уже двадцать кораблей отправились в плаванье, забрав всех свободных гребцов; я бы и этих не нашел, если бы их хозяин не остался на лето

на берегу, желая закончить постройку галеры, находившейся на верфи. Я им в кратких словах приказал в ближайшую пятницу тайком и поодиночке выйти из города, отправиться к дому Аджи Морато и ждать там моего прихода. Это приказание я дал каждому в отдельности и прибавил, что если они встретят там других христиан, то пусть скажут им только, что я велел им дожидаться в этом месте.

Покончив с этим делом, я приступил к другому, которое было мне более по сердцу: нужно было сообщить Зораиде, в каком положении находится наше дело, для того чтобы она была предупреждена и осведомлена и не испугалась нашего внезапного нападения, ибо она не могла предположить, что фелюга так скоро прибудет из христианских стран. Итак, я решил пройти к ней в сад и попытаться ее повидать; и вот, накануне моего отъезда, я отправился туда, как будто для того, чтобы собрать травы. Первый человек, с которым я там столкнулся, был отец Зораиды: он заговорил со мной на языке, на котором во всей Берберии и даже в Константинополе объясняются между собой мавры и пленные[1]; язык этот – ни мавританский, ни кастильский, ни вообще наречие какой-нибудь страны, а просто смесь всех языков, но мы на нем отлично друг друга понимаем. Так вот, на этом-то языке он и спросил меня, кто я такой и чего ищу в его саду. Я ответил, что я невольник арнаута Мами[2] (сказал я это потому, что, по моим достоверным сведениям, арнаут Мами был его близким другом), и прибавил, что ищу разных трав, чтобы изготовить салат. Тогда он меня спросил, можно ли меня выкупить или нет, и сколько требует за меня мой хозяин. Пока он меня спрашивал, а я ему отвечал, из дома вышла в сад прекрасная Зораида, уже давно меня заметившая. И так как мавританки, как я уже сказал, нисколько не боятся показываться христианам и не сторонятся их, то она не постеснялась подойти к отцу, который со мной разговаривал; более того, как только Аджи Морато увидел, что она медленно направляется к нам, он позвал ее и велел подойти поскорее.

Невозможно было бы описать вам необыкновенную красоту и грацию моей возлюбленной Зораиды, пышность и изящество ее наряда; скажу только, что в ее косах не было столько волос, сколько было жемчуга на ее прекрасной груди, в ушах и на голове. На щиколотках ее ног, обнаженных по тамошнему обычаю, были надеты две *каркаджи* (так называются по-мавритански кольца или браслеты, которые носят на ногах) из чистейшего золота, усыпанные таким множеством алмазов, что отец ее, как впоследствии она мне говорила, оценивал их в десять тысяч дублонов, да и запястья на ее руках стоили не меньше. На ней было много великолепного жемчуга, – ибо у мавританских женщин драгоценный жемчуг, крупный и мелкий, считается самым пышным украшением. Поэтому у мавров жемчуга больше, чем у всех остальных народов; а про отца Зораиды ходила молва, что он обладает не только большим количеством самого лучшего во всем Алжире жемчуга, но и капиталом в двести тысяч испанских эскудо, и госпожой всего этого богатства была та, что ныне стала моей супругой. Если после всех перенесенных бедствий она осталась такой, какой вы ее види-

те, посудите, сеньоры, какой должна была она быть в роскошном наряде и во времена благополучия. Ведь известно, что у многих женщин красота меняется в зависимости от времени и обстоятельств, уменьшаясь или увеличиваясь от случая; и вполне естественно, что страсти души то возвышают, то принижают ее, а чаще всего губят. Одним словом, в тот момент и ее красота и ее убор достигали предела совершенства, – по крайней мере, ничего более прекрасного до тех пор я не видел, и помня, скольким я ей обязан, я решил, что это богиня сошла с неба на землю, чтобы спасти и осчастливить меня.

Когда она подошла, отец объяснил ей на их языке, что я – невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать трав для салата. Она заговорила на том смешанном языке, о котором я уже упоминал, и спросила меня, дворянин ли я и почему я еще себя не выкупил. Я ответил ей, что я уже свободен и что по размеру моего выкупа нетрудно заключить, как меня высоко оценил мой хозяин: я должен был выплатить ему тысячу пятьсот *солтани*[3]. Тогда она сказала:

– Поистине, если бы ты принадлежал моему отцу, я бы настояла, чтобы он не отдавал тебя и за сумму в два раза большую, потому что вы, христиане, лжете во всех ваших речах и притворяетесь бедняками, чтобы обмануть мавров.

– Быть может, это и так, сеньора, – отвечал я, – но с моим господином я поступил по совести, и так поступаю и буду поступать с кем бы то ни было.

– А когда ты уезжаешь? – спросила Зораида.

– Надеюсь, завтра, – ответил я, – потому что в гавани стоит французский корабль, который завтра снимается с якоря, и я думаю уехать на нем.

– Разве не лучше, – возразила Зораида, – подождать корабля из Испании и уехать на нем, чем отправляться с французами, которые вам не друзья?

– Нет, – ответил я, – если бы подтвердился слух, что вскоре прибудет корабль из Испании, я бы, конечно, его подождал, но все же вероятнее, что я уеду завтра, ибо у меня столь сильное желание увидеть родину и людей, близких моему сердцу, что, если иной, более удобный случай уехать запоздает, я не стану его дожидаться.

– Ты, должно быть, оставил на родине жену, – сказала Зораида, – и торопишься уехать, чтобы увидеться с нею?

– Нет, – ответил я, – жены я не оставлял, но дал слово жениться, как только вернусь на родину.

– А красива та, которой ты дал слово? – спросила Зораида.

– Так красива, – ответил я, – что лучшей похвалы ей я не найду, чем сказав, что она, право, очень похожа на тебя.

Услышав это, отец Зораиды громко рассмеялся и сказал:

– Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста действительно красавица, если она похожа на мою дочь, ибо Зораида – самая красивая девушка во всем нашем королевстве. Не веришь, так посмотри на нее и увидишь, что я говорю правду.

В течение почти всего этого разговора отец Зораиды служил нам переводчиком, так как был более сведущ в языках. Действительно, хоть она и говори-

ла на ломаном языке, который, как я уже сказал, употребляется в этих странах, все же она больше изъяснялась знаками, чем словами. Так мы толковали о том, о сем, как вдруг прибежал мавр и закричал, что через забор и стены сада перелезли четыре турка, которые рвут фрукты, хотя они еще не созрели. И старик и Зораида сильно взволновались, ибо все мавры обычно вполне естественно боятся турок, особенно солдат, которые так дерзки и пользуются такой властью над подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем со своими рабами. Поэтому отец сказал Зораиде:

– Дочь моя, ступай домой и хорошенько запрись, а я пойду разговаривать с этими собаками. Ты же, христианин, кончай собирать свои травы, а потом отправляйся в добрый час, и да поможет тебе Аллах благополучно вернуться на родину.

Я поклонился ему, и он ушел к туркам, оставив меня вдвоем с Зораидой. Та сделала вид, что идет домой, как ей было приказано, но, едва только отец скрылся за деревьями сада, она вернулась ко мне и с глазами, полными слез, сказала:

– *Тáмшиши, кристиано, тáмшиши*? (что значит: ты уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?)

Я ей ответил:

– Да, сеньора, но без тебя – ни за что. Жди меня в первую *джуму*[4] и не пугайся, когда нас увидишь. Мы непременно уедем в христианские земли.

Я все ей объяснил так, что она поняла все мои слова; затем обвила мне одной рукой шею и, опираясь на меня, дрожащими шагами направилась к дому. Это могло бы очень плохо для нас кончиться, если бы судьбе не было угодно устроить иначе, ибо, когда мы шли, обнявшись так, как я только что сказал, отец Зораиды, прогнав турок, повернул назад и увидел, что она обвивает рукой мою шею; да и мы увидели, что он нас увидел. Но находчивая и разумная Зораида не сняла своей руки, а напротив, еще теснее прижалась ко мне, положив голову мне на грудь и немного согнула колени, как бы ясно этим показывая, что готова лишиться чувств, а я, в свою очередь, сделал вид, что поддерживаю ее, словно нехотя. Отец подбежал к нам и, видя состояние дочери, спросил, что с ней, и, не получив ответа, сказал:

– Ну, конечно, она испугалась вторжения этих собак, и ей стало дурно.

Потом, приняв ее из моих рук, положил ее голову себе на грудь, а она с глубоким вздохом приоткрыла еще влажные от слез глаза и сказала мне:

– *Амеши, кристиано, áмеши* (что значит: уходи, христианин, уходи).

На что отец ответил:

– Зачем христианину уходить? Ведь он не сделал тебе никакого зла, а турки уже убрались. Не бойся, никто тебя не обидит; говорю тебе, что турки, по моей просьбе, ушли, откуда явились.

– Они-то ее и испугали, сеньор, – сказал я отцу Зораиды; – но, раз она велит мне уходить, я не хочу ее огорчать. Оставайтесь с Богом, а я, если ты разрешишь, приду еще раз, когда мне понадобятся травы для салата, ибо

господин мой говорит, что ни в одном саду нет лучших трав для салата, чем у тебя.

– Можешь приходить, когда тебе захочется, – сказал Аджи Морато, – ибо моя дочь сказала это не потому, чтобы ты или другой какой-нибудь христианин были ей неугодны. Она хотела сказать туркам "уходите", а сказала это тебе; а может быть, хотела сказать, что тебе пора идти собирать травы.

На этом я распростился с ними обоими; Зораида, у которой, как видно было, разрывалось сердце, последовала за отцом, а я, под предлогом собирания трав, тщательно и сколько мне хотелось обошел весь сад; осмотрел хорошенько все ходы и выходы, все запоры дома и изучил все подробности, которые были важны для успеха нашего дела. Проделав это, я отправился к ренегату и товарищам и сообщил им обо всем случившемся; я не мог дождаться той минуты, когда мне будет позволено без помехи насладиться счастьем, ниспосланным мне судьбой в лице прекрасной Зораиды. Наконец подошло время, и наступил столь долго нами ожидаемый день и срок. Действуя сообразно с планом, выработанным нами после зрелого обсуждения и долгих размышлений, мы легко достигли желаемого успеха. На следующий день после моего свидания в саду с Зораидой, а именно в пятницу, ренегат, как только стемнело, бросил якорь как раз против дома прекрасной Зораиды.

Христиане, которые должны были грести на нашей фелюге, уже были предупреждены и попрятались в разных местах по соседству с домом. Они ждали меня с нетерпением и тревогой, готовые напасть на корабль, остановившийся перед самыми их глазами, ибо они не знали о нашем уговоре с регенатом и полагали, что им придется силой собственных рук завоевать свободу и перебить всех находившихся на корабле мавров. Как только я появился с товарищами, все сидевшие в засаде, увидя нас, выбежали нам навстречу. Был час, когда городские ворота уже закрываются, и на всем берегу не видно было ни души. Собравшись все вместе, мы не могли решить, отправиться ли нам сначала за Зораидой, или же захватить мавров-багаринов[5], сидевших на весла́х на фелюге. Пока мы колебались, подоспел ренегат и спросил, почему мы медлим: уже пора, мол, начинать; его гребцы-мавры ничего не подозревают, и большинство их спит. Мы сообщили ему наши сомнения, и он ответил, что самое важное – прежде всего захватить корабль, что можно сделать с большой легкостью и без всякого риска, а уже потом следует отправиться за Зораидой. Все мы одобрили его решение и, не медля более, под его предводительством двинулись к кораблю; он первый вскочил на него и, схватив свой палаш, крикнул по-арабски:

– Тот, кто из вас двинется, заплатит за это жизнью!

В это время уже почти все христиане были на палубе. Малодушные мавры, услышав такие слова своего арраэса[6], перепугались и, не берясь за оружие, которого к тому же у них почти не было, молча позволили христианам связать им руки; те быстро все это проделали, грозя перерезать их всех до единого, если только кто-нибудь из них вздумает крикнуть. Когда с этим было покончено, половина наших осталась сторожить связанных, а остальные, с ренегатом во гла-

ве, отправились к саду Аджи Морато, и, как только мы собрались взламывать ворота, они отворились так легко, как будто по счастливой случайности вовсе не были заперты; затем в полной тишине и молчании мы подошли к дому, так что никто нас не услышал.

Прекрасная Зораида ждала нас, стоя у окна, и, заслышав наши шаги, тихим голосом спросила, не низарани[7] ли мы (это значит: не христиане ли). Я ответил ей: "да" – и попросил спуститься вниз. Узнав меня, она, не колеблясь ни минуты и не отвечая ни слова, тотчас же спустилась, отперла дверь и предстала перед нами в таком блеске красоты и богатого наряда, что описать невозможно. Как только я ее увидел, я схватил ее руку и стал ее целовать; ренегат и два моих спутника сделали то же, да и остальные последовали их примеру, ибо, хоть они и не знали, в чем дело, но им было ясно, что мы благодарим ее за освобождение и признаем нашей госпожой. Ренегат спросил Зораиду по-арабски, дома ли ее отец. Она отвечала, что дома и спит.

– Что ж, придется нам его разбудить и увезти с собою, – сказал ренегат, – захватив все, что есть ценного в этом прекрасном доме.

– Нет, – ответила она, – отца моего ни в коем случае нельзя трогать, а все, что есть в доме ценного, я захвачу с собой. Поверьте, этого хватит, чтобы обогатить и удовлетворить вас всех; погодите немного, вы сейчас увидите.

И с этими словами она вошла обратно в дом, попросив нас не двигаться и не шуметь, так как она сейчас же вернется. Я спросил ренегата, о чем он говорил с Зораидой, и он передал мне их разговор; тогда я сказал ему, что он обязан делать только то, что будет ей угодно. В эту минуту она появилась со шкатулкой, полной золотых эскудо; она с трудом ее несла – столько там было золота. Но злой судьбе нашей было угодно, чтобы в это время проснулся отец Зораиды и услышал шум в саду; высунувшись в окно, он тотчас же заметил, что в саду находятся христиане, и стал громко и пронзительно кричать по-арабски:

– Христиане, христиане! Воры, воры!

Эти крики привели нас всех в великое и страшное смятение. Однако ренегат, увидев, какой мы подвергаемся опасности, и поняв, что нам нужно покончить с этим прежде, чем слуги сбегутся на его зов, с величайшей поспешностью бросился в комнату Аджи Морато; некоторые из наших спутников последовали за ним, а я не решился оставить Зораиду, которая почти без чувств упала мне на руки. Взбежав по лестнице, они так ловко обделали дело, что в одно мгновение привели Аджи Морато со связанными руками и платком во рту; он не мог выговорить ни слова, и они грозили ему смертью, если только он попытается заговорить. Увидев отца, Зораида закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на него, он же был весьма изумлен, не зная еще, что она добровольно отдалась в наши руки. Но в ту минуту мы думали только о том, как бы унести ноги и поэтому поспешно добрались до фелюги, где остальные ожидали нас с тревогой, боясь, не случилось ли с нами какой беды.

Еще не было двух часов ночи, как мы уже были все в сборе на фелюге. Там отцу Зораиды развязали руки и вынули изо рта платок, но ренегат повторил,

что, если он скажет хоть слово, его сейчас же убьют. А он, увидев дочь, стал нежно вздыхать, и вздохи его еще усилились, когда он заметил, что я сижу с ней обнявшись, а она не защищается, не жалуется, не отталкивает меня и принимает это спокойно; и все же он молчал, боясь, как бы мы не привели в исполнение ужасной угрозы ренегата. Зораида, увидев, что все мы уже на судне и собираемся отчаливать, увозя с собой ее отца и связанных по рукам мавров, попросила ренегата передать мне, что она умоляет меня о милости – отпустить мавров и освободить отца, ибо она скорей бросится в море, чем увидит своими глазами, что из-за нее увезут в плен отца, так горячо ее любившего. Ренегат передал мне ее слова, и я выразил свое согласие. Но он ответил, что это не годится, ибо если мы их сейчас отпустим, они позовут на помощь и поставят на ноги весь город; а тогда пошлют за нами в погоню несколько легких фрегатов и окружат нас с суши и с моря, так что мы не сможем никуда спастись; единственное, что можно было сделать, это спустить пленников на берег в первом же христианском порту. На этом мы и порешили. Когда Зораиде объяснили, по каким причинам мы не в состоянии немедленно исполнить ее желание, она тоже с нами согласилась; и вот, с веселым рвением и тихой радостью, наши славные гребцы сели на весла, и, от всей души поручив себя воле Божией, поплыли мы по направлению к Майоркским островам[8] – ближайшей от нас христианской земле. Но тут поднялся северный ветер, море разбушевалось, и нам оказалось невозможно держать путь прямо на Майорку: пришлось плыть вдоль берега в сторону Орана, что нас очень беспокоило, ибо мы опасались, как бы нас не заметили из Сарджела, гавани, находящейся на том же побережье, в шестидесяти милях от Алжира; а кроме того, мы боялись встретить в этих водах какую-нибудь галеру, возвращающуюся с товаром из Тетуана. Впрочем, каждый из нас и все вместе мы полагали, что так как купеческая галера – не военный корабль, то встреча с ней не только не погубит нас, а, напротив, даст нам возможность завладеть судном, на котором мы сможем завершить наше путешествие с большей безопасностью. Во все время плавания Зораида лежала, спрятав лицо в моих руках, чтобы не видеть отца, и я слышал, как она молила Лелу Мариéн помочь нам.

Так проплыли мы, должно быть, миль тридцать, когда рассвет застиг нас на расстоянии трех аркебузных выстрелов от берега. Он был пустынен, и никто не мог нас заметить; но все же гребцы наши изо всех сил налегли на весла, держа в открытое море, которое к тому времени немного успокоилось. Отъехав мили на две, мы предложили гребцам работать в четыре смены, чтобы отдыхающие могли поесть, тем более, что фелюга шла отлично; но гребцы на это ответили, что еще не настало время для отдыха и что пусть их покормят те, кто не на веслах, – они же во что бы то ни стало хотят продолжать грести. Так и было сделано, а в это время подул попутный ветер, и мы, оставив весла, подняли паруса и стали держать путь на Оран, ибо в другую сторону плыть было невозможно. Этот маневр был исполнен с большой быстротой, и на парусах мы стали делать более восьми миль в час; одного мы только боялись – встречи с каким-нибудь корсарским судном. Мы дали поесть маврам, и ренегат успокоил их, сказав, что

их в рабство не отдадут, а освободят при первом же подходящем случае. То же самое сказали и отцу Зораиды, который на это ответил:

– Я многому готов поверить и многого готов ждать от вашей доброты и великодушия, о христиане, но, когда вы обещаете мне свободу, я не так прост, чтобы вообразить, что вы, с такой опасностью для себя отняв ее у меня, теперь так охотно отдадите обратно. Ведь вы знаете, кто я и какую выгоду вы можете извлечь, захватив меня. Если вы определите ее размеры, я немедленно готов заплатить вам все, что вы потребуете в качестве выкупа за меня и несчастную мою дочь, или только за нее одну, ибо она лучшая и большая часть моей души.

Говоря это, он заплакал так горько, что всем нам стало его жаль, а Зораида взглянула на него и, увидев его слезы, растроганная, вскочила с моих колен и бросилась его обнимать; прижавшись лицом к его лицу, она заплакала вместе с ним так чувствительно, что многие из нас тоже не могли удержать слез. Но, когда отец заметил, что дочь его одета по-праздничному, вся в драгоценных камнях, он сказал ей на их языке:

– Что значит, дочь моя, что вчера вечером, перед тем как случилась с нами эта ужасная беда, я видел тебя в простом домашнем платье, а сегодня на тебе самый богатый наряд из всех, которые я когда-либо дарил тебе в лучшие дни? Ведь и времени у тебя не было переодеться, да и не случилось никакой хорошей новости, которая могла бы побудить тебя отпраздновать ее, нарядившись и приукрасившись. Отвечай же мне, ибо это обстоятельство смущает и удивляет меня еще больше, чем постигшее меня бедствие.

Все, что мавр говорил дочери, ренегат переводил нам; она же не отвечала ему ни слова. Но тут Аджи Морато, заметив у борта шкатулку, в которой дочь его обычно хранила свои драгоценности, и помня, что Зораида оставила ее в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, смутился и спросил ее, каким образом шкатулка попала к нам в руки и что в ней находится. Тогда ренегат, не дожидаясь ответа Зораиды, сказал:

– Не трудись, мой сеньор, задавать твоей дочери столько вопросов; я могу одним словом ответить на все. Итак, знай, что она – христианка; это она распилила наши цепи и вывела нас из плена. Она последовала за нами по своей доброй воле, и думается мне, что счастлива она не менее того, кто из мрака вышел к свету, из смерти к жизни, из мук к блаженству.

– Правда ли то, что он говорит, дочь моя? – спросил мавр.

– Правда, – ответила Зораида.

– И ты действительно христианка и предала отца своего врагам?

Зораида на это ответила:

– Я христианка, это правда, но тебя не предавала. Никогда у меня не было желания покинуть тебя или причинить тебе зло; я только искала для себя добра.

– И какое же добро ты нашла для себя, дочь моя?

– Об этом спроси Лелу Мариéн, она лучше меня объяснит тебе, – ответила Зораида.

Едва мавр это услышал, как с невероятной быстротой он бросился вниз головой в море; и он бы, наверное, утонул, если бы его длинное и просторное платье не удержало его некоторое время на поверхности. Зораида стала кричать, зовя на помощь, мы все кинулись и, ухватив его за альмалафу, вытащили из воды полуживого и без сознания. Зораида в отчаянии стала горестно и нежно плакать над ним, как над умершим. Мы положили его лицом вниз; изо рта его полилась вода, и через два часа он пришел в себя. За это время ветер переменился, и нас понесло к земле, так что пришлось грести изо всех сил, чтобы не быть выброшенными на берег. Но доброй нашей судьбе угодно было пригнать нас в бухту, расположенную за небольшим мысом или косой, которую мавры называют *Кава румúя*[9], что на нашем языке значит *Блудница-христианка*. Ибо среди мавров существует предание, что в этом месте похоронена *Кава*, по вине которой была потеряна Испания; *Кава* на их языке означает – блудница, а *румúя* – христианка. И когда им по необходимости приходится приставать к этому мысу и бросать там якорь, они считают это дурным предзнаменованием и без крайней надобности никогда этого не делают. Но для нас это место было не убежищем блудницы, а безопасной гаванью, спасшей нас от бури на море. Мы поставили на берегу часовых, между тем как наши гребцы продолжали сидеть на веслах; затем подкрепили себя пищей, которую захватил для нас ренегат, и от всей души помолились Господу Богу и Святой Деве, прося их помочь нам благополучно докончить столь счастливо начавшееся плаванье. Зораида стала снова умолять нас высадить на сушу отца и всех остальных связанных мавров, ибо ее нежное сердце терзалось и она не могла дольше видеть перед собой в оковах отца и соотечественников. Мы пообещали исполнить ее просьбу перед самым отъездом, ибо высадить их в этой безлюдной местности не представляло для нас никакой опасности. Наши молитвы не были тщетны, и небо нас услышало: ветер ослабел, и море успокоилось, приглашая нас радостно продолжать начатое путешествие. Увидев это, мы развязали мавров и поодиночке спустили их на землю, чем они были крайне поражены. Но, когда мы собирались высадить отца Зораиды, который к тому времени окончательно пришел в себя, он сказал:

– Как вы думаете, христиане, почему эта злая женщина радуется, что вы даруете мне свободу? Вы полагаете, что она поступает так из сострадания ко мне? Конечно, нет: она не хочет, чтобы мое присутствие смущало ее, когда она захочет удовлетворить свои низкие желания. И не верьте, что она переменила веру, убедившись, что ваша религия лучше нашей; нет, просто ей сказали, что в вашей стране легче заниматься распутством, чем у нас!

Затем он обратился к Зораиде, между тем как я с одним товарищем крепко держали его за руки, опасаясь, как бы он не решился на какой-нибудь безумный поступок:

– О бесчестная и неразумная дева! Куда, ослепленная и безумная, бежишь ты с этими собаками – природными нашими врагами? Да будет проклят час твоего рождения, да будут прокляты ласка и нега, в которых я тебя взрастил!

Видя, что он собирается долго так говорить, я поторопился высадить его на берег; а он и там продолжал проклинать нас и жаловаться, моля Магомета упросить Аллаха, чтобы он истребил, уничтожил и доконал нас. И, когда мы порядочно отъехали, распустив паруса, так что голос его перестал долетать до нас, мы продолжали видеть его движения: он терзал бороду, вырывал волосы на голове и катался по земле, а один раз он так возвысил голос, что мы расслышали его слова:

– Дочь моя любимая, причаль к берегу, я все тебе прощаю! Отдай этим людям золото, которое все равно уже в их руках, и приди утешить твоего несчастного отца, который умрет на этом пустынном берегу, если ты его покинешь!

Зораида все это слушала с глубоким чувством, плакала и, наконец, так ответила:

– Да будет угодно Аллаху, отец мой, чтобы тебя утешила в печали Лела Марие́н, по воле которой я стала христианкой. Аллаху ведомо, что не могла я поступить иначе, чем поступила, и что мое решение не зависело от этих христиан; так как, если бы даже я захотела остаться дома и не ехать с ними, это было бы мне невозможно из-за пламенного желания моего совершить доброе дело, которое тебе, любимый мой отец, кажется таким дурным.

Она это говорила, но мавра уже не было видно, и он не мог ее слышать. Я стал утешать Зораиду, а другие принялись за дело. Благоприятный ветер помогал нашему плаванью, и все мы были уверены, что на следующий день на рассвете увидим уже берега Испании. Но очень редко (вернее – никогда) добро приходит к нам в чистом виде, без всякой примеси: зло обычно сопровождает его и сопутствует ему, пятная его и омрачая. Судьба ли в этом была виновата, или проклятия, которые мавр призвал на голову своей дочери, – а какой бы ни был отец, проклятия его всегда страшны, – но только, когда мы были в открытом море и плыли на всех парусах с поднятыми веслами, ибо попутный ветер позволял гребцам отдохнуть от труда, часа в три ночи, при свете луны, ярко сиявшей на небе, мы заметили невдалеке корабль, называемый "круглым"[10], который, слегка накренившись, мчался на полных парусах прямо нам наперерез. Он прошел так близко, что нам пришлось подобрать паруса, чтобы не наскочить на него, да и на встречном судне изо всех сил налегли на руль, чтобы пропустить нас мимо. С его борта стали нас спрашивать, кто мы, откуда и куда плывем; но так как спрашивали они по-французски, то ренегат сказал:

– Не отвечайте ни слова: это, несомненно, французские корсары, которые никого не щадят.

После такого предупреждения никто из нас не ответил. Мы миновали корабль и оставили его с подветренной стороны, но в эту минуту раздались два пушечных выстрела; должно быть, это были двойные ядра, соединенные между собой цепочкой, ибо первый снаряд срезал половину нашей мачты, которая с парусом обрушилась в воду, а второй, пущенный вслед за ним немедленно, попал в середину нашего судна, пробив его насквозь, но не причинив нам никакого другого вреда. Видя, что наша фелюга погружается, мы стали громко кри-

чать и звать на помощь, умоляя подобрать нас, потому что мы шли ко дну. Тогда они собрали паруса и спустили лодку или баркас, в который села дюжина французов, вооруженных аркебузами с зажженными фитилями. Они подъехали к нам и, увидя, что нас немного и что фелюга идет ко дну, погрузили нас на лодку и заявили, что эта беда приключилась с нами оттого, что мы так невежливо не ответили на их вопрос. Наш ренегат схватил шкатулку с драгоценностями Зораиды и бросил ее в море, причем никто не заметил, как он сделал это.

Когда мы попали к французам на корабль, они расспросили нас обо всем, что им хотелось знать, и затем, как злейшие враги, ограбили нас дочиста, отняв у Зораиды даже браслеты, которые были у нее на ногах; но меня не столько мучила та обида, которую они нанесли Зорaиде, сколько страх, что, отняв у нее богатейшие и драгоценнейшие сокровища, они посягнут потом и на то сокровище, которое было дороже всех остальных и которое она ценила больше всего. Но эти люди думают только о деньгах, и корыстолюбие их ненасытно: жадность их доходила до того, что они не задумались бы снять с нас нашу тюремную одежду, если бы она могла им на что-нибудь пригодиться. Потом стали они между собой обсуждать, не завязать ли им нас всех в парус и не бросить ли в море, так как они намеревались торговать в испанских портах, выдавая себя за бретонцев, и потому боялись, как бы их грабеж не открылся и их бы не наказали, если они привезут нас живыми. Но капитан – тот самый, который ограбил мою возлюбленную Зораиду, – заявил, что с него довольно этой добычи и что он не желает заходить ни в один из испанских портов, а думает продолжать путь и, миновав ночью Гибралтарский пролив, вернуться в Ла Рошель, откуда они выехали. Поэтому они решили дать нам лодку с корабля и снабдить нас всем необходимым для оставшегося нам короткого переезда; так они и сделали на следующий день, уже в виду испанского берега. Когда мы его завидели, радость наша была так велика, что мы забыли все наши горести и невзгоды, как будто с нами ничего дурного не случилось: так сладостно было нам обрести утраченную свободу.

Было, должно быть, около полудня, когда французы посадили нас в лодку и дали нам два бочонка воды и немного сухарей. И, когда прекрасная Зораида спускалась в лодку, капитан, движимый внезапным состраданием, подарил ей сорок золотых эскудо и не разрешил матросам снять с нее платье, в котором вы ее сейчас видите. Мы сели в лодку и поблагодарили их за оказанную нам милость, выразив им скорее признательность, нежели неудовольствие. Французский корабль скрылся в открытом море в направлении пролива, а мы, держа, как на путеводную звезду, прямо на видневшийся перед нами берег, с таким напряжением налегли на весла, что при заходе солнца подъехали совсем близко к земле и уже надеялись до наступления ночи высадиться на сушу. Но так как в эту ночь луна не светила, небо было черное, и мы не знали точно, где мы находимся, то мы считали небезопасным немедленно пристать к берегу. Многие, однако, полагали, что все же лучше высадиться, хотя бы среди скал и далеко от жилья, ибо тогда нам можно будет не бояться кораблей тетуанских корсаров,–

опасения же эти были вполне справедливы, так как в этом месте постоянно разъезжают корсары: вечером они в Берберии, а наутро – нередко уже у берегов Испании и, захватив там добычу, возвращаются ночевать домой. Обсудив эти противоположные мнения, мы наконец порешили не спеша подойти к берегу и, если море будет не очень бурное, высадиться где придется. Так мы и сделали и незадолго до полуночи прибыли к подножию высокой и крутой горы, начинавшейся, однако, не у самого берега, так что оставалась небольшая полоса земли, где можно было удобно причалить. Лодка врезалась в песчаное дно, мы вышли на сушу и, поцеловав землю, с величайшей радостью и слезами возблагодарили Господа Бога за несравненную милость, ниспосланную нам. Вытащив лодку на берег, мы достали из нее все припасы и поднялись довольно высоко в гору; но даже и там мы не могли успокоить волнение сердца и окончательно поверить, что ноги наши ступают по христианской земле.

Рассвет наступил медленнее, чем бы мне хотелось. Мы дошли до вершины горы и стали смотреть во все стороны, не увидим ли где-нибудь селения или пастушьей хижины; но, как мы ни напрягали зрение, ничего не было видно – ни людей, ни селения, ни дороги, ни тропинки. Тем не менее мы решили продолжать путь в глубь страны: должны же мы были наконец встретить кого-нибудь, кто бы нам сказал, где мы находимся. Но более всего меня мучило то, что Зораида шла пешком по этой тяжелой дороге. Я попробовал посадить ее себе на плечи, но она больше уставала от моей усталости, чем отдыхала от своего отдыха, и потом уж ни за что не соглашалась, чтобы я ее нес. Она шла терпеливо и весело, держа меня за руку. Так прошли мы около четверти мили, как вдруг до нашего слуха донесся звук колокольчика, ясно говоривший, что неподалеку находится стадо. Мы все стали пристально вглядываться и наконец увидели у подножия дуба молодого пастуха, который спокойно и беззаботно вырезывал ножом палочку. Мы закричали, на наши голоса он поспешно вскочил и, как мы впоследствии узнали, первыми он заметил ренегата и Зораиду. Увидев людей в мавританском платье, он подумал, что на него ополчилась вся Берберия, и, бросившись в рощу, находившуюся поблизости, стал кричать пронзительным голосом:

– Мавры высадились на сушу! Мавры, мавры! К оружию! К оружию!

Мы были так смущены его криком, что не знали, что нам делать; но решив, что эти крики поднимут на ноги все население и что береговая конная стража не замедлит явиться узнать, в чем дело, мы посоветовали ренегату снять турецкое платье и надеть на себя невольничью куртку или полукафтанье, которое ему уступил один из пленников, сам оставшись в одной рубашке. Итак, поручив себя воле Божией, пошли мы по той же дороге, по которой убежал пастух, все ожидая, что вот-вот нагрянет береговая стража. И предчувствие нас не обмануло, ибо не прошли мы и двух часов, как, выйдя из чащи на равнину, увидели около пятидесяти всадников, которые быстро, коротким галопом мчались на нас; при виде их мы остановились, поджидая. Они подскакали и, убедившись, что мы не мавры, которых они разыскивали, а бедные христиане, видимо смутились, и один из них спросил, не по нашей ли вине один пастух тут взывал к оружию.

"Да", ответил я и собирался рассказать ему, откуда мы, кто мы и что с нами случилось, но в эту минуту один из христиан, наших спутников, узнал всадника, который нас допрашивал, и, перебив меня, воскликнул:

– Возблагодарим Господа, приведшего нас в эти счастливые пределы, ибо, если я не ошибаюсь, сеньоры, мы ступаем по земле Ве́лес-Ма́лаги![11] И если годы плена еще не помрачили моей памяти, то вы, сеньор, спрашивающий, кто мы такие, – Педро де Бустаманте, мой дядя.

Не успел пленник произнести эти слова, как всадник, соскочив с лошади, обнял юношу и сказал:

– Племянник, радость души и жизни моей, узнаю тебя! И я, и моя сестра, твоя мать, и все из твоих родственников, кто остались еще в живых, оплакивали твою смерть, но Господу было угодно продлить их дни, чтобы могли они порадоваться встрече с тобой. Мы знали, что ты в Алжире, и по виду и одежде твоей и всех твоих спутников я догадываюсь, что вы чудом спаслись из плена.

– Так оно и есть, – отвечал юноша, – у нас будет еще время все вам рассказать.

Когда другие всадники услышали, что мы – пленники-христиане, они спешились и предложили нам своих лошадей, чтобы отвезти нас в город Ве́лес-Ма́лагу, находившийся на расстоянии полутора миль. Часть всадников, узнав от нас, где мы оставили лодку, отправились за ней, чтобы привезти ее в город; остальные же посадили нас на крупы своих лошадей. Зораида села на лошадь дяди юного пленника. Весь город вышел к нам навстречу, ибо один из всадников, опередив нас, сообщил уже о нашем прибытии. Жителей удивляло не то, что перед ними были освобожденные пленники, а хоть бы даже и плененные мавры, – население этого побережья привыкло видеть и тех и других, – нет, удивляла их красота Зораиды, особенно блистательная в ту минуту: от усталости долгого пути и от радости, что она наконец в полной безопасности и в стране христиан, яркий румянец выступил на ее лице. И, если только любовь меня не ослепляет, я решусь утверждать, что более прекрасного создания свет не видал, по крайней мере, не видали мои глаза.

Мы отправились прямо в церковь возблагодарить Бога за оказанную нам милость, и Зораида, войдя, сказала, что она видит лица, похожие на Лелу Марие́н. Мы ей объяснили, что это – образа Святой Девы, и ренегат постарался, как только мог, растолковать, что́ это означает и почему она должна почитать их, как если бы каждое изображение воистину было той самой Лелой Марие́н, которая с ней беседовала. Зораида, будучи весьма сообразительной и обладая от природы быстрым и ясным умом, все, что было ей рассказано об образах, легко усвоила. Затем нас увели и разместили по разным домам, а Зораиду, меня и ренегата пленник, наш спутник, повел в дом к своим родителям, которые, будучи людьми довольно зажиточными, приняли нас с не меньшей любовью, чем собственного сына.

Шесть дней пробыли мы в Ве́лесе, а затем ренегат, узнав, как ему лучше поступить, отправился в город Гранаду, чтобы там при посредстве святой инкви-

зиции вернуться в лоно Святой Церкви; остальные же освобожденные христиане отправились кому куда заблагорассудилось. Остались лишь мы вдвоем с Зораидой, и были у нас только те эскудо, которыми Зораида была обязана любезности француза; на эти деньги купил я лошадь, на которой она сюда приехала. До сих пор я был для нее отцом и слугой, но не супругом, и едем мы на родину узнать, жив ли еще мой отец и не посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше, чем мне; хотя, впрочем, мне кажется, что судьба, послав мне в спутницы жизни Зораиду, не могла подарить мне более великого и ценного блага. Она с таким терпением переносит лишения, которые влечет за собой бедность, и так страстно желает стать христианкой, что я, исполнившись восхищения, готов служить ей до скончания дней моих. Но радость, испытываемая мной при мысли, что я принадлежу ей, а она мне, отравлена и омрачена, ибо я не знаю, найду ли у себя на родине уголок, где бы мог с ней поселиться; ибо может быть, что отца и братьев уже нет в живых, или за это время в делах их произошли такие перемены, что некому будет меня встретить.

Вот и вся моя история, сеньоры. Судите сами, насколько она занимательна и приятна; что же касается меня, то скажу только, что мне хотелось бы рассказать вам ее еще покороче, хотя боязнь наскучить вам и без того заставила меня пропустить несколько подробностей.

ГЛАВА XLII

в которой рассказывается о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других вещах, достойных внимания

Сказав это, пленник умолк, а дон Фернандо воскликнул:

– Поистине, сеньор капитан, искусство, с которым вы нам рассказали о ваших удивительных приключениях, равняется их необычайности. История ваша редкостная, необыкновенная, полная неожиданностей, которые восхищают и захватывают слушателей. Удовольствие, полученное нами от вашего рассказа, так велико, что если бы даже он затянулся до зари, то и тогда бы мы готовы были выслушать его с начала.

После этих слов дон Фернандо, Карденио и все остальные стали предлагать пленнику свои услуги в таких сердечных и искренних выражениях, что капитан был очень тронут их дружеской готовностью. В частности, дон Фернандо предложил пленнику отправиться с ним, обещая устроить так, что его брат маркиз будет крестным отцом Зораиды, а он, со своей стороны, снабдит его всем необходимым, чтобы капитан мог вернуться в свои края с честью и достатком, подобающими его званию. Пленник любезно поблагодарил за все эти великодушные предложения, но не принял ни одного из них.

Тем временем уже наступила ночь, и, когда совсем стемнело, к постоялому двору подъехала карета, окруженная несколькими всадниками. Они потребова-

ли помещения, на что хозяйка ответила, что во всей гостинице нет ни одного свободного закоулка.

– Как бы там ни было, – заявил один из подъехавших всадников, – а для сеньора аудитора[1], которого мы сопровождаем, местечко отыщется.

Услыхав это, хозяйка смутилась и сказала:

– Дело-то в том, сеньор, что у нас нет ни одной кровати, но если его милость сеньор аудитор, как я полагаю, везет с собой свою постель, то просим его пожаловать; чтобы угодить его милости, мы с мужем уступим ему нашу комнату.

– В добрый час, – сказал слуга.

В это время из кареты уже вышел человек, по костюму которого сразу можно было заключить о его чине и звании; его длинная мантия и рукава в сборах показывали, что слуга сказал правду и что это был действительно аудитор. Он держал за руку девушку лет шестнадцати в дорожном платье, такую хорошенькую, нарядную и изящную, что при виде ее все пришли в восхищение; и, если бы присутствующие не видели перед этим Доротеи, Люсинды и Зораиды, они бы, наверное, решили, что другую такую красавицу трудно отыскать на свете.

Дон Кихот, наблюдавший прибытие аудитора с девушкой, сказал:

– Ваша милость без опасений может вступить в этот замок и расположиться в нем. Правда, в нем тесно и неудобно, но нет на свете такой тесноты и неудобства, которые не отступили бы перед военным искусством и науками, особенно когда вождем и глашатаем военного искусства и наук выступает красота; ибо учености вашей милости предшествует красота этой девицы, перед которой не только раскрываются и распахиваются ворота замков, но должны распадаться скалы, раздвигаться и рушиться горы, чтобы достойно принять ее. Итак, войдите в этот рай, ваша милость, где вы найдете звезды и солнца, которые украсят небо, что вы привезли с собой: здесь вы найдете военное искусство во всем его блеске и красоту во всем ее совершенстве.

Аудитор, пораженный речами Дон Кихота, стал пристально его разглядывать, и внешность рыцаря удивила его не менее, чем его слова. Но прежде чем он нашелся, что ответить, ему пришлось снова удивиться, когда перед ним появились Люсинда, Доротея и Зораида, которые, узнав о прибытии новых гостей и услышав от хозяйки о прекрасной незнакомке, вышли наружу, чтобы встретить ее и посмотреть на нее. Тем временем дон Фернандо, Карденио и священник стали изысканно и учтиво предлагать аудитору свои услуги. В конце концов этот сеньор вошел в дом, крайне смущенный всем, что он видел и слышал, а красавицы, собравшиеся на постоялом дворе, приветствовали прекрасную путешественницу. Аудитор, конечно, не мог не заметить, что люди, окружавшие его, были все благородного происхождения; но внешность, физиономия и манеры Дон Кихота вызывали в нем недоумение. Обменявшись множеством любезных предложений и осмотрев помещение, наша компания осталась при своем прежнем решении, а именно: все дамы должны были ночевать в уже упомянутой комнате, а кавалеры остаться в сенях и охранять их покой. Итак, аудитор

разрешил молодой девушке (которая была его дочерью) поместиться с остальными дамами, что она и исполнила с большой охотой. Соединив вместе часть постели хозяина и половину постели аудитора, дамы расположились на ночь с бóльшим удобством, чем предполагали.

Как только пленник увидел аудитора, у него забилось сердце, так как ему показалось, что он узнает в нем своего брата; тогда он спросил одного из слуг, как зовут его господина и знает ли он, из каких тот краев. Слуга ответил, что господин его – лиценциат Хуан Пéрес де Вьедма и что родом он, кажется, из одного местечка в горах Леона. Это сообщение в связи с тем, что он видел собственными глазами, окончательно убедило его, что аудитор – его брат, который последовал совету отца и пошел по ученой дороге. Взволнованный и обрадованный пленник отозвал в сторону дона Фернандо, Кардénио и священника и сообщил им о происшедшем, заверив их, что аудитор – родной его брат. Слуга рассказал также, что господин его получил назначение аудитором в Америку, в провинцию Мексику; что девушка, путешествующая с ним, – его дочь, рождение которой стоило жизни ее матери; что жена принесла ему большое приданое и что теперь он очень богат. Пленник попросил совета у друзей, каким образом ему открыться перед братом, и не лучше ли ему сперва узнать, примет ли он его с распростертыми объятиями или, напротив, устыдится, увидев своего брата бедняком.

– Предоставьте мне проделать это испытание, – сказал священник, – тем более, что я не допускаю мысли, сеньор капитан, чтобы ваш брат мог вас плохо встретить; ибо во всех его манерах проявляется столько благородства и рассудительности, что его никак нельзя заподозлить в чванстве и бессердечии: он, наверное, умеет понимать превратности судьбы.

– И все же, – возразил капитан, – мне хотелось бы открыться ему не сразу, а каким-нибудь окольным путем.

– Повторяю, – ответил священник, – что я это устрою так, что все мы останемся довольны.

Тем временем подали ужинать, и все сели за стол, исключая пленника и дам, которые ужинали отдельно в своей комнате. Среди ужина священник сказал:

– Был у меня в Константинополе, где я пробыл в плену несколько лет, один приятель, которого звали так же, как и вашу милость, сеньор аудитор. Это был один из самых отважных воинов и капитанов во всей испанской пехоте, но его сила и мужество равнялись его несчастиям.

– А как звали этого капитана, сеньор? – спросил аудитор.

– Его звали, – ответил священник, – Руй Перес де Вьедма, и был он родом из одного местечка в горах Леона. Он рассказал мне историю про своего отца и двух своих братьев, – такую, что если бы я не был уверен в правдивости моего приятеля, я бы счел ее сказкой, вроде тех, что старухи рассказывают зимой у очага. А именно, он мне рассказал, что отец его разделил все имущество между тремя своими сыновьями и дал им советы более мудрые, чем изречения Катóна[2]. Скажу вам, что мой приятель избрал военную карьеру и так в ней преуспел, что в несколько лет, единственно благодаря своей доблести и мужеству, с

помощью одних своих заслуг, достиг чина капитана от инфантерии и уже стоял на верном пути к производству в полковники. Но в ту самую минуту, когда он мог надеяться на удачу, судьба ему изменила: он потерял счастье, а вместе с ним и свободу, в тот благословенный день, когда столь многие ее обрели, – я говорю о битве при Лепанто. Я был взят в плен в Голете, и впоследствии, после разных мытарств, судьба свела нас вместе в Константинополе. Оттуда он попал в Алжир, и там случилось с ним одно из самых необыкновенных происшествий, когда-либо случавшихся на свете.

И, продолжая далее рассказывать, священник сжато и кратко сообщил аудитору обо всем, что произошло между его братом и Зораидой. Аудитор слушал с таким вниманием, что, кажется, никогда еще в жизни он не был *аудитором* в столь полном смысле этого слова. Священник дошел до того места, когда французы ограбили наших беглецов на фелюге, и изобразил, в какой бедности и нищете остался его друг с прекрасной мавританкой; а дальше, мол, он ничего не знает, – что с ним сталось и удалось ли им добраться до Испании, или же французы увезли их с собой во Францию.

Пленник, стоя немного поодаль, слышал весь рассказ священника и внимательно следил за движениями своего брата. А тот, дождавшись конца рассказа, глубоко вздохнул и с глазами, полными слез, воскликнул:

– О сеньор, если бы вы знали, какие важные известия вы мне сообщаете и как глубоко они меня трогают! Ибо вы видите, что, несмотря на все мое желание сдержаться и сохранить спокойствие, слезы выдают мое волнение. Этот храбрый капитан, о котором вы рассказываете, – мой старший брат: более мужественный, чем я и другой брат, и человек более возвышенных мыслей, он избрал почетное и славное военное поприще – один из трех путей, предложенных нам отцом, – как вы об этом уже знаете из рассказа (по вашим словам, похожего на сказку) вашего приятеля. Я пошел по ученой дороге и с помощью Божией и моего прилежания достиг звания, в котором ныне состою. А младший мой брат живет в Перу, где он так разбогател, что деньгами, присланными им мне и отцу, он не только возместил полученную им некогда долю, но и дал возможность отцу проявлять присущую ему щедрость, мне же – пристойно и безбедно прожить, занимаясь науками, и получить должность, в которой я ныне состою. Отец мой еще жив, но он умирает от желания узнать, что сталось с его первенцем, и неустанно воссылает молитвы Богу о том, чтобы смерть повременила закрыть ему глаза, пока он не увидит света глаз своего сына. Но меня удивляет только одно: почему мой брат, будучи столь благоразумным, ни разу не позаботился написать отцу ни о своих удачах, ни о своих невзгодах? Ведь если бы отец или кто-либо из нас знал о его пленении, ему незачем было бы дожидаться чуда с тростинкой для получения выкупа. А теперь меня тревожит мысль, отпустили ли его на свободу эти французы или же убили, чтобы скрыть свой грабеж. Вот почему я буду продолжать свой путь не с радостью, с какой я его начал, а с грустью и печалью. О мой добрый брат, если бы я знал, где ты сейчас находишься, я отыскал бы тебя и освободил от твоих страданий хотя бы ценою

собственных мук! О, если бы кто-нибудь принес старику-отцу весть о том, что ты жив, – находись ты даже в самых сокровенных подземельях Берберии, богатство моего отца, брата и мое извлекут тебя оттуда! О прекрасная и великодушная Зораида, кто вознаградит тебя за милости, оказанные тобой брату! Как счастливы мы были бы присутствовать при возрождении души твоей и на твоей свадьбе!

И долго еще в таком роде говорил аудитор, опечаленный известиями о брате, и все слушавшие его не могли сдержать чувства живейшего сострадания. Наконец священник, увидев, что план его вполне удался и что желание капитана выполнено, решил, что пора прервать их общую скорбь: он встал из-за стола и, войдя в комнату, где находилась Зораида, взял ее за руку; за ним последовали Люсинда, Доротея и дочь аудитора. Капитан ждал, что сделает дальше священник; а тот взял его за руку и повел их обоих в комнату, где сидел аудитор с остальными кабальеро.

– Сеньор аудитор, – сказал он, – не плачьте больше; величайшее на свете благо увенчало ваши желания: перед вами ваш брат и ваша добрая невестка. Вот – капитан Вьедма, а вот – прекрасная мавританка, сделавшая ему столько добра. Французы, о которых я вам рассказывал, оставили их в жалком состоянии, как вы видите своими глазами, и вы можете теперь обнаружить великодушие вашего доброго сердца.

Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, положив ему руки на грудь, немного отстранился, чтобы лучше его рассмотреть, и, узнав, обнял так крепко и от радости заплакал так трогательно, что большинство присутствующих заплакало вместе с ним. Что братья говорили друг другу, какие чувства они проявили, – это, думается мне, не только описать, но и вообразить невозможно. В кратких словах они рассказали друг другу о своей жизни и убедились в неизменности своей братской любви; затем аудитор обнял Зораиду и предложил ей быть хозяйкой в его доме; затем велел дочери тоже обнять Зораиду; затем прекрасная христианка и прекраснейшая мавританка снова заставили всех заплакать. А Дон Кихот, ни слова не говоря, внимательно следил за всеми этими необычными происшествиями и объяснял их себе в духе своих рыцарских бредней. Было решено, что капитан и Зораида отправятся с аудитором в Севилью, оттуда сообщат отцу, что сын бежал из плена и нашелся, и будут просить его, если только возможно, приехать в Севилью, чтобы присутствовать при крещении и свадьбе Зораиды, – так как аудитору невозможно было задерживаться в пути, ввиду получения им известия, что через месяц из Севильи отправлялся флот в Новую Испанию, и пропустить этот случай ему было бы крайне неудобно.

Итак, все были веселы и довольны, что история пленника закончилась так счастливо; а тем временем две трети ночи уже прошли, и было решено оставшиеся часы поспать и отдохнуть. Дон Кихот вызвался охранять замок, опасаясь нападения какого-нибудь великана или злокозненного лиходея, жадность которого могли пробудить великие сокровища красоты, хранившиеся в замке. Все знавшие Дон Кихота поблагодарили его и рассказали о его странностях аудито-

ру, которого они очень позабавили. Только Санчо Панса был в отчаянии, что все так долго не ложатся спать, и только он один устроился поудобнее, чем остальные, разлегшись на упряжи своего осла (что дорого ему обошлось, как в свое время будет рассказано). Дамы удалились в свою комнату, кабальеро расположились как кто мог, а Дон Кихот вышел на дорогу, чтобы оберегать замок согласно своему обещанию.

И вот совсем уж незадолго до рассвета, донесся до слуха дам голос, такой прекрасный и мелодичный, что все они невольно к нему прислушались, особенно Доротея, которая, будучи не в силах заснуть, лежала рядом с доньей Кларой де Вьедма (так звали дочь аудитора). Никто не мог догадаться, кто это так хорошо поет; голос раздавался один, без сопровождения какого-либо инструмента. То казалось, что поют во дворе, то в конюшне. В то время как удивленные дамы внимательно слушали, к дверям их комнаты подошел Кардении и сказал:

– Если вы не спите, то послушайте: это поет погонщик мулов, и поет, право, упоительно.

– Да, мы слышим, сеньор, – ответила Доротея.

Кардении ушел, а Доротея, вся обратившись в слух, услышала следующую песню.

ГЛАВА XLIII

в которой рассказывается приятная история погонщика мулов вместе с другими необычайными происшествиями, случившимися на постоялом дворе

Я моряк, моряк любви[1],
И в ее пучине бурной
Я скитаюсь, без надежды
Где-нибудь земли коснуться.

Я плыву, ведóм звездою,
Различимой отовсюду,
Лучезарней и прекрасней
Всех, светивших Палинуру[2].

Но куда ведет, не знаю
И скитаюсь в море смутном,
Устремленный к ней душою
И безгорестной, и грустной.

Возмутительная скромность,
Благонравные причуды
От меня ее, как тучи,
Застилают поминутно.

О лучистое светило,
В чьем огне светлею духом![3]
Миг, когда свой лик ты скроешь,
Мне смертельным мигом будет.

Когда певец дошел до этого места, Доротея подумала, что не следует лишать Клару удовольствия послушать такой прекрасный голос, и стала ее будить, тряся за плечи.

– Прости, малютка, – сказала она, – что я тебя бужу, но мне хочется, чтобы ты насладилась звуками голоса, прекраснее которого ты, быть может, не услышишь во всю свою жизнь.

Клара проснулась и сначала со сна не поняла, что ей говорит Доротея, но когда та на ее вопрос снова объяснила ей, в чем дело, Клара стала слушать. Не успела она, однако, прослушать двух стихов песни, которую юноша продолжал петь, как ее охватила такая странная дрожь, как если бы с ней случился припадок перемежающейся лихорадки; она крепко прижалась к Доротее и сказала:

– Ах, сеньора души моей и жизни, зачем вы меня разбудили? Величайшим благом для меня было бы сейчас закрыть глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать этого несчастного певца.

– Что ты говоришь, малютка? Да ведь это, говорят, поет погонщик мулов.

– Нет, это – владелец многих поместий и местечка в моем сердце, которым он владеет так прочно, что сохранит его за собой навеки, если только сам не пожелает его покинуть.

Доротея, крайне удивленная складной речью девочки, развитой, как ей казалось, не по летам, сказал ей:

– Объяснитесь, сеньора Клара, так, чтобы я могла вас понять: скажите мне ясно, что означают ваши слова о сердце, поместьях и певце, голос которого приводит вас в такое смятение? Впрочем, ничего сейчас не говорите: хоть я и готова помочь вам в вашей тревоге, мне все же не хочется лишать себя удовольствия послушать певца; он, кажется, как раз начинает новую песню и на новый мотив.

– Что ж, в добрый час, – ответила Клара и, чтобы не слышать песни, обеими руками закрыла себе уши. Доротея, которую это тоже удивило, стала внимать песне и услышала следующее:

Тебе, моей надежде,
Которая сквозь трудности и чащи
Идешь, тверда, как прежде,
Намеченной стезей, тебя манящей,
Пусть душу не тревожит,
Что каждый шаг твой стать смертельным может.

Не суждены ленивым
Почетные триумфы и победы,
И не бывать счастливым

Тому, кого не закалили беды
И кто вверяет, хилый,
Досужей лени вянущие силы.

Амур свои услады
Высоко ценит, что и справедливо:
Всех драгоценней клады,
Которые он бережет ревниво;
И так всегда ведется;
Негодно то, что дешево дается.

Любовное упорство
Несбыточных свершений достигает;
И пусть в единоборство
С владычеством любви мой дух вступает,
Я все же полон веры,
Что от земли достигну звездной сферы.

Тут песня кончилась, и Клара начала снова рыдать. Все это разожгло любопытство Доротеи, и она, желая узнать причину столь сладкого пения и столь горького плача, принялась допытываться, что означали слова Клары. Последняя, боясь, как бы ее не услышала Люсинда, крепко обняла Доротею и приблизила свои губы совсем вплотную к ее уху; уверившись, что другие ее не услышат, она начала так:

– Тот, кто сейчас пел, моя сеньора, приходится родным сыном одному кабальеро родом из Арагонского королевства, владельцу двух поместий, дом которого в столице находится как раз против дома моего отца. И хотя отец всегда закрывал наши окна зимой полотняными занавесками, а летом – решетчатыми ставнями... уж я не знаю, как это случилось, но только однажды этот юноша, учившийся в школе, увидел меня, – может быть, это было в церкви, а может быть, и в другом месте; одним словом, он меня полюбил и стал мне об этом толковать из окна своего дома с помощью разных знаков и бесконечных слез, и я ему поверила и тоже полюбила его, хоть еще и не знала, чего он хочет от меня. Между другими знаками у него был такой: он соединял одну руку с другой, желая этим показать, что он хочет на мне жениться. Я была бы очень рада, если бы это случилось, но так как я жила одна, без матери, и мне некому было довериться, то и не дарила ему никаких милостей, за исключением того, что, когда моего отца не бывало дома и его отец тоже отсутствовал, я немного отодвигала занавеску или ставни, и он мог видеть меня всю; и тогда он так бурно выражал свою радость, что, казалось, он сходит с ума. Между тем подошло время отъезда моего отца, и он узнал об этом не от меня, ибо я никак не могла ему этого сообщить. Я слышала, что он с горя заболел, так что в день нашего отъезда я не видела его и не попрощалась с ним даже взглядом. Однако после двух дней пути, подъезжая к постоялому двору в одном селе, отстоящем отсюда на расстоянии одного дня пути, я увидела его у ворот дома: он

был так искусно переодет погонщиком мулов, что если бы его образ не был запечатлен в моей душе, мне было бы невозможно его узнать. Но я его узнала, удивилась и обрадовалась; и он посмотрел на меня тайком от моего отца: он всегда от него прячется, когда попадается мне на глаза на дороге или в гостинице, где мы останавливаемся. И так как я знаю, кто он, и понимаю, что он странствует пешком и с такими трудностями только из-за любви ко мне, то я умираю от тоски и следую глазами за каждым его шагом. Я не знаю, с каким намереньем он сопровождает нас и как удалось ему бежать из дома отца, горячо его любящего, так как он – единственный наследник, да и вообще он заслуживает быть любимым, в чем ваша милость сама убедится, как только его увидит. Прибавлю еще, что он сам сочиняет все свои песни, и мне про него говорили, что он преуспевает в науках и отличный поэт. И еще знайте, что всякий раз, как я его вижу или слышу его пение, я вся дрожу и трепещу от страха, что мой отец его узнает и откроет нашу любовь. За всю свою жизнь я не сказала ему ни слова и тем не менее я люблю его так сильно, что жить без него не могу. Вот и все, сеньора, что я могу вам рассказать о певце, голос которого так вас очаровал; по одному пению его вы могли бы догадаться, что он не погонщик мулов, как вы говорите, а владетель поместий и сердец, как я вам это сказала.

– Этого достаточно, сеньора донья Клара, – прервала ее тут Доротея, осыпая тысячами поцелуев. – Повторяю, этого достаточно: подождите, пока наступит день, и тогда, надеюсь, дело ваше пойдет по такому пути, что счастливый конец увенчает столь непорочное начало.

– Ах, сеньора, – сказала донья Клара, – как же мне надеяться на счастливый конец, когда отец его столь знатен и богат, что он не только не позволит своему сыну жениться на мне, но даже не разрешит ему взять меня к себе в служанки? А вместе с тем я ни за что на свете не соглашусь обвенчаться с ним тайно от моего отца. Я бы хотела, чтобы этот юноша вернулся домой и оставил меня. Быть может, разлука с ним и огромное расстояние, которое ляжет между нами, немного облегчат мои теперешние страдания; впрочем, я хорошо знаю, что придуманное мною лекарство поможет мне очень мало. Уж не знаю, какой дьявол в этом виноват и откуда пришла ко мне эта любовь; ведь и я еще так молода, и он так молод: кажется, мы с ним однолетки, а мне еще не исполнилось шестнадцати лет, – отец говорит, что мне будет шестнадцать в день святого Михаила[4].

Доротея не могла не рассмеяться, слушая, как по-детски рассуждает донья Клара, и сказала ей:

– Отдохнемте, сеньора; кажется, до утра осталось совсем немного, а завтра, даст Бог, что-нибудь придумаем, – я для вас постараюсь.

После этих слов она заснула, и весь постоялый двор погрузился в глубокую тишину; не спали только дочь хозяйки и служанка Мариторнес, которые, зная о странном нраве Дон Кихота и видя, что он, как часовой, на коне и в полном вооружении разъезжает вокруг гостиницы, решили вдвоем подшутить над ним или, по крайней мере, поразвлечься его бреднями.

Ни одно окно во всем доме не выходило в сторону поля, кроме слухового окошка на сеновале, через которое снаружи кидали солому. Наши полудевы стали у этого окна и увидели Дон Кихота, который, сидя на коне и опершись на копье, время от времени испускал столь глубокие и горестные вздохи, что, казалось, с каждым из них у него разрывалось сердце; и слышали они, как говорил он нежным, сладким и любовным голосом:

– О госпожа моя, Дульсинея Тобосская, предел всякой красоты, край и граница мудрости, вместилище остроумия, сосуд добродетели, воплощение всего, что есть благого, пристойного и отрадного на свете! Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты сейчас случайно о плененном тобой рыцаре, который добровольно подвергает себя стольким опасностям единственно для того, чтобы служить тебе? О, принеси ты мне весть о ней, трехликое светило![5] Быть может, в эту минуту ты с завистью смотришь ей в лицо, в то время как она прохаживается по галерее своего пышного дворца или стоит, опершись грудью на перила балкона, и думает, как ей поступить, чтобы без ущерба для своего величия и чести смягчить муки, которые ради нее претерпевает мое удрученное сердце; и размышляет она, каким увенчать меня блаженством за страдания, какой утехой за безутешность, какой жизнью за смерть, какой наградой за службу! И ты, лучезарный Феб, уже спешащий запрячь коней, чтобы выйти на заре навстречу моей госпоже, молю тебя: когда ты ее увидишь, передай ей привет от меня! Но, глядя на нее с приветствием, остерегись лобзать ее лицо, – не то я приревную ее к тебе еще больше, чем ты ревновал быстроногую и бесчувственную деву, за которой в поте лица бегал по равнинам Фессалии или по берегам Пенея (не помню твердо, где именно), влюбленный и ревнивый[6].

Когда Дон Кихот дошел до этого места своей трогательной речи, дочь хозяйки тихонько подозвала его и сказала:

– Сеньор, будьте любезны, ваша милость, подойдите сюда!

На ее знаки и голос Дон Кихот повернул голову и при свете луны, которая все заливала своим сиянием, увидел, что кто-то подзывает его из слухового окошка (а окошко это показалось ему большим окном с золоченой решеткой, какие бывают в богатых замках, ибо, как мы знаем, он принимал гостиницу за замок), и его безумному воображению тотчас же представилось, как и в прошлый раз, что прекрасная дочь владелицы замка, охваченная страстью к нему, снова добивается его любви. Подумав это и не желая, чтобы его сочли неучтивым и невнимательным, он повернул Росинанта, подъехал к слуховому оконцу и, обратившись к девушкам, сказал:

– Я очень жалею, прекрасная сеньора, что вы обратили ваши мысли на человека, который не может ответить вам так, как того заслуживают ваша любезность и великие достоинства. Но вы не должны винить в этом несчастного странствующего рыцаря, ибо любовь не позволяет ему служить никому другому, кроме дамы, которая с той самой минуты, как ее увидели его глаза, сделалась полновластной владычицей его души. Простите же мне, добрая сеньора,

удалитесь к себе в покои и не изъявляйте мне больше ваших чувств, ибо иначе вы заставите меня выказать вам еще бóльшую невнимательность. Но если, несмотря на вашу любовь ко мне, я могу чем-нибудь другим, кроме самой любви, удовлетворить ваши желания, попросите меня, и, клянусь вам именем отсутствующего моего нежного врага, я исполню немедленно вашу просьбу, даже если бы вы потребовали от меня прядь волос Медузы, сплетенную из змей, или лучи солнца, заключенные в склянку.

– Ничего такого моей госпоже не нужно, сеньор рыцарь, – прервала его тут Мариторнес.

– А что же нужно вашей госпоже, учтивая дуэнья? – спросил Дон Кихот.

– Она просит только, чтобы вы протянули ей одну из ваших прекрасных рук[7], – отвечала Мариторнес, – ибо прикосновение ее успокоит страсть, побудившую ее с опасностью для чести показаться в этом окошке: ведь если сеньор ее отец узнает о ее поступке, он на ней живого места не оставит.

– Хотел бы я это видеть! – воскликнул Дон Кихот. – Пусть он только посмеет это сделать, и его постигнет такой плачевный конец, какой не постигал еще ни одного отца на свете, дерзавшего поднять руку на нежные члены своей влюбленной дочери!

Мариторнес, убедившись, что Дон Кихот исполнит ее просьбу и протянет руку, быстро сообразила, что ей надо сделать: она спустилась вниз, побежала в конюшню, взяла там недоуздок осла Санчо Пансы и с большим проворством вернулась в ту самую минуту, когда Дон Кихот, став обеими ногами на седло Росинанта и дотянувшись до решетчатого окна, за которым сидела, как он воображал, раненная любовью девица, уже протянул ей руку со словами:

– Примите, сеньора, эту руку или, лучше сказать, этот бич всех злодеев на свете. Примите, повторяю, руку, к которой ни одна женщина еще не прикасалась, не исключая той, которая безраздельно владеет всем моим существом. Я протягиваю ее вам не для того, чтобы вы ее облобызали, – нет, посмотрите на сплетение ее сухожилий, строение мускулов, ширину и крепость жил: судите же теперь, какой силой должна обладать рука, у которой такая кисть.

– Сейчас мы увидим это, – ответила Мариторнес.

И, сделав мертвую петлю на недоуздке, она накинула его на кисть руки Дон Кихота, а затем, отбежав от слухового окна, крепко привязала другой конец недоуздка к засову на двери сеновала. Почувствовав в руке боль от стиснувшего ее ремня, Дон Кихот сказал:

– Мне кажется, что ваша милость не гладит мне руку, а трет ее теркой. Не обращайтесь с нею так сурово: она не виновна в страданиях, которые причиняет вам моя холодность. Не следует обрушивать на столь малую часть моего тела весь ваш гнев. Знайте, что, кто любит, не должен мстить так жестоко.

Но никто уже не слушал речей Дон Кихота, ибо, как только Мариторнес привязала его, обе убежали, помирая от смеху, и оставили его в таком положении, что ему невозможно было освободиться.

Как мы уже сказали, наш рыцарь стоял во весь рост на Росинанте, просунув руку в слуховое оконце, и кисть его руки была привязана недоуздком к дверному засову; он пребывал в великом страхе и тревоге, так как при малейшем движении Росинанта в правую или левую сторону он, наверное, повис бы на одной руке: поэтому он боялся пошевелиться и надеялся только на то, что Росинант так спокоен и терпелив, что сможет простоять неподвижно хоть целый век. Наконец, догадавшись, что он привязан и что дамы ушли, он вообразил, что в этом происшествии снова замешано волшебство, как и в прошлый раз, когда в этом же самом замке его избил мавр, чудесным образом превратившийся в погонщика мулов. Тут Дон Кихот стал проклинать про себя свою опрометчивость и неблагоразумие: зачем он вздумал остановиться в замке во второй раз, когда уже в первый раз он вышел оттуда в столь плачевном виде? Ведь сказано в правилах странствующего рыцарства, что если приключение какого-нибудь рыцаря заканчивается неудачно, то это значит, что оно предназначено для другого, и, следовательно, нет нужды приниматься за него снова! Раздумывая об этом, он дергал все время руку, стараясь ее освободить, но она была так крепко привязана, что все его усилия были тщетны. Правда, он тянул руку осторожно, боясь, как бы Росинант не сдвинулся с места. Таким-то образом, хоть ему и очень хотелось спуститься и сесть в седло, он должен был либо стоять, либо оторвать себе руку.

Стал он тут мечтать о мече Амадиса[8], против которого бессильны все заклинания; стал он тут проклинать свою судьбу; стал горевать об ущербе, который нанесет миру его отсутствие за все то время, что он проведет здесь зачарованным (а что он зачарован, в этом он был убежден твердо); стал он снова вспоминать возлюбленную свою Дульсинею Тобосскую; стал призывать своего доброго оруженосца Санчо Пансу, который в это время, растянувшись на седле своего осла, спал таким глубоким сном, что не помнил даже о матери, родившей его на свет; стал взывать к помощи мудрецов Лиргандео и Алькифе; стал молить свою добрую приятельницу Урганду заступи́ться за него. Когда же наконец наступило утро, Дон Кихот пришел в такое отчаянье и смятенье, что заревел быком, потому что уже не надеялся, что с приходом дня кончится его бедствие: ему казалось, что он прочно заколдован и что муки его продлятся вечно. Эта уверенность возрастала в нем еще и потому, что Росинант за все это время ни разу не шелохнулся, и вот, он думал, что суждено и ему и его коню простоять так, не пивши, не евши и не спавши, пока не кончится злое влияние созвездий или пока не расколдует его другой, более мудрый волшебник.

Но он очень ошибся в своих предположениях, ибо, как только стало рассветать, к постоялому двору подъехали четыре всадника, отлично одетых и снаряженных, с мушкетами у седельных лук. Ворота постоялого двора были еще заперты, и приехавшие стали громко стучать; Дон Кихот, продолжавший, несмотря ни на что, исполнять обязанности часового, завидел их и закричал громким и гневным голосом:

– Рыцари, оруженосцы или кто бы вы ни были, перестаньте стучать в ворота этого замка! Разве вам не ясно, что в такую раннюю пору обитатели его еще спят и что ворота крепостей открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами? Ступайте прочь и погодите, пока наступит день, а тогда мы посмотрим, следует ли вас впускать или нет.

– Что это за чертова крепость или замок, – сказал один из всадников, – и какие тут еще могут быть церемонии? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли: мы – путешественники, нам нужно дать овса лошадям и ехать дальше, – мы очень торопимся.

– Неужели вам, кабальеро, кажется, что я похож на хозяина постоялого двора? – спросил Дон Кихот.

– Не знаю я, на кого вы похожи, – отвечал всадник, – знаю только, что вы мелете вздор, называя постоялый двор замком.

– Да, это замок, – сказал Дон Кихот, – да еще один из самых лучших в этих краях, и находятся в нем люди, которые носили в руке скипетр, а на голове – корону.

– Наоборот-то будет точнее, – ответил путешественник, – скипетр у них на голове, а корона на руках[9]; должно быть, просто-напросто там находится труппа комедиантов, у которых, как известно, часто бывают и короны и скипетры, ибо я не думаю, чтобы в такой маленькой гостинице, погруженной в полную тишину, ночевали особы, достойные скипетра и короны.

– Плохо вы знаете свет, – возразил Дон Кихот, – если вам неведомы приключения, случающиеся со странствующими рыцарями.

Спутникам всадника, вступившего в разговор с Дон Кихотом, этот спор наконец надоел, и они снова с такой яростью принялись стучать в ворота, что все находившиеся в гостинице проснулись, и хозяин вышел узнать, кто там стучит. В это время случилось, что одна из четырех лошадей всадников подошла и стала обнюхивать Росинанта, который стоял, опустив уши, грустный и задумчивый, и не шевелясь поддерживал своего повисшего господина. Но хоть он и казался деревянным, все же в жилах его текла кровь: он не остался нечувствительным к ласке и, в свою очередь, потянулся обнюхать приятеля. Но, как только он сделал легкое движение, ноги Дон Кихота разъехались и соскользнули с седла, так что он грохнулся бы оземь, если бы не повис на недоуздке. Сразу же он почувствовал ужасную боль, словно ему резали кисть или вырывали руку из плеча. Он висел так низко от земли, что касался ее ногами, но от этого ему было только хуже: ибо, видя, что еще немного и он сможет стать на землю всей ступней, он изо всех сил старался дотянуться до земли, вроде людей, подвергаемых пытке с блоком, когда они сами увеличивают свои страдания, силясь вытянуться, ибо их обманывает надежда упереться ногами в землю.

ГЛАВА XLIV

в которой продолжаются неслыханные происшествия на постоялом дворе

И вот, Дон Кихот завопил так, что хозяин постоялого двора, поспешно отперев ворота, в страхе выбежал узнать, откуда несутся эти крики; за ним последовали и люди, находившиеся перед гостиницей. Мариторнес, разбуженная этими воплями, догадалась, в чем дело, побежала на сеновал, и тайком от всех отвязала недоуздок, на котором висел Дон Кихот; тот шлепнулся наземь на глазах у хозяина и у путешественников, которые, обступив его, стали спрашивать, что с ним и почему он так кричит. Наш рыцарь, не отвечая ни слова, развязал на своей руке петлю, поднялся на ноги, вскочил на Росинанта, прикрылся щитом, взял копьецо наперевес и, отъехав для разгона на порядочное расстояние, вернулся полугалопом и закричал:

– Всякого, кто скажет, что околдование мое было правым делом, я с позволения моей госпожи принцессы Микомиконы объявляю лжецом, требую к ответу и вызываю на поединок!

Эти слова Дон Кихота очень удивили новоприбывших; но они перестали удивляться, когда хозяин объяснил им, кто такой Дон Кихот, и посоветовал не обращать на него внимания, так как он не в своем уме. Тогда они спросили хозяина, не заходил ли случайно к нему на постоялый двор юноша лет пятнадцати в платье погонщика мулов; при этом они сообщили все приметы поклонника доньи Клары. Хозяин ответил, что у него сейчас столько постояльцев, что он не помнит, есть ли среди них тот, о ком они спрашивают. В это время один из всадников заметил карету, в которой приехал аудитор, и сказал:

– Ну, конечно, он должен быть здесь: вот карета, за которой, как нам говорили, он следует. Пусть один из нас станет у ворот, а остальные пусть войдут и поищут его, а еще лучше, если один из нас будет ходить вокруг гостиницы, так как он может перелезть через забор двора и убежать.

– Все будет исполнено, – ответил всадник.

И вот двое из них вошли в гостиницу, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг гостиницы. Хозяин, глядя на них, никак не мог догадаться, с какой целью они все это проделывают, хоть он отлично понимал, что они ищут юношу, приметы которого они ему описали.

К этому времени уже совсем рассвело, и солнечные лучи, а также суматоха, поднятая Дон Кихотом, разбудили постояльцев, которые начали вставать. Раньше всех поднялись донья Клара и Доротея: одна была взволнована тем, что ее возлюбленный находится так близко, другая горела желанием поскорей увидеть своего, и поэтому они обе очень плохо спали в эту ночь. Дон Кихот, видя, что ни один из четырех всадников не обращает на него внимания и не принимает его вызова, выходил из себя от бешенства и досады, и если бы только он мог отыскать в уставе своего рыцарского ордена пункт, разрешающий странствую-

щему рыцарю пускаться и отваживаться на новые подвиги, несмотря на то, что он дал слово воздерживаться от них, пока не закончит прежде начатого им предприятия, он бы, наверное, напал на них всех вместе и заставил бы их волей-неволей принять вызов. Однако ему казалось неприличным и неподобающим начинать новые приключения, пока принцесса Микомикона еще не водворена на свой престол, и потому ему пришлось замолчать, успокоиться и ждать, чем кончатся тщательные поиски, затеянные новоприбывшими. Наконец один из них нашел разыскиваемого юношу: он спал рядом с другим погонщиком и даже в мыслях не имел, что его ищут, а тем более, что его могут найти. Человек этот схватил его за руку и сказал:

– Поистине, сеньор дон Луис, ваша одежда вполне соответствует вашему положению, и ложе, на котором я вас нахожу, вполне достойно той роскоши, в которой воспитала вас ваша матушка.

Юноша протер заспанные глаза, долго смотрел на того, что держал его за руку, и, узнав в нем наконец слугу своего отца, так перепугался, что долгое время не мог выговорить слова. Слуга между тем продолжал:

– Вам ничего другого не остается, сеньор дон Луис, как запастись терпением и возвратиться домой, если только вашей милости не угодно, чтобы ваш батюшка, мой господин, отправился на тот свет, ибо ваше исчезновение повергло его в такую скорбь, что ничем другим это кончиться не может.

– Но как отец узнал, – спросил дон Луис, – что я отправился в эту сторону и в таком платье?

– Один школяр, которого вы посвятили в свой план, – отвечал слуга, – сообщил нам об этом, сжалившись над отчаяньем вашего батюшки, и тогда господин мой тотчас же отправил в погоню за вами четверых из своих слуг; мы все тут и ждем ваших приказаний. Наша радость не поддается описанию при мысли, как будет счастлив ваш батюшка, когда мы привезем ему горячо любимого сына.

– Будет так, как я этого пожелаю или как прикажет небо, – ответил дон Луис.

– Чего же вы можете желать и что может приказать небо? Вы должны согласиться вернуться, – ничего другого быть не может.

Погонщик, спавший рядом с доном Луисом, слышал весь этот разговор и, поднявшись, побежал рассказать о случившемся дону Фернандо, Карденио и остальным, которые тем временем уже успели одеться; он передал все содержание разговора и сообщил, что незнакомец называет юношу *доном* и хочет отвезти его домой, а тот не соглашается. Все это вызвало у присутствующих сильное желание узнать поближе юношу, которому небо дало такой прекрасный голос, и помочь ему в случае, если незнакомцы попытаются учинить над ним насилие; они поспешили к нему и увидели, что он все еще разговаривает и спорит со своим слугой. В это время из комнаты вышла Доротея, а за ней взволнованная донья Клара, и Доротея, отозвав в сторону Карденио, в кратких словах изложила ему историю доньи Клары и певца, а он, в свою очередь, сообщил ей о прибы-

тии слуг, посланных отцом на поиски юноши. Но как тихо он ни говорил, донья Клара все же его услышала и пришла в такое смятение, что, не подхвати ее Доротея, она бы упала на землю. Кардениo посоветовал Доротее увести девушку в комнату, обещав ей все уладить, и Доротея его послушалась.

Все четверо слуг, прибывших за доном Луисом, уже вошли на постоялый двор и, окружив юношу, уговаривали его, не медля долее, вернуться утешить отца. Он же отвечал, что никак не может это сделать, пока не закончит одного дела, от которого зависят его честь, жизнь и душа. А слуги настаивали, говоря, что они ни за что не вернутся без него и увезут его, хочет он того или не хочет.

– Этого вы не сделаете, – сказал дон Луис, – разве только увезете мой труп, ибо увезти меня отсюда значит лишить меня жизни.

В это время на спор сбежались все постояльцы гостиницы, в том числе Кардениo, дон Фернандо, его спутники, аудитор, священник, цирюльник и Дон Кихот (ибо последний решил, что ему уже незачем более охранять замок). Кардениo, осведомленный об истории юноши, спросил слуг, почему они желают увезти его насильно.

– Мы хотим вернуть жизнь отцу этого кабальеро, – ответил один из четырех, – ибо отсутствие его может причинить ему смерть.

На что дон Луис возразил:

– Незачем тут рассказывать о моих личных делах; я свободен; и если мне захочется, – вернусь, а не захочется, – никто из вас не посмеет меня заставить.

– Благоразумие заставит вашу милость, – ответил слуга, – а если у вашей милости его недостаточно, то его хватит у нас, чтобы сделать то, что предписывает нам долг.

– Следовало бы выяснить, в чем тут дело, – сказал аудитор.

Тогда слуга, узнавший в нем соседа своего господина, спросил:

– Разве ваша милость, сеньор аудитор, не узнает этого кабальеро, сына вашего соседа? Он бежал из дома отца в одежде, не приличествующей его званию, как ваша милость может убедиться в этом своими глазами.

Аудитор посмотрел внимательнее на юношу и, узнав его, заключил в свои объятия со словами:

– Что это за ребячество, сеньор дон Луис? Какие важные причины побудили вас отправиться в путь в наряде, столь мало подобающем вашему званию?

У юноши выступили на глазах слезы, и он ни слова не мог ответить аудитору; тогда тот приказал слугам успокоиться, заверив их, что все кончится благополучно; затем, взяв за руку дона Луиса, отвел его в сторону, и спросил, что означает его появление в этих местах. В то время как он его подробно расспрашивал, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, а раздались они потому, что два постояльца, проведшие эту ночь на постоялом дворе, приметили, что вся компания занята делами четырех новоприбывших, и решили улизнуть, не заплатив за ночлег. Но хозяин, для которого свои интересы были важнее чужих, поймал их у ворот и потребовал платы, понося их такими бранными словами, что те в ответ пустили в ход кулаки и принялись колотить его так, что не-

счастный стал кричать и звать на помощь. Хозяйка и ее дочь не видели никого, кто бы был не занят и мог помочь бедняге, кроме Дон Кихота, и потому хозяйская дочка обратилась к нему со словами:

– Ваша милость, сеньор рыцарь, если Бог наградил вас силой, так помогите моему бедному отцу, которого эти злодеи молотят, как рожь.

На что Дон Кихот ответил медленно и с большим спокойствием:

– Прекрасная девица, в настоящее время я не в состоянии исполнить вашу просьбу, ибо я не вправе начинать новые приключения, пока не завершу того, к чему меня обязывает данное мною слово. Но, чтобы услужить вам, я могу сделать следующее: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он бился как можно смелее и ни в коем случае не сдавался, а я тем временем попрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в беде; если она мне позволит, вы можете быть уверены, что я его выручу.

– Ах, грехи наши, – воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. – Да прежде чем ваша милость получит это самое разрешение, мой господин будет уже на том свете!

– Только бы, сеньора, мне получить это разрешение, – ответил Дон Кихот, – а уж там безразлично, будет ваш господин на этом свете или на том: я его и оттуда верну, хотя бы весь тот свет на меня ополчился, или, по крайней мере, так отомщу тем, кто его туда отправил, что вы будете вполне удовлетворены.

С этими словами он преклонил колени перед Доротеей и стал просить ее величество на странствующе-рыцарственном языке соизволить дать ему разрешение помочь владельцу замка, который сейчас бьется в жесточайшем бою. Принцесса охотно дала свое согласие, и Дон Кихот, прикрывшись щитом и схватив меч, тотчас же устремился к воротам гостиницы, у которых два постояльца продолжали колотить хозяина. Но, приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и поскорее помог их господину и супругу.

– Я медлю потому, – сказал Дон Кихот, – что мне не подобает поднимать меч против низкого люда. Позовите сюда моего оруженосца Санчо, ибо ему подобает и приличествует защита и отмщение в таких случаях.

Вот что происходило в воротах гостиницы. Удары и пинки так и сыпались на злополучного хозяина, метко попадая в цель и увеличивая ярость и отчаяние Мариторнес, хозяйки и ее дочери, которые выходили из себя, видя, как Дон Кихот трусит, в то время как их господину, супругу и отцу приходится плохо. Но оставим его пока (будем надеяться, что кто-нибудь ему поможет, а нет, – так пусть его терпит и молчит: поделом тому, кто лезет в драку, не рассчитав своих сил), а лучше отойдем назад шагов на пятьдесят и послушаем, что ответил дон Луис аудитору. Мы расстались с последним в ту минуту, когда он спрашивал юношу о причине его путешествия пешком в столь недостойном одеянии. Дон Луис в ответ крепко схватил его за обе руки, как бы желая этим показать, что у него на сердце большое горе, и, проливая потоки слез, сказал:

– Сеньор мой, я вам признаюсь, что с той самой минуты, когда небо пожелало, а соседство с вами позволило, чтобы я увидел сеньору донью Клару, вашу дочь и мою госпожу, с того самого мгновения она стала владычицей моего сердца; и если вы, истинный отец мой и господин, не воспротивитесь, она сегодня же станет моей супругой. Ради нее я покинул дом отца, ради нее переоделся в это платье, чтобы следовать за ней, куда бы она ни отправилась, – как стрела, следующая к своей цели, как мореход, следящий за компасом. О любви моей она ничего не знает, если только, увидев издали несколько раз на глазах моих слезы, она не догадалась, что я ее люблю. Вам известны, сеньор, знатность и богатство моих родителей, и вы знаете также, что я единственный наследник. Если этих счастливых обстоятельств достаточно, чтобы вы решились осчастливить меня вполне, назовите меня немедля своим сыном, и если мой отец, побуждаемый иными намерениями, не захочет оценить сокровище, которое я нашел, то вспомните, что время, которое все разрушает и все меняет, сильнее человеческих желаний.

Сказав это, влюбленный юноша замолчал, меж тем как аудитор стоял в смущении, замешательстве и изумлении, пораженный рассудительностью, с которой дон Луис открыл ему свои чувства, и не зная, как ему поступить в таком внезапном и неожиданном деле. Поэтому он вместо ответа только попросил дона Луиса успокоиться и убедить слуг не увозить его сегодня, обещав, что он тем временем подумает, как уладить дело к общему удовлетворению. Дон Луис насильно поцеловал ему руки и облил их слезами: и мраморное сердце смягчилось бы от такого поступка, не только сердце аудитора; последний же, как человек умный, понимал, насколько союз этот выгоден для его дочери. Но все же он предпочитал, чтобы этот брак произошел, если только возможно, с согласия отца дона Луиса, который, как он знал, желал добыть сыну высокий титул.

К этому времени постояльцы уже помирились с хозяином и заплатили ему все, что тот требовал, не столько из-за его угроз, сколько из-за уговоров и разумных доводов Дон Кихота; а слуги дона Луиса поджидали, чем кончится разговор с аудитором и какое решение примет их господин. Но в эту минуту дьявол, который не дремлет, привел на постоялый двор того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял упряжь с осла, обменяв ее на ту, что была у него. И вот, цирюльник, приведя своего осла в конюшню, застал там Санчо Пансу, который возился с седлом, и, сразу узнав свое добро, набросился на него и закричал:

– А, дон воришка, теперь вы попались! Давайте-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которые вы у меня стащили!

Почувствовав столь внезапный натиск и услышав брань, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того весь рот залился кровью; но, несмотря на это, цирюльник не выпускал из рук добычи, то есть седла, и кричал так громко, что все находившиеся в гостинице прибежали на шум. Цирюльник взывал:

– Правосудие, сюда, именем короля! Я забираю обратно свое добро, а этот вор, этот разбойник с большой дороги хочет меня убить!

– Врешь, – ответил Санчо, – я не разбойник с большой дороги, и эту добычу завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.

Дон Кихот стоял и с большим удовольствием смотрел, как нападает и обороняется его оруженосец; в эту минуту он решил, что Санчо – храбрец, и подумал про себя, что при первом же подходящем случае его следует посвятить в рыцари, ибо он может хорошо послужить рыцарскому ордену. А цирюльник, споря с Санчо Пансой, между прочим, сказал следующее:

– Что седло это мое, сеньоры, это так же верно, как то, что Бог пошлет мне смерть; я знаю его так хорошо, как если б сам его родил. Да вот, здесь в стойле находится мой осел, который не станет лгать; не верите, так примерьте сами: если седло не придется, как по мерке, зовите меня мошенником. Больше скажу: в тот самый день, как исчезло мое седло, они утащили еще мой бритвенный таз, совсем новенький и не бывший в употреблении, ценой в один эскудо.

Тут Дон Кихот не мог больше сдержаться: он стал между спорщиками, рознял их и, положив седло на землю, так, чтобы оно было у всех на виду, пока не выяснится, на чьей стороне правда, произнес:

– Сеньоры, вам сейчас станет ясно и очевидно заблуждение, в котором пребывает этот добрый оруженосец, называя бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял в него в честном бою, и с тех пор я его законный и непререкаемый владелец! Что же касается седла, то до него мне дела мало. Скажу только, что мой оруженосец Санчо Панса попросил у меня разрешения снять сбрую с коня этого побежденного труса и надеть ее на своего; я ему это позволил, и он ее снял. А если теперь сбруя превратилась в седло, то я объясняю себе это не иначе, как обычными превращениями, какие в рыцарских историях случаются постоянно. Чтобы подтвердить все это, сбегай-ка, сынок Санчо, и принеси сюда шлем, который этому доброму человеку представляется бритвенным тазом.

– Черт возьми, сеньор, – отвечал Санчо, – если у нас нет других доказательств нашей правоты, то окажется, что шлем Мурлина[1] такой же бритвенный таз, как и сбруя этого молодчика – ослиное седло!

– Делай, что тебе приказывают, – сказал Дон Кихот. – Не все же, наконец, в этом замке заколдовано!

Санчо сходил за тазом, принес его, и как только Дон Кихот его увидел, он взял его в руки и сказал:

– Судите сами, сеньоры, какова наглость этого оруженосца, утверждающего, что это не шлем, а бритвенный таз. Клянусь рыцарским орденом, к которому принадлежу, это тот самый шлем, который я у него отнял, и с тех пор я ничего к нему не прибавил и ничего не убавил.

– Да уж это верно, – сказал тут Санчо, – потому что с того самого дня, как мой господин его завоевал, он сражался в нем один только раз, когда освобождал несчастных, закованных в цепи; и не будь тогда на нем этого тазового шлема[2], пришлось бы ему плохо, потому что в этом бою камни на нас так и сыпались.

ГЛАВА XLV

в которой окончательно рассеиваются сомнения относительно шлема Мамбрина и седла и рассказывается о других, весьма правдивых происшествиях

– Ну, что скажут ваши милости, – спросил цирюльник, – насчет заявления этих господ, уверяющих, что это не бритвенный таз, а шлем?

– А кто скажет противное, – воскликнул Дон Кихот, – то, если он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, а если оруженосец, – что он тысячу раз лжет!

Наш цирюльник, присутствовавший при этой сцене и знавший характер Дон Кихота, решил поощрить его сумасбродство и для общей потехи продлить эту шутку; поэтому, обратившись к чужому цирюльнику, он сказал:

– Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что я ваш собрат по ремеслу, что уже больше двадцати лет у меня имеется на то диплом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома; а вместе с тем я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шлем, шишак, закрытый шлем и прочие предметы, относящиеся к военному делу, иначе говоря, все виды оружия. Так вот, если нет возражений (пусть, кто может, меня поправит), я утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, отнюдь не бритвенный таз и столь же от него далек, как белый цвет от черного и правда от лжи. Прибавлю, однако, что хоть это и шлем, но он не цельный.

– Конечно, не цельный, – сказал Дон Кихот, – потому что у него нет половины, а именно – набородника.

– Совершенно верно, – подхватил священник, догадавшись о намерении своего друга цирюльника.

То же самое подтвердили Карденио, дон Фернандо и его спутники; даже аудитор, не будь он так погружен в раздумье относительно случая с доном Луисом, и тот принял бы участие в этой шутке, однако серьезные мысли так его поглотили, что он почти не обращал внимания на эти забавы.

– Господи, помилуй! – воскликнул одураченный цирюльник. – Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Такой случай мог бы привести в изумление целый университет, при всей его учености. Ну, что же, если мой таз – шлем, так и седло, видимо, окажется сбруей, как утверждает этот сеньор.

– По-моему, это седло, – ответил Дон Кихот. – Впрочем, я уже сказал, что в это дело не вмешиваюсь.

– Седло это или сбруя, должен решить сеньор Дон Кихот, – сказал священник, – ибо во всем, что относится к рыцарскому делу, и я и все эти сеньоры считают его знатоком.

– Клянусь богом, сеньоры, – сказал Дон Кихот, – я дважды останавливался в этом замке, и в нем случилось со мной столько удивительных приключений,

что, о чем бы вы ни спросили меня из относящегося к нему, я не решусь дать вам уверенный ответ, ибо, по моему мнению, все происходящее здесь творится силою волшебства. В первый раз мне очень досаждал живущий в этом замке очарованный мавр, да и Санчо немало претерпел от его пособников, а этой ночью я почти два часа провисел подвешенный за руку, и так и не знаю, как и почему свалилось на меня это бедствие. Поэтому высказывать свое мнение в делах столь запутанных было бы с моей стороны опрометчиво. По поводу заявления, что это не шлем, а таз, я уже ответил; что же касается седла или сбруи, я не решаюсь утверждать что-либо определенное. Предоставляю это дело вашему разумению, сеньоры: быть может, именно потому, что вы не посвящены, подобно мне, в рыцари, волшебные силы этого замка не имеют над вами власти, ваш разум свободен, и вы в состоянии видеть все, происходящее в этом замке, так, как оно есть в действительности и на самом деле, а не как это кажется мне.

– Несомненно, – ответил на это дон Фернандо, – сеньор Дон Кихот говорит совершенно правильно: наше дело решить этот вопрос. И, чтобы действовать вполне основательно, я тайно соберу голоса этих сеньоров и потом дам ясный и точный отчет о том, что получится.

Те, кто знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, но тем, кто их не знал, вся эта история казалась величайшей нелепостью на свете: так думали четверо слуг дона Луиса, сам дон Луис и еще три путешественника, как раз в это время прибывшие в гостиницу (по виду их можно было принять за стрелков, каковыми они впоследствии и оказались). Но особенно сокрушался цирюльник, у которого на глазах бритвенный таз превратился в шлем Мамбрина; он не сомневался, что и седло его сейчас превратится в роскошную конскую сбрую. Все же остальные хохотали и при виде того, как дон Фернандо ходит и по очереди собирает у всех голоса: каждому он говорил на ухо, прося сообщить, чем ему представляется сокровище, из-за которого завязалась такая распря, – вьючным седлом или конской сбруей. Наконец, опросив всех, знавших Дон Кихота, дон Фернандо громко заявил:

– Так вот как обстоит дело, почтеннейший. Я устал собирать голоса, потому что все, кого я ни спрашивал об этом предмете, отвечали мне одно: что нелепо называть вьючным седлом то, что на самом деле сбруя, да еще с породистого коня; так что уж вам придется с этим примириться, ибо как ни неприятно это вам или вашему ослу, это сбруя, а не седло, и все ваши доводы и доказательства признаны неудовлетворительными.

– Пусть я не попаду в царстве небесное, – сказал цирюльник, – если все вы, сеньоры, не ошибаетесь; пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло. Вижу я теперь, закон что дышло... молчу, молчу! Право же, я не пьян: если я чем сегодня утром и погрешил, то уже никак не завтраком!

Простодушие цирюльника забавляло всех не меньше, чем бредни Дон Кихота, который заявил:

– Что же, теперь остается только каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.

Один из четырех слуг сказал:

– Если только это не преднамеренная шутка, я никак не могу поверить, чтобы люди с виду разумные могли говорить и утверждать, что это не таз и не вьючное седло. Но раз они явно говорят и утверждают вещи, противные простому опыту и истине, я заключаю из этого, что здесь скрывается какая-то тайна, потому что – хоть вы все тут лопните (так он и сказал), – а ни один человек на свете не заставит меня поверить, что это не цирюльничий таз и не вьючное седло осла!

– Может быть, это вьючное седло ослицы, – сказал священник.

– Какая тут разница? – отвечал слуга. – Дело не в этом, а в том, седло это или не седло.

Услыхав это, один из новоприбывших стрелков, присутствующий при этой распре и диспуте, в гневе и досаде воскликнул:

– Это вьючное седло, не будь я сыном своего отца! А кто говорит или скажет противное, тот пьян, как винная бочка.

– Вы лжете, как низкий негодяй, – сказал Дон Кихот и, подняв свое копьецо, которое ни на минуту не выпускал из рук, так трахнул им, целясь в голову, что если бы стрелок не уклонился вовремя, то он, наверное, свалился бы на землю. Копье, ударившись в землю, разлетелось в щепки, а остальные стрелки, увидев, как обращаются с их товарищем, стали требовать повиновения Санта Эрмандад.

Хозяин постоялого двора, состоявший тоже членом этого братства[1], побежал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим товарищам; слуги дона Луиса окружили своего господина, опасаясь, как бы он не удрал, воспользовавшись суматохой; цирюльник, увидев, что весь дом пошел вверх дном, ухватился за свое седло; то же самое и Санчо; Дон Кихот обнажил свою шпагу и напал на стрелков; дон Луис кричал слугам, чтобы они оставили его и бежали на помощь Дон Кихоту и его сторонникам, – Карденио и дону Фернандо; священник кричал, хозяйка орала, дочка хозяйки вопила, Мариторнес плакала, Доротея растерялась, Люсинда перепугалась, донья Клара упала в обморок. Цирюльник лупил Санчо; Санчо колотил цирюльника; дон Луис, которого один из слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не убежал, дал ему такую зуботычину, что у того весь рот залился кровью; аудитор стал его защищать; дон Фернандо повалил на землю одного из стрелков и с большим удовольствием топтал его ногами; хозяин кричал все громче, зовя на помощь Санта Эрмандад; словом, всю гостиницу наполнили плач, крики, вопли, смятенье, страх, переполох, бедствие, удары шпаг и палок, тумаки, пинки и кровопролитие. В самый разгар этой неразберихи, хаоса и путаницы Дон Кихот вообразил, что он нежданно-негаданно очутился среди жесточайшего раздора в лагере Аграманта[2], и поэтому громким голосом, прогремевшим по всему постоялому двору, закричал:

– Остановитесь! Вложите мечи в ножны! Успокойтесь! Слушайте меня все, если вам дорога жизнь!

Услышав его громовой голос, все утихли, и он продолжал:

– Не говорил ли я вам, сеньоры, что этот замок заколдован и что, несомненно, в нем обитает целый легион демонов? В подтверждение этого я хочу, чтобы вы убедились собственными глазами, что распря в лагере Аграманта перенеслась сюда и снова завязалась между нами. Посмотрите, все здесь сражаются: одни из-за меча, другие из-за коня, третьи из-за орла, четвертые из-за шлема, – все мы сражаемся, и ни один не понимает другого. Пожалуйте сюда, ваша милость сеньор аудитор, и вы, ваша милость сеньор священник: пусть один из вас будет королем Аграмантом, а другой – королем Собрино, и заключите между собою мир. Клянусь всемогущим Богом, для нас, людей благородного звания, величайший позор – убивать друг друга из-за столь ничтожных поводов.

Стрелки, ничего не понимавшие в речах Дон Кихота, не желали успокоиться, так как дон Фернандо, Кардению и его приятели сильно их поколотили; цирюльник, напротив, только этого и хотел, ибо во время потасовки ему вырвали бороду и потрепали седло; Санчо, как добрый слуга, повиновался по первому же слову своего господина; слуги дона Луиса немедленно перестали драться, сообразив, что эта история нимало их не касается; и только хозяин продолжал настаивать на том, чтобы наказали дерзость этого сумасшедшего, который при всяком удобном случае переворачивает вверх дном всю его гостиницу. Наконец, шум понемногу затих, и в воображении Дон Кихота седло до дня Страшного суда так и осталась сбруей, таз – шлемом, а постоялый двор – замком.

Когда все благодаря увещеваниям аудитора и священника успокоились и помирились, слуги дона Луиса принялись снова настаивать на том, чтобы он немедленно же отправился с ними домой; а пока тот с ними спорил, аудитор стал советоваться с доном Фернандо, Кардению и священником относительно того, как ему быть в подобных обстоятельствах, и передал им рассказ дона Луиса. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Луиса, кто он такой, и заявит им, что он намерен увезти дона Луиса с собой в Андалусию, где брат его маркиз примет молодого человека со всеми почестями, подобающими его достоинству (ибо всем было ясно, что дон Луис скорее согласится быть изрубленным в куски, чем предстать перед глазами своего отца). Когда четверо слуг узнали о звании дона Фернандо и о намерениях своего господина, они порешили между собой так: трое из них возвратятся и доложат отцу дона Луиса о происшедшем, а четвертый останется прислуживать дону Луису и не расстанется с ним, пока остальные не вернутся за ним или пока от их господина не придет какое-нибудь новое распоряжение. Так властью Аграманта и благоразумием короля Собрино был водворен мир и в этом хаосе распрей. Но когда враг согласия и недруг мира[3] увидел себя посрамленным и одураченным и убедился, что все его старания завести наших героев в безвыходный лабиринт принесли самые скудные плоды, он задумал еще раз попытать счастья и разжечь новые ссоры и раздоры.

Случилось вот что. Когда стрелки узнали, сколь высокого звания были люди, с которыми они сражались, они успокоились и удалились с поля битвы, поняв, что, чем бы дело ни кончилось, в проигрыше будут только они. Но тут один из них, тот самый, которого бил и топтал ногами дон Фернандо, вдруг вспомнил, что среди других приказов об аресте преступников у него имеется распоряжение о задержании Дон Кихота: Санта Эрмандад постановила арестовать его за то, что он отпустил на свободу каторжников (как раз то самое, чего Санчо с полным основанием опасался). А вспомнив об этом, стрелок решил проверить, правильны ли перечисленные у него в бумаге приметы Дон Кихота. Поэтому он вытащил из-за пазухи свиток, отыскал нужное место и, не будучи большим грамотеем, стал читать по складам, при каждом слове поглядывая на Дон Кихота и сравнивая приметы, указанные в приказе, с наружностью нашего рыцаря. Таким-то образом он наконец убедился, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать; а уверившись в этом, он свернул свиток, взял его в левую руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот с такой силой, что у того сперло дыхание, и закричал громким голосом:

– Повиновение Санта Эрмандад! А кто не верит, что я действую от ее имени, пусть прочтет этот приказ: в нем значится, что я должен задержать этого разбойника с большой дороги!

Священник взял приказ и убедился, что стрелок говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были описаны вполне правильно. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость и, будучи сам схвачен так, что у него все кости затрещали, обеими руками вцепился стрелку в горло; и если бы к тому не подоспели товарищи, он бы испустил дух раньше, чем Дон Кихот выпустил его из своих пальцев. Хозяин, который по обязанности должен был заступаться за членов своего братства, тотчас же пришел к пострадавшему на помощь. Хозяйка, видя, что ее муж опять полез в драку, снова принялась кричать, и ей опять стали вторить дочка и Мариторнес, прося помощи у неба и всех святых. А Санчо, глядя на то, что творилось, сказал:

– Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой говорит насчет волшебства в этом замке, – сущая правда: в нем и часу нельзя провести спокойно!

Дон Фернандо разнял Дон Кихота и стрелка к обоюдному их удовольствию, оторвав руки стрелка от ворота куртки, в который они крепко вцепились, и разжав пальцы рыцаря, впившиеся в горло врага. Но, несмотря на это, стрелки продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его по рукам и ногам, как это предписывают законы королевства и Санта Эрмандад, снова требуя от имени последней содействия и повиновения в деле ареста разбойника, грабящего на горных тропах и проезжих дорогах. А Дон Кихот, слушая их речи, только посмеивался и наконец с большим хладнокровием сказал:

– Пойдите-ка сюда, подлые и низкие людишки! Так вы называете разбойником с большой дороги того, кто отпускает на свободу закованных в цепи, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за

обездоленных! О низменные существа, ваш жалкий и презренный ум не достоин того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства! В каком грехе и неведении пребываете вы! Одна тень странствующего рыцаря должна внушать вам почтение, а тем более его живое присутствие! Пойдите-ка сюда, стрелки-разбойники, грабители на больших дорогах с разрешения Санта Эрмандад, и скажите мне: как имя того невежды, что подписал приказ о задержании такого рыцаря, как я? Разве ему не было известно, что странствующие рыцари не подвластны обычному суду, что их закон – меч, их судебники – храбрость; их декреты – собственная воля? Кто, повторяю, тот тупица, которому было неведомо, что ни одна дворянская грамота не дает столько преимуществ и привилегий, сколько даруется их странствующему рыцарю в день, когда он получает посвящение и отдает свою жизнь трудному делу рыцарства? Какой рыцарь когда-либо платит налоги[4], подати, туфлю королевы, поместные пени, речной или подорожный сбор? Разве он платит портному за пошивку платья, разве владелец замка берет с него деньги за оказанное ему гостеприимство? Какой король не сажает его за свой стол? Какая благородная девица не влюблялась в него и не подчинялась его воле и желаниям? И, наконец, был ли, есть или будет на свете такой странствующий рыцарь, у которого не хватило бы смелости, встретившись с четырьмя сотнями стрелков, влепить им четыре сотни палочных ударов?

ГЛАВА XLVI

о достопримечательном происшествии со стрелками и о великой свирепости нашего доброго рыцаря Дон Кихота

Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стрелков, что Дон Кихот не в своем уме, как они легко могли догадаться по его словам и поступкам, и что поэтому лучше всего прекратить это дело: ведь даже если они его арестуют и уведут с собой, все равно им придется отпустить его как умалишенного. Стрелок, у которого был приказ, ответил на это, что не его дело судить, сумасшедший ли Дон Кихот или нет, и что он обязан исполнить приказание начальства, а когда Дон Кихот будет арестован, пусть его потом выпускают хоть триста раз.

– И все же, – ответил священник, – на этот раз вы его не арестуете; да и он, как мне кажется, не позволит себя арестовать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Дон Кихот наделал столько глупостей, что, если бы стрелки не поверили в сумасшествие нашего рыцаря, они бы доказали этим, что они еще бóльшие безумцы, чем он; поэтому они сочли за благо успокоиться и даже выступить посредниками в деле примирения цирюльника с Санчо Пансой, которые все еще с великим упорством продолжали ссориться. Слуги правосудия рассудили их и вынесли приговор, кото-

рый, если и не вполне примирил тяжущиеся стороны, то все же кое-как их удовлетворил: враги обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком, так, чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за бритвенный таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в которой обязывался не жаловаться на обман ни ныне, ни во веки веков, аминь. Когда дело с этими двумя ссорами, самыми крупными и значительными, было покончено, оставалось только убедить слуг дона Луиса, чтобы трое из них возвратились домой, а четвертый отправился туда, куда дон Фернандо пожелает его увезти. И счастливая судьба и удача, начав уже ломать копья и устранять затруднения в угоду влюбленным и смельчакам, находившимся в гостинице, пожелала довести до конца свое благое дело: слуги согласились на просьбу дона Луиса, и донья Клара так этому обрадовалась, что стоило только посмотреть на ее лицо, чтобы прочесть на нем ликование ее сердца. Зораида, хоть не очень разбиралась в событиях, происходивших у нее на глазах, все же печалилась и радовалась в зависимости от выражения лиц присутствовавших; особенно же следила она за лицом своего испанца, к которому были прикованы ее взоры и привязана душа. Хозяин, от которого не укрылось, что священник дал подарок и вознаграждение цирюльнику, потребовал у Дон Кихота плату за ночлег и возмещение убытков за меха и вино, божась при этом, что не выпустит из конюшни ни Росинанта, ни осла Санчо[1], пока ему не будет уплачено все до последнего гроша. Священник и это уладил: за все заплатил дон Фернандо, хотя аудитор тоже с большой готовностью предлагал заплатить. Таким-то образом водворились добрый мир и согласие, и уже не казалось больше, что раздор лагеря Аграманта, как выразился Дон Кихот, охватил постоялый двор: напротив, в нем царили мир и тишина времен Октавиановых[2]. Все единодушно признали, что за все это следует благодарить благожелательного и весьма красноречивого священника и несравненного в своей щедрости дона Фернандо.

Когда Дон Кихот увидел, что он наконец освободился и избавился от всех этих неприятностей, как своих личных, так и касающихся его оруженосца, он подумал о том, что ему пора продолжать начатый путь и закончить то великое дело, к которому он призван и предназначен. С отважной решимостью он опустился на колени перед Доротеей, но та заявила, что не разрешит ему вымолвить ни слова, пока он не встанет; тогда он поднялся и сказал:

– Есть, прекрасная сеньора, пословица: “усердие – мать успеха”, и опыт показывает, что нередко рвение тяжущегося доводит до благополучного конца самое сомнительное дело. Но нигде эта истина не обнаруживается с такой ясностью, как в военном деле, где быстрота и натиск опрокидывают планы неприятеля и увенчиваются победой прежде, чем он вздумает защищаться. Говорю я это к тому, благородная и превосходная сеньора, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и в один прекрасный день может оказаться для нас даже весьма пагубным, ибо кто знает, может быть, через тайных и ревностных соглядатаев ваш недруг великан уже проведал, что я

поклялся его убить, и, воспользовавшись предоставленной ему отсрочкой, укрепился в каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых бессильны мое усердие и сила моей неутомимой руки? Поэтому, как я уже сказал, моя сеньора, предупредим нашим рвением его злые умыслы и немедленно же, в добрый час, пустимся в путь; ибо, лишь только удастся мне встретиться лицом к лицу с вашим врагом, как ваше величество увидит исполнение всех своих желаний.

Дон Кихот замолчал и ни слова более не прибавил, со спокойным достоинством ожидая ответа прекрасной инфанты; она же, подлаживаясь под его слог, с величавым видом отвечала так:

– Благодарю вас, сеньор рыцарь, за готовность пособить моей великой беде так, как следует и надлежит рыцарю помогать сиротам и несчастным. Да будет угодно небу, чтобы наше общее желание исполнилось, ибо тогда вы увидите, что еще не перевелись на свете благодарные женщины. Что же касается моего отъезда, я готова в путь немедленно, так как моя воля во всем согласна с вашей; располагайте мною по вашему желанию и усмотрению. Раз уж я вручила себя вашему покровительству и отдала в ваши руки судьбу моего королевства, я не стану прекословить тому, что предпишет ваше благоразумие.

– Бог в помощь! – воскликнул Дон Кихот. – Когда на моих глазах унижают такую сеньору, я не желаю упустить случая возвысить ее и возвести на престол предков. Двинемся же немедленно: нетерпение и долгий путь торопят меня, ибо недаром говорится, что в промедлении – гибель. Небо не создало и преисподняя не породила еще такого существа, перед которым бы я испугался или струсил, а потому, Санчо, седлай Росинанта, взнуздай своего осла и скакуна королевы, простимся с владельцем замка и этими сеньорами и устремимся отсюда прямо к цели.

Санчо, присутствовавший при этом разговоре, только покачал головой и ответил:

– Ах, сеньор, сеньор, а в деревне-то у нас больше худого, чем о том в песне поется, – не в обиду будь сказано почтенным дамам!

– А о чем же худом могут петь в деревне, да и во всех городах на свете, что было бы в ущерб моей чести, болван?

– Если ваша милость изволит гневаться, – ответил Санчо, – я замолчу и не скажу того, что обязан сказать как добрый оруженосец и добрый слуга, говорящий правду своему господину.

– Говори, что хочешь, – сказал Дон Кихот, – только не воображай, что твои слова меня испугают. Ты чего-то боишься – таков твой обычай; мой же обычай – ничего не бояться.

– Нет, дело не в этом, – ответил Санчо, – а только я, грешный, твердо и доподлинно знаю, что эта сеньора, выдающая себя за королеву великого королевства Микомикон, такая же королева, как моя матушка: была бы королевой, так не стала бы она всякий раз и при каждой оказии чмокаться с одним молодчиком из нашей компании.

При этих словах Санчо Доротея густо покраснела: действительно, супруг ее дон Фернандо, стараясь, чтобы никто этого не заметил, уже несколько раз срывал с ее уст поцелуи, в счет будущей награды за свою любовь (а Санчо это подглядел и решил, что такая свобода поведения подходит гораздо больше куртизанке, чем королеве великого государства); поэтому Доротея не пожелала, да и не могла ничего возразить Санчо, который продолжал свою болтовню:

– Говорю я это к тому, сеньор, что может выйти так: набегаемся мы по путям да по дорожкам, проведем худые ночки и еще худшие деньки, а этот молодчик, что здесь на постоялом дворе с нею забавляется, заберет себе все плоды наших трудов. А коли так, незачем мне торопиться седлать Росинанта, взнуздывать осла и запрягать скакуна; лучше уж сидеть на месте, пусть себе шлюха тешится, нам с того не вешаться.

Великий Боже, как вдруг разгневался Дон Кихот, услышав непристойные речи своего оруженосца! Он оказался столь рассерженным, что голос у него сорвался, язык стал плохо слушаться, в глазах вспыхнули искры, и он воскликнул:

– О низкий негодяй, бесчинный, непристойный, невежественный, косноязычный сквернослов, наглый клеветник и сплетник! И ты посмел сказать такие слова в присутствии моем и этих знаменитых сеньор! Как могло твое дурацкое воображение внушить тебе такие неприличные и наглые мысли? Убирайся прочь от меня, чудовище, склад лжи, сундук обманов, погреб плутней, сочинитель козней, распространитель вздора, покусившийся на уважение, воздаваемое особам королевского рода! Убирайся, скройся с глаз моих, а не то – берегись моего гнева!

И, говоря это, он хмурил брови, надувал щеки, метал взгляды во все стороны и наконец сильно топнул об землю правой ногой, что было явными признаками гнева, кипевшего в его груди. От его слов и яростных жестов Санчо пришел в такой страх и трепет, что, если бы в эту минуту под его ногами разверзлась земля и поглотила его, он только бы этому обрадовался; и ничего лучшего он не придумал, как повернуть спину и удрать от своего разгневанного господина. Но тут рассудительная Доротея, отлично постигшая характер Дон Кихота, заговорила, чтобы умерить его гнев:

– Не гневайтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на те вздорные слова, которые произнес ваш добрый оруженосец: ведь, может быть, он произнес их и не без основания. Принимая во внимание его здравый разум и христианскую совесть, никак нельзя заподозрить его в лжесвидетельстве; поэтому без всякого сомнения следует предположить, что Санчо только показалось, что он видел нечто порочащее мою честь, а на самом деле это было дьявольским наваждением: ведь вы сами говорили, сеньор рыцарь, что все случающееся и происходящее в этом замке повинуется силе волшебства.

– Клянусь всемогущим Богом – воскликнул тут Дон Кихот, – ваше величество попало в самую точку. Ну, конечно, этот грешник Санчо был обманут злым видением и увидел такие вещи, какие никак не возможно увидеть без вмешательства нечистой силы: ведь я знаю, что этот бедняга – честный и невинный малый и не способен на лжесвидетельство.

– Что верно, то верно, – сказал дон Фернандо, – а посему, ваша милость сеньор Дон Кихот, вы должны простить его и возвратить в лоно вашей благосклонности sicut erat in principio[3], прежде чем злые видения лишили его разума.

Дон Кихот заявил, что он прощает, священник отправился за Санчо, и тот смиренно приблизился и, опустившись на колени, попросил своего господина пожаловать ему ручку. Дон Кихот протянул ему руку, позволил облобызать ее и, благословив Санчо, сказал:

– Ну что, сынок Санчо, теперь, надеюсь, тебе ясно, что я был прав, когда неоднократно объяснял тебе, что все в этом замке заколдовано?

– Я тоже так думаю, – отвечал Санчо, – все заколдовано, кроме только подкидывания на одеяле, которое произошло самым естественным образом.

– Напрасно ты так думаешь, – сказал Дон Кихот, – ибо тогда я бы рано или поздно за тебя отомстил; однако ни в тот раз, ни теперь я не мог разыскать твоего обидчика и рассчитаться с ним.

Всем захотелось узнать, что это за история с подкидыванием на одеяле, и тогда хозяин во всех подробностях рассказал, как Санчо Панса летал по воздуху. Все много смеялись, и Санчо хотел было уже рассердиться, но тут Дон Кихот снова принялся его уверять, что все это было дьявольским наваждением. Тем не менее, простодушие Санчо не было безгранично, и он все же продолжал считать чистой и достоверной правдой, без всякой примеси обмана, что его подкидывали существа, сделанные из плоти и костей, а вовсе не пригрезившиеся и померещившиеся ему призраки, как полагал и уверял его господин.

Прошло уже два дня с тех пор, как все это блестящее общество прибыло в гостиницу; стали уже подумывать, что пора уезжать, и порешили устроить так, чтобы Доротее и дону Фернандо не пришлось утруждать себя, сопровождая Дон Кихота до его деревни и продолжая разыгрывать историю изгнанной королевы Микомиконы: ведь священник и цирюльник могли одни отвезти его туда и затем попытаться на месте излечить его от безумия. Для этой цели сговорились с крестьянином, который случайно проезжал по дороге в телеге, запряженной волами, и придумали следующее: из сплетенных дощечек сделали нечто вроде клетки, таких размеров, чтобы наш рыцарь мог в ней поместиться вполне удобно, затем по совету и распоряжению священника дон Фернандо со своими товарищами, дон Луис со слугами, все стрелки и, наконец, сам хозяин, кто как мог, замаскировались и нарядились так, чтобы Дон Кихот не мог в них признать тех людей, с которыми он жил в этом замке. Сделав все это, они в полном молчании вошли в комнату, где он спал, отдыхая от перенесенных им волнений.

В то время как он спокойно спал, не подозревая, что для него готовится, они все подошли к нему и крепко схватили и связали по рукам и по ногам, так что, когда наш рыцарь в смятении проснулся, он не в силах был пошевельнуться, и ему оставалось только дивиться и изумляться при виде таких необычайных лиц. Тотчас же у него явилась мысль, внушенная его неустанным расстроенным воображением, что все эти лица – привидения из заколдованного замка и что, без всякого сомнения, он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защи-

щаться; словом, все произошло в точности так, как рассчитал придумавший эту хитрость священник. Из всех находившихся при этом один Санчо был в своем виде и в своем уме; и хотя очень малого недоставало, чтобы он разделил недуг своего господина, все же он сразу разгадал, кто были эти переодетые люди. Однако он не решался открыть рта, ожидая, чем кончится эта история с захватом и пленением его господина; тот тоже молчал, дожидаясь развязки постигшей его напасти. А развязка была та, что ряженые притащили клетку, посадили его в нее и заколотили палки так крепко, что он не мог бы их сломать, даже если бы стал их расшатывать обеими руками.

Потом клетку взвалили на плечи, и, когда выносили ее из комнаты, цирюльник – не тот, которому принадлежал вьюк, а другой – закричал страшным голосом:

– О рыцарь Печального Образа, не сетуй, что ты попал в плен, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который подвинуло тебя твое мужество, а завершится он тогда, когда свирепый ламанчский лев соединится с белоснежной тобосской голубкой и когда их гордые главы склонятся под сладостным ярмом брака. От этого дивного союза появятся на свет Божий отважные львята, у которых будут столь же цепкие когти, как у их славного родителя. Произойдет же это раньше, чем бог, преследующий убегающую нимфу, в своем естественном стремительном беге дважды посетит сияющие знаки небес[4]. А ты, о самый благородный и послушный из всех оруженосцев, которые когда-либо обладали шпагой на поясе, бородой на подбородке и обонянием в ноздрях, не пугайся и не огорчайся, видя, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства! Ибо скоро – если только угодно будет зиждителю мира – ты достигнешь такого высокого и почетного положения, что сам себя не узнаешь, и тогда исполнятся все обещания твоего доброго господина. Заверяю тебя от имени мудрой Ментиронианы[5], что жалованье будет тебе заплачено, как ты в этом убедишься на деле. Следуй же по стопам этого доблестного очарованного рыцаря, – ибо вам надлежит до конца пути быть вместе. Больше мне говорить не велено, и потому оставайся с Богом, а я вернусь туда, куда мне полагается.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно возвысил голос, а потом стал затихать на таких нежных нотах, что даже посвященные в эту шутку готовы были поверить, что все это происходит взаправду.

Услышав пророчество, Дон Кихот утешился, так как смысл его был ему ясен во всех подробностях: он уразумел, что согласно этому обещанию он сочетается священными и законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобосской, что из ее благословенного чрева родятся сыновья его, львята, которым суждено навеки прославить Ламанчу. И уверовав в это твердо и окончательно, он возвысил голос и с глубоким вздохом сказал:

– Кто бы ты ни был, предсказывающий мне столь великое благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося о моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой меня увозят! Да исполнятся

сначала несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал! Если свершится это, я сочту за счастье все тяготы моего пленения и за утешение – сковывающие меня цепи, а подстилка, на которую меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, а мягкой постелью и счастливым свадебным ложем. Что же касается утешений, которые ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе, я уверен, что при своем благородстве и честности он не покинет меня ни в радости, ни в горе; ибо если мой или его злой рок не позволят мне сдержать обещание и подарить ему остров или что-либо другое, равноценное, то жалованье его, во всяком случае, не пропадет, так как я уже составил завещание и в нем определил ему награду, правда, соразмерную не с его великими услугами, а только с малыми моими средствами.

Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки (да он и при желании не мог бы поцеловать только одну, ибо они были связаны вместе).

Затем привидения взвалили клетку себе на плечи и поставили ее на телегу, запряженную волами.

ГЛАВА XLVII

о том, каким необычайным образом был очарован Дон Кихот Ламанчский, и о других достославных происшествиях

Дон Кихот, увидев, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал:

– Много замечательных историй прочел я о странствующих рыцарях, но никогда не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей похищали подобным способом и увозили с медлительностью, которой можно ожидать от этих ленивых и неторопливых животных. Обыкновенно волшебники уносят их по воздуху с удивительной быстротой, окутав серым или черным облаком или посадив на огненную колесницу, на гиппогрифа или другое какое-либо чудовище. Но быть похищенным на телеге, запряженной волами[1], – клянусь Богом, это приводит меня в смущение! Хотя, может быть, рыцарство и волшебство наших времен идут не по тем путям, по которым они шли в древние времена, и вполне возможно, что для меня, новоявленного рыцаря на этом свете и первого, кто воскресил забытое дело рыцарей, искателей приключений, в наши дни были изобретены новые виды волшебства и иные способы похищения очарованных. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?

– Уж не знаю, что и думать, – ответил Санчо; – ведь я не так начитан, как ваша милость, в странствующем писании. А все же я бы решился клятвенно утверждать, что призраки, шагающие рядом с нами, отнюдь не добрые католики.

– Католики! – воскликнул Дон Кихот. – Голубчик ты мой, да как же им быть католиками, когда все они – дьяволы, принявшие призрачные тела, чтобы проделать эту штуку и довести меня до такого состояния? Если хочешь убедить-

ся, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их – из воздуха и все это – одна только видимость.

– Ей-Богу, сеньор, – возразил Санчо, – я уж их трогал, и вот у этого дьявола, что шагает с таким усердием, тело холеное, и есть у него еще одно свойство, которого, как я слышал, у дьяволов не бывает, ибо говорят, что от чертей разит серой и другими скверными запахами, а от него за полмили несет амброй.

Санчо говорил о доне Фернандо, который, как знатный сеньор, был действительно надушен так, как говорил наш оруженосец.

– Нечему тут дивиться, друг мой Санчо, – ответил Дон Кихот. – Имей в виду, что дьяволы хитры, и хотя они окружены смрадом, но сами не пахнут, потому что они духи; если же они пахнут, то запах их не может быть приятным: от них исходит одно мерзкое зловоние. Причина же этого заключается в следующем: куда бы они ни отправились, они всюду тащат за собой ад, и ничто не может облегчить их мук, так как благовоние есть нечто радующее и услаждающее, то и невозможно им иметь приятный запах. Итак, если тебе кажется, что этот дьявол пахнет амброй, то это значит, что либо ты ошибаешься, либо же он хочет тебя обмануть, чтобы ты не догадался, что он дьявол.

Вот какая беседа происходила между господином и слугой. Дон Фернандо и Карденио, опасаясь, как бы Санчо не догадался окончательно об их хитрости (к чему он был уже весьма близко), решили ускорить отъезд и, отозвав хозяина в сторону, приказали ему оседлать Росинанта и взнуздать осла Санчо, что и было им исполнено с большой поспешностью. Тем временем священник уговорил стрелков проводить его до его деревни за некоторую поденную плату. Карденио подвесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – бритвенный таз и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу; а по бокам телеги он поместил двух стрелков с мушкетами. Но, прежде чем поезд двинулся, хозяйка, ее дочка и Мариторнес вышли проститься с Дон Кихотом, притворяясь, что плачут от горя по поводу постигшей его беды. Увидя это, Дон Кихот сказал им:

– Не горюйте, мои добрые сеньоры! Такие невзгоды неразлучны с служением, которому я себя посвятил; а если бы мне не приходилось их переживать, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем. Ибо с рыцарями, ничем себя не прославившими, подобные бедствия никогда не случаются, – потому-то никто на свете о них и не вспоминает; а доблестные рыцари постоянно испытывают злоключения, так как многие принцы и другие рыцари, завидуя их мужеству и отваге, стараются злыми способами извести их. Однако добродетель столь могущественна сама по себе, что назло всему чернокнижию, какое только было ведомо первому изобретателю его, Зороастру[2], она выйдет победительницей из испытаний, и свет ее засияет на земле, как свет солнца на небе. Простите мне, прекрасные дамы, если по оплошности своей я в чем-нибудь вам не угодил (ибо намеренно и умышленно я никогда никого не обижал), и просите Бога, чтобы он вывел меня из темницы, куда заключил меня какой-то злокозненный волшебник. И, когда я снова буду на свободе, из памяти моей нико-

гда не изгладится воспоминание о милостях, которыми вы осыпали меня в этом замке, и я отблагодарю вас и вознагражу своей службой так, как вы этого заслуживаете.

Пока Дон Кихот разговаривал с обитательницами замка, священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с капитаном и его братом и со всеми довольными своей судьбой дамами, особенно же с Доротеей и Люсиндой. Все обнялись и пообещали сообщать друг другу о дальнейшем ходе их дел; а дон Фернандо дал священнику адрес, по которому можно было посылать ему письма, и очень просил уведомить его, чем кончится история с Дон Кихотом, уверяя, что ничто на свете не доставит ему такого удовольствия, как весть о нашем рыцаре. В свою очередь, и он обещал священнику написать обо всем, что могло бы того интересовать: о своей свадьбе, о крещении Зораиды, о судьбе дона Луиса и возвращении Люсинды в отчий дом. Священник заявил, что он в точности исполнит его просьбу. Потом они снова обнялись и снова обменялись дружескими уверениями. А хозяин постоялого двора подошел к священнику и вручил ему какие-то бумаги, говоря, что он нашел их за подкладкой сундука, в котором отыскалась "Повесть о Безрассудно-любопытном", и прибавил, что владелец сундука никогда больше не возвращался за ним, и потому священник может увезти их с собой: ему самому они не надобны, так как он не умеет читать. Священник поблагодарил и, сразу же развернув рукопись, прочитал заглавие: "Повесть о Ринконете и Кортадильо"[3], из чего убедился, что это какая-то повесть, и подумал, что раз "Повесть о Безрассудно-любопытном" была хороша, то возможно, что и эта не хуже, ибо, по всем вероятиям, обе они принадлежали одному автору. Поэтому он спрятал рукопись, намереваясь прочитать ее, когда представится удобный случай.

Затем священник и его друг цирюльник сели на лошадей, не снимая масок, так как они не желали, чтобы Дон Кихот их узнал, и поехали вслед за телегой. Порядок шествия был такой: впереди ехала телега, которою правил ее владелец – крестьянин; по бокам ее, как мы уже сказали, шли стрелки с мушкетами; далее следовал на осле Санчо Панса, ведя на поводу Росинанта; позади всех на здоровых мулах ехали в масках священник и цирюльник, подвигаясь неторопливо и важно, сообразно с медленной поступью волов. Дон Кихот со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорей каменную статую, чем живого человека. Так, медленным шагом и в глубоком молчании, проехали они около двух миль, и, когда достигли одной долины, погонщик заявил, что в этом месте будет удобно отдохнуть и покормить волов; но цирюльник, посоветовавшись со священником, предложил проехать немного дальше, так как он знал, что за видневшимся поблизости холмом лежала другая долина, с более густой и сочной травой, чем в том месте, где они собрались расположиться на отдых. Все согласились с цирюльником и продолжали путь.

В эту минуту священник обернулся и увидел за своей спиной шестерых или семерых всадников, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро нагнали

наших путников, так как они ехали не на ленивых и медлительных волах, а на мулах, какие бывают у каноников; и видно было, что они спешат добраться до сиесты на постоялый двор, находившийся от этого места на расстоянии не больше одной мили. И вот торопливые путешественники нагнали ленивых и любезно их приветствовали; а один из них, как впоследствии оказалось, каноник из Толедо и хозяин тех, кто его сопровождал, увидев эту странную процессию – телегу, стрелков, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, – не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким необыкновенным способом (хотя, при виде стрелков с жезлами и мушкетами, он уже сам догадался, что пленник – опасный разбойник или другой какой-нибудь преступник, которого Санта Эрмандад собирается наказать). На вопрос каноника один из стрелков ответил так:

– Сеньор, пускай этот рыцарь сам объяснит вам, почему его везут таким способом; нам об этом ничего не известно.

А Дон Кихот, услышав их разговор, сказал:

– Сеньоры рыцари, достаточно ли вы сведущи и опытны в делах странствующего рыцарства? Если да, то я расскажу вам о своих злоключениях; если же нет, то мне нет смысла утруждать себя объяснениями.

В это время священник и цирюльник, заметив, что всадники разговаривают с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе, чтобы дать нужный ответ, не открывая своего хитрого плана.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил:

– Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, чем в "Súmulas" Вильяльпандо[4], так что, если все дело за этим, вы можете без всяких опасений рассказать мне все, что вам будет угодно.

– В добрый час, – сказал Дон Кихот. – Если так, то знайте, сеньор рыцарь, что меня везут в этой клетке очарованным по зависти и вероломству злых волшебников, так как злые преследуют добродетель сильнее, чем добрые ее любят. Я – странствующий рыцарь, и не из числа тех, имени которых ни разу не вспомнила дарующая бессмертие Слава, а из тех, кому предназначено, назло самой зависти, всем магам Персии, брахманам Индии и гимнософистам Эфиопии[5], начертать свое имя в храме бессмертия, дабы послужило оно образцом и примером для грядущих поколений и дабы видели все странствующие рыцари, какими путями им надлежит идти, добиваясь вершин и почетных высот военного звания.

– Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит сущую правду, – сказал на это священник. – Он действительно сидит на этой телеге очарованный, и не за свои грехи и преступления, а вследствие козней злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Перед вами, сеньор, *Рыцарь Печального Образа*, о котором вы, пожалуй, уже отчасти наслышались. Достославные деяния его и великие подвиги будут когда-нибудь начертаны на твердой бронзе и вечном мраморе, сколь бы ни силилась зависть затмить их, а злоба – их омрачить.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и находящийся на воле, он от изумления чуть не перекрестился, отказываясь понять, что такое с ним приключилось; да и всех спутников его это повергло в не меньшее недоумение. Но тут Санчо Панса, подойдя послушать, о чем идет разговор, захотел вывести это дело на чистую воду и заявил:

– Сеньоры, вы можете меня хвалить или ругать, а только вот что я вам скажу: мой господин Дон Кихот очарован не больше, чем моя матушка. Он в полном своем уме; он ест, пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные люди, совсем так же, как и вчера, прежде чем его засадили в клетку. А раз все это так, неужели же вы станете меня уверять, что он очарован? Мне всегда говорили, что очарованные не едят, не пьют и не говорят, а мой господин, если только его не остановить, мог бы наговорить больше, чем тридцать стряпчих.

И, обратившись к священнику, он продолжал:

– Ах, сеньор священник, сеньор священник, неужто ваша милость думала, что я ее не у́знаю? Неужто вы полагаете, что я не пронюхал и не смекнул, к чему клонятся все эти новые волшебства? Как вы там ни закрывайте лицо и не притворяйтесь, все равно я вас узнал и хитрости ваши раскусил. Да, там где царствует зависть, нет места для добродетелей, и со скупостью не уживается щедрость. Черт меня побери! Ведь если б не ваше преподобие, так мой господин об эту пору уже женился бы на инфанте Микомиконе, а я по меньшей мере был бы теперь графом, на что величие моего сеньора Печального Образа и огромные мои заслуги вполне позволяли мне рассчитывать. Но я вижу теперь, правду говорят люди: колесо Фортуны вертится быстрее мельничного жернова, и те, кто вчера были на вышке, сегодня лежат на земле. Жаль мне моей жены и детей: ведь они могли с полным правом надеяться, что их отец вернется домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, а вместо этого он возвратится конюхом. Все это я говорю к тому, сеньор священник, чтобы пробудить в вас отеческие чувства и побудить вас раскаяться в недобром отношении к моему господину: смотрите, как бы на том свете Господь не потребовал вас к ответу за его пленение и не осудил бы вас за то, что мой господин лишен возможности во время своего пленения делать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.

– Хорошую он нам пулю отлил, – сказал на это цирюльник. – Так значит вы, Санчо, одного толка с вашим господином? Ей-Богу, я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку к нему за компанию, ибо, видно, вы тоже очарованы, заразившись его рыцарскими бреднями! В недобрый час забеременели вы от его обещаний и в недобрый день вбили себе в голову этот любезный вам остров.

– И вовсе я не беременел, – ответил Санчо, – и не такой я человек, чтобы забеременеть, хотя бы даже от самого короля. Я хоть и бедняк, но старый христианин и никому ничего не должен. Что ж из того, что мне хочется острова? Другим хочется вещей и того похуже. Каждый из нас – сын своих дел[6]. Я ведь мужчина, а значит могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой, а мой господин может завоевать и не один остров, а столько, что и раз-

давать их будет некому. Лучше вы, сеньор цирюльник, сначала подумайте, а потом говорите: это вам не бритье бороды, одно на одно не приходится. Говорю я это к тому, что все мы друг дружку знаем, и нечего мне очки втирать. Что же до того, будто мой господин очарован, то Бог правду видит. Не будем об этом говорить, и лучше этого дела не трогать.

Цирюльник решил не отвечать Санчо, боясь, как бы он своим простодушием не выдал того, что он и священник так тщательно старались скрыть. По этой же причине священник попросил каноника проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о тайне с клеткой и о многих других забавных вещах. Каноник согласился и, проехав вместе со своими слугами вперед вслед за священником, с большим вниманием выслушал его рассказ об образе жизни, положении, нраве и безумии Дон Кихота. Священник кратко рассказал о начале и причине умопомешательства нашего рыцаря, о всех его приключениях до того момента, как он попал в эту клетку, и о своем намерении отвезти его на родину и попытаться там на месте каким-нибудь способом его вылечить. Каноник и все его слуги снова подивились, слушая необыкновенную историю Дон Кихота, и, когда священник умолк, каноник сказал[7]:

– Поистине, сеньор священник, я того мнения, что книги, именуемые рыцарскими романами, приносят вред государству, и хотя праздность и ложный вкус побудили меня прочитать первые главы почти всех печатных романов, все же я ни разу не мог себя заставить дочитать хотя бы один из них до конца, ибо мне кажется, что все они, за небольшими отклонениями, представляют собой одно и то же: в одном содержится то же самое, что и в другом, а в другом то же, что в третьем. И, на мой взгляд, романы эти по своему слогу и содержанию относятся к тому же роду, что и так называемые милетские сказки[8]: нелепые выдумки, которые только развлекают, но не поучают нас, в противоположность апологам, которые одновременно и развлекают и поучают. Если же главная цель подобных книг – доставлять удовольствие, то спрашивается: каким образом они могут этой цели достигнуть, будучи переполнены самыми дикими бессмыслицами? Ведь душа наша испытывает удовольствие, когда в явлениях мира, воспринятых через зрение или воображение, она наблюдает и созерцает красоту и согласованность; явления же безобразные и бесформенные не могут доставить нам никакого удовлетворения. А какая же может быть красота, какое соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, в которых шестнадцатилетний мальчик поражает мечом великана ростом с башню[9] и рассекает его на две половины, как если б он был сделан из марципана, или когда, описывая битву, автор сообщает, что в неприятельской армии было больше миллиона бойцов, а потом оказывается, что против этого войска выступил герой романа, и, конечно, – хочешь не хочешь, а изволь верить, – этот рыцарь один, силой своей могучей руки, одержал полную победу? А что вы скажете о легкости, с которой какая-нибудь королева или наследница императорского престола бросается в объятия безвестного странствующего рыцаря? Какое нужно иметь варварское и неотесанное воображение, чтобы испытать удоволь-

ствие, читая о том, как огромная башня, наполненная рыцарями, плывет по морю[10], подобно кораблю при попутном ветре, и сегодня вечером она у берегов Ломбардии, а завтра утром – в Индии, в земле пресвитера Иоанна, или в других еще странах, которых ни Птолемей не описывал, ни Марко Поло не видывал?[11] А если на это мне возразят, что сочинители этих книг смотрят на них как на чистый вымысел и не считают себя обязанными соблюдать точность и правду, то я отвечу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем приятнее, чем ближе к вероятному и возможному. Вымышленные истории должны соответствовать пониманию читателя, и их нужно писать так, чтобы, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное и приковывая внимание, они возбуждали в нас восторг, удивление, волнение и удовольствие, вызывая одновременно и в равной степени удивление и радость. А этой цели никогда не достигнет писатель, избегающий правдоподобия и подражания, в которых заключается все совершенство литературных произведений. Я еще ни разу не встречал рыцарского романа, в фабуле которого все члены составляли бы одно тело, так, чтобы середина соответствовала началу, а конец – началу и середине; обычно истории эти составлены из стольких членов, что кажется, будто автор задумал создать какую-то химеру или чудовище, а не соразмерную в своих частях фигуру. Кроме всего этого, у авторов романов слог – неотесан, приключения – неправдоподобны, любовные истории – сладострастны, понятия о вежливости – грубы, описания битв – бесконечны, рассуждения – неосмысленны, рассказы о путешествиях – вздорны; одним словом, они лишены всякого истинного искусства и заслуживают по своей бесполезности изгнания из христианского государства.

Священник, выслушав все это с большим вниманием, решил, что каноник – человек разумный и высказывает мысли вполне основательные. Поэтому он ему сообщил, что вполне разделяет его мнение и что сам он так ненавидит рыцарские романы, что в свое время сжег большую груду книг, принадлежавших Дон Кихоту. Он рассказал, как он их обследовал, какие обрек огню, а какие помиловал. Каноник от души посмеялся и сказал, что, несмотря на все перечисленные им недостатки этих романов, в них есть кое-что и хорошее, а именно – сюжеты их позволяют просвещенному уму обнаружить свои силы, ибо они открывают перед ним широкое и просторное поле, где может беспрепятственно развернуться его талант. Писателю представляется случай описывать кораблекрушения, бури, стычки и сражения; он может изобразить отважного капитана, наделив его всеми качествами, присущими такому характеру, показать, с каким благоразумием он предупреждает замыслы неприятеля, с каким ораторским красноречием убеждает в чем-нибудь своих солдат, как он мудр в совете, быстр в решениях и равно отважен в выжидании и нападении; автор может описывать то плачевные и трагические события, то непредвиденные радостные происшествия; вот вам прекраснейшая дама, скромная, разумная и осмотрительная; а вот – рыцарь-христианин, отважный и учтивый; вот – грубиян и бесшабашный хвастун; а вот – любезный, доблестный и изысканный принц; писателю надле-

жит изображать честность и верность вассалов, величие и великодушие сеньоров. Он может предстать перед нами в роли астролога, ученого космографа или музыканта, поделиться с нами своими знаниями в области государственных дел, а если представится случай – при желании превратиться и в чернокнижника. Он расскажет нам о хитроумии Улисса, о благочестии Энея, о мужестве Ахилла, о несчастиях Гектора, о предательстве Синона[12], о дружбе Эвриала[13], о щедрости Александра, о храбрости Цезаря, о мягкости и правдивости Траяна[14], о верности Зопира[15], о мудрости Катона, одним словом – о всех качествах, которые делают совершенными великих мужей; от него зависит все эти свойства придать одному герою или распределить их между несколькими. И если все это будет искусно придумано и написано приятным слогом, и если вымысел будет мало уклоняться от действительности, то из прекрасных, разноцветных нитей ему бесспорно удастся выработать ткань, которая в законченном виде будет сама красота и совершенство: и тогда, повторяю, он достигнет высокой цели писательства – поучать и услаждать одновременно, так как свободная форма романа дает автору возможность быть эпиком, лириком, трагиком и комиком, соединяя вместе все элементы, которые заключают в себе приятные и сладостные науки поэзия и риторика; ибо произведения эпические с равным правом могут писаться и в прозе и в стихах.

ГЛАВА XLVIII

в которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах и других материях, достойных его тонкого ума

– Вы совершенно правы, ваша милость, сеньор каноник, – сказал священник, – и посему доселе жившие авторы подобных книг особенно достойны порицания: они сочиняли, пренебрегая всяким смыслом и правилами искусства, следуя которым они могли бы прославиться в прозе так же, как в стихах прославились два князя поэзии – греческой и латинской[1].

– Я лично, – ответил каноник, – однажды поддался искушению написать рыцарский роман, руководствуясь всеми мною изложенными правилами, и, скажу вам правду, исписал более ста листков[2]. Затем, чтобы проверить, соответствует ли в действительности мое произведение тому, что я о нем думаю, я прочитал его многим любителям такого чтения – как людям умным и ученым, так и людям невежественным, которым нравится всякая дребедень; и те и другие удостоили меня лестного одобрения. Но, несмотря на это, я не продолжал: во-первых, это занятие казалось мне не подобающим моему сану, а во-вторых, я видел, что на свете больше глупцов, чем умников, и хотя похвала немногих понимающих людей предпочтительней, чем насмешки многочисленных невежд, все же я не пожелал подчиняться бессмысленному суждению изменчивой толпы, которая-то главным образом и читает подобные книги. Но окон-

чательно побудило меня бросить мои писания и оставить самую мысль о том, чтобы их закончить, следующее соображение, явившееся у меня по поводу комедий, которые в настоящее время представляются на сцене[3]. Если известно, что все или большая часть современных комедий с историческими или вымышленными сюжетами – сплошной вздор; если это – уроды без ног и без головы, а толпа тем не менее смотрит их с удовольствием и одобряет, считая превосходными, хотя они весьма далеки от совершенства; если авторы, сочиняющие их, и актеры, их разыгрывающие, утверждают, что они должны быть таковыми, ибо публика любит такую манеру, и что комедии, в которых интрига и фабула развиваются согласно правилам искусства, удовлетворяют всего каких-нибудь трех-четырех понимающих людей, а все остальные зрители лишены способности оценить их художественность, – а для актеров и авторов заработок, который им дает толпа, важнее доброго мнения немногих, – если все это так, то разве не та же судьба постигнет и мою книгу? Я буду палить себе брови[4], стараясь в своих писаниях соблюсти все вышеуказанные правила, а в итоге окажусь в положении "портного с угла"[5]. Неоднократно пытался я убедить авторов комедий, что их воззрения ошибочны, что если бы вместо того, чтобы сочинять нелепости, они ставили пьесы, написанные по правилам, они бы привлекли еще больше публики и снискали бы еще большую известность; они так слепы и упорны в своей уверенности, что ни доводы, ни сама очевидность не могут ее поколебать. Припоминаю, как я однажды сказал одному из этих упрямцев: "Скажите, пожалуйста, помните ли вы, как несколько лет тому назад были поставлены на испанской сцене три трагедии, принадлежащие перу одного знаменитого писателя нашей страны, и как они удивили, взволновали и восхитили всех зрителей, невежественных и образованных, простолюдинов и знатных? Разве эти три пьесы не принесли актерам больше дохода, чем тридцать лучших трагедий, ставившихся после них?" Автор, о котором я говорю, ответил мне: «Ваша милость, без сомнения, разумеет "Изабеллу", "Фи́лиду" и "Александру"?[6] – "Да, именно их", – сказал я. – И заметьте, что в них соблюдены все правила искусства, что, однако, не помешало им быть тем, чем они были, и понравиться всем зрителям. А следовательно, виновата не публика, будто бы требующая нелепых зрелищ, а те, кто не умеет показать ей ничего другого. Вы не отыщете нелепостей в "Наказанном бессердечии", в "Нумансии", во "Влюбленном купце", еще менее в "Благосклонной неприятельнице"[7] и в некоторых других пьесах, написанных просвещенными поэтами и доставивших им известность и славу, а актерам – большой доход». Я еще много говорил по этому поводу, и, кажется мне, мой собеседник был несколько смущен; но все же мои замечания не убедили его до конца в ошибочности его суждений.

– Ваша милость, сеньор каноник, – сказал священник, – затронула предмет, пробудивший во мне мою старую вражду к нынешним комедиям, которая не менее сильна, чем неприязнь к рыцарским романам. По словам Туллия[8], комедия должна быть зеркалом человеческой жизни, примером нравов и образом исти-

ны, а те комедии, что ныне идут на сцене, суть зеркала нелепости, примеры глупости и образы сладострастия. И в самом деле, может ли в этом деле быть бóльшая несообразность, чем когда в первой сцене первого акта нам показывают ребенка еще в пеленках, а во второй выводят его уже взрослым, бородатым мужчиной? Не нелепо ли изображать старика – отважным, юношу – трусливым, лакея – ритором, пажа – советчиком, короля – поденщиком, а принцессу – судомойкой? А что вы скажете о соблюдении закона времени, в течение которого могут или могли произойти изображаемые в комедии события? Я раз видел одну пьесу, первый акт которой начался в Европе, второй в Азии, а третий закончился в Африке; и если бы в ней было четыре акта, то четвертый наверное бы разыгрывался в Америке, и таким образом действие охватило бы все четыре части света[9]. Если признать, что главная основа комедии – подражание, то какое же удовлетворение может получить даже самый средний зритель, когда он видит, что действие пьесы происходит во время королей Пипина и Карла Великого[10], а главный герой ее – император Ираклий[11], которого автор превращает в крестоносца и заставляет вступить в Иерусалим и завоевать гроб Господень подобно Готфриду Бульонскому[12], между тем как эти две личности разделены огромным промежутком времени? Если же комедия основывается на вымысле, то не нелепо ли вводить в нее исторические факты, сваливая в одну кучу события, случившиеся с разными лицами и в разные времена, причем все это делается с полным пренебрежением ко всякому правдоподобию и с явными, ничем не оправдываемыми ошибками? И хуже всего то, что находятся еще невежды, утверждающие, что это и есть само совершенство, и искать лучшего – значит искать птичьего молока. А взять хотя бы духовные драмы! Сколько в них насочинено небывалых чудес, сколько апокрифических и ложно понятых событий, как часто чудеса, совершенные одним святым, приписываются другому! Да и в светских пьесах авторы осмеливаются без всяких оснований и уважительных причин изображать чудеса единственно потому, что эти чудеса, или, как они их называют, видения, кажутся им подходящими и способными поразить невежественную толпу и привлечь ее в театр. Все это делается в ущерб истине, наперекор истории и навлекает позор на испанских писателей, ибо иностранцы, с большой точностью соблюдающие законы комедии, считают нас варварами и невеждами, видя нелепости и сумасбродства наших произведений. И мы плохо бы оправдались, если бы стали заявлять, что основная цель, которую преследуют благоустроенные государства, разрешая публичные представления, состоит в доставлении обществу пристойных развлечений и в отвлечении его от дурных склонностей, порождаемых праздностью, и что раз этой цели достигают одинаково и хорошие и плохие комедии, то, следовательно, незачем навязывать им законы и заставлять авторов писать, а актеров разыгрывать их согласно правилам, – потому что, как я уже сказал, любая комедия достигает своей цели. В ответ на все это я бы сказал следующее: этой цели мы бы достигли с несравненно бóльшим успехом, сочиняя не плохие, а хорошие комедии, ибо после представления искусной и правильно построенной комедии зритель уходит из театра,

развлеченный шутками, вразумленный моралью, восхищенный происшествиями, умудренный рассуждениями, предупрежденный против плутней, наученный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в добродетель, – ибо хорошая комедия должна пробудить все эти чувства в самой грубой и тупой душе, и никак не возможно, чтобы пьеса, заключающая в себе все эти достоинства, не развлекала, не удовлетворяла и не поучала больше, чем зрелище, всех этих качеств лишенное, – а большинство нынешних комедий именно таково. Виноваты в этом не писатели, сочиняющие подобные комедии, ибо многие из них прекрасно понимают свое заблуждение и отлично знают, как следует писать; беда в том, что комедии в наше время стали просто товаром, и авторы говорят (и вполне справедливо), что, будь они написаны не по принятому образцу, актеры их не купят; и поэтому они стараются подладиться к требованиям актеров, которые платят им за их произведения. Эту истину можно подтвердить примером многочисленных, вернее бесчисленных комедий, написанных величайшим писателем нашего королевства[13]: сколько в них блеска, изящества, сколько превосходных стихов, мудрых рассуждений и глубокомысленных изречений: одним словом, язык и слог их столь возвышен, что комедии эти славятся на весь мир, и тем не менее только немногие из них, а вовсе не все, достигают вершины совершенства из-за того, что автор их склонен приспособляться ко вкусу актеров. Иные авторы пишут комедии так небрежно, что после представления актеры вынуждены бывают скрываться и бежать из боязни преследований, как это не раз уже с ними случалось после исполнения пьесы, оскорбительной для достоинства короля или какой-нибудь знатной фамилии. Злоупотребления, о которых я говорю, равно как и многие другие, о которых умалчиваю, прекратились бы, если бы в столице находилось какое-нибудь просвещенное и умное лицо, которое просматривало бы все комедии до их публичного исполнения, и так, чтобы просмотр этот касался не только комедий, ставящихся в столице, но и всех вообще пьес, разыгрываемых в Испании: без одобрения, печати и подписи этого лица местные власти нигде не должны были бы разрешать ни одного представления. При таком положении дел комедианты были бы обязаны посылать свои пьесы в столицу и потом могли бы разыгрывать их без всяких опасений, а авторы относились бы к своему делу с большей заботливостью и тщательностью, страшась строгого суда сведущего лица. Таким образом, у нас появились бы хорошие комедии, в полной мере выполняющие свое назначение: развлекать народ и поддерживать славу испанских писателей; вместе с тем актерам были бы обеспечены доход и безопасность, и власти не нужно было бы никого преследовать. И если бы этому самому лицу или другому какому-нибудь был поручен просмотр рыцарских романов, выходящих в свет в наше время, то, несомненно, у нас появились бы романы, обладающие совершенством, о котором говорила ваша милость. Они обогатили бы наш язык драгоценными и приятными сокровищами красноречия, затмили бы своим блеском старые романы и послужили бы благородным отдыхом не только для праздных умов, но и для самых занятых, ибо тетива лука не может постоянно быть на-

тянутой и человеческая природа по слабости своей нуждается в пристойных развлечениях.

В этом месте беседа каноника со священником была прервана появлением цирюльника, который, нагнав их, сказал:

– Сеньор лиценциат, вот то место, о котором я говорил. Нам тут хорошо будет расположиться на сьесту, а наши волы найдут здесь обильное и свежее пастбище.

– Я совершенно с вами согласен, – ответил священник.

Он сообщил об этом канонику, и тот заявил, что охотно отдохнет вместе с ними, так как открывающаяся отсюда долина кажется ему красиво расположенной. И вот, чтобы насладиться ею и беседой со священником, к которому он почувствовал расположение, а также чтобы разузнать во всех подробностях о подвигах Дон Кихота, он приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, находившийся поблизости, и принести оттуда еды для всей компании, так как он решил провести сьесту сегодня в этой долине. Один из слуг ответил канонику, что мул с провизией, должно быть, уже прибыл на постоялый двор и что припасов этих хватит на всех, так что в гостинице им придется купить только овса для мулов.

– Раз так, – сказал каноник, – отведите туда всех наших мулов и приведите сюда мула с провизией.

Пока все это происходило, Санчо, воспользовавшись случаем поговорить наедине со своим господином, без надзора священника и цирюльника, очень для него подозрительных, приблизился к клетке, в которой сидел Дон Кихот, и сказал:

– Сеньор, для облегчения своей совести я должен сообщить вам, как обстоит дело с вашей очарованностью, а именно: эти двое в масках, что сопровождают нас, не кто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник. И мне думается, что их побудила похитить вас таким образом чистейшая зависть: они видят, что вы превзошли их своими знаменитыми подвигами. А если так, то выходит, что вы вовсе не очарованы, а попросту попались впросак и одурачены. В доказательство этого дозвольте задать вам один вопрос, и если вы мне ответите так, как я этого ожидаю, вы воочию убедитесь в обмане и согласитесь, что вы ничуть не заколдованы, а просто вам заморочили голову.

– Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо, – ответил Дон Кихот, – я удовлетворю тебя и отвечу на все твои вопросы. А что касается того, что эти двое, едущие вместе с нами, будто бы наши односельчане и старые знакомые – священник и цирюльник, – возможно, что тебе так кажется; но ты никоим образом не доложен думать, что оно так и есть на самом деле и в действительности. Напротив, тебе следует поверить и понять, что если они представляются тебе таковыми, так это потому, что волшебники, очаровавшие меня, приняли их образ и подобие, ибо волшебникам ничего не стоит принять внешность, какую им вздумается; а приняли они вид наших друзей для того, чтобы побудить тебя ду-

мать то, что ты думаешь, и ввести тебя в лабиринт заблуждений, из которого тебе не удастся выбраться, даже если бы у тебя была нить Тезея, и еще для того, чтобы я смутился в мыслях и не мог разгадать, откуда свалилась на меня эта беда. Ибо, если, с одной стороны, ты говоришь, что меня сопровождают священник и цирюльник из нашего села, а, с другой стороны, я вижу, что меня посадили в клетку, и знаю, что так пленить меня могли бы только сверхъестественные силы, и уж никак не человеческие, – то что же ты хочешь, чтобы я заключил и вывел из этого, как не то, что способ, каким я очарован, превосходит все, что мне приходилось читать в романах относительно очарованных странствующих рыцарей? Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать: они такие же священник и цирюльник, как я турок. А теперь спрашивай меня, о чем тебе угодно, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего утра.

– Помоги мне, Пресвятая Богородица! – громко вскричал Санчо. – Бывала ли когда на свете такая твердая и безмозглая голова, как у вашей милости! Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду и что в вашей беде и пленении больше повинно коварство, чем волшебство? Хорошо же, я вам наглядно докажу, что вы не очарованы: ну-ка, скажите мне прямо – и да поможет вам Бог избавиться от этого бедствия и нежданно-негаданно попасть в объятия сеньоры Дульсинеи!..

– Перестань меня заклинать, – сказал Дон Кихот, – и спрашивай, наконец, о чем ты хочешь; я тебе сказал, что отвечу на все с полной правдивостью.

– Это-то мне и надо, – ответил Санчо, – и желательно, чтобы вы сказали с полной откровенностью, ничего не прибавляя и не убавляя, как подобает и надлежит говорить всем, кто, подобно вашей милости, посвятил себя военному делу и носит звание странствующего рыцаря...

– Говорю тебе, что ни в чем не солгу, – ответил Дон Кихот. – Да спрашивай же, наконец! Надоел ты мне, Санчо, своими предисловиями, обиняками и присказками.

– А я говорю, что уверен в честности и правдивости моего господина; и потому, раз уж к делу пришлось, я спрашиваю вас: с тех пор как ваша милость посажены в клетку – или, как вы сами полагаете, очарованы в этой клетке, – не являлось ли у вас желания или потребности сходить, с позволения сказать, за маленькой или большой нуждой?

– Не понимаю, о какой нужде ты говоришь, Санчо. Выражайся яснее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.

– Неужто ваша милость не понимает, что значит большая и маленькая нужда? Да этому грудных младенцев учат. Ну, одним словом, не хотелось ли вам сделать такое дело, от которого не отвертишься?

– Теперь понимаю, Санчо! Конечно, хотелось, и не раз, да и сейчас как раз хочется. Помоги мне в этой беде, потому что не все у меня тут в полной опрятности.

ГЛАВА XLIX

в которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином Дон Кихотом

– Ага, – воскликнул Санчо, – вот вы и попались! Это-то мне и хотелось до смерти знать! Теперь скажите, сеньор, неужели вы станете отрицать, что, когда человеку не по себе, люди о нем обычно говорят: "Не понимаю, что с ним такое, – не ест, не пьет, не спит и на вопросы отвечает невпопад; не иначе, как он околдован". А из этого следует, что околодованным бывает тот, кто не ест, не пьет, не спит и не исполняет естественных потребностей, о которых я уже упоминал, – а вовсе не тот, кто, как ваша милость, испытывает естественную нужду, пьет, когда ему предлагают, ест, когда ему дают, и отвечает на все, о чем его ни спросишь.

– Правду ты говоришь, Санчо, – ответил Дон Кихот; – но я уж тебе говорил, что бывают разные виды очарованности, и очень возможно, что с течением времени одни из них сменились другими и что теперь очарованные делают все то, что делаю я и чего прежде не делали; а против заведенных обычаев не приходится возражать и выставлять разные доводы. Я знаю и уверен, что меня очаровали, и поэтому совесть моя спокойна. А как бы она мучилась, если бы я думал, что не очарован, а просто сижу здесь в клетке, как праздный и малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся, которые в этот самый час испытывают, должно быть, крайнюю и острую необходимость в моей поддержке и заступничестве!

– И все же, – ответил Санчо, – мне кажется, что для бóльшего спокойствия и уверенности вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой тюрьмы (я в этом деле обещаю помочь вам, сколько хватит сил, и, пожалуй, даже вывести вас отсюда) и снова сесть на вашего доброго Росинанта, который как будто тоже очарован, – посмотрите, как он печален и задумчив! – а выйдя на свободу, мы опять попробуем пуститься на поиски приключений. Если же из этого ничего не выйдет, так вернуться обратно в клетку мы всегда успеем; и обещаю вам, как полагается доброму и верному оруженосцу, что я засяду в клетку вместе с вашей милостью, если, на несчастье, ваша милость окажется такой неудачливой, а я таким неловким, что это дело у нас не выгорит.

– Я согласен на твое предложение, братец Санчо, – сказал Дон Кихот, – и, как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться. Но ты увидишь, Санчо, как ложно ты судишь о постигшем меня несчастье.

Такую-то беседу вели странствующий рыцарь и странствующий горемыка-оруженосец, пока наконец они не прибыли туда, где, спешившись, их поджидали священник, каноник и цирюльник. Погонщик тотчас же выпряг волов из телеги и пустил их гулять на свободе в этой мирной зеленой долине, прохлада которой располагала к отдыху всех, кто был столь расудителен и благоразумен,

как наш оруженосец; только людям очарованным, подобно Дон Кихоту, было не до того. Санчо попросил священника позволить его господину выйти на минутку из клетки, объяснив, что если этого не сделать, то в тюрьме может появиться неопрятность, несовместимая с достоинством почтенного рыцаря. Священник понял, в чем дело, и ответил, что он с величайшей готовностью исполнил бы его просьбу, если бы не боялся, что Дон Кихот, очутившись на свободе, снова примется за свое и удерет так, что его уже больше не отыщут.

– Я ручаюсь за то, что он не убежит, – сказал Санчо.

– И я тоже, – прибавил каноник, – особенно, если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.

– Даю вам слово, – ответил Дон Кихот, слышавший этот разговор, – и тем более охотно, что очарованные не вольны располагать собой, как им хочется, ибо волшебник может заставить их простоять триста лет на одном месте, а если они попытаются бежать, он может вернуть их обратно по воздуху.

Ввиду этого, прибавил он, его можно спокойно выпустить: для всех от этого будет одна выгода; если же они этого не сделают, то им придется отойти в сторону, ибо он будет вынужден оскорбить их обоняние. Каноник заставил Дон Кихота поднять руку в знак клятвы (хотя руки у рыцаря и были связаны) и под честное слово выпустил его из клетки. Выйдя из заключения, Дон Кихот бесконечно и необыкновенно обрадовался; прежде всего он размял свои члены, а потом подошел к Росинанту и, похлопав его по бокам, сказал:

– И все же я надеюсь, что Господь Бог и его благословенная матерь скоро исполнят наши желания, о цвет и зерцало всех коней на свете: ты будешь опять носить своего господина, а я, верхом на тебе, снова займусь тем делом, на которое Господь призвал меня в мир.

Сказав это, Дон Кихот удалился с Санчо в укромное местечко и вернулся оттуда облегченный, с твердым намерением привести в исполнение замысел своего оруженосца.

А каноник глядел на него и дивился его странному и великому безумию, ибо, как мы уже не раз говорили, Дон Кихот рассуждал и отвечал вполне разумно, но стоило только завести речь о рыцарстве, как он тотчас же терял стремена. И вот, когда, в ожидании прибытия запасов, все уселись на зеленой траве, каноник, движимый состраданием, сказал ему:

– Неужели в самом деле, сеньор идальго, чтение пустых и безвкусных рыцарских романов так на вас подействовало, что вы тронулись в уме и думаете, что действительно очарованы? Неужели вы верите в подобные вещи, которые столь же далеки от правды, как ложь от истины? Возможно ли, чтобы человеческий разум мог поверить, что на свете существовали все эти бесчисленные Амадисы, все это скопище славных рыцарей, все эти Трапезундские императоры, Фелисмарты Гирканские, скакуны, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всякие чары, битвы, отчаянные схватки, пышные наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы, ставшие графами, смешные карлики, любовные письма и нежность, отважные женщины – сло-

вом, весь этот вздор, которым полны рыцарские романы? Лично про себя скажу, что, когда я их читаю, стараясь не думать при этом, что все это – пустяки и выдумки, я испытываю некоторое удовольствие. Но стоит мне только вспомнить, какой это вздор, и я тотчас же швыряю об стену лучшие из этих романов, а был бы у меня под рукой огонь, то я бы охотно швырнул их и туда; ибо я считаю, что они заслуживают такого наказания, – так они обманчивы, лживы и противоречат законам человеческой природы; они создают новые секты, учат новому образцу жизни и соблазняют невежественную толпу, которая считает за истину и правду все заключающиеся в них нелепости. Наглость этих писателей доходит до того, что они осмеливаются смущать умы самых разумных и благородных идальго, как об этом свидетельствует пример вашей милости, ибо это они довели вас до такой крайности, что вас пришлось запереть в клетку и везти на волах, как возят из деревни в деревню какого-нибудь льва или тигра, показывая его за плату. Ах, сеньор Дон Кихот, сжальтесь над собою, вернитесь в лоно разума и употребите во благо тот рассудок, которым небо вас щедро наделило! Обратите блестящие качества вашего духа на чтение других книг: тогда вы и душу свою спасете, и славу умножите! Если же, несмотря на все, прирожденная склонность влечет вас к книгам о подвигах и рыцарских деяниях, тогда прочтите в Священном Писании книгу Судей: в ней вы найдете подлинные великие события и деяния столь же истинные, как и отважные. В Лузитании был Вириат[1], в Риме – Цезарь, в Карфагене – Ганнибал, в Греции – Александр, в Кастилии – граф Фернан Гонсалес[2], в Валенсии – Сид[3], в Андалусии – Гонсало Фернандес[4], в Эстремадуре – Диего Гарсиа де Паредес[5], в Хересе – Гарсиа Перес де Варгас[6], в Толедо – Гарсиласо[7], в Севилье – дон Мануэль де Леон[8]: повесть о их отважных подвигах может увлечь, поучить, восхитить и поразить самых высокообразованных читателей. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор мой Дон Кихот; оно сделает вас знатоком истории, заставит полюбить добродетель, научит многому хорошему; оно исправит ваши нравы, позволит вам быть мужественным без наглости и решительным без малодушия, и все это послужит Господу во славу, вам на пользу, а Ламанче – откуда, как я слышал, вы ведете свой род – на украшение.

Дон Кихот с величайшим вниманием выслушал речь каноника, а когда тот кончил, он долгое время смотрел на него и наконец заговорил:

– Кажется, сеньор идальго, ваша милость вела свою речь к тому, чтобы убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей; что все рыцарские романы – ложны, лживы, пагубны и бесполезны для государства; что, читая их, я поступал плохо, веря им, поступал хуже, а подражая – совсем скверно, ибо я посвятил себя тягчайшему жребию странствующих рыцарей, которому эти книги учат? Вы, наконец, отрицаете существование Амадиса Галльского и Амадиса Греческого и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?

– Ваша милость весьма точно передает мою мысль, – подтвердил каноник.

А Дон Кихот продолжал:

– Ко всему этому ваша милость еще прибавила, что чтение подобных книг причинило мне большой вред, так как лишило меня ума и довело до этой клетки; что я бы сделал лучше, если бы исправился и, вместо рыцарских романов, стал бы читать книги более правдивые, которые одновременно занимательнее и назидательнее?

– Совершенно верно, – заметил каноник.

– В таком случае, – сказал Дон Кихот, – я, со своей стороны, полагаю, что очарованным и лишенным разума являетесь вы сами, ибо вы решились изречь хулу на то, что всем миром принято и признано истиной: человек, отрицающий это, подобно вашей милости, заслуживает того же наказания, которому ваша милость, по ее словам, желала бы подвергнуть книги, чтение которых ей не по вкусу. Вы желаете меня уверить, что на свете не было ни Амадиса, ни всех других рыцарей – искателей приключений, о которых подробно рассказывается в романах; это похоже на то, как если бы люди старались доказать, что солнце не светит, лед не холоден и земля не тверда. Какой же человек на свете сможет убедить вас, что история инфанты Флорипес и Ги Бургундского – не истина? Или подвиги Фьерабраса на Мантибльском мосту[9] во времена Карла Великого?! Черт меня побери, если все это – не такая же правда, как то, что сейчас день! Если же это ложь, то значит не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни двенадцати пэров Франции, ни короля Артура Английского, который и поныне еще летает, обращенный в ворона[10], между тем как в его королевстве ждут со дня на день его возвращения! Этак можно дойти до того, что покажется ложной и история Гуарино Мескино[11] и поиски святого Грааля[12]; вы, пожалуй, объявите вымыслом любовь Тристана и королевы Изольды или любовь Ланселота и Джиневры, – а между тем еще существуют люди, которые почти помнят, как они своими глазами видели дуэнью Кинтаньону, лучшую кравчую Великой Британии[13]; да, все это так, и я даже помню, что моя бабушка по отцовской линии, встречая какую-нибудь дуэнью в длинном покрывале, говаривала мне: "Посмотри-ка, внучек, как она похожа на дуэнью Кинтаньону", – из чего я заключаю, что она, должно быть, ее знала или, по крайней мере, видела ее портрет. Но кто же станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магелоны[14], когда и до наших дней в королевском арсенале хранится колок, которым отважный Пьер управлял деревянным конем, носившим его по воздуху, – колок немного побольше дышла телеги? Рядом с ним находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится рог Роланда, величиной с большое стропило. Из всего этого следует, что существовали и двенадцать пэров, и Пьер, и Сид, и другие подобные им рыцари,

Столь известные в народе
Тем, что приключений ищут.

А нет, так уж заодно докажите мне, что не было вовсе и отважного лузитанского странствующего рыцаря Жоана де Мерло[15], что он не ездил в Бургундию и не сражался в городе Аррасе со знаменитым сеньором де Шарни, по имени мо-

сен Пьер, а затем в городе Базеле с мосеном Анри де Роместан, что не победил он обоих своих противников и не покрыл себя громкой славой? А разве выдуманы приключения в Бургундии двух отважных испанцев – Педро Барбы и Гутьерре Кихады (из рода коего я и происхожу по прямой мужской линии): разве они не бросили вызова двум сыновьям графа де Сен-Поль и не победили их? Тогда отрицайте также, что дон Фернандо де Гевара в поисках приключений ездил в Германию и бился там с мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Вы скажете, что все это выдумки: и турнир Суэро де Киньонес, описанный в "Пасо"[16], и поход мосена Луиса де Фальсес против кастильского рыцаря дона Гонсало де Гусман, и вообще все многочисленные деяния, совершенные христианскими рыцарями нашими и иноземными? А на самом деле они столь истинны и достоверны, что еще раз скажу: отрицающий их – лишен всякого разума и здравого смысла.

Каноник был поражен, видя, как Дон Кихот путает ложь и правду и как глубоко он сведущ во всем, что принадлежит и относится к деяниям его любимых странствующих рыцарей.

– Я не могу отрицать, сеньор Дон Кихот, – сказал он, – что некоторые из приведенных вами примеров достоверны, а именно те, что касаются испанских странствующих рыцарей; точно так же я готов с вами согласиться, что двенадцать пэров Франции существовали; но я не могу поверить, что они проделывали все то, что им приписывает архиепископ Турпин. В действительности это были рыцари, избранные французскими королями и названные ими *пэрами*, так как все они были равны[17] происхождением, доблестью и отвагой (или, по крайней мере, должны были быть таковыми): это было нечто вроде нынешних орденов Сантьяго или Калатравы, в которых требуется, чтобы все рыцари, принадлежащие к ним, были благородного происхождения, доблестны и отважны. И как мы теперь говорим: *рыцарь ордена Иоанна Крестителя или рыцарь ордена Алькантары,* – так и тогда говорили: *рыцарь ордена двенадцати пэров*, отнюдь не имея в виду, что все двенадцать, набранные в этот военный орден, равны между собой. Конечно, существование Сида и Бернардо дель Карпио не вызывает сомнений; но что они совершили все те подвиги, о которых нам рассказывают, – в этом можно весьма усомниться. Что же касается колка графа Пьера, который, по словам вашей милости, хранится в королевском арсенале рядом с седлом Бабьеки, то, признаюсь, грешен: я или невежествен, или подслеповат, но только седло я разглядел, а колка не приметил, хотя он, как говорит ваша милость, размеров не малых.

– Да нет же, он наверное находится там! – воскликнул Дон Кихот. – Я могу еще прибавить, что, по слухам, его заключили в кожаный футляр, чтобы он не заржавел.

– Все возможно, – ответил каноник, – но клянусь моим духовным саном, я не помню, чтобы его видел. Но допустим даже, что он там находится, – все же это не заставит меня поверить историям всех этих Амадисов и прочих бесчисленных рыцарей, о которых нам рассказывают авторы романов; и вы, ваша

милость, как человек почтенный, здравомыслящий и одаренный столь прекрасными качествами, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.

ГЛАВА L

о разумнейшем споре Дон Кихота с каноником и о других происшествиях

– Недурно! – воскликнул Дон Кихот. – Итак, эти книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения лиц, которые их просматривают, книги, с единодушным восторгом читаемые и восхваляемые и великими и малыми, бедными и богатыми, учеными и невеждами, плебеями и дворянами, одним словом, всеми людьми, какого бы звания и состояния они ни были, – все сплошь лживы, даже если в них соблюдена вся видимость правды: указаны отец, мать, родственники, родина и возраст героя; подробно, день за днем рассказаны подвиги, совершенные каким-нибудь одним или несколькими рыцарями, и описаны места, в которых все это происходило? Замолчите, ваша милость, не кощунствуйте, – поверьте, я даю вам совет, которому должен последовать каждый разумный человек; а лучше перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Ну, признайтесь, есть ли на свете бóльшее удовольствие, чем когда на ваших, так сказать, глазах объявляется огромное озеро кипящей и клокочущей смолы[1], в котором плавают и кишмя кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие свирепые и страшные гады, – и из самой середины его вдруг раздается жалобный голос: "Кто бы ты ни был, о рыцарь, глядящий на это устрашающее озеро, – если ты хочешь добыть сокровища, скрытые в его черных водах, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в эту черную раскаленную влагу; сделав это, ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков семи фей, скрытых под этими черными волнами". И, как только рыцарь услышал эти наводящие трепет слова, он уже ни о чем не рассуждает, не думает, какой опасности подвергается, не заботится даже о том, чтобы снять с себя тяжелые могучие доспехи; поручив себя Богу и своей даме, он бросается в самую середину кипящего озера; не знает и не понимает, куда он попал, и глядит: вокруг него – цветущие луга, с которыми не сравниться Елисейским полям. И кажется ему, что небо здесь более прозрачно и солнце более ярко, и глазам его представляется мирная роща; деревья в ней сверкают такой зеленой листвой, что зелень их тешит взоры, а сладостное и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих по сплетенным ветвям, радует слух. Он находит ручеек, прохладные струи которого, подобные жидкому хрусталю, бегут по мелкому песку и белым камушкам; они кажутся просеянным золотом и чистым жемчугом. Вот видит он искусный фонтан, сделанный из разноцветной яшмы и полированного мрамора. Вот – другой, отделанный под грот,

выложенный мелкими раковинами мидий и изогнутыми белыми и желтыми домиками улиток; между ними в искусном беспорядке вставлены кусочки блестящего хрусталя и поддельные изумруды, и кажется, что этой хитрой наборной работой искусство, подражая природе, побеждает ее. А вот внезапно открывается перед ним укрепленный замок или роскошный дворец: стены его – из толстого золота, зубцы – из алмазов, ворота – из гиацинтов; и, хотя он целиком построен из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, архитектура его еще удивительнее, чем все эти драгоценные материалы. А когда вы все это увидели, что еще вам остается увидеть? Разве только длинную вереницу девушек, выходящих из ворот замка, в таких изящных и пышных нарядах, что если бы я стал сейчас их описывать, как это делается в романах, я бы никогда не кончил. И вот, та из девушек, которая кажется госпожой всех остальных, берет за руку рыцаря, отважно бросившегося в кипящее озеро, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок или дворец и, велев ему раздеться и остаться, в чем его мать родила, моет его тепловой водой, натирает благовонными мазями, надевает на него рубашку из тончайшей ткани, надушенную и благоуханную; а в это время приближается другая девушка и на плечи ему набрасывает плащ, который, по самому скромному расчету, стоит столько, сколько целый город, а то и больше. А дальше рассказывается, что после всего этого ведут его в другую залу, где уже накрыты столы – и с таким великолепием, что он только дивится и восхищается; на руки ему льют воду, смешанную с чистой амброй или с соком благоуханных цветов; усаживают на трон из слоновой кости; все девушки прислуживают ему, храня удивительное молчание, приносят множество яств, так вкусно приготовленных, что он не знает, к которому из них протянуть руку; а пока он ест, звучит музыка, и он не может понять, где играют и кто поет; а когда обед кончен и со столов убрано, рыцарь отдыхает, развалившись в креслах и, может быть, по обыкновению, ковыряет у себя в зубах, – и вот, внезапно появляется перед ним другая девица, прекраснее всех остальных, садится рядом с ним и начинает ему рассказывать, что это за замок и почему она в нем очарована и многое другое, что у рыцаря вызывает удивление, а у читателей этой истории – восторг. Я не хочу более об этом распространяться, ибо уже из того, что я рассказал, нетрудно заключить, что любая часть любого романа о странствующих рыцарях должна удивлять и восхищать любого читателя. Итак, поверьте мне, ваша милость, и, как я уже сказал, перечтите эти книги: если вы будете в меланхолии, то увидите, что они ее рассеют; если будете в дурном настроении, – они его исправят. Что касается меня, то могу вам сказать, что с тех пор как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественным, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым, терпеливым; я выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. И хотя совсем недавно меня посадили в клетку, как сумасшедшего, я все же надеюсь с помощью моей могучей руки в самом скором времени, если только небо будет ко мне благосклонно и Фортуна не враждебна, стать королем какой-нибудь страны, и тогда я смогу показать, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди, ибо, поверьте

моей чести, сеньор: щедрость есть добродетель, которую никак не может проявить человек бедный, хотя бы он и обладал ею в самой высокой степени; а отзывчивость, не идущая дальше простого желания, так же мертва, как мертва вера без дел. Вот почему я хотел бы, чтобы судьба поскорее послала мне возможность сделаться императором: я бы показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал бы своих друзей, особенно же этого беднягу – моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графством, и мне бы очень хотелось это сделать, – хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.

Как раз самый конец речи Дон Кихота услышал Санчо и сказал:

– Лишь бы только вы постарались, ваша милость, сеньор Дон Кихот, подарить мне графство, которое вы столько раз мне обещали и которого я жду с таким нетерпением, а уж я вам обещаю, что у меня хватит сметки, как с ним управиться; а не хватит, так слышал я, что есть на свете такие люди, что арендуют у сеньоров их поместья и платят им за это известную сумму в год: арендаторы управляют, а сеньоры сидят себе, сложив руки, проживают ренту и ни о чем на свете не заботятся. Так и я сделаю: не стану особенно торговаться, а сразу же сдам все свои владения и буду себе жить на ренту князем, а они пускай делают, что хотят.

– То, что вы говорите, братец Санчо, – сказал каноник, – справедливо только в отношении доходов, но ведь каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, и вот тут-то и нужно обладать уменьем и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости; если этого стремления нет в самом начале, тогда и середина и конец пойдут вкривь и вкось, ибо Господь помогает добрым желаниям простодушных и посрамляет злые желания мудрых.

– В этой философии я ничего не смыслю, – ответил Санчо, – а знаю только, что, будь у меня графство, я с ним управлюсь; у меня ведь столько же души, сколько у всякого, а тела даже побольше, чем у многих других, и буду я управлять своими владениями не хуже всякого короля; а управляя, буду делать все, что мне вздумается; делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие; а живя в свое удовольствие, буду всем доволен; а кто всем доволен, тому нечего желать; а раз нечего желать, так и дело с концом, – и пусть приходит скорей самое графство, и дай Бог нам поскорей увидеться, как один слепец говорил другому.

– Твоя философия в общем не плоха, Санчо, но все же по поводу графства можно было бы еще многое сказать.

Но Дон Кихот возразил канонику:

– Не знаю, что еще по этому поводу можно сказать; я же руковожусь примером великого Амадиса Галльского, который возвел своего оруженосца в графы Сухопутного Острова; а потому без угрызения совести я могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарям.

Каноник очень удивился и тому, что Дон Кихот говорит столь разумные нелепости, и тому, как он описал приключения рыцаря в кипящем озере, и то-

му, какое глубокое впечатление произвела на него обдуманная дребедень, которой он начитался; удивляло его также и простодушие Санчо, пламенно мечтавшего о графстве, которое ему обещал подарить его господин. К этому времени возвратились слуги каноника, ходившие на постоялый двор за мулом с припасами; и, после того как на зеленой лужайке расстелили ковер, заменивший собою стол, все уселись в тени деревьев и расположились на обед, рассчитывая, что погонщик использует тем временем удобное пастбище для волов, как об этом выше уже было сказано. И вот, когда они закусывали, вдруг послышался громкий шум и звук бубенчиков, доносившийся из-за ближайших кустов и густых зарослей, и в ту же минуту из чащи выскочила хорошенькая козочка, вся в черных, белых и рыжих пятнах; за ней бежал пастух, который криком и ласковыми словами старался ее удержать и вернуть обратно в стадо. Испуганная беглянка в смятении бросилась прямо к людям, как будто искала у них защиты, и, подбежав к ним, остановилась. Пастух настиг ее, схватил за рога и стал с ней говорить, как с разумным и мыслящим существом:

– Ах, дикарка, дикарка моя, ах, Пятнашка, Пятнашка, что это ты последние дни пошаливаешь? Какие волки тебя испугали, доченька? Скажи мне, красавица, что с тобой? Или все это оттого, что ты женского пола и не можешь минутку постоять спокойно? Черт бы побрал твои капризы и все женские капризы вообще! Вернись, вернись, милая! Хоть загон тебе и не очень по нраву, все же там ты будешь в безопасности среди своих подруг. Если ты, вместо того, чтобы присматривать за ними и указывать им дорогу, сама блуждаешь без дороги и проводника, – что же будет с ними?

Слова пастуха развеселили всех присутствующих, особенно каноника, который воскликнул:

– Очень прошу вас, братец, успокойтесь и не старайтесь с такой поспешностью отводить вашу козочку к стаду; ведь вы сами говорите, что она женского пола, – значит, она будет следовать своему природному инстинкту, как бы вы ни старались ее удержать. Возьмите-ка этот кусок и выпейте стаканчик, – гнев ваш успокоится, а тем временем козочка отдохнет.

Говоря это, он протянул ему на кончике ножа филей холодного кролика. Пастух взял и поблагодарил, выпил, успокоился и наконец сказал:

– Мне бы не хотелось, чтоб ваши милости, слыша, как я разговаривал с этой козочкой, сочли меня дурачком: ибо, скажу вам правду, в моих словах заключался скрытый смысл. Я хоть и крестьянин, но не такой мужлан, чтобы не знать, как нужно обращаться с людьми и как с животными.

– Охотно этому верю, – ответил священник, – так как знаю по опыту, что горы воспитывают ученых, а пастушеские хижины таят в себе философов.

– Во всяком случае, – сказал пастух, – живут в них люди, знающие жизнь, и, чтобы вы поверили, что это правда, и убедились воочию, я на короткое время попрошу вашего внимания, хотя и выходит, что я, незваный, напрашиваюсь сам; но все же, если вам, сеньоры, не скучно, я расскажу вам об одном истинном

происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор (тут он указал на священника) и я.

Тогда Дон Кихот сказал:

– Мне кажется, что в вашей истории есть нечто, отдаленно напоминающее рыцарские приключения, и потому, братец, лично я послушаю вас с большой охотой; думаю, что и эти сеньоры присоединятся ко мне, так как все они – люди разумные и любят любопытные рассказы, которые поражают, увеселяют и развлекают душу, – а я не сомневаюсь, что ваш рассказ именно таков. Итак, начинайте, друг мой, мы все вас слушаем.

– Кроме меня, – перебил Санчо. – Я с этим пирогом отправлюсь к ручью и постараюсь наесться дня на три: мой господин Дон Кихот не раз мне говорил, что оруженосец странствующего рыцаря должен есть сколько влезет, когда к тому представится случай, по той причине, что нередко ему случается попадать в дремучие леса, откуда и в шесть дней не выберешься, так что, если он не сыт или сумка его не набита туго, то ему суждено, – как не раз уже бывало, – навеки там остаться и обратиться в мумию.

– Ты прав, Санчо, – сказал Дон Кихот. – Ступай куда хочешь и ешь сколько можешь; а я уже сыт, и мне нужно теперь подкрепить душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго малого.

– Нам тоже хочется подкрепить наши души, – прибавил каноник и попросил козопаса начать обещанный рассказ.

А тот, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

– Ложись тут возле меня, Пятнашка; мы еще успеем вернуться к стаду.

Казалось, козочка его поняла, ибо, как только ее хозяин сел, она преспокойно вытянулась около него и стала смотреть прямо ему в лицо, как будто желая сказать, что слушает его с вниманием. Пастух же так начал свой рассказ.

ГЛАВА LI

в которой передается то, что пастух рассказал компании, увозившей Дон Кихота

– В трех милях от этой долины находится село, которое, хоть оно и невелико, но все же считается одним из самых богатых во всей округе. Жил в нем весьма почтенный крестьянин, настолько почтенный, что, хотя обыкновенно людей почитают за богатство, его уважали не столько за богатство, которое он нажил, сколько за добродетели. А сам он говорил, что величайшее его счастье было не в деньгах, а в том что была у него дочь такой необыкновенной красоты, такого редкого ума, грации и чистоты, что все, кто только ее знал и видел, дивились великим достоинствам, которыми ее одарили небо и природа. Уже девочкой была она красива, а с годами красота ее возросла так, что, когда ей исполнилось шестнадцать лет, она стала настоящей красавицей. Молва о ее красоте стала

разноситься по всем соседним селам, – да что я говорю: по соседним селам! – она дошла до отдаленных городов, проникла в королевские чертоги, долетела до слуха самых различных людей, – и стали они съезжаться со всех сторон посмотреть на нее, как на диковинку или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама берегла себя, – ибо никакие замки, запоры и засовы не могут уберечь девушку так, как ее собственное целомудрие. Богатство отца и красота дочери побудили многих из наших односельчан и пришлых просить ее руки. Но отец походил на человека, которому надлежит распорядиться своим богатым сокровищем: он был в нерешительности и не знал, кому из бесчисленных поклонников отдать свою дочь. В числе многих, домогавшихся ее руки, был и я; и так как отец ее меня знал как своего односельчанина, как человека чистой крови, во цвете лет, как богатого наследника и неглупого малого, – все это поддерживало во мне большие и крепкие надежды. Но в нашем селе нашелся другой юноша, одаренный такими же качествами, как и я, и он тоже просил ее руки, – и вот, воля отца заколебалась, и он пребывал в нерешительности, ибо он думал, что и тот и другой из нас равно может осчастливить его дочь. И, чтобы выйти из этого затруднения, он решил обо всем рассказать Леандре (так звали эту богатую девушку, повергшую меня в такое убожество), найдя, что, раз мы оба во всем равны, самое лучшее будет предоставить любимой дочери выбрать того, кто ей больше по сердцу, – пример, заслуживающий подражания всех родителей, собирающихся женить своих детей. Я не хочу этим сказать, что родители должны позволять своим дочерям выбирать между людьми низкими и дурными, – нет, но пусть они предложат им несколько хороших женихов и предоставят выбрать по собственному желанию. Не знаю, кого из нас избрала Леандра; знаю только, что отец ее, чтобы оттянуть дело, объявил нам, что она еще слишком молода, и прибавил к этому несколько общих слов, которые и нам не были обидны и его ни к чему не обязывали. Моего соперника звали Ансельмо, а меня зовут Эухенио; итак, вы теперь знаете имена действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще не известна, хотя, по всем вероятиям, она будет весьма плачевной.

В это время пришел к нам в село некий Висенте де Ла Рока, сын бедного крестьянина из той же местности; он возвратился из Италии и других стран, где служил солдатом. Какой-то капитан, случайно проходивший со своим отрядом через нашу деревню, увел его с собой еще мальчиком лет двенадцати, а теперь, через десять лет, он возвратился юношей, в пестрой солдатской одежде, весь увешанный стеклянными безделушками и тонкими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно украшение, завтра другое, – и каждое из них было неважное, пестрое, дешевое и дрянное. Деревенские жители от природы лукавы, а когда у них есть досуг, тогда они – само лукавство: они подметили и подсчитали его наряды и украшения, и оказалось, что всего-навсего было у него три костюма разных цветов с подобранными к ним подвязками и чулками; но он так ловко приспособлял их и перемешивал, что, не будь они сосчитаны, вы бы поклялись, что их у него не меньше десяти пар, да еще штук двадцать перьев для шляпы. Не упрекайте меня в надоедливой и вздорной болтливости: если я так

распространяюсь о его нарядах, то это потому, что они сыграли большую роль в моей истории.

Он садился на каменной скамье под большим тополем у нас на площади и рассказывал нам о своих подвигах, а мы слушали его, затаив дыхание, с разинутыми ртами. Не было такой страны на земном шаре, которой бы он не посетил, не было битвы, в которой бы не участвовал; он истребил больше мавров, чем имеется их в Марокко и Тунисе, и у него было больше поединков, чем у Ганте и Лу́ны[1], Диего Гарсии да Паредеса и тысячи других воинов, им перечисленных, и из всех этих боев вышел он победителем, не потеряв ни капли крови. При этом он показывал шрамы от ран, и хоть были они невидимы, но тем не менее он утверждал, что это – следы от аркебузных пуль, попавших в него в разных схватках и стычках. Наконец, с невиданным высокомерием он говорил "ты" людям, ему равным и хорошо знавшим, что он собой представляет, и заявлял, что его рука – вот его отец, подвиги – вот его родословная, и что в солдатском мундире он ничуть не ниже самого короля. Ко всей этой самоуверенности прибавлялось еще то, что он был немного музыкантом и умел так бренчать на гитаре, что некоторые говорили – гитара у него разговаривает; и на этом таланты его еще не кончались, ибо он был также поэтом и по поводу каждого пустяка, случавшегося у нас в селе, сочинял романсы длиной в полторы мили.

И вот этот солдат, которого я вам описываю, этот Висенте де Ла Рока, этот смельчак, этот щеголь, этот музыкант, этот поэт – не раз попадался на глаза Леандре, которая смотрела на него из окна своего дома, выходившего на площадь. Мишура его пышных нарядов восхитила ее; его романсы (которые он двадцать раз переписывал желающим) очаровали ее; слух о его подвигах, о которых он сам всем рассказывал, дошел до ее ушей, – словом, сам дьявол, должно быть, так устроил, что она влюбилась в него раньше, чем он возымел дерзость добиваться ее любви. А так как любовные дела подвигаются всего быстрее тогда, когда затронуто сердце дамы, то Леандре и Висенте нетрудно было столковаться, и, прежде чем кто-нибудь из ее многочисленных поклонников догадался о ее намерении, она уже привела его в исполнение: покинула дом своего любимого и обожаемого отца (матери у нее не было) и бежала из деревни вместе с солдатом, одержавшим в этом предприятии бо́льший успех, чем в великом множестве деяний, которые он себе приписывал.

Все наше село было изумлено этим событием, да и не одно наше село, а все те, до кого дошла весть об этом... Я был смущен, Ансельмо – поражен, отец – опечален, родные – опозорены; поставили полицию на ноги и послали стрелков вдогонку; были осмотрены все дороги, обысканы рощи и леса, и наконец через три дня своенравная Леандра была найдена в горной пещере, раздетая до рубашки: большая сумма денег и драгоценные золотые вещи, которые она захватила с собою из дому, исчезли. Ее привели обратно к несчастному отцу, стали расспрашивать, что за беда над ней стряслась, и она без принуждения созналась, что Висенте де Ла Рока ее обманул и, дав ей честное слово жениться, уговорил покинуть дом отца; он обещал увезти ее в самый богатый и самый порочный

город на всем свете – Неаполь; она по неопытности поверила его обману и, обокрав отца, последовала за Висенте в ту же ночь, как исчезла из дому; а он увел ее на крутую гору и бросил в пещере, где ее и нашли. Она прибавила, что солдат не посягнул на ее честь, но, отняв все, что у нее было, оставил в пещере, а сам ушел; обстоятельство это тоже всем показалось странным. Ведь трудно, сеньоры, было поверить в воздержанность этого молодчика; но Леандра утверждала это с таким жаром, что ей наконец удалось утешить безутешного отца, и он перестал жалеть о том, что у него похитили столько богатства, раз только у дочери его не отняли той драгоценности, которая, будучи утрачена, никогда уже не может быть восстановлена. В тот самый день, когда Леандра нашлась, отец скрыл ее от наших глаз и поместил в монастыре, находившемся в соседнем городе, надеясь, что время несколько изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя. Молодость Леандры служила оправданием ее вины, – по крайней мере, в глазах тех, которым в сущности было безразлично, хорошая ли она женщина или дурная; но те, кто знал ее ум и сметливость, приписывали ее грех не неопытности, а легкомыслию и естественным свойствам женского нрава: опрометчивости и невоздержанности.

Когда заключили Леандру в монастырь, очи Ансельмо померкли, ибо не было больше ничего на свете, что бы радовало его взоры; да и я жил в беспросветном мраке: мне тоже смотреть ни на что не хотелось. В разлуке с Леандрой наша печаль возрастала, терпение наше приходило к концу, мы проклинали хвастуна-солдата и возмущались, что отец Леандры не сумел ее уберечь. Наконец мы с Ансельмо решили уйти из деревни и поселиться в этой долине: он пасет здесь большое стадо своих овец, а я – такое же стадо коз; так и живем мы под тенью этих деревьев, свободно предаваясь нашей страсти: вместе хвалим мы и упрекаем прекрасную Леандру или вздыхаем один в стороне от другого, и только небо внимает нашим жалобам. Нашему примеру последовали и многие другие из поклонников Леандры; они тоже пасут свои стада среди этих скалистых гор, и число их так возросло, что вся эта местность как будто превратилась в пастушескую Аркадию: столько здесь пастухов и стад, и нет в окрестности ни одного уголка, где бы не звучало имя прекрасной Леандры. Один клянет ее, называя своенравной, изменчивой и бесчестной; другой обвиняет ее в ветренности и легкомыслии; третий ее оправдывает и прощает; четвертый осуждает и порицает; тот прославляет ее красоту, этот жалуется на ее нрав, – одним словом, все ее позорят и обожают. Безумие их простирается так далеко, что некоторые жалуются на то, что она их презрела, хоть они никогда не сказали ей ни слова, а иные терзаются и томятся яростным недугом ревности, которой она ни в ком не могла возбудить, ибо, как я уже вам сказал, мы узнали о ее грехе раньше, чем о ее страсти.

Повсюду – на берегах ручьев, в расселинах скал, в тени деревьев – какой-нибудь пастух рассказывает ветру о своих несчастьях; и, где только может образоваться эхо, везде повторяет оно имя Леандры. “Леандра” – звучит в горах, “Леандра” – откликаются ручьи; Леандра заворожила и очаровала всех нас: мы

надеемся, не питая надежд, и боимся, не зная чего. Среди этих безумцев мой соперник Ансельмо – самый безумный и самый здравомыслящий: на многое мог бы он пожаловаться, а между тем он жалуется только на разлуку: искусно аккомпанируя себе на рабеле, он сочиняет стихи, которые свидетельствуют о его тонком уме, и в пении изливает свои жалобы. Я же иду по более легкому и, кажется мне, более верному пути, а именно – клеймлю легкомыслие женщин, их непостоянство, двуличность, лживые обещания, нарушенные клятвы и их безрассудство в выборе предмета своих мечтаний и помыслов; вот почему, сеньоры, я так разговаривал и беседовал со своей козочкой, когда подошел к вам; хоть она и лучшая коза во всем стаде, но она женского пола, – и я ставлю ее невысоко. Вот и все, что я обещал вам рассказать. Может быть, рассказ мой длинен свыше меры, но зато и готовность моя служить вам велика; моя хижина находится неподалеку отсюда, там есть у меня свежее молоко, отличный сыр и всевозможные фрукты, приятные и на вид и на вкус.

ГЛАВА LII

о споре Дон Кихота с пастухом и о редкостном приключении с бичующимися, которое наш рыцарь в поте лица своего довел до счастливого окончания

Рассказ козопаса доставил большое удовольствие всем слушателям, особенно же канонику, который с тонкой наблюдательностью заметил, что рассказчика, судя по его манере, скорей можно принять за обходительного столичного жителя, нежели за деревенского пастуха; и он прибавил, что священник был вполне прав, говоря, что горы воспитывают ученых. Все обратились к Эухенио с предложением услуг, но Дон Кихот проявил тут наибольшее великодушие, ибо он сказал следующее:

– Уверяю вас, братец козопас, если бы у меня была возможность пуститься сейчас на поиски приключений, я бы сию же минуту отправился в путь, чтобы пособить вашей беде: я бы похитил Леандру из монастыря (где, без сомнения, она находится против своей воли), назло игуменье и всем, кто бы вздумал мне противиться, и привел бы ее прямо в ваши объятия, чтобы вы поступили с ней как бы вам вздумалось, – конечно, соблюдая при этом законы рыцарства, запрещающие наносить девицам какие бы то ни было оскорбления. Все же я надеюсь на Господа Бога и думаю, что власть злого чародея не так сильна, как могущество доброго волшебника, и поэтому впредь обещаю вам мою помощь и покровительство, к которому меня обязывает мое звание, ибо оно велит мне покровительствовать слабым и обездоленным.

Козопас посмотрел на Дон Кихота и, удивленный его жалким нарядом и сумасбродством, обратился с вопросом к сидевшему рядом с ним цирюльнику:

– Сеньор, кто этот человек, у которого такой странный вид и который так странно выражается?

– Да кем же ему быть, – отвечал цирюльник, – как не знаменитым Дон Кихотом Ламанчским, мстителем за обиды, восстановителем справедливости, покровителем дев, грозой великанов и победителем в боях?

– Все это похоже, – сказал пастух, – на то, что пишется в романах о странствующих рыцарях, которые, как известно, проделывали те вещи, которые ваша милость приписывает этому человеку. Однако, мне думается, что или ваша милость шутит, или же у этого благородного сеньора в голове пустовато.

– Вы – наглый негодяй! – воскликнул тут Дон Кихот. – Сами вы пустоголовый дуралей, а у меня голова начинена так, как никогда не бывала начинена та шлюха и шлюхина дочь, которая произвела вас на свет.

И, перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и запустил его прямо в лицо козопасу с такой силой, что расквасил ему нос. Тот, не оценив этой шутки и видя, что его бьют всерьез, бросился прямо через ковер, через скатерть и всю обедающую компанию на Дон Кихота и обеими руками так стиснул ему горло, что наверное бы его задушил, если бы в ту минуту не подоспел Санчо Панса. Верный оруженосец ухватил пастуха за плечи, и они оба повалились на скатерть, разбивая тарелки, раздробляя чашки, разбрасывая и разливая все их содержимое. Дон Кихот, освободившись, снова набросился на козопаса, а тот, весь в крови, избитый кулаками Санчо, ползал на четвереньках, стараясь нашарить какой-нибудь столовый нож, чтобы учинить кровавую расправу. Однако каноник и священник удержали его, цирюльник же подстроил так, что козопасу удалось подмять под себя Дон Кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался такой град тумаков, что из носу у него вытекло крови столько же, сколько и у пастуха. Каноник и священник надрывали от смеха животы, а стрелки прыгали от удовольствия и науськивали дерущихся, как двух грызущихся собак; один Санчо Панса был в отчаянии, так как ему никак не удавалось вырваться из рук слуги каноника, мешавшего ему броситься на помощь своему господину.

В то время как, за исключением двух противников, дубасивших друг друга, все веселились и потешались, – вдруг послышался звук трубы, и такой унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он раздавался; Дон Кихот особенно был взбудоражен этим звуком, и, хотя он, вопреки своей воле, лежал под пастухом и был порядочно измолот его кулаками, все же он сказал:

– Слушай, дьявол, – ибо кем другим можешь ты быть, раз у тебя хватило силы и смелости одолеть меня! – прошу тебя, заключим перемирие хотя бы на час, не больше; ибо до слуха моего донесся скорбный звук трубы, который, как мне кажется, зовет меня на новые приключения.

Козопас, которому одинаково надоело бить и быть битым, тотчас же отпустил Дон Кихота. Тот встал на ноги и, вместе с другими повернув голову в сторону, откуда доносились звуки, вдруг увидел, что с холма спускается множество людей, одетых в белые рубахи, наподобие бичующихся.

А дело было в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и во всех деревнях этой местности устраивались процессии, моления и покаянные шествия, дабы Господь отверз руки своего милосердия и послал на землю дождь. Вот почему жители одной деревни, находившейся поблизости, устроили паломничество к святой часовне, стоявшей на склоне этой долины. Дон Кихот, увидев странные одеяния бичующихся, сразу же забыл, что ему не раз приходилось встречаться с подобными людьми, и вообразил, что это новое приключение, которое именно ему, как странствующему рыцарю, надлежит встретить грудью. Он еще более утвердился в своем предположении, приняв статую под траурным покрывалом, несомую этими людьми, за знатную сеньору, которую похищали бессовестные и подлые разбойники. Как только это пришло ему в голову, он бросился к Росинанту, который пасся поодаль, снял с луки уздечку и щит, мгновенно взнуздал коня, потребовал у Санчо свой меч, вскочил на Росинанта, схватил щит и громким голосом закричал присутствующим:

– Вот теперь вы увидите, благородные господа, для чего на свете существуют рыцари, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства! Теперь, когда я освобожу от похитителей захваченную ими добрую сеньору, вы увидите, повторяю, достойны ли уважения странствующие рыцари!

С этими словами он, за неимением шпор, сжал ногами бока Росинанта, и тот полной рысью (ибо вы нигде во всей этой правдивой истории не прочтете, чтобы Росинант пускался галопом) помчался навстречу бичующимся. Священник, каноник и цирюльник хотели удержать Дон Кихота, но не тут-то было: его не остановили даже вопли Санчо, кричавшего:

– Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие дьяволы вселились в вас и толкают вас против нашей католической веры? Да накажи меня Бог – посмотрите сами: ведь это процессия бичующихся! А дама, которую они несут на подставке, – ведь это благословенная статуя Непорочной Девы! Подумайте, сеньор, что вы творите! На этот раз уж точно можно сказать, что вы того не ведаете!

Напрасно утруждал себя Санчо: господину его так не терпелось напасть на людей в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова, а если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта, который был уже непрочь немного передохнуть, и хриплым, взволнованным голосом воскликнул:

– Вы, которые, будь честными людьми, не закрывали бы своих лиц, слушайте, что я вам скажу!

Несшие статую остановились первыми, а один из четырех причетников, распевавших литании, увидев странную внешность Дон Кихота, худобу Росинанта и другие подмеченные им смешные особенности нашего рыцаря, ответил ему:

– Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей, ибо наши братья бичами рвут свою плоть, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи, – разве только вы скажете в двух словах, в чем дело.

– Я скажу это в одном слове, – ответил Дон Кихот: – немедленно же освободите эту даму, слезы и печальный вид которой явно свидетельствуют о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление; и я, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды, не позволю вам сделать шага, прежде чем не возвращу ей желанной и заслуженной свободы!

Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший, и разразились веселым смехом; но этот смех был порохом, от которого вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он выхватил меч и набросился на носилки. Один из несших статую, уступив свое место товарищу, вышел против Дон Кихота, вооружившись вилами или шестом, каким подпирают носилки, когда кто-нибудь из несущих хочет отдохнуть. По этому шесту и пришелся удар меча Дон Кихота, разрубивший его надвое; но крестьянин оставшимся в его руках обломком так хватил по плечу Дон Кихота (с той стороны, где был меч и которую невозможно было прикрыть от этого мужицкого орудия), что Дон Кихот свалился с лошади в самом плачевном виде. В это время Санчо, во весь дух гнавшийся за своим господином, подбежал и, увидев его распростертым на земле, закричал его противнику, чтобы тот остановился, ибо перед ним всего лишь очарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не сделал зла. Но не крики Санчо заставили крестьянина остановиться, а вид Дон Кихота, недвижимо лежавшего на земле. Крестьянин, решив, что он его убил, заткнул за пояс полы своего балахона и пустился бежать по полю с быстротой оленя.

К этому времени подоспела и вся компания к месту, где лежал Дон Кихот; а участники процессии, увидев, что они бегут прямо на них, а с ними – стрелки с арбалетами, решили, что дело плохо, и тесно сплотились вокруг статуи Мадонны; они надели на головы капюшоны, взяли в руки бичи, причетники подняли подсвечники – и все приготовились дать отпор нападающим, а если будет возможно, – даже перейти в наступление. Но судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, полагая, что господин его мертв, бросился на его тело и стал его оплакивать самым жалобным и забавным образом. А нашего священника узнал другой священник, принимавший участие в шествии, и поэтому страх, который внушали друг другу обе враждующие стороны, немного успокоился. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто такой Дон Кихот, и тогда тот в сопровождении всей толпы бичующихся подошел к бедному кабальеро, чтобы посмотреть, жив ли он еще. А Санчо Панса тем временем со слезами на глазах восклицал:

– О цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины, пресекшего твою славную жизнь! О краса своего рода, о слава и гордость всей Ламанчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои злодеяния! О ты, более щедрый, чем все Александры, ибо всего лишь за восемь месяцев службы ты пожаловал мне лучший из всех островов[1], окруженных и опоясанных морем! О ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными[2], смелый в опасностях, терпеливый в невзгодах, влюбленный неведомо в кого, подражатель доб-

рым, бич злых, враг всякой низости, словом, странствующий рыцарь, – и этим все про тебя сказано!

Под стоны и рыдания Санчо Дон Кихот пришел в чувство, и первые его слова были:

– Тот, кто живет вдали от вас, сладчайшая Дульсинея, подвержен еще худшим бедствиям, чем эти. Помогите мне, друг Санчо, взобраться на очарованную телегу: я не в силах сидеть верхом на Росинанте, так как у меня раздроблено плечо.

– Охотно, сеньор мой, – ответил Санчо, – и поедемте к себе в деревню в сопровождении этих господ, которые желают вам добра, а там уж мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза и слава.

– Ты говоришь дело, – сказал Дон Кихот. – Благоразумие требует выждать, пока окончится злое влияние созвездий, под коим мы теперь находимся.

Каноник, священник и цирюльник вполне одобрили его решение и, потешившись над наивными речами Санчо, посадили Дон Кихота на телегу, на которой он ехал раньше. Процессия снова выстроилась и продолжала свой путь. Козопас со всеми распрощался. Стрелки не пожелали идти дальше, и священник заплатил им сколько следовало. Каноник попросил священника дать ему знать, чем кончится история Дон Кихота: излечится ли он от своего безумия или нет; с этими словами он попрощался и поехал своей дорогой. Итак, все расстались друг с другом и разъехались в разные стороны, так что остались только священник, цирюльник, Дон Кихот, Санчо Панса и добрый Росинант, принимавший все, что бы с ним ни случилось, так же терпеливо, как и его хозяин.

Погонщик запряг своих волов, посадил Дон Кихота на охапку сена и с обычной своей невозмутимостью поехал по дороге, которую ему указал священник. Через шесть дней прибыли они в деревню Дон Кихота и въехали в нее средь бела дня, да к тому же еще в воскресенье, когда площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто это едет на телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Дон Кихота, что их господин и дядя вернулся, тощий и желтый; что он лежит на охапке сена в телеге, запряженной волами. Жалостно было слышать, как завопили эти две добрые женщины, как стали они бить себя в грудь и снова осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы; и все это повторилось снова, когда Дон Кихот появился в дверях.

Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее последовал за нашим рыцарем в качестве оруженосца, – и вот, не успела она увидать Санчо, как прежде всего спросила, здоров ли их ослик. Санчо ответил, что ослик чувствует себя лучше, чем его хозяин.

– Благодарю тебя, Боже мой, – воскликнула она, – за оказанную мне милость! Ну, а теперь расскажите мне, друг мой, пошла ли вам впрок ваша служба? Какой подарочек вы мне привезли? Купили ли башмачки своим деткам?

– Ни подарка, ни башмаков я не привез, – ответил Санчо, – но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.

– Ты меня очень радуешь, – сказала жена. – Ну, покажи же мне, что это за штука поважнее да посерьезнее: не терпится мне посмотреть, друг мой, и потешить свое сердце, – уж так я горевала и убивалась, пока ты целый век отсутствовал.

– Дома покажу, женушка, а пока скажу только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова, да не какого-нибудь дрянного, а самого что ни на есть лучшего.

– Дай-то Бог, муженек, а остров – ох, как нам пригодится! А только объясни мне, что это за остров такой? – я что-то не могу смекнуть.

– Осла медом не кормят, – отвечал Санчо, – поймешь в свое время, женушка. Воображаю, как ты ахнешь, когда твои вассалы станут тебя величать вашей светлостью.

– Да о чем ты это толкуешь, Санчо? Какая такая светлость, острова и вассалы? – спросила Хуана Панса[3] (так звали жену Санчо, ибо, хотя она и не приходилась ему родней, в Ламанче принято называть жену по фамилии мужа).

– Да не торопись так, Хуана, все узнать сразу: довольно с тебя того, что я говорю правду, и зашей себе рот. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего на свете приятнее, чем быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходят не совсем такими, как бы хотелось, ибо из ста случающихся приключений девяносто девять обычно выходят вкривь и навыворот. Я это знаю по собственному опыту, ибо случалось, что меня и на одеяле подкидывали и дубасили: а все-таки славная это штука бродить за счастьем, карабкаясь по горам, блуждая по лесам, взбираясь на скалы, посещая замки и останавливаясь на ночлег в гостиницах на даровщинку, не платя, черт побери, ни гроша!

Вот о чем беседовали Санчо Панса и жена его Хуана Панса, в то время как племянница и экономка, встретив Дон Кихота, принялись его раздевать и укладывать на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и все не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он еще раз не сбежал из дому; причем он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. Так они и остались в страхе и трепете, опасаясь, что дядя и господин покинет их снова, как только здоровье его немного поправится. И как они полагали, так и случилось.

Однако, хотя автор этой истории доискивался с большой любознательностью и усердием, какие подвиги совершил Дон Кихот во время третьего своего выезда, ему так и не удалось отыскать каких-нибудь сведений об этом, по

крайней мере – в достоверных источниках; в преданиях же Ламанчи сохранилась только память о том, что Дон Кихот, выехав из дому в третий раз, побывал в Сарагосе[4], где он участвовал в знаменитых турнирах, устроенных в этом городе, – и там произошли с ним события, достойные его отваги и тонкого ума.

О конце его жизни, о смерти его автору тоже не удалось ничего узнать, – и так бы он ничего об этом не знал и не ведал, если бы счастливая судьба не свела его с одним старым лекарем, который владел свинцовой шкатулкой, найденной, по его словам, среди развалин какой-то древней часовни, которую перестраивали. В этой шкатулке оказалось несколько листов пергамента, исписанных готическими буквами: это были испанские стихи, в которых воспевались многие подвиги Дон Кихота и сообщались сведения о красоте Дульсинеи Тобосской, о внешности Росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребении нашего рыцаря, а заканчивалось все разными эпитафиями и хвалебными стихами о его жизни и нравах. Правдивый автор этой удивительной и доселе невиданной истории сообщает те из них, которые удалось прочесть и разобрать. И в награду за великий труд, который пришлось ему затратить на обследование и изучение всех архивов Ламанчи, с целью извлечь на свет эту историю, автор просит своих читателей лишь об одном: чтобы они отнеслись к ней с тем же доверием, с каким разумные люди относятся к рыцарским романам, которые у нас теперь в таком ходу. Это доверие будет для него достаточной наградой и удовлетворением и вдохновит его на розыски других историй, если не столь правдивых, как эта, то, во всяком случае, не менее занимательных и приятных.

Вот первые слова пергамента, найденного в свинцовой шкатулке:

Академики из Аргамасильи[5], местечка в Ламанче, на жизнь и на кончину доблестного Дон Кихота Ламанчского

HOC SCRIPSERUNT[6]

ЭЛЬ МОНИКОНГО[7],
АКАДЕМИК АРГАМАСИЛЬСКИЙ,
НА ГРОБНИЦУ ДОН КИХОТА

ЭПИТАФИЯ

Чудак, пред коим – жалкие обноски
Трофей Язона[8], древними воспетый;
Ум, где вертелся, на тычок надетый,
Колючий флюгер (лучше был бы плоский);

Длань, мощности которой отголоски
Не молкнут от Катая до Гаэты;
Бард слаще, и грозней, чем все поэты,
Чей вирш был врублен в бронзовые доски;

Тот, кто в хвосте оставил Амадисов
И карлика усматривал в гиганте,
Служа любви и брани благородной;

Тот, кто в безмолвие вверг Белиянисов,
Тот, кто блуждал верхом на Росинанте,
Покоится под сей плитой холодной.

ПАНИАГУАДО[9], АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО, IN LAUDEM DULCINEAE DEL TOBOSO[10]

СОНЕТ

Бросая взор на этот лик дородный,
Лихую стать и кряжистую шею,
Тобосскую ты узришь Дульсинею,
Которой грезил витязь благородный;

Ту, для кого он попирал бесплодный
Склон Сьерры Негры[11], а вослед за нею
Монтьельский злак и пышную лилею
Аранхуэса[12], пеший и голодный.

Виною Росинант. О, рок ужасный!
Краса Ламанчи и непобедимый
Бродячий рыцарь, в цвете жизни оба.

Она, истлев, престала быть прекрасной,
А он, хотя и в мраморе хранимый,
Вас не избег, любовь, обман и злоба.

КАПРИЧОСО, ИЗЫСКАННЕЙШЕГО АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО, В ПОХВАЛУ РОСИНАНТУ, КОНЮ ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО

СОНЕТ[13]

На обагренном Марсовой стопою
Надменном адамантовом престоле
Стяг, с силою, невиданной дотоле,
Ламанчец взвил над ярой головою.

Берет доспех и меч, привыкший к бою,
Ужасный в рубке, в резке и в уколе.
Се новый подвиг! Новый поневоле
Стиль ищет муза новому герою.

И если в Галлах Амадис прославлен,
Чьи Грецию отважные потомки
Возвысили[14], руками славы нянча,

То днесь Кихот в сенях Беллоны явлен,
И с ним триумф стяжала боле громкий,
Чем Галл и Грек, высокая Ламанча.

Он будет жить, бессмертия не клянча,
Затем, что даже Росинант задором
Давно затмил Баярда с Брильядором[15].

БУРЛАДОРА[16], АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО, САНЧО ПАНСЕ

СОНЕТ

Вот Санчо Панса. Роста небольшого,
Он доблестью высок (не чудо ль это?).
Бесхитростнее не знавал клеврета
Никто из рыцарей, даю вам слово.

Он мог стать графом. Было все готово.
Но оказалась, на беду, задета
Вражда и зависть негодяя-света,
Который и осла рад съесть живого, –

На каковом (уж вы меня простите)
И поспешал сей воин незлобивый
За незлобивым Росинантом следом.

О тщетные надежды, как спешите
Вы мимо нас, суля покой счастливый
И становясь туманом, тенью, бредом!

КАЧИДЬЯБЛО[17], АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО, НА ГРОБНИЦУ ДОН КИХОТА

ЭПИТАФИЯ

Рыцарь здесь почиет в Боге,
Много битый, зря плутавший,
Росинанта погонявший
Вдоль дорог и без дороги.

Санчо Панса дурачина
Рядом с ним почил навек,
Самый верный человек
Из людей того же чина.

ТИКИТОКА[18], АКАДЕМИКА АРГАМАСИЛЬСКОГО, НА ГРОБНИЦУ ДУЛЬСИНЕИ ТОБОССКОЙ

ЭПИТАФИЯ

Здесь уснула Дульсинея,
И состав ее могучий
Смерть-злодейка в прах сыпучий
Превратила не жалея.

Крови доброй, хоть не древней,
Разбитной была особой,
Дон-Кихотовой зазнобой
И красой своей деревни.

Вот и все стихи, какие нам удалось разобрать. В остальных же буквы были так источены червями, что пришлось их отдать одному академику и попросить истолковать их предположительно. Нам известно, что ценой долгих бдений и упорной работы он добился этого и намеревается их опубликовать в надежде на третий выезд Дон Кихота.

Forsi altro canterà con miglior plectio[19].

Дополнения

И.И. Дмитриев

ДОН КИШОТ

Надсевшись Дон Кишот с баранами сражаться,
Решился лучше их пасти
И жизнь невинную в Аркадии вести.
Проворным долго ль снаряжаться?
Обломок дротика пошел за посошок,
Котомкой – с табаком мешок,
Фуфайка спальная – пастушечьим камзолом;
А шляпу, в знак его союза с нежным полом,
У ключницы своей соломенную взял
И лентой розового цвета
Под бледны щеки подвязал
Узлами в образе букета.
Спустил на волю кобеля,
Который к хлебному прикован был анбару;
Послал в мясном ряду купить баранов пару,
И стадо он свое рассыпал на поля
По первому морозу;
И начал воспевать весенню розу.
Но в этом худа нет: веселому все в лад,
И пусть играет всяк любимою гремушкой;
А вот что невпопад:
Идет коровница, – почтя ее пастушкой,
Согнул наш пастушок колена перед ней
И, размахнув руками,
Отборными словами
Пустился петь эклогу ей.
“Аглая! – говорит, – прелестная Аглая!
Предмет и тайных мук, и радостей моих!
Всегда ли будешь ты, мой пламень презирая,
Лелеять и любить овечек лишь своих?
Послушай, милая! там, позади кусточков,
На дереве гнездо нашел я голубочков:
Прими в подарок их от сердца моего;
Я рад бы подарить любезную полсветом:
Увы! мне, кроме их, Бог не дал ничего!
Они белы как снег, равны с тобою цветом,

Но сердце не твое у них!"
Меж тем как толстая коровница Аглая,
Кудрявых слов таких
Седого пастушка совсем не понимая,
Стоит разинув рот и выпуча глаза,
Ревнивый муж ее, подслушав Селадона,
Такого дал ему туза,
Что он невольно лбом отвесил три поклона;
Однако ж головы и тут не потерял.
"Пастух-невежда! – он вскричал. –
Не смей ты нарушать закона!
Начнем пастуший бой;
Пусть победителя Аглая увенчает:
Не бей меня, но пой!"
Муж грубым кулаком вторичным отвечает
И, к счастью, в глаз, а не в висок.
Тут нежный, верный пастушок,
Смекнув, что это въявь увечье, не проказа,
Чрез поле рысаком во весь пустился дух
И с этой стал поры не витязь, не пастух,
Но просто – дворянин без глаза.

Ах! часто и в себе я это замечал,
Что, глупости бежа, в другую попадал.

Печатается по изданию: *Дмитриев И.И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 206–208

Генрих Гейне

ВВЕДЕНИЕ К "ДОН КИХОТУ"

"Жизнь и подвиги остроумного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, описанные Мигелем Сервантесом де Сааведра" были первой книгой, прочитанной мной в ту пору, когда я вступил уже в разумный детский возраст и до известной степени постиг грамоту. Я еще хорошо помню, как я однажды ранним утром тайком убежал из дому в дворцовый сад, чтобы без помехи почитать "Дон Кихота". Был чудесный день; в свете тихого утра зацветала, чутко насторожившись, весна и слушала, как соловей, ее сладкозвучный льстец, пел ей хвалу; а свою хвалебную песнь пел он так ласкающе-нежно, так томно-вдохновенно, что самые стыдливые почки раскрылись, порывистее стали поцелуи сладострастных трав и благоухающих солнечных лучей, и деревья и цветы дрожали от восторга. А я уселся на мшистой каменной

скамье в так называемой Аллее Вздохов, близ водопада, и стал тешить свое юное сердце доблестными приключениями отважного рыцаря. В детской своей простоте я все принимал за чистую монету; какие бы смешные шутки судьба ни играла с бедным героем, я был уверен, что так оно и должно быть, что все это связано с геройством – и насмешки, и телесные раны; насмешки меня настолько же огорчали, насколько я живо чувствовал в душе боль от ран. Я был ребенок, и мне неведома была ирония, которую Бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печатном мирке. Я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все, и так как эти невинные создания природы, подобно детям, ничего не знают о мировой иронии, то и они также принимали все за чистую монету и проливали вместе со мной слезы над страданиями несчастного рыцаря; один старый заслуженный дуб даже рыдал, а водопад сильнее потрясал своей седой гривой и, казалось, выражал негодование на испорченность мира. Мы чувствовали, что геройский дух рыцаря заслуживает не меньшего восхищения оттого, что лев, не имея желания сражаться, повернул ему спину, и что его подвиги тем достохвальнее, чем слабее и худощавее его тело, чем более ветхи доспехи, его защищавшие, и чем плачевнее кляча, на которой он ехал. Мы презирали низкую чернь, так грубо расправлявшуюся с бедным героем, но еще более презирали чернь знатную, которая, щеголяя пестрым шелком плащей, изысканными оборотами речи и герцогскими титулами, издевалась над человеком, столь бесконечно превосходившим ее силой духа и благородством. Рыцарь Дульсинеи поднимался все выше в моих глазах и все больше завоевывал мою любовь по мере того, как я читал удивительную книгу, а занимался я этим чтением все в том же саду, так что осенью я дошел уже до конца всей истории; и никогда я не забуду дня, когда прочел о злосчастном поединке, в котором рыцарю суждено было претерпеть столь позорное поражение.

То был пасмурный день; отвратительные дождевые тучи тянулись в сером небе, желтые листья горестно падали с деревьев, тяжелые капли слез повисли на последних цветах, безнадежно увядших и уныло клонивших умирающие головки, соловьи давно замолкли, все являло мне образ тленности, и сердце мое готово было разорваться, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и весь смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым, умирающим голосом: "Дульсинея – прекраснейшая женщина в мире, и я – несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергла эту истину, – вонзайте копье, рыцарь!"

Ах! Этот светозарный рыцарь Серебряного Месяца, победивший храбрейшего и благороднейшего в мире человека, был переодетый цирюльник!

Вот уже восемь лет, как я написал эти строки для четвертой части "Путевых картин", в которых изобразил впечатление, вызванное в моей душе задолго до того чтением "Дон Кихота". О небо, как быстро пролетели годы! Мне кажется, будто я только накануне дочитал до конца книгу в Аллее Вздохов дюссельдорфского дворцового парка, и сердце мое все еще потрясено восторгом перед подвигами и страданиями великого рыцаря. Оставалось ли мое сердце все это время постоянным, или, совершив чудесный круговорот, оно возвратилось к чувствованиям дет-

ской поры? Вероятнее, что случилось последнее, ибо, помнится, каждые пять лет моей жизни я перечитывал "Дон Кихота" с различными сменявшими друг друга впечатлениями. Когда я достиг юношеского расцвета и неопытными руками шарил в розовых кустах жизни, и цеплялся за высочайшие скалы, чтобы быть поближе к солнцу, а по ночам грезил об орлах да чистых девах, тогда "Дон Кихот" представлялся мне весьма безотрадною книгой, и если она попадалась мне на пути, я с раздражением отодвигал ее в сторону. Позже, когда я созрел и превратился в мужа, я уже до известной степени примирился со злополучным защитником Дульсинеи и начал над ним посмеиваться. "Глупый малый", – говорил я. Однако странное дело: во всех жизненных скитаниях меня преследовали сумрачные тени тощего рыцаря и его жирного оруженосца, в особенности же когда я оказывался на опасном распутье. Так, припоминаю, когда я однажды утром во время моего путешествия во Францию очнулся в экипаже от лихорадочной полудремоты, я увидел, что в утреннем тумане рядом со мною скачут две столь хорошо знакомые фигуры: по правую руку от меня был Дон Кихот Ламанчский на своем абстрактном Росинанте, а по левую руку – Санчо Панса на своем позитивном ослике. Мы только что добрались до французской границы. Благородный ламанчец благоговейно склонил голову перед трехцветным флагом, который развевался нам навстречу с высокого пограничного столба; добрый же Санчо приветствовал несколько более сдержанным кивком первых показавшихся невдалеке французских жандармов, затем оба друга стремительно поскакали вперед, я потерял их из виду, и лишь изредка еще слышалось мне вдохновенное ржание Росинанта и поддакивающие крики осла.

Как мне представлялось в то время, смешное в донкихотстве заключается в том, что благородный рыцарь пытается оживить давно отжившее прошлое, и в том, что между его бедным телом, в особенности спиною, и фактами современности возникли болезненные трения. Ах, я познал с тех пор, каким неблагодарным безрассудством является также и попытка слишком рано ввести будущее в настоящее, если к тому же в этой схватке с тяжеловесными интересами сегодняшнего дня обладаешь только очень тощей клячей, очень ветхими доспехами и столь же немощным телом!

Как перед первым, так и перед вторым видом донкихотства мудрец лишь покачивает своею рассудительной головою. Однако Дульсинея Тобосская – все-таки самая прекрасная женщина в мире; хотя я и лежу беспомощный на земле, все же я никогда не отрекусь от этого утверждения, и я не могу иначе: колите меня копьями, вы, серебряные рыцари Месяца, переодетые цирюльничьи подмастерья!

Какая основная мысль руководила великим Сервантесом, когда он писал свою великую книгу? Хотел ли он только нанести сокрушительный удар рыцарским романам, чтение которых было до такой степени распространено в его время в Испании, что перед ними оказывались бессильными церковные и светские предписания? Или он задумал выставить в смешном виде все вообще проявления человеческого энтузиазма, и прежде всего – героизм служителей меча? Он явно стремился дать всего лишь сатиру на упомянутые романы, показать их нелепость и предать их всеобщему осмеянию, а значит, и уничтожить их. И это удалось ему самым блистательным образом: ибо того, чего не удалось добиться ни увещаниями с церковной кафедры, ни угрозами светской власти, – того скромный писатель достиг с помощью

пера: он так основательно разгромил рыцарские романы, что вскоре после появления "Дон Кихота" по всей Испании исчез вкус к произведениям этого рода и ни одно из них с тех пор не выходило из печати. Но перо гения всегда больше самого гения, оно всегда достигает гораздо дальше, чем это предполагалось в его замыслах, обусловленных временем, и Сервантес, сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность. Ни на миг не подозревая этого, он сам – герой, большую часть своей жизни проведший в рыцарских походах и еще в преклонном возрасте радовавшийся тому, что ему довелось сражаться в битве при Лепанто, хотя он и заплатил за эту честь утратой левой руки.

О личности и обстоятельствах жизни писателя, создавшего "Дон Кихота", биограф может сообщить лишь немногое. Мы мало проигрываем от отсутствия этих данных, которые обычно выуживаем у соседских кумушек. Они видят только оболочку, мы же видим самого человека, его подлинный, правдивый, никем не оклеветанный образ.

Он был красивый, сильный человек, дон Мигель Сервантес де Сааведра. У него был высокий лоб, у него было сердце, вмещавшее многое. Изумительной была чудодейственная сила его взгляда. Подобно тому как бывают люди, взор которых проникает сквозь землю и видит погребенные в ней сокровища или мертвецов, – так взор великого поэта проникал в людские сердца и отчетливо видел все, что в них погребено. Для добрых взгляд его был как солнечный луч, радостно озаряющий то, что сокрыто внутри; для злых взгляд его был мечом, беспощадно рассекавшим их чувства. Его взгляд пытливо проникал в человеческую душу и беседовал с нею; если же она отказывалась отвечать, он подвергал ее мучениям, и душа, истекая кровью, лежала на скамье пыток, в то время как ее телесная оболочка, быть может, притворялась снисходительно-высокомерной. Не удивительно, что из-за этого очень многие стали относиться к нему недоброжелательно и лишь неохотно и скупо помогали ему на жизненном его пути! И он так и не достиг ни высокого звания, ни благосостояния и из всех своих многотрудных странствований не принес домой ни единой жемчужины – одни только пустые раковины. Говорят, он не знал настоящей цены деньгам, но, уверяю вас, он очень хорошо знал настоящую цену денег, коль скоро они у него кончались. Однако он никогда не ценил их так высоко, как свою честь. У него были долги, и первый параграф сочиненной им хартии, которую Аполлон будто бы даровал поэтам, гласит: если поэт утверждает, что у него нет денег, то ему следует верить на слово и не требовать клятвы. Он любил музыку, цветы и женщин. Однако из-за любви к последним ему подчас тоже приходилось очень худо, в особенности когда он был молод. Могло ли сознание будущего величия достаточно утешить его в юности, когда презрительные розы ранили его своими шипами? Однажды, в конце летнего солнечного дня, он, юный щеголь, отправился погулять по берегу Тахо с шестнадцатилетней красавицей, которая неустанно трунила над его нежностями. Солнце еще не зашло, оно еще пылало в золотом великолепии, но месяц уже стоял высоко на небе, тщедушный и бледный, точно облако. "Видишь, – сказал молодой поэт своей возлюбленной, – видишь там, наверху, этот маленький бледный кружок? Река здесь, рядом с нами, в которой он отражается, как будто только из милости несет его жалкий образ на своих гордых струях, и кудрявые волны иной раз насмешливо кидают его к берегу. Но пускай только по-

меркнет старый день! Едва наступит темнота, в вышине запылает тот бледный кружок все прекраснее и прекраснее, вся река засветится его лучами, и волны, прежде столь высокомерно-презрительные, теперь затрепещут при виде блестящего светила и сладострастно потекут навстречу!"

Историю жизни поэтов следует искать в их произведениях, и только в них можно найти их сокровеннейшие признания. Всюду, в драмах еще отчетливее, чем в "Дон Кихоте", мы видим, что Сервантес, как я уже упомянул, был долгое время солдатом. В самом деле, римское изречение: "Жить – значит сражаться" – применимо к нему вдвойне. В качестве рядового солдата участвовал он в большей части тех диких турниров, которые король Филипп II, во славу божью и ради собственной забавы, устраивал во всех странах света. То обстоятельство, что Сервантес посвятил всю свою юность величайшему из поборников католицизма, что он лично сражался за католические интересы, дает возможность предполагать, что эти интересы, были дороги и близки также и его сердцу, и опровергает широко распространенное мнение, будто только страх перед инквизицией удерживал его от того, чтобы коснуться в "Дон Кихоте" современных ему протестантских идей. Нет, Сервантес был верный сын католической церкви, и в рыцарских битвах за ее благословенное знамя не только тело его истекало кровью, – всею своею душой он переносил за нее тягчайшую пытку во время многолетнего плена у неверных.

Случаю обязаны мы большинством подробностей о том, как вел себя Сервантес в Алжире, и тут в великом поэте мы познаем столь же великого героя. История его плена находится в вопиющем противоречии с мелодичной ложью того лощеного эпикурейца, который уверил Августа и всех немецких школяров, будто он поэт и будто все поэты трусы. Нет, истинный поэт – в то же время истинный герой; в его груди живет терпение – второе мужество, как говорят испанцы. Нельзя себе представить более возвышенное зрелище, чем образ этого благородного кастильца, попавшего в рабство к алжирскому дею, вечно думающего об освобождении, неутомимо подготовляющего свой смелый план, спокойно глядящего в лицо всем опасностям и, когда затея рушится, готового скорее снести смерть и пытку, чем хотя бы единым словом выдать своих соучастников. Кровожадный властитель его тела обезоружен таким благородством и добродетелью, тигр щадит скованного льва и трепещет перед страшным одноруким, которого он мог бы послать на смерть единым своим словом. Под кличкой "Однорукий" Сервантеса знает весь Алжир, и дей признается, что он спит спокойно и уверен в спокойствии города, армии и рабов только тогда, когда знает, что однорукий испанец находится под надежной охраной.

Я упомянул, что Сервантес был всегда рядовым солдатом; но так как ему удалось отличиться даже в столь подчиненном положении и он стал известен своему великому военачальнику дону Хуану Австрийскому, то, когда он задумал возвратиться из Италии в Испанию, ему были даны самые лестные рекомендательные письма к королю с настойчивыми пожеланиями, чтобы он был повышен в чине. Когда же алжирские корсары, захватившие его в плен на Средиземном море, увидели эти письма, они приняли его за персону чрезвычайно значительного ранга и поэтому потребовали такой большой выкуп, что семья не могла его собрать, несмотря на все старания и жертвы, и неволя бедного поэта оказалась поэтому особенно долгой и мучительной. Таким образом, даже признание его доблестей явилось для него

только новым источником бед, и так до конца дней издевалась над ним эта жестокая женщина, богиня Фортуна, никогда не прощающая гению, что он и без ее покровительства может достигнуть чести и славы.

Но разве несчастье гения всегда только дело слепого случая, или оно вытекает, как неизбежность, из внутренней его природы и из природы того, что его окружает? Вступает ли душа его в борьбу с действительностью, или суровая действительность сама начинает неравную борьбу с его благородною душою?

Общество – это республика. Если отдельная личность выдвигается, масса гонит ее назад насмешками и злословием. Никто не должен быть добродетельнее и умственно одареннее остальных. Но кто непреклонной силой гения будет вознесен над обычным шаблоном, того постигнет остракизм, общество преследует его такими беспощадными насмешками и клеветой, что ему в конце концов приходится удалиться в одиночество своей мысли.

Да, общество по самой сущности своей является республиканским. Ему ненавистно всякое превосходство – духовное не менее, чем материальное. Материальное превосходство чаще, чем это обычно подозревают, является опорой для духовного. Разве мы сами не пришли к этому убеждению вскоре после Июльской революции, когда республиканский дух проявился во всех общественных взаимоотношениях? Лавры великого поэта были столь же ненавистны нашим республиканцам, как и пурпур великого короля. Они хотели уничтожить также духовные различия между людьми, и, поскольку они считали все идеи, возникающие на территории государства, общим гражданским достоянием, им не оставалось ничего другого, как декретировать также равенство стиля. В самом деле, хороший стиль стал предметом нападок как нечто аристократическое, и нам много раз приходилось слышать утверждение: "Истинный демократ пишет, как народ, – искренне, просто и скверно". Большинству деятелей движения это не стоило труда, но не всякому дано писать плохо, и тут-то поднимался крик: "Это аристократ, любитель формы, друг искусства, враг народа". Само собою разумеется, кричавшие были искренни, подобно святому Иерониму, который считал свой хороший стиль грехом и жестоко бичевал себя за него.

В "Дон Кихоте" мы находим так же мало антиабсолютистских, как и антикатолических тенденций. Критики, которые чуяли в нем нечто подобное, явно заблуждались. Сервантес был сын школы, которая даже в поэзии идеализировала безусловное послушание высшей власти. И этою высшею властью был испанский корабль той эпохи, когда его величие озаряло блеском своим весь мир. Рядовой солдат чувствовал на себе свет этого величия и легко жертвовал своей индивидуальной свободою ради такого удовлетворения кастильской национальной гордости.

Политическое величие Испании в то время, вероятно, немало возвышало и расширяло душу ее писателей. Как и во владениях Карла V, в душе такого испанского поэта солнце не заходило никогда. Дикие войны с морисками закончились, и, как цветы сильнее всего благоухают после бури, так и поэзия расцветает обычно богаче всего после гражданской войны. То же явление видим мы в Англии в эпоху Елизаветы; одновременно с Испанией там возникла поэтическая школа, наталкивающая на примечательные сопоставления. Там лучший цвет школы видим мы в Шекспире, здесь – в Сервантесе.

Так испанские поэты при трех Филиппах, так и английские при Елизавете обладают своего рода фамильным сходством, и ни Шекспир, ни Сервантес не могут претендовать на оригинальность в нашем смысле. Они отличаются от своих современников отнюдь не особыми чувствами и мыслями или особой формой изображения, а лишь более значительной глубиною, задушевностью, нежностью и силою; их произведения более проникнуты и овеяны поэзией.

Но оба поэта не только лучшие цветы своего времени – они также корни будущего. Как в Шекспире, вследствие влияния его произведений главным образом на Германию и на нынешнюю Францию, мы видим основателя позднейшего драматического искусства, так и в Сервантесе мы почитаем основателя современного романа. По этому поводу я позволю себе несколько беглых замечаний.

Роман более раннего времени, так называемый рыцарский роман, возник из поэзии средневековья; вначале он был просто прозаической переработкой тех эпических поэм, герои которых принадлежали к циклу сказаний о Карле Великом и святом Граале; содержание всегда составляли рыцарские приключения. Это был роман дворянства, и действующими лицами в нем были либо сказочные образы фантазии, либо рыцари с золотыми шпорами; нигде ни намека на народ. Эти-то рыцарские романы, выродившиеся в самые нелепые формы, Сервантес и уничтожил своим "Дон Кихотом". Но создавая сатиру, которая похоронила роман более ранней эпохи, он сам дал образец новой разновидности литературы, которую мы называем современным романом. Так обычно поступают великие поэты: разрушая старое, они одновременно закладывают основание нового; они никогда не отрицают, не утверждая. Сервантес положил начало новому роману, введя в рыцарский роман правдивое изображение низших классов, влив в него народную жизнь. Склонность описывать быт самой низменной черни, самого отверженного сброда свойственна не одному Сервантесу, но всей современной ему литературе, и она проявляется как у поэтов, так и у художников тогдашней Испании; какой-нибудь Мурильо, похитивший у неба самые священные краски, которыми он писал своих чудесных мадонн, с такою же любовью воспроизводил и самые грязные явления нашей земли. Быть может, восторженная любовь к искусству как таковому заставляла этих благородных испанцев испытывать одинаковое наслаждение от правдивого воспроизведения мальчишки-нищего, ищущего у себя вшей, и от изображения Пресвятой Девы. Или, может быть, очарование контраста побуждало как раз знатнейших дворян, такого лощеного придворного, как Кеведо, или такого могущественного министра, как Мендоса, писать романы из жизни одетых в лохмотья нищих и проходимцев; быть может, с помощью фантазии они хотели перенестись из однообразия своей сословной среды в противоположную сферу жизни; подобную же потребность мы находим и у иных немецких писателей, которые заполняют свои романы только изображением высшего света и неизменно делают своих героев графами и баронами. У Сервантеса мы еще не находим этой односторонней тенденции – изображать низменное совершенно обособленным; он только перемешивает возвышенное с низменным, одно служит для того, чтобы оттенить или осветить другое, и дворянский элемент представлен у него в такой же мере, как и народный. Но этот дворянский, аристократический, рыцарский элемент совершенно исчезает в романе англичан, которые раньше других начали подражать Сервантесу и до сего дня видят в нем об-

разец. Они все – прозаические натуры, эти английские романисты со времен царствования Ричардсона, чопорный дух их эпохи восстает против всякого крепкого и здорового изображения обыкновенной народной жизни, и мы видим, как по ту сторону канала возникают мещанские романы, в которых, точно в зеркале, отражается пресная, будничная жизнь буржуазии. Английская публика до последнего времени утопала в этом жалком чтиве, пока не выступил великий шотландец, который произвел в романе революцию, или, вернее говоря, реставрацию. Подобно тому как Сервантес ввел в роман именно демократический элемент в те времена, когда в нем господствовало начало одностороннее рыцарское, так и Вальтер Скотт снова возвратил роману элемент аристократический, когда последний полностью угас в нем и царило одно лишь прозаическое мещанство. С помощью противоположного метода Вальтер Скотт возвратил роману ту прекрасную пропорциональность, которой мы восхищаемся в "Дон Кихоте" Сервантеса.

Мне кажется, что эта заслуга второго великого поэта Англии никогда еще не была отмечена. Его торийские тенденции, его пристрастие к прошлому были благотворны для литературы, для тех образцовых произведений его гения, которые повсюду вызывали сочувствие и подражание и оттеснили бесцветные схемы мещанского романа в темные углы общественных библиотек. Ошибочно не признавать Вальтера Скотта истинным основателем так называемого исторического романа и приписывать последнему немецкое происхождение. Как можно забыть о том, что характерная черта исторического романа как раз и состоит в гармонии аристократического и демократического элементов; что Вальтер Скотт прекраснейшим образом восстановил эту гармонию, нарушенную во время единовластия демократического элемента, путем восстановления аристократического элемента, между тем как наши немецкие романтики совершенно отбросили в своих романах демократический элемент и возвратились в нелепую колею рыцарского романа, процветавшего до Сервантеса. Наш де ла Мотт Фуке – не что иное, как последыш тех поэтов, которые произвели на свет "Амадиса Галльского" и тому подобные чудеса, и я удивляюсь не только таланту, но и мужеству, с каким этот благородный барон сочинял свои рыцарские романы двести лет спустя после появления "Дон Кихота". Своеобразна была та эпоха в Германии, когда эти романы появились на свет и с удовольствием были приняты публикой. Что означала в литературе эта страстная любовь к рыцарству и к картинам старого феодального времени? Мне думается, немецкому народу захотелось навсегда проститься со средневековьем; но, расчувствовавшись – а это так легко случается с нами, – мы решили расцеловаться с ним на прощанье. Мы в последний раз прижались губами к старым надгробным камням. Правда, многие из нас повели себя в высшей степени глупо. Людвиг Тик, сладчайший адепт этой школы, выкопал из могилы давно умерших предков и принялся качать их гроб, словно люльку, напевая при этом с бессмысленным детским лепетом: "Спи, дедушка, спи!"

Я назвал Вальтера Скотта вторым великим поэтом Англии, а его романы – мастерскими произведениями. Но величайшую хвалу я хотел уделить только его гению. Сами же его романы я бы ни в коем случае не решился сравнить с великим романом Сервантеса. Сервантес превосходит его эпическим духом. Это был, как я уже упомянул, католический поэт, и подобному качеству своему он, быть может, обязан

тем огромным эпическим душевным спокойствием, которое, подобно хрустальному небосводу, высится над его многоцветными произведениями: нигде не единой трещины сомнения. К этому надо было бы еще добавить спокойствие испанского национального характера. А Вальтер Скотт принадлежит церкви, которая даже божественные дела подвергает строгой дискуссии; как адвокат и шотландец, он привык к действию и дискуссии, и как в складе его ума и в жизни его, так и в его романах преобладает драматический элемент. Поэтому его произведения нельзя ни в коем случае рассматривать как чистые образцы той литературной формы, которую мы называем романом. Испанцам принадлежит слава создания лучшего романа, англичанам же мы должны уступить славу создания высших образцов драмы.

А немцы? В какой области остается за ними пальма первенства? Что ж, мы создали лучшие в мире песни. Ни у одного народа нет таких прекрасных песен, как у немцев. Нынче у народов слишком много политических дел; но когда с ними будет покончено, тогда мы – немцы, бритты, испанцы, французы, итальянцы, – все мы уйдем в зеленый лес, и будем петь, и нашим арбитром пускай будет соловей. Я убежден, что в этом состязании певцов первую награду завоюет песня Вольфганга Гете.

Сервантес, Шекспир и Гете составляют триумвират поэтов, создавших величайшие образцы в трех родах поэтического творчества – эпическом, драматическом и лирическом. Быть может, пишущий эти строки имеет особое право восхвалять нашего великого соотечественника как совершеннейшего мастера песенной поэзии. Гете стоит посередине между двумя видами перерождения песни, меж теми двумя школами, из которых первая связана, к сожалению, с моим собственным именем, а другая – со Швабией. Обе эти школы, конечно, не лишены заслуг: они косвенным образом содействовали преуспеванию немецкой поэзии. Первая вызвала благотворную реакцию против одностороннего идеализма в немецкой песне, она снова вернула сознание к бодрой реальности и вырвала с корнем то сентиментальное подражание Петрарке, которое представлялось нам всегда неким лирическим донкихотством. Швабская школа также косвенно содействовала благу немецкой поэзии. Если в северной Германии могли появиться на свет сильные, здоровые произведения, то этим мы обязаны, быть может, швабской школе, которая всосала в себя всю болезненную, худосочную, благочестиво-задушевную слякоть немецкой музы. Штутгарт был мягким младенческим теменем немецкой музы.

Приписывая высшие достижения в драме, в романе и в песне упомянутому великому триумвирату, я очень далек от того, чтобы умалять поэтические достоинства других великих поэтов. Нет ничего глупее вопроса: кто из поэтов более велик? Пламя есть пламя, и его вес не поддается измерению с помощью фунтов и унций. Лишь пошлый торгаш может являться со своими убогими весами, на которых развешивают сыр, и пытаться взвесить гений. Не только древние, но также и некоторые из новейших поэтов, создали произведения, в которых пламя поэзии пылает так же прекрасно, как и в лучших произведениях Шекспира, Сервантеса и Гете. Но все же эти три имени соединены какою-то таинственной цепью. Их создания излучают родственный дух; в них дышит вечное милосердие, подобное божьему дыханию; в них парит умеренность природы. Так же, как Шекспира, Гете постоянно напоминает и Сервантеса, и с последним он сходен, вплоть до частностей стиля, в той спокойной прозе, что расцвечена самой пленительной и безобидной иронией. Сер-

вантес и Гете схожи даже в своих недостатках: в пространности речи, в протяженности периодов, которые порою попадаются у них и которые можно сравнить с королевским выездом.

Нередко одна только единственная мысль сидит в таком широко растянувшемся периоде, торжественно продвигающемся вперед, подобно огромной раззолоченной придворной карете, запряженной шестью лошадьми с роскошными султанами. Но эта единственная мысль есть нечто величественное; быть может, это сам суверен.

О духе Сервантеса и о влиянии его книги я мог рассказать лишь весьма кратко. О художественном же значении его романа я еще меньше могу здесь распространяться, поскольку это заставило бы меня заняться исследованием, которое завело бы слишком далеко в область эстетики. Здесь я имею возможность лишь в самых общих чертах упомянуть о форме романа и о двух фигурах, стоящих в центре его. По форме он является описанием путешествия; эта форма искони была обычной для такого рода литературных произведений. Напомню здесь только "Золотого осла" Апулея, первый роман древности. Однообразие этой формы писатели позднейшего времени пытались устранить с помощью того, что мы нынче называем фабулой романа. Однако из-за недостатка изобретательности большинство романистов заимствовало фабулу друг у друга, по крайней мере одни из них постоянно пользовались фабулой других, с небольшими видоизменениями, и благодаря связанному с этим повторению одних и тех же характеров, ситуаций и перипетий чтение романов в конце концов порядочно надоело публике. Чтобы избавиться от скуки избитых романических фабул, пришлось обратиться на некоторое время к древнейшей первоначальной форме описания путешествий. Однако и последняя совершенно вытесняется, как только появляется оригинальный писатель с новою, свежею романическою фабулой. В литературе, как и в политике, все развертывается по закону действия и противодействия.

Что же касается двух персонажей, именующих себя Дон Кихотом и Санчо Пансой, беспрестанно пародирующих друг друга, но при этом так изумительно друг друга дополняющих, что вместе они образуют подлинного героя романа, то они свидетельствуют в равной мере о художественном чутье и о глубине ума поэта. Если другие писатели, в романах которых герой одиноко бродит по свету, вынуждены прибегать к монологам, письмам и дневникам, чтобы передать чувства и мысли героя, то у Сервантеса повсюду фигурирует естественный диалог; и благодаря тому, что один персонаж неизменно пародирует речь другого, замысел автора проступает с особой отчетливостью. Двойной образ, сообщающий роману Сервантеса такую художественную естественность, вызывает многократные подражания; ведь из его характера, как из единого зерна, развивается весь роман, подобный индийскому дереву-исполину со всей его буйною листвою, его душистыми цветами, сияющими плодами, обезьянами и сказочными птицами, которые покачиваются на его ветвях.

Но несправедливо было бы относить все на счет рабского подражания. Так, естественно было вывести именно два таких образа – Дон Кихота и Санчо Пансу, из которых один, поэтический, устремляется на поиски приключений, а другой частью из преданности, частью из корысти следует за ним и в солнечные дни, и в непогоду, как это часто приходится наблюдать и в жизни. Чтобы всюду под самыми разнооб-

разными масками узнавать эту чету как в искусстве, так и в жизни, следует, разумеется, обращать внимание лишь на самое существенное в них, на их духовную сущность, а никак не на случайное в их внешних проявлениях. Примеров я мог бы привести несчетное количество. Разве мы в образах Дон Жуана и Лепорелло не угадываем Дон Кихота и Санчо Пансо с такою же ясностью, как, например, в фигурах лорда Байрона и его слуги Флетчера? Разве мы с такою же очевидностью не узнаем те же два типа и их взаимоотношения в фигуре рыцаря фон Вальдзее и его Каспара Ларифари, как и в фигурах иных писателей и их издателя, который, конечно, ясно понимает сумасбродства своих авторов, но все же сопровождает их преданно во всех их идейных блужданиях, рассчитывая извлечь из этого реальную пользу. И господин издатель Санчо, хотя он и получает иной раз от этого предприятия одни тумаки, все же остается неизменно жирным, между тем как благородный рыцарь день ото дня все худеет и худеет.

Однако не только среди мужчин, но и среди женщин я частенько угадывал типы Дон Кихота и его оруженосца. Так, мне вспоминается прекрасная англичанка, восторженная блондинка, вышедшая вместе с подругою из лондонского пансиона для девиц и мечтавшая объехать весь свет, чтобы найти благородное мужское сердце, которое грезилось ей в тихие лунные ночи. Ее подруга, коренастая брюнетка, рассчитывала при сей оказии добыть если не что-нибудь исключительно идеальное, то уж, во всяком случае, вполне представительного супруга. Я так и вижу блондинку, ее тоскующие по любви голубые глаза, ее стройную фигуру, вижу, как она стоит на брайтонской набережной и страстно стремится вдаль, за бушующее море, к берегам Франции... А подруга между тем пощелкивает орехи, лакомится вкусными ядрышками и кидает скорлупу в воду.

Ни в мастерских произведениях других писателей, ни в самой природе мы не находим, однако, такого точного изображения обоих упомянутых типов в их взаимоотношениях, какое дано у Сервантеса. Каждая черточка в характере и в проявлении одного из них соответствует здесь противоположной и все-таки родственной черте у другого. Здесь каждая частность имеет смысл пародии. Да, даже между Росинантом и осликом Санчо господствует все тот же иронический параллелизм, что и между оруженосцем и его рыцарем, и животные тоже являются до известной степени символическими носителями тех же идей. Господин и слуга обнаруживают самые разительные противоположности как в образе мыслей, так и в языке, и здесь я не могу не упоминуть о тех трудностях, какие пришлось преодолеть переводчику при передаче на немецкий язык неотесанной, простонародной речи доброго Санчо. Своим рубленым, нередко грубоватым языком поговорок добрый Санчо в точности напоминает шута при царе Соломоне, Маркольфа, который в своих кратких изречениях тоже противопоставляет патетическому идеализму житейский опыт простонародья. Дон Кихот, напротив, говорит языком людей образованных, языком высшего сословия, и в величавости его умело закругленной периодической речи чувствуется знатный идальго. Периоды этой речи бывают подчас слишком растянуты, и язык рыцаря становится похож на гордую придворную даму в пышном шелковом платье с длинным шуршащим шлейфом. Но переодетые пажами грации, улыбаясь, несут край этого шлейфа: длинные периоды завершаются грациознейшими оборотами.

Характер языка Дон Кихота и Санчо Пансы можно определить такими словами: когда говорит первый, представляется, что он восседает на своем высоком коне; второй говорит так, будто он сидит на своем низеньком ослике.

Мне следовало бы еще сказать кое-что об иллюстрациях, которыми издатель украсил этот новый перевод "Дон Кихота", введение к которому я здесь даю. Это издание – первая беллетристическая книга, выходящая в свет в Германии в таком нарядном виде. В Англии и особенно во Франции иллюстрации – явление обычное, встречающее восторженный прием. Однако добросовестный и основательный немец, конечно, спросит: служат ли подобные иллюстрации интересам подлинного искусства? Не думаю. Правда, по ним можно видеть, как остроумно и легко творческая рука художника схватывает и воспроизводит созданные автором образы; иллюстрации дают также приятную передышку, когда чтение делается сколько-нибудь утомительным; но они являются еще одним лишним симптомом того, что искусство, сброшенное с пьедестала самостоятельности, становится прислужницей роскоши. И затем здесь для художника налицо не только возможность и искушение, но даже обязанность лишь бегло коснуться своего предмета, отнюдь не исчерпывая его полностью. Гравюры на дереве в старинных книгах служили другим целям, их нельзя сравнивать с этими иллюстрациями.

Иллюстрации настоящего издания исполнены по рисункам Тони Жоанно лучшими граверами Англии и Франции. Они – тому порукою уже самое имя Тони Жоанно – изящны и характерны как по замыслу, так и по исполнению; несмотря на поверхность трактовки, видно, до какой степени художник проникся духом поэта. Очень остроумно и фантастично задуманы начальные буквы, виньетки и заставки, и, конечно, с глубоко продуманным художественным умыслом избраны для украшений главным образом мавританские орнаменты. Ведь и в самом деле, мы видим, как воспоминания о веселой поре мавров проступают повсюду в "Дон Кихоте", подобно прекрасному далекому фону. Тони Жоанно, один из наиболее талантливых и значительных художников Парижа, по происхождению немец.

Удивительно, что книга, дающая такой обильный живописный материал, как "Дон Кихот", не нашла художника, который позаимствовал бы из нее сюжеты для ряда самостоятельных художественных произведений. Или, быть может, книга так легка и фантастична по своему духу, что под рукою художника развеется пестрая красочная пыль? Не думаю: "Дон Кихот", как бы легок и фантастичен он ни был, опирается на грубую земную действительность, иначе он не стал бы народною книгою. Или это, может быть, потому, что за образами, выведенными перед нами поэтом, скрываются более глубокие идеи, которые художник или скульптор передать не в силах, так что ему удается схватить и воспроизвести только внешний облик, хотя бы и очень выпуклый, но не внутренний смысл? Вероятно, причина именно в этом. Впрочем, многие художники пробовали свои силы на рисунках к "Дон Кихоту". Все, что мне пришлось видеть в этом роде из английских, испанских и давних французских работ, было отвратительно. Что касается немецких художников, то я должен напомнить здесь о нашем великом Даниэле Ходовецком. Он сделал целый ряд рисунков к "Дон Кихоту", и, гравированные по мотивам Ходовецкого Бергером, они были приложены к бертуховскому переводу. Среди них есть превосходные вещи. Очень повредило художнику ложное, театрально-условное представление,

которое он, как и остальные его современники, имел об испанском костюме. Но везде видно, что Ходовецкий полностью понял "Дон Кихота". Меня это порадовало именно в этом художнике, и я был рад как за него самого, так и за Сервантеса. Ибо мне всегда приятно, когда двое моих друзей любят друг друга, так же как я неизменно радуюсь, если двое моих врагов кидаются друг на друга. Время Ходовецкого, как период зарождения литературы, еще нуждающейся в восторженных чувствах и вынужденной отказаться от сатиры, как раз не было благоприятно для восприятия "Дон Кихота", и вот в пользу Сервантеса говорит то, что образы его были все же восприняты и вызвали отклики, а в пользу Ходовецкого – что он понял образы Дон Кихота и Санчо Пансы, хотя был, пожалуй, более, чем другие художники, сыном своего времени, был связан с ним корнями, был им выношен, понят и признан.

Из новейших иллюстраций к "Дон Кихоту" я с удовольствием упомяну о нескольких эскизах Декана, самого оригинального из всех современных французских живописцев. Но только немец может вполне понять "Дон Кихота", и я это с душевной радостью почувствовал на днях, увидев в окне картинной лавки на Монмартрском бульваре гравюру, изображающую благородного ламанчца в его кабинете, сделанную по картине Адольфа Шредтера, большого мастера.

Перевод А. Горнфельд

Печатается по изданию: *Гейне Г.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 187–205

И.С. Тургенев

ГАМЛЕТ И ДОН КИХОТ

(Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым)

Мм. гг.!

Первое издание трагедии Шекспира "Гамлет" и первая часть сервантесовского "Дон Кихота" явились в один и тот же год, в самом начале XVII столетия.

Эта случайность нам показалась знаменательною; сближение двух названных нами произведений навело нас на целый ряд мыслей. Мы просим позволения поделиться с вами этими мыслями и заранее рассчитываем на вашу снисходительность. "Кто хочет понять поэта, должен вступить в его область", – сказал Гете; – прозаик лишен всяких прав на подобное требование; но он может надеяться, что его читатели – или слушатели – захотят сопутствовать ему в его странствованиях, в его изысканиях.

Некоторые из наших воззрений, быть может, поразят вас, мм. гг., своею необычностью; но в том и состоит особенное преимущество великих поэтических

произведений, которым гений их творцов вдохнул неумирающую жизнь, что воззрения на них, как и на жизнь вообще, могут быть бесконечно разнообразны, даже противоречащи – и в то же время одинаково справедливы. Сколько комментариев уже было написано на "Гамлета" и сколько их еще предвидится впереди! К каким различным заключениям приводило изучение этого поистине неисчерпаемого типа! – "Дон Кихот", по самому свойству своей задачи, по истинно великолепной ясности рассказа, как бы озаренного солнцем юга, подает меньше повода к толкованиям. Но, к сожалению, мы, русские, не имеем хорошего перевода "Дон Кихота"; большая часть из нас сохранила о нем довольно неопределенные воспоминания; под словом "Дон Кихот" мы часто подразумеваем просто шута, – слово "донкихотство" у нас равносильно с словом: нелепость, – между тем как в донкихотстве нам следовало бы признать высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны. Хороший перевод "Дон Кихота" был бы истинной заслугой перед публикой, и всеобщая благодарность ждет того писателя, который передаст нам это единственное творение во всей его красоте. Но возвратимся к предмету нашей беседы.

Мы сказали, что одновременное появление "Дон Кихота" и "Гамлета" нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы – оба конца той оси, на которой она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из нас сбивается либо на Дон Кихота, либо на Гамлета. Правда, в наше время Гамлетов стало гораздо более, чем Дон Кихотов; но и Дон Кихоты не перевелись.

Объяснимся.

Все люди живут – сознательно или бессознательно – в силу своего принципа, своего идеала, т.е. в силу того, что они почитают правдой, красотою, добром. Многие получают свой идеал уже совершенно готовым, в определенных, исторически сложившихся формах; они живут, соображая жизнь свою с этим идеалом, иногда отступая от него под влиянием страстей или случайностей, но они не рассуждают о нем, не сомневаются в нем; другие, напротив, подвергают его анализу собственной мысли. Как бы то ни было, мы, кажется, не слишком ошибемся, если скажем, что для всех людей этот идеал, эта основа и цель их существования находится либо вне их, либо в них самих: другими словами, для каждого из нас либо собственное я становится на первом месте, либо нечто другое, признанное им за высшее. Нам могут возразить, что действительность не допускает таких резких разграничений, что в одном и том же живом существе оба воззрения могут чередоваться, даже сливаться до некоторой степени; но мы и не думали утверждать невозможность изменений и противоречий в человеческой природе; мы хотели только указать на два различные отношения человека к своему идеалу – и мы теперь постараемся представить, каким образом, по нашему понятию, эти два различные отношения воплотились в двух избранных нами типах.

Начнем с Дон Кихота.

Что выражает собою Дон Кихот? Взглянем на него не тем торопливым взглядом, который останавливается на поверхностях и мелочах. Не будем видеть в Дон Кихоте одного лишь рыцаря печального образа, фигуру, созданную для осмеяния

старинных рыцарских романов; известно, что значение этого лица расширилось под собственною рукою его бессмертного творца и что Дон Кихот второй части, любезный собеседник герцогов и герцогинь, мудрый наставник оруженосца-губернатора, – уже не тот Дон Кихот, каким он является нам в первой части романа, особенно в начале, не тот странный и смешной чудак, на которого так щедро сыплются удары; а потому попытаемся проникнуть до самой сущности дела. Повторяем: что выражает собою Дон Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле. Нам скажут, что идеал этот почерпнут расстроенным его воображением из фантастического мира рыцарских романов; согласны – и в этом-то состоит комическая сторона Дон Кихота; но самый идеал остается во всей своей нетронутой чистоте. Жить для себя, заботиться о себе – Дон Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам – волшебникам, великанам, т.е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование – оцените это слово! – он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой: ему не до того. Смиренный сердцем, он духом велик и смел; умилительная его набожность не стесняет его свободы; чуждый тщеславия, он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах; воля его – непреклонная воля. Постоянное стремление к одной и той же цели придает некоторое однообразие его мыслям, односторонность его уму; он знает мало, да ему и не нужно много знать: он знает, в чем его дело, зачем он живет на земле, а это – главное знание. Дон Кихот может показаться то совершенным безумцем, потому что самая несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает как воск от огня его энтузиазма (он действительно видит живых мавров в деревянных куклах, рыцарей в баранах), – то ограниченным, потому что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; но он, как долговечное дерево, пустил глубоко корни в почву и не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься от одного предмета к другому; крепость его нравственного состава (заметьте, что этот сумасшедший, странствующий рыцарь – самое нравственное существо в мире) придает особенную силу и величавость всем его суждениям и речам, всей его фигуре, несмотря на комические и унизительные положения, в которые он беспрестанно впадает... Дон Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем.

Что же представляет собою Гамлет?

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в це-

лом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, – и привязан к жизни... "О Боже, Боже! (восклицает он во 2-й сцене первого акта), если б Ты, Судья земли и неба, не запретил греха самоубийства!.. Как пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мне жизнь!" Но он не пожертвует этой плоской и пустой жизнию; он мечтает о самоубийстве еще до появления тени отца, до того грозного поручения, которое окончательно разбивает его уже надломанную волю, – но он себя не убьет. Любовь к жизни высказывается в самых этих мечтах о прекращении ее; всем 18-летним юношам знакомы подобные чувства:

То кровь кипит, то сил избыток.

Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает – и его страдания и больнее и язвительнее страданий Дон Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа.

Дон Кихот, мы должны в этом сознаться, положительно смешон. Его фигура едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом. Его имя стало смешным прозвищем даже в устах русских мужиков. Мы в этом могли убедиться собственными ушами. При одном воспоминании о нем возникает в воображении тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная в карикатурные латы, вознесенная на чахлый остов жалкого коня, того бедного, вечно голодного и битого Росинанта, которому нельзя отказать в каком-то полузабавном, полутронутом участии. Дон Кихот смешон... но в смехе есть примиряющая и искупляющая сила – и если недаром сказано: "Чему посмеешься, тому послужишь", то можно прибавить, что над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов. Напротив, наружность Гамлета привлекательна. Его меланхолия, бледный, хотя и нехудой вид (мать его замечает о нем, что он толст, "our son is fat"), черная бархатная одежда, перо на шляпе, изящные манеры, несомненная поэзия его речей, постоянное чувство полного превосходства над другими, рядом с язвительной потехой самоунижения, все в нем нравится, все пленяет; всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел заслужить прозвание Дон Кихота; "Гамлет Баратынский", – писал к своему другу Пушкин; над Гамлетом никто и не думает смеяться, и именно в этом его осуждение: любить его почти невозможно, одни люди, подобные Горацию, привязываются к Гамлету. Мы о них поговорим впоследствии. Сочувствует ему всякий, и оно понятно: почти каждый находит в нем собственные черты; но любить его, повторяем, нельзя, потому что он никого сам не любит.

Будем продолжать наше сравнение. Гамлет – сын короля, убитого родным братом, похитителем престола; отец его выходит из могилы, из "челюстей ада", чтобы поручить ему отмстить за себя, а он колеблется, хитрит с самим собою, тешится тем, что ругает себя, и наконец убивает своего вотчима случайно. Глубокая психологическая черта, за которую многие даже умные, но близорукие люди дерзали осуждать Шекспира! А Дон Кихот, бедный, почти нищий человек, без всяких средств и связей, старый, одинокий, берет на себя исправлять зло и защищать притесненных (совершенно ему чужих) на всем земном шаре. Что нужды, что первая же его попытка освобождения невинности от притеснителя рушится двойной бедою на голову самой невинности... (мы разумеем ту сцену, когда Дон Кихот избавляет мальчика от побоев его хозяина, который тотчас же после удаления избавителя вдесятеро сильнее наказывает бедняка). Что нужды, что, думая иметь дело с вредными великанами, Дон Кихот нападает на полезные ветряные мельницы... Комическая оболочка этих образов не должна отводить наши глаза от сокрытого в них смысла. Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва, рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. С Гамлетом ничего подобного случиться не может: ему ли с его проницательным, тонким, скептическим умом, ему ли впасть в такую грубую ошибку! Нет, он не будет сражаться с ветряными мельницами, он не верит в великанов... но он бы и не напал на них, если бы они точно существовали. Гамлет не стал бы утверждать, как Дон Кихот, показывая всем и каждому цирюльничий таз, что это есть настоящий волшебный шлем Мамбрина; но мы полагаем, что если бы сама истина предстала воплощенною перед его глазами, Гамлет не решился бы поручиться, что это точно она, истина... Ведь кто знает, может быть, и истины тоже нет, так же как великанов? Мы смеемся над Дон Кихотом... но, мм. гг., кто из нас может, добросовестно вопросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различал цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шлема?.. Потому нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого убежденья... а результат – в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы... Наше дело вооружиться и бороться.

Замечательны отношения толпы, так называемой людской массы, к Гамлету и Дон Кихоту.

Полоний представитель массы перед Гамлетом, Санчо Панса – перед Дон Кихотом.

Полоний – дельный, практический, здравомыслящий, хотя в то же время ограниченный и болтливый старик. Он отличный администратор, примерный отец; вспомните его наставления сыну своему Лаерту при отъезде того за границу, – наставления, которые могут поспорить в мудрости с известными распоряжениями губернатора Санчо Пансы на острове Баратария. Для Полония Гамлет не столько сумасшедший, сколько ребенок, и если бы он не был королевским сыном, он бы презирал его за его коренную бесполезность, за невозможность положительного и дельного применения его мыслей. Известная сцена облака, между Гамлетом и Полонием, – сцена, в которой Гамлет воображает, что дурачит старика,

имеет для нас явный смысл, подтверждающий наше воззрение... Мы позволим себе напомнить ее вам:

П о л о н и й. Королева желает говорить с вами, принц, и притом сейчас.
Г а м л е т. Видите это облако? Точно ласточка.
П о л о н и й. Совершенная ласточка.
Г а м л е т. Мне кажется, оно похоже на верблюда.
П о л о н и й. Спина точь-в-точь как у верблюда.
Г а м л е т. Иль как у кита?
П о л о н и й. Совершенный кит.
Г а м л е т. Хорошо. – Так я иду к матушке.

Не явно ли, что в этой сцене Полоний в одно и то же время придворный, который угождает принцу, и взрослый, который не хочет перечить больному, блажному мальчику? Полоний ни на волос не верит Гамлету, и он прав; со всей свойственной ему ограниченной самонадеянностью он приписывает блажь Гамлета его любви к Офелии, и в этом он, конечно, ошибается; но он не ошибается в оценке его характера. Гамлеты точно бесполезны массе; они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли земля под ногами? Притом же Гамлеты презирают толпу. Кто самого себя не уважает – кого, что может тот уважать? Да и стоит ли заниматься массой? Она так груба и грязна! а Гамлет – аристократ, не по одному рождению.

Совсем другое зрелище представляет нам Санчо Панса. Он, напротив, смеется над Дон Кихотом, знает очень хорошо, что он сумасшедший, но три раза покидает свою родину, дом, жену, дочь, чтобы идти за этим сумасшедшим человеком, следует за ним повсюду, подвергается всякого рода неприятностям, предан ему по самую смерть, верит ему, гордится им и рыдает коленопреклоненный у бедного ложа, где кончается его бывший господин. Надеждою на прибыль, на личные выгоды – этой преданности объяснить нельзя; у Санчо Пансы слишком много здравого смысла; он очень хорошо знает, что, кроме побоев, оруженосцу странствующего рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности следует искать глубже; она, если можно так выразиться, коренится в едва ли не лучшем свойстве массы, в способности счастливого и честного ослепления (увы! ей знакомы и другие ослепления), в способности бескорыстного энтузиазма, презрения к прямым личным выгодам, которое для бедного человека почти равносильно с презрением к насущному хлебу. Великое, всемирноисторическое свойство! Масса людей всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но, которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперив духовный взор в ими только видимую цель, ищут, падают, поднимаются, и наконец находят... и по праву; только тот и находит, кого ведет сердце. Les grandes pensées viennent du coeur[1], – сказал Вовенарг. А Гамлеты ничего не находят, ничего не изобретают и не оставляют следа за собою, кроме следа собственной личности, не оставляют за собою дела. Они не любят и не верят; что же они могут найти? Даже в химии (не говоря уже об органи-

[1] Великие мысли исходят из сердца (*фр.*).

ческой природе), для того чтобы явилось третье вещество, надобно соединение двух; а Гамлеты все только собою заняты; они одиноки, а потому бесплодны.

Но возразят нам: "Офелия? разве Гамлет ее не любит?"

Поговорим о ней – и кстати о Дульцинее.

В отношениях наших двух типов к женщине есть также много знаменательного.

Дон Кихот любит Дульцинею, несуществующую женщину, и готов умереть за нее (вспомните его слова, когда, побежденный, поверженный в прах, он говорит своему победителю, уже занесшему на него копье: "Колите меня, рыцарь, но да не послужит моя слабость к уменьшению славы Дульцинеи; я все-таки утверждаю, что она совершеннейшая красавица в мире"). Он любит идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозревает, что предмет его страсти вовсе не существует; до того чисто, что, когда Дульцинея является перед ним в образе грубой и грязной мужички, он не верит свидетельству глаз своих и считает ее превращенной злым волшебником. Мы сами на своем веку, в наших странствованиях, видали людей, умирающих за столь же мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, в котором они видели осуществление своего идеала и превращение которого они также приписывали влиянию злых, – мы чуть было не сказали: волшебников – злых случайностей и личностей. Мы видели их, и когда переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга истории! в ней нечего будет читать. Чувственности и следа нет у Дон Кихота; все мечты его стыдливы и безгрешны, и едва ли в тайной глубине своего сердца надеется он на конечное соединение с Дульцинеей, едва ли не страшится он даже этого соединения!

А Гамлет, неужели он любит? Неужели сам иронический его творец, глубочайший знаток человеческого сердца, решился дать эгоисту, скептику, проникнутому всем разлагающим ядом анализа, любящее, преданное сердце? Шекспир не впал в это противоречие, и внимательному читателю не стоит большого труда, чтобы убедиться в том, что Гамлет, человек чувственный и даже втайне сластолюбивый (придворный Розенкранц недаром улыбается молча, когда Гамлет говорит при нем, что ему женщины надоели), что Гамлет, говорим мы, не любит, но только притворяется, и то небрежно, что любит. Мы имеем на то свидетельство самого Шекспира.

В первой сцене третьего действия Гамлет говорит Офелии:

Я любил тебя когда-то.

О ф е л и я. Принц, вы заставили меня этому верить.

Г а м л е т. А не должно было верить!.. *Я не любил тебя.*

И, сказавши это последнее слово, Гамлет гораздо ближе к правде, чем сам полагает. Чувства его к Офелии, существу невинному и ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его двусмысленные намеки, когда он, в сцене представления на театре, просит у ней позволения полежать... у ее колен), либо фразисты (обратите ваше внимание на сцену между ним и Лаертом, когда он впрыгивает в могилу Офелии и говорит языком, достойным Брамарбаса или капитана Пистоля: "Сорок тысяч братьев не могут со мной поспорить! пусть на нас навалят миллион холмов!" и т.д.). Все его отношения к Офелии опять-таки для него не что иное, как занятие самим собою, и в восклицании его: "О нимфа! помяни меня в своих святых молитвах", – мы видим одно лишь глубокое сознание собственного болезненного

бессилия – бессилия полюбить, – почти суеверно преклоняющегося перед "святыней чистоты".

Но довольно говорить о темных сторонах гамлетовского типа, о тех сторонах, которые именно потому нас более раздражают, что они нам ближе и понятнее. Постараемся оценить то, что в нем законно и потому вечно. В нем воплощено начало отрицания, то самое начало, которое другой великий поэт, отделив его от всего чисто человеческого, представил нам в образе Мефистофеля. Гамлет тот же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой природы; оттого его отрицание не есть зло – оно само направлено противу зла. Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. В добре оно сомневается, т.е. оно заподозревает его истину и искренность и нападает на него не как на добро, а как на поддельное добро, под личиной которого опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги: Гамлет не хохочет демонски-безучастным хохотом Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть унылость, которая говорит о его страданиях и потому примиряет с ним. Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм, и в этом состоит его значение и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие не сливаются перед ним в одно случайное, немое, тупое нечто. Скептицизм Гамлета, не веря в современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо враждует с ложью и тем самым становится одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне поверить. Но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила – и как удержать эту силу в границах, как указать ей, где ей именно остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей следует пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни: для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более...

And thus the native hue of resolution
Is sicklied o′er by the pale cast of thought...
(Прирожденный румянец воли
Блекнет и болеет, покрываясь бледностью мысли...), – говорит нам Шекспир устами Гамлета... И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой – полубезумные Дон Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело нас даже поверхностное обсуждение этих вопросов.

Ограничимся замечанием, что в этом разъединении, в этом дуализме, о котором мы упомянули, мы должны признать коренной закон всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал. Если бы мы не боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы решились сказать, что Гамлеты суть выражение коренной центростремительной силы природы, по которой все живущее считает себя центром творения и на все остальное взирает как на су-

ществующее только для него (так комар, севший на лоб Александра Македонского, с спокойной уверенностью в своем праве питался его кровью, как следующей ему пищей; так точно и Гамлет, хотя и презирает себя, чего комар не делает, ибо он до этого не возвысился, так точно и Гамлет, говорим мы, постоянно все относит к самому себе). Без этой центростремительной силы (силы эгоизма) природа существовать бы не могла, точно так же как и без другой, центробежной силы, по закону которой все существующее существует только для другого (эту силу, этот принцип преданности и жертвы, освещенный, как мы уже сказали, комическим светом – чтобы гусей не раздразнить, – этот принцип представляют собою Дон Кихоты). Эти две силы косности и движения, консерватизма и прогресса, суть основные силы всего существующего. Они объясняют нам растение цветка, и они же дают нам ключ к уразумению развития могущественнейших народов.

Спешим перейти от этих, быть может, неуместных умозрений к другим более привычным нам соображениям.

Нам известно, что из всех произведений Шекспира едва ли не самое популярное – "Гамлет". Эта трагедия принадлежит к числу пьес, несомненно и всякий раз наполняющих театр. При современном состоянии нашей публики, при ее стремлении к самосознанию и размышлению; при ее сомнении в самой себе и ее молодости – это явление понятно; но, не говоря о красотах, которыми преисполнено это, быть может, замечательнейшее произведение новейшего духа, нельзя не удивляться гению, который, будучи сам во многом сродни своему Гамлету, отделил его от себя свободным движением творческой силы – и поставил его образ на вечное изучение потомству. Дух, создавший этот образ, есть дух северного человека, дух рефлексии и анализа, дух тяжелый, мрачный, лишенный гармонии и светлых красок, не закругленный в изящные, часто мелкие формы, но глубокий, сильный, разнообразный, самостоятельный, руководящий. Из самых недр своих извлек он тип Гамлета и тем самым показал, что и в области поэзии, как и в других областях народной жизни, он стоит выше своего чада, потому что вполне понимает его.

Дух южного человека опочил на создании Дон Кихота, дух светлый, веселый, наивный, восприимчивый, не идущий в глубину жизни, не обнимающий, но отражающий все ее явления. Мы не можем здесь противиться желанию – не провести параллель между Шекспиром и Сервантесом, а только указать на некоторые точки различия и сходства между ними. Шекспир и Сервантес, подумают иные, какое же тут может быть сравнение? Шекспир – этот гигант, полубог... Да; но не пигмеем является Сервантес перед гигантом, сотворившим "Короля Лира", но человеком, и человеком вполне; а человек имеет право стоять на своих ногах даже перед полубогом. Бесспорно, Шекспир подавляет Сервантеса – и не его одного – богатством и мощью своей фантазии, блеском высочайшей поэзии, глубиной и обширностью громадного ума; но вы не найдете в романе Сервантеса ни натянутых острот, ни неестественных сравнений, ни приторных кончетти; вы также не встретите на его страницах этих отрубленных голов, вырванных глаз, всех этих потоков крови, этой железной и тупой жестокости, грозного наследия средних веков, варварства, медленнее исчезающего в северных, упорных натурах; а между тем Сервантес, как и Шекспир, был современник Варфоломеевской ночи; и еще долго после них сожигались еретики и кровь лилась; да и перестанет ли она когда-нибудь литься? Средние

века сказались в "Дон Кихоте" отблеском провансальской поэзии, сказочной грацией тех самых романов, над которыми Сервантес так добродушно посмеялся и которым сам же заплатил последнюю дань в "Персилесе и Сигизмунде"[1]. Шекспир берет свои образы отвсюду – с неба, с земли – нет ему запрету; ничто не может избегнуть его всепроникающего взора; он исторгает их с неотразимой силой, с силой орла, падающего на свою добычу. Сервантес ласково выводит перед читателем свои немногочисленные образы, как отец своих детей; он берет только то, что близко ему, но это близкое так ему знакомо! Все человеческое кажется подвластным могучему гению английского поэта; Сервантес черпает свое богатство из одной своей души, ясной, кроткой, богатой жизненным опытом, но не ожесточенной им: недаром в течение семилетнего тяжкого плена Сервантес учился, как он сам говорил, науке терпенья; круг, ему подвластный, теснее шекспировского; но в нем, как и в каждом отдельном живом существе, отражается все человеческое. Сервантес не озарит вас молниеносным словом; он не потрясает вас титанической силой победоносного вдохновения; его поэзия – не шекспировское, иногда мутное море, это глубокая река, спокойно текущая между разнообразными берегами; и понемногу увлеченный, охваченный со всех сторон ее прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно эпической тишине и плавности ее течения. Воображение охотно вызывает пред собою образы обоих современников-поэтов, которые и умерли в один и тот же день, 26 апреля 1616 года. Сервантес, вероятно, ничего не знал о Шекспире; но великий трагик, в тишине своего стратфордского дома, куда он удалился за три года до смерти, мог прочесть знаменитый роман, который был уже тогда переведен на английский язык... Картина, достойная кисти живописца-мыслителя: Шекспир, читающий "Дон Кихота"! Счастливы страны, среди которых возникают такие люди, учители современников и потомков! Неувядаемый лавр, которым увенчивается великий человек, ложится также на чело его народа.

Кончая наш далеко не полный этюд, мы просим позволения сообщить вам еще несколько отдельных замечаний.

Один английский лорд (хороший судья в этом деле) называл при нас Дон Кихота образцом настоящего джентльмена. Действительно, если простота и спокойствие обращения служат отличительным признаком так называемого порядочного человека, Дон Кихот имеет полное право на это название. Он истинный гидальго, гидальго даже тогда, когда насмешливые служанки герцога намыливают ему все лицо. Простота его манер происходит от отсутствия того, что мы бы решились назвать не самолюбием, а самомнением; Дон Кихот не занят собою и, уважая себя и других, не думает рисоваться; а Гамлет, при всей своей изящной обстановке, нам кажется, извините за французское выражение: ayant des airs de parvenu[2]; он тревожен, иногда даже груб, позирует и глумится. Зато ему дана сила своеобразного и меткого выражения, сила, свойственная всякой размышляющей и разрабатывающей себя личности – и потому вовсе недоступная Дон Кихоту. Глубина и тонкость анализа в Гамлете, его многосторонняя образованность (не должно забывать, что он

---

[1] Известно, что рыцарский роман "Персилес и Сигизмунда" явился *после* Первой части "Дон Кихота".

[2] держит себя как выскочка (*фр.*).

учился в Виттенбергском университете) развили в нем вкус почти непогрешительный. Он превосходный критик; советы его актерам поразительно верны и умны; чувство изящного почти так же сильно в нем, как чувство долга в Дон Кихоте.

Дон Кихот глубоко уважает все существующие установления, религию, монархов и герцогов, и в то же время свободен и признает свободу других. Гамлет бранит королей, придворных – и в сущности притеснителен и нетерпим.

Дон Кихот едва знает грамоте, Гамлет, вероятно, вел дневник. Дон Кихот, при всем своем невежестве, имеет определенный образ мыслей о государственных делах, об администрации; Гамлету некогда, да и незачем этим заниматься.

Много восставали против бесконечных побоев, которыми Сервантес обременяет Дон Кихота. Мы заметили выше, что во второй части романа бедного рыцаря уже почти не бьют; но мы прибавим, что без этих побоев он бы меньше нравился детям, которые с такою жадностию читают его похождения, – да и нам, взрослым, он бы показался не в своем истинном свете, но как-то холодно и надменно, что противоречило бы его характеру. Мы сейчас сказали, что во второй части уже не бьют его; но в самом ее конце, после решительного поражения Дон Кихота рыцарем светлого месяца, переодетым бакалавром, после его отречения от рыцарства, незадолго до его смерти – стадо свиней топчет его ногами. Нам не однажды довелось слышать укоры Сервантесу – зачем он это написал, как бы повторяя старые, уже брошенные шутки; но и тут Сервантесом руководил инстинкт гения – и в самом этом безобразном приключении лежит глубокий смысл. Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон Кихотов – именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию... Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие – и оно открывается перед ними.

Гамлет при случае коварен и даже жесток. Вспомните устроенную им погибель двух посланных в Англию от короля придворных, вспомните его речь об убитом им Полонии. Впрочем, мы в этом видим, как мы уже сказали, отражение еще недавно минувших средних веков. С другой стороны, мы в честном, правдивом Дон Кихоте обязаны подметить склонность к полусознательному, полуневинному обману, к самообольщению – склонность, почти всегда присущую фантазии энтузиаста. Рассказ его о том, что он видел в пещере Монтезиноса, явно им выдуман и не обманул хитрого простака Санчо Пансу.

Гамлет от малейшей неудачи падает духом и жалуется; а Дон Кихот, исколоченный галерными преступниками до невозможности пошевельнуться, нимало не сомневается в успехе своего предприятия. Так, говорят, Фурье ежедневно, в течение многих лет, ходил на свидание с англичанином, которого он вызывал в газетах для снабжения ему миллиона франков на приведение в исполнение его планов и который, разумеется, никогда не явился. Это, бесспорно, очень смешно; но вот что нам приходит в голову: древние называли своих богов завистливыми – и в случае нужды считали полезным укрощать их добровольными жертвами (вспомните кольцо, брошенное в море Поликратом); почему и нам не думать, что некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело, как дань, как успокоительная жертва завистли-

вым богам? А все-таки без этих смешных Дон Кихотов, без этих чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество – и не над чем было бы размышлять Гамлетам.

Да, повторяем: Дон Кихоты находят – Гамлеты разрабатывают. Но как же, спросят нас, могут Гамлеты что-нибудь разрабатывать, когда они во всем сомневаются и ничему не верят? На это мы возразим, что, по мудрому распоряжению природы, полных Гамлетов, точно так же как и полных Дон Кихотов, нет: это только крайние выражения двух направлений, вехи, выставленные поэтами на двух различных путях. К ним стремится жизнь, никогда их не достигая. Не должно забывать, что как принцип анализа доведен в Гамлете до трагизма, так принцип энтузиазма – в Дон Кихоте до комизма, а в жизни вполне комическое и вполне трагическое встречается редко.

Гамлет много выигрывает в наших глазах от привязанности к нему Горация. Это лицо прелестно и попадается довольно часто в наше время, к чести нашего времени. В Горации мы признаем тип последователя, ученика в лучшем смысле этого слова. С характером стоическим и прямым, с горячим сердцем, с несколько ограниченным умом, он чувствует свой недостаток и скромен, что редко бывает с ограниченными людьми; он жаждет поучения, наставления и потому благоговеет перед умным Гамлетом и предается ему всей силой своей честной души, не требуя даже взаимности. Он подчиняется ему не как принцу, а как главе. Одна из важнейших заслуг Гамлетов состоит в том, что они образуют и развивают людей, подобных Горацию, людей, которые, приняв от них семена мысли, оплодотворяют их в своем сердце и разносят их потом по всему миру. Слова, которыми Гамлет признает значение Горация, делают честь ему самому. В них выражаются собственные его понятия о высоком достоинстве человека, его благородные стремления, которых никакой скептицизм ослабить не в силах. "Послушай, – говорит он ему, –

С той поры, как это сердце
Властителем своих избраний стало
И научилось различать людей,
Оно тебя избрало перед всеми.
Страдая, ты, казалось, не страдал,
Ты брал удары и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое.
И ты благословен: рассудок с кровью
В тебе так смешаны, что ты не служишь
Для счастья дудкою, не издаешь
По прихоти его различных звуков.
Дай мужа мне, которого бы страсть
Не делала рабом, – и я укрою
Его в души моей святейших недрах,
Как я тебя укрыл"[1].

Честный скептик всегда уважает стоика. Когда распадался древний мир – и в каждую эпоху, подобную той эпохе, – лучшие люди спасались в стоицизм, как в един-

[1] Гамлет – перевод А. Кронеберга. Харьков, 1844, стр. 107.

ственное убежище, где еще могло сохраниться человеческое достоинство. Скептики, если не имели силы умереть – "отправиться в ту страну, откуда ни один еще путник не возвращался", – делались эпикурейцами. Явление понятное, печальное и слишком знакомое нам!

И Гамлет, и Дон Кихот умирают трогательно; но как различна кончина обоих! Прекрасны последние слова Гамлета. Он смиряется, утихает, приказывает Горацию жить, подает свой предсмертный голос в пользу молодого Фортинбраса, ничем не запятнанного представителя права наследства... но взор Гамлета не обращается вперед... "Остальное... молчание", – говорит умирающий скептик – и действительно умолкает навеки. Смерть Дон Кихота навевает на душу несказанное умиление. В это мгновение все великое значение этого лица становится доступным каждому. Когда бывший его оруженосец, желая его утешить, говорит ему, что они скоро снова отправятся на рыцарские похождения: "Нет, – отвечает умирающий, – все это навсегда прошло, и я прошу у всех прощения; я уже не Дон Кихот, я снова Алонзо добрый, как меня некогда называли, – Alonso el Bueno".

Это слово удивительно; упоминовение этого прозвища, в первый и последний раз – потрясает читателя. Да, одно это слово имеет еще значение перед лицом смерти. Все пройдет, все исчезнет, высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, все рассыплется прахом...

Все великое земное
Разлетается, как дым...

Но добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты. "Все минется, – сказал апостол, – одна любовь останется".

Нам нечего прибавлять после этих слов. Мы почтем себя счастливыми, если указанием на те два коренные направления человеческого духа, о которых мы говорили перед вами, мы возбудили в вас некоторые мысли, быть может, даже не согласные с нашими, – если мы, хотя приблизительно, исполнили нашу задачу и не утомили вашего благосклонного внимания.

Печатается по изданию: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1980. Соч. Т. 5. С. 330–348.

Ф.М. Достоевский

ЛОЖЬ ЛОЖЬЮ СПАСАЕТСЯ
⟨Глава из "Дневника писателя" за 1877 год⟩

Однажды Дон Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей, скитаясь с своим верным оруженосцем Санхой в погоне за приключениями, вдруг был объят некоторым недоумением, которое заставило

его долго думать. Дело в том, что часто великие древние рыцари, начиная с Амадиса Галльского, истории которых уцелели в правдивейших книгах, именуемых рыцарскими романами (для приобретения коих Дон Кихот не пожалел продать несколько лучших акров своего маленького поместья), – часто эти рыцари, во время полезных всему миру и славных странствий своих, встречали вдруг и неожиданно целые армии, во сто даже тысяч воинов, насылаемых на них злою силою, злыми волшебниками, им завидовавшими и мешавшими им всячески достигнуть великой цели их и соединиться наконец с их прекрасными дамами. Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую чудовищную и злую армию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе имя своей дамы и затем врубался один в самую средину врагов, которых и уничтожал всех, до единого человека. Кажется бы, дело ясное, но Дон Кихот вдруг задумался, и над чем же: ему показалось вдруг невозможным, чтоб один рыцарь, какой бы он силы ни был и даже если бы махал своим победоносным мечом целые сутки без всякой усталости, мог зараз уложить сто тысяч врагов, и это́ в одном сражении. Чтобы убить каждого человека, нужно все-таки время, чтобы убить сто тысяч людей, нужно огромное время, и как ни махай мечом, а в нескольких каких-нибудь часов, и зараз, одному этого не сделать. Между тем в этих правдивых книгах повествуется, что дело кончалось именно в одно сражение. Как же это могло происходить?

– Я разрешил это недоумение, друг мой Санхо, – сказал наконец Дон Кихот. – Так как все эти великаны, все эти злые волшебники, были нечистая сила, то и армии их носили такой же волшебный и нечистый характер. Я полагаю, что эти армии состояли не совсем из таких же людей, как мы, например. Люди эти были лишь наваждение, создание волшебства и, по всей вероятности, тела их не походили на наши, а были более похожи на тела, как, например, у слизняков, червей, пауков. Таким образом, крепкий и острый меч рыцаря, в могучей его руке, упадая на эти тела, проходил по ним мгновенно, почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то действительно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и даже по десяти, если те стояли в тесной куче. Понятно после того, что дело чрезвычайно ускорялось, и рыцарь действительно мог истреблять в несколько часов целые армии этих злых арапов и других чудищ...

Здесь подмечена великим поэтом и сердцевидцем одна из глубочайших и таинственнейших сторон человеческого духа. О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. Взять уже то, что этот Санхо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой средины, попал в друзья и сопутники к самому сумасшедшему человеку в мире; именно он, а не кто другой! Все время он обманывает его, надувает как ребенка и в то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован великостью сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу во все время не сомневается, что тот завоюет ему наконец остров! Как бы желалось, чтоб с этими великими произведениями всемирной литературы основательно знакомилось наше юношество. Чему учат теперь в классах литературы – не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно возвысило бы душу юноши

великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу средины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию. Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собою человек на последний суд божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум – все это нередко (увы, так часто даже) обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара – именно: гения, чтоб управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, – управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества – на свист и смех и на побиение камнями, единственно за то, что те, в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их *новое слово,* это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...

Впрочем, я хотел только указать на ту любопытнейшую черту, которую, вместе с сотней других таких же глубоких наблюдений, подметил и указал Сервантес в сердце человеческом. Самый фантастический из людей, до помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю его веру. И любопытно, что могло поколебать: не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые об них рассказаны в "правдивейших книгах", нет, а самое, напротив, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек вдруг *затосковал о реализме!* Не акт появле́ния волшебных армий смущает его: о, это не подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если б не посылались на них все эти испытания, если б не было завистливых великанов и злых волшебников? Идеал странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал сердце благородного Дон Кихота, что отказаться верить в него совсем уже стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу, любви к Дульцинее и к человечеству. (Когда он отказался, когда он излечился от своего помешательства и поумнел, возвратясь после второго своего похода, в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустною улыбкою, утешая плачущего Санхо, любя весь мир всею великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая, однако, что ему уже нечего более в этом мире делать.) Нет, но смутило его лишь то, самое верное, однако, и математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию во сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека.

Между тем в правдивых книгах это написано. Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и все ложь. Как же спасти *истину?* И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. *Реализм,* стало быть, удовлетворен, правда спасена, и верить в первую, главную мечту, можно уже без сомнений – и все, опять-таки, единственно благодаря второй уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения реализма первой.

Спросите самих себя: не случалось ли с вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни? Вот вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт, поразивший вас, женщину, наконец, околдовавшую вас. Вы устремляетесь за предметом любви вашей всеми силами вашей души. Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, *наваждение,* что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом – единственно, чтоб сделать из него вашего идола и поклониться ему, – то уж, разумеется, вы втайне это чувствуете про себя, сомнение тяготит вас, дразнит ум, ходит по душе вашей и мешает жить вам покойно с излюбленной вашей мечтой. И что ж, не помните ли вы, не сознаетесь ли сами, хоть про себя: чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому только, что она разрешала первое сомнение ваше?

Печатается по изданию: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 24–27.

Д.С. Мережковский

ДОН КИХОТ

Шлем – надтреснутое блюдо,
Щит – картонный, панцырь жалкий...
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.

Но зато, как много детской
Доброты в улыбке нежной,
И в лице худом и бледном
Сколько веры безмятежной.

Для него хромая кляча
Конь могучий Россинанта,
Эти мельничные крылья –
Руки мощного гиганта.

Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога,
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.

Санхо Панца едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.

В красной юбке, в пятнах дегтя
Там, над кучами навоза –
Эта царственная дама
Дульсинея де Тобозо...

Страстно, с юношеским жаром
Он толпе крестьян голодных
Вместо хлеба рассыпает
Перлы мыслей благородных.

"Люди добрые, ликуйте, –
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной...

Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;
Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть..."

Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,
И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.

Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется.
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.

И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.

Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу;
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:

"Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!.."
И не в силах кончить фразы,
Задыхается от смеха.

Все довольны, все смеются
С гордым видом превосходства
И никто в нем не заметит
Красоты и благородства.

Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья;
Кроткий лик его – так светел,
Очи – полны вдохновенья.

Смейтесь, люди, но, быть может,
Вы когда-нибудь поймете,
Что возвышенно и свято
В этом жалком Дон Кихоте:

Святы в нем – любовь и вера, –
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты!

Печатается по изданию:
Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 187–189.

Д.С. Мережковский

СЕРВАНТЕС

I

Каждому новому критику великих писателей прошлых веков может быть сделано одно возражение по существу: доступен ли был тот порядок философских идей и нравственных понятий, на основании которого судит современный критик, миросозерцанию поэтов более или менее отдаленных исторических эпох.

Возьмем для примера образ Прометея в знаменитой трагедии Эсхила. Для нас, людей XIX века, образ этот связан по неразрывной ассоциации с идеей протеста

свободной человеческой личности против подавляющего религиозного авторитета. Но, спрашивается, доступна ли была подобная идея античному греку времени марафонской битвы? Конечно, нет. А между тем, если мы заставим себя видеть в Прометее только то, что могли видеть в нем древние греки, – если мы искусственно уменьшим этот образ, выраставший в продолжении многих столетий, то значительная доля прежней красоты и величия типа исчезнет в наших глазах, и, строго соблюдая букву литературно-исторической, объективной вероятности, мы, может быть, принесем ей в жертву внутренний смысл, живую душу произведения. Если понимать доступность идеи как возможность вполне ясно и сознательно формулировать ее в определенных философских терминах, то, конечно, современная идея протеста не могла быть доступна автору Прометея. В органическом, непроизвольном процессе творчества гений, помимо воли, *помимо сознания,* неожиданно для самого себя, приходит иногда к таким комбинациям чувств, образов и идей, глубину и значительность которых дано оценить только отдаленным поколениям читателей. В этом смысле поэт носит в своей груди не только прошлое, но и неизвестное будущее всего человечества. Весьма вероятно, что через несколько столетий другие поколения читателей найдут в Эсхиловом Прометее новое, еще недоступное нам, философское содержание, и они будут правы с своей точки зрения. Бессмертные образы мировой поэзии служат для человечества как бы просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое поколение подходит к ним, и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает новые миры, новые отдаленнейшие созвездия, незамеченные прежде, – зародыши неиспытанных ощущений, несознанных идей; эти звезды и раньше таились в глубине произведения, но только теперь они сделались доступными глазам людей и засияли вечным светом. Как бы ни были усовершенствованы способы исследования – анализ, критика, вкус, – всей глубины звездного неба исчерпать невозможно: будущее поколение снова пойдет к просвету и откроет в гениальном произведении новые миры, новые созвездия...

Итак, в спокойные, чуждые творческого возбуждения минуты автор может сам не подозревать глубины и величия своего произведения, подобно тому – если позволить себе это сравнение – как гениальный Колумб не подозревал громадности открытого им материка. Субъективная критика, именно потому что в ней есть сочувственное волнение, потому что она отражает живые впечатления читателя, в которых всегда до некоторой степени воспроизводится творческий процесс самого автора, может иногда открыть внутренний смысл произведения лучше и вернее, чем критика исключительно объективная, которая стремится только к бесстрастной исторической достоверности.

Как относился Сервантес к своему роману? Можно сказать с уверенностью, что он не сознавал его громадного значения. Вот что говорит об этом замечательный знаток испанской литературы Луи Виардо в статье, предпосланной французскому переводу " Дон Кихота": "Стоит только обратить внимание на странные небрежности, противоречия, ошибки, которыми кишит первая часть романа, чтобы найти в этом явное доказательство, что автор начал свое произведение в минуту дурного расположения духа, бутады, без определенного плана, отдавая перо в полную власть капризному воображению, будучи романистом по природе, не приписывая никакой серьезной важности своей книге, величия которой он, по-видимому, не по-

нимал". В самом деле, в ней есть поразительные оплошности, которые возможны только при самом пренебрежительном отношении к собственному труду. Вот одна из них: Сервантес подробно рассказывает, как освобожденный Дон Кихотом каторжник Гинес Пассамон ночью украл осла у Санчо Пансы, как последний огорчался по этому поводу и оплакивал своего верного спутника. Через несколько глав осел снова появляется, причем автор не дает никаких объяснений: очевидно, он просто забыл о краже осла, описанной в предшествующих главах. Такие небрежности попадаются нередко и во второй части, которая, в общем, написана более тщательно. Сервантес заставляет самого Дон Кихота вступать в полемику с Авелланедой, автором апокрифического продолжения "Дон Кихота". В качестве одного из доказательств, что противник его не имеет понятия о содержании романа, Сервантес замечает устами героя: Авелланеда "утверждает, что имя жены оруженосца Санчо Панса – Мария Гутьеррец, тогда как на самом деле ее зовут Терезой Панса; тот, кто ошибается в такой существенной подробности, не может отвечать за правдивость всего рассказа". Но дело в том, что в этой "существенной подробности" ошибается вовсе не Авелланеда, а сам Мигуэль Сервантес: он забыл, что в первой части романа и даже в VII гл. второй, он назвал жену Санчо – Жуаной Гутьеррец. Оплошность мелкая, но чрезвычайно характерная, показывающая, как небрежно и невнимательно относился гениальный писатель к своему лучшему труду. Таких наивных несообразностей и непоследовательностей встречается в романе очень много, и они свидетельствуют о том, как небрежно, почти эскизно создавались, конечно, не основные положения, а второстепенные детали великого произведения.

В предисловии к роману Сервантес называет историю Дон Кихота – "легендой сухой, как тростник, бедной по замыслу и языку, лишенной остроумия и эрудиции, без примечаний на полях и комментариев в конце книги". Конечно, здесь есть некоторое преувеличение, некоторое "унижение паче гордости", но все-таки нельзя не заметить по общему тону предисловия, что Сервантес, выпуская в свет "Дон Кихота", гораздо больше опасался за него и меньше рассчитывал на успех, чем издавая другие сочинения. Во второй части, в то время, когда книга доставила уже автору громкую европейскую славу, Сервантес дает более благоприятный отзыв о своем произведении, но все-таки говорит так умеренно и скромно, как будто удивляется, что его "сухая, бедная легенда" могла иметь серьезный успех. Между прочим, устами одного ученого гуманиста, Самсона Карраско, он не без некоторого самодовольства замечает, что книга его особенно распространена в "прихожих знатных лиц", среди лакеев и пажей: «нет ни одной передней вельможи, где бы вы не нашли экземпляра "Дон Кихота"; один оставляет, другой тотчас же принимается за него; этот требует, тот уносит его с собой». Сервантес с трогательной наивностью, которая встречается только у очень больших, бессознательно-гениальных художников, думает, что он оценил себя вполне справедливо, когда дает следующий отзыв о "Дон Кихоте": "история эта – самое приятное времяпрепровождение и наименее предосудительное изо всех других, так как во всей книге нельзя найти ни одного непристойного слова, ни одной мысли, которая не была бы вполне католической".

Автор до такой степени не понимал глубины и значительности бессмертного романа, что ставил гораздо выше свои посредственные стихи (напр., юношескую поэму "Галатея") и еще более посредственные комедии. Вот, между прочим, как

узко и поверхностно определяет он содержание "Дон Кихота", ограничивая его тенденциозным протестом против рыцарских романов: "У меня не было иного желания, как предать проклятию людей ложные и нелепые сказки о рыцарях, которые, будучи поражены на смерть правдивой повестью о моем Дон Кихоте, могут теперь только кое-как, спотыкаясь, продолжать свой путь, а в будущем, без всякого сомнения, падут окончательно". Вследствие подобных признаний автора, распространился взгляд на "Дон Кихота", как на остроумную сатиру, направленную против смешных и вредных сторон рыцарской литературы. Но что подобная рассудочная тенденция могла быть только второстепенным, побочным выводом, а никак не первоначальной, творческой идеей всего произведения, доказывается следующим фактом. В 1615 году были закончены обе части "Дон Кихота", а ровно через два года, в 1617 г., появилось произведение Сервантеса – "Персилес и Сигизмунда", написанное в неестественном и напыщенном стиле тех самых рыцарских романов, возможность которых была, по-видимому, уничтожена "Дон Кихотом". Здесь нет и помина о какой бы то ни было насмешке или пародии, напротив – это искреннее восторженное подражание образцам нелепой литературы, послужившей причиной сумасшествия бедного ламанчского гидальго. Сервантес почти стыдится гениального "Дон Кихота", говорит о нем скромно и робко, как о незначительном, шутливом произведении, – и тот же самый Сервантес объявляет с самодовольствием и гордостью, как об огромном литературном событии, о выходе в свет "Персилеса и Сигизмунды" – слабейшего из его произведений. Очевидно, что тенденция, которую общепринятое мнение считает идейным ядром "Дон Кихота", так поверхностна и недорога самому автору, так мало связана с бессознательной глубиной его творческого вдохновения, что левой рукой он без малейшего колебания восстановляет то, что старался разрушить правой. Очевидно, не сатира, не рыцарские романы, а нечто другое, чего сам автор не сознает и не видит, составляет источник смеха и трагизма, проникающих его книгу.

Иногда эта сознательная, внешняя тенденция, по своей ограниченности и даже бессердечию, диаметрально противоположна идее, которая теплится внутри, в тайниках произведения. Не только в испанской, но и во всемирной истории едва ли найдется явление более возмущающее душу, чем изгнание полутора миллионов морисков – самого лучшего, трудолюбивого населения Испании, совершившееся по одному мановению короля Филиппа III в 1610 году. Сервантес прославляет фанатика-короля за проявление неслыханного деспотизма и эту грубую, недостойную лесть влагает в уста одной из жертв несправедливости, одного из изгнанников-морисков. Сервантес называет это злодеяние "мудрой, великой политической мерой"; "героической решимостью короля", "удивительной предусмотрительностью". Автор, как плохой политик, старается оправдать деспотическую меру, а между тем бессознательный, органический процесс творчества приводит его, как художника (в тех главах, где описывается правление Санчо Пансы на острове Баратория), к сатире на власть.

Есть идеи, образы, великие для той эпохи, когда они родились, но мало-помалу теряющие свою жизненность, подверженные дряхлости и умиранию; они засыпаются наслоениями последующих цивилизаций и исчезают в них, как развалины древних городов в недрах земли. Есть другие образы, жизнь которых связана с жиз-

нью всего человечества; они поднимаются и растут вместе с ним – это не мертвые развалины, а вечно живые деревья, которые растут вместе с уровнем земли. Прометей, Дон Жуан, Фауст, Гамлет – образы эти сделались частью человеческого духа, с ним они живут и умрут только с ним. Дон Кихот принадлежит к таким спутникам человечества. Исчерпать его содержание невозможно, потому что он еще не закончен, он еще развивается вместе с нами, и уловить его нельзя, как собственную тень. В этом гениальном образе таится зародыш единственно возможного на земле бессмертия – бессмертия великой идеи.

Прежде чем перейти к личности Дон Кихота и Санчо Пансы, я скажу несколько слов о художественных приемах Сервантеса. При изображении человеческого мира гениальный поэт обладает всеми красками – от ярких эффектов до самых нежных полутонов. Но вместе с тем вас поражает в книге полное отсутствие природы, картин окружающей местности. На протяжении всего романа найдется не больше трех или четырех описаний, причем краски самые умеренные, почти скудные; по-видимому, природа мало привлекает автора. За очень редкими исключениями, он указывает на место действий двумя, тремя словами: "берег Эбро", "монтиелевская равнина", "ущелье в горном хребте Сьерра-Морена" – простое, точное определение местности, без всяких подробностей. Это отсутствие пейзажа поражает тем более, что кисть Сервантеса далеко не чужда миниатюрной живописи. Напротив, все, что относится к человеческому миру – внутренность домов, особенно наружность действующих лиц, костюм, пищу, он описывает с самыми мелкими подробностями, как истинный колорист, так что интимный, домашний быт Испании XVII века воскресает перед нами с изумительной полнотой и точностью. Сервантес не забывает сообщить нам, какого цвета были занавески на окнах гостиницы и какие именно фигуры были на них изображены; он описывает наружность, покрой платья, качество материи, упряжь на коне случайного спутника, который попался Дон Кихоту на большой дороге. Он не пропустит ни одной детали в той сцене, где Санчо в обществе веселых капуцинов с блаженством прикладывается губами к громадному меху с вином, уплетает ломти пшеничного хлеба и козьего сыра, облизывая бумагу, в которую они были завернуты. Длинная, костлявая фигура Дон Кихота, в комическом вооружении, на благородном Россинанте и Санчо с толстым животом и тонкими ногами на добродушном осле возникают перед глазами так живо, как будто мы читали не роман, а долго смотрели на яркую картину.

При этой силе пластической изобразительности еще более поражает отсутствие пейзажа. Для Сервантеса природа не существует сама по себе, как нечто живое и близкое сердцу, какой она кажется Шекспиру, Байрону, Гете, Шелли – северным художникам-пантеистам, проникнутым мистическим поклонением тайне мира. Это поклонение является лишь тогда, когда замкнутые формы религиозного чувства, обращенного к Богу, разрушаются скептицизмом, – их мистическое содержание, как влага из разбитого сосуда, проливается на мир и к природе направляется тот молитвенный экстаз, с которым прежде поэт обращался к Богу-Отцу. Сервантес – преданный сын римско-католической церкви; благочестие его заключено в определенные, ограниченные формы ортодоксальных догматов и ни одна капля религиозного чувства не пролилась на природу, не воскресила ее для художника, не показала вечной тайны за призрачной декорацией неба, земли, моря и гор. Вот почему

гений Сервантеса чуждается всего туманного, незаконченного, неясного. Представитель романского духа, он озаряет мельчайшие подробности человеческой жизни спокойным, теплым, прозрачным светом, как южное солнце на фоне голубого неба вырезывает тончайший архитектурный рисунок мраморного здания.

В "Дон Кихоте" нет, собственно, никакой интриги, узла последовательно развивающегося действия; есть одно основное, почти неизменное с начала до конца драмы положение, необыкновенно сильное по своей идее, и на эту громадную ось романа нанизываются едва уловимые мелочи жизни. Вот почему содержание "Дон Кихота" рассказать почти невозможно, как нельзя рассказать вполне правдиво серые будни какого-нибудь действительно жившего, невыдуманного лица. Жизнь наша главным образом состоит вовсе не из тех драматических перипетий, которые обыкновенно романисты делают канвой своих произведений, а из целого ряда тусклых мелочей. Эти-то мелочи Сервантес умеет передавать с неподражаемым реализмом и вместе с тем он делает их значительными, благодаря тому, что в них просвечивает одна и та же идея.

С одинаковой любовью описывает он широкие гомерические сцены правления Санчо на острове Баратория и все подробности его диалога с хозяином таверны по поводу бараньей ноги, зажаренной к ужину, – эпизод смерти Дон Кихота, изумительный по своему трагизму, по евангельской простоте рассказа, и огорчение бедного рыцаря по поводу того, что у него оторвались пуговицы от чулок. Там, где нужно, резец Сервантеса высекает изваяния в цельной, каменной глыбе, но это не мешает ему останавливаться на отделке мелких подробностей, изящных, миниатюрных камней.

II

Ламанчский гидальго – мелкопоместный испанский дворянин. Каждый день суп с капустой, чаще баранина, чем говядина, на жаркое; вечером – винегрет; по воскресеньям голубь, в виде лишнего блюда поглощали три четверти его скромного дохода. Остальное уходило на обувь и платье из тонкого сукна. Охота и чтение были единственными занятиями, которые могли наполнить скучный деревенский досуг тогдашнего захолустного дворянина. Дон Кихот увлекается книгами. "В минуты праздности, т.е. приблизительно в продолжение целого года, он предавался чтению рыцарских книг с таким удовольствием и постоянством, что почти окончательно бросил охоту и управление имуществом". Не факт, а вымысел, не действительность, а литература, не жизнь, а книга сделались точкой отправления, главной причиной его смешного героизма, безумных, никому ненужных подвигов и трагической гибели.

Конечно, многое из деятельности Дон Кихота надо отнести прямо на счет умственного расстройства. Но мы не имеем права все проявления его характера сводить к помешательству. Иначе тип Сервантеса превращается в грубую и бесцельную карикатуру, его горькая сатира – в издевательство над несчастным больным человеком. Чтобы могло сохраниться какое-нибудь эстетическое впечатление, сумасшествие должно быть отнюдь не главным и существенным, а только второстепенным фактором в развитии характера.

Дон Кихот вмещает в себе весь энциклопедический круг образованности своего века. Он знаком с космографией Птоломея, с естественной историей Плиния, объясняет Санчо, как настоящий гуманист, филологические тонкости словопроизводства, цитирует юридические трактаты и постановления отцов церкви, Цицерона, Виргилия, Горация и других античных писателей, постоянно иллюстрирует свою речь ссылками на древнюю и новую историю, обладает познаниями по военным наукам. По количеству и разнообразию знаний ламанчский рыцарь – вполне типический представитель современного ему общества. Все горе тогдашней образованности заключается в том, что она является системой мертвой, схоластической: в ней нет самого живого и плодотворного элемента науки – начала опыта, скептического исследования, критики. Авторитет, все равно чей – Библии или Аристотеля, Вселенских соборов или Аверроэса, но, во всяком случае, *авторитет*, т.е. чуждая науке, внешняя власть, исключает всякую самостоятельность и свободу мысли, требует бесконтрольного *подчинения* и послушания. Дон Кихот, как истинный представитель схоластической образованности, безгранично подчиняется незыблемому и священному для него авторитету рыцарских книг. Он прежде всего дитя своего века – и выше книжной истины для него не существует ничего в мире: малейшее сомнение в правдивости излюбленных им фантастических романов он считает кощунством, преступлением. В этой области всякое проявление скептицизма превращает добродушного мечтателя в озлобленного, яростного фанатика. Ноты инквизиционного судилища звучат в его речи, обращенной к неосторожному вольнодумцу, который при нем осмелился высказать сомнение в реальном существовании Амадиса Галльского: "Человек, дерзнувший, как ваша милость, кощунственно отзываться о вещи, *всеми признанной*, заслуживает того самого наказания, которому вы желали бы подвергнуть непонравившиеся вам книги *(т.е. сожжения на костре)*. В самом деле, утверждать, что Амадиса, так же, как и других рыцарей, о которых ходит столько легенд, никогда не было, – это все равно, что утверждать, что солнце не греет, лед не охлаждает, земля не поддерживает". В рыцарях он видит "вполне законченный и совершенный образец добродетели даже для будущих поколений". "Амадис был полюсом, звездою и солнцем храбрых и влюбленных рыцарей; все, кто только записался в рекруты под знамя любви и рыцарства, *должны подражать ему*". Подобно тому как высшим научным принципом Дон Кихот считает авторитет книг, так величайшее нравственное правило он усматривает *в подражании*. К подражанию чужому мертвому образцу – какому-то Амадису Галльскому, жившему за несколько столетий, сводится для него вся практическая мораль. Подчиненность ума, подчиненность совести – вот что он считает необходимым условием добродетели.

До какого абсурда доходит это рабское подражание книжному идеалу, видно, между прочим, из тех нелепостей, которые Дон Кихот проделывает в ущелье Сьерра-Морены. Он притворяется перед самим собою умирающим от любви к Дульцинее только потому, что среди странствующих рыцарей принято умирать от любви. С добросовестным упрямством и педантизмом настоящего схоластика он подражает до мельчайших подробностей эксцентричным проявлениям безумной страсти и отчаяния, о которых он вычитал в рыцарских книгах. Когда Дон Кихот, голый, прыгает, кувыркается на острых камнях и наконец становится вверх ногами перед изумленным Санчо, он, как истинный теоретик и педант, заботится только о том,

как бы ни на одну йоту не отступить от сумасшедших выходок влюбленного Амадиса. Любовь тут, конечно, не при чем.

Дон Кихот, несмотря на то, что автор поместил действие романа на рубеж новой истории, всецело принадлежит старым началам. Слепая вера вместо свободного исследования, подражание вместо оригинальности, и подчинение внешнему авторитету вместо самостоятельной мысли, – вот характерные черты средневековой культуры. Отнюдь не будучи невеждой или глупцом, Дон Кихот не находит в этой схоластической системе ничего, что могло бы предохранить его от смешной, ребяческой веры в рыцарские сказки.

По умственному развитию Дон Кихот не поднимается выше среднего уровня, но зато по нравственным качествам он стоит неизмеримо выше окружающих. Весь глубокий смысл сатиры Сервантеса заключается в том, что нравственное превосходство Дон Кихота пропадает бесследно, без малейшей радости для людей, обращается в проклятие для него самого только потому, что оно не соответствует степени умственного развития героя. Он достаточно добр, но мертвая схоластика не может указать пути и цели его самоотвержению.

Дон Кихот защищает мальчика от побоев жестокого хозяина. Но едва рыцарь успел повернуть спину, как крестьянин уже бьет несчастного работника вдвое сильнее, во-первых за прежнюю вину, во-вторых – за обиду, которую нанес Дон Кихот ему, хозяину. Этот эпизод Сервантес заключает ироническими словами: "И вот как мужественный Дон Кихот восстановил поруганную справедливость". Через некоторое время мальчик, избитый до полусмерти по милости самоотверженного рыцаря, встречается с Дон Кихотом и высказывает мнимому благодетелю следующие горькие истины: "Ради самого Создателя, ваша светлость, если мы с вами встретимся в другой раз, не вздумайте снова за меня заступаться, даже если меня будут четвертовать. Сделайте одолжение, оставьте меня в покое. Мои несчастия, как бы они ни были велики, не могут идти в сравнение с теми, которые мне угрожают от заступничества вашей светлости. Я прошу Бога, чтобы Он наказал вас, а вместе с вами всех вообще странствующих рыцарей, которых я от души проклинаю". С такими же упреками обращается к Дон Кихоту бакалавр, искалеченный по вине героического заступника угнетенных. "Мое призвание – ораторствует Дон Кихот, – заключается в том, чтобы странствовать по земле, восстановляя правду и мстя за обиды". – "Я не знаю, что вы разумеете под восстановлением правды, так как из прямого, каким я до сих пор был, вы сделали меня кривым и хромым. Вы видите – по вашей милости я валяюсь здесь со сломанной ногой, и она уже никогда не выпрямится. Мстя за обиду, вы обидели меня жестоко и непоправимо; со мной, конечно, не могло случиться худшего приключения, чем то, что я встретил вас, искателя приключений".

Отсутствие разумности в самопожертвовании Дон Кихота влияет не только на практические результаты его деятельности. Любовь его к людям – смесь глубокого доброго чувства с мелочным тщеславием и суетностью. Вот как определяет Сервантес мотивы, побудившие Дон Кихота сделаться странствующим рыцарем: "Ему казалось полезным и необходимым столь же *для блеска собственной славы,* как и для блага отечества, принять посвящение в странствующие рыцари". Он решает отправиться по миру, восстановляя правду, мстя за обиды и "преодолевая опасности, *чтобы приобрести бессмертную славу*. Бедный мечтатель, он уже представлял

себе, как его сила и отвага будут увенчаны, по крайней мере, короной Трапезондской империи". На монтиелевской равнине, приветствуя зарю первого дня своих странствований и оглядывая мысленным взором предстоящую деятельность, он думает гораздо больше об ожидающей его славе, чем о несчастных, которым намеревается помочь: "Счастливый год, счастливый век, когда впервые на свет дневной появятся мои знаменитые подвиги, достойные того, чтобы их вырезали на бронзе, изваяли в мраморе, изобразили красками, на вечную память грядущим векам". После одного из комических подвигов, Дон Кихот, проникнутый беспредельным самодовольством, восклицает: "Санчо, заклинаю тебя всем святым, скажи мне, видел ли ты на всей поверхности земли рыцаря более отважного, чем я?". "Я принадлежу к числу тех странствующих рыцарей, – восторгается Дон Кихот самим собою, – имена которых, несмотря на черную зависть, несмотря на всех магов Персии, браминов Индии, гимнософистов Эфиопии, будут начертаны в храме бессмертия, чтобы рыцари будущих веков могли в них видеть путь, ведущий к военной славе". В другом месте, перечисление всевозможных обязанностей странствующих рыцарей он заканчивает словами: "Вот, Санчо, средства, чтобы достигнуть славы". Конечно, не одно мелочное честолюбие было мотивом его деятельности: у ламанчского рыцаря очень много горячей преданности делу, благородства и бескорыстия. Но полная умственная подчиненность, влияние мертвой образованности искажают не только результаты всех его положительных качеств, но и самую их природу.

Все миросозерцание Дон Кихота сводится к наивному, средневековому идеализму. Счастливый золотой век в прошлом. Настоящее печально и мрачно, будущее еще мрачнее. Для противодействия возрастающей власти тьмы Бог послал на землю странствующих рыцарей. Они и только они – больше чем священники, цари и поэты – сосуды божественной благодати. От них зависит спасение мира. Если центр вселенной – священная коллегия странствующих рыцарей, то центр самой этой коллегии – Дон Кихот, рыцарь ламанчский. О нем заботятся, из-за его спорят силы Неба и ада; добрые волшебники помогают ему, злые стремятся погубить. Судьбы всего человечества зависят от него одного. Он должен победить, потому что сам Бог руководит им. Веря в свою счастливую звезду. Дон Кихот смотрит совершенно безнадежно на судьбы истории и человечества. Здесь мы встречаемся с характерной чертой средних веков – мрачным взглядом на будущее мира.

Но у Дон Кихота есть одна черта новой культуры: он любит простую, первобытную жизнь среди природы, идеализирует быть простых людей, относясь пренебрежительно к благам цивилизации, считая ее злом. В этом отношении Дон Кихот – прототип и Жан-Жака Руссо и его новейших последователей. В его нападках на современную культуру, как на искажение естественного счастья, звучат уже первые ноты того протеста, представителем которого впоследствии явится великий философ XVIII века. Дон Кихот, вынужденный на продолжительное время отречься от сана странствующего рыцаря, решает сделаться пастухом, чтобы вести идиллическую жизнь среди природы: "как ты полагаешь, Санчо, не превратиться ли нам в пастухов, по крайней мере на время моего отречения? Я куплю несколько овец и все предметы, необходимые для пастушеского быта. Я буду называться пастухом Кишотицем, ты – Панцино, и мы будем бродить вместе по горам, лесам и долинам, то там, то здесь, распевая песни и элегии, утоляя жажду в кристальных ручьях и в глу-

боких реках. Дубы будут щедро предлагать нам сладкие и сочные плоды, лесные заросли – ложе и приют. Ивы будут давать тень, роза – благоухание, широкие равнины – ковер, испещренный тысячами цветов, воздух – чистое дыхание, луна и звезды – сладостный свет по ночам, песня – наслаждение, слезы – отраду, Аполлон – стихи, и любовь – сентиментальные размышления, которые, быть может, доставят нам славу и бессмертие не только в настоящее время, но и в будущих веках". Возвратившись в деревню перед самой болезнью, он не отказывается от мысли сделаться пастухом и наивно приглашает священника и Самсона Карраско к "добродетельной пасторальной профессии", изъявляя готовность немедленно же купить стадо овец, "достаточное, чтобы их назвали пастухами".

Дон Кихоты всех времен и народов бегут в наивную пастораль – к простым людям и первобытной жизни, от ненавистной им культуры, в которой усматривают главную причину своих неудач. Они не могут понять коренной своей ошибки. Нельзя сказать, чтобы человечеству недоставало любви, самоотвержения и веры. Мало ли Дон Кихотов. Они и верят, и любят, они жертвуют собою и ведут на смелые подвиги послушных оруженосцев Санчо Панса. Но будущее принадлежит не Дон Кихотам, а тем истинным героям, которые сумеют соединить чувство с разумом, веру с наукой, порыв любви со спокойным расчетом сил. До сих пор одни много знали, но слишком мало любили, другие много любили и слишком мало знали, но только тот, кто будет *много знать и много любить,* может сделать для человечества что-нибудь истинно прекрасное и великое.

III

Санчо – такой же полный и типичный представитель народа, как Дон Кихот – культурного общества. Его шутовство, его наивность, граничащая с глупостью, – только прозрачный покров, под которым таится поэтическое обобщение. Характер его отнюдь не исчерпывается одной добродушной глупостью, так же как характер Дон Кихота нельзя сводить исключительно к безумию. В первом случае, глупость – только сатира на главный недостаток народа: на бездействие, лень и неподвижность ума, подобно тому как сумасшествие ламанчского рыцаря – насмешка над недостатком средневековой культуры: над склонностью увлекаться слепой верой в авторитет до фанатизма, до потери здравого смысла. Санчо в философском смысле – такая же необходимая антитеза Дон Кихоту, как Мефистотель Фаусту: это вечная противоположность здравого смысла и увлечения, действительности и грезы, реализма и книжной отвлеченности. Вот почему смешной и простоватый Санчо, никогда не пользовавшийся благосклонным вниманием критики, на самом деле, как тип, нисколько не менее значителен и глубок, чем Дон Кихот. Культурный человек в своем увлечении, доходящем до подвижничества, крестьянин в здравом смысле, граничащем с практической мудростью, оба – трагические представители двух вечно разделенных и вечно тяготеющих друг к другу полусфер человеческого духа –идеализма и реализма.

На крестьянине Санчо гораздо яснее и резче, чем на рыцаре Дон Кихоте, отразился характер естественных условий его родной страны. Мягкий, солнечный пейзаж ламанчской равнины оставил на Санчо неизгладимый отпечаток. Он уживчив,

весел и добродушен. В нем нет и следа той мрачности и суровости, которые почти всегда чувствуются в темпераменте северных рас. По средневековой теории, он считает себя вилленом – существом низшим и подчиненным сравнительно с урожденными гидальго, но это сознание подчиненности очень поверхностно – оно его нисколько не принижает. Он не ропщет, не жалеет о том, что не родился дворянином: он чувствует себя независимым, держит голову высоко, говорит свободно и просто во дворцах знаменитых герцогов. Во время торжественного приема он обращается к великолепной дуэнье и просит ее позаботиться об его любимом осле, отвести в стойло и задать корму. Взбешенная дуэнья осыпает Санчо ругательствами: "Вы не получите от меня ничего, кроме фиги, грубый невежа!" – "Если этой фиге, – возражает крестьянин, нисколько не смущаясь, – столько же лет, как вашей милости, то, по крайней мере, она довольно перезрелая". Санчо – авантюрист по природе. Он отправляется в путь за Дон Кихотом не только из выгоды, но также из инстинктивной любви к цыганской жизни. Обладая беспечным южным темпераментом, Санчо понимает поэзию бродяжнического существования. Полу-эпикуреец и полу-нищий, он с восторгом отзывается о прелестях этой вольной, ленивой, страннической жизни: глотая потихоньку живительную влагу из громадного походного меха с вином, "он больше не помнил об обещаниях, данных ему господином, и смотрел не как на тяжелую обязанность, а как на истинное развлечение, на эти веселые поиски рыцарских приключений, как бы они ни были опасны". "Нет для человека ничего приятнее в мире, как быть честным оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений... Как весело подвергаться всевозможным случайностям, перебираясь через горы, проходя леса, влезая на скалы, посещая замки и останавливаясь на постоялых дворах, причем имеешь право не платить ни единого маравэди по счету, ни гроша даже черту в зубы!"

В характере Санчо, как я сказал, нет печати той суровой жестокости, которая почти всегда налагается на представителей северных наций тяжелым трудом, борьбой за существование: напротив, он слишком мягок и чувствителен, всегда бывает растроган до слез чужим горем и, несмотря на крайнюю бережливость, на любовь к деньгам, готов поделиться последним куском хлеба, последней копейкой с несчастным, просящим помощи. Сердце у него, по выражению Дон Кихота, как будто "из сахарного теста".

Он любит мягко спать, сладко есть: обожает музыку. Одна из обычных философских сентенций Санчо гласит: "Там, где музыка, не может быть ничего дурного". Он с нежностью, с непритворным милосердием, переходящим иногда в полусмешную, полутрогательную сантиментальность, относится не только к людям, но и ко всем вообще живым существам, ко всякому страданию. Он любит животных и жалеет их. Охоту считает жестокой и безнравственной забавой. "Как вельможи и короли, – искренно удивляется он, – могут находить удовольствие в том, чтобы убивать зверей, не причинивших им никакого зла". В отеческой привязанности Санчо к ослу, его верному спутнику и другу, несмотря на внешний комизм, есть много истинно доброго чувства. Разбойники украли его любимого Серяка, который для бедняги "дороже зеницы ока". После долгой разлуки они снова встречаются. «Санчо побежал к ослу, обнял его и сказал: "Ну, как здоровье твое, детище мое любимое, дорогой товарищ, сердце мое, ненаглядный ослик?" И с этими словами он целовал

и ласкал его, как будто тот был разумным существом. Осел молчал, не зная, что сказать, и принимал ласки и поцелуи Санчо, не отвечая ни слова». Санчо находится в смертельной опасности: ночью он вместе с ослом провалился в глубокое подземелье, что-то в роде колодца, откуда нет никакой возможности выбраться. Будучи убежден, что ему грозит голодная смерть, он делит с милым Серяком последний кусок хлеба: "Он отдал его ослу, которому хлеб понравился, и Санчо сказал ему, как будто животное могло его понять: "Когда есть хлеб, легче перенести горе".

У Санчо нет воинственного задора, условные средневековые понятия рыцарской чести мало развиты в крестьянине. Иногда он кажется трусом, но в большинстве случаев это не трусость, а просто врожденное добродушие, мягкость характера, которая заставляет его ненавидеть идеал военной славы, превозносимый Дон Кихотом: "Ваша милость, – обращается к нему Санчо в минуту откровенности, – человек я тихий, кроткий и миролюбивый, умею забывать обиды, потому что у меня есть жена, которую надо кормить, и дети, которых надо воспитывать. Да будет вашей милости известно, что нигде и ни в каком случае я не обнажу меча ни против виллена, ни против рыцаря, и что с этой минуты до дня второго пришествия я заранее прощаю все обиды, которые мне нанесли или нанесут, кем бы они ни были причинены – особой высокого или низкого звания, богачем или нищим, словом – не принимая в расчет ни сана, ни положения". Но естественная мягкость и миролюбие Санчо не имеют ничего общего с рабской забитостью и безответным смирением. Отвага и сознание собственного достоинства сразу обнаруживаются в нем, как только ему приходится защищать свои личные права, свою жизнь или собственность. Вот что он говорит человеку, осмелившемуся угрожать ему побоями: "Прежде чем ваша милость возбудит во мне гнев, я так сумею ударами доброй дубины усыпить вашу собственную злобу, что если она и проснется, то только в загробном мире. Все знают, что я не такой человек, чтобы позволить кому бы то ни было коснуться моего лица... Если даже кошка, которую запрут и потом рассердят, превращается во льва, то Бог знает во что могу превратиться я, человек!" Санчо с такою неожиданной отвагой защищает свою собственность – ослиную сбрую, что сам Дон Кихот, знаток и специалист в делах рыцарской чести, приходит в восторг: "Он даже счел его за храброго человека и решил в глубине души, при первом удобном случае, посвятить в рыцари, полагая, что рыцарский сан должен идти к нему, как нельзя лучше". – "По природе своей, – признается Санчо, – я люблю мир и терпеть не могу соваться в драки да в ссоры. Но, по правде сказать, когда дело дойдет до шкуры, я не посмотрю ни на какие права, ибо все законы, божеские и человеческие, позволяют каждому защищать себя от обиды". Соединение врожденной веселости южанина, любви к вольной бродячей жизни, мягкости, милосердия к людям и животным и вместе с тем собственного достоинства и отваги дает образ светлый и прекрасный, несмотря на весь внешний комизм. В комизме, может быть, заключается даже не препятствие, а одна из причин той невольной симпатии, с которой мы относимся к Санчо. Чем больше мы смеемся над ним, тем больше его любим.

Впрочем, Сервантес не думает скрывать от нас темных сторон своего типа. В Санчо можно уже проследить зародыш современного буржуа: он обожает деньги, собственность, до полного ослепления, до фанатизма. Если он мечтает о положении губернатора на острове, завоеванном Дон Кихотом, то не столько из честолюбия,

сколько из-за тех материальных выгод – доходов, которые, по представлению крестьянина, связаны с положением губернатора. "Что мне в том, если даже все мои вассалы будут неграми? Тем лучше! Я их сейчас упакую и отправлю в Испанию, где получу за них чистые денежки, а на эти деньги куплю себе какой-нибудь чин или должность, которые позволят мне провести весь остаток жизни без забот и печалей". – "Столько ты стоишь, сколько у тебя есть, и столько у тебя есть, сколько ты стоишь. В мире два рода людей и две партии – как говаривала одна из моих прабабушек – это партия имущих и неимущих, и она была на стороне имущих... Итак, я подаю голос за Камаша, за богатого Камаша, в чьих кастрюлях накипь состоит из гусей, кур, зайцев и кроликов. Что же касается до бедного Базиля, то у него на столе одна жидкая похлебка", – и Санчо презирает Базиля. Несмотря на это обожание денег, он остается честным и свободным, так как никогда не переходит за известную черту: его спасает от раболепного унижения своеобразная гордость – признак испанской крови. "Берегитесь, Санчо, – предупреждает его Самсон Карраско, – почести изменяют натуру людей: может быть, сделавшись губернатором, вы забудете родную мать?.. – "На это способны только ничтожные людишки, что родились под капустным листом, а не те, у которых на душе пальца с четыре старо-католического жира, как у меня", – отвечает Панса.

Санчо – еще более, чем Дон Кихот, – преданный сын римско-католической церкви. У них заходит спор, как лучше достигнуть славы – благочестием или военными подвигами. "Скажите-ка мне, что лучше: воскресить мертвого или убить великана?" – Ответ готов: конечно, воскресить мертвого. – "Ага, вот я и поймал вас. Итак, слава тех, которые воскрешают мертвых, исцеляют слепых, хромых и болящих, в чьих гробницах горят лампады, чьи раки с мощами переполнены молящимися, слава этих людей, говоря я, стоит больше для его века и для будущей жизни, чем известность, которую когда-либо приобретали или могут приобрести всевозможные языческие императоры или странствующие рыцари, сколько их ни есть в мире"... – "Какое же заключение, Санчо, ты выводишь из всего, что сказал?" – "А то, что мы поступили бы гораздо лучше, если бы постарались сделаться святыми. Мы скорее достигли бы той славы, к которой стремися... Две дюжины ударов монашеской плетью во время эпитимьи больше значат перед Господом, чем две тысячи ударов копьем, направленных против всевозможных великанов, вампиров и андриаков". Санчо обладает слишком беззаботным темпераментом, чтобы его религиозность переходила в фанатизм. В сущности, она довольно поверхностна – у нее нет глубоких мистических корней, как у сосредоточенной религиозности северных рас.

По своим политическим симпатиям Санчо искренний монархист и убежденный консерватор. Один из морисков, изгнанных Филиппом III, предлагает Санчо вступить с ним в тайный союз для отыскания спрятанного сокровища, обещая в награду несомненное обогащение. Крестьянин, несмотря на всю свою жадность к деньгам, отказывается наотрез: "Так как мне кажется, что я совершил бы измену, вступая в союз с врагами моего короля, то я не пойду за тобою, даже если бы ты не только обещал мне в будущем двести червонцев, но сейчас вынул из кармана и положил целых четыреста". На теоретическое положение Дон Кихота, что он, как рыцарь, обязан заступиться за каторжников, испытывающих на себе насилие государственной власти, Санчо возражает: "Справедливость, которая есть нечто иное,

как сам король, не может причинить ни насилия, ни обиды подобным людям". "Правда, что я немножко хитер, – определяет он сам себя, – и что в моей натуре есть-таки маленькое зернышко плутовства. Но все это скрывается и исчезает под широчайшим покровом моей простоты, которая вполне естественна и отнюдь не притворна. Если бы даже у меня не было другой заслуги, как то, что я верю искренно и твердо в Бога и в святые догматы римско-католической церкви и от всей души ненавижу жидов, и тогда историки обязаны отнестись ко мне благосклонно и отзываться обо мне милостиво в своих произведениях".

Санчо Панса обладает вполне цельным, законченным миросозерцанием, которое он выражает образными, иногда поразительно глубокими пословицами – в этих афоризмах воплощается живой ум народа. Его мудрость принадлежит, конечно, не ему одному – она вековое создание целой нации, но он до такой степени слился с этой мудростью, что почти невозможно провести разграничительную черту между его личным творчеством и миросозерцанием народа. Когда Санчо приводит какую-нибудь известную пословицу, это выходит у него естественно, непроизвольно и, кажется, что она принадлежит ему, что он только что ее выдумал. Когда же он действительно выдумывает какое-нибудь острое и меткое словцо, оно до такой степени живо, что кажется давно знакомой народной пословицей. Дон Кихот тщетно преследует эту непреодолимую любовь Санчо к поговоркам и прибауткам. Они раздражают мечтателя своей грубой простотой и силой, он сердится и проклинает болтливого оруженосца, но тот отвечает невозмутимо: "Одна только воля Господня может исцелить меня от этого недуга. Я знаю больше пословиц, чем книга, и у меня во рту такое множество их, когда я говорю, что они дерутся друг с дружкой, чтобы выйти наружу". – О, будь ты проклят Небом, Санчо! – восклицает Дон Кихот, – пусть пятьдесят тысяч чертей унесут тебя с твоими пословицами... Я знаю – благодаря им ты кончишь жизнь на виселице. Они заставят твоих вассалов отнять у тебя губернаторскую власть и произведут в государстве междоусобие и брань. Скажи на милость – где ты их находишь, неуч? и как ты умеешь ими пользоваться, дурак? Чтобы найти хоть одну пословицу и привести ее кстати, я тружусь и потею, как будто ворочаю камни", – "Ну, право же ваша милость изволит бранить меня из-за пустяков. Кой черт может мне помешать пользоваться моим же добром. Ведь у меня нет за душою никакого богатства, никакой земли, кроме пословиц".

Иногда этот с виду недалекий крестьянин обнаруживает в своих поговорках глубину мысли, достойную настоящего философа: "Горести созданы были не для животных, а для людей, а между тем, когда люди предаются им без меры, они превращаются в животных". – Санчо-поэт импровизирует что-то в роде маленькой лирической оды в честь бога сна, которому он так усердно поклоняется: "Пока я сплю, нет у меня ни страха, ни надежды, ни горя, ни радости. Да будет благословен тот, кто изобрел сон, – покров, который скрывает все человеческие мысли, пища, которая насыщает голодных, влага, которая утоляет жаждущих, огонь, который согревает озябших, прохлада, которая спасает от жгучего зноя, – словом, всемирная монета, на которую можно купить все, что угодно, и весы, на которых уравниваются император и пастух, мудрец и дурак". Санчо отлично понимает мимолетность всех земных благ и смотрит на сильных мира сего почти свысока, с добродушной ирони-

ей: "Для пташек полевых сам Господь Бог кормилец и повар... Четыре локтя грубого куэнского сукна куда лучше греют, чем четыре локтя тонкой сеговийской материи... Наследник царя после смерти, когда его кладут в могилу, идет по такой же узкой дорожке, как поденщик, а тело самого папы не займет на кладбище большего пространства земли, чем тело пономаря... Для того, чтобы войти в гроб, мы все делаемся маленькими, сжимаемся и ежимся, или, лучше сказать, нас делают маленькими, сжимают и ежат, не справляясь о том, нравится ли это нам, и потом – до свидания, доброй ночи!.." Вот почему, если Дон Кихот вздумает отнять у него, как у дурака, обещанный остров, Санчо примет это решение, как мудрец, и ни мало не огорчится – тем более, что он сильно сомневается, "не лучше ли быть земледельцем, чем царем". Когда он говорит о смерти, его речь достигает истинной поэзии и вдохновения, а черты трагической карикатуры, зловещего комизма "danse macabre", придают его словам особенную силу. "У этой дамы (т.е. у Смерти), видите ли, больше могущества, чем вежливости. Она никогда не делает брезгливой гримаски: пожирает все, пользуется всем и наполняет свой мешок людьми всевозможных возрастов, чинов и профессий. Это жница – не знающая отдыха, которая режет и косит в каждый час дня и ночи траву, зеленую и сухую. Кажется, что она не пережевывает куски, а глотает целиком все, что видит перед собою; у нее волчий голод, который ничем и никогда не может насытиться. И хотя у нее нет живота, она страдает водянкой и, чтобы утолить жажду, готова выпить сразу жизнь всех существ, как выпивают горшок холодной воды!"

Здравый ум Санчо ясно обнаруживается в сценах его кратковременного правления на острове Баратория. Если в некоторых случаях он кажется наивным, простоватым до глупости, то это происходит вовсе не от врожденного недостатка ума, а от лени и неподвижности, от той же привычки подчиняться внешнему авторитету, которая губит и самого Дон Кихота. Санчо просто не привык думать на свой собственный страх – он прячется за спину рыцаря, которому верит так же безгранично и слепо, как тот верит своим нелепым романам. Но в роли губернатора ему поневоле приходится отказаться от обычной лени и умственной подчиненности и действовать самостоятельно. И как только в нем пробуждается энергия, его ум и дарования обнаруживают недюжинную силу.

Когда Санчо входит во дворец, мажордом, как будто случайно, а на самом деле, чтобы польстить ему, называет его "доном Санчо Панса", но крестьянин возражает придворному: "Кого здесь называют доном Санчо Панса?" – Вашу светлость, конечно, так как никакой другой Панса не садился на это кресло. – "Ну, так знайте, друг мой, что я не обладаю титулом дона и никто из моей фамилии не носил его. Меня зовут попросту Санчо Панса. Санчо – назывался мой отец и Санчо было имя моего деда, и все были Панса, без всяких донов или каких-либо других приставок. Полагаю, что на этом острове должно быть больше донов, чем камней. Но пока довольно. Бог даст, поживем, увидим, – и, если только правительство будет у меня в руках дня четыре, может быть, я, как плевелы, искореню всех этих донов, которых так много развелось, что они больше надоедают, чем комары и москиты". Освободившись от опеки, Санчо обнаруживает столько милосердия и мудрости, здравого смысла и остроумия в делах правления, что подданные не могут придти в себя от изумления. Против Санчо целый заговор, чтобы его осмеять и поставить в глупое

положение, но благодаря спокойному чувству собственного достоинства и такту он выходит полным победителем из борьбы. "Подданные считали своего правителя новым Соломоном". "Государственные меры Санчо, – замечает Сервантес, – были так хороши, что законы его до сих пор действуют в той стране, где их называют "постановлениями великого правителя Санчо Панса". Та сцена, где с простотой и равнодушием истинного мудреца он покидает опротивевшую ему власть, – не что иное, как настоящий апофеоз народного духа и народной правды. Санчо окончательно решил уйти из дворца, где ему душно от лицемерия и лжи. "Он пошел в конюшню, куда за ним отправились все присутствующие. Приблизившись к Серяку, он обнял его, тихонько поцеловал в лоб и проговорил со слезами на глазах: "Здравствуй, мой милый товарищ, верный друг, который делил все мои печали и беды. Когда я жил вместе с тобою, счастливы были мои часы, мои дни и годы. Но с тех пор, как мы расстались и я пошел по дороге тщеславия и суетности, душу мне терзают тысячи страданий, тысячи несчастий и четыре тысячи забот". Санчо взнуздал Серяка, сел на него и произнес, среди глубокого молчания придворных и толпы граждан: "Расступитесь и дайте мне вернуться к моей прежней свободе! Я хочу снова начать мою старую жизнь, чтобы воскреснуть от этой смерти... Мне слаще утолять голод луковой похлебкой, чем слушаться негодяя лейб-медика, который хочет извести меня голодом. Мне отрадней летом спать под тенью дуба, зимой покрываться овчиной, но сохранить за то полную свободу, чем с вечной заботой о государстве ложиться на простыни из голландского полотна и одеваться в горностай. Итак – доброй ночи, господа! Я прошу вас доложить герцогу, моему повелителю, что я наг родился и наг умру; и ничего не выиграл, и ничего не потерял. Ни копейки у меня не было за душой, когда я принимал это государство, и вот теперь, когда я оставляю его, у меня нет ни гроша. Расступитесь же и дайте мне дорогу!" Придворные просят его остаться. "Поздно, – отвечает Санчо, – я принадлежу к фамилии Панса, которые упрямы, как черти. Если раз они сказали "нет" – то уж поставят на своем, не смотря ни на что в мире". Его спрашивают, не надо ли ему чего-нибудь для путешествия. Санчо просит дать немного овса для Серяка и пол-сыра с хлебом для себя: дорога небольшая – ему ничего больше не надо. "Все обнимали его, и он обнимал всех со слезами, и граждане удивлялись его мудрой и непоколебимой решимости". Полхлеба и пол-сыра – вот вся выгода, которую Санчо сумел извлечь из своего губернаторского сана. На возвратном пути он отдает эту единственную свою награду странствующим монахам, которые попросили у него милостыни, и, прекрасный в своей детской простоте, извиняется, "что больше у него нет ничего с собою".

IV

Между Санчо Панса и Дон Кихотом существует глубокая связь. Они сошлись тесно и дружески в силу общего закона, по которому в нравственном мире противоположности тяготеют друг к другу. Санчо хотя и смеется над своим барином, но втайне любит увлечения Дон Кихота, его способность отдаваться мечтам и поэзии – порывы, которые так противоположны и потому так интересны Санчо. Неисправимый романтик, Дон Кихот относится свысока к оруженосцу, но на самом деле любит и ценит его дерзкий юмор, неиссякаемое остроумие, положительный, практический ум –

те именно свойства, которых недостает рыцарю. Вот почему эти люди неразлучны, не могут жить друг без друга, и оба остаются верными взаимной привязанности до самой смерти. "Казалось, они вылиты в одной форме, – говорит Сервантес, – так что безумные выходки господина без глупостей слуги не стоили бы ни гроша".

Конечно, мотивы, побуждающие Санчо следовать за полоумным рыцарем, не чужды корыстолюбия. "Дьявол, – признается он, – постоянно тычет мне в глаза то здесь, то там, то с левой, то с правой стороны, толстый мешок с дублонами, так что я не могу сделать шага, чтобы мне не казалось, что вот я трогаю их пальцами, беру в руки, уношу домой, покупаю имущество, получаю доходы и живу как царь. В те минуты, видите ли, когда я об этом думаю, мне кажутся ничтожными все беды, которые приходится терпеть с моим полоумным барином, больше похожим, как я твердо в этом убежден, на сумасшедшего, чем на рыцаря".

Но корыстолюбие только один из второстепенных и, в сущности, неглубоких мотивов его верной службы. У Санчо очень много бескорыстной преданности и любви к Дон Кихоту. Как-то однажды оруженосцу случилось попросить у рыцаря определенного жалованья за службу. Дон Кихот отказывает ввиду того, что древний обычай запрещает странствующим рыцарям назначать жалованье оруженосцам. Санчо огорчен. Его господин оскорблен недоверием слуги: "Ну, что же, так как Санчо не удостоивает следовать за мною, мне придется воспользоваться первым попавшимся оруженосцем". – Нет, нет, я удостоиваю, – воскликнул Санчо, тронутый, со слезами на глазах, – слава Богу, я не принадлежу к племени неблагодарных. Известно всему миру, в особенности же моим односельчанам, каковы были те Панса, от которых я происхожу". Он признается, что злополучную мысль о жалованье ему внушила его упрямая баба, которая, "уж если заберет себе что-нибудь в голову, хватает человека за горло так крепко, как клещи, которыми укрепляют обручи на бочках". "В конце концов, – заключает Сервантес, – Дон Кихот и Санчо обнялись и остались по-прежнему добрыми друзьями". Когда оруженосец отправляется на свой губернаторский пост и приятелям приходится расстаться, они искренно горюют. "Господин благословил слугу со слезами на глазах, и Санчо принял это благословение с подавленными вздохами, как плачущий ребенок". Только что он уехал, Дон Кихот "почувствовал такую грусть по поводу его отъезда и своего одиночества, что, если бы он мог возвратить назад оруженосца и отнять у него губернаторское назначение, он наверное сделал бы это". Вот как в другом месте Санчо определяет свои отношения к Дон Кихоту: "В том-то и заключается мое горе и мои несчастия: я должен следовать за ним, против этого нельзя ничего возразить – мы земляки, я делил с ним хлеб, я его очень люблю, он благодарен, он подарил мне своих ослят, и, кроме того, я по природе своей верный человек. Итак, невозможно, чтобы нас разлучило что бы то ни было, разве только заступ да лопата, когда они приготовят нам постель в сырой земле".

Противоположные по характерам, они превосходно понимают друг друга. "У него голубиное сердце, – говорит Санчо про Дон Кихота, – он не умеет причинить зла никому, но всем делает доброе, и нет у него ни малейшего лукавства. Ребенок мог бы его уверить, что в двенадцать часов дня – глухая полночь. Вот за это-то простодушие я и люблю его, как зеницу ока, и не могу решиться покинуть, какие бы глупости он не делал".

Несмотря на то, что Дон Кихот искусственно старается сохранить перед мужиком-оруженосцем престиж гидальго и рыцаря, несмотря на то, что Санчо целует его руку и даже край одежды, – между ними все-таки существует полная равноправность. Дон Кихот пытается иногда казаться официальным и сухим, но это ему не удается, и он сейчас же, сам того не замечая, впадает в интимный тон дружеской беседы. "Санчо Панса, – характеризует Дон Кихот своего слугу, – один из самых замечательных оруженосцев, какие когда-либо были в услужении у странствующих рыцарей. В его беседе встречаются такие прелестные наивности, что чувствуешь и удовольствие, и недоумение, что он собственно такое – простак или остроумнейший человек в мире. У него бывают злые шутки, которые заставляют думать, что он хитер и тонок, бывают у него и глупейшие выходки, на которые способен только деревенский неуч. Сомневается он во всем и, однако, верит всему; когда я думаю, что вот-вот он погрузится в самую бездну нелепостей, он отпускает такие словечки, которые поднимают его выше небес. Словом, я не променял бы Санчо на другого оруженосца, если бы даже мне за него предложили целый город". Рыцарь очень вспыльчив: ему как-то раз случилось даже побить Санчо за одну из его слишком дерзких острот. Но, когда мгновенная вспышка гнева прошла, он искренно просит прощения у слуги: "Прости, Санчо. Ты человек разумный и поймешь, как трудно иногда удержать первые движения гнева".

До какой степени Санчо относится свободно к своему господину, как мало в нем рабского, лучше всего показывает та сцена, где он весьма энергично защищается от нападения Дон Кихота. Рыцаря уверили, что его возлюбленная Дульцинея будет только тогда освобождена от чар злых волшебников, когда Санчо получит три тысячи триста ударов розгами. Так как оруженосец нимало не расположен добровольно подвергнуться этому наказанию, Дон Кихот однажды, в глухую полночь, в то время как Санчо мирно спал, сделал на него неожиданное нападение и уже приготовлялся дать ему, по крайней мере, тысячи две розог, но тот, к счастию, вовремя проснулся. "Он выпрямился, прыгнул на своего барина, обнял его руками и дал ему такую подножку, что Дон Кихот во весь рост растянулся на земле. Потом придавил ему грудь правым коленом и, придерживая его руки своими руками, не давал ни двинуться, ни вздохнуть. Дон Кихот кричал ему задыхающимся голосом: "Как, предатель, ты смеешь бунтовать против твоего законного господина и повелителя! Ты нападаешь на того, кто дает тебе хлеб!" – "Я и не думаю бунтовать, – отвечает Санчо, – я только защищаю свою особу, над которой я сам полный господин. Пусть ваша милость обещает мне не трогать меня и пусть она откажется от намерения меня высечь; только в таком случае я отпущу вас и позволю встать". Зато какой порыв бесконечной преданности и любви чувствуется в простых словах Санчо, которыми он старается утешить умирающего Дон Кихота. Припав к изголовью своего бедного барина, он плачет, как ребенок, от сострадания и нежности: "Увы, увы! не умирайте, мой добрый господин, но последуйте моему совету и живите еще много, много лет, так как это величайшее безумие в мире, если человек, ни с того, ни с сего умирает, когда никто не думает его убивать, без всякого настоящего повода, от одной только скорби. Ну, не будьте же ленивым, вставайте-ка с постели и пойдем в поля, переодетые в пастухов, как мы это задумали. Может быть, за каким-нибудь кустиком мы найдем госпожу Дульцинею, освобожденную от чар волшебников, к

нашему величайшему удовольствию. Если же ваша милость умирает от горя по поводу испытанного поражения, свалите всю вину на меня – скажите, что вас сбросили на землю только потому, что я плохо оседлал Россинанта". Наивное утешение бедного Санчо ласково и глубоко. В словах его, несмотря на их крайнюю простоту, почти детскость, чувствуется материнское понимание слабостей любимого человека. Сколько тонкой душевной прелести в этом порыве: "свалите всю вину на меня".

В своей комической одиссее эти два друга, в сущности, пресчастливые люди. Чего им недостает? Они живут, как птицы, "даром Божьей пищи". Оба – настоящие дети по душевной чистоте и беспечности. Они так мало похожи на остальных людей. Вся их жизнь – уморительная шутка или трогательная поэма. В минуту смертельной опасности, которая, как все их приключения, впоследствии оказалась сущим вздором, они забавляются сказкой о влюбленной пастушке Торральве, напоминающей нашу сказку о белом бычке. Оба убеждены, что, быть может, через несколько часов им грозит смерть; Санчо еще за минуту перед тем готов был умереть от страха, сам неустрашимый Дон Кихот испытывал чувство весьма похожее на робость. И все это не мешает им забавляться ребяческой шуткой, они серьезно погружены в эту игру, горячатся, увлекаются спором по поводу сказки, выдуманной для трехлетних детей. Опасность, возможная смерть, весь мир забыты для интересного вопроса о том, сколько именно овец удалось перевезти Торральве через реку. Разумные люди смеются над ними, но отчего же им так нравится общество этих полоумных чудаков? В этой, по-видимому, нелепой жизни есть легкость, свобода, поэзия – все, чего так недостает людям в их серых, рабочих буднях. Беззаботные искатели приключений, любопытные странники, жадные ко всякой новизне, Дон Кихот и Санчо Панса вырвались из условных рамок жизни. Рыцарь превращает все, что видит перед собою, в мечту; оруженосец – в шутку, в забаву. Санчо требует только, чтобы жизнь была смешной, Дон Кихот – чтобы она была фантастической, но оба относятся к ней бескорыстно, т.е. более поэтически, чем все остальные лица романа. И вот почему серьезные люди, утомленные борьбой из-за насущных интересов, так смеются и так любят то несерьезное, что заключено в мечтаниях этих взрослых детей. Герцог и пастухи, монахи и кабатчики, гуманисты и крестьяне, меценаты и разбойники с большой дороги – люди самых разнообразных темпераментов, убеждений, слоев общества, – озлобленные, скучающие, – сходятся в инстинктивной симпатии к этой счастливой парочке беззаботных мечтателей: там, где они – смех и веселье. Все смотрят свысока на чудаков, шутят над ними, – и стараются быть поближе к ним, чтобы хоть на минуту согреться около этого смешного, милого счастья.

Тем не менее, под светлой оболочкой романа таится печальная ирония. Дон Кихот и Санчо Панса – чудаки, безумцы, бесполезные мечтатели, но разумнее ли их те, кто смеется над ними? Сервантес обнаруживает перед нами все ничтожество, бессердечность, лицемерие и вечную глупость людей. Чем занимаются просвещенный герцог и его супруга? Для потехи они стравили своего лакея, здоровенного парня, который одним пальцем может раздавить Дон Кихота, с полоумным, несчастным гидальго, как стравливают зверей. И вельможи тратят деньги, устраивают великолепный амфитеатр, сзывают гостей, чтобы смотреть на это зрелище. Скука доводит их до зверского бездушия. Кровавая потеха случайно не удалась:

бойцы разошлись, не искалечив друг друга. Все негодуют. Публика потеряла даром время. Массы крестьян оторвались от работ, прибежали из далеких деревень. "Большинство, – замечает Сервантес, – разошлось – разочарованное и с поникшей головой, видя, что бойцы, после такого долгого ожидания, не разорвали друг друга на части, подобно тому как маленькие мальчики удаляются печально с площади, когда приговоренный к казни уходит с эшафота, получив прощение от истца или судей".

В сцене смерти Дон Кихота Сервантес непосредственно от высочайшего пафоса переходит к самой беспощадной иронии. Дон Кихот еще не умер, он лежит в последней агонии. Весь дом в страшном беспорядке, "но тем не менее у племянницы был превосходный аппетит за обедом, экономка предлагала тосты, и Санчо тоже отлично проводил время, так как людям довольно получить какое-нибудь наследство, чтобы в сердце их смягчилось чувство скорби, которую должна бы причинять утрата близкого человека".

Крестьяне двух соседних деревень из-за какого-то вздора, который не стоит выеденного яйца, из-за ребяческой шутки, идут друг на друга войной. Дон Кихот становится между двумя готовыми к битве войсками. Он негодует и не в состоянии понять, как люди из-за подобных пустяков могут желать друг другу смерти. Он, которого считают сумасшедшим, вправе, в свою очередь, считать сумасшедшими этих людей. "Ваши милости, – поучает он, – обязаны по законам Божеским и человеческим сложить оружие".

В гостинице лакеи, вельможи, служанки, благородные дамы, чиновники, солдаты, агенты инквизиционного суда спорят, кричат, готовы перерезать друг друга из-за какого-то несчастного ослиного седла. "Вся гостиница была сплошным плачем, стоном, криком, с ужасами, беспорядком, несчастием, с ударами копий и палок, с затрещинами и подножками, с ранами и кровопролитием". Дон Кихот поднимается, громовым голосом заглушает крики, останавливает и успокаивает всех. У этого безумца оказалось больше здравого смысла, чем у разумных людей. "Клянусь именем Бога всемогущего, это позорно и чудовищно, что столько благородных гидальго, сколько их здесь собралось, готовятся перебить друг друга из-за такого́ ничтожного повода".

Сервантес, рассказывая различные шутки, проделанные над бедным гидальго при дворе одного вельможи, замечает ядовито и скорбно: "Кто знает, может быть, насмешники были так же безумны, как те, над которыми они смеялись, и герцог с герцогиней были меньше, чем на волос от явной глупости, так как они тратили столько усилий, чтобы вышутить двух глупцов".

Санчо Панса, изумляющий нас мудростью в роли правителя, разве это не насмешка над претензиями серьезных государственных мужей? "Каждый день видишь в мире новые удивительные вещи, – замечает Сервантес с иронической улыбкой, – шутки превращаются в серьезные дела и насмешники оказываются осмеянными".

Все эти здравомыслящие люди, которые смеются над Дон Кихотом и его оруженосцем, злы, бесчеловечны, самолюбивы и к тому же несчастны. В этом отношении они могут позавидовать осмеянным ими чудакам. Счастье досталось мечтателю, иллюзии которого граничат с безумием, и невежде, умственная апатия и лень

которого граничат с глупостью. Остальных действующих лиц романа преследует или скука, или несчастие. Горечь и ужас таятся под легкой, сияющей оболочкой этого гениального произведения: оно похоже на воды глубоких озер – на поверхности веселая зыбь, блеск, отражение смеющихся долин, солнца и неба, а там, под волнами, – мрак и бездонный омут.

Печатается по изданию: *Мережковский Д.* Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 393–407.

Рубен Дарио

ЛИТАНИЯ ГОСПОДИНУ НАШЕМУ ДОН КИХОТУ

Царь славных идальго, печальных властитель,
исполненный мощи сновидец-воитель,
увенчанный шлемом мечты золотым;
на свете никем еще не побежденный,
фантазии светлым щитом огражденный.
Ты сердцем – копьем необорным – храним.

Искатель, исполнен высокой тревоги,
герой освятивший земные дороги
своим неуемным стремленьем вперед –
на бой против ясности, прозы, расчета,
нелепых законов и глупости гнета,
обмана и правды, удач и невзгод…

Из рыцарей рыцарь, высоко взнесенный,
князь гордых, пэр пэров, барон непреклонный,
учитель, прими пожеланья мои
здоровья, ведь столько ты терпишь мучений
от рукоплесканий, от пренебрежений,
от всех воспеваний, от всех поздравлений,
от черни, влюбленной в оковы свои!

Боец, превзошедший победами древних!
Со славой свершений твоих повседневных
герои сказаний не выдержат спор…
Теперь ты выносишь словесные пытки,
почтовые марки, эстампы, открытки,
Тебя воспевает любительский хор…

Роланд, уносящийся сердцем за тенью!
Послушай поклонника чар Клавиленьо, –
Пегас мой летит, устремясь за тобой, –
послушай же строки моей литании,
рожденные здесь, в повседневной стихии
и в тайных глубинах, провиденных мной.

Молись за страдальцев, без жизни, без веры,
за нас, чьи мученья не ведают меры,
за тех, в ком огонь упованья потух
по воле пришельцев, чей голос обманчив,
что смехом встречают дух гордый Ла-Манчи.
Испанский высокий и пламенный дух…

Молись, чтобы лавры нам были целебны
и розою нас осенило волшебной,
так ora pro nobis[1], велик и высок
(лавровые рощи земли задрожали –
тебе Сехизмундо, твой брат по печали,
и Гамлет-страдалец вручают цветок…),

молись, гордый витязь, могучий и честный,
с душою бесстрашною, чистой, небесной,
за нас заступись и моленьям внемли:
устали мы, нас истомила забота –
нет жизни у нас, нет огня Дон Кихота.
Нет Санчо, нет Бога, небес и земли…

От тяжких обид и печалей великих,
от ницшевских сверхчеловеков, от диких
мелодий, от капель из разных аптек,
от всех эпидемий, и прений, и премий,
от всех академий
избавь нас навек!

От глупых, хвастливых,
от рыцарей лживых,
от тонких и звонких речений красивых,
от злого уродства,
что в жажде господства
смеется над всем, чем живет человек,
от яркого скотства
избавь нас навек!

---

[1] молись за нас (*лат.*).

Искатель, исполнен высокой тревоги,
герой, освятивший земные дороги
своим неуемным стремленьем вперед, –
на бой против ясности, прозы, расчета,
нелепых законов и глупости гнета,
обмана и правды, удач и невзгод…

Молись же за нас, всех печальных властитель,
исполненный мощи сновидец-воитель,
увенчанный шлемом четы золотым;
на свете никем еще не побежденный,
фантазии светлым щитом огражденный
и сердцем – копьем необорным – храним.

Перевод А. Старостина

Печатается по изданию: *Дарио Р.* Избранное. М., 1981. С. 96–98.

Вячеслав Иванов

КРИЗИС ИНДИВИДУАЛИЗМА

К трехвековой годовщине "Дон Кихота"

I

Триста лет исполнилось дивному творению Сервантеса. Триста лет странствует по свету Дон Кихот. Три века не увядает слава и не прекращается светлое мученичество одного из первых "героев нашего времени", – того, кто доныне плоть от плоти нашей и кость от костей наших.

Тургенев был поражен совпадением, оказавшимся хронологическою ошибкой. Он думал, что год появления первой части "Дон Кихота" был вместе годом первого издания Шекспирова "Гамлета". Мы знаем теперь, что трагедия вышла в свет, по-видимому, уже в 1602 году. Зато вся группа глубокомысленнейших созданий Шекспира ("Гамлет", "Макбет", "Лир") в их совокупности возвращает наше воспоминание как раз к эпохе обнародования Сервантесовой поэмы. Если нам нельзя непосредственно приобщить имя датского принца к юбилею ламанчского рыцаря, пусть этим именем будет Лир и Макбет. Весь сонм великих теней с нами, на знаменательной годовщине нового творчества.

Эти вечные типы человека глядят не только в вечность. Есть у них, разлученных от нас тремя столетиями, особенный, проникновенный взгляд и на нас. Есть у них и промеж себя взаимно обмененный взгляд таинственного постижения. Они поднялись из небытия под общим знаком. Их связывает между собою нечто пророчественно-общее.

Впервые во всемирной истории они явили духу запросы нового индивидуализма и лежащую в основе его трагическую антиномию. А через двести лет после них перестал быть только индивидуумом в плане наших земных восприятий – тот, чье творчество уже намечает исход (или возврат) из героического обособления в хоровую соборность духовной свободы, – зачинатель действ всенародных (Шиллер...). Сервантес, Шекспир, Шиллер – вот звездное сочетание на нашем горизонте: пусть разгадают знамение астрологи духа!

Но прежде всего пусть научатся живущие достойно, как встарь, поминать отшедших. Недаром же Вл. Соловьев наставлял нас ощутить и осмыслить живую связь нашу с отцами, – тайну отечества в аспекте единства и преемства. И будущая демократия поймет, что, как в древности, ее надежнейшею основой будет почитание тех, кто, став во времени "старшими", стали "большими" в силе (maiores, κρείττονες).

Если бы культ мертвых не был только тенью и бледным пережитком былой полноты религиозного сознания, то в этом году, обильном новыми всходами старинных засевов добра и зла, справляли бы мы не одни священные поминки. Над полем братской тризны сошлись бы в облаке неоплаканные тени Мукдена и Цусимы с героями Крыма... И если бы зодчие и ремесленники духа, отложив свои циркули и молоты, собрались на годовщину духа, – какие нимбы поднялись бы пред ними, какие лики!.. Но "вечная память" звучит нам, как удары молота, заколачивающего гроб, – не как первый колыбельный крик новорожденной силы, умножившей силу души соборной. "Кто не забыл, не отдает": но душа наша невместительна, и сердце тесно. Мы отроднились. Потому ли, что возомнили быть родоначальниками нового рода? Или просто потому, что вырождаемся?..

II

Трагедия "Гамлет" изображает непроизвольный протест своеначальной личности против внешнего, хотя и добровольно признанного, нравственного императива. В оценке вещей Гамлет по существу согласен с теми требованиями нравственного миропорядка, которые он как бы слышит непосредственно из уст внемирной справедливости, подземной Дики древних. Он не только различает зло от добра: кто видит яснее его, что мир во зле лежит? Но новая душа человечества, в его груди пустившая свой росток в старый мир, живет и движется уже не в той плоскости, в какой дотоле боролись на земле Ормузд и Ариман. Если бы он понял себя, то увидел бы, что не душа его "расколота", а раскололись в ней прежние скрижали с начертаниями заповедей старого действия. Месть насильственно возложена на него, как неудобоносимое бремя; не действие само по себе невыносимо ему в акте мести, а заповедь древнего действия. Он мучится муками рождения: новое действие хочет в нем родиться, и не может. Он изменяет себе: губит свой темный, несказавшийся порыв, и гибнет сам.

В каждой трагедии явно или затаенно присутствует дух богоборства (т.е. замены, в плане религиозного и вселенского самоопределения личности, отношений согласия и зависимости – отношениями противоборства). Не действенно, а в бессознательных и умопостигаемых глубинах своих Гамлет борется. Не с миром борется, а

с тенями, – с тенью любимого отца; в нем – с собою другим, с собою древним. Не может побороть теней, или своего же двойника, и обращается на себя, на свое истинное я, отступник себя самого, своя собственная жертва... Эллинский Орест также стоял на трагическом распутье и должен был выбирать между двумя правдами, или, если угодно, двумя неправдами: но обе были объективны. Не его Я преследовало его после решенного им выбора в образе Эринний, а дух матери, принесенной им в жертву за предпочтенного отца. Гамлет – жертва своего же Я.

Раньше категорический императив являлся в аспекте объективно-вселенском. Отныне он предстал духу в субъективно-вселенской своей ипостаси. Прежде человек знал, что должен поступать так, чтобы его действие совпадало с естественно желательной и им естественно признаваемой нормой всеобщего поведения: нравственность сводилась к заповеди: "как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними". Для новой души то же начало принимает уже иное обличие: действуй так, чтобы волевой мотив твоего действия совпадал с признаваемою тобою нормой всеобщего изволения. Только в таком (субъективном и волитивном) истолковании, при таком опосредствовании формальной этики психологическим моментом, заповедь долга может совпасть с заповедью любви ("люби ближнего своего, как самого себя"): ибо здесь речь идет уже не о внешней норме, но о норме волевого устремления, и, когда утверждается, как нечто желательное, тождество изволения, не предрешается действие, в котором оно долженствует воплотиться. Индивидуализму дан самою моралью царственный простор; личность провозглашена самоцелью, и провозглашены права каждой личности на значение самоцели. Служи духу, или твоему истинному Я в себе, с тою верностью, какой ты желал бы от каждого в его служении духу, в нем обитающему, – и пусть различествуют пути служения и формы его: дух дышит, где хочет.

Таковы правые основы индивидуализма, – правые, поскольку они еще в гармонии с началом вселенским. Но страшна свобода: где ручательство, что она не сделает освободившегося отступником от целого, и не заблудится ли он в пустыне своего отъединения? И Гамлет колеблется у поворота на неизведанный, неисхожденный путь и возвращается на путь старый и торный. За ним встанут другие, более смелые, и долго будут влачиться, блуждая и томясь духовною жаждой, по мрачной пустыне.

III

В противоположность Гамлету, Дон Кихот кажется олицетворением действенного пафоса соборности. Как Гамлет, он поборник начал нравственного миропорядка, затемненных и попираемых действительностью, но в формах борьбы раскольник и отщепенец. И он, как Гамлет, носитель своих скрижалей. Только не новые и еще не выступившие письмена силится он разобрать на них: нет, ясно начертаны в его сознании старые письмена, отвергнутые миром. По-видимому, не новое действие родится в нем, а старое воскресает. Но в бессознательной своей глубине и он несет росток новой души. Ново дерзновение противопоставить действительности истину своего мироутверждения. Если мир не таков, каким он должен быть, как постулат духа, – тем хуже для мира, да и нет вовсе такого мира. Дон Кихот не

принимает мира, подобно Ивану Карамазову: факт духа новый и дотоле неслыханный. Борется с миром на жизнь и на смерть – и вместе отрицает его. Чары волшебников обратили всю вселенную в одну иллюзию. Вначале герой прозревает колдовское наваждение только в отдельных несоответствиях искомого и обретаемого; потом кольцо чародейства почти смыкается вокруг одинокой души сплошною темницей обмана. Мир, уже весь целиком, одна злая мара. Но в плену темной волшбы жива неистребимая душа. Его Дульсинея существует воистину: что за дело, что красота несет искаженную личину призрачного вещества? Он осужден на рыцарство безнадежных поисков и безысходных странствий; но его рыцарство будет без страха и упрека.

Так, бунт против мира, впервые провозглашенный этим новым Прометеем "печального образа", наложил свои стигмы на многострадальную тень героя из Ламанчи. Отныне на знамени индивидуализма начертан тот вызов объективно-обязательной истине, то утверждение "нас возвышающего обмана", драгоценнейшего "тьмы низких истин", которым дышит еще своеобразная гносеология Ницше: истинно то, что "усиливает жизнь": всякая другая истина есть (т.е. "да будет") – ложь.

IV

В Макбете и Лире едва ли возможно найти черты, исключительно отличающие новую душу: те же типы и участи мыслимы и в человечестве древнем. Тем не менее обе трагические тени знаменательно сопутствуют Гамлету и Дон Кихоту, поскольку последние обозначают утверждение в поэтическом творчестве нового индивидуализма: они пророчески намечают его двойственное предопределение – исчерпать в духе весь трагизм голода и весь трагизм избытка.

Вина Макбета лежит в нецельности его узурпаторского самоутверждения. Он крадет победу, потому что не в силах объявить себя мерою вещей. Он бледнеет пред тенью своей жертвы, богоборец-вор. Напротив, в Лире индивидуализм обострен до последнего совлечения с автономного, своеначального индивидуума всех признаков, могущих оправдать его державное значение какою бы то ни было связью с началом соборным или общественным. Личность не только заявляет себя самовластной, но и желает быть таковою во всеобщем признании лишь в силу одной своей внутренней мощи. Преклонение других пред величием одного только тогда отвечает последним притязаниям этого одного, когда оно вполне бескорыстно и ничем внешним не обусловлено, ничем не ограничено в своей наружной свободе, кроме внутренней закономерности тяготения слабейшего к сильному. Глубочайший пафос Лира является в этом смысле апофеозом героической гордости.

Герой расточает, благодетельствуя, свои дары и силы, раздаривает всего себя до конечного обнищания и оскудения. Подобно заходящему солнцу, он хотел бы разбросать все свое золото, весь пурпур. Но в ответ его богоравной щедрости все долины должны закуриться перед ним благодарными алтарями. Люди хватают дары – и отвращаются от оскудевшего...

"Макбет" – трагедия голода и нищеты, "Лир" – изобилия и расточительности. Тот – планета, восхотевшая засветиться заемным светом: этот – солнце, истекаю-

щее всею своей божественной кровью, не вынесшее своего тяжелого золотого избытка. Эти два пафоса – два основных трагических мотива индивидуализма; им ответят в веках голод Байронова Каина и страдальный избыток "богача Заратустры", – богоборство обиды и богоборство исполнения.

V

Триста лет тому назад индивидуализм, расцветший уже с начала эпохи Возрождения, нашел в себе внутренние силы, чтобы создать глубокие и вечные типы новой души. Мы не забываем ни предшественников Шекспира, ни Боккачио и других, принадлежащих более ранней поре в летописях поэзии, представителей зачавшегося движения: но с такою глубиной и исчерпывающей полнотой индивидуализм еще не говорил о своих внутренних законах, с такою неподкупностью не очертил себе сам круг своей новой правды и не отграничил ее от неизбежной своей неправды – до появления типов, вспоминаемых нами в их трехвековую годовщину.

С тех пор все, что истинно властвовало над думами людей, было лишь новым раскрытием того же индивидуализма. В мире прошли тени Дон-Жуана, Фауста, нового Промефея, Вертера, Карла Моора, Ренэ, Манфреда, Чайльд-Гарольда, Лары – и стольких других, до новоявленного Заратустры. И индивидуализм не только не исчерпал своего пафоса, но притязает и в будущем стать последним словом наших исканий. В самом деле, разве свобода личности не понимается ныне в самом широком смысле, как венец общественности? Даже социализм стремится свести свой баланс при минимуме ее ограничения. Слово "анархия" приобретает магическую силу над умами. Этика ради индивидуализма испытывает с опасностью жизни крайние пределы своей растяжимости. Свобода творчества в принципе признана всеми. О религии мы хотим слышать только в сочетании ее с началом свободы, как вероисповедной, так и внутренней, мистической... И, несмотря на все это, какой-то перелом совершился в нашей душе, какой-то еще темный поворот к полюсу соборности...

Заратустра! Не в ницшеанском ли пророчествовании о Сверхчеловеке индивидуализм достиг своих заоблачных вершин и облекся в иератическое одеяние как бы религиозной безусловности? Мнится, вся языческая божественность сосредоточилась отныне в полновластном Я – этом вместилище, носителе, едином творце и владыке мира, новом подобии древнего великого Пана. "Все – Пан", говорило умирающее язычество: "все – Я", говорит индивидуализм, – "Я – Пан"... Но времена исполнились, и грезится, будто таинственный голос гор снова оплакивает "смерть великого Пана".

Умер гордый индивидуализм? Но никогда еще не проповедовалось верховенство личности с таким одушевлением, как в наши дни, никогда так ревниво не отстаивались права ее на глубочайшее, утонченнейшее самоутверждение... Именно глубина наша и утонченность наша кажутся симптомами истощения индивидуализма.

И умирающее язычество стояло за своих богов с тою ревностью, какой не знала беспечная пора, согретая их живым присутствием. Беспечны сыны чертога брачного... И умирающее язычество защищалось углублением и утончением первоначальной веры. Напрасно.

Индивидуализм "убил старого бога", и обожествил Сверхчеловека. Сверхчеловек убил в нас вкус к державному утверждению в себе человека. Мессианисты религиозные, мессианисты – общественники, мессианисты – богоборцы, – уже все мы равно живем хоровым духом и соборным упованием.

VI

Сверхчеловеческое – уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и даже религиозное. Сверхчеловек – Атлант, подпирающий небо, несущий на своих плечах тяготу мира. Еще не пришел он, а все мы уже давно понесли в духе тяготу мира и потеряли вкус к частному. Мы стали звездочетами вечности, а индивидуум живет свой век, не загадывая вперед, не перенося своего центра тяжести вовне себя...

Или же ловим мы бабочек – "миги", – любовники и пожиратели "мгновенностей". Былое эпикурейство говорило: "carpe diem", – "лови день". В погоне за мгновениями личность раздроблена и рассеяна. Цельный индивидуум сбирает золото своих полдней и жизнь отливает из них в тяжелый слиток; а наша жизнь разрежена в ткань мимолетных видений. Слиток дней полновесен и непроницаем; ткань мгновений просвечена потустороннею тайной.

Миг – брат вечности. Мгновение, как вечность, глядит взором глубины. Мы полюбили наклоняться над безднами и терять себя. Мгновение метафизично; в нем сверкает бабочка – Психея: наш индивидуализм стал бесплотным, – а подлинное самоутверждение идивидуума – воплощение. Он хочет попирать твердую землю, а не скользить над "прозрачностью".

Поистине мы только дифференцировались, и нашу дифференциацию принимаем за индивидуализм[1]. Но принцип дифференциации мы обратили и на самих себя. Наше Я превратилось в чистое становление, т.е. небытие. Поиски иного Я разрушили в нас неустанными преодолениями и отрицаниями всякое личное Я. Мы скорее священнослужители и тирсоносцы "во имя" индивидуализма, чем его субъекты. Вольно ли или невольно, мы только – служим. Например, в качестве "эстетов" – красоте, как чему-то владычному и повелительному, как некоему императиву. Мы любопытны, тревожны и – зрячи: индивидуализм имеет силу слепоты. Жадные, мы хотим "всем исполниться зараз": так далеки мы от пафоса индивидуализма, пафоса разборчивости, отвержения и односторонности.

---

[1] Именно принципу дифференциации, не истинного индивидуализма служит то гибридное возрождение штирнерианства (ошибочно смешивающее себя нередко с ницшеанством), которое, отметая соборность как императив и обоготворяя уединенное Я (den Einzigen), в то время зовет индивидуумы к общению социальной кооперации (напр. в классовой борьбе). Здесь дух атеизма (– не всякая атеистическая доктрина атеистична по духу –) является во всей мертвенной наготе своих притязаний – "устроиться без Бога" (непременно – "устроиться"!). Но как ни демонична закваска этого учения, она еще не создает той демонической психологии личности, которая характеризует цельный индивидуализм уединения.

VII

"Умчался век эпических поэм"... Еще Байрон мог писать поэмы все же эпические. Еще он был достаточно непосредствен, чтобы создать своего "Дон-Жуана". И наш Пушкин еще мог. Индивидуализм – аристократизм; но аристократия отжила. И прежде чем восторжествовать как общественный строй, демократия уже одержала победу над душой переходных поколений.

Ослабел аппетит к владению и владычеству, как таковому. Мы еще деспотичны; но этот атавизм старинных тиранов, больших или малых, прячется в нас от нас самих и сам себя отрицает своим вырождением и измельчанием. Едва ли мы годимся даже в Нероны; разве еще в Элагабалы, лжеслужители какого-нибудь Лжесолнца, чтоб изнывать в опостылевших негах, как тот вспоминающий свое "предсуществование" (le vie antérieure) герой Бодлера, или "император" Стефана Георге. И если есть среди нас сильные духом и истинные тираны, необходимо напечатлевается на них знак и образ "Великого Инквизитора"; но дух "Великого Инквизитора" уже не дух индивидуализма, а соборной солидарности.

"Умчался век эпических поэм", век Дон-Жуана, потому что ослабел аппетит к случайному и внешне-исключительному, ко всему, причудливо вырванному из общей связи явлений; и, как о том свидетельствует вся область поэтической фикции в широком смысле, ослабела любовь к приключению, к игре положений, к авантюризму an und für sich, к событию как contingence, – "die Lust zu fabuliren" в фантазии и действительности. Внешнеиндивидуальное в повествовании вытеснено типическим; лишь внутренне-индивидуальное занимает нас; но и оно – как материал, обогащающий наш совместный опыт, и его мы принимаем, обобщая, как нечто потенциально-типическое. Что бы мы ни пережили, нам нечего рассказать о себе лично: доверчивый челнок нашего эпоса должен быть поглощен Скиллой социологии или Харибдой психологии, одним из двух чудовищных желудков, назначенных отправлять функцию пищеварения в коллективном организме нашей теоретической и демократической культуры.

Индивидуализм Фауста и авантюризм Вильгельма Мейстера кончаются поворотом к общественной деятельности; и пафос личности, рыдающий в глубоких звуках девятой симфонии Бетховена, находит разрешение своей лихорадочной агонии томлений, вызовов, исканий, падений, обманутых надежд и конечных отречений – в торжестве соборности. Роптать ли нам, если всю кровь и весь сок наших переживаний сила вещей делает достоянием и опытом вселенским, и даже одинокий и неразделенный порыв наш учитывается круговою порукой жизни?.. Конечно, не закон жизни изменился, а мы прозрели на закон жизни: Но, раз прозрели, – уже не те, какими были в слепоте нашей. Индивидуализм – феномен субъективного сознания.

Умчался век эпоса: пусть же зачнется хоровой дифирамб. Горек наш запев: плач самоотрекающегося и еще не отрешенного духа. Кто не хочет петь хоровую песнь, пусть удалится из круга, закрыв лицо руками. Он может умереть; но жить отъединенным не сможет.

VIII

Индивидуализм, в своей современной, невольной и несознательной метаморфозе, усвояет черты соборности: знак, что в лаборатории жизни вырабатывается некоторый синтез личного начала и начала соборного. Мы угадываем символ этого синтеза в многозначительном и разнозначащем, влекущем и пугающем, провозглашаемом как разрешение и все же неопределенном, как загадка, слове: "анархия".

Не та анархия может притязать на значение этого синтеза, которая подставляет в социологический план жизни новые формы, оставляя в силе старые сущности (будь то функция власти при нейтрализации ее органов, или принцип обязательства, налагаемого участием в кооперации). Анархия, изначала связывающая свои пути и цели с планом внешнего общественного строительства, в самых корнях извращает свою идею. Социальный процесс может тяготеть и должен приближаться к пределу минимального ограничения личной свободы: анархическая идея по существу отрицает всякое ограничение.

Вас дух влечет, – громами брани
Колебля мира стройный плен,
Вещать, что нет живому грани,
Что древний бунт не одолен.

Истинная анархия есть безумие, разрешающее основную дилемму жизни; "сытость или свобода" – решительным избранием "свободы". Ее верные будут бежать довольства и питаться растертыми в руках колосьями не ими вспаханных полей, помогая работающим на одной ниве и насыщая свой голод на другой.

Анархия, если она не хочет извратиться, должна самоопределяться как факт в плане духа. На роду написано ей претерпение гонений; но сама она должна быть чиста от преследований и насилия. Ее истиннейшая область – область пророчественная: она соберет безумцев, не знающих имени, которое их связало и сблизило в общины таинственным сродством взаимно разделенного восторга и вещего соизволения. В таких общинах, которые будут как бы не от мира, чтобы преемственно продолжить древнюю войну с миром, приютится индивидуализм, не находящий себе места в мире.

Они зачнут новый дифирамб, и из нового хора (как было в дифирамбе древнем) выступит трагический герой. Ведь и трагизму суждено уйти прочь от мира. Отныне он чуждается явления, отвращается от обнаружения. Трагедия происходит в глубинах духа. Новый сонм старинной Мельпомены встает с устами страдальчески сжатыми, почти бездейственный, почти безмолвный. Нет исхода их титаническому порыву в ярой борьбе; в запечатленных сердцах совершается тайный рок...

IX

Не умирают боги иначе, как для воскресения; и преображенные смертию – воскресают. Воскреснет и великий Пан. И демоническое в индивидуализме, конечно, воскреснет в иные времена. Глубоко заложена в человеческой душе потребность фетишизма: как не проявиться ей и в будущем увенчании и обоготворении отдельного человека? Так, и в грядущем возможен и вероятен цельный и своеначальный

индивидуализм. Но он будет именно цельным и демоническим, – не разложенным тою примесью чувствования и попечения соборного, каким является он в его современном изнеможении.

Мы же стоим под знаком соборности, и не даром поминаем ныне Сервантеса и Шиллера. Мы были бы нецельны, как Макбет, и бессильны, как Лир, если бы еще мнили, что возможно для нас личное самоутверждение, вне его соподчинения вселенской правде, или иная свобода, кроме той, которая составляет служение Духу. Итак, будем утверждать вселенское изволение нашего Я тем глубоким несогласием и бестрепетным вызовом дурной и обманной действительности, с каким противостал ей Дон Кихот. Нам не к лицу демоническая маска; она смешнее, нежели шлем Мамбрина, на любом из нас, который только "Alonso el bueno". Сами созвездия сделали нас (русских в особенности) глубоко добрыми – в душе. Пример памятен: лютейший в речах из наших братьев, завещавший нам кодекс "имморализма" – "imitatio Caesaris Borgiae", – и ставший жертвой нового Сфинкса, который пришел загадать загадку сердцу, жертвой сострадания, как Иван Карамазов...

Печатается по изданию: *Иванов Вяч.* Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 831–840.

Федор Сологуб

МЕЧТА ДОН КИХОТА
(Айседора Дункан)

Мечту Дон Кихота воплотила Айседора Дункан. И оправдана милая, странная, смешная, для глупых детей мечта.

Рыцарский подвиг – служение красоте. Рыцарь выбирал даму, и во славу ее совершал подвиги. Выбирал даму, как выбирают галстуки: по своему вкусу. Посмотрит, одобрит, влюбится, может быть, – и едет геройствовать: выбрал даму. Знает, что его дама достаточно хороша, миловидна, обучена всем приличным знатной даме рукоделиям и даже грамоте. Вообще, такая дама, чье имя не стыдно назвать громко, перед сонмищем самых блестящих рыцарей.

Прекраснейшая из дам! Но кто же по праву единственная Прекрасная Дама?

В гордом замысле бедного Ламанчского рыцаря Прекраснейшая из дам – Дульцинея Тобосская.

Воистину прекраснейшая, потому что в ней красота не та, которая уже сотворена и уже закончена и уже клонится к упадку, в ней красота творимая и вечно поэтому живая.

Как истинный мудрец, Дон Кихот для творения красоты взял материал наименее обработанный и потому наиболее свободы оставляющий для творца. Альдонса – обыденное имя его Дульцинеи – простая крестьянская девица. Смазливая. Сильная. Веселая. Пахнет потом. Ничего себе девка для деревенского жениха. Бой-

ко спляшет на празднике. А выйдет замуж – хорошею будет хозяйкою, и нарожает здоровых, славных ребят.

Таково обычное, пошлое, Санчо-Пансовское восприятие действительности, сильная и прекрасная ирония, вдохновляющая всех прозаиков и точных наблюдателей. А восприятие Дон Кихота, лирическое понимание действительности, из этого грубого материала творить ценность неоцененную, сокровище непреходящее, то, чего нет, но что должно быть. То, что не сотворено во внешнем творении, но что творится поэтом.

Подвиг лирического поэта в том, чтобы сказать тусклой земной обычности сжигающее *нет*; поставить выше жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания форму; силою обаяния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас – смазливая, грубая девка, для меня – прекраснейшая из дам.

Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти.

Посылает верного своего Санчо Пансу, и говорит ему:

– Приветствуй Дульцинею, прекраснейшую из дев земных.

Иронически, точно-настроенный Санчо Панса видит только Альдонсу. Тем хуже для него. Грубы его чувства, и за пеленою тусклой обычности не различают возможностей и обетований великой красоты. Надлежит ему преобразиться, пройти длинный путь культуры, истончить свои восприятия, – и тогда приблизится он к своему господину, и поверит в обетованную Дульцинею.

И говорит Альдонсе:

– Тебя глупые зовут Альдонсою, но ты должна взойти на те высоты, где я приготовил тебе место. Знай, что ты – Дульцинея, прекраснейшая из земных дев.

Не верит, хохочет, грубо скалит зверино-крепкие, белые зубы. Влачит ярмо обыденности и умирает. И возникает снова Альдонса, но уже отравленная ядом высокого внушения. И не верит, и смеется над высокою мечтою, смеется над бедным своим рыцарем, смеется и плачет, и умирает, до конца пройдя пути обычности, иронии, точного ведения, тупой покорности. И возникает опять, – и сильнее, и слаще яд высокого внушения.

Бедная, грубая, смазливая, сильная, хорошо работающая, прельщающая нехитрыми соблазнами нехитрого жениха, угождающая довольному судьбою мужу, плодящая ребят, – все чаще, все слаще мечтать о высоком счастии, о высоком подвиге.

– Хочу быть Дульцинеею.

И возникает наконец дерзновенная Айседора Дункан, и являет миру высокое и обольстительное зрелище творимой красоты.

Творимой из чего?

Лицо очень милое, но вовсе не красивое. Обаятельное лицо милой деревенской Альдонсы, побывавшей долго в городах, вкусившей городской несложной мудрости. Вот на губах полугородская, жеманная, милая улыбка. Вот зовущий и простодушный взор. Вот золотые звуки голоса, уже немного отвыкшего от гулких полевых просторов.

Тело, – знатоки найдут много недостатков: форма груди не такая, как хотелось бы, стопа плоская, большой палец ноги излишне поднят. Сильное, хорошо, неутомимо работающее тело.

Пляшет, обнаженные окрыляя пляскою ноги, обнаженные в изумительном движении подымая руки, – и в зыбкое движение своей пляски увлекает очарованную душу зрителя. Вот, видит он истинное чудо преображения обычной плоти в необычайную творимую красоту этого мира, – и чудо преображения чувствует в себе самом.

Он ли это, в предметах видимого мира замечавший только грязь и мерзость? Он ли, иронически улыбавшийся? Он ли восторгается и ликует? Он ли верит сладостной мечте преображения?

И восторгается, и ликует. Полуобнаженное видит тело, и не вожделеет. И если бы увидел ее совсем нагую, тем же бы чистым и пламенным пламенел восторгом.

Пляшет. Устала. Красным становится лицо, и покрывается каплями пота, краснеют голые руки, покраснели стопы. Проносится близко, так близко, что слышен легкий шорох ее легких, легковеющих одежд, и слышен запах ее тела, и ее пота. И слаще пролитого аромата запах этого пота, проливаемого в тягостном и веселом труде, – ибо и тягостен и весел труд преображения, подвиг преображения.

Милые, бедные работницы, с серпом или с иглою в утомленных руках, придите, взгляните на вашу сестру, на эту пляшущую, на эту пляскою трудящуюся Альдонсу, – придите и научитесь, какие возможности красоты и восторга в ваших носите вы телах; поймите, как прекрасна, как благоуханна преображенная в дерзком подвиге, нестыдливо обнаженная, милая плоть, прекрасное тело Дульцинеи.

Ей же, Айседоре Дункан, слава, – сладкую воплотила она мечту столетий, дерзкий и странный оправдала она выбор благороднейшего и несчастнейшего из рыцарей, который навеки поставил выше знатных босоногую крестьянскую девку, которая жнет, веет, моет полы, – и ее назвал прекраснейшею из земных дев, и дал ей сладкое имя Дульцинеи.

И да будет бессмертно в веках сладкое имя Айседоры, Айседоры Дункан.

Печатается по изданию: *Сологуб Ф.К.* Собр. соч. СПб., 1913. С. 159–163

Федор Сологуб

Дон Кихот путей не выбирает,
Росинант дорогу сам найдет.
Доблестного враг везде встречает,
С ним везде сразится Дон Кихот.

Славный круг насмешек, заблуждений,
Злых обманов, скорбных неудач,
Превращений, битв и поражений
Победит славнейшая из кляч.

Сквозь скрежещущий и ржавый грохот
Колесницы пламенного дня,
Сквозь проклятья, свист, глумленья, хохот,
Меч утратив, щит, копье, коня,
Добредет к ограде Дульцинеи
Дон Кихот.

Печатается по изданию: *Сологуб Ф.* Стихотворения. Л., 1975. С. 465

Мигель де Унамуно

Господь мой, Дон Кихот, я грудь народа
Пронзил Евангелием, как копьем.
Но кнут лизать он продолжал тайком,
От хлева глаз не показавший сроду.

Твоей души ни грана нет у сброда,
Хотя примеру Павла он потом
Последует. Мне суждено добром,
Примером врачевать его природу.

Душа Испании, в водоворот
Несешься ты. Не доброхотство –
Желание спасти тебя, как плот.

Твоя беда – штандарта с мачтой сходство.
Крещение переродит народ.
И все народы примут донкихотство.

Перевод Вс. Багно

Печатается по изданию: *Багно В.Е.* Дорогами "Дон Кихота". М., 1988. С. 263–264.

Мигель де Унамуно

ПУТЬ КО ГРОБУ ДОН КИХОТА

Ты спрашиваешь меня, дорогой друг, не знаю ли я, каким образом можно было бы ввергнуть в безумие, в бред, во всеобщий психоз несчастные, соблюдающие такое спокойствие и порядок массы людей, которые родятся, едят, спят, произво-

дят потомство и умирают. Нельзя ли, говоришь ты, заразить их вновь какой-нибудь эпидемией вроде тех, что охватывали флагеллантов и конвульсионнариев? И ты напоминаешь мне об эксцессах, предшествовавших наступлению тысячного года.

Я, так же как и ты, нередко испытываю тоску по средневековью; мне, так же как и тебе, хотелось бы жить тогда, среди судорог рождающегося второго тысячелетия. Если бы нам удалось каким-то образом убедить народ, будто в определенный день – скажем, 2 мая 1908 года, в столетний юбилей начала Войны за независимость, – Испания погибнет, что в этот день нас всех перережут, как баранов, то 3 мая 1908 года стало бы, на мой взгляд, величайшим днем нашей истории, рассветной зарей нашей новой жизни.

Жалкий век! Безнадежно жалкий век! Всем и на все наплевать. А стоит какому-нибудь одиночке попытаться поднять тот или иной вопрос, обратить внимание на ту или иную проблему, это будет сразу же приписано корыстному интересу, желанию прославиться или прослыть оригиналом.

Люди даже разучились понимать, что у кого-то может помутиться разум. О помешанном у нас уже и думают, и говорят, что, видно, разум-то он потерял по расчету, а стало быть, вполне благоразумно. Разумная подоплека утраты разума – вещь, непреложно доказанная в глазах нынешних жалких ничтожеств. Если бы наш доблестный рыцарь Дон Кихот воскрес и вернулся бы в современную нам Испанию, здесь принялись бы выискивать, какими задними мыслями внушены его благородные сумасбродства. Когда кто-то разоблачает злоупотребления, ополчается на несправедливость, бичует невежество, рабские душонки недоумевают: "Чего он этим для себя добивается? Какая ему выгода?" Иной раз они думают и говорят: он хочет, чтобы ему заткнули рот золотом; иной раз – что его обуревают подлые чувства и низменные страстишки вроде мстительности или зависти; иной раз – что ему хочется из тщеславия поднять побольше шуму, дабы о нем заговорили; иной раз – что он и подобные ему просто развлекаются от нечего делать, ради спорта. Какая жалость, что так мало охотников заниматься подобным спортом!

Ты только обрати внимание, – с каким бы проявлением благородства, героизма или безумия ни столкнулись эти тупоумные нынешние бакалавры, священники и цирюльники, им в голову не приходит ничего, кроме вопроса: а зачем это он так поступает? И, если им покажется, что у поступка есть разумная причина – будь оно так или не так, как они ее разумеют, – они говорят себе: ага! он сделал это потому-то и потому-то. Все сколько-нибудь разумно объяснимое, едва лишь оно им объяснено, теряет в их глазах всякую ценность. Вот для чего им нужна логика, их паршивая логика.

Говорят: понять – значит простить. Но этим жалким ничтожествам необходимо понимать, чтобы прощать всякого, кому не лень их унизить, всякого, кто словом или делом ткнет их носом во все их позорное ничтожество.

Они дошли до того, что задаются идиотским вопросом: для чего Господь создал вселенную? И сами отвечают себе: для вящей славы Господней! – ответ, преисполняющий их таким самодовольством и самоупоением, что они мнят себе вознесенными на величественные вершины, откуда им дано судить, в чем именно состоит господня слава.

Вещи первичны – их предназначение вторично. Дайте мне составить представление о какой-то новой вещи, и тогда она уже сама объяснит мне, для чего она создана.

Иной раз, когда я излагаю проект или план чего-то такого, что следовало бы сделать, в особенности же если настаиваю на том, о чем считаю нужным говорить, непременно найдется любопытствующий узнать: "Ну, а что дальше?" На подобные вопросы остается отвечать только контрвопросами. "Ну, а что дальше?" должно рикошетом вызывать: "Ну, а прежде что?"

Будущего нет; будущего не бывает никогда. То, что именуют будущее – это сегодняшний день. Что будет с нами завтра? Никакого завтра нет! Есть сегодня, сейчас. И весь вопрос в том, что такое мы сами в этом сегодняшнем дне.

Что же касается сегодняшнего дня, эти жалкие душонки собою весьма довольны, ведь они-то существуют именно сегодня, а ничего другого им и не нужно – только существовать. Существование, одно лишь голое существование, – этим исчерпываются все их духовные потребности. Они и не подозревают, что есть нечто большее, чем существование.

Но существуют ли они? Существуют ли они в действительности? Думаю, что нет. Ибо если бы они существовали, действительно существовали, они бы страдали оттого, что только существуют, а не довольствовались бы этим существованием. Если бы они подлинно и реально существовали во времени и пространстве, они бы страдали оттого, что им не дано бытие вечное и бесконечное. А ведь такое страдание, эта страстная жажда вечного и бесконечного, есть в нас чувство, взыскующее Бога. Бога, страждущего в нас, ибо в нас он ощущает себя узником нашей конечной природы и нашей недолговечности. Будь им ведомо это божественное страдание, они бы разорвали убогие звенья логической цепи, посредством которой они пытаются связать свои убогие воспоминания со своими убогими надеждами, а иллюзии своего прошлого с иллюзией будущего.

Отчего и для чего он это делает? А разве Санчо никогда не спрашивал Дон Кихота, почему и зачем он так поступает?

Возвращаюсь к начатому, к тому, что занимает тебя, к твоему вопросу: нельзя ли привить этим несчастным человеческим толпам какой-нибудь массовый психоз, какую-нибудь бредовую идею.

Но в одном из своих писем, засыпав меня кучей вопросов, ты сам вплотную подошел к решению проблемы. Ты писал мне: как ты смотришь на попытку предпринять некий новый крестовый поход?

Что ж, я совершенно согласен с тобой, я полагаю, что стоило бы попробовать предпринять священный крестовый поход за освобождение Гроба Дон Кихота из-под власти бакалавров, священников, цирюльников, герцогов и каноников. Я полагаю, что должно отважиться на крестовый поход, дабы отвоевать Гроб Рыцаря Безумств у завладевших им вассалов Благоразумия.

Естественно, они станут защищать свой беззаконный захват, тщась с помощью множества испытаннейших доводов разума доказать, что право на охрану святыни и поддержание ее в порядке принадлежит им. Ведь они охраняют ее для того, чтобы Рыцарь не восстал из мертвых.

Отвечать на их благоразумные доказательства следует руганью, градом камней, яростным криком, ударами копий. Только не пускайся сам доводить что-то до

их разумения – они обрушат на тебя столько наиразумнейших своих доводов, что ты пропал.

Если же они, по своему обыкновению, станут спрашивать тебя, по какому праву ты притязаешь на Гроб, не отвечай им ни слова, они уж после увидят по какому. После... быть может, когда уже не станет ни тебя, ни их – во всяком случае, не станет в этом мире кажимостей.

Наш священный крестовый поход весьма выгодно отличается от тех давних крестовых походов, с которых забрезжил рассвет новой жизни в этом старом-престаром мире. Пылавшие святым воодушевлением крестоносцы былых времен знали, где находится Гроб господень, знали это хотя бы по слухам, тогда как участникам нашего крестового похода не будет ведомо, где им искать Гроб Дон Кихота. Найти и обрести его можно будет лишь в непрерывных боях.

В своем донкихотском неразумии ты уже не раз говорил со мной о "кихотизме" как о новой религии. На это могу сказать тебе: если предлагаемая тобой новая религия примется и начнет распространяться, она будет обладать двумя редкими преимуществами. Во-первых, тем, что мы отнюдь не уверены, существовал ли в действительности ее основоположник и пророк Дон Кихот – о, конечно же, не Сервантес, – то есть был ли он живым человеком из плоти и крови; более того, мы скорее подозреваем, что он фигура от начала и до конца вымышленная. Второе преимущество то, что пророк этот – лицо комическое, всеобщее посмешище, представленное народу для потехи и поношения.

Но как раз этого-то качества: не бояться попасть в комичное, смешное положение – нам недостает больше всего. Устрашать нас тем, что мы смешны, – вот оно, оружие всех презренных бакалавров, цирюльников, священников, каноников и герцогов, скрывающих от нас, где находится Гроб Рыцаря Безумств. Рыцаря, над которым смеялся весь свет, но который сам не отпустил ни единой шутки. Он был слишком велик духом, чтобы размениваться на остроты. Смех он вызывал своей серьезностью.

Итак, дружище, приступай к делу, возьми на себя роль Петра Пустынника, зови людей присоединяться к тебе, присоединяться к нам, и отправимся все вместе завоевывать Гроб Рыцарев, хотя и не знаем, где он находится. Сам крестовый поход приведет нас к святому месту.

И едва лишь святое воинство тронется в путь, ты увидишь, как загорится в небе новая звезда, видимая лишь крестоносцам, лучезарная и звучащая звезда, и в долгой, объемлющей нас со всех сторон ночи она запоет для нас новую песнь; и звезда эта пойдет по небу, едва только тронется в путь крестоносное воинство; а когда поход завершится победой или когда все крестоносцы погибнут (и возможно, что гибель – единственный способ одержать подлинную победу), – тогда звезда упадет с неба, и место, куда она упадет, будет могилою Дон Кихота. Гроб Дон Кихота там, где встретит смерть крестоносное воинство.

А там, где гроб, там и колыбель, там начало всех начал. И там вновь загорится и поднимается на небо лучезарная и звучащая звезда.

И не спрашивай меня ни о чем более, дорогой друг. Когда ты вызываешь меня на разговор о подобных предметах, то по твоей милости со дна моей души, исстрадавшейся от пошлости, которая обступает и осаждает меня со всех сторон, исстра-

давшейся от лжи, в которой мы барахтаемся, забрызгивая грязью друг друга, исстрадавшейся ото всех подлостей, которые ранят, терзают и удушают нас, – со дна моей исстрадавшейся души подымаются разбуженные тобой бессмысленные видения, алогичные идеи, неведомые мысли и образы, и я не только не знаю, каково их значение, но и не думаю в нем разбираться.

Что ты хочешь сказать этим? – поминутно спрашиваешь ты меня. А я отвечаю тебе: почем же мне знать?

Нет, нет, добрый мой друг! Чаще всего я и сам не знаю, что хочу сказать каким-нибудь нежданным соображением, которым одарила меня игра ума и которым я делюсь с тобой; или по крайней мере именно я-то этого и не знаю. Во мне словно бы сидит кто-то, и диктует мне внезапные мысли, и осеняет озарениями. Я повинуюсь ему, но не углубляюсь в себя, чтобы взглянуть ему в лицо и спросить его об имени. Я знаю только одно: если бы я увидал его в лицо и если бы он мне назвался, я умер бы, чтобы вместо меня жил он.

Мне стыдно оттого, что мне не раз случалось создавать вымышленных героев, выдумывать романных персонажей, в чьи уста можно было бы вложить то, чего от себя я говорить не решался, – и вот они как бы в шутку высказывали то, к чему я отношусь более чем серьезно.

Впрочем, ты ... ты хорошо знаешь меня, и тебе известно, что вымученные парадоксы, нарочитая экстравагантность и оригинальничанье – это нечто абсолютно мне чуждое, что бы там ни думала обо мне дюжина каких-то болванов. Мой добрый и единственный друг, друг без каких бы то ни было оговорок, мы с тобою не раз, наедине, пытались выяснить, что такое безумие, и обсуждали постановку этой темы в ибсеновском "Бранде", духовном детище Кьеркегора, думали о его одиночестве. И мы пришли к выводу, что любое безумие перестает быть безумием, когда оно становится коллективным, овладевает целым народом, когда это, быть может, безумие, охватившее все человечество. Если галлюцинации подвержен коллектив, социальный человеческий организм, народ, то галлюцинация превращается в реальность, в нечто внешнее по отношению к каждому из галлюцинирующих. И ты, и я, мы оба согласны, что приспела необходимость внушить массам, внушить народу, внушить нашему испанскому народу какую-то безумную идею; безумную идею, позаимствованную у одного из его безумных сынов, и безумного всерьез, а не на шутку. Безумного, но не глупца.

Мы оба, дорогой мой друг, всегда возмущаемся, слыша, что именуют у нас здесь фанатизмом, ибо, к нашему с тобой несчастью, это отнюдь не фанатизм. Нет, никак не может быть фанатизмом то, что регламентируется и сдерживается, вводится в рамки и направляется бакалаврами, священниками, цирюльниками, канониками и герцогами; не может быть фанатизмом то, что выступает под знаменем логических формул, вооружается программой, ставит перед собой на завтрашний день определенную задачу, которую со всей методичностью изложит тебе какой-нибудь оратор.

Помнишь, как-то раз мы с тобой увидали с десяток молодых людей, столпившихся вокруг своего товарища, он призывал их: "Пошли, ребята! Мы такого покажем!.." – и они дружно последовали за ним. И это было как раз то, чего мы с тобой так страстно желаем: чтобы народ, собравшись толпою, с кличем: "Мы такого по-

кажем!..” – двинулся наконец вперед. А если какой-нибудь бакалавр, какой-нибудь цирюльник, какой-нибудь священник, какой-нибудь каноник или какой-нибудь герцог вздумал бы остановить их, говоря: “Дети мои! Все это прекрасно, я вижу, что вы преисполнены героизма, что вы пылаете священным негодованием, и я присоединяюсь к вам, но, прежде чем все мы, вы и я вместе с вами, двинемся в путь с целью “показать такого...”, нам, согласитесь, не мешало бы прийти к единому мнению относительно того, что же, собственно, мы хотим “показать”. Что это значит: “Мы такого покажем!..?” – если бы кто-нибудь из упомянутых мной мошенников попытался остановить толпу вышеуказанными словесами, то его надо было бы тут же сбить с ног и всем, шагая по нему, опрокинутому, растоптать его, – с этого оно и началось бы, героическое “показать такого...”.

Не думаешь ли ты, мой друг, что среди нас найдется немало одиноких душ, у которых сердце прямо-таки рвется “показать такого...”, совершить нечто, без чего им и жизнь не в жизнь? Так вот, посмотри, быть может тебе удастся собрать этих одиночек, создать из них воинство и двинуть нас всех вместе в поход – ибо я также отправлюсь с ними, тебе вослед, – в поход за освобождение Гроба Дон Кихота, каковой – благодарение Богу! – неизвестно нам, где находится. Но лучезарная и звучащая звезда укажет нам путь.

А не случится ли так – говоришь ты мне в часы, когда падаешь духом и изменяешь самому себе, – не случится ли так, что, воображая, будто мы шагаем по раздолью полей и ушли уже за тридевять земель, мы на самом деле будем кружить на одном и том же месте? Нет, ибо тогда путеводная звезда остановится и замрет над нашими головами, а Гроб Рыцаря окажется в нас самих. Звезда же упадет с неба, но упадет для того, чтобы мы схоронили ее в нашей душе. И души наши обратятся в свет и сольются все в одно лучезарное и звучащее светило, и оно, обратясь в солнце вечно звучащей гармонии, еще ярче, еще лучезарней воссияет на небе нашей спасенной родины.

Итак, в путь! И позаботься, чтобы не затесались к тебе, в священное воинство крестоносцев, ни бакалавры, ни цирюльники, ни священники, ни каноники, ни герцоги, переодетые под Санчо. Не беда, коли они станут выпрашивать у тебя острова для губернаторства. Но безжалостно гони их в шею, как только они заикнутся о маршруте похода, начнут справляться у тебя о программе дальнейших действий, примутся лукаво, шепча на ухо, выведывать у тебя, в какой стороне лежит Гроб Дон Кихота. Следуй за звездою. И поступай так, как Рыцарь: выпрямляй всякую кривду, какую повстречаешь в пути. Сегодня делай то, что надо сегодня, и здесь то, что нужно здесь.

Так трогайтесь же в путь! Но куда идти? Куда вас поведет звезда: ко Гробу! А что нам делать в пути? Что делать? Бороться! Бороться? Но как?

Как? Попался вам лжец? Бросить ему в лицо: ложь! И дальше вперед! Попался вор – громыхнуть на него: ворюга! И вперед! Попался болтун, чьи благоглупости толпа слушает, разинув рот? Крикнуть им: идиоты! И вперед! Всегда и только вперед!

Но разве возможно – спрашивает меня один наш общий знакомый, горящий желанием вступить в крестоносцы, – возможно ли подобным образом истребить на земле ложь, воровство, глупость? А кто сказал, что нельзя? Самая презренная из

всех презренных подлостей, самая отвратительная и гнусная из уловок трусости состоит в утверждении, будто, разоблачив вора, мы этим ровно ничего не добьемся, так как другие будут продолжать воровать, и будто мы ничего не достигнем, бросив в лицо мошеннику, что он мошенник, ибо от этого на свете не станет меньше мошенничества.

Да, конечно, обличать придется не раз и не два, а тысячекратно, потому что, если бы тебе удалось единожды, первым же своим обличением покончить раз и навсегда хотя бы с одним только обманщиком, на земле было бы раз и навсегда покончено со всяким обманом.

Итак, в путь! И гони из священного воинства каждого, кто захочет расчислить в точности длину шага, которым следует идти на марше, его быстроту и ритм. Особенно вот этих, кто только и знает что твердить днем и ночью о ритме, этих всех гони прочь! Иначе они превратят твое воинство в балетную труппу, а поход – в танец. Всех их – прочь! Пускай отправляются куда-нибудь подальше воспевать прельстительность плоти.

Субъекты, которые могут попытаться превратить крестоносцев в балетных танцовщиков, именуют себя, а также друг друга поэтами. Но они не поэты. Они нечто совершенно иное. Ко Гробу они идут из одного любопытства, ради охоты посмотреть, а что это такое, и, возможно, потому что ищут новых острых ощущений или надеются рассеять в пути свою скуку. Всех их – прочь!

Именно они своей богемной снисходительностью способствуют тому, что существует и подлая трусость, и ложь, и злосчастные мерзости, в которых мы захлебываемся. Когда эти людишки проповедуют свободу, они имеют в виду одну-единственную свободу: обладать женой ближнего своего. У них все сводится к чувственности, и даже в идеалы, в великие идеалы, они влюбляются чувственно. Но сочетаться с великой и чистой идеей узами брака, от которого могли бы родиться на свет добрые дети, – на это они неспособны, с идеями они вступают лишь в случайные связи. Они берут идею в любовницы, а иной раз и того хуже: на одну ночь, как непотребную девку. Всех их – прочь!

Если кому-нибудь придет по дороге охота сорвать цветок, улыбнувшийся ему с обочины, пусть себе сорвет, но мимоходом, не задерживаясь, чтобы не отстать от остального воинства, – однако шагающий впереди офицер-знаменосец обязан смотреть, не отводя глаз, на лучезарную и звучащую звезду. Если же кто-то украсит латы у себя на груди сорванным цветком не для того, чтобы самому им любоваться, а чтобы покрасоваться им перед другими, – прочь его! Пускай отправляется со своим цветком в петлице куда-нибудь подальше заниматься танцами.

Видишь ли, друг мой, если ты намерен выполнить свою миссию и верно служить отечеству, необходимо, чтобы тебе стали ненавистны чувствительные юнцы, не умеющие смотреть на мир иначе, как глазами девиц, в которых они влюблены. Или чьими-нибудь похуже. Пусть твои слова режут им слух, пронзают его ядовитой горечью.

Привалы будут дозволены воинству лишь по ночам, на опушке леса или в укрытиях гор. Крестоносцы раскинут палатки, омоют себе ноги, поужинают тем, что приготовят им жены, зачнут с ними потом новое дитя, поцелуют их и крепко уснут, чтобы наутро двинуться дальше в поход. Если же кто-то умрет в дороге, тело поло-

жат на обочину, и доспехи будут его саваном, об остальном позаботится воронье. Предоставим мертвым погребать своих мертвецов.

Если на марше кто-нибудь попытается заиграть на флейте, свирели или иной какой дудке, или на виуэле, или на любом другом инструменте, отбери и разбей инструмент, а игравшего изгони из рядов воинства, дабы не мешал остальным внимать голосу поющей звезды. Тем более что ему самому голос ее не был внятен. Тот, кто глух к пению, льющемуся с небес, не имеет права отправляться разыскивать Гроб Рыцаря.

Эти танцоры станут болтать тебе о поэзии. Не обращай на них внимания. Тот, кто пускается выводить рулады посредством своей то ли свистульки, то ли спринцовки – ведь мифическая сиринга, их праматерь, была всего-навсего полым орудием двойного назначения – и предается этому занятию под твердию небесной, не вслушиваясь в музыку небесных сфер, тот сам не заслужил, чтобы его слушали. Ему неведомы темные бездны поэзии фанатизма; ему неведома великая поэзия храмов, лишенных всякого убранства, не сияющих ни люстрами, ни раззолоченной резьбой, не украшенных ни статуями, ни картинами, не благоухающих ни цветами, ни воскурениями, храмов без намека на роскошь, без всего того, что именуют искусством. Четыре голых стены и дощатая кровля – как в любом сарае.

Так вот, всех этих спринцевальных танцоров изгоняй из воинства безжалостно. Изгоняй прежде, чем они станут сбегать от тебя ради чечевичной похлебки. Ведь это философы цинизма, исполненные снисходительности добрячки из породы всепонимающих и всепрощающих. Но тот, кто понимает все, не понимает ничего, а кто все прощает, тот ничего не прощает. Они торгуют собой, ни капли не совестясь. В своей раздвоенности они витают там и тут, и потому, сохраняя свою свободу там, они тут преспокойно обретаются в рабстве. Они эстеты, но одновременно могут восхищаться разного рода пересами, лопесами и родригесами.

Когда-то говорили: человеческой жизнью правят голод и любовь. Низменной человеческой жизнью, скажу я, жизнью, пресмыкающейся во прахе. Танцоры, те действительно пляшут только из голода или любви; животного голода и такой же животной любви. Изгони их из твоего воинства, и пусть себе где-нибудь на лугу пляшут до упаду, играя на своих спринцовках-свистульках, ритмично хлопая в ладоши и распевая гимны и в честь чечевичной похлебки и ляжек своих однодневных подруг. И пусть их изобретают там себе новые пируэты, новые коленца, новые па ригодона.

Если же явится к тебе некто и скажет, что он умеет строить мосты и что, может статься, искусство его пригодится для переправы через реку, – гони его прочь! Инженеров – прочь! А через реки – вброд или вплавь, хотя бы потонула половина крестоносцев. Пускай инженеры отправляются строить мосты туда, где в этом есть надобность. Тем, кто идет на поиски Гроба, нужен лишь один мост – вера.

Мой добрый друг, если ты хочешь следовать твоему призванию так, как это должно – не верь искусству, не верь науке, или по крайней мере тому,что принято называть искусством и наукой и что в действительности представляет всего-навсего жалкую карикатуру на подлинные искусство и науку. Да будет тебе достаточно твоей веры. Вера – вот что будет твоим искусством, вера будет твоей наукой.

Когда я видел, с какой тщательностью ты отделываешь свои письма ко мне, меня неоднократно одолевали сомнения, сумеешь ли ты осуществить задуманное предприятие. Твои послания испещрены уточнениями, вставками, поправками, помарками. Это не мощный поток, вдруг прорвавший запруду. Нет. Твои письма нередко грешат литературным налетом, зачастую гранича с прямой литературщиной, а ведь гнусная литературщина – естественная союзница всяческого рабства и всяческих мерзостей. Поработители хорошо знают: до тех пор пока рабы упиваются красивыми гимнами свободе, они довольствуются своим рабским состоянием и не помышляют разорвать свои цепи.

Но бывает и так, что ты вновь вселяешь в меня надежду и веру в тебя, ибо тогда в какофонии твоих сбивчивых, набросанных с ходу, наскоро слов мне слышится твой живой голос, дрожащий от лихорадочного возбуждения. Иной раз трудно даже сказать, на каком, собственно, языке ты изъясняешься. Пусть каждый переводит по-своему.

Пусть жизнь твоя будет бурным, неслабеющим вихрем страсти, отдайся этой единственной страсти всецело. Только страстно увлеченным людям под силу оставить после себя нечто подлинно долговечное и плодотворное. Если о человеке скажут в твоем присутствии, что он безукоризнен – в каком бы то ни было из значений этого идиотского слова, спасайся от "безукоризненного" бегством; в особенности если он служитель искусства. Подобно тому как именно глупец никогда в жизни не скажет и не сделает глупости, именно тот служитель искусства, кто менее всего поэт, кто по самой сути своей как раз антипоэт – а среди людей искусства натуры антипоэтические преобладают, – он-то и окажется безукоризненным художником, именно его увенчают лаврами спринцевальные танцоры, его наградят они премиями и дипломами, его провозгласят безукоризненным.

Мой бедный друг, тебя пожирает неотступная лихорадка, ты жаждешь безбрежных и неисследимых океанов, ты алчешь новых вселенных, ты взыскуешь вечности. Разум стал для тебя источником страданий. И ты сам не знаешь, чего хочешь. А теперь, теперь ты решил идти ко Гробу Рыцаря Безумств, чтобы там изойти слезами, предаться снедающей тебя лихорадке, иссохнуть от жажды безбрежных океанов, оттого что алчешь иных вселенных, оттого что взыскуешь вечности.

Отправляйся же в путь. Один. Все остальные одиночки пойдут рядом с тобой, хотя ты не будешь их видеть. Каждый будет считать, что идет один, но все вместе вы образуете священный отряд, отряд святого и бесконечного крестового похода.

Мой добрый друг, ты ведь толком и не представляешь себе, как эти одиночки, совершенно друг с другом незнакомые, не видя друг друга в лицо, не зная один другого по имени, все же идут вместе, оказывая помощь друг другу. Прочие же судачат один о другом, обмениваются рукопожатиями, поздравлениями, комплиментами и оскорблениями, сплетничают между собой, и каждый идет своим путем. И все бегут прочь от Гроба.

Ты не принадлежишь к суесловной черни, ты из отряда вольных крестоносцев. Зачем же ты пытаешься взглянуть на скопища этих пустозвонов и слушаешь, о чем они трещат. Нет, друг мой, нет! Проходя мимо сборища черни, затыкай себе уши, кинь в них разящее слово и шагай дальше – ко Гробу. И пусть в этом слове пылает все, чего жаждет, алчет и взыскует твоя душа, все, что наполняет ее любовью.

Если ты хочешь жить делами черни – живи ради нее. Но тогда, бедный мой друг, ты погибший человек.

Я вспоминаю горестное послание, которое ты написал мне в минуту, когда уже был готов пасть, сложить оружие, отречься, примкнуть к их сообществу. В ту минуту я понял, как тяготит тебя твое одиночество, то самое одиночество, которое должно быть для тебя утешением, прибежищем, источником силы.

Ты дошел тогда до самого страшного, до самых пределов отчаяния, дошел до края пропасти, которая могла тебя поглотить, дошел до сомнения в своем одиночестве, дошел до того, что вообразил, будто вокруг тебя люди. "Возможно, – спрашивал ты меня, – мое убеждение, что я одинок, просто выдумка, плод моего самомнения, тщеславия и, как знать, моих досужих бредней? Почему в спокойном расположении духа я обнаруживаю, что меня окружают люди, что мне сердечно пожимают руку, я слышу ободряющие голоса, дружелюбные слова, иначе говоря, нет недостатка в свидетельствах того, что я никоим образом не одинок?" И далее в том же роде. Я понял, что ты обманываешься, что ты гибнешь, я видел, что ты бежишь прочь от Гроба.

Нет, не обманывайся, как бы ни мучили тебя приступы твоей лихорадки, какой бы смертельной тоской ни терзала тебя твоя жажда, какой бы ярой ни становилась твоя алчба, – ты одинок, совершенно одинок. Укусы – это не только то, что кажется тебе укусом, но и то, что кажется поцелуем. Те, что рукоплещут тебе, на поверку тебя освистывают; те, что кричат: "Вперед!", на деле пытаются остановить тебя на пути ко Гробу. Заткни себе уши. И самое главное, берегись опаснейшего соблазна, ибо сколько бы ты от него ни отделывался, он, как назойливая муха, будет возвращаться к тебе вновь и вновь: берегись соблазна беспокоиться о том, что представляешь ты собой во мнении людей. Думай лишь о том, что ты представляешь собою перед лицом Бога, думай о том, каков ты пред взором Господа.

Ты одинок, куда более одинок, чем сам воображаешь, но при всем том ты находишься лишь на пути к полному, абсолютному, истинному одиночеству. Абсолютное, полное, истинное одиночество наступает, когда лишаешься своего последнего товарища – самого себя. И воистину абсолютно и полностью одиноким ты сделаешься не ранее, чем сбросишь с себя все то, что есть ты сам, – у двери гроба. Святое одиночество!

Так писал я своему другу, и он ответил мне длинным письмом, исполненным неистовой горести:

Все, о чем ты мне говоришь, очень хорошо, все это очень хорошо, да, все это неплохо; но не кажется ли тебе, что, вместо того чтобы отправляться на поиски Гроба Дон Кихота и освобождать его от бакалавров, священников, цирюльников, каноников и герцогов, следовало бы отправиться на поиски Гроба Господня и освободить его от завладевших им верующих и неверующих, атеистов и деистов, и там, среди воплей неистового отчаяния и надрывающих сердце слез, дожидаться, когда же воскреснет Господь и спасет нас, не дав нам обратиться в ничто.

Перевод П. Глазовой

Печатается по изданию: *Унамуно М.де.* Избранное: В 2 т. Л., 1981. Т. 2. С. 236–249

Хорхе Луис Борхес

СОН АЛОНСО КИХАНЫ

Стряхнув свой сон, где за спиной хрипит
Сверкающая саблями погоня,
Он щупает лицо, как посторонний,
И сам не знает, жив или убит.
И разве маги, горяча коней,
Его не кляли под луною в поле?
Безлюдье. Только стужа. Только боли
Его беспомощных последних дней.
Сервантесу он снился, вслед за этим
Ему, Кихане, снился Дон Кихот.
Два сна смешались, и теперь встает
Пережитое сновиденьем третьим:
Кихане снится люгер, давший течь,
Сраженье при Лепанто и картечь.

Перевод Б. Дубина

Борхес Х.Л. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3.
История ночи. СПб., 2001. С. 325

Хорхе Луис Борхес

ЧИТАТЕЛИ

Есть основания считать, что некий
Идальго, в помыслах воитель истый,
С лицом костлявым, бледным и землистым,
Всю жизнь провел в своей библиотеке.
Подробная же хроника той вязи
Причудливой, насмешек и дерзаний –
Его, а не Сервантеса созданье,
Не более, как хроника фантазий.
Мне выпал схожий жребий. Вековые
Я схоронил до времени иного
Слова в книгохранилище былого,
Где я с идальго встретился впервые.
Так, перелистывая медленно страницы,
Вникал малыш в тот мир, который мнится.

Перевод Вс. Багно

Борхес Х.Л. Коллекция. Рассказы. Эссе.
Стихотворения. СПб., 1992. С. 371

Хорхе Луис Борхес

ПЬЕР МЕНАР, АВТОР "ДОН КИХОТА"

Сильвине Окампо

Зримые произведения, оставленные этим романистом, можно легко и быстро перечислить. Непростительны поэтому пропуски и прибавления, сделанные мадам Анри Башелье в ее недостоверном каталоге, который некая газетка, чье "протестантское" направление отнюдь не секрет, легкомысленно рекомендовала своим жалким читателям – пусть их и немного и они кальвинисты, если не масоны или обрезанные. У истинных друзей Менара каталог этот вызвал тревогу и даже скорбь. Всего лишь вчера мы собирались у могильного мрамора, среди траурных кипарисов, и вот уже Ошибка пытается очернить его Память... Нет, решительно необходимо написать краткое опровержение.

Я понимаю, что мой скудный авторитет совсем нетрудно оспорить. Надеюсь все же, что мне не запретят привести два высокочтимых свидетельства. Баронесса де Бакур (на чьих незабываемых пятницах я имел честь познакомиться с оплакиваемым нами поэтом) соизволила одобрить ниженаписанное. Графиня де Баньореджо, славившаяся среди самых утонченных умов княжества Монако (а ныне – Питсбурга, штат Пенсильвания, после недавнего брака с международным филантропом Симоном Каучем, – увы! – столь бесстыдно оклеветанным жертвами его бескорыстных операций), отказалась "ради истины и смерти" (таковы ее слова) от аристократической сдержанности, ее отличающей, и в открытом письме, опубликованном в журнале "Люкс", также выражает мне свое одобрение. Этих высоких рекомендаций, полагаю, достаточно. Я уже сказал, что "зримые" произведения Менара легко перечислить. Тщательно изучив его личный архив, я убедился, что он состоит из следующих материалов:

а) Символистский сонет, дважды печатавшийся (с вариантами) в журнале "Ла Конк" (номера за март и октябрь 1899).

б) Монография о возможности создания поэтического словаря понятий, которые были бы не синонимами или перифразами слов, образующих обычный язык, "но идеальными объектами, созданными по взаимному согласию и предназначенными для сугубо поэтических нужд" (Ним, 1901).

в) Монография об "определенных связях или родстве" мыслей Декарта, Лейбница и Джона Уилкинса (Ним, 1903).

г) Монография о "Characteristica universalis"[1] Лейбница (Ним, 1904).

д) Статья технического характера о возможности обогатить игру в шахматы, устранив одну из ладейных пешек. Менар предлагает, рекомендует, обсуждает и в конце концов отвергает это новшество.

е) Монография об "Ars magna generalis"[2] Раймунда Луллия (Ним, 1906).

---

[1] "Универсальная символика (*лат.*)

[2] "Великое искусство" (*лат.*)

ж) Перевод с введением и примечаниями "Книги свободного изобретения и искусства игры в шахматы" Руй Лопеса де Сегуры (Париж, 1907).

з) Черновики монографии о символической логике Джорджа Буля.

и) Обзор основных метрических законов французской прозы, иллюстрированный примерами из Сен-Симона ("Ревю де ланг роман", Монпелье, октябрь 1909).

к) Ответ Люку Дюртену (отрицавшему наличие таких законов), иллюстрированный примерами из Люка Дюртена ("Ревю де ланг роман", Монпелье, декабрь 1909).

л) Рукопись перевода "Компаса для культивистского плавания" Кеведо, озаглавленная "La boussole des précieux"[1].

м) Предисловие к каталогу выставки литографий Каролюса Уркада (Ним, 1914).

н) Книга "Les problèmes d'un problème"[2] (Париж, 1917), рассматривающая в хронологическом порядке решения знаменитой задачи об Ахиллесе и черепахе. На сегодняшний день существуют два издания этой книги – на втором в качестве эпиграфа стоит совет Лейбница: "Ne craignez point, monsieur, la tortue"[3], и в нем несколько обновлены главы, посвященные Расселу и Декарту.

о) Подробное исследование "синтаксических привычек" Туле ("N.R.F.", март 1921). Менар там – напоминаю – заявлял, что осуждение или похвала – это проявления сантиментов, не имеющие ничего общего с критикой.

п) Переложение александрийскими стихами "Cimetière marin"[4] Поля Валери ("N.R.F.", январь 1928).

р) Инвектива против Поля Валери в "Страницах, уничтожающих действительность" Жака Ребуля. (Эта инвектива, кстати сказать, представляет собою точно вывернутое наизнанку подлинное его мнение о Валери. Последний так это и понял, и старая дружба обоих не подверглась никакой опасности.)

с) "Определение" графини де Баньореджо в "победоносном томе" – выражение другого его участника, Габриэле Д'Аннунцио, – который ежегодно издает эта дама, дабы исправлять неизбежные ошибки прессы и представить "миру и Италии" правдивый свой образ, столь часто страдающий (именно по причине ее красоты и деятельности) от ошибочных или слишком поспешных суждений.

т) Цикл превосходных сонетов, обращенных к баронессе де Бакур (1934).

у) Написанные от руки стихи, эффект которых в пунктуации[5].

До сих пор речь шла (без каких-либо пропусков, кроме нескольких незначительных сонетов на случай – "гостеприимному" или "жадному" – из альбома мадам Анри Башелье) о "зримых" произведениях Менара в хронологическом порядке.

---

[1] "Компас жеманников" (*фр.*)

[2] "Проблемы одной задачи" (*фр.*)

[3] Не надо бояться черепахи, сударь (*фр.*)

[4] "Приморское кладбище" (*фр.*)

[5] Мадам Анри Башелье упоминает также французский перевод с испанского перевода "Introduction a la vie dévote" ("Введение в благочестивую жизнь" (*фр.*)) Святого Франциска Сальского, сделанного Кеведо. В библиотеке Пьера Менара нет и следа подобного произведения. Наверно, то просто была плохо расслышанная шутка нашего друга.

Теперь перехожу к другим: к творчеству подспудному, безмерно героическому, несравненному. Но также – о жалкие возможности человеческие! – незавершенному. Это произведение – пожалуй, наиболее показательное для нашего времени – состоит из девятой и тридцать восьмой глав первой части "Дон Кихота" и фрагмента главы двадцать второй. Знаю, что подобное утверждение может показаться нелепостью; дать пояснение этой "нелепости" и будет первейшей задачей моей заметки[1].

Замысел Менара возник под влиянием двух текстов неравного достоинства. Один из них – филологический фрагмент Новалиса (тот, что значится за номером 2005 в дрезденском издании), где намечена тема "полного отождествления" с неким определенным автором. Другой текст – одна из тех паразитарных книг, которые помещают Христа на парижский бульвар, Гамлета на Каннебьер или Дон Кихота на Уолл-стрит. Как всякий человек с хорошим вкусом, Менар питал отвращение к этим бессмысленным карнавалам, пригодным лишь на то – говаривал он, – чтобы возбуждать плебейское удовольствие анахронизмом или (еще хуже!) морочить нас примитивной идеей, будто все эпохи одинаковы либо будто все они различны. Более интересной, хотя по исполнению противоречивой и поверхностной, считал он блестящую мысль Доде: соединить в "одной" фигуре, то есть в Тартарене, Хитроумного Идальго и его оруженосца... Люди, намекавшие, что Менар посвятил свою жизнь сочинению современного "Дон Кихота", клевещут на его светлую память.

Не второго "Дон Кихота" хотел он сочинить – это было бы нетрудно, – но именно "Дон Кихота". Излишне говорить, что он отнюдь не имел в виду механическое копирование, не намеревался переписывать роман. Его дерзновенный замысел состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые бы совпадали – слово в слово и строка в строку – с написанными Мигелем де Сервантесом.

"Моя цель совершенно необычна, – писал он мне 30 сентября из Байонны. – Конечный пункт всякого теологического или метафизического доказательства – внешний мир, Бог, случайность, универсальные формы – столь же избит и всем известен, как этот знаменитый роман. Единственное различие состоит в том, что философы в увлекательных книгах публикуют промежуточные этапы своей работы, а я решил их пропустить". И действительно, не осталось ни одного черновика, который отразил бы его многолетний труд.

Вначале он наметил себе относительно простой метод. Хорошо изучить испанский, возродить в себе католическую веру, сражаться с маврами или с турками, забыть историю Европы между 1602 и 1918 годами, "быть" Мигелем де Сервантесом. Пьер Менар тщательно обдумал этот способ (я знаю, что он достиг довольно приличного знания испанского языка семнадцатого века), но отверг его как чересчур легкий. Вернее, как невозможный! – скажет читатель. Согласен. Но ведь само предприятие было заведомо невозможным, и из всех невозможных способов осуществить его этот был наименее интересным. Быть в двадцатом веке популярным романистом семнадцатого века Менар счел для себя умалением. Быть в той или иной мере Сервантесом и прийти к "Дон Кихоту" он счел менее трудным путем –

---

[1] Было у меня также тайное намерение начертить образ Пьера Менара. Но могу ли я посметь состязаться с золотыми страницами, которые, говорят мне, готовит баронесса де Бакур, или с изящным и точным карандашом Каролюса Уркада?

и, следовательно, менее увлекательным, – чем продолжать быть Пьером Менаром и прийти к "Дон Кихоту" через жизненный опыт Пьера Менара. (Это убеждение, замечу кстати, побудило его опустить автобиографическое вступление ко второй части "Дон Кихота". Включить это вступление означало бы создать еще один персонаж, Сервантеса, но также означало бы представить "Дон Кихота" производным от этого персонажа, а не от Менара. Разумеется, этот легкий путь он отверг.) "Мое предприятие, по существу, не трудно, – читаю я в другом месте его письма. – Чтобы довести его до конца, мне надо было бы только быть бессмертным". Признаться ли, что я часто воображаю, будто он его завершил и будто я читаю "Дон Кихота" – всего "Дон Кихота", – как если бы его придумал Менар? Недавно ночью, листая главу XXVI – за которую он никогда не брался, – я узнал стиль нашего друга и как бы его голос в этой необычной фразе: "Речные нимфы, скорбная и влажная Эхо". Это впечатляющее сочетание эпитетов, обозначающих моральные и физические качества, привело мне на память стих Шекспира, который мы как-то вечером обсуждали:

Where a malignant and a turbaned Turk...[1]

Но почему же именно "Дон Кихот"? – спросит наш читатель. У испанца такой выбор не был бы загадочен, но он бесспорно загадочен у символиста из Нима, страстного поклонника По, который породил Бодлера, который породил Малларме, который породил Валери, который породил Эдмона Тэста. Цитированное выше письмо отвечает на этот вопрос. "Дон Кихот, – объясняет Менар, – меня глубоко интересует, но не кажется мне, как бы это выразить, неизбежным. Я не могу вообразить себе мир без восклицания По:

Ah! Bear in mind this garden was enchanted![2]

или без "Le bateau ivre"[3], или без "The Ancient Mariner"[4], но чувствую себя способным вообразить его без "Дон Кихота". (Естественно, я говорю о своей личной способности, а не об историческом резонансе этих произведений.) "Дон Кихот" – книга случайная, "Дон Кихот" вовсе не необходим. Я могу представить себе, как его написать, могу написать его, не рискуя впасть в тавтологию. Читал я его в двенадцать или тринадцать лет, и, вероятно, целиком. Впоследствии я внимательно перечитывал отдельные главы, те, к которым пока не буду подступаться. Изучал я также интермедии, комедии, "Галатею", "Назидательные новеллы", бесспорно злосчастные "Странствия Персилеса и Сехизмунды" и "Путешествие на Парнас"... Общее мое впечатление от "Дон Кихота, упрощенное забывчивостью и равнодушием, можно вполне приравнять к смутному предварительному образу еще не написанной книги. Приняв как предпосылку этот образ (существование которого в моем уме никто по совести не может отрицать), остается признать, что моя задача гораздо труднее, чем задача Сервантеса. Мой покладистый предшественник не уклонялся от помощи

---

[1] Где злобный и тюрбаноносный турок... (*англ.*)
[2] Ах, не забудь, что сад был зачарован! (*англ.*)
[3] "Пьяный корабль" (*фр.*)
[4] "Старый моряк" (*англ.*)

случая: он сочинял свое бессмертное произведение немного à la diable[1], увлеченный инерцией языка и своей фантазии. Мною же руководит таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман. Моя игра в одиночку будет подчинена двум полярно противоположным правилам. Первое разрешает мне пробовать любые варианты формального или психологического свойства; второе требует жертвовать ими ради "оригинального" текста и обосновать непреложными доводами их уничтожение... К этим искусственным путам надо прибавить еще одно родственное им ограничение. Сочинить "Дон Кихота" в начале семнадцатого века было предприятием разумным, необходимым, быть может, фатальным; в начале двадцатого века оно почти неосуществимо. Не напрасно ведь прошли триста лет, заполненных сложнейшими событиями. Среди них – чтобы назвать хоть одно – самим "Дон Кихотом".

Несмотря на эти три препятствия, фрагментарный "Дон Кихот" Менара – произведение более тонкое, чем у Сервантеса. Сервантес попросту противопоставляет рыцарским вымыслам убогую провинциальную реальность своей страны: Менар избирает в качестве "реальности" страну Кармен в век Лепанто и Лопе. Сколько всяких испанских штучек подсказал бы подобный выбор Морису Барресу или доктору Родригесу Ларрете! Менар – что совершенно естественно – их избегает. В его произведении нет ни цыганщины, ни конкистадоров, ни мистиков, ни Филиппа Второго, ни аутодафе. Местным колоритом он пренебрегает или запрещает его себе. Это пренебрежение указывает историческому роману новый путь. Это пренебрежение – безапелляционный приговор "Саламбо".

Не меньше поражают отдельные главы. Рассмотрим, например, главу XXXVIII первой части, "где приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености". Известно, что Дон Кихот (как Кеведо в аналогичном и более позднем пассаже из "Часа воздаяния") решает дело в пользу военного поприща, а не учености. Сервантес – старый воин, его приговор понятен. Но чтобы Дон Кихот у Пьера Менара – современника "La trahison des clercs"[2] и Бертрана Рассела – снова вдавался в эти туманные софистические рассуждения! Мадам Башелье усмотрела в них разительное и очень типичное подчинение автора психологии героя; другие (отнюдь не проницательные!) – просто "копию" "Дон Кихота"; баронесса де Бакур – влияние Ницше. К этому третьему толкованию (на мой взгляд, неопровержимому), сам не знаю, решусь ли прибавить четвертое, вполне согласующееся с почти божественной скромностью Пьера Менара – его грустной или иронической манерой пропагандировать идеи, являющиеся точной противоположностью тех, которых придерживался он сам. (Напомним еще раз о его диатрибе против Поля Валери на страницах эфемерного сюрреалистического журнальчика Жака Ребуля.) Текст Сервантеса и текст Менара в словесном плане идентичны, однако второй бесконечно более богат по содержанию. (Более двусмыслен, скажут его хулители; но ведь двусмысленность – это богатство.)

Сравнивать "Дон Кихота" Менара и "Дон Кихота" Сервантеса – это подлинное откровение! Сервантес, к примеру, писал ("Дон Кихот", часть первая, глава девятая):

---

[1] наудачу (*фр.*)

[2] "Вероотступничество грамотеев" (*фр.*)

"...истина – мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему".

Написанный в семнадцатом веке, написанный "талантом-самоучкой" Сервантесом, этот перечень – чисто риторическое восхваление истории. Менар же пишет:

"...истина – мать которой история, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящему, предостережение будущему".

История – "мать" истины; поразительная мысль! Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая истина для него не то, что произошло, она то, что, как мы полагаем, произошло.

Заключительные слова – "пример и поучение настоящему, предостережение будущему" – нагло прагматичны.

Столь же ярок контраст стилей. Архаизирующий стиль Менара – иностранца как-никак – грешит некоторой аффектацией. Этого нет у его предшественника, свободно владеющего общепринятым испанским языком своей эпохи.

Нет такого интеллектуального упражнения, которое в итоге не принесло бы пользы. Любое философское учение – это сперва некое правдоподобное описание вселенной; проходят годы, и вот оно всего лишь глава – если не абзац или не одно имя – в истории философии. В литературе подобное устаревание еще более явно. "Дон Кихот", говорил мне Менар, был прежде всего занимательной книгой; ныне он – предлог для патриотических тостов, для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных изданий. Слава – это непонимание, а может, и того хуже.

В этих нигилистических выпадах нет ничего нового – удивительно решение, к которому они привели Пьера Менара. Он вознамерился стать выше тщеславия, подстерегающего человека во всех его трудах, он затеял дело сложнейшее и заведомо пустое. Всю свою добросовестность и часы бдения он посвятил тому, чтобы повторить на чужом языке уже существующую книгу. Черновикам не было счета, он упорно правил и рвал в клочки тысячи исписанных страниц[1]. Он никому не позволял взглянуть на них и позаботился, чтобы они его не пережили. Я пытался их восстановить, но безуспешно.

И вот я размышляю над тем, что "окончательного" "Дон Кихота" надо было бы рассматривать как своего рода палимпсест, в котором должны сквозить контуры – еле заметные, но поддающиеся расшифровке – "более раннего" почерка нашего друга. К сожалению, лишь некий второй Пьер Менар, проделав в обратном порядке работу своего предшественника, умел бы откопать и воскресить эту Трою...

"Думать, анализировать, изобретать (писал он мне еще) – это вовсе не аномалия, это нормальное дыхание разума. Прославлять случайный плод подобных его функций, копить древние и чужие мысли, вспоминать с недоверчивым изумлением то, что думал doctor universalis, – означает признаваться в нашем слабосилии или в

---

[1] Вспоминаю его тетради в клеточку, его помарки черными чернилами, его особые корректурные знаки и мелкие, как мошкара, буквочки. Он любил в сумерки гулять по окраинам Нима – каждый раз брал с собою тетрадь и разводил веселый костер.

нашем невежестве. Всякий человек должен быть способен вместить все идеи, и полагаю, что в будущем он таким будет".

Менар (возможно, сам того не желая) обогатил кропотливое и примитивное искусство чтения техническим приемом нарочитого анахронизма и ложных атрибуций. Прием этот имеет безграничное применение – он соблазняет нас читать "Одиссею" как произведение более позднее, чем "Энеида", и книгу "Le jardin du Centaure"[1] мадам Анри Башелье, как если бы ее написала мадам Анри Башелье. Этот прием населяет приключениями самые мирные книги. Приписать Луи Фердинанду Селину или Джеймсу Джойсу "О подражании Христу" – разве это не внесло бы заметную новизну в эти тонкие духовные наставления?

Ним, 1939

Перевод Е. Лысенко

Печатается по изданию: *Борхес ХЛ.* Новые расследования. СПб., 2000. С. 97–106

Хорхе Луис Борхес

СКРЫТАЯ МАГИЯ В "ДОН КИХОТЕ"

Возможно, подобные замечания уже были высказаны, и даже не раз; их оригинальность меня интересует меньше, чем истинность.

В сравнении с другими классическими произведениями ("Илиадой", "Энеидой", "Фарсалией", Дантовой "Комедией", трагедиями и комедиями Шекспира) "Дон Кихот" – книга реалистическая; однако этот реализм существенно отличается от реализма XIX века. Джозеф Конрад мог написать, что исключает из своего творчества все сверхъестественное, ибо допустить его существование означало бы отрицать чудесное в повседневном; не знаю, согласился бы Мигель де Сервантес с этим мнением или нет, но я уверен, что сама форма "Дон Кихота" заставила его противопоставить миру поэтическому и вымышленному мир прозаический и реальный. Конрад и Генри Джеймс облекали действительность в форму романа, потому что считали ее поэтичной; для Сервантеса реальное и поэтическое – антонимы. Обширной и неопределенной географии "Амадиса" он противопоставляет пыльные дороги и грязные постоялые дворы Кастилии; представим себе романиста наших дней, который описывал бы в пародийном духе обслугу бензоколонок. Сервантес создал для нас поэзию Испании XVII века, но для него ни тот век, ни та Испания не были поэтичными; ему были бы непонятны люди вроде Унамуно, или Асорина, или Антонио Мачадо, умиляющиеся при упоминании Ламанчи. Замысел его произведения воспрещал включение чудесного; оно, однако, должно было там присутствовать, хотя

[1] "Сад кентавра" (*фр.*)

бы косвенно, как преступления и тайна в пародии на детективный роман. Прибегать к талисманам или колдовству Сервантес не мог, но он сумел ввести сверхъестественное очень тонким и потому более эффектным способом. В глубине души Сервантес любил сверхъестественное. В 1924 году Поль Груссак заметил: "Литературный урожай, собранный Сервантесом, с некоторым не вполне установленным оттенком латинского и итальянского влияния, вырос главным образом на пасторальных и рыцарских романах, утешительных байках для алжирских пленников. "Дон Кихот" – не столько противоядие от этих вымыслов, сколько полное тайной ностальгии прощанье с ними".

По отношению к реальности всякий роман представляет некий идеальный план; Сервантесу нравится смешивать объективное с субъективным, мир читателя и мир книги. В главах, где обсуждается, является ли бритвенный тазик шлемом и вьючное седло нарядной попоной, эта проблема излагается открыто; в других местах, как я подметил, автор внушает ее исподтишка. В шестой главе первой части священник и цирюльник осматривают библиотеку Дон Кихота; удивительным образом одна из книг – это "Галатея" Сервантеса, и оказывается, что цирюльник – его друг, который не слишком им восторгается и говорит, что автор больше преуспевает в злоключениях, чем в стихах, и что в книге этой кое-что удачно придумано, кое-что намечено, но ничто не завершено. Цирюльник, вымысел Сервантеса или образ из сна Сервантеса, судит о Сервантесе... Удивительно также сообщение в начале девятой главы, что весь роман переведен с арабского и что Сервантес приобрел рукопись на рынке в Толедо и дал ее перевести некоему мориску, которого больше полутора месяцев держал у себя в доме, пока тот не закончил работу. Нам вспоминается Карлейль с его выдумкой, будто "Сартор Резартус" – это неполный перевод произведения, опубликованного в Германии доктором Диогеном Тейфельсдреком; вспоминается кастильский раввин Моисей Леонский, сочинивший "Зогар, или Книгу сияния" и выпустивший ее в свет как произведение некоего палестинского раввина, жившего во II веке.

Игра с причудливыми двусмысленностями кульминирует во второй части; там персонажи романа уже прочли первую часть, то есть персонажи "Дон Кихота" – они же и читатели "Дон Кихота". Ну как тут не вспомнить Шекспира, который включает в сцены "Гамлета" другую сцену, где представляют трагедию примерно того же рода, что трагедия "Гамлет"; неполное соответствие основной и вторичной пьес уменьшает эффект этой вставки. Прием, аналогичный приему Сервантеса, но еще более поразительный, применен в "Рамаяне", поэме Вальмики, повествующей о подвигах Рамы и о его войне с демонами. В заключительной книге сыновья Рамы, не знающие, кто их отец, ищут приюта в лесу, где некий аскет учит их читать. Этот учитель, как ни странно, сам Вальмики; книга, по которой они учатся, – "Рамаяна". Рама приказывает совершить жертвоприношение, заклание лошадей; на празднество является Вальмики со своими учениками. Под аккомпанемент лютни они поют "Рамаяну". Рама слышит историю своих деяний, узнает своих сыновей и вознаграждает поэта... Нечто подобное создал случай в "Тысяче и одной ночи". В этой компиляции фантастических историй раздваиваются и головокружительно размножаются разветвления центральной сказки на побочные, но здесь нет попытки различать уровни их реальности, и потому эффект (которому полагалось бы быть глубоким)

поверхностен, как узор персидского ковра. Всем известна обрамляющая история всего цикла: клятва, данная в гневе царем, который каждую ночь проводит с новой девственницей и на рассвете приказывает ее обезглавить, и замысел Шахразады, развлекающей его сказами, пока не проходят тысяча и одна ночь, – и тут она показывает царю его сына. Необходимость заполнить тысячу один раздел заставила переписчиков делать всевозможные интерполяции. Ни одна из них так не тревожит душу, как сказка ночи DCII, самой магической среди всех ночей. В эту ночь царь слышит из уст царицы свою собственную историю. Он слышит начало истории, которая включает в себя все остальные, а также – и это уже совершенно чудовищно – себя самое. Вполне ли ясны читателю неограниченные возможности этой интерполяции и странная, с нею связанная опасность? А вдруг царица не перестанет рассказывать и навек недвижимому царю придется вновь и вновь слушать незавершенную историю "Тысячи и одной ночи", бесконечно, циклически повторяющуюся... Выдумки, на которые способна философия, бывают не менее фантастичны, чем в искусстве: Джосайя Ройс в первом томе своего труда "The World and the Individual"[1] (1899) сформулировал такую мысль: "Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли и картограф начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно – нет такой детали на английском земле, даже самой мелкой, которая не отражена в карте, здесь повторено все. В этом случае подобная карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себе карту карты карты, и так до бесконечности".

Почему нас смущает, что карта включена в карту и тысяча и одна ночь – в книгу о "Тысяче и одной ночи"? Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем "Дон Кихота", а Гамлет – зрителем "Гамлета"? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены. В 1833 году Карлейль заметил, что всемирная история – это бесконечная божественная книга, которую все люди пишут и читают и стараются понять и в которой также пишут их самих.

Перевод Е. Лысенко

Печатается по изданию: *Борхес Х.Л.* Новые расследования. СПб., 2000. С. 366–369

[1] "Мир и индивид" (*англ.*)

Томас Манн

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ С ДОН КИХОТОМ

19 мая 1934 года

Мы решили для начала выпить в баре по рюмочке вермута, что сейчас и делаем, спокойно дожидаясь отплытия. Я вынул из чемодана эту тетрадь и один из четырех, переплетенных в оранжевое полотно, томиков "Дон Кихота", который меня сопровождает; с разборкой всего остального можно повременить. Ведь пройдет девять, если не десять, дней, пока мы высадимся у антиподов; снова наступит суббота и, как завтра, воскресенье, а за ним еще понедельник и вторник, прежде чем кончится эта высокоцивилизованная авантюра, – степенный голландец, на палубу которого мы так недавно вступили, не доставит нас раньше этого срока. Да и к чему бы? Длительность путешествия, соответствующая приятным, не слишком крупным размерам нашего судна, несомненно, более разумна и сообразна природе, чем бешеная рекордная гонка тех колоссов, что в шесть, а то и в четыре дня проносятся по необъятным далям, расстилающимся перед нами. Медленно, медленно, Рихард Вагнер говорил, что подлинно немецким темпом является анданте; правда, подобные частные решения вечно спорного вопроса: "Что является немецким?" – в достаточной мере произвольны, воздействие их – по преимуществу отрицательного свойства, ибо они побуждают порицать в качестве "ненемецкого" многое, что отнюдь этого не заслуживает, например: аллегретто, скерцандо, спиритуозо. Вагнеровское изречение было бы гораздо более метким, если б он опустил придающее ему сентиментальную окраску упоминание о национальном и ограничился признанием трезвого достоинства медлительности, в чем я вполне с ним согласен. Хорошая работа требует времени. Того же требует и большая работа, иначе говоря: пространство требует для себя времени. Отнимать у пространства то измерение, каким для него является связанное с ним от природы время, или урезывать его в этом отношении – такого рода вещи ощущаются мною как нечто противоестественное, как своего рода нечестие.

Гете, бесспорно дружески относившийся к людям, но не любивший того, чем искусственно повышается способность человека воспринимать окружающее, – микроскопов, подзорных труб, – наверно, одобрил бы мою щепетильность. Правда, тут возникает вопрос, где в таком случае проходит грань греховности, и не являются ли десять дней таким же злом, как шесть или четыре. По-настоящему следовало бы определять на переезд через океан столько же недель, сколько на это уходит дней, и пользоваться ветром, являющимся силой природы, – но ведь и пар является ею. К слову сказать, мы идем на нефти... Но все это начинает походить на разброд в мыслях.

Вполне понятное явление. В нем выражается затаенная тревога. Я просто-напросто волнуюсь, как перед публичным выступлением, – что в этом удивительного? Мне предстоит впервые пересечь Атлантику, впервые встретиться и познакомиться с мировым океаном, а в конце пути, по ту сторону излома земного шара, перекрываемого исполинским водным пространством, нас ждет Новый Амстердам, ми-

ровой город. Таких городов всего четыре или пять: они образуют особую категорию городов-монстров безмерного размаха, не умещающихся даже в разряде больших городов, подобно тому как в сфере природы и ландшафта чудовищно выделяется категория архистихийного – пустыни, моря, высокие горы. Я вырос на берегу Балтийского моря, провинциального внутреннего водоема; в крови у меня традиции старинного города средней величины, умеренная цивилизация, которой свойственна нервозная сила воображения, знающая благоговейный ужас перед стихией, но и иронически ее неприемлющая. Во время шторма в открытом море капитан корабля, на котором плыл Иван Александрович Гончаров, пришел к нему в каюту: он – писатель, он должен посмотреть это грандиозное зрелище. Автор "Обломова" поднялся на палубу, огляделся кругом, сказал: "Безобразие, беспорядок!" – и снова спустился к себе.

Успокоительно действует мысль, что водную пустыню мы встретим в союзе с цивилизацией и под ее защитой на этом добротном корабле, чьи роскошные прогулочные палубы, выкрашенные эмалевой краской коридоры, тянущиеся между двумя рядами кают, гостиные и устланные коврами трапы мы сейчас бегло осмотрели, чьи мужественные командиры и экипаж вообще только и знают, что побеждать стихию. Корабль промчит нас по ней, как белый, сверкающий голубыми окнами хартумский поезд люкс мчит путешественника по зловещим просторам, между пышущими зноем, грозящими смертью холмами Ливийской и Аравийской пустынь...

"Исторгнутость" – достаточно припомнить это слово, чтобы понять, что значит чувствовать себя в лоне человеческой цивилизации. Я невысоко ставлю тех, кто при виде стихии изливается в лирических восторгах перед ее "величием", не проникаясь сознанием ее ужасающе равнодушной неприязни.

Сейчас, однако, самое время года смягчает авантюру, вводит эту неприязнь в рамки известного дружелюбия. Стоит поздняя весна; в такую пору от океана вряд ли приходится ждать слишком буйных выходок, а что до справедливых его требований, то мы надеемся оказаться на высоте их, не поддаться морской болезни, уповая в особенности на таблетки "вазано" в моем саквояже, тоже являющиеся неким гуманным прикрытием тыла. Другое дело, если бы сейчас была зима! Друзья, странствующие виртуозы, рассказывали мне о комических ужасах подобного переезда, которым и мне, мол, по всей вероятности, когда-нибудь придется подвергнуться. Волны? Не волны, а горы! Гауризанкары! Выходить на палубу запрещено, раздосадованного Гончарова не вытащили бы наверх, лучше на все это смотреть в наглухо закрытый иллюминатор. Лежишь, пристегнутый к своей постели, подымаешься, опускаешься сложным, спутывающим все направления, переворачивающим мозг и внутренности одуряющим движением, напоминающим увеселительные пытки наших ярмарок. Видишь, как с головокружительной высоты на тебя несется умывальник, а по полу, наклон которого беспрерывно меняется, в нелепом хороводе, то и дело карамболируя, кружатся сундуки и чемоданы. Вокруг царит неистовый, адский шум, производимый отчасти бушующею вовне стихией, отчасти кораблем, который, все еще ожесточенно сопротивляясь, устремляется вперед, потрясаемый в мельчайших своих составных частях. Это длится три дня или три ночи, – предположим, что два дня уже миновали и настал третий. Все это время ты ничего не ел. Наступает минута, когда тебе приходится вспомнить об этом своем обыкновении.

Уж если ты не умираешь, – на что ты не раз в течение долгих минут безоговорочно готов был пойти за эти дни, – тебе нужно, как-никак, снова подкрепиться, и ты звонишь стюарду, – ведь электрический звонок действует и весь механизм первоклассного плавучего отеля продолжает работать даже среди светопреставления, проявляет дисциплинированность до конца; в этом – утонченный, заслуживающий высокого уважения героизм человеческой цивилизации. Стюард приходит в белой куртке, с салфеткой, – он не валится в каюту, а твердо держится на ногах, возле двери. Среди адского грохота он улавливает твой еле слышный заказ, уходит и возвращается, ловкими вывертами руки охраняя подвергающееся величайшей опасности равновесие горячего блюда, которое несет. Ему приходится выжидать подходящей минуты, той минуты, когда положение вселенной даст ему возможность дугообразным, если не до конца выдержанным, то все же рассчитанным движением поставить блюдо на твою постель. Он улучает эту минуту; все, что от него зависит, он выполняет стойко и умело: размашистый жест как будто удается, но в ту же секунду положение вселенной меняется, и блюдо, перевернутое вверх дном, оказывается на постели твоей жены. – Не может этого быть...

Таковы рассказы, – можно ли не вспоминать о них, в то время как мы маленькими глотками пьем прощальный наш вермут и я пишу все это. Правда, они, эти рассказы, едва ли требуются для того, чтобы повысить мое уважение к нашему предприятию, хотя бы уже потому, что я вообще легко преисполняюсь уважения и, так сказать, всегда хожу высоко вскинув брови, подобно всем тем, кто наделен фантазией – даром занимательным, но провинциальным. С этим даром никогда не станешь светским человеком, ибо он до самой старости "хранит" – если это хвалебное слово здесь уместно – от уверенности в своем превосходстве. Иметь фантазию – не значит выдумывать то, чего нет, а значит считаться с тем, что есть, но это, разумеется, не подобает светскому человеку. Мы, как это ни невероятно, вновь пускаемся в путешествие, предпринятое Колумбом на запредельный Запад; в течение нескольких суток мы (правда, роскошно снабженные всем необходимым) будем носиться в космических пустотах, между континентами, – и что же, я не думаю, чтобы большинство наших спутников это натолкнуло на размышления – подобные размышления. Кстати, где они, наши спутники? Мы одни в обитом тисненой кожей, уютно пустующем зале бара, и мне вспоминается, что на пароходике, доставившем нас сюда из Булонской гавани, мы тоже были едва ли не одни. Стюард бара подходит к нам и, покачивая головой, сообщает, что здесь село четверо пассажиров первого класса, включая нас; человек двенадцать едут из Роттердама; еще четверо явятся вечером в Саутгемптоне, – это все. Что мы на это скажем? Мы заметили, что при таком рейсе компании неизбежно придется доложить большие деньги. Очень печально, – причина в кризисе, в депрессии. Но на обратном пути – так мы единодушно решаем – дела поправятся. В июне для американцев начинается европейский сезон; их манят Зальцбург, Байрейт, Обераммергау, – нехватки не будет: в чаевых – вот что подразумевают обе стороны. Удрученный стюард хотя и выражает сомнение, но все же отчасти удовлетворен, а мы, исходя из наших интересов, соображаем, что плыть на столь малолюдном корабле будет очень приятно. Он будет почти целиком в нашем распоряжении, мы будем чувствовать себя здесь словно на яхте частного лица. И сознание, что ничто и никто мне не помешает, заставляет меня вспомнить

о книге, которую я захватил с собою в дорогу – оранжевого цвета томике, который лежит возле меня и является лишь частью объемистого целого.

Дорожное чтение – общее понятие, в котором звучат отголоски неполноценности. Весьма распространено мнение, что в дороге следует читать лишь самые легкие, самые бессодержательные вещи, вздор, помогающий "коротать время". Я никогда не мог этого уразуметь, ибо, не говоря уже о том, что так называемое занимательное чтение, несомненно, самое скучное, какое только бывает, мне никак не понять, почему именно при таком торжественном, важном случае, каким является путешествие, нужно снижать свои привычные духовные запросы и обращаться к нелепице. Неужели ситуация отрешенности и напряжения, в какой пребываешь во время путешествия, создает душевное настроение, при котором нелепицы отталкивают меньше, чем обычно? Я только что упомянул об уважении. Я питаю уважение к нашему предприятию, поэтому мне приличествует и надлежит уважать то чтение, которое ему сопутствует. "Дон Кихот" – мировая книга, это и есть то, что нужно для путешествия, объемлющего полмира. Отважной авантюрой было написать его, а его прочесть и тем самым воспринять – тоже авантюра, достойная тех обстоятельств, в каких она осуществляется. Как это ни странно, я никогда еще не читал его систематически, до конца. Я хочу выполнить это на борту корабля и справиться с этим морем повествования, как в течение десяти дней мы справимся с Атлантическим океаном.

В то время как я письменно излагал свое намерение, загрохотал кабестан. Мы отплыли. Пойдем на палубу, поглядим на берег и вдаль.

20 мая

Мне не следовало бы делать то, что я делаю, а именно: сидеть сгорбившись и писать. Это не способствует хорошему самочувствию, – ведь море, как говорят американцы, сидящие с нами за одним столом, "a little rough"[1], а колебания парохода, которые нельзя не признать размеренными и не слишком бурными, наверху, где расположена комната, предназначенная для письма, естественно, ощущаются сильнее, чем внизу. Смотреть в окно не годится: вид горизонта, то вздымающегося, то опускающегося, порождает в голове неприятное ощущение, хорошо знакомое по опыту ранних лет, но затем позабытое; однако всматриваться в бумагу и в написанное тоже не очень-то приятно. Странное упорство – во что бы то ни стало, даже при столь неблагоприятных обстоятельствах, придерживаться усвоенной на всю жизнь привычки после утреннего моциона, после завтрака заниматься литературой.

Вчера вечером мы ненадолго зашли в Саутгемптон и взяли на борт тех немногих пассажиров, которые были записаны в этом порту – последнем перед долгим путем, где больше не будет остановок. Ночь уже увлекла нас далеко, в безбрежные дали: смутно еще виднеется южный берег Англии, но пройдет немного времени, и серый, чуть пенящийся диск моря под таким же мутно-серым небом совершенно опустеет, замкнется в себе. Мне не в новость, что море, созерцаемое с корабля в виде неущербленного замкнутого круга, производит на меня далеко не столь сильное

[1] немножко неспокойно (*англ.*)

впечатление, как с берега. Восторг, вызываемый во мне его священным натиском на земную твердь, служащую мне прочной опорой, здесь не рождается. Это разочарование, очевидно, объясняется прозаическим превращением стихии в водный путь, проезжую дорогу – превращением, в силу которого она утрачивает прежний свой характер зрелища, мечты, идеи, духовного проблеска вечности – и становится окружением. Но, судя по всему, окружение не воспринимается эстетически. Так воспринимается только противостоящий нам образ. Шопенгауэр говорит: "Созерцать вещи – весьма приятно, но отнюдь не приятно их переживать". Очень возможно, что истинность этого направленного против всякого душевного томления афоризма подтверждается моим опытом на море. Никакой иллюзии не идет на пользу повседневное, близкое с ней общение, даже если это общение умеряется тем великим, порождающим пристыженность, защитным комфортом, какой предоставляет роскошный пассажирский пароход.

Некоторые требования к нам все же предъявляются. Неизбежен нервный шок в первые часы после замены привычной, устойчивой основы иной, неустойчивой. В течение нескольких дней хождение по трапу, зыблющемуся, рыхло вздымающемуся под ногами и ускользающему из-под них, кажется чем-то недостоверным; хватаешься за голову, кружением изъявляющую протест, и испытываешь соблазн счесть это дурацкой шуткой. Нелепа была прогулка по палубе сегодня утром – эти, словно в параличе, насильственные остановки и пьяные падения ничком, при которых разражаешься презрительно-недоуменным смехом, ибо, как это ни странно, являешь склонность приписывать себе, невзирая на обстоятельства, некое состояние, порождающее столь недостойные следствия, – подобно тому как, подымаясь в гору, считаешь, что у тебя "отяжелели" ноги. Но я с удовлетворением убеждаюсь, что никакие невзгоды, причиняемые мне морем, никакое повышение кислотности и потрясение нервной системы не в состоянии поколебать унаследованную мною от предков, окрепшую в детстве приязнь к соленой стихии. Дурное самочувствие здесь не является поводом к досаде, оно не затрагивает душевного состояния, как, даже будучи сильно выраженным, не затрагивает аппетита; я, так сказать, не обижаюсь на море и думаю, что мое давнее к нему расположение устояло бы даже в том случае, если бы вызванное им недомогание достигло и более высокой степени.

Друг давней юности, прибой,
Я снова встретился с тобой!

Мне вспомнились сегодня утром стихи, которые Тонио Крегер не сумел сложить в нечто целое, когда сердце его жило.

К симптомам несильной морской болезни нельзя не причислить сонливость первых дней, непреодолимую тягу ко сну. Повинно в ней, по всей вероятности, высокое атмосферное давление, но более всего – колебательное движение, убаюкивающее, заволакивающее голову каким-то туманом. Здесь, несомненно, действует то же начало, что и в укачивании детей: сон достигается искусственно, посредством утомления мозга, вызываемого колебанием, – хитрая выдумка кормилиц и нянек, извечная и не слишком добросовестная, подобно опаиванию маком.

Вчера после полудня и вечером под музыку в голубом зале я прочел кое-что из "Дон Кихота", а сейчас, расположившись в палубном кресле, представляющем со-

бою транспозицию – в другую крайность – удобнейшего шезлонга Ганса Касторпа, хочу продолжить это занятие. Какой своеобразный литературный памятник! Подвластный вкусам своей эпохи в большей степени, чем то согласилась бы признать его собственная, направленная против этих вкусов сатира, подвластный им и по своим, зачастую целиком верноподданническим и раболепным, настроениям – и вместе с тем во всем творчески-эмоциональном свободный, в силу своей критичности и всечеловечности высоко вознесшийся над временем. Не могу передать восхищения, которое вызывает во мне перевод Людвига Тика, этот гибкий, богатый оттенками немецкий язык эпохи классики и романтики, наш язык в счастливейший его период. Он как нельзя лучше передает огромного размаха юмористический стиль книги, лишний раз внушающий мне соблазн заявить, не обинуясь, что юмористическое является существеннейшим элементом эпического, заставляющий меня ощутить их слитность, – хотя вряд ли это можно объективно обосновать. Романтически-юмористическим стилевым приемом является самый трюк, в силу которого вся "великая и достопáмятная история" выдается за перевод и комментированную переделку арабской рукописи, сочинителем которой якобы является "мориск", иначе говоря, мавр Сид Ахмет бен-Инхали, и на которую для вида ссылается автор, почему он нередко пользуется косвенными оборотами, как, например: "В истории сказано, что...", или: "Благословен всемогущий аллах!" – восклицает Ахмет бен-Инхали в начале этой восьмой главы"[1]. Подлинным юмором проникнуты зазывно-резюмирующие заголовки, вроде следующего: "Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем", или же пародийно-шутливое "О событиях, которые, как говорит бен-Инхали, станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием". Наконец, юмористичной в самом глубоком смысле является подлинно человеческая многогранность, жизненно-правдивая двузначность обоих главных персонажей, которую автор с гордостью осознает при сравнении с ненавистным ему, низкопробным продолжением. Продолжение это, сочиненное из зависти к мировому успеху романа неким предприимчивым кропателем, изображает Дон Кихота просто-напросто сумасбродом, заслуживающим, чтобы его нещадно колотили, а Санчо – ненасытным обжорой. Дышащий презрением ревнивый протест против подобного опошления не раз звучит во второй части "Дон Кихота" и побуждает Сервантеса полемизировать в прологе, к слову сказать, выдержанном в духе чрезвычайного, правда, притворного, достоинства и самообладания. В нем он, пользуясь испытанным риторическим приемом, приписывает читателю жажду мести и посрамления, сам же отказывается от мести с благородством, которое было бы под стать самому ламанчцу. "Тебе бы хотелось, – обращается он к читателю, – чтобы я обозвал его (автора подложного "Дон Кихота") ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу; он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет".

Все это звучит красиво и по-христиански. Единственное, что не могло не задеть его за живое, – это то, что "тот господин" (автор подложного "Дон Кихота") "назвал его стариком и безруким", словно в его, Сервантесе, власти "удержать время, чтобы

[1] Здесь и далее цитаты из "Дон Кихота" приводятся в переводе Н. Любимова.

оно нарочно для меня остановилось, и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произойдут в век грядущий", – речь идет о битве при Лепанто. "Также объявляю во всеобщее сведение, – продолжает он, ловко парируя удар, – что сочиняют не седины, а разум, который с годами обыкновенно мужает". Это тоже очаровательно. Но кроткая просветленность седовласого Сервантеса отнюдь не проявляется в тех язвительнейших соображениях, которые он просит читателя передать "тому господину" с целью уяснить жалкому кропателю, что "одно из самых больших искушений – это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько денег, и столько же денег, сколько и славы". Эти рассуждения бесспорно свидетельствуют о жажде мести, о лютой ярости, сильнейшей ненависти, о не вполне отчетливо осознанном страдании, причиняемом художнику смешением того, что имеет успех, несмотря на хорошее выполнение, с тем, что имеет успех потому, что выполнено плохо.

Сервантесу пришлось испытать, что бездарное изделие, выдаваемое за продолжение его труда, точно так же обошло весь свет, читалось столь же усердно: в нем были скопированы наиболее грубые из тех черт, которым подлинный "Дон Кихот" обязан своим успехом. Комизм сумасбродства, то и дело награждаемого палочными ударами, и мужицкого обжорства – этим подражатель вполне обошелся; задушевность, мастерство слога, грусть и человеческая проникновенность оригинала в нем отсутствовали, и, как это ни ужасно, никто этого не заметил; толпа – так могло показаться – не увидела никакой разницы. Это нестерпимо обидно для художника, и когда Сервантес говорит о "чувстве тошноты и омерзения", которое вызывает тот, другой "Дон Кихот", он имеет в виду свои собственные переживания, хотя и приписывает их публике, и подлинную вторую часть труда он должен был написать для того, чтобы избавить не читателей, а самого себя от чувства тошноты и омерзения, которое в нем возбуждало не только это бездарное изделие, но и – поскольку оно получило признание – успех его собственного труда. Бесспорно, вторая часть Дон Кихота", о которой автор уведомляет читателя, что она скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая", способна была реабилитировать успех первой, спасти художественную честь этого опороченного успеха. Но вторая часть уже не обладает изначальной свежестью, безмятежным простодушием первой, показывающей, как из непритязательного замысла, жизнерадостно задуманной старины, которой автор вначале не придавал большого значения, par hasard et par génie[1] вырастает народная книга, книга человечества. Вторая часть была бы менее отягощена гуманизмом, книжной ученостью, налетом некоей холодной литературности, если бы при ее созидании не сыграло большой роли честолюбивое желание выделиться изысканностью. В частности, здесь более четко, более сознательно разработана уже упоминавшаяся мною многогранность главных персонажей. Именно этим вторая часть должна прежде всего доказать, что "скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая". Конечно, Дон Кихот безрассуден, – увлечение рыцарскими бреднями сделало его таким; но этот являющийся анахронизмом конек в то же время служит источником такого подлинного благородства, чистоты, тонко-

[1] волею случая и дарования (*фр.*)

го изящества, такого внушающего искреннюю симпатию и глубокое уважение достоинства всего его облика, и физического и духовного, что к смеху, вызываемому его "печальной", его гротескной фигурой, неизменно примешиваются удивление и почтение, и каждый, кто встречается с ним, ощущает, недоумевая, искреннее влечение к жалкому и вместе с тем величественному, в одном пункте свихнувшемуся, но во всем остальном безупречному дворянину. Дух, претворившийся в некий сплин, – вот та сила, которая поддерживает его и облагораживает, благодаря которой никакие унижения не могут умалить его нравственного достоинства. И то, что толстяк Санчо Панса, со своими пословицами, своей находчивостью и мужицким здравым смыслом, заинтересованный отнюдь не в "идее", приносящей одни только палочные удары, а лишь в набитой съестным котомке, – что Санчо все же чутьем понимает этот дух, всею душой предан своему доброму нелепому господину и, несмотря на все невзгоды, которые претерпевает на его службе, никак не может с ним расстаться, не покидает его, блюдет беззаветную верность истого оруженосца, хотя ему и приходится иной раз надувать своего повелителя, – это прекрасно, это заставляет нас полюбить и его, наделяет его образ человечностью и возносит его из сферы чистого комического в сферу задушевно-юмористичного.

Санчо – поистине народный персонаж, ибо в нем воплощено отношение испанского народа к благородному безрассудству, служить которому оруженосец волей-неволей призван. Этот вопрос занимает меня уже со вчерашнего дня. Мы видим, что целая нация провозглашает меланхолическое переряжение и доведение до абсурда своих классических свойств, какими являются величавость, идеализм, неуместно проявляемое великодушие и верность, себе в ущерб, рыцарским традициям – самой замечательной, самой достославной своей книгой, с горделивой, тихой грустью узнает себя в этой книге. Разве это не изумительно? Историческое величие Испании – позади, в далеких веках; в наше время ей приходится преодолевать трудности приспособления. Но меня интересует именно различие между тем, что громко именуют "историей", и духовным, человеческим. Быть может, иронизирование над собой, вольное и поэтически-легкомысленное отношение к себе еще не делают народ особо пригодным играть роль в истории; но они привлекательны, – а в конечном итоге, привлекательность или омерзительность тоже ведь имеет значение в истории. Что бы там ни говорили историки-пессимисты, у человечества есть совесть, хотя бы только эстетическая, вкусовая. Правда, она покоряется успеху, fait accompli[1] власти, независимо от того, каким путем власть эта водворилась. Но в глубине души оно не забывает всего того человечески некрасивого, неправедно-насильственного и зверского, что совершилось в его среде, и в конечном итоге без его расположения никакой успех, завоеванный силой и умением, не окажется прочным. История – это житейская действительность, для которой надо быть рожденным, для которой требуется умение и о которую разбивается неуместное великодушие Дон Кихота. Это внушает симпатию и кажется смешным. Но чем бы в таком случае явился Дон Кихот – идеалист в противоположном смысле, мрачный и пессимистически приверженный насилию, Дон Кихот зверства, который притом все же оставался бы Дон Кихотом? До этого юмор и меланхолия Сервантеса не дошли.

---

[1] совершившемуся факту (*фр.*)

21 мая

(Шезлонг, палуба, пальто и плед.)

Со вчерашнего вечера почти беспрерывно воет сирена: она, если не ошибаюсь, выла всю ночь и снова принялась предостерегать сегодня утром. Накрапывает дождик, горизонт – каждодневная наша бесконечность – застлан серой пеленой, ход замедлен. Вдобавок ветрено, но море по-прежнему не слишком бушует, поэтому не приходится говорить о дурной погоде.

На черной доске, висящей на площадке трапа, над дверью в столовую, и служащей для оповещения пассажиров, мы сегодня утром прочли по-английски, что всех нас в одиннадцать часов утра просят явиться, имея при себе проездные билеты, к обозначенным соответствующими номерами стоянкам спасательных шлюпок, чтобы получить от их командиров инструкции на случай крайности. Я не видел, выполнили ли другие это распоряжение; что касается нас, то мы после бульона, разносимого в это время стюардами в белых куртках, отправились к указанному месту, так как "крайность" весьма интересует меня среди этого все затушевывающего комфорта, цель которого – заставить забыть о серьезности положения. По дороге нам, сомневавшимся, правильно ли мы идем, повстречался старший стюард, хорошо знакомый нам по столовой и оказавшийся командиром нашей шлюпки, призванным нас инструктировать и спасать, – приветливый голландец, при небольшом запасе слов говорящий по-английски и по-немецки с одинаковой, полной юмора беглостью, изображающий добродушие и, наверное, очень оборотистый, с горбатым, оседланным золотыми очками носом, – такие у нас чаще всего встречаются в Швабии, – в красиво обшитом галунами сюртуке, который он по вечерам сменяет на другой, покороче, он смокингообразным вырезом. Он повел нас к месту предполагаемой "крайности", на открытую палубу для прогулок, и на своем забавно-приятном, гортанном и в то же время жестковатом немецком говорке, характерном для нидерландцев, спокойно, как бы вскользь объяснил нам, как производится посадка в шлюпки; нет ничего проще и безопаснее: шлюпка, моторная шлюпка, прехорошенькая, только уж очень маленькая, спускается в случае сильного волнения с верхней палубы, повисает вот здесь, у релинга, мы садимся, затем она оказывается на воде, – "ну, а потом, – так он говорит, – я доставлю вас домой".

Домой? Странная формулировка! Это звучит так, словно мы на волнах скажем ему свой адрес, а затем он в спасательной шлюпке отвезет нас по этому адресу. Домой, – а что это слово, в сущности, означает? Должно ли оно означать Кюснахт близ Цюриха, в Швейцарии, где я поселился год тому назад и где чувствую себя скорее в гостях, чем дома, – почему и не могу пока еще считать это место надлежащей целью для спасательной лодки? Или же, если удалиться несколько в прошлое, оно обозначает мой дом в мюнхенском Герцогспарк, на берегу Изара, где я рассчитывал окончить свои дни и который тоже оказался лишь временным пристанищем, квартирой не на долгий срок? Домой, – вероятно, для этого нужно вернуться к самому дальнему, в край моего детства, в любекский отчий дом, по сей день стоящий на своем месте – и все же исчезнувший в глубине прошлого. Странный у нас командир шлюпки и спасатель со своими очками, золотыми нашивками на рукавах и своим неопределенным "Домой"!

Так или иначе, мы получили нужные инструкции, а затем еще побеседовали с нашим ангелом-хранителем, в особенности потому, что мне хотелось знать, были ли с ним когда-нибудь такие неприятные случаи и приходилось ли ему принимать участие в подобных посадках. Три раза, – отвечал он. Три раза на протяжении его кочевой жизни это уже случалось с ним; тем, кто так много плавает в море, не очень-то легко этого избегнуть. Но как же так? В чем была причина? – "Наталкивались! – отвечает он с шутливым недоумением, – наталкивались, какая же еще причина? Это всегда может случиться, если долго плаваешь в море". Мы никак не могли отчетливо представить себе подобную картину, не могли постичь, каким образом дипломированные мореплаватели, которым мы слепо верим, ошибаются якобы так легко и часто, что суда то и дело "наталкиваются". Но более точных сведений нам не удалось от него добиться. Этому препятствовала скупость его делового словарного запаса, хотя пользуется он им непринужденно и с юмором. Быть может, то, что он рассказывал, было всего-навсего бахвальством, наподобие мечтательного посула "доставить домой".

В столовой он по преимуществу ухаживает за неким, очевидно привыкшим жить в свое удовольствие, американским семейством, постоянно заказывающим кушанья, которые не значатся на карте, и ублажающим себя особо изысканными яствами – омарами, шампанским, икрой, нежнейшими омлетами. Правда, он, заложив руки за спину, с выражением профессионального юмора в прикрытых очками глазах подходит то к одному, то к другому столу, каждому уделяя частицу своей приветливости. Но у стола американцев он останавливается дольше и чаще всего, внимательно наблюдает за подачей изысканных яств, а нередко и сам красиво раскладывает их. В интересе, с которым окружающие следят за этой "просперити", нет ни малейшей неприязни, – ведь лишений никто не испытывает. Еда очень обильна, и, что особенно важно, это обилие можно варьировать по своему желанию. Никакое точно определенное меню не берет нас под свою опеку. В нашем распоряжении вся карта, отпечатанная убористым шрифтом, все время меняющаяся; руководствуясь ею, вы выбираете блюда сообразно вашему аппетиту и самочувствию и могли бы, если бы у вас хватило сил, три раза в день поедать в любом порядке все, что вам предлагается, начиная с hors d'oeuvres[1] и кончая ice creams[2]. Но как ограниченны возможности человека! Пароходная компания это знает, и, наверно, проводимый ею принцип свободы выбора оказывается экономичным, в особенности зимой.

Мы сидим за круглым столом, посредине столовой, вместе с двумя судовыми офицерами: доктором – молодым, симпатичным, американцем по национальности, – и казначеем – голландцем, классически невозмутимым и обладающим таким аппетитом, что ему всегда подают двойные порции. К нам присоединились еще двое: добродушный низкорослый делец из Филадельфии, большой любитель шампанского, обличьем и складом ума напоминающий мне представителей цивилизованного купечества моей родины, и немолодая, одетая с буржуазной тщательностью, из желания быть приветливой то и дело смеющаяся девица, ездившая навестить родных в Голландию и возвращающаяся восвояси. После высадки ей

---

[1] закусок (*фр.*).

[2] мороженым (*англ.*).

придется еще пересечь весь континент, – ее родина в штате Вашингтон, у Тихого океана.

Люди путешествуют – порою и неразумно. Моя жена вне себя по поводу малюток из Роттердама, двойняшек, в чью колясочку мы частенько заглядываем на палубе и которых везут в гости к бабушке, в Южную Каролину. Старушке хочется повидать внучат, – прекрасно, но ведь это страшно эгоистично. Южная Каролина расположена южнее Сицилии, в июне там очень жарко, и если роттердамские малютки заболеют кровавым поносом и умрут, что тогда скажет бабушка, во что бы то ни стало пожелавшая их видеть? Это не наше дело, но когда один и тот же горизонт замыкает в себе и нас, и подобные явления, поневоле над ними задумываешься.

У малюток няня-еврейка; она читает модные романы. Мать вместе со старшими детьми обедает неподалеку от нас, в углу столовой; остальные посетители нам тоже давным-давно – так нам кажется – примелькались. Их немного, они все те же. В пути никто не садится и не высаживается, – невозможность этого очевидна, и все же нет-нет да и ловишь себя на чаянии как-нибудь увидеть новое лицо. Затем есть еще стол, занятый молодыми голландцами, очевидно путешествующими для собственного удовольствия и то и дело разражающимися взрывами хохота; и пятый стол, за которым сидит капитан в обществе пожилой, благообразной американской супружеской четы. В часы дневного чая и после обеда супруги эти, держась очень прямо, сидят друг подле друга в музыкальной гостиной и читают. Это было бы все, если б не enfant terrible нашего общества – ширококостный янки с сильно выступающим вперед ртом, тем самым рыбьим ртом англосаксов, под которым лондонские полисмены закрепляют ремень своей каски, – человек на вид лет тридцати пяти, потребовавший для себя отдельный столик, за едой читающий книгу и ни с кем не общающийся. Правда, его нередко видят в третьем классе играющим в shuffle board с евреями-эмигрантами. Его обособленность шокирует всех, отношение к нему неприязненное. Мне много раз приходилось видеть, как он, полулежа в шезлонге или сидя в столовой, делает какие-то заметки в своем блокноте. С ним что-то неладно, что чувствуют все. Ни на что не похоже – сторониться всех и в то же время развлекаться в третьем классе. Наверное, он, хотя его вечерний костюм и вполне корректен, писатель, критически относящийся к общественному строю и враждующий с ним. Я несколько завидую упорству, с каким он настоял на отдельном столике, и слегка ревную его к евреям-эмигрантам, которых он удостаивает общения. Я сумел бы не хуже их понять мысли, развиваемые им в его записях, – мое самолюбие заверяет меня в этом, хотя я и должен признаться, что в настоящий момент меня занимают вопросы не столько социального, сколько эстетического и психологического порядка.

В течение всего дня я тешусь эпическим вымыслом Сервантеса, тем, что по его воле приключения второй части – или хоть некоторая доля их – проистекают из литературной славы Дон Кихота, из популярности, которой он и Санчо пользуются благодаря "их" роману, пространной истории, в которой они доподлинно изображены, – благодаря первой части. Никогда бы им не довелось побывать при герцогском дворе, если бы они уже не были, по книге, так хорошо известны высокой чете, пришедшей в восторг от возможности лично, "взаправду" познакомиться со странствующими чудаками и ради своей сиятельной потехи оказать им гостеприимство. Это

совершенно ново и оригинально; в мировой литературе я не знаю другого случая, когда бы герой романа таким образом жил славой своей славы, если можно так выразиться, своей громкой известностью, ибо повторное появление в обширных циклических романах уже знакомых персонажей, как мы это видим у Бальзака, – нечто совсем иное. Правда, их реальность в известной степени подтверждается, усиливается и углубляется старым с ними знакомством, тем, что они, уже побыв в повествовании, появляются в нем опять; но эта реальность остается в том же плане, что и раньше, категория иллюзий, к которой она принадлежит, не меняется. У Сервантеса здесь внесено гораздо больше романтической мистификации, иронической магии; в этой второй части Дон Кихот и его оруженосец покидают ту сферу действительности, к которой принадлежали, роман, в котором жили, и, радостно приветствуемые читателями их историй, облеченные плотью, пускаются в виде потенцированных реальностей разгуливать по некоему миру, который, подобно им, представляет в сравнении с миром предшествовавшим, миром книги, более высокую степень реальности, хотя, как и он, опять-таки является миром повествования, иллюзорным оживлением фиктивного прошлого, почему Санчо и позволяет себе в шутку сказать герцогине: "...А оруженосец, который выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, – это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть я хочу сказать, в книгопечатне". Мало того, Сервантес еще вводит персонаж из ненавистного подложного продолжения своей книги, чтобы заставить его путем соприкосновения с действительностью убедиться в том, что тот Дон Кихот, с которым он связан по ходу повествования, никак не может быть подлинным и настоящим. Эти вольты совершенно в духе Э.-Т.-А. Гофмана, как и вообще здесь прекрасно видно, откуда взялось все это у романтиков. Они не были, надо сказать, величайшими из художников, но они изощреннее других размышляли о хитроумных глубинах искусства и иллюзорного, о непостижимых тайнах отображения; именно потому, что они были художниками одновременно и искусными и стоявшими над искусством, ироническое разложение формы являло для них такую опасную заманчивость. Полезно отдавать себе отчет в том, что эта опасность тесно связана со всякой техникой художественной реализации в плане юмористического. От шутливости некоторых приемов реализации эпического лишь один шаг к остроумно-трюковому, к уже лишенным четкой формы и веры в форму шутовским проделкам. Так я, неожиданно для читателя, даю ему возможность своими глазами лицезреть Иосифа, сына Иакова, сидящим при свете луны у колодца, сравнить его личность во плоти и крови, привлекательную, хотя человечески несовершенную, какая она есть, с той идеалистической славой, которой тысячелетия заволокли его образ. Мне хочется думать, что юмор подобной реализации, создающей благоприятные возможности и пользующейся ими, еще лежит в пределах бережного и почтительного отношения к искусству.

22 мая

Итак, мы, в силу безостановочного действия машины, изо дня в день равномерно движемся вперед по океанским просторам, и, погружаясь утром в столь приятную мне теплую ванну из клейкой, слегка отзывающей гнилью морской воды, пропитывающей всю кожу солью, я с удовольствием думаю, что за ночь, во время сна, мы вновь оставили позади изрядную долю необозримого пространства. Погода вре-

менами как будто проясняется, в небе показывается синева, своим ярким, напоминающим юг отблеском подкрашивающая и воду, но вскоре этот теплый свет снова поглощается пасмурной дымкой.

Под вечер мы зачастую, обвеваемые попутным ветром, стоим на верхней палубе и наблюдаем, как корабль, держа путь на запад, режет диск океана. Мы все время плывем в сторону заходящего солнца, колебания курса ничтожны; вчера мы устремлялись в самую точку заката, сегодня несколько отклонились на юг. Прекрасное, гордое это зрелище – плавное следование большого корабля по беспредельным горизонтам, форма движения, несомненно являющая больше достоинства, нежели бешеная, петлистая гонка курьерских поездов. Поражает абсолютная пустота вокруг, на "маршруте", по которому плавают корабли всех мореходных стран. Уже четвертые сутки как мы в пути, но по сегодняшний день нам не пришлось видеть даже полосы дыма над далеким пароходом. Это легко объяснимо: здесь избыток места. В этом просторе есть нечто космическое; многочисленные корабли теряются в нем, словно звезды в небесном пространстве, и встреча двух судов является редкой случайностью.

Ежедневно черная доска напоминает нам о том, чтобы мы переводили часы назад, в пределах от получаса до сорока минут, – вчера их было тридцать девять. Официально это происходит в полночь, но мы выполняем это важное действие вскоре после обеда, продлевая таким образом вечер, дабы не удлинилась ночь, и снова переживаем, за чтением или за музыкой, отрезок уже прожитого времени. Да, мы призадумываемся, заставляя часовую стрелку вновь пройти во времени часть того пути, который она сегодня совершила в третий раз. Тридцать девять минут, помноженных на десять, – это шесть с половиной часов, которые мы потеряем, – нет, выиграем, – в продолжение этого путешествия. Как, неужели, двигаясь вперед в пространстве, мы движемся назад во времени? Конечно, раз путь лежит к закату, в сторону, противоположную вращению Земли. Слово "космическое", как-то невзначай употребленное мною раньше, здесь как нельзя более уместно. Становятся ощутимыми связи, соединяющие нас с мировым пространством и временем и, вопреки комфорту, призванному банализировать стихийное, лишить его внушительности, влияющие на сознание; мы неприметно переходим в чуждые нам дни, в места земной поверхности, вращающиеся мимо солнца в иную пору, чем другие населенные ее части; у нас еще будет ночь, мы будем спать, когда там, на родине, уже яркий день. Все это ясно, хорошо всем известно, но поскольку это теперь коснулось нас, мы вновь это обсуждаем; если бы мы плыли все дальше и дальше на запад и таким образом возвратились бы домой через Дальний Восток, то в пути прирост времени дошел бы до крайнего предела – до целого дня, до изменения календарной цифры, а затем снова пошел бы на убыль, так что в конце концов свелся бы на нет; то же самое произойдет и в том случае, если мы возвратимся в нашу часть света не кружным путем, а той же дорогой. Жалеть об этом не приходится, – прирост времени не означает прироста длительности жизни, и если бы мы попытались обмануть космос и, прибыв к месту назначения, не двинулись бы ни вперед, ни назад, а сидели бы с выигранными нами шестью часами на одном месте и стерегли бы их, как Фафнир свое сокровище, то от этого к органически определенному нашей жизни сроку не прибавилось бы ни одной секунды.

Что за мысли, приличествующие школьнику! Но разве не правда, что космологическому созерцанию мира, если сравнить его с его противоположностью – созер-

цанием психологическим, – присуще нечто инфантильное? Мне вспоминаются при этом блестящие, по-детски круглые глаза Альберта Эйнштейна. Ничего не могу с собой поделать: мне кажется, что познание гуманитарное, углубление в человеческую жизнь носит более зрелый, более взрослый характер, чем спекулятивные рассуждения о Млечном Пути, и, проникнутый глубочайшим почтением, я хотел бы, чтобы это оказалось истиной. Гете говорит: "Каждой отдельной личности надлежит предоставить свободу заниматься тем, что ее привлекает, что доставляет ей удовольствие, что ей кажется полезным; но истинное познание человечества – в познании человека".

Что касается "Дон Кихота", то это поистине причудливое произведение, – наивно грандиозное в своей непосредственности и непревзойденное в своей противоречивости. Я не перестаю недоумевать над вкрапленными в него новеллами, авантюрно-сентиментальными и выдержанными совершенно в стиле и вкусе тех самых изделий, осмеяние которых художник поставил себе задачей, так что читатели вволю могли насладиться в книге тем, от чего автор намерен был их отучить, – весьма приятный вид лечения от вредных привычек. Здесь автор сбивается с роли, как если бы он своими пасторальными новеллами стремился доказать, что то, что под силу его эпохе, под силу и ему, более того, – что он в этом достиг высокого совершенства. Но вопрос о том, не сбивается ли он с роли и в тех гуманистических речах, которые нередко вкладывает в уста своего героя, не разрушает ли он этим цельность его характера, не возносит ли героя выше его уровня, не говорит ли, вопреки законам художества, только от своего имени и за себя, – этот вопрос для меня не решен. Такие речи, как, например, о воспитании, о поэтах прирожденных и о тех, кто становится поэтами единственно с помощью мастерства, – выслушиваемые случайным попутчиком, дворянином в зеленом плаще, – превосходны: они дышат чистейшим умом, справедливостью, благоволением к людям и формальным благородством; недаром дворянин в зеленом плаще был поражен ими, и притом настолько, что его первоначальное предположение о безумии нашего рыцаря рассеялось. Так оно и должно быть, и читателю также следует отказаться от этого предположения. Дон Кихот безрассуден, но отнюдь не безумен, в чем, правда, сам автор первоначально не отдавал себе полного отчета. Его уважение к личности, созданной его собственным комическим вымыслом, непрерывно возрастает в течение всего повествования, и, быть может, процесс этого роста – самое захватывающее во всем романе, едва ли даже не самодовлеющий роман; притом он тождествен росту уважения автора к своему произведению, задуманному непритязательно, как некая грубоватая сатирическая шутка, без представления о том, какой символической вершины человечности герою суждено будет достичь. Следствием этого оптического перемещения является тесная солидарность автора со своим героем, стремление поднять его до своего собственного духовного уровня, сделать его рупором своих взглядов и воззрений и восполнить нравственной стойкостью и высокой образованностью то подлинно рыцарское изящество, которое безрассудная идея Дон Кихота придает ему, несмотря на всю плачевность его обличья. Дух, которого исполнен повелитель Санчо Пансы, и форма выражения им своих мыслей – вот то, что зачастую внушает оруженосцу безграничное восхищение, да и для многих других являет неотразимую привлекательность.

23 мая

Волнение утихло. Стало теплее, веют менее резкие, влажные ветры Гольфстрима.

Я начинаю день с того, что в целях моциона четверть часа играю на палубе в мяч с дек-стюардом из Гамбурга, отрекомендовавшимся мне в качестве усердного моего читателя. Весьма приятно затем начинать завтрак с половинки грейпфрута – освежающего, похожего на огромный апельсин плода, который на пароходе имеется отменного качества и мякоть которого, для большего удобства вкушающих, предварительно на кухне посредством особого инструмента отделяют от кожуры. Зато мне никак не удается приохотить себя к замороженному коктейлю из томатов, на мой вкус приторному, который американцы пьют перед каждой трапезой.

Так как миоцион необходим, а вечное кружение по прогулочной палубе действует одуряюще, мы решили заняться играми , которые на палубе в большом ходу, и по утрам, да и после полудня, проводим за ними целые часы. В обществе приветливого молодого голландца, присоединившегося к нам, мы играем в shuffle board – игру, красные, помеченные цифрами квадраты которой всюду нарисованы на досках палубы. Занимательное, хорошо придуманное упражнение! Длинной лопатообразной палкой нужно толкать в эти квадраты круглые плоские деревяшки; вся штука в том, чтобы попасть прямо в середину, так, чтобы деревяшка не коснулась контуров квадрата, обходить при этом грозную минусовую зону, стремиться к квадрату, обозначенному цифрою +10, исправлять последующими ударами промахи и между делом, искусно карамболируя, сгонять противника с выгодных позиций – все действия, которые легче описать, чем выполнить, и которые в силу неровности пола, а главное – неустойчивости самого места игры, поминутного наклона палубы то в одну, то в другую сторону, представляют большие трудности, становятся делом нелепой случайности. Мало помогает, если целишься самым даже добросовестным образом: деревяшки, направляемые неведомыми силами, летят куда попало, и в результате испытываемой игроком досады к внешнему моциону присоединяется и внутренний, так что трапезы, за которые мы садимся после игры, вполне нами заслужены.

Более изысканной игрой, чем shuffle board, является дек-гольф, в котором игроки, стоя на некоем подобии зеленого луга в миниатюре – ровной площадке, обтянутой зеленой материей, – стараются молоточками при возможно малом числе ударов направлять легкие шары из шести расположенных рядом исходных точек сквозь узкие ворота в лунку, находящуюся на другом конце площадки. Теоретически вполне возможно достичь этого одним ударом, по крайней мере исходя из средних точек, расположенных по той же линии, что ворота и лунка. Но как редко это удается! Три удара делают честь любому участнику, два – считаются блестящим рекордом. Обычно у ворот происходят величайшие конфузы и рикошеты, и незадачливому игроку приходится помечать на доске шесть или семь ударов.

Перед чаем и после обеда мы обычно сидим в голубом зале, именуемом здесь Social Hall[1], и слушаем музыку. Иногда – в особенности днем – мы единственные

[1] Общественный салон (*англ.*)

слушатели; музыканты тогда играют ради нас одних, хотя мы отлично могли бы без этого обойтись. Но в зале должен быть хоть один человек, а то они не играют. Временами мы с палубы видим в окно, как они уныло, словно безработные, расхаживают около своих пультов в безлюдном помещении. Но стоит кому-нибудь из пассажиров войти в зал, как они берутся за инструменты и немедленно начинают играть.

Оркестр состоит из рояля, двух скрипок, контрабаса и виолончели. Концертмейстер в то же время и дирижер. Программы бессодержательны, – что поделаешь! Вершина – их попурри из "Кармен", фантазия на мотивы "Травиаты". Обыкновенно – тут слово "обыкновенно" как нельзя более кстати – они исполняют приспособленные для чаепитий, при наличии честолюбия подражающие Пуччини, приторные пьесы, которыми услаждает себя средний цивилизованный человек во всем мире и которые ему преподносят и среди необъятных просторов, дабы за свои деньги он, в привычном окружении, мог себя чувствовать в безопасности. Все в этих путешествиях рассчитано на то, чтобы вызвать забытье, бездумность, и я из врожденной строптивости смотрю иногда под звуки этих пошлых улещиваний в окно, на прогулочную палубу, и сквозь ее окно дальше – на северо-зеленую, пенящуюся бездну и на горизонт, вздымающийся, секунду-другую пребывающий в таком положении и снова погружающийся вниз.

Мы аплодируем музыкантам, и они каждый раз, по-видимому испытывая радостное удивление, через концертмейстера изъявляют нам благодарность. Но и помимо нас они получают удовольствие от своей работы и делятся им друг с другом: в некоторых местах они переглядываются, обмениваются знаками и словечками, понятными им одним, пересмеиваются. Я приглядываюсь к ним, и мне думается, что они заслуживают серьезного к себе отношения. Вот они сидят и пиликают, исполняя слащавые пустячки, как это им и полагается. Но уже неоднократно отмечалось и свидетельствовалось, что при известных обстоятельствах они точно так же способны сидеть и до последней минуты играть "Nearer, my God, to thee". Именно с этой точки зрения на них и следует смотреть.

В промежутках между всем этим я читаю свой оранжевый томик и изумляюсь неистовой жестокости Сервантеса. Ибо, несмотря на тесную солидарность автора со своим героем, о которой я вчера писал, и на его к нему уважение, он неистощим в придумывании смехотворнейших, постыднейших для Дон Кихота и его доблести положений, в измышлении фантастических, полных комизма, унизительных происшествий вроде истории с творогом, который "низменно мыслящий" Санчо спрятал в шлем своего господина; там творог слежался и отжался, и в самую патетическую минуту сыворотка начинает течь по лицу и бороде Дон Кихота, который немедленно высказывает предположение, что у него либо растопился мозг, либо он весь взмок от пота, причем решительным тоном добавляет: "Но если я и впрямь вспотел, то уж, конечно, не от страха". Есть нечто сардоническое и юмористически-дикое в таких измышлениях, так, например, – приведу еще один случай, – омерзительное, в сущности, происшествие, когда Дон Кихота подвергают предельному поношению: сажают в деревянную клетку и возят в ней. Палочные удары сыплются на него без конца, почти в таком же изобилии, как на Луция в "Золотом осле". И все же автор любит и уважает его. Разве вся эта жестокость не смахивает на самобичевание, издевательство над самим собой, самоистязание? Мне даже думается, что Сервантес

тут предает осмеянию свою много раз поруганную веру в идею, в человека и в возможность его облагородить, и что это исполненное горечи примирение с низменной действительностью является подлинным определением юмора.

Чудесна оценка переводческого дела, которую Сервантес вкладывает в уста Дон Кихота. Ему кажется, – говорит он, – что переводить с одного языка на другой – то же, что рассматривать фламандские стенные ковры с изнанки, "ибо рисунок хоть и виден, но все же искажен затягивающими его нитями и не являет красоты и совершенства лицевой стороны... Я не делаю, однако, отсюда вывода, что ремесло переводчика – мало похвальное занятие". Удивительная по своей меткости характеристика! Исключение он делает только для двух испанских переводчиков – Фигероа и Хауреги. У них, по его отзыву, поистине едва различаешь, где перевод и где подлинник. По всей вероятности, это были необыкновенные люди. Но, во имя Сервантеса, хотелось бы присоединить к ним еще одного – Людвига Тика, наделившего Дон Кихота лицевой стороной – немецкой.

24 мая

Вчера я вспомнил и упомянул о "Золотом осле", и это не случайно, ибо я нападал на след некоей связи "Дон Кихота" с позднеантичным романом, связи, о которой я, по малой своей осведомленности, не знаю, отмечена ли она другими или нет. В самом деле, соответствующие места и эпизоды обращают на себя внимание своей необычайностью, причудливостью своих мотивов, указывающей на древность происхождения; и характерно то, что мы находим их во второй, духовно более ценной части книги.

Так, в девятнадцатой главе имеется рассказ о свадьбе Камачо "и других поистине забавных происшествиях". Забавных? На этой свадьбе творятся страшные вещи, но, объявив их "поистине забавными", автор как бы предупреждает о том, что все эти ужасы – не что иное, как шутовство, обман, плутовские проделки, исподтишка подсмеивающееся лицедейство, трагическое дурачение читателя и тех, кто участвует в этих событиях, в конечном итоге разрешающихся радостным изумлением. "Поистине забавным" образом здесь описывается деревенское празднество – свадьба прекрасной Китерии с богатым Камачо, удачливым соперником отвергнутого красавицей – правда, отвергнутого вопреки ее собственному желанию – славного юноши Басильо, с самых ранних лет полюбившего соседскую дочь Китерию, которая отвечает ему взаимностью; перед богом и людьми они, несомненно, имеют право принадлежать друг другу, и лишь под жестоким давлением отца соглашается Китерия на брак с Камачо. Все участники празднества в сборе. Уже должно состояться венчание, как вдруг слышатся хриплые крики и среди присутствующих проявлений злосчастный Басильо, одетый в черный камзол с "нашивками в виде языков пламени". Прерывающимся голосом он обращает к Китерии и объявляет ей, что, не желая являться моральной помехой полному, совершенному счастью ее и Камачо, он сам уйдет прочь с дороги. "Много лет, – этим возгласом он заканчивает свою речь, – много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственной Китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству!" С этими словами он из своего посоха, воткнутого в землю, выхватывает скры-

тую в нем, как в ножнах, короткую шпагу и, укрепив в земле ее рукоять, бросается на острие, так что окровавленное стальное лезвие входит в него до половины и пронзает насквозь; несчастный, обливаясь кровью, падает наземь.

Трудно даже представить себе, что пышное, веселое празднество могло быть прервано столь ужасным образом. Все бросаются к Басильо. Сам Дон Кихот, спрыгнув с Росината, бежит на помощь несчастному; священник не отходит от него и не разрешает извлечь из раны шпагу, прежде чем Басильо не исповедуется, а то, мол, если извлечь, он тотчас испустит дух. Злосчастный Басильо начинает подавать признаки жизни и слабым голосом выражает желание, чтобы Китерия в смертный его час отдала ему свою руку в знак согласия стать его женой, – тогда его греховная смерть будет иметь оправдание. Как он представляет себе это? Неужели он думает, что богатый Камачо согласится отказаться от своих прав в пользу умирающего? Священник увещевает Басильо, уговаривает его помыслить о спасении души, исповедаться, но Басильо, по-видимому уже находящийся при последнем издыхании, отвечает, закатив глаза, что ни за что не станет исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, на что почтенный Камачо, из опасения погубить христианскую душу, в конце концов изъявляет согласие, и священник благословляет их. Но тотчас после этого Басильо вскакивает на ноги, извлекает из своей груди шпагу, сидевшую там, как в ножнах, и дерзко заявляет тем, кто уже громко кричат "Чудо! чудо!":

– Не "чудо, чудо", а хитрость, хитрость!

Словом, оказывается, что шпага прошла не сквозь грудь и ребра Басильо, а сквозь жестяную трубочку, искусно прилаженную и наполненную кровью, и что влюбленные заранее сговорились об этой проделке, которая благодаря покладистости Камачо, а также и мудрым настоятельным уговорам Дон Кихота кончается тем, что Китерия остается с Басильо.

Допустимо ли такое? Сцена самоубийства показана с величайшей серьезностью, в ней звучат трагические ноты; она вызывает безраздельный ужас и сострадание не только в сердцах всех тех, кто присутствует при ней, но и в сердцах читателей, – и что же? В конце концов она оказывается смехотворным обманом, скоморошеством. Не без досады вопрошаешь себя, приличествуют ли, в сущности говоря, такие мистификаторские приемы искусству – тому, что в нашем понимании является искусством? Но дело в том, что от Эрвина Роде, а также из прекрасного исследования будапештского мифолога и историка религий Карла Кереньи о греко-восточном романе я узнал, что сочинители поздней античности питали пристрастие к подобным сценам. Александрийский романист Ахиллей Татий в своей "Истории Левкиппы и Клитофонта" пространно, не опуская ни одной жестокой подробности, рассказывает, как разбойники в болотистых низинах Египта зверски умерщвляют героиню, притом на глазах ее возлюбленного, отделенного от нее широким рвом. В ту минуту, когда он в своем безмерном отчаянии намеревается лишить себя жизни на ее могиле, к нему подбегают его спутники, которых он тоже считал мертвыми, вытаскивают из могилы Левкиппу целой и невредимой и объясняют Клитофонту, что уговорили разбойников-буколов, взявших их в плен, поручить им умерщвление Левкиппы и посредством бутафорского кинжала с подвижным клинком и наполненной кровью кишки, которой они обвязали девушку, создали видимость совершившего-

ся злодейства. Мне думается, – быть может, я ошибаюсь, – что в этой главе "Дон Кихота" использован рассказ о кишке, наполненной кровью, и обо всем этом донельзя грубом надувательстве.

Второй эпизод воскрешает в памяти самого Апулея. Я имею в виду чрезвычайно странное "приключение с ослиным ревом", рассказанное в двадцать пятой и двадцать шестой главах, – рассказ о том, как двое деревенских судей, у одного из которых пропал осел, рука об руку отправляются пешком в лес, где рассчитывают найти этого осла, и, убедившись, что его там нет, пытаются приманить его, подражая ослиному реву, изощряясь в этом искусстве, которым оба они великолепно владеют. Разойдясь в разные стороны, они принимаются реветь по-ослиному, и, как только слышится рев одного из них, другой бежит ему навстречу, полагая, что осел уже сыскался, ибо никто, кроме осла, не мог бы реветь так естественно, и каждый из них расточает другому похвалы, восхищаясь его изумительным дарованием. Что касается осла, то он упорно не является, так как лежит, обглоданный волками, в самой чащобе. Там судьи наконец находят его и, разочарованные и охрипшие, возвращаются восвояси. Но молва о том, как они состязались в пении, распространяется по всей округе, вследствие чего крестьяне их деревни подвергаются насмешкам жителей окрестных селений: стоит последним увидеть кого-нибудь из односельчан обоих судей, как они начинают реветь по-ослиному, а это вызывает жестокие раздоры, более того – побоища между селами. Санчо Панса и Дон Кихот попадают в эту местность в самый разгар приготовлений к одному из таких боев, ибо, как это сплошь и рядом бывает, жители ослиной деревни не преминули насмешку обратить в предмет гордости, сделать из нее некий палладиум: они отправляются в бой со знаменем, на белом атласном фоне которого изображен ослик с раскрытой пастью и высунутым языком. С этой эмблемой они, вооружившись копьями, арбалетами, секирами и алебардами, выступают навстречу противникам ослиного рева, чтобы завязать с ними бой, как вдруг к воинственным крестьянам подъезжает Дон Кихот. Он обращается к ним с призывом, именем разума увещевая их отказаться от своего намерения и не идти на кровопролитие из-за пустяков. Все слушают его, по-видимому, очень охотно. Но тут Санчо, желая поддержать своего господина, перебивает его и портит все дело. Он заявляет крестьянам, что глупо обижаться из-за одного только ослиного рева, и присовокупляет, что в юности ревел по-ослиному так искусно и натурально, что на его рев отзывались все ослы, какие только были в деревне; и, желая доказать, что искусство это, подобно плаванию, однажды будучи постигнуто, век не забывается, он, зажав рукою нос, начинает реветь с такой силой, что по всем окрестным долинам прокатывается эхо, – реветь, как оказывается, к величайшему для себя ущербу. Ибо крестьяне, неминуемо приходящие в бешенство от ослиного рева, жестоко избивают Санчо Пансу, а самому Дон Кихоту приходится, вопреки своему обыкновению, пуститься наутек от угрожающих ему секир и арбалетов. Он во весь опор мчится прочь от толпы крестьян. Немного погодя за ним уныло следует Санчо, которого крестьяне, едва он немного пришел в себя, положили поперек его осла. Впрочем, дружинники, до ночи тщетно прождав врага, не принявшего их вызов, вернулись к себе в деревню веселые и довольные. "И если бы, – прибавляет ученый автор, – им был ведом обычай древних греков, они на этом самом месте непременно сложили бы трофей".

Удивительное происшествие! В нем слышатся отголоски, сквозят намеки, происхождение которых, мне кажется, вполне ясно. В мире греко-восточных религиозных представлений осел играет совершенно особую роль. Он – то животное, которое посвящено злому брату Осириса, Тифону-Сету, "Рыжему", и коренящаяся в мифах ненависть к нему еще так сильна была в средневековье, что раввины – комментаторы Библии именуют Исава, рыжего брата Иакова, "диким ослом". С этим фаллическим существом неразрывно было связано представление о побоях. Выражение "колотить осла" имеет культовую окраску. Ослов целыми стадами в порядке ритуала гоняли вокруг городских стен, нещадно их избивая. Существовал даже благочестивый обычай сбрасывать Тифоново животное со скалы – тот самый вид умерщвления, которого с таким трудом удается избежать превращенному в осла Луцию в романе Апулея, когда разбойники угрожают ему "низвержением". К тому же его нещадно колотят за ослиный рев, совсем как Санчо Пансу, да и вообще непрестанно дубасят, покуда он пребывает ослом, – таких избиений можно насчитать до четырнадцати. Добавлю, что, по Плутарху, жители некоторых селений до того ненавидели ослиный рев, что отвергали даже медные трубы, ибо звук их напоминал им этот рев. Не являются ли деревни, о которых повествуется в "Дон Кихоте", воспоминаем об этих не в меру чувствительных селениях?

Испытываешь какое-то странное чувство, видя, как у писателя испанского ренессанса в наивно-замаскированном обличье оживают эти подлинно мифические мотивы. Откуда он их почерпнул? Из непосредственного знакомства с античным романом? Или, быть может, они дошли до него из Италии, через посредство Боккаччо? Пусть разрешают этот вопрос ученые.

В течение дня прояснилось, в небе синева. Море фиалкового цвета, – не так ли сказано у Гомера? Около полудня мы видели, как плыли над водой в сиянии солнца восхитительные, подобные отмелям полосы тумана, – целой вереницей, молочно-белые, словно для ангельских стоп созданные, нежная светящаяся фантасмагория.

25 мая

Молодой доктор не доверяет погоде. Конечно, она хороша, но ни в чем нельзя быть уверенным, раз мы еще не вышли из полосы влияния Гольфстрима. Пока что мы наслаждаемся благоприятной переменой – потеплением, как-никак дающим нам чувствовать, что мы незаметно переходим в иные, более южные зоны; наслаждаемся ясной синевой, большей плавностью движения по утихшим волнам, пребыванием на открытой палубе, где мы, то греясь на солнце, то укладываясь в тени, проводим почти весь день. Приходится беречь лицо от коварных солнечных ожогов. Из-за ветра жара не ощущается, а тем временем солнце исподтишка оказывает свое в конечном итоге болезненное действие.

Вчера вечером в Social Hall состоялся киносеанс – даже этот дар цивилизации должен, по воле наших фрахтовщиков, быть к нашим услугам в пути, и крайне забавно наслаждаться им при данных обстоятельствах. В одном конце зала был установлен белый экран, в другом – источник картин и звуков, чудо-аппарат, в который

благодаря прогрессу превратилась Laterna magica[1] нашего детства. Сидишь, одетый в смокинг, среди слегка колышущегося великолепия гостиной, в кресле, у вызолоченного столика, пьешь чай, куришь сигареты и, как в любом "Эльдорадо" или "Капитолии" на суше, смотришь на двигающиеся, говорящие тени там, на экране, – поразительная ситуация! Однако положение действующих лиц ничуть не уступало нашему, – они окружены были таким же, если не большим великолепием и комфортом. Необходимой предпосылкой их бытия и судеб являлось устойчивое благосостояние, смягчавшее, к утешению зрителя, те конфликты и испытания, которые им приходилось переживать. Так и должно быть. Анфилады просторных, пышных гостиных, столы, уставленные хрусталем и серебряными вазами с фруктами, – фильм охотнее всего показывает богатство: народу – для сладких мечтаний, тем, кто олицетворяет власть денег, – для приятного самолюбования. Наш фильм, американского производства, поведал нам о пожилом директоре крупного предприятия, который, испытывая непреодолимое дилетантское влечение к музыке, живописи, красоте, возвышенным страстям, покидает жену и в погоне за призрачными своими мечтами отправляется в Париж. Но эта неподобающая такому лицу попытка кончается неудачей, правда не слишком катастрофичной: женщина, воплотившая в себе его мечту, достается молодому музыканту, создавшему себе имя благодаря его поддержке, и в последней сцене мы видим, как директор по телефону объявляет снисходительной супруге о скором своем возвращении. Конец, хоть и меланхолический, однако весьма сносный – ведь зритель знает, что разочарованного, но, надо думать, и умиротворенного путешественника снова ждут анфилады гостиных и столы, уставленные хрусталем.

Плохо было лишь одно – что все эти приятные сцены, вполне приличествующие общественному положению героев, проходили перед столь малочисленным обществом – перед десятком людей вместо тех сотен, на которые рассчитан был большой зал роскошного парохода, голубой, раззолоченный, пустота которого, зияющая и убыточная, являла картину экономического строя, трещавшего в кризисе по всем швам. Даже не все те, кто входил в состав нашей маленькой стойкой дружины, были налицо. Я не видел американца с рыбьим ртом, делающего заметки. Где он обретается? Опять у евреев-эмигрантов в третьем классе? Беспокойный человек. Едет первым классом, обедает, одетый в смокинг, в нашей столовой, но от духовной нашей пищи отказывается самым оскорбительным для нас образом и удаляется в чуждые нам, враждебные сферы. Человеку следовало бы знать, где его место. Следовало бы проявлять солидарность.

Приключение со львами, несомненно, является самым доблестным из всех "деяний" Дон Кихота и поистине представляет собой кульминацию всего романа: чудесная глава, насыщенная комическим пафосом, патетическим комизмом, в котором сквозит подлинное восхищение, внушенное автору героическим сумасбродством его героя. Я прочел ее два раза подряд, и содержание ее, странно волнующее, величаво-смешное, не выходит у меня из головы. Уже самая встреча с украшенной флажками повозкой, где сидят африканские львы, которых губернатор Орана отсылает ко двору в подарок его величеству, – прелестная жанровая сценка. А напря-

[1] волшебный фонарь (*лат.*)

жение, которое, – после всего того, что уже знаешь о слепой доблести Дон Кихота, растрачиваемой им впустую, – испытываешь, читая, как он, к ужасу своих спутников и не давая "сбить себя с толку" никакими разумными доводами, настаивает на том, чтобы сторож открыл клетку и выпустил свирепых голодных зверей на бой с ним, – напряжение это свидетельствует о необычайном искусстве, с которым автор, многократно видоизменяя один и тот же эмоциональный мотив, умеет сохранить за ним всю его свежесть и действенность. Ведь безрассудная отвага Дон Кихота поражает именно потому, что он отнюдь не так безумен, чтобы не отдавать себе отчета в ней. "Нападение на львов, – говорит он потом, – я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее безрассудство, ибо мне хорошо известно, что такое храбрость, а именно: это такая добродетель, которая находится между двумя порочными крайностями, каковы суть трусость и безрассудство. Однако ж наименьшим злом будет, если храбрец поднимается и досягнет до безрассудства, чем если он унизится и досягнет до трусости; и насколько же легче расточителю стать щедрым, нежели скупцу, настолько же легче безрассудному превратиться в истинного храбреца, нежели трусу возвыситься до истинной храбрости". Какое тонкое, морально-возвышенное разграничение понятий! Наблюдение, сделанное рыцарем Зеленого плаща, безупречно правильно: все речи Дон Кихота толковы и складны, но все поступки, которые он совершает, исходя из них, нелепы, безрассудны и ни с чем не сообразны. И едва ли автор не усматривает в этом некоей естественной и непреложной антиномии высокоразвитой моральной личности.

Классическая, сотни раз увековеченная художниками сцена, как тощий, долговязый идальго, спешившись, – ибо он опасается, что его кляча окажется менее храброй, чем он сам, – вооруженный плохоньким мечом и таким же щитом, готовый к нелепому бою стоит перед отпертой клеткой, с бесстрастным вниманием всматривается во все движения огромного льва, и с героическими нетерпением ждет, чтобы лев поскорее вступил с ним "врукопашную", – эта изумительная сцена в изложении Сервантеса снова ожила передо мной, как и ее продолжение, повествующее о столь же благоприятном, сколь и конфузном для Дон Кихота презрении, с каким противник отнесся к его доблестным намерениям, и о крушении их. Ибо благородный лев, на которого скоморошество и дерзкие выходки не производят никакого впечатления, мельком взглянув на рыцаря, повернулся, "показал ему зад", а затем "прехладнокровно и не торопясь" снова вытянулся в клетке. Героизм сведен на нет простейшим образом. Все то постыдное и смешное, что присуще положению отвергнутого, обрушивается на Дон Кихота в силу презрительно-равнодушного поведения величавого зверя. Это приводит его в неистовство. Он приказывает сторожу дать льву несколько палочных ударов, чтобы разозлить его и выгнать из клетки. Однако сторож наотрез отказывается выполнить это требование и объясняет рыцарю, что тот в достаточной мере проявил свою храбрость; "от самого храброго бойца, сколько я понимаю, – говорит он, – требуется лишь вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани; если же неприятель не явился, то позор на нем..." – и так далее. Дон Кихот в конце концов внемлет его уговорам и поднимает на острие копья в знак победы тот самый платок, которым он вытирал с лица творожный пот, а бежавший Санчо, обернувшись назад и завидев этот знак, говорит: "Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, – ведь он нас кличет".

Здесь отчетливее, чем где бы то ни было, выражена решительная готовность автора одновременно унизить и возвеличить своего героя. Но унижение и возвеличение – понятия соотносительные, насыщенные христианскими чувствами, и это их психологическое соединение, это пронизанное юмором слияние свидетельствуют о том, насколько Дон Кихот является порождением христианской культуры, христианского сердцеведения и человечности, – и о непреходящем значении христианства для духовного мира, для искусства и, наконец, для человечества, его смелого развития и освобождения. Мне вспоминается мой Иаков, простершийся в прах перед юным Элифасом, испытавший предельное унижение – и затем во сне, из глубин своей все же не смирившейся души творящий несказанное свое возвеличение. Что бы ни говорили – христианство, этот цвет иудаизма, является одним из двух устоев, на которых зиждется западная цивилизация; второй – античное Средиземноморье. Отрицание теми или иными из числа народов, объединяемых западной цивилизацией, хотя бы одной из этих основных предпосылок нашей морали и образованности, или их обеих, повлекло бы за собой выход этих народов из этого объединения и невообразимый, впрочем – благодарение Богу! – совершенно неосуществимый поворот человечества вспять, до какого предела – не знаю. Яростная борьба Ницше, этого поклонника Паскаля, с христианством была противоестественной причудой и, по правде сказать, всегда ставила меня в тупик, как и многое другое у этого злосчастного героя. Гете, более уравновешенный духовно и более свободный, несмотря на свое убежденное язычество, с изумительной яркостью выражал свое преклонение перед христианством, воспринимая его как ту смягчающую нравы силу, которою оно является, и как своего союзника. В такие тревожные времена, как наше, всегда склонные смешивать то, что присуще данной эпохе, с непреходящим (например, либерализм – со свободой) и вместе с водою выплескивать ребенка, – в такие времена всякий сколько-нибудь вдумчивый и духовно свободный человек, не только несущийся по воле ветра своего века, испытывает потребность вновь поразмыслить о непреложных основах, вновь их осознать и отстаивать. Критика, которой наш век подвергает христианскую мораль (не говоря уже о догме и мифологии), поправки, вносимые в нее соответственно современному жизнеощущению, – как бы далеко они ни заходили, как бы значительно они ее ни преобразовывали, все же касаются лишь поверхности. Сокровенных глубин – всего того, что созидает, определяет и связует, христианской культуры людей Запада, того, что, однажды будучи обретено, уже не может быть утрачено, – они не затрагивают.

26 мая

Газета, выходящая на пароходе, достаточно никчемна. Она выпускается ежедневно, кроме воскресений, дабы путешествующие по океану не испытывали недостатка в свежеотпечатанных известиях, как не испытывают они недостатка в свежеиспеченном хлебе. Нам ее просовывают в щель под дверь нашей каюты, где мы, возвращаясь из столовой после ленча, находим ее, подбираем и тут принимаемся за чтение, ибо кто знает, что начнет вытворять Европа, едва только отлучишься? Газета в значительной части – это особенно касается объявлений и иллюстраций – отпечатана заранее и поэтому лишена актуальности. Но на пароходе имеется ведь

радиостанция, и при кажущемся нашем одиночестве, нашей заброшенности среди водной пустыни мы пребываем в связи со всем миром, можем посылать сообщения во все стороны и сами принимать их отовсюду, и то, что приносят нам радиоволны из всех стран света, помещается в столбцах, для этой цели оставленных незаполненными. Что мы прочли сегодня? В зоологическом саду какого-то города Западной Америки тигру во время болезни давали виски в лечебных целях, и буйный зверь так пристрастился к этому напитку, что по выздоровлении не пожелал отказаться от него и ежедневно требует свою порцию виски. Это сообщение наряду с другими, сходными с ним, напечатано в пароходной газете. Приятная новость, конечно. Те, кто поместили ее, недаром рассчитывали на наше игриво-сочувственное отношение к тигру, ставшему любителем алкоголя. И, однако, не кроется ли здесь нечто вроде злоупотребления? Чудо техники – радиотелеграф – обречено служить передаче подобных новостей на суше и на море. – Ох уж это мне человечество! Его духовное и нравственное развитие не поспевает за техническими его успехами, далеко отстает от них, – что в данном случае лишний раз подтверждается, и это-то и заставляет сомневаться в том, что будущее его будет счастливее, нежели прошлое. Ведь именно дистанция между технической его возмужалостью и незрелостью его в других отношениях создает то исполненное недоверия любопытство, с которым хватаешься за всякую газету – и находишь сообщение о веселом тигре! Хорошо еще, если не что-нибудь похуже. Правда, с несерьезностью нашей радиостанции дело обстоит совершенно так же, как с легкомыслием наших бортмузыкантов. В случае надобности она вполне сумеет передать сигнал SOS – она и это может. И ради спасения достоинства техники ты готов пожелать, чтобы случай к тому представился.

Вчера вечером поднялся сильный ветер, и ночью была сильная боковая качка, а сегодня снова чудесная погода и тепло, как летом. Мы видели, как из воды вынырнула большая рыба, напоминающая дельфина. Слух о том, что мы в пути переехали кита, по-видимому, ложен. Пассажиры думают, что так полагается на море, а потому сообщают друг другу подобные россказни.

Около полудня стюард бара указал нам на стаю птиц – чаек, качавшихся на волнах довольно близко от парохода, – несомненный признак того, что мы уже не слишком далеко от земли. Однако не только час, но даже день нашего прибытия нельзя еще точно определить. Говорят, что при устойчиво благоприятном течении и тихой погоде оно состоится послезавтра, в понедельник, после полудня. На это возражают, что туманы первых дней сильно задержали нас и мы войдем в Гудзон не ранее вторника. Неопределенностью часа и даже дня прибытия путешествие морем тоже разнится – я чуть было не сказал: выгодно разнится – от путешествия по железной дороге. В путешествии морем, несмотря на предельный комфорт, есть нечто первобытное, большая подвластность стихии, большая неуверенность и подверженность случаю, – все это невольно ощущаешь как некие привлекательные особенности. Почему? Неужели и у меня – в том, что мне это по вкусу – проявляется, честно говоря, пересыщение механизмом цивилизации, склонность отречься от него, отвергнуть его как нечто губительное для души и жизни и утверждать, искать форму бытия, которая снова приблизила бы нас к первобытному, стихийному, неустойчивому, на военный лад импровизируемому и обильному приключениями? Неужели и во мне сказывается свирепствующая повсюду жажда "иррационального", тот культ, опасность

которого для человека, легкость злоупотребления которым мое критическое чутье ведь живо ощущало, которому я, по присущему мне как европейцу влечению к разуму и порядку, противоборствовал, – скорее, быть может, ради равновесия, нежели потому, что во мне самом не было того, с чем я боролся? Как повествователь я пришел к мифу, правда гуманизируя его, – чем вызываю безграничное к себе пренебрежение со стороны людей, признающих одно лишь непосредственное чувство, стремящихся перевоплотиться в варваров, – правда, пытаясь создать некое сочетание мифа и гуманности, которое, как мне думается, окажется более плодотворным для будущности человечества, нежели односторонне связанное с определенным моментом противоборство духу, стремление завоевать симпатии современников ревностным попранием разума и цивилизации. Чтобы быть в состоянии подготовлять будущее, нужно не только "стоять на уровне времени" в смысле актуального движения, к которому, преисполнясь гордости и захлебываясь от презрения к отсталому либералу, сведущему и в кое-чем другом, причастен всякий осел. Для этого нужно ощущать современность во всей ее сложности и противоречивости внутри самого себя, ибо не единым, а многообразным подготовляется будущее...

Захватывает и полон значения рассказ о встрече Санчо Пансы с мориском Рикоте, лавочником из его деревни, который после обнародования указа об изгнании мавров вынужден был покинуть Испанию, а затем, в одежде паломника, вновь пробирается туда, влекомый тоской по родине, но заодно и желанием откопать клад, некогда зарытый им в поле. Эта глава являет собой умнейшее сочетание заверений в лояльности, изъявлений безграничной преданности автора католической вере, подлинно верноподданнических чувств, питаемых им к "великому" Филиппу Третьему, и наряду с этим – живейшего, человечнейшего участия к жестокой судьбе целого народа, указом об изгнании неумолимо, без малейшего снисхождения к страданиям отдельных лиц принесенного в жертву мнимому благу государства и ввергнутого в несказанные бедствия. Заверения эти – та цена, которою автор купил право на сочувствие. Но всегда, так мне думается, было ясно, что первые являлись политической уловкой, необходимой, чтобы выразить второе, и что искренни лишь те чувства, которые он питает к маврам. В уста мавра, так жестоко пострадавшего, он вкладывает одобрение указов его величества, признание, что они были "вполне справедливы". Многие – так, по воле автора, говорит Рикоте – думали, что королевский указ – пустая угроза, не принимали его всерьез. Но сам он сразу решил, что этот указ – настоящий закон, который будет беспощадно приводиться в исполнение, а понял он это потому, что знал о "преступных замыслах" своих соплеменников, замыслах такого свойства, что, касается, само провидение побудило его величество "принять и претворить в жизнь это смелое решение". Преступные замыслы, оправдывающие божественное внушение, точнее не определяются; они пребывают стыдливо окутанными мраком. Но они, по словам Рикоте, существовали, хотя он и оговаривается, что не все мориски были к ним причастны; среди нас, – повествует он, – были также стойкие и подлинные христиане; но таких было слишком мало, и как бы то ни было, опасно пригревать на своей груди змею и иметь врагов в своем собственном доме.

Рассуждения, которые автор приписывает жестоко пострадавшему мориску, изумительны по своему благоразумию и беспристрастию. Но они неприметно пере-

ходят в иную плоскость. Вполне справедливо было, говорит Рикоте, осудить мавров на изгнание, и многие считали эту кару мягкой и милосердной; но на деле она оказалась самой ужасной, какой только можно было подвергнуть его самого и весь его народ. "Всюду, куда бы ни забросила нас судьба, мы плачем по Испании; мы же здесь родились, это же настоящая наша отчизна, и нигде не встречаем мы такого приема, какого постигшее нас несчастье заслуживает, но особенно нас утесняют и обижают в Берберии и повсюду в Африке, а ведь мы надеялись, что там-то нас уж верно примут с честью и обласкают". И мориск, выходец из Испании, продолжает сетовать так горько, что его жалобы трогают нас до глубины души. Не хранили мы, говорит он, того, что имели, а теперь вот, потерявши, плачем, и почти всем изгнанникам до того хочется возвратиться в Испанию, что они бросают на произвол судьбы жен и детей и с опасностью для жизни пробираются на родину – так велика их тоска по ней. И теперь он по себе знает, что недаром говорится: "Нет ничего слаще любви к отечеству".

Каждому ясно, что эти проявления неискоренимой любви к родине, глубокой привязанности к ней красноречивейшим образом опровергают покаянные речи о "змее, пригретой на своей груди", о "врагах в собственном доме" и великой справедливости указа об изгнании. Все, что автор говорит от имени Рикоте во второй половине его речи, исходит от его сердца, и несравненно убедительнее, чем то, что глаголет его раболепно-осторожный язык; он искренне сочувствует этим изгнанникам, являющимся такими же добрыми испанцами, как он сам и всякий другой, ибо они родились в Испании, которая после их исхода не станет лучше, а лишь беднее; она их подлинная, настоящая родина, где они пустили глубокие корни, вне которой они всюду будут чужими, и везде и повсюду из их уст будут слышаться слова: "у нас", "у нас в Испании то или иное было так или вот так, то есть: лучше". Сервантесу – неимущему, зависимому литератору – никак нельзя было обойтись без верноподданничества; но, осквернив на миг-другой свое сердце ложью, он тотчас очищает его от этой скверны – очищает лучше, чем очистила себя Испания пресловутыми указами. Он осуждает жестокость этих, только что им одобренных указов, он порицает ее – не прямо, а подчеркивая любовь изгнанников к своему отечеству. Он даже отваживается говорить о "свободе совести"; Рикоте рассказывает, как он из Италии пробрался в Германию и там ему "показалось привольнее, оттого что местные жители на разные мелочи не обращают внимания: каждый живет как хочет, ибо почти во всей стране существует свобода совести".

Прочтя эти строки, я в свою очередь ощутил патриотическую гордость, хотя слова, возбудившие ее во мне, были сказаны очень уж давно; всегда приятно слышать из чужих уст хвалу своей отчизне.

27 мая

У моря погода всегда переменчива, но еще более переменчива и ненадежна погода в открытом море, где к колебаниям метеорологических условий присоединяется непрерывное движение, переход из одной климатической зоны в другую. Вчерашняя теплынь уже к вечеру, когда небо заволоклось тучами, сменилась какой-то жуткой духотой, влажной, дымной, невыразимо тягостной и настолько гнетущей

нервы, что мы вот-вот ждали катастрофы и резкой перемены погоды. Вечерний костюм был чрезвычайно стеснителен, мы обливались потом под крахмальными сорочками, а чай еще усиливал испарину. Не знаю, как долго это тянулось, но сегодня все по-другому. Утро было прохладное, пасмурное. Туман временами сгущался, и снова часами выла сирена. Но и это кончилось. Ветер переменил направление, небо прояснилось, но, назло солнцу, погода оставалась – по крайней мере в сравнении с тропической жарой вчерашнего вечера – такой холодной, что для лежанья в шезлонге на палубе понадобились плед и пальто.

В воздухе уже чувствуется беспокойство, предшествующее прибытию. Сегодня воскресенье. Говорят, мы прибудем в ночь с понедельника на вторник, но до утра будем стоять вблизи устья, а в гавань войдем во вторник, в семь часов утра.

Я должен еще вернуться к тому, что писал вчера, и уяснить самому себе, в какой значительной мере факт связанности творца "Дон Кихота" религией и верноподданством повышает духовную ценность его свободы, человеческую весомость его критики. Меня сильно занимает вопрос об относительности всякой свободы, то обстоятельство, что стать духовной ценностью, показателем более высокого достоинства свобода может лишь в обрамлении значительной, притом не только внешней, но и внутренней, подлинной несвободы и зависимости. Трудно составить себе представление о той зависимости, той подчиненности, в которой в прежние времена пребывала творческая личность, о том освобождении творческого "я", которое принесла эпоха бюргерства и о котором можно сказать, что оно оказалось плодотворным лишь в редких случаях, для очень крупных художников. В ту пору для людей, занимающихся искусством, – даже для тех, кто достигал высокого совершенства, – характерен был духовный строй, душевный уклад, присущий скромным ремесленникам, и лишь время от времени отдельные личности, счастливо одаренные той великой творческой мощью, которой покоряются властелины, возносились несравненным превосходством своего духа над этим укладом; такие условия, пожалуй, были в целом более благоприятны для преуспеяния художников, чем нынешние, когда дело начинается с раскрепощения, с "я", со свободы, с главенства, и нет уже той конкретной скромности, которая взращивает подлинное величие. Когда-то начинающий художник или ваятель, задумавший посвятить себя делу искусного, умелого украшения мира и стремившийся изучить эту прекрасную профессию, поступал в ученье к хорошему мастеру, мыл кисти, растирал краски, учился с азов. Из него выходил толковый подмастерье, которому старик мастер иной раз поручал кое-что в своих работах, наподобие того как профессор-хирург в конце операции говорит ассистентам: "Доделайте!" Наконец он сам, если все шло хорошо, становился добропорядочным мастером своего дела, – большего ему и не требовалось. Он именовался "artista" – это слово покрывало оба понятия: понятие художника и понятие ремесленника; в Италии еще и поныне так именуется всякий ремесленник. Гений, выдающаяся личность, одинокое дерзание являлись исключениями, которые возвышались над скромной и подлинной, богатой предметным знанием культурой ремесленников, и в своем росте достигали царственного величия; причем надо еще помнить, что и те, кто достигал высшей славы и величайших почестей, оставались преданными сынами церкви, от нее получали заказы и сюжеты для них. В наши дни, как я уже говорил, начинают с гения, личности, духа, обособленности, и это нельзя

не считать болезненным явлением. Гуго фон Гофмансталь, в силу свойственных австрийцам итальянских черт интуитивно близкий восемнадцатому веку, как-то раз остроумно, с большим юмором изобразил мне разительные перемены, происшедшие с тех времен в жизнеощущении музыканта. По его словам, бывало, мастер этого искусства, когда к нему являлся посетитель, говорил приблизительно следующее: "Присаживайтесь! Кофейку хотите? Сыграть вам что-нибудь?" Так это происходило когда-то. А нынче вид у них всех, как у больных орлов. "Конечно, так оно и есть. Творческие личности стали больными орлами в силу процесса возвеличения, которому искусство подверглось с той поры и который в массе злосчастным образом вознес и меланхолизировал этих людей, да и самое искусство сделал обособленным, меланхоличным, одиноким, непонятным, – "больным орлом".

Справедливо, разумеется, что писатель является представителем иного рода творческой деятельности, нежели artista, подвизающийся в сфере изобразительных искусств, и нежели музыкант; что писательство занимает среди искусств особое место, ибо техни́ческое в нем играет менее значительную и во всяком случае иную, нематериальную, более духовную роль, и что связь его с миром духовного в целом более непосредственна. Писатель – не только художник, он художник иного, более одухотворенного порядка, ибо посредником для него является слово, его орудие – духовного свойства. Но по отношению к нему тоже хотелось бы желать, чтобы свобода и раскрепощение значились в конце, а не в начале, естественно возникали бы из скромности, ограничения, зависимости, подчиненности, ибо, повторяю, свобода лишь тогда становится ценной, лишь тогда придает более высокое достоинство, когда она отвоевана у несвободы, когда она является освобождением. Человеческое участие Сервантеса к судьбе мавра, скрытое осуждение, которое он тем самым выносит жестокостям, содеянным во имя блага государства, – какую силу, какую моральную значимость они приобретают благодаря тем раболепным речам, которые Сервантес им предпосылает и в которых выражается отнюдь не лицемерие, а подлинная духовная скованность! Достоинство и свобода, подобающие человеку, творческое раскрепощение художника, предельная смелость духа, предстающие нам в Дон Кихоте как смешение жестоко унижающей нелепости и трогательного величия, все это – гений, духовное величие, высшее дерзание – берет начало в благочестивой зависимости, вытекающей из подчиненности святейшей инквизиции, в формальной верноподданности монарху, в искании покровительства таких вельмож, как граф Лемосский и дон Бернардо де Сандоваль и Рохас, в восхвалении их "всему миру известной" щедрости. И все это возникает из верноподданнической скованности так же непроизвольно и неожиданно, как само произведение, по начальному замыслу – занимательная сатирическая шутка, перерастает в мировую книгу и символ человечности. Я считаю, что, как общее правило, великие произведения вырастали из скромных замыслов. Честолюбию не место в начале творческой работы; оно должно расти вместе с самим творением, стремящимся превратиться в нечто большее, нежели то, что было задумано радостно недоумевающим художником, и с этим творением, а не с личностью художника, оно должно быть связано. Нет ничего более ошибочного, чем абстрактное, довещное честолюбие, честолюбие в себе, независимо от созидаемого, бледное честолюбие своего "я". У таких художников действительно вид больных орлов.

28 мая

Последний день в море. Вчера нам уже повстречался корабль – впервые со дня нашего отплытия, почему эта встреча и произвела сенсацию. Судно было датское, примерно тех же размеров, что и наше, на корме развевался датский флаг, и я с удовольствием наблюдал салют флагами, которыми мы обменялись, – взаимное в рыцарском духе приветствие, всегда имеющее место, когда два корабля проходят друг мимо друга. На мостике засвистела дудка, и один из матросов проворно приспустил наш нидерландский флаг, в то время как на встречном корабле пополз книзу данеброг. Затем, как только корабли миновали друг друга, снова раздался свист: флаги опять взвились, – морской церемониал был соблюден. Как прекрасен этот салют! Моряки, связанные между собой интернациональной дружбой в силу своей профессии, всюду одинаковой, столь своеобразной, сохранившей при всей механизации нечто отважное, авантюрное, при встрече среди необъятной, буйно-своенравной стихии, которой все они одинаково подвластны, оказывают друг другу почести, а через их посредство, соблюдая вежливость в отношении друг друга, пока не затеют войны, делают то же самое и нации, посланцами и территориальными отростками которых эти корабли являются. Но ни Дания, ни Нидерланды войны не затеют. И та и другая – страны маленькие, благоразумные, избавленные от героической историчности, в то время как большие страны, в сущности, только и думают, что о войне, почему в их салютах флагами чувствуется некая зловещая корректность, насыщенная всевозможными ироническими оговорками.

Небо ясное, сияющее, море покрыто легкой рябью. Корабль идет плавно, ощущаются лишь легкие колебания вправо и влево, вызываемые, вероятно, только ходом и управлением. Но разница в температуре, по сравнению с тропическим вечером два дня тому назад, все еще поразительная. Ночью было очень холодно, утром более чем свежо, и даже на солнце сидишь, еще закутавшись в пальто и плед.

Я склонен считать конец "Дон Кихота" довольно слабым. Создается впечатление, что смерть является здесь прежде всего средством обезопасить этот образ от дальнейших невежественных попыток использовать его в литературе, а тем самым в нее привносится нечто литературное, деланное, что не трогает нас. Ведь одно дело, когда любимый автором герой умирает по ходу повествования, и совсем другое – когда автор заставляет его умереть, декретирует и провозглашает его смерть, дабы никто другой уже не мог заставить его разгуливать по свету. Тут налицо литературное убийство, умерщвление из ревности, хоть ревность эта и свидетельствует опять-таки о тесной, горделиво отрицаемой связи автора с вечно примечательным созданием его духа – о глубоком чувстве, ничуть не умаляемом тем, что оно находит выражение в шуточных, литературного свойства мерах предосторожности против непрошеных попыток воскресить его героя. Священник требует от писца свидетельства о том, что Алонсо Кихано Добрый, обыкновенно называемый Дон Кихотом Ламанчским, действительно преставился и опочил вечным сном; это свидетельство, подчеркивает автор, "понадобилось ему для того, чтобы какой-нибудь другой сочинитель, кроме Сида Ахмета бен-Инхали, не вздумал обманным образом воскресить Дон Кихота и не принялся сочинять длиннейшие истории его подвигов". Но сам Сид Ахмет растворяется в воздухе, оказывается тем приемом юмористиче-

ского вымысла, каким всегда являлись подобные персонажи. Правда, он еще вешает свое перо на медный крючок и поручает ему предостерегающе заявить "дерзновенным и злочестивым сочинителям", которые вздумают снять его, чтобы осквернить:

Тише, тише, шалунишки,
Пусть никто меня не тронет.
Ибо только мне – внимайте –
Уготован этот подвиг![1]

Кто это говорит? Кто провозглашает: "только мне"? Перо? Нет, то говорит иное "я", внезапно появляющееся и вступающее в действие: "Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне – описывать; мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару, на зло и на зависть тому лживому тордесильясскому писаке, который осмелился (а может статься, осмелится и в дальнейшем) грубым своим и плохо заостренным страусовым пером описать подвиги доблестного моего рыцаря, – ибо этот труд ему не по плечу и не его окоченевшего ума это дело..." Великолепно! Он отлично знает, какую благородную и тяжкую по своей человечности ношу он вынес на своих плечах, создавая эту развлекающую весь мир историю, хотя вначале он этого не знал. И странное дело! В самом конце он этого опять не знает. Опять забывает об этом.

Он говорит: "Ибо у меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах; и вот, благодаря тому что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно. Vale"[2].

Это – возврат к первоначальному, непритязательному, сатирическому замыслу книги, так далеко затем вышедшей за пределы его; и самая глава о смерти является выражением того возврата, ибо смерти Дон Кихота ведь предшествует обращение его на путь истины. Умирающий – о радость! – вновь обретает "здравый ум"; Он спит шесть часов подряд, а когда пробуждается, то оказывается, что господь в своем милосердии исцелил его дух. Его разум "уже свободен от густого мрака невежества, в который его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов", он постиг всю их вздорность и лживость и "уразумел свое недомыслие", и он уже не хочет быть Дон Кихотом Ламанчским, рыцарем Печального Образа, рыцарем Львов, а хочет быть Алонсо Кихано, разумным человеком, таким, как все люди. Предполагается, что мы должны радоваться этому, но поразительно, как мало это нас радует, – нас это расхолаживает, мы словно сожалеем об этом. Нам жаль Дон Кихота, как было жаль его уже тогда, когда скорбь, в которую он впал после своего поражения, повергла его на смертный одр. Ибо эта скорбь является подлинной причиной его смерти. Лекарь свидетельствует, что его кончина вызвана "тоскою и унынием". Его убивает гнетущее сознание, что его миссия странствующего рыцаря, поборника справедливости закончилась плачевнейшей неудачей,

---

[1] Перевод М. Лозинского.
[2] Прощай (*лат.*)

и нам, в чьих ушах еще звучит слабый, больной голос, твердящий: "Дульсинея Тобосская самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь!" – нам передается его подавленность, хотя мы и знаем, что эта миссия неминуемо должна была так кончиться, ибо она являла собой не что иное как сплин, любимый конек. Но этот великодушный сплин в течение рассказа ведь стал так дорог нам, что мы склонны и готовы принимать его за подлинный дух героя, воспринимать его так, как если бы он был подлинным его духом, – и в этом вина, прекрасная вина писателя.

Случай до крайности затруднительный. Дело разладилось. Если бы Сервантес остался верен своему первоначальному замыслу – путем рассказа о нелепых начинаниях и поражениях некоего сумасброда возбудить отвращение к рыцарским романам, – все было бы просто и ясно. Но созданная им книга невзначай переросла этот замысел, и тем самым автор лишился возможности дать удовлетворительный конец. О том, чтобы изобразить Дон Кихота гибнущим в одном из его безрассудных поединков, не могло быть и речи, – это было бы уж слишком некрасиво по отношению к нему. Дать ему жить дальше, после того как он вновь обрел здравый ум, тоже не годилось, – это значило бы низвести Дон Кихота с той высоты, на которой он стоял, продолжить жизнь его оболочки, но не души, не говоря уже о том, что из соображений охраны литературной собственности его нельзя было оставить в живых. Я отлично понимаю и то, что изобразить его умирающим в его нелепом заблуждении, правда, пощаженным копьем рыцаря Белой Луны, но погруженным в глубочайшее, вызванное поражением отчаяние, было бы не в духе христианства и непедагогично. От этого отчаяния его в смертный час должно было избавить познание той истины, что все это было повреждением ума; но, с другой стороны, смерть в сознании, что Дульсинея отнюдь не достойная поклонения принцесса, а неопрятная деревенская девка, и что все, что он делал, чему верил, за что страдал, было сплошной нелепицей, – не исполнена ли такая смерть отчаяния? Конечно, необходимо было, прежде чем Дон Кихот преставился, спасти его душу, вернув ему рассудок. Но если художник хотел, чтобы это спасение пришлось нам по сердцу, ему́ не следовало заставить нас так сильно полюбить его безрассудство.

Это показывает, что гениальность может доставить много затруднений, что она способна расстроить планы автора. Впрочем, он не слишком разукрашивает смерть Дон Кихота. Она изображена как спокойная кончина порядочного человека, умирающего с достоинством, по-христиански, после того как он предварительно исповедался, причастился и при содействии писца привел в порядок свои земные дела. "Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая, а как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то она достигла конца и завершения своего". С этими уснащенными юмором доводами читатель должен примириться, как примирились друзья, которые лишаются Дон Кихота, – экономка, племянница, бывший его конюший Санчо. Они, правда, от всей души оплакивают его, что лишний раз убеждает читателя, каким добрым господином он был для них. При сообщении о том, что его положение безнадежно, "из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи".

Этот несколько вычурный подбор слов придает описанию искреннего горя слегка комическую окраску; а кроме того, далее – по-житейски, по-человечески – говорится, что в течение тех трех дней, что длилась агония Дон Кихота, весь дом был в тревоге, но это не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику; да и Санчо Пансо себя не забывал, ибо "мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий". Замечание насмешливо-правдивое, "реалистическое", несентиментальность которого в свое время, вероятно, казалась непристойной. Юмор – вот тот завоеватель, который всегда мужественнее, дерзновеннее всех других проникал в область подлинно человеческого.

Шесть часов вечера; мы уложили вещи, что при отсутствии козел – сундуки стоят на полу – было нелегкой работой. На корабле воцаряется настроение, предшествующее прибытию. Матросы делают приготовления, возятся с канатами. Наши попутчики-американцы, видимо, радуются возвращению домой, на родину – тому, что для нас означает противоположность возвращения.

Наступил вечер. Направо от нашего корабля, замедлившего ход, длинной вереницей сверкают огни Лонг-Айленда, пляж и роскошные дачи которого нам расхваливают. Мы рано ложимся, завтра ведь предстоит рано встать. Всегда быть готовым вовремя – в этом все.

29 мая

Погода по-прежнему ясная, несколько облачная и прохладная. С той поры как мы распрощались с нашими узкими постелями, в которых провели не одну ночь – с половины шестого, – корабль, ночью стоявший на месте, так что впервые сон наш не сопровождался глухим стуком машины, снова возобновили свое неспешное продвижение. Мы позавтракали, закончили укладку, роздали последние чаевые. Вышли, вполне готовые к прибытию, на палубу – присутствовать при входе в гавань. Уже в туманной дали маячит, высоко вздымая венок, хорошо знакомая фигура – статуя Свободы, реминисценция классицизма, наивный символ, ставший таким чуждым нашей современности...

Я настроен мечтательно – оттого, что рано встал, оттого, что этот час насыщен какой-то странной жизнью. К тому же ночью, в ненарушаемой стуком машин тишине, от которой я уже отвык, я видел сны, и сейчас стараюсь припомнить сон, возникший из того, что я читал в дороге. Мне снился Дон Кихот, он сам, я говорил с ним. Подобно тому как действительность, когда мы с ней сталкиваемся, отлична от того представления, которое у нас было о ней, так и он выглядел несколько иначе, чем на картинках: у него были густые, свисающие усы, высокий отлогий лоб, под нависшими бровями – серые, почти незрячие глаза. Он именовал себя не рыцарем Львов, а Заратустрой. Теперь, когда он стоял передо мной, он был так кроток, так учтив, что я с невыразимой нежностью вспомнил слова, которые прочел о нем накануне: "Ибо Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал".

Скорбь, любовь, сострадание и безграничное почтение овладели мною, когда мне явился тот, в ком эти черты воплотились, и теперь еще, в час прибытия, эти чувства смутно волнуют меня.

Слишком европейские, вспять обращенные чувства и мысли! Впереди из утреннего тумана медленно выступают небывало высокие здания Манхаттена – фантастический колониальный пейзаж, вздыбленный город-гигант.

Перевод А. Кулишер

Печатается по изданию: *Манн Т.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 174–228.

Х. Ортега и Гассет

ЧИТАТЕЛЬ... РАЗМЫШЛЕНИЯ О "ДОН КИХОТЕ"

Под титулом "Размышлений" в этой первой книжке положено начало серии очерков, содержащих ряд соображений, которые профессор философии in partibus infidelium[1] решил довести до сведения читателя. В некоторых очерках – их примером являются настоящие «Размышления о "Дон Кихоте"» – говорится о высоких материях, в других – о более скромных проблемах, а порой о вещах совершенно заурядных; но какими бы они ни были, прямо или косвенно все они имеют отношение к испанским обстоятельствам. Автор рассматривает работу над этими очерками, а равным образом свою преподавательскую, журналистскую деятельность или занятия политикой как разные способы исполнения своего жизненного предназначения, удовлетворения всегда неизменной и неутолимой страсти. Не стану утверждать, будто работа над "Размышлениями" кажется мне самым высоким занятием среди других мирских дел; ее достаточным оправданием для меня служит следующее простое соображение: эта работа, пожалуй, единственное, на что я по-настоящему способен. Страсть, подвигающая меня на такой труд, является наиболее жизнеспособной из всего, что излучает мое сердце. Воскрешая в памяти превосходное словосочетание, которым пользовался Спиноза, я назвал бы эту мою страсть amor intellectualis. Итак, читатель, перед Вами очерки интеллектуальной любви.

Как таковые они совершенно не имеют информативного значения; не являются они и собранием мудрых мыслей. В большей степени к ним применим термин "спасение" в том значении, которое придавал этому понятию один гуманист

---

[1] в известных пределах (*лат.*).

XVII века. В этих очерках любой факт, любая данность – человек, книга, картина, пейзаж, заблуждение, неудовольствие – направляются самым коротким путем к полноте своего значения. Все, что жизнь в своем вечном возвращении бросает к нашим ногам, подобно ничтожным обломкам кораблекрушения, здесь выставляется таким образом, чтобы позволить солнечным лучам беспрепятственно высвечивать вещи и проблемы с разных сторон.

В границах любой вещи присутствует указание на ее возможную полноту. Душа открытая и благородная непременно наполняется стремлением усовершенствовать предстоящее ей нечто, содействовать ему в достижении полноты. Такова любовь – любовь, жаждущая совершенства объекта своей страсти.

Вспоминаю, как со странным постоянством доводилось замечать, что самые обычные, скромные холсты Рембрандта, по существу, всего лишь средства его труда, казались мне как бы окруженными сияющим нимбом, – другие художники отваживаются вписывать в них разве что лики святых. Похоже, великий живописец исподволь намекает нам, что вещи святы, что они излучают свой подлинный свет. И призывает: "Любите их, любите!" Ведь каждая ведь – это Золушка: под ее лохмотьями и видимой обыденностью таится сущая сокровищница; открыть ее – значит полюбить, ибо только любовь способна сделать вещь плодоносной.

"Спасение" не равнозначно хвале или дифирамбу; напротив, оно совместимо и с нелицеприятной критикой. Для спасения важно, чтобы была установлена непосредственная связь между спасаемым и изначальными движениями духа, то есть классическими мотивами человеческой деятельности. Будучи увязанным с ними, спасаемое преобразуется, субстантивируется и благодаря этому спасается.

Вот почему по духовным подземельям настоящих очерков будет течь почти неслышно, свидетельствуя о себе лишь глухим гулом, как бы страшась быть услышанной чересчур ясно, неуступчивая, а порой и суровая доктрина любви.

Рискую ошибиться, только думается мне, что с некоторых пор души испанцев, эти вместилища сокровенного, по непонятным причинам заполнила ненависть; превратив свои убежища в хорошо вооруженные форпосты, она объявила войну целому миру. Ведь ненависть – это такая душевная страсть, которая аннигилирует все значимое, ценное; ненавидя, мы отстраняем от себя объект ненависти с силой спущенной стальной пружины; приступ ненависти препятствует какому бы то ни было консенсусу между объектом и нашей душой. Нам остается лишь то место, где крепится ближний к нам конец этой пружины ненависти, тогда как все прочее пропадает в неведении, исчезает из памяти, становится внешним, чуждым. С течением времени объект ненависти кажется нам все мельче, незначительней, малоценней. Так и испанцу мир предстает суровым, жестким, мерзким и пустым. И кружат над миром наши души – гримасничающие, подозрительные и беспокойные, словно огромные алчные псы. Между символическими страницами любого периода испанской истории всегда отыщется место для этих чудищ, олицетворяющих у Матео Алемана аллегорию Недовольства.

В отличие от ненависти, любовь связывает нас с вещами, даже если это всего лишь мимолетная любовь. Вы спросите, читатель, открывается ли в вещи какое-ни-

будь новое свойство, когда жар нашей любви пронизывает ее? И еще: что означает это чувство любви – к женщине, к науке, к родине? Прежде всего подчеркнем, что все, что мы называем любимым, нам насущно необходимо. Иными словами, изначально в любимом видят необходимое. Необходимое! То, без чего невозможно обойтись, ибо с утратой любимого жизнь становится невыносимой; оттого мы и считаем любимое своей неотъемлемой частью. Следовательно, в любви происходит расширение индивидуальности за счет поглощения ею, смешивания с я всего остального. Эти взаимосвязи и взаимодиффузия позволяют глубоко проникнуться особенными свойствами любимого. Мы видим его целиком, и оно открывается нам в полноте своего значения. Благодаря этому мы сознаем, что любимое само является частью другой вещи, нуждающейся в нем и связанной с ним. Эта другая вещь, необходимая любимому, оказывается и для нас необходимой. Так любовь связывает вещь с вещью и все вещи с нами в прочной, крепчайшей, сущностной структуре. Любовь, говорил Платон, – это божественный зодчий, вменивший миру цель, в соответствии с которой все в мироздании существует во всеобщей связи: "ὥστε τὸ πὰν αυτὸ αυτψ ξυνδέσθαι"[1].

Существование чего-либо вне связи означает его уничтожение. Ненависть, творящая бессвязность, разрушающая связи и уединяющая вещи, тем самым атомизирует мир и измельчает индивидуальности. В халдейском мифе об Издубаре-Нимроде богиня Иштар, полу-Юнона, полу-Афродита, которой он пренебрег, слепнет от горя и в порыве ненависти угрожает богу неба Ану разрушить подлунный мир только для того, чтобы хоть на мгновение остановить действие законов любви, соединяющих все существующее: богиня возжаждала ввести фермату в симфонию всемирного эротизма.

Перед лицом жизни мы, испанцы, укрыли свои сердца под панцирем злобы, оттого вещи, устремляющиеся к нам, в бессилии наталкиваются на преграду и, ею отброшенные, ударяются оземь. На протяжении столетий в нашем непосредственном окружении продолжается этот непрерывный и прогрессирующий распад ценностей.

Мы могли бы сказать в свой адрес то, что сатирический поэт XVII века писал в отношении Муртолы, автора поэмы "Della creazione del mondo":

Il creator di nulla fece il tutto,
Costui del tutto un nulla, e in conclusione,
I'un fece il mondo e l'altro l'ha distrutto[2].

В этих очерках мне хотелось посоветовать самым юным из моих читателей, ведь только к ним я вправе обратиться с советом, ввиду моего возраста, чтобы они

---

[1] Любовью называется жажда целостности и стремление к ней (*греч.*).

[2] "О сотворении мира":
Из ничего создатель сотворяет все, –
И тот, другой, наоборот.
И вот итог: один мир создает, другой же – разрушает.
(*Пер. Д. Есипович*)

изгоняли из своих душ всякое ненавистническое поползновение и всемерно стремились вновь утвердить любовь правительницей мира.

Осуществить это намерение я могу тем уникальным способом, которым располагаю, а именно: правдиво представить им зрелище человека, захваченного живой страстью понимания. Среди многих проявлений любви это, пожалуй, единственное, позволяющее мне увлечь за собой читателей: я подразумеваю именно страсть понимания. Я считал бы, что сделал все, что в моих силах, если бы мне удалось, разумеется, насколько это вообще возможно для меня, вызвать к жизни из глубин испанской души какие-то новые грани ее восприимчивости к идеальному. Уже и вещи не интересуются нами, ибо не видят в нас, если так можно сказать, подходящих поверхностей, в которых они могли бы отразиться; отсюда происходит необходимость всемерно умножать лики нашего духа с тем, чтобы их достигали и "ранили" бесчисленные проблемы.

Эта страсть понимания в одном из диалогов Платона названа ἐρωτιχὴ μανια, или "безумием любви". Даже если бы стремление к пониманию в действительности не было изначальной формой любви, не образовывало ее генезиса и кульминации, все равно следовало бы признать, что это стремление есть ее ярчайший признак. Никогда не поверю в любовь какого-то человека к другу или к своей государственной символике, если не буду убежден в его искреннем стремлении понять врага и в его уважительном отношении к вражескому знамени. Нас, испанцев, как мне представляется, на удивление просто воспламенить некой моральной догмой: мы чистосердечно распахиваем перед ней настежь наши души. По крайней мере, не колеблясь подчиняем свою волю всякого рода моральному императиву; характерно, что непременное и постоянное желание служить ему выказывает и наш рассудок, по существу демонстрирующий готовность к любым потребным изменениям и поправкам. Я бы сказал даже, что мы используем моральный императив как средство, облегчающее нам жизнь, поскольку благодаря ему мы как бы присваиваем, "заглатываем" необъятный "кусок" мироздания... Со свойственной ему проницательностью Ницше увидел в некоторых моральных требованиях виды и проявления злобы.

Конечно же, ничто, рожденное в злобе, не вызывает наших симпатий. Злоба – это излучение сознанием собственной неполноценности. Лишь в иллюзии, в воображении подавляется то, что на самом деле собственными силами мы не в состоянии подавить. Ненавидимое переполняет наше воображение, землисто-зеленая, трупного цвета пелена застилает глаза, все силы души мы обрушиваем на ненавистное, желая его убить, уничтожить. Но ведь это происходит в воображении. Сталкиваясь же с объектом ненависти в условиях обыденной и прочной реальности, мы видим его уже как бы неживым, мумифицированным и оттого нам неподвластным. Силы оказываются неравными, непоколебимость существования ненавидимого выглядит персонифицированной издевкой, живым укором нашей немощи.

Более распространенной формой отношения к этой смерти, которую ненавидящий желает своему врагу, является втискивание себя в жесткие доспехи моральной догмы; в этом случае, опьяненные фиктивной героикой своего нового состояния, мы начинаем верить, будто у врага нет ни грана разума, ни даже намека на право-

вые прерогативы. В этой связи уместно вспомнить известный и по-своему символический случай сражения с маркоманнами Марка Аврелия: впереди своих воинов он выпустил львов из цирка. Охваченный ужасом противник попятился было назад. В этот момент предводитель маркоманнов трубным голосом прокричал: "Не трусьте! Это римские собаки!" Оправившись от испуга, северяне вновь повернули на римлян и бросились в победную атаку. Любовь тоже сражается, а не прозябает в смутном мире компромиссов, только сражается она со львами именно как со львами, собак же называет просто собаками.

В борьбе с противником, которого понимаешь, собственно, и обнаруживается подлинная толерантность, которую я считаю главным свойством всякой здоровой души. Отчего она столь редко встречается в нашей расе? Хосе де Кампос, мыслитель XVIII века, чью самую интересную книгу открыл для нас *Асорин*, писал: "Добродетели снисходительности скудны у бедных народов". Другими словами, у слабых народов.

Искренне надеюсь, что читатель не станет подозревать меня в безразличии по отношению к моральному идеалу. Мне не свойственно пренебрегать моральностью ради вольного обращения с идеями. Известным мне доктринам имморалистов недостает здравого смысла. Признаюсь, я ни на что не трачу столько усилий, как на то, чтобы убедиться, овладел ли я хоть малой долей здравого смысла.

Однако, почитая моральный идеал, мы боремся с его главными врагами, которыми являются извращенные морали. По моему, да и не только по моему, разумению, такова всякая утилитарная мораль. От греха утилитарности не освобождает и формулирование некой моралью свода однозначных предписаний. Видимо, нам следует быть бдительными по отношению к строгости, этой традиционной ливрее двуличия. Неверно, негуманно и аморально сводить к строгой схеме физиономические черты добра. В конечном счете какая-либо мораль не перестает быть утилитарной, даже если она и не является таковой, коль скоро индивидуум, ее принимающий, пользуется ею утилитарно, с целью сделать свое существование более удобным и легким.

Неистощимы многовековые усилия самых выдающихся умов в борьбе за очищение нашего этического идеала; благодаря им он с каждым разом становится все изысканней и сложней, прозрачнее и глубже. Это позволяет не путать добро и его материализацию, выражающуюся в действующих нормах, которые кажутся принятыми раз и навсегда; напротив, моральна душа, стремящаяся к постоянному обновлению этического арсенала личности на основе учета изменений в сфере человеческих поступков. Возможность согласовывать собственные поступки с догматическими посредническими предписаниями только подчеркивает нашу неспособность свести к ним изысканный и возвышенный характер добра, его утонченный аромат. Эта сущность добра может возвращаться в поступки непосредственно из живой и всегда как будто бы новой интуиции совершенного. Поэтому аморальна всякая мораль, в которой над всеми долженствованиями не господствует первоначальное долженствование полагать себя постоянно нацеленными на реформирование, исправление и расширение этического идеала. Этика, предписывающая вечное заточение нашей воли в границах замкнутой

системы оценок, является *ipso facto*[1], извращенной этикой. Но и в "открытых" конституциях гражданских обществ должен существовать принцип, который направлял бы общества к расширению и обогащению морального опыта. Ведь добро, так же как и природа, представляет собой бескрайний простор, в котором человек продвигается вперед в бесконечном поиске. Как-то Флобер, захваченный возвышенными мыслями, созвучными нашей теме, произнес: "Идеал только тогда плодотворящ – я подразумеваю моральное плодородие, – когда он охватывает все. Он – труд любви, а не труд исключения".

Я далек от того, чтобы противопоставлять понимание и мораль. Совсем наоборот, я лишь противопоставляю извращенной морали мораль цельную, для которой долг понимания безоговорочно первичен. Понимание безгранично расширяет орбиту нашего сердца, отчего возрастает наша способность быть справедливыми. По существу, в стремлении к пониманию целиком состоит религиозная позиция. Признаюсь, что и сам я по утрам, встав ото сна, непременно произношу кратчайшую молитву, древнее двустишие из Ригведы, содержащее незатейливые слова: "Господи! Возбуди в нас радость и дай нам свет знания!" Настроившись нужным образом, я чувствую себя уверенно и в светлые дни, и в минуты скорби.

Но, быть может, этот императив понимания чересчур обременителен? Или, напротив, выдвинуть его – значит сделать лишь первый шаг по пути понимания чего бы то ни было? И разве кто-либо, оставаясь самим собой, сможет чувствовать себя уверенно и делать максимально возможное, если не будет владеть по крайней мере своим прошлым?

В указанном смысле я понимаю под философией общую науку о любви; в орбите нашего интеллекта именно она является главным побудителем к всеохватывающей связи. Благодаря этому становится видимой черта, отличающая понимание от просто знания. Как же много мы знаем того, чего не понимаем! Вся так называемая мудрость фактов на самом деле умонепостигаема и получает свое оправдание лишь на службе теории.

Философия в принципе есть нечто противоположное данным, эрудиции. Я не считаю себя вправе пренебрегать последней как знанием, концентрированным знанием. Но замечу, что эрудиция уже пережила час своего расцвета. Некогда, во времена Юста Липсия, Юэ и Касобона, еще не было ни соответствующего филологического знания, ни удовлетворительных методов, которые позволяли бы отрывать в завалах знаний об исторических фактах их общий, единый смысл. Исследование еще не владело способностью непосредственного проникновения к неявному единству их смысла. Достижение максимума знаний отождествлялось тогда с наполнением ученых голов большим количеством, как правило, случайных цитат. Этому богатству стремились придать вид единства – я сравнил бы это единство с сундуком портного, под крышкой которого навалены разного рода обрезки материи, – полагаясь на счастливый случай складывания таких ассоциаций высказываний, которые были бы способны воссиять светом истины. Подобное объединение фактов – не самих по себе, а в голове субъекта – и есть эрудиция. Возвращаться к ней сегодня –

---

[1] в силу самого факта (*лат.*).

все равно что от филологии идти назад к фактологии, от химии – к алхимии, от медицины – к магии. Мало-помалу ряды эрудитов редеют, и недалеко то время, когда исчезнут последние корифеи иероглифического письма.

Вообще говоря, эрудиция образует предместье науки, поскольку она сводится к собиранию данных; ведущим же устремлением науки является философия, или чистый синтез. Собранные данные так и остаются ворохом независимых друг от друга и несвязанных фактов. Напротив, в процессе синтеза они ассимилируются, как это происходит с пищей во время обеда, и исчезают; остается же результат, имеющий сущностное значение.

Однако это не дает права философии впадать в амбицию и полагать, будто ей достается вся истина. Например, тысяча двести страниц "Логики" Гегеля представляют собой лишь пропедевтику к одной-единственной фразе, произнесенной со всей силой ее значения: "Идея есть абсолютное". Эта внешне элементарная фраза на самом деле обладает буквально бесконечным значением. Глубоко вникнув в ее содержание, мы неожиданно для себя открываем грандиозную перспективу мироздания. Такое максимальное высвечивание чего-либо я и называю пониманием. Даже если та или другая формулировка ошибочна, а какие-то суждения имеют неокончательный, как бы пробный, предварительный характер, все равно на их доктринальных развалинах непременно возрождается неувядаемая как устремление и страсть философия. Известно, что сексуальное наслаждение наступает в момент внезапной разрядки нервной энергии. Также и эстетическое наслаждение представляет собой разрядку эмоций в некоторое значение. Не составляет исключения и философия: она тоже устремлена к разрядке, к молниеносному озарению пониманием.

Эти "Размышления", умышленно высвобожденные от эрудиции даже в самом ее позитивном смысле, движимы намерениями философского свойства. Однако я прошу читателя, чтобы он начинал чтение этой книжки, не предъявляя к ней каких-либо чрезмерных требований. Мои "Размышления" – не философия в научном значении, а только очерки. Я рассматриваю очерк как науку, менее требовательную к доказательству. Дело чести писателя-эссеиста – не писать ничего, что могло бы скомпрометировать доказательство, если прежде он не овладел им в полной мере. Естественно поэтому желание исключить из произведения любую аподиктически достоверную кажимость; что касается разного рода подтверждений, то их следует намечать лишь в общем виде, наброском, пунктирно, с тем, чтобы читатель, испытывающий потребность в них, мог их легко отыскать, но в то же время, чтобы эти подтверждения не препятствовали излучению интимного тепла, которым излагаемые в очерке мысли согреты с момента их зарождения. Кроме того, эссеистский жанр позволяет писать сугубо научные труды, не прибегая к строгому дидактическому стилю, к наставлениям или уставам; в эссе все это, по мере возможности, подчиняется заметкам "по поводу", а жесткий механический аппарат доказательства растворяется в максимально органичном, персональном и живом языке.

С тем бóльшим основанием в настоящих очерках я буду стараться, чтобы доктрины, составляющие мои научные убеждения, не навязывались читателю в качест-

ве истин. Я лишь предлагаю *modi res considerandi*[1], новые возможные способы рассматривать вещи. Приглашаю читателя самостоятельно поупражняться в этом: надеюсь, что, экспериментируя вместе со мной, вы сможете приблизиться к эффективному ви́дению, и тогда уже ваш собственный искренний и интимный опыт приведет либо к истине, либо к ошибке.

Я руководствуюсь твердым намерением не перегружать вас трудной научной работой с моими идеями; кроме того, я не намереваюсь опровергать то, что принимается и одобряется другими; я просто желал бы пробудить в братских душах новые братские мысли, даже в том случае, если бы братья были врагами. Таким образом, я предлагаю широкое идеологическое сотрудничество по нашим национальным проблемам и призываю к нему, но не более того.

Если судить с высоты великих проблем, то в данных "Размышлениях" часто ведется речь о заурядных вещах. Читатель найдет здесь высказывания о деталях испанского пейзажа, о свойствах крестьянской речи, о хореографии народных танцев и песенных му́зыкальных фразах, о цвете и стиле одежд, хозяйственной утвари, об особенностях языка и вообще об элементарных явлениях, в которых раскрывается душа народа.

Заботясь о том, чтобы не смешивать великое и малое, постоянно настаивая на потребности видеть во всем иерархическое соподчинение реальностей, ибо в противном случае космос вернулся бы в состояние хаоса, я в то же время считаю совершенно необходимым направлять внимание мысли на все то, что находится рядом с нашей персоной.

Человек реализует максимум своих способностей, лишь владея полным сознанием своих обстоятельств. Именно через них он связан с миром.

Обстоятельство! *Об-стоятельство!* Немые вещи, составляющие наше непосредственное окружение! Рядом, совсем рядом с нами возводят они свои молчаливые физиономии, выражающие ангельскую покорность; они настаивают, чтобы мы приняли их дар, и вместе с тем стыдятся явной простоты этого своего подношения. Мы же с триумфом проходим мимо, не замечая их, поскольку жаждем завоевывать далекие, призрачные миры. Должен сознаться, что в читанных книгах меня всегда чувствительно задевали истории, в которых герой, не колеблясь, напрямую, все равно что выпущенный из пращи камень, устремляется к великой цели и при этом не дает себе труда хотя бы на мгновение задуматься о том, что где-то совсем рядом с ним – скромное, полное мольбы лицо неизвестной девушки, тайно влюбленной в него; сквозь ее белую кожу лучится сердце, пылающее любовной страстью: вспышки то желтого, то багрового пламени свидетельствуют о том, что в его честь на сердечном огне сжигают благовония. Если бы вы знали, как мне всегда хотелось подать знак герою, чтобы он всего лишь на миг опустил очи долу – к этому пылающему цветку любовной страсти, возникшему на его пути. В какой-то степени все мы являемся героями, и каждого из нас окружают скромные цветы.

Я был бойцом,
И оттого я вправе утверждать,
Что был я человеком, –

[1] способы рассмотрения вещей (*лат.*).

гордо выпалил Гёте. Да, мы – герои, мы без устали готовы завоевывать далекое и при этом топчем ногами ароматные фиалки.

В "Очерке об ограничении" автор был по-настоящему захвачен размышлениями на данную тему. Я совершенно убежден, что одним из наиболее глубоких изменений, происходящих в XX веке в сравнении с веком минувшим, является переориентация нашей чувствительности на обстоятельства. В прошлом столетии, особенно во второй его половине, наоборот, как мне представляется, людьми правили страсти и нетерпение, а печальным результатом было пренебрежение всем непосредственным и преходящим. Пристрастие к отдаленному, взятое как обобщение, лучше всего олицетворяет сущностно политический характер этого времени. Именно тогда западный человек овладевал навыками политической деятельности, т.е. такого рода жизни, которая прежде была прерогативой министров и дворцовых камарилий. Политическая деятельность как социальное и политическое знание, вместе с соответствующими поступками, благодаря демократии распространяется в массы. Агрессивно навязывая себя в ущерб всему прочему, на первый план выходят проблемы общественной жизни. Другая, индивидуальная жизнь вообще изгоняется из поля зрения людей как нечто малозначащее и заурядное. Исключительно важно подчеркнуть, что единственное энергичное утверждение индивидуального в XIX веке – "индивидуализм" – также является политической, а значит, и социальной доктриной, причем ее утверждающим аспектом выступало требование к индивидууму не позволять чему-либо поглощать себя. Можно ли сомневаться в том, что через какое-то время это должно было выглядеть как нечто невероятное? Все, что мы способны делать всерьез, основательно, мы посвящаем управлению общественной жизни и укреплению государственности, а также деятельности в области культуры, участию в борьбе общественных сил, работе в сфере науки или техники, во всем том, что обогащает нашу жизнь. Испокон века нам представлялось чем-то ненастоящим отдавать часть сил – причем не каких-то там остаточных – организации в нашем окружении дружбы, утверждению совершенной любви и распространению понимания того, что наслаждение вещами является жизненным измерением, которое заслуживает, чтобы его культивировали с применением самых совершенных методов. Так же как это измерение жизни, множество других частных нужд стыдливо прячут свои лица в уголках души, поскольку мы по-прежнему не намерены давать им права гражданства или, что то же самое, сознавать их культурное значение.

По моему мнению, любая потребность из состояния возможности стремится выйти на новый уровень культуры. К тому же человек всегда как бы приставлен к верховным ценностям, дарованным ему предшественниками: науке и юстиции, искусству и религии. В свое время родятся "Ньютон удовольствия" и "Кант честолюбия".

Культура представляет нам объекты уже очищенными; некогда они являли собой непосредственную, спонтанную жизнь, а сегодня благодаря труду рефлексии, похоже, вообще освободились от пространства и времени, и более на них не действуют внешние разрушительные силы и чей-то произвол. Эти объекты образуют некую зону идеальной и абстрактной жизни, как бы плавающую над поверхностью

наших индивидуальных жизней, всегда непредвиденных и проблематичных. Индивидуальная жизнь, непосредственное, обстоятельство – все это разные наименования одного и того же: тех зон жизни, из которых еще не выпарен находящийся в них дух, их *logos*.

В качестве духа *logos* есть не что иное как "значение", связь, единство: по сравнению с *logos*'ом индивидуальное, непосредственное, окружающее кажется случайным и лишенным смысла.

Мы должны признать, что социальная жизнь, так же как и другие формы культуры, дана нам под видом индивидуальной жизни, т.е. непосредственного. То, что сегодня мы видим как бы в сияющем ореоле, в свое время должно было сузиться, сжаться до того, чтобы хоть как-то протиснуться в человеческое сердце. То, к чему мы относимся как к истине, образцовой красоте, высшей ценности, некогда зарождалось в глубинах индивидуальной души, в смеси с импульсивностью и гуморальными качествами. Вот почему мы не усматриваем святости в полученной нами культуре и заняты скорее ее повторением, нежели расширением.

Собственно культурным актом является созидательное действие, посредством которого мы извлекаем *logos* некоего объекта, до этого момента являвшегося *неозначенным* (*i-logico*). Приобретенная культура ценна лишь в качестве инструмента, орудия, которым она вооружает нас для новых свершений. Поэтому в сравнении с непосредственным, с нашей спонтанной жизнью, все, чему мы научены, кажется абстрактным, родовым, схематическим. Да и не просто кажется, а является таковым. Молоток есть абстракция или понятие каждого из его ударов.

Общее, наученное, достигнутое – все это для культуры представляется как бы условиями для тактического маневра: мы должны владеть ими, если хотим вернуться к своей непосредственности. Человек с катарактой на глазу не придает чрезмерной важности этому обстоятельству. А вот для того, чтобы наши глаза могли овладевать подлинным значением окружающих вещей, нам необходимо устанавливать дистанцию между нашим непосредственным окружением и нами.

Египтяне верили, будто долина Нила – это и есть целый мир. Подобное понимание обстоятельства просто чудовищно: тут можно подразумевать все, что угодно, однако в любом случае очевидна нищета означивания. Существенным недостатком некоторых людей является их неспособность заинтересоваться чем-либо, если отсутствуют доказательства (или над ними не довлеет иллюзия), что это нечто является самым лучшим в мире или даже самим миром. Необходимо решительно освобождать сознание от такого сентиментального и ребяческого идеализма. В действительности существуют только части, целое же – это абстракция от частей и зависит от них. Точно так же невозможно обладать чем-то лучшим в отвлечении от просто хороших вещей; лишь проявляя заинтересованность в них, лучшее приобретает статус превосходного. В самом деле, что такое капитан без солдат?!

Когда же мы, наконец, усвоим, что бытие мира конкретизируется не в материи, не в душе и не в какой-то отдельной вещи, а в перспективе? Бог – это перспектива, в то время как грех сатаны был ошибкой перспективы.

Перспектива в указанном значении совершенствуется благодаря умножению ее определений и корректности отношений с нашей стороны к каждому из ее уровней.

Постижение высших ценностей делает плодотворным наше взаимодействие с незначительными ценностями, а любовь к второстепенным вещам нашего окружения сообщает свойство реальности и действенность возвышенному в наших сердцах. Отдавая должное малому, мы и великое воспринимаем как великое.

Нам следует находить для нашего обстоятельства – такого, каким оно является на самом деле, при всей его ограниченности и своеобразии, – соответствующее ему место в безмерной перспективе мироздания. И не застывать без конца в экстазе перед священными ценностями, а завоевывать для нашей индивидуальной жизни достойное место среди них. Короче говоря в, постоянном поглощении обстоятельства состоит конкретная судьба человека.

Мой естественный выход к миру открывается через перевал Гуадаррамы или степь Онтигола. Этот сектор окружающей реальности образует как бы вторую половину моей персоны: лишь при его участии я могу, так сказать, объединиться и стать целиком самим собой. В последнее время биологическая наука изучает живой организм как целое, образованное телом и его особенной средой; в соответствии с этим подходом существо жизненного процесса заключается не только в приспособлении организма к своей среде, но одновременно и в приспособлении среды к своему организму. Рука стремится приспособиться к материальному объекту для того, чтобы сделать удобным, приемлемым общение с ним; с другой стороны, в каждом материальном объекте таится изначальное подобие с определенной рукой.

Я есть я и мое обстоятельство, и если я не спасаю его, то не спасаю и самого себя. "*Benefac loco illi quo natus est*"[1], – читаем в Библии. А в школе Платона в качестве девиза любой культуры предлагалась такая фраза: "спасать видимое", феномены. Другими словами, находить значение всего того, что нас окружает.

Глаза готовы лицезреть панораму мироздания и согласны, чтобы мы направили взгляд в сторону Гуадаррамы. Но там мы ничего глубокого не видим. Причем нас не оставляет уверенность в том, что эти недостаточность и даже бесплодность имеют источником наш собственный взгляд. Но ведь *logos*'ом обладает и Мансанарес, непритязательнейшая речушка, жидкая ирония, лижущая подножье нашего города, фундаменты его домов: она ведь тоже несет в потоке своих водяных капель какую-то частицу духовности.

Вокруг нас нет вещи, в которой бы не трепетал божественный нерв; трудность состоит в том, чтобы добраться до него и заставить возбудиться. Друзьям, увидевшим Гераклита на кухне, но не решавшимся войти, он крикнул: "Входите, входите! Ибо и здесь тоже есть боги". Гёте пишет Якоби об одной из своих ботанико-геологических экскурсий: "Брожу здесь, забираюсь в горы, спускаюсь с гор и все ищу божественное *in herbis et lapidibus*"[2]. О Руссо рассказывают, будто он украсил засушенными растениями клетку своей канарейки, а Фабр, сообщивший об этом, сам написал книгу о жучках, обитающих в ножках письменного стола.

Ничто так не препятствует героике, являющейся видом духовной деятельности, как обыкновение считать ее приписанной к некоторому определенному образу жиз-

---

[1] "Делай добро тому месту, где родился" (*лат.*).

[2] в травах и среди камней (*лат.*).

ни. Необходимо, чтобы во всем существовала "подземная" возможность героизма, чтобы каждый человек, ударяющий подошвами своей обуви о землю, по которой он шагает, непременно ожидал бы, что из земли ударит источник. У героя Моисея из-под каждого камня бил ключ.

А для Джордано Бруно *est animal sanctum, sacrum et venerabile, mundus*[1].

Пио Бароха и *Асорин* – это два наших обстоятельства. Каждому из них я посвящаю свои очерки[2]. *Асорин* дает нам повод для размышления о том, как различны подходы к тому, о чем только что говорилось, а именно к мелочам и ценностям прошедших времен. Что касается мелочей, то мы уже сегодня сознаем скрытое двуличие характера современного человека, который концентрирует свой интерес почти исключительно в области священных институтов – науки, искусства, общества, – тогда как свое глубинное, интимное использует (да и то в совершенно недостаточном объеме) для малозначащих жизнепроявлений, нередко попросту для удовлетворения физиологических желаний. Но ведь это же факт, что в случае, когда мы вынужденно опускаемся к основаниям наших мыслей, к их непосредственной периферии, т.е. когда уже не находим в мире ничего, что укрепило бы нас, мы обращаем взоры к малозначительным, повседневным вещам – подобно умирающему, который в смертный час вспоминает о самых ничтожных событиях, случившихся на его жизненном пути. И тогда мы осознаем, что отнюдь не *великие вещи*, не великие удовольствия и великие амбиции удерживают нас на поверхности жизни, а минута благополучия возле пылающего камина, приятное ощущение от выпитой рюмки ликера, волнение, неосознанно толкающее нас навстречу проходящей мимо красивой девушке, просто девушке, не возлюбленной и даже не знакомой, или, наконец, изысканность речи друга, его обычный, но такой приятный нашему слуху голос. Я считаю очень гуманным то, что произошло с одним человеком, совсем отчаявшимся в жизни: он, было, решил повеситься на дереве, и когда уже накинул петлю на шею, то вдруг услыхал запах розы, распустившейся прямо под этим деревом, и... отказался от своего прискорбного намерения.

В этом – секрет основ жизненности, о нем современный человек непременно должен размышлять как о предмете, достойном размышления; сегодня уже трудно скрывать его или стыдливо отводить взгляд, как, впрочем, и от других таких же скрытых сил, например полового влечения; пережив века забвения и ханженского умалчивания, они в конечном счете добиваются часа своего торжества в человеческом поведении. В человеке всегда таится подспудное; но каково его значение? Какого рода *logos*, какую ясную идею можно извлечь из переживания одного из персонажей шекспировской комедии "Мера за меру", выраженного такими интимными, сердечными и искренними словами, живо напоминающими один из сонетов: "С радостью я отказался бы от собственной туши, которая придает мне облик высокомерного гордеца, и стал невесомым перышком, которым играл бы ветер"? Разве это не достойное желание? *Eppur*...[3]

---

[1] мир есть живое существо – святое, священное и достойное почитания (*лат.*).

[2] Опубликованы в I и II выпусках "El Espectador" под названиями "Мысли о Пио Бароxе" и "Асорин. Совершенство заурядного". См. II том Собрания сочинений. (Примечание автора).

[3] Eppur ⟨si muove⟩ – А все-таки она вертится (*ит.*).

Что же касается прошлого, являющегося эстетической темой *Асорина*, то здесь нам следует видеть один из ужасных национальных недугов. В "Антропологии" Канта есть настолько глубокое и точное наблюдение, относящееся к Испании, что, однажды познакомившись с ним, оказываешься застигнутым врасплох. Кант говорит, что турки, путешествуя по миру, обычно характеризуют разные страны соответственно присущей народам этих стран предосудительной особенности. Пользуясь таким подходом, Кант составил следующую таблицу: 1. Страна моды (Франция). 2. Страна причуд (Англия). 3. Страна предков (Испания). 4. Страна внешнего блеска (Италия). 5. Страна титулов (Германия). 6. Страна господ (Польша).

Страна предков – мы! Иначе говоря, наша страна – вовсе не наша, она не является полной собственностью современных испанцев. Люди из прошлого по-прежнему властвуют над нами; они образуют своего рода интеллектуальную олигархию, подавляющую нас. «Известно ведь, – говорит слуга в "Хоэфорах", – что мертвые хватают живых».

В этом влиянии прошлого на нашу расу есть один весьма деликатный момент, позволяющий распознать психологический механизм испанской реакционности. Я подразумеваю не только политиков, ибо они – лишь одно, причем наименее глубокое и не самое значительное проявление общего реакционного устройства нашего духа. В настоящем эссе высказывается догадка о том, что радикальная реакционность определяется в конечном счете не нашей нелюбовью к современности, а характером отношений с прошлым.

Чтобы уточнить эту мысль, позволю себе привести одно парадоксальное суждение: смерть мертвого есть жизнь. Возобладать над прошлым, над завершенным можно, только вскрыв наши вены и перелив из них кровь в пустые вены мертвецов. Вот этого-то и не может сделать реакционер, ибо он не видит в прошлом определенного образа жизни. Наоборот, он изымает прошлое из орбиты его собственной жизненности и это уже дважды умершее прошлое усаживает на трон, откуда оно сеет раздор в наших душах. Не случайно кельтиберы так внимательны к древним временам, ведь они – последний народ, который все еще поклоняется смерти.

Неспособность поддерживать живым свое прошлое и есть самая что ни на есть реакционная черта. Вообще говоря, антипатия к новому, видимо, присуща людям с различным складом характера. Однако можно ли, например, считать реакционером Россини, который упорно не соглашался ездить по железной дороге, а потому путешествовал по Европе в собственном возке под веселое дребезжание бубенцов? Разумеется, дело не в подобных курьезах, а в гораздо более серьезных вещах: в том, что целые секторы нашей души поражены смертельной болезнью, оттого прошлое – как птица, пролетающая над миазмами, поднимающимися с поверхности гнилых морских стариц, – падает мертвым на дно нашей памяти.

Пио Бароха дает нам повод поразмышлять о счастье и о "действии"; на самом же деле нам приходится говорить понемногу обо всем. Ибо этот человек в большей мере, нежели собственно человеком, является перепутьем, средоточием всего существующего.

Вероятно, в очерке о Барохе, так же как и в эссе, посвященных Гёте, Лопе де Веге, Ларре, да, пожалуй, и в некоторых из этих «Размышлений о "Дон Кихоте"», читатель найдет относительно немного соображений, непосредственно относящихся к их главным темам. Все эти очерки объединяет то, что они являются критическими исследованиями; вместе с тем я считаю, что для критики оценка литературных произведений, деление их на хорошие и плохие – не самое важное дело. С каждым днем во мне остается все меньше желания наставлять: вместо того чтобы быть судьей, я предпочитаю любить.

Я рассматриваю критику как страстное усилие, нацеленное на то, чтобы потенциировать произведение, избранное в качестве объекта критики. Это полностью противоположно тому, что делает Сент-Бёв, когда уводит нас от произведения к автору, чтобы затем окропить наши головы мелким дождичком всякого рода анекдотов. Критика – это не биография и как самостоятельная деятельность не оправдывается, если не ставит задачу, по существу, завершения критикуемого произведения. Этим я хочу сказать, что прежде всего критик обязан использовать в своей работе любые сентиментальные и идеологические средства, которые бы помогли читателю получить наиболее сильное и максимально ясное впечатление о произведении. Критика, далее, должна помогать автору в его самоутверждении, в большей степени направлять, нежели исправлять, давая тем самым читателю более совершенный орган зрения. Произведение завершается, когда заканчивается его чтение.

Так, в процессе критического изучения творчества Пио Барохи я прихожу к пониманию совокупности точек зрения, с которых его книги получают потенциированное значение. Не удивительно поэтому, что я мало говорю об авторе и об отдельных деталях его сочинений; в первую очередь я объединяю все то, чего в них нет, но что послужило бы завершению его трудов, поскольку так создалась бы самая благоприятная для этого атмосфера.

В «Размышлениях о "Дон Кихоте"» я намеревался произвести изучение кихотизма. Однако это слово содержит в себе некую двусмысленность. Мой же кихотизм не имеет ничего общего с выставляемым на продажу товаром под таким названием. *Дон Кихот* может означать две существенно различающиеся вещи: книгу "Дон Кихот" и персонажа Дон Кихота. Вообще говоря, то, что в положительном или отрицательном значении понимают под "кихотизмом", есть кихотизм персонажа. В этих очерках, наоборот, исследуется кихотизм книги.

Фигура Дон Кихота, выдвинутая на авансцену этой книги, стала бы антенной, которая принимала, вбирала в себя самые разные соображения, относящиеся к произведению в целом; исключительное внимание, проявляемое к нему, шло бы во вред всему прочему, а в итоге и самому персонажу. И впрямь, добавьте-ка чуть-чуть любви и еще немного скромности – таково непременное условие – и мы вправе говорить о тонкой пародии на "Имена Христа", прекрасную книгу, символизировавшую римскую эпоху; с теологическим сладострастием ее писал Фрай Луис в саду Ла Флеши. Мы могли бы написать "Имена Дон Кихота", ибо, в известном смысле, Дон Кихот – печальная пародия на богоподобного и смиренного ликом Христа: он – дурашливый местечковый простак, созданный болезненным воображением,

лишенным невинности и воли, и пустившийся во все тяжкие на поиски замены своим утратам. Когда собираются вместе несколько испанцев, обеспокоенных абсолютной нищетой своего прошлого, гнусностью настоящего и острой враждебностью будущего, то непременно словно с небес к ним в круг спускается Дон Кихот; испепеляющая страстность его безумного лика захватывает, она прожигает эти расстроенные сердца насквозь, как бы нанизывает их на общую духовную нить, национализирует индивидуальные горестные переживания каждого и отмечает их коммунальной печатью этноса. "Будьте всегда вместе, – нашептывал Иисус, – и я всегда пребуду среди вас!"

Обособление Дон Кихота, концентрация на нем всего внимания приводят к поистине гротесковым несообразностям. Одни с милой непосредственностью пеняют нам, что мы – отнюдь не Дон Кихоты; другие же в соответствии с требованиями самой передовой моды зовут нас к абсурдному существованию, к поступкам, от которых к лицу невольно приливает краска стыда и возмущения. И для тех и для других Сервантеса, скорее всего, вовсе не существовало. По-видимому, на землю Сервантеса пришло время выводить наш дух за пределы указанного дуализма.

Понять индивидуума можно только через его видовые черты. Реальные вещи состоят из материи или энергии, тогда как вещи искусства – персонаж Дон Кихот в том числе – происходят из субстанции, именуемой стилем. Любой эстетический объект является индивидуацией некой протоплазмы – стиля. Так, индивидуум Дон Кихот есть индивидуум вида Сервантеса.

Разумеется, требуется усилие для того, чтобы рассеять взгляд, сосредоточенный на Дон Кихоте, на все остальное в романе; но, сделав это, мы овладеваем самым широким и ясным пониманием сервантесовского стиля, в границах которого ламанчский идальго представляет всего-навсего одну из его конденсаций. Кихотизм Сервантеса, а не Дон Кихота и является для меня подлинным кихотизмом. Но не кихотизм Сервантеса, проявлявшийся в алжирских банях, я говорю о кихотизме книги, а не жизни Сервантеса. Дабы избегнуть подобного биографического свойственного эрудитам отклонения, я предпочитаю титул кихотизм сервантизму.

Исследование кихотизма – труд настолько возвышенный, что автор принимается за него, совершенно уверенный в правильности выбранной цели, как если бы отважился сражаться с самими богами.

Тайны природы вырывают у нее насильно; ученый, освоившись в космической сельве, направляется к проблеме напрямик, как охотник у Платона или у Св. Фомы; ученый – это человек, отправляющийся на охоту, θηρευτής, *venator*[1]. Когда владеешь оружием и волей, тогда знаешь, что дело обеспечено, новая истина непременно упадет к твоим ногам, подобно птице, раненной на лету.

Тайна же гениального произведения искусства не поддается подобного рода интеллектуальной агрессии. Она сопротивляется силовому натиску и сдается одной лишь доброй воле. Соискивая здесь также научную истину, мы с неизбежностью затрачиваем тяжкие усилия, но... действуем не по охотничьему обыкновению, не

---

[1] зверолов (*греч.*); охотник (*лат.*).

нахрапом. Эта тайна поддается не силе оружия, а высоким размышлениям. Произведение уровня "Дон Кихота" необходимо брать, как Иерихон. Широко с флангов охватывая истину, наши мысли и наши чувства медленно теснят ее, оглашая окрестности звуками труб.

Сервантес – многострадальный идальго, написавший эту книгу, – уже три столетия бродит по Елисейским полям и, меланхолически поглядывая вокруг себя, ждет и надеется на то, что когда-нибудь непременно родится потомок, способный понять его.

В настоящих размышлениях, за которыми последуют другие, автор не намерен – это совершенно ясно – вторгаться в область последних тайн "Дон Кихота". Мои размышления, с неизбежностью вызываемые этим бессмертным творением, широкими кругами парят над ним, не позволяя себе ни поспешности, ни небрежности.

И в заключение еще несколько слов. Надеюсь, что с первых же строк и вплоть до последних закоулков этих эссе читатель будет находить свидетельства моей обеспокоенности как патриота; другими словами, все, здесь написанное, и все, чем я руководствуюсь, своим духовным источником имеет отрицание отжившей Испании. Конечно, одно лишь отрицание сродни безбожию. Человек набожный и искренний, решившись отрицать что-либо, одновременно принимает на себя обязательство возводить новые утверждения. По крайней мере, стремится делать это.

Так и мы. Отрицая одну Испанию, мы делаем ответственный шаг по направлению к другой Испании. И это обязательство, своего рода клятва, не дает нам спокойно существовать. Поэтому, если вы проникнетесь нашими самыми глубокими и персональными размышлениями, тогда, надеюсь, вы, к удивлению своему, с помощью скромных излучений моей души сами примете участие в опыте жизни новой Испании.

Перевод О.В. Журавлева

Печатается по изданию: *Ортега и Гассет Х.* Размышления о "Дон Кихоте". СПб., 1997. С. 5–39

Г.В. Степанов

ДОН КИХОТ: ПЕРСОНАЖ И ЛИЧНОСТЬ

Литература реалистического направления всегда связана с жизнью, но всякое литературное произведение связано еще и с литературой: оно живет в среде себе подобных или неподобных, продолжает некоторые традиции или отрешается от них, развивает одни тенденции или затеняет, а то и вовсе упраздняет другие. Своеобразие романа "Дон Кихот" состоит в том, что, пожалуй, впервые в мировой литературе здесь нашли художественное отражение эти два типа связей в сложном переплетении: литература и литературная реальность (конкретное произведение

в контексте литературы, "Дон Кихот" и литературная реальность современного Сервантесу периода). До Сервантеса не было попыток "сверить литературу с жизнью". Он сделал это на примере возрождения рыцарского романа. Дон Кихот совершает действия и поступки так, как предписывает ему опыт его литературного предшественника Амадиса. Поведение Дон Кихота определяется в конкретных ситуациях готовыми, уже однажды продуманными рекомендациями, рецептами на все случаи типизированной рыцарской жизни. Действенность модели, сказали бы мы теперь, проверяется экспериментом. Трагизм Дон Кихота состоит не только в незнании действительности, но и в беспредельной вере в силу рыцарской модели мира, в миф, сотворенный предшествующей литературой. Сервантес превращает, таким образом, литературный факт (рыцарский роман) в факт сознания другого литературного персонажа, исполняющего роль искаженной в художественном произведении ("Дон Кихот") личности (Дон Кихот). В основе всякого подвига – забвение себя. В отличие от Амадиса, которому не нужно ни забывать, ни одолевать себя, провинциальный идальго дон Кихана, Кихада или Кесада, по прозвищу "Добрый", должен был расстаться со своим прошлым во имя любви к прекрасной даме и ради всеобщей справедливости.

Будучи художником, Сервантес не мог отразить процесс освобождения личности иначе, как посредством освобождения главного своего персонажа от власти принципов и установлений средневековой, предренессансной, да и современной ему литературы. Величие эпохи Возрождения заключалось, между прочим, в том, что именно она породила художника, способного поступить столь свободно и оригинально в выборе литературного пути. Чтобы дать свободу своему герою, необходимо было обрести ее самому автору. Ренессансное перепутье давало возможность разных ориентаций. Сервантес отказался от догматического назидания, "смешения божеского и человеческого", религиозного аскетизма, плутовской агрессивности, умилительных проповедей в христианском духе, бездумной одержимости героев рыцарских романов, статичности многословной пасторали. Его не увлекали ни стабильная слава Лопе, ни слишком громкие успехи неуравновешенного Кеведо.

Величие автора "Дон Кихота" проявилось в том, что, оставив в стороне проторенные рыцарями маршруты, утопичные поля, леса и долины, населенные пастухами и пастушками, как бы устав сострадать униженным и обездоленным пикаро, он построил новую эстетику и "стал первым, кто написал роман на кастильском языке". Творческой волей Сервантеса была создана (в сфере идеологии и эстетики) конфронтация новой литературной системы со старыми, традиционными и отживающими.

Театрализованный критический обзор литературы в ее традиционных жанровых разновидностях (рыцарский роман, пастораль, эклога и др.) представлен в главе шестой Первой части романа. Священник, цирюльник, племянница Дон Кихота и ключница – участники тщательного осмотра библиотеки новоявленного рыцаря – выступают в роли суровых "рецензентов", приговаривающих к сожжению большинство книг за их лживость, вздорность, "нагромождение несуразностей и нелепостей", за их "тяжелый и сухой язык". В романе содержится немало и других метких критических суждений. Так, о древней рыцарской поэзии справедливо говорится,

что в ней "больше пыла, чем совершенства" (I, XXIII); строгие поэтические рамки кажутся автору очень стеснительными. "Правила для сочинения глосс, – считает он, – были слишком строгими, ибо они не допускали вопросов, выражений *он сказал, я скажу*, образований существительных от глаголов, изменения смысла и ряд ограничений и пут, которые оплетают сочинителей" (II, XVIII). Дуэнья Долорида протестует против поэтических шаблонов вроде *Феникса Аравии, венца Ариадны, коней Солнца, перлов юга* и т.д. (II, XXXVIII). Пародией на подобного рода "околичности и поэтичности" рыцарских романов звучит начало двадцатой главы Второй части: "Лишь только белая Аврора позволила блистающему Фебу высушить жаром своих горячих лучей капельки жемчужин в ее золотых кудрях...".

Агонисты рыцарских романов лишены индивидуальной воли и свободы: раз и навсегда принятый принцип рыцарской чести гонит их по горам по долам, по дорогам и селениям стран, островов и континентов навстречу неотвратимой, как космическое явление, победе. Самое важное для них – действие, а не бытие и существование. Все роли распределены, и никто не оценивает ни других, ни самих себя: герой романа – "самый лучший из рыцарей", а его дама – "самая совершенная из всех живущих и живших на земле женщин". Описывая "несравненную" красоту героини, автор "Амадиса Уэльского"[1] не решается сравнить ее с чем-нибудь земным, дабы не унизить ее этим сравнением: "Ориана была самым красивым существом, которое когда-либо видели". В другом рыцарском романе – "Пальмерине Английском" – можно отметить множество подобных сравнений: "...его дочь Полинарда к тому времени стала такой красивой, что даже ее мать и бабушка не были столь красивыми, как она, в то время когда они были в расцвете молодости". Автор "Пальмерина", желая показать нарастающую силу четырех сражений, сравнивает второе с первым (оно никак не определяется), третье с первым и со вторым, а четвертое со всеми предыдущими: "...они вступили в новую битву, так что первая в сравнении с этой была ничто"; "между ними завязалась такая жестокая битва, что заставила забыть все предыдущие"; "они начали новую битву, столь непохожую на все предшествующие, что даже дон Дуардос испугался того, что увидел".

Важно отметить, что в своем "образцовом" рыцарском романе "Персилес и Сихизмунда" Сервантес тоже не выходит за пределы жанровых клише: о девушке Аристеле, которая, подобно многочисленным Фили, Дианам, Галатеям и прочим дамам, причислена к "несравненным", говорится, что она "была так красива, что среди живущих ныне на свете и среди тех, которых можно нарисовать самое пылкое воображение, она была первой", что "ее благоразумие равно ее красоте, а ее несчастья так же велики, как ее благоразумие и красота".

В отличие от персонажей рыцарского романа герои пасторали наделены "человечностью", точнее сказать, духовностью. Пастухи и пастушки лиричны, ибо их одолевает страсть самовыражения. В рыцарском романе – калейдоскоп подвигов, в пасторали – потоки слов. Сосредоточенность на своем внутреннем мире – шаг на пути постижения другой, родственной по чувствам души. Эта "задушевность"

---

[1] В данной статье автор употребляет редкое в России англизированное написание прозвища Амадиса. – *Ред.*

не могла не привлечь широкого читателя. Не случайно пасторали были первыми "карманными" изданиями. Они не только успешно соперничали с неподъемными томами рыцарских романов, но и решительно оттеснили их на задний план.

Если в рыцарском романе герой движется в пространстве (писатель часто разрабатывает для него длиннейшие маршруты) и действует во времени, то в пасторали пространство утопично, условно, замкнуто, а время не движется. И хотя мечты пастухов и пастушек не выходят за пределы окрестных гор, они мечтают о личной духовной свободе и темпераментно отстаивают свое право на уединение. "Я родилась свободною, – говорит пастушка Марсела, – и, чтобы жить свободно, я избрала безлюдье долин: деревья, растущие на вершинах гор, – мои собеседники, прозрачные воды ручья – мои зеркала" (I, XIV). Неуемное пастушеское свободолюбие, сколь бы декларативным и утопичным оно ни было, привлекало Сервантеса больше, нежели рыцарский автоматизм в совершении подвигов и благородных поступков. Хотя Дон Кихот (персонаж) и подражает Амадису, но в отличие от него является творцом (личность) рыцарского мифа, хотя и по жанровым законам, но из самой что ни на есть прозаической действительности, да еще и рассуждает о разных предметах и лицах, в том числе и об Амадисе, а следовательно, и о себе.

Главный герой романа – это этическая личность, поставленная в конкретные исторические условия. Самое существование в романе – не поступки Дон Кихота (этим он мало отличается от таких персонажей, как Адамис или Пальмерин), а личностная форма ви́дения мира, характер восприятия и оценок окружающих людей, событий и собственных поступков.

Дон Кихот хочет поступать как персонаж рыцарских романов и уже поэтому предстает перед читателями как личность. Реальная среда разрушает его замыслы, обнажая драматическое несоответствие замышленного и действительного, содействуя тем самым формированию личности. Придав Дон Кихоту черты и свойства этического человека, Сервантес атакует рыцарский миф именно с этих позиций и одерживает победу над ним. Но здесь же его ожидает и поражение. Сервантес едва ли не первым в мировой литературе представил своего героя как личность, ищущую слияния с другими людьми, с обществом, идущую навстречу миру. В своем стремлении снять психологический дефицит, возникающий от сознания своего одиночества, Дон Кихот, этот последний рыцарь, вовсе не желает возвыситься над другими, как будет стараться сделать это романтический герой, среда его не растворяет в себе, "не заедает", как это случится с персонажами в натуралистическом романе, она просто не приемлет его.

Сервантес строит свое повествование как "летописец", следующий лукиановскому принципу "не убавлять и не прибавлять к действительно бывшему". Но все же его "история" ближе, говоря грамматическим языком, к сослагательному наклонению, чем к изъявительному, поскольку художник (в отличие от историка) сам творит факты, конструирует ситуации, монтирует их последовательность, рассчитывая на восприятие их как "действительно бывших", независимо от того, правдоподобны они, фантастичны или даже нелепы.

Освобождение персонажа от узких рамок жанра находит у Сервантеса оригинальное, чисто литературное решение: автор позволяет Дон Кихоту свободно

менять жанровые парадигмы. Дон Кихот по собственной воле сочиняет миф о своей принадлежности к рыцарскому ордену. Эта трансформация реального идальго сеньора Киханы Доброго в идеального рыцаря происходит открыто, так сказать, на глазах у читателя: хромая на четыре ноги кляча превращается в боевого коня, заурядная деревенская девица Альдонса – в "несравненную" Дульсинею Тобосскую, бритвенный таз – в шлем, незатейливое имя Кихана – в звонкое Дон Кихот Ламанчский. Так же открыто вершится и разрушие мифа, и тогда все люди и вещи, и события снова занимают свои реальные социальные ступени, места и обретают подлинную значимость. Показательно в этом смысле, что Дон Кихот – творец мифов – и Санчо – их постоянный разрушитель – однажды меняются ролями. В главе десятой Второй части Санчо, принимая на себя роль мифотворца, пытается убедить Дон Кихота, что идущие им навстречу крестьянки – это Дульсинея и две сопровождающие ее придворные дамы. "Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо и, широко раскрыв глаза, устремил смятенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогинею; и как Дон Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглолицую и курносую, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова". Дон Кихот, страстно желающий поверить в чудо, не может этого сделать безоговорочно: "Между тем должен сознаться, Санчо, что когда я приблизился к Дульсинее, дабы посадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя он мне и представляется ослицей, то от нее так пахнуло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота и мне едва не сделалось дурно". И далее, уже поверив в выдумку Санчо, он все же спрашивает: "А скажи мне, Санчо, то самое, что я принял за вьючное седло и что ты прилаживал, – что это такое: простое седло или же дамское?"

Свобода Дон Кихота – персонажа от литературной парадигмы подчеркивается возможностью выбора: либо уйти из литературы в жизнь, превратившись в Кихану Доброго, либо уединиться на узкой сценической площадке другого жанра. Содержание главы шестьдесят седьмой Второй части звучит так: "О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей..." Далее Сервантес повествует о том, как Дон Кихот представляет себе это новое превращение: "Вон тот лужок, где мы встретились с разодетыми пастушками и разряженными пастухами, задумавшими воссоздать и воскресить здесь пастушескую Аркадию, каковая мысль представляется мне столь же своеобразной, сколь и благоразумной, и если ты ничего не имеешь против, Санчо, давай в подражание им превратимся в пастухов, хотя бы на то время, которое мне положено провести в уединении. Я куплю овечек и все что нужно пастухам, назовусь пастухом Кихотисом, ты назовешься пастухом Пансино, и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам... песни доставят нам удовольствие, слезы – отраду, Аполлон вдохновит нас на стихи, а любовь подскажет нам такие замыслы, которые обессмертят нас... бакалавр Самсон Карраско, если он вступит в пастушескую нашу общину, – а он, разумеется, вступит, – может называться пастухом Самсонино или пастухом Каррасконом, а цирюльник Николас может называться Никулосо... Между тем подобрать имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, это проще простого, а как имя моей госпожи одинаково подходит для пастушки и для принцес-

сы, то и не к чему мне утруждать себя поисками более удачного имени... А чтобы мы могли показать себя на новом поприще с наивыгоднейшей стороны, то нам тут окажет существенную помощь вот какое обстоятельство: ведь я, как ты знаешь, отчасти стихотворец, бакалавр же Самсон Карраско – поэт изрядный... Я стану сетовать на разлуку, ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон будет роптать на то, что он отвергнут..." – и т.д.

Тема превращения, т.е. жанрового двойника, развернута и в трех главах Первой части (L, LI, LII), где Эухеньо превращается из обычного козопаса в литературного пастуха и снова в козопаса, с которым вступает в самую настоящую драку Дон Кихот, также нарушивший своим вульгарным поведением законы жанра рыцарского романа. Очень похоже, что столкновение двух разножанровых героев символизирует – по замыслу Сервантеса – соперничество двух литературных жанров: рыцарского романа и пасторали.

Освобождение Дон Кихота – персонажа от жесткой парадигмы – можно видеть и в том, что он в отличие от своих литературных собратьев обретает способность развития (развивающаяся личность). Чтобы осуществить эту новаторскую задачу, Сервантес должен был представить своего героя как человека деятельного, умеющего бороться и сострадать, проявлять активность в самых сложных, конфликтных ситуациях. Идея развития персонажа-личности не была художественно разработана до Сервантеса. Деяния рыцаря складывались из отдельных поступков и подвигов, перестановка которых ничего не изменила бы в читательском восприятии. Сам герой их не оценивал и не рассуждал по поводу их. В плутовских повестях невзгоды, неудачи, промахи, ошибки парализуют пикаро до такой степени, что он оказывается неспособным к приобретению житейского опыта, не говоря уж об общественном. Герои "Селестины" настолько связаны ролью влюбленных, что ни в каких ситуациях не могут расстаться с ней. Чувства пастухов и пастушек предстают перед нами как бы врожденными, раз и навсегда данными, неизменными.

Существует мнение, явно ошибочное, о том, будто Дон Кихот как персонаж и как личность лишен черт развития. Так, например, Марта Робер полагает, что "Дон Кихот", так же как и "Одиссею", можно читать в любом порядке, ибо в этих произведениях герои не развиваются, а события просто нанизываются одно на другое, они равны друг другу по своей значимости и допускают любого рода перестановки. Смерть Дон Кихота, как и возвращение Улисса, ничем не подготовлены и никак не оправданы[1]. Следует, однако, обратить внимание на тот факт, что серия приключений Дон Кихота начинается сражением с ветряными мельницами, а одним из завершающих и кульминационных эпизодов является столкновение с герцогской четой. Совершенно очевидно, что общими в этих двух столкновениях – механическом и идеологическом – являются стереотипные рыцарские побуждения и одинаковый неудачный результат. Но очевидно и то, насколько более принципиальным, сложным, психологичным оказывается второе столкновение. После приключения с мельницами Дон Кихот не извлек никаких выводов, они никак не вошли в его личный опыт. Встреча с герцогской четой заставила рыцаря сделать печальное,

[1] См.: *Robert M.* L'ancien et le nouveau: de Don Quichotte a Kafka. P., 1963. P. 125–126.

но решительное заключение о том, что "его жизнь в замке идет вразрез со всем строем рыцарства и того ради попросить... дозволения покинуть сей кров" (II, LII). Наделив своего главного героя свойствами развития, Сервантес превращает рыцарский персонаж в активно действующую личность.

Основная идея романа раскрывается Сервантесом не только при помощи столкновения идей, лиц, их характеров и поступков, но и противопоставлением языковых манер выражения ("социальных диалектов"), что становится важным онтологическим свойством текста романа, стилистическим принципом, активно формирующим структуру произведения. Смена языковых манер выражения, их оценки автором и персонажами помогает представить выбор "социального диалекта" как поступок и придать ему этическую, эстетическую и идеологическую значимость. Вместе с тем сам факт переключения с одного языкового регистра (тона) на другой свидетельствует о важном достижении реалистического метода: упразднение жесткой сопряженности жанра и языковой манеры выражения, господствовавшей в эпосе, рыцарском романе; плутовской повести, эклоге, пасторали, создание поливалентных в языковом отношении образцов художественного текста открывали качественно новые возможности эстетического освоения жизни. Анахроничные принципы рыцарства развенчиваются Сервантесом всеми доступными средствами, в том числе и языковыми. Одним из виновников сумасшествия сеньора Киханы Доброго, будущего рыцаря Дон Кихота Ламанчского, был, как это явствует из первой главы Первой части, Фелисиано де Сильва, автор "Второй Селестины" и ряда рыцарских романов, слог которых являлся своеобразным инвариантом литературных произведений этого жанра: "О любовь! Ведь нет правоты в том, в чем твоя неправота не имела бы большей правоты в твоих превратностях! И ты лишаешь меня своей неправотой того, что по праву созданных тобою законов ты сама мне обещаешь, с тем правом, которое у меня есть". Пародируя де Сильву, Сервантес сочиняет такую фразу: "Право бесправия, которое вы осуществляете в отношении моего права, делает мой ум настолько бесправным, что я по праву жалуюсь на ваше великолепие". "Читая такие фразы, замечает автор, – и силясь их распутать и разгадать их смысл, наш бедный кабальеро совсем терял разум и проводил бессонные ночи, а между тем, если бы сам Аристотель нарочно для этого воскрес, то и он бы ничего не разгадал и ничего не понял" (I, I). Манерные повторы де Сильвы не имеют ничего общего с безыскусственными повторами народной формы устного рассказа. "В одном местечке Эстремадуры, – повествует Санчо, – жил козий пастух, т.е. я хочу сказать, что он пас коз, и этот самый пастух или козопас, о котором я рассказываю, прозывался Лопе Руис, так вот этот Лопе Руис был влюблен в одну пастушку, которую звали Торральба, и эта самая пастушка Торральба была дочерью одного богатого скотовода, а этот богатый скотовод..." (I, XX). Дон Кихот, воспитанный на рыцарских романах и высоко оценивающий затейливую игру в слова, свойственную этому жанру, не только не сумел оценить естественную простоту рассказа Санчо (точное воспроизведение интонации разговорной речи – факт беспримерный в литературе того времени, во всяком случае в испанской), но и не принял его: "Если ты таким образом будешь рассказывать свой рассказ, Санчо... повторяя дважды то, что ты рассказываешь, так ты его в два дня не кончишь". На это Санчо отвечает: "Да я

рассказываю точь-в-точь так же... как рассказывают эти сказки у нас в деревне, по-другому я не умею рассказывать, да вашей милости и не следует требовать, чтоб я вводил новые обычаи" (I, XX). На фоне сталкивающихся манер речи – естественной – "натуральной" и искусственной – выбор Дон Кихота предстает перед читателем именно как поступок, столь же непонятный окружающим, как и другие его действия. Встретившись однажды с крестьянами, он объясняет им, кто он по званию и роду занятий, и замечает, что он странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. "Для крестьян все это было так же понятно, как греческий язык или какая-нибудь тарабарщина" (II, XIX). Обитатели постоялого двора, слушавшие речь Дон Кихота, едва могли уловить ее смысл: "В смущенье слушали хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес слова странствующего рыцаря, которые были столь же им понятны, как если бы он говорил по-гречески, хотя и видно было по всему, что речь шла о каких-то благодарностях и любезностях. Не привыкнув к такой манере выражения, они только смотрели на него и дивились" (I, XVI). Несколько иной эффект производили речи Дон Кихота на образованную публику. Студенты, например, люди более образованные и начитанные, нежели пастухи, крестьяне и "прекрасные дамы" с постоялого двора, "поняли Дон Кихота и сразу же смекнули, что он не в своем уме" (II, XIX). Попытки Дон Кихота ввести в живое обращение рыцарскую терминологию терпят неудачу. Ключевой термин "странствующий рыцарь" вне связи с книжной традицией непонятен многочисленным собеседникам и слушателям странствующего рыцаря Дон Кихота. Даже его оруженосец, исполнявший в меру своих сил и разумения новые для него обязанности, смутно представляет себе смысл этого термина. На вопрос служанки, что значит "странствующий рыцарь", Санчо отвечает: "Ты разве только-только на свет родилась, что не знаешь этого? Так знай же, сестрица, что странствующий рыцарь это такая штука, что слова не успеешь молвить, как он может быть и палками поколочен и императором стать" (I, XVI).

"Нестрогое" употребление термина автором и персонажами размывает границы его применения, снижая или вовсе снимая терминологичность: "храбрый и странствующий рыцарь", "христиане, католики и странствующие рыцари", "рыцарь странствующий и ищущий приключений", "влюбленный и странствующий рыцарь", "неудачно странствующий рыцарь" и т.д. Определение "странствующий" становится поливалентным, порождая целую серию пародийных псевдотерминов: "шли наши странствующие: рыцарь и оруженосец", "странствующие архиепископы", "странствующая девица", "странствующие писания", "странствующие выражения" и т.д.

Использование разножанрового языкового материала в одном тексте несет у Сервантеса важную идейную и методологическую нагрузку. Однажды Санчо, сетуя на колдовское преображение Дульсинеи ("в сторону ухудшения"), восклицает: "Мало того, негодяи, что вы превратили жемчуг очей моей сеньоры в чернильные орешки и ее волосы из чистейшего золота – в щетину рыжего бычьего хвоста..." (II, X). Выражение "волосы из чистейшего золота" относится к клишированным формам описания женской красоты, составляющим поэтические наборы в некоторых литературно-художественных системах (в частности, в рыцарском романе): лицо – солнце, глаза – изумруды (звезды), шея – белый мрамор (алебастр, слоновая кость), губы – рубины и т.д. "Жемчуг очей" Санчо взял, видимо, не из той поэтической

наборной кассы, ибо сравнение глаз с жемчужинами никак не подходит к системе даже очень условных оценок женской красоты. Дон Кихот заметил эту несообразность и решительно исправил нарисованный оруженосцем портрет: "Ты плохо описал ее красоту, ибо, насколько я помню, ты сказал, что у нее были жемчужные очи, а глаза, которые похожи на жемчуг, бывают скорее у красноперого спара (виды рыбы. – *Г.С.*), чем у женщин, и мне кажется, что глаза Дульсинеи *должны быть* (курсив мой. – *Г.С.*) из зеленого изумруда, рассеченные пополам и осененные двумя небесными сводами, которые служат ей бровями; а жемчуг твой не приставляй к глазам, но прибереги для зубов, наверное, Санчо, ты ошибся и глаза принял за зубы" (II, XI). Здесь следует отметить два принципиально важных момента. Во-первых, ни Санчо, ни Дон Кихот не видели Дульсинею Тобосскую, что не мешает, однако, оруженосцу описывать ее красоту, а рыцарю – дать исправленный и дополненный вариант описания. Сервантес, как мы видим, критикует самые основы художественного конструирования образа, принятые в рыцарском романе: заведомую несоотнесенность этого образа с реальной моделью в жизни. Если обратиться к формуле Кеведо, по которой осуществляется акт творчества, "оригинал–художник–кисть–копия", то можно сказать, что в произведениях нереалистического, "идеального" направления нет жизненного оригинала, как нет и копии, воспроизводящей, отражающей конкретный жизненный материал. Санчо хорошо усвоил этот принцип несоотносимости и несоотнесенности с реальностью, превратив чернильные орешки в жемчуг очей, а щетину рыжего бычьего хвоста – в волосы из чистейшего золота. Во-вторых, Санчо со своей точки зрения сделал "непротиворечивое описание" несравненной Дульсинеи. Его ошибка, с точки зрения Дон Кихота (кстати, он не сразу ее заметил и обратился к этой теме только в следующей главе), состояла в том, что он нарушил законы жанра. Сравнение волос с золотом законно в рыцарском романе, а глаз с жемчугом возможно в общенародном употреблении. Слово "жемчуг" имеет в общем языке значение чего-то драгоценного, хорошего, красивого. Внешний вид жемчуга (форма, цвет) не является тем признаком, который помешал бы употребить слово "жемчуг" в переносном значении. Ср. в речи оруженосца рыцаря Леса: "...воспитывать моих детишек, которых у меня трое, и каждый из них словно восточная жемчужина".

Стиль связан не только с онтологическими свойствами текста, но и с функциональной характеристикой произведения, с его прагматической направленностью. М.Б. Храпченко пишет по этому поводу: "...Стиль следует определить как способ выражения образного освоения жизни, способ убеждать и увлекать читателей"[1]. Иными словами, читатель есть та оценочная инстанция, на которую автор непременно должен ориентироваться. Стиль произведения выполняет, таким образом, функцию двояковогнутой линзы между художником и публикой. Именно обращенность к читателю (наряду со спецификой выбора объекта описания, темой, идеей) требует от писателя выработки определенной стратегии (выбор метода) и тактики (создание определенного тона, стиля). Хотя читатель самостоятельно оценивает произведение и даже участвует в процессе сотворчества, пролагая собственные пути для восприятия и постижения запечатленных образов и целых образных систем,

[1] *Храпченко М.Б.* Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М., 1970. С. 109.

все же многое для него остается скрытым. В связи с этим автор, как бы не полагаясь на читательскую прозорливость, берет на себя задачу раскрыть основные стратегические (методологические) и тактические (стилистические) принципы. Для этой цели служат обычно прологи, предуведомления, предисловия, которые, кстати сказать, пишутся не до создания произведения, а в конце труда над ним. В Прологе к Первой части "Дон Кихота" говорится о том, что история, изложенная в книге, должна предстать перед читателем "чистой и нагой". "Приятель" автора, "человек остроумный и здравомыслящий", обращаясь к нему, формулирует задачи художника следующим образом: "Ваше дело подражать природе в ваших писаниях, ибо чем искуснее автор ей подражает, тем совершеннее его творение". Главная задача, считает он, состоит в том, чтобы "изобразить во всем, чего вы касаетесь и насколько это возможно, ваш замысел (intención), доступно излагая ваши мысли (conceptos), не запутывая и не затемняя их". Здесь же рекомендуется и форма изложения, свойство которой состоит в том, чтобы "слова были содержательными, пристойными и хорошо расположенными, а фразы и периоды звучными и остроумными". Выслушав эти соображения и осознав, что "Дон Кихот" построен именно на этих принципах, автор поверил в то, что история Дон Кихота Ламанчского дойдет до читателя "без всяких обиняков, во всей своей непосредственности".

"Дон Кихот" Сервантеса являет собой блестящий пример "образного освоения жизни" и высочайшего искусства "убеждать и увлекать читателей". Огромное общественно-эстетическое воздействие романа о Дон Кихоте, традиционном литературном персонаже и личности, ставшей новым персонажем новой литературы, не иссякает с бегом времени, ибо "Дон Кихоты были возможны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по лесам" (Белинский).

Печатается по изданию: *Степанов Г.В.* Язык. Литература. Поэтика. М., 1988. С. 246–259.

Г.В. Степанов

ЗАМЕТКИ О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СЕРВАНТЕСА

В огромной литературе по Сервантесу удельный вес работ, посвященных специальному исследованию языка и стиля писателя, весьма незначителен. Совершенно неосвещенным остается вопрос о лингвистических воззрениях писателя, о его взглядах на принципы развития литературного языка и художественного стиля.

Правда, Сервантес не был лингвистом в узком смысле этого слова, и у нас нет оснований причислять его к теоретикам языка, тем не менее отдельные замечания, высказанные им в разной связи и по различным поводам, представляют, на наш взгляд, несомненный интерес.

Языковая практика художника слова, тем более такого крупного, как Сервантес, не должна рассматриваться в отрыве от эстетических воззрений его эпохи, в отрыве от борьбы представителей различных идеологий в вопросах развития литературы, литературного языка и художественного стиля.

Внимательное отношение Сервантеса к лексическому составу испанского литературного языка, осторожное и разумное использование иностранных слов, умелое употребление архаизмов, использование латинизированного словаря в качестве одного из средств сатирической критики, интерес к арабской прослойке в словарном составе испанского, использование языкового богатства фольклорных произведений – все это свидетельствует о широте лингвистического кругозора писателя и об осведомленности его в тех вопросах, мимо которых не мог пройти ни один действительно крупный мастер слова.

Помимо проблем, связанных с теориями литературного языка и стиля, Сервантеса, видимо, интересовали и некоторые общие вопросы языкознания, в частности определение природы и свойств человеческой речи вообще.

В одной из самых интересных новелл Сервантеса, "Разговоре двух собак", приводятся любопытные рассуждения собеседниц-собак о том, как и почему они могут разговаривать на человеческом языке.

Собака Берганса, обнаружив у себя способности к воспроизведению и восприятию человеческой речи, не может скрыть своего удивления.

"Братец Сципион, я слышу твою речь, знаю, что и я с тобою разговариваю, а все же не могу поверить этому, ибо мне кажется, что то обстоятельство, что мы говорим, выходит из пределов естественного".

Сципион также поражен и удивлен. Однако самым замечательным ему кажется не то, что они разговаривают, т.е. что между ними устанавливается какая-то коммуникация, но что сносятся они при помощи речи (discurso). Для того, чтобы пользоваться речью, необходимо обладать разумом (razón), которого, как признается Сервантес, у них нет.

"Разница между диким животным и человеком состоит в том, что человек является разумным животным, тогда как дикое животное неразумно".

Берганса замечает, что в течение всей своей жизни она не раз слышала о больших способностях животных (diversas y muchas veces he oido decir grandes prerogativas nuestras): "Некоторые подмечали в нас природный инстинкт, столь живой и острый, что по этим признакам едва ли не приписывали нам некую способность к воспроизводству речи".

Однако более непосредственный Сципион все же изумлен так неожиданно появившейся у них способностью общаться при посредстве человеческой речи, тем более что ему никогда в жизни не приходилось видеть, чтобы слон, собака, лошадь или обезьяна разговаривали. Сципион не желает задумываться над тем, что у них (у собак) появилась речь, ибо то, что случается по предписанию свыше, не поддается человеческому разумению. Берганса "припоминает", что желание заговорить появилось у нее не сразу, но с того момента, как она достаточно окрепла, чтобы самостоятельно грызть кости. Сама речь потребовалась ей для того, чтобы выразить накопившиеся в ее памяти представления (para decir cosas que depositaba en la memoria).

Так как в ее памяти было много всяких впечатлений, в том числе и очень давних, то они, не будучи закрепленными языком, либо стирались, либо совершенно забывались, но именно благодаря языку Берганса получила возможность и закрепить впечатления, и сообщить о них другому.

Наши сведения по истории развития лингвистической мысли в Испании XVI в. крайне ограничены, а потому замечания Сервантеса о свойствах человеческой речи, об инстинкте у животных, о качественном отличии человеческого мышления от зачатков памяти и способности представлений у животных могут иметь интерес для последующих разысканий в этой области[1].

Вопросы языка занимают испанское общество XVI в. так же живо, как политика, национальный престиж, литература и искусство. В течение XVI – начала XVII в. вышло около десяти работ по вопросам происхождения и становления испанского национального языка (среди них труды Вальдеса, Луиса де ля Куэва, Лопеса Мадеры, Бернардо Альдрете и др.), свыше десяти работ по грамматике и синтаксису (значительный интерес представляют грамматики Небрихи, Вильялона, Луиса Пастраны, Бартоломе Гравио); около двадцати исследований по общим и частным вопросам испанского стихосложения, например, "Искусство поэзии" Энсины, письмо Франсиско де Фигероа, которое он адресует Амбросио де Моралес, "Рассуждение о кастильской поэзии" Гонсало Арготе, комментарии Эрреры к собранию стихов Гарсилясо де ля Веги и др. Кроме того, в этот же период появилось свыше тридцати сборников орфографических правил, а также большое количество толковых и этимологических словарей. Деятельность лингвистов, которая замыкалась раньше главным образом в рамках изысканий на материале греческого и латинского языков, теперь значительно расширяется. В поле зрения лингвистов все чаще попадают языки и диалекты пиренейского комплекса, включая и баскский (например, "Баскские пословицы" Эстебана де Гарибай, "О древнем языке, населении и провинциях Испании" Андреса де Поса), романские языки, германские. Андрес де Овьедо описал строй абиссинского языка, Асеведо перевел "Новый завет" и составил грамматику абиссинского. Франсиско Эрнандес в конце XVI столетия составил катехизис на бенгальском языке. Доминиканец Хуан Кубо перевел с китайского книгу Бенг Сим По Кама, Гаспар де Вильела перевел на японский несколько сочинений духовного характера, а Хуан Эрнандес написал грамматику японского языка. Только по языкам Мексики вышло около 50 грамматик, словарей и справочников, много работ было посвящено описанию языков Центральной и Южной Америки. Хуан Киньонес составил грамматику и словарь языка тагала ("Arte y Vocabulario de la Lengua Tagala", 1581) и т.д.

В связи с интересом к истории формирования своего родного языка испанские филологи обращают большое внимание на проблему его лексического состава, и в частности, на арабскую прослойку в испанском. Сервантес также высказывал свое

---

[1] Никто из комментаторов Сервантеса не обращает должного внимания на эти высказывания. Агустин де Амесуа и Майо указывает на книгу Переса Пинсиано "Philosophia antigua poética", хорошо знакомую Сервантесу, из которой он мог почерпнуть мысль о том, что у животных есть какое-то подобие речи (sombra de discurso).

суждение по поводу арабизмов в испанском словаре, которое дается им в художественной форме в романе "Дон Кихот". Дон Кихот в разговоре с Санчо, перечисляя ряд музыкальных инструментов, употребляет слово albogues: "...а что, если еще к этим различным инструментам примешается звук альбогов!" (II, LXVII).

Санчо никогда в жизни не слышал такого слова и просит объяснить, что оно значит. Дон Кихот дает справку об этом инструменте, а затем делает довольно пространный экскурс филологического характера:

"– Альбоги – это такие тарелки, вроде бронзовых подсвечников... А название альбоги арабское слово, как и все слова в нашем испанском языке, начинающиеся на al, например: almohaza (скребница), almorzar (завтракать от almuerzo – "завтрак"), alhombra (ковер), alguacil (альгвасил), alhucema (лаванда), almacén (магазин), alcancía (копилка) и еще несколько им подобных; и только три арабских слова в нашем языке оканчиваются на í: borceguí (мягкий сапог), zaquizamí (лачуга) и maravedí (мараведи́ – мелкая монета). Арабское происхождение слов alheli (левкой) и alfaquí (законовед) ясно уста́навливается как по их начальному al, так и по окончанию í".

Это отступление кажется несколько неожиданным, да и сам Дон Кихот говорит о том, что рассказал он это все между прочим, только потому, что было упомянуто слово albogues. В этих филологических наблюдениях содержится ряд неточных утверждений. Во-первых, не все слова испанского языка, начинающиеся на al, арабского происхождения. Комментаторы "Дон Кихота" адресуют по этому поводу упрек самому Сервантесу. Сам Сервантес, несомненно, имел представление о том, что слова вроде altura, alemán, alternativa, alojamiento, alongar, alma, alimentar и многие другие (всего слов на al неарабского происхождения в "Дон Кихоте" свыше ста) не содержат арабского артикля al.

Во-вторых, вместо almorzar (вряд ли арабского происхождения) можно было привести десятки других бесспорных арабизмов на al (в "Дон Кихоте" их свыше шестидесяти). В-третьих, слов, оканчивающихся на i, в испанском языке больше, чем перечисляет Дон Кихот: в самом романе мы встречаем carmesí, jabalí, neblí, tabí, tahalí, zahorí, zoltaní. Все слова, перечисленные выше, кроме zoltaní, зарегистрированы словарями испанской Академии и, следовательно, входят в словарный состав языка. К недостатку кихотовских выкладок следовало отнести их "голую эмпиричность". Действительно, Дон Кихот ограничивается простым перечислением ряда слов, не делая из этого никаких выводов, и слушателю (Санчо), должно быть, непонятен смысл пространного отступления своего наставника. В "Диалоге о языке" Хуана де Вальдеса аудитория (Марсио, Пачеко, Кориолан) получает более исчерпывающие сведения по вопросу об арабских словах в испанском. Вальдес начинает с того, что предупреждает слушателей: "Первое правило (грамматики) требует, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, является ли слово, которое вы собираетесь произнести или написать, арабским или латинским (по происхождению), ибо, зная это, вы сумеете (правильно) произнести его или написать".

Более подготовленная аудитория, нежели Санчо, просит Вальдеса сообщить ей разряды арабских слов, на что Вальдес отвечает, что он может дать только самые суммарные и неточные сведения (una noticia confusa), которые помогут скорее угадать (atinar), нежели точно определить (acertar) происхождение того или иного

слова. Вальдес в своем "Диалоге" дает довольно полные сведения об арабизмах в испанском, во всяком случае они полнее тех, которые содержатся в "монологе об арабизмах" Дон Кихота. Начитанность Сервантеса, его филологическое чутье, некоторое знакомство с арабской речью позволяют думать, что он мог бы сделать и более обширные наблюдения. Однако не следует забывать, что Сервантес писал не лингвистический трактат, а роман, в котором он с большим чувством меры, не нарушая общего тона повествования, рассказывает нам о том, что один из его героев обнаруживает знакомство с современной лингвистической литературой, в том числе, может быть, и с "Диалогом" Хуана де Вальдеса.

* * *

В своеобразном "аутодафе", который устраивает священник, цирюльник и экономка книгам из библиотеки Дон Кихота, вопрос о судьбе произведения "христианского поэта Лодовико Ариосто" поставлен в прямую зависимость от того, говорит ли он на своем тосканском языке (оригинал) или на чужом (перевод). Священник говорит: "Если этот последний (Ариосто) отыщется среди наших книг и мы увидим, что говорит он не на своем родном языке, а на чужом, я не почувствую к нему никакого уважения; но если он будет говорить на своем, – я возложу его себе на голову" (I, VI).

Священника нисколько не смущает то обстоятельство, что цирюльник не понимает по-итальянски. "Да вам и не следует его понимать, – замечал священник, – к тому же мы ничего не имели бы против сеньора капитана, если бы он не распространял его в Испании в переделке на кастильский, ибо это лишило его многих природных достоинств. Впрочем, то же самое делают все, кто пытается переводить на другой язык стихотворные произведения: ибо, как бы старательны и искусны ни были переводчики, им никогда не достичь той совершенной формы, в которой эти поэмы появились на свет" (I, VI).

Во Второй части романа Сервантес устами Дон Кихота развивает свои взгляды на искусство перевода. В полном соответствии с устремлениями ученых-гуманистов пропагандировать изучение классических языков Дон Кихот высказывает мысль о том, что переводы с греческого и латинского не могут идти в сравнение с переводами с одного вульгарного языка[1] на другой:

"...мне кажется, что переводить с одного языка на другой, если это только не перевод с царственных языков – греческого или латинского, – то же, что рассматривать фламандские ковры с изнанки: хоть и видишь фигуры, они все же затуманены покрывающими их нитями, и пропадает вся окраска и гладкость лицевой стороны, при этом перевод с легких языков так же мало требует ума и стиля, как переписка или снимание копий с бумаг" (II, LXII).

Сервантес имел основания вложить в уста Дон Кихота столь пессимистическую оценку переводов с "легких" языков. Если переводы с "царственных" языков, ведущие свое начало от Альфонса X и его школы и достигавшие высокого мастерства

[1] Имеются в виду романские языки, происшедшие от латинского просторечия. – *Ред.*

в практике ученых и писателей Возрождения, могли уже опираться на прочную традицию, то переводческая работа с новых языков только еще начиналась. Естественно, что отсутствие опыта перевода, теоретическая неразработанность принципов переводческой работы, случайный состав переводчиков, почти полное отсутствие знаний теоретических основ грамматики и лексики "легких" языков (сама близость романских языков таила опасность для переводчика, ибо затрудняла выявление национального своеобразия чужого языка) – все это предопределяло низкий уровень переводной литературы. Перечисленные выше недостатки особенно пагубно сказывались на переводе художественных произведений. Явной пародией на ремесленнические переводы малоквалифицированных или совершенно неквалифицированных переводчиков звучит следующее место из диалога, который произошел между Дон Кихотом и писателем-переводчиком:

"– Какое заглавие у этой книги? – спросил Дон Кихот.

На это писатель ответил:

– Сеньор, книга на тосканском языке называется: Le Bagatelle.

– А что значит по-нашему (на нашем кастильском языке) Le Bagatelle? – спросил Дон Кихот.

– Le Bagatelle, – ответил писатель, – это значит Безделушка...

– Я знаю немного по-тосканski, – сказал Дон Кихот... Но скажите, ваша милость, сеньор мой, вопрос этот я задаю не для того, чтобы проверить ваши знания, но из одной только любознательности: встречается ли в этом произведении слово pignata?

– Да, несколько раз, – ответил писатель.

– А как ваша милость переводит его? – спросил Дон Кихот.

– Да как же его перевести иначе, чем словом *горшок*?

– Черт побери! – воскликнул Дон Кихот. – Ваша милость – знаток в тосканском языке! Бьюсь об заклад, что там, где по-тосканski сказано piace, ваша милость пишет *угодно*, где più, там – *больше*, sù переводит – *вверху*, giù – *внизу*.

– Конечно, – ответил писатель, – ведь это и есть правильность значения.

– Готов поклясться, – сказал Дон Кихот, – что вы, ваша милость, неизвестны в свете, ибо свет плохо умеет награждать таланты и достойные труды. Сколько дарований таким путем заглохло! Сколько гениев погибло!..." (II, LXII).

Сатира Сервантеса очень напоминает саркастические замечания Уртадо де Мендоса по поводу "достоинств" "Неистового Роланда" в переводе Урреа:

"И разве дон Херонимо де Урреа не стяжал себе славы благородного писателя, да еще, как говорят, немало денег (что не менее важно) за перевод *Orlando furioso*, ограничившись только тем, что там, где писатель говорил cavaglier, переводчик ставил caballeros, там где arme – armas, там где amor – amores".

Своей критикой переводов с "легких" языков Сервантес вовсе не хочет умалить достоинств и художественного мастерства хороших, настоящих переводчиков. Дон Кихот следующим образом заключает свое рассуждение о переводах и переводчиках:

"Я не делаю, однако, вывода из этого, что ремесло переводчика, – мало похвальное занятие, ибо есть много других дел худших и менее почетных, которыми

занимаются люди. Но все сказанное мною не относится к двум замечательным переводчикам – доктору Христóбалю де Фигерóа, переводчику *Верного Пастуха,* и дону Хуану де Хáуреги, переводчику *Аминты,* творения коих таковы, что не знаешь, где перевод и где подлинник" (II, LXII).

Итак, главный смысл рассуждений Дон Кихота, видимо, не в том, что "перевод с легких языков так же мало требует ума и стиля, как переписка или снимание копий с бумаг", но в том, что только перевод, сделанный мастером слова, может быть равноценным оригиналу. Тем самым противопоставление переводов с "царственных" и с "легких" языков теряет свою категоричность. Если хороших переводов с новых языков мало, то это вовсе не значит, что на этих новых языках мало хороших и возвышенных произведений; только в силу недоброкачественных переводов они, эти произведения, не могут быть оценены по достоинству.

Защищая свой родной язык, Сервантес остро критикует недостатки университетской культуры, которая порою способствует распространению ложных представлений об истинной учености и прививает пренебрежительное отношение к самым достойным вещам, которые вследствие своей обыденности и общераспространенности (вульгарный язык, например) рассматриваются верхоглядами как явления низшего порядка.

Печатается по изданию: *Степанов Г.В.* Язык. Литература. Поэтика. М., 1988. С. 268–276.

Приложения

Н.И. Балашов

ДВУНЕУЯЗВИМОСТЬ ДОН КИХОТА

I

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО "ДОН КИХОТА" В ЛИТЕРАТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ, В УТВЕРЖДЕНИИ ИДЕИ НРАВСТВЕННОСТИ И СВОБОДЫ В МИРЕ, А В ЧАСТНОСТИ, В РОССИИ

"Дон Кихот", вероятно, значительнейший роман по своему месту в истории литературы и мировой культуры. Таковым он и признан международным сообществом в 2002 г. Он удостоился высшей оценки Тургенева, а от Достоевского уж такой хвалы, подобной которой христианином *никогда* не была дана ни одному светскому (не богодухновенному) произведению.

Тургенев в прославившейся статье "Гамлет и Дон Кихот" (1860) противопоставил самому Гамлету Дон Кихота как "сообщительного" героя, "который наперекор всему хочет по своим идеям преобразовать общество".

В кроваво окрашенном дыму XX в. люди во многом разучились сердцем понимать содержательность слов Тургенева и удивляются, что он мыслил Дон Кихота мятежным. "Музы Истории и Поэзии" Клио и Каллиопа с высоты грустно улыбаются людям, утратившим способность видеть глубинную связь между Тургеневым и путями преобразования мира.

А Тургенев – наивно ли, проницательно ли – считал, что Сервантес стал для него тем, чем стал для России "*наше всё*" – Пушкин.

Рассуждая в начале 1868 г., Достоевский шел еще дальше Тургенева, говоря, что ни наш, русский идеал, ни идеал цивилизованной Европы "еще далеко не выработался" и что "на свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос". И тут же, рядом, писатель с уверенностью Пророка или Отца церкови изрек, что "из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот", да и "он прекрасен потому, что в то же время и смешон"[1].

Достоевский уверен, что "знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех созданных гением человека, несомненно, возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило в сердце его великие вопросы... Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собой человек на последний Суд Божий..."[2].

Не только в данных случаях Достоевский разъясняет, какую «глубочайшую и роковую тайну человека и человечества расскажет "Дон Кихот" о путях превраще-

---

[1] Письмо к С.А. Ивановой 1/13 января 1868 г. // *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1985. Т. XXVIII. Кн. 2. С. 251.

[2] Дневник писателя. 1877, сентябрь. Гл. II, 1 // Там же. Т. 26. С. 25 (ср. С. 21–27. Курсив в цитациях из Достоевского наш. – *Н.Б.*).

ния величайшей красоты человека, величайшей чистоты его, целомудрия, простодушия, *незлобливости*, мужества и, наконец, величайшего ума» (там же); слово "незлобливость", удачно переданное С.И. Пискуновой как "благорасположенная ирония"[3], подчеркнули мы, потому что оно буквально совпадает с ключевой мыслью о Дон Кихоте крупнейшего филолога Марселино Менéндеса и Пелайо (1856–1912) – "испанского Александра Веселовского" XIX–XX вв. – "benevolente".

Неправ будет тот, кто побоится подписаться под неслыханно высокой оценкой светского литературного произведения, которая устами Достоевского была дана "Дон Кихоту": «...Если бы кончилась земля и спросили там, где-нибудь, людей "Что вы, поняли ли вы вашу жизнь на Земле и что о ней заключили?" – *то человек мог бы молча подать Дон Кихота*»: "*Вот мое заключение о жизни и – можете ли вы за него осудить меня*?"[4].

Роман "Дон Кихот" (Сервантес везде называет книгу непривычно по-русски не "роман", а "история") сражает не только сам по себе как преподнесенный писателем человечеству "общий пропуск в жизнь вечную", но поразителен и тем, что был создан в Испании рубежа XVI–XVII столетий, в самой страшной тогда тюрьме Европы. С точностью до двух-трех лет Гамлет Шекспира в то же время восклицал со сцены (имея в виду, конечно, свою Англию):

"Дания – тюрьма!"

Но разве елизаветинская и якобитская Англия в качестве тюрем шли в сравнение с Испанией – с самым страшным огненным чугунно-контрреформационным застенком, отстроенным в XVI столетии за вторые полвека королем-палачом Филиппом II? Слова Гамлета, глубокие и правдивые, свидетельствуют, что в тюремных "достижениях" предела нет, даже в стране, где тогда уже четыре века витал дух Великой Хартии вольностей даже у рационалистических протестантов. Революция в Англии, происшедшая, когда еще доживали современники Шекспира, "забыла" его творчество, "Гамлета" "забыла" – самый славный период национальной словесности... А уж XX век! Какие неслыханные ужасы он ни претерпел, но, дождавшись красных кхмеров, почувствовал, что тропой бескультурья и кошмара можно следовать дальше и дальше.

Что касается "Дон Кихота", то он смог выжить, хотя в Первой части, в самом начале, объявляется, *что он зачат в тюрьме* ("...se engendró en una cárcel..."). Это можно трактовать и буквально (на рубеже веков Сервантес несколько раз попадал в тюрьму), и аллегорически, хотя, понятно, слов: "Испания – тюрьма", как и "Англия – тюрьма" ни у Сервантеса, ни у Шекспира не найти.

"Дон Кихот" 1605 г. это – книга-*подвиг*! Не получи "Дон Кихот" с налета неслыханного всенародного успеха – его бы *не было*: сожгли бы или в лучшем случае упрятали на века. Мировой культуры в таком виде, как она сложилась в XVII–XX вв., тоже не было бы.

Чтобы такая книга появилась, был нужен мгновенный успех. Есть сведения, что о книге знали – но это могла быть рукопись, гранки 20 декабря 1604 г., чистые ли-

---

[3] См. статью С.И. Пискуновой «"Дон Кихот" и "Евгений Онегин"». Опыт типологического сопоставления // Московский пушкинист. VII. С. 350. М., 2000.

[4] Дневник писателя. 1876, январь. Гл. II, 1 // *Достоевский Ф.М.* Там же. Т. 22. С. 92.

сты... Ни одного экземпляра книги в издании конца 1604 г. не сохранилось, скорее, редкие упоминания о ней касаются рабочих материалов. Первая реальная дата – 9 февраля 1605 г. – о праве на продажу книги.

Быстрота издания и продажи для смелых книг – условие их сохранения. Если бы "Тихий Дон" не встретил дружеского приема в 1928 г. и без промедления одновременного издания в "Октябре" и в "Роман-газете" до гибельного года "Великого перелома", то роман, будь его автор "красный вождь" иль "белый офицер", был бы потерян, все равно пропал бы, а с ним и камертон лучшего в литературе советского периода.

Хотя на первых изданиях "Дон Кихота" не был импринт со скачущим вперед рыцарем, но девиз, взятый из книги Иова, – был прямолинейно ренессансным – "Post tenebras spero lucem" (после мрака надеюсь на свет).

За эту человечную ренессансность Сервантесу и его славе приходилось вытерпеть больше, чем Шекспиру, причем, хотя оба они стояли на порубежье позднего Возрождения и Барокко, осложненного еще маньеризмом в литературе, никто их не ненавидел за "борочность" или за "маньеристичность". Поэтому несмотря на сложность литературы их эпохи, противоречия которой вели славных Фернандо де Эррера, неповторимого Луиса Гонгору и Арготе, хитрословного Франсиско де Кеведо к переплетению стилей (что разрешилось у позднего Кальдерона настоящим героическим Барокко), они не коснулись ренессансного ядра Сервантеса и Шекспира.

Перед Сервантесом по мере работы над "Дон Кихотом" возникала двойная цель – сделать роман и его героя двунеуязвимыми. Первая задача – не делать их слишком открыто расходящимися с официальной доктриной (в противном случае рукописи хоть не горят, а сгорели бы, да еще как!). Вторая цель – не свести произведение к эпигонски карнавально-комическому. Сервантес всячески стремился избежать вечной насмываемой печати балагана. Тогда роман мог бы выйти, но это не была бы та великая книга, которая преобразовала не только жанр романа и литературу вообще, но и всю культуру Испании, судьбу страны и народа и отстаивает до сих пор элементы по-хорошему глобализованной культуры.

Друзья Сервантеса оценили двойную направленность замысла автора и постарались, например, в официальное разрешение Второй части от 17 марта 1615 г., подписанное Х. де Вальдивьельсо, включить одобрение смешению порицательного и смешного в книге Сервантеса.

Сервантес должен был разрешить горькую лиро-эпическую задачу: явить жизнь Испании сквозь разбуженные Возрождением, но чуть ли не сминаемые тираническим режимом высокие души, символизировавшие страну и ее подлинных героев, образованных, простых, трагикомических – Дон Кихотов и Санчо; представить век людей, вера которых была освящена и освещена гуманистически-эразмовским евангельским духом людей, знавших, чувствовавших с разной степенью отчетливости гордость и боль всей страны от Севильи до скудной Ламанчи и до светлой, так полюбившейся Дон Кихоту Каталонии. Вера этих людей – это не контрреформационный формализированный католицизм, насаждавшийся в то время властями. Дон Кихот и Санчо, конечно, как и все тогда, веровали, но цензура должна была не заметить, что герои ни разу не посетили храм за все время действия романа и как бы не увидели во всей Испании ни одной церкви! Конечно, Господа Бога они почи-

тали и поминали, но Дон Кихот будто таинственно предварял сложность пушкинского образа Рыцаря бедного, который позже пленил героев романа Достоевского "Идиот". Рыцарь молился только Святой Деве как своей Даме:

...рыцарь бедный
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой

. . . . . .

Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни Святому Духу ввек
Не случалося ему.

Слова "Странный был он человек..." – будто написаны о Дон Кихоте.

Устремляясь в сражения, Дон Кихот даже именовал не Божию Матерь, что можно было бы простить и прощается в конце концов Рыцарю Бедному, а удивительную даму – вымышленную им Дульсинею – крестьянку Альдонсу Лоренсо.

Дон Кихот действительно – "странный был он человек...".

Еще хорошо, что начинать, а не кончать роман о таком человеке, как Дон Кихот, Сервантесу пришлось в застенке. А ведь если бы не мгновенность потрясающего успеха "Дон Кихота", принесшего, повторяю, неприкосновенность, "национальный иммунитет" автору, – кончить, может быть, пришлось бы на костре... (Ведь всего года за два-три до того, как Сервантес активно взялся за "Дон Кихота", рассуждения о бесконечности миров привели в 1600 г. его погодка Джордано Бруно к сожжению на костре в центре Рима.)

Комичность и смех романа принесли ему успех и спасли Сервантеса.

Как бы незадачлив и легкомыслен ни был король Филипп III, но и он осознал необходимость осторожности. Согласно известному и по сути правдивому анекдоту, король как-то из дворцового окна увидел молодого человека, который шел по улице, уткнувшись в книгу, и хохотал. Король велел догнать его и проверить: не студент ли это, читающий "Дон Кихота"? Предположение короля подтвердилось – стало быть, и не сильный интеллектом Филипп III тоже хохотал, слушая чтение книги, и даже ему могло прийти в голову, что запретить "Дон Кихота" и наказать Сервантеса значило бы раздосадовать, обидеть и вооружить против себя миллионы испанцев. Если бы фанатики настаивали, то король мог бы сослаться на прецедент: и его суровый и всемогущий отец Филипп II так и не смог до самой смерти запретить комедии!

Когда болезни бесповоротно положили конец военному геройству Сервантеса 1570-х годов, он, инвалид, был вынужден пойти на не подобавшую добросердечному человеку работу в ведомстве сборов военных налогов, в связи с чем у будущего писателя появились клеветники, несколько раз доводившие его до тюрьмы.

У Сервантеса появилось стремление не только расквитаться с несправедливостью, но – главное – преподнести исстрадавшимся людям в неуязвимой для властей форме идеал!

Писатель в какой-то мере сам был Дон Кихотом и даже в переводе с эзоповского языка на испанский сказал: "Во всём с ним мы составляем одно целое".

Чтобы смело изобразить не только светлые, но, увы, и мглисто-темные стороны испанской жизни, нужен был органически связанный с образом действий Дон Кихота защитный поток смеха. Не годился скелет-конструкт обычного карнавально-зазорного полухмельного веселия и его приевшиеся, повторяющиеся на все лады шутки. Сервантесу требовалось гениальное открытие направляемого и в то же время для многих неожиданного потока *большой реки мудрого смеха*, по пути понятного как гуманистическим мыслителям, так и вдумчивым читателям, и увлекающего не только всех простых людей, но даже нечеловечески застывшего во льду тщеславия Филиппа III Габсбурга. Сервантес сумел обрушить Нильские пороги затягивающего непрозрачными, желто-серыми, не дающими одуматься инквизиционным умам бурными водами, но зато наводящими пусть на смутное размышление всех: от простолюдина до – как мы видели – короля. Нужно было двинуть мощное и непостижимое, как Божия гроза, орудие – всеохватывающее течение ранее неведомой, будто наивной, простоты и в то же время художественной, философской, истинной силы и теологически бóльшей, чем отрицательная мощь нагроможденных контрреформацией дамб.

Конечно, существенна и самостоятельная, а не как бы "служебная", "оружейная" роль смеха, важного формообразующего начала во всем романе Сервантеса. Эта теоретическая роль смеха в "Дон Кихоте" очевидна и разносторонне анализирована. В статьях нашего издания роль смеха Сервантеса рассмотрена практически: по внешним обстоятельствам (помимо внутренней иронической задачи) смеховой поток был необходим автору, чтобы роман мог быть издан и воспринят. Не доходил бы смех до легкомысленных голов вплоть до слуг и до вдруг добром помянутого Филиппа III – не было бы и романа...

II

ГЕРОИЗМ И ПОДВИЖНИЧЕСТВО ВЕЛИЧАЙШЕГО ИСПАНЦА НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ НЕУЯЗВИМОГО ДОН КИХОТА. ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕРВАНТЕСА

Можно подумать, что не дело в статье к "Дон Кихоту" писать (хотя и сравнительно кратко) о Сервантесе вообще – океан разливанный... Но ведь дóлжно объяснить читателям не всем ясный исключительно трудный путь творца. Путь этот исполнен того героического энтузиазма, за который так страшно в те же годы поплатился Джордано Бруно (Сервантеса и "Дон Кихота" спасла мгновенность всенародного успеха). Путь самого Дон Кихота, условно говоря, во многом "автопортретен". В Дон Кихоте живут мифологизированные черты автора, в трагическом и комическом виде – черты настоящего человека позднего Возрождения в Испании.

Сервантес от природы был наделен воинским героизмом и еще воспитал его в себе вместе с несломимой выдержкой, отчаянным бесстрашием, стойкостью. Хотя он ходил на военных кораблях преимущественно в Средиземном море, но выдержка у него была не меньшая, чем выносливость и терпение моряков во времена великих географических открытий, пересекавших океан в каторжных условиях и при

этом имевших силы продвигаться в глубь неведомого континента, сохраняя способность радоваться жизни.

Даже пятилетний плен в Алжире не озлобил Сервантеса и не вызвал ненависти к достойным людям мусульманской веры. Его благородная незлобивость, сочетавшаяся с наукой бороться и побеждать, в целом и составили специфику его литературной и философской гениальности (ср. Камоэнса в Португалии).

Когда Сервантес писал Первую часть "Дон Кихота", он в некотором смысле опроверг положение, будто "один в поле не воин".

Читая "Дон Кихота", нельзя забывать, что сервантесовский рыцарь одержал победу над казенно-контрреформационным государством, причем более молниеносную, чем сам стремительный Лопе де Вега, готовивший иной раз по комедии в неделю, но отстоявший свободу испанского театра не сразу, а в течение 15–20 лет на рубеже XVI–XVII столетий, и чем бесстрашные испанские мистики, стремившиеся в XVI столетии преобразовать жестокую Контрреформацию в подлинное очищение веры и церкви.

Сервантес, как Пушкин для России, – для Испании поистине "*её всё*".

Один только "Дон Кихот" может рассматриваться наряду с драматургией Шекспира во всемирной литературе Нового времени как последняя вершина позднего Ренессанса.

"Дон Кихот" при художественном "паритете" со строго одновременными ему великими трагедиями Шекспира порой кажется менее артистически ошеломляющим, чем "Гамлет" или "Король Лир". Но Дон Кихот столь же художественно совершенный, рассматриваемый в нравственном, философском, духовном, гражданско-правовом отношении, свойственном, например, гражданско озабоченной русской классике второй половины XIX в., в глазах Тургенева и Достоевского стоял еще выше, чем Шекспир (точнее, чем Гамлет, – тоже в некотором роде воплощение Шекспира). Поэтому, может быть, не "Дон Кихот" подвергся столь гневной и явно несправедливой критике, как творчество Шекспира в "Трактате о Шекспире и о драме" Льва Толстого (написан в 1903–1904 гг. и после двухлетних колебаний автора напечатан в 1906 г.). Автор осмеял драмы и характеры героев Шекспира: если совершить "облет" шекспировских персонажей и бедного идальго, то последний на самом деле окажется ближе таким моральным правдоискателям, как Левин у самого Толстого.

Раз приходится вспомнить статью Толстого, написанную с моралистической религиозной позиции, надо учесть три вещи: во-первых, Толстой в своей ипостаси истеричного хлюпика (как весьма "красочно" выразился Ленин) в старости относился к своим художественным произведениям так же жестко, как к Шекспиру; во-вторых, почти невероятно, чтобы Толстой не читал и в чем-то не воспринял ханжески-мещанскую книгу G. Rümelin "Shakespeare studien" (изд. в Штуттгарте в 1865 и 1874 гг.), в которой можно усмотреть в зародыше критические идеи Толстого в отношении Шекспира; в-третьих, следует помнить гениальный парадокс Томаса Манна: "Толстой ненавидит в Шекспире самого себя" (статья об "Анне Карениной", 1939 г.).

Нюансы в восприятии произведений двух гениальных современников отчасти объясняются тем, что Шекспир писал в относительно свободной стране и мог тво-

рить по сравнению с испанцем Сервантесом без вынужденной оглядки – хотя и не так, "как птица поет". Сервантес же жил в стране темниц и костров.

В 1590-е годы он это ясно осознал и, связывая возможность высказать, что у него накопилось на душе, с историей Дон Кихота, вынужден был разработать стратегию, как до́лжно писать во спасение Испании.

Без продуманной диспозиции такая единственная в мире книга не могла быть издана на родине Сервантеса. Это касается не только Первой части "Дон Кихота", но и Второй (1615), а также "Назидательных новелл" (1613). Мы еще увидим, что и приключенческие новеллы (например, "Английская испанка") приходилось строить по принципу стратегии, описанной на страницах "Войны и мира": обдумывать, куда какая "колонна должна идти" ("Die erste Kolonne marschiert") и т.д.

После сногсшибательного успеха Первой части Сервантес в заключительной главе Второй (когда его герой "образумился" и, исповедовшись, умер) рассказал о своем внутреннем единстве с героем. Конечно – "сверхэзоповским" языком, только посредством у́двоенной метафоры: от имени ***пера*** мифического, бестелесного, т.е. безответственного арабского "автора" – Сида Амета Бененхели. Так как по-испански "перо" ("la pluma") женского рода, то приходилось буквально писать следующее: не "для меня одного" (архибуквально: «для меня одной – "Para mí sola")[5] родился Дон Кихот, как я – для него; ему дано действовать, мне – описывать. Вдвоем с ним мы составляем одно целое...» (Вторая часть, гл. LXXIV).

В этой "оглядке" писателя, вынужденного быть стратегом и храбрецом, таится скрытый корень отличия Сервантеса от Шекспира. Блестяще победили оба, но первому, как показали обстоятельства, победа далась тяжелее.

Недаром Достоевский считал "Дон Кихот" *высшим моральным оправданием человечества.*

Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 г., вероятно, 29 сентября, т.е. в день св. Михаила у современных католиков (по-испански Мигель) и был крещен 9 октября (по еще действовавшему у католиков старому юлианскому календарю в тот же Михайлов день, что у православных). Скончался Сервантес 23 апреля 1616 г. (по введенному папой в 1582 г. в католических странах "новому стилю"). Дата кончины Сервантеса оспаривалась и без особой убедительности изменялась на один день – 22 апреля, – например, в работах испанского переводчика и исследователя творчества Шекспира Луиса Астрана Мари́на (1889–1960), изучавшего также биографию Сервантеса: Астрана Мари́н исходил, скорее, не из спорного толкования церковной записи погребений, а просто, как шекспирист, считал совсем уж невероятным полное символическое совпадение дат ухода двух величайших гениев литературы Нового времени.

Ведь в день 23 апреля того же 1616 г. (правда, по "старому стилю", до XVIII в. действовавшему в Англии) скончался Шекспир. До сих пор чудесное сближение двух таких дат, статистически ничтожно вероятное, все равно своей символичностью волнует души читателей, способных волноваться и чудом Сервантеса, и чудом Шекспира!

---

[5] По смыслу и соответственно в переводах, конечно: "Для меня одного..." (т.е. для Сервантеса. – *Н.Б.*).

Хотя Сервантес жил в одно время с Шекспиром, но в другом мире. Англия Тюдоров экономически продолжала успешно развиваться. Неслыханные же возможности Испании, созданные подъемом национальной энергии, напряжением едва ли не каждого испанца XV–XVI вв., порожденные 700-летней борьбой за освобождение родины от мавров, стали быстро рушиться и почти рухнули к XVII в. Безумная политика абсолютизма по существу иноземной и во многом выродившейся династии Габсбургов, особенно начиная с середины XVI в., с Филиппа II, действовавшего "заедино" с самой одержимой казенно-контрреформационной[6] в мире испанской церковью, довели Испанию, опоясавшую весь земной шар своими владениями, "землями, в которых никогда не заходило солнце", до такого упадка и поражений, что потребовалось два столетия, чтобы испанскому народу вновь далось явить свое величие и непреклонную волю к свободе, неосторожно задетую дотоле не знавшим поражений Наполеоном.

Во времена Сервантеса власти не сумели запретить испанцам только честь, отвагу, несгибаемость мучеников-мистиков вроде Тересы де Хесу́с, комедии, корриду и ... "Дон Кихота"!

Испанская христианская гуманистическая интеллигенция в огненно-страшных условиях инквизиции, отстаивая идеалы Возрождения, способствовала созданию того нового типа внутренне свободного человека разных сословий, который постепенно, а затем порывисто завоевывал с XVI по XIX столетия все более твердые позиции в культуре и всей жизни европейского общества.

В Испании одним из первых "массовых" успехов свободного (освобождающегося) человека были, с одной стороны, влияние примера мистиков, готовых умереть за подлинное очищение веры изнутри, с другой, – вопреки всему воздействие господства некоего практического свободомыслия на национальной сцене с 1580–1590-х годов комедий Лопе де Веги, а затем и его продолжателей, "царствовавших" на ней почти столетие.

В Испании не только любовно-приключенческие пьесы, которым не было числа, но *все драмы*, даже исторические, назывались "comedias". Выделялись из комедий маленькие интермедии в антрактах да представления, приурочен́ные ко дню Святейшего причастия – "священные действа" ("autos sacramentales"), которые под пером Лопе, Кальдерона нередко по существу становились светскими философскими драмами в духе предпросветительского рационализма.

Аршином не измерить гражданскую силу с виду чисто любовно-приключенческих комедий, *именно их сила* была в Испании совершенно непреодолима.

Почему, собственно, комедия оказалась опаснее, сильнее, чем контрреформационная церковь, чем уроки исторических героев, святых, борцов за чистую веру?

Пояснить это менее трудно не доводами, а примером: что станет с властью, если она попробует "взнуздать" бразильский карнавал?

Именно комедия, по предсмертному, вырвавшемуся на краю могилы признанию короля-злодея Филиппа II (1556–1598), была *главным врагом его государства*! Когда монарх подводил итоги своему правлению, самым страшным ему казалось не

---

[6] О католической Контрреформации *в идеале* и о ее ужасах *на деле* говорится ниже, во II томе нашего издания, в статье к "Лжекихоту" Авельянеды.

крушение плана завоевания Англии и разрушения протестантского мира при помощи Великой Армады в 1588 г., а с ее гибелью – гибель множества кораблей, орудий, несметного числа моряков, солдат морской пехоты, молодых испанцев, не говоря о невосполнимых расходах миллионов и миллионов золотых дукатов. Что́ коронованному параноику отпадение от Испании после долгой войны "мятежных" Северных Нидерландов (Голландии), а с ними утрата устрашающего престижа габсбургского испанского королевства! Главное, что терзало душу короля-деспота в 1598 г. на смертном одре, – "умираю, не успев навеки запретить театр!.."

Порой властям при Филиппе II и позже где-то удавалось "подгадить" театру: снять с репертуара ту или иную вещь, запретить повторную постановку великой трагедии Лопе "Кара без мщения", вообще постановки на время траура – иногда в какой-то части королевства. Но народ, весь испанский народ, с удивительным единодушием, не повторявшимся ни в одной стране, сметал все запреты королей, доминиканского, а позже иезуитского монашеских орденов, инквизиции. Бывали случаи, когда главное правительство – Совет Кастилии – поддерживал народ и заставлял короля (например, Филиппа IV в конце 1640-х годов) снять запрет.

Самые простые бытовые комедии были вне лицемерной морали: изображали победу бесстрашной молодости, любви, земной красоты, веселия. На театре царил непобедимый мир радости. Что бы ни выделывали актеры, какой неотразимый соблазн ни несли бы манящие и не строгие в одежде и в нравах актрисы, – все они будто даже и не вспоминали об угрозе сожжения на костре, как будто в Испании не было никакого угнетения, никаких аутодафе. Комедий было множество, они шла на сцене повсюду, люди всех сословий стремились в театры. А в театре испанец был *свободен*, будто все идеалы и мечты Возрождения воплотились навек!

В других "опасных" жанрах искусства такой неприкосновенности в полной мере сумел добиться в Испании *только* Сервантес со своим "Дон Кихотом": инквизиция, притом после смерти писателя, воровски, потаенно, смогла изъять на тысячу страниц всего несколько строк.

Кто же был сей боец, чей лик казался властям предержащим чуть ли не "ужасен"?

Это был Мигель де Сервантес, воспринявший фамилию Сааведра, прославленную в народных романсах, приняв ее от одного из своих родичей.

В официальнейших бумагах 1601 г. он именуется уже Мигель де Сервантес Сааведра. Он родился близ Мадрида, в городе Алькала́-де-Эна́рес, где за три десятилетия до его рождения разместился новый, самый передовой в Испании, университет, в семье захудалого идальго Родриго де Сервантеса, происходившего из Ко́рдовы, из семьи широко известной уже в начале XV в. Отец Мигеля, Родриго де Сервантес, жил беднее предков XV в. и должен был зарабатывать на жизнь семьи зазорной для дворянина профессией полубродячего лекаря. Он женился на Леонор де Корти́нас – дочери крестьянина из Арганды в Новой Кастилии. Отцу приходилось переезжать из города в город, и будущий писатель изъездил с ним пол-Испании, подолгу бывал в Севилье (знаменитой, как Венеция в Италии), Вальядолиде, Мадриде. Мигелю посчастливилось учиться у гуманиста Хуана Ло́песа де Ойос, напечатавшего в 1569 г. первое стихотворение 22-летнего любимого ученика. Оно было посвящено памяти Изабеллы (Исавель) Валуа, невесты старшего сына короля Филиппа II – дона Кар-

лоса – на которой, однако, женился не принц, а в обход его сам король, погубивший затем в 1568 г. сына и уморивший Изабеллу. Вскоре он совсем нагло женился на второй, тоже ранее предназначенной дону Карлосу невесте.

Гадкие семейные похождения Филиппа-сыноубийцы породили нелестные предания в народе, в испанских комедиях (около 1610 г. драма Хименеса де Энсисо с возможным участием Лопе), соответствующие отклики во Франции (особенно роман аббата де Сен-Реаль "Дон Карлос", 1672 г.). В XVIII в. Фридрих Шиллер написал в 1787 г. исполненную пафоса прославленную трагедию "Дон Карлос", с осуждением представлявшую короля. Задолго до этого, в 1606 г., Лопе де Вега в драме "Великий князь Московский" показал параллелизм действий современников-тиранов Филиппа II и Хуана Басилио (Ивана Грозного), также убившего сына и спровоцировавшего упадок страны.

Первое же печатное слово будущего гения Испании, посвященное памяти Исавели Валуа, сильно отдавало крамолой. Каковы бы ни были реальные события, но главным персонажем всеевропейской легенды-притчи стал не король-сыноубийца, а дон Карлос. Он был умерщвлен двадцати трех лет от роду в 1568 г.

Через год жизнь молодого Сервантеса была захвачена авантюрным духом времени, а вскоре приобрела черты героического мученичества. Осенью 1569 г. в Мадриде разыскивали некоего Мигеля де Сервантеса, приговоренного за участие в дуэли к отсечению правой руки и к десятилетней ссылке. Неровен час, "по недосмотру" кара могла постичь будущего писателя. Он успел поступить на службу в Италию к кардиналу Аквавива. В Риме ренессансный ветер подхватывает писателя – он поражен духом античного наследия, чувствовавшимся даже в исполинских руинах, и чудесами нового зодчества, живописи, свободой творца в Италии, в трудных обстоятельствах перебиравшегося за одну ночь из одного княжества в другое.

И на эту Италию, восхитившую Сервантеса, надвигался султанский флот. Ее населению и культуре Возрождения вообще угрожала судьба ученых древней Александрийской библиотеки и окончательное уничтожение самой Библиотеки калифом Омаром в VII в., разрушение античных храмов и мраморов.

Сервантес поступил на военную службу. Со своим полком (ныне это именуют "морская пехота") он побывал во многих городах Средиземноморья.

Воинской славой будущий писатель покрыл себя в историческом сражении при Лепанто 7 октября 1571 г. Эта битва на море у теперь мало приметного поселения при входе в Коринфский залив у северного берега была одной из последних битв XVI в., в которых Испания, разгромившая вместе с союзниками флот султанской Турции, еще выступала в весьма прогрессивной и как теперь бы сказали "антитеррористической" роли.

Галера "Маркеса" ("Маркиза"), в экипаже которой был Сервантес, оказалась в центре сражения, и ее победа сыграла едва ли не решающую роль.

Самым отчаянным подвигом при сближении флотов галер было первыми прыгнуть на вражеский борт, или приставить лестницу, если борт был высок, установить крюк, чтоб подтянуть противника вплотную, ломая весла вражеского судна, – тогда победа была обеспечена. Все грозило смельчакам: недопрыгнуть, свалиться в пучину, где бы они были забиты веслами; герой, если он удерживался, сосредоточивал на себе огонь противника.

За Сервантесом и другими смельчаками на подтянутый турецкий корабль-флагман хлынули солдаты-победители. Можно сказать, что наблюдавшим за боем богам моря и войны – Нептуну и Марсу – могло представиться: победу при Лепанто, определившую на 350 лет вперед ход истории в средиземноморском ареале, пожалуй, одержали прежде всего два человека – командующий флотом, побочный сын покойного императора Карла V дон Хуан Австрийский (1547–1578), и отпрыск скромного идальго, ровесник дон Хуана, 24-летний солдат Мигель де Сервантес. Для истории в дон Хуане Австрийском и Мигеле Сервантесе в этот день как бы сочетались "Суворов" и "Пушкин" Испании.

Сервантес, бывший в день битвы в лихорадке, сражался, "как лев"; его трижды ранили в упор выстрелами из аркебуза: две раны в грудь, а одна – в левую руку. Именно от третьей раны не удалось вылечиться, и рука навсегда осталась усохшей.

Была какая-то тягостная и мрачная символика в том, что не тому ли Сервантесу, герою Лепанто, потерявшему в битве левую руку, любезная отчизна заблаговременно порывалась отсечь правую, ту, *которой предстояло написать "Дон Кихота"*: не предчувствовал ли судья 1569 г., на кого и на что он замахнулся…

Герой-инвалид, подлечившись, остался в Италии на флоте и отличался во многих битвах. Поразить доблестью испанцев XVI в. было нелегко, но подвиг Сервантеса был отмечен и вице-королем Неаполя герцогом де Сесса и общим командующим доном Хуаном Австрийским. Что могло быть больше рекомендаций от вице-короля и от брата Филиппа II? (Правда, Хуана Австрийского завистливый король ненавидел и, по-видимому, свел его в могилу в возрасте 31 года в 1578 г. Обстоятельства гибели не ясны. Вспомним, что собственного сына, инфанта дона Карлоса, Филипп II, наполовину втихомолку, тоже уничтожил.) Сервантес, возможно, напрасно надеялся, что рекомендации обеспечат ему почетный прием в столице и по меньшей мере должность капитана.

Однако промысел готовил Сервантесу худшие испытания. На обратном пути галера была перехвачена вражеской эскадрой, и осенью 1575 г. Мигель Сервантес и его брат Родриго попали в алжирский плен. Галеру "Соль" ("Солнце") захватила эскадра албанского ренегата – албанцы были тогда в большинстве христианами – Арнаута (т.е. албанца) Мами́. Грамоты вице-короля и дона Хуана внушили мысль о знатности и высоком служебном положении Сервантеса. Братьев у Арнаута Мами́ купил сам "король" Алжира за большие деньги и соответственно требовал за Мигеля 500 золотых эскудо. Брат Родриго, оцененный дешевле, был выкуплен уже в январе 1577 г., а Мигель томился в плену пять лет. Невольник внушал страх. Он пренебрегал угрозой пыток и казни на колу. Своим беспримерным бесстрашием и волей Сервантес внушил уважение врагам, и ему сошло с рук то, что он четырежды (!) пытался организовать побег пленных. Приобретенный самим Гасан-пашой, "королем", т.е. турецким наместником Алжира, Сервантес в силу удивительного стечения обстоятельств был выкуплен 19 сентября 1580 г. с помощью монахов-тринитариев как раз накануне возвращения Гасана в Константинополь, откуда возврата не было бы. Еще одно испанское чудо?..

Героизм, поразивший Хуана Австрийского и даже жестокого Гасана-пашу, чиновников Филиппа II не тронул. Боевые заслуги, слава, подвиги в плену были

забыты, дона Хуана уже не было в живых, семья Сервантеса, собирая деньги на выкуп брата писателя, разорилась.

Мигель де Сервантес вновь ступил на родную землю после одиннадцатилетнего перерыва, 24 октября 1580 г.: праздновать надо такой день!

По собственным словам Сервантеса, он в плену "выучился сохранять терпение в несчастиях", ему, герою-инвалиду, как милости, приходилось выпрашивать возвращения в полк. Но теперь Сервантес был другим человеком. Уже в 1580-е годы он писал монументальные, в высоком смысле патриотические драмы, успешно пробовал силы и в пасторальном романе: первая (оставшаяся единственной) часть романа "Галатея" вышла в 1585 г.

После нескольких лет непосильной для инвалида службы в армии Сервантес 12 декабря 1584 г. женился на Каталине Палáсиос из небольшого, расположенного близ Толедо городка Эскивиас, и снова вынужден был искать заработок. Ему удалось устроиться "комиссаром" (говоря проще – сборщиком военного налога, приставом по закупкам для армии). О "прелести" этой опасной и требовавшей постоянных переездов работы мы упоминали и еще скажем ниже.

На неподкупного "комиссара" клеветали: он едва не был отлучен от церкви, несколько раз подвергался заключению в тюрьму; в частности, в 1592, 1597, 1602 и чуть ли не в 1605 г.: в год выхода "Дон Кихота", обеспечившего Сервантесу, наконец, известный "иммунитет".

А пока пятидесятилетнему Сервантесу не удавалось напечатать почти ничего. Но в душе писателя происходил потаенный, не подозреваемый властями поворот: Сервантесом овладевал замысел "Дон Кихота". Писателю внутренне ("имплицитно") виделась осуществимой (в известной, определенной форме) "донкихотовская идея": один на один дать бой контрреформационной несвободе в Испании и в каком-то смысле *победить*. Сервантесу представлялась возможность нового большого литературного Лепанто, для мировой культуры даже более значительного, чем Лепанто историческое.

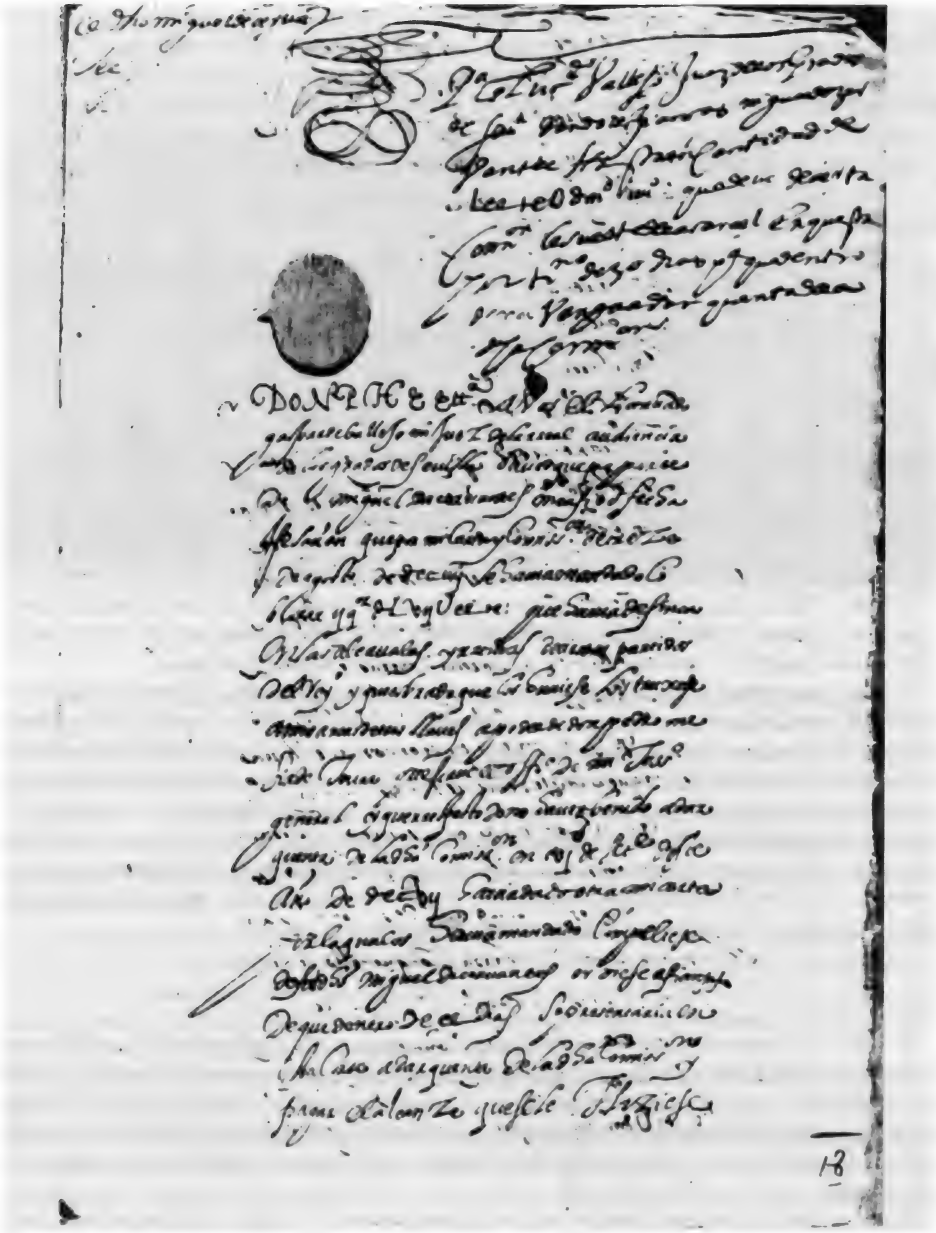
Осенью 1598 в., когда после Лепанто прошло двадцать семь лет, а воину-писателю исполнился пятьдесят один год, смерть скосила в возрасте семидесяти одного года фанатика вооруженной Контрреформации – Филиппа II. Сервантес осмелился проводить на тот свет короля почти явно зло-ироническим, так называемым хвостатым сонетом (форма, ассоциировавшаяся с комическим настроением): Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla".

Даже заглавие "хвостатого" сонета трудно перевести серьезно. А. Косс, к переводу которой мы отчасти прибегаем[7], взяла для передачи "túmulo" словарно возможное слово "катафалк" ("На катафалк короля Филиппа II в Севилье"); однако оно не совсем сходится с описанием и иронией Сервантеса. В сонете автор настаивает на нескладной "грандиозности" махины ("esta máquina insigne"[8]) ее вечности ("на столетья"), как-будто посрамляющей громады Рима. В сонете слово "túmulo" –

---

[7] Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 205.

[8] "insigne" по-испански может означать слова как ряда "прославленный", так и ряда "невообразимый" (например, "невообразимый глупец"); по-латыни "insignis" может прилагаться и к поразительно безобразному и к поразительному бесстыдством (причем, у Цицерона).



Распоряжение судье Гаспаро де Вальехо
выпустить Сервантеса из тюрьмы, подписанное Филиппом II

это для людей XVI в., знакомых с латынью и с римской историей, прежде всего "холм", "могильный холм", "могильный курган" скорее, чем "катафалк". Сохранились похоронные сооружения такого рода, как, например, гигантский холм-башня надгробия императора Адриана (одна из колоссальных громад языческого Рима, превращенная папами в Средние века в свою главную крепость – Замок св. Ангела); или другой, хорошо сохранившийся в Салониках огромный "ту́мул" – обнесенная кирпичной стеной башня-гробница Галерия Валерия, одного из последних языческих императоров конца III в. по Р.Х.

Над дорогостоящим "(...Vale más de un millón...")*,* но временным, сугубо суетным "тумулом" Филиппа II автор, если бы он был менее добродушен, можно было бы сказать, "потешается", утверждая, что сооружение это "на века". "Бьюсь об заклад, монарший дух... Чтоб насладиться этими местами..." (перевод А. Косс) – а дальше прозой: "...для наслаждения этим пристанищем суеты – уж забросил вечное блаженство...".

Слова бесстрашного "солдата" (т.е. Сервантеса), что король ради безвкусной суеты Севильского временного "тумула" пожертвовал вечным блаженством на небе, значительно более вызывающи, чем, например, приглашение Дон Хуаном убитого им Командора. Дерзость "солдата" по отношению к королю вызывает приступ страха у ненароком услыхавшего ее вояки-фанфарона, и тот, нахлобучив шляпу, скрывается и с позором убегает от опасного соседства.

Сонет – приговор злодею-королю – открывает новый этап в восприятии современности Сервантесом. Теперь он так же смел перед чудовищностью своего королевства, как был бесстрашен перед турками и перед пашой Гасаном.

Чтобы надежнее осуществить свои литературные замыслы, Сервантес все-таки вынужден, как и другие литераторы, например, Лопе де Вега, прибегать к ширме монашеского ордена, но выбирает самый гуманный – францисканский: он соглашается вступить в духовное братство (1609), а с 1613 г. формально становится монахом-францисканцем. Незадолго до смерти он даже "профессорствует" – читает лекции по теологии (они не сохранились; неизвестно, существовали ли они вообще в рукописи). Тем не менее испанское "*всё*" даже помогавшие ему францисканцы похоронили, как потом Моцарта: кладбище известно, его ограда видна и сейчас прохожим, а могила Сервантеса так и не установлена.

* * *

К 1603 г. Сервантес уже перебрался из Эскивиаса и Севильи сначала в Вальядолид, а спустя два года – в Мадрид. Там в конце концов он поселяется в сохранившихся по сию пору "писательских кварталах" Старого города к северу от Пласа Майор, почти напротив учрежденного позже музея в доме, который приобрел Лопе де Вега. Дома́ Сервантеса и Лопе стоят так близко, что один мог видеть, куда направляется другой.

Кстати, после выхода Первой части "Дон Кихота" в 1605 г. споры между двумя великими писателями затихли. Об этом ярче всего свидетельствуют стихи поэмы Сервантеса "Путешествие на Парнас" (1614 г.), утверждающие превосходство драм Чуда Природы – великого поэта и драматурга Лопе де Веги.

Дом Алонсо Кихады де Саласар в Эскивиасе

В Мадриде Сервантесом было завершено (дописано и издано), помимо двух частей "Дон Кихота" (1605 и 1615), большинство новелл и драм, составивших сборники 1613 и 1615 гг., а позже (посмертно) издан приключенческий роман "Странствия Персилеса и Сихисмунды", в основном написанной намного раньше "Дон Кихота".

Книгой, с которой впервые после "Галатеи" Сервантес предстал перед публикой, была книга "Дон Кихот" (позже, в 1630-е годы названная "Первой частью"), изданная в 1605 г. и принесшая автору признание и любовь народа, а вскоре и всеевропейскую славу.

Однако разные данные показывают, что семья Сервантеса продолжала жить довольно скудно, несмотря на помощь духовного братства и появившихся скромных любителей-меценатов. К неприятностям от долгих лет постоянной бедности прибавлялась травля недоброжелателей, которым писатель сдержанно отвечал в поэме "Путешествие на Парнас" и в предисловиях к книгам.

Досадным ударом по замыслам великого творца стало опубликование в обгон, в 1614 г., направленного против Сервантеса ложного продолжения "Дон Кихота" доминиканским священником Алонсо Фернáндесом де Сапата из Авельянеды. Книга доминиканца (из имен которого история до второй половины XX в. хранила только название города Авельянеда, где клеветник священствовал) "Лжекихот" была, особенно в первых частях, гадким контрреформационным памфлетом, поруганием идей Сервантеса, его хитроумного героя, оруженосца, жены оруженосца. В подлинной Второй части "Дон Кихота" (1615) Сервантес разоблачил и осмеял "Лжекихота".

За четыре дня до кончины Сервантес закончил предсмертным прощанием Пролог к готовой приключенческой "северной повести" "Странствия Персилеса и Сихисмунды", над которой работал с 1590-х годов.

Общественные интересы Сервантеса привлекали его к театру (вспомним неслыханную в те времена независимость театра в Испании!). Однако драматургия не была главным призванием писателя, и его "комедиас" (драмы) не пользовались успехом, сопоставимым со славой "Дон Кихота" или драм Лопе. Тем не менее театр Сервантеса, о котором он сам в Прологе к "Восьми комедиям и восьми интермедиям" (1615) высказал важное определение, что "впервые представил скрытую в душе героев игру воображения и размышления" ("las imaginaciones y los pensamientos"), занимает почетное место в развитии драмы Золотого века, представляя "классицизирующее" направление ренессансной драмы, которая ориентировалась на традиции "римского испанца" Сéнеки (I в. до Р.Х.) и впоследствии повлияла на всемирно знаменитый французский классицизм XVII в. (Корнель и другие).

Образцом ранней драматургии Сервантеса осталась сохранившаяся патриотическая "Осада Нумансии" (1588). Могучая, как трагедия Эсхила, она представила перед зрителями мужество древних испанцев, которые предпочли смерть сдаче города римлянам. Так, дорически монýментально, начинались в творчестве Сервантеса воспевание свободы, чтó дороже жизни, защита свободы, которой Сервантес посвятил свои геройские дела и свое литературное творчество, никогда не терявшее связи со смелыми испанскими гуманистами XVI в.

Однако пьесы Сервантеса во многом оставались драматическими или ироническими картинами, между тем как Лопе де Вега изощрился передавать полноту и взрывной динамизм желаемой, чаямой ренессансной жизни посредством динамики действия. Зритель оценил национальный театр Ренессанса, а затем Барокко.

Драматурги поколения Сервантеса, вчерашние новаторы, пробовали воевать с так называемым "новым искусством писать комедии". В спор втянулся и Сервантес, но вскоре прекратил полемику с Лопе, с которым его связывала общность преобладания ранессансных идей, воздал должное великому драматургу и признал, что драма улучшилась по сравнению с временем его, Сервантеса, молодости.

Книга "Восемь комедий и восемь интермедий", в прологе к которой высказана эта мысль, представляет второй период драматургии Сервантеса. Сюда включены новые или переработанные пьесы. При этом Сервантес не соперничает с Лопе, ориентируясь на драмы, предназначенные, скорее, для чтения. Драмы и особенно блистающие остроумным изображением повседневности интермедии второго периода родственны сценам народного и фальстафовского фона у Шекспира, и в этом аспекте Сервантес не был превзойден никем из испанских драматургов Золотого века.

Среди поздних драм интересна "комедия о святом" – "Блаженный прощелыга" (ок. 1598 г.). Не должно казаться странным, что Сервантес был одним из родоначальников жанра "комедиас де сантос" ("комедий о святых"). В условиях Испании такой театр был формой философской драмы. У Лопе, у Тирсо, даже у Кальдерона, может быть, и без умысла с их стороны, почти каждая религиозная драма оказывалась "данайским даром" казенно-контрреформационной церкви.

В "Блаженном прощелыге" ироническая игра расцвела. Идея положить в основу благочестивого произведения историю плута (пи́каро) с севильского дна, дружка

проституток и опору воров, изобразить его проделки подробнее, чем его "подвижничество", – все это было странным для духовного театра. То, что Сервантес взял "подлинные" происшествия из жизни современника (св. Христóбаль де Луго), усугубляло положение. Кульминационным моментом избрано "чудо", достоверность которого не в большей степени подлежит контролю, чем состав "воинств", исчисленный Дон Кихотом, до их "превращения" в баранов. Подвиг Луго – антитеза продажи Фаустом души. Став монахом в Мексике, Луго остается плутом, но зарабатывает славу святого.

В "Блаженном прощелыге" дано комически сниженное разрешение тысячелетних споров о божественной благодати, вновь потрясших западный мир в XVI–XVII вв. и составивших главное содержание таких произведений, как трагедия Тирсо де Молины "Осужденный за недостаток веры". Луго однажды в азарте игры дал обет, если проиграет, стать бандитом. Но он выиграл, т.е. *карты* "предопределили" его спасение!

Показанное таким образом, как если бы оно намеренно высмеивалось, августинианское "предопределение" в этой комедии о святом почти согласуется с противоположной, восходящей к Пелагию (богослову V в., осужденному как "еретик") концепцией "свободы выбора".

Луго во мгновенье ока "разрешает" извечную распрю Августина и Пелагия: раз он *выиграл*, он может дать противоположный обет – податься не в разбойники, а в монахи! В игровом ключе трактуется и условие, которое, согласно римской церкви, ставило любого злодея, буде он покается, над добродетельным человеком, – слепое упование на безграничность божьего милосердия, *хотя бы и никак не заслуженного*.

В заключительной сцене кончины и погребения святого прощелыги фарсовый элемент разыгрывается ничуть не меньше, чем в концовке новеллы Боккаччо ("Декамерон", день I, новелла 1-я) о Чаппеллетто: жители города толпой набрасываются на останки Луго, целуют ноги, рвут в клочья и растаскивают "чудотворные" одежды, причем некоторые реплики Сервантеса будто дублируют Боккаччо.

Для характеристики ренессансной свободы мысли поучительна *беззаботность*, с которой плут Луго относится и к игре, и к обету, где ставкой служит его вечное блаженство.

Интермедии (первоначально – короткие вставные пьески в антрактах большого представления) Сервантеса существенно дополняют основную линию испанской драматургии, они связаны с новеллой, с осмеянием плутовских романов.

Сервантес разительно обогатил традиции наивного драматурга XVI в. Лопе де Руэды, создав глубокие образцы потешного жанра.

Кажущаяся скромность интермедии, непритязательность ее персонажей не заслоняют того, что гений Сервантеса преобразил интермедию. Кроме развлекательной добавки к основному представлению, она приняла на себя воспроизведение фона народной жизни и некоторых неискоренимых противоречий габсбургской Испании.

В интермедиях Сервантес обращается к той широкой среде, где религиозное чувство иссякало, и справиться с этим не по силам было и инквизиции. Таково изображение женщин в поздней интермедии (1610-е годы) "Судья по бракоразводным делам", которую Сервантес поставил на первое место в сборнике. Ясную уже из

хода диалога мысль выделяет письмоводитель, говорящий об одной из истиц: "Вольного духа женщина!". Сервантес иронизирует над бессилием чиновников остановить движение жизни: "...помрут тогда с голоду и писцы, и прокурадоры".

В другой интермедии – "Ревнивый старик", – составляющей пародийную параллель к новелле "Ревнивый эстремадурец", прослежена закономерность становления мирского, даже цинического сознания законопослушнейшей девочки как защитной реакции на цинизм охраняемых обществом устоев. Неисчерпаемость сил противодействия, которые обнаруживает Сервантес, внушает ему известный оптимизм, звенит потешными словами, фарсовыми средствами. Даже мир сутенеров и их "коровушек", выведенный в ранней (1590-х годов) стихотворной интермедии "Вдовый мошенник", живее и вольнодумнее официального мира, до лицемерия которого и мир "дна" не опускается. Здесь проявляется подрывающая устои удаль: она нет-нет да родит эпического – "божественного"! – героя в лице какого-либо лихого беглого каторжника "молодца Эскаррамана".

На комическую сцену Испании нельзя было вывести духовное лицо выше сакристана (пономаря), но уж пономари вовсю обыграны в интермедиях. Используя то, что пономари были то полноправными "пресвитерами", то были не пострижены и в этом случае имели право жениться, Сервантес в "Бдительном страже" (1611) в отталкивающем виде, приводящем на память Босха и Гойю, рисует любовные успехи у судомойки тупого и до гротеска ничтожного пономаря.

Не лучше, чем такой "пономарь сатаны", изображению торжествующей церкви служит другой сакристан, забулдыга и распутник, из интермедии "Саламанкская пещера" (ок. 1611 г.), весьма естественно вживающийся в роль дьявола, и особенно самый наглый из всех горе-пресвитер из интермедии в стихах "Избрание алькальдов в Дагансо" (1590-е годы), олицетворяющий претензию церкви на "управление государством".

Все интермедии Сервантеса с радостным "пристрастием" и блеском перевел сам Александр Островский!

Шедевры были созданы Сервантесом и в области малой прозы. "Назидательные новеллы" (точнее, "Назидательные повести", 1613), отдаленно связанные с итальянской традицией XVI в. (Маттео Банделло), считаются первыми собственно испанскими новеллами, но в то же время стоят у истоков синтетической тенденции романа Нового времени вообще, да и вообще во многих европейских языках слово "la novela", "the novel" означает обычно бытовой роман. Как пролог к будущему развитию романа "the novel" – проза Сервантеса была характерным для зрелого Ренессанса явлением, свойственным также драмам Шекспира и отражающим стремление к универсальному охвату эпохи. У Сервантеса "Назидательные повести" играют примерно ту же роль, что комедии – у Шекспира. Наименование ejemplares ("назидательные") с умыслом многогранно; оно было подхвачено многими новеллистами XVII в. Оно формально отвечало требованию католического Тридентского собора (1545–1563) о "назидательности" и направляло внимание властей на благополучие и пристойность развязок, как бы заранее отводя проницательный донос Авельянеды, что повести Сервантеса "более сатиричны, чем назидательны". Но название, понятое как "дающие образцы", утверждало ренессансные моральные ценности, светлое начало в человеке. Повести давали *образцы* настойчивой борьбы за свободу и

счастье, и не только с внешними обстоятельствами, но и внутренней борьбы, самовоспитания, что тесно связывало книгу с проблематикой романа последующего времени.

Приключенческое и любовно-героическое начала преобладают в повестях "Великодушный поклонник", "Английская испанка", "Две девицы". Это вещи наиболее близки новелле и вставным рассказам Первой части "Дон Кихота".

При всем разлете приключенческого начала в ранней повести "Великодушный поклонник" отчетливо очерчен ренессансный идеал. Мало того, что Рикардо готов отступиться от освобожденной им любимой Леонисы и вернуть ее сопернику, он осознает, что даже великодушное распоряжение свободой освобожденной им любимой тоже есть форма притеснения; он провозглашает принципиальную свободу воли женщины ("Леониса принадлежит сама себе..."). Только на такой основе, утверждение которой было смелым в Испании, может, согласно повести, строиться подлинное счастье.

Каждая из "приключенческих" повестей имеет гуманистическую подоплеку. В "Английской испанке" Сервантес в довольно сложных сюжетных перипетиях сочувственно изображает относительную терпимость и свободу совести в протестантской Англии и дает нимало не предвзятое изображение одного из главных врагов испанской реакции – Елизаветы I.

В повестях нравоописательно-бытовых – "Ринконете и Кортадильо", "Ревнивый эстремадурец", "Обманный брак" – Сервантес иным путем идет к гуманистическим обобщениям. В "Ревнивом эстремадурце" правдиво рисуется трагедия брака-купли не только для жены-подростка, не успевшей осознать свое несчастье, но и для богатого старика-мужа, объективно превращающегося в тюремщика жены. Уродливая ситуация обусловливает уродливые последствия. Узнав об измене (в подцензурном тексте Сервантес был вынужден представить дело так, будто измена не совершилась), старик, решившийся поступить человечно, не выдерживает горя и умирает. Опыт, вынесенный из безрадостного брака, уродует и жизнь молодой женщины. Она не способна воспользоваться относительно независимым положением богатой вдовы и уходит в монастырь. Отжившие установления официальной морали ломают счастье тех, кого само естество побуждает ей противиться, и ненадежно обеспечивают интересы тех, кто на нее опирается.

Особенности нравоописательных повестей Сервантеса сфокусированы в "Ринконете и Кортадильо". В изображении промышляющих мошенничеством бродяг-подростков и севильского воровского братства, в которое они вовлекаются, Сервантес точен, гуманен и эпически объективен. С предваряющей Веласкеса и Мурильо проникновенностью (и живописностью) он обнаруживает все то хорошее, что есть в несчастных лицах, и даже в воровской взаимовыручке, но в то же время с беспощадной правдивостью показывает, как логика преступного мира ведет к оплаченным убийствам, сутенерству, жестокости.

Повесть возвышается над плутовским романом как полнотой показа энергии и жизнестойкости людей испанского "дна", сочувствием к персонажу, умением раскрыть человеческое в них, так и последовательным осуждением преступности.

Нежданно смещая планы, Сервантес подводит к мысли, что *банда Мониподио символизирует испанское государство!* Грабя и убивая, бандиты не менее искрен-

не, чем какой-нибудь изувер, вроде короля Филиппа II, полагают, *будто служат "богу и добрым людям"*. Сервантес описывает елейное благочестие преступников и их рвение в формально богоугодных делах.

Таким образом, в этой повести возникает эразмовского масштаба неотразимая сатира на Контрреформацию, нравственный фундамент которой часто сводился к лицемерной обрядности и показным "добрым делам". "Назидательная" концовка, которую габсбургские чиновники не приняли на свой счет, доводит сатиру до предельной обобщенности и отчетливости. "*Очень подивился Ринконете уверенности и спокойствию, с которыми эти люди рассчитывали попасть в рай за соблюдение внешней набожности, невзирая на все свои бесчисленные грабежи, убийства и преступления против Бога*".

Как здесь не вспомнить "Похвалу Глупости" Эразма, если не что-либо еще более разоблачительное!

Синтетичность повестей Сервантеса с наибольшей полнотой выступает в знаменитой "Цыганочке", по которой в первую очередь испанскому языку учился Пушкин. Хотя условности жанра обязывали, чтобы к моменту свадьбы со знатным юношей героиня оказалась дворянкой, похищенной во младенчестве, демократизм повести очевиден. Мысль, что поклонник, кабальеро, сам должен пройти длительное испытание в цыганском таборе, чтобы быть удостоену руки Цыганочки в соответствии с ее человеческой ценностью и вне зависимости от ее сословного положения, выступает как нечто закономерное. Духовное развитие Цыганочки, ее непреклонное чувство собственного достоинства, свойственная ей тяга к "великим делам" роднят ее с величайшими плебеями испанской драмы – Лауренсией Лопе и Педро Креспо Кальдерона. Идея народного воспитания героя сближает повесть с демократическими сказочными мотивами и с такими политико-утопическими произведениями Возрождения, как "Генрих IV" Шекспира, "Великий князь Московский" Лопе де Веги, а отчасти "Персилес и Сихисмунда" самого Сервантеса.

В "Цыганочке" гений Сервантеса открывает путь от ренессансных пасторальных утопий к романтической поэме начала XIX в., где воссоздавались как жажда ухода к природе и естественному человеку, так и горький урок, что "от судеб защиты нет".

Правдиво воспроизведена вся жизнь табора: и воровские обычаи цыган, и их вольнолюбие, сохранившее притягательную силу для Пушкина, Мериме, Бизе, Лорки.

Речь старого цыгана Андресу (один из замечательнейших монологов Возрождения, напоминающий речи Дон Кихота о "свободной и привольной жизни нашей") предваряет гостеприимные слова пушкинского Старика: "Будь наш – привыкни к нашей доле, // Бродящей бедности и воле...". Но ход мысли в повести Сервантеса и в "Цыганах" Пушкина не аналогичен. В отличие от Земфиры, для которой проблема свободы встает как практический вопрос свободы женского непостоянства, образ Цыганочки в принципе утверждает равноправие женщины. Патриархальную мудрость цыганских старшин, как та ни замечательна, Цыганочка встречает с иронией ("...сии господа законодатели..."). С горячностью юности, покоряющей, тем более что она воплощена в пленительном создании, Цыганочка произносит гумани-

стическое кредо: "Сии господа могут, пожалуй, вручить тебе мое тело, но не душу, которая свободна, родилась свободной и пребудет свободной, поскольку я этого желаю". Высокая патетичность монолога не снижается оттого, что он стоит рядом с высказанной старым цыганом несколькими минутами позже житейски-верной пословицей: "Нельзя наловить форелей, не замочив штанов". Подобным образом трезвость Санчо не снижает идеалов Дон Кихота, но показывает их труднодостижимость.

Чем больше углубляешься в "Назидательные повести", тем очевиднее их связь с великим романом. Повести преимущественно философско-сатиричные – "Лиценциат Видриера" и "Беседа собак" – могут быть поняты как этюды к "Дон Кихоту".

В конце жизни Сервантес создал два больших романа – Вторую часть "Дон Кихота" (1615) и "Странствия Персилеса и Сихисмунды". Пролог к "Странствиям..." Сервантес написал после свершения над ним предсмертного обряда соборования; произведение было издано вдовой писателя в 1617 г. Однако, кроме этого пролога, в котором образ самого Сервантеса выступает близким образу Дон Кихота в момент просветления, "Странствия..." стадиально относятся к периоду, предшествовавшему "Дон Кихоту". Они были, вероятно, начаты еще в 1590-е годы, работа над ними прерывалась, а конец IV книги был дописан в 1610-е годы, когда была, видимо, просмотрена и вся книга. Рукопись "Странствий..." не сохранилась, и есть основания предполагать, что при посмертном издании были сделаны цензурные изъятия и "исправления".

Сервантес неоднократно писал, что хотел бы создать увлекательную повесть без крайностей фантастики, волшебных превращений и нелепостей, заполнявших рыцарские романы. Отдаленным образцом для "Странствий..." послужили греческие романы III и IV вв. н.э. – "Эфиопики" Гелиодора и "Левкиппа и Клитофон" Ахилла Татия, рассказывавшие о бесконечных препятствиях на пути к соединению влюбленных. У Сервантеса в соответствии с ренессансными взглядами власть случая уменьшена, а роль человеческой воли возвышена. "Мы сами, – говорит Персилес, создаем свою судьбу, и нет такого человека, который не был бы способен улучшить свое положение". Речь здесь идет не просто о благополучии того или иного человека, а о труде, направленном на достижение великих целей (ч. II, гл. XII).

Сюжетную канву романа о Персилесе составляют преодоления неожиданностей, стоящих на пути гуманистически мыслящих и любящих друг друга молодых людей – Персилеса, принца Фульского (т.е. Исландского) и Сихисмунды, дочери короля Фризского (т.е. Фарерских островов). Сихисмунду вопреки ее воле обвенчали с нелюбимым. Влюбленные должны отправиться в Рим, чтобы сам папа разрешил путы насильственного брака.

Роман называется "Северная повесть". Включение скандинавского, балтийского, славянского, ирландского и английского материала не случайно. В выборе обширного и необычного театра действия сказался не только универсализм Сервантеса (внимательно изучившего, например, книгу Улава Магнуса "История северных народов", 1555), но и свойственная многим деятелям испанского Возрождения веротерпимость.

Разница вероисповеданий Сервантесом не оттенена: однажды даже говорится о некатолической стране, что в ней "можно жить более спокойно", чем в католической! Люди стран Севера изображены с любовью, а как язык международного общения балтийских и северных стран выведен мало известный тогда испанцам *польский* язык. Материал стран Севера позволяет Сервантесу (так же, как Лопе де Веге перенесение действия драм на Русь, в Венгрию и другие страны Восточной Европы) смело писать о народных восстаниях и свержении королей, не связывать нравственную характеристику героев с религиозной и допускать другие вольности.

Конечно, бытовой фон романа обогащается, когда действие переносится в знакомые Сервантесу земли: в Португалию, Францию, Италию. Насколько это было возможно в условиях испанской цензуры, Сервантес высмеивает корыстный характер организации паломничества в Рим и ставит в романе другие острые проблемы. Так, он рассказывает о португальце, умершем от горя, когда его невеста объявила ему в церкви, что обвенчается не с ним, а с Небесным женихом, т.е. уйдет в монахини. Персилес возмущается Сихисмундой, захотевшей уйти в монастырь, объясняет ей, что это не акт свободы воли, напротив, принятие обета навеки *свяжет* ее волю в будущем и убьет любящего ее человека.

Вероятно, не все читатели оценили сочетание в "Странствиях Персилеса и Сихисмунды" занимательного сюжета с серьезной критикой существовавших порядков, католической церкви в ее реальном обличии, а также с утверждением воли и способности человека к достижению великих целей. Но роман пользовался большим успехом: уже в 1617 г. вышло несколько испанских изданий.

Вскоре сюжетная конструкция "Странствий..." оттеснила в ряде литератур Западной Европы конструкцию как пасторального, так и плутовского романа, стала традиционной и повлияла на роман XVIII–XIX вв.

Однако не "Странствия...", а "Дон Кихот" явился одним из величайших творений всей мировой литературы. Его герой, обобщивший некоторые существенные черты человеческого характера, давно сопричислен, наряду с Прометеем, Антигоной, Фаустом, Гамлетом, к так называемым "вечным образам", т.е. в представлении целых поколений ряда стран он живет особой, "самостоятельной" от Сервантеса жизнью.

"Вечным" оказался и синтетический романный жанр, созданный Сервантесом. Это не был больше приключенческий, рыцарский, пасторальный, плутовской, психологический, бытовой роман, а роман "вообще" – универсальнейший жанр Нового времени, способный охватить все богатство жизни эпохи.

Воздействие этой универсальности романа Сервантеса сопутствует великим обновителям и строителям романного жанра XVIII – начала XIX в. – Фильдингу, Стерну, Вальтеру Скотту, Бальзаку, Гоголю, а в какой-то степени и романистам последующего времени.

III

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ СЕРВАНТЕСА В "ДОН КИХОТЕ"

А что же и почему преследователи не догадывались во "всем ужасе" обнаружить (и... истребить) в "Дон Кихоте"?

Неуязвимость Дон Кихота с разных сторон достигалась, кроме прочего, стилистическими хитросплетениями. Не потому ли автор, улыбнувшись про себя, решил назвать героя словом – в данном случае подходящим к нему самому – "ingenioso" ("хитроумный")?

Одна из причин победы романа Сервантеса – сознательная, а может быть, в какой-то части "самородная" (секрет гения!) внутренняя стилистическая виртуозность романиста. Сила воображения у Сервантеса порой обгоняет некую заданную уравновешенность произведения, будто всерьез развенчивающего и без того устарелые рыцарские романы.

Главное в книге – это не комическое развенчание рыцарских романов. Это тот не сразу доходивший до читателей и слушателей идеал, который неощутимо ткет не воображение Дон Кихота, а самого Сервантеса. Автор преодолевает смех от нескладных приключений, высказываний и возникающих у героя мнимых образов. Писатель незаметно обращает воображение к намекам, в которых скрыта настоящая реальность. Многим современникам представлялось смешной нелепостью утверждение Дон Кихота, что даже при равной суровости жизни монахов и странствующих рыцарей именно эти последние значительно полезнее для человечества.

Как поверить, что безумный Дон Кихот легко победил и устыдил герцогского духовника в такой степени, что у Санчо возникла воинственная мечта разрубить духовное лицо мечом, как спелую дыню?..

Вообще, воображение Сервантеса (конечно, питаемое славной традицией испанских романсов, античной классикой, философией свободы старших Отцов церкви и – очень важно – ренессансных гуманистов Испании, вдохновившихся Эразмом Роттердамским) имело такую силу, что созданный Сервантесом лишь *виртуальный* образ "странствующего рыцаря" начала XVII в., образ *нереальный* повернул к действительности, к *реальности* (вспомним известные слова Белинского о "Дон Кихоте") все развитие романа (а частично всей европейской литературы, в которой жанр романа после "Дон Кихота" стал выходить на важнейшее место), в какой-то степени превзойдя даже то, что потом Гегель (в данном редком случае – с опозданием) требовал от романа.

Недаром Дон Кихот восхищал Тургенева, а устами Достоевского был справедливо провозглашен величайшей книгой, *оправданием* не одной Испании, а всего *человечества*!

Здесь можно вспомнить замечание Достоевского в "Белых ночах" (Ночь вторая), т.е. в одном из последних произведений, которое было напечатано в "Отечественных Записках" (1848. № 12) за неполных четыре месяца до ареста (23 апреля 1849 г.), каторги и ссылки. Речь идет о бессмысленном разговоре двух людей; гость

окостенел, "глядя на опрокинутое лицо хозяина, который уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка..."[9].

Приведенные слова Достоевского помогают представить себе, как художественный гений, как сила воображения писателя вывела его главное произведение так далеко за пределы пародии на рыцарские романы. Она подсказала пределы осмеяния Алонсо Кихано Доброго в начале книги[10]. Алонсо Кихано загорелся мечтой воскресить идеалы странствующего рыцарства и воплотить их в современной ему жизни. Понять это легче, имея в виду, кроме необозримого опыта Сервантеса, еще один момент: сила воображения царит и во вставных новеллах, обильных в Первой части (1605), начиная с рассказа о "жестокой", "убийственно свободной" пастушке Марселе и следуя бывшими первоначально третьей (гл. XV–XXVII) и четвертой предчастям (гл. XXVIII–LI) в "Дон Кихоте" (1605). Например, по поводу неожиданной встречи вернувшегося из Алжира пленника с братом автор, вроде современного адепта паранормального анализа, сам говорит, что чувства изображенных им героев – "думается мне, не только описать, но и *вообразить* невозможно" ("apenas creo que pueden pensarse, cuanto más escribirse")[11].

Некоторые русские исследователи, например, С.Г. Бочаров и С.И. Пискунова, улавливали известное структурное сходство построения "Дон Кихота" и "Евгения Онегина", сочинений, по зачинам и по началу которых не только читатель, но и само гениальное воображение создателя нечетко различало, куда и как будут продолжаться романы и к какому концу придут.

Подобные муки переживал Торквато Тассо; нечто схожее наблюдалось в больших поэмах Байрона и даже у такого "педантичного" гения, как Гёте (например, в "Фаусте").

В музыке это случается, быть может, еще чаще: сколько раз П.И. Чайковский в расцвете сил, на пороге создания бесподобной "Пиковой дамы", примерял и перемерял, к чему привести или к чему приведет его действие оперы "Чародейка".

Среди таких долгое время нечетко "определяющихся" произведений можно выделить "Дон Кихота", "Чайльд Гарольда", "Евгения Онегина", написание и действие которых длится параллельно текущей за их пределами жизни и должно меняться в зависимости от одновременных событий. "Дон Кихот" был бы иным, если бы за восемь-десять лет не произошло поголовное изгнание из Испании морисков, если бы ярче не засветилось лицо Каталонии, а казнокрад-министр не заключил бы два перемирия, едва удержавших Испанию Филиппа III от катастрофы, происшедшей 90 лет спустя при Карле II.

---

[9] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972; Т. II. С. 113.

[10] Наивные читатели и ученые специалисты связывают прозвание Кихано – Кихада с комической ассоциацией, напр., со словом "quijada", означающее "челюсть животного". Между тем известен крупный архитектор XVI в. Херонимо Кихано, работавший преимущественно в Мурсии; главный советник императора Карла V Луис Мендес Кихада выполнял важные поручения в упорядочении личных дел императора, его сыновей и его злополучного внука дона Карлоса. Так что, смеясь по поводу имени Дон Кихота, можно оказаться с "опрокинутым лицом".

[11] В цитатах из "Дон Кихота" используется текст, помещенный в настоящем издании. По-испански текст приводится по критическому изданию "Дон Кихота": L.A. Murillo (5 ed.) Madrid. Ed. Castalia, 1987.

Суровость "Чайльд Гарольда" по отношению к Англии была бы меньшей, если бы не "кровавая равнина Ватерлоо", всплеск реакции и надменно-опереточное гарцевание в Европе "победителя" Веллингтона.

А в "Евгении Онегине" – не чаямое в радужных мечтах ни сторонниками "Пушкина-декабриста", ни ожидавшим шестую петлю для Поэта Бенкендорфом – написание (в 1830 г.: "...Читал свои ноэли Пушкин...") и конспиративное сожжение с сохранением строк на память X "декабристской" главы "Евгения Онегина".

Подобным способом Сервантес за время между Первой и Второй частями возвращает Алонсо Кихану Доброго к первоначальному образу, а Пушкин – с грустным ироническим предупреждением свой роман в стихах назад, к началу, к 1823 г., будто ничего не изменилось во второй половине 1820-х – первой половине 1830-х годов:

Итак, я жил тогда в Одессе...

Характерен в "Дон Кихоте" веселый, но в обертонах окрашенных грустью, хохоток по поводу приключений более смешных для незадачливого читателя (слушателя), чем опасный для автора (не говоря о костях и суставах героя) эпизод крайне неудачного сражения Дон Кихота с ветряными мельницами.

Мы не говорим, *что́* это означало и чем было уравновешено в ходе движения действия романа (но кроме всего прочего, надо помнить, Сервантес обладал таким даром сказочника, что и ребенок, поплакав, понимал: это "понарошку".

Читатель не может быть уверен, что смех по поводу нелепых и развлекающих эпизодов является своего рода заслоном, "ширмой" для того, чтобы опасно "рехнувшегося" и на мгновенье действительно высоко взмывшего в воздух борца с гигантами-мельницами не препроводили бы затем в подземелья инквизиции.

За шутейными "мельницами" вскоре следует смелый эпизод с козопасами ("братание" сеньора и крестьянина, крамольная историко-философская речь Дон Кихота об утраченном Золотом веке, когда собственности не знали и царила справедливость), а затем не менее крамольная героизация "языческих" похорон влюбленного пастуха-самоубийцы и "возмутительная" защита свободы женщин пастушкой Марселой, как свободы человека вообще.

Вершиной художественного, философского и политического обострения после нескольких более или менее забавных нейтральных приключений является в Первой части в гл. XXII рассказ об освобождении Дон Кихотом осужденных, которых насильно ведут на галеры, куда они "не хотели бы идти" ("...no quisieran ir").

В Испании XVI–XVII вв. никто (да, *никто*!) не мог, встретив конвоируемых на галеры осужденных королевским правосудием преступников и получив ответ, что они "невольники", никто не мог высказаться по этому поводу так, как Сервантес устами Дон Кихота. Тем более, что герой действительно напал на конвой, разогнал его и освободил галерников, правда, со смехотворной надеждой, что они, собравшись, явятся с разбитой цепью пред светлые очи Дульсинеи Тобосской, расскажут о подвиге освободителя и предоставят себя в распоряжение Дульсинеи.

Для такого расторопного освободителя, если б он нашелся в жизни, придумали бы такую ужасную казнь, что второй уже никогда бы не появился.

Никто не мог сказать и совершить подобного. А Сервантес напечатал в подцензурном лицензированном тексте в столице с королевской привилегией!

При встрече со скованными каторжниками Дон Кихот высказывает сомнение в справедливости самого короля и силой оружия восстанавливает то, что *он*, а не король, считает справедливым.

Иронию делает горькой стоящее за гранью обычаев рыцарских романов непонимание Дон Кихотом особой опасности такого (с позволения сказать) "приключения".

Происходит раздвоение иронии: формально она по-прежнему направлена якобы против сумасбродства рыцаря, а по существу – против такого порядка в стране (мире), который олицетворен в католическом монархе. В адрес испанской администрации направлены такие возмущенные выражения, как "como gente forzada", "hacer fuerza" ("Как так невольников?.. "Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?". I, гл. XXII, p. 265, с. 147).

После речи Дон Кихота, обращенной к козопасам, а особенно после описания вооруженного освобождения "королевских невольников" роман стилистически развивается, даже "взвивается": тень "костяка" фабулы по-прежнему рассказывает о безумствах и о безумии рыцаря, а *живой дух*, стиль повествования бьет в набат – говоря о внутренней оправданности, о моральной и созидательной правоте великого безумца.

Вместо рыцарских романов фактическим объектом сатиры в "Дон Кихоте" то и дело становится современная жизнь, а с нею и тот безидеальный плутовской ("пикарескный") роман, который трактовал ее на уровне бытовых неурядиц. Плутовской роман с насмешкой представлен у Сервантеса автобиографией циничного каторжника – Хинеса де Пасамонте, – того самого, который украл Серого, "пресловутого страдальца", осла Санчо Пансы, т.е. у оруженосца рыцаря-освободителя. Упоминаемое в "Дон Кихоте" произведение "Жизнь Хинеса де Пасамонте" – это пародийное переосмысление Сервантесом подлинных записок Херо́нимо де Пасамонте[12].

Цензоры и читатели могли не заметить того, что с XXII главы Первой части интонация существенно меняется. В XXIII главе после разгрома королевского конвоя Дон Кихот *впервые* практически "доходит до ума" и соглашается прислушаться к здравому совету Санчо Пансы "отступить" и укрыться от преследования властей в горах Сьерра-Морены.

В горах Дон Кихоту и Санчо встречается Карденио, пожалуй, более буйный от предполагаемой любовной утраты – своей возлюбленной Люсинды (Luscinda), чем Дон Кихот от своего "этикетного", "положенного" рыцарю любовного горя (в подражание Рольдану, испанское прозвание Роланда-Орландо, потерявшему царевну Анджелику, влюбившуюся в неприметного воина Медора).

Одичавший в горах, голодный оборванец Карденио, метко названный el Roto de la mala Figura ("Оборванец Плачевного Образа"), см. I, гл. XXIII, p. 290), одуревший от мнимой измены потерянной возлюбленной, манерно говорит Дон Кихоту: "Постоянство моих мучений вызвано ее переменчивостью, и я сделаю все возможное, чтобы погубить себя и тем удовлетворить ее желание".

---

[12] См.: Revue Hispanique, Vol. LV, 1922. P. 315–446.

В конце романа 1605 г. несколько вставных новелл более или менее авантюрного характера создают фон для понимания сокрытой мудрости Дон Кихота, аналогичный стилистическому соотношению понятий "mala Figura" – "triste Figura" (Кардению, пока озлобившийся безумец – "malo"), а Дон Кихот, рыцарь-гуманист, – удрученный печальный безумец (triste").

Таким стилистическим приемом, который меняет отношение топики безумия и здравомыслия, является то, что теперь Дон Кихот не столько сам утверждается в рыцарском призвании, сколько его в этом убеждают окружающие, начиная от хозяев постоялого двора, усердных почитателей рыцарских романов (I, XXXII), "инфанты Микомиконы" (Доротеи) до простодушного Санчо и даже *шутовски* припадающего к ногам Дон Кихота священника (I, гл. XXXIX).

Вставные новеллы, вклиниваясь в повествование, следуют друг за другом, а некоторые их заглавия приобретают символический характер, как, например, у повести о маящемся дурью Безрассудно любопытном, искусственно доводящим жену до неверности, о которой она и не помышляла (I, XXXIII–XXXV). Стилистический нажим – на то и *нажим*, что, хотя он будто направлен на преодоление очевидного, поверхностного слоя замысла осмеяния не современного для XVII в. странствующего рыцаря, служившие этой цели новеллы не прямолинейны в обратном назидании, а содержат свою реальность и свои сложности.

Например, в кажущейся са́мой сюжетно надуманной "Повести о Безрассудно любопытном" друг Лотарио в наставлениях безрассудному новобрачному Ансельмо, чтобы отвести его от очевидного безумия ("manifesta locura"), излагает испанское ренессансное понимание трудных подвигов ("las cosas dificultosas"), которые могут совершаться для Бога, или для мира ("o por el mundo"), или для того и другого вместе" (I, гл. XXXIII, p. 406). В эту же новеллу входит мотив, не принятый в Испании ни на театре, ни в литературе, – изображение внебрачной связи порядочных людей (Лотарио и Камиллы). Такой мотив встречался у Сервантеса лишь в новелле "Ревнивый эстремадурец", написанной восемь лет спустя, в 1613 г.

Совсем удивителен казус прощения мужем жены, искусственно доведенной до измены ему. Сам муж, Ансельмо, перед смертью написал: "Пусть она знает, что я ее прощаю, ибо не в ее силах было творить чудеса, и не следовало мне требовать их от нее... ("...cepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese; y pues yo fui el fabricador de mi deshonra"[13]...), ...поэтому я сам виновник моего бесчестия". (I, XXXV, p. 445).

"Повесть о Безрассудно любопытном" завела слишком далеко в осуществлении композиционной цели прикрытия ее "безумием" главного действия, так что "el cura del lugar natal" ("священник родного селения") Дон Кихота, выражающий в данном случае снисхождение самого автора в той мере, в какой оно будто и в малом не задевает католических представлений, делает редкостное замечание по поводу повести, прибегая к идее сопоставления *стиля* и *содержания* как равнозначимых в своей самостоятельности начал, т.е. (говоря понятиями литературоведа) "утверждает стиль как возможный двигатель действия": "Bien, – dijo el cura, – me parece esta nov-

[13] Ср. заглавия некоторых "драм чести" Кальдерона о трагикомических последствиях сомнения мужа: "Живописец своего бесчестия" и др.

ela; pero no me parece persuadir que esto sea verdad... si este caso se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase levar, pero entre marido y mujer algo tiene del imposible; y en lo que toqua al modo de contarlo (манера изложения этого, стиль изложения) no me descontenta" (I, гл. XXXV, p. 446, c. 267)[14].

То, что Сервантес повторяет ту же защиту в некотором смысле самодовлеющей силы стиля, показывает, что с точки зрения искусства он ощущал мощь и *содержательность* художественной *формы*. Бывает и так: один гениально одаренный нищий идальго в поле воин; а с точки зрения общественной необходима внутренняя стилистическая защита Дон Кихота.

Поэтому Сервантес строит еще одну линию защиты, монтируя в основное повествование продолжение новеллы Карденио, перерастающей в повесть о злоключениях двух влюбленных пар: Карденио – Люсинда и Фернандо – Доротея. Если отправной пункт оценки – сюжетоведение, то повесть имеет искусную, но совершенно искусственную развязку в результате того, что дон Фернандо с насильно увезенной им Люсиндой случайно попал на тот же постоялый двор, куда в решительный момент судьба привела претендента на руку и сердце Люсинды – Карденио, – а также "случайно" соблазненную доном Фернандо Доротею, а с ними – духовных особ, Дон Кихота, Санчо и многих других значительных лиц и невесть откуда взявшихся людей.

Все дивились столь невиданному происшествию. Кюре (по-испански "cura") заговорил, как юные влюбленные в комедиях Лопе де Веги: "Y cuando se cumplen las fuertes leyes del qusto, como en ello no intervenga pecado, no debe de ser culpado el que las sigue" (I, XXXVI, p. 454, c. 272) – "И тот, кто следует властным законам своего влечения, если только в этом не замешан грех, не может быть осужден за то, что им повинуется".

Дону Фернандо, от воли которого зависело разрешение коллизии, теперь кажется, "что не случай (que no acaso), как это могло показаться, а особая воля неба (sino con particular providencia del cielo) свела их всех (влюбленных. – *Н.Б.*) в таком месте, где они меньше всего рассчитывали встретиться" (I, XXXVI, p. 453, c. 272).

Многие опасные с точки зрения противников морали Возрождения сумасбродства и подвиги Дон Кихота оказались стилистически заслоненными и едва ли не уравновешенными почти столь же невероятными приключениями вставных новелл и вытекающими из них тезисами, якобы (чуть ли не софистически) поддерживаемыми даже священником и самим богословием как таковым. Как иначе понять размышление дона Фернандо, в конце XXXVI главы о постоялом дворе, где произошла встреча четырех влюбленных: "...и кажется ему теперь, что попал он на небо, где преодолеваются и кончаются все земные бедствия" ("...que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra". – I, XXXVI, p. 456, c. 273).

---

[14] "Повесть мне нравится, – сказал священник, – только я никак не могу поверить, что это правда... ибо нельзя себе представить, чтобы существовал на свете муж столь неразумный, чтобы решиться на такое опасное испытание. Еще между любовниками подобное могло бы случиться, но между мужем и женой – это прямо невозможно. А самая манера изложения мне скорей нравится".

Частое упоминание в последних приведенных суждениях темы *вмешательства неба* в любовные приключения затуманивает, но не может скрыть функциональной роли таких эпизодов и речей – заслонить от преследований потаенное содержание "Дон Кихота" и отмеченное в комментариях Л.А. Мурильо (I, p. 456, n. 16) родство "истории четырех" на заколдованной венте с мотивом "Дворца Венеры" в любовных историях. Связь неба и рая любви устанавливается самим Сервантесом, когда он рассказывает, как восторженно реагирует честна́я компания на появление пленника с его прекрасной лела Зорайда-Марией: "Так как красота обладает силой и даром вносить мир в сердца и влиять на волю" ("como hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los animos y atraer las voluntades..." художественный перевод несколько сглаживает в данном случае философско-богословскую терминологическую смелость слов Сервантеса. – *Н.Б.*).

Пример такого кажущегося простым в своем замысле произведения, как "Дон Кихот" 1605 г., показывает известную в данном случае взрывную автономию стилевого нача́ла в руках художника-виртуоза. Этот пример – возможность "независимой форме" выступать мощным двигателем развития идей произведения, а если это произведение так велико, как "Дон Кихот", то и большого периода истории литературы.

Наиболее мудрые размышления о реализме признают его способность быть равно реалистичным в изображении, воспроизведении как "реального", так и "идеального".

Автономная действенность стиля зависит не только от эпохи и направления (благоприятных в этом отношении течений конца XIX и XX в.), но и от художественной силы автора, колеблющейся от почти нулевой отметки у пародиста "Дон Кихота" Авельянеды до бесконечно высокой и мудрой у Мигеля де Сервантеса Сааведры.

Такая высокая роль художественного мастерства в "Дон Кихоте" предупреждает о необходимости несвоевольного и деликатного подхода к тексту великого произведения.

Сколько перьев было попусту затуплено, например, в спорах об "ошибках" Сервантеса в вопросе об украденном и периодически являющемся вновь осле Санчо Пансы, будто Серого и не крали вовсе.

В связи с "ослиной историей" можно вспомнить, что даже в короткой книжке в "Массовой историко-литературной библиотеке" Н.П. Снетковой – "Дон Кихот" Сервантеса" (М.; Л., 1965, с. 118) – автор пишет, что нелишне «напомнить проницательные слова о промахах автора "Дон Кихота", вложенные в уста Самсона Карраско. Может быть, эти промахи и в самом деле вроде родимых пятен, а "они-то иной раз придают человеческому лицу особую прелесть".

Задача *исправления* предполагаемых "ошибок" Сервантеса (и художественных гениев вообще) несерьезна: Леонардо, Рафаэлю, Моцарту, Пушкину не свойственно ошибаться, кроме как по рассеянности, по редкому стечению обстоятельств или в нехудожественной сфере.

Оставить в Дон Кихоте только логичное и разумное – он потеряет свою неуязвимость для врагов. Да в таком виде книга о хитроумном идальго, может быть, и не была бы издана.

Даже если предположить такое издание, то, скорее всего, произведение потеряло бы обаяние, иссохло, да в таком виде все-таки могло быть изъято. Все это навлекло бы на голову Сервантеса беды, а людей, человечество лишило бы великой радости, а по Достоевскому – Спасения!

Исправители-"адорнадорес" появились в Испании в XVIII в. после победы Франции в войне за испанское наследство. Людовик XIV посадил на испанский престол своего внука под именем короля Филиппа V Бурбона. С него начинается появление и развитие "галломании" в государственной системе и культуре Испании.

Испанские Бурбоны быстро выродились на чужой почве, и среди них в XVIII в. был только один видный государственный деятель король Карл (Карлос) III (1716–1788; король Испании с 1759 г.), способный действительно что-то исправлять на рационально-просветительский лад.

Такие крайности, как попытка "исправлять" текст Сервантеса в 1780 г., спустя 175 лет после выхода "Дон Кихота", не были удачной идеей Королевской испанской академии, основанной в 1714 г. по образцу Французской академии.

Без каких-либо серьезных текстологических аргументов, а просто исходя из в какой-то мере действительно представляемого ею "здравого" смысла (как Академия тогда его понимала), она постановила изменить не подходящее к содержанию сервантесовское заглавие той или иной главы и впредь именовать, например, IX главу Первой части обтекаемым названием, пресно повторяющим с некоторыми изменениями названия глав XVIII, XIX, XXXI, XLIX – "Об остроумной беседе между Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо Пансой".

Уже такое с первого взгляда самое невинное переименование при его кажущейся оправданности *ни в коей мере не отражало авторскую волю*. Сервантес сам имел возможность (учитывая множество переизданий) исправить "оплошности" издателей 1605 г., но не делал этого.

Поэтому в современных научных изданиях "Дон Кихота" и в том числе и в тех, которые наиболее приближены к широкому читателю и теперь относятся к самым распространенным из них, например, в упоминавшемся издании Луиса Андреса Мурильо (серия "Класикос Касталия" тт. 77–78, Мадрид, 1977; мы пользовáлись пятым тиражом 1991 г. – *Н.Б.*), авторская воля Сервантеса вновь восстанавливается.

Однако в примечаниях к упомянутому изданию отмечено то, что Л.А. Мурильо называет "небрежностью" Сервантеса ("un desquido"), и гипотетическая связь этой небрежности с мнением о перестановках в тексте на стадии рукописи (утерянной).

При этом Л.А. Мурильо не объединяет вопрос об этой "небрежности" с делением первого издания, еще не называвшегося "Первая часть" (1605), внутри книги на четыре внутренние части (partes). Мы, как и Л.А. Мурильо, эти разделы снабжаем подзаголовками, но во избежание путаницы, стараемся именовать их в статье "внутренними частями" или для краткости – "подчастями" (напоминаем, что когда Сервантес писал "Дон Кихота" в 1605 г., он не имел в виду, что через несколько лет станет писать и издаст в 1615 г. новую книгу о "Дон Кихоте", которую, естественно, назовет "Вторая часть"). Окончательно это название утвердилось через 21 год после смерти автора, когда из Первой части исключили номера четырех составлявших ее сервантосовских внутренних частей. Между тем не надо думать, что деление на "внутренние части" (первая: гл. I–VII; вторая: гл. IX–XIV; третья: гл. XV–XXVII;

четвертая: гл. XXVIII–LII) – это просто какое-то "заблуждение" Сервантеса. Мы часто повторяем, что одно из свойств художественного гения в своем творчестве – не заблуждаться. И прежде, чем сказать, будто Эсхил, Брунеллески, Бетховен, Пушкин "ошибся", "заблуждался", следовало бы отмерить не семь раз, а семью семь... а потом не отрезать.

Деление на четыре внутренние части отражает исходный композиционный принцип, сложившийся, когда Сервантес задумал писать не рассказ о немудрящем чудаке, помешавшемся на рыцарских романах и подвигах, а широкоохватное произведение о жизни и бедах родины, в подлинное исправление которой в начале XVII в. (да и позже) мог поверить только храбрый и самоотверженный (и по-своему мудрый!) безумец.

Великий роман[15] и его герой поэтому были неуязвимы для тогдашних чудовищных властей и устраивали наивного, простого читателя и читателя образованного, знакомого с ренессансным, передовым и в XVII в. гуманистическим пониманием христианства Эразмом Роттердамским.

Победы духа неисповедимы. Нищий стареющий солдат-отставник, измученный неподходящей чиновничьей службой, получивший некоторую помощь от францисканцев, оказался великим стратегом: на рубеже XVII в. он точно понял, *что́* он призван совершить и совершил.

Такого рода осуществление стратегических планов выхода из безвыходных ситуаций – удел немногих великих полководцев.

Русский генерал Барклай де Толли, лежа в госпитале в 1807 г., раненный в сражении с Наполеоном под Прейсиш-Эйлау, за семь лет до 1812 г. разработал уму непостижимо дальновидный план возможности победы над сверхмощным противником. Этот план предусматривал на первом этапе неизбежной (если Наполеон на нее решится) войны, в случае неблагоприятных обстоятельств, отход от Вильно пусть до Москвы, даже дальше, но не как поражение, а как продуманную за пять лет до войны подготовку победы над измотанным противником. Барклай сумел убедить переменчивого Александра I в обеспечении конечного поражения мощного противника хотя бы такой ценой! Расположение русских сил в Вильно, конечно, было рисковано, но оно прикрыло Петербург и побудило Наполеона избрать худший путь.

Если бы Наполеон дознался (или догадался) о планах Барклая, он со смехом сказал бы, что русский генерал сошел с ума от ран. А если бы понял и оценил? Сохранилась бы жизнь не только нескольких сот тысяч молодых людей в обеих армиях, но история Европы пошла бы другим путем.

---

[15] Надо помнить, что для литературного жанра в Испании слово "роман" не только малоупотребительно, но и устарело. Рыцарские романы назывались просто "книгами" ("либрос"), и реже – "романами". Слово "роман" для испанского языка – галлицизм, французское заимствование (благо и ударения совпадают). Порой рыцарские романы могли называться "романсес", как и краткие стихотворные "романсы".

Роман, как и повесть, новелла, именуются по-испански "новела" (с одним "л"); рассказ – "куэнто", "новела". Автор повсюду называет "Дон Кихот" "историей" – "историа", но на иностранные языки это слово переводится как "роман" хотя по-английски, в зависимости от подхода к "Дон Кихоту", его можно рассматривать и как "novel" и как "romance", и как "history").

В работе над "Дон Кихотом" Сервантесу выпала на долю важная миссия в спасении самосознания Испании, как Барклаю в 1807–1813 гг. в спасении самосознания России (вспомним по этому поводу сохраненные Пушкиным зашифрованные отрывки из Десятой главы "Евгения Онегина" и посвященное Барклаю стихотворение "Полководец").

Духовный символический облик Сервантеса-воина как бы отражен на картине Веласкеса в намеренно приглушенной гамме изображения бога Марса в виде угнетенного годами, подвигами, несправедливостями воина (музей Прадо в Мадриде).

Судьба Веласкесова "Марса" отчаяннее и типичнее, чем в принципе немыслимые литературные победы Сервантеса последних десяти-одиннадцати лет жизни над "стозевным... огромным... чудищем" испанских Габсбургов (тут вполне уместно "вспомнить эпиграф к "Путешествию..." Радищева).

"История" (напомним, Сервантес называет "Дон Кихота" "историей" (хитроумного или, как переводила точнее, хоть суше и менее сервантесовски-биографично М.В. Ватсон в 1907 г. – "остроумно-изобретательного" ("ingenioso") идальго Дон Кихота Ламанчского не сразу появилась на свет в доспехах и в полном вооружении. Трудами испанских ученых, особенно нашего старейшего современника, президента Королевской испанской академии Рамона Менéндеса Пидаля (1869–1969) установлено, что первоначально – в 1590-е годы – Сервантес скромно задумал пародировать анонимную "Комедию о романсах". Ее герой, Бартоло, начитавшись романсов (и рыцарских романов – "либрос де кабальериа"), задумал стать новоявленным рыцарем. Однако для немудрящего Бартоло дело так и оборачивалось одними конфузами. Следы пародии на незатейливого героя заметны в первых семи главах Первой части "Дон Кихота", в выезде без оруженосца Санчо Пансы. Вздорные приключения в постоялом дворе, который Дон Кихот принимает за замок, хозяина – за кастеляна замка, сомнительных девиц – за высокородных особ, а дальше шутейное посвящение в рыцари (закрепляющие приставку "дон", "господин" (от лат. dominus), неудачное заступничество за мальчика-батрака (ему после отъезда Дон Кихота досталось от хозяина вдвойне), нападение на купцов во имя прославления им неведомых совершенств Дульсинеи Тобосской – все это не настраивало цензоров на серьезный лад и, вероятно, они начали смеяться на помешанным героем и автором.

Второй выезд Дон Кихота, уже в сопровождении "оруженосца" Санчо Пансы, несмотря на предельную нелепость первого же "подвига" – нападения на ветряные мельницы, показавшиеся рыцарю враждебными великанами, – означен усложнением и перестройкой коллизии романа. Фантазер Дон Кихот и здравомыслящий крестьянин Санчо дополняют друг друга, духовно обогащаются в своем взаимообщении. Хотя оба они часто бывают смешны, они необыкновенно трогательны в своем противостоянии действительности – чудищу габсбургской Испании, порождающему тревожные и зловещие импульсы.

Готовность Дон Кихота принять на себя миссию исправителя кривды, как земное, мирское мученичество, выглядит "смешно" *не столько из-за особенностей его характера,* сколько по причине нелепостей того *невыносимого порядка, которому он и Санчо в своей чистоте и наивности осмеливаются противостоять.*

Формально, возможно и для отвода глаз, задача осмеяния неправдоподобия большинства рыцарских романов остается в силе в течение всего произведения, даже во Второй его части 1615 г.

Но понимание этой задачи совершенно изменилось у Сервантеса. Хотя рыцарские романы все еще читали и господа, и слуги, но практически их больше не издавали, т.е. спроса не было, и они переходили в область вымирающей отрасли массовой культуры самых наивных читателей. Рыцарские романы были вытеснены плутовским, галантно-пастушеским романом, наконец, тем семейно-приключенческим романом, который цвел от XVIII в., от Филдинга до Булгакова и т.д.

Во времена Сервантеса, кроме его новелл и романов, в Испании царил отвоевавший себе место под солнцем театр Лопе де Веги и его продолжателей.

В области приключенческого романа победил вновь Сервантес с разработанной в его новеллах и "Странствиях Персилеса и Сихисмунды" структурой, а опасность, что увлечение рыцарскими романами породит появление последователей "приключенчески-семейного" "Персилеса...", была нулевой.

Конечно, в центре оставался "Дон Кихот". Сервантес нашел поразительное решение, а находка гения далеко не всегда сразу отыскивает успешных продолжателей. Так было с "Божественной Комедией" Данте, "Концоньере" Петрарки, "Декамероном" Боккаччо.

Так как жанр рыцарских романов истощился, а его герои потеряли убедительность и представлялись вздорными, то действия и слова современного Сервантесу человека, стремящегося *всерьез* воссоздать образец странствующего рыцаря, оказывались нелепыми. Заведомый безумец, постоянно совершающий "подвиги", за что на него сыпятся удары со всех сторон, Дон Кихот, ослепленный рыцарскими романами, порой несет несусветную чушь о замках, о знатных дамах (девицах легкого поведения), о враждебных великанах (ветряных мельницах), о национальных, о мировых армиях (стадах баранов). Такой безумец, который, кажется, что ни скажет, то "соврет", получал как юродивые и шуты, известную свободу слова. Ведь мог юродивый Николка в драме Пушкина (а значит, и в жизни) принародно безнаказанно крикнуть в лицо царю-злодею Борису: "...нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит!"

На двойственности безумца и мудреца, обращающейся в их единство, основана двунеуязвимость Дон Кихота: в великом романе, наряду с бушующей смешной стихией, проступает удивляющая многих присутствующих персонажей (и, конечно, читателей и слушателей) мудрость и некоторая правильность поступков и речей Дон Кихота.

Уже в начале романа становится все более заметно, что Дон Кихот не стереотип в ряду пальмеринов и бельянисов, что он проникся рыцарственно-гуманистическим идеалом *на самом деле* и готов жертвовать собой во имя торжества справедливости и милосердия на земле. Будто направленный на исцеление Дон Кихота суд священника и цирюльника над рыцарскими романами, завершающийся хорошо знакомой в Испании с первых лет царствования Филиппа II церемонией сожжения книг, не вызывает сочувствия читателя.

На чьей стороне правда и это сочувствие делается особенно ясно во Второй части романа, когда Санчо, обогащенный беседами и наставлениями Дон Кихота, на-

значенный герцогом "губернатором острова Баратария", оказывается на деле лучшим, наиболее мудрым, бескорыстным губернатором "острова" из всех, когда-либо бывших в Испании.

Начиная с гл. XI Первой части, когда Дон Кихот, мирно деля с козопасами скромную трапезу, произносит знаменитые речи о социальной несправедливости и об утраченном "Золотом веке", приоткрывается гуманистическая направленность и демократизм произведения.

Универсальное значение коллизии романа подтверждается той органичностью, с которой он вбирает в себя построенные на разном материале вставные новеллы. В принципе Дон Кихот оказывается едва ли не высшим арбитром в решении изложенных в них драматических столкновений. Серьезный смысл имеет его защита права пастушки Марселы (из-за "холодности" которой покончил с собой Хрисостомо) на свободу выбора в любви, хотя в духе Возрождения серьезное перемешивается у Сервантеса со смешным, и трагедия Хрисостомо–Марселы соприкасается с весьма неудачным любовным похождением дряхлого Росинанта, навлекающим побои не только на коня, но и на рыцаря и его оруженосца.

Беспредельно глубок и *безысходен* конфликт, открывающийся при освобождении Дон Кихотом каторжников, но и здесь самое серьезное, поистине трагическое неразрывно сплетено с забавным. Сервантес осуждал тех, кто для потехи шутил над Дон Кихотом, но в системе ренессансного мировоззрения удовольствие, шутка были атрибутами достойного человеческого существования. К тому же именно буффонада позволяла то весело, а то и мрачно высмеять и обличить лжеподвижничество монахов, терроризм Святой Эрмандад, взяточничество и злоупотребления губернаторов, позволяла вскрыть противоречия всей испанской жизни.

Проделки Панурга у Рабле, видная роль грасьосос в испанской комедии, шутов и лукавых простолюдинов у Шекспира, безумие Гамлета и сумасбродства Дон Кихота и Санчо обусловливались специфической для Ренессанса избыточностью не только в утверждении идеала, но также в критике и осмеянии общества.

В лихой буффонаде тоже (как и в идеализации) выражалось отсутствие какой-либо ограниченности у людей Возрождения.

Примером может послужить как раз упоминавшееся немыслимое в жизни восклицание Дон Кихота при встрече с осужденными, которых вели на галеры, – с королевскими невольниками: "Как так невольников? Возможно ли, чтобы король применял насилие к кому-нибудь?" (I, гл. XXII). Фигуральный смысл обвинения ясен и полностью оправдан, но на деле с таким упреком к монарху мог обратиться лишь шут, безумец или самоубийца. Не только Филипп Ш, но и идеально ренессансный шекспировский Генрих V, даже сам архиутопический Грангузье у Рабле не могли, если бы и хотели, отказаться от насилия. Общество без насилия пока лишь мерещилось основоположнику утопического социализма Возрождения Томасу Мору, а наглядно было невольно, "машинально" представлено в конце XIX столетия в ярко освещенных или мерцающих в поэтической дымке пейзажах чаще *без людей*... у импрессионистов, не думавших ни о какой социальной утопии, но "учивших" радоваться красоте природы.

Можно пытаться логически разграничить сферу безумия Дон Кихота (идея странствующего рыцарства) и сферу его мудрости (суждения о государстве, "Золотом веке", свободе, праве, морали, любви, человеческом достоинстве и т.д.). Но по

существу эти сферы часто неразделимы: небезумец во многих случаях не мог бы в габсбургской Испании, а неровен час, и в передовых в те годы Нидерландах, Англии или Франции Франциска I, Генриха IV и Сюлли совершать столь бескорыстные подвиги и свободно держать столь мудрые речи.

Композиционное, литературное мастерство Сервантеса блестяще проявляется в том, как он связывает в один узел историю добровольного безумствования Дон Кихота в Сьерре-Морена, имитирующего своих потерявших рассудок от несчастной любви знаменитых прототипов – Роланда и Амадиса (безумство это оказалось кстати: оно помогло уйти от страшной расплаты за освобождение каторжников), и истории Кардении, действительно обезумевшего от любви к Люсинде, и Доротеи, которая, рискуя всем, разыскивает своего исчезнувшего возлюбленного Фернандо. Дон Кихот оказывается на высоте в этом клубке, осложненном историей пленника и вдобавок еще одной вставной новеллой – о несчастии безрассудно любопытного, превысившего всякую меру в испытании верности жены, которую любил как некий абстрактный идеал, а не как живую женщину. Тут, в мире неустроенности и заблуждений внутренняя мудрость Дон Кихота делается все очевиднее, а антагонисты рыцарского безумия сами, якобы во исправление Дон Кихота, погружают героя в чуждую его прямодушию маскарадно-рыцарскую атмосферу.

Так подготавливается особая гуманистическая насыщенность и серьезность Второй части, где совершающие третий выезд Дон Кихот и Санчо оказываются на одном полюсе, а "здравомыслящие" шутники во главе с герцогской четой, не задумывающиеся над тем, насколько они безжалостны, разыгрывающие внешний, без идеала, рыцарский маскарад, – на другом и в конечном счете заодно с проржавевшей, но страшной махиной габсбургской государственности.

Дон Кихот и Санчо выступают в какой-то мере символически, как носители подлинно действительного, включающего и жизнь, и идеал, и материю, и свечение материи, – все то реальное и идеальное, что по условиям времени не смогла до конца внедрить и повседневность эпохи Возрождения, но что стало ее бессмертным активным вкладом в дальнейшее развитие человечества, залогом того, что Надежда не всегда бесплодна.

Дон Кихот во Второй части знает, что Первая часть издана и все ее с восхищением читают; знает, что его предыдущие деяния стали общеизвестны, и он делается серьезнее и тверже. Он больше не поддается обману с ложной Дульсинеей.

Внутреннее содержание истории Дон Кихота во Второй части символически с особой силой проявляется в эпизоде со львами, в гневной и разумной отповеди грубо оскорбившему его герцогскому духовнику, в пафосе гимна свободе после отъезда из замка, в искусно построенном на лезвии карающего меча осуждении изгнания из страны Филиппом III мориска (крещеного мавра) Рикоте и вообще всех морисков, а также в деяниях и изречениях Санчо как губернатора на острове Баратария.

Гениально, на уровне Достоевского, некоторые из этих эпизодов – история морисков и стремление Дон Кихота к поединку с огромным львом, мощным самим по себе, да еще принадлежащим королю Испании, – вызвали восторженную оценку Томаса Манна в статье 1934 г. "Путешествие по морю с Дон Кихотом".

Мы остановимся на статье Манна, приводя в некоторых случаях определения из немецкого текста и отдельные испанские слова: Томас Манн взял с собой в плава-

нье через Атлантику немецкий романтический перевод Людвига Тика, т.е. Манн читал не испанский текст и ссылался не на него, а на этот знаменитый перевод. «Приключение со львами, несомненно является самым доблестным из всех "деяний" Дон Кихота и поистине представляет собой кульминацию всего романа ("der Höhepunkt des ganzen Romans"): чудесная глава, насыщенная пафосом, патетическим комизмом, в котором сквозит подлинное восхищение, внушенное автору героическим сумасбродством ("das heroische Narrentum") его героя. Я прочел эту главу два раза подряд (на пароходе, пересекавшем Атлантику. – *Н.Б.*), и содержание ее, странно волнующее, величаво-смешное, не выходит у меня из головы».

Дон Кихот, "к ужасу своих спутников (в числе которых был и дворянин, Рыцарь Зеленого Плаща. – *Н.Б.*) и не давая сбить себя с толку" никакими разумными доводами, настаивает на том, чтобы сторож открыл клетку и выпустил свирепых голодных зверей на бой с ним... Безрассудная отвага Дон Кихота поражает именно потому, что он отнюдь не так безумен, чтобы не отдавать себе отчета в ней. «Нападение на львов, – говорит он потом, – я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее безрассудство (по-испански "temeridad esorbitante". – *Н.Б.*); ибо мне хорошо известно, что такое храбрость ("valentia"), а именно: это такая добродетель, которая находится между двумя порочными крайностями, каковы суть трусость и безрассудство ("...como son la cobardía y la temeridad"). Однако же наименьшим злом будет, если храбрец поднимется и досягнет до безрассудства, чем если он унизится и досягнет до трусости..." Какое тонкое морально-возвышенное разграничение понятий!..

«...Сцена, как тощий долговязый идальго, спешившись, – ибо он опасается, что его кляча окажется менее храброй, чем он сам, – вооруженный плохоньким мечом и таким же щитом, готовый к нелепому бою... и с героическим нетерпением ("...voll heroischer Ungeduld...") ждет, чтобы лев вступил с ним "врукопашную", – эта изумительная сцена в изложении Сервантеса вновь ожила передо мной...»

Дон Кихот "приказывает сторожу дать льву несколько палочных ударов, чтобы разозлить его и выгнать из клетки. Однако сторож наотрез отказывается выполнить ⟨приказ⟩ и объясняет рыцарю, что тот в достаточной мере проявил свою храбрость; "...если же неприятель не явился, то позор на нем..."

Бежавший с Рыцарем Зеленого Плаща и другими компаньонами Санчо, увидев издали знак Дон Кихота, говорит: "Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, – ведь он нас кличет".

«Готовность Сервантеса одновременно унизить и возвеличить своего героя, – продолжает Томас Манн, – понятия соотносительные, насыщенные христианскими чувствами, и это их психологическое соединение... свидетельствует о том, насколько Дон Кихот является порождением христианской культуры, христианского сердцеведения и человечности ("Menschlichkeit"), и о непреходящем значении христианства для духовного мира, для искусства, и, наконец, для человечества ("das Humane selbst"), его смелого развития и освобождения "Befreiung"»[16].

---

[16] Цитируем в переводе А. Кулишер (*Манн Т.* Собр. соч.: В 10 т. М.: 1961. Т. 10. Ср.: *Mann Th.* Gesammelte Werke. B., 1955. Bd. X. S. 556–558.
Испанские вставки из текста "Дон Кихота" в издании Мурильо.

Из Второй части, кроме символического эпизода со львами, Томас Манн справедливо выделяет *гениально* поданное Сервантесом описание истории, связанной с судьбами мориска Рикоте и изгнанных морисков вообще. Читателей удивляет и трогает, что вынужденное одобрение их изгнания Сервантес со скрытой, но *глубоко трагической* иронией вкладывает в уста мориска и оставляет его судьбу при заступничестве многих знатных лиц открытой – хоть в жизни она едва ли могла завершиться не катастрофически...

Вообще во Второй части Сервантес, используя оборонительную позицию, созданную неслыханной популярностью Первой, проявляет еще бóльшую или более определенную твердость в защите гуманистических идей.

Как не выделить мудрые наставления Дон Кихота Санчо Пансе, отправляющемуся на губернаторство "острова Баратария". Санчо оправдал, став "губернатором", надежды Дон Кихота. Санчо, может быть, оказывается лучшим и самым бескорыстным губернатором в тогдашней Испании, губернатором, превращающим герцогский "остров" Баратарию (т.е. "страну обмана и взяточничества") на время своего правления в утопическое царство справедливости.

Сам Дон Кихот возвышается над всеми, кого встречает: над слишком рассудочно добродетельным доном Диего де Миранда, одним из лиц, бежавших ото львов, над богачом Камачо, над грандами – герцогом и герцогиней, – над их гнусно догматичным духовником, спесивым поводырем душ, который воплощает мертвую казенщину Контрреформации и видит в Дон Кихоте банального дурака (II, гл. XXXI–XXXII).

Герцогский духовник, т.е. персона неприкосновенная, глупо и нагло оскорбил гостей герцога – Дон Кихота и Санчо Пансу. Когда духовник в ярости удалился, Дон Кихот продолжал вежливо доказывать *неправоту* духовного лица и в конце концов все-таки добавил: "Если бы эти слова услышал Амадис, плохо бы тогда пришлось его преподобию. – Клянусь, что это так, – сказал Санчо. Он бы так хватил его своим мечом, что разрубил бы его сверху донизу, как гранату или переспелую дыню..." (II, гл. XXXII – "cuchillada le hubieran dado que le abrieran de arriba abajo como und granada, o como a un melón muy maduro..." p. 286).

Не знаю, можно ли найти в испанской литературе XVI–XVII вв. другое подобное предложение заслуженной расправы над священником...

В завуалированной форме Дон Кихот представлен возвышающимся над самим "*Я КОРОЛЬ*" (так подписывались испанские монархи), например, в том эпизоде, когда бедный рыцарь вмешан Сервантесом в трагическую историю мориска Рикоте, лишенного родины и права на свободу совести бесчеловечным указом Филиппа III о поголовном изгнании морисков.

Роман столь волнует и поныне, что еще и недавно встречались не только друзья, но и "враги" Сервантеса, ученые, подходившие к Рыцарю Печального образа с меркой герцогского духовника.

Снижение значения образа Дон Кихота наступает после преобладавшего в XIX – начале XX в. положительного его восприятия классиками литературы и науки. Оно связано с отрицательным отношением к Ренессансу. Вслед за учеными 20-х годов XX в., вслед за Джузеппе Тоффанином и Чéзаре де Лоллисом, автором книги "Сервантес – реакционер" (1924), находились мыслители, которые и в сере-

дине века продолжали считать, как философ Хулиáн Марúас, самоутверждение и эгоизм определяющей чертой Дон Кихота, и даже такой серьезный исследователь, как Гельмут Гатцфельд, долго видел в самом Сервантесе писателя Контрреформации и Барокко. По мнению Гатцфельда 1940–1950-х годов, Сервантес сознательно осмеял в образе Дон Кихота эразмизм, вообще Возрождение с его верой в возможность борьбы за улучшение общественного прядка. Дон Кихот для этого ученого тогда был всего-навсего глупцом, который верил в "улучшение мира своими собственными усилиями... не понимая в своей близорукости, что Господень мир во всех отношениях достаточно хорош, чтобы не нуждаться в том, чтобы его исправлял какой-то безумец...".

Нужно, правда, сказать, что в 1960–1970-е годы Гатцфельд отошел от такой крайней позиции и как-то сблизился с Марселем Батайоном, Амéрико Кастро и не только со многими либеральными испанскими учеными, но объективно даже с советскими литературоведами.

Попытки ослабить влияние гуманистического пафоса великого романа предпринимались уже при жизни Сервантеса. В 1614 г., за год до выхода подлинной Второй части "Дон Кихота" некий "лиценциат Алонсо Фернандес де Авельянеда", возможно, по научению духовника Филиппа III доминиканца-инквизитора Луиса де Алиага, выпустил ложный "Второй том" "Дон Кихота". Плагиатор не только не сумел воссоздать внутренний смысл романа и сохранить сочувствие, окружающее героя, но до свинства огрубил и дегуманизировал образы Дон Кихота и Санчо Пансы. Свою идейную установку Авельянеда картинно обнаружил, включив в роман ханжеские и бесчеловечные вставные новеллы. Но ему не удалось ни потеснить подлинного Дон Кихота, ни совсем затушевать связанный с ним возрожденческий комплекс идей. Сервантесовские герои уже "жили", и фальсификатор Авельянеда потерпел тройное поражение: "Лжекихот" оттенил несравненные художественные достоинства и гуманистическую насыщенность подлинного Дон Кихота; способствовал заострению и укорененному выходу Второй части; в довершение Авельянеда постепенно сам, своему рассудку вопреки, был отчасти захвачен логикой сервантесовского образа, а его нескладный Лжекихот стал сбиваться с контрреформационного курса.

А настоящие Дон Кихот и Санчо тем временем удивительно укоренились в народном сознании и воспринимались современниками как живые люди. Не ощущается никакой натяжки в том, что многие из персонажей, встречающих их в подлинной Второй части, уже читали Первую; сами герои рассуждают, насколько верно они там были изображены, и осуждают лживую версию Авельянеды. Чтобы досадить обманщику и обнаружить его ложь, сам Дон Кихот решает ехать не в Сарагосу, а в Барселону; он побуждает лжекихотова покровителя, дона Альваро Тарфе, выдать свидетельство, что тот не знал никакого Дон Кихота, кроме истинного!..

IV

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ВРЕМЕН СЕРВАНТЕСА. ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ. ГУМАНИСТЫ, ЭРАЗМ. УСПЕХИ ТЕАТРА ЛОПЕ. ПИСАТЕЛИ-МИСТИКИ. МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ "ДОН КИХОТА"

Дон Кихот нигде – ни в тексте книги, ни в иллюстрациях к ней – не изображен неуязвимым въявь. Только на импринте ("portada" – издательское клеймо на титульном листе) – читатель во многих изданиях видит традиционный образ рыцаря в латах с копьем наперевес, готового броситься в бой.

Как Дон Кихот ни чист душой, ни великодушен, ни настроен всем сердцем откликнуться на просьбу обиженных и несчастных, как ни готов сразиться во имя справедливости с во много раз превосходящим его неприятелем, но Сервантес прямо не говорит, возможно ли это.

Однако книга показывает, что пример Дон Кихота бессмертен. Четыре века спустя поэт из России, далекой от Ламанчи, с чувством восклицает:

Без Дон Кихотов бы погас
Луч правды на Земле,
Без Дон Кихотов бы погряз
Весь мир во тьме и зле.

Ибо Дон Кихот все же неуязвим. Старик, худой, изможденный, помешанный на отживших рыцарских романах, беззубый, облаченный в никудышную одежду и доспехи, верхом на полуживом Росинанте, Дон Кихот, несмотря на помощь завороженного странствующим рыцарем коренастого мужика-"оруженосца", не всегда понятливого и расторопного, однако, преданного Санчо Пансы, при небрежном взгляде сразу не вызывает представления о неуязвимости. Но:

Он мечет молнию и гром,
Он в бой рвануться рад,
Хотя и безнадежно хром
Бессмертный Росинант.

В бой – против мельниц вековых,
В бой – против тьмы и зла,
В бой против мерзостей людских,
Чтоб доброта цвела...[17]

Имеется на диво поразительное обстоятельство: ничто не может сломить хилого "кабальеро анданте" – "странствующего рыцаря". Его не останавливают ни злобные насмешки, ни избиения, ни град тяжелых камней, ни головокружительные падения, ни копыта стада быков, растоптавшие рыцаря и его "свиту".

Сколь ни тягостна судьба Рыцаря Печального образа, его ничем не возьмешь: ни чередой злосчастий, ни смехом; у одних насмешки, правда, были злыми или зло подстроенными, зато у других – все более сочувственными, в конце концов родственными слезам.

---

[17] *Дубровин Б.С.* Всего лишь день. М., 1970. С. 125.

Всякий смех в "Дон Кихоте" символичен. По функции он похож больше не на шуточный карнавал, а на те легендарные боевые щиты-подушки, которыми сарацины отражали тяжелые мечи крестоносцев.

Именно зло смеявшиеся, они упустили момент своевременного контр-нападения на "хитроумного идальго". Сами насмехавшиеся (чем безжалостней, яростней и глупее был их смех) создавали, "ведомые за нос" писателем, тот пуховой или войлочный щит, что сделал Дон Кихота неуязвимым на четыре столетия вперед, а иначе говоря – навек *неуязвимым*...

Те же, кто был гуманистически настроен, смеялись совсем иначе, чем обскуранты: смеялись грустно и светло.

Доброжелателей, правда, было легче радостно удивить, чем утешить после полувека гонений и запретов в порабощенной Контрреформацией стране. Утешить жителей становившейся все более несчастливой Испании могли разве что действенные острые уколы Сервантесом ее врагов да созвучное им упорное сопротивление мистиков-мучеников, стоявших за подлинную чистоту и непосредственность веры, и, наконец, напротив, активный наскок комедий Лопе де Веги и его школы, которые вовлекали в радостный и по-молодому живой бег жизни.

Важную роль в защите народа Испании значили иглы в крепко связанном букете безумств: чистые острия отчаянных порывов и смелые речи благородного рыцаря-безумца Дон Кихота, вонзившиеся во врагов, как идеи-стрелы Эразма Роттердамского (1469–1533).

Именно труды Эразма были наиболее созвучны чаяниям людей, боровшихся с реакцией в Испании, резко обострившейся в 50-х годах XVI в. В это время они были уже запрещены-перезапрещены инквизицией, которая угрожала сожжением как книг, так и их читателей. Запрет вступил в силу со времен первого из всерьез осверепевших контрреформационных пап середины XVI в. – Павла IV Караффы (1555–1559) и его самого безжалостно-огненного палача – короля Испании Филиппа II (1556–1598).

К рубежу XVI в. римско-католическая церковь была в крайнем нравственном упадке и стремительно теряла репутацию. Яснее всех это выразил поздний по отношению к Италии гуманист заальпийских стран Эразм, оказавшийся в самом центре борьбы государственников католицизма с восставшими протестантами. К началу XVI в. Эразм в наибольшей мере раскрыл пороки католической церкви в знаменитой сатире "Похвала Глупости" (1509)[18] и в других произведениях.

Задолго до решающих выступлений Мартина Лютера против католицизма (1571 и 1519) и почти не прекращавшегося до 1648 г. статридцатилетнего побоища религиозных войн Эразм сформулировал свое понимание задач современного ему верующего в трактате "Оружие христианского воина" ("Энхиридион"). Трактат был первоначально издан (разумеется, по-латыни) в 1503 г.

"Энхиридион" переиздавался в 1515, 1516 гг., а затем – еще при жизни Эразма – более пятидесяти раз, в том числе в переводах.

Расхождение Эразма с Реформацией протестантов (а по существу также и с еще не организовавшейся при его жизни Контрреформацией) выявилось, когда он напе-

[18] Церковь была явно и остроумно высмеяна в этой книге в образе Мории (по-греч. – "Глупость").

чатал в 1524 г. "Диатрибу (т.е. гневную речь), или Рассуждение о свободе воли", желая сблизить идею свободы воли, свободу с верой. Лютер спохватился и ответил (задолго до католиков) недавнему наставнику философу-гуманисту яростным и грубым трактатом, декларативно названным "О рабстве воли" (1526).

Эразм (не только гениальный скептик, но и великий утопист) мечтал вылечить напуганную римскую церковь ее же силами – внутренними (осознанными) реформами – и не железом, а лекарствами. Но, хотя Лютер невзлюбил Эразма и вступил с ним в бой, нападки на учение гуманиста появились вскоре и из среды католиков. Они теперь стали воспринимать "Энхиридион" в буквальном смысле греческого слова, как "кинжал", направленный по существу и против них, показав, что они и лютеране во многом мазаны одним миром. Те и другие шли не от Нового Завета и старших Отцов церкви, а от позднего Августина (354–436) пятого века; от обоснованного и насильственно внедренного этим "отчимом" церкви в основу будущего католицизма принципа не свободы, а порабощения воли. Католики и протестанты XVI в. исходили из догмата абсолютной власти Божиего предопределения[19] и тем самым на деле требовали абсолютного повиновения верующих церкви (или религиозной общине), каждому даже мелочному указанию ее служителей, рассматриваемых как единственных носителей толкования Божиего Промысла. (В "Дон Кихоте" это резко отрицается в эпизоде с герцогским духовником во Второй части.)

Такой же, будто противоположно направленной точки зрения придерживались и католические иерархи во главе с папой (что давало им реальное мировое могущество, власть и неисчислимые доходы), и деятели Реформации.

Первый вождь протестантской Реформации Мартин Лютер (1483–1546), воспитанный именно как *августинский* монах (т.е. как "предопределенец"), яро ополчился на Эразма, защищая не свободу воли, а, наоборот, то, за что держалась ниспровергаемая им старая церковь в еще более грубой формулировке – *рабство воли*, что означало и привычку к рабству вообще.

Второй из видных вождей Реформации – Жан Кальвин (1509–1564) в своем главном труде "Наставления в христианской вере" (1556–1559) стал еще более строг в признании всевластия предопределения (вспомним слова Кардению, что оно может помогать не только добрым, но и *злым*!). С земной практической точки зрения привычное рабство воли легче принималось широкими кругами протестантов как знамя единства фанатичных толп в борьбе с "папизмом".

Католики же, в том числе, например, среди иезуитов, несмотря на все проповеди, острее почувствовали, особенно к концу XVI в. в Португалии и в Испании (Луис де Молина), несовпадение идеи предопределения с повседневной практикой жизни, с верой и надеждой на возмещение земного существования райским блаженством.

Защита "смехом" так же, как и защита стремлением к простору-воле, укрепляла расположение обычного люда к Дон Кихоту и саму неуязвимость рыцаря. Это относилось даже к той части, которую порой посещало искушение, а не украсить ли

---

[19] Ср. с этим не опровергаемые Сервантесом в тексте слова Кардению в Первой части (гл. XXVII): "Небо, всегда готовое помогать добрым; а *нередко и злым*" (курсив наш. – *Н.Б.*). Может ли Бог предопределить помощь *злым*?..

инквизиционные костры аутодафе иссохшим телом чересчур красноречивого Дон Кихота да и самим, не в меру бесстрашным, Мигелем де Сервантесом.

Неуязвимость Дон Кихота связана с вопросом о месте христианства в личной и общественной жизни в разные исторические периоды, например, в XVI–XVII вв. в разных ареалах.

Вероятно, даже по отношению к мировым религиям, помимо их строго теологического подхода к самоопределению, возникает философски-исторический вопрос о, так сказать, тео-ноосферах того или иного вероисповедания или, точнее, о дифракции в мысленном пространстве конфессий.

И ныне имеется немало верующих в полном смысле слова (к которым могут причислять себя воцерквленные, строго соблюдающие обряды да, к сожалению, в иных случаях и те, в чьей вере доминирует обрядоверие). Есть и множество людей, которые веруют попросту, как учил в I веке Христос.

Но в ходе веков разделение основных христианских конфессий способствовало возникновению широкого круга людей, для которых вера естественна и традиционна, но которые были не согласны, например, с тем, что католическая вера не давала полторы тысячи лет в руки мирянам Священного Писания на родном языке и, следовательно, не посвящала непосредственно в Слово Божие, по-латыни им не доступное. Позже, после революций конца XVIII – начала XX в. и развития естественных наук, люди, которые остаются верующими (даже нередко, если их преследуют за это), опасаются косвенных последствий (например, разглашение тайны исповеди); они веруют, но в хаосе загадок современного мира им приходится постоянно – и в храме, и вне храма – подтверждать себе свою веру.

Число таких людей, пребывающих в мысленном пространстве веры, имеющих твердую волю пребывать в вере, велико, но не все они и не у всякого духовника могут получить помощь наставлением или советом по поводу отпущения грехов и дополнительное, нужное им утверждение в вере.

Дон Кихот и Санчо своим поведением и словами, почтительным отношением к священнослужителям подтверждает, что они, хоть, конечно, не без грехов, однако добрые христиане. Но живут они не в вере, а в несколько разреженном пространстве веры. Проехав пол-Испании, они не заметили ни одной из сотен церквей, стоявших на их пути, да и не думали зайти в какой-нибудь храм помолиться, исповедаться, причаститься, и еще более вольно, чем пушкинский "рыцарь бедный", вели себя в призвании помощи перед боем. Уже в начале XVII в. не только премудрый безумец Дон Кихот, но и многие простаки, такие, как Санчо Панса, жили не в вере, а, скорее, в пространстве веры.

В XVI–XVII вв., ко времени, когда жил Сервантес, безусловно, уже существовало в Западной Европе некое переломное и довольно размытое пространство веры. Эта размытость возникла как по вине тех иерархов, которые давным-давно отделили Запад от Востока, так и по причинам, связанным с этим отделением. Вследствие обмирщения интересов римская курия довела дело до нового грандиозного раскола: католицизм – Реформация. А пространство католической веры стало еще более размытым и менее равномерным, чем формулы, которыми старались определить (даже изнутри) веру римско-католической церкви христианские гуманисты.

Не вдаваясь в подробности, достаточно сопоставить первые идеи и дела католиков двух совершенно разных типов.

Если взять крайние нерядовые фигуры среди католиков XV–XVII вв., то первая – испанский доминиканец Томас Торкемада (по-русски часто произносят неверно: Торквемада), родившийся в 1420 г. в Вальядолиде и умерший в А́виле в 1498 г. Верховный инквизитор Кастилии, Арагона, а затем – объединенной Испании кардинал Торкемада старался "упорядочить" Испанию в духе такой организованной свирепости, что это вызывало неодобрение даже других кардиналов и попытку папы Сикста IV отозвать испанского Малюту. Верховный инквизитор широко практиковал изощренные пытки и всенародные сожжения заживо в качестве "дела веры", т.е. "аутодафе" (это слово вошло в русский язык в португальской форме).

Вторая фигура – противоположность Торкемады – его знаменитейший младший современник, католик, философ Эразм Роттердамский. В следующих поколениях это не только испанские гуманисты первой половины XVI в. и современники Сервантеса (Хуан Луис Ви́вес (1492–1540), Альфонсо де Вальде́с (ок. 1490–1532) – "эразмист более, чем сам Эразм"; брат Альфонса Хуан де Вальде́с (ок. 1495–1541), один из обновителей испанского языка, автор знаменитого "Диалога о языке", оставшегося не напечатанным до XVIII столетия, но существовавшего в многочисленных списках, Антонио де Небриха (1444–1522), позже Бенито Ариас Монтано (1527–1598) и многие другие), но и сами Сервантес, Лопе де Вега, которые, естественно, тоже были католиками и, в общем, вынужденно должны были иметь духовные звания и должности (хотя в глазах инквизиторов вполне сами подходили для сожжения).

Это происходило в условиях все более роковых полутора столетий религиозных войн, начавшихся с первой четверти XVI в. и, в основном, сошедших на нет после окончания Тридцатилетней войны (1618–1648) и заключения Вестфальского мира, несмотря на неистовое желание папы Иннокентия X воевать до последнего западноевропейца.

Сервантес личностью Дон Кихота, и речами как бы возвращал испанцам атмосферу мышления "типа Эразма" – типа Вивеса, братьев Вальде́с, причем благодаря гению Сервантеса все это в еще более живом, образном, остроумном, бесподобном художественно интерпретированном виде. Речи Дон Кихота были защищены его репутацией безумца, который, в принципе, как шут, обязан говорить все наоборот и быть понимаемым навыворот. Невольными союзниками Дон Кихота были самые немудрящие слушатели, которые хохотали до упаду и там, где можно было не хохотать; или непосредственно, наивно, смеялись, как дети, всегда приходившие в восторг от такого потешного *доброго* рыцаря.

Рядом со смехом шло у простых людей инстинктивное понимание того, что, хоть и тронувшийся, "хитроумный идальго" Дон Кихот прав по-человечески и побожески, он прав и в том богословском смысле, который эти люди не смогли бы растолковать, но который теплился в их сердцах. Они, конечно, не сумели бы объяснить, но во многих случаях чувствовали, что и Контрреформация, как она проявлялась в делах властей, и Реформация, воевавшие друг с другом не на жизнь, а на смерть (сотен тысяч, а в сумме – миллионов), были по сути, по ненависти к свободе "собратьями". Ведь контрреформаторы затоптали даже робкие попытки компро-

мисса, на который пошел сам император Карл V. Они требовали безусловного повиновения именно "своей" церкви, претендовавшей на права точно знать, *что́* такое Божия благодать. Исключительное право распоряжаться ею и распределять ее как земные дары – будто бы иерархи заранее ведают предопределение Господне для каждого человека – иерархи тоже возложили на себя. У католиков и протестантов это был один и тот же обман: они подчиняли людей не ведомому им (как и всем прочим) грядущему решению Бога, а на деле – своему произволу. В конце концов речь шла о лишении человека "свободы выбора" ("liber arbitrium"), свободы совести, то есть свободы вообще (не вседозволенности, а пра́ва иметь суждение о справедливости и соответственно действовать).

В условиях кризиса, наползавшего на ренессансные ценности, лучи, зажженные Эразмом, даже прошедшие сквозь сознание безумца, все равно иносказательно указывали наиболее спасительный путь. Это был путь, который фактически постепенно привел к затуханию чуть ли не всеевропейской религиозной брани и возникновению некоторой осторожности в развязывании мировых войн, продержавшейся до 1914 г.

В известной гуманизации Европы с середины XVII в. был еще один, тогда весьма значительный фактор. Тут надо сказать об испанской мистике XVI в. С ней в какой-то мере считался в некоторых своих произведениях Лопе де Вега. На грани мистического стоят и отдельные эпизоды во Второй части книги Сервантеса. Например, полунаучные рассуждения Дон Кихота, и – что уж совсем анекдот в истории науки – Санчо по поводу посещения Дон Кихотом пещеры Монтесиноса и полета рыцаря с Санчо на волшебном деревянном коне Клавиленьо.

Санчо рассказывает, что во время полета под небом на коне Клавиленьо он потихоньку (вопреки запрету) сдвинул повязку с глаз и земля ему показалась величиной с горчичное зерно, а люди на ней ростом с орешек. Герцогиня тут же ловит Санчо, говоря, что в таком случае один человек закрыл бы собой всю землю. Санчо отвечает так, будто он читал труды до́лжного родиться только через триста лет о. Павла Флоренского об одной из основных теорий иконописной перспективы:

"– Да, вы правы, и все-таки с одного бочка́ земля мне показалась, и я ее разглядел всю целиком.

– Вы сообразите, Санчо, что с одного бочка́ нельзя рассмотреть весь предмет, на который вы смотрите..."

Санчо отвечает герцогине, что полет был волшебным, "и, значит, я мог поволшебному увидеть всю землю и всех людей, откуда бы я на них ни смотрел..." (II, гл. XLI).

Разговор Санчо с герцогиней завершился, но Дон Кихот в конце главы прошептал Санчо совсем в духе относительности связей в мире: "Санчо, если ты хочешь, чтобы мы поверили всему, что видел на небе, то ты обязан поверить моим рассказам о пещере Монтесиноса..."

Аналогично завершается и разговор самого Дон Кихота с герцогиней, где рыцарь говорит ей, что "есть вопросы, которые не следует выяснять до конца. Реальность либо утомительно по́шла – на уровне ослов и чанов, либо запредельно сложна, загадочна, быть может, опасна – на уровне истины"[20].

---

[20] См. *Светлакова О.А.* "Дон Кихот" Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб., 1996. С. 44 и далее.

Мистика XVI в. в Испании объективно противостояла контрреформационному стремлению насаждать вероисповедание насильственно – страхом и ужасом, а не экстатической любовью и надеждой, и, таким образом, неожиданно становилась союзником Сервантеса.

(В разговорах о пещере дело доходит до того, что едва ли не впервые до Анри Пуанкаре и Эйнштейна ставится вопрос об относительной быстроте "объективного" времени в арифметически равных отрезках разных пространств.)

По мере того, как свирепели контрреформаторы (не забывая себя, своих властных, денежных и телесных интересов), даже в таких цельно католических странах, как Италия и Испания, среди людей, хотевших честной и чистой, добровольно-внутренней реформы римской церкви, появились (как и в Средние века) упорные ревнители подлинной веры и справедливости для всех, убежденные, что они во сне или наяву получали прямые наставления от святых, от Девы Марии, даже от самого Спасителя или Святого Духа.

Среди таких искателей слова Божиего были не только непосредственно мистики, но множество прислушивавшихся к мистическим откровениям обыкновенных верующих – мирян и клириков, – в том числе, поэты, художники, думающие искатели истины.

Кружок таких людей, смущенных, в частности, непредсказуемым ходом событий в Италии с 20–40-х годов XVI в., сгруппировался вокруг просвещенной аристократки поэтессы Виттории Колонна (1490–1547). Люди ее круга были взволнованы сомнением в возможности воплотить казавшиеся "вчера" достижимыми хоть мысленно (например, Рафаэлю) ренессансные идеалы и сочетать их с очищенными от жесткой чешуи казенщины привычными христианскими представлениями о любви как идеале веры. Эти идеалы уже были зримо воплощаемы в живописи если не со времен Джотто, Каваллини, Мартини, Лоренцетти, то полнее, век спустя, начиная с Мазаччо, а в других искусствах с Брунеллески, Донателло; за границами Италии – у фламандцев, во всяком случае, с Яна ван Эйка, т.е. на рубеже XV столетия.

Смущение и непонимание окружающего обращали Витторию Колонна и ее друзей к мистическим идеям. С этим кружком было связано мировосприятие, живопись, скульптура и стихотворения Микельанджело второй четверти XVI в.

В поздних стихах "прямые диалоги" мастера с Богом очевидны. Эти диалоги угадывались и во фресках, начиная со "Страшного суда" и капеллы Паолина Ватиканского дворца, а более всего в поздних безмерно трагических мраморных группах "Пиетá" (оплакивание Христа Матерью), включая миланскую неоконченную и, видимо, по сути и не предполагавшую возможности окончания Пиетá Рондонини.

Наконец, диалог с Всевышним в мощном порыве ввысь храма св. Петра в Риме (это очевиднее, если смотреть с алтарной части и с боков, т.е. там, где храм не был искажен позднейшими перестройками, осуществленными после смерти Микеланджело).

Влияние расплывчатых мистических идей на не первостепенных художников того времени сказалось в их творчестве в большей мере, чем формальная манерность, и по существу эти идеи определили так называемый "маньеризм" художников и поэтов с середины Чинквеченто-Сеиченто (т.е. стилей XVI–XVII вв. в Италии), пренебрегавших видимым ради искомого, но чаще, как правило, не обретае-

мого внутреннего созерцания и к резкому понижению как раз *формального* совершенства маньеристов (по сравнению с мастерами Высокого Возрождения и Барокко) на тех путях, на которых маньеристы ее (т.е. *манеру*) искали.

В Испании, где контрреформационное давление было лютым, экзальтация и решительность мистиков становились сильнее и выражались жестче. Чтобы не усложнять изложения, оставим многих мало известных в России испанских художников-маньеристов[21] и обратимся к духовным писателям и поэтам времени Сервантеса. Среди них сложилась опасная для властей более, чем это было в Италии, группа верующих, которые своим примером действовали на общество. Они не боялись преследований, сами, вспоминая первые века христианства и легенды об этих веках, стремились к мученичеству, видя в нем подвиг на пути к общению с Божеством, путь спасения не только для себя, но и для единомышленников.

Большая часть их была связана с монашеским орденом босоногих кармелитов и с францисканцами (т.е. орденами строгого устава, утвержденными папами XIII в.); и те, и другие были (особенно в среде босоногих кармелитов) противниками смягчения режима монашеской жизни. Большинство из главных испанских мистиков познали угрозы, избиения, жестокие инквизиционные заключения в сырые гробоподобные склепы, пытки холодом и голодом.

Своим бесстрашием они в другом измерении близки Дон Кихоту, хотя Сервантес по разным причинам избегал каких-либо прямых аналогий.

Из испанских мистиков XVI в. наиболее известна в жизни и в литературе св. Тереса де Ávила, именуемая Тереса де Хесу́с (т.е. "Христова Тереса", 1515–1582). Посмертно она по-другому, чем Сервантес, "победила" казенную Контрреформацию.

Через полстолетия после кончины, в 1622 г., при папе Григории XV Тереса де Хесу́с была канонизирована и затем удостоена прозвания "Учителя церкви". Это означало, что католическая церковь вынуждена была посчитаться с влиянием мистиков на умы и представить противника и мученицу в "приспособленном" к своим интересам образе.

Самое популярное произведение Тересы де Хесу́с – это "Книга ее жизни". Св. Тереса пишет о себе в третьем лице не то из смирения, не то от уверенности в своей объективной правоте (подобным образом писал о себе в третьем лице Юлий Цезарь).

"Книга ее жизни" – зажигательное для последователей, но трудное чтение, написанное, может быть, и не намеренно эзоповским языком, непоследовательное, как и "Дон Кихот", при беглом просмотре. Чего только она ни содержит! Это книга записей видений, созерцаний, включающая в то же время почти бытовые, чуть ли не лишенные кокетства заметки о личных переживаниях, в некотором роде – криптограмма, прикрывавшая высокими волнами душевного подъема внутрен-

---

[21] Не будем касаться Эль Греко, который с нашей точки зрения никаким маньеристом не был, а был (несмотря на итальянскую и испанскую учебу) художником-миссионером православия, страдальчески зажатым натиском турок с Востока и небрежным равнодушием владык церкви у братьев-христиан – католиков с Запада. Все это сближало Эль Греко как страдальца с мученическим испанским мистицизмом. Недаром своим волчьим чутьем Филипп II не допустил Эль Греко к росписям в Эскуриале.

нюю борьбу и сложность характера автора. Как это с первого взгляда ни странно, но "хитроумие" "Книги ее жизни" могло повлиять на ухищрения Сервантеса в "Дон Кихоте".

"Книга ее жизни" далеко не единственная теологически-философское произведение св. Тересы; сохранились и ее поучительные письма и довольно ординарные духовные стихотворения.

Брат Луис де Сарриа (1504–1588), более известный под именем Луис де Гранада, писал по-латыни, по-испански и по-португальски. Мистические его порывы не достигают такого гневного напряжения, как порой фанатические наставления св. Тересы. В главной мистической книге Луиса де Гранада "Записки по поводу христианской жизни" (Лиссабон, 1561 и след. годы) мистика более свободна от догм и сплетает религиозные чувства с неосознаваемым любовным влечением. Отзвуки произведений Луиса де Гранада, сильно мистифицированные, тоже вплетены в ткань "Дон Кихота" (особенно в так называемых "неразгаданных" главах Второй части).

В поэтическом отношении выше стоит мистик следующего поколения, автор поэмы и трактата, озаглавленного "Мгла ночи" (конец 1570 и след. годы) св. Хуан Йепес (1542–1591), прозванный Хуаном де ла Крус (т.е. "Иоанном Креста Господня"). Он в значительной мере был учеником Тересы де Хесу́с, которая покровительствовала мальчику на 17 лет моложе ее, знаменит стал не трактатами, а вошедшими в антологии стихотворениями о страстном мистическом подвиге и неутоленных мечтах поэта, который ощущает долг проникнуть в смысл окружающей "Мглы ночи" ("Noche oscura"), непостижимого – мрака земной жизни и привести окружающих прямым путем к Богу.

Дальше всех за пределы мучительного, самоистязающего мистицизма вышел много претерпевший монах-августинец брат Луис де Леóн (1527–1591), родившийся близ А́вилы, религиозного центра, с которым мы еще встретимся при ознакомлении с "Лжекихотом". Как доминиканец Авельянеда преследовал Сервантеса, так доминиканские профессора Саламанкского университета, ложно обвинив Луиса де Леон в якобы вольном обращении с латинским текстом Св. Писания, способствовали заключению философа и поэта в инквизиционную тюрьму. Попросту говоря, посадили. Что это было – объяснять не надо. В тюрьме он пробыл с 1572 по 1576 г. В конце концов его высвободили влиятельные и преданные друзья. Луис де Леон предпочел преподаванию в Саламанке, откуда сыпались новые доносы, издание старших мистиков, например, текстов Тересы де Хесу́с. Главное дело Луиса де Леон – прозрачные для поэта-мистика стихи и переводы наиболее поэтических мест Ветхого Завета и его, Луиса, мистические трактаты, например, "Об именах Христовых". Что совсем удивительно, Луис де Леон переводил не только духовных, но понемногу и светских древних и ренессансных поэтов – Эврипида, Вергилия, с особым пристрастием – Горация, из новых – Петрарку и др.

Луис де Леон, несмотря на травлю и муки инквизиционного заключения, в ренессансных переводах и собственных стихах вышел на возрожденческий уровень славного Гарсиласо де ла Вега в своих многочисленных жизненнопрозрачных и светлых стихах. Собственно говоря, этот прозревший сияние земного мира мистик видит не только мглу ночи, но и ее прозрачность и безмятежность: одно из его сти-

хотворений так и озаглавлено "Свет вечерний" – "Noche serena" (ср. противоположное наименование "Noche oscura..." Луиса де Гранада).

Даже по выходе из инквизиционной темницы, где его держали пять лет, он вспоминает часы одиночества как время пребывания наедине с Богом ("con solo Dios"), и то, что "в тюрьме ни ему никто не завидовал, ни он никому не завидовал".

Поэт Луис де Леон был не только ищущим мистиком, но человеком в любых обстоятельствах готовым сохранять душевную стойкость, был как бы братом своего современника Сервантеса; в стихах Луиса де Леон бьется то же неуязвимое сердце, что и у Дон Кихота и его создателя.

Но у Луиса де Леон внешняя счастливая созерцательность (выражавшая глубины его духа) была особым всплеском незамутненной – хочется даже сказать нежно яркой красоты в искусстве конца XIX в., прибегая к слишком, до неуместности смелым сравнениям – как в солнечных пейзажах того времени.

Сервантес и его современники читали стихи Луиса де Леон в списках. (Первое разрешенное издание их осуществил Франсиско Кеведо в 1631 г., через сорок лет после смерти поэта и через пятнадцать лет после смерти Сервантеса.)

В заключение можно сказать, что испанские мистики XVI в., и самые строго фанатичные, и самые тихо примиренные, не забывавшие о светлой перспективе в проклятых подземельях инквизиции, готовили почву для восприятия *неуязвимости* Дон Кихота. Читатели и слушатели его истории (на том или ином уровне сознательности) ощущали, что Павел IV, Филипп II, разные герцоги Альба, если где-то есть, то в аду, а неуязвимый Дон Кихот живет и будет жить в сердцах людей.

* * *

В культурнонасыщенный период перехода от Средних веков к более или менее развитым ренессансным процессам вопрос об источниках творчества крупных деятелей культуры, стремившихся к построению суммы знаний и чувств, с трудом обозрим даже в особых национальных трудах и энциклопедиях.

Соединение античной традиции с новой практикой на средневеково-теологическом фундаменте создавало нечто подобное "пирамидам" знания и опыта не только у христианских, но в своеобразной форме и у мусульманских поэтов и мыслителей на Востоке – у Фирдоуси, затем у суфиев, у Низами и Саади, а на Западе таких, как Рамон Льюль (Раймунд Люллиус), Данте, Марсилио Фичино, Рабле, Эразм, Сервантес, Томас Мор, Монтень, Шекспир. Такие популяризаторы ренессансной культуры, как, например, Франческо Колонна, – объединяли научные и теологические познания с участием в деятельной жизни своего времени и с поисками новых горизонтов и взглядом за горизонт в такой мере, что нынешним людям из десятилетия в десятилетие разучивающихся ценить богатства культуры, трудно представить разносторонность, широту интереса и творческие возможности гениев того времени.

Универсальность не то что Сервантеса, но и его Дон Кихота, изумляет многих действующих лиц, особенно во Второй части (в ее развитии); а тех читателей, которые уже познакомились с Дон Кихотом, прочитав Первую часть, эта универсальность сражает на месте, они вспоминают Первую книгу и обмениваются мнениями

во Второй, сравнивают Дон Кихота "литературного" с Дон Кихотом "живым", который действует у них на глазах.

Обширнейшим формальным источником "Дон Кихота", конечно, кажутся десятки пиренейских рыцарских романов – каталонских, португальских и прежде всего – многочисленных кастильских.

Но связь "Дон Кихота" с такими источниками – это связь разнородных предметов: бурного моря Сервантеса с болтающимися на волнах обломками, кусками оборванных сетей. Море берет из этого все, что хочет, но при этом Донкихотово море ни на самые обломки, ни на обрывки сетей ничуть не похоже.

В литературе о "Дон Кихоте", в комментарии к нашему изданию уделено заслуженное место этим "обрывкам" старого в бушующем море книг Сервантеса.

Однако роман Сервантеса самостоятелен и лиричен. Автор сам *все* испытал, выстрадал жизнь солдата и нищего "интеллигента". Автор применил к изображению жизни "геометрию" (может быть, точнее, "логометрию") всего усвоенного у древних (особенно у латинских поэтов); он отлично знал испанскую народную, в частности, не повторимую, пожалуй, ни у одного из соседей романсовую поэзию Романсеро.

В Дон Кихоте все время проявляется обладание образованностью и культурой эпохи, человека из Алькалá – центра новой испанской гуманистической мысли – культурой романских народов, не только кастильского, но итальянского, каталонского, португальского, которых он любил, как хорошие родичи любят хороших родичей. Конечно, ощущается и присутствие средневеково-ренессансной латинской литературы и, разумеется, литературы провансальской и французской, а издали – нидерландской и немецкой.

Важной составляющей культуры Сервантеса было то, что он знал, претерпел, но уважал и исламский образ жизни, оценил достоинства и недостатки мавританского, морискского (крещеных мавров) окружения.

Испанцы почти тысячу лет – в бесконечной Реконкисте (отвоевании своей страны от мавров), с начала века VIII, с астурийского зачинателя отвоевания Испании Пелайо, и по конец XV в. (по время полного освобождения при Исавелле и Фердинанде). Испанцы, бившиеся с маврами, составляли страдающую пару русским, которые с Востока берегли относительный покой Центральной и Западной Европы. Испанцы, как и русские, тоже не всегда пользовались любовью спасенных народов.

Многовековые же войны христиан и завоевателей-мусульман сопровождались не только отрицательными контактами, но и заимствованиями в области хозяйства, техники, искусства. Дело дошло до того, что с XII в. возник общий стиль в архитектуре, скульптуре, получивший особое название "стиль мудéхар", до сих пор заметный повсюду в Испании. Велся диалог религий – христианства и ислама – в богословии. Все время заимствовались и обменивались разные культурные ценности. Шла не только восьмисотлетняя война, но появилось взаимное уважение, складывалось стремление понять друг друга и на войне и во время мира. Несмотря на злые штампы, требуемые обстоятельствами войны и установками духовных и светских властей, нет, пожалуй, поэзии в мире более проникнутой уважением к противнику, чем знаменитые испанские романсы. Да и что романсы – есть ли люди благороднее изображенного в "Дон Кихоте" изгнанного мориска Рикоте, все продолжающего на

чужбине любить родину – Испанию! Такое отношение к маврам, сложившееся в "мавританских" романсах, свойственно не только Сервантесу, Лопе де Веге, но и "католичнейшему" поэту XVII в. Кальдерону, да и многим испанским писателям, и вообще многим испанцам XV–XVII вв.

Сейчас, в XX–XXI вв., в период обострения этнически-конфессиональной розни, из произведений Сервантеса, а тем более, если прибавить других испанских писателей, можно составить "Бело-зеленую книгу" вероисповедательного уважения и стремления к дружбе христиан и магометан.

Пожалуй, из старших (на 300 лет!) предшественников Сервантеса первым бросается в глаза каталонец, неистовый энтузиаст примирения и взаимосближения религий Рамон Льюль – Раймунд Люллиус – еще на три четверти средневекового типа ученый (1232?–1316?), философ, лингвист, теолог, натуралист, кодификатор *рыцарского права*, бесстрашный, вещавший миру мир, чуть ли не вкладывавший голову в пасть неприятеля.

Рамон Льюль с острова Майорка (Мальорка) – энциклопедист, слава которого позже дошла до России времен раскола XVII–XVIII вв.[22] Позже основательно забытый, он был воскрешен А.Х. Горфункелем как мыслитель, а теперь у нас в серии "Литературные памятники" (СПб., 1997) В. Багно в относительно небольшом томе (всего Льюля объять не под силу). В центре – "Книга о любящем (Amic) и возлюбленном" (Amat), где томление души в любви к Богу сплетается, как до этого и позже у многих пиренейских мистиков XVI в., с куртуазным переосмыслением любви к женщине, любви реальной, в отличие от пародирования высокой любви Дон Кихота к (только ли пародирования?) Дульсинее.

В.Е. Багно остроумно выбрал для перевода также "Книгу о рыцарском ордене", некий устав, пригодный и для идеального рыцаря и для энтузиаста-безумца. Таковым Льюль себя показал, ежечасно рискуя жизнью, фанатично переубеждая фанатиков на их же языке. Он посвятил жизнь тревоге в безумье дел. Таким увидел две ипостаси Льюля А.К. Толстой, начавший свою поэму "Алхимик" легендарным эпизодом о том, как влюбленный Льюль до того забылся, что, следуя за дамой, въехал верхом на лошади в храм во время службы. Безумным действием он будто пленил красавицу, но Евина дочь поставила ему условие, чтобы Льюль, как алхимик, добыл для их вечной любви эликсир бессмертия. Таким образом, пожалуй, А.К. Толстой определил и две ипостаси Льюля и две ипостаси Дон Кихота.

Из мрака середины XIV в., когда появилось много жаждущих подорвать зарождавшийся дух Ренессанса, Н. Эймерих в 1358 г. в "Путеводителе инквизиторов" не без подловатого острословия высказался по поводу усилий Романа Льюля обращать неверных: дескать, он, Льюль, "не столько обращал неверных, сколько сам проникался их тлетворным влиянием"[23].

Сервантесу ближе было новое, чем относительно схоластическое в трудах Рамона Льюля, дающее о себе знать, например, в знаменитой "Великой науке" ("Ars

---

[22] Указание на основные работы о воздействии Льюля в России перечислены у В.Е. Багно. См. *Багно В.Е.* Русское люллианство как феномен культуры // *Льюль Р.* Книга о любящем и возлюбленности. СПб., 1997.

[23] *Багно В.Е.* Трубадур Христа // Там же. С. 212.

magna"). Но Сервантес мог обращаться к одному из энциклопедических трудов Льюля – "Древу наук", написанному в те же годы, что и "Новая жизнь" Данте (в 1290-е годы), когда в средиземноморских центрах закреплялось новое сознание человека Возрождения, но с сильным влиянием мистицизма.

Можно согласиться с мыслью В.Е. Багно о соединении в писаниях и образе жизни Рамона Льюля "благородного максимализма" и "святого легковерия" (с. 248–249), определенно прибавив к этому указание на значение Льюля как одного из источников и важных прообразов Дон Кихота.

Рамон Льюль был оригинальным и непредсказуемым рассказчиком. В книге "Бланкерна" есть повествовательный элемент. Льюль придал герою собственные черты и черты папы Целестина III, рассказав о противоречивом пути от рассеянной мирской жизни к браку (несостоявшемуся), к монашеству, приведшему протагониста – уже, явно не похожего судьбой на Льюля, а, скорее, на папу Целестина III – к драматической ситуации. Целестин был избран на Святой престол в июле 1294 г. и вынужден отре́чься через несколько месяцев, вследствие интриг кардинала Каэтани, тут же "избравшегося" в качестве папы Бонифация VIII. Этот политик потерпел в начале XIV в. поражение от французского короля Филиппа IV. Папу Бонифация, умершего в 1303 г., в аду встретил Данте и дал ему более чем нелестную характеристику. Мнения старого Рамона Льюля и находившегося "на полдороге жизни" Данте сошлись...

Среди совсем отдаленных по времени, стилю и языку, но возможных источников "Дон Кихота" из-за удивительного сходства пары героев (рыцаря и оруженосца) можно назвать, как это ни странно, рассказ одного из наиболее видных французских стихотворцев XIII – XIV вв., писавших короткие повестушки – фаблио (предшественницы городской новеллы) – Гарена, по некоторым спискам – Герена. Этот источник в другом ракурсе позже был использован Дидро, давшим рассказу несколько более удобопечатное заглавие, применительно к фаблио, CXLVII – "О рыцаре, побуждавшем говорить нескромные сокровища"[24].

Особенно "преддонкихотичен" эпизод, когда разоренный рыцарь (в фаблио он не назван по имени) с оруженосцем Гюэ (Huet) собираются на турнир.

Предворение образов Дон Кихота и Санчо Пансы сосредоточено в двух-трех сюжетных линиях этого относительно пространного фаблио. Зато сходство это таково, что если бы не трехсотлетний временно́й разрыв и малая заинтересованность испанских современников Сервантеса в традиции фаблио, можно было бы подумать об элементе прямого воздействия.

В центр этого фаблио помещен самоотверженный рыцарь-бедняк преклонного возраста, ведущий дружеские споры с практичным оруженосцем. Помогая рыцарю то советом и делом и видя его нужду, оруженосец считает (и называет) его безумцем, но хотя и с опозданием воспринимает высокие идеи своего господина. А рыцарь, вопреки долгому своему плачевному опыту, убежден, что храбрость, самоотверженность и благородное бескорыстие не только единственный достойный путь, но и обеспечение верного успеха.

---

[24] "Recueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles'..." par A. de Montaiglon et G. Raynaud. P., 1872–1890. T. I–VI. В томе VI (p. 68–69, 163–205) под номером CXLVII.

Герой – пожилой рыцарь – не только был безземельным ("...n'avoit ne vigne ne terre", p. 69), но, так как ему не к кому было податься в дружину, вынужден отдать в залог все рыцарское снаряжение и плащ. С бедственным положением рыцаря контрастирует его нравственная характеристика: он не только храбр, но и "когда нужно, готов помочь в беде" ("Et au besoing bien secouranz", p. 69).

Узнав о готовящемся в Турени турнире, рыцарь хочет поехать попытать счастье, но в беседе с оруженосцем сталкивается с весьма прозаическим возражением, что нельзя отправляться на турнир, когда все снаряжение заложено, и поручает оруженосцу уладить дела, что тот и делает. У Гюэ нет другого выхода, как продать боевого коня. Печальное, достойное известного цикла картин Домье о Дон Кихоте зрелище: оруженосец едет впереди плетущегося за ним оборванного старого рыцаря...

Однако удел странствующих рыцарей – неожиданные приключения. Гюэ приметил трех купающихся девиц. Он не обращает внимания на их ослепительную красоту и без лишних слов ("...ne lor dist ne o ne non", p. 79) забирает их одежды, оставив девиц нагими. На приказание рыцаря вернуть одежды Гюэ отвечает: "Держите другие речи... не пьяны же вы: за платья дадут сто ливров... А вы, если все время будете ходить на турниры, столько не заработаете и за четырнадцать с половиной лет..." Но рыцарь не согласен на такой заработок" (p. 73–74).

Рыцарь возвращает платья и скромно удаляется. Тут старшая краса-девица решает, что недостойно отпускать ни с чем рыцаря, который так беден ("qu'il n'a rien") и в то же время столь куртуазен ("est mout cortois", p. 75). Она наделяет его даром быть всеми всегда хорошо принятым, что спасет его от нищеты. Вторая девица наделяет рыцаря способностью нравиться всем женщинам, чем повергает его в редчайшее у героев фаблио чувство: "Тут рыцаря охватил стыд, и он подумал, что девица сошла с ума" (p. 76). Дар третьей – способность понуждать дам говорить на еще более "низовую" область, что ввергает скромного рыцаря в полное смущение, и, несмотря на свое простодушие, он решает, что осмеян. Насмешками осыпает господина и Гюэ, от которого рыцарь ничего не утаил. Гюэ называет хозяина безумцем ("...cil est fous", p. 76) и упрекает, что тот упустил богатство, которое держал в руках.

Рамки фаблио раздвигаются, как в ренессансном повествовании, когда изображено колебание рыцаря, который склоняется признать правоту оруженосца.

Но новая встреча на дороге неожиданным образом подтверждает правоту доверчивого "безумия" благородного рыцаря. На этот раз им встречается богатый и скупой священник, едущий к своей милой, который, хотя не знаком с рыцарем, внезапно – в соответствии с волшебным даром первой девицы – проявляет диковинную любезность к встречным. Когда же на лошади монаха подтверждается другой дар и он слышит от нее правду о себе и своих проделках, священник пугается и в страхе отдает спрятанные на поясе золотые и даже бросает странным встречным свою кобылу.

Теперь рыцарь может с торжеством заявить оруженосцу, что поступил бы как пьяный, если бы не отдал одежды нагим красавицам. "Гюэ, – восклицает он, – тот ничего не заработает, кто зарабатывает подлостью...".

"Так они и удалились, разговаривая друг с другом..." (p. 78–79).

После этого можно догадаться, что в *графском* замке встречают рыцаря наилучшим образом. Сам граф обнимает и целует его, а графиня исполняет "это охотнее, чем она слушала мессу" ("Plus volantiers que n'oist messe", p. 80). Дальнейшие приключения в замке описаны временами довольно игриво, но игривость эта обусловлена прежде всего характером графини, оказавшейся чересчур расположенной к рыцарю. А он не пользуется властью над дамами. Графиня, раздосадованная крушением своих уловок, задерживает рыцаря. Она вынуждает его биться об заклад, ставя непомерную сумму в 60 ливров, против чего рыцарь должен поставить и лошадь, и все свое снаряжение. Дама, задумавшая обман, при помощи которого она заставит промолчать свое нескромное сокровище, торжествует заранее. Но от "ухода пешком и без доспехов" рыцаря спасает смекалка оруженосца Гюэ, напомнившего еще об одном даре...

* * *

После этих кратких заметок об опускаемых обычно источниках "Дон Кихота" еще раз напомним, что стержнем произведения является не полемика с рыцарскими романами, а испанские народные романсы, испанская гуманистическая литература первой половины XVI в., пронизанная гуманистическими идеями в той форме, как их суммировал Эразм, и сопротивление Контрреформации мистиков, искавших чистую веру в трудное время истории Испании.

Все это, преображенное художественным гением Сервантеса в "Дон Кихоте" в доступное народу и неуязвимое произведение, – важная заслуга Сервантеса перед Испанией и мировой культурой.

Вместе с тем, книги Сервантеса: "Дон Кихот" 1605 г., "Дон Кихот" 1615 г., "Назидательные новеллы", роман "Странствия Персилеса и Сихисмунды" – образовали основные жанры романа Нового времени.

Но самое главное – это указанное Достоевским свойство "Дон Кихота" быть Книгой Человечества, той, которую оно может предъявить, стараясь найти оправдание своей многотысячелетней истории.

V

СПОРЫ ВОКРУГ НАСЛЕДИЯ СЕРВАНТЕСА ЗА РУБЕЖАМИ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX СТОЛЕТИЯ

Самый конец XIX – первая половина XX в. ознаменовались не только принципиальным прогрессом в научном издании Сервантеса (Р. Скевиль и Д. Бонилья; Ф. Родригес Марин), но и – вслед Марселино Менендесу и Пелайо – работами Р. Менендеса Пидаля, Да́масо Алонсо, Аме́рико Кастро, Мадариаги, Марселя Батайона, Вильяма Энтуистла, плеяды русских испанистов двух-трех поколений. Им в некотором роде противостояли известные немецкие ученые-романисты католической ориентации – К. Фосслер, Л. Пфандль, Г. Гатцфельд, долго связывавшие Сервантеса с Контрреформацией, которая, в свою очередь, в искусстве очень суммарно отождествлялась с Барокко.

Борьба двух основных направлений изучения испанской литературы (и культуры) была величественной борьбой крупнейших ученых – мифологическим сражением Лапифов с Кентаврами.

С середины XX в. при продолжении больших споров о Сервантесе заметное место заняло и фехтование по мелочам. То Сервантеса, как Шекспира, принижали сомнениями, знал ли великий писатель латынь, итальянский, французский языки, а для проверки старательно подыскивали соответствующие переводы, которыми будто только он и мог пользоваться.

Большую проблематику отчасти вытеснило субъективное выискивание мелочей. Некоторые любознательные исследователи сосредоточились на вопросе о путанице, в связи с исчезновением и появлением в тексте Серого – осла Санчо Пансы. Сосредоточенность на такой игре, которую в целом, принося извинения, так и хочется обозначить названием комедии римского драматурга Плавта "Игра об ослах" (по-латыни – "Asinaria"), где успех в любви зависит от успешной продажи стада ослов.

Об "ослиной игре" по поводу ошибок и опечаток в истории Серого сделаны старательные наблюдения. Действительно, в первоначальном тираже Первой части "Дон Кихота" (1605) не было объяснено, как исчез в XXIII главе и как вновь появился с главы XXX осел Санчо Пансы. Возможно, это были ошибки, слишком развеселившихся от чтения наборщиков, – возможно, эту промашку по рассеянности или *намеренно* допустил сам Сервантес. Во всяком случае, такая "ошибка" бросалась в глаза и была быстро в ходе печатания исправлена, а судя по стилю, по краткости и толковости, написана или продиктована самим Сервантесом. Были сделаны в главах XXIII и XXX две небольшие вставки (они отмечены в нашем издании. – *Н.Б.*). Во вставках разъяснено, как изобретательный мошенник Хинес де Пасамонте (освобожденный от каторги великодушным Дон Кихотом) украл ночью осла, а позже, улепетывая при нечаянной встрече с Дон Кихотом и его оруженосцем, вынужден был оставить Серого хозяину.

Однако полностью исправления по "ослиной игре" в книгах *не были* осуществлены, несмотря на то, что Сервантес еще в течение десяти лет имел вре́мя править "ошибки".

История с недоправленными ошибками в "азинарии" (Сервантес мог вполне сознательно оставлять несообразности, вызывавшие смех) навела многих слишком ретивых исследователей на то, что в тексте "Дон Кихота" могут быть среди других погрешностей (например, случаи несоответствия названий глав их содержанию) и такие, которые дают простор неограниченному гипотетическому переконструированию построения книги.

Наибольшую ответственность за измельчание и произвольную трактовку сервантесовской текстологии, пожалуй, нес англо-канадский испанист профессор Джеффри Стэгг (Stagg, p. 1913), работавший в Ноттингеме, а затем – в Торонто (Канада). Он поместил в изданном в Оксфорде в 1959 г. сборнике "Испанистические исследования, посвященные И. Гонса́лесу-Льюбере", работу "Пересмотр компонирования Первой части "Дон Кихота" ("Revision in Don Quixote, Part I").

С этой работой, полученной из Англии, меня познакомил в 1960-е годы Д.С. Лихачев. Работа, может быть, в наибольшей степени противостояла сути не описа-

тельной, а аналитической текстологической теории Лихачева. Он полагал, что подлинная текстология обязана не только фиксировать те или иные изменения текста, но и непременно стремиться к доказательному объяснению этих изменений (их причин, времени и пр.).

Д.С. Лихачев знал, что я занимаюсь текстологией испанских рукописей (в том числе, автографов испанских драм XVII в.) и их сравнительно-литературным изучением. О моей книге по текстологии испанских драм о Руси Д.С. Лихачев впоследствии, в 1975 г., написал статью "Теоретические аспекты историко-литературной монографии"[25]. Знакомство с работой Стэгга и обсуждение предложенного им "пересмотра" компонирования ("Revision in") "Дон Кихота" привело к выводу, что Стэгг без достаточных оснований шел на поводу унылой преддеструктивистской моды развенчания гениев и, должно быть, считал величайшего романиста равнодушно безответственным к своему тексту.

Самой – можно было бы сказать – "дерзкой" выходкой проф. Стэгга и его продолжателей против Сервантеса было пренебрежение авторским порядком расположения эпизодов и глав Первой части и рассмотрение ее деления на четыре части (= "подчасти") как причудливой бессмыслицы. (Стэгг исходил из бездоказательного ненаучного представления о несуществующей "рукописи").

Стэгг фактически пренебрегал ясной последней волей писателя (для проявления которой у Сервантеса было девять лет).

Стэгг предлагал, *не располагая какими-либо печатными или рукописными источниками* (они не сохранилось), гипотетический конструкт перемещения XI и XIV глав (Первой части) и др. Перестановка упомянутых глав в их якобы первоначальное расположение не помогает решить загадку – как иногда говорят – "самой знаменитой ошибки" Сервантеса. Под этой "ошибкой" подразумеваются перипетии азинарии с исчезновениями и появлениями Серого и демонстрируется некая прохладца в отношении непогрешимости гения Испании.

Профессор Стэгг объективно поддержал "азиноманию", проигнорировав окончание эпизода Хрисостомо-Марселы в главе XIV, где Сервантес указывает на значение "подчастей", *прямо* говоря, что вторая часть (т.е. "подчасть". – *Н.Б.*) истории оканчивается здесь". Между тем Стэгг настаивает на перенесении этого эпизода на место сразу же после рассказа об освобождении каторжников. Даже предлагается конкретное место: переставить в гл. XXV абзац 11-й после слов Санчо Дон Кихоту: "Я говорю, конечно, не о рассказе (обезумевшего Кардениo. – *Н.Б.*), которого он не кончил, а о голове вашей милости и о моих боках, которые он не до конца сокрушил".

Статью проф. Стэгга о "перекомпонировке" "Дон Кихота", как было сказано, я держал в руках давно, в 1960-е годы, составил о ней отрицательное мнение и к ней не возвращался, однако, работая над данным изданием, припомнил, что в тексте Сервантеса содержится прямое и *убийственное* подтверждение необоснованности стэгговской гипотезы.

Наш главный составитель примечаний, которого никак нельзя обвинить в невнимании к различным комментариям, а, наоборот, приходилось порой дружествен-

---

[25] Вопросы литературы. 1976. № 4. С. 287–293.

но сдерживать за излишнюю разветвленность их воспроизведения, склонялся довериться гипотезе Дж. Стэгга и даже дополнял его "доказательства", однако не заметил в переводе ясного в *испанском тексте* доказательства ее несостоятельности.

Переводчик 1920-х годов допустил не видную ни для него, ни для русских читателей и прошедшую незамеченной даже высококвалифицированными редакторами неточность, повторенную, кстати, и Н.М. Любимовым в его переводе.

Дон Кихот в XXV главе, уже находясь в Сьерра-Морене, торопит Санчо отвезти письмо Дульсинее и ссылается на "слова нашего приятеля, пастуха Амбросио: "...в разлуке с любимым мы страдаем и всего боимся" (I, гл. XXV, с. 173).

Комментатор предположил, что ссылка на Амбросио, эпизодического персонажа, совсем было забытого и заслоненного событиями, описанными в XV–XXIV главах, выглядит неожиданной... Далее я коротко излагаю идею комментатора, будто мы ошибемся, если не примем реконструкцию Стэггом "первоначального текста романа", где в эпизоде с Хрисостомо и Марселой упоминался Амбросио – с новым упоминанием Амбросио возникает будто бы нелепость.

Но испанский текст отчетливо опровергает *деконструкцию* Стэгга. Выражаясь языком времени Сервантеса, само Небо внушило автору, как спасти подлинный текст от деконструкции. Дон Кихот у Сервантеса определенно *относит* Амбросио в прошлое. Герой говорит – "нашего *прежнего* упоминавшегося ранее; (курсив наш. – *Н.Б.*) приятеля, пастуха Амбросио" ("***aquel pastor de marras*** Ambrosio")[26].

В русском переводе, который мы издаем в 2003 г., испанский текст передан точно. Дон Кихот говорит: "...нашего *прежнего* приятеля, того пастуха Амбросио" (сохраняется дух перевода 1929 г.).

Недостаточно продуманные выводы профессора Дж. Стэгга в свете такого определенного утверждения Сервантеса, гений которого будто действительно предвидел важность существующего временно́го расстояния между главами, употребляя слова "de marras" ("прежде", "раньше", "до того, как..."), словно автор предвидел возможность заблуждения потомков. Не их дело, если нет опоры в тексте, судить, сколько раз Сервантес "правильно" расставил главы и когда "правильно" или "неправильно" вспоминал симпатичного Серого – осла Санчо Пансы – как будто в "Дон Кихоте" что-либо может быть "неправильным"! (Для ясности представьте себе такую фразу некоего критика, пользующегося возможностями, которые дало двухсотлетие поэта, написать следующее: "Как неправильно пишет Пушкин в VIII главе "Евгения Онегина...").

Увы! Подобные случаи наблюдались в действительности...

Дело не только в том, что якобы "переносимый" эпизод совсем не подходит для переноса, а глава XXV и так большая, распухает.

Много говорилось, что произведение Сервантеса построено по контрасту "небрежных" и "безумных" кусков с серьезными, философски-заостренными эразмовскими фрагментами.

---

[26] Между прочим, и более поздний из двух замечательных переводчиков "Дон Кихота" в XX в. Н.М. Любимов, хотя и ставит глагол в прошедшее время, как и его предшественники, тоже не замечает четкого утверждения Сервантеса: "aquel pastor *de marras*, Ambrosio" – и переводит просто: "...что сказал пастух Амбросьо..." (*Сервантес.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. I. С. 270).

Такой принцип обретается уже в двух первых, самых коротких "подчастях". Действие в первой (гл. I–VIII) идет по нарастанию вопиющих нелепостей и кончается самой дикой из них, вошедшей в независимое от воли Сервантеса и Дон Кихота присловие: "сражаться с ветряными мельницами".

Даже риторически-смысловая интонация, тон описания Сьерра-Морены отличается от того, которым говорится о настоящих горах, когда восемью-девятью главами позже Дон Кихот действительно въезжает в настоящую Сьерра-Морену, поспешно скрываясь (после незаконного освобождения каторжников) в горах, хоть в невысоких, но затрудняющих преследование "освободителя".

В конце XIV главы Дон Кихот только вскользь говорит, что собирается очищать "эти горы" от воров и разбойников.

Сам Сервантес в этой же главе сообщает о завершении II под-части его правдивой истории.

В главах XII–XIV слово "гора" употребляется по-испански и по-русски часто в смысле "возвышенности", как, например, Воробьевы горы в Москве, Святые горы на Псковщине, Живахова гора к северо-востоку от Одессы.

Среди сторонников гипотетической перестановки глав "Дон Кихота" по Дж. Стэггу есть и исследователи, сравнивающие построение "Дон Кихота" с построением "Евгения Онегина", но при этом не обращающие внимания, на то как раз, что в "Онегине" слово "гора" эквивалентно слову "montaña" и употребляется, как и у Сервантеса, не в максималистском духе, а нередко по отношению к малейшей холмистости русской равнины. Татьяна, проснувшись, любуется первым снегом и видит "...мягко устланные горы // Зимы блистательным ковром".

Славный иллюстратор романа М.В. Добужинский именно к этой главе дал заставку с совершенно ровным горизонтом.

Весной одинокая Татьяна стоит перед могилой Ленского, там, где "Меж гор, лежащих полукругом", "ручей виясь бежит зеленым лугом... Перед неизбежным отъездом в Москву из деревни Таня прощается: "Простите, мирные долины, // И вы, знакомых гор вершины... // Прости, небесная краса..."

И чтобы кто-нибудь не подумал, что Татьяна через тысячи верст воображает не виданный ею пятикратно более высокий, чем Сьерра-Морена, Эльбрус, поэт говорит: "Теперь то холмик, то ручей // Остановляют по неволе // Татьяну прелестью своей..."

Последователи Стэгга могут не обратить внимания, что настоящие горы отнюдь не подходят для того, чтобы с их вершин держала "оправдательную" речь Марсела и чтобы ее там видели и оттуда слышали другие пасту́шки, ищущие на полях, среди перелесков и лесов, безопасности и свободы.

До настоящих гор ("estas sierras"), которые Дон Кихот собирался очищать от разбойников, было хоть не далеко, но и не близко: иначе пастушки́, а тем более пасту́шки едва ли могли бы здесь спокойно наслаждаться уединением.

Само слово "монтанья", употребляемое в общем смысле "гора", имеет по-испански, помимо значений "горная местность", "перелески", согласно известному "Опыту словаря синонимов" Федерико Карлоса Сайнс де Ро́блеса, около 70 единиц смягченных значений. Подробный словарь Martin'a Alonso. Enciclopedia del Idioma... español (Madrid, 1958. II. P. 2884) приводит также подобные значения в ссылке на со-

временника Сервантеса св. Хуана де ла Крус, например: "естественная возвышенность местности". Да и пасту́шка Марсела у Сервантеса говорит, что выбрала для свободной жизни "уединение полей".

Помимо того, согласно обычаю Сервантеса (особенно в Первой части), от крамолы пастушеского эпизода и самоубийства Хрисостомо (гл. XIV) до крамолы главы XXII (освобождение каторжников) текст отделен множеством трагикомических приключений безумцев и их Росинанта, совсем безумным сражением с мельницами, после которого автор указывает, что дальше начинается Вторая "подчасть".

Эта Вторая "подчасть" (с главы IX по XIV) в общем, несмотря на непременный комический элемент, контрастирует с Первой: в центре здесь не отдающее подлинным помешательством нападение на мельницы, а мирная трапеза с козопасами, во время которой звучит поучительный и серьезный рассказ идальго Дон Кихота о Золотом веке.

Критическая по отношению к современному действию книги ("железному веку") ренессансная или околоренессансная утопия о возможном совершенном веке часто переносилась испанцами, французами и др. западными писателями в глухие леса, в отдаленные ("remotos") во времени или в пространстве края. Примеры этому есть у Шекспира, Лопе де Веги, Кальдерона, Монтеня, Пуссена и др.

Например, для сердца русских читателей может быть лестно и грустно, что у Лопе идеальный поворот к будущему, названный автором, видимо, впервые в европейской лексике, "великой революцией" ("grande revolución"), происходил в Московии.

Конечно, суть речи Дон Кихота к козопасам (в большей степени, чем суть драмы Лопе "Великий князь Московский") завуалирована. Но и Сервантес в примыкающем, следующем эпизоде ведет рассказ, как боевую колесницу, и ведет его дальше, пока к окончанию III подчасти (гл. XVII) не переходит к истории Люсинды и приключениям потерявших друг друга возлюбленных. Это, в свою очередь, завершается такими рассуждениями священника о любви, подобные которым едва ли найдутся в каком-либо испанском произведении той эпохи, особенно в речи духовного лица. Слушатели и читатели втягиваются в наблюдения за почти "детективными" приключениями героев, идут по отвлекающим тропинкам сюжета, пока Сервантес не приводит читателя по этим тропинкам к не определяемой в начале магистральной дороге (как это иногда позже делал и Достоевский, например, в романе "Подросток").

Ведь случайных, но намеренно сохраненных, или преднамеренных так называемых "ошибок" ("зигзагов") в "Дон Кихоте" немало, в том числе разрушающих контрреформационный круг представлений. В уже устоявшийся и будто столь же фантастический жанр пасторали Сервантес вносит не терпимый церковью мотив самоубийства Хрисостомо не на словах, а на деле, от неразделенной любви. Причем, речь идет о поступке, совершенном не вопреки каким-то крайним догматам, а вопреки базовым положениям христианской этики о душе. В романе самоубийца (да еще по такому поводу!) описан так, что вызывает сочувствие присутствующих, и его торжественно погребают, хоть, разумеется, и не в освященной земле кладбища, но у подножия возвышенности, где он впервые увидел обожаемую Марселу и завещал, чтобы его там и похоронили, что и совершается после чтения его стихов.

Все это так четко прорисовано Сервантесом, что могло пройти цензуру, только потому, что это событие как бы происходит в кругу приключений сумасшедшего, недавно сражавшегося с ветряными мельницами. Ведь в само́м тексте книги собеседник Дон Кихота делает ему замечание, что рыцарь в бою должен поручать себя милости Божией, а не своей даме (гл. XIII).

За несколько страниц перед этим Дон Кихот уже сразил собеседника, сравнивавшего суровую жизнь картезианских монахов с жизнью странствующих рыцарей, неслыханным ответом: возможно, что жизнь монахов не менее сурова, но она не столь необходима для человечества ("tan necesaria en el mundo").

Одну идею мирового значения, идею отсутствия собственности в Золотом веке, Сервантес смог в контексте безумия героя сопроводить другой. На похороны Хрисостомо является виновница трагедии "пастушка" Марсела. Девушка с заметно холодной бесчувственностью резонно доказывает, что, окруженная толпами воздыхателей, она (не полюбив сама) не могла никому из них уступить.

Говоря о́ необходимости блюсти чистоту, она произносит знаменитые слова (гл. XIV): "Я родилась свободной и, чтобы жить свободно, избрала уединение этих полей..." (Чтобы не открывать на старости себе дверь в темницы инквизиции, Сервантес вкладывает в уста Марселы "благочестивое" самооправдание: "*Небу* доселе не было угодно, чтобы судьба заставила меня полюбить...").

Поклонники Стэгга и тут мудрят, настаивая будто история Хрисостомо и Марселы происходит на фоне горного пейзажа ("уединение этих *полей*"!), и поэтому хотят его "перебросить" впритык к эпизоду, когда Дон Кихот, освободив каторжников (гл. XXII), наконец, однажды, вопреки своей рыцарской одержимости, послушался здравого смысла Санчо, разъяснявшего ему, что Святое Братство (Санта Эрмандад) – земская уголовно-политически-религиозная полиция – никогда не простит рыцарю такой антигосударственной подвиг: "Вскоре ⟨они⟩ достигли Сьерра-Морены, находившейся неподалеку от места их отправления" (гл. XXIII).

Сьерра-Морена образует разветвленную систему не очень высоких гор (только одна вершина достигает 1 312 км), не всегда заметных с севера. Горы Сьерра-Морены расположены на юго-западе Новой Кастилии (Сьюдад Реаля) и более пологи со стороны Ламанчи и Монтьельской долины; грознее они с юга и с запада, когда глянешь на них из Португалии, из города Э́вора.

VI

ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ СЕРВАНТИСТИКЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. ИДЕЯ СВОЕГО РОДА "ФИЛОСОФСКОГО МОНИЗМА" МЫШЛЕНИЯ ДОН КИХОТА

Для Сервантеса далекая Россия – была в некотором роде светлым "заколдованным замком" Дон Кихота.

В середине 1930-х годов, после кризиса вульгарно-социологического обществоведения, несмотря на продолжавшееся подавление мысли, в России восстановились островки для сравнительно благоприятных условий изучения Пушкина и русской классики, западной литературы XIX в. ("классического реализма") и культуры

Ренессанса. В отношении культуры Возрождения помогла восторженная характеристика классовой неограниченности титанов Возрождения у Энгельса.

Уцелевшие профессора, молодые доценты, студенты Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Москвы объединились вокруг воссозданных гуманитарных факультетов. Были учреждены Ленинградский и Московский институты истории, философии и литературы (ЛИФЛИ и МИФЛИ). В этих институтах с энтузиазмом бросились размышлять о литературе и живописи Возрождения – о Боккаччо, Рабле, Томасе Море, а особенно – о творчестве Шекспира, Сервантеса, Лопе де Веги. Сцены страны были буквально заполнены постановками произведений Лопе и Шекспира.

В 1947 г. впервые после большого перерыва вышла серьезная работа по истории западноевропейской литературы: "Раннее Средневековье и Возрождение", написанная М.П. Алексеевым, В.М. Жирмунским, С.С. Мокульским, А.А. Смирновым.

Раздел об испанской литературе в этом труде, равно как и главы о кельтской, французской литературах, о Шекспире с особыми глубиной и блеском были написаны А.А. Смирновым (мы относительно мало говорили в статье о Санчо Пансе, имея в виду, что его характеристика и его соотношение с Дон Кихотом представлены Смирновым так точно и сжато, что лучше не скажешь (изд. М., 1947. С. 486 и след. Книга неоднократно переиздавалась в последующие годы).

Указанная книга была не только итогом работы плеяды петербургских ученых самого начала века, но и отражением бурного интереса к Сервантесу, Шекспиру сравнительно молодых ученых разных поколений, даже студентов, просто читателей, обратившихся к испанскому Золотому веку. Прежде всего надо упомянуть К.Н. Державина, который готовил многотомное издание по указанной теме. К тому же потоку примыкали молодые ученые (мы упоминаем только тех, кого уже нет среди нас), разрабатывавшие курсы лекций о круге Сервантеса и писателях его времени: Б.И. Пуришев, Д.Е. Михальчи, Л.Е. Пинский, В.Р. Гриб, Г.В. Степанов, Ф.В. Кельин, А.А. Елистратова, В.С. Узин, И.А. Тертерян, И.Е. Верцман, К.В. Цуринов и многие другие специалисты – лингвисты и искусствоведы.

Знаковыми коллективными русскими трудами по испанской литературе Возрождения и XVII в. стали итоговые книги. Прежде всего "Культура Испании"[27], резюмировавшая достижения испанистики в России и наметившая дальнейшие планы. К этой книге примыкал сборник "Сервантес. Статьи и материалы" (ред. М.П. Алексеев. Л., 1948).

В связи с подготовкой 8-томной "Истории всемирной литературы" и долженствовавшим наступить в 1969 г. столетним юбилеем Рамона Менéндеса Пидаля, был подготовлен труд "Сервантес и всемирная литература". Когда книга уже была в производстве, из Испании пришла скорбная весть. И в Посвящении пришлось прибавить: "Dedicado a la memoria".

Книга вышла под редакцией Н.И. Балашова, А.Д. Михайлова, И.А. Тертерян (М., 1969). В книге была продолжена библиография русских переводов Сервантеса и критической литературы о нем на русском языке с 1958 по 1967 г., составленная В.П. Пироговской. (До этих изданий наиболее полной библиографией русских

[27] Культура Испании. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940.

переводов Сервантеса и статей о нем за 1763–1957 гг. была составленная А.Д. Умикян под редакцией Д.Е. Михальчи. М., 1959).

Книга "Сервантес и всемирная литература" содержала разносторонние материалы: И.А. Тертерян "Философско-психологические истолкования образа Дон Кихота и борьба идей в Испании"; А.А. Елистратова «Филдинг и "Дон Кихот"»; А.Д. Михайлов "Сервантес и Мериме"; З.И. Плавскин "А.Н. Островский – переводчик Сервантеса"; С.И. Бэлза "Дон Кихот в русской поэзии"; Е.Н. Любимова "Сервантес и Тургенев"; мои статьи: "Сервантес и современная наука на Западе", «"Персилес и Сихисмунда" в свете общих проблем изучения Сервантеса». В книге помещены и другие весьма существенные материалы, например, перевод речи Марселино Менéндеса и Пелайо: «Литературная культура Мигеля де Сервантеса и его работа над "Дон Кихотом"».

Позднее, кроме сжатой популярной монографии Н.П. Снетковой «"Дон Кихот" Сервантеса», вышли книги о Сервантесе:

В.Е. Багно. «Дорогами "Дон Кихота"» (М., 1988);

О.А. Светлакова. «"Дон Кихот" Сервантеса. Проблемы поэтики» (СПб., 1996);

С.И. Пискунова. «"Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков» (М., 1998).

Сервантесу и испанской литературе времени Сервантеса были посвящены подробные разделы в III томе обширнейшей "Истории всемирной литературы" (М., 1985), авторы З.И. Плавскин, Н.И. Балашов; главный редактор III тома Н.И. Балашов. В IV томе той же "Истории..." (М., 1986) гл. ред. Ю.Б. Виппер; разделы по испанской литературе XVII века написаны Г.В. Степановым и Н.И. Балашовым.

В 1961 г. вышло русское собрание сочинений Сервантеса в пяти томах под редакцией Ф.В. Кельина. Помимо старых переводов драматурга А.Н. Островского, профессора Б.А. Кржевского, бóльшая часть произведений, в том числе "Дон Кихот", были даны в новом переводе Н.М. Любимова (М., 1961).

Мы здесь не упоминаем о серии связанных с сервантистикой книг и статей по разным аспектам испанской драмы XVII столетия, выпущенных в последней четверти XX в. Н.И. Балашовым и В.Ю. Силюнасом.

Среди статей в русской книге 1969 г. "Cervantes y la literatura mundial", посвященной Менéндесу Пидалю, интересно сосредоточиться на статье S. Bocharoff «Sobre la estructura del "Quijote"».

Существует известное соответствие между этой статьей и вторым разделом ныне знаменитой (но с 1914 по начало 1930-х годов пребывавшей в неизвестности) книги философа Ортеги и Гассета «Размышления о "Дон Кихоте"», а точнее, – теми местами первого раздела книги, где содержится краткий трактат о романе. Ортега там не столько говорит о "Дон Кихоте", сколько о развитии повествовательного рода литературы и о месте и о значении размышлений потомков о "Дон Кихоте" для понимания этого рода в целом.

Будущий знаменитый ученый и публицист Ортега и Гассет начинал с теории литературы. С.Г. Бочаров – видный специалист по общей теории литературы – анализирует "Дон Кихота" прежде всего с точки зрения *философского* значения произведения и образа героя. Он, Дон Кихот, в романе в своем сознании *живет*. Он совершает роман как жизнь и он живет, как в романе. Его сознание – "целостный *образ*

мира, в котором присутствуют все действительные предметы, но только Альдонса присутствует как Дульсинея, а мельницы как великаны" (с. 87).

Вещи "тождественны по материалу, но каждой вещи соответствует ее фантастический образ в романе сознания Дон Кихота" (там же). "Для Дон Кихота не существует распадения на... два ряда... а есть непосредственная тождественная нерасчлененная реальность" (с. 88).

При таком весьма основательном понимании, характер и рассуждения Дон Кихота преодолевают традиционную рубрификацию не только в литературе, *но и в философии*. Здесь отражается соответствующая склонность людей эпохи Возрождения к соединению размышления и повествования. При дальнейшем развитии культуры утрачивалось понимание возможности единства "идеального" и "материального".

Дон Кихот, как очень многие персонажи живописцев того времени (и примыкающего к Возрождению перехода к Барокко), сколь ни своеобразен и странен, прежде всего – настоящий человек (ср. у Шекспира: "человек от головы до ног"), но Дон Кихот вдобавок человек, исполненный идей. Однако не просто в гуманистическом, а в философском смысле он не "идеалист" и не "материалист" (вообще, такого рода схематическое деление ему было бы непонятно).

В данном случае С.Г. Бочаров близок к Ортеге и Гассету, рассуждающему, что в эпизоде с мельницами гигантов не было, но откуда человек вообще берет гигантов?.. Ведь "если смотреть на вещи со склона вверх, они начинают казаться гигантскими"... (там же, с. 66 по ст. И.А. Тертерян).

Дон Кихот в средневеково-схоластическом понимании не "реалист" (т.е. не человек, признающий "реальность" одних только общих идей). Он и не "номиналист", считающий существующими только конкретные вещи, а "общие идеи" рассматривающий как их условные наименования, как номинальные категории.

Дон Кихот ни тебе доминиканец "реалист" Альберт Великий (1193–1280), учитель Фомы Аквинского, ни тебе францисканец Вильгельм (Вильям) Оккам (ок. 1300–1350), "номиналист", т.е. в некотором роде "эмпирик", как Оккам, считающийся с жизненным наполнением философских терминов. Вильям Оккам был предшественником новой английской философии и литературы шекспировского времени, хотя главные герои Шекспира, как и Дон Кихот, "Оккамами" не были.

Какова же все-таки философия главного героя Сервантеса? Этот вопрос объективно поставлен и во многом разъяснен в статье С.Г. Бочарова.

И если прибегнуть к термину, не употребляемому самим Бочаровым, то можно было бы осмелиться сказать, что Сервантес создал образ такого "философского монизма", который в известном смысле бросает новый свет на историю философии.

В этом отношении существует некий параллелизм между философской ребячливостью Дон Кихота, ставшей над всеми ее течениями, и философской сверхсистематичностью его младшего современника Рене Декарта (1596–1650), основателя философии в новоевропейском понимании.

Декарту было двадцать лет, когда обе части "Дон Кихота" стали известны на европейских языках. Оба, Сервантес и Декарт, были и воинами (Декарт сражался за свободу Австрии и Венгрии, продолжая 50 лет спустя дело Лепанто) и гуманитариями.

Дон Кихот начал с чтения, Декарт – с чтения и с военной карьеры. Но когда второй подошел к философской пристани, он, конечно, тоже возвысился отнюдь не мнимо над всей философией своего времени. Главные сочинения Декарта создавались с тех же 1630-х годов, когда обе части "Дон Кихота" стали восприниматься как единая книга и на переизданиях "Дон Кихота" 1605 г. появилась надпись: "Первая часть..."

"Сервантес, – пишет Бочаров, – не разделяет иллюзии Дон Кихота и знает ясно о нетождественном отношении сущности и явления, понятия и предмета, повествования и действительности" (но, – добавим от себя, – он тверд в идее, если не точно, как у Декарта – "*мыслю*, значит, я существую", – то, "если я *воображаю*, значит, оно так и есть". – Н.Б.).

"Сервантес, – продолжает С.Г. Бочаров, – изображает мир, где настоящее отношение спутано, скрыто, неявно. Но Сервантес знает равно о поверхности и бедности эмпирического образа мира, действительности, бритвенного таза и ветряных мельниц... Это частичная правда, не равная правде и миру книги Сервантеса..." (110).

С.Г. Бочаров тонко замечает, что во Второй части чем больше "эмпирический мир оказывается против героя прав, тем в то же самое время меньше у этого мира и его мировоззрения, позитивизма, остается права на монопольную истину; тем больший вес получают реплики Дон Кихота... например,.. трезвому современно мыслящему канонику, отрицающему реальность идеальных героев. "В таком случае, – сказал Дон Кихот, – я со своей стороны полагаю, что очарованным и лишенным разума являетесь вы сами..." (I, XLIX; см. с. 110).

С.Г. Бочаров заключает свою статью словами, что роман Сервантеса "есть контрапункт одной и другой правды (а не опровержение одною из них другой), критического сознания нового времени и "онтологического" сознания странствующего рыцаря" (С. 110–111).

Подробнее излагать статьи мемориального сборника 1969 г. нет возможности. Я ограничусь тем, что скажу: и в философском смысле контрапункт в "Дон Кихоте" гениален, он подлинен, как контрапункт великих симфоний XIX в., начиная с таких, как III "Героическая симфония" Бетховена (1804).

В заключение скажем, что в духовной жизни Сервантес, Дон Кихот, Декарт действительно были отчасти настоящими "современниками". Процитируем по памяти характерные слова Декарта: "Если мы станем отвергать все то, в чем ...можем сомневаться и даже будем считать все это ложным, то хотя мы легко предположим, что нет никакого Бога, никакого неба и что у нас самих нет ни рук, ни ног, ни вообще тела, однако не предположим того, что мы, сами думающие об этом, не существуем: ибо нелепо признавать *то, что* мыслит, в то самое время, когда оно мыслит, не существующим. Вследствие чего это познание есть первое и вернейшее из всех познаний, встречающееся каждому, кто философствует в порядке..."

Достаточно чуть не так воспринять декартовское "я мыслю" и уместное тут донкихотово "я воображаю" – и перед нами взгляд на мир хитроумного идальго из Ламанчи Дон Кихота и Декарта сойдутся как параллели вдруг еще скорее, чем параллели Николая Лобачевского.

Еще одно, что хотелось бы сказать уже испанскому читателю, – это пожелать чаще переводить русские работы о Золотом веке, Сервантесе, о Лопе де Веге, Кальдероне. Великий парадокс правилен: как ни различны испанцы и русские, в них неистребимо живет нечто контрапунктно общее, что подтверждают не только Пушкин, Достоевский, Менендес и Пелайо, но и широкий вектор испанских книг XVII столетия о Руси, Востоке, начиная от "Новых деяний князя Московского" Лопе де Веги и драм его продолжателей. Нечто подобное было начато Сервантесом в романе "Персилес и Сихисмунда". Мало того, этот сложный процесс изображался в тех драмах Кальдерона, где действие перенесено в некатолические страны. То Кальдерон в драме об "Английской схизме" оказывался "меньше католиком", чем англичане Шекспир и Флетчер в драме "Генрих VIII". То Кальдерон до семи раз в своих произведениях частично переносил действие в Московию. Наконец, в своей знаменитой драме "Жизнь есть сон" самый "католичнейший" поэт (не под влиянием ли пьесы Лопе де Веги "Великий князь Московский"?) взаимно переставил Польшу и Россию. Зачем? В частности затем, чтобы зрителей-католиков не смущали отменные деяния православных...

VII

СВИДЕТЕЛИ АПОФЕОЗА ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТИЯ "ДОН КИХОТА"

За длительную жизнь в филологии я с 1930-х годов, думается, узнал всех сервантистов России, но не смею выстраивать и перечислять самых старых, самых новых, самых ярких представителей нашей испанистики.

Когда ржавый занавес недоверия начал рваться даже по отношению к Испании, не хватило нескольких лет, чтобы увидеть воочию почти столетнего патриарха науки о культуре Испании – Рамона Менéндеса Пидаля (скончался в 1969 г.), хотя я удостоился беседовать в его доме с новым президентом Королевской испанской академии Дáмасо Алонсо.

В Международной ассоциации по сравнительному литературоведению мне удалось участвовать в беседах, которые способствовали *невероятной* в сервантесоведении вещи – известному сближению взглядов двух корифеев противоположных школ мировой испанистики середины XX столетия: воинствующего католика немецкой школы Гельмута Гатцфельда и всезнающего и либеральнейшего испаниста Франции Марселя Батайона, доказавшего, как никто другой, близость "Дон Кихота" гуманистической философии Эразма.

Преодоление непомерных тягот такого сближения – это прежде всего заслуга одного человека – *Мигеля де Сервантеса Сааведра.*

Многие читатели и исследователи по-разному, но выражают мысль, что если не было бы Дон Кихота, не будет и Дон Кихотов, не будет ни мечты, ни героизма, ни самооотверженности, ни веры, ни познания мира в единстве его многообразия, ни стремления ввысь.

Не будет ни человека, ни человечества.

Достоевский четко выразил эту идею: если человечеству до́лжно будет оправдать свое существование, то оно должно́ будет молча протянуть вопрошающему одну книгу – "Дон Кихота".

Как XX столетие ни расшатало нравственность, культуру, политику, пока человек помнит "безумного" Дон Кихота, он не утратит право претендовать на видовое название Homo Sapiens.

На последних страницах статьи нет места подводить итоги книге "Дон Кихот" – это значит бежать рядом с экипажем, ибо ее герой движется *вместе со временем.*

Гении древности, возможно, кроме математических гениев, начиная произведение, прозревали, чем оно должно кончиться.

Понятие бесконечности оформляется во времена Пифагора и Гераклита, которым открылась "реальная" и "формальная" бесконечность чисел, вещей, процессов, идей, расстояний...

Из литературных гениев замкнул бесконечность один Данте в "Божественной Комедии": от ада до рая. Вернули же бесконечность людям итальянские гуманисты, а в наибольшей степени Сервантес и Шекспир – может, за это и были призваны ввысь в один и тот же день, каждый по своему стилю, – 23 апреля 1616 г.

Накануне 400-летия "Дон Кихота" в результате опроса, проведенного Нобелевским институтом (г. Осло) среди ста "наиболее известных и признанных литераторов современности из 54 стран", эта книга Сервантеса "сочтена лучшим художественным произведением за всю историю всемирной литературы"[28].

[28] Новый триумф"Дон Кихота" // Книжное обозрение. 20 мая 2002 г. С. 2.

С.И. Пискунова

"ДОН КИХОТ": ПОЭТИКА ВСЕЕДИНСТВА

Все варианты прочтения "Дон Кихота", возникавшие на протяжении его уже почти четырехвековой жизни в истории культуры, так или иначе тяготеют к двум противоположным подходам: один акцентирует сугубо комическую сторону похождений и бесед Дон Кихота и Санчо Пансы, другой основан на представлении о том, что за внешним комизмом разнообразных ситуаций, в которых оказывается знаменитая пара сервантесовских героев, скрывается серьезное, если не трагическое содержание, побуждающее читателя не столько смеяться над Рыцарем Печального Образа, сколько сострадать ему. Примером смеховой рецепции романа является реакция на него первых читателей – современников Сервантеса (а также последующих поколений – вплоть до конца XVIII в.[1]). Примером второго типа восприятия "Дон Кихота" (назовем его "осерьезнивающим") могут служить чувства, вызванные чтением романа в юном Генрихе Гейне: "Я был ребенок, и мне неведома была ирония, которую Бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печатном мирке. Я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все, и так как эти невинные создания природы, подобно детям, ничего не знают о мировой иронии, то и они тоже принимали все за чистую монету и проливали вместе со мной слезы над страданиями несчастного рыцаря... Рыцарь Дульсинеи поднимался все выше в моих глазах и все больше завоевывал мою любовь, по мере того, как я читал удивительную книгу..."[2]

Чувства Гейне, тешащего "свое юное сердце доблестными приключениями отважного рыцаря", непосредственно вписываются в контекст романтического мировидения. И впрямь: именно романтики в корне изменили отношение массового европейского читателя к герою Сервантеса и его роману, транспонировав "Дон Кихота" из тональности смеховой в трагическую: "Это – не книга, предназначенная для увеселения читателя, но великая трагическая поэма"[3], – говорил Фридрих Шлегель в цикле лекций "История новой и древней литературы".

Конечно, не следует забывать, что именно немецкие романтики (тот же Фр. Шлегель) и их предтеча Жан-Поль Рихтер неоднократно обращались к роману Сервантеса как образцу комического повествования, более того, именно на материале "Дон Кихота" пытались ставить и решать проблемы "комического", "остроумия", "гротеска", "юмора", находя в нем воплощенный идеал романтической иронии. Они же первые употребили формулу «"Дон Кихот" – пародия на рыцарские

---

[1] Жизни "Дон Кихота" в веках посвящена огромная литература. См.: *Багно В.* Дорогами "Дон Кихота". М., 1988; раздел "Дополнения" в наст. томе.

[2] *Гейне Г.* Введение к "Дон Кихоту" // Гейне Г. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1958. Т. 7. С. 136–137.

[3] Цит. по: *Bertrand J.J.* Cervantes en el país de Fausto. Madrid, 1950. P. 79.

романы». Так что, возможно, их следовало бы назвать авторами третьего "базисного" варианта прочтения "Хитроумного идальго..." – его трагикомической рецепции. Однако смеховое начало романа в их восприятии никак не затрагивало ценностную суть образа самого Дон Кихота. Оно переносилось ими с героя на "донкихотовскую ситуацию" (так определена Л. Пинским пронизывающая весь роман сюжетная формула, моделирующая отношение героя и окружающего мира[4]). Романтическая установка господствовала и в сервантистике, и в читательской среде на протяжении всего XIX и первой половины XX столетия.

Положение мало изменилось и после опубликования в 1914 г. эссе молодого Хосе Ортеги и Гассета «Размышления о "Дон Кихоте"», заложившего основы ведущего направления в сервантистике первых двух третей XX в. – так называемого "перспективизма". Изначально "перспективизм" – самоназвание теории познания молодого Ортеги, базирующейся на концепте "перспектива", фигурирующем в поздних набросках Фридриха Ницше. "Перспектива", по Ортеге, – это единство индивидуального видения, отдельной частной точки зрения (el punto de vista) на мир и охватываемого ею фрагмента реальности. При этом сама реальность, сам "мир" как структурированная, пронизанная смыслом явленность – явь – возникает, лишь попав в поле зрения созерцающего его субъекта. Ортега-эстетик рассматривает литературный жанр (в испанском словоупотреблении "el género" – не только жанр, но и род) как специфическую художественную "точку зрения", особый ракурс видения и оформления действительности (поразительно совпадая в этом, как и во многом другом, с М. Бахтиным): "Жанры, понятые как несводимые одна к другой эстетические темы... – это широкие перспективы, которые открываются на кардинальные стороны человеческого бытия"[5], – пишет автор "Размышлений о Дон Кихоте". Роман как жанр с точки зрения Ортеги – это соположение двух перспектив, сочетание двух изначально несовместимых точек зрения на мир – эпической и собственно романной, иными словами, той, что видит происходящее с высоты "всем известных основополагающих мифов"[6], и той, что нацелена на миметическое изображение обыденной действительности. В мифоэпической перспективе герой Сервантеса предстает трагически обреченным на поражение, в романно-миметической – выступает как комический персонаж (искусство мимесиса, подражания, по мысли Ортеги, изначально связано со стихией смеха, поскольку подражание содержит в себе момент передразнивания: не случайно в античном мире мимы были и шутами).

Мысль Ортеги о "перспективистском" устройстве художественной вселенной "Дон Кихота" получила в сервантистике первой половины XX в. широкий резонанс. И все же критики-"перспективисты" тяготели, как правило, к романтической интерпретации "Дон Кихота" – правда, в новой экзистенциалистской огласовке. Характеризуя роман Сервантеса как "роман сознания" со специфическим романным героем – становящейся, незавершенной личностью, творящей в согласии со своим "личностным проектом" самое себя и "свои обстоятельства" (в согласии

---

[4] См.: *Пинский Л.Е.* Сюжет "Дон Кихота" и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961.

[5] *Ortega y Gasset J.* Meditaciones del Quijote. La Habana, 1964. P. 119.

[6] Ibid. P. 131.

со знаменитой формулой Х. Ортеги и Гассета: "я" – это "я" плюс мои обстоятельства"), один из крупнейших испанских историков культуры и литературоведов XX столетия Америко Кастро[7] целиком и полностью перенес центр тяжести сервантесовского повествования внутрь "разочарованного" сознания героя. В таком случае комическая, овнешняющая образ героя перспектива оказывается в сервантесовском повествовании совершенно неуместной. «Сервантес, – пишет А. Кастро в статье "Письменное слово и "Дон Кихот", – не противостоял миру эпоса и не стремился субъективировать последний в смехе, веселом развлечении или поучении»[8]. «Сервантесу, – говорится в другой статье А. Кастро, – "Прологи к "Дон Кихоту", – были чужды фарс, комедия, плутовской роман, т.е. те жанры, которые базируются на недоверии и презрении к внутреннему человеку»[9].

Родившийся в лоне "философии жизни" и гносеологического "перспективизма", экзистенциалистский модус прочтения "Дон Кихота" доминировал над всеми другими вплоть до начала 1970-х годов (во многом благодаря опоре на вековую романтическую традицию, с которой его объединяет идея преобладания дерзкой "правды" Дон Кихота над благоразумной косностью окружающего мира). Затем в сервантистике, преимущественно англо-американской, менее всего затронутой экзистенциалистскими настроениями, зато исконно пронизанной "здравым смыслом", начинается настоящий бунт против "перспективизма". Энтони Клоуз в цикле статей, а затем в итоговой монографии «Романтическое прочтение "Дон Кихота"»[10], другие англоязычные сервантисты противопоставили романтико-экзистенциалистскому "перспективизму" свою концепцию "Дон Кихота" как комического романа или "бурлескной поэмы", концепцию, во многом воскрешающую понимание "Дон Кихота" читателями и критиками XVIII в.[11] В эти же годы предметом многих исследований зарубежных сервантистов, вдохновленных переведенной на Западе книгой М. Бахтина о Рабле, стал карнавальный смех Сервантеса[12]. При этом никто не задумывался над тем, что карнавальный смех (в понимании М. Бахтина) и просветительское понимание комического (как сатиры в первую очередь и как юмористической апологии чудачества во вторую) имеют между собой мало общего, и что, напротив, карнавал "по Бахтину" несет на себе отчетливые следы романтического утопизма.

---

[7] Написанные в духе "перспективизма" работы А. Кастро, созданные преимущественно на протяжении 40-х годов, собраны в книге: *Castro A.* Hacia Cervantes. Madrid, 1967.

[8] Ibid. P. 390.

[9] Ibid. P. 293. Правда, характеризуя художественный мир Сервантеса, Кастро оставляет в нем место для иронии, более того – для иронии "методической", т.е. последовательно проводимой в качестве повествовательного принципа, для иронии как средства демонстрации несовпадения внутреннего и внешнего, но не для пародии, фарса и других собственно смеховых форм комического.

[10] См.: *Close A.* The Romantic Approach to "Don Quijote". A Critical History of the Romantic Tradition in "Quijote" Criticism. Cambridge, 1978.

[11] Ср. выразительный подзаголовок одной из статей Э. Клоуза: *Close A.* Don Quijote as a Burlexque Hero: a Reconstructed Eighteenth Century View // Forum for Modern Language Studies, 1974. N 4.

[12] См.: *Redondo A.* Tradición carnavalesca y creacsión literaria: del personaje de Sancho al episodio de la Insula Barataria // Bulletin Hispanique. 1978. N 1; El personaje de Don Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico, elaboración cervantina // Nueva Revista de Filología Hispánica. 1980. N 1; Otra manera de leer el "Quijote". Madrid, 1977.

Так или иначе, укорененность сервантесовского комизма в традициях карнавального смеха сегодня не подлежит сомнению. И все же Алонсо Кихано – не просто герой карнавала, стихийно возникающего вокруг его нелепой ряженой фигуры на дорогах и постоялых дворах новой Кастилии, но и ренессансная личность, человек, самостоятельно определяющий свое место в мире и целенаправленно созидающий в образе Дон Кихота свое "я". При этом, будучи личностью именно ренессансного склада, то есть надындивидуальной индивидуальностью, по определению Л.М. Баткина[13], герой Сервантеса не самодостаточен: выстраивая свое "я", он нуждается в опоре на надличностное идеальное целое. Символическим воплощением последнего и является мифическое книжное рыцарство, точнее мифический "книжный" орден странствующих рыцарей, членом которого герой Сервантеса себя мыслит. Поэтому и его поступками движет не индивидуалистический произвол, а стремление неукоснительно следовать куртуазно-рыцарскому этикету, правилам поведения и ценностным установкам рыцарства, которые он вычитывает из рыцарских романов. Так наряду с карнавальной утопией в сюжете "Дон Кихота" развертывается другая утопическая тема – овладевший сознанием ламанчского идальго "миф о рыцаре" – caballero, или "рыцарский миф"[14], ставший в Испании времен правления Карла V своего рода национальным вариантом ренессансного "мифа о человеке"[15] – индивидууме, обладающем неограниченными возможностями для самореализации в мире, полном чудес, испытаний и опасностей, но управляемом благим Провидением. Рыцарский роман иберийских народов именно в этом плане вполне сопоставим с итальянской рыцарской поэмой.

Правда, в отличие от итальянского Ренессанса, складывавшегося и развивавшегося в раздробленной стране, в городах-коммунах, городах владениях "тиранов" типа Флоренции Лоренцо Медичи, герцогствах и княжествах, становление и расцвет рыцарского романа в Испании совпали с периодом формирования испанского государства "современного типа" (Х.А. Маравалль) – католической монархии, объединяющим началом которого стал католицизм, а этнической основой – старохристианская часть населения страны: к "старым христианам" принадлежали те, кто мог доказать, что в его роду – вплоть до четвертого колена – не было евреев или арабов, к "новым" – крещеные евреи, арабы (мориски) или их потомки. Массовое, преимущественно насильственное, крещение евреев началось в Испании еще в конце XIV в., а во времена "католических королей" Фердинанда и Изабеллы, поставивших своей целью сплочение нации и создание государства на основе единой веры, этот процесс получил окончательное завершение: указом от 1492 г. из Испании были изгнаны все евреи, не пожелавшие принять крещение.

"Книги о рыцарстве" были во многом созвучны именно старохристианской ментальности, зиждущейся на ностальгических воспоминаниях о героике времен Реконкисты и культе "чести" – не только сословно-родовой, но и этнически-религиозной (принадлежность к "старым христианам" могла заменить испанскому крестьянину, не говоря уже о люмпене, и личное достоинство, и славное родовое имя). Именно

---

[13] См. об этом: *Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.

[14] См.: *Maravall J.A.* Utopia y contrautopia en el "Quijote". Santiago de Compostela, 1976.

[15] См.: *Баткин Л.М.* Ренессансный миф о человеке // Вопросы литературы. 1972. № 9.

усилиями "старых христиан" осуществлялась колонизация Новой Индии, куда был заказан путь тем, в чьих жилах текла хотя бы восьмая часть "нечистой" крови. (Тем не менее, согласно парадоксальному волеизъявлению испанских правителей, ввоз рыцарских романов в заокеанские владения был долгое время запрещен.)

Конечно, содержание лучших рыцарских романов далеко выходило за границы "старохристианского" видения мира. Национализму и изоляционизму, духовному самоограничению и стремлению к тотальной регламентации жизни, усиленно насаждавшимся в Испании со времен восшествия на престол Филиппа II, рыцарский роман времен "первого Возрождения"[16] (за вычетом некоторых тенденциозных сочинений типа первого продолжения "Амадиса Галльского" – "Деяний Эспландиана", 1511) противопоставлял космополитический универсализм, открытость мира, чувственную раскованность и свободный полет авторского воображения. И все же, сужая сферу духовного, зачастую полностью исключая ее из авторского замысла, авторы испанских "книг о рыцарстве" XVI в. почти целиком сосредоточивались на внешнем, на событии как таковом, на "человеке внешнем" (hombre exterior), если перейти на язык гуманистов-эразмистов. Тех самых, чья деятельность во многом определила облик иберийского Возрождения[17]. "Человеку внешнему" – идеальному герою ренессансной рыцарской эпики (в этом с ним сходны и персонажи площадного театра, и пикаро – герой "плутовского романа") гуманисты-эразмисты или, как их еще называют, "христианские гуманисты" противопоставляли идеал "человека внутреннего" (hombre interior) – личность в ее предстоянии перед Богом.

"Внутренний человек" в представлении Эразма Роттердамского и эразмистов – это отнюдь не его омонимический двойник, появляющийся в десакрализованной европейской культуре романтической поры, персонаж, наделенный "внутренней", т.е. эмоциональной и мыслительной жизнью, погруженный в переживания и в самоанализ, но не ведающий, что такое состояние самосознания как психологически не мотивированное озарение, достижимое лишь в диалоге с Высшим началом бытия. "Внутренний человек" – образ-символ, утвердивший себя в посланиях апостола Павла, – коррелирует духовную жизнь индивида не с областью психики, неотторжимой от жизни тела (психофизиологии), а со сферой сознания. Сознание же – "это не психический процесс в классическом психофизиологическом смысле слова": "...Сознание... есть уровень, на котором синтезируются *все* конкретные психические процессы, которые на этом уровне уже не являются самими собой, так как на этом уровне они относятся к сознанию..."[18].

Восходящее к Посланиям апостола Павла и развитое Аврелием Августином противопоставление "человека внутреннего" "человеку внешнему" лежит в основе антропологических представлений Эразма Роттердамского, систематически изло-

---

[16] Испанские историки литературы традиционно различают два этапа развития Возрождения в Испании: "первое Возрождение" времен правления Карла V (1516–1556), и "второе Возрождение", совпадающее с годами правления Филиппа II (1556–1598).

[17] См. об этом: *Пискунова С.И.* "Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998 (гл. "Типологические особенности культуры испанского Возрождения").

[18] *Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.* Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. С. 43.

женных в "библии" испанских гуманистов-эразмистов – трактате "Энхиридион, или Оружие христианского воина"[19]. У Эразма путь человека к самому себе, к личностному "самостоянию" пролегает по традиционному августиновскому пути молитвы и по пути "знания" особого рода[20], противополагаемого "земной мудрости", знания, рождающегося из толкования Священного Писания как текста, который "выражает тайну под прикрытием букв". Именно из него Эразм извлекает мысль "о внешнем человеке, который испорчен, и о внутреннем, который день ото дня обновляется"[21], изгоняя из себя, из своего "внутреннего" все плотское, темное, греховное: "В гробнице сердца лежит гниющий труп, от него исходит зловоние и заражает всякого, кто стоит поблизости. Христос говорит, что фарисеи – гробы повапленные. Почему так? Конечно, потому что они носили в себе мертвые души"[22]. "Мне действительно стыдно называться христианином, – пишет он в "Послании к Паулю Вольцу", являющемся своеобразным предисловием к "Энхиридиону" в издании Фробена 1518 г., – большая часть их наподобие бессловесной скотины служит своим страстям. Они считают правильным все, чего они сильно желают. Они называют миром настоящее, достойное сожаления рабство... Это жалкий мир, который приходит разрушить Христос – Творец подлинного мира, Тот, Кто сделал из двух единое... Что философы называют разумом (ratio), Павел зовет то духом (spiritus), то внутренним человеком (homo interior), то законом совести (lex mentis). То, что они именуют страстью, он иногда зовет плотью, иногда внешним человеком, иногда законом частей. Он говорит: "Поступайте по духу, и вы не будете исполнять пожелания плоти". Я полагаю, что к этому же относится то, что он пишет коринфянам: "Первый человек стал душой живущей, последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли; второй человек с неба – небесный"[23].

Итак, "новый человек", по Эразму, – это личность, обретающая себя за счет отказа от своего "душевного", от "ветхого" земного Адама в себе самой, от психического и плотского "я" и находящая себя в любви к Христу. Можно сказать, что антропологический идеал Эразма – человек, душа которого структурирована таким образом, что для нее оказывается возможным вхождение в "сферу сознания" (М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский), где нет раскола бытия на объект и субъект, где бытие – и все, и ничто одновременно, где знание ("мудрость мира сего") становится пониманием ("глупостью", блаженством), а знак – символом (единства знака и означаемого). В этом акте *тотальный перестройки души, осуществляемой усилиями самого человека-христианина, в непрестанной борьбе с самим собой заново рождающегося на свет,* и заключается эразмистский призыв к *обновлению*, адресованный современникам, – тем, кто в массе своей продолжали исповедовать "ложное" с точки зрения нидерландского гуманиста христианство, отнюдь не требующее от верующего особых духовных усилий и сводящееся к исполнению ритуалов и следованию "букве" Свя-

---

[19] См. прежде всего главу "О человеке внутреннем и внешнем и о двух сторонах человека в соответствии со Священным писанием".

[20] См. *Эразм Роттердамский.* Философские произведения. М., 1986. С. 98.

[21] Там же. С. 119.

[22] Там же. С. 95.

[23] Там же. С. 118–119.

щенного Писания. Подвиг аскезы, к которому в "Оружии христианского воина" призывает Эразм *каждого* христианина[24], противостоит и гедонизму некоторых течений в итальянском гуманизме, и телесности средневекового, во многом еще языческого народного мира, а также образу жизни современного ему монашества, погрязшего в разврате и мирских заботах ("Ныне монахами зовутся те, кто полностью погружены в гущу мирских дел и упражняются в некоей тирании по отношению к людям"[25]).

Эразмистский идеал обновленного "человека внутреннего" (как он сформулирован в "Энхиридионе") стал органической составной частью ключевой мифологемы "христианского гуманизма" – образа мистического "тела Христова"[26]. Опираясь на авторитет того же Павла, впервые обратившегося к символу "тела" для изображения духовного единения последователей Христа, Эразм пишет: "Не говори мне здесь, что любовь в том, чтобы часто ходить в церковь, припадать к статуям святых, зажигать свечи, повторять отсчитанные молитвы. Ничего этого Богу не нужно. Любовью Павел называет сотворять ближнего, считать всех членами одного и того же тела, полагать, что все едины во Христе, радоваться удачам братьев во Господе, как своим, помогать их бедам, как собственным... Пусть никто не думает, что христианин родился для себя... Да посвятит христианин себя одним, потому что они добры, а другим не менее того, чтобы сделать их добрыми... Смотри только, в чем человек нуждается и что ты можешь. Думай только об одном: Он – брат во Господе, сонаследник во Христе, член того же тела, искуплен той же кровью, сотоварищ общей веры, призванный к той же благодати и счастью будущей жизни... Пусть одно стоит у тебя перед глазами, и этого достаточно: он – плоть моя, брат во Христе. То, что относится к члену, разве не распространяется на все тело и потом на главу? Все мы, в свою очередь, члены. Члены, связанные друг с другом, составляют тело; глава тела – Иисус Христос, глава Христа – Бог"[27]. Так в эразмизме в образе мистического "тела Христова"[28] гармонически слились два принципа – принцип лично-

---

[24] Согласно установлениям католической церкви, аскетический подвиг – деяние, предназначенное лишь для "избранных" – для монахов, в то время как миряне должны лишь соблюдать посты, не посягая на аскезу как на "духовное делание". Эразмова проповедь *мирского благочестия* несла, таким образом, в себе откровенно реформаторское начало.

[25] *Эразм Роттердамский.* Указ. соч. С. 87.

[26] В качестве таковой ее выявил историк испанской философии Х.-Л. Абельян (см., например, *Abellán J.L.* El erasmismo español. Madrid, 1982 – книгу, резюмирующую основные результаты исследований Абельяна и снабженную предисловием Хосе Луиса Гомеса Мартинеса, в котором идеи Абельяна рассматриваются в контексте развития испанской философии истории XX в., прежде всего в сопоставлении с взглядами Х. Ортеги и Гассета и А. Кастро. Здесь же – библиография основных трудов Х.Л. Абельяна).

[27] Там же. С. 157, 175, 176.

[28] Образ мистического "тела Христова" встречается и у средневековых авторов, но последние "выстраивают" его не в горизонтальном, а в вертикальном измерении, не как доказательство равенства всех верующих во Христе, а для демонстрации иерархического устройства "града земного" – по аналогии с "градом Божьим" (у него есть "голова" – верховный правитель, "руки" – рыцарство, "ноги" – простонародье и т.д.). Эразм в "Послании Паулю Вольцу" также обращается к аналогии между расположением человеческого тела в пространстве и устройством общества, но с целью развеществления, "деконструкции" этого образа, превращая его в подлинно "мистическое" тело, в котором "тот, кто был ногой, может стать оком" (Там же. С. 79).

стного самоутверждения (в том числе и в новой вере) и принцип коллективного братского мирочувствования, отдельное "я" и обо́женное жертвой Христа человечества.

В мировоззрении испанских "христианских гуманистов" этот образ занимает совершенно особое – главенствующее – место, что легко объяснимо "кастовым" строением испанского общества XVI–XVII столетий – его делением на "старых" и "новых" христиан. "Новые христиане" составили значительную часть испанской интеллигенции эпохи Возрождения[29]: врачей, преподавателей университетов, ученых-теологов и юристов, поэтов и художников. "Новыми христианами" были автор "Селестины" Фернандо де Рохас, философ-гуманист Луис Вивес, гуманисты братья Вальдесы (Альфонсо, "придворный латинист" Карлоса, автор диалогов в духе Лукиана, Хуан – прославившийся "Диалогом о языке"), творец первого пасторального романа Хорхе де Монтемайор, поэт и философ Луис де Леон. "Новохристианская кровь" текла в жилах знаменитых испанских мистиков Тересы де Хесус и Хуана де ла Крус, Веласкеса и Матео Алемана... Именно среди "новых христиан" Эразмова "философия Христа" нашла самых горячих приверженцев. Будучи лишенными возможности ощущать себя "плотью от плоти" нации, основу которой составляли "старые христиане", они компенсировали свою отверженность, с одной стороны, интенсивностью и глубиной осознания себя в качестве подлинных христиан, истинных христиан "в душе", а с другой – ощущением своей причастности к мистическому "телу Христову".

Конечно, нельзя свести весь испанский гуманизм к эразмизму: помимо последнего, в Испании на протяжении XVI в. существовал и гуманизм "классического", филологического, толка, импортируемый из Италии (тот, что Эразм осуждал как "цицеронианство"), развивались другие духовные течения реформаторского типа, такие, как францисканство, библеизм, получили распространение другие философские доктрины (неоплатонизм, натурфилософия, неоаристотелизм). Гуманистический идеал испанцев складывался не только на основе учения о "подражании Христу", но и как следование идеалу гражданской общежитийности, светскости, нормам придворно-ученой учтивости: все эти русские слова могут лишь приблизительно передать содержание понятия urbanitas, сложившегося в ренессансной Италии и получившего отголосок в сочинениях испанских авторов (судьба многих из них, в том числе Торреса Наарро, Гарсиласо де ла Веги, Хуана де Вальдеса, не говоря уже о Сервантесе, была связана с пребыванием на итальянской земле). С другой стороны, эразмизм граничил с многообразными течениями мистического толка, в которых на испанской почве встретились традиции "северного" (Мейстер Экхардт), арабского (Ибн-Араби) и иудаистского (Каббала) мистицизма. Но именно эразмизм на протяжении всей первой половины XVI в. и даже в годы правления Филиппа II в

---

[29] В годы правления Карла V преследование "новых христиан" "сверху" на поощрялось. Инквизиции, созданной Изабеллой и Фердинандом в 1478 г. специально для расследования поведения новообращенных, пришлось умерить свой пыл, а "статуты чистоты крови", согласно которым определялась принадлежать испанца к той или иной "касте", перестали печататься. Первый государственный указ такого рода после долгого перерыва появился лишь в 1547 г. – на закате правления Карла.

силу своего "центристского" положения (между "гражданским" и "филологическим" гуманизмом, неоплатонизмом, натурфилософией и мистической традицией) оставался влиятельнейшим фактором духовной жизни Испании. "Центризм" этот обусловлен не эклектизмом мировоззрения Эразма, в котором действительно сошлись многие духовно-мыслительные традиции и нашли отголоски многие идеи, носившиеся в воздухе современности, а исконно присущим нидерландскому мыслителю стремлением к примирению разных начал, исповедуемым им принципом терпимости[30], характерным для его мироотношения подлинным диалогизмом (в чем, быть может, более всего и сказалась ренессансная природа его философствования и его трудов).

Сочинения Эразма стали не просто духовным руководством для его последователей, но и *жанровыми образцами* для гуманистов самых разных мыслительных ориентаций. Основными литературными жанрами, культивируемыми нидерландским мыслителем, были диалог, эпистола, пословица – "адагиум", пародийная похвала – "энкомия" (в этом жанре было написано знаменитое "Похвальное слово Глупости"). Однако "книги о рыцарстве", изобилующие сценами сражений и перечислениями отрубленных голов и отсеченных членов врагов-великанов, а также откровенными описаниями любовных свиданий, сосредоточенные на изображении "человека внешнего", мало привлекали читателей "Энхиридиона" и других Эразмовых сочинений.

Здесь мы приближаемся к одному из центральных парадоксов сервантесовского творчества: в лице творца "Дон Кихота" мы находим и последовательного эразмиста (хотя открыто выражать свое восхищение писаниями Эразма, запрещенными в Испании с 1559 г. он не мог), и прекрасного знатока и поклонника ренессансно-рыцарской эпики. Как истинный классик, воплотивший в своем творчестве идеальную целостность Испании, подводя в "Дон Кихоте" итоги всему духовному и эстетическому опыту испанского Возрождения, Сервантес поднимается над разделением испанцев на "касты": он примиряет в сознании Дон Кихота "старохристианский" рыцарский миф и "новохристианский" эразмизм. На скрещении рыцарского мифа и символа мистического "тела Христова" возникает сервантесовский, на первый взгляд, гротескный образ "*тела странствующего рыцарства*", напóминанием о котором служат и слова героя Сервантеса о рыцарях как "руках Бога на земле" ("las manos de Dios en la tierra"), и донкихотовское уподобление себя "голове", а Санчо – "члену" некоего единого – единочувствующего! – тела (II, II). В точке "встречи" рыцарского мифа и эразмистской утопии рождается сам сюжет "Дон Кихота", в котором преследуемая героем утопическая цель – воскрешение на земле Золотого века, в котором люди не знали собственности[31], а посему между ними царили мир и согласие, восстановление утраченной природной и духовной общности человечества – соединяется с пафосом героического рыцарского деяния, представленного в качестве средства для достижения этой цели.

"Царствие небесное берется силою" – эта евангельская заповедь звучит в XVIII главе Второй части романа, в которой отождествляются мифический орден

---

[30] См. об этом: *Маркиш С.* Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., 1971. С. 165 и др.

[31] Неприятие собственности – одна из основных отличительных черт учения Эразма: "христианская любовь не знает собственности" (*Эразм Роттердамский.* Указ. соч. С. 175).

странствующих рыцарей и реальное небесное воинство, представленное изображениями святых-конников. Отождествление рыцаря и святого возникает как закономерный итог последовательной узурпации героем-рыцарем прерогативы служителей церкви, прежде всего монашества, способствовать приближению Царства Божьего.

Таков финальный аккорд развертывающейся в ряде эпизодов "Дон Кихота" внешне достаточно традиционной (вспомним средневековые "прения" рыцаря и монаха) и звучащей вполне невинно (в рамках контрреформационной ортодоксии) темы: сравнение целей и условий существования странствующего рыцарства и монашества.

Мысль о том, что рыцарь – в качестве служителя Господа – предпочтительнее, нежели монах, откровенно выражена в речи Дон Кихота, произнесенной в ответ на слова шутника Вивальдо о том, что жизнь монаха-картезианца не менее сурова, нежели жизнь рыцаря: "Может быть, она не менее сурова... – возражает Дон Кихот, – но что она не столь необходима для человечества – в этом я готов дать руку на отсечение. Ибо, если говорить правду, то солдат, исполняющий приказание своего капитана, делает дело не менее важное, чем сам капитан, дающий приказания. Я хочу сказать, что монахи в мире и покое молятся небу о благоденствии земли, мы же, солдаты и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они молятся: мы защищаем землю мощью нашей руки и лезвием нашего меча, и не под прикрытием кровли, а под открытым небом... Поэтому на земле мы – слуги Бога, мы – руки, с помощью которых осуществляется на ней его справедливость..." (I, XIII. Здесь и далее пер. Н.М. Любимова).

Сопровождающая эти слова оговорка – "Я не хочу сказать – такая мысль мне и в голову не может придти, – что дело странствующих рыцарей столь же свято, как жизнь монахов-затворников", – полностью перечеркивается другими заявлениями героя Сервантеса: "...Не все могут быть монахами, и различны пути, которыми Господь ведет избранников своих на небо, рыцарство – тоже религиозный орден, и среди рыцарей есть святые, пребывающие во славе" (II, VIII). В контексте же предшествующего этим словам рассуждения Санчо о том, что монахом быть выгоднее, нежели странствующим рыцарем, два пути на небо – монашество и рыцарское служение – не просто уравниваются: монашество явно дискредитируется[32].

Противопоставление "видимого" "невидимому", проходящее красной нитью через "Энхиридион", в котором "видимое" последовательно отвергается во имя незримого ("видимое следует подчинять невидимому"[33]), определяет собой "модус" взаи-

---

[32] Откровенно иронический подтекст имеет и наивное восхищение Санчо славой "святых мощей" (варваризация ритуала поклонения святым мощам – традиционный объект эразмовых обличений: "Я не осуждаю того, что ты с величайшим благоговением созерцаешь прах Павла, если это не противоречит твоей религии, – пишет Эразм в "Оружии...", – Если ты почитаешь немой и мертвый прах, а пренебрегаешь живым подобием Павла, до сих пор говорящим и дышащим, сохранившимся в его посланиях, разве это не опрокидывает твоей религии? Ты почитаешь кости Павла, запрятанные в ящичках, и не почитаешь его дух..? Придаешь большее значение куску тела, видному сквозь стекло, и не удивляешься всей душе Павла, сияющей в его посланиях?.. – *Эразм Роттердамский*. Указ. соч. С. 149).

[33] Там же. С. 153.

моотношений Дон Кихота и внешнего мира. Как подлинный эразмист, Дон Кихот исходит из мысли о том, что внешность обманчива, что она – лишь видимость[34]. Внешнее подвержено превращению, в том числе происходящему под влиянием времени, тогда как "человек внутренний" остается сущностно равным самому себе: "Я знаю и уверен, что меня очаровали, и поэтому совесть моя спокойна"[35] (I, XLIX), – заявляет Дон Кихот.

Все перипетии, происходящие с "человеком внешним", с материальными объектами окружающего мира, Дон Кихот приписывает злым волшебникам (мы, читатели романа, без труда убеждаемся, что достаточно скоро эти колдовские функции берут на себя друзья и недруги Дон Кихота – священник, цирюльник, ключница, прелестная Доротея, бакалавр Самсон Карраско, герцог и герцогиня и даже Санчо).

Но "человек внутренний", хитроумное воображение (el ingenio) Дон Кихота козням волшебников не только стоически противостоит, но осуществляет обратный акт: расколдовывает околдованный мир, возвращает "низким" вещам их изначальные идеальные обличья, создает тот феерический мир, в котором "волшебники" вынуждены действовать. Поэтому празднично-карнавальное перевоплощение мира, которым так восхищается М. Бахтин в романе Сервантеса (трактиров – в замки, шлюх – в знатных дам и т.п.), является не результатом естественной игры материально-телесной стихии, не природной метаморфозой, но плодом игры воображения ламанчского идальго, порождением его индивидуального творческого порыва.

Как персонаж карнавального празднества Дон Кихот сполна получает все причитающиеся ему "цирковые" (определение В. Шкловского) побои, претерпевает все падения с тощего Росинанта, чтобы вновь восстать – водрузиться на своего коня и продолжить путь, подчиненный законам летнего праздничного цикла[36]. Но как отщепившееся от плоти народа "я", как личность, герой Сервантеса действует во времени, устремленном то ли по направлению к "жизни вечной" (как полагает Сид Амет в конце романа), т.е. от небытия к подлинному бытию, то ли, напротив, от бытия – к небытию, к своему неизбежному исчезновению. Обе эти возможности – одна, определявшая мироощущение христианина Средневековья, другая, характерная для самоощущения человека Нового времени, – антиномически совмещаются в культуре позднего Возрождения, в романе Сервантеса, в "истории" его героя, развертывающейся одновременно в нескольких повествовательных планах. Он – и Дон Кихот Ламанчский, часть бессмертного целого народа – героя карнавализованного жатвенного ритуала, и "калиф на час", персонаж маскарадного шествия, организуемого светскими чинами и властями во Второй части, и сельский идальго Алонсо Кихано, чья жизнь подчинена законам энтропийного биологиче-

---

[34] Сам творец "Дон Кихота", разделяя эти эразмистские воззрения, одновременно, случается, склоняется к *уподоблению* внешнего внутреннему в духе ренессансной натурфилософии. Например, горячечное воображение Дон Кихота находит себе соответствие в сухости его тела.

[35] В оригинале: "Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia". Дословно: "Я знаю и положил для себя, что очарован, и этого мне достаточно для надежности моего знания о себе".

[36] См.: *Пискунова С.И.* Мотивы и образы летних праздников в "Дон Кихоте" Сервантеса // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999. № 2.

ского времени – законам старения и смерти[37], а также, но в значительно меньшей мере, законам времени исторического (для испанской идальгии века Сервантеса история как бы остановилась). Однако во всех этих ипостасях герой "Дон Кихота" предстает перед читателем как "человек внешний", в то время как в нем (на что и делал упор А. Кастро) есть и "человек внутренний". Он рождается в процессе создания Алонсо Кихано символического – и идеального, и событийно-реального одновременно – "текста" рыцарского романа, героем которого он же и является, романа, первоначально обретающего свою буквенную "плоть" в готических каракулях безымянных ламанчских летописцев и в арабской вязи хрониста Сида Амета Бененхели. А сам процесс создания этого текста неотделим от акта чтения: Алонсо Кихано читает как рыцарский роман "текст" окружающего его мира, переводчик-мориск – арабскую рукопись, автор – перевод, в котором находит возможные отклонения от оригинала, читатель – текст книги Сервантеса... И все они пребывают в едином, собирающем их в одном "месте" времени – во времени *созидающего текст акта чтения этого текста*. Это и есть то *настоящее романного изображения*, которое *заменяет* в романе Сервантеса *изображенное* "настоящее" ренессансной культуры периода ее расцвета. Время акта чтения – область существования "человека внутреннего", которая в культуре Нового времени посягает на замену средневековой "вечности".

Будучи не всегда в состоянии открыто выражать эразмистские воззрения, Сервантес нередко воскрешает в памяти посвященного читателя Эразмово учение рассуждениями "от противного". Так, адресованное Санчо требование разгневанного Дон Кихота "помнить разницу между господином и слугой, между сеньором и холопом" (I, XX), с одной стороны, откровенно противоречит Эразмову: "Зачем слова о расхождении там, где такое единство?"[38], а с другой – опровергается всем содержанием романа: любой читатель "Дон Кихота" подтвердит, что никакой разницы между господином и слугой в отношениях Рыцаря Печального Образа и его оруженосца нет и в помине, что их союз – образец братского духовно-телесного единения людей.

Говоря об эразмистском начале в "Дон Кихоте", об "Энхиридионе" как своего рода духовном прообразе романа, мы не должны представлять дело так, будто бы персонажем, в наибольшей мере воплощающим эразмистский идеал, у Сервантеса выступает именно Дон Кихот, а не какой-либо другой персонаж[39]. И хотя в донкихотовском сюжете, в образе мыслей и в поступках Дон Кихота отозвались многие мотивы "Энхиридиона", ламанчский идальго, особенно в начале своего пути, лишен таких важнейших добродетелей христианина-эразмиста, как скромность и кро-

---

[37] Это время хорошо проанализировано О.А. Светлаковой (см.: *Светлакова О.А.* "Дон Кихот" Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб., 1996), хотя мы и не согласны с мыслью исследовательницы о том, что оно играет существенную роль в хронотопе романа Сервантеса (по этой линии "Дон Кихот" сближен с плутовским романом).

[38] *Эразм Роттердамский.* Указ. соч. С. 176.

[39] Таковым, например, по мнению, М. Батайона (см.: *Bataillon M.* El erasmismo de Cervantes en el pensamiento de Castro // M. Bataillon. Erasme et L'Espagne. V. I–III. Géneve, 1991..V. III. P. 403–417), является дон Диего де Миранда – Рыцарь Зеленого Плаща (II, XVI–XVIII). См. о нем далее.

тость, смирение и готовность подчиниться обстоятельствам, претерпеть гонения сильных мира сего[40]. Оружие Рыцаря – не молитва, а, пускай и комические, спародированные, копьецо и меч, и служит он не Христу, а своей Даме, и подражает не Господу, а Амадису и Роланду. И тем не менее в облике престарелого идальго Алонсо Кихано проступает лик Дон Кихота – мистического рыцаря, который посвящен в тайны потустороннего мира, скрытого то ли на дне озера, колыбели его собрата-двойника Ланселота Озерного (см. L гл. Первой части), то ли в недрах пещеры Монтесиноса, а за его Дамой, пародийной Дульсинеей Тобосской, просматривается идеал Вечной Женственности[41].

Конечно же, сводить содержание "Дон Кихота" к проповеди неких зашифрованных доктрин, навязываемых роману истолкователями, – занятие забавное, но бесплодное. Но это не означает, что все содержание романа Сервантеса лежит на поверхности, что в нем нет глубинного, уходящего в толщу пронизывающих его образов-символов смысла[42].

Символическая многозначность творения Сервантеса возникает не только вследствие примирения в сознании ламанчского идальго и в самом сюжете "Дон Кихота" "мифа о рыцаре" и эразмизма. В "Дон Кихоте" стерта еще одна граница – между мистическим "телом Христовым" и патриархально-природной, органической целостностью старохристианского мира – "гротескным телом" толпы на карнавальной площади. При этом Сервантес ничего не изобретал, а лишь следовал логике одного из самых главных (после Рождества и Пасхи) католических празднеств – дня Тела Христова (или Тела Господня – Corpus Christi), посвященного таинству причастия (евхаристии): этот праздник был учрежден в 1264 г. и стал обязательным для всех католических стран в 1311 г. Корпус Кристи празднуется в первый четверг после Троицы и приходится, как правило, на середину июня. У праздника Корпус Кристи, как у всех средневековых католических праздников, была карнавально-телесная, площадная сторона, усиленная тем, что мотив духовно-телесной

---

[40] "Кротость дает нам способность воспринимать божественный дух ...Любовь покоится на смиренном и кротком" (*Эразм Роттердамский*. Указ. соч. С. 109).

[41] Его символическим воплощением в христианстве является, как известно, Дева Мария. С этой точки зрения весьма показательно, что Дон Кихот, ставший персонажем площадных и придворных празднеств практически сразу после выхода Первой части романа в свет (см. об этом: *Rodríguez Marín F.* Estudios cervantinos. Madrid, 1947, а также: *López Estrada F.* La aventura frustrada, Don Quijote como caballero aventurero // Anales cervantinos. T. 3. 1953), в качестве главной маскарадной фигуры участвовал в карнавализованных шествиях, коими сопровождались такие праздники, как День Пречистой Девы Марии (la Inmaculada Concepción) в Севилье в 1616 и в 1617 гг., в Баэсе и в Утрере в 1618 г. Характерно также, что Дон Кихот как победитель демонов принимал участие в маскарадном шествии на празднестве в Сарагосе в 1614 г., посвященном канонизации Св. Тересы де Хесус. Правда, Ф. Родригес Марин предполагает, что сарагосский Дон Кихот восходит к Лжекихоту Авельянеды, поскольку это празднество состоялось сразу после выхода в свет подложной "Второй части", но Ф. Лопес Эстрада справедливо указывает, что в сходном обличье Дон Кихот фигурировал в 1615 г. в день св. Франциска в шествии в Кордове, также посвященном канонизации основательницы Ордена кармелиток и имевшем место вскоре после публикации Второй части романа Сервантеса.

[42] О "скрытом символизме" ренессансной культуры см.: *Соколов М.Н.* Вечный Ренессанс. М., 1999. С. 110 и сл.

метаморфозы присутствует в самом церковном таинстве, которому он посвящен (пресуществлению хлеба и вина в плоть и кровь Христову). В центре праздника – вынос Дароносицы, заключающей в себе гостию. Религиозная процессия движется по улицам города[43], украшенным зелеными ветвями, в сопровождении карнавального шествия, в котором выделяются образы гигантского чудовища – змея-дракона Тараски, символизирующего грех идолопоклонничества[44], великанов – символов телесного преизбытка и людской гордыни, а также других "знаковых" тварей: обезьян, коней, орлов[45].

С Корпус Кристи соотнесены важнейшие карнавализованные эпизоды "Дон Кихота", содержащие в себе намек на таинство евхаристии: сражение пребывающего в лунатическом экстазе Дон Кихота с бурдюками, наполненными вином (I, XXXV), спуск Дон Кихота в пещеру Монтесиноса (II, XXII–XXIII), где он лицезреет торжественно-комический церемониальный вынос "присоленного" (чтобы не протухло!) сердца (плоти) героя одного из каролингских романсов – Дурандарте. Оба эпизо́да знаменуют переход героя в новое состояние сознания, сопряженное с его временным "отсутствием" в *этом* мире и с посещением *другого* (Дон Кихот спит или как бы спит, оказываясь одновременно в ином пространственном измерении, во временной изоляции от других людей). О Корпус Кристи речь идет и в других главах романа: когда сообщается о том, что покойный "пастух" (на самом деле переодевшийся пастухом студент из Саламанки) Хризостом при жизни сочинял аутос ко дню Тела Господня (I, XI), или когда повествуется о встрече Дон Кихота и Санчо с труппой ряженых актеров (I, XI) – персонажей ауто о Кортесах Смерти (ауто сакраменталь – театральный жанр, родившийся как составная часть празднеств Корпус Кристи). Наконец, образы великанов в разных обличьях, переполняющие и воображение Дон Кихота и страницы романа Сервантеса, вызывали в памяти первых читателей романа не только соответствующие эпизоды "книг о рыцарстве", но и фигуры гигантов-участников шествий в день Тела Христова.

---

[43] Крупнейший испанский этнограф Х. Каро Бароха, характеризуя праздник Корпус Кристи, пишет: «Этот праздник теснейшим образом связан с более или менее оформленной городской средой, поскольку в нем участвуют все "тело" (cuerpo) социума и все существующие "корпорации". Представление о том, что все сообщество личностей, составляющее народ или республику, это – "тело", отражено в текстах испанских классиков» (*Caro Baroja J.* El estío festivo: fiestas populares del verano. Madrid, 1984. P. 53).

[44] В Мадриде в виде Тараски оформлялась деревянная повозка, вокруг которой группировалось шествие (см. *Caro Baroja J.* Op. cit.)

[45] Анализируя один из эпизодов "Гаргантюа и Пантагрюэля", приходящийся как раз на день Тела Господня, М. Бахтин писал: "Такая травестия религиозной процессии в праздник Тела Господня представляется чудовищно кощунственной и неожиданной только на первый взгляд. История этого праздника во Франции и в других странах (особенно в Испании) раскрывает нам, что весьма вольные гротескные образы тела были в нем вполне обычны и освящены традицией. Можно сказать, что образ тела в его гротескном аспекте доминировал в народно-площадной части праздника и создавал специфическую телесную атмосферу его" (*Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 248). См. подробное описание Дня Тела Господня в указ. соч. Х. Каро Барохи, а также в кн.: *Силюнас В.Ю.* Испанский театр XVI–XVII веков. М., 1996. С. 34.

Описанная система метафорических отождествлений, казалось бы, несовместимых друг с другом начал (мифическое рыцарство = мистическое "тело Христово" = "гротескное тело" толпы), организованная вокруг универсального образа *космического тела как символа единства целостности бытия*, – оригинально-сервантесовский вариант того синтеза языческого и христианского начал в культуре Возрождения, который, по мысли П.М. Бицилли, следует восстанавливать "только отойдя в сторону от вопроса о *содержании* – "языческом" или "христианском". "Синтез по *содержанию* должен быть заменен синтезом по *психологической форме*", – утверждал русский ученый, интерпретируя Возрождение как раскрытие «тенденции к "конкретности", стремления охватить жизнь во всей ее полноте». «Формула "открытие мира и человека", – писал Бицилли, – этим не устраняется, но она разгружается от того антихристианского смысла, который вкладывал в нее Буркхардт, отождествлявший христианство с аскетизмом и "мироотрицанием"»[46].

И здесь самое время вспомнить, что Сервантес был эразмистом по убеждениям, но францисканцем – по жизнеощущению и по социальному статусу. «...Для нас далеко не безразлично то, – присоединим свой голос к голосу Бицилли, – что авторы трех величайших созданий новой европейской литературы – "Божественной Комедии", "Пантагрюэля", "Дон Кихота" были францисканцами... Сервантес, полжизни проведший в борьбе за торжество Креста над Полумесяцем в той самой "Варварии", куда ходил было проповедовать св. Франциск ...прославивший Госпожу бедность... в романе о добровольном бедняке, последнем странствующем Рыцаре, прославивший Смирение в последней сцене романа, где Дон Кихот, достигнув высшей точки просветления, становится вновь просто Алонсо Добрым ... сам под старость вступает в Третий Чин францисканского Ордена»[47].

Начатый Бицилли перечень францисканских мотивов "Дон Кихота" можно было бы продолжить. Так, св. Франциск и Дон Кихот – чуть ли ни единственные "герои" западноевропейской культуры, на чьих образах лежит отчетливый отпечаток юродства[48] – поведенческой практики, сложившейся на Востоке и, по мнению исследователей этого феномена, отсутствующей в католической Европе[49].

---

[46] *Бицилли П.М.* Св. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса // Бицилли П.М. Указ. соч. С. 181–182.

[47] Там же. С. 189.

[48] Юродство, связанное с осознанной симуляцией безумия, отчетливо проявляется в знаменитой сцене "покаяния" Дон Кихота в Сьерра-Морене (I, XXV). Анализируя этот эпизод, критики пишут об актерстве Дон Кихота, но не о том, что это – актерство особого рода. Финальная и наиболее выразительная сцена "покаяния" Рыцаря Печального Образа включает в себя сугубо юродский жест заголения. О юродстве св. Франциска пишет П.М. Бицилли (см. указ. соч.).

[49] См. *Иванов С.А.* Византийское юродство. М., 1994. Вместе с тем М. Батайон (см.: *Bataillon M.* Ibid., P. 425) пишет о неких "фада" (провансальское по происхождению слово), известных в романских странах, как о "народных собратьях придворных шутов", которые *культивировали* свое безумие (или глупость – folie), стремясь заставить окружающих не столько жалеть или презирать их, сколько восхищаться ими. "Фада" – это "сумасшедший, который принимает свое безумие как достоинство (vérité), ставящее его выше благоразумных людей". Французский испанист именует "фада" "профессиональными" или "добровольными" безумцами, претендующими на то, чтобы воплощать в себе дух христианства, превосходящий обыденную мораль – как своего рода "абсолютное сумасшествие".

Сам идеал *странствующего* рыцарства во многом сориентирован на идеал *странствующего* монашества, утвердившийся в Европе в XIII в. и несомненно повлиявший на возникновение самого образа странствующего рыцарства – коллективного персонажа прозаических рыцарских романов XIII–XV вв. Иными словами, Дон Кихот ориентирует свое поведение на *книжное* странствующее рыцарство и – на *реальное* странствующее монашество. Только так можно объяснить, почему Дон Кихот выступает на страницах романа не только как странствующий рыцарь, но и как *странствующий проповедник*: его собрание "увещеваний" составляют знаменитые "речи" – о Золотом веке, о целях рыцарского служения, о воинском поприще и науках (armas y letras), о рыцарских романах и о многом другом, речи, адресованные как образованным, так и простым, невежественным людям. Отсвет францисканской любви ко всему сотворенному Господом лежит и на образах – именно так! – Росинанта и осла Санчо – двух полноправных персонажей романа Сервантеса, в особенности, на том, как представлена писателем духовно-телесная связь Санчо и его Серого (Rucio). Так что францисканский "дух" романа Сервантеса отнюдь не сосредоточен в образе одного Дон Кихота и именно Дон Кихота (сводить все, что ни есть в "Дон Кихоте", к образу его главного героя – уже отмеченная выше склонность многих читателей и критиков романа). Та же, отмеченная самим П.М. Бицилли, коренная особенность мировидения св. Франциска, и его последователей – *чувство конкретности* – в большей мере присуще Санчо (при всей его склонности принимать на веру многое услышанное из уст всеведущего господина), нежели Дон Кихоту, который презирая видимую оболочку вещей, смотрит на мир с позиций платонизма. Именно Санчо – со всей его простодушной жадностью, аппетитом, наивным тщеславием, Санчо – примерный семьянин и оседлый хлебопашец, которого неведомо какая дурь заставила бросить насиженное место и отправиться в путь, – оказывается ближе к подлинно францисканскому видению мира. Он представляет в романе Сервантеса то же, что представляла в день Тела Христова веселящаяся и несущая чучела страшилищ, слившаяся в ликовании в единое целое толпа – *карнавализованное францисканство*, во внешне гротескных проявлениях которого сохранялся дух подлинной веры в чудо пресуществления. Карнавализованным францисканцем в какой-то мере является и Дон Кихот, соединивший в себе эразмистский утопизм и францисканско-деятельное отношение к слову, которое – вопреки всем преградам – должно осуществиться, во-плотиться, обернуться "плотью" – деянием, судьбой, свободным выбором предначертанного свыше пути. И хотя сам Эразм был сосредоточен не столько на таинстве духовно-телесных метаморфоз, сколько на проблемах духовного самосозидания личности, именно в ритуалах Корпус Кристи, по мнению М. Батайона, сохранялся в Испании во времена гонений на эразмизм дух эразмистского благочестия[50].

Сам Эразм в "Энхиридионе" не раз обращается к жизни св. Франциска как к истинной реализации задач "христианского воина", вспоминает о нем как о примере подлинного "евангельского благочестия"[51], о его жизни "с добровольными друзья-

---

[50] См.: *Bataillon M.* L'Espagne religieuse dans son histoire // Bulletin Hispanique. 1950. V. LII. P. 19.

[51] *Эразм Роттердамский.* Указ. соч. С. 85.

ми" – как о жизни по "евангельскому учению о свободе духа"[52], в "презрении к грязной роскоши"[53]. В "Оружии христианского воина" есть и рассуждение о Франциске как о "глупце", следовавшем "собственному духу", ибо этот дух был с ниспосланным на него Духом Господним[54]. Тем самым жизнь основателя ордена францисканцев вписывалась Эразмом в историю осуществления пророческих изречений ап. Павла о "блаженных безумцах". Другой – важнейшей – страницей этой истории является история хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, в чьем безумии соединились "блаженная" "глупость" Франциска и карнавальное "дурачество" эразмовой героини – Мории[55]. Поэтому карнавальный смех соседствует в романе Сервантеса со смехом совсем другого типа и уровня. Это – развоплощающий видимости, отрицающий самое себя, глубоко *личностный* смех, смех, в котором, как и в смехе карнавальном, нет ничего – агрессивно-разрушительного. Как всякий смех, он "представляет собой высший и адекватный существу человека способ оценки зла, превышающий возможности любых иных прагматически более значимых эмоций, "готовых" стать действием. В противоположность им, направленным либо на разрушение внешней ситуации (гнев, ярость), либо на саморазрушение субъекта (горе, страдание), смех ничего не разрушает, но зато сам противостоит любым мыслимым в принципе формам и видам разрушения"[56]. Но если архаический, карнавальный смех стремился к восстановлению материального целого, к поддержанию жизни космоса в его природном, телесном аспекте, то интериоризированный смех Сервантеса творит новую – духовную – общность.

Личностный смех Сервантеса – это смех, перенесенный с карнавальной площади в роман, в мир диалогического личностного общения. Слова, которыми обмениваются персонажи "Дон Кихота", могут разделять их в зависимости от их убеждений, вероисповедания, социальной принадлежности, жизненных и эстетических установок, но одновременно (хотя, конечно, далеко не всегда) они могут объединять их, выявляя ограниченность позиции каждого из участников диалога, *взаимодополнительность* их точек зрения на мир и – потенциальную возможность их сосуществования в открытом в пространство жизни художественном пространстве романа.

Классический тому пример, не случайно привлекший внимание К. Гильена[57], – эпизод встречи Дон Кихота с доном Диего де Миранда и пребывания Дон Кихота в его доме (II, XVI, XVIII), в который вставлена знаменитая "авантюра со львами" (XVII), эпизод, вокруг которого в сервантистике до сих пор продолжается полемика. На самом поверхностном уровне спорили о том, чему Сервантес как автор отдает предпочтение: безрассудному героизму Дон Кихота или благоразумной мирной жизни "в покое и в достатке" дона Диего (извечный спор "кихотистов" и "антикихотистов").

---

[52] Там же. С. 86.

[53] Там же. С. 148.

[54] Там же. С. 227.

[55] При том, что нет прямых доказательств того, что Сервантес читал "Похвальное слово Глупости" (см.: *Bataillon M.* Erasme et L'Espagne. V. III).

[56] *Карасев Л.В.* Парадокс о смехе // Вопросы философии. 1989. N 5. С. 55.

[57] См.: *Guillén C.* Cervantes y la dialéctica, o el diálogo inacabado // Guillén C. El primer Siglo de Oro. Estudios sobre géneros y modelos. Barcelona, 1990.

Главное в этом эпизоде, охватывающем три главы второй части, – его головокружительная парадоксальность: в нем встречаются – сопротивопоставляются (а не просто "сталкиваются", как любили писать критики-романтики) и расстаются, сохраняя друг к другу полное уважение и человеческую приязнь, два несогласуемых темперамента, два образа жизни, две личности двух персонажей-*единоверцев*. Оба "кабальеро" – книжный и реальный (конечно, дон Диего – тоже персонаж из книги – из романа Сервантеса, но он книжный персонаж "первого уровня", по отношению к которому Дон Кихот – книжный герой "вдвойне"), каждый по-своему – и автор вместе с каждым из них – приверженцы эразмистской "веры", в согласии с которой человек обязан проложить свой собственный путь к Богу, взрастить Бога в своей душе и следовать по жизни *в согласии со своим идеалом*. Но эразмизм Дон Кихота, соединенный с жизненной активностью францисканства и идеалами ренессансно-рыцарской героики, далеко отходит от житейского *эпикурейского* (во многом столь же недостижимого) идеала самого Эразма – идеала мирной размеренной жизни в сельском уединении, в окружении книг и друзей-собеседников. Жизнь дона Диего этот идеал въявь воплощает[58]. Встреча двух героев обнаруживает взаимодополняющие достоинства каждой из этих жизненных позиций. При этом важны не только слова, которыми обмениваются Дон Кихот и дон Диего, но и та атмосфера, которая сопровождает встречу-диалог двух "рыцарей": изумление, молчаливое смятение, терпеливое стремление дона Диего постичь загадку совмещения в словах и мыслях Дон Кихота разума и безумия; вдруг обнаружившаяся способность последнего предугадывать слова и мысли собеседника, опровергать их как разумными доводами, так и демонстрацией подлинного бесстрашия (эпизод несостоявшегося сражения Дон Кихота со львами). В этом – как, впрочем, и в ряде других случаев – Дон Кихот выступает не как нарушитель налаженного хода жизни, а как примиритель, согласовыватель враждующих начал: в качестве таковых в эпизоде встречи с Рыцарем Зеленого Плаща представлены не два "рыцаря", а дон Диего и его сын Лоренсо, поэт-филолог, являющий собой воплощение столь ненавистного Эразму (и его верным последователям) "цицеронианства", т.е. гуманизма сугубо "гуманитарной", антикизирующей ориентации. Лоренсо – душевная боль дона Диего, которой он сразу же делится с Дон Кихотом, хотя уже подозревает, что его собеседник немного "не в себе". В ответ Дон Кихот после рассуждения о любви, связывающей отцов и детей, и о праве детей самостоятельно избирать свой жизненный путь (вполне эразмистский поворот темы) произносит знаменитую речь в защиту Поэзии, выступая с позиций гуманизма как культуры социально значимого и этически ориентированного боговдохновенного Слова. Как показывает дальнейшее развитие событий, ему удается дона Диего не только удивить, но и убедить: по прибытии путников в дом дона Диего, "благоразумный дворянин", поняв, что его благоразумия недостает для постижения смеси безумия и мудрости в речах и поведении Дон Кихота[59], обращается к "поэтическому" разуму дона Лоренсо, в ответ на расспросы которого

[58] Странно, что никто из сервантистов, насколько нам известно, не обратил внимание на имя жены дона Диего – Кристина (Cristina).

[59] Известная просветительская концепция характера героя Сервантеса, согласно которой Дон Кихот произносит умные речи и творит безумства, восходит именно к наблюдениям дона Диего.

Дон Кихот произносит еще одну речь – об обязанностях странствующих рыцарей, убеждая слушателя в благородстве своего "безумия". И хотя поначалу дон Лоренсо также пытается поставить гостю диагноз – безумие, перемежающееся с временными просветлениями, – в конце концов он вынужден признать, что ухватить, зафиксировать, сформулировать суть высокого безумия Дон Кихота в принципе невозможно (Дон Кихот ускользает из сети рациональных определений, "как угорь из рук"). Поэтому он всерьез принимает похвалы гостя. Следствием нескольких дней пребывания Дон Кихота в доме дона Диего является то, что дон Диего *вместе с сыном* одобряет решение Дон Кихота посетить пещеру Монтесиноса и "отец и сын" (padre y hijo) *вместе* (теперь они – единое целое) провожают искателя приключений в путь[60].

Интерпретируя роман Сервантеса как диалогический "роман сознания" (для М. Бахтина это и есть роман sui generis!), мы получаем возможность постичь механизм совмещения в нем "перспективистского" и "смехового" начал. Смех, стыдящийся самого себя, смех, уводящий читателя от "внешнего", телесно воплощенного в духовную глубину, смех, сталкивающий читателя с персонажем в его духовной обнаженности и незащищенности, может звучать только в контексте диалогического повествования. Более того, именно такой смех диалогический контекст романа Сервантеса и создает. Впрочем, возможна и постановка проблемы vice versa: именно диалогический контекст разрушает внешнюю, пластическую оболочку образа героя и уводит смеющегося читателя с "поверхности", из мира телесных метаморфоз вглубь, в сферу превращений духовных.

Так или иначе, смеясь над Дон Кихотом, читатель обретает одновременно дар совмещения своего видения мира с кругозором сервантесовского героя, познания "правды" донкихотовского преображения реальности, не теряя из виду "правды" тех, в чей мир Дон Кихот вторгается, одержимый своими фантазиями. Читатель должен то созерцать похождения Рыцаря извне, тот разглядывать тот или иной фрагмент романной реальности изнутри – в ракурсе восприятия кого-либо из героев. Но чаще всего он, как и автор, пребывает где-то на границе "внутреннего" и "внешнего": мира романа и мира реальности[61], мира "слов" и мира "вещей", книги и жизни, – с учетом всей условности и подвижности этой границы (ее ведь можно провести и внутри самого сервантесовского дискурса, и внутри отдельных его фрагментов). Сервантес не столько *сталкивает* в "Дон Кихоте" поэзию и прозу, книгу и жизнь, сколько стремится показать причудливые *переходы* из одного в другое. В "поэзии" – в мире рыцарских фантазий Дон Кихота, в любовных перипетиях так называемых "вставных" новелл из Первой части – обнаруживается стремление к воплощению "поэзии" в "прозу" жизни (исход может быть различным: от комических неудач Рыцаря до благополучных развязок любовных историй, за исключени-

---

[60] О диалогическом начале в сюжетно-композиционном построении "Дон Кихота", равно как о реализации диалогического строя романа на сугубо речевом уровне – в аспекте романного разноречия – мы будем говорить в следующих главах.

[61] Ср. у М. Бахтина: "Автор должен находиться на границе создаваемого им мира как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость" (*Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 166).

ем истории "безрассудно-любопытного"). И у современного читателя романа (уже у просвещенного читателя XVIII столетия) вполне современный "внутренний" смех начали вызывать не падения-избиения Дон Кихота или подбрасывание Санчо на одеяле (древний карнавальный обычай), а как раз то, как изощренно и последовательно перетолковывает Дон Кихот все им увиденное и все с ним происходящее.

Творец "Дон Кихота", то и дело преступающий границу "внешнего" и "внутреннего", постоянно попадающий в "плен" творимого им текста, проникающий в глубь сознания им же созданных героев, вступающий в прямой личный контакт с читателем, не может быть всесильным ироничным кукловодом, который приводит в движение мир своего "райка". И все же смех Сервантеса, с известными оговорками, можно было бы определить как иронический: именно ирония, а не пародия, является основным структурообразующим принципом сервантесовского повествования.

В последние десятилетия, прошедшие, как уже говорилось, под знаком "антиромантического бунта", о пародийности "Дон Кихота" пишут чуть ли не все сервантисты, не проводя при этом никаких четких границ между "пародией" и "иронией", "пародией" и "травестией", используя эти слова как синонимы слова "осмеяние". Однако пародия, генетически связанная с "логикой" карнавальных телесных метаморфоз (ее семиотическое "ядро" – передразнивание), устанавливает между пародируемым и пародирующим *минимальную* дистанцию, точнее даже стремится ее вовсе уничтожить: для того, чтобы спародировать другого, я должен поначалу отождествить себя с ним, как бы с ним слиться, чтобы поглотить его собой, трансформировать его изнутри, выставив напоказ его комические стороны. Ирония, напротив, неотделима от понятия "дистанция" (ср. ироническая дистанция – пародийная дистанция (?)): акт иронического высказывания прежде всего отделяет говорящего и от предмета высказывания, и от самого высказывания. Пародирование "на иронической дистанции", о которой нередко пишут критики-постмодернисты, – вещь, трудно вообразимая, хотя вполне можно представить себе пародию, помещенную в иронический контекст. И если пародия сопряжена с карнавальным "овнешняющим" комизмом, ирония, напротив, связана со смехом "внутренним", личностно-духовным, с парадоксальным процессом самоутверждения "я" в форме самоумаления, самоуничижения (изначальное значение греч. eiron антонимичного alazon)[62].

"У Сервантеса, так же как у Ариосто, – пишет Е.М. Мелетинский, – рыцарский роман является прямым объектом *иронической интерпретации*, но соотношение этого объекта с автором и героями принципиальное иное. В то время как Ариосто пишет свой, пусть *пронизанный элементами пародии* вариант рыцарского повествования, Сервантес *изображает рыцарский роман как бы со стороны*, посредством рассказа о помешавшемся от чтения рыцарских романов... идальго... Его приключения становятся пародией на рыцарский роман, а *все произведение в целом сати-*

---

[62] Например, ироническое самоумаление автора-романиста, передающего свои права автору "подставному", как правило, парадоксально сопряжено с его сознанием своего авторского всевластия в созидаемом им мире. Автор-пародист, напротив, *до известной степени* (чтобы не превратиться в стилизатора) "растворяется" в объекте своего осмеяния, *начиная с утраты собственной жанровой точки зрения на мир*.

рой на рыцарство (слово "сатира" мною здесь употреблено в самом широком смысле). Собственно рыцарский элемент фигурирует в качестве "обозначающего", причем только в сознании Дон Кихота и в некотором "карнавальном" подыгрывании окружающим, а в качестве "обозначаемого" выступает жизненная проза... Можно сказать, что в "Дон Кихоте" на "входе" мы имеем рыцарский роман, а на "выходе" нравоописательный роман нового времени... Сервантес, "*сатиризуя*" рыцарский роман... создает новый тип романа" (курсив мой – *С.П.*)[63]. Е.М. Мелетинский явно хочет уйти от навязанного ему традицией определения романа Сервантеса как пародии, поскольку видит, что "Дон Кихот" – не пародия, а *ироническое иносказание*, что рыцарский роман не сокрушается Сервантесом "лобовой" пародийной атакой, а изображается "со стороны" – "посредством рассказа", полного иронии, юмора, цитат и аллюзий.

И впрямь: чтобы убедиться в этом, достаточно открыть "Дон Кихота" и начать читать: "В некоем селе Ламанчи, имени которого мне не хочется упоминать, не очень давно жил один идальго, из числа тех, что имеют родовое копье, древний щит, тощую клячу и борзую собаку...". В открывающей сервантесовское повествование фразе есть *скрытая полемика* с традиционным зачином рыцарских романов, авторы которых с претензией на историчность описываемых событий сразу же указывают мифические или полу-мифические время и место действия[64]. Но Сервантес не *воспроизводит* зачин того же "Амадиса", комически стилизуя и трансформируя его: он просто *отталкивается* от хронотопа "книг о рыцарстве", выстраивая свое повествование, судя по всему, изначально *задуманное как новелла*, по отношению к рыцарскому роману как *контр-жанр*.

Для Сервантеса-новеллиста важен не пародийный контраст героического содержания и "низкой" (новеллистической, комической) формы или же несовместимость комической фабулы, в центре которой – образ свихнувшегося сельского дворянина предпоследнего разряда (последними были эскудеро), и "высокой" эпической формы (впрочем, таковыми "книги о рыцарстве" никогда ни в чьих глазах не были), а многообразные непредсказуемые эффекты, производимые в художественном пространстве романа встречей двух "реальностей" – "исторической" и "поэтической", современной, узнаваемой, и остраненной, фантастической, а, главное, самая возможность *присутствия второй в первой*. Этот вполне новаторский разворот сюжета нельзя смешивать с известным уже позднему Средневековью "примитивным" вторжением первой, "реальной" реальности во вторую – вымышленную (классический пример – приземленность ряда эпизодов и образов каталанского рыцарского романа "Тирант Белый"), т.е. с тем, что историки литературы называют расширением сферы "реального". В "Дон Кихоте" сферу "реального" расширять некуда: она возникает на страницах романа изначально как демонстрация отсутствия границ между литературой и жизнью, актом письма и актом чтения, на что на-

---

[63] *Мелетинский Е.М.* Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 215.

[64] Вспомним начало "Амадиса Галльского": "No muchos años después de la Pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesuscristo, fue un rey muy cristiano en la pequeña Bretaña por nombre llamado Garinter... ("Вскоре после распятия нашего Искупителя и Спасителя Иисуса Христа в малой Британии жил один король-христианин по имени Гаринтер...").

целен уже пролог, содержащий диалог автора и его друга – первого читателя "Хитроумного идальго", который одновременно является и персонажем этой истории, и соавтором автора, советующим ему, как лучше пролог написать.

Нет ничего непосредственно пародийного и в дальнейшем развертывании собственно *авторского* повествования – как на стилевом уровне, так и в плане использования отработанных авторами рыцарских романов композиционных приемов и сюжетных ходов[65], – вплоть до начала IX главы, когда начинается сервантесовская игра с подставным автором Сидом Аметом, пародирующим функцию мага-повествователя из libros de caballerías. Главное же, "арабский хронист" довольно скоро (начиная с XXII главы) исчезает из Первой части, равно как отпадает, в конечном счете, деление "Дон Кихота" 1605 г. на четыре, пародийно имитирующее четырехчастность большинства рыцарских романов, "книги".

Конечно, Дон Кихот или тот же Санчо, забавно стилизующийся под героя-рыцаря в эпизоде с сукновальными молотами, первый – невольно, второй – сначалу наполовину, а затем вполне сознательно, пародируют своими действиями и словами рыцарские повествования. Но эти эпизоды – не доказательство того, что чем-то аналогичным занят Сервантес *как создатель определенным образом организованного жанрово-завершенного художественного целого* – "Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского".

Повествование в романе Сервантеса, перерастая изначальный новеллистический замысел, развивается по двум "осям"[66]: по горизонтальной оси (в этом направлении сюжет развивается как нанизывание отдельных эпизодов-авантюр на нить странствий героя, как то имело место в рыцарском романе) и по вертикальной, по которой расширение повествования происходит за счет включения в роман так называемых "вставных" историй, начиная с истории пастуха Хризостома и пастушки Марселы, "взламывающих" плоскость пародии и вносящих в начинающий становиться монотонным рассказ о приключениях сумасшедшего идальго явное разнообразие.

Но только ли поиск "разнообразия" (при всей важности этой категории для ренессансной эстетики) заставил Сервантеса выйти за границы его первоначально новеллистического замысла, "уклониться" от пародийного нанизывания эпизодов-авантюр и начать "взбираться" по вертикальной оси? Что, кроме участия в увлекательной литературной игре, водило сервантесовским пером? Ведь если бы Сервантес имел намерение пародировать рыцарские романы, в том числе и их формально-композиционные несовершенства, то хотя бы по формальным законам литературной пародии он должен был стремиться не к разрушению "горизонтальной" повествовательной оси, не к поиску разнообразия, а к повтору, к нагнетанию комически трактованных рыцарских авантюр, к гиперболизации, к комической "механизации"

---

[65] Вместо нанизывания авантюр в IV главе представлены лишь две "авантюры", следующие одна за другой: неудачное заступничество Дон Кихота за нерадивого пастушка Андреса и встреча с толедскими купцами, завершившаяся падением идальго с коня и его избиением. Этих двух эпизодов Сервантесу-новеллисту достаточно, чтобы передать всю несуразность донкихотовского поведения, продиктованного простым сумасшествием.

[66] См.: *Williamson E.* "Don Quijote" y los libros de caballerías. Madrid, 1990. P. 215.

приема нанизывания эпизодов. Он должен был бы громоздить авантюру на авантюру, обрывать, скрещивать и запутывать сюжетные линии (благо пример Ариосто был перед глазами!) *до бесконечности*. Он должен был не отказываться от деления первой части на "книги", а придерживаться этого деления до конца, максимально используя при этом пародийный образ подставного автора. Ничего этого мы в "Дон Кихоте" 1605 г. не наблюдаем. Пародируя *отдельные* эпизоды и мотивы рыцарских романов, *отдельные* их приемы (обрыв повествования в конце VIII главы, введение образов "подставных" авторов-хронистов в лице ламанчских летописцев, а затем и Сида Амета), добравшись со своими героями до Сьерра-Морены (в первоначальной версии Первой части), Сервантес выходит из области повествования о карнавально-травестийных похождениях безумного идальго, возомнившегося себя странствующим рыцарем, повествования, *частично* основанного на сюжетной схеме рыцарского романа, в *сферу пасторальной эклоги* и непосредственно соприкасающегося с ней жанра – *гуманистического диалога*.

В "окончательной" версии Первой части сдвиг сервантесовского повествования по направлению к пасторали происходит уже в XI главе, в момент встречи Дон Кихота и Санчо с козопасами. Эта встреча и произнесенная у костра перед козопасами речь Дон Кихота о Золотом веке готовят включение в повествование пасторального эпизода с пастушкой Марселой. Более того, сама структура Первой части, как обнаружил Х.Б. Авалье-Арсе[67], организуется не просто по предложенной Э. Вильямсоном схеме (прото-новелла – цепь рыцарских эпизодов – включение в нее "вставных" новелл – фарсовый эпизод сражения Дон Кихота с винными бурдюками – вновь возвращение к цепи эпизодов, трансформирующихся под конец опять в фарс), но и по модели классического пасторального романа – "Дианы" Х. де Монтемайора, с той разницей, что у Сервантеса место дворца Фелисии, в котором находят разрешение большинство любовных драм персонажей-пастухов, занимает постоялый двор в предгорьях Сьерры-Морены на дороге в Тобосо[68]. Композиция Первой части циклична и так или иначе "вращается" вокруг Сьерры – места, воплощающего пасторальный хронотоп в его обоих изводах – "идеальном" (зеленая лужайка на берегу ручья, избранная Дон Кихотом для своего "покаяния") и "реальном" (поросшие рощицами пробковых дубов скалы, в расщелинах между которыми козопасы отыскивают корм для своих стад: пасторальным овечкам здесь не место), а также постоялого двора, места встречи всех страждущих влюбленных.

С.Г. Бочаров отмечает, что эпизод театрализованного "безумства" "Дон Кихота" в горах Сьерра-Морены обозначает особую "ступень в развертывании композиции "Дон Кихота", поскольку "до сих пор герой принимал внешний мир как роман, в мире существовал, как в романе; теперь он решает продолжить его своим собст-

---

[67] *Avalle-Arce J.B.* La novela pastoril española. Madrid, 1961. P. 197.

[68] Но вряд ли это "замещение" можно трактовать как целенаправленное пародийное снижение-подмену, поскольку в тексте нет никаких указаний на это намерение автора: напротив, Сервантес использует "модель" "Дианы" как бы "неосознанно", во всяком случае не демонстративно (не случайно лишь в 50-е годы нашего столетия это "тайное" сходство "Дон Кихота" и "Дианы" было замечено), в то время как пародия стремится к максимальному самопроявлению (что, впрочем, не гарантирует ее жизнь в сознании всех читателей всех времен).

венным творчеством... Дон Кихот ... будет играть самого себя, сумасброда, каким его знают все"[69]. «У нас, – развивает исследователь свое наблюдение, – является чувство, что герой Сервантеса знает себя "объективно", знает общее мнение о себе и его относительную справедливость, но знает больше и видит шире: я не удивляюсь, что все считают меня за помешанного, говорит он, *ибо дела мои как будто таковы*. Моменты подобного "просветления", которое, однако, не нарушает логику его безумия, но как раз "продолжает" его, особенно отличают Дон Кихота второго тома; начало такого расширения образа-приключения в Сьерра-Морене, когда с увеличением бреда в поступках героя возникает ясность в сознании»[70].

Впрочем, "просветы" в сознании Дон Кихота и "расширение" его образа начинаются несколько раньше – уже в XI главе (вспомним, что первоначально XI–XIV главы находились в начале XXV и непосредственно к эпизоду с "покаянием" примыкали!), в момент встречи с козопасами, когда Дон Кихот впервые за все время своих странствий ничего к ситуации, в которой он оказался, не примысливает, поэтому и сама встреча оказывается вполне мирной и взаимно доброжелательной. На смену трагикомическим столкновениям героя с миром приходит ситуация диалогического общения (беседы), разворачивающаяся, как во многих гуманистических диалогах, на лоне природы и постепенно переходящая, как это опять-таки нередко в диалогах бывает, в монолог одного из участников беседы – в первую гуманистическую речь-проповедь Дон Кихота о Золотом веке. Речь эта, с одной стороны, является собранием "общих мест" многочисленных гуманистических рассуждений на популярнейшую в культуре Возрождения тему, а с другой, демонстрирует образцовое владение Дон Кихотом риторическим словом. В речи о Золотом веке нет ничего прямо-пародийного, хотя она и сопровождается ироническим снижающим ее пафос комментарием повествователя: "Всю эту длинную речь (от которой он отлично мог бы воздержаться) наш рыцарь произнес только потому, что предложенные ему желуди навели его на мысль о Золотом веке, и вот вздумалось ему без нужды разглагольствовать перед пастухами, которые, не произнося ни слова, слушали его в недоумении и растерянности. Санчо тоже молчал, грызя желуди и частенько навещал второй бурдюк, который, чтобы вино было холоднее, подвешен был к дубу". Ироническое прозаизирующее обрамление – так мы могли бы определить процитированные авторские слова.

Таким же "прозаизирующим" аккомпанементом к речи Дон Кихота служит и песнь-романс "образованного" пастуха Антонио, обращенная к Олалье, в котором тема возвышенной любви-служения плавно перетекает в тему любви телесной и увенчивается темой христианского брака как конечной цели всякого любовного служения. Этот романс, балансирующий на границе бурлеска и иронии, вводит в роман тему трех следующих глав – вольная девственность/брачные узы. Явно расходящийся по своей "идеологической" направленности с речью Дон Кихота, он тем не менее не вызывает у последнего никаких негативных эмоций, никакого желания отстаивать свою правду с копьем в руке. Напротив, Дон Кихот просит Антонио спеть что-нибудь еще, и лишь традиционный для гуманистического диалога прием вклю-

---

[69] *Бочаров С.Г.* О композиции "Дон Кихота" // Сервантес и всемирная литература. М., 1969. С. 92.
[70] Там же. С. 93.

чения паузы (темнеет, и пора устраиваться на ночлег) прерывает затянувшееся дружелюбное общение козопасов и "странствующего рыцаря" (слушатели Дон Кихота согласно именуют его таким образом, хотя, конечно же, таящийся невдалеке автор и в это их обращение к гостю вкладывает иронический подтекст). В трех следующих "пасторальных" главах романа, сюжетно организованных вокруг традиционной для жанра темы погребения – похорон студента-пастуха Хризостома, покончившего с собой из-за безответной любви к "жестокосердной" свободолюбивой красавице-пастушке Марселе, – Дон Кихот участвует как внимательный и вполне адекватный слушатель-комментатор рассказов сельчан о происшедшем, как заступник за красавицу Марселу (с этой миссией он на сей раз справляется достаточно успешно) и, наконец, как участник диспута о целях странствующего рыцарства, ведущегося между ним и "шутником" – провокатором (в сократовском смысле слова) Вивальдо на протяжении почти всей XIII главы, того самого диспута, в котором впервые "метафорически", закамуфлированно выговаривается связь донкихотовского "вероисповедания" и эразмизма: эта связь "от противного" обозначена уже в словах Вивальдо, провокативно *противопоставляющего* рыцаря-служителя Дамы и христианина, да и в самом имени шутника, как нам представляется, образованного из сложения фамилий самых знаменитых испанских эразмистов – Луиса Вивеса и братьев Вальдесов: Vi-[ves] + Vald-[es] = Vívald-o. Беседа с Вивальдо – одна из кульминационных ситуаций развития темы "здравомыслящего безумия" Дон Кихота: редко когда он выглядит настолько рассудительным и последовательным в защите своих идеалов и одновременно настолько сумасшедшим. Цитата из Ариосто, на которой по сути дела обрывается диспут Дон Кихота и Вивальдо, является своего рода прологом к эпизоду "покаяния" Рыцаря в Сьерре, в котором он уже вполне сознательно подражает "безумствующим влюбленным", в том числе и "неистовому" Роланду.

Но главный мотив, связующий *все* три "пасторальные" главы (XII–XIV) и главы, описывающие пребывание Дон Кихота в Сьерре-Морене, – *мотив ада* (*infierno*). В первом случае он проходит через историю самоубийцы Хризостома, обрекшего свою душу на вечные адские мучения из-за любви к "проклятой" (endiablada) Марселе (кульминация этого мотива – последние строфы "Песни отчаяния", сочиненной Хризостомом при жизни и исполняемой одним из его товарищей – Амбросио – над его могилой – гл. XIV). Во втором – возникает в диалоге Дон Кихота и Санчо, который, отправляясь с посланием к Дульсинее, говорит хозяину, что оставляет его в "чистилище", на что последний возражает: "Ты называешь это чистилищем, Санчо? .. Вернее было бы назвать это адом..." (I, XXV). Золотой век и пасторальный "ад" в романе Сервантеса великолепно дополняют друг друга, во многом потому, что "ад" в "Дон Кихоте" – не только и не столько христианский *реальный* ад, но в первую очередь ад метафорический, книжный, "классический", что видно из той же "Песни Хризостома".

Одновременно это и "ад" карнавально-мистериальный, составляющий своего рода фон-задник к пародийному эпизоду встречи Дон Кихота и Санчо с похоронной процессией в XIX главе Первой части (напомним, что первоначально он предварял эпизод встречи Дон Кихота и Санчо с козопасами). Одни всадники в балахонах, сопровождающие мертвое тело, под ударами копьеца Дон Кихота разбегаются по по-

лю "с горящими факелами в руках, похожие на ряженых, веселящихся ночью в дни карнавала", а другие принимают Дон Кихота за дьявола, "явившегося из преисподней, чтобы похитить тело, лежащее на дрогах" (сам же Дон Кихот считает, что дьявол попутал как раз его супротивников). Содержащая этот эпизод глава завершается прибытием Дон Кихота и Санчо в пасторальный мирок – на луг, покрытый "мелкой свежей травой", и, как выясняется уже из следующей главы, расположенный на берегу реки. Связь пасторали и мотива "преисподней" прослеживается и в занимающем как раз эту, двадцатую главу знаменитом эпизоде с сукновальными молотами, пародийно сориентированном на "Энеиду" Вергилия, где в эпизоде нисхождения Энея в подземное царство также фигурирует образ ада, а сам спуск в него связан с мотивами испытания героя и обретения истины. Аналогично выстроен и важнейший из эпизодов "Дон Кихота" 1615 г. – рассказ о спуске Дон Кихота в пещеру Монтесиноса.

Очевидно, что эти и ряд других эпизодов романа типологически принадлежат к мениппейной традиции, к "разговорам в царстве мертвых", к архетипическому мотиву спуска в ад, *связанного с просветлением сознания испытуемого, с его духовным восхождением*[71]. Практически все они включают в себя развернутые речи Дон Кихота, его полемику с другими героями, в которых "свихнувшийся" идальго поражает слушателей логичностью и убедительностью своих рассуждений в границах принятого им отождествления рыцарского романа и истории, вымысла и реальности.

Пасторальные эпизоды Второй части романа – свадьба Камачо (гл. XIX–XXII), "вымышленная Аркадия" – лежат в той же плоскости, что и основное действие, которое почти сплошь превращается в яркое, пышное представление, в розыгрыш: его устраивают окружающие Дон Кихота персонажи в согласии с его иллюзиями. Одновременно, как отмечают Г.-Й. Нойшефер и многие другие критики, тускнеет воображение Дон Кихота, ослабевает его творческая и героическая инициатива: герой Сервантеса больше не принимает постоялые дворы за рыцарские замки, им все более и более овладевают меланхолия, усталость. Но происходит это постепенно. И самое любопытное, что два важнейших эпизода, связанных с прозрением-разочарованием Дон Кихота, в тексте романа следуют непосредственно за пасторальными эпизодами. Рассказ о свадьбе Камачо переходит в рассказ о спуске Дон Кихота в пещеру Монтесиноса, "вымышленная Аркадия" включает в себя одно из горчайших унижений, которому подвергается Дон Кихот (эпизод со стадом быков, II, LVIII), после которого перед ним вполне раскрывается вся трагичность и нелепость его положения. Таким образом, занимающий поначалу в воображении Дон Кихота довольно скромное место пасторальный миф по мере развития донкихотовской ситуации все более и более вытесняет собой рыцарский миф и ведет безумного идальго к прозрению. Пасторальный роман в композиции "Дон Кихота" – не только еще один вариант иллюзорного самоосуществления личности, но и средостение между миром героики и миром разочарования (el desengaño), к которому приходит в конце концов герой Сервантеса.

---

[71] К этой же традиции принадлежит и пастораль, в которой А. Кастро видел светскую параллель прозе испанских мистиков. На эту же традицию опирались и авторы гуманистических диалогов лукиановско-эразмистского типа.

Все рассмотренные эпизоды могут быть интерпретированы как шаги на замысловатом, полном отступлений и возвращений пути Дон Кихота к самопознанию, связанному не столько с разочарованием в "рыцарских" идеалах, сколько в осознании ограниченности своих возможностей их осуществления, бренности и иллюзорности человеческой жизни, в осознании человеческого существования как бытия-к-смерти и в прикосновении к тайне соотношения Свободы и Благодати. Вместе, одновременно с Дон Кихотом этот путь – путь самопознания – проходят и его творец, и имплицитный читатель[72]. Вот этой стороны романа Сервантеса как романа самосознания, в становлении которого важнейшая роль принадлежит именно пасторальному роману и гуманистическому диалогу, и не замечают критики-"пародисты".

Конечно, никто из читателей и интерпретаторов "Дон Кихота" не может претендовать на то, что нашел к роману некий "ключ", разгадал его единственный и понятийно формулируемый потаенный смысл. Жанрообразующую тему романа Сервантеса мы можем сформулировать только *иносказательно*. Точнее, мета-иносказательно, если согласиться с тем, что "прозаическим иносказанием" (М. Бахтин) является сам сервантесовский роман, равно как и роман Нового времени, прототипом которого он оказался. Так что "тематическое" определение "Дон Кихота" как *романа формирования самосознания личности в мире распавшихся "тождеств" – тема, парадоксально реализуемая в повествовании об истории безумца,* – может быть принята лишь как асимптота, в оговоренном приближении к невысказываемому смыслу целого.

Эта "магистральная" тема ("магистральный сюжет", по Л.Е. Пинскому) реально воплощается в ряде сюжето- и структурообразующих тем-мотивов, например, в мотивах "мудрого безумия", "умной глупости", имеющих сакрально-ритуальные корни. В тотально "амбивалентном", сплошь диалогизированном мире романа Сервантеса каждый сюжетообразующий мотив имеет своего антипода-двойника: воображение коррелирует с разочарованием, случай противостоит Провидению, злые волшебники пытаются парализовать свободную волю героя, духовное противостоит телесному, любовь низменная – любви-служению, стыд гасит смех; магическое заклинание вытесняется магией литературного, письменного слова – всевластием книжной культуры, последнего пристанища волшебства и тайны в культуре Нового времени.

Когда-то венгерский ученый Д. Лукач объявил иронию "трансцендентальным условием объективности"[73] романного изображения, принципом самопознания и самоустранения субъективности творца романа. Он писал о том, что "внутренняя форма" романа как жанра ("жанрообразующая тема" в нашем понимании) "представляет собой... процесс движения проблематичного индивида к самому себе ...путь

---

[72] Знаменитую оценку романа Сервантеса Ф.М. Достоевским как книги, с которой люди явятся на Страшный суд и которая станет их молчаливым ответом на вопрос Всевышнего о том, поняли ли они свою жизнь на земле и "что об ней заключили", следует понимать именно таким образом: вопрос Судии задается читателю и это он, читатель, молча "подает "Дон Кихота" как ответ на заданный ему вопрос, обретенный в акте чтения романа.

[73] *Лукач Д.* Теория романа // НЛО. № 9 (1994). С. 49.

от смутной погруженности в наличную действительность, гетерогенную и, с точки зрения индивида, лишенную смысла, к ясному самосознанию"[74], что, на наш взгляд, к "Дон Кихоту" полностью применимо. Однако Лукач интерпретировал непосредственно "Дон Кихота" вовсе не как роман самопознания (или самосознания) типа "Вильгельма Мейстера", а, напротив, как роман, повествующий о "демонизме узкой души", "демонизме абстрактного идеализма"[75], т.е. прочитывал роман Сервантеса уже не только в романтическом ракурсе, но и сквозь призму жизнефилософии Ницше, доведшего романтический "демонизм" до логического конца.

Модернизируя и демонологизируя роман Сервантеса, принося его в жертву "историко-философской диалектике", Д. Лукач в результате исказил свое собственное очень точное (оставим штамп о пародийном замысле в стороне!) наблюдение об отношении создателя "Дон Кихота" к рыцарским романам. «Это больше, чем простая историческая случайность, – писал автор "Теории романа", – что "Дон Кихот" был задуман как пародия на рыцарские романы, и его связь с ними – не просто внешняя. Рыцарский роман разделил судьбу всякой эпики, пытающейся сохранить и продолжить свою форму, превратившуюся в чисто формальные элементы, когда трансцендентальные условия ее существования были уже устранены историко-философской диалектикой; он потерял свои корни в трансцендентальном бытии, и его формы... зачахли, стали абстрактными... *Но за пустой оболочкой этих мертвых форм некогда находилась подлинная, хотя и проблематичная, большая форма – рыцарская эпика Средневековья, примечательный пример романной формы, возникшей в эпоху, когда доверие к Богу сделало возможным и необходимым возникновение эпопеи...* Рыцарские романы, в пародийной полемике с которыми появился "Дон Кихот", утратили такую трансцендентную связь... Сервантесова творческая критика этой тривиальности вновь находит пути к историко-философским истокам такого формального типа»[76] (курсив мой. – *С.П.*). И вот этот "путь... к истокам" осмысливается Д. Лукачем как извращенно-гегелианское превращение "объективно-упроченного бытия идеи" в чистую фанатически-последовательную "субъективность" сознания Дон Кихота. Преодолеть эту "субъективность", как донкихотовскую, так и авторскую, романтическая ирония Лукача и предназначена.

Но ирония Лукача имеет с сервантесовской иронией исключительно внешнее сходство (сходство на сугубо формальном, тропологическом уровне). Сервантесовская ирония как одна из ипостасей личностного смеха Сервантеса, о чем мы уже писали, направлена не от мира, внутрь изолированной души самовозвышающегося над собой творца, а вовне, в мир, в пространство межличностного общения находящихся в диалоге "душ", в пространство общения автора, читателя и героя, в процессе которого выясняется, что "правда" каждого из них имеет свои пределы, так как "правда есть и выше". Она направлена и на самое "историю" Дон Кихота Ламанчского, на иллюзию литературного дискурса, который разоблачается в своей вы-

---

[74] Там же. С. 43. Ср. другое рассуждение Лукача: "Роман – это форма приключения, и именно она подходит для выражения самоценности внутреннего мира; содержание романа составляет история души, идущей в мир, чтобы познать себя..." (С. 47).

[75] Там же. С. 50.

[76] Там же. С. 53.

мышленности, но утверждается в своей нереференциальной достоверности – достоверности художественного мира. Сервантесовская ирония – это серьезная игра, которая протекает *все еще* в границах христианского духовного космоса. Поэтому, говоря о Сервантесе как о писателе-иронисте, мы должны всякий раз оговаривать *специальный, сервантистско-приватный* контекст употребления этого понятия, стараясь максимально отграничить его от иронии романтиков (Лукача как последнего из них в том числе).

Крупнейший испанский ученый начала века М. Мендес и Пелайо, первым из ученых использовавший концепт "ирония" применительно к творчеству Сервантеса, назвал сервантесовскую иронию "benevolente" – *благорасположенной*. И, что характерно, он же был первым, кто выступил против прочтения "Дон Кихота" как пародии на рыцарские романы, предложив ту формулу соотношения романа Сервантеса и "книг о рыцарстве", которая сегодня также стала своего рода научным клише. Эта формула была, если можно так выразиться, сформулирована дважды: первый раз в конце первого тома труда "Происхождение романа" ("Orígenes de la novela", 1905), второй – в речи "Литературная культура Мигеля де Сервантеса" и его работа над "Дон Кихотом"»: «Мне уже приходилось указывать в другом месте, – говорил М. Менедес и Пелайо, – что творчество Сервантеса – это не антитезис, не сухое и прозаическое отрицание рыцарского романа, но очищение и дополнение его. Оно не убивало, а преображало и возвышало его идеал... Таким образом, "Дон Кихот", являясь последним, окончательным и совершенным вариантом рыцарского романа, собравшим в себе, как в фокусе, рассеянную поэтическую энергию и возведшим случаи из частной жизни на высоту эпопеи, оказался первым и непревзойденным образцом современного реалистического романа... Сервантес поднялся над всеми пародистами рыцарского романа, потому что Сервантес любил его, а они – нет. Ариосто издевался над тканью, которую он сам же расшивает, он подходит к своим персонажам извне, он не сопереживает с ними, он держится от них на расстоянии и не намерен в угоду им поступаться своей иронией. Ирония же его субъективна: это чистый художественный прием, это одна из милых забав его веселой, чувственной фантазии. Это не стихийное порождение реальных противоречий, каким является вдумчивая, спокойная, объективная ирония Сервантеса»[77].

Многое из сказанного почти век назад испанским ученым воспринимается сегодня как отработанная порода с фабрики идей XIX столетия ("реалистический роман", разграничение иронии "субъективной" и "объективной", уничижительная оценка Ариосто, как и рыцарского романа в целом, и т.д.). Но в противопоставлении "ирониста" Сервантеса писателям-пародистам, в его *возвышении* над ними есть неустаревающая правда. Мы бы только скорректировали это положение, сняв "голое" противопоставление: возвышаясь над писателями-пародистами, Сервантес-ирониста возвышается и над самим собой как автором пародии на рыцарские романы, заключенной в тексте его "правдивой истории", над своим героем, пародирующим их в слове и в деле. В то же время есть в этом "возвышении" элемент смирения и самоотрицания: оно искупается ценой иронического самоуничижения и одновременного возвеличивания и героя, и читателя "Дон Кихота".

---

[77] Цит. в пер. Е.Н. Любимовой по кн.: Сервантес и всемирная литература. М., 1969. С. 260. 263.

В.Е. Багно

"ДОН КИХОТ" КАК ЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Русская судьба "Дон Кихота"[1] – не просто национальная версия общелитературного процесса, но редкий пример превращения частного литературного явления одной страны в одну из доминант культурной и общественной жизни другой страны с неизбежной утратой многих, если не большинства конкретных историко-литературных особенностей.

С редким единодушием соотечественники Сервантеса отмечали, что именно в России "Дон Кихот" особенно пришелся ко двору[2].

Были попытки раскрыть причины особой популярности "Дон Кихота" в России[3], а также охарактеризовать национальное своеобразие этого восприятия[4].

Думается все же, что главная причина коренится в особом этическом накале русской культурной и общественной жизни, особой напряженности духовных исканий русских людей, которыми отмечен весь XIX век, пик "русской" славы

---

[1] Конкретная история творческого усвоения русскими писателями наследия Сервантеса изучена еще явно недостаточно, хотя в этом отношении уже были намечены общие контуры решения проблемы и исследованы отдельные эпизоды истории. См., напр.: *Шепелевич Л.Ю.* Русская литература о "Дон Кихоте" // ЖМНП. 1902. Июль. Ч. 332. С. 200–213; значительная часть статей в сб.: Сервантес: Статьи и материалы. Л., 1948; *Плавскин З.И.* Сервантес в России // Мигель де Сервантес Сааведра: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1763–1957. М., 1959. С. 9–37; *Айхенвальд Ю.* Дон Кихот на русской почве. New York, 1982–1984. Т. 1–2; *Багно В.Е.* Дорогами "Дон Кихота". М., 1988; *Buketoff-Turkevich L.* Cervantes in Russia. Princeton, 1950; *Hacker G.* Rocinantes Wege nach Ruβland. Münster, 1995.

[2] По словам Мигеля де Унамуно, "бедный ламанчский рыцарь", восстав из гроба, в который его положил Сервантес, обошел весь мир, будучи радостно встречен и понят во многих его уголках, прежде всего в Англии и России..." (*Unamuno M. de.* Ensayos. Madrid, 1945. T. 1. P. 660). "Не нужно быть знатоком русской литературы, – утверждает К. Реаль де ла Рива, – чтобы без труда заметить, насколько сильна в русском народе тяга к мифу о Дон Кихоте и к роману, его породившему" (*Real de la Riva C.* Historia de la crítica e interpretación de la obra de Cervantes // Revista de Filología Española. T. 32, Madrid, 1948. P. 138). Ему вторит Э. Пухальс: "Знакомясь с русской литературой и прежде всего с грандиозным русским романом XIX в., трудно уклониться от вопроса о влиянии, которое имел на нее величайший из испанских романистов" (*Pujals E.* Proyección de Cervantes en la literatura rusa // Revista Nacional de Educación. N 11, ⟨Madrid⟩, 1951. P. 22).

[3] С точки зрения, например, А. Кармоны, основная среди них – несомненная близость, существующая между русским и испанским национальными характерами, такие черты, общие для обоих, как поиск Абсолюта, и в порывах духа, и в привязанности к земле, осознание своей мессианской роли в Европе и т.д. (См.: *Carmona A.* Rusia y el alma de Quijote // La Jirafa, año 2, N 9. Barcelona, 1957. B. 14).

[4] По мнению Франсиско де Икасы, высказанному еще в 1918 г., восприятие "Дон Кихота" в России – это "синтез аскетизма и страсти", роман Сервантеса стал в этой столь отдаленной от Испании стране трагическим символом, как нельзя лучше выражающим современную эпоху (См.: *Icaza Fr. de.* El "Quijote" durante los siglos. Madrid, 1918. P. 146, 155).

"Дон Кихота" и самых глубоких его интерпретаций. По справедливому мнению Ю. Айхенвальда, предпосылки и питательную среду русского донкихотства как общественного явления следует искать в специфических особенностях русской духовной жизни: "У кихотизма в России были свои, национально-русские духовные источники, – не одни сказки об Иванушке-дурачке, не только юродство Христа ради и странничество, но прежде всего страстотерпчество, важная особенность русской святости, как об этом писал Г.П. Федотов (см. "Святые Древней Руси". Нью-Йорк, 1959). Чем катастрофичнее складывалась европейская (и русская) история, тем очевиднее становилась эта связь. Яснее всего она прослеживается не на приемах литературных интерпретаций, а на примерах человеческого воплощения кихотизма"[5].

В "Дон Кихоте" в России увидели не просто гениальную книгу, но притчу о человеческом предназначении, а в его герое – пророка или лжепророка, миф о котором может служить ключом к событиям русской интеллектуальной и общественной жизни. Поэтому в равной степени нас должны интересовать как переводы, инсценировки и критические отклики, другими словами, реальная история восприятия романа Сервантеса в России, соотносимая с бытованием любого иного иноязычного произведения, так и история русского донкихотства как культурного явления, философско-психологические интерпретации сервантесовского образа, творческое усвоение писателями мифа о Дон Кихоте, использование имени сервантесовского героя в общественной борьбе. Отрыв героя от романа, а романа от автора, неизбежные при включении их в инонациональный историко-культурный и общественно-политический контекст, нисколько не умаляли достоинство ни романа, ни писателя, а лишь расширяли спектр истолкований. Как не обедняло, а лишь обогащало понимание романа сосуществование, наряду с полными переводами, адаптированных и предельно упрощенных изданий для детей, подростков и юношества.

Уже в XVII столетии роман Сервантеса попадал в Москву, правда, оседая в библиотеках иностранцев. Так, "Дон Кихота" в английском переводе выписал себе через купцов Патрик Гордон, шотландец, облеченный доверием Петра I, умерший в Москве в 1699 г.[6] Да и русские люди в петровскую эпоху имели некоторое представление о романе Сервантеса. Среди "Рассказов Нартова о Петре Великом" находим следующий: «Государь, отъезжая к Дюрнкирхену и увидя великое множество ветряных мельниц, рассмеявшись, Павлу Ивановичу Ягужинскому сказал: "То-то бы для Дон-Кишотов было здесь работы"»[7].

"Дон Кихот" был в библиотеке Ломоносова. Сведения о романе использовали в литературной полемике В.К. Тредиаковский и А.П. Сумароков. Тредиаковский в "Разговоре между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи" (1747) устами "россиянина" проповедует: "...Разговору должно быть натуральну, а именно такому, какой был, при всех удивительных похождениях между скитающимся рыцарем Донкишотом и стремянным его Саншею Пансою. И потому неприятно им ⟨читателям⟩ будет, что

---

[5] *Айхенвальд Ю.* Дон Кихот на русской почве. Т. 2. С. 99.

[6] См.: ЛН. Т. 91. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). М., 1982. С. 66.

[7] *Майков Л.Н.* Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 87.

нет в нашем разговоре ни единые епистолии, сочиненные прекрасным слогом и к отданию надлежащия Дулцинее дю Тобосо"[8].

ИСТОРІЯ
О
СЛАВНОМЪ ЛА-МАНХСКОМЪ
Рыцарѣ
ДОНЪ КИШОТѢ
ПЕРЕВЕДЕНА СЪ ФРАНЦУСКАГО
ТОМЪ I.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.
1769 года.

Титульный лист первого русского издания "Дон Кихота" в переводе И.А. Тейльса. 1769 г.

В сходном с Монтескье ключе, парадоксальном по форме, однако абсолютно естественном для эпохи, трактует роман Сервантеса А.П. Сумароков, выделяя его из лавины обрушившейся на Россию беллетристики. Поскольку чтение развлекательных западноевропейских романов истолковывается им как "погубление времени", а "Донкишот – сатира на романы", то в этом и состоит его достоинство, наряду с весьма малым числом "достойных" произведений этого жанра[9].

Всем памятна та сцена в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева, в которой одно из дорожных происшествий сравнивается со сражением ламанчского рыцаря со стадом баранов, принятым им за вражескую армию: "...Колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным" (гл. "Завидово")[10]. Впрочем, из этого сугубо живописного описания остается неясным, чем был "Дон Кихот" для русского писателя. Однако в других радищевских произведениях, "Житии Федора Васильевича Ушакова", "Бове", просветительский пафос его трактовки романа вполне очевиден. В первом из них Радищев, например, следующим образом характеризует грубого надзирателя российских юношей, учившихся в Лейпциге: "До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вменял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги, с Бовою равные, то были удальства другого рода, достойные помещения в Дон Кишотовых странствованиях"[11].

---

[8] *Тредиаковский В.К.* Соч. СПб., 1849. Т. 3. С. 301.

[9] См.: *Сумароков А.П.* О чтении романов // Трудолюбивая пчела. 1759. Ч. 8. С. 374–375.

[10] *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Изд. подготовил В.А. Западов. СПб., 1992. С. 109 (Литературные памятники).

[11] *Радищев А.Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 175.

В целом отрицательным героем Дон Кихот был, по-видимому, и для И.А. Крылова, хотя тот и отметил благородство его идеалов. В XVI письме "Почты духов" он уподобляет ламанчскому рыцарю героя трагедии Я.Б. Княжнина "Росслав": "Главный герой сей трагедии был некоторой островский Дон Кишот (это один роман гишпанский, стоющий любопытства; я тебе его пришлю. Впрочем, ты, путешествуя по разным странам, может быть, видел многих и знатных Дон Кишотов). Он был вдруг: философ, гордец и плакса..."[12]. В другом письме, XXXII, упомянут "нововыезжий Дон Кишот", который "воспевал себе сам похвалы с таким восхитительным красноречием, что все удивлялись его бесстыдству"[13].

"Пасторальное" звучание басни И.И. Дмитриева "Дон Кишот" не имеет ничего общего с сентименталистским переосмыслением донкихотства, речь о котором пойдет ниже. Следуя "подсказке" Сервантеса, Дмитриев перевел Дон Кихота из рыцарей в пастухи, заставил его рассыпать свое стадо на поля по первому морозу, воспевать зимой весеннюю розу и петь экглогу перед коровницей Аглаей, за что и был бит ее мужем. После этого герой:

Чрез поле рысаком во весь пустился дух,
И с этой стал поры ни витязь, ни пастух;
Но просто дворянин без глаза

Мораль басни:

Ах, часто и в себе я это замечал,
Что глупости бежа, в другую попадал[14].

Донкихотство, таким образом, истолковывается как глупость, блажь, достойные наказания сумасбродства.

Русская проза конца XVIII в., по-видимому, не менее активно, чем проза второй половины XIX в. осваивала сервантесовский опыт, хотя и в других формах и на другом уровне собственных потенций. Санчо Панса послужил одним из прототипов оруженосца Простая в "Вечерних часах, или древних сказках славян древлянских" (1787–1788) В.А. Левшина. Сочетание трусости, чревоугодия, хитрости и остроумия в образе Простая со всей определенностью показывает, что оруженосец Дон Кихота привлек внимание русского писателя.

Очередную, после Левшина, попытку создать в русской литературе образ, восходящий к образу Санчо Пансы, предпринял Жуковский в комической опере "Богатырь Алеша Попович или Страшные развалины" (ок. 1805–1808 гг.). Оруженосец Алеши, Барма Кудрявая Голова – прямой потомок Санчо. Он трус ("Б а р м а (трясется). Да, стыдно – я сам это знаю! Но... (Видит дерево и начинает кричать во все горло) Ай, ай, ай! Какой ужасный великан"[15]), выдумщик (Б а р м а. Вдруг со всех сторон зашумела буря, лес загорелся, и ко мне навстречу выехал зеленый огненный баран, верхом на горбатой старухе, у которой изо рта торчали огненные

---

[12] *Крылов И.А.* Полн. собр. соч. М.,1946. Т. 1. С. 101–102.
[13] См.: Там же. С. 177.
[14] Пантеон русской поэзии. 1814. Ч. 1. Кн. 2. С. 257.
[15] *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч.: В 12-ти т. СПб., 1902. Т. 4. С. 91.

клыки"[16]) и чревоугодник ("Б а р м а (скоро). Я думаю, назад в гостиницу! Там мягкие постели! вкусное вино! сытный ужин!")[17]. Соотнесенность героя Жуковского с Санчо очевидна, однако в целом Барма, лишенный обаяния сервантесовского персонажа, является скорее пародией на него, напоминая во многом героев других ранних интерпретаций "Дон Кихота", начиная с подложного "Дон Кихота" Авельянеды.

На рубеже XVIII–XIX вв. «"Дон Кихот" был одной из тех книг, которые в каждой деревенской библиотеке уже находились», причем как по-французски, так и в русских переводах[18]. В XVIII столетии роман Сервантеса, хотя в очень несовершенных переводах, выходил дважды. Первое издание, "История о славном Ла-Манхском рыцаре Дон-Кишоте", относится к 1769 г. Ее автором был Игнатий Антонович Тейльс, преподаватель немецкого языка, а позднее секретарь совета Сухопутного шляхетного корпуса, литератор и переводчик из круга Н.И. Новикова. Перевод сделан с переработки, принадлежащей перу Фийо де Сен-Мартена, и отличается, естественно, всеми ее особенностями. При этом доведен он лишь до XXVII главы. Как и в другой русской версии, выполненной в XVIII в., в переводе Тейльса очевидна тенденция к снижению и образа Дон Кихота, и образа Санчо. Рыцарь Печального Образа, не поддающийся очарованию Мариторнес, именуется "подлипалой"; все новые идеи ему подсказывает "плодовитая его глупость". Снижение образа Санчо осуществляется в значительной мере за счет огрубления языка героя: "Поэтому, – сказал Санхо, – если бы я был король по какому-нибудь чуду из тех, которые вы производить умеете, то и Анна толстомясая наша скотница была бы по крайней мере королева, а дети наши королевичи? ⟨...⟩ Признаться по истине, барин, я таки в том несколько сомневаюсь, подхватил Санхо; и то скажу, что короны, хотя бы с неба валились, то бы ни одна не пришла хозяйке моей по голове: правду матку сказать, она трех денег не стоит, как же ей быть королевой?"[19].

И все же в переводе Тейльса немало языковых и стилистических "попаданий" Подчас это адекватно переданный высокий слой лексики, свойственный речам Дон Кихота: "Чуть только пресветлый Аполлон начинал позлащеные локоны белых власов своих распускать по поверхности земного круга, и птички приятным своим согласием стали вещать приход прекрасной и сияющей Авроры, которая, оставляя ложе ревнивого своего супруга, показывалась смертным на своде ла-Манхского горизонта, как славный Дон Кишот, враг непристойного покоя и неги садится на беспримерного коня своего Рыжака и вступает в древнее и славное поле Монтьельское..."[20], либо эквивалентно переданный комизм описаний, пронизанных естественной, разговорной интонацией ("Мариторне доставалось от того очень ловко, и она, лишась наконец терпенья, и не помышляя уже более, в каком состоянии находилась, положила ему за то отплатить; начала его по брюху и по роже так

---

[16] Там же. С. 98.
[17] Там же. С. 91.
[18] См.: *Дмитриев И.И.* Мелочи из запасов моей памяти. М., 1854. С. 26.
[19] *Сервантес Сааведра М. де.* История о главном Ла-Манхском рыцаре Дон Кишоте. СПб., 1769. Т. 1. С. 75.
[20] Там же. С. 12.

взваривать, что он совсем проснулся, и, видя такую почоску, не зная притом за какую благодать, пооправился и поймал Мариторну по-свойски так, что между ими сделалась самая забавная сшибочка, каковой еще нигде не бывало"[21]).

Следующий перевод осуществлен в 1791 г. Николаем Осиповичем. Назывался он "Неслыханный чудодей, или Необычайные и удивительнейшие подвиги и приключения храброго и знаменитого рыцаря Дон Кишота". Он выполнен на основе французского перевода-переделки 1746 г. Принципиальное отличие последнего от перевода Флориана, к которому чуть позже обратился Жуковский, состояло в том, что если во втором довольно много сокращений и пропусков, то в первом еще более существенную роль играют произвольные вставки.

Перевод Осипова "обогащен" не только введением грубо-фарсовых сцен с Санчо Пансой, но, что важно, Дон Кихота в нем вылечивают от сумасшествия с помощью некоего "потребного для излечения от сумасбродства лекарства". Роман у Осипова кончается так, как он должен был бы кончиться, если бы замысел его действительно состоял лишь в осмеянии рыцарских романов (с присовокуплением стремления покончить с современными авантюрными романами). Оскудение замысла приводит к тому, что выздоровевший Дон Кихот, объясняя свое стремление вернуться домой, обещает, что будет "пещись" об умножении и сохранении своего имения, которое за время его отсутствия "довольно поистощилось"[22]. В целом же перевод Осипова вполне отвечал просветительской традиции интерпретации романа и свою роль в какой-то мере, видимо, выполнил. Однако в это же время складывалось новое представление о "Дон Кихоте"[23].

Рубеж XVIII–XIX вв. отмечен первыми попытками философско-психологического истолкования романа Сервантеса.

Из постоянного ощущения разрыва идеала и реальности в собственной жизни возникает тема мечтателя Дон Кихота у М.Н. Муравьева. В письмах к сестре, Ф.Н. Луниной, он отожествляет себя с Дон Кихотом, называет себя "странствующим рыцарем". Сам факт отождествления в высшей степени симптоматичен. Он показывает, что пародийный, сатирический аспект отступает на второй план.

С новым, сентименталистским Дон Кихотом мы встречаемся в стихотворении К.Н. Батюшкова "Ответ Т⟨ургене⟩ву" (1812):

Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И мир смешит собой![24]

---

[21] Там же. С. 28.

[22] См.: *Сервантес Сааведра М. де.* Неслыханный чудодей, или Необычайные и удивительнейшие подвиги и приключения храброго и знаменитого странствующего рыцаря Дон Кишота. СПб., 1791. Т. 2. С. 250.

[23] Подробнее о восприятии романа Сервантеса в России в XVIII столетии см.: *Алексеев М.П.* Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. // Алексеев М.П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С. 63–78.

[24] *Батюшков К.Н.* Опыты в стихах и прозе. Изд. подготовила И.М. Семенко. М., 1977. С. 278 (Литературные памятники).

С предельной ясностью новое прочтение выразил Н.М. Карамзин в письме 1793 г. к И.И. Дмитриеву: "Назови меня Дон-Кишотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею так страстно, как я люблю – человечество!". А "бедному поэту" Карамзин советует:

Или, подобно Дон Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцырь нарядись,
На борзого коня садись,
Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
Чтоб добрым принцам помогать,
Принцесс от уз освобождать[25].

В "Рыцаре нашего времени", написанном в 1803 г., мы находим более развернутое и глубокое истолкование сервантесовского образа. Герой Карамзина соотносится с Дон Кихотом на том основании, что любовь к чтению, при впечатлительности натуры породила в нем "донкихотство воображения". Леон на десятом году от рождения мог уже часа по два играть воображением и строить замки на воздухе. Опасности и героическая дружба были любимою его мечтою. Достойно примечания то, что он в опасности всегда воображал себя избавителем, а не избавленным: знак гордого, славолюбивого сердца! Герой наш мысленно летел во мраке ночи на крик путешественника, умерщвляемого разбойниками; или брал штурмом высокую башню, где страдал в цепях друг его. Такое донкихотство воображения заранее определяло нравственный характер Леоновой жизни. Вы, без сомнения, не мечтали так в своем детстве, спокойные флегматики, которые не живете, а дремлете в свете и плачете от одной зевоты! И вы, благоразумные эгоисты, которые не привязываетесь к людям, а только с осторожностью за них держитесь, пока связь для вас полезна, и свободно отводите руку, как скоро они могут чем-нибудь вас потревожить!"[26]

У истоков эпохи философско-психологического истолкования "Дон Кихота" стоит и В.А. Жуковский, осуществивший в самом начале XIX в. свой перевод романа Сервантеса[27]. Не зная испанского языка, Жуковский естественным образом должен был обратиться именно к версии Флориана. Одновременно с версией Флориана в том же 1799 г. был издан знаменитый перевод Л. Тика, открывающий новую, по сравнению с флориановским, романтическую эпоху в переводах "Дон Кихота". Вполне естественно, что в библиотеке Жуковского сохранился "Дон Кихот" в переводе Тика. Однако не случайно это оказалось издание 1810–1816 гг. В 1802 г., когда Жуковский принимался за перевод, авторитет такой европейской знаменитости, как Жан Пьер Клари де Флориан, значил для него несравненно больше, чем не вполне для него пока ясное звучание новых идей немецкого романтизма.

---

[25] *Карамзин Н.М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 194–195.

[26] *Карамзин Н.М.* Соч.: В 2-х т. Л., 1984. Т. 1. С. 599.

[27] Дон Кишот Ла Манхский. Сочинение Серванта. М., 1804–1806. Т. 1–6. Перевод был переиздан в 1815 г.

Титульный лист русского издания "Дон Кихота" в переводе В.А. Жуковского. 1803 г.

В целом Жуковский достаточно точно следовал тому ключу, который был предложен Флорианом, и тем особенностям, которыми отличается перевод Флориана. Прежде всего в нем пропущены целиком некоторые главы.

Перевод Жуковского выдержан в целом в близком к версии Флориана стилистическом регистре карамзинского сентиментализма.

Заметная особенность перевода Жуковского, по сравнению с флориановской версией, – усиленная фольклорность. Это позволяет Жуковскому, вопреки нейтрализующей манере французского писателя, приблизиться к "Дон Кихоту" Сервантеса "через голову" Флориана.

Современниками Жуковского его инициатива была встречена в высшей степени благожелательно. С точки зрения рецензента "Вестника Европы", автор перевода "оказал приятнейшее одолжение любителям отечественной словесности", предоставив в их распоряжение роман "приятный и занимательный"[28].

"Дон Кихот" Жуковского не потерял своей актуальности и через четверть века, о чем свидетельствует рецензия на перевод С.С. де Шаплета, осуществленный с той же флориановской версии. "В слабом и отчасти переиначенном Дон Кихоте Флорианова перевода, – по верному в целом замечанию рецензента "Литературной газеты", – В.А. Жуковский весьма счастливо угадал дух подлинного произведения Сервантеса, и передал его живым, прекрасным слогом"[29].

И даже рецензент "Московского телеграфа", ополчившийся на перевод Флориана и Шаплета и противопоставляющий им романтическую версию Тика, сделав скидку на "юный возраст" Жуковского, обратившегося к "Дон Кихоту", отметил его значение в борьбе с засилием французской словесности[30].

Русские литераторы пушкинской поры отразили в своих критических статьях и художественных произведениях разноголосицу истолкований "Дон Кихота". Бытование в одну и ту же эпоху различных точек зрения, одни из которых доживали свой

[28] См.: Вестник Европы. 1806. № 21. С. 286–292.
[29] Литературная газета. 1830. № 71. "Смесь". С. 286.
[30] Московский телеграф. 1831. Ч. 41. № 19. С. 391.

век, а другие с трудом прокладывали себе дорогу, способно озадачить читателя и поставить в тупик исследователя, склонного ожидать от писателей-современников единодушия в отношении к сервантесовскому роману.

В "Полярной звезде" на 1823 г. А.А. Бестужев писал: "Фонвизин в комедиях своих Бригадире и Недоросле в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства"[31]. Эти слова можно переадресовать немалому числу русских прозаических произведений 1820–1830-х годов, авторы которых стремились, "подобно Сервантесу, привести в игру мелкие страсти деревенского дворянства", впрочем, по-разному понимаемые.

Донкихотовские мотивы явственны в романе В.Т. Нарежного "Два Ивана, или Страсть к тяжбам" (1825), одну из глав которого автор счел даже возможным назвать "Дон Кишот в своем роде". По мысли Нарежного, страсть к тяжбам, которой один из героев, пан Харитон Заноза, отдает весь свой пыл и энергию, – своеобразный аналог ńомешательства Дон Кихота, который, следовательно, истолковывается как сумасброд, тратящий силы на ложные цели.

Как известно, массовая литература, писатели второго и третьего ряда с особой отчетливостью, с одной стороны, и с запозданием – с другой, проявляют и фиксируют тенденции литературного процесса. Характерный пример – "Муромский Дон Кишот, или Честные сумасброды. Нравственно-сатирический роман" (1833) А.А. Орлова, эпигонски-просветительный пафос которого уже на первой странице выражен с наивной откровенностью: "...Люди здравомыслящие поймут, для чего я пишу, т.е. в шутливых выражениях осмеиваю порок"[32].

Почва, на которой помешался герой рассказа Е.А. Баратынского "Перстень" (1832) – модное в ту пору увлечение оккультными науками, – достаточно традиционна для новых Дон Кихотов в европейских литературах конца XVIII – начала XIX в. Новомодная немецкая идеалистическая философия становится причиной умственного расстройства "Дон Кихота XIX века" (1834) К.П. Масальского, опубликовавшего четырьмя годами позднее перевод сервантесовского романа.

Одним из тех, кто опирался на роман Сервантеса в развенчании "романтической мечтательности", был Орест Сомов. В этом смысле особенно любопытна его повесть "Матушка и сынок" (1833). Вся она буквально пронизана донкихотовскими мотивами, причем донкихотство, в целом понятное как поведение, оторванное от жизни и питаемое "книжными" идеалами, осмеивается и развенчивается в различных его проявлениях, как в форме сентиментальной беспомощности "сынка", так и в форме узколобого самодурства "матушки".

"Высокая" линия в понимании Дон Кихота, приверженцы которой связывали с донкихотством идеалы благородства и самопожертвования, нашла отражение в монологе героя-идеалиста философско-фантастической повести В.Ф. Одоевского "Сегелиель, дон Кихот XIX столетия" (1832): "... Чувство любви к человечеству

---

[31] Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960. С. 15–16 (Литературные памятники).

[32] См.: *Орлов А.* Муромский Дон Кишот, или Честные сумасброды: Нравственно-сатирический роман. М., 1833. Ч. 1. С. 1.

пылает в душе моей, мучит меня... о судьба! судьба! зачем ты вложила в меня это терзающее, это беспокойное чувство? всю вселенную хотел я обхватить в мои объятья, всех людей хотел бы прижать к моему сердцу – простираю руки и обнимаю одно облако"[33]. Как видим, даже поставив в центр повествования героя-идеалиста, сориентировав его на сервантесовский образ, русские писатели, как бы полемизируя друг с другом, могли относиться к донкихотовскому горению прямо противоположным образом.

Произведения Одоевского, Баратынского, Сомова, Масальского, Орлова, опубликованные в течение трех лет после издания в 1831 г. Дон Кихота в новом переводе С.С. де Шаплета (после шестнадцатилетнего перерыва: 1815 г. датируется второе издание перевода Жуковского) со всей определенностью доказывают прямую связь, существующую между историей и переводной и оригинальной литературой.

Остался ли безучастным к этому спору Пушкин?

Принято считать, что за упоминаниями Сервантеса в статьях Пушкина нет ничего или почти ничего. Вспомним, однако, что Д.И. Писареву в его знаменитой статье "Пушкин и Белинский" пришло в голову дерзкое, на первый взгляд производящее впечатление парадокса сопоставление Татьяны Лариной с Дон Кихотом. Через сто лет эту соотнесенность, по крайней мере в стилистическом плане, закрепил М.М. Бахтин, отметивший, что роль ричардсоновского языка в разноречевой оркестровке "Евгения Онегина" (старуха Ларина и деревенская Татьяна) аналогична роли «облагороженного слова "Амадиса" в ситуациях и диалогах "Дон Кихота"»[34].

Трудно сказать, был ли для самого Пушкина его Рыцарь Бедный – "тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комический", как полагает героиня романа Достоевского "Идиот". Скорее всего, эта соотнесенность не входила в намерения Пушкина. Однако каждое новое литературное произведение формирует в читательском сознании новую систему сцеплений между явлениями культуры. Так слова Аглаи в какой-то мере обогащают наши представления о сервантесовском и пушкинском героях.

Параллель кажется вполне правдоподобной, если предположить, а еще лучше доказать, что в разноголосице мнений о сервантесовском герое Пушкин отметил в нем скорее серьезную, а не комическую грань. Для этого предположения имеются основания.

В главе, не включенной в окончательную редакцию "Капитанской дочки" и сохранившейся в черновой рукописи, Гринев в один из самых драматических моментов повествования назван Швабриным "Дон Кихотом белогорским". Таким образом, под донкихотством понимается здесь благородство помыслов, рыцарственное служение даме ("До свидания, Мария Ивановна, – добавил Швабрин, намеривавшийся поджечь своих пленников, – не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем")[35].

---

[33] *Одоевский В.Ф.* Сегелиель, Дон-Кихот XIX столетия: Сказка для старых детей // Сборник на 1838 год. СПб., 1838. С. 90.

[34] *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 209.

[35] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 8. кн. 1. С. 379.

Велика была роль "Дон Кихота" в России в переходный период от романтизма к реализму. Писатели натуральной школы находили в романе Сервантеса широкое бытовое полотно, обостренный интерес к повседневной жизни, к земным потребностям маленького человека, не без пользы для собственного творчества обнаруживали в "Дон Кихоте" элементы вытесненной в XVIII – начале XIX в. из большой литературы "низовой" культуры.

С другой стороны, в "Дон Кихоте" видели блестящий образец критики устаревших идей, бичующей "современное рыцарство и нелепое рыцарство будущих поколений, которое, хотя и не называется рыцарством по своей форме, тем не менее похоже на него по своей сущности"[36]. Опыт Сервантеса несомненно в какой-то мере учитывался при создании произведений сатирической направленности, пародий на эпигонскую романтическую литературу, либерализм, идеалистические течения общественной мысли.

Характер усвоения "Дон Кихота" русской литературой середины, а в какой-то мере и второ́й половины XIX в. был во многом определен Белинским. Гениальным произведением он назвал роман еще в 1837 г. в письме к Бакунину. Насколько высоко он оценивал гений испанского писателя, можно судить хотя бы по тому, что из прозаиков Запада только с Сервантесом он находил возможность сравнивать своего любимого писателя – Гоголя.

Интерес к "Дон Кихоту" в XIX столетия, как правило, сводился к публицистическим, философским и морально-этическим рассуждениям. Редкие мысли о природе романа Сервантеса почти всегда проходили незамеченными. Тем более знаменательно, что в России громадную роль сыграли высказывания Белинского, заострившего внимание как раз на сущности творческого метода испанского романиста. В ходе борьбы с романтической эстетикой Белинский дал яркое и глубокое реалистическое истолкование романа. Как и в случае с Шекспиром, именно он в своих критических статьях открыл новый, реалистический этап осмысления творчества Сервантеса. Противопоставив свою точку зрения взглядам немецких романтиков, видя в Сервантесе своего предшественника, Белинский уже в 1836 г., в заметке по поводу выхода в свет перевода, выполненного Масальским, секрет бессмертия романа связал с его реалистичностью: «Великое создание Сервантеса вполне достойно своей великой славы. "Дон Кихотом" началась новая эра искусства нашего, новейшего искусства. Он нанес решительный удар идеальному направлению романа и обратил его к действительности. Это сделано Сервантесом не только сатирическим тоном его произведения, но и высоким художественным его достоинством: все лица его романа – лица конкретные и типические. Он более живописал действительность, чем пародировал устарелую манеру писания романов, может быть, вопреки самому себе, своему намерению и цели»[37].

Тот же плодотворный подход позволил русскому критику сказать новое слово и об образе Дон Кихота и, хотя концепция Белинского, в соответствиями с изменениями в его духовном и социальном опыте, менялась, инвариант в ней, однако, вполне определим:

---

[36] *Львов А.* Гамлет и Дон Кихот и мнение о них И.С. Тургенева. СПб., 1862. С. 67.

[37] *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. II. С. 424.

"Дон Кихот – благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее, комическая же сторона в характере Дон Кихота состоит в противоположности его любимой идеи с требованиями времени, с тем, что она не может быть осуществлена в действии, приложена к делу"[38].

"Каждый человек есть немножко Дон Кихот, но более всего бывают Дон Кихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности"[39].

"Если б эта храбрость, это великодушие, эта преданность, если бы все эти прекрасные, высокие и благородные качества были употреблены на дело, во время и кстати, – Дон Кихот был бы истинно великим человеком"[40]. Те или иные стороны этой концепции были подхвачены впоследствии русской критикой, подчас с полемической целью, нашли свое отражение и дальнейшую жизнь в тех или иных художественных образах, порожденных уже русской действительностью.

Как известно, советуя Гоголю приняться за большое сочинение, подарив ему сюжет "Мертвых душ", Пушкин привел "в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Дон Кишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями"[41]. Тот факт, что, работая над "поэмой", Гоголь ориентировался в какой-то мере на роман Сервантеса, не подлежит сомнению. Одно из доказательств тому мы находим в письме Гоголя к Жуковскому от 10 января 1848 г.: "Уже давно занимала меня мысль большого сочинения, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал много частей, но план целого никак не мог передо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни навязывать, ни развязывать событий, и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера"[42]. Остается добавить, что в первоначальной редакции названы имена других литературных учителей: Шекспира, Ариосто, Филдинга, Сервантеса, Пушкина[43], писателей, "отразивших природу таковою, каќ она была, а не каковою угодно некоторым, чтобы была"[44].

Близость между романами объясняется многими причинами. Начнем с того, что между творческими индивидуальностями русского и испанского писателей, которых разделяло несколько столетий, было много общего. С другой стороны, нельзя забывать и о литературной традиции в развитии европейской прозы, благодаря которой воздействие Сервантеса на Гоголя преломлялось через произведения Фил-

---

[38] Там же. Т. VI. С. 34.

[39] Там же.

[40] Там же. Т. IX. С. 80. Подробнее о взглядах Белинского на роман Сервантеса см. в статье Н.И. Мордовченко «"Дон Кихот" в оценке Белинского (с приложением неизвестной заметки Белинского о "Дон Кихоте")» // Сервантес: Статьи и материалы. С. 32–43.

[41] См.: *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. VIII. С. 439–440.

[42] Там же. Т. XIV. С. 35.

[43] См.: Н.В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931. С. 373.

[44] *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. VI. С. 644.

динга, Стерна, Гофмана и др. Какую же роль сыграл "Дон Кихот" в формировании замысла "Мертвых душ"? Ответ на этот вопрос непременно должен опираться на гоголевское понимание романа Сервантеса, раскрываемое, в частности, в "Учебной книге словесности для русского юношества", в связи с вводимым Гоголем понятием "малого рода эпопеи". Не будет преувеличением сказать, что именно "Дон Кихот" как отдаленный образец учитывался Гоголем при работе над эпическим произведением в прозе, написанном в шутливом тоне, дающем, по словам Пушкина, "полную свободу" изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров"[45].

Таким образом, имеются известные основания назвать "Мертвые души" романом сервантесовского типа, однако не только лишь в смысле традиций так называемого романа "большой дороги", к которым никак не сводимы творения русского и испанского писателей. Сближает с "Дон Кихотом" "Мертвые души" и та роль, которую гоголевская поэма сыграла в современной ей русской литературе. По словам Бахтина, "вее важнейшие романные образы и разновидности были созданы в процессе пародийного разрушения предшествующих романных миров"[46]. Несомненно, к этому ряду, открывающемуся с сервантесовского романа, примыкают и "Мертвые души".

Стилистическое решение, предложенное Жуковским в переводе флориановой версии "Дон Кихота", казалось настолько убедительным, а с другой стороны, настолько высок был авторитет его автора, что, когда С.С. де Шаплет, весьма плодовитый и известный в свое время переводчик, решил осуществить новый русский перевод, основываясь на версии Флориана (1831), он вынужден был иногда почти дословно следовать прочтению своего предшественника. Шаплет откровенно воспользовался находками Жуковского, не стесняясь черпал из его перевода, причем делал это, по всей вероятности, умышленно, не опасаясь быть уличенным, исходя, возможно, из соображения, что достойное воссоздание на русской почве шедевра Сервантеса – дело общее, и бессмысленно искать решений там, где предшественник их уже нашел.

Перевод Шаплета был встречен с нескрываемым раздражением[47–48] прежде всего потому, что современники Пушкина от переводчиков стали требовать "более верности и менее щекотливости и усердия к публике – пожелали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их собственном виде, в их народной одежде"[49].

Первым из русских литераторов к испанскому оригиналу обратился Константин Петрович Масальский, прозаик, поэт и переводчик, весьма заметная фигура в

---

[45] См.: Там же. Т. VIII. С. 440.

[46] *Бахтин М.М.* Слово о романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 122.

[47–48] Если возмущение Н.М. Языкова вызвал выбор французского, а не более точного немецкого перевода-посредника, а рецензент "Московского телеграфа", резко осудив попытку передавать "в другой раз русским читателям водяную переделку Флориана", отметил, что в своем переводе Дон Кихота Шаплет "беспрестанно грешит против чистоты русского языка", то рецензент "Литературной газеты" справедливо сетовал на то, что "при нынешнем распространении у нас языков чужеземных" русский читатель вынужден довольствоваться переложением с перевода-посредника, а не с испанского подлинника".

[49] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Л., 1937. Т. 12. С. 137.

русской литературе 30–40-х годов. Овладев испанским языком, он уже в 20-е годы одним из первых в России переводил испанскую лирику. В 1838 г. вышел из печати его перевод первых 27 глав "Дон Кихота", о котором Белинский, не слишком жаловавший Масальского как писателя, отозвался весьма благосклонно[50]. Утверждая, что буквальный перевод Масальского противопоставлен вольным пересказам, существовавшим до 1838 г., и сочувственно его оценивая, "Отечественные записки" ратовали за третий тип перевода, сочетающий точность передачи с "гибким и богатым русским языком"[51], за переводческие принципы, следование которым даст возможность передать "и верность, и плавность подлинника"[52]. Рецензия Ф.В. Булгарина любопытна тем, что выявляет точку зрения писателя на "Дон Кихота" как на плутовской роман. Булгарин слегка упрекает переводчика (впрочем, не без оснований) в том, что в русской версии нет "благородной простоты тона, той легкости и той иронии, которая даже обыкновенное приветствие превращает в эпиграмму в устах Сервантеса"[53]. Что касается остальных рецензий, то они также в целом приветствуют появление перевода[54].

Антидемократическая установка (в том числе и в переводческой деятельности) послужила причиной достаточно внимательного отношения к оригиналу (при невнимании к потребностям и возможностям читателей). Следствием ориентации переводчика на "объективное", формальное воспроизведение текста явилось довольно холодное отношение к его работе читательской публики. После появления в 1866 г. версии В. Карелина перевод Масальского больше не переиздавался.

Прекращение переизданий, конечно, в немалой степени было вызвано и тем, что перевод Масальского, в отличие от перевода Карелина, был неполным. Немаловажно также, что Карелин, в отличие от Масальского, откровенно следовал принципам приспособления перевода потребностям текущего дня. Наиболее отчетливо все сильные и слабые стороны перевода Масальского выступают при сопоставлении его с переводом Карелина, выполненным в новую литературную эпоху и отразившим иные представления об этой специфической отрасли литературного труда.

О В.А. Карелине известно лишь, что он был сотрудником "Русского инвалида". Его перевод "Дон Кихота" выдержал шесть изданий (1866, 1873, 1881, 1892, 1901, 1910 гг.), причем последние вышли после появления нескольких новых версий – А.Г. Кольчугина (1895), Н.М. Тимофеева (1895), Л.А. Мурахиной (1899), М. Басанина (1903), под ред. Н.В. Тулупова (1904) и М.В. Ватсон (1907). На первое издание откликнулся только "Голос" редкой по откровенной тенденциозности рецензией[55]. Охарактеризовав вскользь перевод Масальского, тяготевший к буквализму, как неудовлетворительный "по тяжелому складу языка", рецензент "Голоса" рассматри-

---

[50] См.: *Мордовченко Н.И.* "Дон Кихот" в оценке Белинского (с приложением неизвестной заметки Белинского о "Дон Кихоте") // Сервантес: Статьи и материалы. С. 39–43.

[51] Отечественные записки. 1839. Т. II. Отд. VI. С. 69.

[52] Там же. С. 70. Подробнее см.: *Будагов Р.А.* О первом русском переводе "Дон Кихота" с испанского языка // Сервантес: Статьи и материалы. С. 201–204.

[53] Северная пчела. 1838. Ч. 248. С. 990–991.

[54] *Плетнев П.А.* Современник. 1838. Т. 13. С. 78–79; Сын отечества. 1836. Т. 4. С. 149 (Критика); т. 5. С. 64–66 (Критика).

[55] См.: Голос. 1866, № 55. С. 2.

вает перевод Карелина как в высшей степени своевременный. Доказательству этого тезиса и посвящена, собственно говоря, вся рецензия. По мнению ее автора, такие "капитальные" произведения, как "Дон Кихот", которые "вечно-живыми и неувядаемо-прекрасными идеалами действуют обличительно против всего ложного, фальшивого, эксцентричного" особенно необходимы в эпохи, когда оригинальная литература того или иного народа падает или принимает ложное направление. Под ложным направлением понималась деятельность революционных демократов, "партия, проповедующая под видом либеральных и туманных доктрин самый узкий материализм, самое тупое отречение от всего прекрасного и от его лучших представителей". Далее следует прямое уподобление их Дон Кихоту и опасение, что они собьют с толку слишком много "неразвитой молодежи": "Отуманенные поверхностным чтением Прудона и Фурье, при полном незнании русской действительности и современных потребностей общества, они пустились на своем Росинанте в бестолковую защиту женщин и всех притесненных и гонимых..."

Строение фраз, выбор стилистических средств и лексических эквивалентов не оставляют сомнения в том, что оба переводчика, особенно Карелин, активно пользовались французской версией Л. Виардо, прибегая к его помощи во всех затруднительных случаях, переводя при этом в целом с испанского подлинника. Хотя оба перевода, без сомнения, свое назначение выполнили, приходится сожалеть, что эту миссию не взял на себя Тургенев, неоднократно намеревавшийся приняться за перевод "Дон Кихота"[56], Островский, прекрасно воссоздавший на русской почве интермедии испанского писателя[57], и мечтавший перевести некоторые главы из "Дон Кихота"[58], или Достоевский, перу которого принадлежит созданная им сцена из "Дон Кихота", включенная в главу "Ложь ложью спасается" в "Дневнике писателя" за 1877 г., блестяще воспроизводящая писательскую манеру Сервантеса.

Своеобразие читательского восприятия "Дон Кихота" сказалось в "двойной" – для взрослого и для детского читателя – судьбе романа. Честь открытия "Дон Кихота" как детского чтения принадлежит младшим современникам и соотечественникам Сервантеса, да и самому писателю, который сообщал о 1-й части романа, что "детей от нее не оторвешь"[59]. И все же в полном смысле "двойная" жизнь романа в XVII столетии еще не началась. Речь может идти лишь о том, что "Дон Кихот", будучи истолкован как легкое чтение, в какой-то мере воспринимался и как детское.

Лишь в XIX в. во многих странах выходят переделки, пересказы и адаптированные издания "Дон Кихота" не только приноровленные для детского чтения, но и маркированные отсылкой на библиотеки для детей.

В России большим успехом пользовался перевод Николая Ивановича Греча, впервые изданный в 1846 г. и затем многократно переиздававшийся (в 1860, 1880,

---

[56] Об этом он писал в 1853 г. П.В. Анненкову, а также в 1877 г. Я.П. Полонскому (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем в 28 т. Письма. М.; Л., 1961. Т. 11. С. 172; т. 12. С. 101).

[57] См. об этом: *Плавскин З.И.* А.Н. Островский – переводчик Сервантеса // Сервантес и всемирная литература. М., 1969. С. 197–213.

[58] Об этом он говорил Н.Н. Луженовскому (см.: Библиотека А.Н. Островского (Описание). Л., 1963. С. 15).

[59] *Сервантес Сааведра М. де.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 2. С. 35.

1889, 1902 и 1913 гг.). Он же был первой версией, недвусмысленно обозначенной как "Рассказ для детей".

Пожалуй, самой существенной особенностью этой версии является *полное* отсутствие в ней Дульсинеи. Изъятие мотива высокого служения женщине особенно ощутимо во второй части, в которой тема зачарованной Дульсинеи имеет ключевое значение. Однако и в первой части отсутствие Дульсинеи повлекло за собой целую систему замен, в том числе в мотивировках поведения Дон Кихота. Так, например, купцов он останавливает следующим восклицанием: "Не смейте ехать далее, если не признаете странствующего рыцарства самым благородным, самым великолепным и самым священным учреждением на земле!"[60] Однако речь, по-видимому, идет о причинах более общего характера. Дело в том, что Дон Кихот лишен не только Дульсинеи, но и "сохнущей" по нем Альтисидоры, Карденио и Фернандо – Доротеи и Люсинды, погонщик – амурных похождений с Мариторнес. И даже бороду Дон Кихоту во дворце герцога моют четверо пажей. Остается только удивляться, почему Дон Кихот при этом не лишен ключницы и племянницы, Санчо – жены, а герцог не предстал вдовцом. Речь идет о весьма ханжеском и последовательном искоренении из сюжета женского пола из всех ситуаций, связанных с женщинами. Из целомудренных соображений Мариторнес не участвует в знаменитой сцене потасовки на постоялом дворе. Сцена в результате становится "однополой" и поэтому скучноватой. Вместо Доротеи Карденио исполняет роль принца Микомикона. Данная трансформация, по-видимому, была обусловлена представлениями издателей и переводчиков той поры о воспитательных задачах литературы для детей, в угоду которым произведение искажалось.

Образ Дон Кихота в переводе Греча снижается не только изъятием мотива высокого служения даме сердца, но и благодаря неизбежной в адаптациях для детей утраты "высоких" монологов. Своеобразное "утаиванье" высоких порывов духа Рыцаря Печального Образа не помешало, впрочем, ввести в роман апокрифическую сцену, в которой Дон Кихот совершает настоящий подвиг. Из перевода Греча дети узнавали, что во время пребывания у герцогской четы Дон Кихот спасает жизнь герцогине. Он в одиночку нападает на шестерых разбойников, которые пытались ограбить герцогиню, убили ее оруженосца и кучера и ранили одного из лакеев. "Дон Кихот напал на них со всею храбростью странствующего рыцаря и вскоре двое из разбойников были тяжело ранены ⟨...⟩ В ту самую минуту, как разбойник готовился заколоть герцогиню, наш герой опрокидывает его на землю ударом копья и топчет ногами лошади ⟨...⟩ Напрасно разбойники защищались отчаянно: ни один из них не спасся, все были убиты и заплатили жизнью за свое преступление"[61]. Этот эпизод из бульварной литературы введен, видимо, для того, чтобы учить юных читателей мужеству и благородству и показать реальную победу добра над злом, чтобы избавить их от путаного отношения к герою, который всегда оказывается битым, несмотря на свои благие порывы.

Бульварная литература подсказала и концовку романа. Версия Греча кончается весьма филистерским пассажем, неким аналогом обычного хеппи энда: "Что

---

[60] Дон Кихот Ламанчский. Рассказ для детей. СПб., 1846. Ч. 1. С. 26.
[61] Там же. Ч. 3. С. 126–127.

касается до оруженосца его Санчи, то он занялся по-прежнему земледелием и жил в довольстве благодаря наследству, оставленному ему господином его и двумстам червонцам, подаренным ему герцогиней, которая и после не забывала своими благодеяниями бывшего губернатора острова Баратарии"[62].

Судя по отзывам на первое издание, отношение к переводу было неоднозначным. Если "Библиотека для чтения" утверждала, что "нельзя приятнее рассказать детям забавную историю Рыцаря Печального Образа"[63], то "Современник" истолковал ее как "вандальское нападение на красоту испанской литературы"[64]. Рецензент "Москвитянина" А.Е. Студитский, уклонившись от оценки перевода, противопоставляет "Дон Кихота" как "полезного в детском воспитании" другим книгам, даже "Робинзону", который только "безвреден" для препровождения праздного времени. "Можно опасаться одного, – пишет он далее, – увлекшись воображением к неизвестным островам, где бедствует Робинзон, ребенок отвыкнет всматриваться в ближайшие предметы... Но Дон Кихот – другое дело!"[65] Тем самым речь идет о том, что роман Сервантеса полезен для образования, поскольку на примере сумасбродств главного героя мог отвадить детей от праздного фантазирования и обратить их к действительности.

Хотя в XIX столетии "двойная" жизнь "Дон Кихота" была уже, казалось бы, фактом несомненным, знаменитая речь Тургенева "Гамлет и Дон-Кихот", прочитанная им в 1860 г., могла, вероятно, заставить кое-кого в этом усомниться. Ф. Толль писал, например, в том же 1860 г., в рецензии на 2-е издание перевода Греча, что "Дон Кихот" "по содержанию и основной идее своей вовсе и не не годится для переделки в детскую книгу, если бы даже талантливый детский писатель взялся за эту цель"[66]. Однако ни речь Тургенева "Гамлет и Дон-Кихот", сыгравшая огромную роль в истории русского донкихотства, ни позднейшие филиппики эрудитов не помешали появлению целой вереницы новых переложений "Дон Кихота" для детей.

Среди особенностей и отчасти достоинств этих переводов (коль скоро они ориентированы на детского читателя) можно назвать динамизм и известную бойкость языка и стиля.

Наименьшие возражения вызывают сокращенные издания для детей среднего возраста и особенно для малышей. От благородства помыслов Рыцаря Печального Образа в них, конечно же, не осталось и следа. Между тем нельзя не признать, что огромный роман изложен в 8 и 20 "авантюрных" страницах живо и связно. Знаменательно, что сытинское издание – "Дон Кихот. История удивительного рыцаря для детей среднего возраста", – опубликованное впервые в 1910 г., было переиздано в 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 и 1923 гг. Более всего утрачивали издания для юношества. Трансформации подвергались подчас как раз те элементы романа, которые заставили Достоевского высказать пожелание, чтобы "Дон Кихот" стал

---

[62] Там же. Ч. 3. С. 179–180.
[63] См.: Библиотека для чтения. 1846. Т. 74. Литературная летопись. С. 18.
[64] См. Современник. 1846. Т. 61, № 1. С. 268.
[65] Москвитянин. 1846. № 1. С. 197.
[66] Русское богатство. 1860. № 3. С. 149.

настольной книгой юношества: "... Знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех созданных гением человека, несомненно, возвысило бы душу юношества великою мыслью, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу средины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию"[67].

В сущности, никакой ориентации на особенности детской психологии во многих из этих сокращенных изданий нет. Многоплановый роман Сервантеса адаптирован и трансформирован в этих переделках в роман бульварный и лубочный, приноровленный ко вкусам и возможностям демократического, массового читателя. Весьма показательно в этом смысле заглавие издания 1915 г.: "Дон Кихот Ламанчский. Роман Мигуэля де Сервантеса в обработке для школ и народа". Вспомним, что, по свидетельству Тургенева, имя Дон Кихота стало "смешным прозвищем" даже в устах русских мужиков"[68]. Издания для детей и народа были питательной средой для "низовой" линии донкихотства. Тем самым "Дон Кихот" "расслаивался" и в разноголосице "взрослых" интерпретаций.

Эта разноголосица заложена и в самом романе Сервантеса. Не случайно его герой – и Дон Кихот, и Рыцарь Печального Образа, и Рыцарь Львов, и Алонсо Кихано Добрый. Особенно пестрым и противоречивым было понимание донкихотства во второй половине XIX в., когда донкихотами называли друг друга славянофилы и либералы, революционеры и консерваторы. Отправной точкой послужила речь Тургенева "Гамлет и Дон-Кихот".

Тургеневская интерпретация сервантесовского образа оказалась одной из самых ярких и плодотворных для развития русской литературы. Замысел статьи на тему "Гамлет и Дон Кихот" возник у писателя еще в 40-е годы, во время французской революции, в связи с его размышлениями о необходимости "сознательно-героических натур". Однако напечатана статья была лишь в январском номере "Современника" в 1860 г.

Интерпретация Тургеневым образа Дон Кихота была противопоставлена традиционному в русской литературе и публицистике взгляду на героя Сервантеса как на архаиста, консерватора, не желающего считаться с требованием времени. Для Тургенева Дон Кихот – положительный герой, борец, революционер, носитель *новой* идеологии. Собирательный образ, раскрываемый русским писателем в этой статье и обозначенный именем сервантесовского героя, выражает, по словам Тургенева, "веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы"[69]. Доминантами его натуры могут быть признаны самопожертвование и деятельность: "Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам – волшебникам, великанам и притеснителям". Тургенев вовсе не отрицает способности Дон Кихота заблуждаться ("...Главное дело в искренности и силе убежде-

---

[67] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 25.
[68] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1980. Соч. Т. 5. С. 334.
[69] Там же.

нья... а результат – в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы..."), он лишь снимает этот вопрос с повестки дня, считая неизмеримо более важной их способность "вооружаться и бороться", идти "неуклонно вперед, вперив духовный взор в ими только видимую цель".

Еще современниками было подмечено, что тургеневская интерпретация образа Дон Кихота была широко реализована в его художественных произведениях и не могла не быть реализована, так как ему, по словам Л.Н. Толстого, была присуща "не формулированная, двигавшая им в жизни и в писаниях вера в добро – любовь и самопожертвование, выраженная всеми его типами самоотверженных и прелестнее всего в Дон Кихоте, где парадоксальность и особенность формы освобождали его от стыдливости перед ролью проповедника"[70].

Одним из первых тургеневских донкихотовских персонажей был Яков Пасынков. С Дон Кихотом явно соотнесен Рудин. Эта соотнесенность, фактически незаметная в начале романа, заявляет о себе при отъезде Рудина из имения Ласунской, когда он в разговоре с Басистовым проводит параллель между собой и Дон Кихотом, покидающим герцогский дворец. По-донкихотовски смешны все последующие попытки Рудина "принести существенную пользу", и в хозяйстве богатого помещика посредством "разных усовершенствований и нововведений", и в деле преобразования несудоходной реки в судоходную, и в поисках путей коренного переустройства преподавания в гимназиях. И наконец, концовкой романа Тургенев стремится доказать, что Рудин может стать Дон Кихотом, способным на бесцельный, но все же поступок. Это "напряжение" между гамлетовскими и донкихотовскими чертами в образе Рудина было отмечено еще "провинциалом" в открытом письме к Тургеневу, напечатанном в "Отечественных записках" (автор письма – К.Н. Леонтьев): "Уже в Рудине было видно подобное стремление собрать нескольких представителей и поставить их всех в более или менее враждебное столкновение с человеком, Гамлетом в частной жизни и Дон Кихотом в общественной, с человеком, у которого все социальное неудачно и бессознательно великолепно..."[71]

Пожалуй, наиболее завершенным художественным воплощением тургеневской концепции Дон Кихота, почти совсем лишенным гамлетовских черт, является Инсаров из романа "Накануне". Со времени появления первых рецензий на роман сложилась устойчивая традиция видеть в понимании русским писателем образа Дон Кихота ключ, автокомментарий к роману и его центральному персонажу. Так, Н.Н. Булич благодарит Тургенева за обращение к "живому человеку, составленному из жертвы, веры, сознательной деятельности, которых ждет наша жизнь, как поле дождя"[72]. Рецензент справедливо напоминает, что коль скоро она признает мысль речи и мысль романа одной и той же, то необходимо учитывать, что в Дон

---

[70] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 63. М., 1934. С. 150.

[71] Письмо провинциала к г. Тургеневу (по поводу романа "Накануне") // Отечественные записки. СПб., 1860, май. Т. CXXX. С. 22.

[72] См.: *Булич Н.Н.* Две повести г. Тургенева: "Накануне" и "Первая любовь" (Русский вестник, январская и Библиотека для Чтения – мартовской книжки) // Русское слово. 1860. № 5. Раздел "Критика". С. 17.

Кихоте для Тургенева важны были не безрассудные поступки, а "сердце его, непреклонная воля, нравственность, а главное вера, теплая вера в успех своего дела, служение идее, неразрывно слившейся с жизнью, со всем своим существом человека".

Наконец, с точки зрения Тургенева, своеобразными донкихотами были народники[73].

Интерес Ф.М. Достоевского к "Дон Кихоту" коренился прежде всего в нравственных проблемах, которые были затронуты в романе Сервантеса, проблемах, имеющих "общечеловеческое" значение. В "Дневнике писателя" за 1876 г. он называет "Дон Кихота" "великим произведением всемирной литературы", принадлежащим к числу книг, которые "посылаются человечеству по одной в несколько сот лет".

Дон Кихот, несомненно, был одним из главных литературных прототипов князя Мышкина. В письме А.Н. Майкову от 12 января 1868 г. Достоевский делится своими соображениями о характере главного героя романа, над которым работает, и о главной идее – изобразить "вполне прекрасного человека". В письме к С.А. Ивановой от 13 января 1868 г. он уточняет свою мысль: "Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот"[74].

В окончательном тексте "Идиота" автор несколько раз подводит читателя к мысли, что Мышкин – это новый Дон Кихот. Как известно, Достоевский любил давать литературный или, шире, культурно-исторический ключ к своим произведениям. Литературные ассоциации, по его мнению, должны были дополнять и обогащать образы героев целыми комплексами общечеловеческих черт, связанных с тем или иным "вечным" литературным типом. В частности, писатель любил мимоходом отмечать книги, которые читают его герои. Характерный пример этого литературного приема имеется в "Идиоте". Полученную от князя записку Аглая сначала кладет на свой столик, а затем в какую-то толстую книгу. «И уж только через неделю случилось ей разглядеть, какая это была книга. Это был "Дон Кихот Ламанчский". Аглая ужасно расхохоталась – неизвестно чему»[75]. В комплекс литературных ассоциаций (столь важных для каждого из героев Достоевского) входит также пушкинский "Рыцарь Бедный". Этот образ как промежуточное звено между двумя интересующими нас героями заслуживает особого внимания. Своеобразная "родословная" князя Мышкина, до поры до времени скрытая, становится очевидной во время чтения Аглаей пушкинской "Легенды". По ее словам, Рыцарь Бедный, а следовательно, и князь, "тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический"[76]. В другом месте, говоря о герое баллады Пушкина, она характеризует его следующим образом: "... В стихах этих прямо изображен человек, способный иметь идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал, поверить ему, а поверив, слепо отдать всю свою жизнь". Не важно, в чем, собственно, состоит этот идеал, важно лишь, чтобы "это был какой-то светлый образ"[77]. Расширяя границы пушкинского героя, Достоев-

---

[73] См. напр.: *Буданова Н.Ф.* Роман "Новь" в свете тургеневской концепции Гамлета и Дон-Кихота // Русская литература. 1969. № 2. С. 180–190.

[74] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 251.

[75] Там же. Т. 8. С. 157.

[76] Там же. С. 207.

[77] Там же. С. 207.

ский, тем самым, приближает его к образу Дон Кихота. В черновиках к "Идиоту" имеется чрезвычайно важное уточнение этого идеала, применительно к Мышкину, которое, бесспорно, отдаляет его от пушкинского образа и приближает к странствующему рыцарю Сервантеса: «Да, он "был полон чистою любовью", он был "верен сладостной мечте" – восстановить и воскресить человека!»[78]

В начале работы над романом Достоевский наметил определенный путь создания положительного героя. С.А. Ивановой он писал, что Дон Кихот прекрасен единственно потому, что в то же время смешон. Юмор, по его убеждению, открывает прекрасное в комическом. Он, видимо, предполагал в какой-то мере сочетать обе эти черты в князе Мышкине. Обращает на себя внимание следующая запись в черновиках: "Несколько ошибок и комических черт Князя". Однако почти в то же время появляется запись прямо противоположного характера: "Смешон. Как он отклоняет смех". Если в начале работы над романом Достоевский предполагал соединить в Мышкине обе черты, способные, по его мнению, пробуждать симпатию в читателе: наивность и комизм, то впоследствии писатель так охарактеризовал своего героя: "Герой романа Князь, если не смешон, то имеет другую симпатичную черту, он! невинен!"[79] Таким образом, по мере того, как все более угадываемыми становятся контуры образа, известного нам по окончательной редакции, все менее ощутимой оказывается соотнесенность с литературным прототипом.

Однако у Дон Кихота и у князя Мышкина есть и общий фольклорный архетип – глупец народных сказок и анекдотов[80]. Это очевиднейший фольклорный источник в первом случае оказывается несколько завуалированным высокими идеалами Рыцаря Печального Образа, во втором – сознательным ослаблением в ходе работы Достоевского над "Идиотом" смеховой стихии, приглушением комических черт героя.

Интерес Достоевского к "Дон Кихоту" был также вызван его размышлениями о связи фантастического и реального в искусстве, о проникновении фантастического в реальность, и наоборот, – интересом, который был свойственен русскому писателю на протяжении всей его жизни. Одна из характерных особенностей героя Сервантеса и состоит как раз в способности, допуская возможность неестественного события, во всем остальном быть совершенно верным действительности. Достоевский одним из первых в "Дон Кихоте" отметил то, что является одним из его излюбленных собственных приемов[81]. Реализм Сервантеса – это именно тот реализм, право на который Достоевский отстаивал как в своей публицистике, так и в литературной практике – реализм "в высшем смысле".

---

[78] Там же. Т. 9. С. 264.

[79] Там же. С. 239.

[80] Подробнее в связи с образом Дон Кихота эта тема раскрывается нами в статье: Глупец народных сказок как архетип образа Дон Кихота // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 2. С. 163–166.

[81] «В методе Достоевского, – по мнению Д.С. Лихачева, – есть нечто общее с методом агиографа, пишущего о чуде и заинтересованного в том, чтобы убедить читателя в действительности происшедшего с помощью натуралистических и "точных" топографических указаний, выражающего "удивление" перед невероятностью случившегося» // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 1. Л., 1974. С. 10.

Стремлением к "жанровой энциклопедичности" Достоевский также близок к Сервантесу. В композиции у обоих художников это стремление проявляется в форме "контрапункта". Композиционное единство в "Дон Кихоте" и в романах Достоевского достигается путем умелого сочетания динамичных, стремительных, "событийных" сцен действия, сцен "диспутов", "полемик", фактически останавливающих основной сюжет, и "вставных" новелл, в структурном отношении чрезвычайно важных. Можно отметить такую особенность романов Достоевского, также, возможно, восходящую к "Дон Кихоту", как неожиданные и не всегда оправданные встречи всех главных героев в одном месте, "сгустки" сюжетных линий, которые, как правило, завершаются "скандалами", непременно вскрывающими важные элементы писательского замысла. Заслуживает внимания также наблюдение М.М. Бахтина о наличии во многих произведениях Достоевского, особенно в "Идиоте", "карнавально-фантастической" атмосферы, которую он связывает с воздействием романа Сервантеса[82].

Одним из самых ярких воплощений идеи о русских Дон Кихотах являются многие из любимых героев Н.С. Лескова. Чертами донкихотовской самоотверженности отмечены герои таких его романов и рассказов, как "Овцебык", "Однодум", "Некуда", "Захудалый род", "Инженеры-бессеребренники". Сервантесовский образ поворачивается в них разными гранями, различные черты его облика, особенности его мироощущения и отношения к людям напоминают о себе в облике, тех или иных словах, поступках и судьбах персонажей русского писателя.

Многими нитями связан с героем Сервантеса один из центральных персонажей "Захудалого рода", любимой книги Лескова, "преоригинальный, бедный, рыжий и тощий дворянин Дормидонт Рогожин, имя которого было переделано бабушкою в Дон Кихот". Первым сигналом, призванным ориентировать читателя на образ Дон Кихота, служит костюм Рогожина: "верхнее короткое платье вроде комзола или куртки, похожей на бедный колет рыцаря Ламанчи". В этом наряде он с кучером Зинкой, его Санчо Пансой, разъезжал по всей округе и "водил во все стороны носом по воздуху, чтобы почуять: не несет ли откуда-нибудь обидою, за которую ему с кем-нибудь надо переведаться".

Основой донкихотовской морали Дормидонта Рогожина послужили, с одной стороны, либеральные идеи, которыми он пропитался, попав в Отечественную войну 1812 г. во Францию, а с другой – стремление дворянский "дух благородства поддержать от захудания". Единство переплетенных между собою *слова*, почерпнутого из дворянских родословных, и *дела*, призванного восстановить справедливость на земле, несет отпечаток глубокого проникновения писателя в сущность донкихотовской ситуации: "Приезжал ли он избитый и изрезанный, что с ним случалось нередко, он все равно нимало не изменялся и точно так же читал на память повесть чьего-нибудь славного дворянского рода и пугал других захуданием или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память".

В замысле Лескова очевиден несомненный полемический заряд. Можно отметить, например, что его попыткам восстановить справедливость подчас сопутствовал успех: "там офицера на ярмарке проучил; там жадного попа прибил; тут злую

---

[82] См.: *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 202.

помещицу в мешке в поле вывез"[83]. Пожалуй, самым в этом смысле характерным примером является поведение отпущенных им на волю крестьян: "они взялись ему убирать огород и луг для его коровы и пары кляч и перекрыли ему соломой горенку"[84].

Характерно, что Рогожин сам соотносил себя с Дон Кихотом. Когда Варвара Никаноровна Протозанова сравнила его с сервантесовским героем, он ответил: "Я бы счастлив был, но только не в том месте родился". Тем более знаменательно, что в черновом варианте рукописи был следующий любопытный эпизод: "...Откуда, соскучась, бежал в Испанию, ходил там с погонщиками мулов и все отыскивал следы ног Дон Кихота, похождениями которого начитался с детства и принимал всю его историю не за вымысел Сервантеса, а за действительность; высоко уважал благородного рыцаря Ламанчского. Над ним, вероятно, в Испании смеялись, но он, конечно, не удостаивал этих насмешек никакого внимания: он, пожалуй, был готов согласиться, что, может быть, не было никогда рыцаря, который принимал баранов за войска и дрался с ветряными мельницами, но ни за что в мире не согласился бы, что не было совсем Дон Кихота, который один хотел стать за всех угнетенных и обиженных. Точно так же, как Дон Кихот, он не раз дрался в Испании с грубыми людьми, обижавшими людей слабых, и напал на сторожей роскошного сада за то, что они привязали к дереву маленького воришку; он был страшно исколочен палками и потерял свободное владение левою рукою и правый глаз, вспомнил, что у него есть родина и на ней ему принадлежавшие три крестьянские двора, и поплелся домой"[85].

Защищаясь от обвинений в искусственности образа Рогожина, Лесков писал И.С. Аксакову, что подобные чудные люди на каждом шагу встречались во всех известных ему мелкопоместных губерниях[86].

Интересно решен и образ спутника Дон Кихота Рогожина, мужика Зинки, который считал своего хозяина "дурачком", или по крайней мере "божьим человеком". По-своему к нему привязавшись, находя вкус в бродячей жизни, он не забывал пользоваться тем, что Рогожин прослыл во всей округе чудаком и "очень долго показывал его желающим на постоялых дворах за пироги и мелкие деньги".

Одним из самых глубоких у Лескова (и, возможно, во всей русской литературе) воплощений донкихотства является образ Савелия Туберозова из "Соборян"[87].

В Савелии Туберозове больше общего с его прототипом, сервантесовским героем, прежде всего потому, что среди всех героев Лескова, отмеченных печатью донкихотства, он, отстаивая во многом авторскую точку зрения на мир и являясь в то же время воплощением сомнений автора в способности таких людей, как его протопоп, изменить мир к лучшему, живет наиболее напряженной духовной жизнью. При этом он нисколько не перестает быть натурой активной, готовой к подвигу во имя утверждения своих идеалов.

---

[83] *Лесков Н.С.* Собр. соч. М., 1957. Т. 5. С. 98–99.
[84] Там же. С. 79.
[85] Там же. С. 585–586.
[86] Там же. С. 579–580.
[87] Теме русских Дон Кихотов в художественных произведениях Лескова посвящена специальная работа И.В. Столяровой "Русские донкихоты в творчестве Н.С. Лескова" (Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1971. Вып. 76. № 355), в которой, однако, вопрос о "Соборянах" не ставится.

К числу мотивов, восходящих к впечатлениям от чтения "Дон Кихота" Сервантеса, следует отнести центральный узел романа, Дон Кихоту было пятьдесят лет, когда он, начитавшись рыцарских книг, увидел свое назначение в том, чтобы искоренять всякого рода несправедливость. Савелий Туберозов "прозрел" в еще более преклонном возрасте. После грозы, которая застала его в поле, для него началась новая жизнь, наполнившаяся истинной верой и надеждой, жизнь, в которой он, по его убеждению, должен был успеть сказать правду. Поведение Савелия Туберозова, как и подвиги Дон Кихота, со временем стали приобретать все более героический и в то же время трагический характер. Герои продолжают действовать, хотя явственно видят, что идеалам их не осуществиться и что им не приходится рассчитывать на благодарность. Подобно Дон Кихоту, герой Лескова мог бы сказать, что враги вольны обрекать его на неудачи, но сломить его упорство и мужество они не властны. Высказанная во время проповеди правда явилась подвигом протопопа, за который он был наказан и лишен права на борьбу, "права голоса".

Запрет, наказание, наложенное на Савелия Туберозова, лишившее его возможности активно воздействовать на прихожан, несет ту же функцию, что и слово, данное Дон Кихотом Самсону Карраско после поражения в поединке. Лишенные возможности выполнять свое назначение на земле, они умирают. "...Хилый и разбитый событиями старик Туберозов был уже не от мира сего. Он простудился, считая ночью поклоны, которые клал по его приказанию дьякон, и заболел – заболел не тяжко, но так основательно, что сразу стал на край домовины. Чувствуя, что смерть принимает его в свои объятия, протопоп сетовал об одном, что срок запрещения его еще не минул. Ахилла понимал это и разумел, в чем здесь главная скорбь"[88]. Для сравнения можно привести описание последних дней жизни Дон Кихота: "...Может статься, он сильно затосковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели ⟨...⟩ Друзья, полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихота ⟨...⟩ Лекарь высказывался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние". Последним штрихом к характеристике героя служит сходная с завершающей образ Дон Кихота нота примирения. В конечном счете, Савелий Туберозов тоже избавился перед смертью от "заблуждений": простил тем, кто "букву мертвую блюдя", "Божье дело губят".

Итак, в образе протопопа Савелия Туберозова, в его "подвиге", просматривается сложная система мотивов и черт, роднящих его с героем Сервантеса, а также другими персонажами Лескова, проникнутыми идеей донкихотства: он борец за истину, за человеческие души, за свои идеалы, которым не место в окружающей его действительности; в своей непреклонности он непонятен, подчас смешон.

"Оруженосцем" Савелия Туберозова является дьякон Ахилла, который так же не подходит для роли дьякона, как Санчо для роли оруженосца. Им одинаково недоступны идеи, движущие поступками людей, к которым они привязаны, однако именно они глубже других вживаются в их души. Как и в "Дон Кихоте", герои "Соборян", испытывая друг к другу симпатию, оказавшись в тесном общении, посте-

[88] *Лесков Н.С.* Собр. соч. Т. 4. С. 282.

пенно "раскрывают" друг друга. Образ дьякона выполняет в романе несколько функций, во многом совпадающих с функциями образа Санчо Пансы в "Дон Кихоте". В какой-то мере он представитель, квинтэссенция и даже защитник интересов реального мира, при всех отличиях он – "одного духа" с Савелием Туберозовым, он собеседник протопопа (хотя и не единственный) и, наконец, он главный комический персонаж. Возможно, "Дон Кихотом" навеяно описание горя Ахиллы при последних часах жизни протопопа. "Через несколько дней Ахилла, рыдая в углу спальни больного, смотрел, как отец Захария, склонясь к изголовью Туберозова, принимал на ухо его последнее предсмертное покаяние". "Ахилла, дрожа, ринулся к нему с воплем и, рыдая, упал на его грудь". "Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахиллу. Он рыдал и плакал не как мужчина, а как нервная женщина оплакивает потерю, перенесение которой казалось ей невозможным"[89].

Языковая стихия как "Соборян", так и других произведений русского писателя также дает повод считать его одним из самых талантливых и последовательных представителей той линии развития романа, которая была начата "Дон Кихотом", с исключительной широтой и глубиной реализовавшим "все художественные возможности разноречивого и внутренне-диалогизированного романного слова"[90]. Достаточно сказать, что высокий слог в устах священнослужителя являет полную аналогию высокому стилю "рыцарских" монологов героя Сервантеса. Очевидно при этом, что отношение Лескова к этому "облагороженному" слову сложнее, чем авторское отношение к аналогичному слою лексики в "Дон Кихоте".

Продолжая, условно говоря, "общественно-моральную" линию развития сервантесовского образа, Лесков, в отличие от Достоевского, увидел в герое Сервантеса *активную* натуру, протестующую против условий жизни, не соответствующих его высоким о ней представлениям. Поворачиваясь разными гранями, выступая в ипостасях чудака, мечтателя или бунтаря, он проходит через все творчество писателя, каждый раз отражая новые представления автора о донкихотовской натуре, человеческих качествах, вызывающих его симпатию, и о способности русских дон кихотов изменить судьбу России.

Громадную, до сих пор не достаточно оцененную роль сыграл "Дон Кихот" в центральном для русской литературы XIX в. самобытнейшем поиске положительного героя, героя-современника. Русские писатели исходили из убеждения, что образ, созданный фантазией Сервантеса – "вечный тип, *никогда и ни при каких условиях* не умирающий"[91]. Особенно четко позиция писателя, основывающегося на этом мнении, сформулирована И.А. Гончаровым: по его мнению, все человеческие образы, созданные великими художниками прошлого, принадлежат к вечным творениям человеческого ума и "останутся навсегда". Но живая литература не выполняет своего долга, если не прослеживает дальнейшего развития художественных типов, созданных предшествующими литераторами, и не отражает в новых произведениях новый период истории. Писатели новых поколений должны обновлять в своих творениях эти вечные типы, воссоздавать в новых образцах "основные черты

---

[89] Там же. С. 284–285.
[90] *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. С. 137.
[91] Там же. С. 209.

нравов и вообще людской натуры, облекая их в новую плоть и кровь в духе своего времени"[92].

Различные версии донкихотства нашли отражение в романах Тургенева, Достоевского, Лескова. Нравственная характеристика, которую Чернышевский дает революционерам в романе "Что делать?", "весьма близка к тому комплексу черт, которые Тургенев считал принадлежностью Дон Кихота"[93]. Особенно примечателен юмористический элемент в изображении автором героических натур, их взаимоотношений, а также очевидный оттенок трагикомичности в показе столкновений "новых людей" с обывателями. Явной перекличкой с тургеневской мыслью о попирании дон кихотов "свиными копытами", как о непременном завершающем аккорде их биографий, являются раздумья Чернышевского об исторической судьбе "новых людей": "...Под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены, гордые и скромные, суровые и добрые, как были"[94].

Тургенев, по мнению Л.М. Лотман, подсказал в высшей степени продуктивный путь – от осмысления традиционных, открытых задолго до них человеческих типов к новым и смелым творческим созданиям, открытиям в области характеров. «Таким образом, – продолжает она, – давая свою классификацию типов и свое оригинальное толкование "основополагающих" образов, выражающих эти типы, Тургенев делал нужную для литераторов, открывающую им дополнительные творческие возможности, чрезвычайно полезную в отношении "технологии" их творческого труда работу. Многие писатели воспользовались предложенными им эталонами типов и шли в своем творчестве по пути конкретизации сверхтипов, полемического их переосмысления»[95].

"Дон Кихот" не мог не заинтересовать русских символистов. Он оставил глубокий след в их творчестве, хотя интерес этот имел иные причины, чем у просветителей, романтиков и реалистов, многие из которых прошли "школу" Сервантеса, и этот интерес иначе проявлялся. "Школа" Сервантеса, имевшая огромное значение для Гоголя, Тургенева, Достоевского и Лескова, не могла иметь такого же значения для символистов. В их творчестве отразились лишь те или иные грани романа, к тому же существенно трансформированные и переосмысленные. "Дон Кихот" символистов – это роман Сервантеса, увиденный глазами Рыцаря Печального Образа, сквозь призму его мировосприятия.

Символизму в высшей степени была присуща тенденция к поиску родственных ему явлений и аспектов в истории мировой культуры. Однако при всем почтении символистов к "Дон Кихоту" они не воспринимали весь роман как родственное им явление. Другое дело – образ Дон Кихота.

У истоков символистских воззрений на "Дон Кихота" стоит Д.С. Мережковский. Сервантеса он ввел в число "Вечных спутников" человечества. Однако мало кому сейчас известно (да и современники, возможно, об этом помнили не очень отчетливо), что первый вариант статьи о Сервантесе, написанный за восемь лет до

---

[92] *Гончаров И.А.* Собр. соч. В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 11.
[93] См.: *Лотман Л.М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974. С. 95.
[94] *Чернышевский Н.Г.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1939. Т. XI. С. 145.
[95] *Лотман Л.М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. С. 100.

выхода книги "Вечные спутники", существенно отличался от окончательного текста. А за два года до этого, в 1887 г., в "Северном вестнике" было напечатано его стихотворение "Дон Кихот". Мережковский был в ту пору студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, испытавшим сильное влияние народнических идей. Дон Кихота он в то время рассматривал как пророка социального переустройства общества.

Основная и, по-видимому, наиболее дорогая автору мысль статьи такова: "миру, закосневшему в низменных заботах, грубости и лжи, противопоставлены два мечтателя, облагораживающие жизнь своим присутствием. Они счастливы даже в своих невзгодах, в то время как "здравомыслящих" людей преследует или скука или несчастье. Развивая эту концепцию, он пытается представить Сервантеса как писателя, написавшего "сатиру на человечество", обнаруживающего перед читателями "все ничтожество, бессердечность, лицемерие и вечную глупость людей", а жизнь изображающего как "мрак и бездонный омут"[96]. Мережковский предвосхитил любопытный взгляд на Дон Кихота и Санчо Пансу, как на отчасти детей, для которых жизнь – игра. Этот взгляд, например, лежит в основе работ, в которых проводится параллель между Томом Сойером и Дон Кихотом, как известно, вполне оправданная. Столь яркая творческая интерпретация "Дон Кихота", как роман Марка Твена, высвечивает Дон Кихота, позволяет глубже проникнуть в сущность сервантесовского замысла. Мережковским предложен тот же подход (основывающийся, впрочем, на одном "Дон Кихоте"): "Оба – настоящие дети по душевной чистоте и беспечности ⟨...⟩ Санчо еще за минуту перед тем готов был умереть от страха, сам неустрашимый Дон Кихот испытывал чувство, весьма похожее на робость. И все это не мешает им забавляться ребяческой шуткой, они серьезно погружены в эту игру, горячатся, увлекаются спором по поводу сказки, выдуманной для трехлетних детей"[97]. Непосредственно от этих рассуждений Мережковский переходит к основной линии своего замысла: "В этой, по-видимому, нелепой жизни есть легкость, свобода, поэзия, – все, чего так недостает людям в их серых, рабочих буднях. Беззаботные искатели приключений, любопытные странники, жадные ко всякой новизне, Дон Кихот и Санчо Панса вырвались из условных рамок жизни. Рыцарь превращает все, что видит перед собой, в мечту; оруженосец – в шутку, в забаву. Санчо требует только, чтобы жизнь была смешной, Дон Кихот – чтобы она была фантастической, но оба относятся к ней *бескорыстно*, т.е. более поэтически, чем остальные лица романа. И вот почему серьезные люди, утомленные борьбой из-за насущных интересов, так смеются и так любят то несерьезное, что заключено в мечтаниях этих взрослых детей ⟨...⟩ Все смотрят свысока на чудаков, шутят над ними, – и стараются быть поближе к ним, чтобы хоть на минуту согреться около этого смешного, милого счастья"[98].

От современников не ускользнуло, что "Вечные спутники" Мережковского, в том числе статья о Сервантесе, проникнуты противоречащими друг другу, несочетающимися тенденциями. В.Д. Спасович, например, в связи с этим писал, что оста-

---

[96] См.: *Мережковский Д.* Вечные спутники: Кальдерон и Сервантес. 3-е изд. СПб., 1907. С. 65.
[97] Там же. С. 64.
[98] Там же. С. 65.

ется лишь надеяться, что Мережковский сосредоточится, сделается последовательнее и будет, наконец, представлять собой цельное лицо, а не компанию расходящихся в разные стороны противников[99]. Эти расходящиеся в разные стороны противники уже в XX в. дали о себе знать в различных концепциях романа Сервантеса и образа Дон Кихота, исходящих как из лагеря символистов, так и со стороны противостоявших им деятелей русской культуры.

Символисты у Сервантеса не столько учились, сколько черпали из "Дон Кихота" материал для своих философско-эстетических концепций. Так, для Вяч. Иванова, одержимого идеей будущей "органической" культуры, когда личность вновь сольется с коллективом, а искусство, чтобы осуществить свою жизнестроительную, теургическую миссию, вновь станет "соборным", всенародным, 300-летняя годовщина выхода в свет 1-й части "Дон Кихота" оказалась очень хорошим поводом для развития собственных идей. Свою концепцию он изложил в статье 1905 г. "Кризис индивидуализма". Дон Кихот для него – олицетворение "действенного пафоса соборности". По Вяч. Иванову, "не новое действие родится в нем, а старое воскресает. Но в бессознательной своей глубине и он несет росток новой души. Ново дерзновение противопоставить действительности истину своего мироутверждения. Если мир не таков, каким должен быть, как постулат духа, – тем хуже для мира, да и нет вовсе такого мира. Дон Кихот не принимает мира подобно Ивану Карамазову: факт духа новый и дотоле неслыханный"[100].

Для той глубокой трансформации, которую в сознании русских символистов претерпел образ Дон Кихота, было необходимо, чтобы в нем увидели подлинную мифологическую личность. По существу, русские символисты разрабатывали миф о Дон Кихоте, основа которого была заложена немецкими романтиками, главным образом Шеллингом в его "Философии искусства".

Наиболее оригинальный и законченный, восходящий через посредство немецких романтиков к "Дон Кихоту" миф о русском символизме принадлежит Федору Сологубу. Все его творчество пронизывает миф о Дульсинее и Альдонсе. Это одно из наиболее ярких проявлений сологубовской теории "преображения жизни искусством". Миф о Дульсинее, творимый Дон Кихотом в своем творческом сознании из грубой, "козлом пахнущей" крестьянки Альдонсы стал складываться у Сологуба в годы реакции как альтернатива преобразованию мира. Донкихотовская позиция по отношению к реальности осмысляется как единственно достойная художника. Наиболее подробно Сологуб изложил свою концепцию в статье "Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)", создавая затем бесчисленные ее версии в других статьях, романах и пьесах.

"Лирический подвиг Дон Кихота, – утверждает он, – в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята как Дульцинея. Не мечтательная, а вот та самая, которую зовут Альдонса. Для вас – смазливая, грубая девка, для меня – прекраснейшая из дам"[101]. Кстати сказать, косвенным образом постулируется необходимость

---

[99] См.: *Спасович В.Д.* Д.С. Мережковский и его "Вечные спутники" // Спасович В.Д. Соч. СПб., 1900. Т. IX. С. 370.

[100] См.: *Иванов Вяч.* Кризис индивидуализма. К трехсотлетней годовщине "Дон Кихота" // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 54.

[101] *Сологуб Ф.* Собр. соч. СПб., 1913. Т. 10. С. 160.

резкого поворота художника к грубой прозе, к вторжению в действительность и отказ от устремленности к заоблачным целям: "Воистину прекраснейшая, потому что в ней красота не та, которая уже сотворена и уже закончена и уже клонится к упадку – в ней красота творимая и вечно поэтому живая. Как истинный мудрец Дон-Кихот для сотворения красоты взял материал наименее обработанный и потому наиболее свободы оставляющий для творца"[102].

Характерно, что на протяжении всей статьи ни разу не прозвучало имя Сервантеса, а о Дон Кихоте Сологуб нередко забывает. Дон Кихот для него – синоним лирического поэта, а донкихотовское отношение к миру – "лирическое понимание действительности". Дон Кихот, т.е. лирический поэт, художник по Сологубу, призван творить из грубого материала то, чего нет, но что должно быть, а подвиг лирического поэта в том, чтобы сказать тусклой земной "обычности" сжигающее нет, "силою обаяния и дерзновения устремить косное земное" к воплощению в прекрасную форму. Перед нами, конечно, отнюдь не попытка проникнуть в сущность сервантесовского замысла, а, как в случае с Вяч. Ивановым, эстетический манифест.

Из бесчисленных вариаций мифа о Дульсинее в творчестве Сологуба наиболее "протяженной" является трилогия, первоначально названная "Навьи чары" ("Творимая легенда", "Капли крови", "Королева Ортруда")[103], а впоследствии, после того, как был опубликован еще один роман того же цикла, "Дым и пепел"[104], – "Творимая легенда". Известный нам по сологубовским статьям миф заявляет о себе уже в первых строках романа "Творимая легенда": "Беру кусок жизни, грубой и бедной, творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую легенду об очаровательном и прекрасном". Донкихотовский подвиг неприятия действительности, как "косной" (читай – обывательской и черносотенной), так и "яростной" (читай – революционной) совершает в провинциальном городке Скородеже поэт и ученый, в прошлом близкий к революционным кругам, Георгий Триродов.

Считая бессмысленными попытки революционной молодежи преобразовать жизнь и даже противостоять разгулу черносотенцев, Триродов все более удаляется от реальных тревог окружающих, одержимый гордой мечтой о преобразовании жизни силою творящего искусства, о жизни, "творимой по гордой воле".

В многоплановом цикле, сочетающем и примиряющем в себе российский быт эпохи реакции и научную фантастику, мистику и сатиру, Сологуб позволяет себе достаточно рискованный, казалось бы, эксперимент с удваиванием мира, пародированием его. В последних романах события разворачиваются уже не столько в русском захолустье, сколько на вымышленных Объединенных Островах (в которых, впрочем, угадываются главным образом Балеарские), расположенные в Средиземном море, на которых правит любимая народом королева Ортруда. В королевстве готовится заговор, который возглавляет супруг Ортруды, Танкред, солдафон и ловелас. Своей Дульсинеей он называет и простую сельскую учительницу Альдонсу и королеву. Развивая перед Ортрудой свои грандиозные планы колониальной поли-

---

[102] Там же. С. 159.

[103] Литературно-художественные альманахи "Шиповник". СПб., 1908–1909. Кн. 3, 7, 10.

[104] Земля. М., 1913. Вып. 10–11.

тики в Африке, он даже сравнивает себя с Дон Кихотом. "От вражьей силы, здешней и нездешней, тебя защитит твой, Ортруда, верный рыцарь, твой Танкред. Столь же верный, но более счастливый, чем славный Ламанчский рыцарь, прославит он тебя, для света гордая Ортруда, для меня милая Дульцинея, прекраснейшая из дам. Обнимал он охваченный тонким шелком стан и целовал ее легкие руки, к ногам ее склонясь, целовал ее белый атласный башмак, – а в мечте его стояла перед ним, с туго налитою под серым полотном сорочки грудью, простонародно-красивая, босая девушка, простодушная, доверчивая Альдонса"[105]. Так вводится мотив самозванства "ламанчского рыцаря" Танкреда. В конечном счете миф находит оправдание в трагической судьбе женщин: Альдонсу расстреливают по подозрению в помощи восставшим, и прогарцевавший мимо схваченной солдатами Альдонсы Танкред не удостаивает ее внимания. Дульсинея-Ортруда, к великой радости ее супруга, никак не решавшегося совершить государственный переворот, погибает при извержении вулкана, на который она поднималась, пытаясь его заговорить.

Всемогущество Дон Кихота–Триродова и ничтожество Дон Кихота–Танкреда диаметрально противоположны, но еще более они отличны от мудрого безумия Алонсо Кихано Доброго.

Оставим, однако, в стороне миф о Дульсинее, идейно-философский план "Творимой легенды" и попытаемся определить некоторые особенности трилогии Сологуба как романного жанра в связи с сервантесовской традицией. Проза символистов и, в частности, Сологуба восходит к сервантесовскому роману как к синтезу в едином замысле и сюжете "высокой" и "низкой" линий, полетов мысли, возвышенных чувств, фантастических идей и бытописания, будничных интересов, низменных инстинктов. Данную особенность "Дон Кихота" впервые отметили немецкие романтики со свойственной им способностью видеть далекое близкое. Классическое определение сервантесовского типа романа принадлежит Г. Гейне: "У Сервантеса мы еще не находим этой односторонней тенденции – изображать низменное совершенно обособленным: он только перемешивает возвышенное с низменным, одно служит для того, чтобы оттенить или осветить другое, и дворянский элемент представлен у него в такой же мере, как и народный"[106]. Точно так же эти элементы сосуществуют, оттеняют или освещают друг друга в прозе самих романтиков, а на новом витке культурной традиции – в прозе символистов.

В истории русского донкихотства ключевое значение имеет противостояние двух его пониманий – донкихотства как любви к добру и донкихотства как ненависти к злу, – воплотившееся в позициях В.Г. Короленко и А.В. Луначарского и нашедшее отражение в письмах Короленко к Луначарскому 1920 г. и пьесе Луначарского «Освобожденный "Дон Кихот"» (1922). В сущности, противостояние двух типов донкихотства нашло отражение и в самой пьесе Луначарского. Дон Кихоту – абстрактному гуманисту, воплощающему любовь к ближнему, противопоставлены кузнец Дриго и студент Бальтасар, донкихоты революционной идеи, готовые для блага человечества жертвовать благополучием окружающих их живых людей. Зна-

---

[105] *Сологуб Ф.* Королева Ортруда // Литературно-художественный альманах "Шиповник". Кн. 10. С. 164–165.

[106] *Гейне Г.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 196.

менательно, что пьеса, принадлежащая перу большевика, убежденного в том, что теории должны претворяться в жизнь, выросла из реального столкновения двух идеологий, а сама явилась экспериментальной площадкой, литературным прообразом будущего исторического события. Вне всякого сомнения, в образе Дон Кихота выведен прежде всего Короленко[107], за два года до этого и незадолго до смерти написавший Луначарскому по его просьбе шесть писем. Они остались без ответа. В письмах дана самая глубокая, публицистически яркая и научно неоспоримая отповедь большевизму. Дана на основе анализа экономической, политической и нравственной ситуации периода гражданской войны, и при этом предсказаны все последующие этапы советской истории и неминуемый крах системы, основанной на принуждении, подавлении личности и ее естественных интересов. В открытую полемику с Короленко Луначарский вступить не счел возможным, а после смерти писателя, выведя его в образе Дон Кихота, пытающегося быть над схваткой в стране, устремленной к светлому будущему, изгнал за пределы отечества. Стоит ли удивляться, что в 1922 г. по этому же сценарию из страны были изгнаны ведущие философы и ученые, не пожелавшие признать правоту большевистской революции, а сами письма смогли увидеть свет на родине писателя только в 1988 г.[108]

Иллюстрация Н.И. Пискарева к пьесе А.В. Луначарского "Освобожденный Дон Кихот". 1922 г.

Среди романов-предостережений, напоминающих об опасности, таящейся в донкихотстве, пожалуй, самым значительным является "Чевенгур" Платонова. По-видимому, мы с полным основанием можем истолковать роман как притчу о Дон Кихотах – фанатиках человеколюбия, захвативших власть. Притчу, полную трагических раздумий о судьбах как страны, так и самих Дон Кихотов – большевиков, "с глазами без внимательности в них", стремящихся любой ценой облагодетельствовать страждущее человечество, обуреваемых любовью к человеку-массе, а не к конкретному человеку.

Соотнесенность большевиков Платонова с Дон Кихотом подчеркивается уже их верностью букве и оторванностью от реальной жизни, если не "книжным", то во вся-

---

[107] Подробнее см.: *Айхенвальд Ю.* Дон Кихот на русской почве. New York, 1984. Т. 2. С. 7–93.
[108] *Короленко В.Г.* Письма к Луначарскому // Новый мир. 1988. № 10. С. 198–218.

ком случае "брошюрным", "лозунговым" происхождением их идеалов. Герои "Чевенгура" – фанатики коммунистической идеи, помешавшиеся от чтения марксистской литературы или от наглядной агитации. Подчеркнув общую родовую близость фанатиков человеколюбия, Платонов выявил в каждом из этих трагических персонажей, несущих зло и при этом за всю жизнь не сделавших "себе никакого блага", некую индивидуальную особенность, позволяющую говорить о нем как о продолжателе дела Дон Кихота. Лишь об одном из них, Степане Копенкине, мы читаем: "Черты его личности уже стерлись о революцию"[109]. Однако бок о бок с ним сражаются и Саша Дванов, которому, в отличие от Копенкина, знакомы душевные сомнения, и "голый коммунист" Чепурный, который как странствующий рыцарь денег не имел ("денег не было и быть не могло") и за постой на постоялом дворе заплатить не мог, и устроитель ревзаповедника Пашинцев, "весь закованный в латы и панцырь".

С другой стороны, в "Чевенгуре" в полном соответствии с русской традицией, фигурируют два различных героя, воплощающих донкихотовский принцип: один – Саша Дванов, ориентированный на интерпретацию Достоевского, другой – Копенкин, увиденный сквозь призму статьи Тургенева. Еще одним опосредованным звеном являются студент Бальтасар и кузнец Дриго, революционеры пьесы Луначарского, противостояние которых ламанчскому рыцарю-абстрактному гуманисту, оказавшемуся в условиях гражданской войны, оканчивается изгнанием последнего.

Вне всякого сомнения, большая часть донкихотовских мотивов, введенных Платоновым в "Чевенгур", связана с образом Степана Копенкина. Сходство своего героя с Рыцарем Печального Образа Платонов подчеркивает настойчиво и недвусмысленно. Весьма красноречиво уже единственное описание "телесной сути" бесстрашного большевика, наводящего ужас на врагов: "на лавке спал старый, истощенный человек с глубокими мученическими морщинами на чужом лице"[110]. Так же, как и Дон Кихота, странствующим рыцарем его сделало сочувствие чужому горю: "Копенкин больше всего боялся чужого несчастья и мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика обиженной его вдовы"[111]. Подобно Дон Кихоту, Копенкин был постоянно нацелен на подвиг и тосковал от томительности его ожидания. Явно подражая своему ламанчскому предшественнику, Копенкин, войдя в человеколюбивый раж, машет по воздуху шашкой, пугая "летошных мух". Редкая для истории бытования образа Дон Кихота в мировой литературе полнота соотнесенности с прототипом достигается и наличием столь значимых атрибутов странствующего рыцарства, как постоянное упоминание "дамы сердца" и незаменимого в походах коня. "Угнетенную женскую слабость" для Копенкина воплощает Роза Люксембург, портрет которой он носит зашитым в подкладку буденовки, а действительно могучий конь – Пролетарская Сила – напоминает Росинанта тем, что, коль скоро хозяин его действовал без плана и маршрута, он самостоятельно предпочитал одну дорогу другой и всегда выводил туда, где нуждались в защите и помощи.

Думается, нет необходимости подробно останавливаться на отличиях притчи о новых Дон Кихотах от романа Сервантеса. Главное из них – многочисленность и

---

[109] См.: *Платонов А.* Чевенгур: Роман и повести. М., 1989. С. 89.
[110] Там же. С. 146.
[111] Там же. С. 145.

временный успех их устремлений в переустройстве жизни на новых началах. Думается, однако, что важнее подчеркнуть то общее, что объединяет образы, столь далеко отстоящие друг от друга, а именно редко встречающуюся в истории бытования сервантесовского образа в мировой литературе неоднозначность отношения к ним как писателя, так и читателей. Бесспорно, что трагическое звучание "Чевенгура" не устраняет комической стихии, неизменно присутствующей в творчестве Платонова. Поэтому фанатичные чудаки романа русского писателя в своем стремлении "сжечь все недвижимое имущество на земле" во имя "обожания товарища" вызывают не только протест, но и сострадание, не только смех, но и осознание исторической обреченности ложного энтузиазма.

По-видимому, последним значительным произведением, в котором мы обнаруживаем целую систему оригинально преломленных донкихотовских мотивов, является повесть Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки". Первым сигналом, отсылающим нас к роману Сервантеса, являются знаменитые смеховые рецепты коктейлей – "Ханаанский бальзам", "Слеза комсомолки", "Поцелуй тети Клавы", "Сучий потрох", – придуманные по аналогии с бальзамом Фьерабраса. Эти рецепты служат первой ниточкой, безошибочно приводящей нас к "Дон Кихоту". Роман Сервантеса напоминает о себе и ключевым для "Москвы–Петушков" мотивом дороги, и помешательством героя, правда, на алкогольной почве, однако выполняющим ту же функцию, что и "книжное" помешательство Дон Кихота, коль скоро герой Ерофеева неизменно смотрит на мир сквозь "алкогольную" призму. Впрочем, Венечка Ерофеев – также и "книжный" герой: все его монологи и рассуждения усыпаны цитатами, насыщены литературными реминисценциями. Преодолевать разрыв своих идеалов с действительностью герою "Москвы–Петушков" помогает не только алкоголь, но и вымыслы, на которые его фантазия не менее щедра, чем фантазия Рыцаря Печального Образа. Дама сердца Венечки Ерофеева – "девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего в белесый, – эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица"[112], – до которой герой безуспешно пытается добраться, так же заколдована, как и Дульсинея Тобосская, и одному Богу известно, существуют ли они на самом деле. Наконец, "Москва–Петушки" примыкают к донкихотовскому типу романа, коль скоро комическая, трагическая и лирическая стихии, бытовая и философская линии сведены в нем в единое художественное целое, а герой вызывает сострадание, смех и симпатию одновременно.

Бесчисленные русские интерпретации романа Сервантеса и образа Дон Кихота были нацелены на современника, выполняли в русской культуре XVIII–XX вв. различные, прежде всего нравственные, а в случае с детскими версиями – и воспитательные задачи, стоявшие перед русским обществом, русской интеллигенцией. Под донкихотством понималось и глупое сумасбродство, и опасное для общества стремление повернуть историю вспять, и героический энтузиазм одиночки, и высокие порывы духа, способные спасти людей, погрязших в прагматизме. Между тем изучение как русской судьбы "Дон Кихота", так и русского донкихотства не оставляет сомнений в том, что в России образ, созданный фантазией испанского писателя, был истолкован прежде всего как воплощение идеи о высоком предназначении челове-

---

[112] См.: *Ерофеев В.* Москва–Петушки. Таллинн, 1990. С. 31.

ка, способного на отказ от жизненного благополучия во имя справедливости, способного на подвиг, самопожертвование, рыцарское служение женщине. Предостережение от ложного энтузиазма, берущего на вооружение идеалы прошлого, пренебрегающего интересами конкретного человека во имя блага всего человечества, столь отчетливо услышанное как современниками Сервантеса, так и в XX веке[113], в России привлекало значительно меньше внимания. Потребность в поступке, примере, ожиданием которого было наэлектризовано русское общественное сознание XIX столетия, перевешивало опасения за плоды той деятельности, которая может быть его следствием. Из двух линий: донкихотство как "отсутствие такта действительности", или даже фанатизм человеколюбия, и донкихотство как высочайшее представление о предназначении человека – вторая сыграла в русской культуре неизмеримо более важную роль.

[113] В 1934 г. в эссе "Путешествие по морю с Дон Кихотом" Т. Манн высказал опасения, которые полностью подтвердились: "История – это житейская действительность, для которой надо быть рожденным, для которой требуется умение и о которую разбивается неуместное великодушие Дон Кихота. Это внушает симпатию и кажется смешным. Но чем бы в таком случае явился Дон Кихот – идеалист в противоположном смысле, мрачный и пессимистически приверженный насилию, Дон Кихот зверства, который при том все же оставался бы Дон Кихотом? До этого юмор и меланхолия Сервантеса не дошли" (*Манн Т.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 187).

ПРИМЕЧАНИЯ

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Традиция комментирования "Дон Кихота", на которую опирался составитель настоящих примечаний, восходит к XVIII в. – к шеститомному изданию романа Сервантеса на языке оригинала, осуществленному англичанином Дж. Боулем (Лондон, 1781). Самый авторитетный комментарий к "Дон Кихоту", созданный в XIX в. и не утративший своей ценности и по сей день, особенно в плане выявления контекстуальных связей "Хитроумного идальго..." с рыцарскими романами (пародийных аллюзий, цитат, имен персонажей и названий "книг о рыцарстве" и т.д.), принадлежит Д. Клеменсину (Мадрид, 1833–1839). В начале XX в. появилось комментированное издание "Дон Кихота", подготовленное Ф. Родригесом Марином (Madrid. Ediciones de La Lectura, 1911–1913, 8 t.). "Дон Кихот" с комментариями Ф. Родригеса Марина трижды переиздавался, причем в комментарий к третьему и четвертому (Madrid, PCCC, Ediciones Atlas, 1947–1949, 10 t.) изданиям ученым были внесены существенные изменения и дополнения. Б.А. Кржевский и А.А. Смирнов опирались на второе – шеститомное – переиздание восьмитомника 1911–1913 гг. (Madrid, TiRABM, 1916–1917).

Вторая половина XX столетия и особенно его последняя треть были отмечены бурным развитием сервантистской текстологии и появлением ряда комментированных изданий, также использованных при составлении настоящих примечаний. Среди них следует отметить: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha / Edición de J.J. Allen. Madrid, Cátedra, 1977, 2 t.; El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha / Edición, introducción y notas de L.A. Murillo. Madrid, Castalia, 1978, 2 t.; Don Quijote de la Mancha / Edición, estudio preliminar y notas de J.B. Avalle-Arce. Madrid, Alhambra, 1979. 2 t. Уже после завершения работы над нашими примечаниями[1] увидело свет издание "Дон Кихота", подготовленное на базе Института Сервантеса (Мадрид) международным коллективом исследователей под руководством академика Ф. Рико (Barcelona, Crítica, 1998, 2 t.). Многослойный и многоаспектный комментарий к роману Сервантеса, предлагаемый авторами издания Ф. Рико (постраничные сноски в первом томе, статьи-преамбулы к отдельным главам романа, лингвистический и текстологический комментарий во втором и т.д.), в данном издании мог быть использован лишь частично.

В списке литературы, сопровождающем примечания и объединенном со списком принятых сокращений, указаны лишь те книги и статьи, на которые в примечаниях есть прямые отсылки. Цифры I и II в отсылках, стоящие перед указанием глав, обозначают соответственно Первую (1605) и Вторую (1615) части "Дон Кихота". Отсылки на примечания к "Лжекихоту" в примечаниях к этому сочинению маркируются буквами "ЛК", на примечания к "Дон Кихоту" – "ДК". Названия большинства рыцарских романов даются в сокращении.

К ПЕРЕВОДУ НАЗВАНИЯ РОМАНА

Хитроумный идальго – Словом "хитроумный" русские переводчики романа Сервантеса стремятся передать многозначность испанского прилагательного "ingenioso", производного от существительного "ingenio", значение которого в современном Сервантесу толковом сло-

---

[1] О том, как создавался их первый вариант см.: *Пискунова С.И.* "Дон Кихот" Сервантеса. Опыт комментария // Res Philologica–2. СПб., 2000.

варе испанского языка Себастьяна де Коваррубиаса (1611) определяется как "природная сила ума, направленная на постижение всех областей науки, всех видов свободных искусств и ремесел, всех тонкостей, хитростей и изобретений", как "всякая вещь, изобретенная человеческим разумом и предназначенная для выполнения задачи, которую нельзя решить с помощью одного лишь физического усилия...".

В эпоху Возрождения и в век Барокко "ingenio" отождествлялось то с "поэтическим вдохновением" (*итал.* furor poètico), то с героическим усилием человеческой воли (*итал.* virtú), то с изобретательностью, остроумием. Принятое в сервантистике широкое истолкование прилагательного ingenioso не совсем исключает возможности его узкого медицинского прочтения: ingenio, согласно античной доктрине о темпераментах (humores), переработанной испанским медиком и ученым-гуманистом Хуаном Уарте (Juan Huarte, ум. в 1591 г.), означает холерический темперамент, который отличается склонностью к игре воображения.

ОЦЕНОЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

[1] *Мараведи́* – мелкая медная монета, служившая единицей измерения стоимости других монет, имевших хождение в Испании в XVI – начале XVII в.: реалов – серебряных монет или монет из сплава меди и серебра стоимостью 34 мараведи; малых реалов стоимостью 4 куарто или 16 мараведи и эскудо, золотых монет. Стоимость эскудо колебалась от 350 мараведи (или примерно 10 реалов) до 400 мараведи (например, в 1573 г., во времена правления Филиппа II). Дукат, стоимость которого равнялась 375 мараведи или 11 реалам, во времена Сервантеса уже не имел хождения, а использовался как единица измерения количества других монет – прежде всего эскудо: в таком качестве дукаты и фигурируют в Первой части "Дон Кихота" в главах XXII, XXXIX. В ходу были дублоны – золотые монеты различной стоимости, которая измерялась в эскудо и чеканилась на самих дублонах: 2 эскудо, 4 эскудо и т.д. Дублон стоимостью в 21 эскудо именовался также двойным дукатом или пистолой. Стоимость различных монет была плохо согласована между собой и постоянно менялась – особенно сильно вследствие катастрофической инфляции XVI–XVII вв.

ГЕРЦОГУ ДЕ БЕХАР

Посвящение Первой части "Дон Кихота" одному из родовитых вельмож того времени дону Алонсо Диего Суньи́ге Сотомайору – герцогу де Бе́хар (1577–1619) было, по всей видимости, сочинено в последний момент, когда основной корпус романа был уже набран в мадридской типографии Хуана де ла Куэсты, а сопровождающие его официальные документы, начиная с оценочного свидетельства, в большой спешке набирались в вальядолидской типографии Луиса Санчеса: к ним и было присоединено присланное из Мадрида Посвящение, для которого, как и для официальных документов, был отведен остававшийся не использованным первый лист набора (всего Первая часть "Дон Кихота", как о том сообщено в оценочном свидетельстве, состояла из 84 листов, которые складывались в "тетради" (pliegos). Об авторстве Посвящения до сих пор идут споры. Возможно, его сочинил не Сервантес, а книгоиздатель Франсиско Роблес, пославший текст Посвящения в Вальядолид с частью тиража романа: вальядолидский книгопечатник должен был только сброшюровать присланные из Мадрида "тетради", дополнить их донабранной первой, и пустить роман в продажу в дни рождественских увеселений 1604 г. (Остальная – бо́льшая – часть тиража, полностью набранная и укомплектованная в Мадриде, – увидела свет в январе 1605 г.).

Имя герцога де Бéхар нигде более в сочинениях Сервантеса не упоминается. Автор посвящения переписал целые фразы из "Посвящения маркизу де Аямонте", которое предваряет издание произведений поэта испанского Возрождения Гарсиласо де ла Веги (1501–1536), подготовленное поэтом Фернандо де Эррерой (1534–1597) – Obras de Garsilaso con anotaciones. Sevilla, 1580.

ПРОЛОГ

[1] *...не мог нарушить закона природы, по которому каждое существо порождает себе подобное.* – Эта мысль, восходящая к Аристотелю (см. "Физика", II, 8, 99), была распространена среди гуманистов XVI–XVII вв.

[2] *...существо, родившееся в тюрьме...* – Рождение замысла "Дон Кихота" следует соотнести с одним из пребываний Сервантеса в тюрьме во время службы сборщиком налогов в Андалусúи в 1590-е годы. Сервантес за эти годы дважды попадал в тюремное заключение, если считать кратковременный арест в 1592 г. в селении Кастро дель Рио близ г. Эсиха. Однако скорее всего речь идет о многомесячном пребывании писателя в севильской тюрьме осенью–зимой 1597 г. по несправедливому обвинению в растрате. Вместе с тем в пользу предположения о "явлении" Сервантесу Дон Кихота в заключении в Кастро дель Рио говорят состав библиотеки идальго (см. прим. 5 к I, IX) и факт недавнего – в 1591 г. – сочинения "Интермедии о романсах", возможно, повлиявшей на замысел Сервантеса (см. прим. 3 к I, V). Не исключено, что, написав в 1592 г. новеллу, объем которой приблизительно соответствует первым шести главам "Дон Кихота" 1605 г., Сервантес оставил ее, как он делал и в других случаях, покоиться среди других начатых, но так и не завершенных творений. И лишь в 1601 г., уже живя в Кастилии – то в Толедо, то в Эскивиасе (селение близ Толедо, родина жены Сервантеса), то в Мадриде, а с 1603(4?) г. – в Вальядолиде, Сервантес открывает в развитии "донкихотовской ситуации" (Л.Е. Пинский) романные перспективы и превращает новеллу в роман, завершенный летом 1604 г.

Не следует забывать о том, что новелла о пленном капитане (или "история пленника"), занимающая XXXIX–XLI главы, а возможно, что и повесть о безрассудно-любопытном (гл. XXXIII–XXXIV), были написаны Сервантесом еще до начала работы над "Дон Кихотом": первая из этих "вставных" новелл датируется 1589 г. (см. также прим. 1 к I, XXXIX): Сервантес включил их в свое повествование, стремясь, по собственному признанию (см. гл. II, XLIV), внести разнообразие в рассказ о похождениях Дон Кихота и Санчо.

[3] *...после стольких лет, которые я проспал в тиши забвения...* – "Дон Кихот" был первым прославившимся произведением, опубликованным Сервантесом за двадцать лет, прошедших со времени выхода в свет его пасторального романа "Галатея" ("La Galatea", 1585).

[4] *...появляюсь, обремененный годами...* – Во время написания Пролога Сервантесу было около 57 лет.

[5] *...теперь все книги, даже вымышленные и светские, переполнены изречениями...* – Здесь начинается проходящая через весь Пролог, а также нередко возникающая в главах романа полемика Сервантеса с литературными противниками, среди которых в период работы над Первой частью "Дон Кихота" был Лопе де Вега (1562–1635). В опубликованных к тому времени прозаических и поэтических творениях (напр., в пасторальном романе "Аркадия", 1598) Лопе обильно цитирует философов и поэтов древности.

[6] *...привести список имен в алфавитном порядке...* – Таким списком снабжена, например, поэма Лопе де Веги "Исидро" (1599), к которой приложен список 277 авторов, использованных сочинителем, или его же авантюрно-сентиментальный роман "Странник в своем отечестве" (1604), в конце которого перечисляются имена 155 "авторитетов".

[7] *...кончая Ксенофонтом, Зоилом и Зевксисом...* – В оригинале эти имена начинаются с двух из трех последних букв латинского алфавита ("X", "Y", "Z"): "X" и "Z": Xenofonte, Zoílo, Zeuxis. Ксенофонт – греческий историк (ок. 430–354 гг. до н.э.). Зоил – греческий ритор и грамматик (середина III в. до н.э.). Его имя стало синонимом придирчивого критика. Зевксис или Зевксид – греческий живописец V в. до н.э.

[8] *...я же по недостатку таланта и малообразованности...* – Это ироническое самоуничижение Сервантеса стало основой возникновения романтической легенды о Сервантесе – ничему никогда толком не учившемся гении, легенды, развеянной учеными XX в., в первую очередь А. Кастро – автором фундаментального труда "Мировоззрение Сервантеса" (1925).

[9] *...взяв на себя труд сочинить их лично...* – Уже упоминавшиеся книги Лопе открываются хвалебными сонетами в адрес автора, сочиненными самим же Лопе и подписанными чужими именами.

[10] *...приписав их хотя бы пресвитеру Иоанну Индийскому...* – Иоанн Индийский или пресвитер Иоанн, правитель мифического христианского царства, расположенного где-то на Востоке; то ли в Средней Азии, то ли в Индии, то ли в Африке (наиболее распространенная в Испании версия). В основе легенды об Иоанне Индийском лежали предания о миссионерской деятельности в Азии христиан-"несторианцев".

[11] *...или императору Трапезундскому...* – Трапезунд – одна из четырех частей, на которые в XIII в. распалась Византийская империя. Трапезундское царство нередко является местом действия в рыцарских романах.

[12] *Non bene pro toto libertas venditur auro...* ("Ни за какую цену не следует продавать свободу" или "Свобода дороже любого золота") – Первая строка дистиха из средневекового сборника латинских басен на эзоповские сюжеты, создателем которого был Вальтер Английский (XII в.). Существовало испанское издание этих басен: "Esta es la vida de Ysopet con sus fábulas historiadas". Zaragosa, 1489. Однако собеседник Сервантеса не случайно вспоминает Горация ("... это слова Горация или кого-то там другого"). Тема великой ценности свободы, столь важная для ренессансных гуманистов и для Сервантеса, – одна из главных в творчестве римского поэта. Сервантес мог читать Горация в оригинале и в переводе на испанский язык, осуществленном Вильеном де Бьедма в 1599 г. В комментарии к одам Горация де Бьедма пишет: "Далее ⟨Гораций⟩ показывает, сколь велика цена свободы, ибо за нее можно отдать жизнь, тогда как жизнь, полученная ценой свободы, не стоит ничего". Эти слова де Бьедмы отзовутся и в знаменитой речи Дон Кихота о свободе (II, LVIII).

[13] *Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, Regumque turres.* – "Бледная смерть равно стучится как в лачуги бедняков, так и в дворцы королей" (Гораций. Оды, I, 4).

[14] *Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros.* – "Я же говорю вам: возлюбите врагов ваших" (Матф. 5, 44).

[15] *De corde exeunt cogitationes malae...* – "Из сердца исходят дурные помыслы" (Матф. 15, 19).

[16] *Dones eris felix...* – Цитируются 5–6-я строки 9-й элегии Овидия: "Счастлив покуда ты – много друзей у тебя, а наступят ненастные дни – окажешься ты одинок". Имя римского писателя Катона-старшего (234–149 до н.э.), которому приятель автора Пролога приписывает это двустишие, появилось в тексте романа, по всей видимости, вследствие типографской ошибки: наборщик вместо Nasón – Назон (прозвание Овидия) набрал Catón – Катон: двустишия (дистихи) в массовом сознании того времени неизменно ассоциировались с именем Катона, которому Средневековье приписывало популярный сборник назидательных двустиший-изречений "Disticha Catonae de moribus ad filius".

[17] *...и укажите главу, разыскав ее.* – Речь идет о 17-й главе первой "Книги Царств" (48–49).

[18] *...”Река Тахо получила свое прозвище... песок” и т.д.* – Лопе в “Аркадии” дает похожее описание Тахо.

[19] *...сообщу вам историю Кака, которую я знаю наизусть...* – Сервантес имеет в виду эпизод из восьмой книги “Энеиды” Вергилия, в которой повествуется о победе Геракла над “полузверем” Каком, хитростью укравшим из гераклова стада четырех быков и четырех телок (чтобы запутать преследователей, Как привел животных в свою пещеру за хвосты). Говоря, что он эту историю “знает наизусть”, приятель-собеседник автора не очень сильно преувеличивает. В “Дон Кихоте” немало свидетельств того, что Сервантес очень внимательно читал “Энеиду” как в оригинале, так и в переводе на испанский (в XVI–XVII вв. Вергилия переводили Эрнандо де Веласко, Анибаль Каро, Диего Лопес: в переводе последнего “Энеида” была опубликована в Вальядолиде в 1601 г.).

[20] *...епископ Мондоньедский предоставит вам своих Ламий, Лаис и Флор...* – Епископ Мондоньедский – Антонио де Гевара (1480?–1545), придворный проповедник и хронист, один из самых крупных испанских прозаиков эпохи Возрождения, автор жизнеописаний, трактатов, развлекательно-поучительной книги “Часы государевы” (“Reloj de príncipes”, 1529) и принесших ему всеевропейскую славу “Домашних посланий”, собрания полувымышленных полудокументальных писем автора современникам (“Epístolas familiares”, ч. I – 1539, ч. II – 1542). В 63-е послание из Первой части эпистолярия Гевары включена история трех иронически упоминаемых Сервантесом римских куртизанок. Однако Гевара – прямой предшественник создателя “Дон Кихота” и в более широком смысле слова. Автор “Часов государевых” и “Домашних посланий” первым из европейских прозаиков посягнул на аристотелевское разграничение “истории” и “вымысла” (“поэзии”). Гевара всевозможными способами мистифицирует читателя, сочиняет “достоверные” исторические факты, в частности, представляет вымышленные им повесть о римском императоре Марке Аврелии (вошла в состав книги “Часы государевы”), а также переписку императора с женой как перевод рукописи, найденной во Флоренции. В “Домашних посланиях” есть эпизод, повествующий о покупке автором у мальчика – уличного торговца – некоего манускрипта, почти дословно совпадающий с рассказом об обретении автором “Дон Кихота” продолжения истории хитроумного идальго (I, IX).

[21] *...Овидий предложит вам свою Медею...* – Овидий излагает свою версию мифа о Ясоне и Медее в VII книге “Метаморфоз”, которую Сервантес мог читать и в переводе на испанский Санчеса де Вьяны (1589).

[22] *...Гомер укажет вам на Калипсо, а Вергилий на Цирцею...* – Волшебница нимфа Калипсо, в течение семи лет удерживавшая Одиссея и его спутников на своем острове, изображена в X песне “Одиссеи”; в VII книге “Энеиды” (10–24) фигурирует волшебница Цирцея, обращавшая людей в диких зверей.

[23] *...Юлий Цезарь предложит вам самого себя в своих “Записках...”* – Речь, должно быть, идет о “Записках о Галльской войне” Гая Юлия Цезаря (100–44 до н.э.).

[24] *...Плутарх даст вам тысячу Александров.* – “Сравнительные жизнеописания” позднегреческого историка Плутарха (ок. 46 – после 119 н.э.) содержат 23 пары биографий выдающихся греков и римлян, в том числе и Александра Македонского.

[25] *...с помощью крупицы знания тосканского языка вы отыщите Леона Еврея...* – Леон Еврей, или Эбрео, – прозвание Иуды Абрабанеля (1461?–1521) – итальянского философа-неоплатоника португало-испано-еврейского происхождения, автора книги “Диалоги о любви” (“Dialoghi d’amore”, 1535), трижды ко времени выхода “Дон Кихота” переводившейся на испанский язык. Леон Эбрео – один из основных источников неоплатонических представлений, занимающих большое место в художественном мышлении Сервантеса. Неоплатонический идеал любви-гармонии, которая, исходя от Бога, пронизывает весь мир, воплощаясь в совершенных творениях природы, не раз возникает на страницах “Дон Кихота” (см. также прим. 2 к I, XII).

[26] *...сочинение Фонсеки "О божественной любви"...* – Речь идет об опубликованном в 1592 г. трактате монаха-августинца Кристобаля де Фонсеки – популяризатора ренессансного неоплатонизма.

[27] *...ибо она – обличение рыцарских романов...* – Все существующие истолкования отношения Сервантеса к рыцарской эпике могут быть сведены к трем основным. Первое: комментируемые слова Сервантеса должны пониматься в прямом и однозначном смысле, т.е. Сервантес всерьез стремился высмеять увлечение читателей-современников рыцарскими романа. В этом Сервантес является продолжателем как испанских ученых-гуманистов первой половины XVI в., так и богословов и авторов поэтик посттридентской поры, не раз выступавших против "книг о рыцарстве". Причем сочинения этого рода критиковались предшественниками Сервантеса как с этической стороны (привлекательное изображение любовных страстей и внебрачных связей), так и в плане эстетики (полное несоответствие неоаристотелевскому канону правдоподобного вымышленного повествования (см. прим. 7 к I, XLVII). Второе: комментируемые слова должны истолковываться как своего рода "завеса", прикрывающая некую истинную цель Сервантеса: ведь ему не было особой нужды "сокрушать" рыцарские романы, ибо этот жанр перестал быть продуктивным задолго до публикации "Дон Кихота": вся "классика" жанра была создана в первой половине XVI в. Поэтому появление "Дон Кихота" могло, скорее, стимулировать возрождение угасающего в читательских кругах интереса к рыцарскому роману. Третье: сервантесовское "обличение" рыцарских романов – это пародия, которая, по выражению Э. Райли (см. *Райли, 1973*), "сохраняет в себе пародируемый объект в качестве жизненного ингредиента". Подробнее см. в нашей статье.

[28] *...ничего не говорил Св. Василий...* – Св. Василий Великий (IV в.) – один из греческих "отцов церкви". Его имя, наряду с именами Аристотеля и Цицерона, стоит в списке имен, приложенном к "Исидро" (см. прим. 8).

[29] *Единственное, чем вы должны воспользоваться... – это подражанием...* – Понятие "подражание" (imitatio) в эпоху Возрождения употреблялось в разных смыслах: 1) подражание великим авторам древности; 2) подражание историческим и легендарным героям (ср. речь Дон Кихота в I, XXV); 3) подражание Христу (ср. название популярнейшего трактата Фомы Кемпийского "О подражании Христу", приписывавшегося в те времена Жерсону, исп. пер. 1491); 4) подражание природе в ее двух ипостасях – как природе сотворенной (natura naturata), так и природе творящей (natura naturans). В самом последнем смысле природа в натурфилософских учениях второй половины XVI в. уподобляется Богу, а поскольку Бог-природа творит, никому не подражая, позднеренессансные философы и художники могли расширить понятие "подражание" вплоть до отождествления его с "вымыслом", "изобретением" (inventio). В полифоническом контексте "Дон Кихота" понятие "подражание" фигурирует в разных смыслах. Здесь, надо полагать, – в последнем.

[30] *...я предлагаю тебе историю...* – Здесь, как и везде (в том числе и там, где переводчик использует слово "повесть"), Сервантес неизменно именует свое повествование "историей" (historia) и нигде "романом" (*исп.* novela).

При этом он вкладывает в слово "история" два на первый взгляд взаимоисключающих, а на деле – дополняющих друг друга смысла: пародийный по отношению к мнимому историзму рыцарских романов (см. прим. 1 и 19 к I, I и прим. 4 к I, II) и серьезный. Соответственно в аспекте пародийного замысла не раз возникающее в тексте романа клише "historia conta" (досл. "история рассказывает") разоблачает мнимую хроникальность "книг о рыцарстве", а в аспекте конструктивных целей самого Сервантеса соотносит сервантесовское повествование с его идеальным, мифическим праобразом – историей Рыцаря Печального Образа, якобы существующей в ее целостности и совершенстве до воплощения в текст романа (см. Уиллис, 1953). Это позволяет автору назвать свое повествование о деяниях Дон Кихота "подлинной" историей (historia verdadera).

[31] *...все жители Монтьельской округи...* – Монтьель – часть Ламанчи, расположенная на стыке провинций Сьюдад-Реаль и Альбасете.

[32] *...в нем одном сосредоточены все достоинства оруженосцев...* – Эти слова Сервантеса не должны пониматься в том смысле, что Санчо Панса является обобщенным образом оруженосцев рыцарских романов. Как оруженосец он вовсе не типичен. Поэтому малоубедительны попытки некоторых ученых (Ч.Ф. Вагнера, М. Менендеса и Пелайо и др.) отыскать истоки образа Санчо в рыцарской литературе, в частности разглядеть в оруженосце Рибальдо – персонаже романа "Рыцарь Си́фар" (El caballero Zífar, ок. 1300 г.) – прообраз оруженосца Дон Кихота: "Рыцарь Сифар" не пользовался популярностью в XVI в. и нигде не упоминается на страницах "Дон Кихота".

Исследование Ф. Маркеса Вильянуэвы (см. Маркес Вильянуэва, 1973), развивающее многие положения работы В.С. Хендрикса (Хендрикс, 1925), связывает образ Санчо Пансы с комическими персонажами испанской драматургии XVI в. – слугой-"дураком" (el tonto) и слугой-"советчиком" (el listo). Знаменательно, что многие персонажи испанского площадного театра – крестьяне (rústicos) и пастухи (pastores) – носят имя "Санчо" или прозвище "Панса" (Panza – исп. брюхо). Сочинители старых комедий нередко прибегали и к игре слов "Panza-Zancas" (Zanca – *исп.* дословно "Тощая нога"), которую мы встречаем в романе Сервантеса. Одним из непосредственных "предшественников" Санчо может быть назван слуга-шут (el bobo) из пьесы Себастьяна де Ороско "Представление знаменитой истории о Руфи" ("Representación de la famosa historia de Ruth"). Рассмотренный в контексте карнавально-смеховой культуры, в лоне которой и сложился испанский площадной театр, образ Санчо легко возводится к карнавальному шуту-"обжоре", воплощающему идею бессмертия народного целого. Рассмотрение образа Санчо в контексте карнавальной культуры не исключает поисков истоков этого образа в фольклорной повествовательной традиции. Так, М. Мольо (см. *Мольо, 1976*) встраивает образ Санчо в длинный ряд фольклорных "дураков" – tontos (театральный "bobo" – шут, дурак является его учено-литературной деривацией). "Мудрость" Санчо, считает Мольо, производное не от мудрости слуги-советчика, а от мудрости... все того же сказочного "дурака", глупость которого имеет свою "изнанку" – особого типа "мудрость" (ср. русск. Ивана-дурака, который в конце концов оказывается всех умнее и удачливее). Такого рода противоположности диалектически совмещаются в фольклорном "дураке": трусость/храбрость, жадность/щедрость, доверчивость/осторожность и т.п. Эта же народная "диалектика" пронизывает и сложный образ сервантесовского героя.

С другой стороны, образ Санчо может "прочитываться" и как карнавально-пародийная "парафраза" образа "карлика-оруженосца", очень распространенного в рыцарской эпике (см. *Урбина, 1982*).

Какие бы концепции генезиса образа Санчо ни предлагали ученые, они должны быть согласны в том, что на основе традиции Сервантес создал глубоко индивидуализированный, способный к романному развитию, "незавершенный" образ слуги Дон Кихота, равнозначный образу своего господина.

[33] *Vale* (*лат.*) – прощай, будь здоров.

НА КНИГУ О ДОН КИХОТЕ ЛАМАНЧСКОМ

[1] *Урганда Неуловимая* – досл. Неузнаваемая (Desconocida) – героиня рыцарского романа "Амади́с Галльский", добрая фея-волшебница, покровительствующая Амадису, прозванная Неуловимой за ее чудесную способность принимать разные обличья и оставаться неузнанной. Любопытно, что децимы Урганды написаны "усеченной строкой", изобретенной севильским поэтом (и приятелем Сервантеса) Алонсо Альваресом де Сориа. В "усеченной строке"

отсекаются последние слоги, а предпоследние (ставшие последними) связываются между собой ассонансной рифмой (основанной на созвучии гласных). В послании Урганды никак не обыгрывается связь "Дон Кихота" с "Амадисом" (ср. далее сонеты, приписываемые Амадису и Ориане). По стилю оно также резко отличается от (пускай и пародируемой) стилистики "книг о рыцарстве": жаргонизмы, полускабрезные намеки заставляют читателя вспомнить, скорее, о стиле плутовского романа. Стихотворение явно адресовано не книге о Дон Кихоте, а какому-то литературному противнику Сервантеса. Кому же? Традиционный ответ: Лопе де Веге. Нетрадиционный, предложенный М. Батайоном (см. Батайон, 1960), – Лопесу де Убеде, автору "Плутовки Хустины" (1605). Сервантес был, очевидно, знаком с рукописью романа. В свою очередь, в романе Убеды есть упоминание о "Дон Кихоте". Кроме того, в нем фигурирует несколько стихотворений, написанных "усеченной строкой", к чему до Убеды не прибегал ни один романист, а также упоминается Урганда Неуловимая. Наконец, именно роман Убеды адресован "девицам, нуждающимся в исправлении" – по выражению Сервантеса, "кухаркам".

[2] *...Что ты пальцы ставишь кри(во)* – жаргонный оборот, означающий: не ведаешь, что творишь.

[3] *...Древо царственного ко(рня)...* – Род герцогов Бе́харских был связан с королевским домом Наварры.

[4] *...Неистовый Орла(ндо)...* – Герой поэмы Людовико Ариосто "Неистовый Роланд" (по-итальянски Орландо) ("Orlando furioso", 1516–1532), имеющий относительное сходство со своим прообразом – героем французского героического эпоса. Роланд Ариосто – рыцарь, влюбленный в красавицу Анджелику, совершивший ради нее множество подвигов и впавший в безумное неистовство от мысли, что катайская принцесса отдала свою любовь другому.

[5] *Показных иероглифов / Не печатай слишком гу(сто)...* – М. Батайон (см. *Батайон, 1960*) считает, что выражение "показные иероглифы" намекает на родовой герб королевского временщика Родриго Кальдерона (казнен в 1621 г.), человека незнатного происхождения, составившего свой герб из геральдических символов нескольких действительно знатных родов: этот-то герб вельможи-покровителя и украшает первое издание "Плутовки Хустины" (согласно обычаю того времени на обложках книг разрешалось печатать либо герб религиозного ордена, к которому принадлежал автор, либо герб лица-покровителя, либо герб книгоиздателя). Распространенное истолкование комментируемого выражения: Сервантес посмеивается над Лопе де Вегой, поместившим на обложке "Аркадии" и "Странника в своем отечестве" герб Бернардо дель Карпио (девятнадцать башен на лазоревом фоне), к которому фантазер Лопе возводил свой род (о Бернардо дель Карпио см. прим. 18 к I, I).

[6] *...У кого одни фигу(ры)...* – Выражение, заимствованное из карточной игры "примера" (la primera), в которой карты-фигуры ценятся меньше карт-чисел.

[7] *Экий Альваро де Лу(на), / Экий Ганнибал наше(лся), / Иль король Франциск в нево(ле), / Сетующий на Форту(ну).* – Эти строки почти дословно воспроизводят стихотворение монаха Доминго де Гусмана – пародию на децимы заключенного в темницу поэта и богослова Луиса де Леон (1537–1591): "Aquí la envidia y mentira / Me tuvieron encerrado" – "Здесь, куда меня заключили зависть и клевета...". Альваро де Луна – фаворит кастильского короля Хуана II, казненный в 1453 г.; Ганнибал – карфагенский полководец (ок. 247–183 гг. до н.э.), враг римлян. После поражения карфагенян во второй Пунической войне отправился в изгнание и, по-видимому, покончил жизнь самоубийством; король Франции – Франциск I (1494–1547), взятый в плен испанцами в сражении при Павии в 1525 г. и проведший год в испанском плену.

[8] *...Как арап Хуан Латино...* – Хуан Латино – полиглот XVI в. (? – ок. 1573 г.), негр, привезенный ребенком с матерью-рабыней в Испанию. Получив образование, а затем и свободу, Хуан Латино преподавал латынь в Гранадском университете.

[9] *Амади́с Галльский* – герой рыцарского романа "Амадис Галльский" ("Amadís de Gaula", опубл. до 1495 г., сохр. изд. 1508 г.), самой знаменитой из испанских "книг о рыцарстве". Первая, не дошедшая до нас версия романа была создана в XIV в., возможно, на старопортугальском языке. В конце XVI в. кастильский градоправитель Гарси Родригес де Монтальво, рехидор г. Медина, переработал средневековый текст. Он существенно сократил его, изменил трагический финал (гибель Амадиса от руки собственного сына, сражавшегося с не узнанным им отцом, самоубийство Орианы), взамен сочинив четвертую книгу, завершение которой предполагало возможность дальнейшего развития действия и возникновение так называемого "амадисовского" цикла рыцарских романов. Первым из романов – продолжений "Амадиса Галльского" стал сочиненный также Монтальво роман о деяниях сына Амадиса – Эспландиана (см. прим. 5 к I, VI).

[10] *...Я жил, отвержен, над Стремниной Бедной...* – В 48-й главе Второй книги "Амади́са Галльского" повествуется об испытаниях, коим подверг себя сам Амадис после того, как его возлюбленная Ориана, охваченная чувством ревности, запретила ему видеться с ней. В отчаянии Амади́с слагает с себя рыцарское звание и под именем Бельтене́броса (Beltenébros – дословно Мрачный Красавец) удаляется на безлюдный остров Пенья Побре (Peña Pobre – Бедная Скала), где живет в лишениях, оплакивая свою любовь. Именно этому эпизоду стремится подражать Дон Кихот в Сьерра-Морене (см. I, XXV).

[11] *Дон Бельянис Греческий* – герой рыцарского романа Херонимо Фернандеса "История отважного и непобедимого принца дона Бельяниса Греческого, сына императора дона Белиано и императрицы Кларинды", созданного в 1530–1540-е годы. Первый том "Бельяниса" (1–2 части романа) был опубликован при жизни автора (сохранилось издание: Бургос, 1547); второй том (3–4 части) издан братом писателя Андресом Фернандесом там же в 1579 г.

[12] *...И, взят за чуб, за мной тащился, плача, / Сопротивляющийся лысый Случай.* – В ренессансной литературе в соответствии с античной мифологией Случай аллегорически изображался лысым, с единственной прядью волос на лбу, за которую удачливый должен уметь ухватиться.

[13] *Мирафлорес* – замок в окрестностях Лондона, в котором жила возлюбленная Амадиса Галльского Ориана.

[14] *...И я за радость не платила б пени.* – Амадис и Ориана задолго до свадьбы вступают в любовную связь, плодом которой становится их сын Эспландиан. Стремясь скрыть рождение Эспландиана, Ориана посылает придворную даму Мабилию и ее брата Дурина отвезти новорожденного в соседнее аббатство. Однако по дороге ребенка похищает львица и относит его к отшельнику Нарсиано. Мабилия и Дурин считают, что львица съела младенца, о чем и сообщают Ориане.

[15] *...испанский наш Овидий...* – Кто имеется в виду под "испанским Овидием", комментаторами романа до сих пор не установлено.

[16] *...Почтенье выражает бускороной.* – Бускорона – (buzcorona) – шуточный подзатыльник.

[17] *Доносо* – Donoso – *исп.* Весельчак. Согласно гипотезе М. Батайона (см. *Батайон, 1960*), возможно, что стихотворения, открывающие и завершающие первую книгу "Дон Кихота", сочинял не только сам Сервантес, а и его друзья, в том числе и Габриэль Ласко де ла Вега, автор сборника "Букет романсов" ("Manojuelo de romances", 1601). Стиль романсов Ласко де ла Веги очень близок к стилю комментируемых децим.

[18] *Вильядьего сделал то(же)...* – Вильядиего – персонаж испанского фольклора, имя которого вошло в идиоматический оборот: "Tomar las calzas de Villadiego" (досл. "Натянуть чулки Вильядиего"), означающий "дать тягу". Это выражение встречается и в XII акте "Трагикомедии о Калисто и Мелибее" или "Селестины", принадлежащей перу Фернандо де Рохаса

(1502). По мнению большинства исследователей (см., например, *Дуран, 1960*), именно драма для чтения "Селестина", равно как и диалогическая литература Испании XVI в. в целом, подготовили появление в Испании первого образца новоевропейского романа. Именно в "Селестине" впервые в европейской литературе со всей отчетливостью зазвучало "трехмерное" (М.М. Бахтин) диалогическое слово, важнейший компонент романной стилистики.

[19] *...Правнук славного Бабьеки...* – Бабьека – конь Сида, героя испанского эпоса ("Песнь о моем Сиде") и романсеро. Сид – реальное историческое лицо – Родриго Руй Диас де Бивар (1043–1099), кастильский рыцарь и военачальник, сыгравший большую роль в реконкисте и вошедший в историю под прозваниями Сид (*арабск.* "господин") и Кампеадор (*исп.* "воитель").

[20] *Ласарильо сам почу-(ял)...* – герой анонимной повести "Жизнь Ласарильо с Тормеса" (опубл. в 1554 г.), важнейшего звена в формировании романного жанра. Повесть о похождениях мальчика-слуги разных господ, написанная от лица героя в форме его письма-исповеди, предвосхищает одно из основных направлений, по которым пойдет развитие романа в XVII в. – монологическую линию "пикарески", плутовского романа, заимствовавшего из "Ласарильо" жанрообразующую сюжетную схему и принцип повествования от первого лица. В децимах упоминается знаменитый (фольклорный по происхождению) эпизод из "Ласарильо": Ласарильо проделывает в кувшине, в котором его хозяин – скаредный слепец – хранит вино, дырочку и через соломинку высасывает все содержимое сосуда.

[21] *Рыцарь Феба* – герой романа "Зерцало рыцарей и принцев. Рыцарь Феба" ("Espejo de príncipes y caballeros. Caballero del Febo", 1555), принадлежащего перу Диего Ортуньеса де Калаорры (Diego Ortúñez de Calahorra).

[22] *...Коль Кларидьяны лик зовет обратно...* – В "Рыцаре Феба" рассказывается о любовных метаниях героя между татарской принцессой Линдабридес и наследницей Трапезундского престола Кларидьяной. (Подробнее о романе см.: *Пискунова, 1998*).

[23] *Солисдан* – либо опечатка, исказившая имя Солимана (то же, что и Сулейман), турецкого властителя, нередко фигурировавшего в рыцарских романах, либо имя второстепенного героя какой-либо не дошедшей до нас "книги о рыцарстве".

ГЛАВА I

[1] *В некоем селе Ламанчи...* – Слова из анонимного романса "О побитом любовнике" ("Del amante apaleado"), опубликованного в "Восьмой части Цветов Парнаса" (1596) и вошедшего во "Всеобщий романсеро" (1600). Сервантес демонстративно уклоняется от наименования селения, в котором жил Дон Кихот, так что попытки определить, где именно жил сервантесовский герой, явно расходятся с авторским замыслом. Пародийная ориентация повествования сказывается уже в его зачине: авторы рыцарских романов стремились как можно точнее определить место рождения героя (при том, что география рыцарских повествований чаще всего была фантастичной). Кроме того, их основное место действия – лес, в котором рыцаря подстерегают всякого рода опасности, или море. Ламанча, напротив, – одна из самых безлесных и безводных областей Кастилии.

[2] *Идальго* – человек благородного происхождения, принадлежащий к нетитулованному дворянству и обладавший рядом привилегий, главная из которых – освобождение от уплаты налогов. Наиболее состоятельная часть идальги́и составляла особый социальный слой – кабальери́ю: кабальеро – в отличие от простого идальго – имел право ставить перед своим именем приставку "дон". Наиболее бедная часть идальгии, вынужденная идти в услужение к кабальеро или же к титулованным аристократам (грандам, герцогам, графам и маркизам), относилась к разряду "эскудерии" (от "эскудеро" – "оруженосец"). Срединное положение меж-

ду кабальерией и эскудерией занимала мелкая поместная идальгия, к которой принадлежал и герой Сервантеса.

[3] *Олья, в которой было куда больше говядины, чем баранины...* – Олья – испанское национальное блюдо, приготавливаемое из мяса разных пород скота, птицы и овощей: вся эта смесь, сдобренная специями, упревает в котле под крышкой. Олья считается тем качественнее и изысканнее, чем большее число компонентов (до 16) в нее входит. Олья у Дон Кихота, как вообще у малоимущих, была много скромнее, приближаясь к густой похлебке, в нее клали говядину, мясо, во времена Сервантеса ценившееся меньше баранины и свинины.

[4] *...на ужин почти всегда винегрет...* – Этот "винегрет" (salpicón) приготавливался из остатков обеденной ольи, которые еще больше измельчались, перемешивались с кусочками сала, посыпались перцем и заправлялись уксусом.

[5] *...по субботам яичница с салом...* – В оригинале на месте слов "яичница с салом" стоит иносказание: "duelos y quebrantos" (дословно "горести и прегрешения"): обозначавшее это блюдо, которое разрешалось есть по субботам – в день католического "нестрогого" поста. Такое название "яичницы с салом" было растространено среди "новых христиан", т.е. обращенных в католичество евреев. Демонстративное употребление по постным субботам свиного сала (признак церковной лояльности) доставляло им страдания. "Старые христиане" называли яичницу с салом иначе – "Merced de Dios" – "милость Божья", как бы радуясь некоторому послаблению, допущенному в постный день.

[6] *...по пятницам чечевица...* – Пятница – день наиболее строгого католического поста. То, что Дон Кихот каждую пятницу ел чечевицу, согласно медицинским воззрениям того времени, могло способствовать развитию его умственного заболевания: чечевица – "холодная" и "сухая" пища, трудно усваиваемая и создающая ощущение перенасыщения, делает кровь "меланхоличной", вызывает головную боль и тяжелые сны.

[7] *...в виде добавочного блюда голубь...* – Содержание голубятни было привилегией дворян и религиозных орденов.

[8] *...лет под пятьдесят...* – Указание на весьма преклонный для XVI в. возраст идальго подчеркивает его отличие от героев рыцарских романов, которые изображались в неизменном состоянии цветущей молодости (ср. одно из характерных прозваний Амадиса Галльского – El Doncel del Mar – Юноша Моря).

[9] *Утверждают, что прозывался он...* – Приводимые далее варианты фамилии Дон Кихота имеют комический подтекст: *Кихада* – Quijada – *исп.* челюсть; Кесада – Quesada – *исп.* сырный пирог; Кехана согласуется с *quejar* – жаловаться, стонать. В романе встречаются и иные. Чуть далее: "нашего идальго, без всякого сомнения, звали Кихада, а не Кисада, как утверждают некоторые другие". В главе V крестьянин, односельчанин Дон Кихота, обращается к нему "Сеньор Кихана", что почти совпадает с тем, как исцелившийся Дон Кихот сам именует себя в финале романа: Алонсо Кихано Добрый. Пытаясь установить "истинную" фамилию героя, многочисленные исследователи явно пренебрегают словами самого Сервантеса: "Впрочем, для нашей повести это не имеет большого значения". Важно то, какое имя – а вместе с ним и сущность (для сознания ренессансного человека имя и сущность все еще неразделимы), – присваивает себе сам герой. Бессмысленность установления "истинной" фамилии "хитроумного идальго" связана также с существеннейшей чертой поэтики "Дон Кихота", которую исследователи, начиная с Х. Ортеги и Гассета, называют "перспективизмом". Вот как характеризует эту фундаментальную черту романа Л. Шпитцер: "Мир по мере того, как он раскрывается перед человеком, может быть интерпретирован по-разному, точно так же, как по-разному объясняется происхождение разных имен. Отдельные индивидуумы могут видеть мир в ложной перспективе, равно как могут даваться ошибочные объяснения происхождения имени... Сервантес показывает, что мир открывается разным людям с разных точек зрения, в то время как сам он сохраняет за собой право иметь свою точку зрения на происходящее" (*Шпитцер, 1977,* p. 179).

[10] *...произведения знаменитого Фелисиано де Сильва...* – Фелисиано де Сильва (Feliciano de Silva, 1492–1558?) – плодовитый и чуткий к веяниям литературной моды беллетрист первой половины XVI в. В историю испанской литературы вошел как автор "Второй комедии о Селестине" (1534), первой в ряду продолжений и подражаний трагикомедии Фернандо де Рохаса (см. прим. 18 к разделу "На книгу о Дон Кихоте Ламанчском"). Кроме того, перу Фелисиано де Сильвы принадлежат седьмая, девятая, десятая и одиннадцатая книги из "амадисовского" цикла: "Лисуарте Греческий" (1514), "Амади́с Греческий", "Флорисель Никейский. Первая и вторая части" (1532), "Флорисель Никейский. Третья часть" (1535), "Флорисель Никейский. Четвертая часть" (1551). Третья и четвертая части "Флориселя" нередко воспринимались как одно целое – роман "Рохель Греческий", образующий одиннадцатую книгу цикла. Это делает и Дон Кихот в разговоре с Кардению. Маньеристской изысканностью и привлекательностью отличается стиль "Флориселя"–"Рохеля". Фелисиано де Сильва раньше многих других авторов почувствовал, что рыцарский роман изживает себя и что ему на смену идет другой жанр – пасторальный роман, сходный с "книгами о рыцарстве" по условности и утопичности, но более сосредоточенный на изображении внутренней жизни героев, их эмоционального мира. Автор "Амадиса Греческого" и "Рохеля Греческого" начинает активно вводить в композицию рыцарских романов пасторальный элемент.

[11] *...хвалил автора за то, что тот заканчивает книгу обещанием продолжить эту... историю...* – В конце "Бельяниса Греческого" (см. прим. 11 к разд. "На книгу о Дон Кихоте...") Хероно́имо Ферна́ндес пишет, что хотел бы завершить свое повествование, но мудрый Фристон (волшебник, выступающий в роли "подставного" автора романа. – *С.П.*), переезжая из Греции в Нубию, потерял – в чем он клянется – свою историю и теперь принялся за ее поиски. "Я ждал их конца, но безуспешно, а дополнять столь прекрасную историю вымыслом было бы весьма непочтительно, посему я тут и остановлюсь, предоставляя право всякому, в чьи руки попадет ее продолжение, присовокупить его к предыдущим частям, поскольку я изнемогаю от желания увидеть его..." Такого рода заявление могло пробудить в Дон Кихоте желание взяться за перо, однако герой Сервантеса предпочитает превратить в роман собственную жизнь.

[12] *...человеком ученым, удостоенным степени в Сигуэнсе...* – Университет в Сигуэнсе (основан в 1472 г.) был во времена Сервантеса одним из самых захудалых.

[13] *Пальмерин Английский* – герой одноименного португальского рыцарского романа (создан до 1544 г., сохр. порт. изд. 1567, исп. пер. 1547–1548), третьего романа из "пальмериновского" цикла, сложившегося по образцу "амадисовского" (см. также прим. 18 и 21 к I, VI).

[14] *...ни одному из них не сравниться с Рыцарем Феба...* – О Рыцаре Феба см. прим. 21 к разд. "На книгу о Дон Кихоте..."

[15] *...не так был жеманен и плаксив, как его брат...* – "Амадис Галльский" отличается от других рыцарских романов пристальным вниманием автора к любовным переживаниям главного героя, известной психологической аналитичностью, что приближает роман Монтальво к авантюрно-сентиментальному роману XV – первой половины XVI в., с одной стороны, и к пасторальному роману второй половины XVI в. – с другой.

[16] *Сид Руй Диас* – См. о нем прим. 19 к разд. "На книгу о Дон Кихоте..."

[17] *...далеко ему до Рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих, чудовищных великанов.* – Рыцарь Пламенного Меча – прозвание главного героя романа Ф. де Сильвы "Девятая книга Амадиса Галльского. Хроника деяний отважнейшего и могущественнейшего принца Рыцаря Пламенного Меча Амадиса Греческого, сына Лисуарте Греческого..." (об авторе – см. прим. 10 к наст. гл.). От рождения на груди Амадиса Греческого был большой незаживающий ожог в форме меча, от которого его в конце концов исцелил мудрец и чародей Алькифе. В "Амадисе Греческом" нет эпизода, в котором герой рассекал бы пополам двух огромных великанов: подобного рода подвиг совершает Рыцарь Феба (см. о нем прим. 21 к разд. "На книгу о Дон Кихоте...").

[18] *Снисходительнее он относился к Бернардо дель Карпио, ибо тот в Ронсевальском ущелье убил очарованного Роланда, применив хитрость Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли Антея.* – Этот эпизод содержится в 35 песне эпической поэмы Николаса Эспиносы «Вторая часть "Роланда" вкупе с правдивым рассказом о знаменитой ронсевальской битве» (1555). Бернардо дель Карпио – герой несохранившейся испанской эпической поэмы и романсов о семейной драме и о феодальных междоусобицах. Позднее романсы о Бернардо контаминировались с романсами каролингского цикла, построенными на материале французской эпической поэзии (их главный персонаж – Роланд, погибший в Ронсевальском сражении в 778 г.). В результате Бернардо оказался одним из участников битвы в Ронсевальском ущелье, где противниками французов выступают не "сарацины" (как в "Песне о Роланде"), а испанцы. Во второй половине XVI в., в период усиления националистических настроений и политического антагонизма между Францией и Испанией, фигура Бернардо дель Карпио – победителя Роланда выдвигается на первый план в качестве национального эпического героя, противопоставленного французу Роланду. В этой атмосфере создаются поэмы Николаса Эспиносы, Гарридо де Вильены (см. прим. 17 к I, VI), Агустина Алонсо (см. прим. 16 к I, VI), написанные как продолжение "Неистового Роланда". Под влиянием Ариосто, а также рыцарских романов авторы поэм о Бернардо дель Карпио вводят в повествование немало фантастических мотивов. В частности, Николас Эспиноса, дабы принизить Роланда, подчеркивает тему его заколдованности, дарующей ему неуязвимость (см. рассуждения Дон Кихота в I, XXVI); Бернардо дель Карпио, напротив, Эспиноса возвышает, уподобляя Гераклу. Нельзя не заметить иронического отношения Сервантеса к этой окрашенной в националистические тона фантастике.

[19] *...лестно отзывался он о великане Моргante...* – Моргант – персонаж поэмы итальянца Луиджи Пульчи "Большой Моргант" (1483, исп. пер. 1533), великан-язычник, обращенный Роландом (Орландо) в христианство.

[20] *Рейнальдо* (в ит. звучании – Ринальдо) *Монтальбанский* – персонаж испанских романсов каролингского цикла, а также позднеренессансных эпических поэм (см. прим. 18 к наст. гл.), сюжетно восходящих к французской эпической поэме XII в. "Рено де Монтобан" через посредничество итальянских ренессансных рыцарских поэм, прежде всего – "Влюбленного Роланда" (1486) Маттео Боярдо и "Неистового Роланда" Ариосто, а также испанских позднеренессансных эпических поэм – подражаний Боярдо и Ариосто (см. прим. 17 к I, I и прим. 16, 17 к I, II). В испанской традиции соперник Роланда Рейнальдо изображается одним из главных – наряду с Бернардо дель Карпио (см. прим. 18 к наст. гл.) – участников Ронсевальского сражения, воюющим на стороне испанцев и вызывающим особое сочувствие читателей. Здесь речь идет о Рейнальдо – персонаже прозаической компиляции "Зерцало Рыцарства" (см. прим. 12 к I, VI).

[21] *...задать хорошую трепку предателю Ганелону...* – Ганелон – в "Песне о Роланде" предатель, погубивший Роланда и войско французов. Часто фигурирует в испанских романсах каролингского цикла.

[22] *...больше болезней, чем куарто в реале...* – В оригинале непереводимая игра слов: cuarto – монета стоимостью приблизительно в четверть реала и cuartos – болезнь лошадей.

[23] *...больше недостатков, чем у лошади Гонеллы...* – Пьетро Гонелла – шут герцога Борсо Феррарского (XV в.), герой множества анекдотов, собранных в итальянской книге "Проделки Гонеллы" ("Buffoneria del Gonella"), изданной в Венеции в 1568 г. Лошадь Гонеллы была известна своей худобой.

[24] *...tantum pellis et ossa fuit* – "Кожа да кости" – цитата из посвященной Гонелле 11-й эпиграммы Теофило Фоленго (1496–1544), итальянского поэта, создателя "макаронической" поэзии, т.е. писавшего на смеси итальянского и латинского языков. Фоленго выступал под псевдонимом Мерлин Какайо.

[25] *...а теперь стала первой клячей на свете и впереди всех остальных.* – Имя Росинант – Rocinante – каламбурно разлагается на два слова: Rocín – кляча и ante – раньше, впереди.

[26] *Дон Кихот* – Don Quijote, имя, вызывающее комическую ассоциацию с quijote (*исп.*) – набедренник рыцарских доспехов, хотя, изобретая его, герой Сервантеса думал, скорее, о созвучии с Ланcароте (Lanzarote): так звучит по-испански имя Ланселота, одного из рыцарей Круглого стола. Другим прообразом Дон Кихота является также Камилоте (Camilote), герой рыцарского романа "Прималеон и Полендос" (см. прим. 18 к I, VI), идальго, отправляющийся в путь, чтобы утвердить славу своей уродливой дамы Маймонды.

[27] *...именовать себя Доном Кихотом Ламанчским...* – О "незаконности" использования героем Сервантеса в своем имени частицы "дон" см. прим. 2 к наст. главе.

[27] *Я – великан Каракулиамбро...* – Каракулиамбро – как замечает в своем комментарии Ф. Родригес Марин, сходным по звучанию прозвищем в Андалусии награждают полнолицых людей.

[28] *Звали ее Альдонса Лоренсо...* – Альдонса – простонародное имя, часто фигурирующее в пословицах типа: "A falta de moza, buena es Aldnoza" ("Коли нет девицы, и Альдонса сгодится").

[29] *...имя, которое бы не слишком отличалось от ее собственного...* – производное от Дульсе (Dulce – сладостная), искусственное имя Дульсинея нередко присваивалось крестьянкам в пасторалях в качестве эквивалента имени Альдонса.

[30] *...она была родом из Тобосо...* – Тобосо – селение в провинции Толедо.

ГЛАВА II

[1] *...это был один из самых знойных июльских дней...* – Приурочивая время действия Первой части "Дон Кихота" к самому жаркому времени года, Сервантес, по всей видимости, устанавливает поэтическое соответствие между июльской жарой и "сухостью" и "жаром" мозга безумца.

[2] *...он тайно от всех... выехал в поле...* – Исследователи (*Марассо, 1954, Гаос, 1959*) усматривают в описании первого выезда Дон Кихота аллюзию на строки поэмы знаменитого испанского поэта-мистика Хуана де ла Крус (1542–1591) "Темная ночь души" ("Noche oscura del alma"), в которой аллегорически изображается ночное странствие души в поисках Бога. Душа – персонаж поэмы – также отправляется в путь "никем не замеченная" ("sin ser notada"). Особое значение творчества Хуана де ла Крус и других поэтов и прозаиков-мистиков второй половины XVI в. для формирования романа Сервантеса как "романа самосознания" отмечал А. Кастро (*Кастро, 1967*).

[3] *...что касается белых доспехов...* – Речь идет о так называемом "белом щите", т.е. щите, принадлежащем лишь готовящемуся к посвящению в рыцари новичку.

[4] *...мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем моих чудесных дел.* – Многие рыцарские романы построены как хроники, созданные "по следам событий" каким-нибудь волшебником, нередко участвующим и в романическом действии: таковым в "Деяниях Эспландиана" выступает "маэсе Элисабат", в "Бельянисе Греческом" – мудрый Фристон, в "Рыцаре Феба" – Лиргандео и Артемидоро и т.д.

[5] *...как путеводной звезде, которая указывала ему путь...* – Чуть ли не прямой намек на евангельский рассказ о поклонении волхвов младенцу Иисусу: "Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою" (Матф., 2, 10). Что касается "пути" Дон Кихота, то маршрут его первого выезда таков: он движется по Монтьельской равнине *на восток*, а прибывает... *на северо-запад* (в ущелье Лаписе). Таким образом, пространство в романе Сервантеса подчинено собственно художественным целям автора, а не географическим представлениям.

[6] *...подъехал к постоялому двору в ту минуту, как начало смеркаться.* – Здесь начинается ряд ночных приключений Дон Кихота, к которым, кроме посвящения в рыцари, нужно отнести встречу с козопасами (гл. XI), приключения на другом постоялом дворе (гл. XVII), приключение с мертвым телом (гл. XIX), эпизод с сукновальными молотами (гл. XX) и др. С одной стороны, это подтверждает сходство символического сюжета "Дон Кихота" с сюжетом поэмы Хуана де ла Крус, с другой – является реалистической мотивировкой иллюзий, овладевающих Дон Кихотом: в ночной тьме воображение героя Сервантеса получает дополнительный стимул.

[7] *Мой наряд – мои доспехи...* – Дон Кихот цитирует слова романса "Постоянство", а хозяин в ответ перефразирует его следующую строфу: "Значит, для вашей милости ложем служит твердый камень, а сном – постоянное бдение".

[8] *...назвал его кастеляном, приняв его за честного кастильца...* – В подлиннике обыгрывается двойное значение слова "castellano": "кастелян" и "кастилец". Слово "кастилец" в XVI в. было синонимом "честного человека".

[9] *...с побережья Сан Лукара...* – Побережье Сан Лукара – окрестности г. Санлукар в провинции Кадис, как и все портовые места (из Санлукара отправился в третье плаванье Христофор Колумб), – было любимым местом сборищ воров и бродяг.

[10] *...потягаться с самим Каком...* – Как – см. прим. 19 к Прологу.

[11] *Ожерельник* – накладная часть лат, облегающая шею.

[12] *...он с большим изяществом декламировал...* – Дон Кихот далее перефразирует строки популярного романса, в котором рассказывается о любви Ланселота (по-исп. – Лансароте) – "Рыцаря Озера" – к супруге короля Артура Джиневре (*исп.* Хинебра). Этот сюжет был известен в Испании с XIII в. Самое старое испанское издание романа, в котором фигурируют эти герои – "Поиски Святого Граала вкупе с чудесными деяниями Лансароте Озерного и Галая, его сына", – относится к 1515 г. Этот роман и был источником вдохновения для безымянных сочинителей романса, повествующего о прибытии рыцаря Ланселота из Бретани в замок королевы Джиневры и об оказанном ему там приеме. При этом народный романс – в отличие от артуровских романов – представляет сниженно-профанированную версию истории возвышенной любви "Рыцаря Озера" к своей королеве. В результате замены в устах героя Сервантеса "Лансароте" на "Дон Кихоте", девиц-прислужниц – на трактирных служанок и т.д. создается двойной комический эффект. Этот же романс позже цитируется в эпизоде прибытия Дон Кихота и Санчо в замок герцога во Второй части (XXXI гл.), а также в XIII и XVI главах Первой.

[13] *...рыбы, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалусии бакальяо, а в других местах курадильо...* – Абадехо, бакальяо, курадильо – разные названия трески.

ГЛАВА III

[1] *...решил потакать его сумасбродству...* – Трактирщик – первый персонаж Дон Кихота, который включается в атмосферу карнавального розыгрыша, возникающую вокруг фигуры Дон Кихота (о Дон Кихоте как герое карнавала см.: Родригес Марин, 1947; Лопес Эстрада, 1953; Редондо, 1980а). Пародийное действо посвящения героя романа в рыцари – основа развития фабулы романа, в которой изначально заложено комическое противоречие: Дон Кихот формально не мог быть рыцарем: в староиспанском своде законов "Семь частей" ("Las siete partidas"), говорилось, что тот, кто посвящен в рыцари в насмешку, равно как и сумасшедшие, никогда не могут быть зачислены в рыцарское сословие.

[2] *...не преминув посетить...* – Трактирщик далее перечисляет места скопления бродяг и мошенников и злачные районы испанских городов. Среди них – и "Острова" Риарана – квартал в предместье Малаги.

[3] *...чтобы в награду за его доброе отношение они делились с ним своим достоянием...* – Эти слова – пародийная аллюзия на эпизод из рыцарского романа "Оливанте де Лаура" (см. о нем прим. 8 к I, VI), в котором изображен некий владелец замка по имени Арлистар, каковой, "хотя и был весьма почтенным рыцарем, не имел никакого иного достояния, кроме замка, и использовал его на то, чтобы по своей доброте привечать в нем рыцарей и всех путников, проезжавших мимо, с тем чтобы они делились с ним всем, что имели".

[4] *...именоваться доньей Толосой.* – Ла Толоса (от tola *астур.* и *леонск.* – бестолковая) – Дурошлепка.

[5] *Ла Молинера. – La molinera* – мельничиха, в фольклоре и литературе, нередко женщина легкого поведения.

ГЛАВА IV

[1] *Уже рассветало...* – В оригинале – La del alba sería – оборот, в котором "пропало" существительное "hora" – "час" (правильно: La *hora* del alba sería – досл. "был час зари"). По правилам испанской грамматики такой пропуск возможен только в том случае, если оборот "La del alba sería" примыкает к предшествующему предложению, оканчивающемуся на опущенное в нем существительное. Именно таким предложением и заканчивается III глава: "El ventero... le dejó ir a la buena *hora*" – досл.: "Хозяин гостиницы... проводил его в добрый час". Комментируемый пассаж – одно из серьезных доказательств того, что первоначально Сервантес – автор Первой части – строил свое повествование как связный текст, без деления на главы, которое ввел лишь дойдя – согласно разным предположениям – до одной из глав между VII (второй выезд) и XVIII.

[2] *"Лжет!" Ты это говоришь в моем присутствии... грубиян*? – В старой Испании сказать в чьем-либо присутствии о другом человеке, что тот лжет, считалось оскорбительным для собеседника.

[3] *...вышло шестьдесят три реала...* – Во всех первых изданиях "Дон Кихота" не "шестьдесят три", а "семьдесят три реала", что может быть как опечаткой, так и ошибкой Сервантеса.

[4] *...каждый из нас – сын своих дел.* – Это утверждение Дон Кихота более, чем какое-либо другое, свидетельствует о ренессансной природе его мироощущения и мировидения. Именно для Ренессанса характерен взгляд на человека как на самоопределяющуюся личность, утверждающую себя в мире вопреки всем сословным разделениям и наперекор судьбе. В коллизии сервантесовского романа это исповедуемое героем представление о человеке постоянно сталкивается с реальностью, в результате чего обнажается иллюзорно-утопическая сторона ренессансного гуманизма.

[5] *...императрицам и королевам Алькаррии и Эстремадуры...* – Алькаррия – округ в провинции Новая Кастилия, Эстремадура – одна из испанских провинций.

[6] *...стройна, как гвадаррамское веретено.* – Популярное народное сравнение стройной женщины с веретеном в Мадриде и его окрестностях дополнено эпитетом "гвадаррамское", так как из сосен, росших в горах Гвадаррамы, изготавливались продававшиеся в Мадриде веретена.

ГЛАВА V

[1] *...вспомнить о каком-нибудь случае, известном ему из книг...* – Далее речь пойдет о сборниках романсов – романсеро, которые начали в изобилии появляться в Испании во второй половине XVI в., так как "история, хорошо знакомая детям", предстающая здесь воображению Дон Кихота, встречается не в рыцарских романах, а в романсах из каролингского

цикла о маркизе Мантуанском, который находит в безлюдном лесу своего племянника Балдуина (или Вальдовиноса), смертельно раненного коварным Карлото, сыном короля Карла Великого (Карлото пошел на это, будучи влюбленным в жену Балдуина).

[2] *...в уста раненого Рыцаря Леса...* – т.е. Балдуина, мысленно обращающегося к своей супруге инфанте Сибилле. Далее цитируется первое четверостишие небольшого "нового" романса о маркизе Мантуанском, включенного во "Всеобщий романсеро" 1600 г. Эти строки не совпадают с развитием сюжета "старого", традиционного романса на эту же тему, являющегося отправной точкой донкихотовских фантазий.

[3] *...вспомнил о том, как... Родриго де Нарва́эс...* – Здесь Дон Кихот перескакивает в своем воображении от романса о маркизе Мантуанском к "мавританскому" романсу на сюжет повести, приписываемой Антонио де Вильегасу, "История Абенсерраха и прекрасной Харифы" ("Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa"), которая получила особую популярность, будучи включенной издателем в IV книгу второго (1561) издания "Дианы" Хорхе де Монтемайора (см. о ней прим. 27 к I, VI). Герой Сервантеса воображает себя знатным гранадским мавром Абиндарраэсом из рода Абенсеррахов, который по пути на тайное бракосочетание с прекрасной Харифой попал в засаду, устроенную правителем христианской Антекеры Родриго де Нарваэсом. Услышав из уст Абиндарраэса историю его любви, Нарваэс, тронутый силой чувства мавра, отпускает его на свободу, взяв с него обещание вернуться назад на третий день после свадьбы. Абиндарраэс возвращается к Нарваэсу вместе с Харифой, и тот в ответном благородном порыве окончательно освобождает обоих. Сервантес, говоря о заключении Абиндарраэса в замок, искажает сюжет и повести, и романса, и сюжет из романсеро, которому он следует. По мнению Р. Менендеса Пидаля (см. *Менендес Пидаль, 1961*), это свидетельствует о влиянии, которое оказала на Сервантеса анонимная "Интермедия о романсах" (сочинена приблизительно в 1591 г., публиковалась в 1611 или 1612 г.). Герой интермедии крестьянин Бартоло, начитавшийся романсов, сходит с ума и отправляется в путь совершать подвиги в подражание героям романсеро. Глава V "Дон Кихота" во многих, даже частных, моментах совпадает с текстом интермедии, где избитый Бартоло воображает себя сначала раненным Балдуином, а затем другим из персонажей упомянутого выше романса – алькальдом Басы, который жалуется Абенсерраху на презрение Саиды (подробнее см. в указанной работе Р. Менендеса Пидаля).

Тем не менее влияние "Интермедии" на замысел романа не перечеркивает оригинальности донкихотовского сюжета. Кроме "Интермедии", существуют и другие произведения (например, 64-я новелла Франко Сакетти – см. о них в указ. соч. Р. Менендеса Пидаля), в которых в комическом виде выводятся безумцы, начитавшиеся рыцарских романов или романсов, вообразившие себя рыцарями и отправляющиеся совершать рыцарские подвиги, веселя и изумляя других людей. Первое же столкновение с реальной действительностью оказывается развязкой этих похождений. Однако предметом изображения у Сервантеса является не просто деяние – "выходка" безумца, а структура донкихотовского сознания. Как показал Л.Е. Пинский (см. *Пинский, 1963*), донкихотовский сюжет-ситуация возникает только в результате многократного воспроизведения коллизии столкновения героя с действительностью, что выявляет в образе героя романа его собственно "донкихотовское" начало.

[4] *Я сам знаю, кто я такой...* – Экзистенциалистские интерпретации "Дон Кихота", начиная с книги М.де Унамуно "Жизнь Дон Кихота и Санчо Пансы согласно Мигелю де Унамуно" (1905), придают особый смысл этим словам Дон Кихота, свидетельствующим о том, что у героя Сервантеса есть "личностный проект", по которому он создает свое "я".

[5] *...всеми двенадцатью пэрами Франции и девятью мужами Славы...* – В число двенадцати пэров Франции включались разные рыцари, такие как Роланд, Оливье, Рено де Монтобан и др. Девятью мужами Славы в Средние века считались три иудея – Иосиф, Давид, Иуда

Маккавей; три язычника – Гектор, Александр Македонский, Юлий Цезарь; три христианина – Карл Великий, король Артур и Готфрид Бульонский.

[6] *Лиценциат* – эта степень присваивалась в XVI–XVII вв. выпускникам университетов.

[7] *...великий волшебник, мудрый Эскифе.* – Племянница имеет в виду Алькифе, персонажа романа "Амади́с Греческий" (см. прим. 17 к I, I) и некоторых других романов "амадисовского цикла".

[8] *...призовите мудрую Урганду...* – См. прим. 1 к разделу "На книгу о Дон Кихоте Ламанчском".

[9] *...сумеем вас вылечить и без этой ургады.* – В том, как племянница искажает имя Урганды, есть оттенок непристойности: hurgada от hurgar в значении: теребить, ворошить, иноск. возбуждать.

ГЛАВА VI

[1] *А тот все еще спал.* – Начало VI главы в первом издании столь же "обрывочно", как и начало IV. Более того, глава начинается как бы с середины предложения, после запятой, которой заканчивается текст предыдущей главы.

[2] *...история "Амадиса Галльского" в четырех частях.* – См. прим. 9 к разделу "На книгу о Дон Кихоте...".

[3] *...это – первый рыцарский роман, отпечатанный в Испании...* – Если принять во внимание, что до "Амадиса Галльского" в Испании был напечатан каталонский роман "Тирант Белый" (см. прим. 24 к наст. гл.), следует признать, что священник в этом утверждении не вполне точен.

[4] *...от него ведут свое... происхождение все остальные.* – Непосредственно к "Амадису Галльскому" восходят романы так называемого "амадисовского" цикла, однако он действительно стал образцом, на который в той или иной степени ориентировались авторы испанских рыцарских романов XVI в.

[5] "*Подвиги Эспландиана*" – так обычно сокращенно переводят название пятой книги "амадисовского цикла", написанной самим Гарси Родригесом де Монтальво и опубликованной в 1510 г.

[6] "*Амадис Греческий*" – См. прим. 17 к I, I. Упоминаемые далее королева Пинтикинестра и пастушок Даринель – персонажи этого романа, который к концу превраща́ется в своего рода "эклогу", изображающую любовь Флориселя Никейского и пастуха Даринеля к пастушке Сильвии. Однако Даринель в "Амадисе Греческом" "эклог" не сочиняет. Стихотворения в этом духе исполняет другой пастух – Архесилай из "Рохеля Греческого", другого романа Ф.де Сильвы.

[7] *...всю... галиматью этого автора...* – т.е. роман Фелисиано де Сильвы (см. прим. 10 к I, I).

[8] "*Дон Оливанте де Лаура*" – рыцарский роман, опубликованный в Барселоне в 1564 г. Его автор – писатель-гуманист Антонио де Торкемада, перу которого также принадлежат "Сатирические диалоги" ("Colóquios satíricos", 1553) и развлекательно-дидактический сборник "Сад занимательных цветов" ("Jardín de flores curiosas", 1570), относящийся к жанру "смесей".

[9] "*Флорисмарте* (или Фелисмарт) Гирканский" – рыцарский роман, принадлежащий перу Мельчора Ортеги (Вальядолид, 1556).

[10] "*Рыцарь Платир*" – "Хроника деяний отважного и могучего рыцаря Платира, сына императора Прималеона" – анонимный рыцарский роман (1533).

[11] "*Рыцарь Креста*" – под этим названием могут фигурировать либо опубликованная в 1521 г. в Валенсии "Хроника о Леполемо, по прозванию Рыцарь Креста, сыне Императора

Германии, составленная на арабском языке Хартóном и переведенная на кастильский Алонсо де Салас́аром", либо позднейший анонимный роман "Вторая книга о могучем Рыцаре Креста Леполемо, германском принце, повествующая о великих воинских деяниях его Высочества скромнейшего рыцаря Леандра Прекрасного, его сына", вышедший в Толедо в 1563 г. "Леандр Прекрасный" приписывался гуманисту Педро де Лухану, а в качестве его источника называлась итальянская повесть "Леандр Прекрасный" (Венеция, 1560 г.) Пьетро Лауро.

[12] "*Зерцало Рыцарства*". – Этот роман не надо путать с "Зерцалом рыцарей и принцев. Рыцарем Феба" (см. прим. 21 к разд. "На книгу о Дон Кихоте..."). "Зерцало Рыцарства" ("Espejo de caballerías") – огромная компилятивная прозификация, принадлежащая разным авторам и состоящая из трех или четырех частей. Первая часть появилась до 1527 г., вторая – в Толедо в 1527 г. (автор обеих – Педро Лопес де Сантамариа), третья, принадлежащая перу Педро де Рейносы, – в Севилье в 1550 г. Все части вместе опубликованы в Медина дель Кампо в 1586 г. Начальные 86 глав первой части "Зерцала рыцарства" являются прозаическим переложением поэмы М. Боярдо "Влюбленный Роланд", остальные пересказывают в сокращенном виде итальянскую поэму "Влюбленность Роланда", написанную Никколо Дельи Агостини как продолжение поэмы Боярдо.

[13] *...с их правдивым историком Турпином*. – Реймскому архиепископу Турпину (историческое лицо VIII в.) приписывали созданную четырьмя веками позднее латинскую "Хронику архиепископа Турпина", повествующую о событиях времен правления Карла Великого, в том числе о сражении в Ронсевальском ущелье, одним из участников которого якобы был архиепископ. "Хроника архиепископа Турпина" изобилует вымыслами, но представляет ценность как ранний источник.

[14] *...я возложу его себе на голову*. – Жест восточного происхождения, знак уважения, относившийся обычно к королевским и папским грамотам.

[15] *...ничего бы не имели против сеньора капитана, если бы он не распространял его в Испании в кастильском обличье... – Капитан* – Дон Херонимо Хименес де Урреа, автор одного из испанских переводов "Неистового Роланда" Аристо (1549). Ср. рассуждения Дон Кихота об искусстве перевода в LXII гл. Второй части.

[16] *...Бернардо дель Карпио...* – поэма Агустина Алонсо "История деяний и подвигов непобедимого рыцаря Бернардо дель Карпио", написанная королевскими октавами и вышедшая в свет в Толедо в 1585 г. Поэма является как бы продолжением "Неистового Роланда" и одновременно подражанием итальянской поэме. Бернардо дель Карпио окружен в поэме Алонсо знаменитыми персонажами Ариосто, а все ее действие разворачивается в сказочно-фантастической, но изображенной не без иронии обстановке.

[17] *Ронсеваль...* – Имеется в виду или поэма Франсиско Гарридо де Вильены "Правдивое повествование о знаменитом ронсевальском сражении совокупно с рассказом о гибели двенадцати пэров Франции", опубликованная в Валенсии в 1555 г., или поэма Николаса Эспиносы (см. прим. 18 к I, I).

[18] "*Пальмерин из Оливы*" – "Книга о знаменитом рыцаре Пальмерине из Оливы", первая из так называемого "пальмериновского" цикла, была опубликована в Саламанке в 1511 г. Ее продолжение – "Вторая книга об императоре Пальмерине, в которой повествуется о деяниях его сыновей Прималеона и Полендоса" (1512), – приписывается некоему Франсиско Васкесу. Именно в "Прималеоне и Полендосе" фигурирует рыцарь Камилот – один из возможных прототипов Дон Кихота. Подробнее о нем см.: *Андреев, 1993*.

[19] "*Пальмерин Английский*". – См. прим. 13 к I, I.

[20] *...ларец, подобный тому, какой был найден Александром...* – Согласно рассказу Плутарха, Александр Македонский, найдя среди добычи, захваченной им после поражения Дария, богатый ларец, велел хранить в нем сочинения Гомера.

[21] *...одному мудрому португальскому королю.* – Дону Жоану II или его сыну Жоану III, умершему в 1557 г. В действительности автором "Пальмерина Английского" был португалец Франсишку Мораиш Кабрал.

[22] *...в замке Мирагварды...* – Находящийся посреди Тахо замок, в котором была заключена Мирагварда, славившаяся своей красотой.

[23] "*Дон Бельянис*" – Имеется в виду "Бельянис Греческий". См. прим. 11 к разд. "На книгу о Дон Кихоте...".

[24] "*История знаменитого рыцаря Тиранта Белого*" – так звучит испанское название каталонского рыцарского романа, опубликованного в оригинале в Валенсии в 1490 г., а в переводе на испанский в Вальядолиде в 1511 г. Роман в основном написан Жоаном Мартурелем, а завершен (IV часть) Марти Жоаном де Гальба.

[25] *...Кириэлейсон Монтальбанский... Пласердемивида... Репосада...* – Имена героев романа Мартореля значимы: Кириэлейсон – Quirieleison – "Господи, помилуй", Пласердемивида – Placerdemivida – "Утеха моей жизни", Репосада – Reposada – "Ублажающая".

[26] *...автор заслуживал бы того, чтобы закончить дни свои на галерах...* – Пожелание священника "отправить" автора "Тиранта" "на галеры", т.е. на королевскую каторгу, звучит явно неожиданно после его слов о том, что это – "лучшая книга на свете". Одно из возможных объяснений: выражение "echar a galeras" (досл., послать на галеры) можно прочитать и как "отправить в набор", т.е. переиздать, так как слово "galera" означает также "наборная доска".

[27] *"Диана" Хорхе де Монтемайора.* – Первый классический образец пасторального романа, принадлежащий перу испано-португальского поэта Хорхе де Монтемайóра, опубликованный в Валенсии в 1558–1559? гг. В пасторальных романах значительное место занимают стихи, а также диалоги-прения пастухов и пастушек. Поэтому в XVI в. они назывались "эклогами", как и соответствующий стихотворный жанр. Священник именует их просто "книги со стихами".

[28] *...и ему вздумается сделаться пастушком...* – Слова племянницы как бы прогнозируют развитие донкихотовской коллизии в конце Второй части романа, хотя, сочиняя эпизод осмотра библиотеки Дон Кихота, Сервантес, судя по всему, не представлял себе полностью развитие событий даже в Первой.

[29] *...выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисии и волшебной воде...* – Персонажи романа Монтемайора – страдающие от несчастной любви пастухи и пастушки – держат путь во дворец волшебницы Фелисии, где, испив из волшебного источника, меняют свои чувства на противоположные: начинают любить тех, кого раньше ненавидели́, и ненавидеть тех, кого любили.

[30] *...стихи с длинными строчками...* – В оригинале: versos mayores (дословно "большие стихи"), т.е. стихотворения, написанные в форме "арте майор", в основе которой лежит строка, состоящая из шести- (пяти-, семи-) сложных полустиший. Возникший в испанской средневековой поэзии, к XVI в. этот размер выглядел устаревшим.

[31] *...так называемая "Вторая Диана", сочиненная Саламантинцем...* – роман Алонсо Переса, уроженца Саламанки, «Восемь книг Второй части "Дианы" Хорхе де Монтемайора» (1564), написанный как ее продолжение.

[32] *...произведение Хиля Поло.* – Еще одно продолжение "Дианы" – "Влюбленная Диана" Хиля Поло, опубликованная в 1564 г., – один из лучших пасторальных романов.

[33] "*Любовная Фортуна в десяти книгах*", написанная сардинским поэтом Антонио де Лофрасо. – Родным языком Лофрасо был каталанский. Его пасторальный роман был опубликован в Барселоне в 1573 г. Книгу Лофрасо Сервантес вспоминает в поэме "Путешествие на Парнас" как одно из нелепейших сочинений в своем роде.

[34] *..."Иберийский пастух", "Энаресские нимфы" и "Средство против ревности".* – "Иберийский пастух" (Севилья, 1591) – пасторальный роман Бернардо де ла Веги; "Энарес-

ские нимфы" – "Первая часть энаресских нимф и пастухов" (Алькала, 1587) – пасторальный роман Бернардо де Бобадильи; "Средство от ревности" (или "Разочарование от ревности") – пасторальный роман Бартоломе Лопеса де Энсисо (Мадрид, 1586).

35 *"Пастух Фи́лиды"* (Мадрид, 1582) – Пасторальный роман Луиса Гальвеса де Монтальво, в котором – особенно к концу – пасторальный "декорум" уступает место стилю придворного празднества. В образе страдающего пастуха Сиральво Монтальво представил самого себя, страдающего от любви к сестре герцога Осуны, донье Магдалене Хиро́н (ср. слова священника: "он вовсе не пастух, а просвещенный столичный житель").

36 *"Сокровищница разных стихотворений"* – Сборник стихотворений мадридского приятеля Сервантеса – Педро де Падильи (Мадрид, 1580).

37 *...другие его произведения более возвышенны...* – Например, поэма "Величественность и совершенство Девы Марии, госпожи нашей" (Мадрид, 1587).

38 *"Сборник стихов" Лопеса Мальдонадо.* – В Посвящениях, предваряющих этот сборник Габриэля Лопеса Мальдонадо (Мадрид, 1586), есть стихотворение самого Сервантеса.

39 *..."Гала́тея"* Мигеля де Сервантеса... – См. прим. 3 к Прологу, а также издание: *Мигель де Сервантес Сааведра.* Галатея / Пер. с исп. Е.Н. Любимовой и Н.М. Любимова. М., 1973.

40 *Подождем обещанной второй части.* – Обещание завершить "Галатею" Сервантес повторял не раз, в том числе в предисловии ко Второй части "Дон Кихота" (1615), а также в написанном за несколько дней до смерти посвящении романа "Странствия Персилеса и Сихизмунды" (1617).

41 *...еще три книжки: "Араукана"... "Аустриада"... и "Монсеррат"...* – Речь идет о трех героико-эпических поэмах (жанр, популярный в Испании второй половины XVI в.) – "Араукане" Алонсо де Эрсильи (Мадрид, 1 ч. – 1569, 2 ч. – 1578, 3 ч. – 1589), "Аустриаде" Хуана Руфо (Мадрид, 1584) и "Монсеррате" Христо́балЯ де Вируэс (Валенсия, 1587).

42 *...что было написано героическим стихом...* – т.е. одиннадцатисложной (так называемой королевской) октавой.

43 *"Слезы Анджелики".* – Поэма близкого друга Сервантеса Луиса Бараона де Сото (Гранада, 1586), написанная как продолжение "Неистового Роланда" Ариосто. "Знаменитость" де Сото "во всем мире" Сервантес несколько преувеличил.

44 *...он с большим искусством перевел несколько сказаний Овидия.* – Перу де Сото принадлежит перевод некоторых "Метаморфоз" Овидия, например, "Сказание об Актеоне" ("Fábula de Acteón").

ГЛАВА VII

1 *"Карлиада"* – поэма Херо́нимо де Семпе́ре, опубликованная в Валенсии в 1560 г. Воспевает деяния императора Карла V.

2 *"Лев Испании"* – поэма Педро де ла Весилья Кастельяноса (1586) повествует об основании города Леона (León – *исп.* лев) и воспевает святых, уроженцев города.

3 *...вместе с "Деяниями императора" дона Луиса де Авилы...* – У Луиса де Авилы и Суньиги, историографа Карла V, нет ни прозаического, ни тем более поэтического произведения под таким названием, а есть хроника "Записки о германской войне ("Comentario de la guerra en Alemania", 1548). Возможно, Сервантес хотел поставить в один ряд с поэмами-эпопеями Семпе́ре и Кастельяноса другое произведение – огромную (40 000 стихов) поэму Луиса Сапаты "Достославный Карл" (Валенсия, 1566), посвященную императору.

4 *...этот незаконнорожденный, дон Рольдан...* – Рольдан – испанская народная форма имени Роланд. Любопытно, что здесь Дон Кихот приписывает Роланду деяния, которые за-

тем оказываются связанными с именем другого рыцаря – Диего Переса де Варгаса (см. прим. 4 к I, VIII).

[5] *...но не зовите меня больше Рейнальдо Монтальбанским...* – Речь идет о Рейнальдо – персонаже романса (см. прим. 20 к I, I).

[6] *Не Муньятон, а Фрестон...* – Фрестон, или Фристон, – мудрец-волшебник, подставной автор "Бельяниса Греческого" (см. прим. 11 к разделу "На книгу о Дон Кихоте..." и прим. 11 к I, I).

[7] *...чтобы не разжигать его гнева.* – Исследователи, трактующие образ Дон Кихота как целенаправленную пародию на тип эпического героя вообще (см., например, *Собре́, 1976*), могут толковать мотив "гнева" Дон Кихота, проходящий через весь роман (см. *Хатцфельд, 1927*), как "травестию" мотива традиционного героического безумия (ср. гнев Ахилла, Кухулина, одержимость Гунтера и др., кроме Ахилла, в Испании XVI–XVII вв. не известных).

[8] *...взял напрокат у одного из своих приятелей круглый щит...* – Круглый щит – принадлежность юношеского вооружения.

[9] *...моя супружница Хуана Гутьéррес...* – Ср. далее: "не пришлась бы по мерке Мари-Гутьеррес". – В романе Сервантеса почти столько же вариантов имени супруги Санчо, сколько вариантов имени главного героя: Хуана Гутьеррес – Мари-Гутьеррес – Хуана Панса (II, I) – Тереса Каскахо – Тереса Панса (II, V). Некоторые комментаторы (напр., М. де Рикер) объясняют это забывчивостью Сервантеса, другие (В. Гаос) – "лингвистическим перспективизмом" (см. прим. 9 к I, I). Интересное объяснение близкому соседству двух имен жены Санчо в Первой части (Мари – Хуана) дает М. Мольо (см. *Мольо, 1976*): Мари – это фольклорная Мари-разумница, а Хуана – Хуана-дуреха; удвоение имени жены Санчо отражает ее сущность, аналогичную двойственности образа самого Санчо. Об изменении имени жены Санчо во Второй части см. прим. 1 к II, V. Авельянеда в ложном "продолжении" "Дон Кихота" избрал для жены Санчо имя Мари-Гутьеррес.

ГЛАВА VIII

[1] *...больше рук, чем у самого гиганта Бриарея...* – Бриарей (*греч., миф.*) – чудовищное существо с пятьюдесятью головами и сотней рук, сын бога неба Урана и богини земли Геи.

[2] *Пуэрто Ла́писе* (или Ла́пиче) – проход между двумя горами на королевской дороге из Кастилии в Андалусию в провинции Сьюдад-Реаль. В XVI в. там существовал постоялый двор.

[3] *...Диего Перес де Варгас, у которого во время сражения сломался меч.* – Диего Перес де Варгас – легендарный герой Реконкисты времен короля Фернандо III Святого (1199–1252). В романсе об осаде города Хе́рес о нем говорится:

А за ними следом – Диего Перес,
Отмеченный своей силой,
И меч у него погнулся,
И нечем ему сражаться.
Когда подошел он к оливе,
То отломил толстую ветку,
Похожую на дубину,
И снова бросился в битву

[4] *...желудок его был полон... совсем не цикорной водой, поэтому он как мертвый проспал до утра...* – Цикорная вода считалась легким снотворным средством.

[5] *...в дорожных очках...* – Дорожные очки – полумаски со стеклами для защиты лица от солнечных лучей и пыли.

[6] *...не то твоя голова долой, не будь я бискаец!* – В оригинале бискаец все время говорит на ломаном испанском языке. Таким образом, он воспринимается как одна из традиционных комических фигур-типов староиспанского театра – el vizcaíno (бискаец). (Неправильная речь персонажей-иностранцев – традиционный источник комических эффектов в фольклоре, народном театре и в ориентирующейся на них литературе.)

[7] *...увидишь, как твоя вода в кошке поплавает!* – Бискаец, путая слова, использует выражение, связанное с детской игрой: "Кинуть кошку в воду" ("Llevar el gato al agua"), означающее: "посмотрим, кто кого".

[8] *...сказал Аграхес...* – Аграхес – рыцарь, персонаж романа "Амадис Галльский", один из ближайших сподвижников главного героя; присказка-угроза "сказал Аграхес" стала крылатым выражением, хотя в романе Монтальво Аграхес нигде цитируемых Дон Кихотом слов не произносит.

[9] *...второ́й автор этого труда...* – Появление в повествовании второго автора истории о Дон Кихоте – на фоне упоминавшихся в I главе безымянных "авторов", фигурирующих далее "ламанчских летописцев" и голоса повествователя, звучащего в романе с первой фразы ("...имени которого мне не хочется упоминать..."), – одно из проявлений затеянной Сервантесом игры с читателем, который волей-неволей оказывается вовлеченным в романное пространство как участник реконструкции мифического идеального текста истории Дон Кихота (см. прим. 31 к Прологу к Первой части), по отношению к которому существующий текст романа предстает как система отклонений от "подлинника"-прообраза. До появления в следующей – IX – главе образа единственного "подставного" автора Сида Амета Бененхели повествователь ("я") выступает преимущественно в роли издателя-редактора созданного другими "авторами" текста. Его неожиданное отождествление себя со "вторым" автором объясняется тем, что "отыскать окончание нашей занимательной повести" о Дон Кихоте он может, лишь взяв на себя непосредственно авторскую функцию.

[10] *...об этом будет рассказано во Второй части.* – Первая часть "Дон Кихота" имеет собственное внутреннее деление на части (Часть первая – главы с I по VIII, Часть вторая – главы с IX по XIV, Часть третья – главы с XV по XXVII, Часть четвертая – главы с XXVIII по LXII), которое утратило значение при появлении в 1615 г. нынешней Второй части романа. О нецелесообразности четырехчастной композиции Сервантес мог задуматься уже в процессе работы над "Дон Кихотом" 1605 г.

ГЛАВА IX

[1] *...мы оставили отважного бискайца и славного Дон Кихота в ту минуту, как они замахнулись обнаженными шпагами...* – Новаторский для того времени прием разрыва повествования в кульминационный момент Сервантес, возможно, заимствовал или у Эрсильи, который в конце второй части "Арауканы" оставляет своих героев Ренго и Тукапеля в разгар сражения, или из "Рыцаря Феба", заключительная глава которого обрывается в тот момент, когда "великий сицилианец Браворанте и знаменитый африканец Бруфальдоро взвиваются в небо на лошадях, обнажив мечи".

[2] *...Столь прославленных в народе...* – Стихи из анонимного романса, вставленные в испанский перевод "Триумфов" Петрарки, сделанный Альваром Го́месом де Сьюдад Реаль.

[3] *...не остался без своего историка...* – См. прим. 4 к II, I.

[4] *...того, что у Платира... было в избытке.* – В романе "Рыцарь Платир" (см. прим. 10 к I, VI) летописцем подвигов героя является мудрец Гальтенор.

[5] *...среди книг Дон Кихота находились столь современные произведения...* – Самое "современное" из изданий, имевшихся в библиотеке Дон Кихота, датируется 1591 г.

[6] *...тех, что верхом на иноходце... разъезжали...* – К числу таких персонажей относится, например, китайская принцесса Анджелика – главная героиня "Неистового Роланда".

[7] *...столь же непорочными, как мать, что их родила.* – Сервантесу, видимо, нравилось это незатейливое гривуазное уподобление, встречающееся и в рыцарских романах (в том же "Бельянисе Греческом"): он прибегает к нему же и далее в романе, а также в новелле "Ревнивый эстремадурец".

[8] *...в продолжение почти двух часов...* – Ясно, что "два часа" – время, далеко не достаточное для прочтения всей Первой части "Хитроумного идальго". Скорее всего, Сервантес упоминает о "двух часах" в соответствии с распространенной формулой вежливости, к коей прибегали авторы, ища благосклонности читателя.

[9] *...в Толедо нашлись бы переводчики и с других языков, получше этого и подревнее.* – Еще один иронический намек на этническую специфику населения Толедо: язык "подревнее" арабского – древнееврейский.

[10] *... написанная Сидом Аметом Бененхели, арабским историком.* – По поводу генезиса образа вымышленного автора-араба исследователи выдвигают следующие гипотезы: 1) М. Менендес и Пелайо считает, что прообразом Сида Амета является арабский хронист мудрый Хартон (Xartón), которому автор "Леполемо". А. де Саласар (см. прим. 11 к I, VI) приписывает создание своего романа, отводя себе самому роль "переводчика" хроники Хартона; 2) Ф. Родри́гес Мари́н вспоминает о книге некоего Габриэля Алонсо Эрреры "О сельском хозяйстве ("Obra de agricultura"), в которой рассказывается о том, как автор заказал мориску перевести для него арабские рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур; 3) Дж. Стэгг (см. *Стэгг, 1956*) считает, что Сервантес в данном случае следовал за Хинесом Пересом де Итой (1544?–1619?), автором "Повести о Сегри и Абенсеррахах" ("Historia de los bandos de los Zegríes y Abencerrajes", 1595) (см. русский перевод этого произведения в серии "Литературные памятники": М., 1981), который в качестве "подлинного автора" повести выставляет некоего арабского историка Абенамина. Последнее предположение представляется наиболее убедительным.

Объяснение происхождения и функции образа Сида Амета в структуре романа тесно связано с "расшифровкой" его имени. Два первых "составляющих" имени арабского историка достаточно ясны: *Сид – арабск.* господин, *Амет*, то же, что и *Ахмет* (восхваляющий, прославляющий) – распространеннейшее арабское имя. Наиболее проблематичным представляется третье – *Бененхели*. В нем комментаторы видят то анаграмму имени Сервантеса, то аллюзию на имя Лопе де Веги, то сочетание слов "Ben" (*арабск.* сын) и Angeli – дословно "Сын ангела" или же: Ben + Engel (*арабск.* Евангелие) = Сын Евангелия. Бурлескная "этимология" имени подставного автора романа дается в самом романе (см. II главу Второй части), где слово "Бененхели" Санчо-путаник переделывает в "Беренхена" (berenjena – *исп.* баклажан, овощ, занимавший большое место в рационе мавров). Т.е. получается – *Сид Амет-"баклажанник"*.

Появление Сида Амета Бененхели в начале второй "реликтовой" части романа связано с существенным усложнением его композиции (хотя все эстетические возможности, заложенные в образе "подставного" автора, Сервантес использует лишь в "Дон Кихоте" 1615 г., внеся существенные изменения в сам образ Сида Амета – см. об *этом* прим. 3 к Посвящению "ДК" – II, а также в работе: *Лопес Навио*, 1987–1988). Выделив Сида Амета из когорты безымянных "ламанчских летописцев" и включив его в повествование на правах единствен-

ного историка-свидетеля деяний Дон Кихота, Сервантес как бы отделяет себя от изображаемого им мира двойной рамой: он-де – всего-навсего издатель рукописи "арабского историка", переведенной для него на испанский не всегда точным переводчиком-мориском. В результате допускается возможность двойного искажения "объективного" содержания и смысла повествования: со стороны Сида Амета, который, как всякий мавр, "лжив", и со стороны переводчика. Вместе с тем, как отмечает Р. Флорес (см. *Флорес, 1982*), несмотря на включение в "Дон Кихот" 1605 г. образа "подставного" автора и на то, что Сервантес – творец романа, – участвуя в повествовании, надевает разные маски, "пристальное чтение текста обнаруживает за каждой маской неизменно улыбающееся лицо Сервантеса". В "ДК"-I Сид Амет фигурирует лишь в пяти главах (IX, XV, XVI, XXII и XXVII).

[11] *...удовольствовался двумя арробами изюма и двумя фанегами пшеницы...* – Арроба – мера веса для сухих сыпучих веществ, равная 12,5 кг. Фанега – арабская единица измерения количества зерна, равная примерно 55 л.

[12] *...потому, вероятно, его и прозвали Панса и Санкас...* – См. прим. 36 к Прологу к Первой части.

ГЛАВА X

[1] *"о том, что еще произошло у Дон Кихота с бискайцем и об опасности, которой он подвергся из-за табуна янгуэсцев"* – О несовпадении названия главы и ее содержания и о гипотезе Дж. Стэгга по этому поводу (*Стэгг*, 1959) см. выше в статье Н.И. Балашова "Двунеуязвимость Дон Кихота" в настоящем издании и в книге С.И. Пискуновой (*Пискунова, 1998*).

[2] *Санта Эрмандад* – Святое Братство; так назывались созданные в Испании в XIII в. под эгидой королевской власти вооруженные формирования горожан и крестьян, предназначенные для пресечения бесчинств феодалов, а затем для борьбы с преступностью, преимущественно в сельской местности и на проезжих дорогах.

[3] *...я тебя освобожу не только из рук Эрмандад, но и из рук самих халдеев.* – Иронический намек на библейскую "Книгу пророка Иеремии", в которой Иеремия грозит, что Иерусалим будет предан Господом в "руки халдеев", т.е. вавилонян (гл. 33).

[4] *...приготовить склянку бальзама Фьерабраса...* – Во французской эпической поэме XII в. "Фьер-а-Бра" ("Fier à Bras") рассказывается о том, как великан-сарацин Фьер-а-Бра похитил из Рима две склянки с остатками бальзама, которым якобы было умащено тело распятого Иисуса Христа. Бальзам обладал чудодейственной силой: испивший его, исцелялся от ран. Оливьер (Оливье), один из двенадцати пэров, взял Фьер-а-Бра в плен и обратил его в христианство, после чего Карл Великий дал ему феод в Испании. Фьер-а-Бра передал Оливьеру склянки с бальзамом. Оливьер, испробовавший на себе силу бальзама, бросил обе склянки в реку, чтобы никто из рыцарей не надеялся на чудесное исцеление.

В Испании существовал перевод старофранцузского прозаического переложения поэмы, опубликованный под названием "История императора Карла Великого и двенадцати пэров Франции, а также жестокой битвы, кою имел Оливерос с Фьерабрасом" (Севилья, 1525).

[5] *Асумбра* – мера жидкости, чуть более двух литров.

[6] *Положив руку на меч... он сказал...* – Дон Кихот приносит клятву не на мече как таковом, а на кресте, образованном рукоятью и острием меча.

[7] *Клянусь... четырьмя святыми Евангелиями, так, как если бы они передо мной лежали...* – Традиционная формула клятвы, применявшаяся в тех случаях, когда предмета, на котором клялись, не было под рукой.

[8] *...вести такую же жизнь, какую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина...* – В романсе о Маркизе Мантуанском (см. прим. 1 к I, V) есть следующие строки:

Клянусь Господом Всемогущим
И Марией – матерью Божьей
И святым причастием,
Которое здесь совершают,
Никогда не чесать головы
И не брить бороды,
Не носить никакой другой одежды
И не менять сапог
И не приближаться к жилью людскому
И не снимать вооруженья
Разве что ненадолго,
Чтобы обмыть тело,
И не есть на скатертях
И не садиться за стол,
Пока не убью Карлото,
Воззвав к правосудию или вызвав на бой.

Однако в романсе нигде не говорится о том, что маркиз поклялся "не тешиться со своей женой", о чем упоминает далее Дон Кихот. Об этом говорится в другом романсе – из "сидовского" цикла. В сознании Дон Кихота оба романса контаминируются.

[9] *...то же самое... случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту.* – Сакрипант – один из персонажей поэм Боярдо и Ариосто, черкесский царь, влюбленный в Анджелику и принимающий участие в защите Альбраки (см. след. прим.). Однако к шлему мавританского царя Мамбрина, предохранявшему своего владельца от ран, Сакрипант отношения не имеет. Владельцем шлема Мамбрина был Рейнальдо Монтальбанский (см. о нем прим. 20 к I, I), убивший Мамбрина. Возможно, источником утверждения Дон Кихота служит эпизод поэмы Ариосто (песнь XVIII), в котором рассказывается о гибели в сражении с Ринальдо (Рейнальдо), защищенном шлемом Мамбрина, другого рыцаря-язычника – сарацина Дардинеля.

[10] *...больше вооруженных людей, чем было их в армии, осаждавшей Альбраку из-за прекрасной Анджелики.* – В поэме Боярдо рассказывается о том, как татарский царь Агрикан, желая получить в жены принцессу Анджелику, во главе двухмиллионной армии осадил неприступную крепость Альбраку, в которую король Катая Галафрон заключил свою дочь. В сражениях вокруг осажденной крепости принимают участие рыцари многих стран.

[11] *...какое-нибудь королевство, вроде Дании или Сольядисы...* – Дания часто упоминается на страницах "Амадиса Галльского". Сольядиса – очевидная опечатка первого издания. Нужно читать: Собрадиса – вымышленное королевство, правителем которого становится брат Амадиса Галльского Галаор.

ГЛАВА XI

[1] *...ибо того, кто смиряется, Бог возвышает.* – Намек на Евангелие: "Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лука, 14, 11).

[2] *Счастливо было то время и счастлив тот век, который древние прозвали золотым...* – Образ Золотого века – одна из важных мифологем ренессансной культуры. С Золотым веком, который для поэтов античности (Овидия – автора первой книги "Метаморфоз", Вергилия – автора IV Эклоги и др.) находился в прошлом, гуманисты высокого Возрождения в той или иной мере отождествляли настоящее. Напротив, гуманисты позднего Возрождения строили свои риторические обличения настоящего на его противопоставлении вновь отнесенному в прошлое Золотому веку.

[3] *Рабель* – примитивный струнно-смычковый инструмент.

ГЛАВА XII

[1] *...о том, что рассказал один козопас...* – Рассказ пастуха в XII гл. – своего рода экспозиция пасторального действа-обряда, которое развернется в XIII–XIV главах вокруг похорон "пастуха-студента" Хризостома. Мотив похорон в ренессансной пасторали – начиная с "Аркадии" Я. Саннадзаро (1504) – один из жанрообразующих мотивов. В пасторали речь идет о погребальном обряде *языческого* характера, связывающем смерть не с идеей воскресения души, а с идеей приобщения живущего на лоне природы пастуха к миру земной природы, с идеей бессмертия, обретаемого в творчестве, в слове.

Сервантес изображает "пасторальные" страдания Хризостома и других влюбленных в Марселу юношей и всерьез, и иронически. В тоне повествования смешаны сострадание к Хризостому, очевидно, покончившему жизнь самоубийством, и осуждение его любовного безумства. Столь же двойственно и авторское отношение к Марселе, в которой, с одной стороны, воплощен гуманистический идеал свободы как особого состояния духа, способствующего постижению гармонии универсума, а, с другой, – распространенный в литературе Возрождения и в драматургии Барокко тип "женщины-беглянки" ("mujer esquiva"), ср. ту же Анджелику в "Неистовом Роланде", многих героинь пасторальных романов.

Открыто авторская позиция в тексте не выявлена, и все происходящее окутано типичной для пасторали атмосферой маньеристской двусмысленности.

[2] *...пастух-студент по имени Хризостом...* – Хризостом (от *исп.* Grisóstomo; нар. форма – Crisóstomo) и его друг Амбросио носят имена отцов церкви Иоанна Златоуста – *греч.* Хрисостома (347–407 гг.) и Амвросия Медиоланского (340–397 гг.).

Сочетание этих имен едва ли можно связывать с каким-то конкретным литературным источником. Деятельность обоих отцов церкви относится к IV в., когда сколько-нибудь четкого разделения Восточной и Западной церкви еще не было, да и Медиоланум (Милан) относился к области византийских интересов. Среди множества святых по имени Иоанн – Иоанн Златоуст был самым чтимым после любимого апостола Христова Иоанна Богослова. Множество Иванов, Янов, Жанов, Джонов, Хуанов получали крестное имя в честь Иоанна Златоуста. Имя его современника св. Амвросия епископа Медиоланского, автора знаменитого песнопения "Тебе Бога хвалим", защитника салоникских христиан от императора Феодосия, чтимо и на Западе, и на Востоке. По-русски его именовали Абросим или Обросим, и отсюда – множество имен и фамилий.

Существует предположение, что имена Хризостома и Амбросио могли быть заимствованы Сервантесом из трактата поэта-мистика Луиса де Леон "Об именах Христа", в котором пасторальная тематика занимает большое место. "Пастушеская жизнь, – пишет философ в разделе трактата, носящем подзаголовок "Пастух" (здесь – как одно из аллегорических имен-обозначений Иисуса Христа), – это жизнь спокойная и удаленная от шума городов, от их пороков и распущенности... У нее есть свои радости, и тем большие, чем от более простых, чистых и естественных вещей они рождаются... Души пастухов просты и не запятнаны пороком, поэтому пастушеская любовь – любовь чистая и устремленная к благой цели... И ей способствует беспредельность, безгранично открывающаяся взору – вид неба и земли, и других творений природы, и этот вид сам по себе являет незамутненный образ чистой и истинной любви... Ибо в нем открывается, что все в мире связано меж собой узами дружбы, все упорядочено и как бы покоится в объятиях друг друга, и согласовано в величайшей гармонии, и одно рождает в другом отклик и сообщает другому свои достоинства, и одно переходит в другое и споспешествует другому, и все сливается воедино и в этом слиянии и взаимосогласии беспрестанно рождает плоды, украшающие небо и землю... Пастухи и в этом превосходят остальных людей".

В комментируемом эпизоде "Дон Кихота" в пасторальном романе перед читателем открывается не только "незамутненный образ чистой и истинной любви", но и любовь-

безумие, которая превращает жизнь любящего в ад и более того – прокладывает туда дорогу его душе. Идиллия оборачивается пасторальным адом.

[3] *...велит похоронить себя, как мавра, средь чистого поля...* – Предсмертная воля Хризостома связана с тем, что он понимал: самоубийце нет места на кладбище.

[4] *...он сочинял вильянсики, что поются в рождественскую ночь, и священные действа к празднику тела Христова...* – Вильянси́ко – букв. деревенская песенка, тесно связанная с рождественским обрядом (типа русских колядок). Священное действо – "ауто сакраменталь" – жанр испанской драматургии XVI–XVII вв., одноактная аллегорическая пьеса на сюжеты Священного Писания, в образной форме трактующая философско-теологические проблемы и прославляющая таинство причастия (Пресуществления Святых Даров). О празднике Дня Тела Христова см. в статье С.И. Пискуновой в наст. изд.

[5] *Не сарна, а Сарра...* – Нижеследующий диалог Санчо и Дон Кихота строится на игре слов: Сарра – Сара (жена библейского праотца Авраама, прожившая более ста лет, часто выступает в испанских пословицах как олицетворение старости) и "сарна" (sarna– *исп.* "чесотка").

ГЛАВА XIII

[1] *Едва только с балконов востока выглянул день...* – Этот оборот – поэтическое клише. В популярном во времена Сервантеса романсе есть такие строки:

Ya por el balcón de Oriente	Вот уже с балкона Востока
Su rostro Apolo mostraba,	Аполлон явил свой лик,
Las lágrimas enjugando	Осушая слезы,
Que vertió su dulce hermana...	...Пролитые его сладчайшей сестрой...

[2] *Разве ваши милости... не читали летописей и истории Англии, где рассказывается о славных подвигах короля Артура*? – О "славных подвигах" полумифического короля бриттов Артура впервые рассказал в своей латинской хронике (до 1138 г.) Гальфрид Монмутский (см. русск. пер.: *Гальфрид Монмутский*. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984), а вслед за ним Гиральд Камбрейский.

Однако Дон Кихот, скорее, знаком с артуровскими легендами не по "летописям", а по рыцарским романам бретонского цикла о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, о поисках святого Грааля и о Тристане и Изольде. Создатели этих романов начиная с северофранцузского трувера второй половины XII в. Кретьена де Труа – использовали как хронику Гальфрида, так и сюжеты и образы кельтского (бретонского, валлийского, ирландского) фольклора.

Дошедшие до нас испанские переводы-переработки французских прозаических романов о короле Артуре, относящиеся к XIII–XIV вв., сохранились в рукописях XV в. и печатных изданиях рубежа XV–XVI вв.

В XIII в. стали появляться испанские переводы и отдельных частей обширного прозаического цикла, созданного во Франции приблизительно в 1230 г. – "Ланселота-Грааля", объединившего артуровские сюжеты вокруг повествования о судьбе королевства Артура и вокруг рассказа о мистических поисках членами артуровского братства (среди них выделяется Ланселот) таинственного Грааля – сосуда, в который, согласно преданию, Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Иисуса Христа.

Староиспанские переводы романов Круглого стола – в особенности "Ланcарот" – оказали влияние на формирование самобытного иберийского рыцарского романа – в том числе "примитивного" "Амадиса" (XIV в.). Многие сюжеты артуровских романов вошли в так называемые новеллистические романсы (См. также прим. 12 к I, II).

[3] *...именно тогда-то дон Ланселот, рыцарь Озера, влюбился в королеву Джиневру...* – См. прим. 12 к I, II.

[4] *...посредницей между ними была почтеннейшая донья Кинтаньона...* – В оригинале – "dueña Quintañonä" – "дуэнья Кинтаньона", в том значении слова "дуэнья", которое сложилось к XVI в.: пожилая дама (нередко вдова), находящаяся в услужении у более знатной сеньоры и являющаяся ее доверенным лицом. Существовал и другой разряд – дуэньи-служанки, каковой во Второй части "Дон Кихота" является донья Родригес. В средневековой Испании дуэньями-доньями именовались все знатные дамы. В испанских рыцарских романах дуэньи-доньи не выступали в роли посредниц между рыцарем и его возлюбленной: эта роль возлагалась на служанок-девиц (doncellas – ср. у Пушкина: "...И приказывает ей, / Сенной *девушке* своей..."). Следовательно, дуэнья Кинтаньона как посредница между Ланселотом и Джиневрой – плод воображения безымянных испанских творцов романса о Ланселоте.

[5] *...а... дона Бельяниса Греческого мы чуть ли не в наши дни видели, общались с ним и слышали его.* ← Последняя часть "Бельяниса Греческого" вышла в свет в 1579 г. Это – один из поздних образцов жанра. Кроме того, как и многие другие рыцарские романы, он изобилует анахронизмами, в частности, в нем упоминается завоевание испанцами Наварры и Гранады (1492).

[6] *...те же условия, которые написал Дзербино у подножья трофеев Роланда...* – Дзербино (Зербин) – персонаж "Неистового Роланда", сын шотландского короля, прибывший во Францию в поисках возлюбленной – Изабеллы. В 24-й песне поэмы повествуется о том, как обретший спасенную Роландом Изабеллу, Зербин с нею ищут Роланда и приезжают туда, где впавший в неистовство Роланд разбросал свое вооружение. Зербин вешает доспехи Роланда на сосну, написав на коре цитируемые далее Дон Кихотом стихи.

[7] *...происхожу я из рода Качопинов Ларедских...* – Качопины Ларедские – знатная фамилия, родовое имение которых находилось в г. Ларедо (пров. Сантандер). Это родовое имя часто иронически обозначало "выскочек").

[8] *И не прав был бы Цезарь Август, если бы он позволил исполнить то, что наказал в своем завещании божественный мантуанец.* – Божественный мантуанец – Вергилий, который завещал сжечь "Энеиду", что его друзья, получив разрешение Октавиана Августа, не исполнили.

ГЛАВА XIV

[1] *Песнь Хризостома.* – Названная в предыдущей главе "Песнь отчаяния", возможно, была (по мнению М. де Рикера) написана Сервантесом до "Дон Кихота", а затем вставлена в роман. В "Песне" "форсируются" многие мотивы предыдущих глав, прежде всего, мотив *ада,* из коего теперь как бы раздается голос покончившего с собой пастуха-студента. Песнь пронизана многообразными литературными реминисценциями. Так, она перекликается с "Песнью отчаяния" Гутьерре де Сетины (1520–1560). Сервантесовское описание ада, в котором мучается душа покончившего с собой влюбленного, напоминает соответствующее описание в сентиментальном романе Хуана Родригеса дель Падрон "Свободный раб любви" (1492). Во второй строфе песни Сервантес цитирует Вторую эклогу Гарсиласо де ла Веги: "...Да выльются со скорбною душою" (этот стих Сервантес цитирует также в "Галатее" и в "Персилесе"). Отдаленный прообраз "Песни" – обращенное к богам подземелья заклинание фессалийской ведьмы Эрихто из VI книги поэмы Лукана (39–65) "Фарсалия" (вторая строфа "Песни") и трагедия его дяди Сенеки (ок. 4 до н.э. – 65) "Федра".

[2] *Иксион* – царь лапифов в Фессалии, осмелившийся домогаться любви богини Геры и похвалявшийся мнимою победой. Зевс велел привязать Иксиона к вечно вращающемуся огненному колесу и обрек его на муки в Тартаре.

[3] *Титий* – великан, рожденный Зевсом и земной женщиной Эларой в недрах земли, куда Зевс скрыл свою возлюбленную от гнева ревнивой Геры. За предпринятую по наущению Геры попытку обесчестить богиню Латону Зевс поразил Тития молнией и низверг в Тартар-Аид, где два коршуна вечно терзают печень распростертого великана.

[4] *...о лютый василиск этих гор.* – Василиск – мифическое чудовище, убивающее взглядом.

[5] *...не потечет ли от твоего приближения кровь из ран несчастного, которого твоя жестокость лишила жизни*? – Намек на поверье, что при приближении убийцы раскрываются раны на теле его жертвы.

[6] *...подобно... Нерону... полюбоваться с высоты на пожар горящего Рима...* – Свободный намек на популярный испанский романс "А Нерон с горы Тарпейской..." ("Mira Nerón de Tarpeya..."), повествующий о императоре Нероне, смотрящем на подожженный по его приказу Рим.

[7] *...как жестокая дочь Тарквиния поправила останки своего отца*? – Приводимые сведения относятся не к дочери, а к жене римского царя Тарквиния Гордого, дочери Сервия Туллия (VI в. до н.э.). Такое мнение было распространено в Испании и встречается у ученого Хуана де Ороско Коваррубиаса, автора книги "Христианские парадоксы" (Сеговия, 1592).

[8] *...в Севилью ...место чрезвычайно подходящее для искателя приключений...* – Вивальдо и его спутники иронизируют над Дон Кихотом: Севилья – крупнейший город на юге страны, "ворота" в Новый Свет. Богатый город притягивал сброд со всей страны, и приключения, ожидавшие там любого, скорее могли стать встречей с плутами.

[9] *...пока не очистит эти горы от воров и разбойников...* – Неясное место. Дон Кихот и Санчо все еще едут по Монтьельской равнине в провинции Сьюдад-Реаль близ предгорий Сьерра-Морены, название которой пока не упоминалось. Однако ее горы могли быть им видны издали. Но нужно помнить, что повествование Сервантеса отнюдь не сколько-нибудь оправдываемое "проверкой" географическое описание (прим. Н.И. Балашова. Ср.: *Пискунова*, 1998. С. 219).

[10] *...вторая часть которой оканчивается здесь...* – т.е. оканчивается вторая [под]часть "Дон Кихота" 1605 г.

ГЛАВА XV

[1] *...кобылицы кордовского загона...* – Ко́рдовские лошади считались лучшими в Испании.

[2] *...табун галисийских кобыл под надзором нескольких янгуэсских погонщиков...* – Галисийские кобылы, т.е. лошадки невысокого роста (в оригин. hacas-jacas). Янгуэсцы – жители Янгуэса: это имя носили два селения в Старой Кастилии. Здесь "галисийские" в смысле принадлежности погонщикам-галисийцам: в первом издании "Дон Кихота" 1605 г. в тексте романа на месте слов "янгуэсские погонщики" (янгуэсцы – т.е. жители селения Янгуэс в Старой Кастилии) стоит слово "галисийцы" (gallegos), а слово "янгуэсцы" фигурирует только в названии X и XV глав.

[3] *...два глотка бальзама Ферта Бласа.* – Санчо имеет в виду "бальзам Фьерабраса" (см. прим. 4 к I, X). Имя "Фьерабрас" он искажает, по-народному этимологизируя его: в ориг. feo Blas – т.е. "урод Блас".

[4] *...я ни в коем случае не подниму меча...* – У Санчо, конечно же, никакого меча нет: и здесь, и далее он подражает, невольно пародируя его, языку рыцарских обетов своего хозяина.

[5] *Синабафа* – тонкое полотно.

[6] *Так, например, доблестный Амадис Галльский очутился однажды...* – В гл. XVIII первой книги "Амадиса Галльского" рассказывается о том, как враг Амадиса Аркалаус при помощи волшебства смог победить рыцаря и взять его в плен. Однако ничего не говорится об избиениях Амадиса; они – плод фантазии Дон Кихота.

[7] *А другой ... заслуживающий большого доверия, сочинитель рассказывает, как рыцарь Феба...* – Ни один из авторов романа "Рыцарь Феба" не сообщает этих неподобающих, столь унизительных для "зерцала рыцарей" подробностей.

[8] *...если бы на помощь бедному рыцарю не явился один мудрец...* – Дон Кихот имеет в виду Лиргандео, к помощи которого сам взывает далее (см. I, XLIII).

[9] *Тисона* – прозвание одного из мечей Сида.

[10] *...Силен, приемный отец и воспитатель веселого бога смеха, въехал в Стовратный город... на осле...* – Силен – лесное божество, воспитатель Вакха. Во время вакханалий Силен въезжал верхом на осле в семивратные Фивы Беотийские (в Греции). Стовратный город – согласно древнегреческому наименованию – Фивы Египетские. Отождествление двух городов случалось и раньше.

[11] *Подобный случай был и с Амадисом...* – Об эпизоде отшельничества Амадиса на Пенья Побре см. прим. 10 к разделу "На книгу о Дон Кихоте...". Срок покаяния Амадиса у Монтальво не указывается.

ГЛАВА XVI

[1] *...мы всего лишь месяц как выехали...* – Санчо преувеличивает: с момента его выезда с Дон Кихотом на поиски приключений прошло три дня.

[2] *...весьма кичилась своим дворянством...* – Мариторнес – астурийка, а астурийцы, как и жители других горных областей на севере полуострова, не завоеванных арабами и – соответственно – не подвергшихся метисизации, кичились чистотой крови.

[3] *...был он одним из самых богатых аревальских погонщиков...* – Жители городка Аревáло в Старой Кастилии, расположенного между Вальядолúдом и Áвилой, традиционно занимались извозом.

[4] *...автор этой истории... был с ним даже в родстве...* – Погонщики мулов нередко были морисками, на что и намекает Сервантес, указывая на родственную связь между аревальцем и Сидом Аметом Бененхели.

[5] *Слава автору "Табланте де Рикамонте", равно как и автору книги, где описываются подвиги графа Томильяса: с какой подробностью они повествуют!* – "Хроника деяний благородных рыцарей Табланте де Рикамóнте и Хофре, сына графа Донасона" – лубочный рыцарский роман, опубликованный в Толедо в 1513 г., сокращенное переложение французского пересказа провансальской поэмы "Джауфре" ("Jaufré"). Одним из персонажей поэмы является гигант Толá де Рожимон (Taulat de Rogimont), – в испанизированном звучании Табланте де Рикамонте, имя которого и вынесено в название испанского перевода. Граф Томильяс – один из героев аналогичной по жанру книжки "История Энрике, сына Оливы, царя Иерусалимского, императора Константинопольского", известной в Испании с XIV в. (опубл. в 1498 г. в Севилье). В ее основе лежит старофранцузская поэма "Доон де ла Рош". Образ предателя Томильяса, долгие годы державшего в осаде крепость, в которой укрывались родители Энрике – Доон и Олива, перешел в цикл романсов о Монтисинесе (см. прим. 1 к II, XXII).

[6] *...лежал с открытыми, как у зайца, глазами...* – Существовало поверье, что зайцы спят с открытыми глазами.

[7] *...хотя бы даже сама королева Джиневра с дуэньей Кинтаньоной пришли предложить ему себя.* – Дон Кихот вновь сравнивает себя с Ланселотом из романса (см. прим. 12 к I, II и прим. 2 к I, XIII).

[8] ...*"кошка на крысу, крыса на веревку, веревка на палку"*... – слова из детской песенки-игры кумулятивного типа (вроде "Репки" или "Дома, который построил Джек").

[9] *...стрелок старой толедской Санта Эрмандад.* – См. прим. 2 к I, X.

[10] *...схватил свой короткий жезл и свою ... жестяную коробку...* – Короткий жезл – атрибут представителя королевской власти; жестяная коробка – в таких коробках круглой формы хранились документы.

ГЛАВА XVII

[1] *...лежа на земле в Долине дубинок...* – Аллюзия на слова романса из "сидовского" цикла:

Por el valle de las estacas	По Долине дубинок
buen Cid pasado había...	проезжал славный Сид...

[2] *...принялись подбрасывать его, играя им, как собакой во время карнавала.* – Подбрасывание собак на одеяле – традиционное карнавальное развлечение.

ГЛАВА XVIII

[1] *...даст мне в руки меч Амадиса – той поры, когда он называл себя Рыцарем Пламенного Меча.* – В 3-й книге "Амадиса Галльского" герой именуется Рыцарем Зеленого Меча – именно им он убивает чудовище Эндриаго (См. прим. 5 к I, XXV). Вероятно, "Дон Кихот смешивает Зеленый – натуральный – меч Амадиса Галльского и изображение на груди Амадиса Греческого (см. также прим. 17 к I, I).

[2] *Алифанфарон* – это комическое имя создано Сервантесом по традиционной схеме – сложением двух слов: Али (распространенное арабское имя) + фанфарон.

[3] *Трапобана* (или Тапробана) – древнее название Цейлона.

[4] *...король гарамантов, Пентаполин с Засученным Рукавом, прозванный так потому, что, идя в бой, он всегда обнажает свою правую руку.* – Гараманты – сказочный народ, живший, по представлениям древних, в глубине Африки. Пентаполин – от Пентаполис (Pentápolis) – "пять городов". Обычай Пентаполина сражаться с засученным рукавом напоминает об аналогичном приеме, использованном в "Пасо" Суэро де Киньонесом (см. прим. 16 к I, XLIX).

[5] *...я тебе перечислю главных рыцарей обеих этих армий.* – Приводимый далее Дон Кихотом "перечень войск" пародийно сориентирован на вергилиево опйсание войска Турна в VII книге "Энеиды", а также на "Илиаду", в начале второй песни которой описываются два войска, движущиеся навстречу друг другу в клубах пыли.

[6] *...доблестный Лауркалько, повелитель Пуэнте де Плата,* – Лауркалько (Laurcalco) – имя, образованное от сложения слов "Laurel" (лавр) и "calco" (ср. русск. "калька"). Пуэнте де Плата – Серебряный мост, прозвание, встречающееся в романах Монтальво. Кроме того, существует пословица: "бегущему врагу – серебряный мост".

[7] *Брандабарбаран* – гротескное имя, образованное соединением слов "brando" (*итал.* меч), barba (*исп.* борода) и bárbaro (*исп.* варвар).

[8] *...дверь, принадлежавшая, по преданию, храму, который разрушил Самсон...* – Самсон – герой ветхозаветных преданий (Книга судей, 13–16), наделенный огромной физической силой. Когда взятого в плен и ослепленного Самсона враги приводят в храм Дагона, Самсон сдвигает с места два средних столба храма и с возгласом "Да умрет душа моя с филистимлянами!" обрушивает все здание на собравшихся, сам погибая под его обломками.

[9] *Альфеньикéн* (*Alfeñiquén*) – имя, произведенное от слова "мармелад" (alfeñique).

[10] *Пьер Папен* – в Севилье 70-х годов XVI в. жил торговавший картами лавочник-француз, носивший такое имя.

[11] *...Эспартафилардо дель Боске с пучком спаржи на щите...* – Эмблема Эспартафилардо вполне согласуется со значением его имени: стебель спаржи.

[12] *...воды прославленного Ксанфа...* – *Ксанф* – река в Ликии (Малая Азия), на которой стояла Троя.

[13] *...люди, попирающие ногами массилийские горные долины...* – Массилийцы как синоним нумидийцев – народа, жившего на севере Африки, – часто упоминаются в античной литературе (например, в поэме Лукана "Фарсалия", в IV кн. "Энеиды" и т.д.).

[14] *...те, что... живут на... прохладных берегах светлого Термодонта...* – т.е. фракийцы.

[15] *Пактол* – река в Лидии, близ Сард, приток Герма (ныне Сарабат).

[16] *Бетис* – старинное название Гвадалкивира, реки, на которой стоят Кóрдова и Севилья.

[17] *...те, что бродят на тартесийских равнинах...* – т.е. живущие в окрестностях города Тарифы на юге Испании в устье р. Гвадалкивир на месте древнего города, основанного финикийскими купцами, – Тартеса.

[18] *...те, что... живут на елисейских лугах Хереса...* – т.е. живущие в окрестностях г. Херéс-де-ла Фронтера в Андалусúи, расположенного на реке Гуадалете. "Гуадалета" созвучно с "Лета" – названием реки подземного царства, протекающей на полях Элизия. Отсюда родилось представление о том, что "елисейские поля" находятся вблизи Хереса.

[19] *...мужей, закованных в железо, последних потомков древних готов...* – т.е. кантабрийцев, жителей области Кантабрия, расположенной на севере Испании, не завоеванной арабами. Кантабрия известна залежами железной руды.

[20] *...на ... лугах извилистой Гвадианы, прославлéнной своими скрывающимися из глаз водами...* – Река Гвадиана в своем течении несколько раз уходит под землю.

[21] *...травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны...* – Трактат греческого врача Диоскорида (I в. н.э.) о лекарственных растениях был переведен на испанский язык и прокомментирован гуманистом Андресом де Лагуна. Опубликован в 1555 г.

[22] *...столь милосердный, что солнце его светит и добрым и злым, а дождь поливает праведных и неправедных.* – Перифраза евангельского изречения: "...Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (Матф., 5, 45).

[23] *...о чем мы узнаем из следующей главы.* – Первое в корпусе романа упоминание о делении текста на главы.

ГЛАВА XIX

[1] *...ваша милость... не сдержала своей клятвы.* – Еще Д. Клеменсин заметил, что Дон Кихот нигде припоминаемой Санчо клятвы не нарушал. Это – или небрежность автора, или игривый намек Санчо на эпизод с Мариторнес.

[2] *...пока не добудете шлема Маландрина...* – В результате искажения в устах Санчо имени "Мамбрин" возникает непереводимый каламбур: "Malandrín" – негодяй (*исп.*).

[3] *...представилось одно из приключений, описанных в его романах.* – М. де Рикер видит в эпизоде с мертвым телом пародию на эпизод "Пальмерина Английского" (кн. I, гл. 76–77), в котором герои встречают накрытые черным сукном носилки. Их несут трое оруженосцев, оплакивающих мертвое тело рыцаря Фортибрана Могучего.

[4] *...хотя я сейчас назвал себя лиценциатом, я на самом деле всего лишь бакалавр...* – Бакалаврами, в отличие от остепененных лиценциатов, именовались все выпускники университетов.

[5] *...тело бедного дворянина, умершего в Баэсе: он сперва там был похоронен, а теперь мы перевозим его останки в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом.* – В этих словах комментаторы видят намек на реальное историческое событие – перенесение в 1593 г. останков поэта Хуана де ла Крус (см. прим. 2 к I, II) из У́беды, где он умер от горячки (ср. далее: "Кто же убил его?" – спросил Дон Кихот. – "Бог, с помощью гнилой горячки..."). Хуан де ла Крус первоначально был похоронен в У́беде, а затем прах его перенесли в Сеговию.

[6] *...по прозванию Рыцарь Печального Образа* (в ориг.: *... de la Triste Figura*). – Это прозвание встречалось в анонимном рыцарском романе "Клариан Ланданисский" (1518): оно адресовано рыцарю Деоклиану, на щите которого имелось изображение (figura) девушки, "чей облик был весьма печален, и одну руку она прижимала к сердцу, а другою утирала чистейшие слезы, бежавшие из ее прекрасных глаз".

[7] *Когда бакалавр отъехал...* – В дальнейшем бакалавр присутствует при разговоре Дон Кихота и Санчо: одна из "несостыковок", возникших в тексте романа вследствие его спешной подготовки к печати.

[8] *...один звался...* – Далее перечисляются прозвания следующих героев рыцарских романов: Амадиса Греческого (Рыцарь Пламенного Меча), Бельяниса Греческого (Рыцарь Единорога), Флоридана Македонского (Рыцарь Дев, фигурирует в романе "Леполемо" или "Рыцарь Креста"), Флорарлана Фракийского (Рыцарь Феникса, фигурирует в романе "Сиронхилио Фракийский" – см. прим. 3 к I, XXXII). Филесбиана Кандарийского (Рыцарь Грифа – в романе "Филесбиан Кандарийский" – см. о нем прим. 16 к I. "ЛК", вновь Амадиса Греческого (Рыцарь Смерти).

[9] "*...juxta illud: Si quis suadente diabolo etc.*" – "Сверх того: если кто по наущению дьявола и т.д." – текст одного из постановлений Тридентского собора (1545–1563), отлучающего от церкви того, кто поднимет руку на священнослужителя.

[10] *...мне весьма понятен случай с Сидом Руй Диасом...* – Об этом событии повествуется в одном из романсов "сидовского" цикла:

Когда в церковь Святого Петра (в Риме)
Вошел дон Родриго,
Увидел там семь престолов
Семи королей христианских,
И престол короля Франции
Находился возле Святейшего Престола,
А престол короля, его Сеньора,
На ступеньку пониже...

Тогда в присутствии папы Сид выбил из-под короля Франции трон, так что мраморное сиденье разлетелось на четыре части, и поставил трон короля Испании. Папа римский отлучил Сида от церкви. Тогда Сид явился к папе просить отпустить ему грехи, и папа, в конечном счете, простил Сида.

[11] *Мертвый, как говорится, в могилу, а живой к караваю!* – Это – первая пословица, прозвучавшая из уст Санчо. Случайно или согласно авторскому замыслу, но именно ее "иллюстрирует" Санчо своим поведением на последней странице Второй части, в которой он изрекает 116 пословиц из 200 сказанных всеми персонажами вкупе. В Первой части из 68 по-

словиц, включенных в текст и принадлежащих 17 персонажам, Санчо принадлежат 5 (одна – здесь комментируемая, две – фигурирующие в XX главе и две – в XXI) рядом с тремя, произносимыми тут же Дон Кихотом и предваряемыми его рассуждением о пользе этих "кратких изречений" (sentencias abreviadas). Возможное объяснение этого феномена см. в прим. 3 к Посвящению "ДК" II.

ГЛАВА XX

[1] *...они услышали какие-то равномерные удары и словно лязг железа и цепей. Звуки эти, сливаясь с яростным гулом потока, способны были вселить ужас в сердце всякого...* – Ср. в четвертой книге "Энеиды":

Дальше дорога шла к Ахеронту, в глубь преисподней.
Мутные омуты там, разливаясь широко, бушуют...
Влево Эней поглядел: там, внизу, под кручей скалистой...
Мощной струей Флегетон увлекает гремучие камни...
Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных,
Лязг влекомых цепей и пронзительный скрежет железа...
Замер на месте Эней и прислушался к шуму в испуге...

(Пер. С. Ошерова)

Ночное происшествие с сукновальным молотами пародийно связано с процитированными строками, описывающими нисхождение Энея в подземное царство. Некоторые мотивы (не прекращающийся в ночной тьме грохот, утро, которое не спешит наступить, и др.) напоминают и о прибытии Энея и его спутников к "кузнице циклопов" Этне (книга третья). Оба эпизода объединены образом ада, спуск в который связан с темой испытания героя и обретения истины. В эпизоде с сукновальными молотами, как и в других эпизодах "Дон Кихота", в основе которых лежит мифологема "нисхождения в ад" ("пасторальный ад" Сьерра-Морены, "ад", в который увлекают Дон Кихота ряженые черти в XLVII гл. Первой части, спуск в пещеру Монтесиноса и др.), Рыцарь Печального Образа испытывает жестокое разочарование – просветление. В этом – отличие "инфернальных" эпизодов от иных, печальная развязка которых укрепляет в Дон Кихоте веру в его идеальный рыцарский мир.

[2] *...воскресить рыцарей Круглого Стола, двенадцать пэров Франции, девять мужей Славы...* – См. прим. 2 к I, XIII и прим. 5 к I, V.

[3] *...поток... который словно падает... с высоких Лунных гор...* – Нил, которому уподоблен здесь поток, начинался, согласно географическим представлениям древних, в Верхней Эфиопии, в Лунных горах.

[4] *...кто лезет в опасность, тот в ней и погибает.* – Перифраза изречения из ветхозаветной книги "Екклезиаст": "Кто любит опасность, тот от нее и погибнет" (3 : 27).

[5] *...до рассвета остается не более трех часов, ибо пасть Малой Медведицы приходится...* – Санчо говорит о расположении звезд созвездия Малой Медведицы по отношению к Полярной звезде: описываемое полночное расположение звезд характерно для августовского неба.

[6] *...что было, то было; коль что доброе случится...* – традиционный зачин испанских народных сказок. Рассказываемая Санчо сказка относится к так называемым "докучным" сказкам, распространенным у всех народов.

[7] *...с изречения Катона Цонзорина римского...* – Санчо так искажает прозвание Катона Старшего (см. о нем прим. 16 к Прологу к Первой части) – "Цензор", что возникает невольный (или задуманный Санчо?) каламбур: *исп.* zonzorino – слово, однокоренное с "zonzo" – "дурень" и в то же время: "плут", "пройдоха" (см. *Мольо, 1976*).

[8] *Потому-то я и не шучу, что вы шутите...* – Дон Кихот обращается к Санчо на "вы" в форме 2 л. мн.ч. (vosotros), которое в испанском языке употребляется на фоне дружеского "ты" – с оттенком отчужденной сухости, даже враждебности.

[9] *...Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского, хоть и был он графом Сухопутного острова...* – В начале второй книги "Амадиса Галльского" действительно рассказывается о том, как Амадис, завладев волшебным Сухопутным островом, назначил его правителем своего оруженосца и молочного брата Гандалина. Однако, как заметил Д. Клеменсин, ничего об обычае Гандалина разговаривать со своим хозяином согнувшись "на турецкий манер" (more turquesco), в романе Монтальво не говорится.

[10] *А о Гасабале... и говорить не приходится... автор этой... истории только один раз называет его по имени...* – В "Амадисе Галльском" имя оруженосца дона Галаора – Гасабал – и впрямь упоминается однажды, но отнюдь не для того, чтобы отметить его молчаливость.

ГЛАВА XXI

[1] *Говорил я тебе, братец...* – О специфике испанского обращения на "ты" и "вы" см. прим. 8 к I, XX.

[2] *...последовав примеру бобра, который, настигнутый охотниками...* – Существовало представление о том, что половые железы бобра выделяют целебную жидкость – кастореум, и, когда охотник преследует бобра ради кастореума, бобр, чтобы спастись, отгрызает себе половые органы. Сервантес заимствовал сравнение убегающего язычника с бобром из "Неистового Роланда" (Песнь XXVII).

[3] *...шлем ... выкованный богом кузнецов для бога битв...* – Дон Кихот имеет в виду Гефеста-Вулкана и Ареса-Марса. Хотя в античных текстах не говорится о том, что Гефест-Вулкан выковал для Марса доспехи, такого рода утверждения не раз встречаются в испанской литературе XVII в.

[4] *...покинутой здесь без призора этим Мартином...* – Санчо снова путает имя Мамбрина.

[5] *...mutatio caparum* (*лат.*) – Предусмотренный "ватиканским церемониалом" пасхальный обряд, во время которого прелаты меняют облачение.

[6] *"Вот – Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змеи..."* – Рыцарь Солнца – главный герой "Рыцаря Феба". Рыцарь Змеи – прозвание одного из героев "Пальмерина из Оливы".

[7] *...могу за обиды требовать пятьсот суэльдо...* – Согласно закону, установленному в Испании во времена готского владычества (VII–VIII вв.), оскорбитель знатного лица обязан был выплатить обиженному 500 суэльдо. В Испании XVI в. эта денежная мера давно не употреблялась.

[8] *...видел я одного сеньора очень маленького роста, хоть и говорили про него, что он очень большой барин.* – В оригинале каламбур: grande – слово, завершающее фразу – означает и "гранд" ("большой барин"), и "высокий". Возможно, эта фраза намекает на Педро Тельеса Хирона, герцога де Осуна (1574–1624), отличавшегося небольшим ростом.

ГЛАВА XXII

[1] *...потому что для этих господчиков нет большего удовольствия, как делать мерзости или рассказывать о них.* – Очевидное осуждение плутовского романа, который строится как повествование от лица плута-пи́каро, в покаянно-циничном стиле рассказывающего о своих похождениях.

[2] *...дали три годика гурап.* – Гурапы – слово из воровского жаргона, пояснено в тексте (галеры).

[3] *...петь поневоле.* – т.е. сознаться на "пытке водой", когда допрашиваемого привязывали спиной к скамье, закрывали нос, а в рот насильно вливали воду.

[4] *...наша воля свободна, и никакие травы или волшебства не могут ее насиловать.* – Одна из любимых идей Сервантеса. Ср. в новелле "Лиценциат Видриера": "На свете не существует ни трав, ни заговоров, ни слов, влияющих на свободу нашей воли" (пер. Б.А. Кржевского). Или слова чародейки Сенотьи из "Странствий Персилеса и Сихизмунды": "Принудить человека что-либо перерешить, сломить его упорство, пойти наперекор его воле – нет, тут наши чары бессильны, тут наши снадобья ничего поделать не могут" (пер. Н.М. Любимова).

[5] *...малый реал...* – См. прим. 1 к Оценочному свидетельству.

[6] *...на шее висело два железных ошейника: один был прикреплен к цепи, а другой, называемый "стереги друга" ...двумя железными палками соединялся у пояса с кандалами.* – Приспособление, применявшееся обычно на ауто-да-фе; при его помощи заключенного, провозимого напоказ по улицам, заставляли сидеть, подняв голову (ср. на офорте Гойи из серии "Капричос" – "Тут ничего нельзя было поделать").

[7] *...иначе еще называют его Хинеси́льо де Парапи́лья.* – Парапилья – слово, образованное соединением предлога "para" (для, с целью) и глагола "pillar" (грабить, воровать). Существовала ныне оспоренная (см. *Райли, 1998*) гипотеза, согласно которой в образе Хине́са де Пасамо́нте-Парапильи Сервантес изобразил реальное лицо Херо́нимо де Пасамонте, оставившего собственное жизнеописание (впервые опубликовано в 1922 г. по рукописи, готовой к печати в 1605-м).

[8] *"Ласарильо с Тормеса"* – См. прим. 20 к разделу "На книгу о Дон Кихоте...".

[9] *...у меня будет досуг закончить книжку... у работающих на испанских галерах столько свободного времени, что прямо девать некуда.* – Очевидно, иронический выпад против романа Матео Алемана "Гусман де Альфараче" (I ч. – 1599, II ч. – 1604), герой которого пишет свое объемное жизнеописание, попав на галеры.

[10] *...вернемся теперь к нашим котлам египетским...* – т.е. в плен. Хинес де Пасамонте иронически обыгрывает слова евреев, выведенных Моисеем из египетского плена и убоявшихся голода в пустыне Синай: "О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!" (Исход, 16, 3).

ГЛАВА XXIII

[1] *...мне уже сдается, что стрелы... жужжат мимо самых моих ушей.* – Святое Братство казнило преступников, расстреливая их из луков в чистом поле, где трупы казненных и оставляли без погребения.

[2] *...и я отныне и дотоле, и оттоле доныне...* – Традиционная формула клятвы.

[3] *...но и братьев двенадцати колен израилевых, семерых братьев Маккавеев, а также Кастора и Поллукса...* – В высказывании Дон Кихота по единственному признаку сходства (принадлежность к логическому множеству предметов, объединенных понятием "братство") комически соединены братья из двенадцати израилевых родов (колен), общим числом "шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят" ("Числа", I), семеро братьев Маккавеев, участников восстания иудеев (165 г. до н.э.) против царя Антиоха IV, а также двое братьев-близнецов Кастор и Полидевк-Поллукс – персонажей греческой мифологии.

[4] *К вечеру добрались они...* – Фрагмент, начинающийся этими словами и заканчивающийся: "...и поблагодарил Дон Кихота за оказанную ему милость", отсутствует в первом издании "Дон Кихота" 1605 г. и появляется только в издании, увидевшем свет несколько меся-

цев спустя. Современные научные издания романа, ориентирующиеся на editio princeps, печатают заключенный нами в угловые скобки текст в приложении или выделяя его особым шрифтом. Возможно, после выхода романа в свет сам Сервантес обнаружил замеченные и многими читателями несообразности, возникшие в тексте editio princeps в процессе ее редактуры и спешной подготовки к печати. Чтобы устранить их, писатель дополнил текст двумя эпизодами: в одном рассказывается о краже осла, во втором – о его обретении. Затем, не просмотрев всего текста насквозь, он вставил их соответственно – в XXIII и в XXX главы. Непоследовательность вставок видна из того, что вплоть до XXV главы Санчо продолжает путь на своем осле.

[5] *...сонет, написанный начерно...* – Этот же сонет в несколько измененном виде фигурирует в комедии Сервантеса "Дом ревности".

[6] *...до кончика нитки мы все равно не доищемся...* – По-испански "нить" – hilo, слово, созвучное с Fili (Фили), именем адресата сонета.

[7] *...прочел вслух следующее...* – Ф. Родри́гес Марин считает, что письмо, приводимое далее, – не пародия, а типичный образец эпистолярного стиля того времени. Следует также заметить, что подобного рода любовные послания нередко встречаются в пасторальных романах. Это письмо, равно как и предшествующий ему сонет, – распространенный прием включения новой фабульной линии в пасторальный сюжет-ситуацию (о построении пасторального романа см. наше предисловие к кн.: *Мигель де Сервантес Сааведра.* Галатея. М., 1973).

[8] *Незнакомец, которого мы могли бы назвать Оборванцем Плачевного Образа (подобно тому, как Дон Кихот именовал себя Рыцарем Печального Образа)...* – В этом прозвании (el Roto de la Mala Figura) отражается отношение "двойничества", которое связывает Дон Кихота и Кардению.

ГЛАВА XXIV

[1] *...родился я в одном из лучших городов Андалуси́и.* – Как явствует из дальнейшего, речь идет о Ко́рдове.

[2] *...как будто подражал родителям столь часто воспеваемой поэтами Фисбы.* – История трагической любви Пирама и Фисбы (Тисбы), встречавшихся вопреки воле родителей и оказавшихся жертвами роковой ошибки, воспетая в "Метаморфозах" Овидия (кн. IV), действительно привлекала многих поэтов, в том числе Го́нгору (см. романс "Я про Тисбу и Пирама..." в кн.: *Луис де Го́нгора и Арготе.* Лирика. М., 1977).

[3] *...он уже, под видом супруга, насладился любовью своей поселянки...* – т.е. Фернандо заключил с крестьянкой "тайный" брак "перед лицом неба". Такого рода браки и во второй половине XVI в. воспринимались всерьез, хотя Тридентский собор запрещал их и обязывал заключать брак в церкви со всеми формальностями.

[4] *...мне бы хотелось ...чтобы... ваша милость послала ей также и славного "Дона Рухеля Греческого".* – Речь идет об одном из романов Ф. де Сильвы (см. прим. 10 к I, I).

[5] *...сеньоре Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарайя, а также остроумие пастушка Даринеля и прелестные буколические стихи, которые он пел...* – Дараида и Гарайя – имена, которые взяли персонажи "Флориселя Никейского" (III ч.) принцы Архесилай и Арлаихес, переодевшись женщинами. О пастушке Даринеле см. прим. 6 к I, VI.

[6] *...а лучам луны – не увлажнять землю.* – С луной астрологи того времени связывали влажность и холод.

[7] *...этот величайший плут, мастер Элисабат, был в любовной связи с королевой Мада́симой.* – В "Амадисе Галльском" фигурируют три Мадасимы, однако ни одна из них не была королевой и не вступала в любовную связь с ученым и хирургом Элисабатом, исцелившим Амадиса от тяжелых ранений, нанесенных ему чудовищем Эндриаго (см. прим. 5 к I, XXV).

ГЛАВА XXV

[1] *...в которой рассказывается...* – В XXV главе изображен один из важнейших моментов развития донкихотовской коллизии – первое из "просветлений" разума героя Сервантеса, когда Дон Кихот начинает сознательно играть роль безумца и на "роман сознания" Дон Кихота... надстраивается еще *подражание* роману, сознательная воля творить роман, игра, лицедейство, т.е. "с увеличением бреда в поступках героя возрастает ясность в его сознании" (*Бочаров, 1969*). Представляется чрезвычайно существенным, что этот момент приурочен к пребыванию Дон Кихота в пасторальном окружении и связан с мотивом спуска в преисподнюю (ср. слова Дон Кихота: "Вернее было бы назвать это адом или еще похуже"). Просветление разума героя – предельное *обнажение* его "я" – гротескно воплощено в мотиве "заголения": роль, взятая на себя Дон Кихотом в Сьерра-Морене, требует отказа от всех атрибутов цивилизованного общества, начиная с одежды (ср. полуобнаженность донкихотовского "двойника" Кардению, скачущего, подобно обезьяне, со скалы на скалу). Эпизод в Сьерра-Морене предваряет другой "ключевой" эпизод романа – спуск Дон Кихота в пещеру Монтесиноса (II, XXIII).

[2] *...во времена Гисопета...* – т.е. в баснословные времена: Гисопет (Guisopete) – искаженное в устах Санчо имя Эзопа (*арх. исп.* Isopete), которое оруженосец Дон Кихота переделывает по линии комического сближения со словом "quisopo"; народная форма "hisopo" – кропило.

[3] *Аббат* – забавно перекроенное Санчо имя "Элисабат".

[4] *Помолчи, ради всего святого, Санчо, и впредь заботься о своем осле...* – В первом издании – 1605 г. – это последнее упоминание о Санчо как об обладателе (еще не украденного у него) осла.

[5] *...убивать андриаков...* – Андриаки – от Эндриаго. Так в "Амадисе Галльском" именуется неуязвимое чудовище, рожденное от брака великана Бандагидо, хозяина Острова Дьявола, с его собственной дочерью. Тело Эндриаго было покрыто шерстью и чешуей, которую не могло пробить никакое оружие.

[6] *...случай, столь услужливо подставляющий мне свои локоны.* – См. прим. 12 к разделу "На книгу о Дон Кихоте...".

[7] *...когда он по следам у источника догадался, что прекрасная Анджелика обесчестила себя с Медором...* – Дон Кихот имеет в виду эпизод из XXIII песни "Неистового Роланда".

[8] *...ведь ты уже слыхал слова нашего приятеля прежнего времени, того пастуха Амбросио, что в разлуке с любимым мы страдаем и всего боимся.* – См. статью Н.И. Балашова "Двунеуязвимый Дон Кихот" в настоящем издании.

[9] *О вы, напеи и дриады, живущие обычно в лесах по склонам гор...* – Напеи – нимфы долин, дриады – лесов. Весь монолог Дон Кихота построен на скрытых цитатах из II эклоги Гарсиласо де ла Веги, так что задуманное подражание Амадису органично и незаметно переходит в подражание герою пасторальной поэмы Гарсиласо. Ср.:

¡Oh nayádes, de aquesta mi ribera
Corriente moradores!¡ Oh napeas,
guarda del verde bosque verdadera!...
Oh dríades, de amor hermoso nido...

("О наяды! обитательницы этой многоструйной реки! О напеи, истинная стража зеленого леса!.. О дриады, жительницы приюта прекрасной любви...")

[10] *...Гиппогриф Астольфа... знаменитый Фронтино, столь дорого обошедшийся Брадаманте...* – Дон Кихот сравнивает Росинанта с изображенным в "Неистовом Роланде" крылатым конем Гиппогрифом, а также с конем Руджьеро – быстроногим Фронтино, который

достается возлюбленной Руджьеро деве-воительнице Брадаманте, когда Гиппогриф на ее глазах уносит Руджьеро в небеса.

[11] *Черт бы побрал того, кто избавил нас от труда расседлывать Серого!* – Первое в первом издании (1605) упоминание о краже осла Санчо, само описание которой исчезло из текста.

[12] *...для того, кто угодил в ад,* – nulla es retencio... – Санчо хочет процитировать латинскую фразу из заупокойного богослужения: In inferno nulla est redemptio – от ада нет избавления, однако путает слово redemptio (избавление, искупление) со словом retentio (задержание).

[13] *...расписку на получение ослят...* – Возникновение темы ослят, ценой которых Дон Кихот хочет возместить понесенный Санчо в связи с кражей осла ущерб, никак не мотивировано; возможно, обещание Дон Кихота выдать Санчо ослят содержалось в исчезнувшем в процессе переработки текста эпизоде, повествующем о краже осла.

[14] *...барру она мечет так...* – Барра (от barra – брус) – народная игра, заключающаяся в метании на дальность железных брусьев.

[15] *...она ничуть не жеманится, как есть штучка городская...* – В подлиннике игра слов: cortesana – и куртизанка, и придворная дама.

[16] *...все эти Амарилисы, Фи́лиды, Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и прочие дамы...* – Дон Кихот перечисляет распространенные имена героинь пасторальных романов и эклог, включая и героиню пасторального романа самого Сервантеса.

[17] *...никто не станет наводить о нем справок, как это делается при поступлении в какой-нибудь орден...* – От вступающего в орден требовались свидетельства того, что в его роду нет примеси еврейской или арабской крови.

[18] *Лукреция* (VI в. до н.э.) – знатная римлянка, покончившая с собой после того, как подверглась насилию со стороны сына последнего римского царя Тарквиния Гордого.

ГЛАВА XXVI

[1] *...он всегда носил сапоги с семью железными подметками.* – Ни о какой защите уязвимых мест Роланда в "Неистовом Роланде" не говорится: вероятно, Дон Кихот или смешивает черты разных персонажей поэмы, или приписывает Роланду те свойства, которыми его наделяли испанские подражатели итальянского поэта.

[2] *...никакие хитрости ему не помогли...* – Здесь Дон Кихот соединяет Роланда из поэмы Ариосто с Роландом из поэмы Николаса Эспиносы (см. прим. 18 к I, I).

[3] *...Спала с Медором, курчавым мавром, пажом Аграманта.* – Медор, возлюбленный Анджелики, состоял в войске Аграманта (см. прим. 10 к I, X), но не был его пажом. Господином этого очень молодого человека был Дардинель.

[4] *...моя Дульсинея Тобосская во все дни своей жизни и в глаза не видывала живого мавра в его настоящем наряде...* – Иронический намек на то, что в Тобосо жило много арабов, однако не "в... настоящем наряде" ("en su mismo traje"), т.е. притворяющихся христианами. Однако у слов "в его настоящем виде" есть и второй, игривый, смысл, согласующийся с последующими словами Дон Кихота: "она так же невинна, как мать, которая ее родила".

[5] *...о котором скажут то же, что говорят о другом герое: "великих дел он не свершил, но умер, к ним стремясь душою".* – Источник этой цитаты не ясен. В. Гаос (см. *Гаос, 1959*) вспоминает в связи с ней строки сонета Бернардо де Бальбуэны (Bernardo de Balbuena, 1568–1627):

Ho me podrá estorbar, por más que quiera,
Que al fin, ya que no acabe grandes cosas,
No muera por fe de cometeslas

(Но меня не остановить, как бы того не хотелось,
Так как в конце концов, пусть я не свершу великих дел,
Но я умру с верой, что мог бы совершить их.)

ГЛАВА XXVII

[1] *...во времена короля Вамбы...* – т.е. в незапамятные времена (Вамба – король испанских вестготов, правивший с 672 по 680 г.).

[2] *...вот какие стихи пел неизвестный...* – Жанр-размер, в котором написано приводимое далее стихотворение, называется "овильехо" (ovillejo – от ovillo – клубок); он представляет собой комбинацию из трех восьмисложных строк, перемежаемых усеченными строками. Другой тип "овильехо" – копла, четырехстрочная строфа, в которой последняя строка каждого четырехстишия рифмуется с первой строкой последующего. Сервантес использует оба типа овильехо.

[3] *О тщеславный Марий! О жестокий Катилина! О злокозненный Сулла! О вероломный Ганелон! О предатель Вельидо! О мстительный Юлиан! О корыстный Иуда!* – Кардению перечисляет знаменитых предателей и честолюбцев, в том числе: полководца Мария (106–86 гг. до н.э.), главу народной партии в Риме; Катилину (ок. 108–62 гг. до н.э.) – римского патриция, организатора заговора против сената в Риме в 63 г. до н.э.; Суллу (138–78 гг. до н.э.) – римского диктатора, испанского рыцаря Вельидо Дольфоса, предательски убившего короля Санчо II при осаде Саморы (1072 г., см. также прим. 4 к II, XXVII), Юлиана – готского графа, коменданта крепости Сеута, который, согласно легенде, мстя королю Родриго за насилие, учиненное над его дочерью Кавой, в 711 г. предательски призвал мавров в Испанию, открыв перед ними ворота Сеуты.

[4] *Ведь всем известно, что падение звезд навлекает на нас бедствия...* – Эта мысль звучит и в других произведениях Сервантеса (новелле "О беседе собак", комедии "Великая султанша", поэме "Путешествие на Парнас", гл. IV), но нельзя утверждать, что она целиком и полностью разделяется самим писателем: через все сочинения Сервантеса проходит спорящая с ней мысль о том, что судьба человека зависит от него самого. Ср., например, в романе "Странствие Персилеса и Сихизмунды": "Беду ни праздностью, ни ленью не поправишь. В душах трусливых нет места для счастья. Мы сами созидаем свою судьбу..." (пер. Н.М. Любимова).

[5] *...похитить у меня... единственную мою овечку...* – Парафраза слов ветхозаветного пророка Натана, обращенных к царю Давиду: "А у бедного ничего, кроме одной овечки" (Вторая Книга Царств, 12, 3).

[6] *...подобно Лоту не осмеливаясь обернуться, чтоб посмотреть назад.* – Лот – племянник патриарха Авраама (Книга Бытия, 11, 27), живший в городе Содоме, который за грехи жителей был разрушен небесным огнем. От общей гибели спасся только Лот и его семейство, которых по воле Божьей ангелы вывели из города, предупредив, чтобы никто из спасенных не посмел обернуться и взглянуть на оставляемый город; нарушившая запрет жена Лота была обращена в соляной столб, но сам Лот с дочерьми уцелел.

ГЛАВА XXVIII

[1] *...город, названием которого именует себя... герцог, один из грандов Испании...* – Ф. Родригес Марин считает, что Сервантес имел в виду расположенный в 85 км от Севильи и примерно на таком же расстоянии от Кóрдовы город Осуну, название которого фигуриру-

ет в титуле герцога де Осуна. В семье герцога в 1581–1582 гг. произошли события, сходные с теми, о которых рассказывает Доротея. Тогда прообразом дона Фернандо следует считать сына герцога дона Педро Хирона, прообразом Карденио – некоего Карденаса де Кóрдова (ср. выше, в гл. XXIV слова Карденио о его родине как "матери лучших в мире лошадей"), прообразом Доротеи – донью Марию де Торрес.

[2] *...без примеси какой-нибудь постыдной крови...* – т.е. еврейской или арабской.

[3] *...живет в том же городе...* – т.е. в Осуне (см. прим. 1 к наст. гл.).

[4] *...женился в соседнем городе...* – В Кóрдове.

ГЛАВА XXIX

[1] *...в которой рассказывается...* – В editio princeps 1605 г. на месте этого заглавия стояло то, которое в настоящем предваряет главу XXX, в то время как цитируемое название открывало XXX главу.

[2] *Лиценциат... ответил...* – Имеется в виду священник Перо Перес, удостоенный, как говорилось в I главе, ученой степени в Сигуэнсе.

[3] *...великого королевства Микомикон...* – Название королевства образовано удвоением слова "mico" (обезьяна, ср. выражение "hacer mico" – учинить проделку) и увеличительным суффиксом "-ón".

[4] *...и приехала она... из Гвинеи.* – Ср. далее: "королева великого королевства Микомикон в Эфиопии". – Очевидно, для Санчо и других участников проделки нет разницы между Гвинеей и Эфиопией.

[5] *...и пускай себе они негры – а я их сделаю беленькими и желтенькими.* – т.е. продам, превратив тем самым в серебро и золото.

[6] *...в великом холме Сулéма близ великого Комплута.* – Холм Сулема – то же, что холм Соломона, находится к юго-западу от города Алькалá-де-Энáрес (родины Сервантеса), у древних римлян – Комплутум.

[7] *...до великого Меонийского, то бишь, Меотийского озера...* – т.е. Азовского моря. Священник каламбурно превращает его название в слово, производное от *исп.*меón – ребенок, делающий лужицы.

[8] *...шестьдесят тысяч добротных песо...* – В Новом Свете во времена Сервантеса за недостатком монет употреблялись слитки драгоценных металлов определенного веса, называвшиеся "песо" (peso, *исп.* – вес). Цена песо приблизительно в тридцать грáммов серебра равнялась восьми серебряным реалам.

ГЛАВА XXX

[1] *...в которой рассказывается...* – В editio princeps 1605 г. на месте этого названия стоит название, открывающее в настоящем издании XXIX главу.

[2] *...я бы себе прежде оторвал ус.* – В XVI–XVII вв. католические священники еще носили усы.

[3] *Тинакрио Мудрый* – волшебник, действующее лицо продолжения "Рыцаря Феба", романа, сочиненного Педро де Сьерра.

[4] *Пандафиландо Свирепоглазый* – гротескное имя великана составлено Доротеей из двух основ: слова "panda" (жарг. карточное шулерство) и причастия от глагола "filar" (жарг.: мошенничать).

[5] *...дон Асот или дон Хигот.* – Сервантес продолжает игру с именем Дон Кихота: Асот – от исп. azote – бич. Хигот – от jigote – жаркое.

[6] *...не только в Испании, но и во всей Ламанче...* – Доротея комически превращает Испанию в часть Ламанчи.

[7] *...не успела я высадиться в Осуне...* – Осуна расположена далеко от побережья.

[8] *...свернуть шею этому сеньору Пандаиладу...* – Санчо перевирает имя Пандафиландо, заменяя глагол "filar" на "hilar", означающий на жаргоне "развратничать".

[9] *...мой добрый меч похитил у меня Хинес де Пасамонте.* – О похищении меча Дон Кихота нигде больше в романе не говорится.

[10] *...впрочем, сеньоры Дульсинеи я никогда в глаза не видывал.* – Это утверждение Санчо, повторяющееся и далее, но уже от имени автора, показывает сложность отношения Дон Кихота к существующей и в то же время не существующей Возлюбленной.

[11] *"За новый грех – новое покаяние"*. – Вслед за этими словами Дон Кихота во втором издании романа 1605 г. появилась выделенная в данном издании в угловых скобках вставка, которая начинается со слов: "В эту самую минуту увидели они перед собой на дороге какого-то человека верхом на осле..." и заканчивается словами "Санчо поблагодарил его".

[12] *...и да разлетятся они как пух над водой.* – Выражение: "echar pelillos a la mar" (досл.: "Бросить сор в море") означает "помириться", "предать забвению".

ГЛАВА XXXI

[1] *...провеивала две фанеги зерна.* – Фанега – См. прим. 11 к I, IX.

[2] *...возложила себе на голову...* – См. прим. 14 к I, VI.

[3] *...спит на твердой земле, хлеб ест без скатерти, бороды не чешет...* – Санчо, передразнивая Дон Кихота, перечисляет все зароки маркиза Мантуанского (см. прим. 8 к I, X).

[4] *...сражается в горах Армении с каким-нибудь андриаком...* – об андриаках см. прим. 5 к I, XXV.

[5] *...скакал... как цыганский осел, у которого в ушах ртуть.* – Считалось, что цыгане при продаже лошадей или мулов заливали им в уши ртуть, чтобы заставить скакать напоказ быстрее.

[6] *...кто много имеет, да плохо выбирает, коли не худо ему, пусть на других пеняет.* – Санчо в очередной раз перевирает пословицу, досл. звучащую: "У кого в руках добро, а он выбирает зло, пусть не жалуется на пришедшую беду". Ср. русск. "От добра добра не ищут".

[7] *...где бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.* – Намек на ветхозаветную "Книгу пророка Ионы", который бежал от Яхве, уклоняясь от его поручения. Корабль, на котором плыл Иона, попал в бурю, и, поняв, что причина бури – в его прегрешении, Иона попросил бросить его в море. Иону проглотила большая рыба (кит), в чреве которой он провел три дня, молясь Богу.

ГЛАВА XXXII

[1] *А Дон Кихот все продолжал спать...* – Сон Дон Кихота, длящийся на "протяжении трех глав", "выключает" его из эпизода осмотра скромной "библиотеки" хозяина постоялого двора (параллель к эпизоду осмотра библиотеки Дон Кихота) и не дает ему возможности присутствовать при чтении повести о безрассудно-любопытном. Таким образом, он является мотивировкой включения в роман подлинно "вставной" (т.е. сюжетно никак не связанной с развитием донкихотовской коллизии) истории. Хотя между Дон Кихотом и героем новеллы Ансельмо, пожалуй, можно найти некую общность (прежде всего, маниакальное следование своей воображаемой цели), явно, что в XXXII–XXXV главах Сервантес на время "забывает"

о Рыцаре Печального Образа, давая тем самым возможность читателю переключиться на новый предмет, что было продиктовано присущим культуре Возрождения стремлением к разнообразию.

[2] *...они, можно сказать, дороже жизни, и не мне одному...* – Эти и последующие слова хозяина постоялого двора еще раз свидетельствуют о популярности рыцарских романов.

[3] *"Дон Сиронхилио Фракийский"* – Рыцарский роман Бернардо де Варгаса "Четыре книги истории отважного рыцаря дона Сиронхилио Фракийского" вышел в свет в Севилье в 1545 г.

[4] *"Фелисмарте Гирканский"* – См. прим. 9 к I, VI.

[5] *"История великого капитана Гонсало Фернандеса Кордовского, вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредеса"*. – Впервые опубликованная в 1559 г. "История..." посвящена героическим деяниям испанского полководца Гонсало Фернандеса Кордовского (1453–1515), внесшего большой вклад в реконкисту на ее завершающем этапе, сохранившего для Испании Неаполитанское королевство и одержавшего победу над французами в битве при Черинole (1503). "Великий Капитан" – прозвание Гонсало Эрнандеса. Севильское (1580) и последующие (1582-го, 1584-го гг.) переиздания "Истории" были дополнены рассказами о подвигах – большей частью вымышленных – одного из подчиненных Капитана – дона Диего Гарси́а де Паредеса (1466–1530), обладавшего огромной физической силой.

[6] *...вы хотели сказать... схизматические...* – т.е. раскольнические, еретические.

[7] *...если бы не сам он рассказал и описал их со скромностью дворянина и собственного историка...* – "Краткое жизнеописание... Диего Гарсиа де Паредеса" полное фантастических преувеличений и бравады выстроено в форме повествования от первого лица.

[8] *...разубедить его в этом не могли бы даже босоногие кармелиты.* – Монахи ордена кармелитов – одного из четырех крупных нищенствующих орденов, созданных в Палестине в XII в., – славились как проповедники. Последователи аскетического движения, возникшего в середине XVI в. в ордене, не носили иной обуви, кроме сандалий, за что получили прозвание "босоногие".

[9] *...я бы рассказал, как следует писать хорошие рыцарские романы...* – Здесь священник предвосхищает речь каноника о рыцарских романах (см. I, XLVIII).

ГЛАВА XXXIII

[1] *"Повесть о Безрассудно-любопытном"*. – Сюжет повести опирается на богатую литературную традицию. Одним из ее фабульных источников является эпизод из XLII–XLIII песен "Неистового Роланда", связанный с пребыванием Ринальдо Монтальбанского в замке на берегу По, хозяин которого после ужина предлагает Ринальдо выпить из волшебного кубка, обладающего свойством отличать мужей-рогоносцев: когда тот, чья жена ему изменила, пытается поднести кубок ко рту, вино сразу же выплескивается пьющему на грудь. Ринальдо благоразумно отказывается от этого испытания (см. подробнее: *Лудовико Ариосто*. Неистовый Роланд / Перевод свободным стихом М.Л. Гаспарова. М., 1993. Т. 2. С. 334). Существуют и другие возможные источники новеллы Сервантеса. Это – девятая новелла шестого дня "Декамерона", а также две истории из книги "Погремушка" ("El Crótalon", 1555), вышедшей под именем Кристофоро Гнóсофо: история Менесарха и его жены Хинебры и история Арнао и Беатрис. Вторая из них связана с темой, отсутствующей у Ариосто и являющейся в глазах современных исследователей творчества Сервантеса (см., например, *Авальье-Арсе, 1961*) доминантной по отношению к теме "Испытания кубком": это – тема "двух друзей", которая дает возможность Сервантесу исследовать человеческую природу сугубо "человеческими" (а не сверхъестественными) средствами. Впервые тема "двух друзей", имеющая восточные корни,

появляется на испанской почве в книге поучений Педро Альфонса (Pedro Alfonsi), "Церковная наука" ("Disciplina clericalis", начало XII в.). Однако ближайшим источником темы "двух друзей" для Сервантеса был эпизод из пасторального романа Алонсо Переса "Восемь книг второй части Дианы" (см. прим. 32 к I, VI). Ориентируясь на Алонсо Переса, Сервантес включает новеллу о "двух друзьях" Силерьо и Тимбрио в "Галатею", а также варьирует эту тему в новелле о Безрассудно-любопытном. Позднеренессансных писателей тема "двух друзей", нередко изображавшихся как "двойники" или "близнецы", привлекала в плане изображения зыбкости, условности границ отдельного "я", утраты личностью своей идентичности. Сервантеса – автора новеллы о Безрассудно-любопытном – она привлекает прежде всего как предпосылка проведения нравственного эксперимента, доказывающего бессмысленность попытки вписать живого человека в созданную для него заранее "идеальную" роль.

[2] *...о которой Мудрец сказал: "кто найдет ее?"* – Мудрец – Соломон, которому принадлежит изречение: "Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов" (Притчи, 31, 10).

[3] *...usque ad aras...* – Вплоть до алтарей: это выражение, приписывалось Плутарху, который так ответил другу, упрашивающему его дать ложную клятву.

[4] *...знаменитого поэта Луиса Тансилло...* – Имеется в виду Луиджи Тансилло (1510–1568) – итальянский поэт, автор поэмы "Слезы Святого Петра" (опубл. в 1585 г.). Сервантес дает стихи Тансилло в своем собственном переводе.

[5] *...как у того простодушного доктора, что, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком, от которого уклонился благоразумный Ринальдо.* – См. прим. 1 к наст. гл. – Лотарио говорит об Ариосто как о "нашем" поэте, поскольку сам он, как и другие персонажи новеллы, – итальянец.

[6] *...несколько стихов из одной современной комедии...* – До сих пор не установлено, о какой комедии идет речь.

[7] *...что, коль есть меж нас Даная, / Дождь прольется золотой.* – Намек на миф, согласно которому Зевс проник к Данае в виде золотого дождя.

[8] *...на настиле ему будет удобнее, чем на кресле...* – Настил (el estrado) – деревянный помост, устланный коврами и подушками, сидя на котором дамы принимали посетителей на своей половине дома.

[9] *...как это выразил лучше меня поэт...* – Авторство цитируемого далее стихотворения не установлено. Возможно, оно принадлежит самому Сервантесу, так как напоминает строки из второго акта его комедии "Бравый испанец" ("El gallardo español").

ГЛАВА XXXIV

[1] *...вот сонет, который я вчера написал...* – Этот сонет включен Сервантесом и в комедию "Дом ревности" (акт второй).

[2] *У него не только четыре S, которые полагается иметь каждому истинному влюбленному...* – т.е. он обладает достоинствами, названия которых по-испански начинаются на букву "S": он – sabio (умен), solo (одинок), solícito (предан), secreto (скрытен).

[3] *...жена его – вторая Порция...* – Порция (Альбана) – жена Марка Брута, образец супружеской верности и гражданского мужества, которой Брут доверил тайну о готовящемся покушении на Юлия Цезаря после того, как Порция смогла доказать ему свою способность вынести любую физическую боль. После поражения и самоубийства Брута (в 42 г. до н.э.) покончила с собой.

[4] *С большим вниманием слушал и смотрел Ансельмо трагедию гибели своей чести, действующие лица которой...* – По этой фразе можно судить о театрально-драматической стороне новеллы Сервантеса.

[5] *Этот обман длился еще некоторое время, пока... Фортуна не повернула своего колеса...* – Многие новеллы Сервантеса (и новелла о Безрассудно-любопытном здесь – не исключение) имеют двойную развязку: трагическую и счастливую (или наоборот): конец XXXIV главы совпадает с благополучным финалом проделки Камилы, новелла в целом завершится трагическим провалом затеянного Ансельмо испытания жены.

ГЛАВА XXXV

[1] *...все эти фонтаны крови – из проткнутых мехов и... здесь можно плавать в красном вине...* – Можно заметить перекличку мотивов "фальшивой" крови, вытекающей из "раны" Камилы и смытой вином в гл. XXXIV, и вина-крови, пролитой Дон Кихотом в его "схватке с великаном". Издатели романа в XIX в. подогнали название главы к этому содержанию. Название главы в первом издании: «Глава XXXV, в которой приводится окончание "Повести о Безрассудно-любопытном"».

[2] *...засолил великана.* – т.е. прикончил его: выражение, связанное с процессом убоя скота и заготовкой мяса.

[3] *...быки в порядке...* – Выражение, заимствованное из лексикона тавромахии и означающее: все идет хорошо.

[4] *...с изъяном больше чем на два куартильо...* – Куартильо – четвертая часть реала.

[5] *...в битве между Лотреком и Великим капитаном Гонсало Фернандесом Кордовским.* – т.е. в битве при Черинole 1503 г. (см. прим. 5 к I, XXXII).

ГЛАВА XXXVI

[1] *...в которой рассказывается...* – Настоящее название главы не принадлежит Сервантесу. В первом издании стоял заголовок, позже включенный в название XXXV главы.

[2] *...все в черных дорожных масках...* – Эти маски защищали от пыли.

[3] *...если только ты гордишься тем, из-за чего ты меня презираешь...* – Доротея имеет в виду знатное происхождение Фернандо, которое объясняло его поступки.

[4] *...свидетель – твоя подпись...* – Небрежность Сервантеса: в рассказе-исповеди Доротеи о подписи Фернандо речи не было, а говорилось о других свидетельствах верности его слова: клятве перед образом Девы Марии и драгоценном перстне, подаренном Доротее.

[5] *...в молчании и слезах прибыли они на ... постоялый двор, и кажется ему теперь, что попал он на небо, где преодолеваются и кончаются все земные бедствия.* – В этой фразе выявлена композиционная роль второго постоялого двора в Первой части "Дон Кихота": это – центр, к которому стягиваются сюжетные линии "вставных" историй и где происходят их сюжетные развязки. Такой принцип построения романного целого Сервантес мог заимствовать из пасторального романа, где пасторальный утопический мир выглядит как центр вселенной, вокруг которого "вращаются" миры "вставных" историй (см. *Авалье-Арсе, 1959*). Обратившись к жанрово-композиционной модели пасторального романа, Сервантес одновременно пародирует пастораль, подменяя уединенные "берега Тахо" постоялым двором, который, тем не менее, остается местом, где "кончаются все земные бедствия".

ГЛАВА XXXVII

[1] *Арроба* как мера жидкости равнялась приблизительно 16 л. Об арробе как мере сыпучих веществ см. прим. 11 к I, IX.

[2] *...длинная альмалафа...* – Альмалафа – преимущественно женское арабское одеяние, отделанное шелковой шитой каймой и застегивающееся на груди пряжкой. Ношение альмалафы было привилегией знатных людей.

[3] *И так как красота обладает силой и даром вносить мир в сердца и влиять на волю...* – Одна из неоплатонических сентенций в духе Леона Эбрео.

[4] *...и, осененный таким же обильным вдохновением, как за ужином у козопасов, заговорил...* – Далее Дон Кихот произносит одну из своих знаменитых речей – о "словесной науке" и "ратном деле" (letras у armas). Ее тема восходит к средневековым "диспутам" о монахах и рыцарях. Возможный источник речи героя Сервантеса – трактат итальянского ученого Камераты "Спор, в котором обсуждаются, чьи достоинства более славны – солдата или книжника" (1567) или же "Диалог ратного дела и словесной науки" (1582) Франсиско Миранды Вильяфане.

[5] *...в ту ночь, которая для нас всех стала днем...* – т.е. в рождественскую ночь.

[6] *..."ходить по суп"*. – т.е. ходить есть бесплатный "монастырский" суп.

ГЛАВА XXXVIII

[1] *...когда не было еще... устрашающей ярости дьявольских огнестрельных орудий...* – Инвективы в адрес огнестрельного оружия были очень распространены в литературе XVI в. Сервантес здесь ближе всего к Ариосто (ср. песнь IX "Неистового Роланда").

ГЛАВА XXXIX

[1] *...в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни.* – "История пленника", как и повесть о Безрассудно-любопытном, по всей видимости, была написана Сервантесом до начала работы над романом. Датой ее создания считается 1589 год: Сервантес имел обыкновение датировать события, описываемые в своих произведениях, временем их написания: в данном случае – это время легко вычислить из слов пленника, сообщающего, что "вот уже двадцать два года", как он покинул родительский кров, а произошло это в 1567 г. "История пленника" занимает в "Дон Кихоте" целиком XXXIX–XLII главы, но ее завязка происходит еще в гл. XXXVII, отделенной от рассказа пленника речью Дон Кихота о науках и воинском деле, которая является таким же "прологом" к "истории пленника", каким была речь о Золотом веке по отношению к эпизоду с Марселой и Хризостомом. Однако пространственно-временной фон "истории пленника" – детально, вплоть до мелочей, воссозданная историческая действительность. Биография пленника за вычетом ее фольклорно-сказочного начала (старый отец, оставляющий трем сыновьям наследство и т.д.) во многом совпадает с биографией самого Сервантеса, который также фигурирует в рассказе пленника. Фабульная основа "истории пленника" – любовь знатной мавританки к пленнику-христианину, сказочно-романическая по своему происхождению (ср. распространенный мотив помощи, оказываемой герою сказки дочерью врага). Легенды о любви прекрасной дочери знатного мавра к пленнику-христианину были распространены среди пленников-христиан в годы алжирского плена Сервантеса (1575–1580). Исторический прообраз прекрасной мавританки – Захра (или За́хара), дочь богатого алжирского ренегата, славянина по происхождению, Хаджи Мюрада

(Аджи Морато у Сервантеса) и пленницы-христианки с о. Майорка. В 1574 г. Захра вышла замуж за марокканского султана Абд аль Малика (Мулей Малик в пьесе Сервантеса "Алжирские тюрьмы", написанной в 1580-е годы и построенной на том же, что и "история пленника", сюжете). В 1578 г. Абд аль Малик погиб в сражении при Алькáсар-Кибир. (В комедии Сервантеса свадьба Зáхары не состоялась, так как невеста убегает в Испанию с пленником-христианином.) Историческая Захра была замужем дважды: вторично – за Гасаном-пашой, ренегатом-венецианцем, правителем Алжира в 1577–1580 гг. Именно в плену у Гасана-паши и находился Сервантес, трижды неудачно пытавшийся бежать и трижды прощенный своим хозяином (за попытку к бегству пленника ожидало одно наказание – смертная казнь). Таким образом, романтическая легенда о Зáхрае погружена у Сервантеса в атмосферу реальности, воссозданной на основе личного опыта писателя.

[2] *Аликанте* – порт на восточном побережье Испании. Как явствует из дальнейшего, герой собирается поступить на службу в находящиеся в Италии испанские войска, для чего ему было необходимо сесть на корабль.

[3] *...проехал в Милан, где приобрел себе оружие...* – Оружие, изготовлявшееся в Милане, считалось лучшим в Европе.

[4] *Александрия де Ла Палья* – крепость в Миланском герцогстве.

[5] *...услышал, что знаменитый герцог Альба едет во Фландрию.* – Герцог Альба – Фернандо Альварес де Толедо (1508–1582), главнокомандующий испанской армии во Фландрии – прибыл в Брюссель 22 августа 1567 г.

[6] *Я... присоединился к нему...* – Вопрос о том, принимал ли сам Сервантес в молодости участие в войне во Фландрии, остается открытым.

[7] *...присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна...* – Графы Эгмонт и Горн, выступавшие против испанского владычества, были казнены 5 июня 1568 г.

[8] *...под командой храброго капитана из Гвадалахары, по имени Диего де Урбина.* – Под командой капитана с таким же именем сам Сервантес сражался в битве при Лепанто.

[9] *...слух о союзе, заключенном его святейшеством, блаженной памяти папой Пием V с Венецией и Испанией против общего врага...* – После того, как турки в 1570 г. завладели Кипром, принадлежащим до того Венеции, по инициативе Пия V в мае 1571 г. была создана лига трех государств – Испании, Венеции и Папского престола, которая должна была сдерживать экспансию турок в Средиземноморье.

[10] *...дон Хуан Австрийский... брат нашего доброго короля дона Филиппа...* – Дон Хуан Австрийский (1547–1578) – полководец, побочный сын Карла V, брат Филиппа II (1527–1598).

[11] *...дон Хуан Австрийский, прибыв в Геную...* – Хуан Австрийский прибыл в Геную 26 июля 1571 г.

[12] *...что он затем и сделал в Мессине.* – Это произошло 23 августа того же, 1571 г. По-видимому, именно в Мессине сам Сервантес присоединился к армаде, которая 26 сентября отплыла из Мессины, ища встречи с турецким флотом.

[13] *...я участвовал в знаменитой великой битве...* – т.е. в битве при Лепанто (ныне – город Нафпакт (*греч.* Нафпактос) при входе из Ионического моря в Коринфский залив, на северном берегу залива), произошедшей 7 октября 1571 г.; в этой битве флот лиги наголову разбил турецкую эскадру.

[14] *...уже произведенный в чин капитана от инфантерии...* – Сам Сервантес принимал участие в битве при Лепанто как солдат. Повысить героя "истории пленника" в чине было необходимо для того, чтобы сделать его затем объектом любви знатной мавританки, так как "литературному этикету" авантюрно-сентиментальной новеллы не соответствовало изображение любви высокородной красавицы к простому солдату.

[15] *...чтобы получить морской победный венок...* – Намек на древнеримский обычай награждать золотым венком того, кто при абордаже первым ступит на борт вражеского корабля.

[16] *...алжирский король Учали... напал на капитанскую галеру Мальтийского ордена...* – Учали – Али-Паша (1508–1587) по прозванию Улудж-Али (Ренегат Али – Учали был родом из Калабрии), правитель Алжира с 1570 г. и главнокомандующий Оттоманским флотом – в битве при Лепанто захватил галеру Мальтийского ордена (или ордена госпитальеров), созданного в XII в., в эпоху Крестовых походов, в Иерусалиме для приюта прибывавших в Иерусалим крестоносцев. В первой половине XVI в. Карл V передал во владение ордену остров Мальту, опорный стратегический пункт в Средиземном море, который госпитальеры обязались защищать от турецких набегов.

[17] *...капитанская галера Джованни Андреа...* – Джованни Андреа Дориа (ум. в 1606 г.), генуэзец, командовавший правым флангом христианской эскадры.

[18] *...султан Селим назначил моего хозяина морским генералом...* – т.е. главнокомандующим флота (см. прим. 16 к наст. гл.).

[19] *...я присутствовал при Наваринской битве.* – Наварин – крепость в Мессинском проливе на юге Пелопонесского полуострова. Сервантес участвовал в сражении при Наварине как солдат христианской эскадры в 1574 г.

[20] *...левантинцы и янычары...* – Левантинцы – турецкая морская пехота, янычары – пехотинцы, а также личная гвардия султана.

[21] *"Ла Преса"* – "Добыча".

[22] *...сын знаменитого корсара Барбарохи.* – Барбароха или Рыжая Борода – прозвище турецкого пирата, адмирала турецкого флота. Галерой "Ла Преса" командовал не сын, а внук Рыжей Бороды, Магомет-бей.

[23] *"Лоба"* – "Волчица".

[24] *...сеньор дон Хуан захватил Тунис, отняв его у турок и отдав во власть Мулея Хамета...* – 11 октября 1573 г. испанцы захватили Тунис, назначив его правителем Мулея Мохаммета (мулей – *арабск.* "мой господин", титул халифов и принцев), брата Мулея Хамида (см. прим. 25 к наст. гл.). Однако в 1574 г. Тунис был вновь отвоеван турками, а Мулей Мохаммет взят в плен.

[25] *...этим была уничтожена надежда на возвращение на тунисский престол у Мулея Хамида...* – Мулей Хамид – Ахмад-Султан, предпоследний султан из династии Хафсидов. Был низведен с престола турками в 1569 г. В 1573 г. намеревался присоединиться к армии Хуана Австрийского, направлявшейся на завоевание Туниса, но испанцы предпочли сделать ставку на его брата Мулея Мохаммета (см. прим. 24 к наст. гл.).

[26] *Голета* – крепость, защищавшая вход в Тунисскую гавань. Была взята турками в августе 1574 г.

[27] *Вара* – мера длины, равная примерно 0,8 м.

[28] *...попал в плен и комендант форта, по имени Габриэле Червеллон...* – После освобождения из турецкого плена Габриэле Червеллон (ум. в 1580 г. в Милане) служил в испанских войсках во Фландрии.

[29] *...Пагано Дориа, кавалер ордена Иоанна Крестителя, человек благородной души, доказавший это своим великодушным отношением к брату... Джованни Андреа Дориа...* – При вступлении в орден Иоанна Крестителя (другое наименование Мальтийского ордена) Пагано Дориа отказался от своих богатств в пользу брата. О последнем см. прим. 17 к наст. гл.

[30] *...переодетый арнаутом...* – т.е. албанцем.

ГЛАВА XL

[1] Фратино (братец) – прозвание Джакомо Палеаццо, итальянского фортификатора, возводившего по повелению испанских королей оборонительные сооружения в Гибралтаре, Голете и других местах.

[2] *...а через несколько месяцев после этого умер мой хозяин Учали...* – Хронологическая несообразность, на которую Сервантес пошел сознательно: Улудж-Али умер не через несколько месяцев после разрушения Голеты, а в 1587 г., т.е. 12 лет спустя. Писатель свободно обращается с хронологией, чтобы сохранить напряженность развития сюжета.

[3] *...четыре фамилии, происходящие от Оттоманского дома...* – т.е. Мухаммед, Мустафа, Мюрад и Али.

[4] *Звали его Асан Ага...* – Считается, что так Сервантес изобразил имя Гасана-паши (см. прим. 1 к I, XXXIX). Гасан-паша правил Алжиром в 1577–1580 гг. Сервантес, относящий его правление к концу 80-х годов, нарушает хронологию, но не логику движения художественного времени новеллы.

[5] *...как ее называют турки, баньо...* – "Баньо" – острог (*арабск.*, ср. название комедии Сервантеса: "Los baños de Argel"). "Баньо" представлял собой большой, наглухо закрытый со всех сторон двор, куда выходили двери казематов-каморок, в которых жили пленники.

[6] *Альмасен* – здесь орган гражданского управления, совет.

[7] *...с одним испанским солдатом по имени Сааведра...* – т.е. с самим *Сервантесом* (см. прим. 1 к I, XXXIX).

[8] *...мавр... по имени Аджи Морато...* – См. прим. 1 к I, XXXIX.

[9] *Ла Пата* – Аль-Бата, крепость возле Орана.

[10] *Берберия* – старинное название части Северной Африки, в которую входят современные Алжир, Тунис и Марокко.

[11] *Зала́* – молитва (*арабск*).

[12] *...вот что можно устроить...* – Излагаемый далее план совпадает с планом побега, который пытался осуществить Сервантес в 1577 г.: его брат Родриго, попавший вместе с ним в турецкий плен, должен был, выкупив себя, вернуться с фелюгой за своими товарищами. Однако эта попытка бегства, как и две других, окончилась для Сервантеса неудачей.

[13] *Бабазонские ворота* – одни из главных ворот крепости Алжир.

[14] *...даже и здесь это событие показалось необыкновенным.* – Намек на неудачную попытку бегства Сервантеса их плена (см. прим. 12 к наст. гл.).

[15] *Тагарины* – крещеные арабы, жившие некогда на территории Арагонского королевства (совр. провинции Арагон, Каталония, Валенсия и Балеарские острова). См. далее, в гл. XLI, определение самого Сервантеса.

ГЛАВА XLI

[1] *...на языке, на котором во всей Берберии... объясняются между собой мавры и пленные...* – Речь идет о так называемом "лингва франка".

[2] *...невольник арнаута Мами...* – Арнаут (албанец) Мами был предводителем пиратов, захвативших галеру "Эль Соль" ("Солнце"), на которой Сервантес и его брат возвращались в 1575 г. из Италии в Испанию.

[3] *Солтани* – арабская золотая монета стоимостью примерно в 17 реалов.

[4] *...в первую джуму...* – *Джума* – пятница, священный день отдыха у мусульман.

[5] *...захватить мавров-багаринов...* – *Багарины* – вольнонаемные гребцы.

[6] *Арраэс* – капитан (*арабск.*).

[7] *Низарани* ("Назареи") – христиане.

[8] *...к Майоркским островам...* – т.е. к Балеарским островам, на которых было расположено королевство Майорка.

[9] *...мысом или косой, которую мавры называют Кава румúя...* – Речь идет о мысе Альбатель, который по-арабски называется Кобор румúя (Римская гробница). Народная этимо-

логия названия мыса, которую дает Сервантес, возникла из смешения слов "Кобор" и "Кава" – имени дочери графа Юлиана (см. прим. 3 к I, XXVII).

[10] *...корабль, называемый "круглым"...* – т.е. корабль с четырехугольными или прямыми парусами.

[11] *...ступаем по Земле Вéлес-Мáлаги...* – Вéлес-Мáлага – городок неподалеку от Мáлаги.

ГЛАВА XLII

[1] *Аудитор* – судья, дословно: выслушивающий; ср. далее обыгрывание этого значения: "Аудитор слушал с таким вниманием, что, кажется, никогда еще в жизни он не был аудитором в столь полном смысле этого слова" (с. 314 т. I наст. издания).

[2] *...более мудрые, чем изречения Катона.* – Имеются в виду изречения, приписывавшиеся Катону (см. прим. 16 к Прологу к Первой части).

ГЛАВА XLIII

[1] *Я моряк, моряк любви...* – Сервантес сочинил эту песню до написания Первой части "Дон Кихота": еще в 1591 г. она была положена на музыку певчим часовни Филиппа II Сальвадором Луисом.

[2] *...звездою... прекрасней всех, светивших Палинуру. – Палинур* – кормчий Энея (в поэме Вергилия).

[3] *О лучистое светило / В чьем огне светлею духом!..* – Дочь аудитора зовут Кларой, что значит "светлая", "ясная".

[4] *...мне будет шестнадцать в день святого Михаила.* – По всей видимости, этот день – 29 сентября – был и днем рождения самого Сервантеса (крещен 9 октября 1547 г.).

[5] *...трехликое светило...* – т.е. луна, появляющаяся в трех своих фазах. Вергилий, Гораций и Овидий называли ее "трехликим божеством", соединяющим в себе Луну (на небе), Диану (на земле) и Гекату (в преисподней).

[6] *...деву, за которой в поте лица бегал... влюбленный и ревнивый.* – Пародийный намек на Аполлона, преследующего своей любовью нимфу Дафну.

[7] *Она просит только, чтобы вы протянули ей одну из ваших прекрасных рук...* – Эпизод, повествующий о жестокой проделке, учиненный Мариторнес, вероятно, восходит к одному из эпизодов романа "Сиронхилио Фракийский" (см. прим. 3 к I, XXXII).

[8] *...о мече Амадиса...* – т.е. о мече Амадиса Галльского. Ср. рассуждение Дон Кихота об этом мече в гл. XVIII Первой части и прим. 1 к этой гл.

[9] *...корона на руках...* – т.е. клеймо, которое ставили преступникам.

ГЛАВА XLIV

[1] *...окажется, что шлем Мурлина...* – Санчо снова путает имя Мамбрина.

[2] *...не будь... этого тазового шлема...* – Тазовый шлем в оригинале "baci-yelmo" ("тазошлем" в пер. Н.М. Любимова), ключевое слово-символ в "перспективистских" интерпретациях "Дон Кихота", совмещающее в себе "правды" обеих сторон, спорящих о сущности этого предмета.

ГЛАВА XLV

[1] *Хозяин постоялого двора, состоявший тоже членом этого братства...* – Обычный для того времени факт. Ср. в "Гусмане де Альфараче" Матео Алемана: "Слово трактирщика – окончательный приговор, защиты искать не у кого, кроме как у своего кошелька. Угрозы тут беспомощны, ибо большинство трактирщиков – члены Эрмандады..." (ч. I, кн. I, гл. I; пер. Е.М. Лысенко).

[2] *...среди жесточайшего раздора в лагере Аграманта...* – Намек на эпизод из XIV и XXVII песен "Неистового Роланда", в которой рассказывается о том, как архангел Михаил по просьбе Карла Великого посылает в лагерь африканского короля Аграманта, осаждающего Париж, Распрю. В лагере вспыхивает междоусобица, в частности, между Градассом и Мандрикардом (из-за меча Дуринданы), между Родомонтом и Сакрипантом (из-за коня Фронтина), между Марфизой и Брунелем (из-за меча, украденного Брунелем у Марфизы) и т.д. (правда, шлема среди объектов распри у Ариосто в этом эпизоде нет).

[3] *...враг согласия и недруг мира...* – т.е. дьявол.

[4] *Какой рыцарь когда-либо платит налоги?..* – Далее перечисляются различные виды налогов, взымавшихся во времена Сервантеса, в том числе и так называемый туфля королевы, который взымался по случаю королевского бракосочетания и предназначался для покрытия личных расходов царственной невесты.

ГЛАВА XLVI

[1] *...ни осла Санчо...* – Первое в первом издании 1605 г. упоминание о вновь появившемся невесть откуда осле Санчо.

[2] *...мир и тишина времен Октавиановых.* – Октавиан Август – римский император (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.). Приход к власти Октавиана положил конец целому периоду междоусобных войн и правительственных переворотов. Вергилий и другие римские поэты воспевали Октавиана, принесшего Риму долгожданное "спокойствие".

[3] *...sicut erat in principio* (*лат.*). – "Как это было вначале" – слова, произносившиеся при возвращении отступника в лоно церкви.

[4] *...раньше, чем бог, преследующий убегающую нимфу, в своем... беге дважды посетит сияющие знаки небес.* – т.е. раньше, чем через два года, за которые Солнце – Аполлон, преследующий Дафну, – дважды опишет в небе зодиакальный круг.

[5] *Ментирониана* – Mentironiana от "mentira" (*исп.*) – ложь.

ГЛАВА XLVII

[1] *...быть похищенным на телеге, запряженной волами...* – Мотив перевозки Дон Кихота на телеге может восходить к роману Кретьена де Труа "Ланселот, или Рыцарь телеги" (XII в.), разнообразные переложения которого были широко распространены в Испании (см. также прим. 2 к I, XIII и прим. 12 к I, II).

[2] *Зороастр* (Заратустра) – легендарный персидский пророк, живший то ли в VII–VI, то ли в XII–XI вв. до н.э.; в Средние века его считали астрологом и магом.

[3] *"Повесть о Ринконете и Кортадильо"* – новелла "Ринконете и Кортадильо" (1604), позднее включенная Сервантесом в сборник "Назидательных новелл".

[4] *"Súmulas"* Вильяльпандо – обиходное название трактата по диалектике "Summa summularum" ("Сумма сумм", опубл. в 1557 г.) теолога Гаспара Кардильо де Вильяльпандо, профессора университета в Алькалá-де-Энáрес.

[5] *...назло... гимнософистам Эфиопии...* – Гимнософисты – древняя индусская секта, проповедовавшая максимально близкий к природе образ жизни (отказ от жилищ, одежды и т.д.). Сервантес распространяет деятельность гимнософистов на Эфиопию, следуя пифагорейской традиции (см. "Жизнь Аполлония Тианского" Филострата). Сервантес также знал "Эфиопику" Гелиодора, во второй книге которой фигурируют гимнософисты-эфиопы.

[6] *Каждый из нас – сын своих дел.* – Это высказывание Санчо, почти дословно совпадающее с высказыванием Дон Кихота (см. гл. IV Первой части и прим. 4 к этой главе), свидетельствует о том, что по мере развития донкихотовского сюжета происходил процесс, названный С. де Мадарьяга (см. *Мадарьяга, 1961*) "кихотизацией" образа Санчо, т.е. все большим и большим приближением точки зрения на мир Санчо к мировосприятию Дон Кихота.

[7] *...каноник сказал...* – Речь каноника о рыцарском романе и следующий за ней диспут, в котором на стороне каноника выступает и священник, воплощает глубоко противоречивое, двойственное отношение Сервантеса к эстетике неоаристотелизма. Возникший в посттридентскую эпоху неоаристотелизм предъявлял искусству ряд требований, отвечавших рационально-дискурсивному, "научному" стилю мышления Нового времени. В их числе – требования правдоподобия и поучительности, связанные важнейшей для эстетики Аристотеля идеей подражания – "мимесиса": "поучительным" может быть лишь то, что может иметь место в действительности. Каноник критикует рыцарские романы, придерживаясь именно принципов неоаристотелизма. Вместе с тем, следуя "Философии поэзии древних" Алонсо Лопеса Эль Пинсиано (1596), он пытается найти компромисс между рыцарским романом (а также жанром романа вообще) и аристотелевской эстетикой в виде "усовершенствованного" рыцарского романа, своего рода "эпической поэмы в прозе", в которой бы соединялись "мимесис" и "фантасис", история и вымысел, развлекательность и серьезное содержание. Когда же каноник рассуждается о свободе, которую "рыцарское повествование", т.е. жанр романа как таковой, предоставляет авторскому воображению, очевидно, что его устами говорит сам Сервантес – творец "эпоса нового времени".

[8] *...милетские сказки...* – не дошедший до нас сборник любовных историй, составленный на фольклорной основе неким Аристидом из Милета, вероятно, в конце II в. до н.э. Судя по репутации сборника в веках, в нем было немало эротики и авантюрности. Уподобление рыцарских романов "милетским сказкам" – распространенный прием в критике XVI в. Так, Алехо де Венегас в предисловии к испанскому переводу "Мома" Леона Баттисты Альберти (1553) подразделил всю повествовательную литературу на три вида: мифы, апологи и милетские повести (las milesias). Последние он характеризовал следующим образом: "Есть третья разновидность вымышленных повествований, которая относится не к поэзии вразумляющей, а к поэзии развращающей: она происходит из города Милета, что в Ионии... К этому третьему роду сказок относится и "Золотой осел" Апулея. В наше время для развлечения некоторых девиц сочиняются противозаконные рыцарские романы, которые угождают не кому иному, как дьяволу, охотящемуся за неокрепшими душами этих девиц. Милетские сказки – сплошная нелепость, в коей нет места ни истине, ни учености, и они могут служить лишь для оглупления дураков".

[9] *...в которых шестнадцатилетний мальчик поражает мечом великана ростом с башню...* – Подобная ситуация встречается, например, в романе "Бельянис Греческий".

[10] *...читая о том, как огромная башня... плывет по морю...* – История с плавающей башней, как заметил еще Д. Клеменсин, аллюзия на один из эпизодов романа, в "Дон Кихоте" прямо не упомянутого, – "Флорамбель Лусейский" (1532).

[11] *...в земле пресвитера Иоанна или в других еще странах, которых ни Птолемей не описывал, ни Марко Поло не видывал.* – О пресвитере Иоанне – см. прим. 10 к Прологу, I; Клавдий Птолемей (ок. 90 – ок. 160) (до 1930 г. по-русски часто употребляли форму Птоломей), позднегреческий астроном, один из создателей геоцентрической модели мира, в трак-

тате "География" дал сводку географических представлений своего времени, которая во многом оставалась актуальной и для XVI–XVII вв., несмотря на все новое, что принесли открытия мореплавателей XV–XVI вв.; Марко Поло (ок. 1254–1324) – итальянский путешественник, совершивший в последней трети XIII в. путешествие в Китай. Записанная с его слов "Книга" (1298) была важнейшим источником сведений европейцев об Азии.

[12] *...о предательстве Синона...* – Синон – мифологический персонаж, упоминаемый в "Энеиде" (книга вторая), грек, убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были спрятаны греческие воины. В XVII в., как и в Средние века, Синона считали троянцем, находящимся на службе у греков.

[13] *...о дружбе Эвриала...* – Эвриал – один из спутников Энея, дружба которого с Нисом воспета Вергилием в "Энеиде" (книга IX).

[14] *...о мягкости и правдивости Траяна...* – Эти качества римского императора Траяна (53–117) восхвалял в "Панегирике Траяну" (100) Плиний Младший.

[15] *...о верности Зопира...* – Зопир – знатный перс, приближенный царя Дария (VI в. до н.э.); чтобы проникнуть в осаждаемый Дарием Вавилон, Зопир нанес себе увечье и, представ перед вавилонянами, сообщил, что является жертвой Дария. Добившись доверия вавилонян, Зопир, поставленный ими во главе войска, открыл Дарию ворота города.

ГЛАВА XLVIII

[1] *...два князя поэзии – греческой и латинской.* – Имеются в виду Гомер и Вергилий.

[2] *...исписал более ста листков.* – Возможно, Сервантес говорит о первой книге романа "Странствия Персилеса и Сихизмунды" (1617), состоящего в целом из четырех книг. Первая книга "Персилеса" была создана именно по изложенному каноником плану создания "совершенного" рыцарского романа. За продолжение "Персилеса", которого Сервантес считал своим лучшим произведением, писатель принимался дважды: в 1610-м, а затем в 1615-м г., после создания Второй части "Дон Кихота". Таким образом, пародирование и "усовершенствование" рыцарского романа в творчестве Сервантеса парадоксально дополняли друг друга.

[3] *...следующее соображение... по поводу комедий, которые в настоящее время представляются на сцене.* – Далее Сервантес подвергает критике модель сценического представления ("комедию"), разработанную Лопе де Вегой и его последователями. Следует заметить, что, критикуя "новую комедию", Сервантес одновременно делает важные наблюдения над эстетикой театра XVII в., который действительно сложился в результате своего рода "соавторства" драматурга и "толпы" (vulgo), драматического поэта и зрителя.

[4] *Я буду палить себе брови...* – Ср. 7-ю строку предпоследней децимы стихотворения "На книгу о Дон Кихоте", написанного от имени Урганды Неуловимой.

[5] *...окажусь в положении "портного с угла".* – Намек на пословицу: у нас на углу портной даром шил, да еще свои нитки прикладывал ("El sastre del cantillo que hacía la obra de balde y ponia de hilo").

[6] *"Изабелла", "Фи́лида", "Александра"* – трагедии Луперсио Леонардо де Архенсо́лы (1559–1613), написанные в ренессансно-классицистическом стиле.

[7] *Вы не отыщете нелепостей в "Наказанном бессердечии", в "Нумансии", во "Влюбленном купце", еще менее в "Благосклонной неприятельнице"...* – "Наказанное бессердечие" – одна из ранних (1590-х годов) пьес Лопе де Веги, по стилю более всего приближающаяся к позднеренессансной "кровавой" трагедии; "Нумансия" – самая знаменитая трагедия Сервантеса, написанная им, по всей вероятности, в 1580-е годы, при жизни автора не публиковалась; "Влюбленный купец" – пьеса валенсийского драматурга Гаспара де Агила́ра

(1568?–1623); "Благосклонная неприятельница" – пьеса валенсийского драматурга Франсиско Агустина де Та́рреги (1554–1602).

[8] *По словам Туллия...* – т.е. Марка Туллия Цицерона. Это его определение комедии сохранилось в передаче римского грамматика Элия Доната (IV в.).

[9] *...все четыре части света.* – Австралия в те времена еще не была открыта.

[10] *...во время королей Пипина и Карла Великого...* – Франкский король Пипин III Короткий правил в 761–768 гг., Карл Великий – с 768 по 814 г.

[11] *Император Ираклий* – византийский император, правивший с 610 по 641 г. и пытавшийся остановить продвижение мусульманских завоеваний в Восточном Средиземноморье.

[12] *...завоевать Гроб Господень – подобно Готфриду Бульонскому.* – Готфрид Бульонский (1058–1100) возглавил первый крестовый поход (1096–1099).

[13] *...комедий, написанных величайшим писателем нашего королевства...* – т.е. Лопе де Вегой.

ГЛАВА XLIX

[1] *В Лузитании был Вириат...* – Вириат – вождь лузов, древнего населения области, находящейся между реками Дуэро и Гвадиана (совр. территория Португалии). Возглавил восстание против римлян и был казнен в 140 г. до н.э.

[2] *...в Кастилии – граф Ферна́н Гонса́лес.* – Фернан Гонсалес (X в.) – кастильский граф, добившийся независимости Кастилии от Леона, герой "Поэмы о Фернане Гонсалесе" (XIII в.), многочисленных романсов, исторических хроник об освобождении Кастилии от арабского завоевания.

[3] *...в Валенсии – Сид...* – Родриго Руй Диас де Би́вар был родом из Бургоса (Старая Кастилия); прозвище "Сид" он получил после отвоевания Валенсии у арабов (см. также прим. 19 к разд. "На книгу о Дон Кихоте...").

[4] *...в Андалуси́и – Гонсало Фернандес...* – Гонсало Фернандес Великий Капитан (см. прим. 5 к I, XXXII) был родом из андалусийского селения Монталья.

[5] *Диего Гарси́а де Паре́дес...* – См. прим. 5 к I, XXXII.

[6] *Гарси́а Перес де Варгас* – один из двух героев-рыцарей, изображенных в XV примере книги "примеров" Хуана Мануэля "Граф Луканор" (1334).

[7] *...в Толедо – Гарсиласо...* – Речь идет о юном рыцаре Гарсиласо из кастильского рода Гарсиласо де ла Вега (к нему принадлежал и поэт Гарсиласо де ла Вега). Героизм Гарсиласо, проявленный при осаде Гранады, воспет в романсе, включенном в семнадцатую главу романа Хинеса Переса де Ита "Повесть о Сегри́ и Абенсеррахах" (см. прим. 10 к I, IX).

[8] *...в Севилье – дон Мануэль де Леон...* – Отвага Мануэля Понсе де Леон, рыцаря из знаменитого андалусийского рода Понсе де Леон, воспета в том же романсе:

Ибо он, душой не дрогнув,
Раз посмел поднять перчатку,
Что нарочно уронила
Злая дама в ров со львами...

(Пер. А.Э. Сиповича)

[9] *...убедить вас, что история инфанты Флорипес и Ги Бургундского – не истина? Или подвиги Фьерабраса на Мантибльском мосту...* – Рассказ о любви арабской принцессы Флорипес, дочери адмирала Балана, владельца Замка Мертвых Вод, к одному из двенадцати пэров Франции Ги Бургундскому содержится в "Истории императора Карла Великого и двенадцати пэров Франции" (см. прим. 4 к I, X). Там же говорится о победе Фьерабраса над великаном Галафром, охранявшим Мантибльский мост, служивший въездом в Замок Мертвых Вод.

[10] *...короля Артура Английского, который и поныне еще летает, обращенный в ворона...* – Дон Кихот излагает одну из версий средневековой легенды о "втором пришествии" короля Артура (см. прим. 2 к I, XIII), погибшего в бою с предателем Мордретом.

[11] *Гуарино Мескино...* – Возможно, речь идет о герое "Хроники благородного кавальеро Гуарино Мескино" (Севилья, 1527, 1548), являющейся переводом одноименного итальянского романа. "Гуарино Мескино" упоминается в "Диалоге о языке" Хуана Вальдеса как пример нелепейшего рыцарского романа.

[12] *...поиски святого Грааля...* – Тема, заявленная во французских романах XII в., а затем перешедшая во многие прозаические версии, в том числе в Испании. В легендах Грааль – таинственный сосуд с кровью Иисуса Христа, которую собрал Иосиф Аримафейский, снявший с креста тело Распятого. Граалю служили многие герои средневековой литературы.

[13] *...дуэнью Кинтаньону, лучшую кравчую Великой Британии...* – См. прим. 4 к I, XIII.

[14] *...достоверность истории Пьера и... Магелоны.* – Пьер и Магелона – герои провансальского (автор – Бернар де Тревье) рыцарского романа, переведенного на французский, а затем на испанский язык под названием "История прекрасной Магалоны, дочери короля Неаполитанского, и Пьера, сына графа Провансальского" (Ср. рус. пер. немецкой версии романа о Магелоне в кн.: "Прекрасная Магелона. Фортунат. Тиль Уленшпигель". М., 1986). Деревянный конь, носивший героя по воздуху, – образ, пришедший в Европу из сказок "Тысячи и одной ночи", – нигде в этом романе не фигурирует.

[15] *...отважного лузитанского... рыцаря Жоана де Мерло...* – Обо всех упоминаемых далее Дон Кихотом деяниях португальского рыцаря Жоана де Мерло, служившего кастильскому королю Хуану II, повествует "Хроника Хуана II" за 1435 г. Далее Дон Кихот приводит один за другим примеры героических деяний вполне реальных лиц, большинство из которых (Педро Барба, Гутьерре Кихада, Фернандо де Гевара, Суэро де Киньонес, Луис де Фальсес) фигурируют в упомянутой "Хронике" за разные годы: от 1428 до 1436-го.

[16] *...турнир Суэро де Киньонес, описанный в "Пасо"...* – Источником сведений об этом турнире, устроенном в 1434 г. леонским рыцарем Суэро де Киньонес (фигурирует в "Хронике Хуана II" за 1433 г.), была "Пасо" или "Книга о честном бое", написанная Перо Родригесом де Лена, очевидцем турнира, и опубликованная Хуаном де Пинеда в Саламанке в 1588 г. Бой, о котором рассказывается в "Книге", был устроен по законам книжно-рыцарского куртуазного этикета: Суэро де Киньонес, давший обет носить на шее железное кольцо в знак плененности красотой своей дамы, чтобы освободиться от этого обета обязался с девятью своими друзьями защищать мост возле городка Асторга от всякого, кто попытается по нему проехать. "Честный бой", в котором приняли участие 68 рыцарей, как из Испании, так и из других стран, длился с 10 июля по 10 августа.

[17] *...названные... пэрами, так как все они были равны...* – Пэр (франц. pair) означает "равный".

ГЛАВА L

[1] *...огромное озеро кипящей и клокочущей смолы...* – Последующая импровизация Дон Кихота "по мотивам" рыцарских романов построена вокруг двух образов: "кипящего озера" и "волшебного дворца". Образ "волшебного дворца" в "аранжировке" тех мотивов, которые включены в импровизацию Дон Кихота (роскошь и великолепие убранства замка, прекрасные девушки – его обитательницы, прием, оказываемый рыцарю, молчание прислужниц рыцаря, таинственная музыка и т.д.), встречается в трех рыцарских романах: "Рыцаре Сифаре" (см. прим. 32 к Прологу к Первой части), "Графе Партинуплесе" (1513) и "Оливанте де Лау-

ра" (см. прим. 8 к I, VI). Кроме того, отдельные из перечисленных мотивов содержатся в "Амадисе Греческом" (ч. II, гл. XLVII), "Пальмерине из Оливы" (гл. XXVII) и "Бельянисе Греческом" (гл. XIII).

ГЛАВА LI

[1] *Ганте и Лу́на* – Возможно, речь идет об испанском солдате Хуане де Ганте, изображенном в поэме "Достославный Карл" (см. прим. 3, к I, VII) и об историческом лице – итальянце Марке Антонио Лунеле, опубликовавшем свой вызов противнику на дуэль во всех городах Италии.

ГЛАВА LII

[1] *...всего́ лишь за восемь месяцев службы ты пожаловал мне лучший из всех островов...* – Санчо в своем горе не только приписывает хозяину так и не совершенное им деяние, но и значительно увеличивает срок своей службы: второй выезд Дон Кихота длился меньше трех недель.

[2] *...смиренный с надменными и гордый со смиренными...* – Санчо, по-видимому, хотел сказать обратное.

[3] *Хуана Панса* – об именах жены Санчо см. прим. 9 к I, VII и прим. 1 к II, V.

[4] *...Дон Кихот, выехав из дому в третий раз, побывал в Сарагосе...* – Исходя из этих слов, Авельянеда, автор "подложной" второй части "Дон Кихота" повел своего героя именно по такому пути; маршрут движения героя Сервантеса в "Дон Кихоте" 1615 г. будет иным.

[5] *Академики из Аргамасильи...* – Аргамасилья – небольшое селение в ста с лишним километрах к югу от Мадрида. Естественно, никакой "академии" – наподобие тех поэтических сообществ-академий, что существовали в XVI–XVII вв. в крупнейших испанских городах, – в Аргамасилье не было. См. также прим. 1 к Посвящению "Лжекихота".

[6] *Hoc scripserunt* – Написали следующее (*лат.*).

[7] *Эль Мониконго.* – Так во времена Сервантеса называли конголезцев. Слово звучало явно комически.

[8] *Трофей Язона.* – Золотое руно.

[9] *Паниагуадо* – Прихлебатель.

[10] In laudem Dulcineae del Toboso. – Во хвалу Дульсинеи Тобосской (*лат.*).

[11] *Сьерра Негра* – Черная (или злосчастная) Сьерра. – Комическое переименование Сьерры Морены, название которой, происходя от "Сьерра Мариана" (т.е. "горы Марианны"), осмысливалось как "Смуглая Сьерра" (morena, *исп.* – смуглая).

[12] *Аранхуэс* – летняя резиденция испанских королей, расположенная к югу от Мадрида. Сады Аранхуэса славились красотой и обилием фонтанов.

[13] *Сонет.* – Сонет весьма "экзотической" формы, содержащий *три* терцета!

[14] *...Грецию отважные потомки / Возвысили...* – Имеются в виду "потомки" Амадиса Галльского – Амадис Греческий (далее именуется просто "Грек") и его сыновья.

[15] *...затмил Баярда с Брильядором.* – В итальянских рыцарских поэмах Брильядор – конь Роланда, Баярд – конь Рейнальдо Монтальбанского.

[16] *Бурладор* – Насмешник.

[17] *Качидьябло* – Под этим прозвищем (типа русск. "чертяка") был известен один из алжирских пиратов.

[18] *Тикиток* – Сумасброд, тронутый.

[19] Forsei altro canterá con miglior plectio. (*итал.*) – Стих из XXX песен "Неистового Роланда": "Быть может, другие воспоют (это) с бо́льшим блеском".

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

Авальe-Арсе, 1959 – Avalle-Arce J.B. La novela pastoril española. Madrid, 1959.
Авальe-Арсе, 1961 – Avalle-Arce J.B. Deslindes cervantinos. Madrid, 1961.
Андреев, 1993 – Андреев М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993.
Балашов, 1969 – Балашов Н.И. Сервантес и современная наука на Западе // Сервантес и всемирная литература. М., 1969.
Батайон, 1960 – Bataillon M. Urganda entre "Don Quijote" et la Pícara Justina // Studia philológica. I. Madrid, 1960.
Баткин, 1978 – Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. Стиль жизни. Стиль мышления. М., 1978.
Бочаров, 1969 – Бочаров С.Г. О композиции "Дон Кихота" // Сервантес и всемирная литература. М., 1969.
Гаос, 1959 – Gaos V. El Quijote: aproximaciones // Gaos V. Temas y problemas de la literatura española. Madrid, 1959.
Данн, 1973 – Dunn P.N. La cueva de Montesinos por fuera y por dentro: estructura épica, fisonomía // Modern Language Notes (далее – MLN), 88 (1973).
Джилмен, 1951 – Gilman S. Cervantes y Avellaneda. México, 1951.
Диас-Плаха, 1981 – Диас-Плаха Г. "Дон Кихот" как театральная ситуация // Диас-Плаха Г. От Сервантеса до наших дней. Пер. с исп. М., 1981.
Дуран, 1960. – Durán M. La ambigüedad en el "Quijote". Xálapa; Mexico, 1960.
Кастро, 1966 – Castro A. Cervantes y los casticismos españoles. Madrid; Barcelona, 1966.
Кастро, 1967 – Castro A. Hacia Cervantes. Madrid, 1966.
Кастро, 1972 – Castro A. El pensamiento de Cervantes. Nueva edición amplificada y con notas del autor y de Julio Rodriguez-Puértolas. Barcelona; Madrid, 1972.
Лопес Навио, 1987–1988 – Lopez Navio S. Una aproximación al problema de Cide Hamete Benengeli en el texto del "Quijote" // Anales cervantinos (далее – AC), XXV–XXVI (1987–1988).
Лопес Эстрада, 1953 – Lopez Estrada F. La aventura frustrada. Don Quijote como caballero aventurero // AC, III (1953).
Мадарьяга, 1961 – Madariaga S. Guía del lector del Quijote, ensayo psicológico. Madrid, 1926.
Мак-Гаха, 1980 – McGaha M.D. Cervantes and Virgil // Cervantes and the Renaissance. Easton, 1980.
Марассо, 1954 – Marasso A. Cervantes. La invención del Quijote. Buenos Aires, 1954.
Марин, 1974 – Marín N. La piedra y la mano en el prólogo del "Quijote" apócrifo // Homenaje a Guillerno Gustavino. Madrid, 1974.
Марин, 1981 – Marín N. Cervantes frente a Avellaneda: la duquesa y Bárbara // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.
Маркес Вальянуэва, 1973 – Marguez Villanueva F. Fuentes literarias cervantinas. Madrid, 1973.
Менендес Пидаль, 1961 – Менендес Пидаль Р. К вопросу о творческой разработке "Дон Кихота" // Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. Пер. с исп. М., 1961.
Мольо, 1976 – Molho M. Cervantes: raíces folklóricas. Madrid, 1976.
Мурильо, 1975 – Murillo L.A. The Golden Dial. Temporal Configuration in "Don Quijote". Oxford, 1975.

Осуна, 1971 – Osuna R. Una parodia cervantina de un romance de Lope // Hispanie Review (Далее HR). 49 (1971).

Осуна, 1981 – Osuna R. Dos finales de capítulo (II. 24) // Romance Notes, XIII (1971).

Перкас де Понсети, 1975 – Percas de Ponseti H. Cervantes y su concepto del arte. t. I–II. Madrid, 1975.

Пинский, 1963 – Пинский Л.Е. "Дон Кихот" и конец реализма Возрождения // Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1963.

Пискунова, 1998 – Пискунова С.И. "Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. М., 1998.

Ралл, 1981 – Rull E. El arquetipo del caballero en el "Quijote", através de los "topoi" de la laguna y el palacio encantados // AC, XIX (1981).

Райли, 1962 – Riley E.C. Cervantes's theory of the novel. London – Oxford, 1962.

Райли, 1973 – Riley E.C. Three Versions of "Don Quijote" // Modern Language Review, 68 (1973).

Райли, 1998 – Riley E.C. Como era Pasamonte? – Actas del Tercer Congreso Internacional de la Asociación de cervantistas (III-CINDAC). Universitat des Illes Ballears. Palma, 1998.

Редондо, 1980а – Redondo A. El personaje de Don Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina // Nueva Revista de Filología Hispánica. XXIX (1978).

Редондо, 1980б – Redondo A. El proceso iniciático en el episodio de la cueva de Montesinos del Quijote // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.

Родригес Марин, 1947 – Rodriguez Marín F. Estudios cervantinos. Madrid, 1947.

Ромеро Муньос, 1990 – Romero Muñóz C. Nueva lectura de "El retablo de maese Pedro" // Actas del Primero Coloquio Internacional de la Asociacion de cervantistas. Barcelona, 1990.

Ромеро Муньос, 1991 – Romero Muñóz C. La invención de Sanson Carrasco. – Actas del Segundo Coloquio Internacional de la Asociación de cervantistas. Barcelona, 1991.

Санчес, 1961–1962 – Sanchez A. El caballero del Verde Gabán // AC, IX (1961–1962).

Собре́, 1976 – Sobré J.M. Don Quixote, the Hero Upside-down // HR, 44 (1976).

Стэгг, 1956 – Stagg G. El sabio Hamete Venengeli // Bulletin of Hispanic Studies (далее – BHS). 33 (1956).

Стэгг, 1959 – Stagg G. Revision in "Don Quijote", Part I // Hispanic Studies in Honour of G. Gonzalez Llubeira. Oxford, 1959.

Торо, 1981 – Toro F. de. "Don Quijote" como "desconstrucción" de modelos narrativos // Cervantes, su obra y su mundo. Madrid, 1981.

Уиллис, 1953 – Willis R.S. Jr. The Fantom Chapters of the Quijote. New York, 1953.

Урбина, 1982 – Urbina E. Sancho Panza, a nueva luz: tipo folklórico o personaje literario? // AC, 20 (1982).

Флорес, 1982 – Flores R.M. The Rôle of Cide Hamete in "Don Quixote" // BHS, LIX (1982).

Фрай, 1965 – Fry G. Symbolic Action in the Epsode of the Cave of Montesinos // Hispania, 48 (1965).

Хатцфельд, 1927 – Hatzfeld H. "Don Quijote" als Wortkunstwerk. Die einzelnen Stilmittel und ihr Sinn. Berlin, 1927.

Хендрикс, 1925 – Hendrix W.S. Sancho Panza the Comic Types of the Sixteenth Century // Homenaje ofrecido a Menéndez Pelayo, II. Madrid, 1925.

Шпитцер, 1977 – Spitzer L. Perspectivismo lingüístico en el "Quijote" // Spitzer L. Lingüística e historia literaria. Madrid, 1974.

Эллен, 1978 – Allen J.J. Autobiografía y ficción: el relato del capitán cautivo // AC, XV (1978).

Эррего, 1978 – Herrero J. Arcadia's Inferno: Cervantes' Attack on Pastoral // BHS, 55 (1978).

Эйзенберг, 1973а – Eisenberg D. Pero Perez the Priest and his Comment on "Tirant lo Blanch" // MLH, 88 (1–73).

Эйзенберг, 1973б – Eisenberg D. "Don Quijote" and the Romances of Chivalry: the Need for a reexamination // HR, 41 (1973).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Портрет Сервантеса работы Хуана де Хуареги. 1600 г.

Титульный лист первого испанского издания "Дон Кихота". Мадрид, 1605 г.

Титульные листы изданий рыцарских романов, находившихся в библиотеке Дон Кихота

Гравюра У. Хогарта. 1726 г. (I, XXVII)

Рисунок Ф. Гойи. 1808–1819 гг.

Фронтиспис Т. Жоанно к французскому изданию "Дон Кихота" в переводе Л. Виардо. 1836 г.

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота" 1863 г. (I, VIII)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота" 1863 г. (I, XXV)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота" 1863 г. (I, XLVII)

Иллюстрация Г. Доре к французскому изданию "Дон Кихота" 1863 г. (I, L)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (I, VIII)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" (I, XXXIX)

Иллюстрация А.А. Алексеева к "Дон Кихоту" I, XLIII)

Иллюстрация С.Г. Бродского к изданию "Дон Кихота" 1976 г. (I, III)

Титульный лист издания "Дон Кихота" в английском переводе. Лондон, 1620 г.

Иллюстрация Н.И. Пискарева к пьесе А.В. Луначарского "Освобожденный Дон Кихот". 1922 г.

Ф.И. Шаляпин в роли Дон Кихота в опере Ж. Массне. Рисунок Ф.И. Шаляпина. 1910 г.

Рисунок И. Сулоаги

Распоряжение судье Гаспаро де Вальехо выпустить Сервантеса из тюрьмы, подписанное Филиппом II

Дом Алонсо Кихады де Саласар в Эскивиасе

Титульный лист первого русского издания "Дон Кихота" в переводе И.А. Тейльса. 1769 г.

Титульный лист русского издания "Дон Кихота" в переводе В.А. Жуковского. 1803 г.

Иллюстрация Н.И. Пискарева к пьесе А.В. Луначарского "Освобожденный Дон Кихот". 1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ К ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТИЮ "ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО" (*Статья Н.И. Балашова*) 5

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский 15

Пролог 20

⟨ПЕРВАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава I, в которой повествуется о нраве и обычае знаменитого идальго Дон Кихота Ламанчского 32

Глава II, в которой рассказывается о первом выезде хитроумного Дон Кихота из своих владений 36

Глава III, в которой рассказывается о том, каким презабавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари 40

Глава IV о том, что случилось с нашим рыцарем после того, как он выехал с постоялого двора 45

Глава V, в которой продолжается рассказ о злополучии нашего рыцаря 50

Глава VI о великом и потешном обследовании, которому священник и цирюльник подвергли библиотеку нашего хитроумного идальго 53

Глава VII о втором выезде доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского 58

Глава VIII о славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в ужасном и доселе неслыханном приключении с ветряными мельницами, так же как и о других событиях, достойных приятного упоминания 62

⟨ВТОРАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава IX, в которой рассказывается о конце и исходе удивительного боя между храбрым бискайцем и доблестным ламанчцем 68

Глава X о том, что еще произошло у Дон Кихота с бискайцем и об опасности, которой он подвергся из-за табуна янгуэсцев 72

Глава XI о том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами 75

Глава XII о том, что рассказал один козопас компании, бывшей с Дон Кихотом 81

Глава XIII, содержащая конец повести о пастушке Марселе и разные другие события 85

Глава XIV, где приводятся стихи впавшего в отчаяние покойного пастуха и другие неожиданные происшествия 92

⟨ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава XV, в которой рассказывается о злосчастном приключении, постигшем Дон Кихота благодаря встрече с жестокосердыми янгуэсцами 99

Глава XVI о том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за замок 104

Глава XVII, в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым Дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь, на свою беду, принял за замок 109

Глава XVIII, содержащая беседу Санчо Пансы с его господином, а также разные другие приключения, достойные упоминания 115

Глава XIX о разумной беседе между Санчо Пансой и его господином и последовавшем засим приключении с мертвым телом, равно как и о других замечательным происшествиях 123

Глава XX о невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один знаменитый рыцарь на свете не совершал с меньшей для себя опасностью, чем совершил его доблестный Дон Кихот Ламанчский 128

Глава XXI, в которой рассказывается о великом приключении и завоевании драгоценного шлема Мамбрина, равно как и о других происшествиях, случившихся с нашим непобедимым рыцарем 138

Глава XXII о том, как Дон Кихот даровал свободу множеству несчастных, которых насильно вели туда, куда им вовсе не хотелось идти 147

Глава XXIII о том, что произошло с знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, иначе говоря – об одном из самых редкостных приключений, о которых рассказывается в этой правдивой истории 155

Глава XXIV, продолжение приключения в Сьерра-Морене 163

Глава XXV, в которой рассказывается о необычайных происшествиях, случившихся с доблестным ламанчским рыцарем в Сьерра-Морене, и о покаянии, которое он наложил на себя в подражание Мрачному Красавцу 170

Глава XXVI, повествующая о дальнейших любовных подвигах Дон Кихота в Сьерра-Морене 182

Глава XXVII о том, как священник и цирюльник привели в исполнение свой план, и о других событиях, достойных упоминания в этой великой истории 188

⟨ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ "ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО ДОН КИХОТА ЛАМАНЧСКОГО"⟩

Глава XXVIII, в которой рассказывается о новом и приятном происшествии, случившемся в тех же горах со священником и цирюльником ... 200

Глава XXIX, в которой рассказывается об остроумной хитрости и способе, с помощью которых наш влюбленный кабальеро был избавлен от наложенного им на себя сурового покаяния ... 209

Глава XXX, в которой рассказывается об уме прекрасной Доротеи и многих других вещах, простых и занимательных ... 217

Глава XXXI о замечательной беседе Дон Кихота с его оруженосцем Санчо Пансой и о других происшествиях ... 225

Глава XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом дворе со всей компанией Дон Кихота ... 231

Глава XXXIII, в которой рассказывается "Повесть о Безрассудно-любопытном" ... 236

Глава XXXIV, в которой продолжается "Повесть о Безрассудно-любопытном" ... 248

Глава XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необыкновенной битве Дон Кихота с мехами красного вина и дается окончание "Повести о Безрассуднолюбопытном" ... 261

Глава XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях, случившихся на постоялом дворе ... 267

Глава XXXVII, в которой продолжается история инфанты Микомиконы вместе с другими забавными приключениями ... 273

Глава XXXVIII, в которой передается любопытная речь Дон Кихота о военном деле и науках ... 281

Глава XXXIX, в которой пленник рассказывает о событиях своей жизни ... 284

Глава XL, в которой продолжается история пленника ... 289

Глава XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ ... 298

Глава XLII, в которой рассказывается о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других вещах, достойных внимания ... 311

Глава XLIII, в которой рассказывается приятная история погонщика мулов вместе с другими необычайными происшествиями, случившимися на постоялом дворе ... 316

Глава XLIV, в которой продолжаются неслыханные происшествия на постоялом дворе 324

Глава XLV, в которой окончательно рассеиваются сомнения относительно шлема Мамбрина и седла и рассказывается о других, весьма правдивых происшествиях ... 330

Глава XLVI о достопримечательном происшествии со стрелками и о великой свирепости нашего доброго рыцаря Дон Кихота ... 335

Глава XLVII о том, каким необычайным образом был очарован Дон Кихот Ламанчский, и о других достославных происшествиях ... 341

Глава XLVIII, в которой каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах и других материях, достойных его тонкого ума ... 348

Глава XLIX, в которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином Дон Кихотом 354

Глава L о разумнейшем споре Дон Кихота с каноником и о других происшествиях 359

Глава LI, в которой передается то, что пастух рассказал компании, увозившей Дон Кихота 363

Глава LII о споре Дон Кихота с пастухом и о редкостном приключении с бичующимися, которое наш рыцарь в поте лица своего довел до счастливого окончания 367

ДОПОЛНЕНИЯ

(*Составил В.Е. Багно*)

И.И. Дмитриев. Дон Кишот 379

Генрих Гейне. Введение к "Дон Кихоту" 380

И.С. Тургенев. Гамлет и Дон Кихот. (Речь, произнесенная 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым) 392

Ф.М. Достоевский. Ложь ложью спасается. ⟨Глава из "Дневника писателя" за 1877 год⟩ 404

Д.С. Мережковский. Дон Кихот 407

Д.С. Мережковский. Сервантес 409

Рубен Дарио. Литания господину нашему Дон Кихоту 429

Вячеслав Иванов. Кризис индивидуализма. К трехвековой годовщине "Дон Кихота" 431

Федор Сологуб. Мечта Дон Кихота. (Айседора Дункан) 439

Федор Сологуб. "Дон Кихот путей не выбирает..." 441

Мигель де Унамуно. "Господь мой, Дон Кихот, я грудь народа..." 442

Мигель де Унамуно. Путь ко гробу Дон Кихота 442

Хорхе Луис Борхес. Сон Алонсо Киханы 452

Хорхе Луис Борхес. Читатели 452

Хорхе Луис Борхес. Пьер Менар, автор "Дон Кихота" 453

Хорхе Луис Борхес. Скрытая магия в "Дон Кихоте" 459

Томас Манн. Путешествие по морю с Дон Кихотом 462

Х. Ортега и Гассет. Читатель... Размышления о "Дон Кихоте" 494

Г.В. Степанов. Дон Кихот: персонаж и личность 509

Г.В. Степанов. Заметки о лингвистических взглядах Сервантеса 518

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н.И. Балашов. Двунеуязвимость Дон Кихота 527

I. Исключительное место "Дон Кихота" в литературе нового времени, в утверждении идеи нравственности и свободы в мире, а в частности, в России 527

II. Героизм и подвижничество величайшего испанца на пути к созданию неуязвимого Дон Кихота. Характеристика других произведений Сервантеса 531

III. Эффективность художественных приемов Сервантеса в "Дон Кихоте" 549

IV. Духовная жизнь времен Сервантеса. Проблемы свободы. Гуманисты, Эразм. Успехи театра Лопе. Писатели-мистики. Малоизученные источники "Дон Кихота" 565

V. Споры вокруг наследия Сервантеса за рубежами России во второй половине XX столетия 579

VI. Заметки о русской сервантистике последних десятилетий. Идея своего рода "философского монизма" мышления Дон Кихота 585

VII. Свидетели апофеоза четырехсотлетия "Дон Кихота" 590

С.И. Пискунова. "Дон Кихот": поэтика всеединства 592

В.Е. Багно. "Дон Кихот" как явление литературной жизни России 621

ПРИМЕЧАНИЯ (*Составила С.И. Пискунова*) 655

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ 712

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 714

Научное издание

Мигель де Сервантес Сааведра

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

С прибавлением "Лжекихота" Авельянеды

I

Утверждено к печати
редколлегией серии
"Литературные памятники"

Зав. редакцией *Е.Ю. Жолудь*

Редактор *Е.В. Белова*

Художник *В.Ю. Яковлев*

Художественный редактор *Т.В. Болотина*

Технический редактор *З.Б. Павлюк*

Корректоры *А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова, Е.Л. Сысоева, Т.И. Шеповалова*

Подписано к печати 06.08.2003
Формат 70×90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 52,7 + 1,3 вкл. Усл.кр.-отт. 56,0. Уч.-изд.л. 61,6

Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 8854

Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 90

E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru

ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-02-011686-6

ISBN 5-02-011687-4

Con motivo
de cuarto centenario
de Don Quijote

ISBN 5-02-011686-6

Miguel de Cervantes Saavedra

I Don Quijote

Мигель де Сервантес Сааведра I Дон Кихот

Мигель де Сервантес Сааведра

I Дон Кихот

Издание посвящено
четырехсотлетию
романа Сервантеса
«Дон Кихот»

Издательство «Наука»